ГЕРЦЕН и ОГАРЕВ
в кругу родных и друзей



Литературное наследство

99 Книга первая

ГЕРЦЕН и ОГАРЕВ в кругу родных и друзей

Этот том тематически шире своего названия: личное и близкое у Герцена и Огарева почти всегда сочеталось с общим – литературным, историческим, философским... В томе первенствует излюбленный ими эпистолярный жанр, однако, кроме писем, здесь публикуются разнообразные творческие произведения, извлеченные из отечественных и зарубежных архивов.

Первую книгу открывает обширное исследование Л.Я. Гинзбург – "Автобиографическое в творчестве Герцена". Далее следуют четыре раздела: "Герцен", "Огарев", "И.А. Яковлев – отец Герцена", "Н.А. Герцен – первая жена Герцена".

В первом разделе публикуется – по автографу, хранящемуся в Амстердаме, – "рассказ о семейной драме" из "Былого и дум" (до сих пор этим главы прославленного шедевра Герцена печатались только по несовершенным копиям). Значительный интерес представляет неизвестная редакция одной из статей философского цикла "Дилетантизм в науке". Здесь же напечатано свыше 50 писем Герцена, в частности, большой массив его писем к дочери Ольге.

Во втором разделе публикуется сатирическое стихотворение Огарева "Паспорт", его же скетч "Странное прощание" и статья об исторических судьбах России XVII–XIX вв. – "Россия с Сибирью" (два последних произведения включены в состав обстоятельного архивно–документального исследования). Далее публикуется около 200 писем Огарева, в том числе обширные циклы его писем к детям Герцена.

Третий раздел составляет исследование, посвященное И.А. Яковлеву – отцу Герцена. Новые факты его биографии и психологический анализ этой незаурядной личности в значительной степени проясняют характер его взаимоотношений с сыном.

Цикл писем первой жены Герцена Натальи Александровны к мужу и детям, а также к близкой ее подруге – Т.А. Астраковой – заключает первую книгу 99 тома "Литературного наследства".

ГЕРЦЕН и ОГАРЕВ
В КРУГУ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Серия основана в 1931 году
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙНОМ и С. А. МАКАШИНЫМ

ТОМ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЫЙ

В ДВУХ КНИГАХ

РЕДАКЦИЯ

Н. В. КОТРЕЛЕВ, Ф. Ф. КУЗНЕЦОВ (главный редактор),
А. С. КУРИЛОВ, К. Д. МУРАТОВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ,
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ, Н. Н. СКАТОВ, Л. А. СПИРИДОНОВА,
Н. А. ТРИФОНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 9 · 7

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ГЕРЦЕН и ОГАРЕВ В КРУГУ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

Ответственные редакторы
Л. Р. ЛАНСКИЙ и С. А. МАКАШИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 • 9 • МОСКВА • 9 • 7

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) проект № 94-06-19943

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Е.Л. РУДНИЦКАЯ, Н.Я. ЭЙДЕЛЬМАН

год издания шестьдесят седьмой

ТП–94–I–№ 411

ISBN 5–02–011230–5
ISBN 5–02–011666–1

© Коллектив авторов, 1997
© Российская академия наук
и издательство "Наука",
серия "Литературное наследство"
(разработка, составление, оформление)
1931 (год основания), 1997



ГЕРЦЕН И ОГАРЕВ

Фотография братьев Майеров. Лондон, 1861.

На изображении надпись неизвестной рукой:
"18 June 1861. Mayer br⟨other⟩s"

Музей Герцена, Москва

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том "Литературного наследства" (в двух книгах) завершает более чем полувековую работу редакции по собиранию, изучению и публикации творческого, эпистолярного и документального наследия Герцена и Огарева. Вместе с предыдущими герцено-огаревскими томами он составляет монументальную серию из девяти книг, общим объемом около семи тысяч страниц текста и иллюстраций.

Это крупнейший вклад не только в науку о Герцене и Огареве, но и в историю литературы и в историю общественной мысли XIX–XX столетий. В широкой панораме эпохи, создаваемой этими материалами, разносторонне отражена общественно-политическая жизнь и России, и Западной Европы, а также в известной мере и Соединенных Штатов Америки.

Если источниковедческой основой двух первых томов серии (39-40 и 41-42), вышедших накануне Великой Отечественной войны, послужили главным образом материалы советских архивов, то для шести послевоенных томов – в семи книгах (61, 62, 63, 64, 96 и 99) – таким главным фондом стал ряд архивных собраний – коллекций – зарубежного происхождения и хранения. Из них бывшая пражская и софийская коллекции изменили свое местонахождение и хранятся теперь в Москве. Остальные заграничные коллекции, а именно амстердамская, женевская, краковская, лондонская, миланская, нью-йоркская (она же колумбийская) и две парижских, остались в прежних архивохранилищах. Однако в результате обмена между иностранными и советскими архивами, осуществленного под руководством С.А. Макашина, микрофильмы, фотокопии и ксерокопии бумаг заграничного архива Герцена и Огарева, которые оставались за рубежом, поступили в распоряжение "Литературного наследства", а затем переданы были на постоянное хранение в Отделы рукописей Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и Российского государственного архива литературы и искусства.

Главная тема настоящего тома определяется его названием – "Герцен и Огарев в кругу родных и друзей". Нельзя не отметить, однако, что это отнюдь не бытовая, а биографическая и историко-литературная тема. "Личное" у Герцена и Огарева почти всегда сочеталось с "общим". Документальные материалы, представляющие эту тему, по большей части относятся к эпистолярному жанру. Но и разнообразные творческие материалы, вошедшие в том, значительны и интересны. В первую очередь это относится к автографу рассказа о семейной драме из части пятой "Былого и дум". До сих пор центральные главы автобиографического шедевра Герцена печатались по далеко не совершенным копиям. Теперь его классические страницы встают перед читателями без привычных ошибок и искажений.

Публикуется в томе и черновая редакция статьи Герцена "Дилетанты и цех ученых" из его цикла "Дилетантизм в науке". Автографы этого цикла считались утраченными. Изучение единственного из них, обнаруженного теперь среди бумаг П.Л. Лаврова в Государственном архиве Российской Федерации, позволяет составить более отчетливое, чем прежде, представление о формировании философской позиции Герцена и его концепции науки.

Произведения Огарева представлены публикацией его сатирического стихотворения в народном стиле "Пашпорт", небольшой комедией "Странное прощание" и популярной статьей об исторической жизни России XVII–XIX вв. ("Россия с Сибирью")... Два последних сочинения публикуются в составе развернутого архивно-документального исследования об одном из загадочнейших знакомых и корреспондентов Огарева, освещающего женевский период жизни писателя и его эмигрантское окружение второй половины 1860-х годов. В состав этой работы введено несколько неизданных писем Огарева и к Огареву из архива III Отделения, выявленных в процессе научных изысканий.

Эпистолярные материалы, печатающиеся в томе, представлены и обширными циклами и разрозненными письмами. Здесь особенно следует отметить письма Герцена и Огарева к разным лицам, а также письма к ним от родных, близких и друзей. Многие из этих документов

отличаются широкоохватной общественной и культурной тематикой; другие эпистолярные циклы и отдельные письма воссоздают не только семейную атмосферу Герцена и Огарева, но в известном отношении и *жизнь эпохи*.

Исключительный интерес представляет переписка И.А. Яковлева с военным историком А.И. Михайловским-Данилевским, в известной мере переосмысляющая взаимоотношения Герцена с его отцом. В результате выразительный портрет отца, одного из главных персонажей "Былого и дум", обретает новые, ранее незнакомые нам черты.

Обширные циклы писем к Герцену и Огареву от первой и второй жены – Н.А. Герцен (Захарьиной) и Н.А. Тучковой-Огаревой, – бесспорно, привлекут к себе внимание биографов-исследователей. Заинтересуют они и читателей-неспециалистов – ценителей широких картин прошлого и шекспировских – по накалу – душевных бурь...

Особое место в эпистолярии второй книги занимает серия писем к Герцену от демократических деятелей Польши второй половины XIX в.

Богат и разнообразен и заключительный раздел второй книги – "Публикации и сообщения", в котором собраны биографические и мемуарные материалы о Герцене и Огареве.

В томе печатаются работы как российских, так и зарубежных авторов.

Иллюстрации подобраны Т.Г. Динесман и И.М. Рудой при участии С.К. Романюка.

* * *

Редакторы тома Л.Р. Ланский и С.А. Макашин

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРЦЕНА

Статья Л.Я. Гинзбург

Герцен – создатель одного из величайших автобиографических произведений – "Былого и дум"; автобиографическими мотивами проникнуто все его творчество. Ему в высшей степени присуще было личностное отношение ко всему течению и событиям своей жизни, которые, однако, он осознавал в исторических категориях. При этом он вносил в свое автобиографическое восприятие структурное, а также эстетическое начало, в конечном счете переводя их на язык словесного искусства.

Биографическое повествование – так или иначе упорядоченная событийная связь внешнего и внутреннего бытия личности. Наряду с письменной существует биография устная – в рассказах, в разговорах, даже в размышлениях о человеке. Она имеет и свои устойчивые формы, очень разные – от героического предания до сплетни.

Г.О. Винокур в своей книге "Биография и культура", исследуя структурную и экспрессивную природу биографических трудов или рассказов, определяет их как осмысление "личной жизни в истории". Винокур при этом считал, что эти биографические структуры вовсе не обязательно обладают эстетическим качеством[1]. Мне представляется, однако, что в биографических конструкциях, закрепленных письменно, и незакрепленных, потенциально присутствует эстетическое начало. Чтобы пробудить это начало, нужно лишь воспринять биографическую связь как выражение некоей жизненной темы, идеи; нужно, чтобы события, поступки, переживания мыслились как формы этой жизненной темы, от нее неотделимые.

Герцену присуще было необычайно интенсивное переживание "личной жизни в истории" и восприятие этой жизни личности в истории именно в качестве структурного, эстетического объекта. Это выраженное биографическое отношение к своей жизни отнюдь не было однородным, оно прошло через разные этапы, соответствующие разным этапам эволюции Герцена – мыслителя, деятеля, писателя. Каждый период жизни Герцена порождал соответственно свою биографическую установку и своего *героя* – автоконцепцию, образ человека, всякий раз отражающий социально-историческую ситуацию и личную судьбу данного периода или даже момента.

Начинается этот ряд с 1830-х годов, с юности Герцена, начинается романтическим героем, многими чертами напоминающим лирического героя Лермонтова. Но бытие этого автобиографического героя своеобразно, потому что никак нельзя сказать, что он существует в литературных произведениях Герцена того времени. Эти литературные опыты – "Встречи", "Легенда", "Елена", "Из римских сцен", "Вильям Пен" и др., в сущности, не являются основными вехами творческого развития Герцена. Это произведения литературно слабые, исполненные романтических шаблонов и наивной патетики. И живут они не в отдельности, как самодовлеющие явления ис-

кусства, но только в том общем, стремительном потоке, какой представляет собой романтическое сознание юного Герцена. Реализуется же это сознание в пестром единстве многообразных проявлений личности – в произведениях, в письмах, в разговорах, в поступках. В 1830-х годах Герцен занят, и вполне сознательно занят, построением своей романтической биографии. Вот почему молодой Герцен при его громадном самолюбии так спокойно признавал, что повести ему не удаются, – не повестями разрешалась его основная творческая задача.

В системе романтического миропонимания биография занимает особое место. Рационалистическому мышлению искусство представлялось особой, отделенной от жизни областью деятельности, и каждый объект – в том числе и человек, – попадая в сферу искусства, становился *иным*. Реалистическая эстетика по-другому, но также признает раздельность сфер эмпирической жизни и искусства. Для реализма она – материал, объект, источник искусства, но она ему не тождественна. Между тем с точки зрения романтической эстетики жизнь – проявление "бесконечного в конечном" – сама может быть воспринята как произведение искусства. Крайнее выражение эти идеи получили в учении Шеллинга о вселенной как "художественом произведении Бога". Понимание личности и судьбы человека как своего рода "произведения искусства" присуще было и русскому революционному романтизму 1830-х годов. Молодой Герцен воплотил эти миропонимание с чрезвычайной силой.

Мемуары и даже автобиография юноши – это, конечно, явление особого порядка. Такая биография неретроспективна; она строится одновременно с самим процессом жизни, непосредственно из этого процесса. Она есть сама жизнь, на ходу осмысляемая, обобщаемая, возводимая в философский и эстетический факт.

Титаническое жизнеощущение Герцена и никогда не покидавшая его уверенность в своей исторической предназначенности, в том, что его личность и судьба являются фактами общего значения (без этой уверенности впоследствии не могли бы сложиться "Былое и думы"), позволили Герцену в 1830-х годах отнестись к своей задаче совершенно сознательно. В 1836 г. двадцатичетырехлетний Герцен пишет невесте: «Все яркое, цветистое моей юности я опишу отдельными статьями, повестями, вымышленными по форме, но истинными по чувству. Эти статейки вместе я назову "Юность и мечты". Теперь, когда все еще это живо, я и должен писать, и потому уже должен писать, что юность моя прошла, окончилась 1-я часть моей жизни. И как резки эти отделы. От 1812 до 1825 ребячество, бессознательное состояние, зародыш человека; но тут вместе с моею жизнию сопрягается и пожар Москвы, где я валялся 6⟨-ти⟩ месяцев на улицах, и стан Иловайского, где я сосал молоко под выстрелами. Перед 1825 годом начинается вторая эпоха; важнейшее происшествие ее – встреча с Огаревым. Боже, как мы были тогда чисты, поэты, мечтатели; эта эпоха юности своим девизом будет иметь Дружбу. Июль 1834 окончил *учебные* годы жизни и начал *годы странствования*. Здесь начало мрачное, как бы взамен безотчетных наслаждений юности; но вскоре мрак превращается в небесный свет. 9 апреля откровением высказано все, и это эпоха *Любви*, эпоха, в которую мы составили одно *я*, это эпоха твоя, эпоха моей Наташи» (XXI, 85–86).

Здесь, в сущности, уже намечена программа трех первых частей "Былого и дум". А в каком-то смысле предчувствуется и метод "Былого и дум" – возведение эмпирической действительности в факт исторический и идеологический, в факт культуры. Герцен как бы отрицает эмпирическую случайность происходящего. Для него уже не случайно, что он входит в жизнь вместе с 1812 годом ("Тут вместе с моей жизнью сопрягается и пожар Москвы"). А 1825 год – год восстания декабристов – введен в этот текст, разумеется, во всем своем политическом значении.

В герценовской литературе уже отмечалась связь автобиографических фрагментов Герцена 1830-х годов с "Былым и думами". Е.С. Некрасова в своей статье "Юношеские литературные труды Герцена"[2] рассматривала автобиографические наброски того времени чуть ли не как первую редакцию "Былого и дум", что, разумеется, неверно. Фрагменты 1830-х годов – это еще романтическая биография, становление души, с традиционно романтическим разделением на "годы учения" и "го-



МОСКВА. КРУТИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Проект реставрации П.Д. Барановского. 1950-е годы

Справа – "Набережные палаты", где в 1834 г. был заключен Герцен. В центре – предполагаемый памятник Герцену

Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по негативу (Литературный музей, Москва)

ды странствий" (по гетевскому "Вильгельму Мейстеру" в трактовке немецких романтиков). Это, конечно, не первая редакция "Былого и дум", но здесь то же стремление к обобщающему самосознанию, которое, разрастаясь, привело в 1850-х годах к огромному охвату объективной исторической действительности.

"Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей; пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя", – пишет Герцен в 1836 г. (XXI, 76). А в 1838 г. он предпринимает уже систематическую автобиографию, частично пишет ее (от этого замысла до нас дошли только фрагменты), частично циклизует прежние автобиографические наброски[3].

Некоторые из герценовских произведений 1830-х годов прямо автобиографичны ("О себе", "День был душный...", "Из записок одного молодого человека"), в других автобиографизм опосредствован внешней фабулой ("Елена"); есть и такие, в которых факты биографии Герцена вовсе не присутствуют. Но каждое из этих произведений так или иначе вплетается в связь раскрывающейся перед нами единой судьбы автора-героя.

В эту связь первоначально не входит набросок 1834 г. "Германский путешественник" ("Первая встреча"). Но впоследствии Герцен в переработанном виде включил его в "Записки одного молодого человека". Встреча Трензинского с Гете превращается в эпизод духовного становления героя "Записок".

Повести "Легенда" предпослано автобиографическое вступление, в котором рассказывается о том, как автор из-за тюремной стены Крутицких казарм любовался Москвой и вид Симонова монастыря подсказал ему замысел повести ("Житие св. Феодоры"). Наброску "Из римских сцен" также предшествует автобиографическая мотивировка возникновения темы: "Одним сентябрьским днем грустные думы рядом с туманной, сырой погодой навели на меня сильную печаль. Чтобы рассеяться, я вздумал читать, но книга выпадала из рук на второй странице... Перебрав несколько, мне попалась наконец такая, которая поглотила меня до глубокой ночи – то бы Тацит. Задыхаясь, с холодным потом на челе, читал я страшную повесть... Здесь предлагается отрывок из тогда написанных сцен. Лициний – мой герой..." и т.д. (I, 183–184).

Эта потребность непосредственно, лирически объясниться с читателем, пока-

зать ему автора, открыто связать исторический замысел с личными треволнениями, даже с печалью, навеянной "туманной, сырой погодой", – все это подымается из самой глубины жизнеощущения молодого Герцена.

Факты жизни прямо проникают в литературу. Но имеет место и обратное: схема романтической биографии с ее разделением на "годы учения" и "годы странствий", на эпоху дружбы и эпоху любви применяется к самой жизни. И отдельные ее эпизоды – как бы самостоятельные художественные структуры.

Молодой Герцен захвачен стихией романтического жизнетворчества.

Жизнетворчество – построение в жизни художественных образов и эстетически организованных сюжетов – органично именно для романтизма и для течений, подхвативших его традицию. Оно коренилось в романтической философии искусства и стало возможным благодаря расчленению самой жизни на низшую, эмпирическую и идеальную. Идеальное и явилось полем жизнетворчества.

В Вятке Герцен встречался с сосланным архитектором А.Л. Витбергом, и непосредственно и жизнь проецируется романтический сюжет непризнанного гения, художника, затравленного "толпой" и задыхающегося в болоте обыденности. Витберг становится действующим лицом романтической драмы, которую воображение разыгрывает не на бумаге, не на театральных подмостках, а в реальном губернском городе Вятке.

Сказанное относится и к таким сюжетам, как клятва на Воробьевых горах или владимирское свидание Герцена, Огарева и их жен. Эти сюжеты во всей их художественности осуществлены были в жизни и только вторичное, отраженное бытие получили в воспоминаниях и письмах, в прозе Герцена и стихах Огарева.

Клятва на Воробьевых горах становится вечным символом дружбы, понимаемой одновременно как союз родственных душ и как союз борцов за свободу и социальную справедливость, то и дело всплывающим лейтмотивом, чтобы получить, наконец, классическое свое воплощение в "Былом и думах".

Символика Воробьевых гор проходит через письма Огарева к Герцену. Юный Огарев разделяет с Герценом характерное для романтического "мессианизма" убеждение в предназначенности для великих дел. В 1833 г. Огарев пишет из деревни оставшемуся в Москве Герцену: "Когда будешь писать о Воробьевых горах, напиши, как в этом месте развивалась история нашей жизни, т.е. моей и твоей"[4]. Эта фраза особенно замечательна, если учесть, что разговор происходит между двумя двадцатилетними юношами, которые уже с полной сознательностью заботятся о том, чтобы зафиксировать историю своего развития.

В 1837 г. (или в начале 1838 г.) Огарев пишет ему же: "Друг! наш путь сулит мало радостей, а много горечи и страданий; но кто же из нас боится венца мученика? И нам ли жаловаться на Провидение? Оно нам дало то, что редкие имеют, запас неистощимого блаженства: любовь и дружбу, но любовь и дружбу, в которых малейшее сомнение и есть преступление. Эскандер! помнишь ли эту гору, этот берег крутой и высокий, под которым течет спокойная река, а за рекой город идет в беспредельность? О! я всегда вспоминаю ее, когда я счастлив, и теплые, сладкие слезы навертываются на глазах. Там мы сознались в дружбе, неразрывной до гроба, там высказались лучшие чувства, лучшие идеи нашей юности и, быть может, – дай, дай мне верить этому, я, как дитя, пла́чу при этой мысли, – быть может, мы там увидимся снова, но нас будет четверо, дружба и любовь явится в едином святом союзе"[5].

Четверо (Александр – Наталья, Николай – Мария) действительно скоро встретились; только не на Воробьевых горах, а во владимирском доме Герценов, и это свидание подобно знаменитой клятве стало проходящим символом, символом сочетания любви и дружбы. "От Воробьевых гор до молитвы перед распятием[1*] не было ни одного пятнышка на дружбе; от первой слезы любви и до того момента не было ни пятнышка на любви", – пишет Огарев в 1840 г.[6]

И в том же году в письме к Герцену он вспоминает свой "пятнадцатилетний воз-

---

[1*] Имеется в виду знаменитое свидание четырех.

раст": "Что это был за дивный возраст! Ты не забыл его, Александр? Грех тебе, если забыл: это святое время нашей дружбы! ⟨...⟩ дружба составлена, союз крепок; мы чувствуем в себе какую-то силу необыкновенную. Этим союзом мы отрицаем наше ребячество и, крепко обнявшись, кажется, говорим людям: мы юноши! Какая благородная гордость в первом ощущении самих себя! А перед нами лежит будущее, бесконечное, tabula rasa – мы напишем на ней дела великие. Что за чудесное время, Герцен! Наша дружба – точка отправления в даль, которую мы наполним своим существованием. Иногда мне кажутся смешны эти 15-тилетние герои, но в эту минуту я чувствую, что они были прекрасны. Я смотрю на них, как на художественное произведение"[7]. "На них", т.е. на своего друга и на самого себя. Здесь совершенно уже обнажен принцип осознания собственной жизни в категориях эстетических. В данном случае в категориях героической, революционной романтики.

И это осознание, как всякий художественный акт, не может быть пассивным. Оно предполагает творческое построение образов, отбор и целеустремленное сочетание элементов переживаемой жизни. Этот своеобразный творческий процесс отчетливо раскрывается в письме Герцена к Витбергу, написанном в августе 1838 г., после того как Герцен, недавно женившийся, посетил с Натальей Александровной Воробьевы горы (XXI, 384–385)[8].

"Путь мой лежал около Москвы – он меня привел на Воробьевы горы. Душа стеснилась, когда я издали увидел лестницу. Тут я ребенок в каком-то восторге понял высокую душу Ог⟨арева⟩, тут заходящее солнце благословило нашу дружбу, с тех пор Вор⟨обьевы⟩ годы для нас святыня. Потом я узнал вас, мы сдвинулись, и снова Вороб⟨ьевы⟩ горы для нас святыня ⟨...⟩. И вот это двукраты святой холм явился; но не тем торжественным, как прежде: дождь лился, сырой ветер дул. Я велел ямщику остановиться и пошел с Наташею по ужасной грязи на место закладки. Место закладки, как открытая могила, приводило в трепет – камни разбросаны; я прислонился к барьеру, смотрел вдаль, одна серая масса паров и больше ничего, я думал о дальнем друге, о брате Николае, и слеза наливалась на глаза мои и ее, я думал потом об вас: вот на этом месте, может, стояли вы с широкой душой – и опять слеза навертывалась. Мы молились об вас. А сырой ветер выл, растрепывал деревья, было страшно. Я взял два камешка – их сохраню в память торжественной минуты. Когдя я ехал обратно, была ночь, и Воробьевы горы едва виднелись. И так пал туман на них. Они подернулись флером, крепом" (XXI, 384–385).

В этих строках сжато развернут законченный романтический сюжет. Воробьевы горы трижды являются в своем иносказательном значении. В первом упоминании они связаны с идеей дружбы и героического решения посвятить свою жизнь благу человечества; во втором упоминании – с судьбой непризнанного художника, которая скрещивается с судьбой героя. И, наконец, все это увенчивается темой великой любви. Александр и Наталья вместе, рука в руку, переживают символику Воробьевых гор. Этот микрокосм романтического сюжета имеет даже соответствующую концовку: "Была ночь, и Вороб⟨ьевы⟩ горы едва виднелись. И так пал туман на них. Они подернулись флером, крепом" (XXI, 385).

Всего проще было бы рассматривать все это как литературу, вторгшуюся в письмо, – случай столь частый в романтической переписке. Но здесь перед нами явление более сложное. Все изображенное Герценом в его эпистолярном рассказе вовсе не в этом рассказе приобрело своей эстетический смысл. Эта прогулка двух любящих к месту закладки Витбергова храма, и думы, и слезы, и сумеречный пейзаж – все это действо, разыгранное и пережитое в самой жизни и лишь вторично отраженное в письме.

В данном случае жизнь – не материал, не источник или прообраз, не объект познания и передачи действительности, как для писателя-реалиста, – она есть само художественное произведение. Нечто невозможное ни в системе зрелого Пушкина, ни в системе Толстого, но совершенно закономерное в пределах романтического сознания, не знающего грани между искусством и жизненным деянием, между искусством и философской мыслью.

На первом этапе автобиографизм Герцена предстает еще в форме романтического уподобления жизни искусству. Понятно, что при подобных установках необычайно важное значение приобретали письма как род словесности, стоящий на грани жизни и литературы. Замечательный памятник юношеского жизнетворчества Герцена, его ранней автобиографической концепции – обширная переписка с невестой, Наташей Захарьиной. Переписка эта – в своем роде уникальный документ русского и вообще европейского романтизма. Герцен не только называл свои письма к невесте "важнейшим документом" своей жизни и общего их развития (XXI, 278), но он также называл их *поэмой*. Отношение к этим письмам как к поэтическому произведению, предназначенному дойти до потомства, отчетливо выражено Натальей Александровной. "Пусть ничего от нас не останется, – пишет она в 1838 г., – пусть забудут нас после смерти, при жизни – избранные песнь нашу услышат, будут слышать ее и по смерти..." (*Павленков*, 543).

Подобное отношение к письмам характерно вообще для романтизма, не отделявшего искусство от жизни. Создавая стилистику своих писем, Герцен исходил из общеромантических предпосылок, но он не исходил из каких-либо конкретных эпистолярных образцов. Письма немецких романтиков русским читателям 1830-х годов не были известны[9]; притом патетическая "поэма" Герцена вовсе не напоминает изощренно иронические и эрудированные письма людей шлегелевского круга.

Разумеется, Герцену не были известны и письма В. Гюго к его невесте Адель Фуше, впоследствии опубликованные под названием "Lettres à la fiancée (1820–1821)" (P., 1901). В ситуации, в настроениях, в мироощущениях обоих корреспондентов много общего. Гюго тоже очень молод, еще моложе Герцена, он также разлучен с любимой девушкой (впоследствии его женой) непреклонной волей родителей; он также видит в ней ангела – образец чистоты и идеальной женственности; также презирает "низкую действительность" ее семейного окружения и развивает перед ней концепцию единственной, всепоглощающей романтической любви – одновременно спиритуалистической и необузданно-страстной.

Но письма Гюго к невесте – письма о любви и ни о чем больше. Из них выключено все, что составляет не только внешнюю, бытовую, но и умственную и душевную жизнь человека. Поэтому в них нет человека, героя, есть только его любовь, и лишь из грандиозности этой любви можно постулировать душевные свойства ее носителя. Напротив того, письмам Герцена к невесте присущи необычайная сила и полнота самораскрытия романтического сознания. Этого нет и в письмах Огарева к его невесте М.Л. Рославлевой, где восторженный, захлебывающийся язык любви поглощает, растворяет в себе личность пишущего. Это тоже письма без героя.

Переписка Герцена с Захарьиной – именно переписка: своеобразная композиция на два голоса. Если поэма, то диалогическая. В письме от 9 октября 1837 г. Герцен сам характеризует эти два голоса, в их противоречивости и единстве: "Когда мы будем вместе, когда мы будем совсем отданы друг другу... тогда мы посвятим целые вечера на то, чтобы перечитать в одно время и твои, и мои письма... На твоей душе нет ни пятнышка, ни тусклого места от дыхания людей, – бог *вымежевал* тебя от толпы, и твои письма – стройное развитие Любви и Молитвы, от первого до последнего... Твои письма – это одно письмо. – Совсем другое мои письма; во мне от рождения не было последовательного развития, моя душа жила конвульсиями, металась всюду и тысячи раз менялась... Заметь, в 1836 в начале впервые является в моих письмах истинная религия. Но и тут нет твоей стройности – знойные страсти тянут, с одной стороны, душу, необузданное самолюбие – с другой, а между тем все бытие погружено в светлое море любви, но это светлое море волнуется, бушует, это не твое небо, а земное море, и иногда кровь, текущая из ран души, покрывает его пурпуром" (XXI, 215).

Если для Натальи Александровны ее переписка с Герценом – песня, то Герцен очень точно разбивает эту "песню" на две партии. И, надо сказать, для женской партии нашлась в своем роде блестящая исполнительница. Чтобы поддерживать с Герценом переписку, требовался талант и большая духовная сила. Вспомним, что в на-

чале переписки Наташе Захарьиной восемнадцать лет, что она воспитана в фамусовской среде, в затхлом доме "благодетельницы", что ей только-только открылась романтическая литература. Пусть Герцен переоценивал литературное дарование своей невесты; во всяком случае, он имел основание расценивать ее письма как явление романтической литературы, воспринимать их стилистически:

"Я восхищаюсь твоей манерой писать, – пишет Герцен в марте 1838 г., – у тебя размах фантазии как-то огромен и всегда *ровен*, чего именно нет у меня⟨...⟩ Иногда, читая твое письмо в десятый, двадцатый раз, я взгляну на него с литературной точки зрения и, признаюсь, ежели бы ты была *не моя*, я мог бы завидовать поэтическому таланту" (XXI, 337–338).

Литературная точка зрения на собственные письма не была чужда и самой Наталье Александровне. Характерно, что, наряду с письмами романтически-поэтическими, она умела писать и письма обыкновенные. Таковы, например, ее письма (первые относятся к осени 1839 г.) к Ю.Ф. Куруте, жене владимирского губернатора, с которой Герцены близко сошлись в 1838–1839 гг. Эти письма более чем дружеские, даже сентиментальные (Наталья Александровна называет Куруту "мамашей" и т.п.), но, очевидно, к данному адресату не подобало обращаться на романтическом языке, и Наталья Александровна находит другой язык, общепринятый[10]. На этом стилистически нейтральном фоне особенно явной становится та творческая преднамеренность, с которой Наталья Александровна вела свою партию в двухголосой "песне" своей переписки с Герценом.

Эпистолярная поэма Герцена развивает определенный сюжет, созидаемый вполне сознательно. С самых ранних лет для Герцена его жизнь являлась не только неиссякаемым материалом для литературных отражений, но сама по себе представлялась ему некоторой сюжетной структурой, за развитием которой он пристально следил. У юного Герцена все это связано было, конечно, с романтическим индивидуализмом, с романтической верой в свою избранность. Но не только. Сюда присоединяется понимание собственной жизни как неслучайной, как воплощающей историческую судьбу поколения. То именно понимание, которое, бесконечно расширяясь, усложняясь, объективируясь, приведет к "Былому и думам".

Раннему Герцену вовсе не нужно, чтобы концы уже были сведены с концами. Он может переживать сюжет жизни в его становлении, в его поступательной динамике. Для этого достаточно осознать, что совершающееся совершается по законам развития героической личности.

В письмах Герцена к невесте воплощен герой, романтический характер, чрезвычайно похожий на лирического героя юношеских стихов Лермонтова, еще больше – на героя его юношеских драм. Похожий, в частности, характерным соотношением восторженности и разочарования (разочарование сменяет восторженность под давлением неумолимой действительности). Строя свою душевную автобиографию, Герцен использовал и – судя по всему, что мы знаем о его детстве, – сгустил и заострил социальный мотив незаконнорожденности.

Автобиографические признания Герцена напоминают историю лермонтовского Александра Радина в драме "Два брата" (1836).

"Я глубоко чувствовал добро и зло, – говорит Радин, – никто меня не ласкал – все оскорбляли – я стал злопамятен ⟨...⟩ Я был готов любить весь мир – меня никто не любил – и я выучился ненавидеть... Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с судьбой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубину сердца... они там и умерли"[11].

"Возьми их, этих чудовищ, – писал Герцен в 1837 г., – которые сосут мое сердце, каждое порознь: Разлука – Ссылка – Твои страдания – Раскаяния, – возьми воспоминания тюрьмы и *всего моего воспитания* (о, я никогда еще не говорил, сколько я перестрадал с той минуты, как я взглянул на мир. Какие раздирающие душу образы являлись глазам... а душа была тогда нежна, слаба" (XXI, 233, 234). "Я был еще ребенок лет 12, но какая-то неопределенная горькая мысль заставила меня бросить игрушку, тогда уже щеки мои были бледны и глаза горели мыслью и чувством, ибо



ГЕРЦЕН

Рисунок А.Л. Витберга (итальянский карандаш). Вятка, начало октября 1836 г.

Портрет был заказан Герценом ко дню рождения Н.А. Захарьиной (22 октября 1836 г.) и вручен ей в этот день его родителями

Музей Герцена, Москва (ранее – в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва)

"Сходство разительное; там видно все на лице – и моя душа, и мой характер, и моя любовь. – Кроме Витберга, кто мог бы это сделать?" (Герцен – Н.А. Захарьиной. 10 октября 1836 г.)

люди меня встретили *обидой! оскорблением!*" (XXI, 94) (почти в тех же выражениях Герцен говорит о своем детстве в письме 1836 г. к Н.Х. Кетчеру и Н.И. Сазонову – XXI, 111–113). Человек не может сказать о самом себе, что его "глаза горели мыслью и чувством", если он не посмотрел при этом на себя со стороны как на персонаж в действе жизни.

Это отношение к себе самому, отношение зрителя или биографа, настолько естественно для молодого Герцена, что он иногда переходит на косвенную речь, на разговор о себе в третьем лице: "Ну, не дивно ли, Наташа? Вот юноша пылкий, пламенный; огромным гипподром открыт перед ним; он полон надежд, силен каким-то пророчеством, увлечен дикими страстями ⟨...⟩ горд, независим, ничему не покорится, все хочет себе покорить, самолюбив: слава – его цель, мир идей – его мир. Что может этого юношу покорить, обуздать? Несчастия – он их принимает за испытание,

за закал души; счастье – это дань ему, он его принимает как заслуженное. Этот юноша – я" (XXI, 177).

В автобиографической схеме юного Герцена как бы сочетаются два лермонтовских сюжета (в 1837 г. Герцен, возможно, либо совсем не знал Лермонтова, либо знал его как автора ходившего по рукам стихотворения "Смерть поэта"). Первый сюжет: восторженный герой под ударами судьбы становится разочарованным, демоническим героем; второй сюжет: демонический, отверженный дух проникнут любовью к прекрасной женщине, носительнице вечно женственного начала (демон и Тамара).

Мотив демонического сознания, ищущего примирения и возрождения к новой жизни, – один из основных в переписке с невестой. При этом Герцен все время пользуется фразеологией и символикой мифа о падшем ангеле (Люцифере). "Ты или поведешь меня в рай, или падешь со мною так, как пали легионы ангелов, прельщенных красотою Люцифера. Твоя судьба решена" (XXI, 114).

В своих письмах Герцен упорно творит романтический миф о себе как новом Люцифере, миф о Наталье и Александре.

"Наташа, ты велика, ты недосягаема для человека... Потом я взглянул на себя... И будто ты, ангел, можешь отдаться (отдалась уже?) человеку земному, нечистому; твое величие меня подавило; я падаю на колени перед тобою, я молюсь тебе; но как же я стану рядом. Нет, моя любовь должна все выкупить; любови я тебе принесу целое море, целую вселенную (вспомним последний монолог лермонтовского демона. – *Л.Г.*). Ею наполнятся лучи солнца ⟨...⟩ Ты чистой молитвой летела б в рай, но на мне остановился твой взор, на моей красоте конечного – и я стягиваю тебя в удушливую сферу страстей. Наташа, сделай же из меня ангела" (XXI, 109).

Эта *красота конечного* уже прямо переносит любовную коллизию в область романтически-философских представлений. "Ты будешь выражать непомеркнутое, чистое начало человека, а я – человека земного, вместе мы – и ангел, и человек. Представь себе все человечество, соединенное так тесно любовью, подающее друг другу руку и сердце, дополняющее друг друга, – и великая мысль творца, и великая мысль христианства откроется перед тобой. Что мешает этому соединению? Тело в смысле материальном, эгоизм в смысле духовном – вот орудие, которым действует Люцифер против воплощенного слова" (XXI, 159–160). Так демоническая символика становится уже не только языком философской мысли, но языком социально-утопических мечтаний. Здесь речь прямо идет о гармоническом общественном устройстве – в духе сенсимонистов, которому противостоит антисоциальное начало эгоизма[12] – орудие Люцифера.

Социально-утопические мотивы переосмысляют демонизм Герцена, отделяют его от всей линии *байронического* демонизма. Демонизм молодого Герцена – как это ни странно – оптимистичен. Это демонизм не метафизический, но социально обусловленный и потому поправимый, подлежащий преодолению. Устраните причины социального зла – и вы устраните демонизм, вернете героя к гармонии. С определенного момента герценовский сюжет начинает развиваться иначе, чем лермонтовский. Демон не может соединиться с Тамарой, но новый Люцифер Герцена спасается, он оптимист, он уверен в неизбежности своего соединения со светлым началом. История Александра и Натальи – это в своем роде сюжет Демона и Тамары, но со счастливой развязкой.

С демонической автоконцепцией Герцена связана тема разврата, погружения в омут нечистых страстей, ведь это и есть *падение* Люцифера. Замечательно, что Герцен откровенно рассказывает невесте ("чистой деве") не только историю своего вятского романа с Медведевой, но рассказывает и о гораздо более мимолетных связях (см. XXI, 58–59).

В "Анне Карениной" Левин перед свадьбой дает невесте свой дневник, из которого она должна узнать, что он неверующий и "что он не так чист, как она..." "Когда в этот вечер он приехал к ним перед театром, вошел в ее комнату и увидал заплаканное, несчастное от непоправимого, им произведенного горя, жалкое и милое ли-

цо, он понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной чистоты, и ужаснулся тому, что он сделал". Китти ужасается, страдает, наконец, прощает Левина. "Она простила его; но с тех пор он еще более считал себя недостойным ее, еще ниже нравственно склонялся пред нею и еще выше ценил свое незаслуженное счастье".

Романтик 1830-х годов ставит вопрос иначе: признания в "разврате" естественно вливаются у него в общий поток демонической исповеди. И Наталья Александровна принимает их как должное, как трагическую, но необходимую деталь в истории падшего ангела, которого она призвана возродить своей чистотой. Герцен тоже склоняется перед невестой, но не потому, что считает себя недостойным ее, а потому, что считает ее достойной преобразить душу титана.

Когда Наталья Александровна, утешая любимого человека, попыталась умалить его вины, стереть с него клеймо "порочности", Герцен рассердился. Он возражает, он нетерпеливо настаивает на демонической автоконцепции, и это едва ли не единственный случай, когда его письмо к невесте звучит упреком: "Я тебе говорю: вот моя душа, сломанная и запятнанная – но она сильна любовью к тебе; вот преступление[2*], которое оставило на ней след, – а ты отвечаешь: все это вздор, я не хочу, чтоб на твоей душе были пятна, и, следовательно, отбрось угрызения совести и считай себя за серафима. Рассуди, где тут справедливость" (XXI, 125–126). Герцен недоволен тем, что Наталья Александровна невзначай разрушает творимый им миф. Он Люцифер и не согласен, чтобы его превращали в серафима.

В письмах к невесте автобиографический образ героя вмещает в себе и образ героини переписки; он сопряжен с ним, и ему противопоставлен по принципу свет и тьма, небо и земля.

Культ женщины, интерес к проблематике женской судьбы присущи вообще романтизму, хотя в разных его формациях вопросы эти разрешались по разному. Для Герцена и его друзей одним из существенных элементов сенсимонистской доктрины явилось освобождение женщины. В этом кругу, в сущности, впервые был поставлен "женский вопрос", которому предстояло столь обширное развитие в России 1860-х годов.

Понятно, что Герцен разделяет со своими друзьями увлечение Жорж Санд. Но наряду с этим решением вопроса (эмансипация женщины) есть и другое романтическое решение, и оно тоже актуально для молодого Герцена. Романтический идеализм, еще не преобразованный романтическим социализмом, подсказывает идею вечно женственного начала. В переписке Герцена с невестой как бы слышится отголосок излюбленных романтиками заключительных строк второй части "Фауста":

Das Ewigweibliche
Zieht uns hinan[3*].

В письмах Герцена обычные эпитеты героини – "моя мадонна", "чистая дева", "дивная дева", "Беатриче". Это, конечно, не женщина Анфантена и Жорж Санд. Личным идеалом Герцена навсегда осталась женщина, которая сумела воспринять всю идеологию освобождения и равенства и все же остановилась перед последними выводами из этого круга идей. Этот идеал – героиня "Былого и дум", та же, что героиня переписки, только в новом, реальном воплощении. Она освобождена от спиритуализма, от потусторонности, но существо ее продолжает двоиться и распадаться на два начала; она по-прежнему и "освобожденная" женщина, и одновременно идеал женственности – говоря словами Пушкина, "чистейшей прелести чистейший образец".

Наталья Александровна иногда ошибается, отклоняется от предназначенной ей в автобиографическом построении Герцена роли (что немедленно вызывает с его

2* Герцен имеет в виду свои отношения с Медведевой. – *Л.Г.*

3* Вечноженственное // Влечет нас ввысь (*нем.*).

стороны отпор). Но по большей части она твердо ведет свою партию, властно продиктованную ей творческой волей Герцена. Отчетливую формулу этого соотношения дает письмо Герцена от 9 марта 1838 г.: «Я тебе сказал: "У меня никого нет, кроме тебя". Ты ответила: "Да ведь я одна твое созданье". Да, еще раз ты моя совершенно, безусловно моя, как мое вдохновение, вылившееся гимном. И как вдохновенье поэта выше обыкновенного положения, так и ты, ангел, выше меня – но все-таки моя» (XXI, 321).

Тут два основных мотива – она его создание и она возведена им на высоту, почти недосягаемую для человека. Обе эти идеи Наталья Александровна воспринимает и неустанно развивает в своих письмах. "Ты – отец мой, мое начало, без тебя я бы только *родилась и умерла,* а ты дал мне *жизнь,* Александр! Я истинная дочь твоя, твое создание, посмотри на меня, порадуйся. Без тебя – я наследница десяти тысяч, воспитанница кн. Марьи Алексеевны, достойная супруга Снакс(арева)[13], и потом – покойница. Ты убил во мне все это, ты лишил меня всего этого, лишил и *их* меня, ты сотворил меня Его!" (*Павленков,* 480).

Итак, она создана им, он выступает в роли творца, но, раз созданная им и для него, она достигает сверхчувственной высоты, с тем, чтобы, в свою очередь, принести искупление и покой мятежной душе титана. "Ты называешь меня святой голубицей, слетевшей из рая, – это слишком много, но я не смею отрицать: я твоя, твое созданье, любуйся им, величай его, мое дело – *быть* такою, какою ты видишь меня. При мысли о твоей любви я сама чувствую в себе святость, чувствую, насколько выше других, вижу в небе венец над головою моей, в моей душе вижу небо" (*Павленков,* 293).

С той необыкновенной решительностью, которая свойственна была романтикам – в такого рода вопросах, – Наталья Александровна принимает герценовскую концепцию "святой голубицы", слетевшей для него из рая, – и дальше, уже от своего лица, разрабатывает роль в сценарии, порожденном романтическим жизнетворчеством Герцена.

Романтики вообще с величайшей непринужденностью оперируют религиозной символикой в своих собственных целях. Отсюда иносказания и аналогии, которые с точки зрения официальной религии нельзя иначе назвать, чем "кощунственными". Переписка Герцена с Захарьиной изобилует образцами этого "романтического кощунства": «Обедня еще не начиналась, пели молебны, я стал к окну и развернул книгу – каноны-ирмосы на март месяц, я отыскал святое 3 марта[14], и вот канон богородице этого дня с чего начинается: "Явилася еси ширше небес". – Да, ты *шире* небес явилась передо мною» (XXI, 318).

Если бы духовный наставник Наташи Захарьиной дьякон Павел Сергеевич прочитал эти строки, он, вероятно, пришел бы в немалый ужас, равно как и от уверений Герцена, что для него жизнь Наташи – "выше Евангелия", что она, эта жизнь, "как голубое небо граничит с самим богом" (XXI, 342), или от необычайного обета: "Восьмой и девятый час – где бы ни был, что б ни делал, будет твой; это час Ave Maria в Италии, и все повергается на колени пред Девою – буду и я горячим лицом повергаться пред тобою. О Наташа!" (XXI, 171).

Наталья Александровна, в свою очередь, не останавливается перед самыми рискованными аналогиями. "Благовещение – рождение, – весь род христианский празднует этот день, я праздную вдвойне". "Какое сходство – Благовещение и Девятое апреля! Архангел Гавриил и твой взор!" (*Павленков,* 249). Дело в том, что праздник Благовещения совпадает с днем рождения Герцена, а 9 апреля Наталья Александровна посетила Герцена в Крутицких казармах. В том же роде переосмысляется и причастие: "Я бы умерла – голова на твоей груди, взор в твоем взоре, – вот мое покаянье, вот мое причащение святых тайн, вселение в лоно Божие" (*Павленков,* 523).

Словоупотребление переписки проникнуто романтическим дуализмом. Формулу дуалистического понимания любви – а это ведь стержневая тема переписки – Герцен дает в письме 1836 г.: "Да, я уверен в этом, я знаю твою душу: она выше земной любви, а любовь небесная, святая не требует никаких условий внешних. Знаешь ли ты,

что я доселе не могу думать, не отвернувшись от мысли о браке. Ты моя жена! Что за унижение: моя святая, мой идеал, моя небесная, существо, слитое со мною симпатией неба, этот ангел – моя жена; да в этих словах насмешка. Ты будто для меня женщина, будто моя любовь, твоя любовь имеет какую-нибудь земную цель. О боже, я преступником считал бы себя, я был бы недостоин твоей любви, ежели б думал иначе. Теснее мы друг другу принадлежать не можем, ибо наши души слились, ты живешь во мне, ты – я. Но ты будешь моей, и я этого отнюдь не принимаю за особое счастие, это жертва гражданскому обществу, это официальное признание, что ты моя, – более ничего" (XXI, 99–100).

Герцен, разумеется, до конца не выдерживает эту спиритуалистическую концепцию любви. В 1838 г. речь уже идет и об "африканской крови" и о "земном огне" страсти и проч. Но принцип различения двух любвей – земной и небесной – остается в силе (Герцен сам подчеркивал, что на этом противопоставлении построена автобиографическая повесть "Елена"). Дуалистическая концепция любви возможна потому, что человек мыслится как житель "двух миров". – "Твое пренебрежение ко всему будничному (как ты выражаешься) – совершенно мое... Ну, можно ли себе представить св. Иоанна, заказывающего сапоги?"– спрашивает Герцен. «Да, я никогда б не назначила особенного часа для пищи, – откликается Наталья Александровна на это письмо, – это что-то слишком унизительная покорность телу" (*Павленков*, 490).

Проблема унизительной покорности требованиям тела вообще ее занимает. Еда становится символом этих оскорбительных требований: "Вот еще пренестерпимая для меня должность – *есть*. Душа, все, все существо полно неба, полно тебя, святыни, Бога, а тут ешь говядину! (*Павленков*, 164).

Противоречие мечты и "низкой действительности" образует жизненную ситуацию героини переписки, сюжет ее жизни, тесно сплетенный с автобиографическим сюжетом героя. Она – высокое существо, невеста титана, находится в плену у "низкой действительности", низких людей – в первую очередь это тетка и "благодетельница" княгиня Хованская и ее компаньонка Макашина. О них говорится совсем другим языком, вовсе не поэтическим.

"Увидевши мою твердость и гордость, ⟨Макашина⟩, кажется, усомнилась и уже боялась, донеся, *может быть* ⟨...⟩ навлечь себе тьму неприятностей и быть выгнанной из дому, хоть за то она и много напевает к⟨нягине⟩ ⟨...⟩ Ропщи, грязная толпа, вздымай свои пенистые волны, гордое море, бешенствуй, раздирайся, Этна, не достать вам звезды, не затмить вам ее. Нет! Это может только одно солнце..." (*Павленков*, 217).

В рассказ о происках компаньонки умышленно введены выражения "низкого стиля" ("быть выгнанной из дому", "напевает"); но все это немедленно переключается в символический план. Грязная толпа обступает избранницу, протягивает к ней щупальцы, пытается захлестнуть звезду. "Боже мой! существо, обладающее только деньгами, чинами (добротою, может быть), смеет думать соединить свой бред с моею небесною жизнью, исполненною рая, любви, восторгов неземных, исполненною одним тобою... Это величайшая из обид... одна на краю пропасти, и целая толпа употребляет все усилия низвергнуть меня в нее" (*Павленков*, 369).

Героиню силится поглотить страшный мир; он засылает женихов. Тема жениха (Наталью Александровну усиленно пытались выдать замуж), существа, обладающего только деньгами и чинами, – одна из основных в переписке. И этот персонаж вносит особый языковой пласт, пласт пошлой речи, отражающей низменные представления о жизни. Слог переписки – это слог сугубо поэтический, и синтаксическим строем, и лексикой, и сплошной метафоричностью отделенный от обыденного разговора. В этой системе почти каждое слово принадлежит либо условному поэтическому языку, либо более узкому кругу романтических значений, доступных посвященным. "Мы дойдем, наконец, до того, – пишет Наталья Александровна, – что нашей любви не будет уже выражений на земном языке" (*Павленков*, 175).

В письмах трудно, конечно, избежать практической, коммуникативной речи,

особенно же в письмах, в которых приходилось обсуждать семейные обстоятельства, сговариваться о задуманном побеге и т.п. Это словоупотребление, надо сказать, в переписке сведено к минимуму, но оно существует, как бы вынесенное за пределы стилистически организованного текста. Но наряду с этим – другое. Обыденные слова вводятся в высокую, поэтическую речь в осознанной стилистической функции, именно как представители низменного мира. В этом отношении особенно характерен речевой ряд, связанный с темой насильственного брака, в котором враждебная сторона видит средство для пресечения великой любви Наталии и Александра. Романтическое презрение к "толпе", сознание собственной "избранности" приобретают революционный оттенок протеста против патриархальных устоев общества, против семейного быта, основанного на грубом расчете, лицемерии и насилии.

«Вот я воображаю этого *господина* жениха, – пишет Герцен в 1837 г., – так, он хочет непременно сто тысяч, ровный счет и 4000 казенных процентов. А его убеждают: "Посмотрите, она *хороша собой*, – за это можно сбавить 15000". "Так и быть, 10000 руб. сбавляю". Боже мой, эту красоту, этот лик ангела, этот образ божества, всего святого для меня на земли, они его меряют рублями; подлецы! продают, как Иуда, – тот, по крайней мере, был с характером и повесился, а эти *три века* живут» (XXI, 218).


NOTRE-DAME
DE PARIS,
Par Victor Hugo.
TOME I.
Wiatka 1836.
Bruxelles,
1835

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГЕРЦЕНА Н.А. ЗАХАРЬИНОЙ
на первом томе романа В. Гюго
"Собор Парижской Богоматери"
(Брюссель, 1835):
"A Natalie, le jour de son nom. Alexandre Herzen. Wiatka 1836"
("Натали, в день ее именин. Александр Герцен. Вятка 1836")
Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по негативу (Литературный музей, Москва)

Герцен чувствует в слове *жених* окраску мещанской речи: "Прощай, невеста (мне нравится это название, зато слово жених безобразно)" (XXI, 295). Наталья Александровна не уловила разницы в лексической окраске слов *невеста* и *жених*. Она пытается возразить Герцену, так сказать, с логической точки зрения: "Тебе не нравится название жениха, – это потому, что ты смотришь на жениха здесь на земле; оно опостылело нам по милости Снаксарева; но, ведь, и невеста, – что такое невеста здесь между людей? Для меня самое жалкое существо на свете! Нет, никакого нет названия достойнее тебя, как *жених Наташи*, – мой жених! У них название это обезображено, твоя правда, унижено до невозможности; у нас – свято, высоко, неподражаемо" (*Павленков*, 485). Этому рассуждению нельзя отказать в логичности. Но дело в том, что семантическая жизнь слова не руководствуется логикой, по крайней мере – формальной логикой. Парные слова: жених – невеста – разошлись по разным ассоциативным рядам. Причем слово "жених" гораздо радикальнее утратило свои поэтические ореолы и взамен обросло ореолами мещанскими, "галантерейными": есть мир высокой любви и есть мир женихов, сватовства, приданого, денежного расчета.

Слово "жених: опошлено мещанской средой, за ним тянется свита вульгарных, профанированных слов. "Снакс⟨арев⟩ ⟨...⟩, назначив день помолвки, говоря мне разные комплименты и *им*, что не нужно денег и приданого, вдруг приказывает через

попа, что не может менее взять ста тысяч, что *их* так поразило, – кн⟨ягиня⟩ занемогла, а Мак⟨ашина⟩ два дня все плачет; я была в восхищенье, но вообрази: кн⟨ягиня⟩ дает деньги и Загорье! Хотят к нему послать, опять торг, фу!" (*Павленков*, 374).

Слова *комплименты, приданое* и проч. окрашены низменным мировоззрением некультурной дворянско-мещанской среды, в которой они бытуют; слова эти заражены ее грубыми представлениями о любви, о браке, о женщине. И поп, о котором здесь идет речь, это не священник – лицо, с точки зрения Натальи Александровны, высокое, а ремесленник и торгаш, продающий "слово божие".

Между двумя языками – высокой любви и обыденности – внутреннего соприкосновения быть не может, потому что из такого контакта возникает *ирония*, а Наталья Александровна, разумеется, вне иронии, она воплощение беспримесной романтической возвышенности. Этот момент вполне осознан обоими корреспондентами. Их стилистические роли распределены столь же четко, как психологические. Александру ирония (ирония, претворяющаяся в социальную сатиру) присуща в силу его демонизма; она вытекает из его демонизма. "Твоя душа – душа ангела, она не испытала ничего ⟨...⟩ А я – в 24 года испытавший всё злое и доброе; моя юная душа вся в рубцах; горький опыт положил в мою душу основу жгучей иронии..." (XXI, 79, 80). И в другом письме: "Я *боюсь* твоего суждения о моей биографии, боюсь потому, что там много иронии, часто шалость, редко желчь" (XXI, 262).

Речь идет об автобиографии, над которой Герцен в это время работает, и упоминание о шалости и иронии здесь очень важно. Автобиографическая концепция Герцена 1830-х годов не однопланова; она ориентирована на разные модели личности. Наряду с патетическим образом, возникающим из переписки с невестой, существует образ *студента*, участника дружеского кружка, существует атмосфера молодого разгула и напряженного интеллектуального общения, политических мечтаний и пестрой товарищеской "болтовни". В этом мире ирония и шалость полноправны.

Дошедшие до нас фрагменты юношеской автобиографии Герцена свидетельствуют о том, что она в значительной мере отражала именно эту грань самосознания своего автора. В отрывке "О себе"[15] изображена дружеская "вакханалия" во всей пестроте необузданного веселья, отвлеченных споров, лиризма, пафоса, насмешки.

На рубеже 1830–1840-х годов Герцен создает окончательную редакцию своей ранней автобиографии – "Записки одного молодого человека". Для "Записок..." в том виде, в каком они нам известны, характерны не только композиционная фрагментарность и неслаженность, но и существенные тематические и стилистические различия между первыми двумя частями ("Ребячество", "Юность") и "малиновской" частью ("Годы странствия"), опубликованной в "Отечественных записках" под заглавием "Еще из записок одного молодого человека". Первая часть – это прямой автобиографический рассказ (с некоторой только зашифровкой имен для печати); "Годы странствия" – это уже беллетристика с условным дневником, с введением «"издателя", нашедшего тетрадь» и т.п. Введение этой тетради с вырванными листами давало Герцену возможность намекать на цензурные пропуски.

Герцен сам относился к этому своему произведению с особой теплотой и заинтересованностью, протягивая от него нити к "Былому и думам". В этом плане он говорит о "Записках..." в предисловиях к "Былому и думам" 1852 г. ("Братьям на Руси"), 1860, 1862 гг. Журнальная редакция "Записок..." создавалась в переломный для Герцена момент, на переходе от юношеского романтизма к тому миропониманию и методу, которые Герцен сам называл *реализмом*. В "Записках..." Герцен подводит итоги раннему периоду своего развития. Он отдает должное молодой героике, "шиллеровским" мечтаниям, но как пройденному уже этапу. Эта установка находит свое стилистическое выражение в той лирической иронии, которой проникнуты "Записки одного молодого человека". По сравнению с очерками "о себе" ирония углубилась; романтическая патетика все больше идет на убыль. В разделе "Записок...", озаглавленном "Патриархальные нравы города Малинова", наряду с иронией – бытописание, общественное обличение, сатира. Для последнего эпизода "Записок..." (встреча с Трензинским) характерно интеллектуальное начало размышлений о жизни.

Ирония, лиризм, сатира, размышление – это именно те элементы, из которых в этот период складывается стилистика герценовских писем к друзьям.

Остановлюсь на одном примере, интересном потому, что Герцен в трех письмах одновременно и по-разному рассказывает один и тот же биографический эпизод, эпизод *свидания четырех*. Три изображения отражают три разных концепции собственной личности.

21 марта 1839 г. Герцен писал М.Л. Огаревой: "Помнишь ту торжественную минуту, когда мы молились, – тогда-то совершилась мистерия присоединения Наташи к вам и тебя к нам. Тогда-то мы четверо стали одно. Hosanna! Hosanna!

Marie, как необъятно велик твой Николай, я готов не токмо стоять с ним рядом, но подчиниться его благородной душе, и только его! Ты вплела твою прелестную жизнь в его жизнь-поэму. Поэтому обширную, как океан и небо, и вместе вы стали еще изящнее... Благословляю вас! Той силой, которую человек может двинуть гору, благословляю вас. Ни тени сомнения в вас ⟨...⟩ Слава тебе, Мария, богом избранная облегчить жизнь поэта, слава тебе! Береги его – поэт дитя" (XXII, 18–19).

Очевидно, что это письмо представляет собой литературное произведение в том смысле, что ему присуща сознательная стилистическая организованность. В письме к Огаревой сплошная – за исключением слов служебного значения – ткань поэтических слов, то оценочных (светлый, дивный, прелестный), то символических. Образы нагнетаются; жизнь сравнивается с поэмой, а поэма с океаном и небом. Наряду со словами и образами специально поэтическими в этом письме встречаются слова, употребительные в обыденной речи, но в контексте они обрастают ассоциациями, преобразующими их значение. Такие слова, как *сестра, друг, явление, сомнение, минута* – присущи бытовому разговору; здесь, однако, они предстают как носители важных и обширных жизненных смыслов.

Тот же семантический принцип в одновременно написанном письме к Огареву. "Я писал сегодня к Марии, я пламенно люблю ее, потому что понял, что она тебя *успокоила*" (XXII, 20). Обыденное слово *успокоила* Герцен превращает в многозначительное слово путем подчеркивания (склонность к подчеркиванию слов, к курсиву, Герцен сохранил и в пору наибольшей творческой зрелости). Слово *успокоила* сразу становится центром сложных ассоциаций. Вокруг него строится подразумеваемый сюжет (жизнетворчество) – мятежная душа поэта после долгих скитаний находит успокоение в вечно женственном начале. В следующей фразе Герцен сближает этот романтический сюжет с сюжетом евангельским: «"И аз упокою вас", – сказал Христос». И опять романтическая символика поглощает религиозную.

Но в письме к Огареву, по сравнению с письмом к Огаревой, есть и иные семантические элементы, – словоупотребление здесь имеет философский подтекст. "Это ⟨свидание четырех. – *Л.Г.*⟩ было венчанье сочетающихся душ, венчанье дружбы и симпатии" (XXII, 20). Для Герцена и Огарева слово *дружба* имело особый смысл – романтически-философский и в то же время революционный, политический (клятва на Воробьевых горах). Зато слово *симпатия*, казалось бы, выпадало из возвышенного контекста. Оно отнюдь не принадлежало к разряду слов, освященных русской поэтической традицией; оно несло на себе печать недавнего возникновения, что всегда снижает слово, придает ему прозаическую техничность, терминологичность. Но в данном контексте слово *симпатия* является словом – представителем определенного круга философских идей. У молодого Герцена слово симпатия встречается часто и всегда в том же философски-романтическом смысле взаимного притяжения, сродства, ассоциирующимся и с натурфилософией и с гетевскими "Wahlverwandschaften"[4*], которыми увлекались в кругу Герцена – Огарева.

Одна из частей (до нас не дошедшая) той художественной автобиографии, которую Герцен пытался создать в 1830-х годах, называлась "Симпатия". Так, в письме к Огареву общепоэтическая и религиозно-романтическая фразеология дополняется философской фразеологией кружка.

[4*] "Избирательными сродствами" (*нем.*).

В тот же день (21 марта), когда было написано письмо к Огаревой и Огареву, Герцен пишет Кетчеру все о том же свидании четырех: «Ну, брат Кетчер, ежели б жизнь моя не имела никакой цели, кроме индивидуальной, знаешь ли, что́ бы я сделал 18 марта? Принял бы ложку синильной кислоты (и не сказал бы о том твоему брату, который спасает от нее собак). Относительно к себе "я все земное совершил!"

Только еще и оставалось мне после Наташи желать, и оно сбылось, и как сбылось, четырехдневное, светлое, ясное, святое свиданье!

Мы инстинктуально все четверо бросились перед распятьем, и горячая молитва лилась из уст. Что за дивный, что за высокий Огарев! И она не совсем такова, как ты говорил, по твоим рассказам я только знал, что она умна, а теперь я увидел в ней тьму сердца, душу, раскрытую симпатиям высоким и обширным. Она достойна его. Зачем ты не мог взглянуть на эту группу счастливых, на эту группу, которая обратилась к небу не с упреком, не с просьбой, а с гимном, с осанной!» (XXII, 17).

Письмо Кетчеру посвящено тому же событию, отражает то же настроение, но от первых двух писем оно отличается отсутствием единства тона, т.е. отсутствием сознательного стилистического задания. Впрочем, в результате смысловой и лексической пестроты возникает самопроизвольно другой эпистолярный стиль, стиль непринужденной дружеской беседы. Об этом стиле сигнализирует уже обращение "Ну, брат Кетчер".

В письме к Кетчеру есть и *святое свидание*, и *уста*, и *дивный Огарев*, и *гимн*, и *осанна*. Наряду с этим есть и кружковая философская фразеология – *симпатия* (на этот раз дважды), *инстинктуально*, *индивидуальный* и проч. Тут же и дружеская шутка насчет собак, спасаемых от синильной кислоты. Шутка, совершенно невозможная в контексте письма к Огареву. В письме к Кетчеру вторжение шутки возможно именно потому, что это письмо – не произведение, что в нем нет единого стилистического принципа.

На "осанне" кончается поэтическая часть письма, и в последних абзацах Герцен переходит к обыденной, коммуникативной речи, где слова опять приобретают свое предметное, бытовое значение, где – без всяких иносказаний – говорится о пересылке книг, об условиях печатания в "Наблюдателе". Так образуется некий синтетический язык дружеской переписки. В этом словесном потоке то сочетаются, то поочередно всплывают стилистические пласты, отчетливо разделенные в художественных произведениях молодого Герцена и в его письмах высокого плана (письма к невесте, к Огареву, отчасти к Витбергу).

Письмо к Кетчеру дает понятие о тоне дружеской переписки Герцена 1830-х годов. В трех процитированных письмах – три стиля, отражающих разные автоконцепции молодого Герцена.

Стилистика дружеской болтовни, иронии, кружковой фразеологии, характерная для писем Герцена к товарищам, предсказывала уже будущее *отрезвление*, новый период развития Герцена. В 1840-х годах совершается решающий перелом. Для Герцена этой эпохи реализм, охватывающий все сферы жизни, – не что иное, как метод построения нового, разумного мира. Поэтому реализм – это прежде всего научная истина, трезвое знание, логический анализ, направленный на конкретную, материальную, монистически понимаемую действительность. Поэтому реализм – это в то же время непременно переход знания в деяние, теории – в практику построения нового мира.

Исходная реалистическая предпосылка развилась выводами гносеологическими, этическими, эстетическими и параллельно – выводами, связанными с социалистической теорией и социальной практикой.

Герцен эволюционирует одновременно как философ, как публицист, как художник. Кроме того, Герцен был одним из немногих деятелей русской культуры середины XIX в., сочетавших остроту естественно-научных и гуманитарных интересов. Вот почему для Герцена 1840-х годов характерно и чрезвычайное единство воззрения, и вместе с тем многообразие в творческом выражении этого воззрения – философские

статьи, роман, повести, первые опыты публицистики ("По поводу одной драмы" и др.).

Изменяется самый принцип выражения авторской личности. Личность теперь должна быть воспитана для трезвого познания и практического действия (тут-то и необходимо естествознание, приучающее видеть вещи такими, как они есть). Личность проходит жестокую школу подчинения закономерностям объективного мира – это одно из основных положений "Дилетантизма в науке", с особенной силой сформулированное в четвертой, завершающей статье: "Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью все отдать и в награду получить тяжелый крест *трезвого знания*" (III, 266).

Концепции научного познания соответствует концепция общественного поведения человека. Действительность должна быть теоретически познана и практически перестроена. Личность по-прежнему обладает безусловной ценностью и значимостью, но теперь личность – в том числе собственная личность – рассматривается как явление объективной действительности, подчиненное ее социальным, историческим, биологическим законам.

Среди всего этого субъективный автобиографизм 1830-х годов уже не находил себе места. Герцен сохраняет всю интенсивность самосознания, но для его выражения он находит теперь форму, далекую от непосредственности романтических признаний. Новый образ, образ носителя трезвой истины, стоит теперь за текстом статей "Дилетантизм в науке" и других произведений Герцена этой поры. Именно за текстом, поскольку этот образ не имеет теперь прямого автобиографического воплощения, столь характерного для юношеского творчества Герцена.

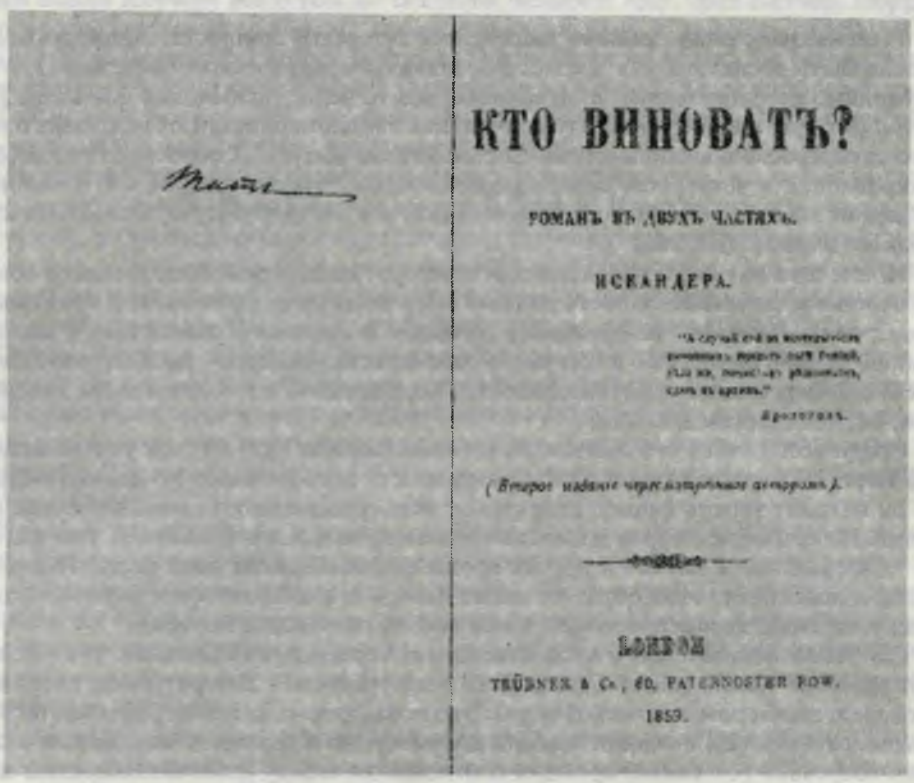
Особенно показателен в этом отношении герценовский Дневник 1840-х годов. Этот дневник – сознательный разрыв со всей традицией литературных дневников, исповедей, писем романтической поры. Это новая форма автобиографизма; не только идеологический и психологический документ, но и документ методологический. Здесь созревает тот самый принцип соотношения между действительностью и познающей мыслью, на котором зиждятся и зрелая публицистика Герцена и "Былое и думы".

Мысль, отправляясь от конкретного, единичного факта действительности, расширяется, абстрагируется в процессе теоретического обобщения, но с тем, чтобы снова вернуться к своему первоисточнику, т.е. к конкретной социальной действительности.

Даже интимнейшие переживания становятся в дневнике материалом для теоретической разработки. В 1843 г. между Герценом и Натальей Александровной разыгрался мучительный конфликт, история которого рассказана в "Былом и думах". Конфликт этот – увлечение Герцена горничной – широко отражен в дневнике, но отражен особым образом. Есть страницы лирические и патетические, передающие отчаяние человека, которому кажется, что он собственными руками навсегда разрушил свою великую любовь и свое семейное счастье. Но все это тесно сплетено с темой нового реалистического воззрения. Семейный конфликт ужасен, но в нем должны погибнуть иллюзии романтической любви (здесь кончается любовная эпопея 1830-х годов, миф о Наталье и Александре), и из него победившая любовь должна выйти отрезвленной, мужественной, реальной. И, как всегда у Герцена в 1840-х годах, все это граничит с мотивами социальными: "Зачем женщина вообще не отдается столько живым общим интересам, а ведет жизнь исключительно личную? Зачем они терзаются личным и счастливы личным? Социализм какую перемену внесет в этом отношении?" (II, 283).

Дневник 1842–1845 гг. – не столько документ самопознания, сколько документ познания объективной исторической действительности. Собственный душевный опыт, даже самый интимный, как бы ввергается в некий центробежный поток и, только удаленный этим потоком, становится предметом рассмотрения.

Преодоление романтизма предполагало прежде всего преодоление центростремительности романтического сознания. Титаническая автоконцепция 1830-х годов



КТО ВИНОВАТЪ?

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ИСКАНДЕРА.

LONDON

TRÜBNER & Co., 60, PATERNOSTER ROW.

1859.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА "КТО ВИНОВАТ?" (ЛОНДОН, 1859)

Экземпляр, подаренный Герценом старшей дочери

Титульный лист и форзац с дарственной надписью автора: "Тате"

Музей Герцена, Москва

подлежала пересмотру. Пафос преодоления придает этому пересмотру особую заостренность, полемичность.

Герцен ищет теперь объективные формы выражения, формы зашифровки своего душевного опыта. Между авторской личностью и действительностью строится опосредствующий мир художественной фабулы. Отсюда в 1840-х годах интерес к беллетристике, которую и до и после Герцен отказывался считать своим призванием. В 1830-х годах откровенно автобиографические фрагменты, в 1840-х – роман "Кто виноват?", в 1850–1860-х – "Былое и думы", возврат к прямому, непосредственному выражению авторского сознания, но уже на новой методологической основе. И, конечно, для того чтобы мог сложиться реалистический и исторический автобиографизм "Былого и дум", нужно было пройти через поиски объективности 1840-х годов.

В "По поводу одной драмы", в "Кто виноват?" художественно опосредствованы моменты пережитой Герценом первой семейной драмы – это самим Герценом засвидетельствовано. При этом существенно не то, что в произведениях 1830-х годов автобиографические элементы даны в более откровенной форме, существенно принципиально иное качество переработки автобиографического материала. Ведь, скажем, фабула ранней повести "Елена" также совсем не похожа на подлинные обстоятельства отразившегося в ней "вятского романа" Герцена. Действие перенесено в XVIII в. Сам Герцен превращается в князя, молодого екатерининского вельможу. Героиня – Медведева – из жены старого чиновника и матери троих детей превращает-

ся в бедную девушку, обольщенную князем; от князя у нее ребенок, вскоре после его рождения она умирает; князь сходит с ума. Фабула, таким образом, целиком выдумана. Но при этом сохранена психологическая, вернее – идеологическая ситуация. Изображен именно тот конфликт между случайным, "земным" увлечением и великой романтической любовью, который имел тогда место в жизни Герцена.

Между тем в произведениях 1840-х годов мы имеем дело вовсе не с душевным опытом автора как таковым, но, скорее, с некоторой концепцией, возникающей из этого опыта. Коллизия, изображенная в "По поводу одной драмы" и в "Кто виноват?", вовсе не отражает коллизии, пережитые Герценом.

Изменился принцип отношения к материалу. Ранее Герцен строил собственный сублимированный образ нераздельно в жизни и в литературе. Теперь он продолжает ощущать всю значительность своего психологического опыта, но стремится понять его как явление социальной действительности, включенное в ряд других явлений. Для того чтобы психологический факт приобрел общезначимый интерес, теперь недостаточно ему быть фактом душевной жизни Александра Герцена (в 1830-х годах вопрос, в сущности, так и ставился), исходя из того, что Александр Герцен – героическая личность; теперь этот факт должен быть теоретически осмыслен, должен приобрести познавательную ценность. Герцен не изобразил свой семейный конфликт в произведениях 1840-х годов; он взял только теоретический аспект этого конфликта и наполнил его иным содержанием.

В этой связи понятна установка герценовского дневника – сознательный разрыв с традицией романтических исповедей. В дневнике есть страницы большой лирической силы. Но не ими определяется его назначение, его целеустремленность.

Дневник Герцена – интеллектуальная лаборатория, в которой перерабатывается опыт умственной жизни и вырабатывается новое воззрение. Теоретической переработке и обобщению подвергаются не только результаты житейских наблюдений, встреч, разговоров, чтений, сокровенные переживания, которые по этому самому теряют свою интимность, – становятся фактом общего значения. Так, Герцен размышляет о значении общих интересов в жизни женщины, о формах семейных отношений при социализме – на материале личной драмы, переживавшейся так мучительно, что Герцен боялся за жизнь жены и сам поговаривал о самоубийстве. Страдания и смерть собственного ребенка, ужас перед возможностью новой потери вызывают размышления о случайности и о ценности настоящего.

В декабре 1842 г. Герцен записывает: "В ночь с 29 на 30 родился малютка, вечером 5 умер. Третий. Какой non-sens, какая оскорбительная власть случайности!" (II, 248). В этой связи следуют философские выпады против гегельянства, затем подробный рассказ о результатах вскрытия новорожденного. Герцен 1840-х годов погружался в раны своего сердца не с беззастенчивостью романтического самоаналитика, но, скорее, с беспощадностью ученого экспериментатора. И он имел мужество обращать в материал познания не только собственные горести, но и страдания самых близких ему людей.

Дневник Герцена – не только лаборатория идей, но и лаборатория стиля. Заведомо ясно, что перелом начала 1840-х годов должен был привести Герцена к новым принципам словоупотребления. Вместе с романтическим дуализмом неизбежно должен был рухнуть и сопровождавший его стилистический дуализм.

В начале 1840-х годов отчетливо изменяется и эпистолярный стиль Герцена; изменяется, потому что изменилась функция письма. Письма для Герцена перестали быть эстетическим фактом, элементом построения литературной и в то же время реальной личности автора (для романтического сознания 1830-х годов литературное и жизненное слиты нераздельно). Письма приобретают теперь характер коммуникативный, будь то деловое сообщение или дружеский обмен мыслей. В этих письмах (особенно в письмах к ближайшим друзьям), разумеется, по-прежнему можно найти и лиризм, и иронию, и шутку. Но все это уже отдельные элементы, вкрапленные в стилистически нейтральный текст. Исчезла система, исчез принцип стилистической организованности письма. И, надо сказать, исчез у Герцена навсегда. Позднейшее

эпистолярное наследие Герцена огромно, но он уже никогда не вернулся к письму как к осознанному эстетическому построению.

Объективирующая тенденция проходит через все виды творчества Герцена 1840-х годов – дневник, письма, статьи, беллетристику. Особенно полное свое выражение она получает в романе "Кто виноват?". "Кто виноват?" – центральное из художественных произведений Герцена 1840-х годов, и естественно возникает вопрос о соотношении между автором этого романа и его главным героем. Психологически Бельтов, конечно, не Герцен; он вовсе не автобиографичен. Но в Бельтове объективированы некоторые черты авторского сознания, которое мыслится обобщенно как сознание поколения. Это чувство обобщенной биографической связи автора с Бельтовым подтверждает письмо Герцена 1847 г. к Огареву. Говоря, по поводу Бельтова, о возможности воздействия труда и практической деятельности "на не из рук вон сильного человека, но на прекрасного и способного человека", Герцен добавляет: "Для того чтоб убедиться в этом, достаточно вспомнить биографии всех знакомых да и наши несколько" (XXIII, 34).

В соотношении Бельтова с другими персонажами романа нашла выражение философская проблематика Герцена. Намеченное в "Дилетантизме в науке", разработанное в "Письмах об изучении природы" противопоставление призрачного спиритуализма и "щупающего пальцами" эмпирического знания в "Кто виноват?" приобретает своеобразное сюжетное бытие, воплощаясь в основных персонажах романа (это не значит, конечно, что "Кто виноват?" сводится целиком к идее "Писем об изучении природы").

В "Кто виноват?" спиритуализм, "явление жалкое, бедное, безжизненное, питающееся чужой кровью", представлен в лице Димитрия Яковлевича Круциферского, в лице же доктора Крупова воплощена голая эмпирика; ведь Крупов – один из тех "цеховых натуралистов", о которых речь идет в первом из "Писем об изучении природы".

Третье лицо – Бельтов, потенциальный идеолог и деятель. Синтезируя Крупова и Круциферского, он мог бы воплотить собой *спекулятивную эмпирию* – провозглашенное Герценом сочетание опытного знания с диалектикой, равносильное выходу в деятельность, *одействотворению* ("Дилетантизм в науке"). Этому вполне соответствует характеристика Бельтова: "Лицо чрезвычайно деятельное внутри" и "одаренное смелым и резким мышлением".

Выход Бельтова в деятельность, однако, не состоялся. Это скрытый биографический корень романа. Ведь трагедия вынужденного бездействия, социальной неприменимости – это трагедия Герцена 1840-х годов, отразившаяся в дневнике, в письмах, в статьях. "Кто виноват?" – роман не автобиографический, но, так сказать, автоидеологический.

В январе 1847 г. Герцен покинул Россию, вовсе не думая, что покидает ее навсегда. Он становится свидетелем и участником событий, в конце 1840-х годов потрясших Западную Европу. Катастрофа европейской революции стала для Герцена личным катастрофическим опытом, переломом его самосознания.

"Письма из Франции и Италии" первоначально были задуманы в духе той объективации, которая отличает творчество Герцена начала и середины 1840-х годов. Герцен хотел написать историческую хронику, но не довел ее до конца. Причину он сам указал в третьем – от 28 августа 1848 г. – письме из цикла "Опять в Париже" (одна из ранних редакций "Писем"): "Больше двух месяцев прошло после того, как я писал мое второе письмо из Парижа. – Я не могу продолжить начатого рассказа так, как я его начал, – реки крови протекли между тем письмом и этим" (V, 346). "Реки крови" – это июньский разгром рабочего восстания в Париже.

Потрясение, идеологический слом 1848 г. сразу потребовали нового метода изображения. Но не сразу этот метод мог сложиться. Герцен еще делает попытку вернуться к исторической хронике. Но события не укладываются в прежние формы. Мысль работает в другом направлении, нетерпеливо перескакивает через факты, путая нить прагматического изложения, и оно обрывается, наконец, в самый напряженный момент.

"Письма" – это прежнее задание, которое сразу не удалось еще отменить. Но после Июньских дней, из Июньских дней возникает новая задача, которая – как это нередко бывает – сперва существует рядом и решается одновременно, пока не вытеснит все предыдущее. Эта новая задача осуществилась циклом статей, составивших впоследствии книгу "С того берега".

Все главы "С того берега", вошедшие в первое издание книги (1850), создавались параллельно письмам "Опять в Париже". И более того, "С того берега" (редакции 1850 г.) было закончено еще до написания письма, завершающего издание "Писем" того же 1850 г. Вот почему последние "Письма из Франции и Италии" по содержанию, по тону ближе к книге "С того берега", чем к предыдущим "Письмам". "Письма из Франции и Италии" – та вещественная основа, на которой вырастает трагическая и лирическая, философская и ораторская надстройки книги "С того берега". В "С того берега" совершается второе рождение автобиографического героя Герцена со всей его жизненной и философской позицией, с его судьбой и трагедией. В "Письмах из Франции и Италии" присутствует автор, рассказчик. Этот автор захвачен единой политической мыслью, но он почти лишен психологической характеристики. В "С того берега" все меняется сразу. Встает большой, трагический образ человека, имеющего власть проклинать и грозить гибелью старому миру. Автора и героя "С того берега" враги насмешливо называли русским "Иеремием, плачущим на развалинах июньских баррикад". И Герцен в открытом письме к Ш. Рибейролю заявил, что принимает это наименование (V, 223–224).

На рубеже 1840–1850-х годов Герцен, после временного отхода от автобиографизма, вновь обретает своего личностного героя. Но это не значит, что он вернулся к романтической автоконцепции 1830-х годов. За период объективации развился, углубился историзм Герцена. Историзм этот был заложен еще в 1830-х годах увлечением философией истории сенсимонистов; потом Герцен прошел школу самобытного русского гегельянства, переработанного притом революционной диалектикой. В конце 1840-х годов историзм Герцена как бы реализуется в практике бурных политических событий. При всем своем лиризме герой "С того берега" насквозь историчен, в сущности, даже лишен иного содержания, кроме исторического. Частное содержание, строившее герценовского героя 1830-х годов, здесь устранено. В авторском образе последних "Писем из Франции и Италии", в "С того берега" лично и страстно выразилась историческая драма русского революционера, потрясенного крушением европейской революции.

В книге "С того берега" Герцен говорит от себя и много говорит о себе – это произведение автобиографическое, но это особый исторический автобиографизм. "С того берега" – цикл статей, публиковавшихся в периодической печати, но Герцен подчеркнуто называл это произведение *книгой* и тщательно разрабатывал ее построение. Но единство в этой книге сочетается с множественностью авторских установок, отражающих разные грани исторического процесса. Исходная гуманистическая концепция человека, личная идеологическая катастрофа, признание гибели буржуазной революционности, требование "экстерминации"[5*] старого мира – все эти элементы "С того берега" находятся между собой как бы в состоянии взаимного притяжения и взаимного отталкивания. Вот почему для автобиографической сущности этой книги адекватной оказалась форма диалога.

В "Посвящении" к "С того берега" Герцен писал сыну: "...Не ищи решений в этой книге..." Но на самом деле конечные сочувствия и решения автора "С того берега" очевидны; и только по дороге к этим решениям вещи предстают во множественности своих аспектов, в диалектическом движении противоречий. И в "С того берега" наряду с диалогической живет монологическая стихия. Взволнованный голос повествования сплавляет сборник статей в поэму о двух мирах, о гибели старого и катастрофическом рождении нового мира.

В огромном монологе "С того берега", как в лирической поэме, основные моти-

---

5* "истребления" (от *франц.* extermination).

вы все время возникают, варьируются, переплетаются между собой. Но монологическое начало неотделимо от диалогического, потому что герой "С того берега" непрестанно спорит и борется со своими антагонистами. Это диалогическое начало дано иногда в прямой форме, иногда в скрытой или полускрытой.

В каждой главе "С того берега" существует автор или автобиографический герой, существует собеседник (воплощенный или подразумеваемый), существует, наконец, некий объект высказываний автора и споров. И в каждой главе эти три основных элемента – другие, умышленно взятые в разных аспектах. Это необходимая предпосылка для понимания "С того берега" как целостного художественно-философского единства. Объект всех диалогов и монологов "С того берега", в сущности, один – старый мир, но взятый в разных своих проявлениях. То это старый мир романтического идеализма и утопизма; то старый мир политической реакции; то старый мир буржуазной революции; то, наконец, старый мир косной мещанской массы.

В "С того берега" автор имеет дело с меняющимися объектами и с меняющимися противниками, поэтому сам он разный в разных главах этой книги. То это реалист, спорящий с идеалистом-романтиком и утопистом; то революционер и социалист, восстающий против реакции или буржуазного либерализма; то это "свободный человек" в борьбе со старой моралью. На протяжении книги сменяются образы, в личной, биографической форме воплощающие авторское сознание, и каждый из них несет в себе свое историческое содержание. Если в "С того берега" Герцен предлагает противоречивые решения, то потому, что это решения разных задач. Вернее, одной задачи – перехода от старого мира к новому, – но рассматриваемой в разных аспектах.

Если в "Перед грозой" автор – реалист в борьбе с романтическим идеализмом и утопизмом, если в "После грозы" он революционер, проклинающий политическую реакцию, то в главе "LVII год республики, единой и нераздельной" он прежде всего социалист в борьбе с "формальной" республикой.

В следующей главе – "Vixerunt!" – автор опять реалист в споре с романтиком; только на этот раз не с восторженным романтиком, но с романтиком разочарованным и впавшим в отчаяние. Опять изменился противник, и с ним вместе меняется автор; Герцен при этом не боится внешних противоречий. В "Перед грозой" он занимался отрезвлением восторженного идеалиста; теперь он спорит с тем же идеалистом, замыслившим уход от страшной действительности. И Герцен в "Vixerunt!" говорит прямо – уходить некуда и незачем, потому что и здесь найдется дело.

Изнутри Герцен, вероятно, не ощущал противоречий, потому что он спорил с разными воплощениями враждебного старого мира. Прекраснодушной восторженности он противопоставлял образ скептика и аналитика, малодушному либерализму – образ деятеля, исполненного мужества.

После споров между романтиком и реалистом в главе "Consolatio" происходит спор между романтиком и эмпириком. Но в этом споре автор не участвует; он передан двум персонажам – молодой даме в черном и пожилому доктору. Зато две следующие главы – "Эпилог" и "Omnia mea mecum porto" – самые личные главы книги.

"Эпилог 1849" – своего рода итог. Перед нами проходят опять основные мотивы "С того берега". Как в "После грозы", Герцен проклинает здесь террор контрреволюции; как в "LVII году..." и в "Vixerunt!", он клеймит "политических шалунов" либерализма; он опять возвещает социальный переворот и гибель старого мира во всех его проявлениях. Но над всем этим в "Эпилоге" господствует тема личной идеологической катастрофы, тема автобиографического героя. Поэтому лирическое и патетическое начало герценовской речи достигает в "Эпилоге 1849" предельного напряжения.

В первых главах "С того берега" автор – реалист, революционер, социалист – выступал против старого мира; в "Эпилоге 1849" автор самого себя включает в сферу критического рассмотрения, разоблачения, в той мере, в какой он сам прикосновенен к старому миру и с ним разделяет ответственность.

"Последние звенья, связующие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к дру-

гому; люди, отвязавшиеся от рода, разлученные с средою, покинутые на себя; люди ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества других, нам нету места ни за одним столом. Люди отрицания для прошедшего, люди отвлеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности" (VI, 113).

Но этот человек промежутка – имеет ли он право на уход? В "Эпилоге 1849" Герцен ставит этот вопрос, и опять, как в "Vixerunt!", еще последовательнее, чем в "Vixerunt!", решает его отрицательно; уходу он предпочитает "топор палача". И вот в "Omnia mea mecum porto" Герцен, казалось бы, дает прямо противоположное решение, от себя повторяя размышления доктора из "Consolatio" о мудрости "ухода" римских философов первых веков христианства; связывая право на уход с правом на "эгоизм".

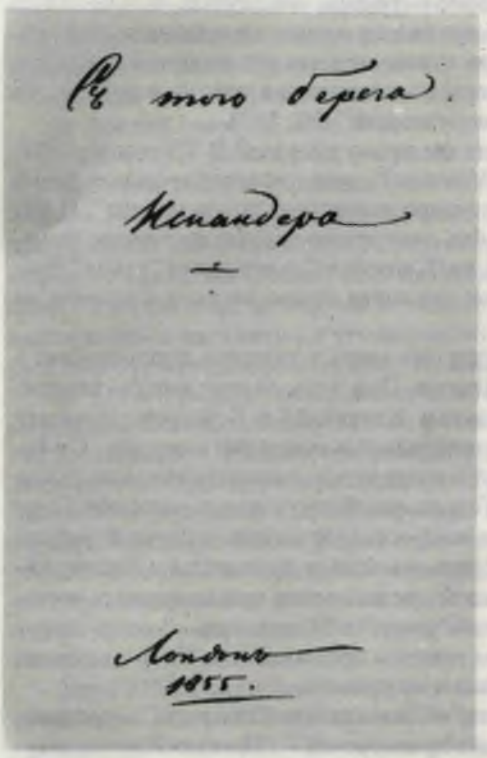
В "Эпилоге 1849" автор противостоит старому миру в двух его воплощениях – откровенной реакции и буржуазного либерализма. При этом первое как бы отодвигает второе на задний план. Ненависть к режиму Кавеньяка и Бонапарта внушает Герцену патетический язык безусловных отрицательных суждений и оценок. Он говорит о мести, об уничтожении, о том, что пойти под топор палача легче, чем сдаться врагу. В "Omnia mea..." объект меняется. Теперь это буржуазная революция. С переменой объекта возникает другое решение вопроса. Обращаясь к среде буржуазных революционеров, Герцен не может говорить о мести, о проклятии и "экстерминации". Тут у него другая задача. С этой средой прежде всего нужно порвать, освободиться от нее для новой жизни. Разговор об "уходе" в "Omnia mea..." – это спор с персонально не воплощенным, но стоящим за текстом противником. Спор с людьми, которые ничему не научились после постигшего их провала.

В прижизненных изданиях "С того берега" "Omnia mea mecum porto" – предпоследний раздел, за ним следует как своего рода приложение – "Донозо-Кортес, маркиз Вальдагамас, и Юлиан, император римский". Глава "Донозо-Кортес" не написана в диалогической форме, но в ней есть прямой "собеседник". Он отличается от предыдущих. Это не буржуазный либерал и даже не человек кавеньяковской формации, т.е. буржуазный "республиканец", превратившийся в душителя народных масс. Донозо-Кортес – чистый представитель старого мира феодально-монархически-католического. В разговоре с Донозо-Кортесом Герцен мгновенно забывает свои колебания, свою промежуточность; забывает и право на уход и право на эгоизм. В разговоре с этим противником он обретает язык трибуна, судьи, язык безусловных моральных ценностей и великих политических страстей.

Нельзя понять "С того берега", не поняв, что в этом произведении много раз меняются объекты полемики, тем самым меняется вся система аргументации автора, тем самым меняется автор. И все же это произведение необычайного единства, потому что все оно – протест против старого мира в разных его ипостасях. Построение это проникнуто автобиографическим началом, лирическим мотивом борьбы с самим собой как с человеком исторического промежутка. И автобиографизм Герцена теперь всецело историчен.

Герцен неоднократно подчеркивал лирический характер книги "С того берега". Специфика этого произведения – в сочетании лирического с историческим. Соотнесенность событий общего значения с личным, даже интимным существованием характерна для Герцена 1850-х годов, поры активнейшей работы над "Былым и думами". Особую остроту этой соотнесенности придала семейная драма, которую Герцен трактовал как событие, параллельное катастрофе европейской революции. Еще раньше, чем эта концепция реализовалась в "Былом и думах", ее предварительное автобиографическое осмысление совершается в частных письмах Герцена 1849–1852 гг.

Последние главы "С того берега", последние "Письма из Франции и Италии" создавались уже в условиях надвигающейся и потом разразившейся семейной драмы. Конфликт между Герценом и Г. Гервегом намечается в конце 1849 г., в конце 1850 г.



"С ТОГО БЕРЕГА"
Автограф, Лондон, 1855. Титульный лист
Публичная и университетская библиотека, Женева

происходит взрыв, затаенная вражда прорывается наружу. 1851–1852 – это годы борьбы за Наталью Александровну. Глава "Эпилог 1849" написана в конце 1849 г., "Omnia mea mecum porto", последние три "Письма из Франции и Италии" датируются 1850 и 1851 гг. В этих произведениях нет речи о частных семейных событиях, но голос автора звучит в них особенно лирически, лично. Параллельно в частных письмах этих лет возникает новый автобиографический образ – воплощение личного психологического опыта.

В 1849–1852 гг. частная переписка (письма к Гервегу, к Н.А. Герцен, позднее письма к М.К. Рейхель и проч.) опять становится важнейшим средством фиксации душевной жизни. Письма этих лет – уже не литературное произведение подобно письмам к невесте 1830-х годов, но они – решающий документ самосознания. Это как бы материалы для того автобиографического образа, который начиная с 1852 г. Герцен будет разрабатывать в "Былом и думах".

В многочисленных письмах к Гервегу 1849–1950 гг. по мере назревания конфликта Герцен все отчетливее строит этот образ, противопоставляя себя своему адресату с его слабонервностью, неуравновешенностью, эгоцентризмом. "Стоило нам перейти к вопросам психологическим, личным, как между нами непременно возникали столкновения. У меня всегда брали верх спокойный реализм, благожелательная гуманность, у вас – нет", – пишет Герцен Гервегу (XXIII, 238). И в другом письме: "Я был вынужден играть мою вечную роль прозаического человека" (XXIII, 270). Позднее в письме к М.К. Рейхель: "Шесть месяцев настойчивой клеветы, хитрого предательства, вечной угрозы самоубийства, вечного отчаяния – так резко оттенявшегося на моем светлом характере; ревнивого отчуждения себя от людей – в противность моей гуманности" (XXIV, 289). Гуманизм противостоит эгоизму, душевное здоровье, честность – предательству и патологии; реалист, "прозаический человек", человек трезвого ума противопоставлен дурному романтизму.

Речь идет, однако, не об оппозиции индивидуально-психологического порядка; к этой оппозиции есть исторический ключ, и его следует искать в герценовской постановке русского вопроса, к которому он подошел впервые именно в 1849 г.

"С того берега" не только подводит итоги герценовской проблематике 1830–1840-х годов, но открывает и новый счет. На страницах этой книги подготовляется проблематика Герцена 1850–1860-х годов – проблематика "русского социализма" и западного мещанства, кризиса капиталистической Европы и всемирно исторического назначения России.

В самом тексте "Писем из Франции и Италии" и "С того берега" тема России и Запада еще не раскрыта, хотя и назрела изнутри. Впервые раскрывается эта тема в двух письмах, которыми завершалось первое, немецкое издание "С того берега" и которые Герцен из обоих русских прижизненных изданий своей книги изъял. Это "Письмо к Г. Гервегу" и "Письмо к Джузеппе Маццини".

Очевидно, что Герцен снял письма в первую очередь по внешним причинам. В 1854 г. имя Гервега было самым ненавистным для него именем на земле. Он не мог печатать произведение, посвященное Гервегу, в самом своем тексте содержавшее обращения к Гервегу и свидетельствовавшие о личной и идейной близости. Оставить только письмо к Маццини не имело смысла. Во-первых, это значило бы подчеркнуть личные и мучительные для Герцена причины удаления письма к Гервегу; во-вторых, второе письмо отправлялось уже от идей, развернутых в первом. Оба письма способствовали тому, что книга отчаяния и скептицизма превращалась в книгу мучительного кризиса, но уже стремящегося к разрешению. Таким разрешением была все крепнущая уверенность в том, что новый мир разовьется из русской действительности. В "Письме к Г. Гервегу" Герцен впервые подробно изложил свою утопическую теорию русской сельской общины как формы общественных отношений, содержащих в себе возможность социалистического развития.

"Духовное возвращение на родину" сразу находит выражение в автобиографическом образе на рубеже 1840–1850-х годов. В частном письме к Гервегу Герцен оправдывает жесткость своего поведения своей "гиперборейской натурой" (XXIII, 262). В письме к М.К. Рейхель 1852 г. он говорит, что рок преследует "варвара, осмелившегося быть свободным человеком между крамольными холопами Запада" (XXIV, 291). Любопытно, что псевдонимом *Варвар* подписана первая, французская, публикация (1849) посвященного русскому вопросу "Письма к Г. Гервегу". Герцен много писал о людях нового мира, варварах, разрушивших старый мир разлагающейся Римской цивилизации. Для Герцена это устойчивая символика, и он применяет ее к собственной личности, к противопоставлению носителя русской идеи старому миру буржуазного Запада.

Позиция представителя русского дела – это высокая позиция, и она дает право на самоутверждение, в котором личное неотделимо от общественного. Через два месяца после смерти жены Герцен писал М.К. Рейхель: "Вы знаете мою жизнь с 1837 года. Она развивалась так пышно, я был так избалован любовью, дружбой, успехами, что беззаботно и самонадеянно отдавался судьбе, как будто нечего было бояться ⟨...⟩ Блестящий период русской жизни окончился торжественно прощаньем в Черной Грязи... Наша жизнь в Риме и первые месяцы после Февральской революции – составляют второй и последний период поэзии ⟨...⟩ Когда я совершенно ознакомился с людьми и делами в 1849 г. ⟨...⟩ тогда я понял, какое место здесь я займу и как подниму русский вопрос" (XXIV, 288). Русский вопрос оказывается, таким образом, апогеем, вершиной блестящего периода жизни.

Блестящий период закончился крушением, и соответственно это крушение трактуется как высокая трагедия. В августе 1852 г. Герцен объясняет московским друзьям свое молчание: "Не хочу расстроивать великой драмы, передавая ее бедными отрывками" (XXIV, 319–320). "Выше я никогда не стоял, я гордо несу венок с терниями на голове, я его несу, как корону" (письмо к Рейхель. – XXIV, 284).

События своей жизни Герцен осознает не только в общественных и нравственных категориях, но и в эстетических. Отсюда символика сцены, роли, жизни как трагедийного действа. "Может быть, годы пройдут прежде, нежели я увижу дом Сю, для меня это скала, к которой был прикован Прометей, – дом Дуйс и могилу. Но выбора нет, пятое действие несется быстро – веет концом" (XXIV, 279). В этой театрализации жизни Герцену мерещится даже опасность профанации чувства, профанации "манерой": "Моя высшая точка был этот *страстной год* ⟨...⟩ Далее самое это сделается ролей, манерой. Надобно удалиться со сцены, пятый акт оканчивается, театр покрыт гробами – кому же нужно видеть, как Тальма, после, у себя раздевается, как его кусают блохи и как он чешется. Живи или умирай, – это все равно, но знай, что ты доигран" (XXIV, 278–279). Замечательно в этой связи, что эстетическое преображение жизни, претворение жизненного материала в художественное произведение вызывают у Герцена сомнения этического порядка. В ноябре 1852 г., подавленный неудачей попытки организовать суд международной демократии над Гервегом, Герцен пишет Фогту: «Вы, как и Энгельсон, Эдмон и Тесье, слишком хвалите начало ме-

муаров ⟨...⟩ Писать мемуары вместо мемуара – это значит отречься почти от всего, стать вероломным, почти предателем и прикрыть литературным успехом свое нравственное поражение ⟨...⟩ Печальная история, разыгравшаяся у моего очага (да простит вас бог, если вам это покажется комичным), воспроизводит – с той же точностью, как аберрация звезд воспроизводит эклиптику – в миниатюре 24 февраля всех наций: доброе желание, энергетический порыв – затем одышка и остановка, порою смерть в грязи ⟨...⟩ я повторяю: "ничего не кончено", а он, может быть, тоже помышляет о литературном успехе» (XXIV, 364).

Но никакие сомнения не могли уже остановить неудержимый процесс осознания и художественного оформления жизни. Этот процесс автобиографической реализации наглядно прослеживается в ряде писем к Рейхель, Прудону, Мюллеру-Стрюбингу, написанных все в том же 1852 г. Среди них огромное исповедальное письмо к Э. Гаугу (от 16 марта 1852 г.) представляет собой подлинный сценарий рассказа о семейной драме в "Былом и думах". Письмо предвосхищает многие детали этого рассказа, а главное – в нем намечена уже расстановка и характеристика главных персонажей: идеальная героиня и два антагониста, в их противопоставленности. Человек старого мира – аморальный, эгоцентричный, слабый Гервег; человек нового мира Герцен – реалист, трезвый, прямодушный, гуманный. Противопоставление уже явственно окрашено историческими и политическими оценками.

Автобиографическая концепция, в самой жизни прораставшая в 1849–1852 гг., получила свое художественное воплощение в первых пяти частях "Былого и дум", над которыми Герцен работает в 1852–1856 гг. Первые пять частей "Былого и дум" и последующие три части отразили разные исторические эпохи и разные этапы миропонимания Герцена. Отсюда и разные принципы выражения авторского сознания. Три последние части – это циклизация объединенных общей мыслью очерков, этюдов. В них нет уже "единства действия", и создавались они вне целостного, в 1852 г. возникшего плана рассказать свою жизнь с начала и до катастрофы 1852 г. – вне связного повествования с явным сюжетным единством и отчетливой развязкой (в плане общего – крушение политических иллюзий; в плане личного – крушение домашнего очага и смерть Натальи Александровны).

Когда в 1860 г. Герцен приступил к подготовке лондонского издания "Былого и дум" (1861), основные главы шестой части были уже написаны, отрывки из нее даже напечатаны в пятой книжке "Полярной звезды". И все же, собираясь опубликовать первые пять частей (причем по личным причинам исключен был рассказ о семейной драме), Герцен рассматривал их как произведение *законченное*, как осуществление замысла, возникшего среди политических и личных событий рубежа 1850–1860-х годов. Об этой законченности прямо говорится в предисловии, написанном для лондонского издания: «Многие из друзей советовали мне начать полное издание "Былого и дум", и в этом затруднения нет ⟨...⟩ Перечитывая нынешним летом одному из друзей юности мои последние тетради, я сам *узнал знакомые* черты и остановился... труд мой был кончен! ⟨...⟩ Книга эта ⟨...⟩ долго заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться» (VIII, 9–11).

Первая редакция первых пяти частей создавалась в 1852–1855 гг. (в последующие два года Герцен перерабатывал, дополнял первоначальный текст). В это время Герцену все еще присуща была автобиографическая концепция, сложившаяся на рубеже 1840–1850-х годов. Вольная русская типография с 1852 г. внесла в это самосознание подъем, мотивы деятельности, практического осуществления русской идеи. Личная жизнь была высокой и прекрасной, она кончена, пришла к трагическому исходу; но личность утверждает себя в деятельности и борьбе.

В сентябре 1853 г. Герцен пишет московским друзьям: "Я жив и совершенно один, нет больше близких людей, хотя я окружен людьми. Сердце мое, от природы готовое любить, заперлось ⟨...⟩ Я никогда не был деятельнее. Внутри все изъязвлено... Я живу наруже. На нескладном, но сильном концерте я представляю собою русскую мысль. Бурями, волей и неволей, меня прибило к самому средоточию, к самой вершине ⟨...⟩ Страшная история, убившая Н⟨аташу⟩, раскрыла мне все преступное

безобразие, бродящее не в вражьем стану, а в нашем. На моей душе еще лежит необходимость этой исповеди, и я ее сделаю. Две русские натуры – aux prises[6*] с западным растлением" (XXV, 109–110).

Первые пять частей "Былого и дум" написаны с этой автобиографической позиции, она определяет оценки прошлого и настоящего. Для этих частей характерно открытое автобиографическое присутствие. В них история становления человека, освещенная проходящей через все творчество Герцена концепцией столкновения двух миров, старого с новым. В данном случае новый мир – это молодая Россия. Концепция эта объемлет все достижения и испытания героя.

Часть первая – это "годы учения". Из старого мира помещичьего бытия герой с усилием прокладывает дорогу в мир новых человеческих отношений. Вторая часть – "Тюрьма и ссылка" – столкновение героя с жестокой действительностью (крепостничество и бюрократия). Третья часть – становление героини, новой женщины, и воспитание героя большой любовью и реальностью семейных отношений. Ведущая тема четвертой части – формирование нового мировоззрения; Герцен сам определяет его как *реалистическое*, – и под этим углом построенная история русской общественной мысли 1840-х годов. Первая половина пятой части дает политический аспект столкновения русского революционера с Западом. Во второй ее половине политическая тема срастается с рассказом о семейной драме.

Надежды на очередную попытку переустройства мира потерпели крушение. Одновременно потерпела крушение и попытка героя основать свое семейное счастье на началах морали – разумной и свободной. Но все это не отменяет ни смысла борьбы, ни убеждения в том, что в конечном счете старое уступит новому дорогу. Таков сюжет первых пяти частей "Былого и дум".

1856 год – переломный год; в конце его Герцен сошелся с Натальей Алексеевной Тучковой-Огаревой. Сошелся, не любя ее по-настоящему, уступая ее страстному увлечению. Герцен дорого заплатил за этот шаг. Тучкова-Огарева внесла в его жизнь атмосферу тяжелой истерии, бесконечных, часто мелочных конфликтов и – самое мучительное для Герцена – непоправимого разлада с его детьми. Новые обстоятельства в корне разрушили образ личности, возникающий из писем 1852–1855 гг. и ставший прообразом героя первых пяти частей "Былого и дум". Ослаблены теперь основные мотивы самосознания Герцена этих лет: мотив священной верности памяти Натальи Александровны, мотив опустошенной жизни, в которой остались только две ценности – общее дело и дети, задача их воспитания, завещанная покойной женой. До конца Герцен обвинял себя в том, что вторым браком навсегда омрачил жизнь своих детей.

Новое самосознание возникло в связи с чрезвычайным подъемом общественной деятельности Герцена. Издания Вольной русской типографии приобретают все большее значение; после смерти Николая I резко возросло их влияние в России. 1 июля 1857 г. выходит первый лист "Колокола". Годы 1857–1864 – новый этап в истории самосознания Герцена. В письмах этих лет складывается новый автобиографический образ человека, знающего, что он опрометчиво разрушил высокий и трагический строй своего интимного бытия, но в то же время осознавшего свою общественную силу, самоутверждающегося в осуществлении русского дела. "Само правительство признало, – писал Герцен сыну в 1860 г., – что мы власть в общественном мнении" (XXVII, 13).

В главе "Былого и дум" "Апогей и перигей" Герцен сам назвал апогеем своей деятельности годы 1857–1863. Последующие годы он считал перигеем. Для "перигея" было много причин. Разночинная молодежь устремилась влево и пошла за новыми своими учителями, Чернышевским и Добролюбовым. Либералы-западники в начале 1860-х годов, напротив того, резко повернули вправо; "Колокол" больше их не уст-

---

6* в схватке (*франц.*).

раивал. Ко всему прибавилась непопулярность позиции, занятой "Колоколом" в деле польского восстания 1863 г.

Последний период жизни Герцена исполнен противоречий. Как социальный мыслитель и публицист, он достигает чрезвычайной зрелости и силы – особенно в "Письмах к старому товарищу". Мыслитель и художник, он в 1865–1868 гг. создает седьмую и восьмую части "Былого и дум" (шестая часть в основном написана еще во второй половине 1850-х годов). Но Герцен не хотел только писать, ему нужна была политическая борьба. Отрешенный крушением "Колокола" от практики революции, он мучительно переживает этот отрыв.

Теперь неурядице личной жизни не противостоит уже большая деятельность, как в 1857–1864 гг. Теперь уже не противопоставление, а горестные параллели: "Надобно было доносить траур 1852... Как месть за бесхарактерность меня преследует ненависть N⟨atalie⟩[7]* к детям покойницы ⟨...⟩ Работа, работа... И тут загвоздка. Я свое сделал. Платонически заниматься наукой не хочется, реально – не можется. Наше слово сказано и даже услышано. Другого у нас нет. Мы, как Диккенс, повторяем одно и то же" (1867. Письмо к Огареву. – XXIX, 245). Сознание проигранной игры – в общем и личном – все углублялось по мере того, как все безнадежнее становились попытки спасти "Колокол". В 1867 г. издание "Колокола" пришлось прекратить. Именно в этом году Герцен пишет Огареву: "Есть особенно горькое чувство ⟨...⟩ сознание ⟨...⟩ что человек ⟨...⟩ мог бы жить ⟨...⟩ деятельно на большой сцене, – знать это и чувствовать, что попал в какую-то мышеловку – и дверь захлопнута" (XXIX, 8).

В развитии самосознания Герцена юношеская романтически-индивидуалистическая элитарность сменилась идеей принадлежности к братству новых людей. Новые люди – тоже своего рода избранные люди, братство их – одна из нравственных и умственных вершин современного общества. Вот почему утрата иллюзий, личных и политических, отразилась в поздних письмах Герцена настойчиво звучащим мотивом *падения с высоты*.

В декабре 1866 г. Герцен записал в дневнике: "Гордый дух, живший в нас, сознание таланта, силы, может, превосходства, – заставляли нас думать, что все сойдет с рук безнаказанно.

Никому ничего не сошло ⟨...⟩

Неестественная высь, по которой мы шли, сделалась невозможной от нарушенного равновесия; мы шли, как лунатики, по краю крыши, срывались – падали и воображали, что все еще парим в выси.

Избалованные средой – сознанием своей силы – мы твердо верили, что будем жить на особых правах, как Бессарабия, – и первый удар сломивший был так горек и обиден – по сознанию, что мы приравнены к прочим. Ничего не оскорбляет больше людей эксцентрических, как тупое common law[8]*. Покончив со всеми романтизмами, мы все-таки мечтаем о von einer besseren Natur[9]* – нам все еще кажется, что право на насморк имеют одни простые смертные, – а мы кажемся себе не простыми ⟨...⟩ И я и О⟨гарев⟩ пришли к темному окончанию" (XX, 608–609).

Три дня спустя Герцен писал Огареву: "В Ницце в 1850 г. было первое крещение обыкновенной водой. Когда сломилась семейная жизнь, в которую я веровал, когда я увидел, что я и покойная N⟨atalie⟩ состоим под Common law, я с ума сошел от удивления, от унижения. А ведь несправедливо было состоять на особых правах, как Бессарабия" (XXVIII, 253).

Ситуация падения с высоты раскрыта с предельной ясностью.

Изменяющееся самосознание Герцена прошло через ряд автоконцепций, образов личности, определяемых всякий раз разными соотношениями между общим и личным. В героическом образе первой половины 1850-х годов преобладал еще личный трагизм, но изнутри сопряженный с общественной проблематикой судьбы нового человека в столкновении со старым миром. В конце 1850-х – начале 1860-х годов

---

[7]* Н.А. Тучкова-Огарева. – *Л.Г.*

[8]* обычное право (*англ.*).

[9]* лучшей природе (*нем.*).

определяется образ *деятеля*, потерявшего право на личную героическую и трагическую позицию, но сильного и торжествующего в своей политической борьбе. Дальнейшие годы – это трагедия рушащегося дела и распавшейся личной жизни.

Только период 1852–1856 гг. отразился в первых пяти частях "Былого и дум" с лирической прямотой, отразился связной судьбой человека, автобиографического героя. Герцен до конца сохранил остроту самосознания, потребность отдавать отчет в своей личности и мыслить ее как некую структуру. Начиная с 1840-х годов его письма перестают быть произведениями литературы, но они остаются средством подобного самоосознания и самоотчета. Но из поздних *произведений* Герцена исчезает автобиографический герой, развернутый, стоящий в центре внимания, автобиографический герой в том смысле, в каком он является нам в опытах 1830-х годов, в "С того берега", в первых пяти частях "Былого и дум".

Основные публицистические произведения 1860-х годов ("Концы и начала", "Письма к будущему другу", "Письма к противнику", "К старому товарищу") написаны в форме писем. Герцену нужна эта личная форма, для заострения своей позиции нужен подразумеваемый оппонент. И все же теперь это авторский голос мыслителя, публициста, а не частного человека в психологической конкретности его душевного опыта.

Личный, лирический тон пробивается крайне редко. Например, в четвертом письме к "Будущему другу", когда речь идет о декабристах: "Я четырнадцатилетним мальчиком плакал об них и обрекал себя на то, чтоб отмстить их гибель" (XVIII, 88). Интимные интонации звучат в начале третьего письма "Концов и начал". Но личное теперь сразу обрывается. Герцен не дает ему ходу.

Интересна в этом отношении творческая история писем "К старому товарищу". Первой редакцией первых писем является статья-письмо "Между старичками" (XX, 660–662). Герцен ее не опубликовал, и от нее до нас дошли только фрагменты. Судя по ним первоначальный текст был гораздо автобиографичнее окончательной редакции. Перерабатывая текст, Герцен явно устранял личный тон. Об этом он прямо пишет старшей дочери: "Полемика с Бак⟨униным⟩ идет своим чередом; я из письма моего вымарал личные намеки – и написал еще два" (XXX, 134).

Убывание автобиографизма имело причины внешние и внутренние. В 1860-х годах под влиянием массового крестьянского движения в России, отчасти рабочего движения на Западе Герцен пересматривает свое понимание личности в ее отношении к обществу, к народу. Он совсем расстается с романтическим индивидуализмом, в какой-то мере еще актуальным для него в 1840-х годах. А наряду с этим крушение высокого строя личной жизни. Герцен потерял тот голос, которым он привык говорить об этом высоком строе. Говорить о личном иначе он не хотел.

Прежний автобиографизм исчезает поэтому даже из произведения самого автобиографического по своему жанру, по замыслу – из шестой, седьмой, восьмой частей "Былого и дум". Только первая главка шестой части "Лондонские туманы" хранит еще лирическую, эмоциональную связь с предыдущим.

В марте 1866 г. Герцен отмечал в письме к Тучковой-Огаревой, что Огарев "стыдился сферы", в которую она стянула их (XXVIII, 164), – опять тема падения с высоты. Как мемуарист, как художник Герцен никогда не вступал в эту сферу.

Строя в "Былом и думах" автобиографический образ, Герцен вовсе не стремился к тому, чтобы все тайное стало явным. Он убежден, что есть факты внешней и внутренней жизни человека, которые незачем озарять светом анализа и художественности. Герцен – просветитель, и унижающая разумного человека патология не находит места в его системе рассмотрения душевной жизни.

Психологический роман второй половины XIX в. не останавливался перед анализом самых неприглядных ситуаций во всей их будничной жестокости. Для Герцена же это только плачевные задворки частной жизни – то, что должно быть *пропущено*. В творчестве Герцена границы изображаемого определены отчасти эстетическими навыками воспитавшей его романтической эпохи, тем культом прекрасного и гармонического, который еще в 1830-х годах сочетался с утопическими мечтами о

гармоническом социальном строе. Но прежде всего охват жизненного материала в "Былом и думах" определялся исторической задачей: изобразить становление положительного героя – деятеля русской революции. Он отнюдь не является "избранной личностью" в прежнем, романтическом смысле. Он теперь *представитель*, лучший представитель "образованного меньшинства", призванного возглавить освободительное движение России. Жизнь представителя – это жизнь показательная, и человек несет за нее ответственность перед людьми нового мира.

В последних частях "Былого и дум" автобиографического героя заменяет авторская *точка зрения*, система обобщений и оценок, сквозь которые Герцен непрерывно пропускает действительность. Причем это авторское сознание наделено вполне конкретными историческими, социальными, национальными чертами, присущими русскому революционеру.

Историческое самоутверждение Герцена теперь всецело выражается утверждением правильности своих политических суждений и общественных поступков. Автор как деятель и как мыслитель (правильно действующий и правильно мыслящий) противостоит хаосу европейских эмиграций, в седьмой части противостоит не только "лишним людям" всех разновидностей, но и в высшей степени деятельному Бакунину и руководителям польского восстания.

Восьмая часть "Былого и дум", казалось бы, складывается из мелькающих впечатлений и наблюдений. Однако при внешней фрагментарности эта часть – произведение более целостное, чем шестая и седьмая части. Фрагменты восьмой части – сгустки событий и характеристик, связанные единой концепцией. В восьмой части текущую европейскую жизнь 1867 г. Герцен созерцает все с той же точки зрения русского революционного деятеля.

Принципиальная правота не тождественна безошибочности общественного поведения. Герцен признает совершенные им ошибки, но толкует их как отступление от своей же правильной точки зрения. "Сколькими несчастиями было бы меньшей в моей жизни... сколькими ударами, если б я имел во всех важных случаях силу слушаться самого себя" (XI, 366). В черновой рукописи главы "Бакунин и польское дело" (часть седьмая) после этого следовала зачеркнутая Герценом фраза: "Я редко, очень редко останавливаюсь на себе и только потому и разрешил себе эти несколько строк". Эта фраза показывает, насколько изменилось в последних частях "Былого и дум" самосознание Герцена. Глава "Бакунин и польское дело" датирована 1865 г. Но еще гораздо раньше, в 1858 г., Герцен писал М.Ф. Корш: "Мне теперь собственно до себя – дела мало, я живу моей работой – она идет, звоним себе в *Колокола* – да и только" (XXVI, 193–194).

После устремления к объективации в произведениях 1840-х годов, после своей лирической публицистики, обогащенный всем этим опытом, Герцен в "Былом и думах" вновь возвращается к прямому автобиографизму, но теперь на новой реалистической основе. Герой "Былого и дум" исторически обусловлен, включен в причинно-следственные связи действительности. Охват этой действительности необычайно широк и многообразен.

"Былое и думы", несомненно, высшая точка развития автобиографизма в творчестве Герцена. Автобиографизм осуществляется в разных формах. Существуют автобиографический роман, автобиографическая хроника, разные типы мемуаров. Какова же специфика автобиографической эпопеи Герцена?

Мы знаем из письма к Рейхель от 5 ноября 1852 г., что Герцен, приступая к своему труду, колебался, писать ли ему "большой волюм или один мемуар" – "мемуар о своем деле", т.е. о семейной драме (XXV, 359).

Едва только замысел "большого волюма" окончательно возобладал, он определился для Герцена как замысел необычайный и огромный, как дело жизни. Понятно, что при таком творческом самоощущении Герцен должен был внутренне сопротивляться попыткам зачислить "Былое и думы" в ту или иную рубрику – например, в рубрику "художественных мемуаров" и т.п.

В своих письмах, в различных предисловиях и примечаниях Герцен чаще всего называл "Былое и думы" *записками*. Но для него записки – это условный термин, удобный именно своей нейтральностью, отсутствием определенного жанрового содержания.

В сентябре 1856 г. Тургенев писал Герцену: "Странное дело! В России я уговаривал старика Аксакова продолжать свои мемуары, а здесь – тебя. И это не так противуположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары – правдивая картина русской жизни, только на двух ее концах – и с двух разных точек зрения"[16]. Отнесение в разряд мемуаров "Былого и дум" вместе с "Семейной хроникой" Аксакова, которое имел в виду в своем письме Тургенев, сразу же вызвало сопротивление Герцена. Он отвечает Тургеневу: "Я не думаю, чтоб ты был прав, что мое призвание – писать такие хроники, а просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой формы" (XXVI, 60).

Смысл этого возражения Тургеневу в том, чтобы заранее отстранить всякие жанровые определения. Мемуары, хроника – все это Герцен воспринимал как неадекватное предпринятому им творческому деянию. Ему именно нужна была уверенность в том, что он совершает открытие, создает творение, не укладывающееся ни в одну готовую рубрику.

Это то творческое чувство, которое в высшей степени присуще было Толстому. В одном из черновых набросков предисловия к "Войне и миру" Толстой писал: "Больше всего меня стесняют предания, как по форме, так и по содержанию. Я боялся писать не тем языком, которым пишут все, боялся, что мое писанье не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории(...) Теперь, помучившись долгое время, я решился откинуть все эти боязни и писать только то, что мне необходимо высказать, не заботясь о том, что выйдет из всего этого, и не давая моему труду никакого наименования"[17].

Если старая история литературы трактовала "Былое и думы" как обычные мемуары с сильной примесью публицистики, то впоследствии наметилось противоположное стремление подвести "Былое и думы" под категорию романа, – конечно, особого, автобиографического и философско-публицистического романа. Однако исследователь, вступая на этот путь, рискует упустить в этом произведении особое качество познания. Ведь жанровая номенклатура важна нам не сама по себе, но в той мере, в какой она проясняет, уточняет для нас познавательный принцип произведения. Если бы Герцен стремился претворить свою жизнь в роман, он написал бы роман. Вместо того он создал произведение, в котором, подобно историку, оперирует конкретными фактами объективного мира, не созидаемого художником, но действительно существовавшего и существующего. При всем том "Былое и думы" – не историческая хроника и не исторический трактат. "Былое и думы" – непосредственное, без всяких фабульных прослоек художественное высказывание человека о жизни. Непосредственность авторского высказывания – это лирический принцип, в отличие от эпических форм, в которых авторское высказывание опосредствовано вымыслом, миром, созданным художником. Именно через построение этой отраженной действительности писатель реализует тогда свое понимание действительности реальной.

В романе – даже в самом автобиографическом романе – неизбежно оставалась дистанция между автором и героем, даже если герой этот являлся "рассказчиком". Эта дистанция возникала потому, что герой принадлежал построенной автором действительности. В классическом социально-психологическом романе XIX в. прямой авторский анализ только сопровождал синтетическое воссоздание действительности. Художник показывает действующих лиц в поступках, в разговорах, в размышлениях. И лишь попутно от себя объясняет, анализирует изображаемое.

У Герцена соотношение обратное. Основной элемент произведения, его живая ткань – обобщающая, аналитическая мысль. Конечно, это не научный силлогизм, который живет своим познавательным результатом, выводом. Здесь важен самый процесс протекания мысли. Происходит как бы своеобразная материализация мыс-

ли, реализующейся не в отвлеченном логическом чертеже, но в вещественности неповторимых смысловых сочетаний.

Все, что Герцен хочет сказать в "Былом и думах", он говорит прямо от себя, потому что в его системе между авторским сознанием и объективным миром нет никаких промежуточных инстанций. По отношению к прямому авторскому суждению в "Былом и думах" синтетическое изображение жизни является как бы иллюстративным материалом, что не мешает самоценности этих иллюстраций.

Так, Герцен не выводит характера из синтетически изображенных поступков, слов, переживаний человека (обычный путь художника), но, напротив, изображением действий и разговоров подтверждает концепцию характера, раскрытого в непосредственных авторских размышлениях, объясненного исторически и социально. Это настолько существенно для герценовского метода в "Былом и думах", что реализм зрелого Герцена может быть назван *аналитическим реализмом*.

Совершенно сознательно, исходя из всего предыдущего своего развития художника и публициста, Герцен решил создать автобиографическую эпопею, не претворяя ее в роман. И он понимал огромную силу этой непретворенности. Искусство обладает незаменимыми возможностями воздействия. Но наряду с этим существует не возместимое никаким искусством переживание подлинности жизненного события. Подлинная судьба подлинных людей, нисколько не утрачивая своей подлинности, предстает перед нами как закономерно развивающаяся драма, идеологизированная, освобожденная от эмпирического хаоса случайностей.

Действительность "Былого и дум" – это действительность *построенная*. Герцен превосходно владел основным и могущественным орудием художника – искусством отбора и сочетания элементов. Но в "Былом и думах" он сохранил свойственную историку и несвойственную романисту *ответственность за фактический материал*. Читательская уверенность в подлинности изображаемого – для Герцена – момент, необходимо входящий в его систему.

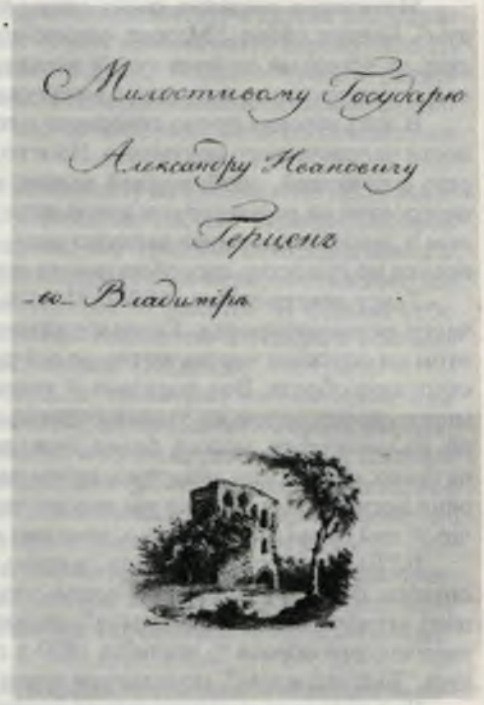
"Былое и думы" – не роман, – и, разумеется, не потому, что это произведение, недостаточно художественно написанное, но в силу иного, познавательного принципа, иного соотношения между художественным словом и стоящей за ним реальностью. Это соотношение существенным образом отличается от принципа художественных произведений, построенных на материале действительных событий и фактов. Фактичность, документальность романа или повести – это момент обычно, так сказать, внеэстетический (за исключением, конечно, исторического романа). Читатель может знать и может не знать о происхождении изображаемого из личного опыта автора. Это знание может оказаться существенным для творческой биографии писателя, для психологии его творчества, но для системы данного произведения оно, в сущности безразлично.

Существенно не происхождение факта из эмпирического, биографического опыта писателя, но дальнейшая его функция в художественном единстве произведения. При "генетическом" подходе к этому вопросу стирается разница между "Былым и думами" и, скажем, произведениями Толстого. Толстой воспроизводил действительные события собственной жизни и жизни своих близких не только в общих чертах, но нередко в конкретнейших мелочах и подробностях. Герцен же в "Былом и думах" вовсе не отличается особой фактической точностью; он по-своему компонует события и если не придумывает, то, по крайней мере, очень вольно воспроизводит диалоги. И при всем том "Анна Каренина" – несомненно роман, а "Былое и думы" – не роман, но, по определению самого Герцена, "отражение истории в человеке".

В "Былом и думах" реальность, фактическая достоверность изображаемого – момент, обязательный для читателя, т.е. обязательный для правильного восприятия произведения. Можно совершенно правильно, полноценно воспринимать "Анну Каренину", не имея, скажем, понятия о том, что сцена объяснения Левина с Кити – автобиографична, что Толстой, объясняясь с Софьей Андреевной Берс, писал первые буквы слов мелом на ломберном столе. Это факт, интересный для психологии твор-

чества Толстого, но более или менее безразличный для понимания "Анны Карениной" как явления литературы. Между тем для понимания, для восприятия "Былого и дум" вовсе не безразлично, если бы вдруг оказалось, что Герцен *на самом деле* не увозил свою невесту, не приезжал за нею тайком из Владимира и т.п.

Установка писателя на подлинность, фактичность произведения не всегда совпадает с фактичностью объективной. У Толстого, например, эта установка сильнее всего в "Детстве", "Отрочестве" и "Юности". И, несмотря на то, что эта трилогия – произведение скорее автопсихологическое, чем автобиографическое, в смысле фактических соответствий она воспринималась читателями на фоне мемуарной литературы. Таким образом, как мемуарный, автобиографический воспринимался даже вымышленный материал. Тогда как с "Анной Карениной" происходило как раз обратное – моменты автобиографические могли восприниматься как вымышленные, без всякого ущерба для понимания романа.



"ВЫШИТАЯ ПОРТФЕЛЬ", ПОДАРЕННАЯ ГЕРЦЕНУ П.П. МЕДВЕДЕВОЙ

Лицевая сторона с вышитой надписью: "Милостивому Государю Александру Ивановичу Герцен-во-Владимире"; внутренняя створка с вышитым рисунком и подписью: "Вятка 1838"

Музей Герцена, Москва

В автобиографических романах и повестях, даже самых "фактических", имена и фамилии действующих лиц почти всегда заменялись другими. Это вызывалось иногда внешними обстоятельствами, но, по существу, это акт вовсе не внешний и не случайный. Он сразу же обеспечивал писателю право на вымысел, освобождал его от ответственности историка за фактическую достоверность.

Действующие лица "Былого и дум" названы своими именами – и это момент принципиальный. В первопечатной редакции "Былого и дум", на страницах "Полярной звезды", Герцен, боясь повредить русским друзьям, заменял фамилии инициалами, – впрочем, достаточно прозрачными, – первых букв имени или фамилии (так, Н.П. Огарев обозначается инициалом Н. и т.п.). При первой возможности (смерть Грановского, переезд Огарева за границу) Герцен восстанавливал фамилию полностью[10*].

Герцен все время обращается к читателю, уверенному в подлинности его повествования. И в то же время он строит это повествование, организует его единой обобщающей мыслью, так же как он строил повествование в "Письмах из Франции и Италии", в "С того берега". И этот принцип строгой внутренней построенности (даже при внешней бесфабульности) настолько важен для Герцена, что он дает ему право свободной творческой обработки фактического материала.

Вот почему "Былое и думы", являясь важнейшим документом истории русского и общеевропейского общественного сознания, не являются в то же время достоверным источником чисто фактического порядка. Некритически, без тщательной проверки пользоваться "Былым и думами" – в качестве фактического первоисточника – неправильно.

10* Исключение, по соображениям, совершенно понятным, сделано для П.П. Медведевой. И после смерти Медведевой в 1860 г. Герцен продолжал ее обозначать латинской буквой Р. (начальная буква имени Pauline). Этой же буквой Герцен обозначает даже мужа Медведевой.

Мотивируя введение своих писем к Наталье Александровне в текст "Былого и дум", Герцен писал: "Может, они не покажутся лишними для людей, любящих следить за всходами личных судеб; может, они прочтут их с тем нервным любопытством, с которым мы смотрим в микроскоп на живое развитие организма".

В этих строках прямо говорится о том значении, которое Герцен придает подлинности человеческого документа. Но в то же время Герцен, как всегда, подчиняет эмпирию познающей, обобщающей мысли; в процессе художественного и философского построения он *редактирует* документы. Обработка писем и других документов в "Былом и думах" преследует двоякую цель. Либо это поправки стилистические, либо поправки по существу, способствующие воплощению творческого замысла Герцена.

Текст девяти писем 1832–1835 гг. к Наталье Александровне дан выборочно, отчасти перемонтирован. Герцен сжимает текст, делает его динамичнее, суше. При этом он опускает черты, которые сейчас представляются ему лишними, мешают построению образа. Вот подлинный текст письма от 31 декабря 1934 г." «У тебя есть много своего, зачем же ты так отдаешься в волю мою? Ты еще не совсем знаешь меня, во мне худого, может, более, нежели доброго; я знаю себя, мое воображение испачкано, мое сердце замарано, пятно разврата въедается глубоко, стереть его могут одни несчастия, зачем же ты говоришь: "Делай из меня, что хочешь?" Нет, я хочу, *чтоб ты сделала из себя то, что ты можешь из себя сделать*» (XXI, 29).

В "Былом и думах" между "в волю мою" и "я хочу, чтоб ты сделала" весь текст опущен. Выше речь шла уже о том, что в демоническую автоконцепцию юного Герцена входили мотивы "разврата", очевидно, сильно преувеличенные. Но для того исторического образа "идеалиста 1830-х годов", который Герцен создает в первых частях "Былого и дум", мотивы эти вовсе не нужны, и Герцен их опускает.

Что касается стилистических изменений, то преобладающая их направленность совершенно ясна: Герцен стремится упрощать, отрезвлять свой юношеский слог. Сохраняя характерную для изображаемой эпохи романтически-идеалистическую, в частности религиозную, фразеологию, Герцен в то же время сводит ее к минимуму.

Вот, например, подлинный текст письма из Крутицких казарм от 10 декабря 1834 г. (курсивом выделено все выпущенное Герценом в тексте "Былого и дум"): "Самое грозное для меня это разлука с Огаревым, *этот человек мне нужен, необходим, я без него – один том недоконченной поэмы, отрывок. И как он тверд в своем несчастии! Но его ли глубокой душе потрясаться от этих земных толчков*; его ни разу не видал – т.е. порядочно, но однажды я сидел один в горнице в Комиссии, допрос кончился, *но нам не дают встречаться*; из моего окна видны были освещенные сени; *вдруг* подали дрожки; я бросился инстинктом к окну, отворил форточку и видел, как сел плац-адъютант и с ним Огарев; *я весь дрожал, как влюбленный*, – но дрожки укатились, и ему нельзя было меня заметить; *я сам едва его видел, едва разглядел, – может, даже это был не он*. Неужели нам суждена гибель, *и какая гибель*, немая, глухая, о которой никто не узнает. Зачем же природа дала нам *эти огненные души*, стремящиеся к деятельности и к славе, неужели это насмешка – *о, в таком случае это самая забавная насмешка, так смеялся, я думаю, Абадонна, падая с рая в ад*. Но нет, здесь в груди горит вера сильная, живая. Есть провидение! Я читаю с восторгом Четьи-Минеи; вот где *божественные* примеры самоотвержения, вот были люди!" (XXI, 28).

Некоторые пропуски сделаны здесь для придания тексту большей сжатости, динамичности ("но нам не дают встречаться", "я сам едва его видел"), но в основном подверглось изъятию все чрезмерно романтическое и сублимированное: сравнение самого себя с "недоконченной поэмой", "земные толчки" (контраст земного и небесного), дрожь влюбленного, эпитеты *огненные, божественные*, образ Абадонны, падающего из рая в ад.

Переработка сделана с большим стилистическим тактом. Уничтожая романтические излишества, все то, что в 1850-х годах могло прозвучать как смешное или безвкусное, Герцен в то же время сохраняет приподнятую, восторженную словесную атмосферу 1830-х годов.

В основном тот же характер упрощения, *отрезвления* имеют и другие стилистические изменения. Например, в первоначальном тексте письма от 10 апреля 1835 г.: "О, тяжко чувство разлуки..." В тексте "Былого и дум": "Тяжело чувство разлуки..." В том же письме опущена чересчур романтически-идеалистическая фраза: "Итак, участь голубя тебя не пугает, голубь – что-то небесное, от него навевает не землею" (XXI, 39).

В XXI главу "Былого и дум" Герцен вводит автоцитату из письма к Наталье Александровне: "Я сделаю тебе странный вопрос: веришь ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, – одна дружба? – Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, – одна дружба? – *Я не верю*". Эта автоцитата подверглась переработке того же порядка. Первоначальный текст гораздо "романтичнее" – вместо: "Я сделаю тебе странный вопрос..." – "Я сделаю вопрос страшный. Оттого что я теперь в сию минуту безумный, иначе он не сорвался бы у меня с языка" (XXI, 53).

Герцен очень хорошо знал, что́ делает, опуская чрезмерно патетические или "трансцендентные" фразы. Самого себя, свою невесту, их отношения Герцен изобразил в "Былом и думах" как явления исторические, но в то же время он рукой мастера стирал те черты времени, которые в 1850-х годах придали бы этим отношениям характер архаический, придали бы им нежелательный для него интерес историко-культурной экзотики, который заслонил бы подлинную проблематику "Былого и дум".

Стилистической переработке подверглись и автоцитаты из дневника, введенные Герценом в XXVIII главу. Дневник 1840-х годов – это для Герцена уже документ эпохи отрезвления, тем больше у него было оснований стремиться приблизить язык дневника к своему языку 1850-х годов.

Значительные изменения внесены в "Былом и думах" в знаменитую запись дневника от 4 апреля 1842 г. (*выделено курсивом*).

Текст дневника [11*]:	Текст "Былого и дум"[11*]:
Господи, какие невыносимо тяжелые часы грусти разъедают меня! Слабость ли это? Или *последствие того развития, которое приняла душа моя, или, наконец,* мое законное право, *образ отражения во мне окружающего*?	Господи, какая невыносимая тоска! Слабость ли это, или мое законное право?
Неужели считать мне свою жизнь оконченною, неужели *все волнующее, занимающее меня*; всю готовность труда, всю необходимость обнаружения *схоронить*, держать под *тяжелым камнем, пока приучусь к немоте*, пока заглохнут потребности, – и тогда начать жизнь пустоты, роскоши? *Да, только последнее возможно, когда оно естественно течет из сущности известного рода плоскости духа, в этот мир чужой не взойдет.*	Неужели мне считать жизнь оконченною, неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаружения держать под спудом, пока потребности заглохнут, и тогда начать пустую жизнь?
Есть другая жизнь, прекрасная и высокая, чисто интенсивная, с единой целью внутреннего просветления, – но я чувствую, что середь тихих занятий кабинета подчас является ужасная тоска (II, 204).	Можно было бы жить с единой целью внутреннего образования, но середь кабинетных занятий является та же ужасная тоска

Герцен упраздняет и громоздкие романтические метафоры, и сугубо философскую фразеологию, бытовавшую в московских кружках. К последней категории относятся такие выражения, как "образ отражения во мне окружающего", как "сущность известного рода плоскости духа" или жизнь, "чисто интенсивная". Все эти обороты сняты Герценом или упрощены. Так, "жизнь, прекрасная и высокая, чисто инсентивная, с единой целью внутреннего просветления" превращается просто в воз-

[11*] Текст разбит на абзацы для удобства сличения. – *Л.Г.*

можность "жить с единой целью внутреннего образования". Изгоняются также эмоциональные повторения, нагнетения, громоздкие метафоры. Вместо "тяжелых часов грусти, разъедающих человека", – просто "невыносимая тоска" и т.п.

В том же направлении переработаны в XXVIII главе и другие авторские цитаты из дневника 1842–1843 гг. "Я не могу долго пробыть в моем положении, я задохнусь, – и как бы ни вынырнуть, лишь бы вынырнуть. Писал к Дубельту (просил его, чтоб он выхлопотал мне право переехать в Москву). Написавши такое письмо, я делаюсь болен, on se sent flétri[12*]. Вероятно, это чувство, которое испытывают публичные женщины, продаваясь первые разы за деньги" (IX, 95).

Эти строки – вовсе не подлинная запись, но монтаж, выжимка из большой записи от 8 апреля 1842 г. (II, 205–206). Смонтированы между собой только самые существенные, выразительные фразы. Первая фраза взята из другого места. Прибавлена объясняющая фраза в скобках; в подлинной записи дневника содержание письма к Дубельту определяется иначе: "Писал к Дубельту, чтоб уведомить его об отставке". Для читателя это было бы менее понятно, чем просьба о разрешении переехать в Москву.

Наряду с отрывками из собственных писем и дневников Герцен ввел в текст "Былого и дум" несколько отрывков из писем своей невесты, язык которых, по его словам, "прост, поэтичен, истинен" (примечание к XXI главе "Былого и дум". – VIII, 346).

Вводя эти письма в "Былое и думы", Герцен подвергает их обработке, явно направленной на то, чтоб устранить все нарушающее эту простоту и поэтичность; тем самым разрушающее гармоническую законченность созданного на страницах "Былого и дум" образа невесты.

В главу XXII введены отрывки из письма Натальи Александровны от 26 октября 1837 г., в котором речь идет об очередной попытке княгини Хованской выдать племянницу замуж. "Разговор, лица – все это так чуждо, странно, противно, так безжизненно пошло, я сама была похожа более на изваяние, нежели на существо живое, и все происходящее казалось мне тяжким, удушительным сном" (*Павленков*, 369).

Эту фразу Герцен переделывает, заменяя обороты, которые, очевидно, казались ему слишком книжными, архаическими или неправильными. Так, вместо: "я сама была похожа *более* на изваяние, *нежели* на существо живое" – у Герцена: "я сама была *больше* похожа на изваяние, *чем* на живое существо". Уничтожены не только книжные слова, но и книжные инверсии, речь звучит проще. Далее *удушительный* сон Герцен заменяет более правильным оборотом – *удушливый* сон.

В цитаты из самого себя Герцен вносит упрощение, отрезвление. Исходя из того же принципа, переделываются письма Натальи Александровны.

"Одна на краю пропасти, и целая толпа употребляет все усилия неизвергнуть меня в нее" (там же). У Герцена: "Одна на краю пропасти, и целая толпа употребляет все усилия, чтоб столкнуть меня".

"Но одно воспоминание – и душа встрепенулась, готова снова на бой, в доспехах неба и любви". У Герцена слова *неба и* – опущены.

В декабре 1837 г. Наталья Александровна пишет: "Сердце умерло для той жизни, которая меня окружала, тем более, что я не умела в ней сделать шагу, сказать слово, я чувствовала, что есть страна, где Божие создание ценится вполне, где не требуют, чтоб оно было переделано человеческими руками, и стремленье в тот мир становилось все сильнее и сильнее, и с ним вместе росло презрение к моей темнице и к ее жестоким часовым" (*Павленков*, 398). У Герцена вместо всего этого: "Стремление выйти в другой мир становилось все сильнее и сильнее и с тем вместе росло презрение к моей темнице и к ее жестоким часовым". Здесь дело не только в очищении языка от "романтических излишеств". Из подлинного письма Натальи Александровны совершенно ясно, что речь у нее идет о "загробном мире". В герценовском же тексте "стремление выйти в другой мир" можно понять как выход в мир других, свободных и разумных человеческих отношений.

[12*] чувствуешь себя запятнанным (*франц.*).

Этот момент важный и принципиальный для всей герценовской работы над фактическим материалом "Былого и дум". Герцен неоднократно упоминает о своих юношеских религиозных исканиях и настроениях; тем более о религиозных настроениях Натальи Александровны. Это было необходимой исторической чертой, чертой эпохи. Но Герцен-художник знал разницу между упоминанием, называнием явления и подробным его изображением. И он сознательно избегает подробного изображения религиозной атмосферы 1830-х годов. Тот образ самого себя, который Герцен создает в "Былом и думах", – это образ реалиста, "земного человека", от чьих рук "не вертятся столы" и от взгляда которого "не качаются кольца". В душевном облике невесты также всячески подчеркнуты ясность, высокая простота – задатки будущего отрезвления. Вот почему Герцен, упоминая о восторженной религиозности Натальи Александровны, живую ткань образа создает из других элементов. Он устраняет или смягчает сугубо идеалистическую словесную атмосферу писем и произведений 1830-х годов.

"Вообрази, – пишет Наталья Александровна, – они, желая очистить свою совесть, призвали священника, и княгиня спрашивала: не грех ли будет отдать насильно? Священник этот преглупый, так занят интересом и всем житейским, что не похож вовсе на служителя господня; он сказал, что это будет еще богоугодно – *пристроить сироту*!... Этому не бывать! я пошлю за своим духовником, открою ему все, он с душою, поймет меня и защитит". У Герцена переделано: "Желая очистить свою совесть, княгиня призвала какого-то священника, знакомого с З., и спрашивала его, не грех ли будет отдать меня насильно? Священник сказал, что это будет даже богоугодно пристроить сироту. Я пошлю за своим духовником, – прибавляет Natalie, – и открою ему все" (VIII, 354). Герцен устраняет объяснения, которые Наталья Александровна дает поведению священника. Из странного, противоречащего роли "служителя господня" это поведение – благодаря герценовской купюре – становится, напротив того, социально типическим. Фразу о духовнике Герцен оставляет в качестве напоминания о религиозной настроенности Натальи Александровны, но роль его сводит к минимуму.

Все это – тщательная работа над образом. Работа очень сложная, потому что Герцен стремится сохранить историческую атмосферу романтического идеализма 1830-х годов и в то же время подчинить это изображение реалистическому воззрению, которым проникнуты "Былое и думы".

В пятую часть "Былого и дум" Герцен включил предсмертное письмо Натальи Александровны к Гервегу. Это письмо Герцен перевел с французского подлинника, и, в общем, точно. И роль его в тексте "Былого и дум" иная, нежели роль отрывков из писем 1830-х годов. Это для Герцена не материал для дальнейшей художественной обработки, но документ против Гервега. В этом случае требовалась точность. Незначительные отклонения могли быть объяснены переводом. Впрочем, эти отклонения характерны; в них сказалось вольное или невольное стремление Герцена ослабить, затушевать то, что касалось чувства покойной жены к Гервегу. Так, "ma malheureuse passion" он переводит не "несчастная *страсть*", а "несчастное *увлечение*". Так же изменен смысловой оттенок во фразе: "Quant à ma promesse de venir vous voir un jour, oui, je l'ai faite"..." "Venir voir" означает навестить, посетить, зайти к данному лицу. Герцен передает это гораздо более неопределенным оборотом: "Что касается до моего обещания увидеться когда-нибудь с вами..."

Для метода "Былого и дум" в целом характерно обращение с фактическим и документальным материалом как с материалом, подлежащим еще переработке. Это относится не только к документам в узком смысле этого слова (дневникам, письмам и т.п.), но и вообще ко всей фактической основе "Былого и дум".

Герцен прежде всего переводит факты в другую тональность. Выше приведены относящиеся к новгородскому "свиданию четырех" письма Герцена к Огареву и М.Л. Огаревой, полные романтической экзальтации. В XXV главе "Былого и дум" сцена звучит иначе: «Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия – молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконеч-

ная дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадила. У меня в комнате, на одном столе, стояло небольшое чугунное распятие. "На колени! – сказал Огарев, – и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе!" Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обнялись» (IX, 12).

Исторически характерная сцена сохранена, но в другой тональности. Самый момент коленопреклонения и молитвы дан кратко, бегло, событие перенесено в психологический план (атмосфера молодости, любви, энергии). "Мистическое настроение" выступает здесь, в сущности, в функции эстетической, декоративной.

Герцен не только меняет эмоциональные и оценочные акценты, но он отклоняется и от точной передачи фактов. Значительная часть его неточностей умышленна. Это не ошибки памяти, но сознательная структурная переработка материала.

В главе XXIII Герцен рассказал историю похищения невесты. Глава называется "Третье марта и девятое мая 1838 года". В ней подробно описаны два тайных приезда Герцена в Москву из Владимира – 3 марта, когда он тайком виделся с Натальей Александровной в доме княгини Хованской, и 8 мая, когда он увез невесту из этого дома. Но при этом Герцен умолчал о том, что в промежутке, а именно 16–19 апреля, он еще раз тайком побывал в Москве, причем дважды виделся с невестой. Герцену нужно было выделить две священные даты, к воспоминанию о которых он возвращался в течение всей своей жизни, две вершины эмоционального напряжения. Промежуточное свидание только ослабило бы силу и стройность событий, и Герцен его отбрасывает.

В третьей главе Герцен неточно, очевидно по слухам, рассказал историю декабриста Ивашева и Камиллы Ледантю. В этом рассказе, между прочим, есть эпизод с сосланным разбойником, который вызвался быть посредником между Ивашевым и его невестой. Третья глава была напечатана во второй книге "Полярной звезды на 1856. В издании 1861 г. Герцен сделал к рассказу об Ивашевых примечание: "Люди, хорошо знавшие Ивашевых, говорили мне впоследствии, что они сомневаются в истории разбойника⟨...⟩ Подробности дела я слышал от Языковой, которая ездила к брату (Ивашеву) в Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойнике, я не помню. Не смешали ли Ивашеву с кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенскому через незнакомого раскольника?" (VIII, 60).

Это примечание методологически характерно. Если бы Герцен писал роман, он, вероятно, оставил бы эпизод с разбойником в первоначальном виде. Если бы он писал мемуары, он либо переделал бы эпизод на основе вновь полученных сведений, либо скрыл бы фактическую неточность. Герцен же ввел подстрочную фактическую поправку, а в тексте нетронутым оставил эпизод, уже заведомо неверный, но выражающий декабристскую героику.

Неточно переданы некоторые факты личной биографии Герцена. Неверно, например, что московский комендант Стааль отказался участвовать в комиссии, расследовавшей в 1834 г. дело Герцена, Огарева и проч. Но эта черта соответствует благородному облику Стааля в изображении Герцена. Неверно, что у Натальи Александровны были преждевременные роды через несколько дней после того, как Герцена в начале декабря 1840 г. вызвали в III Отделение. Наталья Александровна родила в середине февраля 1841 г. (сын Иван через несколько дней умер). Но эта неточность сгущает атмосферу ненависти вокруг Николая I и его жандармов.

Иногда Герцен превращает себя в свидетеля фактов, о которых он мог только знать, слышать от других. Тем самым эпизод приобретает большую наглядность, осязаемость. Так, в главе XXVII Герцен рассказал о том, как благодаря его стараниям был отдан под суд за жестокое обращение с крепостными новгородский помещик Струговщиков. "Дело пошло в Сенат, и я помню очень хорошо ту сладкую минуту, когда в мое отделение был передан сенатский указ, назначавший опеку над имением моряка и отдававший его под надзор полиции" (IX, 84). Между тем М.К. Лемке установил, что решение Сената по делу Струговщикова состоялось, когда Герцена уже не было в Новгороде.

Герцен свободно перестраивает действительность, но в то же время он ни на мгновение от нее не отрывается. Он вводит в текст "Былого и дум" документы, иногда перемонтированные, отредактированные, но он отправляется от документа. Например, в главе XXVIII Герцен говорит по поводу гибели своего слуги Матвея: "Может, – писал я тогда, – для него смерть – благо, жизнь ему сулила страшные удары, у него не было выхода. Но страшно быть свидетелем такого спасения от будущего. Он развился под моим влиянием, но слишком поспешно, его развитие мучило его своей неравномерностью" (IX, 103). Эта цитата смонтирована из отдельных строк (притом переделанных) большой записи в Дневнике. Но Герцену важна эта документальная, вернее, полудокументальная связь с действительностью; это право сказать: "писал я тогда..."

Из бесконечного множества жизненных фактов Герцен отбирал то, что могло с наибольшей силой выразить философский, исторический, нравственный смысл *действительно бывшего*. Так в "Былом и думах" рождается художественная символика.

Герцену нужно непрерывно поддерживать в своем читателе и в себе самом сознание подлинности изображаемого. Но подлинная действительность в "Былом и думах" – в то же время действительность, построенная, целеустремленно организованная и в самых общих своих очертаниях и в конкретных подробностях. И этим структурным принципом в мире Герцена является *историзм*.

Сопоставлять "Былое и думы" с трудами историков можно лишь в плане некоторых общих тенденций. Действительность в этой книге взята в другом разрезе, иной человеческий опыт является ее материалом. Но Герцен пристально следил за развитием историографии XIX в., особенно за теми ее представителями, которые стремились совместить научное исследование с художественным воспроизведением прошлого (Тьерри, Карлейль, Мишле). Организация действительных событий в структурное единство, построение характеров, индивидуальных и в то же время исторически обобщенных, символика выразительных деталей – все это сближает Герцена, автора "Былого и дум", с его старшими современниками, представителями новой исторической школы. Едва ли существует еще автобиографическое произведение, столь проникнутое сознательным историзмом, организованное концепцией столкновения и борьбы исторических формаций, вынесенной Герценом из школы русского гегельянства 1840-х годов и переработанной его революционной диалектикой.

Старший современник великих романистов второй половины века, свидетель их поисков, Герцен-писатель прокладывает свой особый путь. Ни тургеневская детализация внутренней жизни, ни диалектика души Толстого, ни психологические "бездны" Достоевского не определили его трактовку человека. Человека – в том числе самого себя – он познает его в историческом, а не психологическом качестве. Изображая характерных для русской действительности людей, Герцен назвал их волосяными проводниками исторических течений.

Присущая Герцену интенсивность самосознания вовсе не тождественна самоуглублению. Напротив того, титаническое, героическое жизнеощущение, которое он пронес сквозь первые пять частей "Былого и дум", даже исключало возможность скрупулезного выслеживания собственных противоречий. Обостренный интерес к душевным противоречиям и к подробностям психического процесса – два существеннейших признака психологизма XIX в. Между тем в "Былом и думах" переживания даны суммарно и прямолинейно, в очень ясных и скорее традиционных очертаниях, без стремления раскрыть многопланность, парадоксальность душевной жизни. И это при изображении даже самых резких конфликтов и нравственных потрясений.

В 1851 г., после страшных объяснений с женой, после изгнания Гервега, Герцен, чтобы переменить обстановку, поехал в Париж и Швейцарию с Энгельсоном. В главе пятой "Рассказа о семейной драме" об этой поездке говорится очень кратко. "Письма Natalie были покойны, на душе будто становилось легче" (X, 269). Дальше Герцен останавливается на встрече (в Женеве) с Н.И. Сазоновым, которая открыла

ему, что его семейные дела стали достоянием "европейской сплетни", и на жестоком письме, которое он написал жене после разговора с Сазоновым. Но до этого "жестокого письма" в течение той же поездки был написан еще ряд писем, которые отражают страдания и сомнения Герцена, резкую смену эмоций, переоценку прошлого и страх перед будущим. В "Былом и думах" все это полностью пропущено. После художественной обработки коллизия выглядит прямолинейнее, проще, чем на самом деле.

Та же простота основных очертаний в решающем объяснении Герцена с женой (глава "Еще год"). В поведении героя ничего непредвиденного, парадоксального или противоречивого. Все его реакции, закономерно сменяя друг друга, укладываются в некую психологическую норму. Сначала "дикие порывы мести, ревности, оскорбленного самолюбия". И даже внешнее их выражение традиционно: "Я стоял перед большим столом в гостиной, сложа руки на груди – лицо мое было вероятно, совсем искажено". Потом, при виде страданий Натальи Александровны, – порыв жалости, раскаяния, и опять самое прямое, обычное внешнее выражение этих чувств: "Этот вид бесконечного страдания, немой боли вдруг осадил бродившие страсти; мне ее стало жаль, слезы текли по щекам моим; я готов был броситься к ее ногам – просить прощенья" (X, 261). Наконец, после мучительного кризиса – примирение.

Психологическая стихия лишних людей – надрыв, напряженная рефлексия, объяснения, не упрощающие, а усложняющие душевную жизнь, – все это чуждо Герцену. Герцен не всегда сохраняет душевное равновесие, но всегда сохраняет ясность мысли, стремление рационализировать душевные события, свести их к возможно более простым элементам. В письмах Герцена 1850–1860-х годов, связанных с тягостными обстоятельствами его личной жизни, есть и отчаяние, и раскаяние, и сожаление о совершенных ошибках, но в них полностью отсутствует эстетика надрыва.

Русской интеллигенции 1830–1840-х годов свойственно было изощренное самонаблюдение, до крайности доведенная рефлексия. Навыки эти отчасти подготовили позднейшую русскую психологическую прозу[18] и в более чистом виде сохранились у бывших участников московских кружков 1830–1840-х годов.

Из философского опыта этих лет Герцен также вынес навыки теоретического осмысления, идеологизации частных фактов, но он применил их к тому философско-историческому анализу, который с наибольшей силой осуществлен в "Былом и думах". Проникнутая историзмом мысль Герцена ушла от "рефлексии".

Иначе Огарев. При всей личной и идеологической близости Герцена и Огарева мировосприятие их во многом различно. Огареву в высшей степени присущи пристальный самоанализ, интерес к противоречивой многопланности душевной жизни. Поэтому автобиографизм Огарева принципиально отличается от автобиографизма Герцена.

Об этом прежде всего свидетельствует "Моя исповедь" Огарева, от которой до нас дошли первые главы. Работу над ними М.В. Нечкина датирует 1856–1862 гг.[19] Обращая "Мою исповедь" к Герцену, Огарев ориентируется на "Былое и думы", но ориентируется с тем, чтобы подчеркнуть иную целенаправленность, несходство поставленных задач.

В первом же абзаце "Моей исповеди" Огарев писал: "Я хочу рассмотреть себя, свою историю ⟨...⟩ с точки зрения естествоиспытателя. Я хочу посмотреть, каким образом это животное, которое называют Н. Огарев, вышло именно таким, а не иным; в чем состояло его физиолого-патологическое развитие; из каких данных, внутренних и внешних, оно складывалось и еще будет недолгое время складываться ⟨...⟩ Нигде нельзя приписать результат какой-нибудь иной, не настоящей причине, нигде нельзя испугаться перед словом: *стыдно*! Мысль и страсть, здоровье и болезнь – всё должно быть, как на ладони, всё должно указать на логику – не *мою*, а на ту *логику* природы, необходимости, которую древние называли fatum и которая для наблюдающего, для понимающего есть процесс жизни. Моя исповедь должна быть отрывком из физиологической патологии человеческой личности"[20].

В огаревском понимании личности сказалось и наследие стихии самоуглубления людей 1830–1840-х годов, и тенденции психологии середины XIX в., искавшей опоры в физиологии, в химии и физике. Но в то же время Огарев мечтает уже о том, чтобы наука о психической жизни прорвала естественнонаучные границы и вышла в область общественных отношений. "Груба еще физиология, Герцен! Наука не берет в расчет всю текучую цепь нервных потрясений под впечатлением предания и современной общественности, а между тем жизнь интегрирует их в каждом росте организма. За непониманием этой постепенной интеграции ни физиология, ни история не поставили еще свои формулы, и с одной стороны только рассеянные наблюдения, а с другой – натянутые теории по крупным данным – и обе науки, которые должны составлять одно целое, хромают вразбивку"[21].

Рассказывая в "Моей исповеди" историю своего детства и отрочества, Огарев, подобно Руссо, касается вопроса детской сексуальности. Он также ищет физиологические основания не только любви, но и дружбы. Он говорит о своих отношениях с ровесником Федором Веревкиным: "Дружба эта была основана ни на чем, кроме потребности дружбы. И знаешь ли, что я скажу при этом?... Помимо научных, политических и умственных симпатий, дружба – так же, как и любовь к женщине, – явление нервно-физиологическое, состоящее под условием движения ведомых и неведомых в науке элементов". По замыслу Огарева его автобиография должна была быть и рассказом об умственном и нравственном развитии, и "отрывком из физиологической патологии человеческой личности"[22].

Характерны в этом отношении и письма Огарева к Герцену конца 1850-х – 1860-х годов (часть из них он писал, живя с Герценом под одной крышей). "Несмотря ни на какие трагические элементы, я пишу в настроении духа более чем спокойном, – мягком и хорошем. Даже привычка объективного анализа над самим собой – не мешает этому внутреннему настроению. А все же она и будет играть главную роль в этом письме, т.е. точка зрения психиатрии господствует надо всем; может, и в этом есть трагический элемент, но с ним не расстанешься, это кровь моих жил".

Далее идет "объективный анализ" чувства к Мери Сетерленд, с которой Огарев недавно сошелся: "Все это была бы смешная шутка, если б не шло в скептическое страдание с одной стороны, и в чувство какого-то странного счастия с другой".

Вслед за тем Огарев переходит к анализу своего отношения к бывшей жене, Наталье Алексеевне. "Ум мешается. Сон нейдет. Бывают страшно тяжелые минуты ⟨...⟩ Когда покончу все статьи, то постараюсь все существующие горько-сладкие, трагические и трагикомические стороны этой жизни приноровить к поэтической деятельности. Надо же знать и употребить в дело свое двойство, т.е. быть с одной стороны человеком разорванным в жизни, de facto, и в то же время спокойным наблюдателем своей жизни и артистом"[23].

Психический анализ Огарева не стремится свести душевную жизнь к более простым элементам. Разлагая, он вскрывает в ней множественность противоречивых уровней.

Он писал Герцену в 1860 г.: "Странно, что ты грубый патологический факт, как, напр⟨имер⟩, что человек без ног ходить не может, поймешь; а чуть патологическое явление потоньше, ты не можешь понять боли, которой не чувствуешь"[24].

Но по сути дело было не в том, что Герцен не мог "понять", а в том, что психологический, физиологический, патологический подход не был его подходом. Он видел человека в его исторических определениях – даже тогда, когда изображал патологию характера (Гервега, например). В своем историческом качестве увидены персонажи "Былого и дум", от главных действующих лиц до самых эпизодических.

Философско-исторический замысел "Былого и дум" (борьба старого и нового мира) определяет трактовку действующих лиц эпопеи в разных оценочных планах. А это, в свою очередь, вызывает разный подход к рассмотрению их душевной жизни. В "Былом и думах" существует идеальный план, план безусловно положительных исторических и моральных ценностей, в сущности, совершенно изъятый из области критики и анализа.



Н.А. ГЕРЦЕН
Дагерротип. Ницца, 1850
Исторический музей, Москва

К этому идеальному плану прежде всего принадлежит Наталья Александровна –жена, героиня "Былого и дум", образ, представляющий собой смелую попытку сочетать идеальную женственность с идеалом новой женщины, выдвинутым в мировой культуре эпохой утопического социализма. Героиня "Былого и дум" – первое русское воплощение женщины передовых общественных идей, сознательно перестраивающей личные отношения на началах самостоятельности и свободы. Следующий, более активный, вариант этого типа – тургеневская Елена ("Накануне") – относится уже к самому концу 1850-х годов.

И, как всегда для Герцена, эта идеальная концепция жены не только факт частный, интимный, но в то же время факт исторический и философский. Жизнь Натальи Александровны, по убеждению Герцена, была разрешением или опытом разрешения проблем новой морали, новой семьи, новой женственности. Содержание ее жизни приобрело общезначимое, теоретическое значение.

В качестве героини "Былого и дум" Наталья Александровна выше вины и ответственности (рассказ о семейной драме построен так, чтобы читателю не могло прийти в голову, что и Наталья Александровна в какой-то мере разделяет с Гервегом от-

ветственность за случившееся). Героиня "Былого и дум" не только изъята из психологического анализа, но она дана поверх среды, поверх социально-бытовых условий. Это образ исторический в том смысле, что он выразил определенный этап развития новой женщины, но выразил отвлеченно. Между тем, социальные предпосылки судьбы Натальи Александровны как раз очень специфичны. Дочь самодура-помещика и крепостной, "воспитанница" знатной московской барыни, она должна была испытать сильное давление среды. Но следы эти Герценом тщательно стерты с прекрасного образа. Бытовому анализу нет места там, где задуман апофеоз. Из анализа, в сущности, изъят и Огарев. Сначала это прелестный отрок, потом человек необычайной душевной чистоты и изящества, сочетающегося с силой и бесстрашием мысли. Этим почти исчерпывается Огарев "Былого и дум".

В идеальном плане даны и некоторые деятели мирового революционного движения – Ворцель, Маццини, Гарибальди – преимущественно люди боевой революционной практики. Из этого вовсе не следует, что Герцен соглашался с тактикой Маццини; напротив того, он постоянно критиковал деятельность Маццини и его друзей, идущую "наперекор фактам". Но Маццини для него высокий моральный образ, символ борьбы итальянского народа за независимость. В таком же суммарном и идеальном плане дано окружение Маццини: "Тут был и блестящий военный штаб неаполитанских офицеров, как Пизакане, Козенц и братья Меццакапо, тут были и трастеверинские плебеи, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в беде, скромные и несокрушимые, как Пианори, и рядом с ними тосканцы, изнеженные даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди, целиком взятый из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Феличе Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота "(X, 71–72).

Достаточно сравнить эти строки с жестокими, разлагающими характеристиками Луи Блана, Ледрю-Роллена и прочих деятелей "парламентских революций", чтобы убедиться, что у Герцена были разные методы рассмотрения людей.

В идеальном плане трактуется Белинский, а также Грановский, Станкевич. Но русский материал у Герцена всегда конкретнее, вещественнее западного. И в идеальные образы русских современников Герцен в большей степени вносит элементы социальной характеристики и анализа.

Персонажам идеального плана противопоставлены носители социального зла, люди враждебного, разоблачаемого мира, будь то Николай I, Бенкендорф, Аракчеев, Тюфяев с его вятскими подручными или комиссар французской полиции и "шпионствующий юноша" при республиканском комиссаре. Герцен поступает с ними как политический памфлетист и сатирик. Он трактует их также однопланово с противоположной оценкой, без дальнейшего разложения и анализа.

Наряду с методом возвышающим и с методом полемическим в "Былом и думах" существует еще один метод изображения человека, для "Былого и дум" самый типичный: метод аналитического построения характера. Причем это всегда анализ исторических определений человека.

Аналитическим способом строится в "Былом и думах" ряд монументальных персонажей, воплощающих герценовское понимание исторических процессов. Таков, например, образ В.А. Энгельсона. В Энгельсоне, с которым Герцен долго был близок, он открыл тот самый психический тип, на котором сосредоточено внимание Достоевского. Для Герцена его собственное поколение и поколение Энгельсона принадлежат двум разным историческим формациям – дониколаевской (хотя в детстве он и его сверстники дышали еще воздухом декабризма) и николаевской. Из этой предпосылки теоретически выведен Энгельсон: "На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей, не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же *видовым, болезненным надломом* по всем суставам. Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей ⟨...⟩ Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно

поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни (X, 345). Эта характеристика заставляет вспомнить теорию надрыва, развернутую в "Записках из подполья" Достоевского. Но очерк "Энгельсоны" написан в основном в 1858 г., "Записки из подполья" появились в 1864 г. Герцен пришел к пониманию новой разновидности эгоцентрического человека со своих собственных позиций и независимо от Достоевского.

В "Былом и думах" одно из замечательнейших писательских достижений – это образ отца Герцена, И.А. Яковлева. Монументальный образ русского вольтерьянца, оторванного от народной жизни, непосредственно включается в большой план истории. Черты его характера для Герцена – "следствие встречи двух вещей до того противуположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей, ужасно способствующей капризному развитию, – помещичьей праздности" (VIII, 86). Ключ к этой формулировке – понимание XVIII века как века просвещения и революции. Русское аристократическое вольнодумство XVIII в. представляет в сочетании скептицизма и дворянской спеси, крепостнических навыков и пренебрежения к русской культуре. Механизм теоретического объяснения характера не остается за текстом, как обычно в романе середины XX в., он открыто и непосредственно введен в произведение. Изображению Ивана Алексеевича предшествует анализ обусловивших его предпосылок. Из них основная – непоправимая социальная изоляция. Отсюда презрение к людям, культ внешних приличий, ожесточение, мнительность, даже скупость как одно из проявлений страха перед жизнью, недоверия к внешнему миру.

Но в "Былом и думах" механизм теоретического объяснения характера оброс живой плотью конкретности, подробностями неповторимо единичными: «За кофеем старик читал "Московские ведомости" и "Journal de St.-Pétersbourg"; не мешает заметить, что "Московские ведомости" было велено греть, чтоб не простудить рук от сырости листов, и что политические новости мой отец читал во французском тексте, находя русский неясным» (VIII, 93).

Здесь в фокусе сжато большое социальное содержание. Мнительность старика дошла до того предела, до которого она доходит только у человеконенавистников, а мизантропия Яковлева тесно связана с отрывом его круга от русской культуры и народа. Так между подогретыми листами "Московских ведомостей" и чтением новостей по-французски возникает внутренняя связь[13*].

В 1854 г. П.В. Анненков хвалил Тургенева за то, что у него "мысль ⟨...⟩ всегда скрыта в недрах произведения": "Произведение должно носить в самом себе все, что́ нужно, и не допускать вмешательства автора. Указания последнего всегда делают неприятное впечатление, напоминая вывеску с изображением вытянутого перста"[25]. В "Былом и думах" вытянутый перст авторской мысли встречается на каждом шагу. Герцен берет действительно существовавшего человека в действительно существовавших обстоятельствах и теоретически объясняет закономерности, управляющие поступками, жестами, словами этого персонажа, индивидуального и конкретного представителя общественного пласта.

В "Войне и мире" широко использована семейная хроника Толстых и Волконских. В числе других персонажей изображен дед Толстого – Н.С. Волконский[26]. Из материала этой биографии возник образ старого князя Болконского – художественный символ старинной русской аристократии. В "Былом и думах" Герцену также нужно было обобщить историческую судьбу русской аристократии XVIII в. Источником, жизненным материалом ему послужил его отец. Но в системе Герцена первичный жизненный опыт не остается за текстом, а в тексте не возникает "вторая действительность", промежуточное звено вымышленного персонажа, – первичный жизненный материал, сам становясь предметом анализа, непосредственно воплоща-

---

13* Богатый материал для размышлений и выводов дает публикуемая в наст. кн. работа А.Г. Тартаковского об отце Герцена – "Переписка И.А. Яковлева с А.И. Михайловским-Данилевским". С этой работой покойному автору данной статьи, к сожалению, ознакомиться не пришлось. – *Ред.*

ет идею художника. Акт вполне творческий, потому что для этого нужно привести в систему эмпирические проявления личности, найти ведущее, соотнести разрозненное, обобщить единичное, – словом, познать связи отдельной душевной жизни. В применении к персонажам "Былого и дум" аналитическое исследование автора всякий раз является также актом создания эстетического единства, конкретной художественной формы.

Все это относится не только к людям, вошедшим в историю, – таких много в "Былом и думах", – или явно сформированным историческими событиями и условиями, но и к личностям, самым частным. Вот, например, история сближения друга Герцена и Огарева – Н.Х. Кетчера с бедной сиротой Серафимой. Кетчер бросил было Серафиму, но потом, растроганный ее преданностью, на ней женился. "Она окончательно испортила жизнь Кетчера ⟨...⟩ Между Кетчером и Серафимой, между Серафимой и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв ⟨...⟩ Мы и она принадлежали к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории. Мы – дети новой России, вышедшие из университета и академии, мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие ⟨...⟩ – и она, воспитавшаяся в раскольническом ските, в допетровской России ⟨...⟩, со всеми предрассудками прячущейся религии, со всеми причудами старинного русского быта" (XI, 236–237). Коллизия Кетчера и Серафимы – не психологическая коллизия двух любовников, обладающих разными социальными навыками, но коллизия двух культурных стадий, двух "возрастов человечества".

Из принадлежности к допетровской формации русской жизни выводится вся психика Серафимы с ее "упирающимся пониманьем", нежеланием развиваться. Круг Кетчера принял Серафиму с восторгом и погубил ее окончательно, превратив ее неразвитость в позу, внушив ей, *что и так хорошо*. "Но оставаться *просто* по-прежнему ей самой не хотелось. Что же вышло? Мы – революционеры, социалисты, защитники женского освобождения – сделали из наивного, преданного, простодушного существа *московскую мещанку*! Не так ли Конвент, якобинцы и сама коммуна сделали из Франции мещанина, из Парижа – épicier[14*]?" (IX, 242). Внезапный, но в системе герценовского мышления совершенно закономерный переход от Серафимы, сбитой с толку перемещением в непривычную среду, к западному мещанству, которое Герцену представлялось историческим последствием *неудавшихся переворотов*.

Эпизодические фигуры "Былого и дум" это тоже волосяные проводники исторических течений; они в высшей степени уточнены. Герцен не изображает бюрократа вообще. Он закрепляет целый ряд разновидностей царской бюрократии, от петербургских сановников до вятских исправников, диких городничих и чиновников тюфяевских канцелярий. Вятский губернатор Тюфяев – в прошлом бедняк-мещанин, беспаспортный бродяга и странствующий комедиант, потом арестант, потом чиновник, начавший с писаря и, наконец, отличенный Аракчеевым. Из этих данных выводится восточный сатрап Тюфяев. Тюфяев не берет взяток – факт поразительный в этой среде; он не берет взяток из властолюбия, из озлобленности, чтобы вернее отомстить за прошлые унижения, которые навсегда зародили в нем живую ненависть ко всему аристократическому. Тюфяев – монументальная фигура, воплощение аракчеевщины. Сам Аракчеев в трактовке Герцена – человек того же исторического склада. "Рутина и деятельность, ровно столько ума, сколько нужно для исполнителя, и ровно столько честолюбия, зависти, желчи, чтобы предпочитать власть деньгам" (IX, 87).

А вот преемник Тюфяева, губернатор Корнилов, лицеист, однокашник Пушкина, доктринер и несколько педант, любящий побеседовать "о предметах важных". В отличие от Тюфяева, выслужившегося из писарей, Корнилов – бюрократ, принадлежащий к светскому кругу.

Другая разновидность бюрократа "из хорошего общества" – подробно изображенный Д.П. Голохвастов, двоюродный брат Герцена, англоман, знаток античной литературы и лошадей. Голохвастов был назначен товарищем попечителя Москов-

---

[14*] лавочника (*франц.*).

ского учебного округа. Образованный, светский и даже слегка либеральный Голохвастов немедленно превратился в душителя университета. "С вступления в университет он становился ex officio[15*] со стороны всех стеснительных мер, он считал это необходимостию своего сана" (IX, 193). Это очень точно выявленная историческая черта. Голохвастов – бюрократ николаевской эпохи, а всякий делающий карьеру николаевский бюрократ является механическим проводником реакции, невзирая на свое прошлое, свои личные вкусы и культурные навыки. Если герценовский Тюфяев – чиновник аракчеевского типа, то герценовский Голохвастов – чиновник блудовского и в особенности уваровского типа. Ведь и Уваров, усердный министр Николая I, – "арзамасец", ученый классик, литератор и в молодости либерал.

В пересечении со множеством исторически трактуемых человеческих судеб развертывается судьба центрального автобиографического героя.

Вне исходной исторической концепции "Былого и дум" невозможно было бы противопоставление Герцена и Гервега, на котором строится рассказ о семейной драме в пятой части; невозможно было бы столь необходимое Герцену моральное осуждение Гервега. В чем виноват Гервег? В эгоизме? – но Герцен, как все революционные демократы 1840–1860 годов, упорно отстаивал "высокий" эгоизм против официальной и религиозно-аскетической морали; в необузданности страстей и жажде наслаждений? – но Герцен признал за человеком право на наслаждение; в том, что он обманывал друга? – но эту ложь и обман разделяла с Гервегом Наталья Александровна, идеальная героиня "Былого и дум". И все же в рассказе о семейной драме Герцен точно прокладывает границу между добром и злом, превращая ее в историческую границу между старым и новым миром. Герцен вспоминает прочитанный в юности французский роман "Арминий": "Все мы знаем из истории первых веков встречу и столкновение двух разных миров: одного – старого, классического, образованного, но растленного и отжившего, другого – дикого, как зверь лесной, но полного дремлющих сил и хаотического беспорядка стремлений, т.е. знаем *официальную*, газетную сторону этой встречи, а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не судьбы лиц, находившихся в прямой зависимости от них и в которых без видимого шума ломались жизни и гибли в столкновениях. Кровь заменялась слезами, опустошенные города – разрушенными семьями, поля сражений – заброшенными могилами. Автор "Арминия" ⟨...⟩ попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю, другого, идущего из истории в гроб ⟨...⟩ мне не приходило в мысль, что и я попаду в такое же столкновение, что и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колей истории" (X, 238).

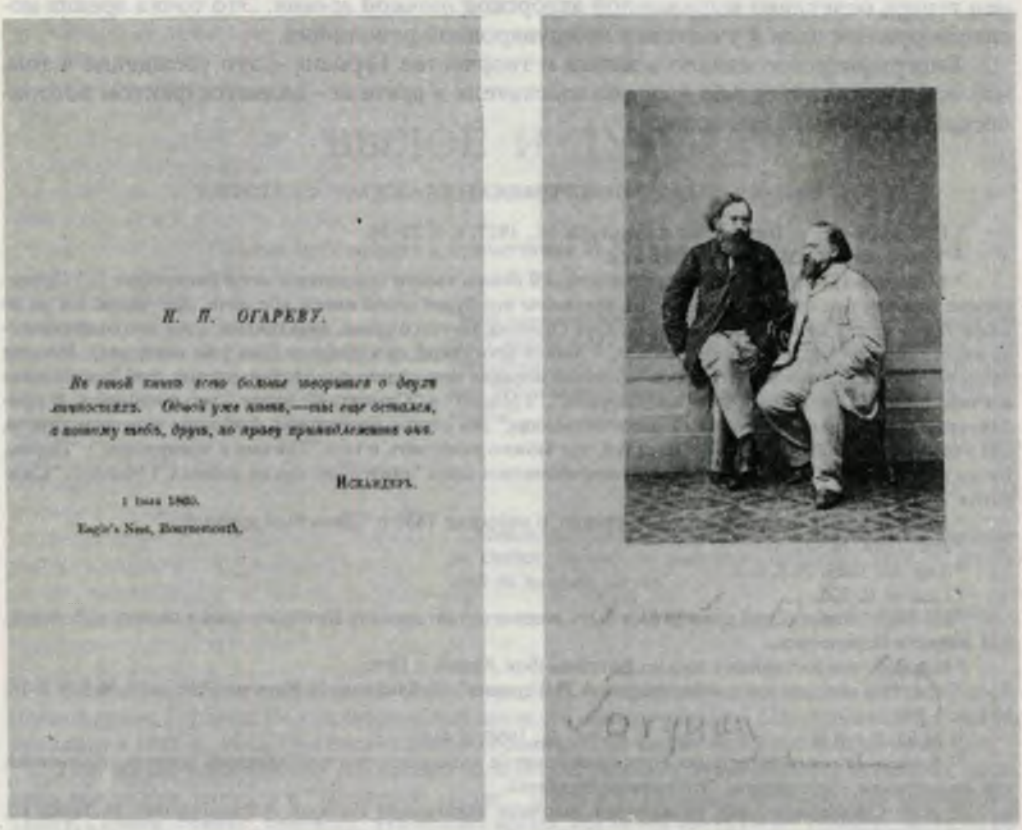
В "Былом и думах" самоутверждение не становится самолюбованием, потому что оно направлено не на человека как замкнутую в себе величину, но на деятеля, на историческую функцию человека. Участников семейной драмы Герцен превращает в представителей двух исторических формаций – молодой России и буржуазного Запада. Именно этим, а не запретами и предписаниями имеющей хождение морали определяется виновность одного и правота другого. Страница, посвященная роману "Арминий", – замечательное свидетельство о герценовском понимании историзма. Человек отчитывается перед историей не только своим участием в "гуртовых событиях", но и в своей "домашней жизни", душевной жизни. Кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить, сказал Герцен.

Это чувство прошедшего, которому творческий человек не имеет права дать исчезнуть бесследно, этот историзм в самом дробном, самом личном его проявлении соотнесен с герценовским чувством истории как общего прошлого, живущего в общем сознании.

Через всю свою жизнь Герцен пронес напряженное самосознание и потребность отдавать в нем отчет себе и другим. Соответственно эволюции миропонимания Гер-

---

[15*] по должности (*лат.*).


Н. П. ОГАРЕВУ.

Исхандеръ.

1 Іюля 1860.

Eagle's Nest, Bournemouth.

"БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (ЛОНДОН, 1861)

Экземпляр, подаренный Герценом старшей дочери

Посвящение Огареву и специально вплетенный лист с наклеенной на него фотографией Герцена и Огарева работы братьев Майеров (Лондон, сентябрь 1860 г.) и с дарственной надписью: "Тате 17 Сент⟨ября⟩ Герц⟨ен⟩"; ниже: "Torquay Devonshire" ("Торки Девоншир")

Музей Герцена, Москва

цена изменялись формы выражения его самосознания, формы герценовского автобиографизма.

В 1830-х годах это романтическое самомоделирование и жизнетворчество, юношеский романтический автобиографизм. Вслед за тем начинается становление реалистического человека, а для 1840-х годов характерно стремление к его объективации – в статьях, в беллетристике, в письмах, даже в столь интимной форме высказывания, как дневник.

На рубеже 1840–1850-х годов, в катастрофической атмосфере гибели европейских революций, совершается второе рождение герценовского автобиографического героя с его трагическим пафосом, общественным и личным. Но теперь это авторское сознание уже всецело проникнуто историзмом. Автобиографичность книги "С того берега" одновременно историческая и лирическая.

Первая половина 1850-х годов – период работы над первыми пятью частями "Былого и дум" – это в творчестве Герцена кульминация автобиографизма. Он предстает теперь в законченной исторически-реалистической и аналитической форме. В то же время переживание высокой личной трагедии окрашивает автобиографизм этих лет.

В конце 1850-х и в 1860-х годах и новый социальный опыт, и обстоятельства частные, семейные приводят Герцена к отказу от прямой автобиографичности, от личного, лирического тона. Голос автора, непосредственно повествующего о себе, заме-

нен теперь отчетливо выраженной авторской *точкой зрения*. Это точка зрения носителя русской идеи и участника международной революции.

Биографическое начало в жизни и творчестве Герцена – это убеждение в том, что его личность и судьба – судьба мыслителя и деятеля – является фактом исторического, всеобщего значения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Г. В и н о к у р. Биография и культура. М., 1927, с. 9, 22–24.

[2] "Сев. вестник", 1895, № 9, с. 89–122.

[3] 14 января 1838 г. Герцен пишет невесте: «Я *боюсь* твоего суждения о моей биографии ⟨...⟩ Предисловие хорошо, оно понравится тебе. Со временем это будет целая книга, вот план. Две части: 1-я до 20 июля 1834 г. Тут я дитя, юноша, студент, друг Огарева, мечты о славе, вакханалии, и все это оканчивается картиной грустной, но гармонической, – нашей прогулкой на кладбище (она уже написана). *Вторая* начнется моей фантазией "22 октября". Вообще порядка нет: отдельные статьи, письма, tutti frutti ⟨всякая всячина (*итал.*)⟩, все входит; за этим "Встреча", "I Maestri" и "Симпатия"; далее – что напишется. В прибавлении к 1-му тому "Германский путешественник" эта статья проникнута глубоким чувством грусти, она гармонирует с 20 июлем ⟨...⟩ Пожалуй, тут можно включить и мои "Письма к товарищам": "Пермь, Вятка и Владимир..."» (XXI, 262). Часть перечисленных здесь "статей" до нас не дошла ("I Maestri", "Симпатия", "Письма к товарищам").

[4] *Огарев* II, 262. Речь здесь идет, очевидно, о наброске 1833 г. "День был душный..."

[5] *РМ*, 1888, № 9, с. 7.

[6] Там же, 1889, № 4, с. 1.

[7] *Огарев* II, 305.

[8] На Воробьевых горах должен был быть воздвигнут по проекту Витберга храм в память победоносной войны с Наполеоном.

[9] Исключение составляют письма Беттины фон Арним к Гете.

[10] См.: "Из материалов для биографии А.И. Герцена". Публикация В. Курутэ (*РМ*, 1889, № 5, с. 1–16; № 6, с. 1–20).

[11] М.Ю. Л е р м о н т о в. Соч., т. III. М.–Л., 1956, с. 416.

[12] В системе сенсимонистских воззрений понятие *эгоизм* противопоставлялось понятию *братство*, как *антагонизм – ассоциация*. Это парные термины.

[13] *А.И. Снаксарев* – один из женихов, которых навязывала Наталье Александровне ее тетка кн. М.А. Хованская.

[14] 3 марта 1838 г. Герцен тайно виделся с Натальей Александровной после трехлетней разлуки.

[15] Появившееся в 1956 г. исследование А.Н. Дубовикова имело целью расширить известный нам текст ранней автобиографии Герцена. Он вводит в "О себе" ряд фрагментов, которые Т.П. Пассек извлекла из обнаруженной ею рукописи Герцена и включила в свои воспоминания "Из дальних лет", не указывая авторства Герцена. Дубовиков считал при этом, что Пассек в той или иной мере перерабатывала герценовский текст (см.: "Лит. наследство", т. 63, с. 9–55).

[16] *Тургенев. Письма* III, 10–11.

[17] Л.Н. Т о л с т о й. Полн. собр. соч. в 90 томах, т. XIII. М., 1949, с. 53.

[18] См. об этом в моей книге "О психологической прозе". Л., 1971; 2-е изд. 1977 г. (гл. "Человеческий документ и построение характера").

[19] Н.П. О г а р е в. Моя исповедь ("Лит. наследство", т. 61, с. 661).

[20] Там же, с. 674.

[21] Там же, с. 692.

[22] Там же, с. 684, 674.

[23] *РП* IV, 210–211, 213.

[24] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 391.

[25] П.В. А н н е н к о в. Воспоминания и критические очерки. СПб., 1879. Отд. 2, с. 91.

[26] Б.М. Эйхенбаум считал убедительным соображения П.И. Бартенева о том, что прототипом старого князя Болконского в значительной мере является граф М.Ф. Каменский (см.: Б. Э й х е н б а у м. Лев Толстой, кн. 2. М.–Л., 1931, с. 263).

БЫЛОЕ И ДУМЫ

АВТОГРАФ РАССКАЗА О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ ("INSIDE")

Статья, публикация и примечания И.Г. П т у ш к и н о й

"Мой труд двигался медленно... много надобно времени для того, чтобы *иная* боль отстоялась в прозрачную думу – неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием, Без этого может быть искренность, но не может быть *истины*!"

Предисловие к отдельному изданию "Былого и дум".
Борнемут, 5 июля 1860 г. (VIII, 11).

"...ненапечатанная рукопись мешает, это что-то неудавшееся, слабое, письмо, не дошедшее по адресу, звук, не дошедший ни до чьего слуха".

"Марии Р.....", Лондон, 31 декабря 1853 г. (XII, 133).

Вторая половина части пятой "Былого и дум", как известно, посвящена рассказу о семейной драме Герцена. Ее художественная ценность общепризнанна. Ознакомившись с ней по рукописи в 1876 г., И.С. Тургенев сказал о Герцене: "Так писать умел он один из русских"[1].

При жизни писателя она полностью напечатана не была. Автором публиковались лишь отрывки из нее, сначала в "Полярной звезде", затем в т. IV отдельного издания мемуаров в 1866 г. Герцен, однако, надеялся, что придет время, когда эта часть будет опубликована целиком. В предисловии к IV тому "Былого и дум", датированном 29 июля 1866 г., Герцен написал, имея в виду эту часть книги: "Всего я не могу еще передать читателям, по разным общим и личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня..." (X, 9).

Герцен работал над этой частью около пятнадцати лет, разумеется, с перерывами. Но не все стадии работы могут быть прослежены в равной степени основательно и документированы одинаковыми по значению данными. Тем не менее основные этапы ее творческой истории можно проследить, учитывая, с одной стороны, свидетельства самого Герцена, и, с другой – изучая автограф публикуемого ниже текста.

Подлинная тетрадь с автографом этих глав хранится в Международном институте социальной истории (*IISG*) в Амстердаме. В 1970 г. редакцией "Литературного наследства" был получен микрофильм этой тетради, переданный ею затем в Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В.И. Ленина[2]. Этот микрофильм был использован для изготовления фотокопий, одна из которых хранится в Отделе рукописей, другая – в архиве "Литературного наследства".

"Амстердамская тетрадь" – основной автографический источник для воспроизведения текста глав "Былого и дум", воссоздающих события последних лет семейной жизни (1847–1852) Герцена[1*]. Не напечатанные при жизни писателя, эти главы стали известны читателям лишь со времени их первой полной публикации (1919) в XIII т. Полного собрания сочи-

---

[1*] Для подготовки настоящей публикации была возможность использовать лишь фотокопии и микрофильм с автографа. Однако, когда работа над публикацией уже была полностью закончена в издательстве, С.В. Житомирская, находясь в Амстердаме, ознакомилась с подлинной рукописью, прочитала ряд неразобранных по фотокопиям слов, а также текст на двух заклеенных листах. Кроме того, она предоставила автору публикации палеографическое описание рукописи, в том числе разных сортов бумаги, на которую Герцен переписывал в разное время текст. Предоставленный материал подтвердил основную концепцию статьи об этапах работы Герцена над рукописью и позволил внести в настоящую статью некоторые уточняющие детали. Выражаю искреннюю благодарность С.В. Житомирской за предоставленные уточнения. В то же время считаю необходимым отметить, что своевременное детальное изучение хранящегося в Амстердаме автографа самим автором публикации несомненно позволило бы с большей точностью определить все стадии работы Герцена над рукописью.

нений и писем Герцена под редакцией М.К. Лемке. Публикуя их, Лемке отмечал в комментариях, что тетрадь с текстом "хранится в семье Герцена как святыня", а место глав этой части, по его словам, «указано Герценом совершенно ясно в особой "записке", составленной им для Огарева, хотевшего взять на себя наблюдение за полным изданием "Б⟨ылого⟩ и д⟨ум⟩", в 1869 г. "Записка" вся состоит из самого подробного оглавления "Б⟨ылого⟩ и д⟨ум⟩" с указанием нумерации и порядка частей и глав, с источником, откуда надо взять текст, и т.п.» (*Л* XIV, 855). Возможно, что, исходя из этой не известной нам теперь записки, Лемке и расположил содержащиеся в тетради главы части пятой, обозначив их порядковыми номерами XLIII–L, поместив после них "Прибавление", посвященное Э. Гаугу, и последующие фрагменты из этой тетради (*Л* XIII, 482–571).

Сравнение опубликованного Лемке текста с "амстердамской тетрадью" свидетельствует о том, что в 1912 г. Лемке была предоставлена копия основного текста (без зачеркнутых вариантов) той тетради, которая хранилась тогда в Лозанне у Н.А. Герцен и лишь позднее попала в Амстердам. В семье Герцена была лишь одна тетрадь с автографом рассказа о семейной драме. Кем и когда именно была сделана копия (ее нынешнее местонахождение неизвестно) для издания Лемке, остается неизвестным. Однако лицо, готовившее эту копию, разбирало почерк Герцена недостаточно хорошо, чем и объясняются многочисленные неверные прочтения в первоначальной публикации.

При подготовке тридцатитомного собрания сочинений Герцена редакционная коллегия не располагала сведениями о том, где находятся автограф и копия, которая была у Лемке[3]. В распоряжении редколлегии оказались полученные в составе "пражской коллекции" три списка глав о семейной драме. Условно они названы были списками *А*, *Б* и *В* (в настоящее время хранятся в *РГАЛИ*, ф. 2197). Все три списка, несомненно, восходили к "амстердамской тетради", но воспроизводили лишь основной текст, без вариантов. Для публикации в тридцатитомном собрании сочинений предпочтение было отдано списку *А*, как наиболее полному. Поскольку во всех трех списках главы эти имели, в отличие от издания под редакцией Лемке, самостоятельную нумерацию, редакция названного собрания сочинений сохранила эту нумерацию и дала им *редакционное* название "Рассказ о семейной драме". Со времени издания в 1956 г. т. X сочинений писателя это название прочно закрепилось за соответствующими главами части пятой мемуаров, перешло во все последующие издания "Былого и дум" и стало употребляться в научной литературе.

При сопоставлении текста тридцатитомного собрания сочинений, напечатанного в нем по списку *А*, с текстом "амстердамской тетради" обнаружилось около *трехсот* несовпадений с автографическим источником: пропущены целые предложения и отдельные слова, изменен порядок слов, есть неверные прочтения и искажающие смысл ошибочные падежные окончания, невоспроизведенные подчеркивания, которые нередко имеют у Герцена смысловую нагрузку, произвольная разбивка на абзацы и т.п. Немало отклонений там и от герценовской пунктуации. Таким образом, необходимо признать, что опубликованый в т. X тридцатитомного издания текст и многочисленные его дальнейшие перепечатки далеко не соответствуют подлиннику.

И только теперь впервые появилась возможность, используя "амстердамскую тетрадь", воспроизвести подлинный текст самых волнующих страниц герценовского шедевра.

Важной задачей было прочтение зачеркнутых в автографе мест и воспроизведение вариантов, которые приводятся в настоящей публикации с исчерпывающей полнотой. Именно варианты содержат драгоценные крупицы не известного ранее герценовского текста. Вместе с тем они дают возможность составить представление о том, как шла творческая работа писателя над рукописью, когда в основном она уже была завершена и в ее первоначальный (основной) текст стали вноситься новые изменения.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАМЫСЛА. РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ. ПЕРВЫЕ ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (1853–1859)

Желание Герцена рассказать "страшную историю последних лет" (VIII, 397) своей жизни послужило непосредственным толчком для начала работы над воспоминаниями. Приступив в конце октября 1852 г. к работе над мемуарами, он только еще выбирал путь, по которому собирался идти. Сообщая М.К. Рейхель 5 ноября 1852 г. о появившемся у него "френетическом[2*] желании написать мемуар" и о начале работы над ним (XXIV, 359), Герцен поделился со свидетельницей пережитого и теми трудностями, с которыми он столкнулся на первых порах: "Я

[2*] неистовом (от *франц.* frénétique).

целый день сижу один и пишу и думаю". Герцен опасался, что "воскреснувшие образы" былого – детства, отрочества – далеко уведут его от главной цели, которая зрела в его сознании после смерти жены: вначале он собирался создать лишь обвинительный акт погубившему Наталью Александровну Г. Гервегу. «Но так писать – я напишу "Dichtung und Wahrheit"»[3*], а не мемуар о своем деле», – сообщает о своих сомнениях Герцен и спрашивает Рейхель: "Как мнение ваше и наших друзей, писать большой волюм[4*] или один мемуар?" (там же). Ранняя редакция введения к "Былому и думам" – "Братьям на Руси", – датированная 2 ноября 1852 г. (она была послана Рейхель; при жизни Герцена оставалась неопубликованной), наполнена отзвуками личной драмы. "Я нашел все, чего искал, – писал здесь Герцен, – да, сверх того, гибель, утрату всех благ и всех упований, удары из-за угла, лукавое предательство, святотатство, не останавливающееся ни перед чем; посягающее на все, и нравственное растление, о котором вы не имеете понятия..." (VIII, 398). Эти слова свидетельствуют о том, что в начале работы Герцен склонялся к созданию исповеди о пережитом: "Исповедь моя нужна мне, вам она нужна, она нужна памяти, святой для меня, близкой для вас, она нужна моим детям" (VIII, 397).

Возможно, побудительным толчком для создания "Былого и дум" послужило то, что австрийский эмигрант Э. Гауг, человек весьма ограниченный и самоуверенный, написал огромное письмо (XXIV, 294) – "мемуар"[4], в котором изложил историю конфликта между Герценом и Гервегом, и намеревался опубликовать его, наивно полагая, что этим "мемуаром" он "ставит памятник" Наталье Александровне, а Герцена "поднимает на недосягаемую высоту". Прочитав этот "мемуар", Герцен ужаснулся: его трагическая история в изложении Гауга безмерно опошлилась. Если бы этот документ появился в печати, то "от такого удара воскреснуть нельзя бы было". Желая предотвратить печатание этого трагикомического "мемуара", Герцен отправил Гаугу "длинное послание" (оно не сохранилось), в котором утверждал: "Если надобно в самом деле что-нибудь печатать из этой страшной истории – то это печальное право принадлежит мне одному". Именно тогда у Герцена и могла зародиться мысль самому рассказать историю своей семейной драмы.

В ряде писем 1852 г. (к Гаугу, датируемом около 16 марта, к Рейхель от 30 июня, к Ж. Мишле от 25 июля, к П.-Ж. Прудону от 6–7 сентября) Герцен с поразительной откровенностью и исповедальной честностью изложил своим корреспондентам – друзьям и знакомым, мнением которых дорожил, – историю трагической гибели своей жены. Все эти письма проникнуты глубокой ненавистью к Гервегу. В них – зерно будущего рассказа о семейной драме, с которого по первоначальному замыслу должны были начаться мемуары Герцена.

Насколько серьезно – у самых истоков замысла – размышлял Герцен над содержанием и формой своих мемуаров, над их объемом и направлением, свидетельствует, в частности, письмо В.А. Энгельсона к Герцену от 16 ноября 1852 г. Из него также видно, что в начале работы Герцен ставил задачу прежде всего заклеймить Гервега, по словам Энгельсона, "на веки веков", "написать нечто вроде обвинительного акта", но уже к середине ноября 1852 г. исходный замысел трансформируется: повествование о семейной драме отодвигается работой над главами, составившими в окончательной редакции мемуаров начальные части, т.е. предшествующие той, которую содержит публикуемая "амстердамская тетрадь".

Как же шла работа над главами, которые с 1956 г. печатаются во всех изданиях "Былого и дум" под редакционным названием "Рассказ о семейной драме" (X, 221, 446)?

Годичная дата начала работы Герцена над этими главами обозначена самим Герценом в двух почти идентичных пометах на обложке "амстердамской тетради" и на ее титульном листе: "Нач. 1853" и "Начато 1853". Можно ли как-нибудь уточнить указанную автором дату? Обратимся с этой целью к письмам Герцена за 1853 г. и попытаемся выявить какие-либо следы работы Герцена над публикуемыми ниже главами.

По письмам Герцена можно проследить, что в марте–мае 1853 г. он продолжает писать главы части первой "Былого и дум"; перед его мысленным взором проходят знакомые времен его юности: "семейство Пассеков, М.Ф. Орлов, В.П. Зубков", а также "дела незапамятных времен 1834 года"[5] и вятские воспоминания; но мучительные переживания, вызванные предательством Гервега и изменой жены, не оставляют Герцена.

27 апреля 1853 г., напоминая в письме к Рейхель о ее приезде в Ниццу незадолго до смерти Натальи Александровны, Герцен замечает: "Одиночество дает время долго возвращаться на прошедшее. Кроме вас, я ни с кем не говорю ⟨...⟩ Остались вы, вы одни – если, кроме вас, есть что-нибудь незыблемо преданное, то это не в Европе. Я чувствую по силам, по юности, независимой от лет, по желанию многое сказать (писать трудно) – что этот régime[5*] Ма-

---

3* "Поэзию и правду" (*нем.*).

4* том (*франц.* volume).

5* образ жизни (*франц.*).



"БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ⟨"INSIDE"⟩

Автограф. Обложка с пометами Герцена: "Нач(ато) 1853 – Конч(ено) 1860. – Попр(авлено) в июле 1860"

Международный институт социальной истории, Амстердам

зас не ведет к добру, и потому втройне рад приезду детей" (XXV, 56–57). Запомним эти два слова Герцена: "писать трудно". Они, безусловно, относятся к событиям его семейной драмы.

Из писем Герцена последующих месяцев видно, как вызревает повествование о семейной драме, отодвинутое ранними воспоминаниями. В письме к Рейхель от 7 мая 1853 г. Герцен вспомнит известную сентенцию Пушкина из стихотворения "Брожу ли я вдоль улиц шумных": "И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть..." (XXV, 64–65), – которую Н.А. Герцен повторяла перед смертью, глядя на сына и дочерей (эти стихи потом войдут в эпизод прощания умирающей матери со своими детьми). В письме к Огареву и Наталье Алексеевне от 18 июня этого же года, характеризуя Гервега как труса и злодея, Герцен сравнит его с Орасом Жорж Санд (при этом он напишет Огареву: "Прочитай его со вниманием"), и это же сравнение войдет в художественную ткань "Былого и дум", будет использовано для оценки Гервега ("Мещанин, как Орас Ж. Санд, он болтал в отмщенье женщине, которую любил"). В том же письме Герцен заметит, имея в виду намерение написать историю своей драмы: "Все схоронено во мне, и все бессмертно во мне и должно воскреснуть. Когда же, когда могу передать все, чем полна душа" (XXV, 72–73). В письмах этого периода он проанализирует и отношение к событиям В.А. Энгельсона ("Он мне помог в самую страшную эпоху моей жизни – этого я не забуду ему"), и роль Э. Гауга ("я не забуду его цюрихскую пощечину"), и холодное равнодушие Н.И. Сазонова ("дрянь", "негодяй", – скажет о нем Герцен) (XXV, 79, 87). Все главные действующие лица будущего рассказа уже получат в письмах свою характеристику.

Хотя письма Герцена второй половины 1853 г. не содержат прямых упоминаний о его работе над главами, посвященными семейной драме, но они свидетельствуют о том, что он весь во власти пережитого. Узнав от Рейхель, что в Лондон приедет М.С. Щепкин, Герцен обращается 2 сентября с обширным письмом к своим московским друзьям и в нем, уже не делая никакой тайны насчет крушения своего семейного очага, обещает: "На моей душе еще лежит необходимость этой исповеди, и я ее сделаю ⟨...⟩ до полной исповеди я имею сказать одно: я поступил честно и чисто, я решительно ни в чем не могу себя упрекнуть – верьте пока мне на слово" (XXV, 110).

При встрече с приехавшим в начале сентября 1853 г. в Лондон Щепкиным Герцен рассказал ему о последних годах своей жизни, а 5 сентября написал московским друзьям: "Пусть он

расскажет трагедию, окончившую мою жизнь" (XXV, 111). К этому времени Герцен уже внутренне готов к исповеди. Для осуществления ее только надо "глубже вникнуть в подробности" (XXV, 107). Сама жизнь напоминает ему о деталях: в день рождения Натальи Александровны он перечитывает некоторые ее письма; его поражает "случайность", что во французском иллюстрированном еженедельнике "Illustration" 19 ноября 1853 г. "было представлено самое то место на Иерских островах, где было несчастие"[6] – гибель матери и сына Коли; за несколько дней до нового года Герцен получит из Ниццы цветы с могилы Натальи Александровны, а из бювара выпадет записка, написанная Колей летом 1851 г. (он писал отцу, что купался, и добавлял: "Das Meer ist blau und warm"[6*] (XXV, 142–143). Так на протяжении 1853 г. вызревает в творческом сознании Герцена отодвинутое работой над первыми двумя частями "Былого и дум" воспоминания о пережитой личной трагедии.

Во "Введении" к отдельному изданию части второй "Былого и дум" ("Тюрьма и ссылка" вышла в свет в июне 1854 г.), написанном накануне двухлетия смерти Натальи Александровны (датировано 1 мая 1854 г.), восстановив обстановку, в которой создавались первые две части мемуаров, Герцен писал: "История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что *ни один человек*, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет и истина. Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других, все старое, полузабытое воскресало – отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка ⟨...⟩ И я стал писать с начала; пока я писал две первые части, прошли несколько месяцев поспокойнее..." (VIII, 403).

Однако отдельные фрагменты, которые вошли затем в окончательную редакцию рассказа о семейной драме в "амстердамской тетради" (см. ниже), были написаны Герценом, по собственному свидетельству, в конце 1853 г. В его письмах нет прямых указаний, какие именно из этих фрагментов писались в это время, но, вероятнее всего, что, называя 1853 г. годом начала своей работы над этой частью, писатель имел в виду те главки ("Приметы" и "Тифоидная горячка"), для воспроизведения которых в "амстердамской тетради" он воспользовался печатным текстом книги II "Полярной звезды" на 1856, где они впервые были напечатаны в составе "Западных арабесок" (как главки III и IV) с подзаголовком: "Западные арабески. (Из четвертой части " Записок Искандера") (1847–1852)" (частью четвертой нумеровалась тогда нынешняя часть пятая). В "Полярной звезде" Герценом было сделано примечание: "Писано в конце 1853 года"[7]. Это указание, безусловно, относилось не только к главе I "Западных арабесок" – "Сон", но и ко всем другим, входившим в публикации "Полярной звезды" в "Западные арабески".

Важнейшей темой "Западных арабесок" стала трагическая безысходность, вызванная поражением западноевропейских революций 1848 г. Вместе с тем в них явственно слышатся отзвуки пережитой Герценом личной драмы. Вспоминая здесь свой отъезд из России в январе 1847 г., Герцен писал: "С тех пор прошли семь лет"[7*], и *какие семь лет*! В их числе 1848 и 1852. Чего и чего не было в это время, и все рухнуло – общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастие. Камня на камне не осталось от прежней жизни" (X, 25). И далее Герцен говорит о пережитом им лично: "Трудно, очень трудно мне начать эту часть рассказа; отступая от нее, я написал три предшествующие части, но, наконец, мы с нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить. С половины 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки – ошибки лиц, ошибки целых народов. Там, где была возможность спасения, там смерть переехала дорогу..." (X, 26).

В главках "Приметы" и "Тифоидная горячка", напечатанных, как сказано, в "Полярной звезде", воссоздан образ Натальи Александровны, нервной, впечатлительной, настороженной и болезненной, глубоко переживающей расставание с уезжающими в Россию друзьями. В них заметны и "приметы" личной жизни Герцена, которые могли создать почву для возникновения семейного конфликта: "Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая в омуте событий, в круговороте общих интересов – обособлялась, снова сводилась на период юного лиризма, без юности, без веры. С этим faro da me моя лодка должна была разбиться о подводные камни и разбилась. Правда, я уцелел, но *без всего*..."

По-видимому, когда Герцен на обложке "амстердамской тетради" обозначил начало работы над главами, посвященными семейной драме, 1853 годом, он имел в виду только главки "Приметы" и "Тифоидная горячка". Это доказывается, в частности, заключительным абзацем последней главки "Западных арабесок" ("Il pianto")[8], из которого видно, что главка эта была

[6*] "Море голубое и теплое" (*нем.*).

[7*] Именно к этим словам сделано авторское примечание: "Писано в конце 1853 года". – *И.П.*

написана не в 1853, а в 1855 г. "...Три года тому назад, – указывает Герцен, – я сидел у изголовья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно шаг за шагом в могилу. Эта жизнь была все мое достояние"[9].

Таким образом, читатель опубликованных в 1856 г. в "Полярной звезде" глав "Былого и дум", которые позднее войдут в несколько измененной композиции в часть пятую мемуаров, уже мог услышать отзвуки пережитой Герценом личной трагедии.

Несомненно, однако, что к 1856 г. эта часть "Былого и дум" еще не получила композиционной завершенности. Вероятнее всего, она существовала тогда лишь в виде фрагментов. Очевидно, что и авторскую помету на титульном листе "амстердамской тетради": "Читано *отрывками* 1856–1860 Ога⟨реву⟩ и Nat⟨alie⟩"[8*] – можно понять так, что в 1856 г. Герцен мог познакомить приехавших в Лондон друзей с воспоминаниями о личной драме лишь в отрывках.

Сохранились ли рукописи этих отрывков?

Прежде всего до нас дошел автограф[10] первоначальной редакции фрагмента теперешней главы VIII "амстердамской тетради" с рассказом о смерти Натальи Александровны. В нем содержится прямое указание на дату начала работы Герцена над "мрачными" главами его воспоминаний.

Рукопись, озаглавленная "3 мая 1855", начинается так: "Сегодня 3 мая – три года тому назад в этот день были у нас похороны". И далее Герцен вычеркивает текст, свидетельствующий о том, что именно 3 мая 1855 г. он пишет этот печальный рассказ: "Хорошо в этот день начать мрачный отдел моих воспоминаний, исполненный невыносимых мучений, которые я перенес благодаря каменной организации" (X, 439). В заключительных строках этого отрывка, также вычеркнутых, впервые прямо высказывается мысль о том, что мемуары были начаты Герценом ради рассказа о личной трагедии: "Этими строками и начну я мрачную часть моих [записок] воспоминаний, ту, для которой вообще я [начал] стал писать записки. Каждое слово об этом времени тяжело, мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки" (X, 441).

Таким образом, сохранившийся фрагмент, весьма близкий к тексту окончательной редакции главы VIII "амстердамской тетради", содержит свидетельство, что работа, начатая в 1853 г., была отодвинута почти на два года: только в мае 1855 г. Герцен приступил к "мрачной части" своих воспоминаний. Возможно, однако, что сочинением этого отрывка работа в 1855 г. и ограничилась.

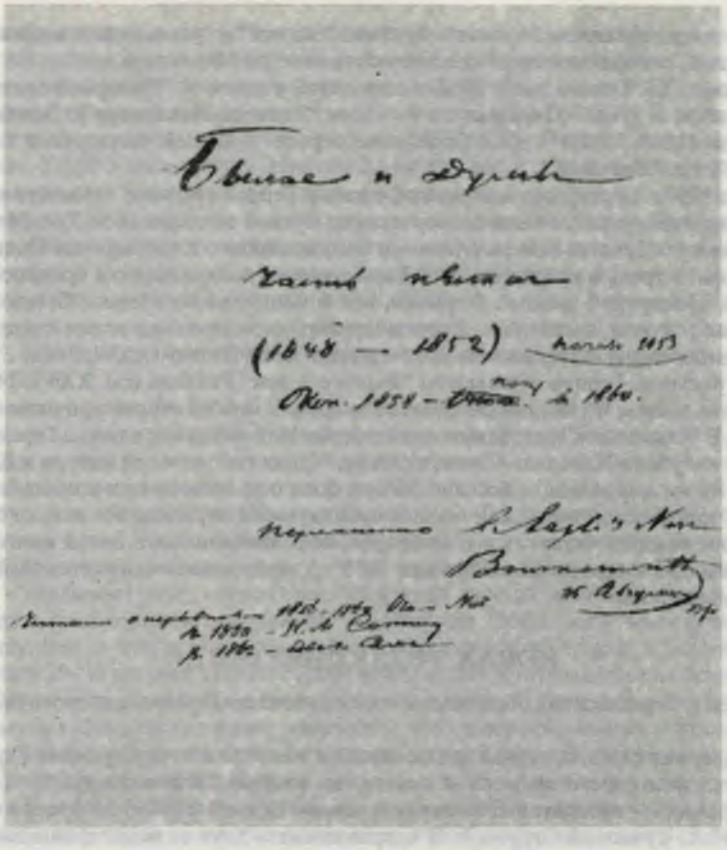
Внутри текста "амстердамской тетради" имеются авторские указания, что Герцен вновь обратился к работе над рукописью в 1857 г. Этот год прямо назван в подстрочном примечании к главе I: "Писано в 1857 году. Еще одно примечание в главе VIII: "Тетрадь эта писана года три тому назад" – также указывает на 1857 г. (за точку отсчета здесь взят 1860 г., когда Герцен переписывал текст в "амстердамской тетради", как это обозначено на ее титульном листе).

На основании этих двух примечаний можно сделать вывод, что в 1857 г. Герценом создавалась первоначальная редакция всего рассказа о семейной драме. Закончена же работа над ней, судя по авторской помете на титульном листе "амстердамской тетради" ("Окон⟨чено⟩ 1858") и указанию, помещенному после текста "Прибавления" "(окончено в 1858)", в 1858 г.

Редакция 1857–1858 гг. в полном виде до нас не дошла, но есть основания предполагать, что для редакции 1860 г. Герцен воспользовался своей тетрадью с текстом, созданным в 1857–1858 гг. Об этом свидетельствует прежде всего титульный лист "амстердамской тетради". Возможно, что он восходит к редакции 1857–1858 гг., так как пометы на нем были сделаны автором, скорее всего, в разное время. По-видимому, Герцен первоначально написал на титульном листе: "Былое и думы. Часть пятая (1848–1852). Окон. 1858".

Все другие авторские даты о времени работы над рукописью: "Начато 1853", "Окон. 1858 – [Оконч.] Попр. в 1860", – судя по их местоположению на листе, явно были написаны позже, вероятно в самом начале июля 1860 г., когда Герцен только приступал к исправлению рукописи, которая его не удовлетворяла. Именно этим можно объяснить, что он вначале написал "Оконч. в 1860" (эта помета, фактически дублировавшая предыдущую – "Оконч. 1858", – не отражала существа авторской работы), а затем зачеркнул слово "Оконч." и заменил его словом "Попр.". Помета "Попр. в 1860" фиксировала ту стадию работы над тетрадью 1857–1858 гг., которой Герцен будет занят в июле 1860 г. Недаром позднее он перенесет дату этой стадии работы над рукописью на обложку "амстердамской тетради", несколько уточнив ее: "Попр. в июле 1860".

[8*] Курсив мой. – *И.П.*



"БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ("INSIDE")

Автограф. Титульный лист с пометами Герцена: "Начато 1853"; "Окон(чено) 1858 – попр(авлено) в 1860"; "Переписано в Eagle's Nest Bournemouth 25 Августа 1860"; "Читано отрывками 1856–1860 Ога(рсву) и Nat(alie). В 1860 – Н.М. Сатину. В 1862 – давал Саше"

Международный институт социальной истории, Амстердам

Другие пометы на титульном листе принадлежат к более поздней стадии работы над рукописью (одна из них – о переписывании – относится к августу 1860 г., другая – о чтении этой тетради близким – написана уже после 1862 г.). О них речь пойдет ниже.

Несмотря на то что в 1857–1858 гг. первоначальная редакция публикуемых глав "Былого и дум" была в основном завершена, Герцена она явно не удовлетворяла. В этом он прямо признался М.А. Маркович 27 июля 1860 г., написав ей, что несколькими главами своих воспоминаний он "был до нынешнего лета недоволен" (XXVII, 82). Это относилось, несомненно, к главам, посвященным семейной драме. Неудовлетворенность ими не помешала Герцену напечатать в книге V "Полярной звезды на 1859" отрывок из этой первоначальной редакции. Под заглавием "Oceano nox" он был опубликован в составе части четвертой (впоследствии – пятой) "Былого и дум" (автограф не сохранился). В нем, как известно, рассказывалось о гибели матери Герцена и сына Коли во время кораблекрушения в 1851 г. Отрывок (в "амстердамской тетради" он составил раздел II главы VI) печатался в "Полярной звезде" с авторским примечанием от 1 марта 1859 г., где Герцен отмечал, что поводом для этой публикации послужили изданные в 1857 г. "Мемуары" Ф. Орсини с упоминанием "о страшном происшествии" в семье Герцена. «Этот печальный отрывок, – писал Герцен, – принадлежит к той части "Былого и дум", которая будет напечатана гораздо позже и для которой я писал все остальные (...) Пусть он станет рубежом между прежней жизнью и рассказом о жизни в Лондоне»[11].

Принципиальное значение этого примечания несомненно. Здесь Герцен публично объявил, что ко времени публикации "Oceano nox" у него уже была завершена особая часть "Былого и дум", для которой он "писал все остальные" и для издания которой еще не пришло время. В примечании указано и место, где должна располагаться эта часть во всей системе мему-

аров – между повествованием Герцена о "прежней жизни" и "рассказом о жизни в Лондоне", т.е. перед частью, которая составит позднее часть шестую "Былого и дум".

Помещенные до "Oceano nox" главы части пятой в книге V "Полярной звезды" озаглавлены так: «Былое и думы. (Отрывки из IV части "Записок Искандера"). Запад. Отделение первое. Outside. (1848–1852)»[12], т.е. "Отделение первое" будущей части пятой было названо здесь "Outside", т.е. "Внешнее".

В письмах 1859 г. отразилось настроение, с каким Герцен предавал гласности публикуемый отрывок; из них видно также, с какими творческими муками он создавался. Так, 24 марта 1859 г. Герцен писал сыну: «Печатая теперь страшные воспоминания о Коле, мне вся Ницца перед глазами... и эта гора Эстрель и кладбище (...) В Берн к твоему возвращению я пришлю тебе *десять* первых листов "Полярн(ой) звезды". Отрывки, там помещенные, особенно "Oceano nox" и "Лондонские туманы", прочти, когда ты не будешь нисколько рассеян: над этими страницами я провел месяцы, на них следы слез... мне было почти жаль их печатать» (XXVI, 244).

В листах посылал Герцен отрывки из "Былого и дум" Рейхель (см. XXVI, 246). Для Герцена было очень важно, чтобы самые близкие люди как можно скорее прочитали напечатанный отрывок. В "Oceano nox" рассказывалось о страшных событиях в семье Герцена, которые окончательно погубили Наталью Александровну. "С дня гибели моей матери и Коли, – писал Герцен, – она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь".

На самой трагической ноте оканчивался публикуемый отрывок. Не только близкие Герцену люди, но и каждый читатель его мемуаров, опубликованных в пятой книге "Полярной звезды" (она вышла в первой половине мая 1859 г.), приобщался к мучительным страницам личной жизни писателя.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ. 1860 г.

Летом 1860 г. Герцен снова обратился к своей рукописи. Причин для этого было несколько.

Первая и, может быть, основная заключалась в том, что к этому времени Герцен приступил к осуществлению своего замысла об отдельном издании "Былого и дум".

Вторая причина – обстоятельства личной жизни. Весной 1860 г. у Герцена обострились отношения с Н.А. Тучковой-Огаревой. В сохранившихся двух ее недатированных письмах к Герцену (одно из них относится к концу марта–маю, второе написано в конце мая, накануне ее отъезда на континент) слышатся отзвуки их размолвок, вызванных намерением Тучковой-Огаревой уехать в Россию, увезти с собою дочь Герцена Лизу и не возвращаться больше в Англию. Назревает новая семейная драма. "Я исстрадалась, Герцен (...), – пишет Наталья Алексеевна в первом письме, – я все-таки тебя люблю, только не хочу больше быть черным пятном в твоей жизни"[13]. Обстановка накануне отъезда Тучковой-Огаревой из Лондона накалилась до предела. 30 мая 1860 г. она вместе с Татой и Лизой покинула Лондон.

Проводив их, Герцен и Огарев остались вдвоем (Ольга была в это время с М. Мейзенбуг в Лондоне, в доме Швабе, где Мальвида служила гувернанткой).

7 июня 1860 г. Герцен признавался в письме к сыну: "Я очень ясно и очень хорошо понял, что личная жизнь моя окончилась – бурями и ударами 1852 года. Ты помнишь, я тебе читал в моих записках, как много просила меня Мамаша – спасти вас, брошенных политическими обстоятельствами в совершенно чужой мир. Я дал обет – и сдержал его" (XXVII, 59–60). Из этого письма становится ясно, что отрывки из публикуемой части "Былого и дум" Герцен читал сыну еще до 1860 г.

Проходит полмесяца после отъезда Тучковой-Огаревой и Таты из Лондона. Судя по дневниковой записи от 15 июня 1860 г., Герцен все это время не может избавиться от душевных мук и горестных размышлений. Раздумывая над событиями своей личной жизни, он вновь и вновь обращается к воспоминаниям о пережитом: "Надобно спрашивать, последовательно или нет то, что случается со мной". И отвечает: "Последовательность почти всегда есть. Одна внешняя – и потому не оскорбительная... другая – оттого-то и оскорбительная, что чувствуется *вина*" (XX, 601). Осознание собственной вины, которое так сильно звучит в воспоминаниях о семейной драме, очевидно, возвращает Герцена к работе над этими главами.

Прямым же поводом для продолжения этого труда послужили тайный приезд в Лондон в самом конце июня 1860 г. Н.М. Сатина и чтение ему этих глав. Об этом сохранилось несколько свидетельств. Первое из них – помета на титульном листе "амстердамской тетради": "Читано отрывками (...) В 1860 – Н.М. Сатину". Второе – упоминание в предисловии к отдельному изданию "Былого и дум" (датировано 5 июля 1860 г.) о чтении "нынешним летом одному из друзей юности" "своих последних тетрадей" (VIII, 11, 446). Третье – прямое указание в письме к М.А. Маркович (Марко Вовчок) от 27 июля 1860 г. (цитируется ниже).

Герцен снова приступил к работе над главами, которые пока не собирался публиковать, сразу же или вскоре после отъезда Сатина из Лондона, в первые дни июля. Это видно из авторской пометы на обложке "амстердамской тетради": "Попр. в июле 1860".

Кроме того, есть еще одно свидетельство, что именно в июле 1860 г. Герцен значительно переработал эту часть своих мемуаров редакции 1857–1858 гг. Ожидая приезда в Англию М.А. Маркович, Герцен писал ей из Лондона 27 июля 1860 г.: "Мне очень хочется вам прочесть те несколько глав (которые мне стоили несколько лет и которыми я был до нынешнего лета недоволен) – да только мне бы это хотелось или в комнатке у вас – читать с глазу на глаз (...) Я жду вашего искреннего суда, честного, – вы – как женщина – должны сказать, если что вас шокирует. Я верю в ваше сердце. А для меня эти главы не шутка. Кроме Ог(аревы)х и С(атина), я *никому* не читал всего" (XXVII, 82). Еще раньше, 7 июля 1860 г., Герцен писал той же корреспондентке о своем намерении многое прочитать ей при встрече, "но между четырех глаз", замечая при этом: "Мне очень редко хочется кому-нибудь читать – то, что вам прочту" (XXVII, 75).

Только к концу сентября 1860 г. Герцен узнал, что Маркович в Англию не приедет, но, ожидая ее, писатель продолжал работать над главами мемуаров в Борнемуте.

Две авторские датировки в "амстердамской тетради" устанавливают, что в Борнемуте Герцен был занят переписыванием тех же глав "Былого и дум". Первая из этих датировок – помета на титульном листе: "Переписано в Eagle's Nest. Bournemouth. 25 августа 1860". Ею, очевидно, помечен день, когда эта работа была начата (Герцен приехал в Борнемут 24 августа 1860 г.). Вторая – примечание к тексту "Post scriptum'a": "Переписа(но) 9 сентября 1860. Bournemouth" – указывает дату, когда Герцен закончил переписывать эту часть мемуаров.

Шестнадцать дней отделяют первую дату (25 августа 1860 г.) от второй (9 сентября). Если иметь в виду, что за это время пять дней в конце августа у Герцена в Борнемуте провел П.В. Анненков и 28–30 августа там же гостил приехавший из Вентнора для встречи с Герценом И.С. Тургенев; если учесть, что в самом начале сентября Герцен на два или на три дня уезжал из Борнемута в Лондон, то можно заключить, что на переписывание этих глав у Герцена ушло менее десяти дней. Это в известной степени подтверждает предположение о том, что летом 1860 г. переписывалась не вся тетрадь целиком, а только те ее страницы, на которых авторская правка была наиболее интенсивна. Эти ставшие черновыми листы вырывались их тетради, а взамен их вклеивались перебеленные на другую бумагу, отличающуюся от бумаги основной тетради. По свидетельству С.В. Житомирской, в "амстердамской тетради" кроме основной еще семь сортов бумаги. Большая часть вклеенных и наклеенных листов на бумаге с водяными знаками фирмы "Johnson 1859". Очевидно, что именно эти листы прежде всего вклеивались в тетрадь в августе-сентябре 1860 г.

"АМСТЕРДАМСКАЯ ТЕТРАДЬ". ЕСТЬ ЛИ У ЭТОЙ ЧАСТИ "БЫЛОГО И ДУМ" АВТОРСКОЕ ЗАГЛАВИЕ? СОСТАВ И КОМПОЗИЦИЯ ОСНОВНОГО ТЕКСТА. 1860–1867 гг.

В "амстердамской тетради" 126 листов с текстом, написанным рукой Герцена. Текст есть еще и на обороте двадцати трех листов. Кроме того, в "амстердамской тетради" есть листы и с печатным текстом, вклеенные в нее. Это – обширная цитата из "С того берега" ("Женщины плачут ~ много истребляемого"), для которой использованы страницы 35–38 и часть страницы 39 из второго русского издания книги (Лондон; вышла в первой половине апреля 1858 г.)[14]. Страницы с печатным текстом вклеены в тетрадь после листа, за которым они должны следовать, но в общую нумерацию тетради не вошли. Возможно, когда летом 1860 г. Герцен переписывал тетрадь в Борнемуте, листов печатного текста "С того берега" у него с собой не было; может быть, по этой причине он и не включил их в общую нумерацию.

Вклеены в "амстердамскую тетрадь" также тексты главок "Приметы" и "Тифоидная горячка" (страницы 185–190 второго издания "Полярной звезды на 1856", вышедшей в конце октября или в первой половине ноября 1857 г.)[15]. В авторскую нумерацию эти страницы "Полярной звезды" также не включены.

Авторская нумерация в "амстердамской тетради" начинается цифрой 9 (а не цифрой 1 или 3, если бы Герцен принимал обложку тетради и титульный лист за первый и второй листы в общей пагинации). Почему? И какой смысл имеет авторская помета, стоящая рядом с римской цифрой I, которой обозначена глава первая? Помета читается так: "Журнал, запи-

санный в другой книге". Ничего, кроме отсылки к какой-то другой тетради Герцена, названной им здесь "книгой", помета эта означать не может. Цифра же 9 авторской нумерации указывает, вероятно, на то, что начало первой главы – ее 8 или 6 листов (если автор включал в общую нумерацию обложку и титульный лист) находятся в этой "другой книге".

Словом "Журнал" Герцен, по терминологии своего времени, называл дневник[9*] Натальи Александровны, который он собственноручно переписал в особую тетрадь (она хранится теперь в Рукописном отделе Института русской литературы РАН)[16]. Там он озаглавлен: "Из *журнала*[10*] женщины"; текст его несколько отличался от автографа дневника Натальи Александровны. Поскольку автограф этот сохранился (находится теперь в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки)[17], сличение его с переписанным рукою Герцена текстом дает возможность установить, какие изменения он внес при переписывании. Герцен слегка выправил его стилистически, сделал несколько незначительных купюр, подчеркнул ряд мест, которые акцентируют душевное смятение и неудовлетворенность Натальи Александровны накануне отъезда из России.

Очевидно, что, переписывая дневник своей жены, Герцен готовил его для публикации. Первоначально он предполагал напечатать его в книге IV "Полярной звезды на 1858" (в составе главы V части третьей – этот порядковый номер имела тогда нынешняя часть четвертая "Былого и дум"). Содержание главы V в "Полярной звезде" обозначено следующим образом: "Последняя поездка в Соколово. – Теоретический разрыв. – Натянутое положение. – Дамское общество. – Mesalliance. – Из журнала женщины. – Dahin! Dahin!"[18]. Однако, несмотря на объявленное содержание пятой главы, текст "Из журнала женщины" в публикацию "Полярной звезды" включен не был[19].

Глава V (в окончательной нумерации XXXII) была написана только в ноябре или декабре (до 23) 1857 г.[20] Работа над ней шла у Герцена очень трудно, но к 23 декабря она была, очевидно, уже совсем закончена. В этот день он писал Рейхель: "Да – писать записки, как я их пишу, – дело страшное, – но они только и могут провести черту по сердцу читающих, потому что их так страшно писать ⟨...⟩ Сто раз переписывал я главу (которой у вас нет) о размолвке, я смотрел на каждое слово, каждое просочилось сквозь кровь и слезы" (XXVI, 146). Поскольку в этом же письме Герцен обещает Марии Каспаровне, что "к русскому Новому году" она получит "всю главу ⟨...⟩ о нашей размолвке в 1846..." (XXVI, 147), то, вероятнее всего, в последних числах декабря 1857 г. эта глава уже набиралась в Вольной русской типографии Герцена, но без обещанного текста "Из журнала женщины".

По-видимому, в то время, когда глава уже была в наборе, Герцен отказался от намерения опубликовать дневник покойной жены в книге IV "Полярной звезды", а поэтому, вероятно, и не переписал его тогда.

Это предположение подкрепляется заглавием, данным Герценом дневнику жены в особой "книге", в которую он его переписал. В тетради, хранящейся в Рукописном отделе ИРЛИ, названию "Из журнала женщины" предшествует заголовок: "Inside. Глава первая" (XXX, 625).

Приведенная выше помета Герцена: "Журнал, записанный в другой книге", – объясняет все: Герцен отсылает здесь к тетради, в которую переписан дневник Натальи Александровны; несомненно, что его текстом должна открываться глава I рассказа о семейной драме. Это подтверждается и анализом нумерации. Первый лист с текстом Герцена обозначен в " амстердамской тетради" его рукой цифрой 9. "Журнал женщины" в тетради ИРЛИ занимает ровно шесть листов. И здесь звено замыкается: учитывая эти шесть листов с текстом "Из журнала женщины", а также обложку и титульный лист (1 и 2) "амстердамской тетради", первый лист с текстом Герцен и должен был в этой тетради обозначить цифрой 9[21].

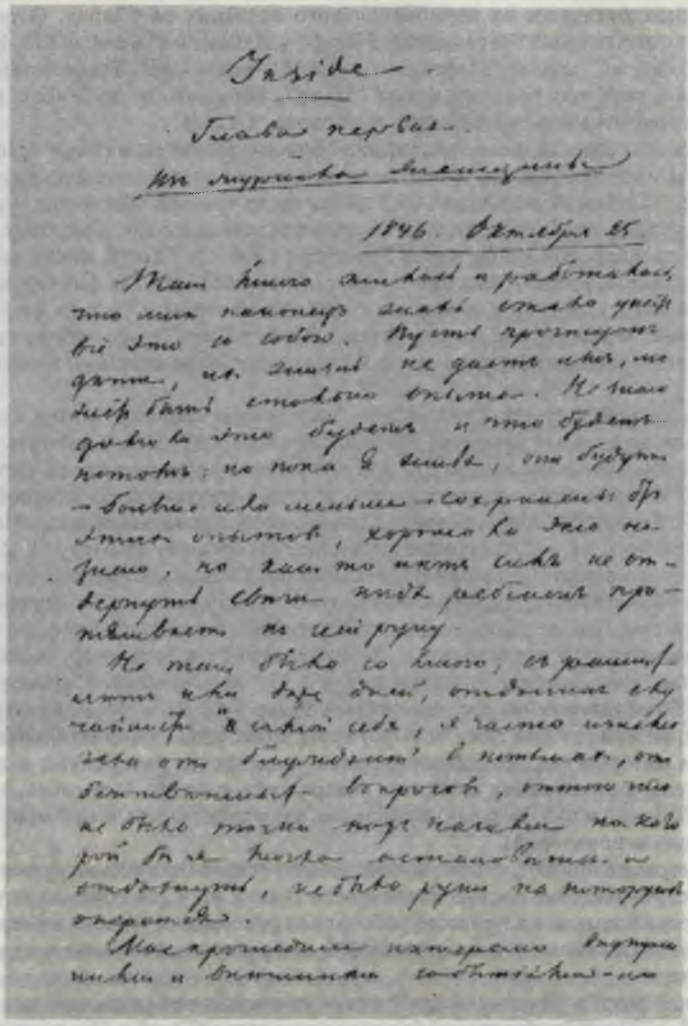
Становится понятным и предшествующее названию "Из журнала женщины" обозначение "Глава первая" (вместо I, как в окончательной редакции). Оно восходит к первоначальной редакции: ранее все главы вместо порядкового обозначения римской цифрой назывались словами: "Глава третья", "Глава четвертая" и пр.; эти зачеркнутые заглавия сохранились на страницах "амстердамской тетради", которые переписаны не были (об этом будет сказано ниже). Таким образом, сохравнившееся в тетради Пушкинского Дома название "Глава первая" является дополнительным свидетельством того, что текстом "Из журнала женщины" должна открываться часть, посвященная семейной драме.

При этом возникает вопрос: что же может означать герценовское название "Inside", предшествующее в тетради Пушкинского Дома обозначению "Глава первая"?

Английским словом "Inside" – "Внутреннее", "Личное" – Герцен назвал часть "Былого и дум", посвященную семейной драме. Если вспомнить, что начальные главы части пятой, которые

9* По-французски "дневник" – "le journal".

10* Курсив мой. – *И.П.*



"БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. "INSIDE"

Автограф. Начало первой главы – "Из журнала женщины"

Институт русской литературы РАН, С.-Петербург

он публиковал в книге V "Полярной звезды", в своем заглавии содержали слово "Outside" – "Внешнее" (см. об этом выше), то замысел Герцена становится понятным. Ко времени композиционного оформления нынешней части пятой, посвященной жизни Герцена на Западе, она распадалась на два отделения: "Отделение первое. Outside", посвященное общим проблемам европейской жизни эпохи революции 1848 г., и второе отделение – "Inside", в котором он рассказывал о "частном" – о пережитой в эти же годы личной трагедии, гибели семейного очага.

Вероятнее всего, именно в то время, когда готовилась к печати книга V "Полярной звезды", т.е. в первые месяцы 1859 г., замысел Герцена – дать главам, посвященным семейной драме, заглавие "Inside" – окончательно созрел. Ведь в это время он неизбежно должен был обратиться к рукописи 1857–1858 гг., так как готовил для публикации главу "Oceano nox". Тогда же, возможно, и был переписан в особую тетрадь, под заглавием "Inside" дневник Натальи Александровны. Можно даже предположить, что первоначально Герцен намеревался переписать в эту тетрадь все эти главы, но потом от этого намерения отказался.

Таким образом, благодаря помете автора и следуя его замыслу, можно заменить ставшее традиционным редакционное заглавие "Рассказ о семейной драме" авторским – "Inside" (далее эта часть "Былого и дум" так и будет называться в нашей статье).

При публикации части пятой в т. IV отдельного издания "Былого и дум" (Женева, 1866–1867) Герцен отказался от первоначального названия ее "Запад. Отделение первое. Outside", заменив его новым: "Часть пятая. Париж – Италия – Париж. (1847–1852)", а главы, посвященные "общему", назвал "Перед революцией и после нее". Такое изменение заглавия можно объяснить тем, что том, названный "Inside", Герценом не публиковался, а поэтому, очевидно, он решил отказаться в названии и от слова "Outside".

Для разъяснения смысла, какое вкладывал Герцен в английские слова "Outside" и "Inside", которыми он называл два раздела пятой части, напомним следующие слова его самого. Публикуя в книге III "Полярной звезды на 1857" главы части третьей "Былого и дум" ("Владимирна-Клязьме"), посвященные его любви к Наталье Александровне и истории их женитьбы, Герцен писал в предисловии (датировано 21 ноября 1856 г.): "Часть, печатаемая теперь, интимнее прежних; именно потому она имеет меньше интереса, меньше фактов; но мне было гораздо труднее ее писать... К ней я приступил с особенным страхом былого и печатаю ее с внутренним трепетом, не давая себе отчета зачем... Может быть, кому-нибудь из тех, которым была занимательна внешняя сторона моей жизни, будет занимательна и внутренняя" (VIII, 409).

"Outside" – "внешняя сторона", "Inside" – "внутренняя сторона" жизни Герцена. Только так можно понять найденные им емкие английские слова, определяющие суть обозначенных им частей мемуаров. И несмотря на то что при публикации первого раздела части пятой – "Перед революцией и после нее" – вряд ли можно теперь вернуться к отмененной первоначальной редакции заглавия "Outside", название "Inside" необходимо закрепить за публикуемыми ниже главами "Былого и дум" как соответствующее авторскому замыслу.

Выше уже было сказано, что при переписывании Герцен, скорее всего, воспользовался своей тетрадью 1857–1858 гг. Подтверждение этого – имеющаяся в "амстердамской тетради" авторская нумерация. При ее анализе приходится иметь в виду следующее. Во первых, листы автографа не имеют единой последовательной нумерации (так, например, последний лист главы VIII с текстом "Post scriptum" помечен цифрой 129 окончательной нумерации, а первый лист с текстом "Прибавления" имеет порядковый номер 110). Во-вторых, на многих листах сохранилось две (а иногда три или даже четыре) нумерации: одна – окончательная, другая – ранняя, отмененная автором (на большинстве листов она просто зачеркнута; в других случаях цифры окончательной нумерации написаны поверх цифр ранней). В-третьих, листы, на которых сохранилась одна (окончательная) нумерация, явно переписывались (чаще всего они имеют меньшее число исправлений).

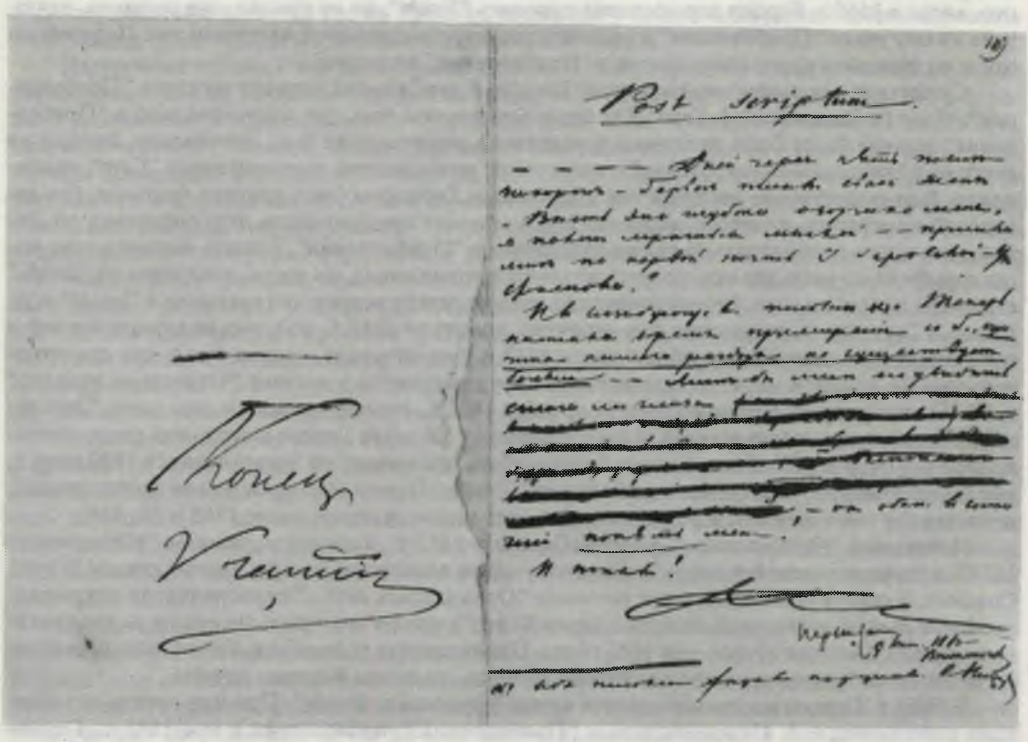
Анализ нумерации при подготовке публикуемого текста был весьма важен не только для правильного воспроизведения последовательности текста, но и для понимания того, как видоизменялся авторский замысел в процессе работы над рукописью. Анализ нумерации (наряду с вариантами) дает также возможность установить, что работа над главами шла с разной степенью интенсивности.

Публикуемый раздел "Былого и дум" в его окончательной редакции состоит из восьми основных глав (I–VIII) и "Прибавления" (в него вошли глава "Гауг" и еще две небольшие главки: "Теддингтон. Перед отъездом" и "После приезда"), являющегося как бы послесловием к уже завершенному рассказу: ведь авторская помета "Конец V части" сделана еще до "Прибавления", перед "Post-scriptum" 'ом к главе VIII. Последняя запись, обозначенная в автографе "Еще посещение. (26 марта 1865)", осталась незаполненной авторским текстом (о ней будет сказано ниже).

Ранее уже говорилось, что в издании под редакцией Лемке, пользовавшегося для своей публикации копией с того самого авторского текста, который тогда находился в Лозанне, а потом оказался в Амстердаме, главы с рассказом о семейной драме включены в состав части пятой как главы XLIII–L. Поскольку в нашем распоряжении нет записки, на которую ссылался Лемке и на основании которой он создал такую композиционную структуру части пятой, только автограф "амстердамской тетради" может служить для нас безусловным отражением авторской воли того, как должны называться и как нумероваться главы в окончательной редакции "Inside".

Автограф отражает поиски композиции, которая в конце концов сложилась. Видно, что они шли не только на стадии работы над рукописью в 1857–1858 гг., но и во время ее переписывания (август–сентябрь 1860 г.); не прекращались они и после 1860 г., который Герцен считал годом завершения работы над "Inside".

О композиции и месте некоторых глав свидетельствуют, в частности, зачеркнутые первоначальные обозначения некоторых глав ("Глава третья", "Глава четвертая", "Глава восьмая. Смерть"), сохранившиеся именно на тех страницах, которые автором явно не переписывались и восходят к редакции 1857–1858 гг.



"БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ("INSIDE")

Автограф. Post scriptum. Внизу помета Герцена: "Переписан⟨о⟩ 9 Сент⟨ября⟩ 1860 – Bournemouth". На обороте предыдущего листа: "Конец V части"

Международный институт социальной истории, Амстердам

Судя по авторским пометам, редакция 1860 г. оканчивалась главой, посвященной смерти Натальи Александровны (вероятнее всего, тогда, в 1860 г., она еще имела порядковый номер VII). Важнейшая из этих помет находится на обороте листа, предшествующего листу с "Post scriptum" 'ом: "Конец V части". Характерно и то, что нынешняя глава VIII заканчивалась в автографе обычным для Герцена в таких случаях росчерком, означающим конец главы. В помещенном же после главы VIII "Post scriptum"'е почти не было герценовского текста. Герцен только цитировал в нем ходившие по рукам в Ницце письма Гервега к жене. Приведя цитату из письма Гервега: "Теперь настало время примирения с Г⟨ерценом⟩, *причина нашего раздора не существует больше*... Лишь бы мне его увидеть с глаза на глаза – он один в состоянии *понять меня*!" (при этом в автографе идет почти шесть строк густо зачеркнутого текста, в котором есть такие слова Гервега: "Все объяснилось бы и мы бросились бы друг другу на шею"), Герцен завершает "Post scriptum" коротким, ироническим финалом: "И понял!"

После "Post scriptum'а" в "амстердамской тетради" следует "Прибавление", работа над которым закончилась, согласно помете Герцена, в 1858 г. Такие "Прибавления" были традиционными в композиции "Былого и дум" (см., например, "А. Полежаев" – прибавление к части первой).

По содержанию глава "Гаук" в "Прибавлении" является прямым продолжением главы VII, так как в ней описывается, как была выполнена воля покойной Натальи Александровны прочесть Гервегу ее письмо к нему от 18 февраля 1852 г. (текст этого письма приведен в главе VII, так что связь "Прибавления" с публикуемой частью мемуаров не вызывает сомнений).

Однако задуманное Герценом как завершение текста "Inside" "Прибавление" не было включено им в окончательную общую нумерацию всей части (первый его лист имеет порядковый номер 110, а "Post scriptum" к главе VIII обозначен как л. 129).

Такое несовпадение авторской нумерации объясняется, очевидно, тем, что Герцен оставил в "Прибавлении" раннюю (первую) нумерацию листов, относящуюся к редакции

1857–1858 гг. Чем это объяснятся – сказать трудно. Можно только высказать предположение, что, когда в 1860 г. Герцен переписывал рукопись "Inside", он не принял еще решения, включать ли ему текст "Прибавления" в окончательную редакцию этой части или нет. Поэтому он мог и не изменить нумерацию листов в "Прибавлении" на новую.

Существен для творческой истории "Былого и дум" ранний вариант заглавия "Прибавления": "Гаут [и Энгельсон]. I. Гаут". Он свидетельствует о том, что первоначально в "Прибавление" должна была быть включена и подглавка, посвященная В.А. Энгельсону. Входил ли текст ее в "амстердамскую тетрадь" – неизвестно, но последний лист подглавки "Гаут", несомненно, был существенно переработан и переписан Герценом (лист другого формата, без авторской нумерации, в тетрадь вклеен). Это позволяет предположить, что подглавка об Энгельсоне могла первоначально также находиться в "Прибавлении". Решить вопрос о том, когда она была из него изъята, не представляется возможным, но тогда, исключая из "Inside" страницы об Энгельсоне, Герцен, очевидно, еще не решил вопрос, останется ли в "Inside" подглавка о Гауге (не было решено это, вероятно, вплоть до 1860 г., поэтому не менялась в ней и пагинация). Глава же "Энгельсоны" уже к 1859 г. существовала, скорее всего, как самостоятельная. По крайней мере, из предисловия к ее публикации в составе "Отделения второго" т. IV "Былого и дум", датированного 31 декабря 1865 г., становится ясным, что глава "Энгельсоны" составляла особую тетрадь. В предисловии к этой главе Герцен пишет, что, узнав в начале 1865 г. о смерти А.Х. Энгельсон, он "взял тетрадь, писанную" об Энгельсонах "в 1859 году, и, вместо псалтыря, прочел ее над покойниками". Там же Герцен отмечает, что он "долго думал", печатать эту главу или нет, и решился сделать это только в самом конце 1865 г. (X, 334).

Дописывал "Прибавление" о Гауге Герцен в 1863 г. Уже после пометы "(Окончено в 1858)" в "амстердамской тетради" появляется новое окончание, как бы эпилог главки "Гаут". Созданный спустя одиннадцать лет (словами "Одиннадцать лет!..." первоначально открывался этот отрывок, названный сначала "Через XI лет"), эпилог этот больше похож на дневниковую запись ("Сегодня второе мая 1863 года... Одиннадцатая годовщина. Где те, которые стояли возле гроба"), посвященную последним встречам со своим бывшим другом.

В 1863 г. Герцен вновь обращается ко всей рукописи "Inside". Прошло десять лет с начала работы над ней. После эпилога к "Прибавлению", написанного в мае 1863 г., Герцен делает еще две записи (в августе и после 21 сентября 1863 г.). Обе они ("Теддингтон. Перед отъездом", с датой "Август 1863", и "После приезда") также напоминают дневниковые записи и как бы превращают автобиографический рассказ писателя в дневник. Написанные как финал трагедии – возвращение к дорогой могиле, они замыкают все повествование, перекликаясь с началом трагического рассказа, прозвучавшего в дневнике Натальи Александровны, и образуют единство, исключительное по своей художественной целостности и завершенности.

Таким образом, 1863 год стал значительной вехой в работе Герцена над "Inside". Именно в этом году было найдено новое финальное решение всей этой части.

Возможно, что сделанная на титульном листе "амстердамской тетради" запись, отмечающая, кому давал Герцен читать свою рукопись, также относится к 1863 г.

Но этот год не стал годом окончания "Inside".

В 1865 г. на отдельном листе "амстердамской тетради" Герцен записывает: "Еще посещение. (26 марта 1865)". Однако другого текста на этом листе нет.

Что же произошло 26 марта 1865 г. в жизни Герцена и о каком посещении идет здесь речь? В этот день Герцен снова побывал на ницком кладбище, где состоялись похороны его близнецов Елены и Алексея. По письмам Герцена можно представить себе, в каком настроении был он в связи с этими похоронами. Младшие дети Герцена умерли в декабре 1864 г. в Париже и там же были похоронены, а затем, после эксгумации, состоялись их вторые похороны – в Ницце (так же дважды хоронили и самого Герцена – сначала в Париже, а затем в Ницце). Герцен сопровождал оба детских гробика из Парижа в Ниццу. "Много торжественного и глубоко печального в этой поездке с двумя гробами", – писал Герцен Огареву из Тулона, по пути в Ниццу, 23 марта 1865 г., а в ту же ночь снова повторил: "Торжественное что-то в этих похоронах на тысячу верст и в самой exhumation, и много пыли и сору. Я только хотел тебе заявить, что жив. Гробики едут в особом вагоне и не в ящиках – мне этого хотелось" (XXVIII, 50). Уже после похорон, 26 марта, т.е. в день, каким помечена последняя запись в "Inside", Герцен сообщал Огареву из Ниццы: "Сегодня утром в 10 часов похоронили малюток. Как они вместе взошли в жизнь, так вместе ушли из нее и положены в одну могилу. Рокка убрал оба гробика сплошь цветами, солнце показалось часа на полтора. Они похоронены возле самой Natalie – и места есть еще на 8 человек. Лучше этой горы – кладбища в мире нет. Всю дорогу (действительно утомительную) мне было в *грусти хорошо* (не упрекай же меня, как в твоем письме в Неаполь в 1863, в эпикуреизме горести – тогда меня это сильно обидело...)" (там же)[22]. А спу-

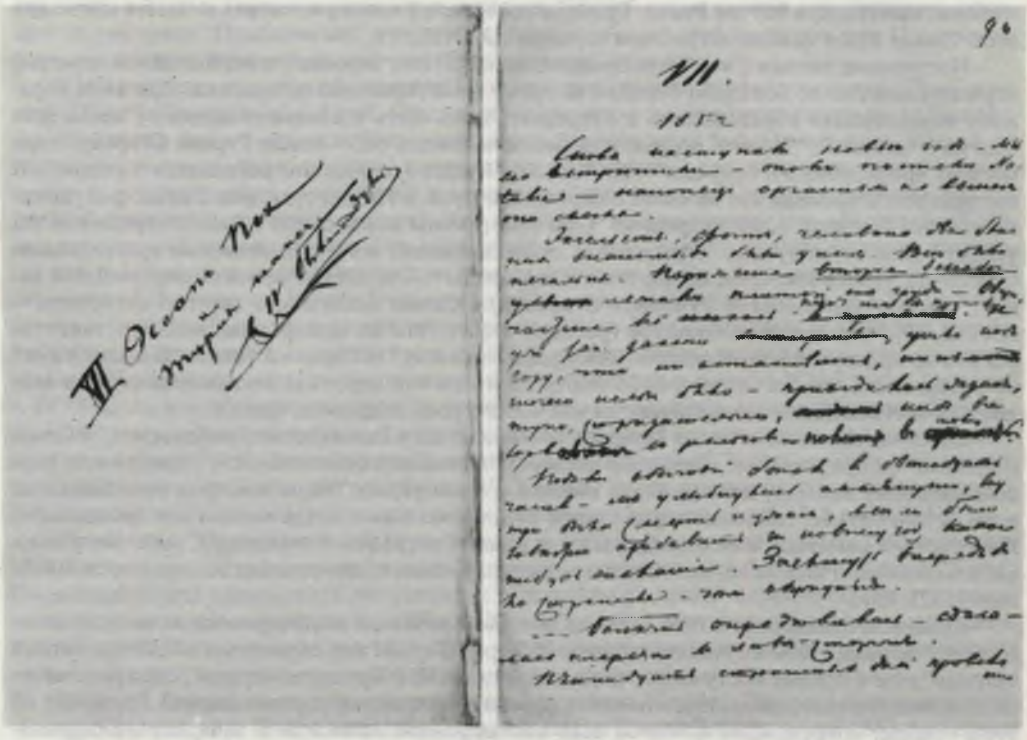
стя несколько дней Герцен написал сыну уже из Канна: "В Ницце было все печально хорошо – цветы, памятник, и тот же Рокка. Гробики поставили у самого памятника – места много для всех. Ницца будет нашим могильным городом" (XXVIII, 55).

Настроение печали ("все было грандиозно, печально, хорошо") и необычайной грустной торжественности не покидало Герцена во время этой горестной церемонии. При этом поражает возвышенная обращенность к будущему: здесь быть последнему приюту ("места есть еще на 8 человек", "Может, осенью или зимой посетишь ты, – пишет Герцен Огареву, – три могилы прошедшие и *n* будущих" – XXVIII, 52, "Ницца будет нашим могильным городом"). В письмах этого времени нет ни слова о пережитой здесь, в Ницце, трагедии. Только раз упоминается имя Натальи Александровны: "Они похоронены возле самой Natalie". Герцен как бы уходит здесь от минувших страданий и самообвинений, живет нынешними трагическими чувствами. Новая трагедия, новые боли и, может быть, ощущение новой надвигающейся вины ("первые разговоры ⟨с Тучковой-Огаревой⟩ в Cannes были очень грустно нехороши" – XXVIII, 50) – они отвели в прошлое трагедию 1852 г. Что же можно здесь написать так, чтобы это не прозвучало диссонансом всему рассказанному? И Герцен в тексте "Былого и дум" не раскрывает, что же случилось 26 марта 1865 г., и эта короткая запись органически входит в повествование и воспринимается как своего рода открытый финал.

Здесь вспоминаются слова Герцена, сказанные им в самом начале работы над "Былым и думами" (в предисловии к первому изданию "Крещеной собственности", которая по первоначальному замыслу должна была войти в его мемуары): "Впрочем, труд этот может на всем остановиться, как наша жизнь, везде будет довольно и везде можно его продолжать. Надгробный памятник и исповедь, *былое и думы*, биография и умозрение, события и мысли, слышанное и виденное, наболевшее и выстраданное, воспоминания и... еще воспоминания!" (XII, 451).

Думается, однако, что в 1865 г., после похорон близнецов и одновременно с записью о посещении могилы Натальи Александровны 26 марта, Герцен мог обратиться в "амстердамской тетради" еще к одному месту своего рассказа. В главе III ("Кружение сердца") обращает на себя внимание то обстоятельство, что почти все листы тетради не переписывались Герценом: об этом говорит сохранившая почти на всех листах ранняя пагинация и зачеркнутое первоначальное название "Глава третья". В то же время анализ вариантов дает возможность убедиться, что, назвав "преступлением" поступок Гервега, уверявшего Герцена в *дружбе* и в то же время умолявшего Наталью Александровну не отнимать у него *дружбы Герцена* "неосторожным словом", Герцен не собирался ничего говорить о последствиях этого преступления. Он сразу же переходил с событиям своей высылки из Парижа (см. зачеркнутый первоначальный текст: "В конце апреля месяца – полиция велела мне выехать из Франции ~ я остался до половины июня – за сим"). Но потом у Герцена позникает потребность выразить свое отношение к нравственному преступлению Гервега и разобраться в его последствиях. Герцен ставит после слова "преступление" значок, отсылающий к обороту предыдущего листа, где появляется весьма ответственный текст. Вот как читался первоначально этот затем частично зачеркнутый Герценом текст: "Преступление!.. Да... и вся мрачная мысль юдаизма и христианства – о грехе, продолжающемся веками и веками бедствий – до искупления... печальный образ того, что делается в жизни. Но в жизни нет наказания и нет снятия греха искуплением – в ней есть неотразимые следствия. Искупление, раскаяние может примирить человека с собой, с другими – но последствия и ими нельзя остановить – они идут далеко за поколения. Для искупления – религии был нужен рай – и его сени монастырь. И то и другое – *вне жизни*. Многие не так смотрят на эти вопросы. – Это по большей части оттого, что они смешивают *последствия* – с вменением или местью, карой. И люди, утверждающие о сохранении физических сил – не хотят понять в той же непрерывной деятельности сил иного порядка". К какому времени относится этот текст – к лету 1860 г., когда перерабатывалась и переписывалась "амстердамская тетрадь", или к более позднему времени, – сказать трудно. Но этот отрывок прямо перекликается с дневниковыми записями 1863 г., в особенности с записью от 16 августа, сделанной в Теддингтоне: "Кара! Кара! Мысль эта не идет у меня из головы – les châtiments – в прозе жизни. *Последствия* – повторяю – а не наказания. Посылки имеют право – на силлогизм. Теперь идет силлогизм. Что же было в посылках?" (XX, 602; см. XXX, 801).

Казалось бы, совершенно отточенный текст, четко формулирующий авторскую позицию. Но Герцен снова возвращается к нему и снова правит его. Оценивая трагические последствия пережитых событий, он стремится смягчить звучавший в первоначальной редакции этого отрывка мистический налет, вычеркивает почти все ранее написанное, и появляется новый текст, в котором еще более отчетливо отразился жизненный опыт Герцена последующих лет, чувствуется отзвук его новых потерь и постоянное осмысление своей глубочайшей вины. В словах окончательного текста ("все последующие бедствия – идут как простые неминуемые



"БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ⟨"INSIDE"⟩

Автограф. Начало главы седьмой – "1852". На обороте предыдущего листа помета Герцена: "VI. Oceano Nox и Турин напеч⟨атаны⟩ в IV ⟨томе⟩ "Былого и дум"

Международный институт социальной истории, Амстердам

последствия его ⟨преступления⟩, – идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь раскаяньем, потому что они не *наказания, а последствие*, идут за поколенье – по страшной несокрушимости свершившегося. Казнь искупает, примиряет человека с собой, с другими, раскаяние искупает его. Но последствия идут своим страшным чередом. Для бегства от них – религии выдумали рай – и его сени – монастырь") как будто слышатся отголоски потери близнецов ("не останавливаясь гробами", последствия "идут за поколенье"). Можно предположить, что последний по времени вариант этого фрагмента, сформулированный с типичной герценовской афористичностью, мог появиться одновременно с записью 26 марта 1865 г.

Но 1865 год не был последним годом, когда Герцен обращался к "амстердамской тетради". Его новое обращение было связано с решением включить в "Отделение первое" т. IV отдельного издания "Былого и дум" главу "Oceano nox" в расширенном по сравнению с публикацией 1859 г. составе (к ней была подсоединена подглавка I, посвященная свиданию Герцена с Натальей Александровной в Турине).

Окончательно композиция "Inside" сложилась только после выхода в свет в первых числах ноября 1866 г. т. IV отдельного издания "Былого и дум". Об этом свидетельствует тот факт, что текст главы VI ("Oceano nox") в автографе вообще отсутствует, а вместо него существует лишь авторская помета: "VI. Oceano nox и Турин напеч. в IV Былого и Думы", – обозначающая отсылку к тексту т. IV отдельного издания мемуаров. (Цифра VI написана поверх цифры, которую можно прочесть как цифру III, что свидетельствует о сомнениях Герцена, где поместить главу "Oceano nox".)

Совершенно ясно, что такая помета могла быть сделана или после выхода в свет т. IV "Былого и дум", или когда автором было принято окончательное решение о включении "Oceano nox" в этот том.

Тогда же, очевидно, изменились и порядковые номера следующих после "Oceano nox"

глав. Это доказывается сохранившимся в автографе заглавием нынешней главы VIII. Ранее она называлась "Глава седьмая. Смерть". Поскольку первый лист нынешней главы VII переписывался автором, на нем не сохранилось первоначальное название главы, она обозначена лишь римской цифрой VII и лист этот имеет только одну авторскую нумерацию.

Согласно приведенной выше авторской помете, глава VI ("Oceano nox") должна воспроизводиться в окончательной редакции этой части мемуаров по печатному тексту т. IV отдельного издания "Былого и дум", что и сделано в настоящей публикации. Мы подчеркиваем: *по печатному тексту*; подчеркиваем потому, что автограф этой главы "Былого и дум" сохранился. Он находится теперь в *РГАЛИ*[23] (автограф первой подглавки, посвященной Турину, и печатный текст второй подглавки с рассказом о кораблекрушении, происшедшем 16 ноября 1851 г.).

Именно этот автограф первой подглавки и печатный текст второй подглавки, хранящийся в настоящее время отдельно от "амстердамской тетради" как самостоятельная единица, служили наборной рукописью при публикации главы "Oceano nox" в т. IV "Былого и дум".

Сравнение печатного текста главы "Oceano nox" в т. IV с сохранившейся наборной рукописью (а эта работа была сделана для 30-томного собрания сочинений – см. X, 426–428) свидетельствует о том, что Герцен внес некоторые поправки в текст уже на стадии чтения корректуры т. IV "Былого и дум", и только печатный текст отражает последнюю волю автора для этой главы мемуаров.

Встает вопрос: как соотносится хранящийся в *РГАЛИ* автограф с "амстердамской тетрадью"? Были ли листы автографа первой подглавки главы "Oceano nox" ранее в ее составе? Не имея возможности сравнить бумагу автографа *РГАЛИ* с бумагой "амстердамской тетради", ответить точно на этот вопрос трудно.

В "амстердамской тетради" "на стыке" глав V и VII, там, где в окончательной редакции должна располагаться глава VI, для которой Герцен сделал отсылку к т. IV отдельного издания "Былого и дум", в авторской нумерации есть разрыв: глава V оканчивается листом с авторской нумерацией 86 (ранняя: [77]), глава VII начинается листом 90 (ранняя нумерация его не сохранилась, так как лист был переписан). На этом основании можно предположить, что из "амстердамской тетради" уже после того, когда листы в ней были сплошь пронумерованы, было изъято всего три листа (87, 88, 89).

Сохранившаяся ранняя нумерация л. 86 и 91 ([77] и [88]) свидетельствует о том, что и в первоначальной редакции изъятый текст также занимал не более трех листов: отсутствующие в автографе л. 87, 88 и 89 должны были нумероваться как л. 78, 79 и 80. По свидетельству же С.В. Житомирской, "на стыке" гл. V и VII из "амстердамской тетради" вырезано несколько листов.(их края так тщательно склеены, что подсчитать их количество точно ей не удалось, однако их не менее шести).

Во всяком случае количество пронумерованных листов (три), изъятых из "амстердамской тетради", не совпадает с количеством листов (девять), составляющих автограф *РГАЛИ* (для второй подглавки главы "Oceano nox" в "амстердамской тетради" ранее могла быть отсылка к книге V "Полярной звезды"); это не дает возможности решить вопрос о том, воспользовался ли Герцен для публикации в т. IV "Былого и дум" страницами из "амстердамской тетради". Несовпадение же количества пронумерованных отсутствующих трех листов с остатками вырезанных не дает возможности окончательно решить, в каком виде существовала в "амстердамской тетради" первая подглавка (о свидании в Турине). Возможно, что прежде она имела сокращенный вариант. По крайней мере, ту редакцию текста первой подглавки, которая дошла до нас в автографе *РГАЛИ*, можно скорее отнести к 1866 г., чем к ранней редакции.

Положение же главы "Oceano nox" в окончательном тексте не подлежит сомнению: оно устанавливается и ее нынешним порядковым номером "VI", и местоположением авторской пометы, указывающей, откуда необходимо взять ее текст для окончательной редакции.

Обращался ли Герцен к "амстердамской тетради" после 1866 г.? Были ли сделаны в ней еще какие-либо изменения после этого года?

Анализ нумерации "амстердамской тетради" и прочитанные в ней варианты текста позволяют сделать вывод, что Герцен снова обратился к своему автографу летом 1867 г., когда им создавались отдельные подглавки для главы "Без связи", посвященные Швейцарии. Глава "Без связи" вошла в заключительную, восьмую часть "Былого и дум", напечатанную в книге VIII "Полярной звезды на 1869" (вышла в ноябре 1868 г.).

Нумерация на "стыке" глав II и III прервана. Это свидетельствует о том, что из "амстердамской тетради" было изъято девять листов (глава II оканчивается л. 45, а III начинается л. 55; сохранившаяся же ранняя нумерация листов – 40–43 – говорит о том, что в ранней редакции изъятый фрагмент мог занимать четыре листа). Последняя зачеркнутая фраза главы II да-

ет некоторое представление о содержании изъятого текста. После слов, которыми теперь кончается глава II: "Наступил 1849 год", – в автографе первоначально шла следующая фраза: "Начну мою хронику о нем происшествием, совсем не идущим к делу – комическим сначала, неважным после – но которое бросает своего рода свет на характеры". Затем Герцен вычеркивает эту фразу, а эпизод, "совсем не идущий к делу", занимавший в автографе девять листов, вырывает из тетради. Ранний вариант следующего листа главы III: "В начале лета я стал замечать в Г(ервеге) разные перемены", замененный затем Герценом на текст: "Мало-помалу в 1849...", дает возможность предположить, что эпизод ("происшествие"), изъятый из окончательного текста, мог произойти только до лета 1849 г. Таким "происшествием", "совсем не идущим к делу", но которое "бросает своего рода свет на характеры", мог быть эпизод одной из встреч Герцена на балу с гризеткой Леонтиной в начале 1849 г.[24] Рассказ о встречах с Леонтиной включен Герценом как раз в состав главы "Без связи" (в главку "С того и этого света").

То, что Герцен изъял из "Inside" эпизод, в котором расказывалось о встречах с Леонтиной, подкрепляется текстом, зачеркнутым в главе VII. Он звучит так (начало его в автографе не сохранилось):

"именин – Эмма спросила при всех, что бы мне подарить.

– Я знаю, – сказал Г(ервег), – но поздно достать.

– Что, что, – стали спрашивать его.

– Пустяки, – сказал он, – я пошутил, если б было время, я выписал бы из Парижа фотографию Леонтины en débardeur"[11*].

И Герцен заключает этот эпизод словами: "Тоже хорошая черта!"

Очевидно, Герцен вынужден был снять в главе VII упоминание о намерении Гервега подарить ему фотографию Леонтины, потому что в окончательном тексте оно было бы понятно только, если бы в нем остался рассказ о "происшествии" на балу.

Для публикации эпизода о встрече с Леонтиной в "Полярной звезде на 1868" Герцен, очевидно, существенно переработал текст из "амстердамской тетради", связав этот эпизод с противоречиями общественно-политической жизни буржуазной Европы 1860-х годов.

Сохранившиеся черновые автографы подглавки "Живые цветы. – Последняя могиканка", посвященной Леонтине, имеют авторскую нумерацию, которая не совпадает с пагинацией "амстердамской тетради"[25]. Это заставляет предположить, что отрывок о Леонтине мог быть изъят из нее уже после выхода в свет книги VIII "Полярной звезды".

Так или иначе, в 1867 или 1868 г. Герцен в последний раз сделал существенные изменения в своем рассказе о пережитой им личной трагедии. Следовательно, работа над "Inside" продолжалась около пятнадцати лет, столько же, сколько Герцен писал всю свою главную книгу.

ВАРИАНТЫ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА

Автограф "Inside" по своему характеру скорее приближается к черновому, он содержит множество не известных ранее вариантов. Впервые воспроизводимые в настоящей публикации, они демонстрируют некоторые приемы творческой работы Герцена, показывают, как тщательно отделывал он каждый эпизод. Работая над рукописью, он стремился к предельному лаконизму и к абсолютной художественной правде в изображении обстоятельств и действующих лиц своего повествования.

Есть варианты, свидетельствующие о том, что хотя Герцен в изображении отдельных эпизодов, может быть, несколько и отходил от реальных событий, но никогда не в ущерб истине, и, скорее всего, для большей художественной выразительности в их передаче. Например, рассказывая о расточительности Гервега, о его бессмысленных тратах, Герцен отмечал, что жена Гервега Эмма «отказывала не только себе в вещах необходимых, но не шила детям белья – для того, чтоб он обедал у "Провансальских братий" и покупал себе вздор». Первоначально Герцен написал: "чтоб он обедал с нами", но затем он вычеркивает слова "с нами"; как бы желая отделиться от Гервега, хочет заменить слова "с нами" на – "с друзьями"; однако, не дописав слово "друзьями", он вычеркивает и его. Для Герцена уже неважно, с кем обедал Гервег, важно, что тот обедал в роскошнейшем ресторане, когда находился почти на грани нищеты.

На страницах "Былого и дум" Герцен стремился к "реабилитации" своих героев[26]. Однако это не касалось ни Гервега, ни его жены. Изображая их, Герцен был беспощаден. Герцена

[11*] в одежде грузчика (*франц.*).

иногда упрекают в том, что он был несправедлив в оценке Гервега, что Гервег был великим поэтом Германии, а Герцен не понял его истинного значения. Но ведь Герцен и не ставил перед собой задачу показать, какое место занимал Гервег в истории немецкой литературы. И все же, судя по вариантам, он стремился найти самые точные, с его точки зрения, слова для оценки поэзии Гервега. Говоря о политических песнях Гервега, Герцен пишет: «Большого таланта я в них никогда не видал, сравнивать Г⟨ервега⟩ с Гейне [смешно] могла только его жена ⟨...⟩ Стихотворения Г⟨ервега⟩ оканчивались иной раз ⟨...⟩ припевом: "Vive la République!", и это приводило в восторг в 42 году – в 52 они были забыты. Перечитывать их невозможно».

Прежде всего Герцен меняет слово "смешно" на ироническое: "могла только его жена". Словами же: "и это приводило в восторг в 42 – в 52 они были забыты. Перечитывать их невозможно" – заменяется первоначальная редакция: "Их приняли, разумеется, с восторгом в 42 – и забыли в 48". Но ведь Герцен хорошо знал, что в 1848 г. стихотворения Гервега ещё были популярны, поэтому он заменил год европейских революций – на 1852, когда революции были уже разгромлены. И далее автограф отражает внутреннюю борьбу, которая шла в художественном сознании Герцена, когда он находил формулировки для оценки исторического значения поэзии Гервега. Вначале Герцен пишет: "Перечитывать их теперь невозможно", затем меняет акцент, усиливающий негативное отношение к стихотворениям Гервега: "теперь перечитывать их невозможно", но выбрасывает слово "теперь" совсем и как бы произносит приговор поэзии Гервега: "Перечитывать их невозможно".

Герцен оставляет эпитет "великий" при имени Гервега там, где о нем говорит жена поэта, но снимает его, когда сам с иронией пишет о честолюбивых планах Гервега во время революционных событий 1848 г. – тех планах, которые рисовались в сознании Гервегов: "Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, [что] народ примет инсургентов с распростертыми объятиями: [великий] *поэт* провозгласил бы республику, республика провозгласила бы [великого] *поэта* диктатором – разве не был диктатором Ламартин?" Герцен снимает здесь эпитет "великий" и переносит иронический оттенок в само слово "*поэт*", выделяя его курсивом. Вспомним иронический курсив Герцена у слов Гервега о "*страданиях поэта*". Для Герцена не столь важно значение Гервега как поэта. Конкретное историческое лицо типизируется; главная цель Герцена – показать, как буржуазность влияет на чистоту семейных отношений. Так, описывая отъезд Гервегов из своего дома, Герцен вначале пишет: "Он ⟨Гервег⟩ был *унижен* – его отъезд был комически буржуазным отъездом"; затем меняет этот текст на другой: "Он и ехал из трусости – он унизился этим отъ⟨ездом⟩" – и, не дописав этот вариант, заменяет его новым: "Унижения больше этого буржуазного отъезда я не могу себе представить".

Что же касается изображения своих взаимоотношений с женой, то здесь Герцен старается всячески смягчить ее вину. Это видно, например, при передаче разговора с Натальей Александровной, когда в ответ на ее слова: "Дети – бедные дети – что с ними будет", Герцен произносит "самые жестокие слова из всех сказанных": "Об них надобно было прежде думать!" Далее он дает оценку своего душевного состояния: "Я был слишком раздражен, чтоб человечески понимать смысл слов, я чувствовал что-то судорожное в груди и голове – и был, может, способен не только к жестким словам, но к кровавым действиям". Последние слова: "к кровавым действиям" – написаны вместо первоначальных, зачеркнутых: "но и больше – к удару ножом". Однако они слишком резки, звучат романтически ложно, и поэтому они заменяются словами: "к кровавым действиям". Вслед за тем Герцен пишет: "Какой процесс, какая виселица могли устрашить меня – жизнь свою я уже не ставил ни в грош. Это *одно из первых условий* – для дел страшных и безумных" (слово "безумных" заменило первоначальное "кровавых").

В описании пережитых событий Герцен снимает подробности, кажущиеся ему лишними. Так, в динамично написанной самой небольшой главе "Inside" – пятой – все в художественном отношении кажется выверенным, уточненным до мелочей. Убираются детали, которые могут так или иначе ослабить эмоциональное воздействие. Вычеркнуты, например, строки первоначальной редакции, относящиеся к продолжению переписки Натальи Александровны с Гервегом после его отъезда из дома Герцена: "(...) что-нибудь против переписки, о которой он просил, уезжая, и которая должна была все успокоить. Я имел многое против, но предоставил самой Natalie продолжать ее или прекратить. Все это должно бы было". Строки эти на предшествующем листе заменяются сначала кратким сообщением, что "он ⟨Гервег⟩ у нее просил, уезжая, право писать", которое, в свою очередь, уступает место варианту, содержащему только констатацию факта: "Он стал писать к N⟨atalie⟩... письмо за письмом". В результате правки оказываются снятыми, казалось бы, важные подробности, уточняющие, как началась переписка Натальи Александровны с Гервегом, сам факт которой Герцен далее оценивает как тревожащий его душу: "Какой же покой, какая свобода могла быть при письмах человека..." и т.д.

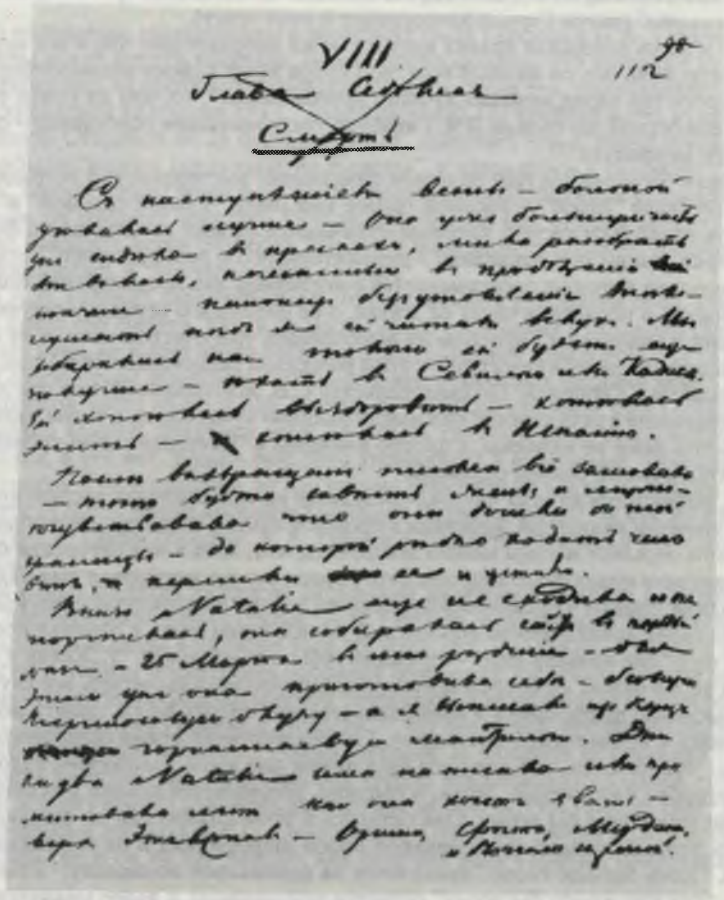
Возможно, однако, что для Герцена были важны в данном случае не подробности. Может быть, ему хотелось "утаить" от будущего читателя, как воспользовалась Наталья Александровна предоставленным ей правом самой решать вопрос, вести ей дальше переписку с Гервегом или нет.

Совсем незначительно правится рассказ о встрече с Н.И. Сазоновым в Женеве, от которого Герцен узнал, что обстоятельства его семейной жизни стали всеобщим достоянием. Но даже небольшая стилистическая правка – свидетельство того, как дорожит писатель не столько полным соответствием изображаемого фактически происшедшему, сколько эмоциональным воздействием рассказанного. Для этого исключаются подробности расставания с Сазоновым (оказывается вычеркнутой фраза, над которой бьется Герцен: "Довольно, ⟨1.⟩ сказал я. – У меня голова болит. Прощай. ⟨2.⟩ У меня болит голова, – сказал я. – Прощай"). Еще раньше вычеркиваются две фразы, одна – оценивающая значение для Герцена еще не рассказанной встречи с Сазоновом ("Но сильнейший удар был впереди"), другая, характеризующая поездку Герцена с В.А. Энгельсоном в Швейцарию, – как бы звучащая диссонансом в его тревожном рассказе ("Путешествие это было очень на месте и очень хорошо"). Существенную стилистическую правку вносит Герцен в следующий важный для него текст: "Итак, – повторял я сам себе... – вот чем оканчивается наша ⟨слово написано вместо зачеркнутого "эта"⟩ поэтическая [необыкновенная] жизнь... обманом и, по дороге, европейской сплетней" – и добавляет важнейшую фразу, передающую его тяжелейшее душевное состояние: "Я был обижен, оскорблен, унижен".

Публикуемые вновь главы "Былого и дум" – это прежде всего рассказ о себе самом, о пережитой трагедии, о собственной роли в ней, и для Герцена небезразлично, каким предстанет перед будущими читателями он сам, главный герой повествования. Заботы эти видны и в той правке, которой подвергся рассказ Герцена о несостоявшейся дуэли с Гервегом. Для Герцена было важно, чтобы у читателя не создалось впечатления, будто он отказался от дуэли из-за трусости, а не по принципиальным соображениям. Вопрос о дуэли рассматривался Герценом в историческом плане еще в статье 1840-х годов "Несколько замечаний об историческом развитии чести" ("Современник", 1848, № 3). Теперь Герцен встретился с этой "проблемой" на собственном жизненном пути. В главе VII – " 1852" – несколько страниц посвящено рассказу о дуэльной "истории" с Гервегом. Автограф позволяет судить, как строг был Герцен здесь в своих выводах, как искал он слова для утверждения безусловной честности и справедливости занятой им позиции. Вся эта глава была переписана Герценом почти целиком. Неоднократно менялось и композиционное расположение переписанного Герценом письма Н.А. Герцен к Гервегу от 18 февраля 1852 г. (об этом свидетельствует сохранившаяся в автографе ранняя пагинация). Но и переписанные заново страницы, посвященные вопросу о дуэли, подверглись новой доработке, и вся она направлена на прояснение позиции Герцена.

Отвергая отжившие принципы дуэли, доказывая нелепость "этой святыни, поставленной дворянской честью и военным самолюбием" (первоначально было: "доказывать нелепость дуэли не стоит [труда]"), Герцен замечает, что "отказаться от дуэли – дело трудное" (ранее было: "[всегда] дело трудное"). Но он убежден: нельзя жертвовать делом жизни ради ложного понятия чести. "...Сколько людей прошли с гордым и торжественным лицом всеми невзгодами жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом – инквизициями и не знаю чем – и срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или [мерзавца] негодяя". Далее следовал вычеркнутый текст, уточнявший взгляд Герцена на этот вопрос: "разрушая дело целой жизни, всех усилий – для того, чтоб доказать двум-трем пошлецам, что для них не страшен [пигмей] какой-нибудь нахал".

Вся правка Герцена на этих страницах носит не столько стилистический характер, сколько уясняющий его мысли и взгляды. Герцен против бессмысленных жертв на дуэли. "Эти жертвы не должны падать", – утверждает он и обосновывает свою позицию силой человеческого разума (именно разума, а не благоразумия). Первоначально его текст связывает эту позицию только с личным опытом. "Основа, определяющая мои поступки, должна быть во мне, в разуме – горе тому, у кого она вне его. Он раб при всей бретерной храбрости". Но Герцена не удовлетворяет такая формулировка; очевидно, он считал, что нужно перевести ее из личного плана в общечеловеческий; тогда мысль станет яснее. Он вычеркивает слово "мои", вместо него вписывает слово "человека" ("Основа, определяющая [мои] поступки человека"), затем соответственно слова "должна быть во мне, в разуме" заменены на "должна быть в нем, в его разуме" и далее находит более четкую форму для оценки такого человека: "у кого она вне его, тот раб при всех храбростях своих". Точнее передают позицию Герцена в вопросе о наказании Гервега слова окончательного текста: "Я не принимал и не отказывался от дуэли. Казнь Г⟨ервега⟩ была для меня нравственной необходимостью", – звучавшие первоначально так: "...В уме дело для меня было решено. Его казнь была для меня очевидной необходимостью") (сло-



"БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ("INSIDE")

Автограф. Начало главы восьмой – ["Смерть"]

Международный институт социальной истории, Амстердам

во "очевидной" заменено словом "нравственной"). Герцен иронизирует над Гервегом, предлагающим "дуэль *без свидетелей*" "как средство драматического примирения". Зачеркнутые далее места в тексте дают возможность проследить, через какой искус прошел не главный герой автобиографического произведения, не рассказчик, а сам Герцен, прежде чем он решился вынести на "суд чести" международной демократии нравственное преступление Гервега. "Что я верил в возможность этого суда, – пишет Герцен, – в этом была, может, последняя моя мечта. Я ошибался – и дорого заплатил за ошибку".

Варианты проясняют отношение Герцена к предложенной Гервегом "дуэли *без свидетелей*". Сначала она представляется Герцену приемлемой. Он зачеркивает фразу перед словами: "Если б я мог тогда отлучиться на пять дней" – "в моей душе не было ни малейшего прощенья – но за мысль дуэля без свидетелей я ухватился обеими руками". Однако Герцен далее объясняет, что убийство Гервега не могло бы его удовлетворить. Ему хотелось бы, чтобы люди его ближайшего окружения, его истинные друзья-демократы узнали, почему он был намерен "казнить" Гервега, "сорвать с него маску – демократа-деятеля". Вот первоначальные варианты, от которых Герцен потом отказался: "⟨*1.*⟩ Недоставало одного – чтоб люди, с которыми я шел, которых уважал, которых уважал и он – знали, почему я с ним так поступал, почему я считал своим правом – казнить человека, которого год тому назад называл лучшим другом своим. Помощь явилась сама собой". Затем Герцен вычеркивает большую часть этого текста и заменяет его новым: "⟨*2.*⟩ Он уже был опозорен баденской экспедицией. Мне хотелось – второй раз сорвать с него маску – демократа-деятеля и показать людям, стоящим с

нами на одном поле, почему я счел себя вправе казнить человека, которого год назад называл лучшим другом своим" (затем Герцен зачеркивает и этот текст).

Видно, что и здесь авторская правка идет в том же направлении, что и вся остальная, касающаяся Гервега: конечно, он личный враг, но Герцен ищет в своих взаимоотношениях с человеком, "которого год назад называл лучшим другом своим", то, что до конца разоблачает его, создавая в его образе, по словам Л.Я. Гинзбург, "полемическое обобщение – формулу интеллектуального мещанства"[27].

В заключение остановимся еще на одном фрагменте "амстердамской тетради".

В последней главе "Inside" – восьмой (ранее она была "Главой седьмой" и называлась "Смерть") – есть несколько листов, которые отличаются от всех остальных по формату и по характеру почерка, каким они написаны, – стремительного и размашистого, беглого и нервного. Это те листы, на которых рассказывается о последнем дне предсмертной болезни Натальи Александровны, о последних часах ее жизни, о ее смерти и о первых минутах после кончины. Эти страницы написаны Герценом на высочайшей трагической ноте, и их содержание обжигает. Внешний вид листов автографа с этим рассказом свидетельствует о том, что эти листы не переписывались Герценом. По свидетельству С.В. Житомирской, это три листа почтовой бумаги, исписанные с двух сторон; они имели раннюю нумерацию, а затем включены в основную. Эти листы даже не вклеены, а просто вложены в "амстердамскую тетрадь", и, несомненно, относятся к самой ранней редакции.

Варианты, имеющиеся на этих листах, – результат не какой-нибудь последующей правки, а относятся ко времени написания, возникли в процессе самого создания. При обращении к зачеркнутым в этом отрывке местам можно заключить, что, хотя в них авторская память чаще всего восстанавливала подлинные подробности, Герцен тут же жертвовал ими ради впечатляющего воссоздания правды художественной. Так из текста вычеркнуты следующие предложения: "Раз она снова хотела что-то спросить. Я понял, в чем дело, и отвечал прежде вопроса, успокаивая ее", "она назвала меня – прижала губы к моей руке"; "[...Когда я один стоял] Один и стоял я перед окном и смотрел оглушенный, боявшийся вымерить все случившееся, – на море, бессмысленно двигавшееся и напоминавшее мне смерть Коли, смерть моей матери – и вдруг". Стремясь к предельному лаконизму, Герцен жертвует этими подлинными ценными подробностями. Чувствуется, что для него был важен сам ритм изложения, художественное воздействие которого несомненно. Этим, возможно, объясняется правка в тексте: "Хоть бы еще слово... или уже конец бы всему. Она осталась в этом положении до следующего утра". Герцен, по сути дела, не вносит здесь никакой новой информации и не выбрасывает ничего значительного. "Хоть бы еще слово" заменяется на одинаковое по смыслу: "Еще одно слово – одно слово"; "или уже конец бы всему" остается неизменным, а далее меняется только порядок слов: "В этом положении она осталась до следующего утра". Но оба предложения, отражающие душевную напряженность Герцена, звучат благодаря осуществленной правке в несколько ином ритмическом ключе, резче передающем трагизм происходящего.

Естественно, что Герцен не решился переписать эти страницы в новую тетрадь, а просто вложил их. С каким внутренним напряжением воспринимались Герценом эти страницы впоследствии, подтверждает его дневниковая запись от 2 августа 1864 г., сделанная в Борнемуте, где ровно четырьмя годами ранее Герцен переписывал текст "Inside". «Я читал ее последние минуты, – пишет он, – я с каким-то религиозным трепетом хотел передать Тате – и перерыв грубый, страшный, оскорбляющий детей (речь идет о Н.А. Тучковой-Огаревой, помешавшей чтению), – далее я не мог. Я захлебнулся слезами – и словно во мне что-то оборвалось, и голос звучал в ушах: "Так-то ты сдержал клятву – повторенную сто раз, у смертного одра, у могилы"... Я презирал себя (...) Комедия сыграна! То, чего я боялся – сделано... Я пережил себя – начинается неблагородная старость – и вот для чего я пережил потери и обиды» (XX, 606). А через день, 4 августа, Герцен, потрясенный происшедшим инцидентом, записал в своем дневнике: "Я всегда думал, что передача журнала Тате будет своего рода торжественной панихидой, что мы по-своему, все близкие, помолимся у ее могилы... И это отравлено. А такой день не возвратится больше. Весело я ждал их – и это убито. Какая казнь за мою ничтожность, за мою слабость – вот венки, заслуженные мною. – Неужели и дети побьют меня каменьями?" (там же).

Герцен не хотел скрывать от своих старших детей пережитой им семейной драмы, поэтому в 1862 г. он дал прочитать всю тетрадь сыну Саше, а в 1864 г. сам читал Тате страницы о последних минутах Натальи Александровны. Только самые близкие люди знали при жизни Герцена "самый дорогой" для него том.

О СУДЬБЕ "АМСТЕРДАМСКОЙ ТЕТРАДИ"

Судя по отдельным упоминаниям в переписке сына Герцена с Н.А. Тучковой-Огаревой в первые месяцы после смерти писателя, можно предположить, что тетрадь с публикуемым автографом находилась не среди его парижских бумаг, а среди тех, что оставались в Женеве (вероятно, они хранились у Огарева или С. Тхоржевского). По крайней мере, из письма А.А. Герцена к Тучковой-Огаревой от 26 февраля 1870 г. известно, что к этому времени во Флоренцию уже прибыли "ящики, посланные из Женевы", и находились в таможне: "Я спешу их оттуда достать; боюсь, чтобы вещи и особенно бумаги не испортились в сыром месте". Далее, в том же письме, он обещает прислать Тучковой-Огаревой все, что она просит (чтó конкретно – в письме не указано), когда разберет "бумаги в железном сундуке"[28]. Возможно, что среди этих бумаг находилась и "амстердамская тетрадь".

Письма А.А. Герцена характеризуют его отношение к рукописям отца, владельцем которых он стал после его смерти. Так, в проекте своего обращения в редакции газет, он заявлял: "Никто, кроме меня, не имеет права располагать рукописями моего отца"; "я оставляю исключительно за собой право замедлить опубликование некоторых писаний моего отца, которые касаются вопросов чисто личных или семейных"[29]. Таким образом, сын Герцена считал себя вправе не только хранить рукописи отца, но и быть главным арбитром в вопросе, что подлежит публикации, а что нет. Важно еще одно упоминание в его письме. Тучкова-Огарева просила А.А. Герцена в не дошедшем до нас письме прислать ей какие-то письма. На это он отвечал 12 марта 1870 г.: "Какие *письма* ты хочешь? Неужели *твои*? Да как же я их пошлю? Ну, а как пропадут?"[30] Таким образом, А.А. Герцен был против отправки рукописей почтой, боясь их пропажи.

Позиция самых близких людей из окружения писателя в вопросе о публикации "Inside" сначала в "Сборнике посмертных статей" А.И. Герцена, подготовка которого началась в марте 1870 г. (вышел в Женеве в октябре того же года; изд. 2-е – 1874), а затем в других изданиях, в частности, в первом посмертном собрании сочинений писателя, а также история судьбы рукописи, именуемой нами "амстердамской тетрадью", подробно изложены в работе С.В. Житомирской "Судьба архива Герцена и Огарева"[31]. Из нее видно, что самую последовательную позицию занимала в этом вопросе Тучкова-Огарева. И находясь за границей (т.е. до августа 1876 г.), и после возвращения в Россию, она твердо придерживалась одной точки зрения: не изданная при жизни Герцена рукопись должна как можно скорее увидеть свет. Это же она постоянно повторяла в письмах к Е.С. Некрасовой. Точка же зрения А.А. Герцена на разных этапах менялась, но и он не так упорно, как старшая дочь Герцена, сопротивлялся публикации.

2 октября 1870 г., сообщая М.К. Рейхель о том, что на днях ей будет послан вышедший из печати "Сборник посмертных статей", Н.А. Герцен писала: «Хотели мы одно время печатать V-й том папашиных записок ("Былое и думы"), в котором он говорит о Ницце и об истории с Герв(егом), но оказывается, что еще рано (...) Рано или поздно надобно будет напечатать, так как папаша это желал, – но пока мы отложили еще на некоторое время. Читала ты этот том или нет?»[32]

В работе Житомирской рассказано, как остро встал вопрос о публикации "пятого тома", как называли его в переписке люди из ближайшего окружения Герцена, при подготовке первого женевского собрания сочинений писателя. Тучкова-Огарева, настаивавшая на опубликовании, пыталась как можно скорее получить копию, так как считала, что если ее и Г.Н. Вырубова "не станет, V том не будет издан" (так писала она П.В. Анненкову 2 мая 1875 г.)[33]. Именно поэтому торопила она с присылкой автографа, хотела, чтобы его привезла из Флоренции Н.А. Герцен, которой она писала 26 сентября 1874 г.: "Теперь еще одна серьезная просьба: возьми *V том*, я это требую для тебя и для Лизы – снявши копию, мы отдадим; я ждала пять лет Сашино обещание. В семье, в которой один Саша русский, она исчезнет и забудется со временем; мы не должны этого допустить, будь же потверже"[34]. Из письма к ней же от 6 ноября 1874 г. становится ясно, что Тучкова-Огарева намеревалась, получив от А.А. Герцена автограф, сама сделать копию, а затем вернуть во Флоренцию "застрахованным" пакетом или передать лично[35]. Однако А.А. Герцен, очевидно, отверг этот план, не решился отправить автограф, а пообещал прислать копию. В связи с этим хочется вспомнить об осторожности Александра Александровича, которую он нередко проявлял при отправке автографов отца. Так, например, когда готовился в 1870 г. "Сборник посмертных статей" Герцена, он, опасаясь возможной пропажи рукописей или даже намеренного похищения, просил отдать часть их на хранение К. Фогту, а копии отослать к себе во Флоренцию "в застрахованном пакете". "Я нашел даму, которая будет у меня переписывать, – сообщал А.А. Герцен Тучковой-Огаревой 12 марта 1870 г., – и только *вторую* копию пошлю в типографию"[36].

Ожидая обещанную копию с автографа Герцена, Тучкова-Огарева писала Н.А. Герцен 24 декабря 1874 г.: "Насчет V тома, пожалуйста, напомни Саше, что он мне обещал, что *Никитина* его перепишет"[37]. Из этого же письма видно, что Тучкова-Огарева предпочитала, чтобы копирование автографа было доверено Тате. В то же время ей не хотелось, чтобы ее дочь Лиза ознакомилась с этой частью "Былого и дум" ранее двадцати лет.

Ждать присылки копии Наталье Алексеевне пришлось довольно долго. Очевидно, она получила ее только через полгода. В конце июля или в августе 1875 г. она сообщала П.В. Анненкову из Парижа: "Наконец, Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩ прислал нам V том записок, стало он будет напечатан. Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩ написал Выруб⟨ову⟩, чтоб он прочел V том с Тург⟨еневым⟩ и Лугинин⟨ым⟩ и чтоб сделали, как решат втроем". Надеясь на Анненкова как на союзника в вопросе о публикации этой части "Былого и дум", Тучкова-Огарева хотела, чтобы он вместо В.Ф. Лугинина принял участие в решении этого вопроса, так как ей приходилось преодолевать сопротивление людей, самых близких Герцену, – сына и дочери: "Нат⟨алья⟩ Алекс⟨андровна⟩, приехавши из Флор⟨енции⟩, объявила мне, что ни она, ни брат ее не помнят, чтоб Герцен желал напечатать V том"[38]. И хотя Тучкова-Огарева ссылалась на публичное заявление Герцена о намерении опубликовать эту часть "Былого и дум", ей не удалось преодолеть сопротивление близких, тем более что оно было поддержано авторитетом И.С. Тургенева, а затем и переменившего свое мнение Анненкова.

Тургенев ознакомился с теми главами "Былого и дум", в которых Герцен "рассказывает *историю своей жены с Гервегом, ее смерть", только в январе 1876 г. Из его письма* к Анненкову от 31 января 1876 г. известно, что рукопись ему вручила Тата[39]. Это произошло в Париже. В работе Житомирской на основании письма Тургенева к Анненкову от 31 января 1876 г. утверждается, что Тургеневу был предоставлен для чтения автограф с текстом Герцена[40]. Однако это утверждение кажется сомнительным. Более вероятно, что Тургеневу для прочтения была предоставлена копия, сделанная для Тучковой-Огаревой. Как видно из вышеприведенного письма ее к Анненкову, летом 1875 г. она уже располагала этой копией, а уезжая из Парижа (в конце августа или в первые дни сентября), могла оставить ее у Н.А. Герцен. Вряд ли можно предположить, что, послав в Париж копию с автографа, А.А. Герцен отправил бы туда же и тетрадь с автографом: решить вопрос о публикации текста можно было и по копии. Косвенным подтверждением того, что копия, изготовленная для Тучковой-Огаревой, осталась в Париже, является письмо Н.А. Герцен к ней от 30 мая 1876 г. Из него следует, что к этому времени у Тучковой-Огаревой копии уже не было. Обещание Н.А. Герцен: "Копии V тома я тебе пошлю"[41] – могло быть только ответом на просьбу Тучковой-Огаревой вернуть ей оставленную у Натальи Александровны копию (однако, пообещав это сделать, последняя, по-видимому, своего слова не сдержала и копию не возвратила).

Прочитав неопубликованные главы "Былого и дум", Тургенев 31 января 1876 г. сообщал о своем впечатлении Анненкову: "Я до сих пор нахожусь в состоянье того особенного нервного трепетанья, которое всегда возбуждают во мне герценовские исповеди", и в тот же день М.Е. Салтыкову-Щедрину: "Всё это написано слезами, кровью: это горит и жжет". Но мнение о возможности публикования было у Тургенева твердым и однозначным: "Я решительно против печатанья, хотя как читатель не могу об этом не жалеть"[42].

Тургенев не делал из находящейся у него неопубликованной части "Былого и дум" тайны. Располагая копией, он дал возможность прочитать ее жившей в это время в Париже вдове П.А. Плетнева Александре Васильевне (он считал ее одной из "лучших женщин", с которыми ему "пришлось встретиться"[43]); возможно, ее прочитал также и сын поэта Жуковского Павел Васильевич, через которого Плетнева должна была возвратить Тургеневу рукопись[44].

Затем, с разрешения Н.А. Герцен, рукописная копия была послана Тургеневым Анненкову, находившемуся в это время за границей, чтобы тот, ознакомившись с нею, высказал свое окончательное мнение о возможности публикации. При этом Тургенев писал Анненкову 4 февраля/23 января 1876 г.: "Не сомневаюсь, что она произведет на вас сильнейшее впечатление. Как только вы ее прочтете, пришлите ее мне, также в застрахованном пакете. Я совершенно разделяю Ваше мнение, что напечатать эту вещь было бы вызвать целую бурю скандалов"[45]. Мнение Анненкова после прочтения рукописи было категоричным: опасаясь наследников Гервега и его приятелей, которые захотят оправдать немецкого поэта и используют прессу для того, чтоб очернить память Герцена и его жены, Анненков решительно высказался против публикации, заметив: "В самой статье Герцена есть черты – совершенно гуманные, тонкие, естественные, над которыми однако ж можно плясать трепака бешеной злобе и ругательству"[46].

Получив от Анненкова "страховое письмо с рукописью Герцена" (копией), Тургенев написал ему 16 (4) февраля 1876 г.: «Могу Вам сказать, что насчет печатания рукописи Вы (как и все друзья Герцена) можете успокоиться: в свет она не появится. Когда-нибудь, лет через 50,

вся тогдашняя русская публика насладится (если можно так выразиться) этой чудесной вещью; но до тех пор – повода к "grosse Skandal"[12*] не будет»[47].

Точка зрения Тургенева и Анненкова укрепила старших детей Герцена в мнении, что время для публикации этих глав "Былого и дум" не пришло. Об этом А.А. Герцен написал Тучковой-Огаревой 2 апреля 1876 г.: "Насчет 5-го тома, я никогда не думал, чтоб ты желала повредить памяти Мамаши – а просто думаю, что ты ошибаешься, ожидая от этого пользу ⟨...⟩ не лучше ли подождать еще несколько лет?", а Н.А. Герцен в ответ на вопрос Тучковой-Огаревой обещала ей 30 мая 1876 г.: "Со временем непременно напечатаем"[48].

Сомнения в целесообразности публикации рассказа о семейной драме, которые не покидали наследников Герцена на протяжении нескольких десятилетий со дня его смерти; позиция Тучковой-Огаревой, единственной из семьи Герцена, неизменно отстаивавшей необходимость этой публикации; новые имена деятелей русской культуры, с годами вовлеченных в борьбу за эту публикацию (М.И. Семевский, В.А. Гольцев, Е.С. Некрасова, М.О. Гершензон, М.К. Лемке, Н.П. Анциферов и др.); обстоятельства, при которых тетрадь с автографом Герцена оказалась в Международном институте социальной истории (Амстердам), – все это детально освещено в упомянутой работе С.В. Житомирской, к которой мы и отсылаем читателей.



И.С. ТУРГЕНЕВ

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). Париж, 1850.

Надпись рукой Н.А. Герцен:

"Ivan Tourguéneff. 1850 Paris"

Музей Герцена, Москва

"До осени мы были окружены своими ⟨...⟩ Анненков и Тургенев приходили всякий день" ("Былое и думы")

Тургенев, давший чрезвычайно высокую оценку художественной ценности этой части мемуаров Герцена, оказался пророком (Тургенев писал: "Лет через 50, вся тогдашняя русская публика насладится ⟨...⟩ этой чудесной вещью"). Рукопись, которую он прочитал в 1876 г., впервые появилась в печати в 1919, через 43 года. Но только теперь, спустя сто с лишним лет, печатается аутентичный текст самой драматичной части великого произведения – "Былого и дум" – одной из вершин русской и мировой классики.

Главы из части пятой "Былого и дум" печатаются по фотокопиям с автографа *IISG*. Микрофильм и фотокопии, изготовленные с него, хранятся в *РГБ*, ф. 69. 24.1 и 28.86. Впервые опубликованы в 1919 г. – *Л* XIII, 482–571. Автограф главки "Из журнала женщины" хранится в *ИРЛИ*, Р. III, оп. 1, ед.хр. 826.

Варианты текста воспроизводятся внизу страницы и обозначаются цифрами со звездочкой.

Переводы иноязычных слов и выражений приводятся в примечаниях, после текста и обозначаются арабскими цифрами.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо И.С. Тургенева к М.Е. Салтыкову-Щедрину от 31(19) января 1876 г. – *Тургенев. Письма* XI, 205.

[2] *Зап. ГБЛ*, вып. 41.

[3] "Лит. наследство", т. 96, с. 553.

[4] Здесь и далее цитируется посвященное Э. Гаугу "Прибавление" к публикуемым главам "Былого и дум". При цитировании в статье печатаемого ниже текста ссылки не даются.

[5] См. *ЛЖГ* I, с. 134.

[6] XXV, 131. См. "Лит. наследство", т. 61, с. 307.

[12*] "большому скандалу" (*нем.*).

[7] "Полярная звезда на 1856", кн. II. Лондон, 1856, с. 167 (см. X, 25). Это примечание было сохранено во 2-м изд. кн. II "Полярной звезды" и в т. IV отд. изд. "Былого и дум" (Женева, 1866, с. 23; в этом изд. главки "Приметы" и "Тифоидная горячка" публиковались как главки IV и V "Тетради первой" "Западных арабесок").

[8] Главка "Il pianto" была пятой в первой редакции "Западных арабесок", напечатанной в кн. II "Полярной звезды на 1856"; в т. IV отд. изд. "Былого и дум" перенесена в "тетрадь вторую" "Западных арабесок" и открывала ее (см. X, 116–123).

[9] "Полярная звезда на 1856", кн. II. Лондон, 1856, с. 200; см. X, 123.

[10] Автограф хранится в *РГБ* (ф. 69.1, 4).

[11] "Полярная звезда на 1859", с. 152 (см. X, 427–428). В несколько измененной редакции Герцен напечатал это примечание в т. IV отд. изд. "Былого и дум" при публикации всей главы. Эту измененную редакцию см. в прим. к гл. VI наст. публикации.

[12] "Полярная звезда на 1859", кн. V, с. 75.

[13] *РП* IV, 75.

[14] *ЛЖГ* I, с. 411.

[15] Там же, с. 379.

[16] *ИРЛИ*, Р. III, оп. 1, ед. хр. 826.

[17] *РГБ*, ф. 69.9. 39.

[18] "Полярная звезда на 1858", кн. IV. Лондон, 1858, с. 186; IX, 325.

[19] В "Полярную звезду на 1858" не были включены также тексты, озаглавленные в содержании как "Дамское общество" и "Mésalliance" (последний фрагмент, возможно, был посвящен В.П. Боткину; позднее он составил не опубликованную при жизни Герцена главу "Эпизод из 1844 года" – см. IX, 255–262). Не вошли эти фрагменты и в т. II отд. изд. "Былого и дум" (Лондон, 1861), а поэтому естественно, что их названия были исключены из содержания главы (см. IX, 202). В 30-томном собр. соч. дневниковые записи Натальи Александровны, которые Герцен намеревался включить в "Былое и думы", были напечатаны по автографу в "Приложении" к части четвертой мемуаров (см. IX, 271–275 и 330). Несомненно, что их публикация в составе части четвертой окончательной редакции "Былого и дум" (даже и в "Приложении" к ней), отмененные самим Герценом, не имеет оснований.

[20] См. IX, 306–307; *ЛЖГ* II, 386, 402–403.

[21] Хранящаяся в *ИРЛИ* тетрадь (см. "Лит. наследство", т. 96, с. 601–602), кроме переписанных рукою Герцена дневника Натальи Александровны и ее писем к Огареву, содержит дневниковые записи самого Герцена 1856–1868 гг., копию его письма от 5–10 декабря 1862 г. (часть рукою А.А. Герцена). Тетрадь эта явно распадается на две части, хотя размер ее листов и качество бумаги одинаковые. Она не имеет авторской пагинации, и, судя по датировкам дневниковых записей самого Герцена и их расположению в тетради, обе они существовали раздельно и только позднее были сложены вместе в обложку явно от другой тетради. Дневник Натальи Александровны, открывающий первую из этих тетрадей, занимает л. 1, 1об., 2, 2об., 3, 3об., 4, 4об., 5, 5об., 6. На л. 6об. Герцен начал переписывать письма Натальи Александровны к Огареву. Они заняли в тетради л. 6об., 7, 7об., 8, 8об., 9, 9об. (текст их воспроизведен в XXX, 628–630). Возможно, что Герцен намерен был включить и их в состав "Былого и дум", но потом от этого замысла, судя по авторской нумерации "амстердамской тетради", отказался. Это безусловно подтверждается и тем, что текст главы первой в "амстердамской тетради" начинается обширной цитатой из письма Н.А. Герцен ("Так много понимать ~ способность"), для которой Герцен использовал переписанное в тетрадь *ИРЛИ* письмо Н.А. Герцен к Огареву от 24 декабря 1846 г. (ср. XXX, 628–629).

[22] Письмо Огарева, упоминаемое Герценом, неизвестно.

[23] *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 28 и 29. Автограф этот поступил в архив в составе "пражской коллекции", был описан (не совсем точно) в комментариях к 30-томному собранию сочинений (X, 492); там же воспроизведены его варианты (X, 426–427), которые в нашей публикации поэтому не приводятся. Сделаем только некоторые уточнения к этим вариантам (страницы указаны по т. X этого изд. – см. X, 426). *Стр. 273, строка 6*: Да, мы сами были ⟨1 *нрзб.*⟩ те же *надо*: Да, мы сами были также те же. *Стр. 273, строка 17*: перепрелый канат *следует читать*: перегорелый канат. *Стр. 274, строки 1–2*: ⟨2 *нрзб.*⟩ блистала на итальянском солнце *надо*: Корниче радостно блистала на итальянском солнце.

[24] См. *ЛЖГ* I, 481, 483. Ср. рассказ о встречах с Леонтиной в марте 1850 г. в письме Н.А. Герцен к Г. Гервегу от 8 марта 1850 г. ("Лит. наследство", т. 64, с. 278–279).

[25] Черновой автограф начала подглавки хранится в "софийской коллекции", черновой автограф ее окончания – в "пражской коллекции" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 20). Описание авторской нумерации в них см. XI, 730. Многочисленные варианты приведены в XI, 632–637. В частности, воспроизведенный там вариант "В начале 1849 г. – в минуту ложного выздоровления между двух болезней, в минуту какого-то колебанья и фальшивого покоя – я искал всякого шума и рассеянья, как будто чувствуя, что это последние" (XI, 633) близок к тексту "Inside".

[26] 1 сентября 1861 г. Герцен писал Огареву в связи с опасениями последнего, что в "Былом и думах" могут прозвучать какие-то уничижительные нотки по адресу первой жены Огарева (письмо Огарева неизвестно): «Как же ты издали мог думать, что я казнил Мар⟨ью⟩ Льв⟨овну⟩ – разве ты не видел, что "Былое и думы" – вообще реабилитация – коли ничем другим, так артистическим силуэтом?» (XXVII, 177).

[27] Л. Гинзбург. "Былое и думы" Герцена. Л., 1957, с. 293.

[28] *АО*, 77–78.

[29] Проект этого письма А.А. Герцен сообщил Н.А. Тучковой-Огаревой 12 марта 1870 г. (см. *АО*, 79).

[30] *АО*, 80.

[31] "Лит. наследство", т. 96, с. 553.
[32] См. в кн. 2-й наст. тома публикацию писем Н.А. Герцен к М.К. Рейхель.
[33] "Лит. наследство", т. 63, с. 519.
[34] Там же, с. 518.
[35] Там же.
[36] *АО*, 79.
[37] "Лит. наследство", т. 63, с. 518.
[38] Там же, с. 520.
[39] *Тургенев. Письма* XI, 203.
[40] "Лит. наследство", т. 96, с. 564.
[41] *АО*, 244.
[42] *Тургенев. Письма* XI, с. 203, 205.
[43] Из письма Тургенева к П.В. Анненкову от 6 ноября/25 октября 1869 г. (там же, с. 114).
[44] См. письмо Тургенева к П.В. Жуковскому от 2 февраля/21 января 1876 г. (там же, с. 206).
[45] Там же, с. 206–207.
[46] Автограф. *РНБ*, ф. 7, № 11, л. 11–12. Цит. там же, с. 564.
[47] Там же, с. 211.
[48] *АО*, 239, 245.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
(1848–1852)
INSIDE

I

ИЗ ЖУРНАЛА ЖЕНЩИНЫ

1846. Октября 25. Так много жилось и работалось, что мне наконец жаль стало унести все это с собою. Пусть прочтут дети, их жизнь не даст им, может быть, столько опыта. Не знаю, долго ли это будет и что будет потом, но пока я жива, они будут – больше или меньше – сохранены от этих опытов; хорошо ли это – не знаю, но както нет сил не отдернуть свечи, когда ребенок протягивает к ней руку.

Не так было со мною, с ранних лет или даже дней отданная случайности и самой себе, я часто изнемогала от блужданий впотьмах, от безответных вопросов, от того, что не было точки под ногами, на которой бы я могла остановиться и отдохнуть, не было руки, на которую б опереться.

Мое прошедшее интересно внутренними и внешними событиями – но я расскажу его после, как-нибудь на досуге; настоящее охватывает все существо мое; страшная разработка, до того все сдвинуто с своего места, все взломано и перепутано, что слова, имевшие ярко определенное значение целые столетия, для меня стерты и не имеют больше смысла.

30. Середа. Сегодня я ездила проститься к Огареву, он уезжает в свою пензенскую деревню, и, может быть надолго... горько расставаться с ним, он много увозит с собою. У А⟨лександра⟩ из нашего кружка не осталось никого, кроме его; у меня еще сохранилась к иным слабость – но только слабость... религиозная эпоха наших отношений прошла, юношеская восторженность, фантастическая вера, уважение – все прошло! И как быстро, шесть месяцев тому назад мы все, протягивая друг другу руку, думали, что нет в свете людей ближе между собою – или хотели думать. Теперь и этого никому не хочется. Какая страшная тоска и грусть была у всех, когда они сознали, что нет той близости, о которой мечтали. – Какая сделалась пустота, будто после похорон лучшего из друзей, и в самом деле были похороны не одного, а всех лучших друзей. У нас остался О⟨гарев⟩, у них – не знаю кто. Однако же мало-помалу силы возвращаются, становишься проще, самобытнее, будто сошел со сцены и смотришь на нее из партера; игра была откровенна – но все же было трудно, тяжело, неестественно. Разошлись по домам, теперь хочется уехать подальше, подальше...

1 ноября. ...Да, уехать... мы уже несколько лет собираемся в чужие краи, здоровье мое расстроено, для меня путешествие необходимо. Пять лет хлопотали мы об этом – все бесполезно. Опять пошла бумага в Петербург – о снятии полицейского надзора. Что-то будет. Впрочем, я как-то спокойнее ожидаю теперь позволение ехать или отказ. Что это – равнодушие или твердость? На все смотришь спокойнее; удовлетворения все меньше и меньше и требовательности меньше... Не самоотвержение ли это? Какое жалкое чувство, нет, лучше сердиться или страдать. Отчего же я не сержусь и не страдаю, и не сознаю самоотвержения... Это не равнодушие – стало, твердость. По временам я чувствую страшное развитие силы в себе, не могу себе представить несчастия – под которым бы я пала. Последний припадок слабости был со мною в июне, на даче, тогда, как разорвалась цепь дружеских отношений и каждое звено отпало само по себе. *У меня тогда поколебалась даже вера в Ал⟨ександра⟩, не в него, а в нераздельную слитность наших существований, но это прошло, как болезнь, и не возвратится более.* Теперь я не за многое поручусь в будущем, но поручусь за то, что это отношение останется цело – сколько бы ни пришлось ему выдержать толчков. Могут быть увлечения, страсти, но *наша любовь* во всем этом останется невредима.

2. Суббота. Теперь О⟨гарев⟩ далеко. Как хорошо ему ins Freie[1]. Что за чудный человек. По фактам, по внешней жизни его – я никого не знаю нелепее его. Зато какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония – в этом отношении он выше Александра, со мною никто в этом не согласен, все почитают его слабым, распущенным – до эгоизма, избалованным до сухости, до равнодушия, – никто его не понимает, оттого что наружное слишком противуречит с внутренним. И я не могу доказать этого, объяснить, но довольно видеть его наружность, чтоб понять, что этот человек не рядовой. В наше время он не мог ничего из себя сделать и самое воспитание отняло у него много средств. Может, я и увлекаюсь – но не могу противустоять этому влечению. Раз, просидевши со мной часа три, он сказал, что еще не соскучился, – приятнее этого комплимента я никогда не слыхала. Его любишь бескорыстно, как-то и не думается, чтоб он тебя любил, от других требуешь любви, уважения, требуешь покорности; отчего, почему все это так – не знаю. От иных не требуешь вовсе ничего, потому что не замечаешь их – но от него вовсе не потому. Ему не смеешь ничего пожелать, так сильно сознание его свободы и воли.

4. Понедельник. Как тяжело бывает с некоторыми из прежних близких друзей, в беседе с ними нет больше ни содержания, ни смысла. Как тяжело притворяться, и притворяться не для того, чтоб обмануть, а оттого, что еще нет силы высказать, насколько мы стали далеки. Мне даже с А⟨лександром⟩ трудно говорить об этом. И между тем есть полное убеждение, что мы не виноваты в том, что отошли от них далеко, что мы не можем быть близки. Некоторых благородных черт – для этого мало. Прежде это как-то натягивалось, не давая себе полного отчета, – теперь это невозможно – какая-то жажда овладела нами – открывать во всем истину, насколько б это ни было больно, хотя б куски собственного тела вырывались с ложным убеждением. Видно, возраст такой пришел, оттого-то и разошлись мы, что они *боятся правды*, что им нравятся сказки и детские игрушки. Иные хитрят, желая обмануть самих себя – тут есть еще надежда; откровенное ребячество – жалко. – Все до такой степени изменило для меня свое значение, что то, что прежде казалось трогательным и вызывало какое-то нежное, неопределенное сочувствие, теперь возмутительно и возбуждает гнев. Например, ⟨Сатин⟩[2] – мне его долго было жаль, долго хотелось сохранить его, у него такая любящая натура – и он все хотел заменить любовью, но полного сочувствия, сознательного согласия никогда не было. В последний разговор с ним до того все натянулось, что и порвалось. Я молчу сколько можно, но уже не прикрою ни одной правды, когда нужно говорить. Его нежность, ласки, попечительная любовь, страдание о том, что никто не отвечает вполне на его любовь, – все это не что иное, как слабость, недостаток содержания в самом себе. Пять лет тому назад он оставил меня "идеалом женщины, такой чистой, святой, погруженной



Н.А. ГЕРЦЕН

Рисунок неизвестного художника (итальянский карандаш). 1848

Принадлежал Н.А. Тучковой-Огаревой. На обороте надпись ее рукой: "Только этот портрет желала бы получить обратно – остальные все ваши"

Институт русской литературы РАН, С.-Петербург

совершенно в любовь к А⟨лександру⟩ и к Саше, не имеющую никаких других интересов; возвратившись, нашел холодною, жесткою и совершенно под влиянием Александра, распространяющею теорию ложной самобытности и эгоизма. Я не пережила ничего (т.е. со мною не случилось никаких несчастий) и потому не могу знать жизнь и понять истину, выработать же это мыслию не свойственно женщине". Ну, на это трудно возражать. Такое пониманье очень обыкновенно между людьми, но пока ⟨Сатин⟩ не высказал его вполне, я никогда бы не подумала, что он делит его с ними. В нем много благородного – и руки ему я, разумеется, не протяну без уважения и холодно... и только!

5. Середа. Как нелепо устроена жизнь, вместо того, чтобы облегчить, прочистить себе как-нибудь дорогу – люди отдаются слепому произволу, идут без разбора, куда он их ведет, страдают и погибают с каким-то самоотвержением, как будто не в их воле существовать хорошо. Иные с большим трудом выработали себе внутреннюю свободу, но им нельзя проявить ее, потому что другие, оставаясь рабами в самих себе – не дают им воли действовать, и все это так бессмысленно, безотчетно, сами не понимая, что делают и зачем? Ну а те, которые понимают? Им трудно отстать от предрассудков, как от верования в будущую жизнь, они добровольно оставляют на себе цепи, загораживают ими дорогу другим и плачут о них и о себе.



ГЕРЦЕН

Литография Леона Ноэля. Париж, сентябрь–октябрь 1847 г. Выполнена с дагерротипа 1847 года.

Музей Герцена, Москва

"Свидетельствую, что портрет Алекс(андра) похож, борода меняет очень" (Н.А. Герцен – Т.А. Астраковой. 21 января 1848 г.)

Иногда в бедности есть столько жестокости, гордости, столько неумолимого, как будто в отмщение (но кому в отмщение) за то, что другие имеют больше средств, она казнит их этими средствами, не желая разделить их. И это истинная казнь. Сидеть за столом, покрытым драгоценными ненужностями, и не сметь предложить другому самого необходимого. Тут сделается противно все, и сам себе покажешься так жалок и ничтожен. Я всегда была довольно равнодушна к украшениям, даже к удобствам жизни, однако же иногда бывали желания иметь что-нибудь – чего нельзя было; теперь мне противно всякое излишнее удобство; так бы хотелось поделиться с теми, у кого нет и необходимого – единственное средство пользоваться без угрызений самому богатством, а тут не смеешь предложить или получаешь отказ... непростительная жестокость.

11. Понедельник. Получили письмо от О⟨гарева⟩. Он пишет, что для него Ал⟨ександр⟩, я и еще одно существо нигде и никем не заменимы. Захватило у меня дух от этих слов, он не лжет, но не ошибается ли, если же это правда, если это долго не изменится – выше счастья нельзя себе представить. Такая полная симпатия, а мне и прежде другая симпатия казалась полной, а наконец вышло из нее полное отчуждение... Пусть это юношеская мечта, глупость, ребячество – но я отдаюсь всей душой этой глупости, после Ал⟨ександра⟩ никого нет, кого бы я столько любила и уважа-

ла, никого, в ком бы было столько человечественного, истинного. Он грандиозен в своей простоте и верности взгляда. Мне тяжело бы было существовать, если б он перестал существовать, и у Ал⟨ександра⟩ это единственный человек, вполне симпатизирующий ему. Если все это мечта – так уж наверное последняя. И то она одна в чистом поле, ничего нет кругом... так, кой-где былинка... Дети – это естественная близость, ей нельзя не быть, общие интересы тоже, и это наполняет ужасно много, не прибавляя к этому ничего, можно просуществовать на свете, но я испытала больше, я отдавалась дружбе от всей души, и кто же этого не знает, что, отдаваясь, берешь вдвое более – и все это исчезло, испарилось, и как грубо, как неблагородно разбудили и показали, что все это *мне снилось*... Разбудить надо было, горькое – реальное всегда лучше всякого бреда – это не естественная пища человеку, и рано или поздно он пострадает от нее; но зачем же так *бесчеловечно* будить, меня оскорбляет только манера, в ней было даже что-то пошлое, а мне хотелось бы, чтоб память моего идеала осталась чиста и свята.

13-е. Как смело проводит Жорж Санд *живую душу* сквозь падения и разврат и как умеет вывести ее невредимую. Что бы без нее сделали с бедной Lucrezia Floriani, у которой в 25 лет было четверо детей от разных отцов, которых она забыла и не хотела знать, где они... Слышать о ней считали бы за большой грех, а она становит ее перед вами так, что вы готовы обнять ее. И тут же рядом вы смотрите с сожалением на выученную добродетель Кароля, на его узкую, корыстолюбивую любовь. Если нет другого пути и женщина падет, много раз падет – я ее приму с любовью и уважением, лишь бы осталась жива ее душа, тогда все перегорит и все нечистое сгорит, останется одно золото.

(С 13 декабря[3] до 10 января 1847 – нет ничего в тетрадке. Она оканчивается следующей припиской.)

10 января. Уезжаем 16-го. Опять всё симпатично и тепло... всех люблю, вижу, что и они любят нас. С бо́льшей радостью уезжаю – чувствуя, что с радостью буду возвращаться. Настоящее хорошо – отдаюсь ему безотчетно.

1848[a]

"Так много понимать, – писала Natalie к Огареву в конце 1846 года[5], – и не иметь силы сладить, не иметь твердости пить равно горькое и сладкое, а останавливаться *на первом* – жалко! И это все я понимаю как нельзя больше и все-таки не могу выработать себе не только наслаждения, но и снисхождения. Хорошее я понимаю вне себя, отдаю ему справедливость – а в душе отражается одно мрачное и мучит меня. Дай мне твою руку и скажи со мною вместе, что тебя *ничто не удовлетворяет*, что ты ничем не доволен – а потом научи меня радоваться, веселиться, наслаждаться – у меня все есть для этого, лишь развей эту способность"[6].

Эти строки и остаток журнала, относящегося к тому же времени, писаны[1*] под влиянием московских размолвок.

Темная сторона снова брала[2*] верх, отдаление Грановских[3*] – испугало Natalie, ей казалось, что весь круг распадается и что мы остаемся одни с Огаревым... Женщина, едва вышедшая из ребячества, которую она любила[4*], как меньшую сестру, – ушла дальше других. Вырваться во что б ни стало из этого круга сделалось тогда страстной idée fixe Natalie[5*].

Мы уехали.

---

[a] *На обложке "амстердамской тетради" рукой Герцена*: "В. [4]Былое и думы. Часть V. Нач⟨ато⟩ 1853 – Конч⟨чено⟩ 1860. Попр⟨авлено⟩ в июле 1860. Лондон". *На титульном листе*: "Былое и думы. Часть пятая. (1848–1852). Начато 1853. Оконч⟨ено⟩ 1858 – [Оконч.] Попр⟨авлено⟩ в 1860. Переписано в Eagle's Nest, Bournemouth, 25 августа 1860. Читано отрывками 1856–1860 Ога⟨реву⟩ и Nat⟨alie⟩. В 1860 – Н.М. Сатину. В 1862 – давал Саше". *На первом листе автографа, в правом верхнем углу, рядом с обозначением главы I, помета Герцена*: "Журнал, записанный в другой книге".

[1*]Это и остаток журнала – писанного тогда же и приложенного в другом месте, писано[7] [2*]стала брать [3*]с Грановским [4*]И женщина, одна из женщин, которую она увлекала за собой и любила [5*]сделалась ее страстной idée fixe.

Сначала новость Парижа, – потом просыпавшаяся Италия и революционная Франция захватили всю душу. Личное раздумье – было побеждено историей. Так дожили мы до июньских дней...

...Еще прежде этих страшных, кровавых дней – пятнадцатое мая провело косой[6*] по вторым всходам надежд... "Трех полных месяцев не прошло еще после 24 февраля... башмаков не успели износить, в которых строили баррикады – а уж усталая Франция напрашивалась на усмирение[7*"]6. Капли крови не пролилось в этот день – это был тот сухой удар грома – при чистом небе – вслед за которым чуется страшная гроза. В этот день я с каким-то яновидением заглянул в душу буржуа, в душу работника и ужаснулся. Я видел свирепое желание крови с обеих сторон – сосредоточенную ненависть со стороны работников и плотоядное, свирепое самосохранение со стороны мещан. Такие два стана не могли стоять друг возле друга – толкаясь ежедневно в совершенной чересполосице – в доме, на улице, в мастерской, на рынке. Страшный, кровавый бой – не предсказывавший ничего доброго – был за плечами. Этого никто не видел – кроме консерваторов – накликавших его, ближайшие знакомые говорили с улыбкой о моем раздражительном пессимизме. Им[8*] легче было схватить ружье и идти умирать на баррикаду, чем смело взглянуть в глаза событиям; им вообще хотелось не пониманья дела, а торжества над противниками, им хотелось поставить на своем.

Я становился дальше и дальше от всех[9*]. Пустота грозила и тут – но вдруг барабанный бой – утром рано дребезжавший по улицам *сбор* – возвестил[10*] начало катастрофы.

Июньские дни, дни, шедшие за ними, были ужасны[11*], они положили черту в моей жизни.

Вот что я писал об них через месяц[9].

«Женщины плачут, чтоб облегчить душу, мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать – не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! – В ушах еще *раздаются* выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности – раненый на носилках держит рукой бок и несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на place de la Bastille, лагерь у Porte St.-Denis, на Елисейских полях и мрачное ночное "Sentinelle, prenez garde à vous!"..[10] Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.

Сидеть у себя в комнате, сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают – от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжкой болезни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по розным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont Neuf, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братий к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под тучи, барабан раздавался с разных сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним

---

[6] "Письма из Ит⟨алии⟩ и Франц⟨ии⟩", IX[8]. – *Прим. Герцена.*

[6*] оно провело косой [7*] рабство [8*] Людям этим [9*] от них [10*] барабанный бой – дребезжавший по улицам *сбор* – возвестил одним утром [11*] *После*: ужасны *зачеркнуто*: об них я говорил много

прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу – после июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки, на всех переулках и улицах строились баррикады. Я как теперь вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни, дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по видимому оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально-торжественным голосом "Марсельезу"; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу... набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу *неприятельскую* позицию...

В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать, собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы "Насионаля" дали им исполнителей[12*].

Вечером 26 июня мы услышали, после победы "Насионаля" над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... "Ведь это расстреливают", – сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощают такие минуты!*

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж, надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили сходили по бульварам, распевая "Mourir pour la patrie"[12], мальчишки 16, 17 лет хвастались кровью своих братий, запекшейся на их руках, на них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собою в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А домы предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали... А где же хозяева, жильцы? – Об них никто и не думал... местами посыпали песком, но кровь все-таки выступала... К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженые деревья Елисейских Полей, на Place de la Concorde везде было сено, кирасирские латы, седла, в Тьюлерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и в 1814 году.

Прошло еще несколько дней – и Париж стал принимать обычный вид, толпы праздношатающихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя... одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы; кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки, клинок, окровавленная одежда. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого».

...Natalie писала около того же времени в Москву: "Я смотрю на детей и плачу, мне становится страшно, я не смею больше желать, *чтоб они были живы*, может, и их ждет такая же ужасная доля"[13]. – В этих словах отголосок всего пережитого – в них виднеются и омнибусы, набитые трупами, и пленные с связанными руками, провожаемые ругательствами, и бедный глухонемой мальчик, подстреленный в нескольких шагах от наших ворот – за то, что *не слышал* "Passez au large!"[14]

[12*] *После*: исполнителей *вычеркнуто*: Ну что вы скажете, любезный князь Радецкий и сиятельнейший граф Паскевич-Эриванский? Вы не годитесь в помощники Каваньяку. Меттерних и все члены Третьего отделения собственной канцелярии – дети кротости, de bons enfants[11], в сравнении с собранием осерчалых лавочников.

И как же иначе могло это отразиться в душе женщины, так несчастно глубоко понимавшей все печальное... Тут и светлые характеры стали мрачны, исполнены желчи – какая-то злая боль ныла внутри и какой-то родовой стыд – делал неловким жизнь.

Не фантастическое горе по идеалам, не воспоминанья девичьих слез и христианского романтизма всплыли еще раз над всем в душе Natalie[13*] – а скорбь истинная, тяжелая, не по женским плечам. Живой интерес Natalie к общему не охладел, напротив, он сделался *живою болью*. Это было сокрушенье сестры[14*], материнский плач на печальном поле только что миновавшей битвы[15*]. Она была *в самом деле* то, что Рашель лгала своей "Марсельезой"...[16*]

Наскучив[17*] бесплодными спорами – я схватился за перо... и сам себе, и с каким-то внутренним озлоблением, убивал прежние упования и надежды[18*].

Ломавшая, мучившая меня сила исходила этими страницами заклинаний и обид, в которых и теперь, перечитывая, я чувствую лихорадочную кровь и негодованье, выступающее через край. – Это был выход.

У нее не было его. Утром дети – вечером наши раздраженные, злые споры, споры[19*] прозекторов с плохими лекарями. Она страдала – а я вместо врачеванья подавал горькую чашу скептицизма и иронии. Если б[20*] за ее больной душой я вполовину так ухаживал, как ходил потом за ее больным телом... Я не допустил бы побегам от разъедающего корня проникнуть во все стороны... Я сам их укрепил и вырастил – не изведав – может ли она вынести их, сладить с ними.

Самая жизнь наша устроилась странно. Редко бывали тихие вечера интимной беседы – мирного покоя. Мы не умели еще запирать дверей от посторонних. К концу года начали отовсюду являться гонимые из всех стран – бездомные скитальцы, они искали – от скуки, от одиночества – какого-нибудь дружеского крова и теплого привета[21*].

Вот как она писала об этом: "Мне надоели[22*] китайские тени, я не знаю, зачем и кого я вижу, знаю только, что слишком много вижу людей; всё хорошие люди, *иногда*[23*], мне кажется, я была бы с ними с удовольствием, а так слишком часто, жизнь так похожа на капель весною – кап, кап, кап... всё утро забота о Саше, о Наташе, и весь день эта забота, я не могу сосредоточиться ни на одну минуту, рассеянна так, что мне становится иногда страшно и больно; приходит вечер, дети укладываются, ну, кажется, отдохну... нет, пошли бродить хорошие люди, и от этого пуще тяжело, что хорошие люди, иначе я была[15] бы совсем одна, а тут я не одна и присутствие их *не чувствую*, будто дым кругом бродит, глаза ест, дышать тяжело... а уйдут, ничего не остается... настает завтра – все то же, настает другое завтра – все то же. Никому другому я бы не сказала этого, примут за жалобу, подумают, что недовольна жизнию. – Ты понимаешь меня, ты *знаешь*, что я ни с кем в свете не променялась бы; это минутное негодование, усталь – струя свежего воздуха, и я воскресаю во всей силе..." (21 ноября[24*]? 1848)[16].

«Если б все говорить[25*], что проходит по голове, мне иногда так страшно становится, глядя на детей... что за смелость, что за дерзость *заставить* жить новое существо и не иметь ничего, ничего для того, чтоб сделать жизнь его счастливою – это страшно, иногда я кажусь себе преступницей; легче отнять жизнь, нежели дать, если б это делалось с сознанием. Я еще не встречала никого, про кого могла бы сказать:

[13*] в душе женщины [14*] материнское сокрушенье [15*]на грудах камней и трупов июньской битвы [16*]в своей "Марсельезе" [17*]Озлобленный [18*]и сам себе [старался уяснить], уясняя сомнения столько же, сколько другим, с внутренним озлоблением [отдался, убивая в себе] убивал прежние упования и надежды. [19*]*Вместо*: У нее ~ споры *остаток текста первоначальной ред.*: [⟨...⟩ ющего шума внешней жизни. [Она почти всегда была дома... и слушала наши темные, раздраженные речи – споры] Утром дети и дети, вечером наши споры – споры] [20*]О если б [21*]и находили его у нас, отнимая последнее время [22*]*Перед*: "Мне надоели ⟨...⟩" *зачеркнутый текст первоначальной ред.*: [что оставались одни] и не хотелось больше говорить о деле. [И] Так шли дни, недели... [Вот как] *1*. [Это отражалось в ней] *2*. [Это хроническое преступление вот как отражалось в ней...] ["Потом] [23*]а иногда [24*]декаб⟨ря⟩ [25*]*Перед*: "Если б все говорить..." *зачеркнутый текст первоначальной ред.*: у ней опять лихорадка, и я опять сижу у ее постели...

"Вот если б мой ребенок был такой", т.е. если б его жизнь была такая... Мой взгляд упрощается больше и больше. Вскоре после рождения Саши я желала, чтоб он был великий человек, позже, чтоб он был тем, другим – наконец, я хочу чтоб...»[17] Тут письмо перервано[26*] тифоидной горячкой Таты, вполне развившейся, но 15 дек⟨аб–ря⟩ добавлено: "Ну так я хотела сказать тогда, что теперь я ничего не хочу сделать из детей, лишь бы им жилось весело и хорошо – а остальное все пустяки..."

24 янв⟨аря⟩ 1849. "Как бы я хотела иногда тоже бегать по-мышиному и чтоб эта беготня меня интересовала, а то быть так праздной, так праздной среди этой суеты, среди этих необходимостей – а заняться тем, чем бы я хотела, нельзя; как мучительно чувствовать себя всегда в такой дисгармонии с окружающим – я не говорю о самом тесном круге – да если б можно было в нем заключиться... нельзя. Хочется далее, вон... но хорошо было идти вон, когда мы были в Италии. А теперь – что же это?[27*] Тридцать лет и те же стремления, та же жажда, та же неудовлетворенность... да я это говорю громко... А Наташа подошла на этом слове и так крепко меня расцеловала... неудовлетворительность! Я слишком счастлива, la vie déborde[18] – Но

Отчего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Только с тобой я так могу говорить, ты меня поймешь оттого, что ты так же слаба, как я, но с другими, кто сильнее и слабее, я бы не хотела *так* говорить, не хотела б, чтоб они *слышали*, как я говорю. Для них я найду другое. Потом меня пугает мое равнодушие, так немногое, так немногие меня интересуют... Природа – только не в кухне, история – только не в Камере, – потом семья, потом еще двое, трое – вот и всё. А ведь какие все добрые – занимаются моим здоровьем, глухотой Коли..."[28*]

27 январ⟨я⟩. «Наконец, сил недостает смотреть на предсмертные судороги – они слишком продолжительны, а жизнь так коротка, мною овладел эгоизм, оттого что самоотвержением ничего не поможешь, разве только доказать пословицу "на людях и смерть красна!"... но довольно умирать, хотелось бы пожить, я бы бежала в Америку... Чему мы поверили, что мы приняли за осуществление – то было пророчество и пророчество очень раннее... Как тяжело, как безотрадно, – мне хочется плакать как ребенку. Что личное счастье... общее, как воздух, обхватывает тебя, а этот воздух исполнен только предсмертным, заразительным дыханием».

1 февраля. "N...N..., если б ты знала, друг мой, как темно, как безотрадно за порогом личного, частного! О, если б можно было заключиться в нем и забыться, забыть всё, кроме этого тесного круга... Невыносимо брожение, которого результат будет через несколько веков, существо мое слишком слабо, чтоб всплыть из этого брожения и смотреть так вдаль – оно сжимается, уничтожается".

Это письмо заключается словами: "Я желаю иметь так мало сил, чтоб не чувствовать своего существования, когда я его чувствую, я чувствую всю дисгармонию всего существующего".

ПРИМЕТЫ[29*]

Реакция торжествовала[30*]; сквозь бледносинию республику виднелись черты

[26*][бо⟨лезнью⟩] [27*]Так что же это? [28*]*Далее зачеркнуто*: Странный человек – часто глядя на него, мне кажется, что я вхожу в нежилую комнату, сырость на стенах и проникает эта сырость тебя насквозь – ни сесть, ни дотронуться ни до чего не хочется, а хочется выйти поскорее на свет, на тепло. А человек он хороший[19].

[29*] *Далее следует печатный текст главок "Приметы" и "Тифоидная горячка", вклеенный в тетрадь. Взят Герценом из II изд. кн. 2 "Полярной звезды на 1856" (с. 185–194). Перед заглавием* "Приметы" *авторская помета*: Из Поляр⟨ной⟩ звез⟨ды⟩.

[30*]*Перед*: Реакция торжествовала *вычеркнут следующий текст "Полярной звезды"*: ... Но нехорошо было и дома; мы слишком настрадались, слишком много видели, тишина и подавленность, наступившие после битвы и ужасов первого гонения, дали назреть всему черному и грустному, запавшему в душу.

претендентов; Национальная гвардия ходила на охоту по блузам, префект полиции делал облавы по рощам и катакомбам, отыскивая скрывавшихся. Люди менее воинственные доносили, подслушивали.

До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном языке; Т⟨учковы⟩ жили в том же доме, М⟨ария⟩ Ф⟨едоровна⟩ у нас, А⟨нненков⟩ и Т⟨у⟩р⟨генев⟩ приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш расходился. Париж, вымытый кровью, не удерживал больше; все собирались ехать без особенной необходимости, вероятно, думая спастись от внутренней тягости, от Июньских дней, взошедших в кровь, и которые они везли с собой.

Зачем не уехал и я? Многое было бы спасено, и мне не пришлось бы принесть столько человеческих жертв и столько самого себя на заклание богу жесткому и беспощадному.

День нашей разлуки с Т⟨учковы⟩ми и с М⟨арией⟩ Ф⟨едоровной⟩ как-то особо каркнул вороном в моей жизни, я и этот сторожевой крик пропустил без внимания, как сотни других.

Всякий человек, много испытавший, припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с которых ветер тянет с другой стороны; эти знамения или предостережения вовсе не случайны, они последствия, начальные воплощения готового вступить в жизнь, обличения тайно бродящего и уже существующего. Мы не замечаем эти психические *приметы*, смеемся над ними как над просыпанной солонкой и потушенной свечой, потому что считаем себя несравненно независимее, нежели на деле, и гордо хотим сами управлять своей жизнью.

Накануне отъезда наших друзей они и еще человека три-четыре близких знакомых собрались у нас. Путешественники должны были быть на железной дороге в 7 часов утра; ложиться спать не стоило труда, всем хотелось лучше вместе провести последние часы. Сначала все шло живо, с тем нервным раздражением, которое всегда бывает при разлуке, но мало-помалу темное облако стало заволакивать всех... разговор не клеился, всем сделалось не по себе, налитое вино выдыхалось, натянутые шутки не веселили. Кто-то, увидя рассвет, отдернул занавес, и лица осветились синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра.

Все были печальны; я задыхался от грусти.

Жена моя сидела на небольшом диване, перед ней на коленях и скрывая лицо на ее груди, стояла младшая дочь Т⟨учкова⟩ "Consuelo di sua alma"[21], как она ее звала. Она любила страстно мою жену и ехала от нее поневоле в глушь деревенской жизни; ее сестра грустно стояла возле. Консуэла шептала что-то сквозь слез, а в двух шагах молча и мрачно сидела М⟨ария⟩ Ф⟨едоровна⟩; она давно свыклась с покорностью судьбе, она знала жизнь, и в ее глазах было просто "Прощайте", в то время как сквозь слезы молодых девушек все-таки просвечивало "До свиданья".

Потом мы поехали их провожать. В высоком, пустом, каменном амбаркадере было пронзительно холодно, двери хлопали неистово и сквозной ветер дул со всех сторон. Мы уселись в углу на лавке; Т⟨учков⟩ пошел хлопотать с чемоданами. Вдруг дверь отворилась и два пьяных старика шумно взошли в залу. Платья их были замараны, лица искажены, от них несло диким развратом. Они взошли ругаясь, один хотел ударить другого, тот посторонился и, размахнувшись что есть силы, ударил его

Через месяц я писал: "Вечером 26 июня после победы мы услышали правительные залпы с небольшими расстановками и с барабанным боем, – ведь это расстреливают! – сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна и молчал; за такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. – Горе людям, забывающим такие минуты!"[20]

А жена моя около того же времени писала в Москву: "Я смотрю на детей и плачу, мне становится страшно, я не смею больше желать, *чтоб они были живы*, может и их ждет такая же ужасная доля". Как много надобно было пострадать, чтоб мысль эта могла явиться в сердце матери, страстно любившей детей и насколько больше, чтоб найти силу высказать ее да еще письменно. В этих словах отголосок всего пережитого, последний след потерянных верований, замененных страшными воспоминаниями. В них виднеются и омнибусы, набитые трупами, и пленные с связанными руками, провожаемые ругательством, и бедный глухонемой мальчик, подстреленный в нескольких шагах от наших ворот... за то, что не слышал "Passez au large!"



ПАРИЖ. ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ – ВИД НА ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ

Гравюра неизвестного художника, вторая половина XIX в.

Из альбома: "50 vues de Paris et Versailles". Paris, s.a.

В 1847 г. Герцен с семьей жил на Авеню Мариньи (Avenue de Marigny, 9), выходившей на Елисейские поля (Champs Elysées), в 1848–1849 гг. – на Елисейских полях возле Триумфальной арки

самого в лицо, пьяный старик полетел со всех ног. Голова его с каким-то дребезжавшим, пронзительным звуком щелкнулась о каменный пол; он вскрикнул, приподнял голову, кровь лилась ручьями по седым волосам и камням. Полиция и пассажиры с неистовством бросились на другого старика.

С вечера раздраженные, взволнованные, в натянутом состоянии, мы крепились, но страшное эхо, раздавшееся в огромной зале от костяного звука ударившегося черепа, произвело во всех что-то истерическое. Наш дом и весь наш круг был во все времена чист и свободен от "трагинервических явлений", но это было сверх сил, я чувствовал дрожь во всем теле, жена моя была близка к обмороку, а тут звонок – пора, пора! и мы остались вдруг за решеткой – одни.

Ничего нет грубее и оскорбительнее для расстающегося, как полицейские меры во Франции на железных дорогах; они крадут у остающегося последние две-три минуты... *они* еще тут, машина не свистнула еще, поезд не отошел, но между вами загородка, стена и рука полицейского – а вам хочется видеть, как сядут, как тронутся с места, потом следить за отдалением, за пылью, дымом, точкой, следить, когда уже ничего не видать...

...Молча приехали мы домой. Жена моя тихо проплакала всю дорогу, жаль ей было своей Консуэло; по временам, завертываясь в шаль, она спрашивала меня: "Помнишь этот звук, он у меня в ушах".

Дома я уговорил ее прилечь, а сам сел читать газеты; читал, читал и premier-Paris[22], и фельетоны и смесь, взглянул на часы – еще не было двенадцати... вот день! Я пошел к А⟨нненкову⟩, он тоже ехал на днях; с ним отправились мы гулять, улицы были скучнее чтения, такая тоска... точно угрызения совести томили меня; "пойдемте ко мне обедать", – сказал я, и мы пошли. Жена моя была решительно больна.

Вечер был бессвязен, глуп.

– Итак, решено, – спросил я А⟨нненкова⟩, прощаясь, – вы едете в конце недели?

– Решено.

– Жутко будет вам в России.

– Что делать, мне ехать необходимо, в Петербурге я не останусь, уеду в деревню. Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо, как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь.

Я тогда еще мог возвратиться, корабли не были сожжены, Ребильо и Карлье не писали еще своих доносов, но внутри дело было решено. Слова А⟨нненкова⟩, между тем, все-таки неприятно коснулись моих обнаженных нерв, я подумал и отвечал:

– Нет, для меня выбора нет, я должен остаться – и если раскаюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой на place Maubert.

Много раз в минуты отчаяния и слабости, когда горечь переполняла меру, когда вся моя жизнь казалась мне одной продолжительной ошибкой, когда я сомневался в самом себе, в *последнем, в остальном* – приходили мне в голову эти слова: "Зачем не взял я ружья у работника и не остался за баррикадой". Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верования .....

.....

И опять потянулось время... день за день... серое, скучное... Мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. К зиме стали являться изгнанники других стран, спасшиеся матросы других кораблекрушений; полные самоуверенности, надежд, они принимали реакцию, подымавшуюся во всей Европе, за мимолетный ветер, за легкую неудачу, они ждали завтра, через неделю свой черед...

Я чувствовал, что они ошибаются, но мне нравилась их ошибка, я старался быть непоследовательным, боролся с собой и жил в каком-то тревожном раздражении. Время это осталось у меня в памяти как чадный, угарный день... я метался от тоски туда, сюда, искал рассеяний ... в книгах, в шуме, в домашнем отшельничестве, на людях, но все чего-то недоставало, смех не веселил, тяжело пьянило вино, музыка резала по сердцу, и веселая беседа оканчивалась почти всегда мрачным молчанием.

Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидные противуречия, хаос; снова ломка, снова ничего нет. Давно оконченные основы нравственного быта превращались опять в вопросы; факты сурово подымались со всех сторон и опровергали их. Сомнение заносило свою тяжелую ногу на последние достояния, оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторские мантии, а революционные знамена... из общих идей оно пробиралось в жизнь. Пропасть лежит между теоретическим отрицанием и сомнением, переходящим в поведение; мысль смела, язык дерзок, он легко произносит слова, которых сердце боится, в груди еще тлеют верования и надежды, тогда когда забежавший[23] ум качает головой. Сердце отстает, потому что любит – и когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощается.

Может, в юности, когда все кипит и несется, когда так много будущего, когда потеря одних верований расчищает место другим; может, в старости, когда все становится безразлично от устали, эти переломы делаются легче; но nel mezzo del camin di nostra vita[24] они достаются не даром.

Что же, наконец, все это – шутка? Все заветное, что мы любили, к чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула, история обманула, обманула в свою пользу; ей нужны для закваски сумасшедшие и дела нет, что с ними будет, когда они придут в себя, она их употребила – пусть доживают свой век и инвалидном доме. Стыд, досада! А тут возле простосердечные друзья жмут плечами, удивляются вашему малодушию, вашему нетерпению, ждут завтрашнего дня и, вечно озабоченные, вечно занятые одним и тем же, ничего не понимают, не останавливаются ни перед чем, вечно идут – и все ни с места... Они вас судят, утешают, журят – какая скука, какое наказанье!

"Люди веры, люди любви", как они называют себя в противуположность нам, людям "сомненья и отрицанья", не знают, что такое полоть с корнем упования, взлелеянные целой жизнию, они не знают *болезни истины*, они не отдавали никакого со-

кровища с тем "громким воплем", о котором говорит поэт:

Ich riβ sie blutend aus dem wunden Herzen
Und weinte laut und gab sie hin[25].

Счастливые безумцы, никогда не трезвеющие, им незнакома внутренняя борьба, они страдают от внешних причин, от злых людей и случайностей, внутри все цело, совесть покойна, они довольны. Оттого-то червь, точащий других, им кажется капризом, эпикуреизмом сытого ума, праздной иронией. Они видят, что раненый смеется над своей деревяшкой, и заключают, что ему операция ничего не стоила, им в голову не приходит, отчего он состарился не по летам и как ноет отнятая нога при перемене погоды, при дуновении ветра.

Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших "С того берега". Я в себе преследовал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и за обман; я не над ближним издевался, а над самим собой и, снова увлеченный, мечтал уже быть свободным, но тут и запнулся. Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя.

Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумятремя в сторону, бежать, скрыться от... лишних. И надменно я[26] поставил заглавием последней статьи: "Omnia mea mecum porto!"[27]

Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая в омуте событий, в круговороте общих интересов – обособлялась, снова сводилась на период юного лиризма, без юности, без веры. С этим faro da me[28] моя лодка должна была разбиться о подводные камни и разбилась. Правда, я уцелел, но *без всего*...

ТИФОИДНАЯ ГОРЯЧКА

Зимой 1848 года была больна моя маленькая дочь. Она долго разнемогалась, потом сделалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла; Райе, известный доктор, советовал ее прокатить, несмотря на зимний день. Погода была прекрасная, но не теплая. Когда ее привезли домой, она была необыкновенно бледна, просила есть и, не дождавшись бульона, уснула возле нас на диване; прошло несколько часов, сон продолжался. Фогт, брат натуралиста, студент медицины, случился у нас. "Посмотрите, – сказал он, – на ребенка, ведь это вовсе не естественный сон". Мертвая, слегка синеватая бледность лица испугала меня, я положил руку на лоб, лоб был совершенно холодный. Я бросился сам к Райе, по счастью застал его дома и привез с собой. Малютка не просыпалась; Райе приподнял ее, сильно потрёс и заставил меня громко звать ее по имени... она раскрыла глаза, сказала слова два и снова заснула тем же сном, тяжелым, мертвым, дыхание едва-едва было заметно; она в этом состоянии, с небольшими переменами, оставалась несколько дней без пищи и почти без питья; губы почернели, ногти сделались синие, на теле показались пятны, это была тифоидная горячка. Райе почти ничего не делал, ждал, следил за болезнью и не слишком обнадеживал.

Вид ребенка был страшен, я ждал с часа на час кончины. Бледная и молчащая, сидела моя жена день и ночь у кроватки, глаза ее покрылись тем жемчужным отливом, которым высказывается усталь, страдание, истощение сил и неестественное напряжение нерв. Раз, часу во втором ночи, мне показалось, что Тата не дышит, я смотрел на нее, скрывая ужас, жена моя догадалась.

– У меня кружится в голове, – сказала она мне, – дай воды.

Когда я подал стакан, она была без чувств. И. Т⟨ургенев⟩, приходивший делить мрачные часы наши, побежал в аптеку за аммониаком, – я стоял неподвижно между двумя обмершими телами, смотрел на них и ничего не делал. Горничная терла руки, мочила виски моей жене. Через несколько минут она пришла в себя.

– Что? – спросила она.

– Кажется, Тата открывала глаза, – сказала наша добрая, милая Луиза.

Я посмотрел – будто просыпается; я назвал ее шопотом по имени, она раскрыла глаза и улыбнулась черными, сухими и растреснувшими губами. С этой минуты здоровье стало возвращаться.

Есть яды, которые злее, мучительнее разлагают человека, нежели детские болезни, я и их знаю, но *тупого* яда, берущего истомой, обессиливающего в тиши, оскорбляющего страшной ролей праздного свидетеля – хуже нет.

Тот, кто раз на своих руках держал младенца и чувствовал, как он холодел, тяжелел, становился каменным; кто слышал последний стон, которым тщедушный организм умоляет о пощаде, о спасении, просится остаться на свете; кто видел на своем столе красивый гробик, обитый розовым атласом, и беленькое платьице с кружевами, так отличающееся от желтого личика, тот при каждой детской болезни будет думать: "Отчего же не быть и другому гробику – вот на этом столе?"

Несчастие – самая плохая школа! Конечно, человек, много испытавший, выносливее, но ведь это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человек изнашивается и становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне, без которой ничего делать нельзя; он становится равнодушнее, потому что свыкается с страшными мыслями, наконец, он боится несчастий эгоистически, т.е. боится снова перечувствовать ряд щемящих страданий, ряд замираний сердца, которых память – не разносится с тучами.

Стон больного ребенка наводит на меня такой внутренний ужас, обдает таким холодом, что я должен делать большие усилия, чтоб победить эту чисто *нервную* память.

На другое утро той же ночи я в первый раз пошел пройтиться; на дворе было холодно, тротуары были слегка посыпаны инеем, но, несмотря ни на холод, ни на ранний час, толпы народа покрывали бульвары, мальчишки с криком продавали бюльтени – с лишком пять мильонов голосов клали связанную Францию к ногам Людовика-Наполеона.

Осиротевшая передняя, наконец, нашла своего барина!

... В это-то напряженное, тяжелое время испытаний является в нашем кругу личность, внесшая собою[31*] иной ряд несчастий, сгубивший в *частном* быте еще больше, чем черные июньские дни в *общем*. Личность эта быстро подошла к нам[32*], втесняет себя – не давая образумиться... В обыкновенное время я быстро знакомлюсь и[33*] туго сближаюсь с людьми, но время-то тогда, скажу еще раз, не было обыкновенное.

Все нервы были открыты и болели – ничтожные встречи, неважные напоминовения потрясали весь организм.

Помню я, например, как дня три после канонады я бродил по предместью св. Антония; все еще носило свежие следы[34*] свирепого боя: развалившиеся стены, неснятые баррикады, испуганные, бледные, чего-то искавшие женщины, дети, рывшиеся в мусоре... Я сел на стул перед небольшим кафе и смотрел с щемящимся сердцем – на страшную картину. Прошло с четверть часа, кто-то тихо положил мне руку на плечо, – это был Довиат, молодой энтузиаст, проповедовавший в Германии à la Rouge какой-то своего рода неокатолицизм и уехавший в 1847 г. в Америку.

Он был бледен, черты его расстроены, длинные волосы в беспорядке; на нем было дорожное платье.

– Боже мой, – сказал он, – *как* мы с вами встречаемся!

– Когда вы приехали?

– Сегодня. Узнав в New York'е о февральской революции, о всем, что делается в Европе, я на скорую руку продал все, что мог, собрал деньги и бросился на пароход

[31*]носившая в себе [32*]быстро подходит все ближе и ближе, она [33*]но [34*]где все носило следы

– полный надежд и с веселым сердцем. Вчера в Гавре я узнал о последних событиях, но моего воображения недоставало, чтобы представить себе *это*.

Мы оба еще раз посмотрели – и у обоих глаза были полны слез.

– Ни дня, ни одного дня в проклятом городе! – сказал взволнованный Довиат... и был в самом деле похож на какого⟨-то⟩ пророчествующего левита. – Вон отсюда! Вон! Прощайте. – Еду в Германию!

Он уехал[35*] – и попался в прусскую тюрьму, где просидел лет шесть.

Помню еще – представление "Катилины", которого ставил тогда на своем историческом театре крепконервный Дюма[36*]. Форты были набиты колодниками, излишних отправляли стадами в Шато д'Иф, в депортацию[37*], родные бродили из полиции в полицию как тени[38*], умоляя, чтобы им сказали, кто убит, кто расстрелян, а кто остался[39*], а А. Дюма уже выводил июньские дни в римской латиклаве – на сцену. Я пошел взглянуть. Сначала ничего. Ледрю-Роллен – Катилина и Марк Туллий – Ламартин, классические сентенции с риторической опухолью[40*]. Восстание[41*] побеждено. Ламартин прошел по сцене со своим "Vixerunt!"[29] – декорации меняются. Площадь покрыта трупами, издали зарево, умирающие в судорогах смерти – лежат между мертвыми[42*]; умершие покрыты окровавленными рубищами... у меня сперся дух... Давно ли за стенами этого балагана, на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, и кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых молодых жил?.. Я бросился вон в каком-то истерическом припадке[43*], проклиная бешено аплодировавших мещан...

В такие судорожные дни, когда человек из кабака и театра, из своего дома – и из кабинета чтения выходит в лихорадке[44*], с воспаленным мозгом, задавленный внутри, глубоко оскорбленный и готовый оскорбить первого встречного, – в эти времена каждое слово симпатии, каждая слеза того же горя, каждая брань той же ненависти – имеют страшную силу.

Одинакими ранами быстро срастаются больные места.

... В первые времена моей юности меня поразил один французский роман, которого я впоследствии не встречал, – роман этот назывался "Arminius". Может, он и не имеет больших достоинств, но тогда он на меня сильно подействовал и долго бродил в голове моей. Главные черты его я помню до сих пор[45*].

Все мы знаем из истории первых веков встречу и столкновение двух разных миров: одного старого, классического, образованного, но растленного и отжившего, другого – дикого, как зверь лесной, но полного дремлющих[46*] сил и хаотического беспорядка стремлений, т.е. знаем[47*] официальную, *газетную* сторону этой встречи[48*] – а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события – а не судьбы лиц, находившихся в прямой зависимости от них и в которых без видимого шума ломились жизни и гибли в столкновениях. Кровь заменялась слезами, опустошенные города – разрушенными семьями, поля сражений – забытыми могилами[49*].

Автор "Арминия" (имя его я забыл) попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага – одного, идущего из леса в историю, другого, идущего из истории в гроб.

Всемирная история, распускаясь[50*] в сплетни, становится ближе к нам, соизмеримее, живее. Я был так увлечен "Арминием", что сам принялся писать около 1833[30]

[35*]в самом деле поехал [36*]*Вместо*: крепконервный Дюма *было*: бездушный гаер мулат [37*]В фортах страдали, задыхаясь, инсургенты, их собирались стадами депортировать [38*]еще родные бродили как тени [39*]кто убит, а кто расстрелян [40*]и классические сентенции, опухшие от французской риторики [41*]Но восстание [42*]ними [43*]Я чувствовал [какое-то истерическое подступание слез] какую-то истерику и вышел поскорее вон [44*]*После*: в лихорадке *было*: физически усталый [45*]подействовал, долго бродил [он] в голове и я помню его до сих пор [46*]непочатых [47*]но знаем мы одну [48*]их столкновения [49*]*Вместо*: другого дикого⌒забытыми могилами *первоначально было*: *1.* другой полудикий... *2.* другого полудикого *3.* другого почти дикого [50*]распускается

ряд исторических сцен в том же роде и их в 1834 критически разбирал обер-полицмейстер Цынский. Но, конечно, писавши их, мне не приходило в мысль, что и я[51*] попаду в такое же столкновение[52*], что и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колес истории.

Что там ни толкуют, а есть сходные стороны в нашем отношении к европейцам[53*]. Наша цивилизация накожна, разврат груб, у нас из-под пудры колет щетина и из-под белил виден загар, у нас есть лукавство диких, разврат животных[54*], уклончивость рабов, у нас везде являются кулаки и деньги, но мы далеко отстали от наследственной, летучей тонкости западного растления. У нас умственное развитие[в] служит чистилищем и порукой. Исключения редки. Образование у нас до последнего времени составляло предел, который много гнусного и порочного не перелезало[55*].

На Западе это не так. И вот почему мы легко отдаемся человеку[56*], касающемуся наших святынь, *понимающему* наши заповедные мысли, смело говорящему то, о чем мы привыкли молчать или говорить шопотом на ухо другу. Мы не берем в расчет, что половина речей, от которых бьется наше сердце и подымается наша грудь, сделались для Европы трюизмами, фразами... мы забываем, сколько других испорченных страстей, страстей искусственных, старческих напутано в душе современного человека, принадлежащего к этой выжившей[57*] цивилизации. Он с малых лет бежит в обгонки, источен домогательством, болен завистью, самолюбием, недосягаемым эпикуреизмом, мелким эгоизмом, перед которыми падает всякое отношение, всякое чувство, – ему нужна роля, поза на сцене...[58*] ему нужно во что бы ни стало удержать место, удовлетворить своим страстям[59*].

Наш брат, степняк, получив удар, другой, часто не видя откуда, оглушенный им, долго не приходит в себя, а потом бросается[60*], как раненый медведь и ломает кругом деревья, и ревет и взметает землю, – но поздно[61*], – и его противник его же указывает пальцем...[62*] Много еще разовьется[63*] ненависти и прольется крови – из-за этих двух разных возрастов и воспитаний[64*].

... Было время, я строго и страстию судил *человека,* разбившего[65*] мою жизнь. Было время, когда я искренно желал *убить* этого человека...[66*] С тех пор прошло семь лет; настоящий сын нашего века, я износил желание мести и охладил страстное воззрение долгим беспрерывным разбором. В эти *семь лет* я узнал и свой собственный предел... и пределы многих... и вместо ножа – у меня в руках скалпель[67*], а вместо брани и проклятий – принимаюсь за рассказ из психической патологии[68*].

II

За несколько дней до 23 июня 1848, возвращаясь вечером домой, я нашел в своей комнате какое-то незнакомое лицо, грустно и сконфуженно шедшее мне навстречу.

– Да это вы? – сказал я наконец, смеясь и протягивая ему руки. – Можно ли это?.. узнать вас нельзя...

[в] Писано в 1857 году. – *Прим. Герцена.*

[51*] что через несколько лет я сам [52*] *После*: столкновение *было*: что и в моей жизни оно развернется со всей ядовитой силой своей [53*] *Вместо*: Что там⌒к европейцам *было*: Много есть сходных сторон в отношениях германцев к римлянам и русских к европейцам [54*] *Перед*: уклончивость *было*: и [55*] за которой много гнусного и порочного не ходит [56*] в руки человеку [57*] выживший из себя [58*] Он с двадцати лет [в конкуренции] – источен завистью, беспредельным самолюбием и эпикуреизмом, эгоизмом – перед которыми падает все за исключением его роли, его позы на сцене... [59*] *После*: страстям *было*: а в какую цену, этого не спрашивайте [60*] *Вместо*: Наш брат⌒бросается *было*: Когда наш брат, варвар, получает удар и, оглушенный им, долго приходит в себя – а потом, чувствуя себя одураченным, бросается [61*] тогда бывает поздно [62*] как варвара [63*] Иной раз мне кажется, что много разовьется [64*] *после*: воспитаний *было*: Рассказ о том, что было [со мной] с нами, мне тяжел. Я с внутренним ужасом принимаюсь за [мой рассказ] него – но он необходим как исповедь, как искупление, может, как казнь. Характер трагического столкновения яснее укажет, почему я вспомнил "Арминия"... [65*] разбившего нечистой рукой [66*] *После*: человека *было*: Желание это я и теперь считаю справедливым... [67*] и потому вместо ножа – берусь за скалпель [68*] за лекцию психической патологии



ГЕОРГ ГЕРВЕГ

Рисунок Эммы Зигмунд, в замужестве Гервег (карандаш). (1843). Справа подпись художницы: "Emma Siegmund"

Из книги: "Georg Herwegh's Briefwechsel mit seiner Braut". Stuttgart, 1966

Это был Гервег, обритый, остриженный, без усов, без бороды...

Для него карта быстро перевернулась. Два месяца тому назад, окруженный поклонниками, сопровождаемый своей супругой, он отправлялся в покойном дормёзе из Парижа в баденский поход, на провозглашение германской республики. Теперь он возвращался, убежавши с поля битвы, преследуемый тучей карикатур, осмеянный врагами, обвиняемый своими... Разом изменилось все, рухнулось все[1*], и сквозь растреснувшиеся декорации, в довершение всего, виднелось разорение.

Когда я ехал из России, Огарев дал мне письмо к Г⟨ервегу⟩. Он его знал во время его пущей славы – всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не умел судить о людях. Для него все не скучные и не пошлые люди были прекрасными – особенно все художники[2*].

Я застал Г⟨ервега⟩ в тесной дружбе с Бакуниным и Сазоновым – и скоро познакомился больше фамильярно – чем близко. Осенью 1847 я уехал в Италию. Возвратившись в Париж, я не застал его – о его несчастиях читал в газетах... Почти накануне июньских дней[3*] приехал он в Париж – и, встретив у меня первый дружеский прием, после баденских ошибок, стал чаще и чаще ходить к нам.

Многое мешало мне сначала[4*] сблизиться с этим человеком. В нем не было той

[1*]*После*: все *было*: и личное и общее славы его, он даже начал уставать. [2*]*Вместо*: Он его знал⌒художники *было*: Это было время пущей [3*]Накануне, так сказать, июньских дней [4*]Многое, очень многое мешало мне прежде

простой, откровенной натуры, того полного abandon[31], который так идет всему талантливому и сильному и который у нас почти неразрывен с даровитостью. Он был скрытен, лукав, боялся[5*] других, он любил наслаждаться украдкой, у него была какая-то не мужская изнеженность, жалкая[6*] зависимость от мелочей, от удобств жизни – и эгоизм без всяких границ, rücksichtslos[7*], доходивший до наивности и цинизма[8*]. Во всем этом я вполовину винил не его самого.

Судьба поставила возле него женщину, которая своей мозговой любовью, своим преувеличенным ухаживанием раздувала его эгоистические наклонности и поддерживала его слабости, охорошивая их в его собственных глазах. До женитьбы он был беден[9*], – она принесла ему богатство, окружила его роскошью, сделалась его нянькой, ключницей, сиделкой, ежеминутной необходимостью низшего порядка. Поверженная в прахе, в каком-то вечном[10*] поклонении, Huldigung[11*] – перед поэтом, "шедшим на замену Гёте и Гейне", она в то же время заморила, задушила его талант в пуховиках мещанского сибаритизма.

Досадно мне было, что он так охотно принимал свое положение мужа *на содержании* и, признаюсь, я не без удовольствия видел разорение, к которому они неминуемо шли, и довольно хладнокровно смотрел на плачущую Эмму, когда ей приходилось сдать свою квартиру "с золотым обрезом", как мы ее называли, и распродать поодиночке и за полцены своих "Амуров и Купидонов" – по счастию не крепостных... а бронзовых.

Я приостановлюсь здесь, чтоб сказать несколько слов об их прежней жизни и о самом браке их, носящем удивительно резкую печать – современного германизма.

У немцев, а еще больше у немок, бездна ложных страстей, т.е. страстей выдуманных, призрачных, натянутых, *литературных*. Это какая-то Überspanntheit[34], книжная восторженность[12*], мнимая холодная экзальтация, всегда готовая без меры удивляться или умиляться без достаточной причины – не притворство[13*], а ложная правда, психическая невоздержность, эстетическая истерика, ничего не стоящая[14*], но приносящая много слез радости и печали, много развлечений, ощущений[15*], Wonne[35]. Умная[16*] женщина, как Беттина Арним, не могла отделаться во всю свою жизнь от этой немецкой болезни.

Жанры[17*] могут изменяться, содержание быть иным[18*], но, так сказать, психическое обработывание материала – одно и то же. Все сведется на разные вариации, разные нюансы сладострастного пантеизма, т.е. религиозно-полового и теоретически влюбленного отношения к природе и людям, что вовсе не[19*] исключает романтического целомудрия и теоретического сладострастия ни у светских жриц Космоса, ни у монашествующих невест Христа, богоблудствующих в молитве. Те и другие порываются быть нареченными сестрами грешниц в самом деле. Делают они это из любопытства и сочувствия к *падениям*, на которые сами никогда не решатся, и всякий раз отпускают[20*] им грехи, даже тогда, когда те не просят об этом. Самые восторженные из них – проходят весь курс страстей – без приложения и искушаются всеми грехами как-то *заочно*, per contumaciam[36], по книжкам других и собственным тетрадкам[21*].

Одна из самых общих черт всех восторженных немок – это идолопоклонство гениям и великим людям; религия эта[22*] идет из Веймара со времен Виланда, Шилле-

---

5*он боялся 6**После*: жалкая *было*: смешная 7*и эгоизм совершенно rücksichtslos[32] 8*до ужасного цинизма 9*в совершеннейшей бедности 10**Вместо*: вечном *было*: остром(?) 11*Поверженная вечно в прахе перед ним, in einer Huldigung[33] 12**Над словом*: восторженность *было*: литературная золотуха 13*без причины. Это не притворство 14*и собственно ничего не стоящая 15*и ощущений 16*Такая умная 17*Роды 18*быть иное 19**Вместо*: вовсе не *было*: так же мало 20**Вместо*: и всякий раз отпускают *было*: желая отпустить 21**Вместо*: Все сведется~тетрадкам *было*: Все это разные вариации, разные нюансы той же религиозно-половой и теоретически-любострастной восторженности. Это не исключает романтического целомудрия – у светских сестер – монашествующих невест Христа – богоблудствующих в молитве. Но с тем вместе они порываются быть нареченными сестрами – грешниц в самом деле. [Экзальтированные немки – искусились всеми грехами, так сказать, *заочно*, in contumaciam]. Монашенки для мнимого исправления – из сочувствия – для того, чтоб искуситься всеми грехами *заочно* и тем лишить последствиями ⟨...⟩ 22*эта религия

ра и Гёте. Но так как гении редки – и Гейне жил в Париже, а Гумболдт был слишком стар и слишком реалист – то они[23*] бросились с каким-то голодным отчаянием на хороших музыкантов, на недурных живописцев[24*]. Образ Ф. Листа, как электрическая искра, прошел через сердца всех немок, выжигая в них высокий лоб и длинные, назад отчесанные волосы.

За неимением, наконец, общегерманских великих людей... они брали, так сказать, удельных гениев, чем бы то ни было отличившихся: все[25*] женщины влюблялись в него, все девушки schwärmten für ihm[37], все шили ему по канве подтяжки и туфли и посылали разные сувениры – секретно, без имени.

В сороковых годах умы в Германии были сильно возбуждены. Можно было ожидать, что народ этот, поседевший за книгой – как Фауст – захочет, наконец, как он, выйти на площадь, посмотреть на белый свет[26*]. Мы знаем теперь, что это были *ложные потуги*, что новый Фауст – из Ауэрбахова погребка – воротился вспять в штудирциммер[38]. Тогда казалось иначе – особенно немцам, а потому всякое проявление революционного духа находило горячее[27*] признание. В самый разгар этого времени – показались политические песни Г⟨ервега⟩.

Большого таланта я в них никогда не видал, сравнивать Г⟨ервега⟩ с Гейне могла только его жена[28*]. Но злой скептицизм Гейне не соответствовал тогдашнему настроению умов. Немцам сороковых годов нужны были не Гёте и не Вольтеры, а Беранжеровы песни и "Марсельеза", переложенные на зарейнские нравы. Стихотворения Г⟨ервега⟩ оканчивались иной раз in crudo[39] французским криком, припевом: "Vive la République!"[40], и это приводило в восторг в 42 году – в 52 они были забыты. Перечитывать их невозможно[29*]. Г⟨ервег⟩ – поэт-лавреат демократии – проехал с банкета на банкет всю Германию и, наконец, явился в Берлин. Все бросилось приглашать его, для него давали обеды и вечера, все хотели его видеть, даже у самого короля явилось такое желание поговорить с ним, что его доктор Шенлейн счел нужным представить Г⟨ервега⟩ королю.

В нескольких шагах от дворца в Берлине жил банкир. Дочь этого банкира была уже *давно* влюблена в Г⟨ервега⟩. Они его никогда не видала и не имела об нем никакого понятия, но она, читая его стихи[30*], почувствовала в себе *призвание* сделать его счастливым и в его лавровый венок вплести розу семейного блаженства. Когда же она увидела его в первый раз, на вечере, который давал ее отец, она окончательно убедилась, что – *это он*, и он в самом деле сделался *ее он*.

Предприимчивая и решительная девушка повела стремительно свою атаку. Сначала двадцатичетырехлетний поэт отпрянул назад от мысли о браке, и притом о браке с особой[31*] очень некрасивой, с несколько[32*] юнкерскими манерами и громким голосом; будущность открывала перед ним обе половинки парадных дверей, – какой же тут семейный покой, какая жена!.. Но дочь банкира открывала, с своей стороны, *в настоящем* мешки червонцев, путешествие по Италии, Париж, страсбургские пироги и Clos de Vougeot[41]... Поэт был беден, как Ир... Жить у Фолена нельзя было вечно... поколебался он, поколебался и... принял предложение, забыв старику Фолену (деду Фогта) сказать спасибо.

Эмма сама мне рассказывала, как подробно и отчетливо поэт вел переговоры о приданом. Он даже прислал из Цюриха[42] рисунки мебели, гардин и пр. и требовал, чтоб все это было выслано *прежде* свадьбы, – так он требовал.

О любви нечего было и думать; ее надобно было чем-нибудь заменить. Эмма поняла это[33*] и решилась упрочить свою власть иными средствами. Проведя несколько времени в Цюрихе, она повезла мужа в Италию и потом поселилась с ним в Париже. Там она[34*] отделала своему "Шацу"[43] кабинет с мягкими диванами, тяжелыми

[23*]германки [24*]с каким-то отчаянием любви – на разных музыкантов, живописцев [25*]и все [26*]на площадь да на белый свет [27*]*Перед*: горячее *было*: тогда самое [28*]*Вместо*: могла только его жена *было*: смешно [29*]*Вместо*: и это~невозможно *было*: Их приняли, разумеется, с восторгом в 42 году – и забыли в 48; *1.* перечитывать их теперь невозможно *2.* теперь перечитывать их невозможно [30*]стихотв⟨орения⟩ [31*]с девушкой постарше его [32*]и с несколько [33*]*После*: поняла это *было*: женским инстинктом [34*]Там-то Эмма

бархатными занавесами, дорогими коврами, бронзовыми статуэтками и устроила целую жизнь – пустой праздности; ему это было ново – и нравилось, а между тем талант его туск, производительность исчезала; она сердилась за это, подстрекала его и в то же время утягивала его больше и больше в буржуазный эпикуреизм[35*] [а].

Она была по-своему совсем не глупа и имела гораздо больше силы и энергии, чем он. Развитие ее было чисто немецкое, она бездну читала – но не то, что нужно, училась всякой всячине – не доходя ни в чем[36*] до ясности[37*]. Отсутствие женственной грации неприятно поражало в ней[38*]. От резкого голоса до угловатых движений и угловатых черт лица, от холодных глаз – до охотного низведения разговора на двусмысленные предметы – у ней все было мужское. Она открыто при всех волочилась за своим мужем, так, как пожилые мужчины волочатся за молоденькими девочками[39*]; она смотрела ему в глаза, указывала на него взглядом[40*], поправляла ему шейный платок, волосы – и как-то возмутительно[41*] нескромно хвалила его. При посторонних он конфузился – но в своем круге не обращал на это никакого внимания, так, как занятый делом хозяин не замечает усердия[42*], с которым собака лижет ему сапоги и ласкается к нему. У них бывали и сцены иногда из-за этого – после ухода гостей; но на другой день влюбленная Эмма снова начинала ту же травлю любовью, и он снова выносил ее из-за удобств жизни и из-за ее обо всем пекущейся опеки.

До чего она избаловала своего миньона[44], всего лучше показывает следующий анекдот. Раз после обеда заходит к ним Ив. Тургенев. Он застает Г⟨ервега⟩ лежащего на диване. Эмма терла ему ногу – и остановилась.

– Что же ты перестала – продолжай, – сказал устало поэт.

– Вы больны? – спросил Тургенев.

– Нет, нисколько, но это очень приятно... Ну, что нового?

Они продолжали разговаривать – Эмма потирать ноги...

Уверенная в том, что все удивляются ее мужу, она беспрестанно болтала о нем, не замечая ни того, что это очень было скучно, ни того, что она ему вредила[43*] анекдотами об его слабонервности, о капризной требовательности. Для нее все это казалось бесконечно милым и достойным запечатлеться на веки веков в людской памяти – других это возмущало[44*].

– Георг[45*] у меня страшный эгоист и баловень (zu verwöhnt), – говаривала она, – но кто же и имеет больше прав на баловство? Все великие поэты были вечно капризными детьми, и их всех баловали... На днях он купил мне превосходную камелию – дома ему так стало жаль ее отдать, что он даже не показал мне ее, а спрятал в свой шкап – и держал ее там, пока она совсем завяла[46*] – so kindisch![45]

Это слово в слово ее рассказ.

Этим идолопоклонством Эмма довела своего Георга до края бездны, он и упал в нее и, если не погиб, все же покрыл себя стыдом и позором[47*].

Шум февральской революции – разбудил Германию. Говор, ропот, биение сердца слышались с разных концов единого и разделенного на тридцать девять[48*] частей германского отечества. В Париже немецкие работники составили клуб – и

[а]Вот до чего шла ее предупредительность. Раз в Италии Г⟨ервег⟩ был недоволен одеколонью. Сейчас жена пишет в Jean Marie Farina, чтоб прислать ящик чистейшей одеколони – в Рим. Между тем они из Рима уехали, оставляя приказ переслать [ее] письма и посылки в Неаполь, – так точно они уехали из Неаполя... [Долго] Несколько месяцев спустя ящик с одеколонью... явился к ним в Париж – с неимоверным счетом своих путевых издержек. – *Прим. Герцена.*

[35*]*Вместо*: подстрекала его ~ буржуазный эпикуреизм *было*: будила его, подстрекала и сама в то же время утягивала его – больше в дремоту [на каких-то пуховиках буржуазной роскоши] сытости [36*]впрочем ни в чем [37*]*Вместо*: училась ~ до ясности *было*: многому училась [38*]*1*. Главный недостаток ее был в отсутствии женственной грации 2. Отсутствие женственной грации поражало в ней больше всего [39*]барышнями [40*]указывала другим на него глазами [41*]страшно [42*]не обращает внимания на то усердие [43*]не замечая, как она ему вредила [44*]*Вместо*: достойным запечатлеться ~ возмущало *было*: достойным запечатлеться в людской памяти в числе оригинальных черт [великого поэта] знаменитого певца [45*]Он [46*]и отдал мне, когда она завяла – so kindisch ist er! [47*]*Вместо*: Этим ~ позором *было*: Такое идолопоклонство и игра в великие люди и гении довела Эмму до того, что она своего Георга поставила на край бездны, и если он не упал в нее, то покрылся стыдом и смехом [48*]тридцать шесть

обдумывали, что сделать. Временное правительство[49*] ободряло их – не на восстание, а на удаление из Франции – им что-то и от французских работников не спалось. Конечно, могло случиться, что после[50*] напутственного благословения Флокона и крепкого словца о тиранах и деспотах Косидьера, может, этих бедняков и расстреляют, и повесят или их бросят лет на двадцать в казематы, – это было не их дело[51*].

Баденская экспедиция была решена – но кому же быть освободителем, кому вести эту новую armée du Rhin[46], состоящую из несколько сот мирных работников и подмастерий? Кому же, думала Эмма, как не великому[52*] поэту: лиру за спину и меч в руки, на "боевом коне", о котором он мечтал[53*] в своих стихах... Он будет петь после битв и побеждать после песен; его выберут диктатором, он будет в сонме царей и им продиктует волю *своей* Германии; в Берлине, Unter den Linden, поставят его статую, и ее будет видно[54*] из дому старика банкира... века будут воспевать его и... в этих песнопениях... быть может не забудут добрую, самоотверженную Эмму, которая оруженосцем, пажем, денщиком провожала его, берегла его in der Schwertfahrt!..[47] И она заказала себе у Юмана, Rue neuve des petits Champs, военную амазонку из трех национальных цветов – черного, красного и золотого – и купила себе черный бархатный берет с кокардой тех же цветов.

Через приятелей[55*] Эмма указала работникам на поэта; не имея никого в виду и вспоминая песни Гервега, звавшие к восстанию, они выбрали его своим начальником. Эмма уговорила его принять это звание.

На каком основании эта женщина втолкнула человека, которого так любила, в это опасное положение? Где, в чем, когда показал он то присутствие духа, то вдохновение обстоятельствами, которое дает лицу власть над ними[56*], то быстрое соображение, то ясновидение и тот задор, наконец, без которого нельзя ни хирургу делать операцию, ни партизану начальствовать отрядом. Где у этого расслабленного была сила[57*] одну часть нерв поднять до удвоенной деятельности, а другую перевязать до бесчувственности? В ней самой была и решимость и самообладание[58*], – тем непростительнее, что она не вспомнила, как он вздрагивал от малейшего шума, бледнел от всякой нечаянности, как он падал духом от малейшей физической боли и терялся – перед всякой опасностью[59*]. Зачем же она вела его на страшный искус[60*], в котором притворяться нельзя, в котором не спасешься ни прозой, ни стихами, где, с одной стороны[61*], лавровый венок возле могилы, и с другой – бегство[62*] и позорный столб?

У нее был совсем иной расчет, – его она, не думая, сама рассказала в последующих разговорах и письмах[63*]. Республика в Париже провозгласилась[64*] почти без боя; революция брала верх в Италии, вести из Берлина, даже из Вены – ясно говорили, что и эти троны[65*] покачнулись; трудно было себе представить, чтоб баденский герцог или виртембергский король могли бы устоять против напора революционных идей. Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, народ[66*] примет инсургентов с распростертыми объятиями: *поэт*[67*] провозгласил бы республику, республика провозгласила бы *поэта*[68*] диктатором – разве не был диктатором Ламартин? Осталось бы потом диктатору-певцу торжественным шествием проехать по всей Германии с своей черно-красно-золотой Эммой в берете, чтоб покрыться[69*] военной и гражданской славой...

На деле оказалось не то. Тупой баденский и швабский солдат ни поэтов, ни республики не знает, а дисциплину и своего фельдфебеля знает очень хорошо и, по врожденному холопству, любит их[70*] и слепо слушается своих штаб- и обер-офицеров. Крестьяне были взяты врасплох, освободители сунулись без серьезного плана, ниче-

---

[49*]*После*: правительство *было*: лукавое и робкое [50*][А что] После бранного [51*]до этого им не было дела [52*]не ее великому [53*]он [говорит] [поет] мечтает [54*]так, чтобы ее было видно [55*]*После*: приятелей *было*: и свой круг [56*]личности над ними власть [57*]Тут надобно иметь силу воли, чтоб [58*]*После*: самообладание *было*: в ней был тот задор, который подчас заставляет забывать личную опасность [59*]перед пустейшей неожиданностью [60*]на тот страшный искус [61*]*Перед*: с одной стороны *было*: свирепо [62*][спасение] [бегство] спасенье бегством [63*]*Вместо*: его она ~ письмах *было*: и это не моя фантазия, а исполнение того, что у ней отчасти вырывалось в последующих разговорах [64*]была провозглашена [65*]солдатские троны [66*]что народ [67*]великий поэт [68*]великого поэта [69*]покрываясь [70*]ее

го не приготовив – тут и храбрые люди, как Геккер, как Виллих, ничего не могли сделать, – они тоже были побиты, но не побежали[71*] с поля сражения, и, по счастию... возле них не было влюбленной немки.

При перестрелке Эмма увидела своего испуганного, бледного, со слезами[72*] страха на глазах Георга, готового бросить свою саблю, куда-нибудь[73*] спрятаться – и окончательно погубила его. Она стала перед ним, *под выстрелами*, и звала товарищей на спасенье поэта[74*]. Солдаты одолевали... Эмма, прикрывая бегство своего мужа, подвергалась быть раненой, убитой[75*] или схваченной в плен, то есть посаженной лет на двадцать в Шпандау или Рашгадт, да еще предварительно высеченной[76*].

Он скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения. Там он бросился к какому-то крестьянину, умоляя его, заклиная спрятать[77*] его. Крестьянин не скоро решился, боясь солдат, наконец, позвал его на двор и, осмотревшись кругом, спрятал будущего диктатора в пустой бочке и прикрыл соломой... подвергая свой дом разграблению и себя фухтелям и тюрьме[78*]. Солдаты явились[79*], крестьянин не выдал... а дал знать Эмме, которая приехала за ним, спрятала мужа в телегу, переоделась, села на козлы и увезла его за границу.

– Как же имя вашего[80*] спасителя? – спросили его мы[81*].

– *Я забыл его спросить*, – отвечал спокойно[82*] Гервег.

Раздраженные товарищи его бросились[83*] теперь с ожесточением терзать несчастного певца, вымещая разом[84*] и то, что он разбогател, и то, что квартира его была с[85*] "золотым обрезом", и аристократическую изнеженность и пр. Его жена до такой степени не понимала portee[48] того, что делала, что месяца через четыре напечатала[86*] в защиту мужу брошюру, в которой рассказывает *свои* подвиги, забывая, какую тень один этот рассказ должен был отбросить на него.

Вскоре его стали обвинять уже не только в бегстве, но в растрате и утайке общественных денег. Я думаю[87*], что деньги не были присвоены[88*] им, но также уверен и в том, что[89*] они беспорядочно бросались и долею на ненужные прихоти *воинственной четы*. П. Анненков был свидетелем, как закупались начиненные трюфлями индейки, пастеты у Шеве и укладывались вины и пр. в путевую карету *генерала*[90*]. Деньги были даны Флоконом, по распоряжению Временного правительства, в самой сумме их престранные вариации: французы говорили о 30 000 фр. – Гер⟨вег⟩ уверял, что он не получил и половины, но что правительство заплатило[91*] за проезд по железной дороге[92*]. К этому обвинению – возвратившиеся инсургенты[93*] прибавляли, что в Страсбурге, куда они добрались оборванные, голодные и без гроша денег – после поражения – они обратились к Гер⟨вегу⟩ за помощью – и получили отказ, Эмма даже не допускала их до него – в то время как он жил[94*] в богатом отеле... "и носил *желтые* сафьянные туфли". Почему они именно это считали признаком роскоши – не знаю[95*]. Но о желтых туфлях – я слышал десять раз.

Все это случилось, как во сне. В начале марта освободители in spe[49] еще пировали в Париже, – в половине мая они, разбитые, переходили французскую границу. Г⟨ервег⟩, образумившись в Париже, увидел, что прежняя садовая[96*] дорожка к славе засыпана... действительность сурово напомнила[97*] ему о его границе, он понял[98*], что его положение поэта своей жены и бежавшего с поля диктатора[99*] – было неловко... Ему приходилось[100*] переродиться или идти ко дну. Мне казалось – и вот где

[71*] *Вместо*: они ~ не побежали *было*: но они не побежали [72*] и со слезами [73*] и куда-нибудь [74*] *Вместо*: и звала ~ на спасенье поэта *было*: обратилась к дравшимся товарищам с какими-то одобряющими словами... [75*] Тогда Эмма, скрывая бегство своего мужа, подвергалась десять раз быть раненой [76*] *После*: высеченной *было*: – спасла его. [77*] спасти [78*] *Вместо*: фухтелям и тюрьме *было*: шпицрутенам [79*] действительно явились [80*] этого вашего [81*] [спросил я его] спросил его И. Тургенев [82*] отвечал [мне] ему [83*] *Вместо*: Раздраженные товарищи его бросились *было*: Новый Арминий не вышел победителем из "гейтобургской грязи" и был в ней потоплен своей Туснельдой. Вся посредственность немецкой демократии бросилась [84*] теперь [85*] и квартиру с [86*] написала [87*] почти уверен [88*] просто присвоены [89*] но знаю, что [90*] *г е н е р а л а* инсургентов [91*] они заплатили [92*] *После*: дороге *было*: Все это делалось без расписок, без книг, по-братски и *душа мере* ⟨не знала⟩ [93*] возвратившиеся баденцы и разорившиеся работники [94*] они жили [95*] это я не знаю [96*] *Перед*: садовая *было*: гладкая [97*] мир фактов сурово напомнил [98*] был слишком тонкого ума человек, чтоб не понять [99*] поэта-лауреата своей жены и провалившегося кандидата в великие люди; *После*: диктатора *было*: Германии [100*] *После*: Ему приходилось *было*: ... oggi o mai[50]

худшая ошибка моя, – что мелкая сторона его характера переработается. Мне казалось[101*], что я могу ему помочь в этом – больше, чем кто-нибудь.

И[102*] мог ли я иначе думать, когда человек ежедневно говорил (впоследствии писал): "... Я знаю жалкую слабость моего характера, – твой характер яснее моего и сильнее, поддержи меня, будь мне *старшим братом, отцом*... У меня нет близких людей – я на тебе сосредоточиваю все симпатии. Любовью, дружбой из меня можно сделать все, будь же не строг, а добр и снисходителен, не отнимай руки твоей – да я и не выпущу ее, я уцеплюсь за тебя... В одном я не только не уступлю тебе, но, может, сильнее тебя – в безграничной любви к близким моему сердцу".

Он не лгал, но это его ни к чему не обязывало[103*]. Ведь и в баденское восстание он шел[104*] не с тем, чтоб оставить своих товарищей в минуту боя, – но, видя опасность, бежал.

Пока нет никакого столкновения, борьбы, пока не требуется ни усилия, ни жертвы – все может идти превосходно – целые годы, целая жизнь[105*] – но не попадайся ничего на дороге, а то быть беде – преступлению – или стыду.

Зачем я не знал этого тогда![106*]

К концу 1848 года[107*] Г⟨ервег⟩ стал у нас бывать почти всякий вечер. Дома ему было скучно[108*]. Действительно, Эмма ему страшно мешала. Она возвратилась из баденской экспедиции тою же, как поехала; внутреннего раздумья о случившемся у нее не было – она была по-прежнему влюблена, довольна, болтлива – как будто они воротились после победы – по крайней мере, без ран на спине. Ее заботило одно – недостаток денег – и положительная надежда вскоре их не иметь совсем. Революция, которой она так неудачно помогла, не освободила Германию, не покрыла лаврами чело поэта – но разорила вконец старика банкира, ее отца.

Она постоянно старалась – *рассеять мрачные мысли мужа*[109*], ей и в голову не приходило, что он только[110*] этими грустными мыслями – и может спастись[111*].

Внешней, подвижной Эмме не было потребности – на эту внутреннюю, глубокую и, по-видимому, приносящую одну боль работу. Она[112*] принадлежала к тем несложным натурам в два темпа, которые рубят своим entweder–oder[51] всякий гордиев узел – с правой или с левой стороны, все равно – лишь бы как-нибудь отделаться и снова торопиться – куда?.. этого-то они и сами не знают. Она врывалась середь речи или с анекдотом или с дельным замечанием, но дельность которого была низшего порядка. Уверенная[113*], что между нами никто не был одарен таким практическим смыслом, как она, и вместо того, чтоб из кокетства скрывать свою деловую смышленность – она кокетничала ею. Притом надобно еще сказать, что она серьезного практического смысла – нигде не показала. Хлопотать, говорить о ценах и кухарках, о мебели и материях – очень далеко от дельного приложения. У нее в доме все шло безумным образом, потому что все было подчинено ее мономании, она постоянно жила au qui-vive[52], смотрела в глаза мужу и подчиняла все существенные необходимости жизни и даже здоровье и воспитание детей – его капризам.

Г⟨ервег⟩, естественно, рвался из дома – и искал у нас гармоничного покоя[114*]; – он видел в нас какую-то идеальную семью, в которой он все любил, всему поклонялся[115*], детям столько же, сколько нам. Он мечтал об том, как бы уехать с нами куда-нибудь вдаль... и оттуда спокойно досматривать пятое действие темной европейской трагедии[116*].

[101*]*Вместо*: переработается. Мне казалось *было*: сотрется, как пыль, как плесень, и признаюсь откровенно – я думал [102*]Но [103*]Он не то чтобы лгал. Я нарочно останавливаюсь на этом – без этого нельзя понять внутреннего смысла всей драмы. *Он не лгал – но истина его ему ничего не стоила* [104*]шел *искренне* [105*]всю жизнь [106*]*Вместо*: Зачем ~ тогда! *было*: [Само собою разумеется, что] Эти рассуждения я сделал после совершившегося. – Если б я так понимал в самом начале, многого бы не было и многое было бы иначе. [107*]*Перед*: К концу 1848 года *было*: *Глава третья* [108*]*Вместо*: бывать ~ скучно *было*: бывать всякий вечер – пуще всего старался бывать один, т.е. без жены [109*]его мрачные мысли и без того еще не собравшиеся [110*]может только [111*]и спасется [112*]Она вся [113*]Она была уверена [114*]прибегал к нам отдохнуть [115*]он любил всему поклоняться [116*]*После*: трагедии *было*: как некогда римляне покидали в четвертом – пятом веке свой вечный город, чтоб в какой-нибудь едва обитаемой пристани ждать своего часа.

И при всем этом, кроме одинакого или очень близкого пониманья общих дел, в нас мало было сходного.

Г⟨ервег⟩ как-то сводил все на свете на себя, он отдавался своекорыстно[117*], искал внимания, робко-самолюбиво был неуверен в себе и в то же время уверен в своем превосходстве[118*]. Все это вместе заставляло его – кокетничать, капризничать, быть иногда преднамеренно печальным, внимательным или невнимательным[118a*]. Ему был постоянно нужен – проводник, наперстник[119*] – друг и раб вместе (именно такой, как Эмма), который бы мог выносить холодность и упреки, когда его служба не нужна, и который при первом знаке готов снова броситься сломя голову и делать с улыбкой и покорностью, что прикажут.

И я искал любви и дружбы, искал сочувствия, даже рукоплесканий[120*] и вызывал их, но этой женски-кошачьей игры в dépit[53] и объясненья, этой вечной жажды вниманья, холенья – никогда во мне не было. Может, непринужденная истинность, излишняя самонадеянность и здоровая простота моего поведения, *laisser-aller*[54] – происходило тоже от самолюбия, может, им я накликал беды на свою голову, но оно так[120a*]. В смехе и горе, в любви и общих интересах я отдавался искренно и мог наслаждаться и горевать, не думая о себе[121*]. С крепкими мышцами и нервами[122*] – я стоял независимо и самобытно и был готов горячо подать другому руку – но сам не просил, как милостыни, ни помощи, ни опоры.

При такой противуположности нельзя себя представить, чтоб между мной и Гер⟨вегом⟩[122a*] не бывали иногда неприятные столкновения. Но, во-первых, он со мной был гораздо осторожнее, чем с другими; во-вторых, он меня совершенно обезоруживал – грустным сознанием, что он виноват[123*]. Он не оправдывался[124*], но во имя дружбы просил снисхождения к слабой[125*] натуре, которую он сам знал и осуждал. Я играл роль какого-то опекуна, защищал его от других и делал ему замечания, которым он подчинялся. Его покорность сильно не нравилась Эмме – она ревниво подтрунивала над этим[126*].

Наступил 1849 год[127*].

[117*]он чему и отдавался, то отдавался своекорыстно, он постоянно [118*]*Вместо:* робко-самолюбиво – в своем превосходстве *было: 1.* как-то робко был неуверен в себе – несмотря на страшное самолюбие и скрытную уверенность в своем превосходстве 2. робко-самлюбиво был неуверен в себе и в то же время не скрывал уверенность в своем превосходстве [118a*]*Вместо:* Г⟨ервег⟩ ~ невнимательным *сохранился (на обороте наклеенного листа) первоначальный вариант:* Г⟨ервег⟩ так как сводил все на свете на себя, на субъективное баловство, на личное наслаждение – в его эгоистической любви была какая-то эпикурейская chaperonnière ⟨охрана– *франц.*⟩ личности, постоянно занятой собой – он менял свои меланхолии, с намерением молчал, был печален или невнимателен из кокетства. – *Сообщено С.В. Житомирской.* [119*]*Вместо:* наперстник *было:* помощник [120*]даже просто сочувствия, похвал, рукоплесканий [120a*]*На обороте наклеенного листа сохранился фрагмент первоначального варианта:* собой – и решительно знаю, что я сам не играл комедию ни для captatione benevolentiae ⟨заискивания – *лат.*⟩, ни для внушения того или другого – я увлекался искренно и отдавался весь – я мог объективно наслаждаться, т.е. делать наслаждение ⟨этим не⟩ забавой своей. Может, этот laisser-aller происходил от своего рода самолюбивой уверенности в себе – может, нет, я и накликал беду на свою голову – но оно было так. – *Сообщено С.В. Житомирской.* [121*]*Вместо:* мог наслаждаться ~ о себе *было:* мог объективно наслаждаться, т.е. жить наслаждением, забывая себя, т.е. не думая о том, кто наслаждается [122*]С моими здоровыми мышцами и крепкими нервами [122a*]*Первоначальный вариант на обороте наклеенного листа:* При такой противуположности нельзя было думать, чтоб мы иной раз – *Сообщено С.В. Житомирской.* [123*]*Вместо:* он виноват *было:* я прав и себя обвинением [124*] не только не требовал оправдания [125*]хотел снисхождения к жалкой [126*]*Вместо:* Я играл ~ над этим *было:* Это приучило меня к какому-то покровительству, я его защищал от других и делал ему замечания, которые он почти все смиренно принимал с доверием. Его покорность со мною, кротость ответов под конец возбудила ревность Эммы, которая начинала подтрунивать над этим [127*]*После:* Наступил 1849 год *было:* Начну мою хронику о нем происшествием, совсем не идущим к делу – комическим сначала, неважным после – но которое бросает своего рода свет на характеры.

III[1*]

КРУЖЕНИЕ СЕРДЦА

Мало-помалу в 1849[2*] я стал замечать в Г⟨ервеге⟩ разные перемены. Его неровный нрав сделался еще больше неровным, на него находили припадки невыносимой грусти и[3*] бессилия. Отец[4*] его жены окончательно потерял состояние; спасенные остатки были нужны другим членам семейства... бедность грубее[5*] стучалась в двери поэта... он[6*] не мог думать о ней, не содрогаясь и не теряя всякого мужества[7*]. Эмма выбивалась из сил – занимала направо и налево, забирала в долг, продавала вещи... и все это, чтоб он не заметил настоящего положения дел. Она отказывала не только себе в вещах необходимых – но не шила детям белья – для того, чтоб он обедал[8*] у "Провансальских братий" и покупал себе вздор. Он брал у нее деньги[9*], не зная, откуда они – и *не желая знать*. Я с ней бранился за это, я говорил, что она губит его, намекал ему – он упорно не понимал, а она сердилась[10*] – все шло по-старому.

Хотя он и боялся бедности – до смешного, тем не меньше – причина его тоски была не тут.

В его плаче о себе – постоянно возвращалась одна нота, которая стала мне надоедать; я наконец с досадой слушал вечное повторение[11*] жалоб Г⟨ервега⟩ на свою слабость, сопровождаемое упреками[12*] в том, что мне не нужен ни привет, ни ласка[13*], а что он вянет и гибнет без близкой руки, что он так одинок и несчастен, что хотел бы умереть, что он глубоко уважает Эмму, но что его нежная, иначе настроенная душа сжимается от ее крутых, резких прикосновений и "даже от ее громкого голоса". Затем следовали страстные уверения[14*] в дружбе ко мне... В этом лихорадочном и нервном состоянии я стал разглядывать чувство, испугавшее меня – за него столько же, сколько за меня. Мне казалось, что его дружба к Natalie принимает больше страстный характер... мне было нечего делать, я молчал и с грустью начинал предвидеть[15*], что этим путем мы быстро дойдем до больших бед и что в нашей жизни что-нибудь да разобьется... Разбилось все.

Постоянная речь об отчаянии, постоянная молитва о внимании, о теплом слове, зависимость от него – и плач... плач[16*]... все это сильно действовало на женщину, едва[17*] вышедшую из трудно приобретенной гармонии[18*] и страдавшую от глубоко трагической среды, в которой мы жили[19*].

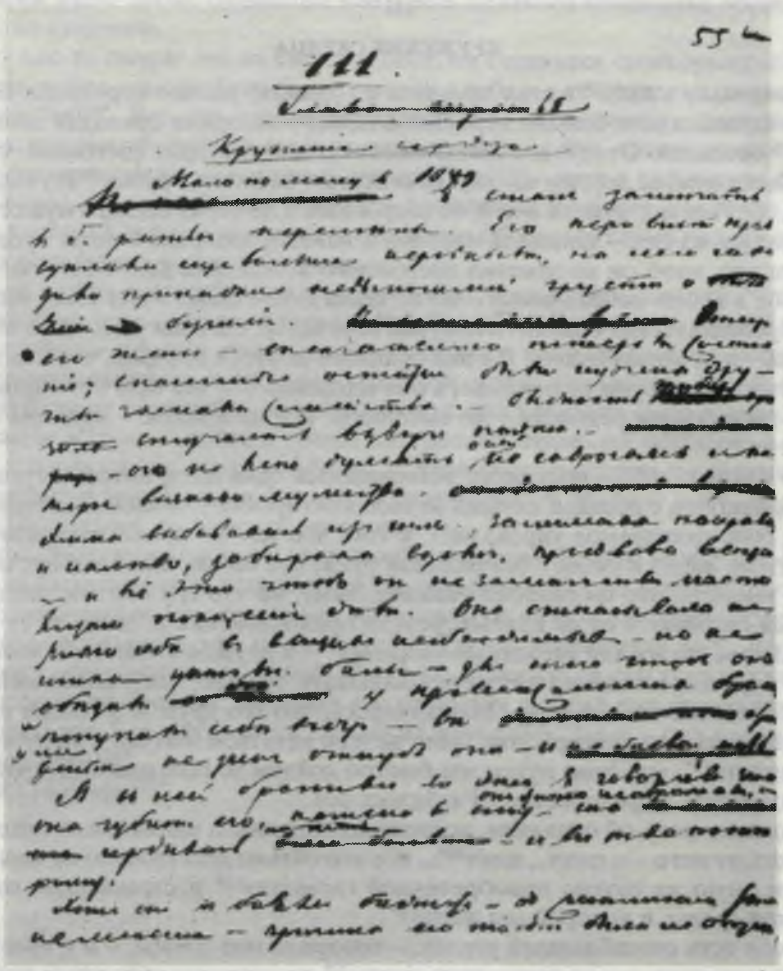
– У тебя есть отшибленный уголок, – говорила мне Natalie, – и к твоему характеру это очень идет; ты не понимаешь тоску[20*] по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Г⟨ервега⟩. Я его понимаю, потому что сама это чувствую... Он большой ребенок – а ты совершеннолетний, его можно безделицей разогорчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно[21*] щадить... Зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внимание, за теплоту, за участие...

Неужели?.. Но нет, он сам сказал бы мне, прежде чем говорить с ней... и я свято хранил его тайну и не касался до нее ни одним словом, жалея, что он со мною не говорит... Можно беречь[22*] тайну – не вверяя ее никому, но только *никому*. Если он говорил о своей любви – он *не мог* молчать с человеком, с которым жил в такой душевной близости – и тайну, так близко касающуюся до него... Стало, он не говорил. Я забыл[23*] на это время старый роман под заглавием "Арминий"!

... В конце 1849 я поехал из Цюриха в Париж хлопотать о деньгах моей матери,

---

[1*]Глава третья [2*]В начале лета [3*]*После:* грусти и *было:* отчаяния и [4*]*Перед:* Отец *было:* В самое это время [5*]снова грозила [6*]*Перед:* он *было:* но на этот раз [7*]не мог думать, не содрогаясь и не теряя всякого мужества, о недостатках в деньгах [8*]*После:* обедал *было:* [с нами] [с дру⟨зьями⟩] [9*]Он действительно брал деньги [10*]*1.* намекал ему – она за последнее сердилась всего больше *2.* намекал ему – она сердилась на меня [11*]которая, наконец, стала мне надоедать – я с невольной досадой слушал повторение [12*]на его слабость, и он упрекал меня в силе, в независимой самобытности [13*]*Вместо:* ни ласка *было:* ни одобрение [14*]следовало желание смерти, уничтожения, затем страстные уверения [15*] предвидел [16*]и плач [17*]только [18*]из приобретенного гармонического покоя [19*]были [20*]но все же ты не понимаешь эту тоску [21*]*Перед:* его надобно *было:* и потому [22*]хранить [23*]Варвар, я забыл



"БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ("INSIDE")

Автограф. Начало главы третьей – "Кружение сердца"

Международный институт социальной истории, Амстердам

остановленных русским правительством. С Г(ервегом) мы расстались, уезжая из Женевы. На пути я зашел к нему в Берне.

Я его застал[24*] читающего по корректурным листам отрывки из "Vom andern Ufer" Симону Триерскому. Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались. Я ехал вечером в тот же день – он не отходил от меня ни на минуту. Снова и снова повторяя слова самой восторженной и страстной дружбы. Зачем он тогда не нашел силы – прямо и открыто рассказать мне свою исповедь... я был мягко настроен тогда, все бы пошло человечественно[25*].

Он проводил меня на почтовый двор, простился и, прислонясь к воротам, в которые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы... Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека... Думая всю

[24*] *Перед:* Я его застал *зачеркнуто:* Я [еще раз] приостановился, [еще раз] пристально всмотрелся – и, [решился, наконец] наконец, решился окончательно узнать дело.

В конце 1849 года мы уехали из Женевы в Цюрих – там оставил я Natalie и отправился с моей матерью в Париж хлопотать у Ротшильда о ее деньгах, захваченных Николаем. Г(ервег) был в Берне. [25*] Зачем он не нашел силы – прямо и открыто рассказать мне все... я был тогда мягко настроен, все бы пошло человечественнее.

ночь, я тогда только дошел до одного слова, не выходившего из головы[26*]: "Несчастие, несчастие!.. Что-то выйдет из этого?"

Мать моя вскоре уехала из Парижа, я останавливался[27*] у Эммы, но в сущности, был совершенно один. Это одиночество было мне необходимо[28*], мне надобно было одному вдуматься, что делать. Письмо от Natalie, в котором она говорила о своем сочувствии к Г⟨ервегу⟩, дало мне повод, и я решился писать к ней. Письмо мое было печально – но спокойно, я ее просил тихо, внимательно[29*] исследовать свое сердце и быть откровенной с собой и со мной, я ей напоминал, что мы слишком связаны всем былым и всею жизнию, чтоб что-нибудь не договаривать[30*].

«От тебя письмо от 9 (писала Natalie, и это письмо осталось, почти все остальные сожжены[31*]), – и я тоже сижу и думаю только: "Зачем это?" и плачу, плачу. Может, я виновата во всем, может, недостойна жить – но я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и перед всем светом, я не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе мне жилось, как в божьем мире, не в ней – так и негде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира – куда же... надобно переродиться. Я с ней, как с природой, нераздельна – из нее и опять в нее. Я ни на одну минуту не чувствовала иначе. Мир широкий, богатый; я не знаю богаче внутреннего мира, может, слишком широкий, слишком расширивший мое существо, его потребности, – в этой полноте бывали минуты, и они бывали с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там где-то на дне, в самой глубине души что-то, как волосок тончайший, мутило душу – а потом опять все становилось светло».

"Эта неудовлетворенность, что-то остававшееся незанятым, заброшенным, – писала N⟨atalie⟩ в другом письме, – искало иной симпатии – и нашло ее в дружбе Г⟨ервега⟩".

Мне было этого мало, и я писал ей: "Не отворачивайся от простого углубления в себя; не ищи объяснений, диалектикой – не уйдешь от водоворота – он все же утянет тебя[32*]. В твоих письмах есть струя новая, незнакомая мне – не струна грусти, а другая... Теперь всё еще в наших руках... будем иметь мужество идти до конца. Подумай, что после того, как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову[33*], *Г⟨ервег⟩ взойдет фальшивой нотой в наш аккорд – или я. Я готов ехать с Сашей в Америку,* потом увидим, что и как... Мне будет тяжело[34*], но я постараюсь вынести; *здесь* мне будет еще тяжеле – и я не вынесу".

На это письмо она отвечала криком ужаса, мысль разлуки со мной ей никогда не представлялась... "Что ты!.. Что ты!.. я – и разлучиться с тобой... как будто это возможно... нет, нет, я хочу к тебе, к тебе сейчас – я буду укладываться и через несколько дней я с детьми в Париже!"

В день выезда из Цюриха – она еще писала: "Точно после бурного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью. Если б состояние твоей души похоже было на то, в котором я нахожусь! Я счастливее, чем когда-нибудь. Люблю я тебя все так же; но твою любовь я узнала больше, и все счеты с жизнию сведены... я не жду ничего, не желаю ничего. Недоразумения! – Я благодарна им, они объяснили мне многое, а сами они пройдут и рассеятся, как тучи".

Встреча наша в Париже была не радостна – но проникнута чувством искреннего и глубокого сознания, что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева, что нас разъединить нелегко[35*]. В длинных разговорах того времени одна вещь уди-

---

[26*]из моей головы [27*]жил [28*]было совершенно на месте [29*]спокойно [30*]*Далее зачеркнуто:* Бесконечно жаль, что [именно] эти письма [почти все] [долею] почти все были сожжены – тогда, когда мы хотели стереть все следы этого времени (время coup d'Etat[55]), и долею после 2 декабря – когда вслед за восстанием в Варском департаменте поговаривали о полицейских осмотрах в самой Ницце [31*]*После:* сожжены *было:* порыв [32*]*Вместо:* диалектикой ~ тебя *было: 1.* диалектикой сердца – не уйдешь от водоворота страстей, плавая возле – он все же утянет *2.* диалектикой – не уйдешь от водоворота – ты все же будешь утянут [33*]*Вместо:* после того ~ к слову *было:* после приведенного нами к слову [34*]Мне это будет очень тяжело [35*]не так легко

вила меня – и я ее исследовал несколько раз и всякий раз убеждался, что я прав. Вместе с оставшейся горячей симпатией[36*] к Г⟨ервегу⟩ Nat⟨alie⟩[37*] словно свободнее вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства, она боялась его, она чувствовала, что в его душе есть темные силы[38*], ее пугал его бесконечный эгоизм[39*] – и она искала[40*] во мне оплот и защиту.

Ничего не зная о моей переписке с Natalie Г⟨ервег⟩ понял[41*] что-то недоброе в моих письмах. Я, действительно, помимо всего другого, был очень недоволен им[42*]. Эмма рвалась, плакала, старалась ему угодить, доставала деньги, – он или не отвечал на ее письма, или писал колкости и требовал еще и еще денег[43*].

Письма его ко мне – *сохранившиеся у меня,* – скорее похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает меня в холодности, он умоляет не покидать его, он не может жить без меня, без прежнего полного, безоблачного сочувствия, он проклинает недоразумения и вмешательство "безумной женщины" (т.е. Эммы). Он жаждет начать новую жизнь, жизнь вдали, жизнь с нами, – и снова называет меня отцом, братом, близнецом.

На все это я писал ему на разные лады: "Подумай[44*], можешь ли ты начать новую жизнь, можешь ли стряхнуть с себя... порчу, растленную цивилизацию[45*], – и раза два напомнил Алеко, которому старый цаган говорит: "Оставь нас, гордый человек, ты для одного себя хочешь свободы!"

Он отвечал на это упреками и слезами, *но не проговорился.* Его письма 1850[46*] и первые разговоры в Ницце служат страшным[47*] обличительным документом... чего? – Обмана, коварства, лжи... нет; да это было бы и не ново – а той слабодушной двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека[48*]. Перебирая часто все подробности печальной драмы нашей[49*], я всегда останавливался с изумлением – как этот человек ни разу, ни одним словом, ни одним прямым движением души не обличил себя. Каким образом, чувствуя[50*] невозможность быть со мною откровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в разговоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только полная и взаимная откровенность[51*]?

С той минуты, с которой он угадал мое сомнение – и не только промолчал, но больше и больше уверял меня в своей дружбе – *и в то же время* своим отчаяньем еще сильнее действовал[52*] на женщину, которой сердце было потрясено, – с той минуты, с которой он начал со мною *отрицательную ложь* – молчанием и умолял ее (как я после узнал) не[53*] отнимать у него моей дружбы – неосторожным словом, – с той минуты начинается – преступление[54*].

Преступление!.. Да... и все последующие бедствия – идут как простые неминуемые последствия его, – идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь раскаяньем, потому что они не *наказание, а последствие,* идут за поколенье – по страшной несокрушимости совершившегося[55*]. Казнь искупает, примиряет[56*] человека с собой, с другими, раскаяние искупает его. Но последствия идут своим страш-

---

[36*]с страстной симпатией [37*]она [38*]*Вместо:* она чувствовала ~ силы *было:* будто чувствуя, что в его душе не все чисто [39*]бескоиечный эгоизм его [40*]в самом деле искала [41*]почуял [42*]Я действительно был очень недоволен, сверх всего, рядом возмутительных поступков его с женою. [43*]или требовал денег [44*]Изведай себя [45*]порчу растленной цивилизации [46*]*После:* 1850 *зачеркнуто:* (почти все сохранившиеся) [47*]действительно страшным [48*]живет западный человек [49*]Перебирая разные случаи в памяти [50*]И этого мало – зачем не чувствуя [я] [51*]полная близость [52*]*Вместо:* и не только промолчал ~ действовал *было:* и промолчал на него, но воспользовался им, чтоб еще сильнее действовать [53*]*После:* не *зачеркнуто:* говорить мне, что он [54*]*Вместо:* он начал со мною ~ преступление *было:* он начал *о т р и ц а т е л ь н у ю л о ж ь* – молчанием, печальным пожатием руки – с той минуты начинается – преступление; *После:* преступление *зачеркнут первоначальный вариант:* В конце апреля месяца – полиция велела мне выехать из Франции. Per fas et nefas[56] я остался до половины июня – за сим [55*]*Вместо:* все последующие бедствия ~ совершившегося *было:* вся мрачная мысль юдаизма и христианства – о грехе, продолжающемся веками и веками бедствий – до искупления... печальный образ того, что делается в жизни. Но в жизни нет наказания и нет снятия греха искуплением – в ней есть неотразимые следствия. [56*]*Вместо:* Казнь искупает, примиряет *было:* Искупление, раскаяние может примирить

ным чередом[57*]. Для бегства от них – религии выдумали рай[58*] – и его сени – монастырь[59*].

...Меня выслали из Парижа – и почти в то же время выслали и Эмму. Мы собирались прожить год-два в Ницце, – тогда это была Италия, – и Эмма поехала туда же. Через некоторое время, т.е. к зиме, должна была приехать в Ниццу моя мать и с нею Г⟨ервег⟩.

Зачем же я-то с N⟨atalie⟩ именно ехал в тот же город? Вопрос этот приходил мне в голову – и другим, но, в сущности, он мелок. Не говоря о том, что, куда бы я ни поехал, Г⟨ервег⟩ мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать – кроме оскорбления – географическими и другими внешними мерами?..

Недели через две-три после своего приезда Г⟨ервег⟩ принял вид Вертера – в последней степени отчаяния – и до того очевидно, что один русский лекарь, бывший проездом в Ницце, был уверен, что у него начинается помешательство. Жена его являлась с заплаканными глазами – он с нею обращался возмутительно. Она приходила часы целые плакать в комнату N⟨atalie⟩ – и обе были уверены, что он не нынче-завтра бросится в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид N⟨atalie⟩ и снова овладевавший ею тревожный недосуг, даже в отношении к детям, показал мне ясно, что делается внутри.

Еще не было сказано ни слова – но уже сквозь наружную тишину просвечивало ближе и ближе что-то зловещее, похожее на беспрерывно пропадающие и опять являющиеся две сверкающие точки – на опушке леса и свидетельствующие о близости зверя. Все быстро неслось к развязке. Ее задержало рождение Ольги.

IV[1*]

ЕЩЕ ГОД

1851

Перед Новым годом Natalie принесла мне показать акварель, который она заказывала живописцу Guyot. Картина представляла – нашу террасу, часть дома и двора – на дворе играли дети, лежала[2*] Татина коза, вдали на террасе была сама Natalie. Я думал, что акварель назначена мне – но N⟨atalie⟩ сказала, что она ее хочет подарить в Новый год Г⟨ервегу⟩.

Мне было досадно[3*].

– Нравится тебе? – спросила N⟨atalie⟩.

– Акварель[4*] мне так нравится, – сказал я, – что если Г⟨ервег⟩ позволит, я велю сделать для себя копию...

По моей бледности и по голосу Natalie поняла, что эти слова были и вызов, и свидетельство сильной внутренней бури. Она взглянула на меня, слезы были у нее на глазах.

– Возьми его себе! – сказала она.

– Ни под каким видом, что за шалость.

Больше мы не говорили[5*].

Новый 1851 год мы праздновали у моей матери. Я был в сильно раздраженном состоянии, сел возле Фогта и, наливая ему и себе стакан вина за стаканом, сыпал остротами и колкостями; Фогт[6*] катался со смеху. Г⟨ервег⟩ печально смотрел исподлобья. Наконец-то он понял. После тоста за Новый год он поднял свой бокал и сказал,

---

[57*]Но последствия и ими нельзя остановить – они идут далеко за поколения [58*]Для искупления – религии был нужен рай [59*]*После:* монастырь *было:* И то и другое – *в н е ж и з н и.*

Многие не так смотрят на эти вопросы – это по большей части оттого, что они постоянно смешивают *п о с л е д с т в и я* – с вменением или местью, карой. И люди, утверждающие о сохранении физических сил – не хотят понять в той же непрерывной деятельности сил иного порядка.

[1*]*Г л а в а ч е т в е р т а я* [2*]была [3*]глубоко досадно [4*]Очень, – сказал я, – и тем больше, что я как бюст Брута и Кассия, je brille par mon absence[57], но, впрочем, акварель [5*]*После:* говорили *зачеркнуто:* – на первый случай и этого было довольно [6*]К. Фогт

что он одного желает, "*чтоб наступающий год был не хуже прошедшего*, что он желает этого всем сердцем, но не надеется – напротив, чует, что *все, все* распадается и гибнет!"

Я промолчал.

На другое утро – я взял свою старую повесть "Кто виноват?" и перечитал журнал Любиньки и последние главы. Неужели это было пророчество моей судьбы – так, как дуэль Онегина была предвещанием судьбы Пушкина?... Но внутренний голос говорил[7*] мне: "Какой ты Круциферский – да и он что за Бельтов – где в нем благородная искренность – где во мне слезливое самоотвержение?" И середь уверенности в минутном увлечении Natalie – я был еще больше уверен, что мы померяемся с ним[8*], что он меня не вытеснит из ее сердца.

...Случилось то, чего я ожидал: Natalie сама вызвала объяснение[9*]. После истории с акварелью и праздника у моей матери – откладывать его было невозможно.

Разговор был тяжел. *Мы оба не стояли на той высоте, на которой были год тому назад*. Она была смущена, боялась моего отъезда, боялась его отъезда – хотела сама ехать на год в Россию – и боялась ехать. Я видел колебанье – и видел, что он своим эгоизмом сгубит ее – а она не найдет сил. Его я начинал ненавидеть[10*] за молчание.

Еще раз повторял я:

– Я отдаю судьбу свою в твои руки. Еще раз умоляю все взвесить, все оценить... Я еще готов принять всякое решенье – готов ждать день... неделю... но только *чтоб решенье было окончательное*. Я чувствую, – говорил я, – что стою на пределе моих сил... я еще могу хорошо поступить – но чувствую также, что надолго меня не станет.

– Ты не уедешь, та не уедешь, – говорила она, заливаясь, – этого я не переживу. – На ее языке такие слова были не шуткой. – *Он должен ехать*.

– Natalie, не торопись – не торопись брать последнего решенья, потому что оно последнее... погоди[11*]... думай сколько хочешь – но скажи мне окончательный ответ[12*]. Эти приливы и отливы сверх моих сил... Я от них глупею, становлюсь мелок[13*], схожу с ума... Требуй от меня все, что хочешь – но только сразу[14*]...

Тут заехала моя мать с Колей звать нас в Ментоне; когда мы вышли садиться, оказалось, что одного места недоставало. Я указал рукою место Г⟨ервегу⟩. Г⟨ервег⟩, вовсе не отличавшийся такой деликатностью, не хотел[15*] садиться. Я посмотрел на него, затворил дверцы коляски и сказал кучеру: "Ступайте!"

Мы остались вдвоем перед домом – на берегу моря. У меня на душе была плита, он молчал, был бледен, как полотно, и избегал моего взгляда. Зачем я не начал прямо разговора или не столкнул его со скалы в море? Какая-то нервная невозможность остановила меня. Он сказал мне[16*] что-то о *страданиях поэта* и что жизнь так скверно устроена, что *поэт* вносит всюду несчастие. Сам страдает и заставляет страдать все ему близкое...

Я спросил его, читал ли он *"Ораса" Ж. Санд*. Он не помнил, я советовал ему перечитать. Он пошел за книгой к Висконти.

Больше мы с ним не видались!

Когда часу в седьмом все собрались к обеду – его не было. Взошла его жена с глазами, опухнувшими от слез, – она объявила, что муж болен, – все переглянулись. Я чувствовал, что был в состоянии воткнуть в нее нож, который был в руках.

Он заперся в своих комнатах наверху. Этим étalage[58] он покончил себя – с ним я был свободен[17*]. Наконец посторонние ушли, дети улеглись спать, – мы *остались*

7*кричал 8**Вместо:* я был ~ померяемся с ним *было:* я был уверен, что мы еще померяемся с ним 9*Natalie взошла ко мне и сама вызвала разговор 10**Перед:* ненавидеть *было:* презирать 11*лучше погоди решаться... ⟨*Перед:* лучше *осталось незачеркнутым:* ⟨реше?⟩ния⟩ 12*окончательное решение 13*Я от них падаю 14*но, наконец, сразу... – Пусть он едет, пусть едет! – говорила Natalie, обливаясь слезами. 15*никак не хотел 16*Он, наконец, сказал мне 17**1.* Этим étalage – я был оскорблен, озлоблен до высшей степени *2.* Я был оскорблен, озлоблен до высшей степени этим étalage

вдвоем. Natalie сидела у окна и плакала, я ходил по комнате – кровь стучала в виски – я не мог дышать.

– Он едет! – сказала она наконец.

– Кажется, это совсем не нужно – ехать надобно мне...

– Бога ради...

– Я уеду...

– Александр, Александр, как бы ты не раскаялся – послушай меня – спаси всех. Ты один можешь это сделать. Он убит, он совершенно пал духом, – ты знаешь сам, что ты был для него, его безумная любовь... его безумная дружба – и сознание, что он нанес тебе огорчение – и хуже... Он хочет ехать, исчезнуть – но для этого ничего не надобно усложнять – иначе – *он на один шаг от самоубийства.*

– Ты веришь?

– Я уверена.

– И он сам это говорил?

– Сам и Эмма[18*], он вычистил пистолет[19*].

Я расхохотался – и спросил:

– Не баденский ли?... его надобно почистить... он, верно, валялся в грязи. Впрочем, скажи Эмме, – я отвечаю за его жизнь[20*], я ее страхую в какую угодно сумму.

– Смотри, как бы тебе не пожалеть, что смеешься, – сказала N⟨atalie⟩ мрачно качая головой.

– Хочешь, я пойду его уговаривать.

– Что еще выйдет из всего этого[21*].

– Следствия, – сказал я, – трудно предвидеть и еще труднее отстранить.

– Боже мой! Боже мой! – Дети – бедные дети – что с ними будет.

– Об них, – сказал я, – надобно было прежде думать!

И это, конечно, самые жестокие слова из всех сказанных мною. Я был слишком раздражен, чтоб человечески понимать смысл слов, я чувствовал что-то судорожное в груди и голове – и был, может, способен не только к жестким словам, но к кровавым действиям[22*].

Она была уничтожена – наступило молчание.

Прошло с полчаса[a] – я хотел чашу выпить до дна и сделал ей несколько вопросов – она отвечала. Я чувствовал себя раздавленным, дикие порывы мести, ревности, оскорбленного самолюбия – пьянили меня. Какой процесс, какая виселица могли устрашить меня – жизнь свою я уже не ставил ни в грош. Это *одно из первых условий* – для дел страшных и безумных[23*]. Я ни слова не говорил – я стоял перед большим столом в гостиной – сложа руки на груди... лицо мое было, вероятно, совсем искажено.

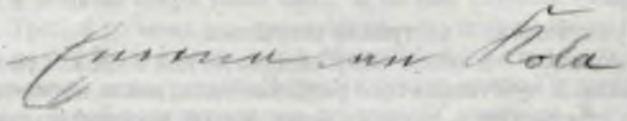
Молчание продолжалось – вдруг я взглянул на нее и испугался – лицо ее покрывала[24*] смертная бледность, – бледность с синим отливом[25*] – губы были белые, рот судорожно[26*] полураскрыт – не говоря ни слова, она смотрела на меня мутным, помешанным взглядом. Этот вид бесконечного страдания, немой боли – вдруг осадил бродившие страсти, мне ее стало жаль[27*]. Слезы текли по щекам моим[28*], я готов был броситься к ее ногам, просить прощенья. – Я сел возле нее на диван, взял ее руку, положил голову на ее плечо и стал ее утешать тихим, кротким голосом. – Меня угрызала совесть – я чувствовал себя инквизитором, палачом... То ли надобно было – это ли помощь друга – это ли участие; и так, со всем развитием, со всей гуманно-

---

[a]Частию из письма Гаугу, писанного в марте 1852. – *Прим. Герцена.*

[18*]*1.* Сам, и не раз, спроси Эмму *2.* Сам, и не раз, мне и Эмме. [19*]*После:* пистолет *было:* [Вся злая] Несчастливая сторона моего характера взяла верх. Эти мелодраматические черты из ⟨1 *нрзб.*⟩ романа... не стоило жалеть. [20*]*После:* я отвечаю за его жизнь *было:* сказал я, улыбаясь [21*]*После:* из всего этого *было:* говорила она, ломая руки [22*]но и больше – к удару ножом [23*]*Вместо:* Какой процесс ~ безумных *было:* Жизнь свою я не ставил ни в грош, это *одно из первых условий* – для дел страшных и кровавых. [24*]Опять продолжалось молчание – вдруг я взглянул на нее и испугался – лицо ее было ужасно [25*]*После:* бледность с синим отливом *зачеркнуто:* покрывала его [26*]как-то судорожно [27*]ужасно жаль [28*]Слезы навернулись у меня на глазах





Н.А. ГЕРЦЕН

Рисунок Эммы Гервег (карандаш). (Париж, апрель 1850 г.). С дарственной надписью: Э. Гервег Коле Герцену: "Emma an Kola" ("Эмма Коле")

Музей Герцена, Москва

"...твоя жена (рисует) портрет моей жены" (Герцен – Г. Гервегу. 21/9 апреля 1850 г., Париж)

стью, я в припадке бешенства и ревности мог терзать несчастную женщину, мог представлять какого-то Рауля Синюю Бороду[29*].

Несколько минут прошли прежде, чем она сказала что-нибудь, могла что-нибудь сказать – и потом вдруг, рыдая, бросилась мне на шею, – я ее опустил[30*] на диван, совершенно изнуренную[31*] – она только и могла сказать: "*Не бойся, друг мой, это хорошие слезы, слезы умиления – нет, нет, я никогда не разлучусь с тобой*".

От волнения, от спазмодического рыдания она закрыла глаза – она была в обморке[32*]. – Я лил ей на голову одеколонь, мочил виски, она успокоилась, открыла глаза – пожала мне руку и впала в какое-то забытье, продолжавшееся больше часа – я простоял возле на коленях. Когда она раскрыла глаза, она встретилась с моим пе-

---

[29*] *После:* Бороду *зачеркнуто:* В эту минуту раскаяния я снова был готов на всякую жертву, на чистую преданность. [30*] положил [31*] *После:* изнуренную *зачеркнуто:* близкую к обморку, к смерти [32*] от спазмодических слез она совершенно ослабла

чальным и покойным взглядом – слезы еще катились по щекам – она улыбнулась мне...[33*]

Это был кризис. С этой минуты тяжелые чары – ослабли, яд действовал меньше[34*].

– Александр, – говорила она, несколько оправившись, – доверши свое дело – поклянись мне, мне это нужно, я без этого жить не могу – поклянись, что все кончится без крови – подумай о детях... о том, что будет с ними без тебя – и без меня...

– Даю тебе слово, что я сделаю все, что возможно, отстраню всякую коллизию, пожертвую многим – но для этого мне необходимо одно – чтоб он завтра уехал, ну хоть в Геную.

– Это как ты хочешь. – А мы – начнем новую жизнь – и пусть все прошедшее будет прошедшее.

Я крепко обнял ее.

...На другой день утром явилась ко мне Эмма. Она была растрепана. с заплаканными глазами, очень безобразна, в блузе, подпоясанной шнурком. Она трагически медленно подошла ко мне – в другое время я бы расхохотался над этой немецкой декламацией... Теперь было не до смеха. Я принял ее стоя и вовсе не скрывая, что мне ее посещение неприятно[35*].

– Что вам надобно? – спросил я[36*].

– Я пришла от *него* к вам.

– Ваш муж, – сказал я, – мог бы[37*] сам прийти, если ему нужно – или, может, он уж застрелился?

Она скрестила руки на груди.

– И это *вы* говорите, вы, его друг... я вас не узнаю! Неужели[38*] вы не понимаете трагедию, совершающуюся перед вашими глазами... его нежная организация не вынесет ни разлуки с ней, ни разрыва с вами. – Да, да, с вами...[39*] Он плачет о горе, которое нанес вам – он велел вам сказать, что жизнь его в ваших руках – он просит, чтоб вы убили его[40*].

– Что это за комедия, – сказал я, перерывая ее речь, – ну кто же приглашает людей таким образом, да еще через свою жену – на убийство. Это продолжение пошлых мелодраматических выходок... отвратительных для меня... Я не немец...

– Herr H⟨erzen⟩!

– Mme H⟨erwegh⟩, зачем вы беретесь за такие трудные комиссии? Вы могли ожидать, что вы не услышите от меня ничего приятного.

– Это роковое несчастие, – сказала она, помолчав. – Оно равно поразило вас и меня... но посмотрите, какая разница в вашем раздражении и в моей преданности...

– Сударыня, – сказал я, – наши роли были не одинаковые, прошу не сравнивать их, а то как бы вам не пришлось покраснеть.

– Никогда, – сказала она запальчиво, – вы не знаете, что говорите, – и потом прибавила: – Я увезу его, в этом положении он не должен[41*] остаться – ваша воля исполнится. Но вы больше не тот в моих глазах, которого я так много уважала и которого считала лучшим другом Георга. Нет, если б вы были тем человеком, вы расстались бы с Natalie, пусть она едет, пусть он едет – я осталась бы с вами и с детьми здесь.

Я громко захохотал.

Она вспыхнула в лице и голосом, дрожащим от досады и негодования, спросила меня:

– Что это значит?

– Зачем же, – сказал я ей[42*], – вы шутите в серьезных материях? Однако доволь-

---

[33*] *Вместо:* слезы еще катились ~ улыбнулась мне... *было:* и моей улыбкой и пожала мне руку [34*] *Вместо:* яд действовал меньше *было:* и навсегда... [35*] *После:* неприятно *было:* – я спросил [36*] спросил я ее [37*] может [38*] Или [39*] *Вместо:* Да, да, с вами... *было:* Он прислал меня сказать [40*] *Вместо:* он просит ~ его *было:* убейте его [41*] *Перед:* не должен *было:* не может [42*] *После:* сказал я ей *было:* продолжая представлять смех

но – вот вам мой ultimatum – идите сейчас к Natalie сами, одни, переговорите с ней, – если она хочет ехать – пусть едет, я ничему и никому не буду препятствовать – *кроме того* (извините меня), кроме того, чтоб вы здесь остались, уж я как-нибудь с хозяйством сам справлюсь... но слушайте... если она не хочет ехать[43*], то это последняя ночь, которую я провожу под одной крышей с вашим мужем – *живыми* здесь еще раз ночевать мы не будем!![44*]

Через час времени Эмма возвратилась и мрачно возвестила мне – таким тоном, как будто хотела сказать – "вот плоды твоих злодеяний!":

– Natalie не едет... она погубила великое существование, из самолюбия, – я спасу его.

– Итак?

– Итак, мы на днях едем...

– Как *на днях*?.. что вы это... Завтра утром – вы забыли, что ли, альтернативу (повторяя это, я нисколько не изменил этим слову, данному Natalie, я был совершенно уверен, что она его увезет...).

– Я вас не узнаю – как горько я ошиблась в вас, – заметила сумасбродная женщина, – и снова вышла.

Дипломатическое поручение на этот раз было легко – она возвратилась минут через десять, говоря, что он на все согласен – и на отъезд, и на дуэль – но с тем вместе он велел мне сказать, *что он дал клятву не поднимать пистолета на мою грудь* – а готов принять смерть из моих рук.

– Вы видите, он все у нас шутит... Ведь и короля французского казнил просто палач – а не близкий приятель[45*]. Итак, вы завтра отправляетесь?

– Право, не знаю, как это сделать. У нас ничего не готово.

– За ночь все можно приготовить.

– Надобно паспорт визировать.

Я позвонил, взошел Рокка, я сказал ему, что Mme Emma просит его сейчас визировать их пасс[46*] в Геную.

– Да у нас денег нет на дорогу.

– Много ли вам надобно до Генуи?

– Франков *шестьсот*.

– Позвольте мне вам их вручить.

– Мы здесь должны по лавочкам.

– Примерно?

– Франков 500.

– Не беспокойтесь – и счастливый путь.

Этого тона она выдержать не могла. Самолюбие чуть ли не было в ней главной страстью.

– За что, – говорила она, – за что это обращение *со мной – меня* вы не имеете права ни ненавидеть, ни презирать.

– Стало, *не вас* имею?

– Нет, – сказала она, захлебываясь слезами, – нет... я только хотела сказать, что я вас любила искренно, как сестра. Я не хочу вас оставить, не пожав вам руки, я уважаю вас, вы, может, правы – но вы жестокий человек. Если б вы знали, что́ я вынесла...

– А зачем вы были всю вашу жизнь рабой? – сказал я ей, подавая руку[47*], на ту минуту я не был способен к состраданию, – вы заслужили вашу судьбу.

Она вышла вон – закрывая лицо.

На другой день утром, в десять часов, в извозчичьей карете, на которую нагру-

---

[43*]*Перед:* если она не хочет ехать *было:* ступайте – но только знайте и то, что [44*]который-нибудь из нас *ж и в ы м* здесь ночевать не будет! *Далее зачеркнуто:* Я сказал это, зная, как она боится за мужа и как он боится за себя. Когда она ушла, я лег на диван ее ждать, не сомневаясь нисколько в ответе Natalie. [45*]*Вместо:* Вы видите – приятель *было:* – Помилуйте, – сказал я, – Людвиг XVI был и не такой барин – однако ж [казнил его] палачом ему не выбрали порядочного человека... Вы видите, он все шутит... а что было – то было [46*]свой пасс [47*]*После:* подавая руку *было:* не жалея, впрочем, ее

зили всякие коробки и чемоданы, отправился поэт mit Weib und Kind[59] – в Геную. Я стоял у открытого окна – он как-то юркнул в карету, так быстро, что я и не приметил. Она протянула руку повару и горничной и села возле него. Унижения больше этого буржуазного отъезда я не могу себе представить[48*].

Natalie была расстроена[49*]. Мы поехали вдвоем за город, прогулка была печальна,из живых, свежих ран струилась кровь. Воротившись домой – первое лицо, встретившее меня, был сын Г⟨ервега⟩, Горас – мальчик лет девяти – шалун и воришка.

– Откуда ты?

– Из Ментоне.

– Что случилось?

– Вот от maman записка к вам.

"Lieber H⟨erzen⟩[60], – писала она, как будто между нами ничего не было, – мы остановились дни на два в Ментоне, комната в гостинице небольшая – Горас мешает Георгу – позвольте его оставить у вас на несколько дней".

Это отсутствие[50*] такта поразило меня. Вместе с тем Эмма писала К. Фогту, чтоб он приехал *на совещание* – и так чужие люди будут замешаны! Я просил Фогта взять Гораса и сказать[51*], что места нет. – "Однако, – велела она мне сказать через Фогта, – квартира еще за нами целых три месяца, и я могу ею располагать[52*]". – Это было совершенно справедливо – только деньги за квартиру *заплатил я*.

Да, в этой трагедии[53*], как у Шекспира, рядом с звуками, раздирающими сердце, с стоном, с которым исходит жизнь, мрет последняя вера, тухнет мысль[54*] – площадная брань, грубый смех и рыночное мошенничество.

У Эммы была горничная Жаннета – француженка из Прованса, красивая собой и очень благородная, она оставалась дни на два и должна была с их вещами ехать на пароходе в Геную. На другой день утром Жаннета тихо отворила дверь и спросила меня, может ли она взойти и поговорить со мной наедине. Этого никогда не бывало, я думал, что она хочет попросить денег – и готов был дать.

Краснея до ушей и со слезами на глазах, добрая провансалка подала мне разные счеты Эммы, не заплоченные по лавочкам, и прибавила:

– Madame приказывала мне, да я никак не могу этого сделать – не спросившись вас... она, видите, приказывала, чтоб я забрала в лавках разных разностей и *приписала бы* их в эти счеты. Я не могла этого сделать, не сказавши вам.

– Вы прекрасно поступили. Что же она поручила вам купить?

– Вот записка.

На записке было написано *несколько кусков полотна, несколько дюжин носовых платков и целый запас детского белья*.

Говорят, что Цезарь мог читать, писать и диктовать в одно и то же время... а тут какое обилие сил – вздумать об экономическом приобретении полотна[55*] и о детских чулках, когда рушатся семейства... и люди касаются холодного лезвия Сатурновой косы. Немцы – славный народ!

V

Мы опять были одни – но это было не прежнее время, – все носило следы бури. Вера и сомнения, усталь и раздражение, чувство досады и негодования – мучили. А пуще всего мучила какая-то оборванная нить жизни, не было больше той святой беспечности, с которой жилось так легко, не оставалось ничего заветного. Если все то было – что было... нет ничего невозможного. Воспоминания пугали в будущем. Сколько раз – мы сходили вечером обедать одни – и, никто не притрогиваясь ни к чему – и не произнося слова, – вставали, отирая слезы, из-за стола – и видя, как добрый Рокка[61] с сердитым видом качал головой, унося блюды. Праздные дни – ночи

[48*] *Вместо:* Унижения ~ представить *было:* Он [был *унижен* – его отъезд был комически буржуазным отъездом] и ехал из трусости – он унизился этим отъ⟨ездом⟩ [49*] сильно расстроена [50*] грубое отсутствие [51*] Я отдал Гораса Фогту и велел сказать [52*] и я, может, сама приеду ее занять [53*] Да, благодаря германскому элементу в этой истории [54*] мрет последняя надежда [55*] вздумать о полотне

без сна... Тоска – тоска. Я пил что попало – скидам, коньяк, старый белет – пил ночью один – и днем с Энгельсоном – и это в ницком климате. Русская слабость пить с горя – совсем не так дурна, как говорят. Тяжелый сон лучше тяжелой бессонницы, и головная боль утром с похмелья лучше мертвящей печали натощак.

Г⟨ервег⟩ прислал мне письмо – я его, не читая, отослал. Он стал писать к Natalie... письмо за письмом[1*]. Он писал раз ко мне – я отослал назад письмо. Печально смотрел я на это[2*]. Это время должно было[3*] быть временем глубокого искуса, покоя и свободы от внешних влияний. Какой же покой, какая свобода могла быть при письмах человека, прикидывающегося бешеным и грозящего не только самоубийством, но и страшнейшими преступлениями.

Так, напр⟨имер⟩[4*], он писал, что на него находят такие минуты исступления, что он хочет *перерезать своих детей, выбросить их трупы за окно* и явиться к нам в их крови... в другом[5*] писал, что он придет зарезаться при мне и сказать: "вот до чего ты довел человека, который тебя так любил". Рядом с этим он умолял Natalie *помирить* его со мною, *принять все на себя и предложить его в гувернеры к Саше.*

Десять раз писал он о заряженном пистолете[6*], и Natalie все еще верила[7*]. Он требовал только ее благословения на смерть... я уговорил ее написать ему, что она, наконец, согласна, она убедилась[8*], что выхода нет – кроме смерти. Он отвечал[9*], что ее строки пришли *слишком поздно,* что он теперь не в том *расположении* и не чувствует достаточно сил, чтоб исполнить – но что, оставленный всеми, он уезжает в Египет. Письмо это нанесло ему страшный удар в глазах Natalie.

Вслед за тем приехал из Генуи Орсини – он рассказывал, смеясь, о попытке[10*] самоубийства мужа и жены. Узнав, что Ге⟨рве⟩ги в Генуе, Орсини пошел к ним и встретил Г⟨ервега⟩, гуляющего по мраморной набережной. От него он узнал, что жена его дома, и отправился к ней. Она тотчас объяснила ему, *что они решились уморить себя голодом*[11*], что этот род смерти избран им для себя, но что она хочет разделить его судьбу, – она просила[12*] его не оставить Гораса и Адду.

Орсини обомлел от удивления[13*].

– Мы не ели тридцать часов, – отвечала Эмма, – уговорите его съесть что-нибудь, спасите человечеству великого поэта, – и она рыдала.

Орсини вышел на террасу и тотчас возвратился с радостной вестью, что Г⟨ервег⟩ стоит на углу и ест салами. Обрадованная Эмма позвонила[14*] и велела подать миску супа. В это время мрачно возвратился муж, и ни слова о салами, – но обличительная миска стояла тут.

– Георг, – сказала Эмма, – я так была рада, услышав от Орсини, что ты ел, что и сама решилась спросить супу.

– Я взял от тошноты[15*] кусочки салами – впрочем, это вздор – голодная смерть самая мучительная – я отравлюсь! – и он принялся за суп.

Жена подняла глаза к небу – и взглянула на Орсини, как бы говоря: "Вы видите – его спасти нельзя". Орсини умер, но есть несколько свидетелей его рассказа в живых, напр⟨имер⟩, К. Фогт, Мордини[16*] и Charles Edmond.

Нелегко было Natalie от этих проделок. Она была *унижена в нем,* я был унижен в нем[17*] – и она это мучительно чувствовала[18*].

Весной Г⟨ервег⟩ уехал в Цюрих и прислал жену в Ниццу (новая дерзкая неделикатность). Мне хотелось после всего бывшего – отдохнуть[19*]. Я придрался к моей

[1*] *После*: письмо за письмом *было*: он у нее просил, уезжая, право писать [2*] *После*: на это *было*: именно это... [3*] *Перед*: Это время должно было *зачеркнутый первоначальный вариант*: что-нибудь против переписки, о которой он просил, уезжая, и которая должна была все успокоить. Я имел многое против, но предоставил самой Natalie продолжать ее или прекратить. Время это должно бы было [4*] В одном из первых писем [5*] потом [6*] что у него пистолет заряжен, что яд готов [7*] *После*: верила *было*: и спасала его [8*] что она действительно убедилась [9*] Ответ его превзошел ожидания – он писал [10*] он с иронией и хохотом рассказывал о торжественной попытке [11*] они умирают голодом [12*] *Вместо*: что этот род смерти ~ просила *было*: что этот род смерти избран им и просила [13*] *После*: от удивления *было*: и стал говорить о безумии такой попытки [14*] тотчас позвонила [15*] *После*: от тошноты *было*: отвечал он, смутившись [16*] К. Фогт и Мордини [17*] я был ею унижен в нем [18*] *После*: чувствовала *было*: Но сильнейший удар был впереди. [19*] *После*: отдохнуть *было*: побыть одному

швейцарской натурализации и поехал в Париж и Швейцарию – с Энгельсоном[20*]. Письма Natalie – были покойны – на душе будто становилось легче.

На обратном пути я встретил в Женеве – Сазонова. Он за бутылкой вина и с совершеннейшим равнодушием спросил меня, как идут мои семейные дела.

– Как всегда.

– Ведь я знаю[21*] всю историю – и спрашиваю тебя из дружеского участия.

Я с испугом и дрожью смотрел на него – он не заметил[22*] ничего... Что же это такое? Я считал, что все это тайна, и вдруг человек за стаканом вина говорит со мной – как будто это самое обыкновенное, обыденное дело.

– Что ты слышал и от кого?

– Я слышал всю историю от самого Г⟨ервега⟩. И скажу тебе откровенно – я тебя вовсе не оправдываю. Зачем ты *не пускаешь* жену твою ехать или зачем не оставишь ее сам – помилуй, что за слабость – ты начал бы новую, свежую жизнь...[23*]

– Да с чего ты вообразил, что она хочет ехать[24*] – неужели ты веришь, что я могу пускать или не пускать?

– Ты принуждаешь ее, разумеется, не физически – а *морально* – твоими словами, твоей горестью. – Я, впрочем, очень рад, что нахожу тебя гораздо покойнее, чем ожидал – и не хочу быть с тобой вполовину откровенным. Г⟨ервег⟩ уехал из вашего дома, во-первых, потому, что он трус и боится тебя, как огня, а во-вторых, потому, что твоя жена дала ему слово, когда ты успокоишься – приехать в Швейцарию.

– Это гнуснейшая клевета! – вскрикнул я.

– *Это его слова* – и в этом я даю тебе честнейшее слово[25*].

Пришедши домой в отель – я бросился, больной и уничтоженный, на постель, не раздеваясь – в положении, близком к помешательству или смерти...[26*] верил я или нет?.. не знаю, но не могу[27*] сказать, чтоб *я вовсе не верил* словам Сазонова[28*]. – "Итак, – повторял я сам себе... – вот чем оканчивается наша поэтическая жизнь...[29*] обманом и, по дороге, европейской сплетней... Ха, ха, ха, меня жалеют, меня берегут из пощады, мне дают вздохнуть, как солдату"[30*], которого перестают сечь и отдают в больницу, когда пульс слабо бьется – и усердно лечат для того чтоб додать, когда окрепнет, вторую половину[31*]. Я был обижен, оскорблен, унижен.

В этом расположении[32*] я написал ночью письмо – письмо мое должно было носить следы бешенства, отчаяния и недоверия. Каюсь, глубоко каюсь в этом заглазном оскорблении – в этом дурном письме.

Natalie отвечала[33*] – строками черной печали. "Лучше мне умереть, – говорила она, – вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в тебе всё прошедшее. Что мне делать... и как доказывать. Я плачу и плачу".

Г⟨ервег⟩ солгал[34*].

Следующие письма – были кротко печальны, ей было жаль меня – ей хотелось уврачевать мои раны, – а что сама-то она должна была вынести.

...Зачем нашелся человек – повторивший мне эту клевету... и зачем не было другого, который бы остановил мое письмо, писанное в припадке преступной горячки.

[20*] *После*: с Энгельсоном *было*: Путешествие это было очень на месте и очень хорошо. [21*] Ведь я, братец, знаю [22*] не замечал [23*] начал бы мужескую новую жизнь... [24*] *После*: ехать *было*: к тому же воля вольная [25*] *После*: слово *было*: Довольно, *1.* сказал я. – У меня болит голова. Прощай. *2.* У меня болит голова, – сказал я. – Прощай. [26*] в положении действительно близком к смерти [27*] *Вместо*: не знаю, но не могу *было*: – клевете – трудно сказать – потому что я не могу никак [28*] не верил ей [29*] эта поэтическая необыкновенная жизнь [30*] *После*: солдату *было*: гонимому сквозь строй [31*] *Вместо*: и усердно лечат ~ половину *было:* лечат и потом додают половину [32*]безумном расположении [33*] отвечала на мое письмо [34*] Нужно ли говорить, что Г⟨ервег⟩ солгал из хвастовства.

VI[62]

OCEANO NOX[63]

(1851)

Ia

... Ночью, с 7 на 8 июля, часу во втором, я сидел на ступеньке Кариньянского дворца в Турине; площадь была совершенно пуста, поодаль от меня дремал нищий, часовой тихо ходил взад и вперед, насвистывая песню из какой-то оперы и побрякивая ружьем... Ночь была горячая, темная, пропитанная *запахом* широкко.

Мне было необычайно хорошо, так, как не бывало давно – я опять почувствовал, что я еще молод и силен силами в груди, что у меня есть друзья и верования, что я полон любовью – как тринадцать лет перед тем. Сердце билось так, как я отвык чувствовать в последнее время. Оно билось, как в тот мартовский день 1838, когда я, завернувшись в плащ, ждал Кетчера у фонарного столба, на Поварской.

Я и теперь ждал свиданья, – свиданья с *той* же женщиной, и ждал, может, еще с большей любовью, хотя к ней и примешивались грустные, черные ноты; но в эту ночь их было мало слышно. После безумного кризиса горести, отчаяния, набежавшего на меня при моем проезде через Женеву, мне стало лучше. Кроткие письма Natalie, исполненные грусти, слез, боли, любви, довершили мое выздоровление. Она писала, что едет из Ниццы в Турин мне навстречу, что ей хотелось бы пробыть несколько дней в Турине. Она была права: нам надобно было еще раз одним всмотреться друг в друга, выжать друг другу кровь из ран, утереть слезы и, наконец, узнать окончательно, *есть ли* для нас общее счастие – и все это наедине, даже без детей, и притом *в другом* месте, не при той обстановке, где мебель, стены могли не вовремя что-нибудь напомнить, шепнуть какое-нибудь полузабытое слово...

Почтовая карета должна была во втором часу прийти со стороны Col di Tenda; ее-то я и ждал у сумрачного Кариньянского дворца: недалеко от него она должна была заворачивать.

Я приехал в этот же день утром из Парижа, через Mont-Cénis; в hôtel Feder мне дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мне нравился этот праздничный вид, он был кстати. Я велел приготовить небольшой ужин и пошел бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъезжала к почтовому дому, Natalie узнала меня.

– Ты тут! – сказала она, кланяясь в окно. Я отворил дверцы, и она бросилась ко мне на шею с такой восторженной радостью, с таким выражением любви и благодарности, что у меня в памяти мелькнули, как молния, слова из ее письма: "Я возвращаюсь, как корабль, в свою родную гавань после бурь, кораблекрушений и несчастий – сломанный, но спасенный".

Одного взгляда, двух-трех слов было за глаза довольно... все было понято и объяснено; я взял ее небольшой дорожный мешок, перебросил его на трости за спину, подал ей руку, и мы весело пошли по пустым улицам в отель. Там все спали, кроме швейцара. На накрытом столе стояли две незажженные свечи, хлеб, фрукты и графин вина; я никого не хотел будить, мы зажгли свечи и, севши за пустой стол, взглянули друг на друга и разом вспомнили владимирское житье.

На ней было белое кисейное платье или блуза, надетая на дорогу от палящего жара – и при первом свидании нашем, когда я приезжал из ссылки, она была также вся в белом, и венчальное платье было белое. Даже лицо ее, носившее резкие следы глубоких потрясений, забот, дум и страданий, напоминало выражением черты того времени.

И мы сами были те же, только теперь мы подавали друг другу руку не как зано-

---

[a] Этот отрывок (никогда еще не печатавшийся) принадлежит к той части "Былого и думы", которая будет издана гораздо позже и для которой я писал все остальные. Несколько строк о страшном происшествии, бывшем 16 ноября 1851 – в записках *О р с и н и*, принимавшего самое горячее участие в несчастии, поразившем меня, были поводом, что я напечатал второй отрывок в "Полярной звезде" 1859. – *Прим. Герцена.*



НИЦЦА

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). (1850–1852)

Международный институт социальной истории, Амстердам

"...теперь я прихожу в Ниццу (...), прося одного покоя в ее безмятежной пустоте" ("Письма из Франции и Италии". Письмо двенадцатое. 10 июля 1850 г.)

счивые юноши, самонадеянные и гордые верой в себя, верой друг в друга – и в какую-то исключительность нашей судьбы, а как ветераны, закаленные в бою жизни, испытавшие не только свою силу, но и свою слабость... едва уцелевшие от тяжелых ударов и неисправимых ошибок. Вновь отправляясь в путь, мы, не считаясь, разделили печальную ношу былого. С этой ношей приходилось идти более скромным шагом, но внутри наболевших душ сохранилось все для возмужалого, отстоявшегося счастия. По ужасу и тупой боли еще яснее разглядели мы, как мы неразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, детьми.

В эту встречу все было кончено, оборванные концы срослись, не без рубца, но крепче прежнего, – так срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшие на глазах, соединяли нас еще новой связью – чувством глубокого сострадания друг к другу. Я видел ее борьбу, ее мученье, я видел, как она изнемогала. Она видела меня слабым, несчастным, оскорбленным, оскорбляющим, готовым на жертву и на преступление.

Мы слишком большой платой заплатили друг за друга, чтоб не понимать, чего мы стоим и как дорого мы обошлись друг другу. "В Турине, – писал я в начале 1852, – было наше второе венчание; его смысл, может быть, глубже и знаменательнее первого; он совершился, с полным сознанием всей ответственности, которую мы вновь брали в отношении друг к другу, он совершился в виду страшных событий..."

Любовь каким-то чудом пережила удар, который должен был ее разрушить.

Последние темные облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы... точно после разлуки в несколько лет; день давно сквозил яркими полосами в опущенные жалузи, когда мы встали из-за пустого стола...

Дня через три мы поехали вместе домой, в Ниццу, по Ривьере. Мелькнула Генуя, мелькнул Ментоне, где мы так часто бывали и в таком розном настроении духа,



НИЦЦА

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). (1850–1851)

Международный институт социальной истории, Амстердам

"В этом городе я настрадался; все страшнейшие события жизни, от гибели Коли до кончины Мам(аши), были здесь..."
(Герцен сыну Александру. 14/2 сентября 1858 г.)

мелькнуло Монако, врезывающееся в море бархатной травой и бархатным песком; все встречало нас весело, как старые друзья после размолвки, а тут виноградники, рощи роз, померанцевых деревьев и море, стелющееся перед домом, и дети, играющие на берегу... вот они узнали, бросились навстречу. *Мы дома.*

Спасибо судьбе за эти дни, за эту треть года, шедшего за ними, – ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вечная язычница, увенчала обреченных на жертву пышным венком осенних цветов... и усыпала хоть на время своим маком и благоуханием!

Пропасти, делившие нас, исчезли, берега сдвинулись. Разве это не та же рука, которая через всю жизнь была в моей руке, и разве это не тот же взгляд? – только иногда он мутится от слез. "Успокойся же, сестра, друг, товарищ, ведь все прошло – и мы те же, как в юные, святые, светлые годы!"

"... После страданий, которых, может, ты знаешь меру, иные минуты полны блаженства; все верования детства, юности не только совершились, но прошли сквозь страшные испытания, не утратив ни свежести, ни аромата, и расцвели с новым блеском и новой силой. Я никогда не была так счастлива, как теперь", – писала она своему другу в Россию.

Разумеется, от прошедшего остался осадок, до которого нельзя было касаться безнаказанно, – что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлющий испуг и боль.

Прошедшее – не корректурный лист, а нож гильотины, после его падения многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, как отлитое в металле, подробное, неизменное, темное, как бронза. Люди вообще забывают только то, чего не стоит помнить или чего они не понимают. Дайте иному забыть два-три случая, такие-то черты, такой-то день, такое-то слово, – и он будет юн, смел, силен, – а с ними он идет, как ключ, ко дну. Не надобно быть Макбетом, чтоб встречаться с тенью

Банко; тени – не уголовные судьи, не угрызения совести, *а несокрушимые события памяти.*

Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имеет свои права, оно факт, с ним надобно *сладить*, а не забыть его – и мы шли к этому дружными шагами.

... Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какая-нибудь вещь, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я в то же мгновение встречал испуганный взгляд, смотревший на меня с бесконечной мукой и говоривший: "Да, ты прав, иначе и быть не может, но...", и я старался разгонять набежавшие тучи.

Святое время примиренья, я вспоминаю о нем сквозь слезы...

... Нет, не *примиренья*, это слово не идет. Слова, как гуртовые платья, впору до "известной степени" *всем* людям одинакого роста и плохо одевают каждого *отдельно*.

Нам нельзя было мириться, мы никогда не ссорились, мы страдали друг о друге, но не расходились. В самые мрачные минуты какое-то неразрывное единство, бессомненное для обоих, и глубокое уважение друг к другу были присущи. Мы походили скорее на людей, оправляющихся после тяжкой горячки, чем на помирившихся: бред прошел, мы узнали друг друга взглядом, несколько слабым и мутным. Боль вынесенная была памятна, утомление ощутительно, но ведь мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

... Мысль, несколько раз прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотела написать свою исповедь. Она была недовольна ее началом, жгла листки; одно длинное письмо и одна страничка уцелели. По ним можно судить о том, что пропало... Читая их, становится жутко, чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающего и теплого сердца, чувствуешь шепот этих беззвучных тайн, вечно скрытых, едва просыпающихся в сознании. В этих строках можно было уловить, как мучительная борьба переходила в новый закал и боль в мысль. Если б этот труд не был грубо прерван, он составил бы великий антецедент, в замену уклончивого молчания женщины и надменного покровительства ее – мужчиной; но самый бессмысленный удар разразился над нашей головой и окончательно все разбил.

II

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis...

V. H u g o[64]

Так оканчивалось лето 1851. Мы были почти совсем одни. Моя мать с Колей и с Шпильманом уехали погостить в Париже к М⟨арии⟩ К⟨аспаровне⟩. Тихо проводили мы время с детьми. Казалось, все бури были назади.

В ноябре мы получили письмо от моей матери, что она скоро выезжает, потом другое из Марселя, в котором она писала, что на другой день, 15 ноября, они садятся на пароход и едут к нам. Во время ее отсутствия мы переехали в другой дом, также на берегу моря, в предместье С.-Елен. В доме этом с большим садом было помещение для моей матери; мы убрали ее комнату цветами, наш повар достал с Сашей китайских фонарей и развесил их по стенам и деревьям. Все было готово – дети часов с трех не сходили с террасы; наконец, в шестом часу на горизонте отделилась от моря темная струйка дыма, а через несколько минут показался и пароход, стоявший неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у нас, Франсуа пустился на пристань, я сел в коляску и поехал туда же.

Когда я приехал на пристань, пароход уже вошел, лодки ждали кругом разрешения sanita[65] сходить пассажирам. Одна из них подъезжала к дебаркадеру, на ней стоял Франсуа.

– Как, – спросил я, – вы уже назад едете?

Он мне не отвечал; я взглянул на него и обмер: он был зеленого цвета и дрожал всем телом.

– Что это? – спросил я, – вы больны?

– Нет, – отвечал он, минуя мой взгляд, – только наши не приехали.

– Как не приехали?

– Там что-то с пароходом случилось, так не все пассажиры приехали.

Я бросился в лодку и велел скорее отчаливать.

На пароходе меня встретили с каким-то зловещим почетом и с совершенным молчанием. Сам капитан дожидался меня; все это совсем не в обычаях, и я ждал чего-нибудь ужасного. Капитан сказал мне, что между островом Иером и материком пароход, на котором была моя мать, столкнулся с другим и пошел ко дну, что большая часть пассажиров взяты им и другим пароходом, шедшим мимо.

– У меня, – сказал он, – только две молодые девушки из ваших, – и повел меня на переднюю палубу – все расступились с тем же мрачным молчанием. Я шел бессмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нее, высокая, стройная девушка, лежала на палубе с растрепанными и мокрыми волосами; возле нее – горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая девушка хотела приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась в другую сторону.

– Что же это, наконец? Где они? – спросил я, болезненно схвативши руку горничной.

– Мы ничего не знаем, – отвечала она, – пароход потонул – нас замертво вытащили из воды. Какая-то англичанка дала нам свои платья, чтоб переодеться.

Капитан грустно посмотрел на меня, потрес мою руку и сказал:

– Отчаиваться не надо, съездите в Иер, быть может, и найдете кого-нибудь из них.

Поручив Энгельсону и Франсуа больных, я поехал домой в каком-то ошеломлении; все в голове было мутно и дрожало внутри, я желал, чтоб дом наш был за тысячу верст. Но вот блеснуло что-то между деревьев, еще и еще; это были фонарики, зажженные детьми. У ворот стояли наши люди, Тата и Natalie с Олею на руках.

– Как, ты один? – спросила спокойно Natalie, – да ты хоть бы Колю привез.

– Их нет, – сказал я, – с их пароходом что-то случилось, надобно было перейти на другой, тот не всех взял. Луиза здесь.

– *Их нет*! – вскрикнула Natalie. – Я теперь только разглядела твое лицо: у тебя глаза мутны, все черты искажены. Бога ради, что такое?

– Я еду их искать в Иер.

Она покачала головой и прибавила:

– Их нет! их нет! – потом молча приложила лоб к моему плечу. Мы прошли аллеей, не говоря ни слова; я привел ее в столовую; проходя, я шепнул Рокке: "Бога ради, фонари"; он понял меня и бросился их тушить. В столовой все было готово – бутылка вина стояла во льду, перед местом моей матери – букет цветов, перед местом Коли – новые игрушки.

Страшная весть быстро разнеслась по городу, и дом наш стал наполняться близкими знакомыми, как Фогт, Тесье, Хоецкий, Орсини, и даже совсем посторонними: одни хотели узнать, что́ случилось, другие – показать участие, третьи – советовать всякую всячину, большей частью вздор. Но не буду неблагодарен, участие, которое мне тогда оказали в Ницце, меня глубоко тронуло. Перед такими бессмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуют свою связь.

Я решился в ту же ночь ехать в Иер. Natalie хотела ехать со мной; я уговорил ее остаться; к тому же погода круто переменилась, подул мистраль, холодный, как лед, и с сильным дождем. Надобно было достать пропуск во Францию, через Варский мост; я поехал к Леону Пиле, французскому консулу; он был в опере; я отправился к нему в ложу с Хоецким; Пиле, уже прежде что-то слышавший о случившемся, сказал мне:

– Я не имею права дать вам позволение, но есть обстоятельства, в которых от-

каз был бы преступлением. Я вам дам на свою ответственность билет для пропуска через границу – приходите за ним через полчаса в консулат.

У входа в театр меня ждали человек десять из тех, которые были у нас. Я им сказал, что Леон Пиле дает билет.

– Поезжайте домой и не хлопочите ни о чем, – говорили мне со всех сторон; – остальное будет сделано – мы возьмем билет, визируем его в интендантстве, закажем почтовых лошадей.

Хозяин моего дома, бывший тут, побежал доставать карету; содержатель гостиницы предложил безденежно свою.

В одиннадцать часов вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы ветра были иной раз до того сильны, что лошади останавливались; море, в котором так недавно были похороны, едва видное в темноте, билось и ревело. Мы поднимались на Эстрель, дождь заменился снегом, лошади спотыкались и чуть не падали от гололедицы. Несколько раз почтальон, выбившись из сил, принимался греться; я ему подавал мою фляжку с коньяком и, обещая двойные прогоны, упрашивал торопиться.

Зачем? Верил ли я в возможность, что найду кого-нибудь из них, что кто-нибудь спасся? Трудно было предполагать это после всего слышанного, но поискать, взглянуть на самое место, найти вещь, тряпку, увидеть очевидца, наконец... была потребность убедиться, что нет надежды, и потребность что-нибудь делать, не быть дома, прийти в себя.

Пока на Эстреле меняли лошадей, я вышел из кареты; сердце мое сжалось, и я чуть не зарыдал, осмотревшись; это было возле той самой таверны, в которой мы провели ночь в 1847 году. Я вспомнил огромные деревья, осенявшие ее; тот же вид стлался перед нею, только тогда он был освещен восходящим солнцем, а теперь скрывался за серыми не итальянскими тучами и местами белел от снега.

Живо представилось мне то время, со всеми мельчайшими подробностями: я вспомнил, как хозяйка нас потчевала зайцем, тухлость которого была заморена страшным количеством чеснока, как в спальной летали летучие мыши, как я их гонял с нашей Луизой полотенцем и как на нас веяло в первый раз теплым южным воздухом...

Тогда я писал: "С Авиньона начиная, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена торжественной радости – юнеешь, хочется петь, плясать, плакать; все так ярко, светло, весело, роскошно. После Авиньона нам надобно было переезжать Приморские Альпы. В лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цепи гор вырезывались из-за утреннего тумана, луч солнца орумянил ослепительные снежные вершины; кругом яркая зелень, цветы, резкие тени, огромные деревья и мрачные скалы, едва покрытые бедной и жесткой растительносью; воздух был упоителен, необычайно прозрачен, освежающ и звонок, наши слова, пенье птиц раздавались громче обыкновенного, и вдруг на небольшом изгибе дороги блеснуло каймой около гор и задрожало серебряным огнем Средиземное море"[а].

И вот через четыре года я снова на том же месте!..

Прежде ночи мы не могли приехать в Иер, я тотчас отправился к комиссару полиции; с ним и с жандармским бригадиром пошли мы сначала к морскому комиссару. У него были разные спасенные вещи; я ничего в них не нашел. Потом мы пошли в больницу: один из утопавших отходил, другие сообщили мне, что они видели пожилую женщину, ребенка лет пяти и с ним молодого человека, с белокурой, окладистой бородой... что они видели их в самую последнюю минуту, и что, стало быть, они так же пошли ко дну, как и все. Но тут-то снова и являлся вопрос: ведь рассказывавшие были же живы, хотя и они, как Луиза и горничная, порядком не помнили, как спаслись.

Найденные тела лежали в крипте монастыря; мы пошли туда из больницы; сест-

---

[а] "Письма из Франции и Италии". – *Прим. Герцена.*

ры милосердия встретили нас и повели, освещая нам дорогу церковными свечами. В крипте стоял ряд вновь сколоченных ящиков, в каждом ящике было одно тело. Комиссар велел их раскрыть, оказалось, что ящики заколочены. Бригадир послал жандарма за долотом и велел ему потом взламывать одну крышку за другой.

Этот осмотр тел был нечеловечески тяжел. Комиссар держал в руке книжку и каким-то официальным тоном спрашивал при вскрытии каждого ящика: "Вы свидетельствуете, в присутствии нашем, что тело это вам незнакомо?" Я кивал головой, комиссар метил карандашом и, обращаясь к жандарму, приказывал снова закрыть. Мы переходили к другому. Жандарм приподнимал крышку, я с каким-то ужасом бросал взгляд на покойника, и словно было легче, когда встречал незнакомые черты, а в сущности еще страшнее было думать, что все трое пропали так бесследно, так заброшенно лежат на дне моря, носятся волнами. Тело без гроба, без могилы страшнее всяких похорон, а тут не было и самих покойников.

Я никого не нашел. Одно тело поразило меня: женщина лет двадцати, красавица, в нарядном провансальском костюме; ее грудь была обнажена (с нею был ребенок, разумеется, унесенный волнами), и струя молока сочилась еще, скатываясь по груди. Лицо ее нисколько не изменилось, смуглый загар придавал ей совершенно живой вид.

Бригадир не вытерпел и заметил: "Экая прелесть какая!" Комиссар ничего не прибавил, жандарм, накрывши ее, заметил бригадиру: "Я знал ее, она из здешних подгородных крестьянок, ехала к мужу в Грас. Пусть подождет!"

Моя мать, мой Коля и наш добрый Шпильман исчезли бесследно, ничего не осталось от них; между спасенными вещами не было ни лоскутка, им принадлежащего, сомнение в их гибели было невозможно. Все спасшиеся были или в Иере, или на том же пароходе, который привез Луизу. Капитан выдумал для моего успокоения какую-то сказку.

В Иере мне рассказывали еще о пожилом человеке, потерявшем всю семью, который не хотел оставаться в больнице и ушел куда-то пешком без денег, в состоянии, близком к помешательству, и о двух англичанках, отправившихся к английскому консулу: они лишились матери, отца и брата!

Дело шло к рассвету, я велел привести лошадей. Перед отъездом гарсон водил меня на часть берега, выдавшуюся в море, и оттуда показывал место кораблекрушения. Море еще кипело и волновалось, седое и мутное от вчерашней бури; вдали, на одном месте, качалось какое-то особенное пятно, словно более густая, прозрачная влага.

– Пароход вез груз масла; видите, оно отстоялось, – вот тут и было несчастие.

Это всплывшее пятно было *все*.

– А глубоко тут?

– Метров сто восемьдесят будет.

Я постоял, утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, как вчера, дул, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!... Сто восемьдесят метров глубины и носящееся пятно масла!..

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues,
Vous roulerez à travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts des écueils inconnus...[66]

С страшной достоверностью приехал я назад. Едва-едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. С дня гибели моей матери и Коли она не выздоровела больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь. Иногда вечером, ночью, она говорила мне, как бы прося моей помощи:

– Коля, Коля не оставляет меня, бедный Коля, как он, чай, испугался, как ему было холодно, а тут рыбы, омары!

Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной – и наставало молчание, то молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую плотину. При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее блестящих глаз и увеличивающейся худобы я в первый раз усомнился, спасу ли я ее... в



ПЕРЧАТКА КОЛИ ГЕРЦЕНА И ЗАПИСКА Н.А. ГЕРЦЕН (МАТЕРИ):

"Перчаточка, которую снял Коля в последни(е) минуты 1851-го Ноября 16-е в ночь"

Музей Герцена, Москва

"Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной – и наставало молчание, то молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую плотину" ("Былое и думы")

мучительной неуверенности тянулись дни, что-то вроде существования людей между приговором и казнию, когда человек разом надеется и наверно знает, что он от топора не уйдет!

VII

1852

Снова наступал Новый год. Мы его встретили – около постели Natalie… наконец организм не вынес, она слегла.

Энгельсоны, Фогт, человека два близких знакомых были у нас. Все были печальны. Парижское *второе декабря* лежало[1*] плитой на груди… Общее, частное – всё неслось куда-то в пропасть[2*]. И уж так далеко[3*] ушло под гору, что ни остановить, ни изменить ничего нельзя было – приходилось ждать тупо, страдательно, когда все сорвавшееся с рельсов – полетит в тьму[4*].

Подали обычный бокал в двенадцать часов – мы улыбнулись натянуто, внутри была смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться.

… Болезнь определилась – сделалась плерези[67] в левой стороне.

Пятнадцать страшных дней провела она между жизнию и смертью – но на этот раз жизнь победила[5*].

… Наступило медленное выздоровление, и с ним последний луч надежды блед-

---

[1*] у всех лежало [2*] *Вместо*: куда-то в пропасть *было*: в пропасть [3*] *После*: так далеко *было*: заступило [4*] ждать, когда все сорвется с рельсов – полетит в пропасть [5*] *После*: победила *зачеркнуто*: В одну из самых тяжких минут – я спросил доктора Бонфиса, переживет ли больная ночь.

– Наверное, – сказал Бонфис.

– Вы правду говорите?.. Пожалуйста, не обманывайте!

– Даю вам честное слово, – я ручаюсь… – он приостановился, – я ручаюсь *за три дня*, спросите Фогта, если мне не верите.

Хорошо было это обратное on en plantera[68] Гудсон Лова.

но осветил тревожную жизнь нашу. Силы ее духа возвратились прежде...[6*] Были минуты удивительные[7*] – последние аккорды навеки умолкающей музыки...

Несколько дней после перелома болезни я как-то утром рано пришел к себе в кабинет и заснул на диване. Вероятно, я крепко спал, потому что не слыхал, как входил человек. Проснувшись, я нашел на столе письмо. Почерк Гервега. С какой же стати он пишет, и как после всего, что было, осмеливается он писать ко мне – повода я не подавал никакого. Я взял письмо с тем, чтоб его отправить назад – но, увидавши на обороте надпись: "Дело честного вызова" – я открыл письмо.

Письмо было отвратительно, гнусно. Он говорил, что я моими *клеветами* на него *сбил* Natalie с толку, что я воспользовался ее слабостью и моим влиянием на нее, что она *изменила* ему. В заключение он *доносил на нее* и говорил, что судьба решает между мной и им[8*] – "она топит в море ваше исчадие (votre progéniture) и вашу семью. Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно было окончить человечески. Теперь я готов и требую *удовлетворения*"[a].

Письмо это была *первая обида, нанесенная* мне с дня рождения. Я вскочил, как уязвленный зверь – с каким-то стоном бешенства. Зачем не было этого негодяя в Ницце... Зачем через коридор лежала умирающая женщина!

Обливши два-три раза голову[9*] холодной водой... я сошел к Энгельсону (он занимал после кончины моей матери ее комнаты) и, выждав[10*], когда его жена ушла – сказал[11*] ему, что получил письмо от Г⟨ервега⟩...

– Так вы в самом деле получили его? – спросил Энгельсон.

– Да разве вы – знали – ожидали его?

– Да, – сказал он, – вчера я слышал об этом.

– От кого?

– От К. Фогта[12*]...

Я щупал себе голову, мне казалось, что я сошел с ума. Молчание наше было до того безусловно, что ни моя мать, ни М⟨ария⟩ К⟨аспаровна⟩ ни разу не заговаривали со мной о случившемся. С Энгельсоном я был ближе, чем с другими – но и с ним я говорил раз, коротко отвечая ему на вопрос, сделанный, гуляя в окрестностях Парижа[13*], – о причине моего разрыва с Г⟨ервегом⟩. Я был поражен в Женеве – услышав от Сазонова о болтовне этого негодяя, но[14*] мог ли я думать, что около меня, возле, за дверью все знают, все говорят о том, что я считал тайной, погребенной между несколькими лицами... что знают даже[15*] о письмах, которые *я еще не получил*?

Мы пошли к Фогту[16*]. Фогт подтвердил мне, что два дня тому назад Эмма показывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне *страшное письмо*, что он сбросит меня "с высоты[17*], на которую меня поставила N⟨atalie⟩" – "что он покроет нас *позором*, хотя бы для этого надобно было пройти через трупы детей и посадить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде". Наконец, он писал своей жене (и она всё это показывала Фогту, Шарль Едмону и Орсини![18*]): "ты одна чиста и невинна, ты должна бы была явиться ангелом карающим"... т.е., стало быть, перерезать нас[19*].

Были люди, говорившие, что он сошел с ума[20*] от любви, от разрыва со мной, от униженного самолюбия[21*] – это вздор. Человек этот не сделал ни одного *поступка* – опасного или неосторожного, сумасшествие было только *на словах*[22*], он выходил из себя *литературно*. Самолюбие его было уязвлено, молчание для него было тяго-

---

[a] Я никогда не перечитывал этого письма и раз только развертывал его потом. В 1853, в годовщину рожденья Natalie 23 окт⟨ября⟩ с.ст., я, не читая, его сжег. – *Прим. Герцена.*

[6*] прежде физических [7*] Во время ее выздоровления были минуты удивительно поэтические [8*] *После*: им *было*: что [9*] Умывши два-три раза лицо [10*] *Перед*: и, выждав *зачеркнутый первоначальный текст*: в ее половине, я сошел к нему [11*] я сказал [12*] *После*: От К. Фогта *было*: впрочем, Орсини и Шарль Ед⟨мон⟩ тоже говорили [13*] *Вместо*: коротко ~ Парижа *было*: и то я сказал несколько слов на его вопрос в Париже [14*] *Перед*: но *зачеркнуто*: с тех пор [15*] что, наконец, знают [16*] *После*: к Фогту *было*: и с этого посещения начинается наше истинное сближение [17*] с пьедестала [18*] Фогту и Шарль Едмону [19*] вероятно, перерезать нас [20*] говорившие потом, что все это сумасшествие [21*] от разрыва с нами [22*] сумасшедшие были только слова

стнее всякого скандала, возвратившаяся тишина нашей жизни – не давала ему покоя. Мещанин, как Орас Ж. Санд[23*], он болтал в отмщенье женщине, которую любил, и человеку, которого называл братом и отцом, – и, мещанин-немец, он грозился мелодраматическими фразами, сочиненными[24*] на псевдошиллеровский лад.

В то время, когда он писал свое письмо ко мне и ряд сумасшедших писем к своей жене, в то самое время *он жил на содержании* у старой, покинутой любовницы Людвига-Наполеона, разгульной женщины, известной всему Цюриху. С ней проводил он дни и ночи, на ее счет роскошничал, ездил с нею в ее экипаже... кутил в больших отелях... Нет – это не сумасшествие![25*]

– Что вы намерены делать? – спросил меня наконец Энгельсон.

– Ехать и убить его, как собаку. Что он величайший трус, это вы знаете и все знают... шансы все с моей стороны.

– Да как же вам ехать?..

– В этом-то всё и дело. Напишите ему покаместь, что не ему у меня требовать удовлетворения – а мне его *наказывать*, и что я сам[26*] выберу средства и время его наказать[27*]... что для этого не оставлю больной женщины[28*] – а на его грубости плюю.

В том же смысле я писал Сазонову и спрашивал, хочет ли он в этом деле мне помочь. Энгельсон, Сазонов и Фогт приняли с горячностью мое предложение. Письмо мое было большой ошибкой и дало[29*] ему повод сказать впоследствии, что я принял дуэль и что только потом отказался от нее[30*].

Отказаться от дуэли – дело трудное[31*] и требует или много твердости духа или много его слабости. Феодальный поединок стоит твердо в новом обществе – обличая, что оно вовсе не так ново, как кажется. До этой святыни, поставленной дворянской честью и[32*] военным самолюбием, редко кто смеет касаться, да и редко кто так самобытно поставлен, чтоб безнаказанно мог оскорблять кровавый идол[33*] и принять на себя нареканье в трусости.

Доказывать нелепость дуэли не стоит[34*] – в теории его[35*] никто не оправдывает, исключая каких-нибудь бретеров и учителей фехтованья, но в практике все подчиняются ему[36*] для того, чтоб доказать, черт знает кому, свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он[37*] оправдывает всякого мерзавца – или его *почетной* смертью или тем, что делает из него *почетного* убийцу. Человека обвиняют в том, что он передергивает карты, – он лезет на дуэль, как будто нельзя передергивать карты и не бояться пистолета? И что за позорное равенство – шулера с его обвинителем.

Дуэль иногда можно[38*] принять за средство не попасть на виселицу или на гильотину – но и тут логика не ясна, и я все же не понимаю, отчего человек обязан под опасением общего презренья не бояться шпаги противника и может бояться топора гильотины. Казнь имеет ту выгоду[39*], что ей предшествует суд, который может человека приговорить[40*] к смерти – но не может отнять права обличить[41*] – мертвого или живого врага... В дуэли остается все шито и крыто... Это институт[42*], принадлежащий той драчливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что

[23*] Мещанин, как Орас, и притом мещанин-немец [24*] *Вместо*: и мещанин-немец ~ сочиненными *было*: и грозился фразами, взятыми из мелодрам или сочиненными [25*] *Вместо*: Нет – это не сумасшествие! *было*: Неужели все это не просто разврат и сумасшествие? [26*] *Вместо*: что я сам *было*: что я письмо его прочитал с презрением и что сам [27*] его наказать... но [28*] постели умирающей женщины [29*] *Вместо*: Энгельсон, Сазонов и Фогт ~ большой ошибкой и дало *было*: Энгельсон, Сазонов и Фогт, в случае дуэли, готовы были быть свидетелями. Но у меня был другой план. Письма[, которые ему написали Энгельсон и Сазонов,] эти были, собственно, ошибкой и дали [30*] *После*: отказался от нее *зачеркнутый текст, относящийся к несохранившемуся эпизоду*: ⟨...⟩ именин – Эмма спросила при всех, что бы мне подарить.

– Я знаю, – сказал Г⟨ервег⟩, – но поздно достать.

– Что, что, – стали спрашивать его.

– Пустяки, – сказал он, – я пошутил, если б было время, я выписал бы из Парижа фотографию Леонтины en débardeur[69].

Тоже хорошая черта!

[31*] всегда дело трудное [32*] поставленной дворянским, т.е. [33*] чтоб смел касаться до кровавого идола [34*] не стоит труда [35*] ее [36*] ей [37*] Худшая сторона дуэля – та, что она [38*] Дуэль разве можно [39*] необычайную выгоду [40*] меня приговорить [41*] *После*: обличить *было*: покрыть позором [42*] Словом, это институт

ношение смертоносных оружий считается признаком благородства и упражнение в искусстве убивать – служебной обязанностью.

Пока миром будут управлять военные[43*] – дуэли не переведутся – но мы смело можем требовать, чтоб нам самим было предоставлено решение[44*] – когда мы должны склонить голову перед идолом, в которого не верим, – и когда явиться во весь рост свободным человеком – и после борьбы с богом и властями – осмелиться бросить перчатку кровавой средневековой расправе![45*]

... Сколько людей прошли с гордым и торжественным лицом всеми невзгодами жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом – инквизициями и не знаю чем – и срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или негодяя[46*].

Эти жертвы не должны падать. Основа, определяющая поступки человека, должна быть в нем, в его разуме – у кого она вне его, тот раб при всех храбростях своих[47*].

Я не принимал[48*] и не отказывался от дуэли. Казнь Г⟨ервега⟩ была для меня нравственной необходимостью[49*], физиологической необходимостью, – я искал в голове верного средства мести и притом такого, которое не могло бы его поднять. А уж дуэлем или просто ножом достигну я ее – мне было все равно[50*].

Он сам надоумил[51*]. Он писал своей жене – а та, по обычаю, показывала знакомым, что, несмотря на все, я "головой выше – окружающей меня сволочи", что меня "сбивают люди, как Фогт, Энгельсон, Головин"(!)[52*], что если б он мог увидеться на одну минуту со мной – то все бы объяснилось, "он (т.е. я) один может понять меня" – и это было писано *после письма ко мне*! "А посему, – заключал поэт, – я всего больше желал бы, чтоб Г⟨ерцен⟩ принял дуэль *без свидетелей*. – *Я уверен*, что с первого слова – мы пали бы друг другу на грудь и все было бы забыто". Итак, дуэль предлагалась как средство драматического примирения.

Если б я мог тогда[53*] отлучиться на пять дней, на неделю – я непременно отправился бы в Цюрих один и явился бы к нему – исполняя его желание, и жив он бы не остался[54*].

Через несколько дней после письма, часов в девять утром – взошел ко мне Орсини. Орсини, по какой-то физиологической нелепости, имел страстную привязанность к Эмме; что было общего между этим огненным, чисто южным молодым красавцем и безобразной, лимфатической немкой, я никогда не мог понять. Ранний приход его удивил меня. Он очень просто, без фраз[55*], сказал мне, что весть о письме Г⟨ервега⟩ возмутила весь круг его, что многие из общих знакомых предлагают составить jury d'honneur[70]. При этом он стал защищать[56*] Эмму, говоря, что она ни в чем не виновата – кроме в безумной любви к мужу и в рабском повиновении, что он был свидетелем, чего ей все это стоило. "Вам, – говорил он, – следует ей протянуть руку, вы должны наказать виновного – но должны также *восстановить* невинную женщину".

Я решительно, безусловно отказался. Орсини был слишком проницателен, чтоб не понять, что я мнения не переменю, и потому не настаивал[57*].

[43*] *1.* будет управлять штык и пуля. *2.* будут управлять самодержавные армии [44*] был предоставлен суд [45*] *Вместо*: кровавой средневековой расправе *было*: суду божью [46*] шалуна или мерзавца, разрушая дело целой жизни, всех усилий – для того, чтоб доказать двум-трем пошлецам, что для них не страшен [пигмей] какой-нибудь нахал [47*] Основа, определяющая мои поступки, должна быть во мне, в разуме – горе тому, у кого она вне его. Он раб при всей бретерной храбрости. [48*] *Перед*: Я не принимал *было*:... В уме дело для меня было решено. [49*] Его казнь была для меня очевидной необходимостью [50*] *Вместо*: А уж дуэлем ~ все равно *было*: как обыкновенная дуэль [51*] Первое средство надоумил он сам [52*] Энгельсон, которого я сам считал умалишенным, и, наконец, Головин [53*] *Перед*: Если б я мог тогда *было*: – в моей душе не было ни малейшего прощенья – но за мысль дуэля без свидетелей я ухватился обеими руками [54*] исполняя его желание дуэля без свидетелей. *После*: жив он бы не остался *зачеркнутый текст*: *1.* Недоставало одного – чтоб люди, с которыми я шел, которых уважал, которых уважал и он – знали, почему я с ним так поступал, почему я считал своим правом – казнить человека, которого год назад называл лучшим другом своим. Помощь явилась сама собой. *2.* Он уже был опозорен баденской экспедицией. Мне хотелось – второй раз сорвать с него маску – демократа-деятеля и показать людям, стоящим с нами на одном поле, почему я счел себя вправе казнить человека, которого год назад называл лучшим другом своим. [55*] и без фраз [56*] с жаром стал защищать [57*] *После*: не настаивал *было*: Мы расстались очень дружески.

Между прочим, говоря о jury d'honneur[6], он мне сказал, что уже писал обо всей истории к Маццини и спрашивал его мнения. Не странно ли опять? Делают партии, составляют приговоры, пишут Маццини – и все это помимо меня, и все это по поводу событий, о которых неделю тому назад никто при мне не смел заикнуться?

Проводивши Орсини, я взял лист бумаги и начал[58*] письмо к Маццини. Мне тут открывался своего рода *вемический* суд – и суд, который сам напрашивался[59*]. Я написал ему, что Орсини мне говорил о своем письме – и что, боясь, что он не совершенно верно представил дело, о котором он от меня никогда не слыхал ни слова, – хочу и рассказать ему дело и посоветоваться с ним. Маццини тотчас отвечал[60*]. "Лучше было бы, – писал он, – покрыть все молчанием, но вряд теперь возможно ли это для вас. А потому явитесь смело обвинителем и предоставьте нам суд".

Что я верил в возможность этого суда – в этом была, может, последняя моя мечта. Я ошибался – и дорого заплатил за ошибку.

... Вместе с письмом Маццини получил я письмо от Гауга, которому Маццини (зная, что он со мной хорошо знаком) сообщил письмо Орсини и мое. Гауг после нашей первой встречи в Париже служил у Гарибальди и отлично дрался под Римом. В этом человеке было много хорошего[61*] и бездна неспетого и нелепого. Он спал непробудным казарменным сном австрийского лейтенанта, как вдруг его разбудила тревога венгерского восстания и венских баррикад. Он схватился за оружие – но не с тем, чтоб бить народ, а с тем, чтоб стать в его ряды. Переход был слишком крут и оставил кой-какие угловатости и недоделки. Мечтатель и несколько опрометчивый человек, благородный до преданности и самолюбивый до дерзости, бурш и кадет[62*], студент и лейтенант, он искренно[63*] любил меня. Гауг[64*] писал, что он едет в Ниццу, и умолял ничего не предпринимать без него: "Вы покинули родину и пришли к нам как брат, не думайте, чтоб мы позволили кому-нибудь из наших заключить безнаказанно ряд измен – клеветой и потом покрыть все это дерзким вызовом. Нет, мы иначе понимаем нашу круговую поруку. Довольно, что русский поэт пал от пули западного искателя приключений, – русский революционер не падет!"

В ответ я написал Гаугу – длинное письмо. Это была моя первая исповедь, я ему рассказал все, что было[65*] – и принялся его ждать[71].

... А между тем в спальной догорала, слабо мерцая, великая[66*] жизнь, в отчаянной борьбе с недугом тела и страшными предчувствиями. Я проводил день и ночь возле кровати больной – она любила, чтоб именно я давал ей лекарства, чтоб я приготовлял оранжад... ночью я топил камин, и, когда... она засыпала покойно, у меня опять являлась надежда ее спасти...

Но бывали минуты тяжести невыносимой... Я чувствую ее худую, лихорадочную руку... я вижу мрачный, тоскливый взгляд... остановленный на мне с мольбой, с упованьем... и страшные слова[67*]: "Дети останутся одни... осиротеют... всё погибает, ты только и ждешь... Во имя детей – оставь всё, не защищайся от грязи – дай же мне, мне защитить тебя – ты выйдешь чистым – лишь бы мне немного окрепнуть физически – но нет – нет, силы не приходят... Не оставь же детей!" – и я сотни раз повторял мое обещанье.

В один из подобных разговоров Natalie вдруг мне сказала:

– Он писал к тебе?[в]

– Писал.

– Покажи мне письмо.

---

[6]Jury никакого не было, но я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Г(ервегу) – подписанное дорогими мне именами – и, между прочим, героем-мучеником Пизакане, – Мордини, Орсини, Бертани, Медичи, Меццакаппо, Козенцом. – *Прим. Герцена.*

[в]Слухи о всем, что делалось, достигали до нее, и я полагаю, что это не было случайно. Насчет его письма был намек в письме М(арии) К(аспаровны), слышавшей все это в Париже от Н.А. Мельгунова. – *Прим. Герцена.*

58* сам начал 59* *После*: сам напрашивался *было*: Мне только этого и недоставало. 60* отвечал мне 61* было бездна прекрасного 62* *Вместо*: бурш и кадет *было*: *1.* т.е. немного студент и немного лейтенант *2.* студент и тем вместе кадет, лейтенант 63* искренно и сильно 64* Теперь он 65* *После*: было *зачеркнуто*: на душе 66* сильная, великая 67* и с этими страшными словами, которые повторялись часто

– Зачем?

– Мне хочется видеть, что он мог тебе сказать...

Я почти был рад, что она заговорила о письме, мне страстно хотелось знать – была ли доля истины в одном из его доносов... Я[68*] никогда не решился бы спросить... но тут она сама заговорила о письме, я не мог переломить себя, меня ужасала мысль, что сомнение все же остается, а может, и вырастет, когда уста ее будут сомкнуты...

– Письма я тебе не покажу, а скажи мне, говорила ли ты что-нибудь подобное?..

– Как ты можешь думать?

– Он пишет это.

– Это почти невероятно – он пишет это своей рукой?[69*]

Я отогнул в письме то место[70*] и показал ей – она взглянула, помолчала и печально сказала потом[71*]: "*Подлец*!"

С этой минуты ее презрение перешло в ненависть, и никогда ни одним словом, ни одним намеком *она не простила* его и не пожалела об нем[72*].

Через несколько дней после этого разговора она написала ему следующее письмо[73*72]:

«Ваши преследования и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повторить – и притом при свидетеле[74*] – то, что я уж несколько раз писала вам. Да, мое увлечение было велико, слепо, – но ваш характер – вероломный, низко еврейский[75*], ваш[76*] необузданный эгоизм открылись[77*] во всей безобразной наготе своей – во время вашего отъезда и после – в то самое время, как достоинство и преданность А⟨лександра⟩ росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только новым пьедесталем, чтоб возвысить мою любовь к нему. Этот пьедесталь вы хотели забросать грязью. – Но вам[78*] ничего не удастся сделать против нашего союза, неразрывного, непотрясаемого теперь больше, чем когда-нибудь[79*]. Ваши доносы[80*], ваши клеветы против женщины – вселяют А⟨лександру⟩ одно презрение к вам. Вы обесчестили себя – этой низостью[81*].

Куда делись вечные протестации ваши в религиозном уважении моей воли, вашей любви к детям? Давно ли вы клялись скорее исчезнуть с лица земли, чем нанести минуту горести Алекс⟨андру⟩? – Разве я *не всегда* говорила вам, что я дня не переживу разлуки с ним, что, если б он меня оставил, даже умер бы – я останусь одна до конца жизни?.. Что касается до моего обещания увидеться когда-нибудь с вами, действительно, я его сделала – я вас жалела тогда, я хотела человечески проститься с вами, – вы сделали невозможным исполнение этого обещания.

С самого отъезда вашего вы начали пытать меня, требуя то такого обещания, то другого. Вы хотели исчезнуть на годы, уехать в Египет – лишь бы взять с собою самую слабую надежду. Когда вы увидали, что это вам не удалось, вы предлагали ряд нелепостей, несбыточных, смешных, и кончили[82*] тем, что стали грозить *публичностью,* хотели меня поссорить окончательно с Алекс⟨андром⟩, хотели его заставить убить вас, драться с вами – наконец, грозили наделать страшнейших преступлений. Угрозы эти не действовали больше на меня – вы их слишком часто повторяли.

Повторяю вам то, что я писала в последнем письме моем: "Я остаюсь в моей семье... моя семья Алекс⟨андр⟩ и мои дети". И, если я не могу в ней остаться как мать, как жена, я останусь как нянька, как служанка. "Между мной и вами нет моста"[83*]. Вы мне сделали отвратительным самое прошедшее.

Н.Г.

18 февраля 1852.
Ницца».

[68*] есть ли доля истины в его доносах... фактически это ничего не меняло – но для меня имело особую важность. Вероятно, я [69*] *1.* И это он пишет своей рукой – почти невероятно. *2.* Не Эмма ли? [70*] Я отогнул это место в письме [71*] и сказала потом печальным голосом [72*] не пожалела его [73*] *Вместо*: Через несколько дней ~ письмо *первоначально было*: Вот это письмо. [74*] при свидетелях [75*] низкий [жидовский], юдаический [76*] и ваш [77*] вскоре открылись [78*] Вам [79*] когда-либо [80*] *После*: Ваши доносы *было*: – подлые, [ваша] [81*] Вы совершенно обесчестили себя этой последней низостью. [82*] *Перед*: кончили *зачеркнуто*: когда [83*] *После*: моста *было*: говорила я вам тогда

Через[84*] несколько дней возвратилось письмо из Цюриха, Г⟨ервег⟩ отослал его назад нераспечатанным, письмо было послано страховое с тремя печатями и возвратилось[85*] назад – с надписью на том же пакете.

"Если так, – заметила[86*] Natalie, – ему *прочтут его*". Она позвала к себе Гауга, Тесье, Энгельсона, Орсини и Фогта и сказала им:

– Вы знаете, как мне хотелось оправдать Алекс⟨андра⟩, но что я могу сделать прикованная к постели. Я, может, не переживу этой болезни – дайте мне спокойно умереть, веря, что вы исполните мое завещание. Человек этот[87*] отослал мне назад письмо – пусть кто-нибудь из вас прочтет его ему при свидетелях.

Гауг взял[88*] ее руку и сказал:

– Или я не останусь жив, или письмо ваше будет прочтено!

Это простое, энергическое действие потрясло всех – и скептик Фогт вышел взволнованным, как фанатик Орсини. Орсини сохранил горячее уважение к ней до конца своих дней. Последний раз, когда я его видел перед его отъездом в Париж, в конце 1857, он с умилением[89*] вспоминал о Natalie, а может, и с затаенным упреком. Из нас двоих, конечно, не на Орсини[90*] падет обвинение в нравственной несостоятельности, в дуализме дел и слов!..



В.А. ЭНГЕЛЬСОН

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). ⟨Ницца⟩, 1850.
Надпись рукой Н.А. Герцен:
"Влад⟨имир⟩ Энгельсон 1850"
Музей Герцена, Москва
"...он первый обтер глубокие раны,
когда они были свежи,
он был моим братом, моей сестрой" ("Былое и думы")

... Раз поздно вечером или, лучше, ночью мы долго и печально рассуждали с Энгельсоном[91*]. Наконец он пошел к себе – а я наверх. Natalie спала покойно, – я посидел несколько минут в ее спальной и[92*] вышел в сад. Окно Э⟨нгельсона⟩ было открыто, он, пригорюнившись, курил у окна сигару.

– Видно, такая судьба! – сказал он и сошел ко мне.

– Зачем вы не спите, зачем вы пришли? – спрашивал он, и голос его нервно дрожал. Потом он схватил меня за руку и продолжал: – Верите вы[93*] в мою беспредельную любовь к вам, верите, что у меня нет в мире человека дороже вас – отдайте мне Г⟨ервега⟩[94*] – не нужно ни суда, ни Гауга, – Гауг немец – подарите мне право отмстить за вас, *я русский*... Я обдумал целый план, – мне надобно ваше доверие – ваше рукоположение.

Бледный стоял он передо мной, скрестив руки, освещенный[95*] занимавшейся зарей. Я был сильно тронут и готов был броситься со слезами ему на шею.

– Верите вы или нет, что я скорее погибну, сгину с лица земли, чем компрометирую дело, в котором[96*] замешано для меня столько святого – без вашего доверия – я

[84*] Между тем через [85*] *Перед*: возвратилось *было*: страхованным [86*] сказала [87*] Он [88*] Гауг – со слезами на глазах взял [89*] *Вместо*: он с умилением *было*: *1.* он с умилением *2.* он с упреком мне [90*] *Вместо*: Орсини *было*: него [91*] *После*: Энгельсоном *было*: У него были поэтические минуты, в которые он умел верно и глубоко сочувствовать. [92*] *После*: и *зачеркнуто*: *1.* душно *2.* тяжело [93*] Ведь вы верите [94*] *Вместо*: отдайте мне Г⟨ервега⟩ *было*: отдайте мне вашу месть [95*] и освещенный [96*] *Вместо*: компрометирую дело, в котором *было*: компрометировать

связан. Скажите откровенно – да или нет. Если *нет* – прощайте, и к черту всё, к черту и вас и меня. Я завтра уеду, и вы обо мне больше не услышите.

– В нашу дружбу, в вашу искренность я верю – но боюсь вашего воображения, ваших нерв и не очень верю в ваш практический смысл[97*]. Вы мне ближе всех здесь[98*] – но, признаюсь вам, мне кажется, что вы наделаете бед и погубите себя.

– Так по-вашему у генерала Гауга практический гений?..[99*]

– Я этого не говорил, – но думаю, что Гауг больше практический человек, так, как думаю, что Орсини – практичнее Гауга.

Энгельсон больше ничего не слушал, – он плясал на одной ноге, пел и, наконец успокоившись немного, сказал мне[100*]:

– Попались, попались как кур во щи, – он положил мне руку на плечо и прибавил[101*] вполслуха: – С Орсини-то я и обдумал весь план, с самым практическим человеком в мире. – Ну, благословляйте, отче?

– А даете ли вы мне слово, что вы ничего не предпримете, не сказавши мне?

– Даю.

– Рассказывайте ваш план.

– Этого я не могу, по крайней мере, теперь не могу...

Сделалось молчание. Что он хотел, понять было не трудно...

– Прощайте, – сказал я, – дайте мне подумать, – и невольно прибавил: – Зачем же вы мне об этом говорили?

Э⟨нгельсон⟩ понял меня.

– Проклятая слабость. Впрочем, никто никогда не узнает, что я вам говорил.

– *Да я-то знаю...* – сказал я ему в ответ, и мы разошлись.

Страх за Энгельсона и ужас перед какой-нибудь катастрофой, которая должна была гибельно потрясти больной организм, заставили меня *остановить*[102*] исполнение его проекта. Качая головой и с жалостью смотрел на это Орсини...[103*] Итак, вместо казни – *я спас Г⟨ерве⟩га*[104*] – но уж, конечно, *не для него и не для себя*! Тут не было ни сентиментальности, ни великодушия...

Да и какое великодушие или сострадание было возможно с этим героем[105*] *в обратную сторону*. Эмма[106*], чего-то перепугавшаяся, рассорилась с Фогтом за то, что он дерзко отзывался об ее Георге – и упросила Шар⟨ля⟩ Ед⟨монда⟩ написать к нему письмо, в котором бы он ему посоветовал спокойно сидеть в Цюрихе и оставить всякого рода провокации – а то худо будет. Не знаю, что писал Ш⟨арль⟩ Е⟨дмонд⟩, – задача была нелегкая, – но ответ Г⟨ервега⟩ был *замечателен*. Сначала он говорил, что "не Фогтам и не Шар⟨лям⟩ Ед⟨мондам⟩ его судить", потом – что связь между им и мной порвал я[107*], а потому да падет *всё* на мою голову[108*]... Перебравши все[109*], защищаясь даже в своей двуличной роли – он заключал так: "Я даже не знаю, есть ли *тут измена*[110*]. Толкуют еще эти шалопаи о деньгах...[111*] чтоб окончить навсегда с этим дрянным обвинением – я скажу откровенно, что г. Гер⟨цен⟩ *не слишком дорого купил своими несколькими тысячами франков – те минуты рассеяния и наслаждения, которые мы провели вместе в тяжкое время*!"

– C'est grand, c'est sublime! – говорил Ch⟨arles⟩ Ed⟨mond⟩, – mais c'est *niederträchtig*[73].

На это Хоец⟨кий⟩ отвечал, что[112*] на подобные письма отвечают палкой, что он и сделает при первом свидании. Г⟨ервег⟩ умолк[113*].

[97*] вашего воображенья и недостаток практического смысла [98*] *После*: здесь *было*: Когда я хотел ехать, я вас звал [99*] этого практический гений... полководцем был [100*] успокоился настолько, чтоб сказать [101*] сказал [102*] *Перед*: остановить *было*: впоследствие [103*] *После*: Орсини *было*: Мне стоило не препятствовать, и они дали бы Г⟨ервегу⟩ страшный урок [104*] я спас его [105*] с этим chef-d' oeuvre, действительным героем [106*] В самое это время Эмма [107*] *Вместо*: потом что ~ порвал я *было*: потом, что "связь между [мной] мной и Г⟨ерценом⟩ порвал Г⟨ерцен⟩" [108*] на его голову [109*] *После*: все *было*: и [110*] *Вместо*: Перебравши ~ *т у т и з м е н а было*: "Толкуют об измене (si trahison il y a même) я ему объяснял все в письме, он его прислал назад." [111*] *Вместо*: Толкуют ~ о деньгах *было*: Толкуют о деньгах [112*] *После*: что *было*: ему [113*] *Вместо*: На это ~ умолк *было*: После страшно дерзкого письма в ответ на это последнее – Г⟨ервег⟩ умолк.

VIII[1*]

С наступлением весны – больной сделалось лучше. Она уже большую часть дня сидела в креслах, могла разобрать свои волосы, нечесанные в продолжение болезни[2*] – наконец без утомления могла слушать, когда я ей читал вслух. Мы собирались, как только ей будет еще получше, ехать в Севилью или Кадикс. Ей хотелось выздороветь – хотелось жить – хотелось[3*] в Испанию.

После возвращения письма всё замолкло – точно будто совесть жены и мужа почувствовала, что они дошли до той границы, до которой редко ходит человек, перешли ее и устали[4*].

Вниз Natalie еще не сходила и не торопилась, она собиралась сойти в первый раз – 25 марта, в мое рождение. Для этого дня она приготовила себе – белую мериносовую блузу – а я выписал из Парижа горностаевую[5*] мантилью. Дни за два Natalie сама написала или продиктовала мне, кого она хочет звать – сверх Энгельсонов – Орсини, Фогта, Мордини и Паччели с женой.

За два дня до дня рождения у Ольги сделался насморк[6*] с кашлем. В городе была influenza. Ночью Natalie два раза вставала и ходила через комнату в детскую. Ночь была теплая – но бурная. Утром она проснулась сама в сильнейшей influenz'e – сделался мучительный кашель, а к вечеру лихорадка.

О том, чтоб встать на другой день, нечего было и думать – после лихорадочной ночи ужасная прострация, болезнь росла. Все вновь ожившие, бледные, но цепкие надежды были прибиты. Неестественный звук кашля – грозил чем-то зловещим.

Natalie слышать не хотела, чтоб гостям отказали. Печально и тревожно сели мы часа в два за стол без нее.

Паччели привезли с собою какую-то арию, сочиненную ее мужем для меня. Mme Паччели была печальная, молчаливая и очень добрая женщина – словно горе какое-нибудь лежало на ней, – проклятье ли бедности тяготило ее или, быть может, жизнь сулила ей что-нибудь больше… чем вечные уроки музыки и преданность человека слабого, бледного и чувствовавшего свое подчинение ей.

В нашем доме она встречала больше простоты и теплого привета, чем у других *практик*[74], и полюбила Natalie с южной[7*] экзальтацией.

После завтрака – она посидела у больной и вышла от нее бледная, как полотно. Гости просили ее спеть привезенную арию. Она села за фортепьяно, взяла несколько аккордов, запела и вдруг, испуганно взглянув на меня, – залилась слезами – склонила голову на инструмент и спазматически зарыдала[8*]. Это покончило праздник – гости разошлись, почти не говоря ни слова, – задавленный какой-то каменной плитой – пошел я наверх. Тот же страшный кашель продолжался…

Это было начало похорон!

И притом двух!

Через два месяца после моего рождения схоронили и Mme Паччели – она поехала в Ментоне или Роккабрун на осле. Ослы в Италии привыкли[9*] ночью взбираться на горы, – не оступаясь. Тут белым днем – осел стопыкнулся – несчастная женщина упала, скатилась[10*] на острые камни и тут же умерла в ужаснейших страданиях…

Я был в Лугано, когда получил эту весть. И ее с костей долой… Nur zu…[75] Какая-то следующая нелепость?

… Далее все заволакивается – настает мрачная, тупая и неясная в памяти ночь, – тут и описывать нечего или нельзя… время боли, тревоги, бессонницы, притупляющее чувство страха[11*], нравственного ничтожества и страшной темной силы.

Все в доме осунулось. Особенного рода неустройство и беспорядок, суета, сби-

---

[1*] *Вместо*: VIII *было*, Глава седьмая. *С м е р т ь.* [2*] всей болезни [3*] и хотелось [4*] *Вместо*: перешли ее и устали *было*: и перешли даже ее [5*] *Перед*: горностаевую *было*: белую [6*] довольно сильный насморк [7*] с какой-то южной [8*] *Вместо*: спазматически зарыдала *было*: с подавленным спазматическим стоном продолжала рыдать [9*] *Вместо*: в Италии привыкли *было*: привыкнувшие [10*] и скатилась [11*] *Вместо*: настает ~ страха *было*: настает мрачная мрачная ночь – тут и описывать нечего или нельзя… тупое время боли, тревоги, бессоницы, неясное, притупляющее чувство страха

тые с ног слуги, и рядом с наступающей смертью – новые сплетни, новые гадости... Судьба не золотила мне больше пилюли, не пожалели меня и люди – благо, мол, крепки плечи, пускай себе[12*].

Дни за три до кончины ее[13*] Орсини мне принес записочку от Эммы к Natalie. Она умоляла ее "простить – за все сделанное против нее – простить *всех*". Я сказал Орсини, что записочку отдать больной невозможно, но что я вполне ценю чувство, заставившее написать ее эти строки, и принимаю их.

Я сделал больше, и в одну из последних спокойных минут – я тихо сказал Natalie: "Эмма просит у тебя прощения". Она улыбнулась иронически и не отвечала ни слова. Она лучше меня знала эту женщину.

Вечером я слышу громкий разговор в бильярдной – туда обыкновенно приходили близкие знакомые[14*]. Я сошел туда и застал горячий разговор. Фогт кричал, Орсини что-то толковал и был бледнее обыкновенного. При мне спор остановился.

– Что у вас? – спросил я, уверенный, что вышла какая-нибудь новая гадость.

– Да вот что, – подхватил Энгельсон, – какие тут[15*] секреты, это такая прелесть, такой немецкий цветок, что я бы на голове ходил, если б это случилось в другое время... Рыцарственная Эмма поручила Орсини вам передать, что так, мол, как вы ее прощаете, то в доказательство она просит, чтоб вы возвратили ей *вексель в десять тысяч франков*, который она вам дала, когда вы их выкупили от кредиторов... Stupendisch teuer, stupendisch teuer![76]

Сконфуженный Орсини добавил:

– Я думаю, она сошла с ума.

Я вынул ее записку и, подавая Орсини, сказал ему:

– Скажите этой женщине, что она слишком дорого запрашивает, что если я и оценил ее чувство раскаяния, то не в десять тысяч франков!

Записки Орсини не взял.

Вот по какой грязи мне приходилось идти на похороны[16*]. Что [17*] это: безумие или порок, разврат или тупость?.. – – – Это так же трудно решить, как вопрос: откуда вырвалась эта семья – из сумасшедшего дома или из смирительного.

Вечером 29 апреля приехала Мар⟨ия⟩ Каспаровна, Natalie ожидала ее с дня на день, она звала ее несколько раз, боясь, чтоб Mme Engels⟨on⟩ не захватила в руки воспитание детей. Она ждала ее с часу на час, и, когда мы получили письмо, она послала Гауга и Сашу навстречу к ней на Варский мост. Но, несмотря на это, свиданье с Мар⟨ией⟩ Касп⟨аровной⟩ нанесло ей страшное потрясение. Я помню ее слабый крик, похожий на стон, с которым она сказала: "Маша!" – и не могла ничего больше прибавить.

Болезнь застала Natalie в половине беременности. Бонфис и Фогт думали, что это исключительное положение помогло к выздоровлению от плерези. Приезд Мар⟨ии⟩ Кас⟨паровны⟩ ускорил роды – роды были лучше, чем ожидали, младенец родился живой... но силы истощились – наступила страшная слабость.

Младенец родился к утру... к вечеру она велела[77] подать себе новорожденного и позвать детей. Доктор предписал наисовершеннейший покой. Я просил ее не делать этого. Она кротко посмотрела на меня.

– И ты, А⟨лександр⟩, слушаешься их? – сказала она. – Смотри, как бы тебе не было потом очень жаль, что ты у меня отнимешь эту минуту – мне теперь полегче, я хочу сама представить малютку детям.

Я позвал детей. Не имея силы держать новорожденного, она его положила возле себя и с светлым, радостным лицом сказала Саше и Тате:

– Вот вам еще маленький брат – любите его.

Дети весело бросились целовать ее и малютку.

Мне вспомнилось, что недавно Natalie повторяла, глядя на детей[18*]:

[12*] *Вместо*: пускай себе *было*: а рубцы кладут внутри [13*] В последних числах апреля [14*] *После*: знакомые *было*: потому что эта комната была почти совсем отделена.[15*]что за [16*]*Вместо*: на похороны *зачеркнуто первоначально начатое*: – возле умирающего др⟨уга?⟩ [17*]– и что [18*]Как часто Natalie повторяла в последнее время

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть...

... Оглушенный горем, смотрел я на эту апотеозу умирающей матери. Когда дети ушли – я умолял ее не говорить и отдохнуть, она хотела отдохнуть – но не могла – слезы катились из глаз.

– Помни твое обещание... ах, как страшно думать, что они останутся одни... совсем одни – и в чужой стороне. Да неужели нет спасенья?

И она остановила на мне какой-то взгляд просьбы... и отчаяния.

Эти переходы от страшной безнадежности к упованью – невыразимо раздирали сердце в последнее время... В те минуты, когда я всего меньше верил, она брала мою руку и говорила мне:

– Нет, Александр, – это не может быть, это слишком глупо – мы поживем еще... лишь бы слабость прошла.

Скользнули лучи[19*] надежды, они меркли сами собой – и заменялись невыразимо печальным тихим отчаянием[a]...

– Когда меня не будет, – говорила она[20*], – и все устроится, теперь я не могу себе вообразить, как вы будете жить без меня[21*] – кажется, я так нужна детям, а подумаешь, и без меня[22*] они так же будут расти, и все пойдет своим путем. Как будто и всегда так [23*] было!



КАРЛ-ЭДМУД ХОЕЦКИЙ
Рисунок Н.А. Герцен (карандаш).
(Ницца), 1850.
Надпись рукой Н.А. Герцен:
"Charles Edmond Chojezky 1850"
Музей Герцена, Москва

Еще несколько слов прибавила она о детях, о здоровье Саши, она радовалась, что он стал крепче в Ницце, что в этом согласен и Фогт.

– Береги Тату, с ней надобно быть очень осторожну, это натура глубокая и несообщительная. Ах, – добавила она, – если б мне дожить до приезда моей Natalie... А что дети спят? – спросила она, немного погодя.

– Спят, – сказал я.

Издали послышался детский голос.

– Это Оленька, – сказала она и улыбнулась (в последний раз). – Посмотри, что она.

К ночи ей овладело сильное беспокойство, она молча указывала, что подушка не хорошо лежит, но как я ни поправлял, ей все казалось беспокойно, и она с тоской и даже с неудовольствием[24*] меняла положение головы – потом наступил тяжелый сон.

Середь ночи она сделала движение рукой, как будто хотела пить, я ей подал[25*] с ложечки апельсинный сок с сахаром и водой – но зубы[26*] были совершенно стиснуты, она была без сознания – я оцепенел от ужаса; рассветало[27*], я отдернул занавесь и с каким-то безумным чувством отчаяния разглядел, что не только губы – но и зубы почернели в несколько часов.

---

[a]Тетрадь эта писана года три тому назад. – *Прим. Герцена.*

[19*]И вдруг – эти слабые лучи [20*]*Перед*: меня не будет *первоначально было*: *1.* ⟨без⟩ устали и отчаяния по⟨вторяла⟩: "Меня не будет *2.* Какая-то невыразимо печальная, тихая, она говорила: "Меня не будет [21*]*Вместо*: как вы будете жить без меня *было*: как будут дети [22*]я так им нужна – а без меня [23*]и всё так [24*]*Вместо*: с неудовольствием *было*: со стоном [25*]подавал [26*]но на этот раз зубы ее [27*]между тем рассветало



M-me ПАЧЕЛЛИ

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш).

(Ницца), 1850–1851.

Надпись рукой Н.А. Герцен:
"M-me Pacelli 1850–51"

Музей Герцена, Москва

"M-me Пачелли была печальная, молчаливая и очень добрая женщина (...) она (....) полюбила Natalie с южной экзальтацией" ("Былое и думы")

За что же еще это! Зачем это ужасное беспамятство[28*], зачем этот черный цвет! Док⟨тор⟩ Бонфис и К. Фогт – сидели всю но⟨чь⟩ в гостиной. Я сошел и сказал Фогту, что я заметил, он миновал мой взгляд и, не отвечая, пошел наверх. Ответа было не нужно. Пульс больной едва бился.

Около полудня она пришла в себя – опять позвала детей, но не говорила ни слова. Она находила, что в комнате было темно. Это случилось во второй раз[29*] за день, она спросила меня, зачем нет свечей (две свечи горели на столе), я зажег еще свечу – но она, не замечая ее, говорила, что темно.

– Ах, друг мой, как тяжело голове, – сказала она, и еще два-три слова[30*].

Она взяла мою руку, рука ее уж не была похожа на живую – и покрыла ею свое лицо[31*]. Я что-то сказал ей – она отвечала невнятно... Сознание было снова потеряно и не возвращалось...

Еще одно слово – одно слово... или уже конец бы всему. В этом положении она осталась до следующего утра[32*]. С полдня или с часа 1 мая до 7 часов утра 2 мая. Какие нечеловечески страшные 19 часов!

Минутами она приходила в полусознание... явственно говорила, что хочет снять фланель, кофту, спрашивала платок – но ничего больше. Я несколько раз начинал говорить – мне казалось, что она слышит, но не может выговорить слова, будто выражение горькой боли пробегало по лицу ее. Раза два она пожала мне руку – не судорожно, а намеренно, в этом я совершенно уверен. Часов в шесть утра – я спросил доктора, сколько остается времени. – "Не больше часа".

Я вышел в сад позвать Сашу. Я хотел, чтоб у него остались навсегда в памяти последние минуты его матери. – Всходя с ним на лестницу, я сказал ему, какое несчастие нас ожидает, он не подозревал всей опасности. Бледный и близкий к обмороку, взошел он со мной в комнату.

– Станем рядом здесь на колени, – сказал я, указывая на ковер у изголовья.

Предсмертный пот покрывал ее лицо... рука спазматически касалась[33*] до кофты, как будто желая ее снять... несколько стенаний, несколько звуков, напоминавших мне агонию Вадима – и те замолкли. Доктор взял руку и опустил ее, она упала, как вещь. Мальчик рыдал – я хорошенько не помню, что было в первые минуты. Я бросился вон[34*] – в зале встретил Char⟨les⟩ Edmond, хотел ему сказать что-то, но вместо слов из моей груди вырвался[35*] какой-то чужой мне звук...

[28*] *После*: беспамятство *было*: и так вдруг [29*] *Вместо*: во второй раз *было*: еще раз [30*] *После*: два-три слова *было*: Раз она снова хотела что-то спросить. Я понял, в чем дело, и отвечал прежде вопроса, успокаивая ее [31*] *После*: свое лицо *было*: – она назвала меня – прижала губы к моей руке [32*] *Вместо*: Еще ~ утра *было*: Хоть бы еще слово... или уже конец бы всему. Она осталась в этом положении до следующего утра. [33*] дергала [34*] сошел вниз [35*] вырвался из моей груди

Я стал перед окном и смотрел, оглушенный и без ясного пониманья, на бессмысленно двигавшееся мерцавшее море.

Потом[36*] мне вспомнились слова "Береги Тату". Мне сделалось страшно, что ребенка[37*] испугают. Говорить ей я запретил прежде... но как же можно было положиться; я велел ее позвать и, запершись с нею в кабинете, посадил к себе на колени и, мало-помалу приготовив ее, сказал, наконец, что "мама" умерла. Она дрожала всем телом, пятна вышли на лице, слезы навернулись[38*]...

Я ее повел наверх. Там уж все изменилось. Покойница, как живая, лежала на убранной цветами постели, возле малютка, скончавшийся в ту же ночь. Комната была обита белым, усыпана цветами; изящный во всем вкус итальянцев умеет внести что-то кроткое в раздирающую печаль смерти.

Испуганное дитя было[39*] поражено изящной обстановкой.

– Мамаша вот! – сказала она, но когда я ее поднял и она коснулась губами холодного лица – они истерически заплакала; дольше я не мог вынести и вышел.

Часа через полтора я сидел один опять у того же окна и опять бессмысленно смотрел на море, на небо. Дверь отворилась, и взошла Тата одна. Она подошла ко мне и, ласкаясь, как-то испуганно шептала[40*] мне:

– Папа, *я умно* себя вела, я не много плакала.

С глубокой горестью посмотрел я на сироту[41*]. – "Да тебе и надо быть *умной*. Не знать тебе материнской ласки, материнской любви. Их ничто не заменит; у тебя будет пробел в сердце. Ты не испытаешь лучшей, чистейшей, единой бескорыстной привязанности в свете. Ты ее, может, будешь иметь – но к тебе ее никто не будет иметь; что же любовь отца в сравнении с материнской *болью* любви".

... Она лежала вся в цветах... сторы были опущены. – Я сидел на стуле, на том же обычном стуле возле кровати – кругом было тихо – только море шипело под окном – флер, казалось, приподнимался от слабого, очень слабого дыхания... Кротко застыли скорби и тревоги... словно страданья окончились бесследно, их стерла беззаботная ясность памятника – не знающего, что он представляет... и я все смотрел – смотрел всю ночь... ну, а как в самом деле она проснется... она не проснулась. Это не сон – это смерть.

Итак, это правда!..

... На полу, по лестнице было набросано множество красно-желтого гераниума. Запах этот и теперь потрясает меня, как галванический удар... и я вспоминаю все подробности, каждую минуту – и вижу комнату, обтянутую белым, с завешенными зеркалами – возле *нее*, также в цветах, желтое тело младенца – уснувшего не просыпаясь – и ее холодный, страшно холодный лоб – я иду – скорыми шагами[42*] без мысли и намерения – в сад – наш Франсуа лежит на траве и рыдает, как дитя, я хочу ему что-то сказать и совсем нет голоса – я бегу назад, *туда*. Незнакомая дама, вся в черном, и с нею двое детей – потихоньку отворяет дверь – она просит позволение прочесть католическую молитву. Я сам готов молиться с нею – она становится на колени перед кроватью, и дети становятся на колени, она шепчет[43*] латинскую молитву, дети тихо повторяют за ней. Потом она говорит мне[44*]:

– И они не имеют матери, а отец их далеко... Вы хоронили их бабушку...

Это были дети Гарибальди...

... Толпы изгнанников собрались через сутки на дворе, в саду, они пришли проводить ее. Фогт и я, мы положили ее в гроб – гроб вынесли[45*] – я твердо шел за ним, держа Сашу за руку, и думал: вот так-то люди глядят на толпу, когда их ведут на виселицу[46*]. Какие-то два француза – одного из них помню – граф Воге – на улице с не-

---

[36*]*Вместо*: Я стал ~ Потом *первоначально было*: [... Когда я один стоял] Один и стоял я перед окном и смотрел оглушенный, боявшийся вымерить все случившееся, – на море, бессмысленно двигавшееся и напоминавшее мне смерть Коли, смерть моей матери – и вдруг [37*]*После*: ребенка *было*: горячо любившего свою мать [38*]*После*: навернулись... *было*: чего мне всё это стоило, легко догадаться [39*]сейчас было [40*]говорила [41*]*После*: на сироту *было*: – так ребячески не понимавшую, что случилось! [42*]*Вместо*: я иду – скорыми шагами *было*: бегу [43*]она говорила [44*]*Вместо*: она ~ говорит мне *было*: и стала читать полушепотом латинскую молитву, дети повторяли ее шепотом. Потом она подошла с ними ко мне и сказала [45*]*Вместо*: Фогт и я ~ гроб вынесли *было*: Потом вынесли гроб [46*]на эшафот

нависть и смехом указали, что нет священника. Тесье было прикрикнул на них. Я испугался и сделал ему знак рукой – тишина была необходима!

Огромный венок из небольших алых роз лежал на гробе, мы все сорвали по розе – точно на каждого капнула капля крови. Когда мы входили на гору – поднялся месяц. Сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве... На пригорке, выступающем в него, в виду[47*] *Эстреля* с одной стороны и *Корниче* – с другой, схоронили мы ее. Кругом сад... эта обстановка продолжала роль цветов на постеле[48*].

Недели через две[49*] Гауг напомнил о последней воле ее, о данном слове, он и Тесье собирались ехать в Цюрих[50*]. Марии Каспаровне было пора в Париж. Все настаивали, чтоб я отправил Тату и Ольгу с ней – а сам с Сашей ехал бы в Геную.

Больно мне было расставаться – но я не доверял себе; может ... думалось мне, и в самом деле так лучше – ну, а лучше, так пусть так и будет. Я только просил не увозить детей до 9/21 мая – я хотел провести с ними четырнадцатую годовщину нашей свадьбы.

На другой день после нее – я проводил их на Варский мост. Гауг поехал с ними до Парижа[51*], – мы посмотрели, как таможенные пристава, жандармы и всякая полиция тормошили пассажиров, Гауг потерял свою трость, подаренную мною, искал ее и сердился[52*], Тата плакала. Кондуктор, в мундирной куртке, сел возле кучера – дилижанс поехал по Драгиньянской дороге – а мы, Тесье, Саша и я[53*], пошли назад через мост – сели в коляску и поехали *туда, где я жил*.

Дома у меня больше не было, с отъездом детей последняя печать *семейной* жизни отлетела – всё приняло холостой вид. Энгел⟨ьсон⟩ с женой уехал дни через два[54*] – половина комнат были заперты. Тесье и Ed⟨mond⟩ переехали[55*] ко мне. Женский элемент был исключен. Один Саша напоминал возрастом, чертами, что тут было что-то другое... напоминал кого-то *отсутствующего*!

POST SCRIPTUM

... Дней через пять после похорон – Гервег писал своей жене: «Весть эта глубоко огорчила меня, я полон мрачных мыслей... пришли мне по первой почте "I Sepolcri" – Уго Фосколо».

И в следующем письме[a]: "Теперь настало время примирения с Г⟨ерценом⟩, *причина нашего раздора не существует больше*... Лишь бы мне его увидеть с глаза на глаз[56*] – он один в состоянии *понять меня*!"

И понял![80]

ПРИБАВЛЕНИЕ

ГАУГ[1*]

Гауг и Тесье явились одним утром в Цюрихе, в отель, где жил Г⟨ервег⟩. Они спросили, дома ли он – и на ответ келнера, что дома – они велели себя прямо вести к нему, без доклада. – При их виде Г⟨ервег⟩, бледный, как полотно, дрожащий[2*], встал и молча оперся на стул.

"Он был страшен – до того выражение ужаса исказило его черты", – говорил мне Тесье.

---

[a] Оба письма ходили по рукам в Ницце. – *Прим. Герцена.*

[47*] *Вместо*: в виду *первоначально начато*: в саду [48*] *После*: на постеле *было*: ... отсюда начинается Италия[78]. [49*] Дней через десять [50*] *Вместо*: он и Тесье собирались ехать в Цюрих *было*: и собирались ехать в Цюрих. *1.* С ним ехал Ed⟨mond⟩. Тесье ехал потом. *2.* Вместе с ним ехал Ed⟨mond⟩. Тесье хотел приехать после [51*] поехал их проводить до Парижа [52*] и искал ее [53*] *Вместо*: Кондуктор ~ Тесье, Саша и я *было*: они, наконец, [поехали] покатились по Драгиньянской дороге – а мы [54*] После отъезда Энгел⟨ьсона⟩ с женой [55*] *После*: переехали *было*: на несколько дней [56*] *После*: с глаза на глаз *зачеркнуто*: (он для этого намекал в письме о дуэли без свидетелей) все объяснилось бы, и мы бросились бы друг другу на шею. Г⟨ерцен⟩ бесконечно[79]⟨(...)⟩ [1*] *После*: Гауг *первоначально было*: [и Энгельсон]. I. Гауг[81] [2*] дрожащий и со слезами на глазах

– Мы пришли к вам, – сказал ему Гауг[3*], – исполнить волю покойницы – она на ложе предсмертной болезни писала вам – вы отослали письмо[4*] нераспечатанным, под предлогом, что оно подложное – вынужденное. Покойница сама поручила мне и Тесье дю Моте – засвидетельствовать, что она письмо это писала сама, по доброй воле – и потом вам его прочесть.

– Я не хочу … не хочу…

– Садитесь и слушайте, – сказал Гауг, поднимая голос[5*]…

Он сел.

Гауг распечатал письмо и вынул из него *записку, писанную рукою Г⟨ервега⟩*.

Когда письмо, нарочно страхованное, было отослано назад, я отдал его на хранение Энгельсона. Энгельсон заметил, что две печати были подпечатаны[6*].

– Будьте уверены, – говорил он, – что этот негодяй читал письмо и именно потому его отослал назад.

Он поднял письмо к свечке и показал мне, что в нем лежала не одна, а две бумаги.

– Кто печатал письмо?

– Я.

– Кроме письма, ничего, не было?

– Ничего.

Тогда Энгельсон взял такую же бумагу, такой же пакет, положил три печати – и побежал в аптеку – там он взвесил оба письма. Присланное имело *полтора* веса. Он возвратился – с пляской и пением – и кричал мне: "Отгадал! Отгадал!"

Гауг, вынув записку, прочитал письмо, потом, взглянув на записку, которая начиналась бранью и упреками, передал ее Тесье и спросил Гервега:

– Это ваша рука?

– Да, да, это я писал.

– Стало, вы письмо подпечатали.

– Я не обязан вам давать отчета…

Гауг, изорвав его записку и бросив ему в лицо, прибавил:

– Какой вы мерзавец!

Испуганный Г⟨ервег⟩ схватился за шнурок и стал звонить изо всей силы…

– Что вы, с ума сошли? – спросил Гауг и схватил его за руку.

Г⟨ервег⟩, рванувшись от него, бросился к двери – растворил ее и закричал:

– Режут! Режут! (Mord, Mord!).

На неистовый звон, на этот крик – всё бросилось по лестнице к его комнате, гарсоны, путешественники, жившие в том же коридоре.

– Жандармов, жандармов… Режут! – кричал уж в коридоре Г⟨ервег⟩.

Гауг[7*] подошел к нему и, сильно ударив его рукой в щеку[8*], сказал ему:

– Вот тебе, негодяй (Schuft) за жандармов!

Тесье в это время взошел опять в комнату и написал имена, адресы и молча подал их ему[9*]. На лестнице собралась толпа зрителей. Гауг извинился перед хозяином[10*] и ушел с Тесье.

Г⟨ервег⟩ бросился к комиссару полиции, прося его взять его под *защиту законов* против подосланных убийц, и спрашивал – не начать ли ему процесс за пощечину.

Комиссар – при содержателе отеля – расспросив о разных подробностях, изъявил сомнение в том, чтоб люди, таким образом приходившие, белым днем, в отель, не скрывая имен и места жительства, были подосланные убийцы[11*]. Что касается до процесса, он полагал, что его начать очень легко – и наверное думал, что Гауг будет приговорен к небольшой пене и к непродолжительной тюрьме. "Но в вашем деле вот в чем неудобство, – прибавил он, – для того, чтоб осудили этого господина, вам

3***После*: Гауг *было*: громким голосом 4*его 5**После*: голос *было*: Это начало вашей казни 6*очень искусно подпечатаны 7*Гауг вне себя от [досады] гнева 8*в лицо 9**Вместо*: взошел ~ ему *было*: за Г⟨ервега⟩ столом написал имена и адресы и подал их ему, прибавив 10*сказал[82], извиняясь за беспокойство, причиненное совершенно невольно, несколько слов хозяину трактира 11**Вместо*: в отель ~ убийцы *было*: с известными именами – имели целью убить человека

надобно публично *доказать, что он вам действительно дал пощечину*[12*] – мне кажется, что, для вашей пользы, лучше дело оставить – оно же бог знает к каким ревеляциям[83] поведет".

Логика комиссара победила.

Я тогда был в Лугано. Обдумав дело[13*], на меня нашел страх, я был уверен, что Гер⟨вег⟩ не вызовет Гауга или Тесье, но чтобы Гауг умел на *этом остановиться*... и спокойно уехать из Цюриха, в этом я не был уверен. Вызов со стороны Гауга[a] был бы явным образом против характера[14*], который я хотел дать делу. Сам Тесье, на которого благородный ум я мог совершенно надеяться, во всем был слишком француз[15*].

Гауг был упрям до капризности и раздражителен до детства. У него постоянно были контры и пики то с Хоецким, то с Энгельсоном, то с Орсини и итальянцами, которых он наконец действительно восстановил против себя, – и Орсини, улыбаясь по-своему и слегка покачивая головой, говаривал пресмешно: "Oh, il generale, il generale Aug!"[84] [16*].

На Гауга имел влияние один Карл Фогт с своим светлым, практическим взглядом, он поступал агрессивно, осыпал его насмешками, кричал – и Гауг его слушался.

– Какой секрет открыли вы, – спросил я раз Фогта, – усмирять нашего бенгальского *генерала*?

– Vous l'avez dit[85], – отвечал Фогт, – вы пальцем дотронулись до секрета. Я его усмиряю потому, что *он генерал и верит в это*. Генерал знает дисциплину – он против начальства идти не может – вы забыли, что я *викарий* империи.

Фогт был совершенно прав. Несколько дней спустя Энгельсон, нисколько не думая о том, что говорит и при ком, сказал:

– На такую мерзость способен только немец.

Гауг обиделся. Э⟨нгельсон⟩ уверял его, что он не спохватился, что у него сорвалась эта глупость нечаянно с языка. Гауг заметил, что важность не в том, что он сказал при нем, а в том, что он имеет такое мнение о немцах, и вышел вон.

На другой день рано утром он отправился к Фогту, застал его в постели, разбудил и рассказал[17*] ему нанесенную обиду Германии, прося его – быть свидетелем и [18*] снести Энгельсону картель.

– Что же вы считаете, что я так же сошел с ума, как вы? – спросил его Фогт.

– Я не привык сносить обиды.

– Он вас не обижал. Мало ли что сорвется с языка... он же извинялся...

– Он обидел Германию... и увидит, что при мне нельзя безнаказанно оскорблять великую нацию[19*].

– Да вы что же за исключительный представитель Германии? – закричал на него Фогт. – Разве я не немец... разве я не имею права вступаться так же, как вы, больше, чем вы?

– Без сомнения – и, если вы берете это дело на себя, я вам уступаю.

– Хорошо, но, вверивши мне, надеюсь, что вы не станете мешать[20*]. Сидите же здесь спокойно, а я схожу и узнаю, точно ли такое мнение у Энгельсона или это так, случайно сказанная фраза[21*], – ну, а картель ваш покаместь мы изорвем.

---

[a] Он действительно его сделал, – разумеется, Г⟨ервег⟩ не пошел. – *Прим. Герцена.*

[12*] *Вместо*: для того ~ пощечину *было*: что для того, чтоб Гауга осудили, вам надобно публично *доказывать, что он вам дал пощечину* [13*] *Вместо*: Обдумав дело *первоначально было*: *1.* Не стану скрывать, что это страшное унижение [этого действительного негодяя] этого негодяя – было чрезвычайно приятно для меня. Я десять раз перечитывал письмо Гауга и Тесье, но не долго радовался. Обдумав дело *2.* Сначала весть эта меня обрадовала, это страшное унижение, думал я [14*] против всего поведения моего, всего характера [15*] *После*: француз *было*: *1.* держался той же военной теории *2.* чтоб остановить дело чести [16*] *После*: il generale Aug! *было*: *1.* (*На обороте наклеенного листа*). Много выстрадал я от несчастных столкновений, от обидчивых самолюбий именно в это время. Мне приходилось несколько раз мирить людей, стоявших возле меня, в стремлении посланием уменьшить тяжесть горестей, павших на мои плечи. – *Сообщено С.В. Житомирской. 2.* Мне приходилось беспрестанно мирить людей – искренно любивших меня и стоявших возле из действительного участия ко мне – но которых самолюбие брало верх над разумом и сердцем. [17*] Гауг пошел к Фогту, которого застал в постели. Он рассказал [18*] *Вместо*: прося ~ свидетелем и *было*: и просил его – быть его свидетелем и с тем вместе [19*] что это нельзя безнаказанно – при мне оскорблять ее. [20*] перечить [21*] подвернувшаяся фраза

Через полчаса – явился Фогт ко мне, я ничего не знал о вчерашнем событии. Фогт взошел, по обычаю, громко смеясь, и сказал мне:

– Что у вам Энгельсон – по воле ходит или нет[22*]? Я запер нашего генерала у себя. Представьте, что он за поганых немцев[23*], о которых Э⟨нгельсон⟩ дурно отозвался, хотел с ним драться, я его убедил, что расправа принадлежит мне[24*]. Половину дела сделано[25*]. Усмирите вы теперь Энгельсона, если он не в белой горячке[26*].

Энгельсон и не подозревал[27*], что Гауг до такой степени рассердился – сначала хотел лично с ним объясниться, готов был принять картель – потом сдался, и мы послали за Гаугом. Викарий – на это утро бросил медуз и салпов и до тех пор сидел, пока Гауг и Энгельсон совершенно дружески рассуждали за бутылкой вина и котлетами "à la milanaise"[86].

В Люцерне, куда я отправился[28*] из Лугано, мне предстояла новая задача[29*]. В самый день моего приезда Тесье рассказал мне[30*], что Гауг написал *мемуар* по поводу[31*] пощечины, в котором изложил все дело[32*]. Что эту записку он хочет напечатать и что Тесье его только остановил тем, что все же без моего согласия[33*] такой вещи печатать невозможно. Гауг, нисколько не сомневаясь в моем согласии, решился[34*] ждать меня.

– Употребите все усилия, чтоб этот несчастный factum[87], – говорил мне Тесье[35*], – не был напечатан, он испортит все дело – он сделает вас, память, вам дорогую, и нас всех – посмешищем на веки веков[36*].



КАРЛ ФОГТ

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш).
1849 или 1850

Надпись рукой Н.А. Герцен:
"Charles Vogt 1849 ou 1850"

Музей Герцена, Москва

"...особенно сблизились мы в два года нашей жизни в Ницце. Это не только светлый ум, но и самый светлый нрав из всех виденных мною" ("Былое и думы")

Вечером Гауг отдал мне тетрадь. – Тесье был прав. От такого удара воскреснуть нельзя бы было. Все было изложено с пламенной, восторженной дружбой ко мне и к покойной – и все было смешно, *смешно для меня* – в это время слез и отчаяния. Вся статья была писана слогом Дон Карлоса – в прозе[37*]. Человек, который мог написать такую вещь – должен был свое сочинение высоко поставить и, конечно, не мог его уступить без боя. Не легка была моя роль. Писано все это было для меня, из дружбы, добросовестно, честно – искренно, – и я-то должен был – вместо благодарности – отравить ему мысль, которая ему сильно засела в его голове и нравилась ему.

[22*]заперт где-нибудь или по воле ходит [23*]за этих за поганых немцев [24*]что это мое дело [25*]я сделал [26*]и если он не в белой горячке – и потом сведем их. Надобно дело кончить [27*]Я пошел к Энгел⟨ьсону⟩ в комнату – он еще спал – я разбудил его, он вовсе не подозревал [28*]тот час отправился [29*]*Вместо*: В Люцерне ~ новая задача *первоначально было*: Подобная история повторилась в Люцерне между Гаугом и Ch⟨arles⟩ Ed⟨mond⟩ и тут помог опять тот же Фогт. Но в Люцерне мне предстояла задача потруднее. [30*]увел меня гулять и на прогулке рассказал мне [31*]*Вместо*: по поводу *первоначально было*: о его посещении [32*]пощечины, которую он дал Г⟨ервегу⟩, в котором изложил все подробности дела [33*]что доказал ему, что без моего согласия [34*]Гауг, не сомневаясь, что я буду с ним согласен, но решился [35*]несчастный документ, в который он влюблен [36*]*После*: на веки веков *было*: Когда я ему заикнулся об этом – он до того вышел из себя, что я оставил дело до вас. [37*]но в прозе

Уступки я сделать не мог. Долго думая, я решился к нему написать длинное послание, благодарил его за дружбу, но умолял его мемуара не печатать. "Если надобно в самом деле что-нибудь печатать из этой страшной истории – то это печальное право принадлежит мне одному".

Письмо это, запечатавши, – я послал Гаугу часов в 7 утра. Гауг отвечал мне: "Я с вами не согласен, я вам и ей – ставил памятник, я вас поднимал на недосягаемую высоту – и[38*] если б кто осмелился бы заикнуться – того я заставил бы замолчать. Но в вашем деле вам принадлежит право решать, и я, само собой разумеется, если вы хотите писать – уступлю".

Он был день целый мрачен и отрывист. К вечеру мне пришла страшная мысль: *умри я – ведь он памятник-то поставит,* – и потому, прощаясь, я ему сказал, обнявши его:

– Гауг, не сердитесь на меня, в таком деле действительно нет лучшего судьи, как я.

– Да я и не сержусь – мне только больно.

– Ну, а если не сердитесь – оставьте у меня вашу тетрадь, подарите ее мне.

– С величайшим удовольствием.

Замечательно, что у Гауга с тех пор остался литературный зуб против меня, и впоследствии, в Лондоне, на мое замечание, что он к Гумболдту и Мурчисону пишет слишком вычурно и фигурно – Гауг, улыбаясь, говорил:

– Я знаю, что диалектик, у вас слог резкого разума – но чувства и поэзия имеют другой язык...

И я еще раз благословил судьбу, что не только взял у него тетрадь – но, уезжая в Англию, ее сжег.

Новость о пощечине разнеслась, и вдруг в "Цюрихской газете" появилась статья Гер⟨вега⟩ с его подписью. "*Знаменитая* пощечина", – говорил он, – никогда не была дана, а что, напротив, он "оттолкнул от себя Гауга так, что Гауг замарал себе спину об стену[39*]", что, сверх всего остального, особенно было вероятно для тех, которые знали мускульного и расторопного Гауга – и неловкого, тщедушного баденского военачальника. Далее он говорил, что все это далеко ветвящаяся интрига, затеянная *бароном* Герценом – *на русское золото,* и что люди, приходившие к нему, у меня на жалованьи.

Гауг и Тесье тотчас поместили в той же газете серьезный, сжатый, сдержанный и благородный рассказ дела.

К их объяснению я прибавил, что у меня на жалованьи никогда никого не состояло, кроме слуг и Г⟨ервега⟩, который жил последние два года на мой счет и один из всех моих знакомых в Европе – должен мне значительную сумму. Это *чуждое мне оружие* я употребил в защиту оклеветанных друзей.

На это Г⟨ервег⟩ возражал в том же журнале, что "он никогда не находился *в необходимости занимать у меня деньги и не должен мне ни копейки*". (Занимала для его его жена.) С тем вместе – какой-то доктор из Цюриха писал[40*] мне, что Г⟨ервег⟩ поручил ему – вызвать меня.

Я отвечал через Гауга[41*], что как прежде, так и теперь, я Г⟨ервега⟩ не считаю человеком[42*], заслуживающим удовлетворения, что казнь его началась – и я пойду своим путем. При этом нельзя не заметить, что[43*] два человека (кроме Эммы), принявшие сторону Гер⟨вега⟩ – этот доктор и Р. Вагнер[44*] – музыкант *будущего,* оба не имели никакого уважения к характеру Гер⟨вега⟩. Доктор, посылая вызов, прибавлял: "Что же касается до сущности самого дела, я его не знаю и желаю быть совершенно в стороне". А в Цюрихе он[45*] говорил своим друзьям: "Я боюсь, что он не будет стреляться и хочет разыграть какую-нибудь сцену – только я не позволю над собой смеяться и делать из меня шута. Я ему сказал, что у меня будет другой заряженный пистолет в кармане – *и этот для него*!"

38**Далее было*: тот 39***Вместо*: об стену *было*: белой краской 40**учтиво писал 41***После*: Гауга *было*: доктору медицины, переславшему картель 42***После*: человеком *было*: с которым можно выходить на поединок 43***После*: что *начато*: един⟨ственный⟩ 44***Вместо*: Р. Вагнер *было*: Мориц ⟨!⟩ Вагнер 45**доктор

Что касается до Р. Вагнера, то он письменно жаловался мне, что Гауг слишком бесцеремонен[46*], и говорил, что он не может произнести строгого приговора над человеком, "которого он любит и жалеет". "К нему надобно снисхождение – может, он еще и воскреснет[47*] из ничтожной, женоподобной жизни своей, соберет свои силы – из эксцентричной распущенности и иначе проявит себя"[6].

Как ни гадко было поднимать – рядом со всеми ужасами – денежную историю[48*], но я понял, что ею я ему нанесу удар, который поймет и примет к сердцу весь буржуазный мир, т.е. общественное мнение в Швейцарии и Германии.

Вексель в 10 000 фр⟨анков⟩, который мне дала Mme H⟨ervegh⟩ и хотела потом выменять на несколько слов позднего раскаянья – был со мной. Я его отдал нотариусу.

С газетой в руке и с векселем в другой явился нотариус к Г⟨ервегу⟩, прося объяснения.

– Вы видите, – сказал он, – что это не моя подпись.

Тогда нотариус подал ему письмо его жены, в котором она писала, что берет деньги для него и с его ведома.

– Я совсем этого дела не знаю и никогда ей не поручал, впрочем, адресуйтесь к моей жене в Ниццу... мне до этого дела нет.

– Итак, вы решительно не помните, что сами уполномочили вашу супругу...

– Не помню.

– Очень жаль – простой[49*] денежный иск этот получает через это совсем иной характер, и ваш противник может преследовать вашу супругу – за мошеннический поступок – escroquerie[89].

На этот раз поэт не испугался и храбро отвечал, что это не его дело. Ответ его нотариус предъявил Эмме. Я не продолжал дела. Денег, разумеется, они не платили...

Теперь, – говорил Гауг, – теперь в Лондон... этого негодяя[50*] так нельзя оставить, – и мы через несколько дней смотрели на лондонский туман из четвертого этажа Morley's Hotel.

Переездом в Лондон – осенью 1852 замыкается самая ужасная часть моей жизни – на нем я перерываю рассказ.

(*Окончено в 1858.*)

...Сегодня[51*] второе мая 1863 года... Одиннадцатая годовщина. Где те, которые стояли возле гроба? Никого нет возле... иных вовсе нет, другие очень далеко и не только *географически.*

Голова Орсини... окровавленная скатилась с эшафота...

Тело Энгельсона – умершего врагом мне – покоится[52*] на острове Ламанша.

Тесье дю Моте – химик, натуралист – остался тот же кроткий и добродушный – но сзывает духов... и вертит столы[53*].

Charles Edmond – друг принца Наполеона – библиотекарем в Луксембургском дворце.

Ровнее всех, вернее всех себе остался К. Фогт[54*].

Гауга я видел году тому назад[55*]. Из-за пустяков он поссорился со мной в 1854 году, уехал из Лондона не простившись и перервал все сношения. Случайно узнал я, что он в Лондоне[56*]. Я велел ему передать, "что настает десятилетие после похорон,

---

[6]Письмо Вагнера в прилож⟨ении⟩. – *Прим. Герцена*[88].

[46*]***Вместо***: он письменно ~ бесцеремонен *было*: он жаловался мне (будучи совершенно не знаком со мною) на настойчивость Гауга [47*]он и воскреснет еще [48*]историю денег [49*]***Перед***: простой *зачеркнуто*, процесс [50*]дела [51*]***Перед***: Сегодня *зачеркнуто заглавие:* Через XI лет. *Далее*: *О д и н н а д ц а т ь л е т*!.. Да, сегодня [52*]давно покоится [53*]***Вместо:*** остался ~ вертит столы *было*: стал вертеть столы, сзывать духов, кроткий и добродушный, он [приходил] приходит в исступление, когда разговор [касался] касается до его мистических воззрений и он [замечал] замечает тень сомнения. [54*]***Вместо***: Charles Edmond ~ К. Фогт *было*: Ровнее всех остался К. Фогт, но с ним и с Ch. Edmond – жизнь, интересы, занятия – все развело нас. [55*]несколько месяцев тому назад [56*]***Вместо***: что он в Лондоне *было*: прошлой осенью, что он здесь, от общего знакомого

что стыдно сердиться[57*] без серьезного повода, что нас связывают святые воспоминания[58*] и что если он забыл, то я помню, с какой готовностью он протянул мне дружескую руку[59*]".

Зная его характер, я сделал первый шаг – и пошел к нему[60*] . Он был рад, тронут[61*], и при всем эта встреча была[62*] печальнее всех разлук...

Сначала мы говорили – о лицах, событиях, вспоминали подробности[63*]... потом сделалась пауза... Нам очевидно нечего было сказать друг другу, мы стали[64*] совершенно чужие. Я делал усилия поддержать разговор, Гауг выбивался из сил; разные[65*] инциденты его поездки в Малую Азию выручили. Кончились и они – опять стало тяжело[66*].

– Ах, боже мой, – сказал я, вдруг вынимая часы, – пять часов, а у меня назначен rendez-vous[90] – я должен оставить вас.

Я солгал – никакого rendez-vous у меня не было. С Гауга тоже словно[67*] камень с плеч свалился.

– Неужели пять часов? – Я сам еду обедать сегодня в Clapham.

– Туда час езды, не стану вас задерживать. Прощайте.

И, выйдя на улицу, я был готов "захохотать"? – нет, заплакать[68*].

Через два дня он приехал завтракать ко мне. То же самое. На другой день хотел он ехать – как говорил – остался гораздо дольше, но нам было довольно – и мы не старались увидеться еще раз[69*].

ТЕДДИНГТОН. ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Август 1863.

Бывало О⟨гарев⟩, в новогородские времена, певал "Cari luoghi, io vi ritrovai"[91]... найду и я их снова, и мне страшно, что я их увижу.

Поеду той же дорогой через Эстрель на Ниццу. Там ехали мы в 1847 – спускаясь оттуда в первый раз в Италию. Там ехал в 1851 в Иер – отыскивать след моей матери, сына – и ничего не нашел.

Туго стареющая природа осталась та же – а человек изменился, и было от чего. Жизни, наслажденья искал я, переезжая в первый раз Приморские Альпы.

...Были сзади небольшие тучки, печальная синева носилась над родным краем... и ни одного облака впереди... Тридцати пяти лет я был молод и жил в каком-то беззаботном сознании силы.

Во второй раз – я ехал тут в каком-то тумане, ошеломленный, я искал тела, потонувший корабль – и не только сзади гнались страшные тени – но и впереди все было мрачно[70*] .

В третий раз...еду к детям, еду к могиле... желанья стали скромней, ищу немного досуга мысли, немного гармонии вокруг, ищу покоя – этого noli me tangere[92] устали и старости.

ПОСЛЕ ПРИЕЗДА

21 сентября 63 был я на могиле. Все тихо – то же море, – только ветер подымал столб пыли по всей дороге. Каменное молчание и легкий шелест кипарисов – мне были странны, чужды. *Она не тут*... Здесь ее *нет* – она жива во мне[71*] .

Я пошел с кладбища в оба дома. Дом Сю и дом Дуйса. Оба стояли пустыми. Зачем я вызвал опять этих немых свидетелей[72*] à charge[93].

[57*]Я велел ему передать, что стыдно сердиться около десяти лет [58*]воспоминания, святые нам обоим [59*]мне руку, когда она мне была нужна [60*] Зная его слабости и принимая на себя первый шаг, я пошел после этого к нему. [61*]Он был рад мне, был тронут [62*]была, может [63*]подробности из былого [64*]мы были [65*]на время разные [66*]*После*: тяжело *было:* скучно [67*]как [68*]подумают многие, нет, горько заплакать [69*]не видались больше [70*] *Вместо*: и не только ~ мрачно *было*: и уж сзади, за спиной были страшные были [71*] *Вместо*: Здесь ~ во мне *было*: ...Она схоронена тут – она жива во мне. Здесь ее *н е т* . Мне было страшно. [72*]*Перед*: этих немых свидетелей *было*: эти стены



НИЦЦА. ПРЕДМЕСТЬЕ СЕНТ-ЭЛЕН.

ВИД ИЗ ОКНА ДОМА ДУЙСА, ГДЕ В 1851–1852 гг. ЖИЛИ ГЕРЦЕНЫ

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). (1851)

Музей Герцена, Москва

"В комнате, где ее не стало, – я раскрыл ставень. – Знакомый вид моря, берега и церкви – она его рисовала несколько раз..." (Из дневника. 24 сентября 1863 г.)

Вот терраса, по которой я между роз и виноградников ходил задавленный болью[73*] – и глядел в пустую даль с каким-то безумным и слабодушным желаньем – облегченья, помощи... и не находя их в людях, – искал в вине. Диван[74*], покрытый теперь пылью и какими-то рамками – диван[75*], на котором *она* изнемогла и лишилась чувств в страшную ночь объяснений.

Я отворил ставень в спальной дома Дуйса – вот он старо-знакомый вид...[76*] Я обернулся – кровать, тюфяки сняты и лежат на полу... словно на днях был вынос... Сколько потухло, исчезло в этой комнате. Бедная страдалица – и сколько я сам – беспредельно любя ее[77*] – участвовал в ее убийстве!

ЕЩЕ ПОСЕЩЕНИЕ
(26 марта 1865)[94]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]на воле (*нем.*).

[2]В автографе фамилия Н.М. Сатина опущена (вместо нее – тире). Восстановлена по автографу дневника Н.А. Герцен (*РГБ*, ф. 69.9.39).

[3]Герцен, вероятно, ошибся, указав, что последнюю запись в дневнике Н.А. Герцен сделала в декабре 1846 г. Все записи в нем относятся к октябрю–ноябрю 1846 г. 5 ноября 1846 г. приходилось не на среду, как пометила Наталья Александровна (а вслед за нею и Герцен). а на вторник.

[4]Буква "В", которой Герцен обозначил настоящую тетрадь, указывала, очевидно, на ее место в общем плане мемуаров (этот план остается нам неизвестен). Такие буквенные обозначения имели и другие

[73*]*Вместо*: задавленный болью *было*: ломая руки [74*]И диван [75*]тот диван [76*]*Вместо:* Я отворил ~ вид *было:* Сад дома Дуйса искажен железной дорогой. Я отворил ставень, в спальной тот вид [77*]*Вместо*: ее *зачеркнуто*: тебя

тетради Герцена (чаще оставшиеся неопубликованными при его жизни) с главами "Былого и дум". Так, например, тетрадь с текстом главы "Н.Х. Кетчер. (1842–1847)" помечена буквой "А" (помещена на наклейке на переплете тетради с автографом этой главы) – *РГБ*, ф. 69.1.2 (см. "Описание рукописей А.И. Герцена". М., 1950, с. 8, № 3). Есть сходные буквенные пометы ("Д", "Е") и на других тетрадях Герцена с главами "Былого и дум" (см. там же, с. 10, № 14, с. 15, № 35).

[5]Слова "писала Natalie к Огареву в конце 1846 года" в автографе заключены Герценом в квадратные скобки. Возможно, он первоначально предполагал исключить их из текста, но потом от этого отказался.

[6]Герцен цитирует – с некоторой стилистической правкой – письмо Н.А. Герцен к Огареву от 24 декабря 1846 г., автограф которого хранится в *РГБ* (ф.69.9.253). Курсив в цитате принадлежит Герцену. Это письмо он переписал в ту же тетрадь, что и дневник Н.А. Герцен (см. XXX, 628–629).

[7]В автографе, при внесении правки, слова "и приложенного в другом месте" остались незачеркнутыми. Стоящий у этих слов знак* отсылает к помете на обороте листа: «Сон ⟨?⟩ в "Арабесках"». Можно предположить, что на каком-то этапе работы Герцен намеревался использовать дневник Н.А. Герцен, возможно, в качестве приложения к "Западным арабескам. Тетрадь первая" (X, 25–35), но затем решил включить его в состав настоящей главы. Слова "приложенного в другом месте", как остаток незавершенной правки, в основном тексте теперь нами опущены. Слово "писано" исправлено на "писаны" для согласования.

[8]Неточная цитата из "Письма девятого" "Писем из Франции и Италии" (см. V, 132).

[9]Далее в тетрадь вклеены два с половиной листа (с. 35–36, 37–38 и часть с. 39) 2-го издания книги "С того берега" (L., 1858 – см. VI, 41–44). Фраза: "Вот что я писал об них через месяц" – написана Герценом на с. 35 печатного текста, предшествуя ему. Слова: "Повторю несколько строк, писанных мною через месяц" – в автографе остались незачеркнутыми (они нами опущены).

[10]"Часовой, берегись!" (*франц.*).

[11]*славные ребята* (*франц.*).

[12]"Умереть за отечество" (*франц.*).

[13]К цитате из письма Герцен сделал подстрочное примечание: «"Арабески" и в прилож⟨ении?⟩ В конце тетради». Оно, с одной стороны, отсылает к "Западным арабескам. Тетрадь первая" (X, 25–35), а с другой, вероятно, свидетельствует о первоначальном намерении Герцена дать в приложении к "Inside" письма Н.А. Герцен, относящиеся к этому времени, как он это делал в приложениях к другим частям "Былого и дум". Замысел этот не был осуществлен.

[14]"Проходите!" (*франц.*).

[15]В автографе слово "была" ошибочно повторено Герценом дважды.

[16]Письмо Н.А. Герцен к Н.А. Тучковой, которое цитирует здесь и далее Герцен, писалось в течение нескольких дней декабря 1848 г. (опубликовано в *РП* I, 254–257). В начале автографа (*РГБ*, ф. 69.9.266) помета рукой Герцена: "21 декаб⟨ря⟩ 1848. Париж", поставленная, очевидно, в день, когда письмо было отправлено. Начальная часть письма, к которой относится цитируемый текст ("Мне надоели китайские тени ~ я воскресаю во всей силе..."), в автографе Н.А. Герцен не датирована. Этим объясняется правка в дате: Герцен вначале написал "21 декаб⟨ря⟩ 1848" (используя свою помету), но затем, цитируя далее продолжение этого письма (с датой 15 декабря), исправил "декабря" на "ноября", сопроводив дату вопросительным знаком. Судя по содержанию, эта часть письма написана в первых числах декабря (до 8).

[17]Текст из письма Н.А. Герцен: "Если б все говорить ~ наконец, я хочу, чтоб..." – в автографе датирован 8 декабря 1848 г.

[18]жизнь бьет через край (*франц.*).

[19]Здесь и далее Герцен цитирует письмо Н.А. Герцен к Н.А. Тучковой от 24 января – 6 февраля 1849 г. из Парижа (автограф в *РГБ*, ф. 69.9.268; полностью опубликовано в *РП* I, 260–264). В вычеркнутой части письма ("Странный человек ~ А человек он хороший") Н.А. Герцен характеризовала И.С. Тургенева. В автографе Натальи Александровны: "Странный человек Тур⟨генев⟩ ⟨...⟩", а далее, как у Герцена. При включении письма Н.А. Герцен в текст "Inside" Герцен сначала опустил фамилию Тургенева, тем самым как бы перенося его оценку на человека обобщенного – тип, но, поскольку фраза получилась не совсем ясная, Герцен затем вовсе исключил эту часть цитаты из основного текста.

[20]Герцен цитировал эти строки, очевидно, по памяти (глава "После грозы" из книги "С того берега" – ср. VI, 43). Они были вычеркнуты Герценом, так как уже были приведены им выше. Цитируемое далее письмо Н.А. Герцен в сокращенном виде также уже было использовано Герценом.

[21]"Утешение ее души" (*итал.*).

[22]передовые статьи парижских газет (*франц.*).

[23]В текст "Полярной звезды" неизвестной рукой после слов "забежавший" на полях вставлено слово "вперед" ("забежавший вперед ум"). Однако это слово, отсутствующее как в 1-м изд. "Полярной звезды", так и в т. IV отд. изд. "Былого и дум", нами в текст не включается, поскольку эта поправка принадлежит не Герцену.

[24]"в средине жизненного пути" (*итал.*).

[25]"Я вырвал ее, истекая кровью, из израненного сердца и громко заплакал и отдал ее" (*нем.*).

[26]Напечатанное в тексте "Полярной звезды" (в 1-м и 2-м изд.): "И надменное ⟨!⟩ поставил заглавием ⟨...⟩", исправлено на полях "амстердамской тетради" на: "И надменно я поставил заглавием..." Эта поправка Герцена учтена в тексте.

[27]"Все свое несу с собой!" (*лат.*).

[28]обойдусь сам (*итал.*)

[29]"Отжили! (*лат.*).

[30]В автографе ошибочно: 1835.

[31]непринужденности (*франц.*).

[32]ни с чем не считающийся (*нем.*).
[33]в почитании (*нем.*).
[34]мания преувеличения (*нем.*).
[35]наслаждения (*нем.*).
[36]Юридический термин (*лат.*), означающий "заочно".
[37]мечтали о нем (*нем.*).
[38]рабочий кабинет (*нем.* Studierzimmer).
[39]"во всей своей непосредственности (*лат.*).
[40]Герцен имеет в виду стихотворение Г. Гервега "Vive la République!" из книги "Gedichte eines Lebendigen" ("Стихи живого человека"), каждая строфа которого заканчивается французским лозунгом "Да здравствует республика!"
[41]*Clos de Vougeot* – марка французского вина.
[42]Слова: "Эмма ~ из Цюриха", которыми начинался л. 32 авторской пагинации, были переписаны Герценом на предыдущий лист (31), а в начале л. 32 вычеркнуты (слова "из Цюриха" остались здесь ошибочно незачеркнутыми).
[43]"Сокровищу" (*нем.* Schatz).
[44]любимчика (*франц.* mignon).
[45]Так по-детски (*нем.*). *В варианте:* он такой ребенок! (*нем.*).
[46]рейнскую армию (*франц.*).
[47]в походе (*нем.*).
[48]значения (*франц.*)
[49]в замысле (*лат.*).
[50]теперь или никогда (*итал.*).
[51]или – или (*нем.*).
[52]настороже (*франц.*).
[53]досаду (*франц.*).
[54]небрежность (*франц.*).
[55]государственного переворота (*франц.*).
[56]Правдами и неправдами (*лат.*).
[57]блистаю своим отсутствием (*франц.*).
[58]выставлением напоказ (*франц.*).
[59]с женой и ребенком (*нем.*).
[60]Дорогой Герцен (*нем.*).
[61]К словам "добрый Рокка" на обороте предыдущего листа сделано примечание (возможно, А.А. Герценом): "Наш повар".
[62]Текст гл. VI в "амстердамской тетради" отсутствует. На л. 86 об. авторской пагинации помета Герцена: «"VI. Oceano nox" и Турин напеч. в IV "Былого и думы"» (см. вступительную статью).
[63]Ночь на океане (*лат.*).
[64]"В бездомном море, в безлунную ночь, навсегда погребенные под водами слепого океана" В. Гюго (*франц.*).
[65]санитарного надзора (*итал.*).
[66]"Никто не знает вашей участи, бедные, погибшие головы; вы будете катиться в мрачных пространствах, ударяясь лбами о неведомые скалы" (*франц.*). – Из стихотворения В. Гюго "Oceano nox".
[67]плеврит (*франц.* pleurésie).
[68]Здесь: выздоровление (*франц.*).
[69]в одежде грузчика (*франц.*).
[70]суд чести (*франц.*).
[71]После слов "принялся его ждать", помета Герцена: "ω′ω′ по вложенному листу". На обороте предыдущего листа рукой Герцена: "Письмо" – и неизвестной рукой (возможно, Я.А. Зильберштейна, который копировал тексты для издания под ред. М.К. Лемке): "Где же эти вложенные листы"? Текст письма в "амстердамской тетради" отсутствует. Судя по помете, Герцен, предполагал включить в текст "Былого и дум" отрывки из своего мартовского письма к Э. Гаугу (см. XXIV, 242–250), но этого намерения не осуществил.
[72]Два листа с копией письма Н.А. Герцен к Г. Гервегу, сделанной ранее Герценом, вклеены в тетрадь. После слов "при свидетеле" отсылочный знак *, но примечание, которое собирался сделать Герцен, отсутствует.
[73]это величественно, это возвышенно, но это подло (*франц.* и *нем.*).
[74]людей, с которыми занималась (от *франц.* pratique).
[75]Да ну же, смелей... (*нем.*).
[76]Безумно дорого, безумно дорого! (*нем.*).
[77]После слов "она велела" в автографе знак **, указывающий на вставку, которая отсутствует.
[78]После зачеркнутых слов "отсюда начинается Италия', помета Герцена "По влож⟨енному?⟩ лист⟨у⟩ ψψψ", который в тетради отсутствует. Знаки ψψψ повторены перед следующим абзацем (перед словами "Недели через две"). На л. 120 авторской нумерации вопрос копиисту: "Где ψψψ".
[79]Далее следуют густо зачеркнутые полторы строки, не поддающиеся прочтению. Читается лишь повторяющееся дважды слово "прощение".
[80]"Post scriptum" завершается пометой Герцена "Перепис⟨но⟩ 9 сент⟨ября⟩ 1860. Bournemouth". На обороте предыдущего листа помета Герцена: "Конец V части".

[81]В автографе "I. Гауг" осталось незачеркнутым.
[82]Слово "сказал" осталось в автографе незачеркнутым.
[83]разоблачениям (от *франц.* révélations).
[84]О, генерал, генерал Гауг! (*итал.*).
[85]Здесь: Вы его сами открыли (*франц.*).
[86]"по-милански" (*франц.*).
[87]записка с изложением обстоятельств дела (*лат.*).
[88]Герцен намерен был дать в особом приложении к "Inside" письма свидетелей его семейной драмы. Очевидно, среди них он собирался поместить и письмо Р. Вагнера, но своего намерения не осуществил. Известно одно письмо Вагнера к Герцену этого времени – от 30 июня 1852 г. – (см. *Л.* XIV, 121–124).
[89]мошенничество (*франц.*).
[90]свидание (*франц.*).
[91]"Дорогие места, я опять вас увидел" (*итал.*).
[92]не тронь меня (*лат.*).
[93]обвинения (*франц.*).
[94]Слова: "Еще посещение (26 марта 1865)" – помещены на отдельном листе. Текст записи отсутствует.

ЦЕХ УЧЕНЫХ

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ СТАТЬИ "ДИЛЕТАНТЫ И ЦЕХ УЧЕНЫХ" (К истории создания цикла "Дилетантизм в науке")

Публикация А.И. Володина и С.В. Житомирской*

Статья А.И. Володина

1

В описи фонда П.Л. Лаврова (хранится в *ГАРФ*) это "дело" называлось: «Рукопись П.Л. Лаврова "Цех ученых" (ноябрь 1842)» (ф. 1762, оп. 2, ед.хр. 417). Но стоило только раскрыть "дело", перелистать, бегло просмотреть страницы – и сразу же стало ясно: это *рукопись не П.Л. Лаврова, а Герцена*, автограф третьей статьи из его цикла "Дилетантизм в науке", одного из важнейших произведений отечественной философской мысли XIX в. Характерный герценовский почерк, в конце – подпись: *И-р* (сокращенное *Искандер*). Так в июне 1980 г. мною была обнаружена неизвестная ранее рукопись Герцена.

Впрочем, как видно из "листа использования", еще задолго до этого, в 1966 г., на "дело" 417 обратил внимание историк В.В. Альтман; он даже заказал фотокопию с рукописи. Вероятно, она так и осталась в его домашнем архиве: вскоре В.В. Альтман умер.

А автограф Герцена продолжал оставаться неизвестным. Ну, не удивительно ли? Тем более что на самом верху первого листа чьей-то рукой сделана надпись: "Будто бы Герцена (рукопись)"...

Отныне при переиздании "Дилетантизма в науке" уже не напишут в примечаниях: "Рукописи неизвестны": третья статья цикла – "Дилетанты и цех ученых", впервые появившаяся в 1843 г. в "Отечественных записках" (№ 5), – будет теперь печататься с учетом найденного автографа.

Совпадая с названной статьей по существу, но отличаясь от нее рядом значительных вариантов, найденная рукопись дает возможность не только исправить некоторые погрешности первопечатного журнального текста, но и оценить характер и смысл тех изменений, которые были внесены Герценом в процессе работы над статьей. Теперь у исследователей есть материал, помогающий полнее представить, так сказать, "творческую технологию" Герцена при работе его над философскими сочинениями.

История создания цикла статей "Дилетантизм в науке" изучена пока еще недостаточно. Поэтому, прежде чем обратиться к анализу вновь найденной автографической рукописи третьей статьи цикла, необходимо указать на некоторые – ранее известные, но не вполне еще осмысленные – факты, раскрывающие эту историю, и дать общую характеристику всему циклу. В таком контексте яснее станет значение публикуемого автографа.

2

Цикл статей, объединенных названием "Дилетантизм в науке", написан в 1842–1843 гг. Он знаменует важный рубеж в духовном развитии Герцена – окончательный разрыв с теми религиозными воззрениями (в духе христианского социализма), с которыми были связаны его идейные искания конца 1830-х годов и переход на позиции философского рационализма, атеизма и – в последующем – материализма. С этих позиций, опираясь притом на диалектику Гегеля, Герцен стремится уяснить в работе "Дилетантизм в науке" предмет и задачи философии, ее место в научном знании и общественной жизни. Посредством идей, почерпнутых у великого немецкого мыслителя, но критически переосмысленных и своеобразно интерпретированных в духе философии *действования* (это понятие – одно из центральных в "Дилетантизме..."), Герцен пытался дать теоретическое обоснование своим социально-политическим убеждениям[1].

---

* Подготовка текста (по автографу) С.В. Житомирской.

В истории возникновения замысла работы важное место занимают споры Герцена осенью и зимой 1839 г., а затем в 1840 г. с теми "москвичами" (М.А. Бакунин, М.Н. Катков, В.Г. Белинский, отчасти Н.Х. Кетчер и даже Огарев), которые, увлекшись философией Гегеля, давали ей консервативное истолкование – в духе "примирения с действительностью" (IX, 17–24). Необходимость разобраться в характере их аргументации заставила Герцена "испить из самого источника" (IX, 23) – приступить к серьезному изучению сочинений Гегеля.

До 1839 г. Герцен имел довольно приблизительное представление о гегелевской философии, составившееся на основе весьма отрывочных и не всегда объективных сведений, в частности тех положений и оценок, которые содержались в работах некоторых французских авторов – например, Э. Кине[2]. "Гегеля я сам не читал..." – признавался Герцен в феврале 1839 г., обращаясь с просьбой к Кетчеру прислать ему во Владимир "что-нибудь" из литературы "гегелистов" (XXII, 10–11).

В конце 1839 г. Герцен, по всей видимости, приступает к штудированию произведений Гегеля. Об этом мы можем заключить и по одному из писем Огарева, в котором содержится упрек Герцену, что он "нехорошо приступает" к Гегелю: "Эй Саша! Ты в чтении философии еще не отказался от своего личного мнения ⟨...⟩ и трактуешь о Гегеле свысока"[3].

В письме к Огареву от 14 ноября Герцен призывает друга: "Пойдем в школьники опять, я учусь, учусь истории, буду изучать Гегеля" (XXII, 54).

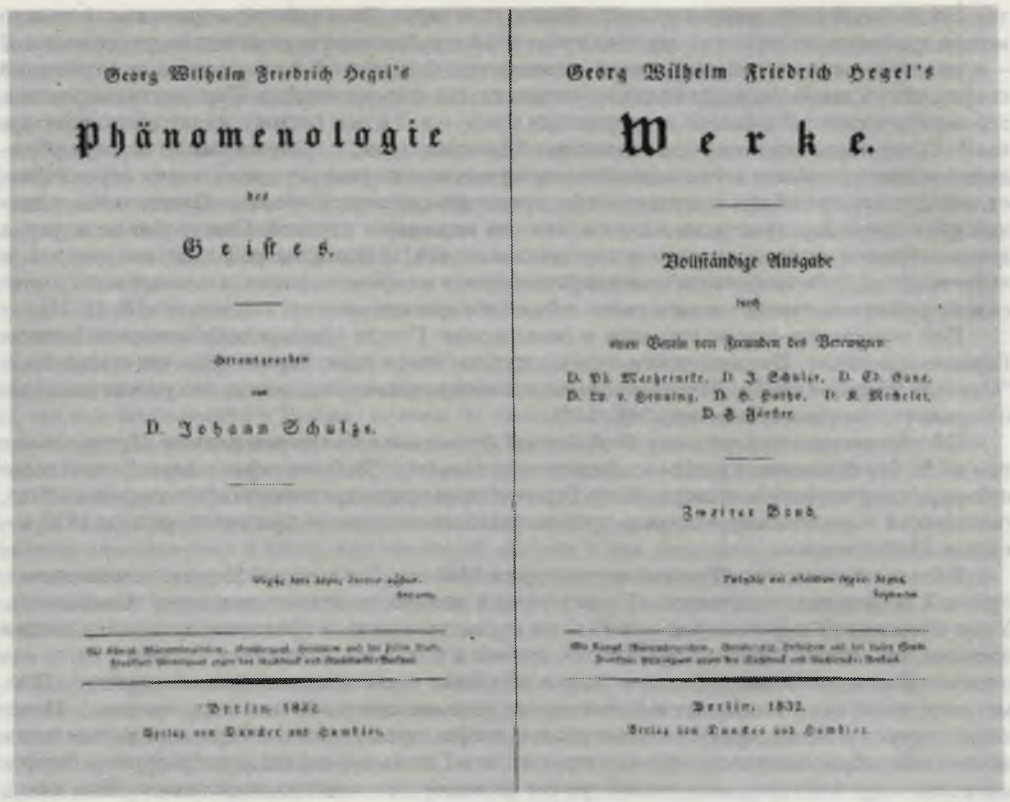
Из слов Герцена, относящихся к февралю 1841 г., о его планах на этот год: "Продолжать изучать Гегеля и немцев" (XXII, 99), – видно, что именно этим он прежде всего занимался в 1840 г. Одновременно, уже поселившись в Петербурге, Герцен внимательно следит за философскими статьями, появляющимися в русских журналах. Так, летом 1840 г. он рекомендует А.Е. Скворцову познакомиться со статьей Бакунина "О философии", напечатанной в № 4 "Отечественных записок" за 1840 г. (см. XXII, 434[4]). Во второй половине июля Огарев упрекает Герцена: "Как не стыдно было увлечься гегельством Губера, который, судя по его философским статьям, если и читал Гегеля, то еще меньше понимает, чем Белинский понаслышке"[5]. Не имея возможности судить о том, насколько справедлив был этот упрек по существу, заметим, что речь, вероятнее всего, шла о статье Э. Губера "О философии", помещенной в № 1 и 3 "Отечественных записок" 1839 г. В начале первой статьи Губер утверждал, что философия пока проходит мимо русских, упрекал "доморощенных философов" в "темном словопрении" и "напыщенных фразах", говорил о неустановившейся в России философской "номенклатуре", т.е. терминологии. "...Обращу особенное внимание, – писал Губер, – на философские системы, созданные в новейшее время в Германии, потому что они, начиная с прошедшего столетия, служат истинным мерилом состояния и развития философии, в полном ее объеме, по всем ее направлениям"[6]. Эти положения, несомненно, могли привлечь к себе внимание Герцена[7].

Положение дел в немецкой философии Губер знал неплохо. В № 1 "Отечественных записок", в статье "Германская литература в 1838 году" (ее автором, как установлено В.Э. Боградом, был Губер[8]), Герцен мог прочитать и о новом издании сочинений Гегеля – "одного из четырех светил немецкой философии", и о том, что гегелевская система "при первом своем появлении уже означила навсегда свои начала, свое направление ясными, неизменными чертами", а также такие слова: "Главное направление, принятое нынешнею немецкою философиею, дано ей Гегелем; школа этого мыслителя первенствует и числом и дарованиями своих последователей ⟨...⟩ в наше время система Гегеля обратила на себя особенное внимание наших соотечественников: многие изучают ее с усердием, переводят его сочинения и стараются распространять его философические воззрения, которые, будучи приспособлены к условиям нашего быта, могут принести богатые плоды русской науке. Жаль, что большая часть подобного рода попыток не может иметь надлежащего успеха: философический язык, еще необработанный и не принятый у нас, препятствует ясному изложению предмета"[9].

Теперь, в 1840 г., в число поклонников Гегеля входил и Герцен, ранее настроенный по отношению к немецкому мыслителю весьма критически.

Но понимает он его особым образом, о чем свидетельствует его письмо к Огареву от 2–4 марта 1841 г. по поводу "контузии № 2" – распоряжения царя о второй его ссылке (в Новгород): "Я было затерялся (по примеру XIX века) в сфере мышления, а теперь снова стал действующим и живым до ногтей; самая злоба моя восстановила меня во всей практической доблести, и, что забавно, на самой этой точке мы встретились с Виссарионом ⟨Белинским⟩ и сделались партизанами друг друга. Никогда живее я не чувствовал необходимости перевода, – нет – развития в жизнь философии" (XXII, 103–104). Это, последнее, суждение – зерно, из которого позже разовьется "Дилетантизм в науке".

Из прочитанных Герценом сочинений Гегеля (а насколько широко было его знакомство с Гегелем, мы не знаем; известно лишь, что в конце 1840 г. Бакунин послал ему из Берлина


Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

Phänomenologie

des

Geistes.

Herausgegeben

von

D. Johann Schulze.

Berlin. 1832.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

Werke.

Vollständige Ausgabe

nach

unter Beihilfe von Freunden des Verewigten

D. Ph. Marheineke, D. J. Schulze, D. Ed. Gans,
D. Dr. v. Henning, D. H. Hotho, D. K. Michelet,
D. H. Förster.

Zweiter Band.

Berlin. 1832.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ГЕГЕЛЯ. ТОМ ВТОРОЙ. "ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДУХА" (БЕРЛИН, 1832)

Титульный лист и контртитул

первую часть вновь изданной "Энциклопедии философских наук"[10]) наибольшее впечатление на него произвела "Феноменология духа". В письме к А.А. Краевскому из Новгорода от 3 февраля 1842 г. есть такие слова (они также впоследствии будут как бы воссозданы в "Дилетантизме..." – см. III, 19–20): «Кстати, скажите Бел⟨инскому⟩, что я наконец дочитал, *и хорошо*, "Феноменологию", чтоб он ругал одних последователей ⟨...⟩ а великую тень не трогал бы. К концу книги точно въезжаешь в море – глубина, прозрачность, веяние духа несет – lasciati ogni speranza[11], берега исчезают, одно спасенье внутри груди, но тут-то и раздается: Quid timeas, Caesarum vehis[12], страх рассеивается – берег, вот прекрасные листки фантазии ощипаны, но сочные плоды действительности тут. Исчезли Ундины – но полногрудая дева ждет. Извините, я что-то заврался, но таково было впечатление. Я дочитал с биением сердца, с какою-то торжественностью. Г⟨егель⟩ – Шекспир и Гомер вместе. Оттого добрым людям и кажется непонятно греко-английское наречие его» (XXII, 128).

Заметим, что весь этот кусок следует в письме за словами о том, что Герцену очень понравился в № 1 "Отечественных записок" за 1842 г. "отрывок о Гегеле" – анонимно напечатанные "Воспоминания о Гегеле", вероятно, К.Л. Михелета (Мишле). Как сказано в редакционном примечании, эти воспоминания одного "из знаменитейших учеников Гегеля, стяжавших себе европейскую славу", заимствованы "из одного немецкого журнала". Тут говорилось о замкнутости системы Гегеля в самой себе и особенно воздавалась хвала гегелевской "Феноменологии". Приведем два фрагмента из этой статьи – те именно, в перекличку с которыми Герцен вступит в "Дилетантизме...".

"Гегель вывел философию из-под исключительного обладания некоторых и сделал ее общим достоянием, общею задачею всего разумного человечества"[13]. Сравним со словами Герцена из первой статьи цикла: "Все дело философии и гражданственности – раскрыть во всех головах один ум. На единении умов зиждется все здание человечества..." (III, 14).

«Там ⟨в "Феноменологии духа"⟩, в своих облеченных стальною бронею положениях, немилосердно бичует он сентиментально-бессильные, пустые "прекрасные души", притворство,

так называемый закон сердца и самолюбивое умничанье. Величайший подвиг, какой только можно требовать от человека, состоит в том, чтоб он убил свое эмпирическое, чувственное *Я* – и удовлетворение этого требования, этот взгляд, брошенный в самое лицо нравственной смерти, есть именно творение великого человека, его феноменология. Перенести смерть своего эмпирического *Я* и однако ж удержаться в нем, – вот в чем состоит жизнь мыслящего духа»[14]. Сопоставим эти слова с положениями "Дилетанитзма...": "Отречение от личных убеждений значит признание истины; доколе моя личность соперничает с нею, она ее ограничивает, она ее гнет, выгибает, подчиняет себе, повинуясь одному своеволию. Сохраняющим личные убеждения дорога́ не *истина*, а то, что они *называют* истиной. Они любят не науку, а именно туманное, неопределенное стремление к ней, в котором раздолье им мечтать и льстить себе ⟨...⟩ Личность исчезает в царстве идеи, в то время как жажда насладиться, упиться себялюбием заставляет искать везде себя и себя как единичного, как этого" (III, 12–16).

Под знаком серьезного изучения и осмысления Гегеля прошли теоретические занятия Герцена и в 1842 г. Подводя итоги своим штудиям этого года, Герцен отмечал в дневнике: "Сначала усердное чтение Гегеля, пониманье и воспроизвожденье живое его ученья тогда же и первая статья о дилетантизме..." (II, 254).

Об обстоятельствах создания этой первой статьи мы еще скажем дальше. Тут же отметим иное: без сомнения, в самом возникновении замысла "Дилетантизма в науке" значительную роль сыграла неудовлетворенность Герцена теми представлениями о философии вообще, гегелевской – в частности, которые проповедовались со страниц русских журналов 1830-х – начала 1840-х годов.

В статье Белинского "Русская литература в 1841 году", с которой Герцен познакомился, будучи в Новгороде, говорилось: «У нас играют в поэзию, в литературу и науку, как в мячик. У нас думают, что и философия может быть таким же легким и приятным препровождением времени, как чтение газетного фельетона: прочел и понял все, а не понял – темно и глупо написано... Бог судья людям, рассеивающим в обществе такие невежественные понятия!.. Посмотрите, что и как у нас пишут о Гегеле люди, не имеющие о нем никакого понятия... Переведут глупую, невежественную статью какого-нибудь презираемого в Германии за свое невежество и недобросовестность мистика и решат, что Гегель чудовище! А добродушная безграмотность, видя в восхищении, что ей тут все по плечу, все понятно, восклицает: "Вон каков этот Гегель, а у нас его прославляют!.."»[15] Недобросовестный мистик, которого имеет в виду Белинский, – это Ф. Баадер; "глупую, невежественную" статью "Беседы Баадера" поместил журнал "Москвитянин" в № 6 за 1841 г. Автором ее был С.П. Шевырев.

А несколькими месяцами ранее, в № 1 этого журнала, в программной статье "Взгляд русского на современное состояние Европы" с резкой критикой западноевропейского философского рационализма выступил тот же Шевырев, один из глашатаев идеологии "официальной народности". Как и Белинский, Герцен был до предела возмущен его статьей. «Ну, хорош ваш "Москвитянин" ⟨...⟩ с шевыревскими взглядами без штанов. Дикое варварство», – писал он из Петербурга Н.Х. Кетчеру 1–4 марта 1841 г. (XXII, 103). Такие и подобные им обскурантистские выступления "Москвитянина" явились, очевидно, весьма сильным стимулом к написанию "Дилетантизма...".

К 1842 г. была, вероятно, осознана Герценом также и неудовлетворительность статьи Бакунина "О философии", еще два года назад рекомендовавшейся им, как говорилось выше, некоторым приятелям.

В период создания "Дилетантизма в науке" Герцен внимательно следил за философской жизнью Западной Европы. Он в курсе новейших событий в этой области, его сведения о них весьма значительны благодаря, в частности, переписке с Огаревым и Н.М. Сатиным, беседам с В.П. Боткиным и пр., а также, конечно, той информации, которая содержалась в статьях-обозрениях "Германская литература" (авторы: Э.И. Губер, Л. Буль, Я.М. Неверов, М.Н. Катков, В.П. Боткин), регулярно печатавшихся в "Отечественных записках". Герцен хорошо представляет себе характер того раскола, который произошел после смерти Гегеля внутри его школы; ему известны отдельные номера журнала младогегельянцев "Deutsche Jahrbücher", летом 1842 г. он знакомится с сочинением Л. Фейербаха "Сущность христианства"; в своем дневнике Герцен не раз обращается к оценке философской эволюции и гражданской судьбы Шеллинга. Все это находит то или иное отражение на страницах "Дилетантизма в науке".

На содержании этого сочинения лежит яркий отсвет той полемики, которую в конце 1830-х – начале 1840-х годов Герцен вел против различных идейных противников. Среди них были и московские "славянобесы", которые "до того сердиты на немецкую философию, что не хотят даже поверхностно узнать, в чем дело в ней" (XXII, 116); и слепые поклонники Гегеля, не идущие дальше формального понимания и схоластического употребления его философии; и многое множество близких (тут в первую очередь Т.Н. Грановский, затем П.Г. Редкин)

и дальних знакомых, искренне считающих себя современно-образованными людьми, а на самом деле "застрявших" между религией и наукой; и "романтики" от славянофильства, не желающие считаться ни с объективным ходом истории, ни с прогрессом научных знаний; и те узкие специалисты, которые были хорошо знакомы автору еще по времени обучения в Московском университете.

На пути к "Дилетантизму...", еще только вынашивая идею "развития в жизнь философии", Герцен внес громадную лепту в процесс разрыва Белинского с квиетически-консервативным истолкованием гегелевского учения и перехода на позиции непримиримой борьбы с самодержавно-крепостническими порядками и освящающими их духовными атрибутами. В период своей жизни в Петербурге (1841) Герцен, как известно, тесно – и лично, и идейно – сходится с Белинским; и поэтому нет ничего удивительного в том, что многие мотивы "Дилетантизма..." перекликаются с тем, что примерно в эти же годы развивал и проповедовал в своих статьях "неистовый Виссарион".

Ведущая тема "Дилетантизма в науке" – место и роль ученого, теории, философии в жизни общества. Основная идея: на данном этапе исторического развития (как в Западной Европе, так и в особенности в России) опасны не столько откровенные враги науки, сколько ее мнимые друзья и псевдоученые. Иначе говоря, внимание Герцена привлечено в первую очередь к "превращенным формам" научной деятельности, философского знания[16].

Именно анализ и критика различных типов квазифилософов и псевдоученых, "друзей-врагов" науки предопределили в конечном счете структуру произведения: *первая* статья посвящена дилетантизму в науке как таковому; *вторая* – так называемому романтизму и его проявлениям в художественном творчестве, мировоззрении, деятельности; *третья* – "цеховым ученым"; *четвертая*, заключительная, стоящая несколько особняком (недаром Герцен не дал к ней подзаголовка "Статья четвертая"), – догматизму, формализму, "буддизму" в науке.

Характеризуя эти различные типы якобы научного знания, Герцен имел цель провести через все статьи цикла в конечном счете следующую главную мысль: наука, философия (в данной работе эти понятия очень тесно сближаются), достигнув определенных высот (или глубин) во внутреннем развитии, должна, наконец, сойти со своего трона в жизнь; без этого "одействотворения" знания невозможно истинно человеческое деяние, которого до сих пор в истории еще не было; результатом же этого деяния станет ликвидация извечного антагонизма науки (воплощавшейся до сих пор в разного рода "кастах" и "цехах") с массами и установление такого общества, которое будет олицетворять собою господство разума (в завуалированной форме речь шла об осуществлении социалистического идеала).

Место и значение "Дилетантизма в науке" в истории отечественного просвещения, развития национальной философской мысли не в последнюю очередь определяется тем, что Герцену удалось этим произведением наглядно показать: о предельно сложных философских вопросах можно и должно говорить в яркой художественно-публицистической форме, обращаясь к самым широким кругам читающей публики, на страницах не специально-научного, а популярного массового журнала.

3

Замысел первой статьи, давшей название всему циклу, возник у Герцена весною 1842 г. в ходе его споров с новгородской знакомой Л.Д. Филиппович об отношении между религиозной верой и научным знанием.

В это время Герцен напряженно изучал философскую литературу, разбираясь в существе того истолкования Гегеля, которое предлагалось некоторыми из его восторженных почитателей как в Германии, так и в России: диалектический метод выступал у них "внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике" (IX, 21–22), а положение Гегеля "все действительное разумно" понималось как философское оправдание "предержащих властей" и политического квиетизма.

Обращенный логикой острого спора с такого рода идеями к "самому источнику" – сочинениям Гегеля, Герцен постепенно стал убеждаться в том, что в "формальном понимании философии" более повинны некоторые из последователей немецкого философа, нежели он сам; Герцен увидел, что гегелевская философия пронизана принципами, оправдывающими борьбу с существующими неразумными общественными порядками, в том числе с пережившими себя преданиями, т.е. с христианской религией, – вопреки тому, что кое-кто из учеников Гегеля, вроде К. Михелета, доказывал, будто естественным следствием гегелевской философии является признание бессмертия души и "личного" бога.

Примерно на таких же позициях стоял инспектор новгородской врачебной управы доктор К.И. Тиме; правда, идею вечного духовного начала в человеке и какого-то личного духа вну-

три природы он доказывал посредством апелляции не к Гегелю, а к "Лекциям о методе академических занятий" Шеллинга и работам его учеников – Л. Окена и К.Г. Каруса. В споре с подетски веровавшей Филипповичем, которая убежденно отстаивала положение о несовместимости религии и философии, этот доктор, воображая себя союзником Герцена, "рассуждал цитатами, имел на все готовый ответ, никогда ни в чем не сомневался" (IX, 26).

«Споры эти занимали меня до того, – писал позже Герцен, – что я с новым ожесточением принялся за Гегеля. Мученье моей неуверенности недолго продолжалось, истина мелькнула перед глазами и стала становиться яснее и яснее; я склонился на сторону моей противницы, но не так, как она хотела.

– Вы совершенно правы, – сказал я ей, – и мне совестно, что я с вами спорил; разумеется, что нет ни личного духа, ни бессмертия души, оттого-то и было так трудно доказать, что она есть ⟨...⟩

Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев, он привез мне "Wesen des Christentums" Фейербаха. Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы!

В разгар моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о "дилетантизме в науке", в которых, между прочим, отомстил и доктору» (IX, 26–27).

Так излагал суть дела Герцен в "Былом и думах". Однако "Сущность христианства" он получил от Огарева лишь в июне 1842 г., а еще 12 апреля в его дневнике появляется запись о намерении "написать пропедевтическое слово желающим приняться за философию, но сбивающимся в цели, праве, средстве науки" (II, 206).

Основное время работы над первой статьей, по-видимому, 20–25 апреля. Во всяком случае, авторская дата этой статьи ("1842, апреля 25") указывает, что основной набросок ее сделан именно тогда. 26 апреля Герцен записывает: «Дней пять занимался статьей о "дилетантизме в науке". Я доволен, – кажется, удачно обрисована эта болезнь, общая нашим pseudo-философам» (II, 209). Как видно из данной записи, предполагавшееся название статьи, ставшее в действительности названием всего цикла, уже найдено.

Однако работа над первой статьей продолжалась, вероятно, еще длительное время и после переезда – в июле 1842 г. – в Москву. Здесь Герцен читал или давал читать рукопись своим друзьям и знакомым. 2 августа он записывает в дневнике: "Статья о дилетантизме нравится и очень нравится... В таких статьях, как дилетантизм, я дома и пишу их с увлечением и свободой" (II, 222).

Первоначально Герцен предназначал статью в альманах, который задумал издавать Грановский, но разрешения на него все не было. 17 сентября Боткин писал Белинскому: «Авось, убежду его ⟨Герцена⟩ дать в "Отечественные записки" статью "О дилетантах философии". Превосходная штука – словно самая свежая, ароматная устрица»[17].

Лишь 16 октября, т.е. спустя почти полгода после того, как был написан исходный ее текст и поставлена под ним авторская дата, статья отсылается в Петербург Краевскому. Впервые она была опубликована в № 1 "Отечественных записок" 1843 г.

На данной статье в большой степени сказались впечатления автора от проштудированной им гегелевской "Феноменологии духа". Даже самая первая фраза статьи: "Мы живем на рубеже двух миров..." – корреспондируется со следующим местом из Предисловия к "Феноменологии": "...Наше время есть время рождения и перехода к новому периоду. Дух порвал с прежним миром своего наличного бытия и своего представления, он готов погрузить его в прошлое и трудиться над своим преобразованием" и т.д.[18]

Судя по тексту статьи, уже при ее написании Герцен имел намерение раскрыть в дальнейшем изложении тот вред, который наносят науке "романтики" (см. III, 19, 23), "мухаммедане" (формалисты) (см. III, 7–8) и узкие специалисты, "потерявшие дух за подробностями" (III, 9).

Статья была восторженно принята Белинским. Сразу после ее опубликования он писал Боткину: «Скажи Г⟨ерцену⟩, что его "Дил⟨етантизм⟩ в н⟨ауке⟩" – статья донельзя прекрасная – я ею упивался и беспрестанно повторял – вот как надо писать для журнала. Это не порыв и не преувеличение – я уже не увлекаюсь и умею давать вес моим хвалебным словам. Повторяю, статья его чертовски хороша»[19].

С легкой руки Герцена термин "дилетантизм" получил широкое хождение в русской критике и публицистике.

Что касается статьи "Дилетанты-романтики", ставшей в цикле второй, то зарождение ее замысла можно, думается, отнести к началу 1842 г., когда Герцен познакомился со статьей Белинского "Русская литература в 1841 году", в которой обсуждался вопрос о сущности романтизма не просто как литературно-художественного направления, а как особого типа мировоззрения.

Выступая против той точки зрения, согласно которой романтизм это лишь определенная

форма, а отнюдь не содержание творчества, Белинский писал: "Романтизм – это мир внутреннего человека, мир души и сердца, мир ощущений и верований, мир порываний к бесконечному, мир таинственных видений и созерцаний, мир небесных идеалов... Обаятелен этот фантастический, запертый в самом себе мир; средние века жили в нем безвыходно; наше время, выступившее из него же, не отрешилось от него" и т.д.[20] Эта статья Белинского, обратившая на себя внимание Герцена (см. XXII, 128), могла дать толчок к тому, чтобы продолжить обсуждение столь важной для Герцена и для отечественной философской мысли вообще темы о романтизме; ее обсуждение в литературе было одной из форм подцензурного разговора о корнях религиозных чувств и верований и причинах их длительного существования. "Основа романтизма, – писал Герцен, – спиритуализм, трансцендентность. Дух и материя для него не в гармоническом развитии, а в борьбе, в диссонансе. Природа – ложь, не истинное, все естественное отринуто" (III, 31).

В "Дилетантах-романтиках" получили также наиболее четкое и пространное выражение эстетические воззрения Герцена 1840-х годов. Вместе с тем эта статья не только "ставит проблемы мировой эстетики и отражает интенсивное развитие русской эстетической мысли 1820–1830-х годов"[21], но вместе с тем означает дальнейшее продвижение мысли Герцена по пути леворадикального, близкого к младогегельянству осмысления тех проблем, которые поставил в своем философском учении Гегель. Сами понятия "романтизм", "классицизм", "реализм" означают – под пером Герцена – определенные типы мировоззрения вообще и даже формы социально-политических взглядов и действий.

"Дилетанты-романтики" создавались практически одновременно с первой статьей цикла. Об этом говорят и авторская датировка: "1842, мая 9", и запись в дневнике от 17 мая: "Писал эти дни вторую статью о дилетантизме. Мне самому уясняется мысль, писавши. Вероятно, это скорее недостаток, нежели достоинство" (II, 212).

Работа над статьей продолжалась и позже мая. Определенные коррективы в статью могли быть внесены в связи с раздумьями по поводу фейербаховской "Сущности христианства", в процессе знакомства – уже по возвращении в Москву – со статьями немецких младогегельянцев, вследствие споров с П.Я. Чаадаевым о "католицизме и современности" (II, 226) и горестно-трезвой рефлексии по поводу смерти друга юности В. Пассека (см. II, 235–238).

В редакцию журнала "Отечественные записки" статья отсылается – при посредничестве Боткина – только 1 февраля 1843 г. Там она впервые и публикуется.

Накануне выхода этой книжки журнала в свет Герцен записал в дневнике: «Завтра выйдет в Петербурге 3 № "Отечественных записок", в котором моя статья о романтизме. Я пробежал ее. Или цензура ее изуродует, или эта статья может принести последствия. Может третью ссылку. Горько будет, но я готов... Влияние, которое делает мой голос, убеждает всем жертвовать» (II, 268).

Статья была хорошо принята читающей публикой. 5 марта Боткин писал Краевскому, что "статьи Герцена в здешнем ⟨т.е. московском⟩ ученом кругу производят сенсацию"[22].

Правда, Белинскому статья эта понравилась меньше, чем первая. Он пишет Боткину 9 марта, что она "неудовлетворительна в целом – чувствуется, что не все сказано". Однако вместе с тем он не скрывает своего восхищения ее формой: "Но выражение, язык, слог – просто, подлец, до отчаяния доводит – зависть возбуждает и писать охоту отбивает"[23]. 22 апреля Герцен пишет Огареву, что статьи его в "Отечественных записках" "сделали успех". "Они принесли мне много комплиментов... А Висс⟨арион⟩ говорит, что я на стали гравирую свои статьи, и в восхищенье" (XXII, 144).

4

Что касается третьей статьи цикла – "Дилетанты и цех ученых", – которой посвящена настоящая публикация, то в ней раскрыта идея, волновавшая Герцена еще со студенческих лет, – идея необходимости воспитания когорты "образованных людей", которые, противостоя "цеховой науке" узких специалистов, понесут теорию в массы. Еще в 1837 г. Герцен писал: "Аудитория открыта для некоторых избранных, массам надобно другое. Сфинксы, охраняющие храм наук, не каждого пропускают и не каждый имеет средство войти в него"; поэтому нужен "открытый стол идей, за который приглашен каждый" (I, 366–367). Иначе говоря, Герцен уже в ранних своих произведениях ставит центральную проблему Просвещения, проблему, занимавшую также важное место и в выступлениях Белинского. Так, в первой статье "Речи о критике", напечатанной в сентябрьской книжке "Отечественных записок" за 1842 г., Белинский писал: "И нет приятнее зрелища, как то, что у нас наука сближается с жизнию и обществом, перестает быть чем-то вроде элевзинских таинств, отправляемых, вдобавок, на латинском языке..."[24] Эта идея – в том виде, как она раскрывалась Герценом и Белинским, – отвечала насущной потребности российского освободительного движения той поры, главнейшим задачам революционной деятельности, которая в тех исторических условиях только и могла быть реализована как формирование кадров демократической интеллигенции.

Если же говорить о собственно философском содержании статьи, то тут в первую очередь надо указать на идею "полярности", т.е. противоречивости как "одного из явлений жизненного развития человечества" (III, 43).

И, пожалуй, впервые Герцен выражает на печатных страницах свою веру в социалистическое будущее человечества; правда, это делается в завуалированной форме – в виде тезиса о том, что напоследок, с ликвидацией всех частных "цехов" и "каст", "цех человечества обнимет все прочие" (III, 44).

Что было известно нам об истории создания этой статьи ранее?

Впервые она упоминается в дневнике Герцена 29 ноября 1842 г. "Писал статью о специализме в науке. Ряд этих статеек идет удачно" (II, 246). Герцен говорит о *ряде* статей, хотя опубликована пока только одна. Следовательно, замысел *цикла* уже сложился вполне и никаких сомнений в его предстоящей реализации нет.

Показательно, что в журнальной публикации (как, впрочем, и в рукописи) авторская дата под статьей "1842. Ноябрь", но эта датировка, как и во многих других случаях, относится лишь к первоначальному, исходному тексту статьи, который обычно писался Герценом в один-два присеста. После этого Герцен еще продолжает работать над статьей. 27 декабря 1842 г. он записывает: "Окончил этим днем статью об ученых. Многие ее находят лучшей из моих статей" (II, 254).

Итак, "многие" со статьей уже знакомы – еще до отправления ее в печать: как и другие статьи цикла, Герцен читал ее по рукописи друзьям, приятелям, знакомым – дома, в кружках, салонах. Такая практика была в то время обычным делом. Но, хотя Герцен и пишет, что статью он "окончил", работа над ней, скорее всего, продолжалась. 14 января 1843 г., т.е. спустя две слишком недели, Боткин сообщает Краевскому, что Герцен «на днях пришлет (...) статью "Цех ученых", славную для 3 № "Отечественных записок"»[25].

Но посылается в Петербург не эта статья, а "Дилетанты-романтики", ставшая второй в цикле: Герцен решил публиковать ее прежде "Цеха ученых". Что же касается статьи "о специализме", то она "тоже готова" и даже, по мнению Боткина, "лучше всех"[26]. 5 марта Боткин пишет о ней Краевскому, что, по сравнению с двумя предшествующими, она "имеет более общее значение и будет понята бо́льшим кругом читателей"[27].

Обратим внимание на последние слова. Вероятно, они являются ответом на какие-то нарекания (может, со стороны Краевского?) насчет сложности стиля герценовских статей. И если Герцен знал об этих нареканиях (а это, скорее всего, так), то, возможно, в известной мере задержка им отсылки статьи в Петербург объясняется работой по ее литературному совершенствованию.

Наконец, 11 марта Боткин уведомляет Краевского, что Герцен отсылает статью в "Отечественные записки", повторяя при этом, что она "гораздо лучше двух прежних"[28].

Таким образом, подобно и другим статьям, вошедшим в "Дилетантизм...", третья статья цикла обрабатывалась довольно долго: три с половиной месяца "обкатывался" с учетом мнений первых ее слушателей и, возможно, также и читателей ее уже давно "готовый" текст.

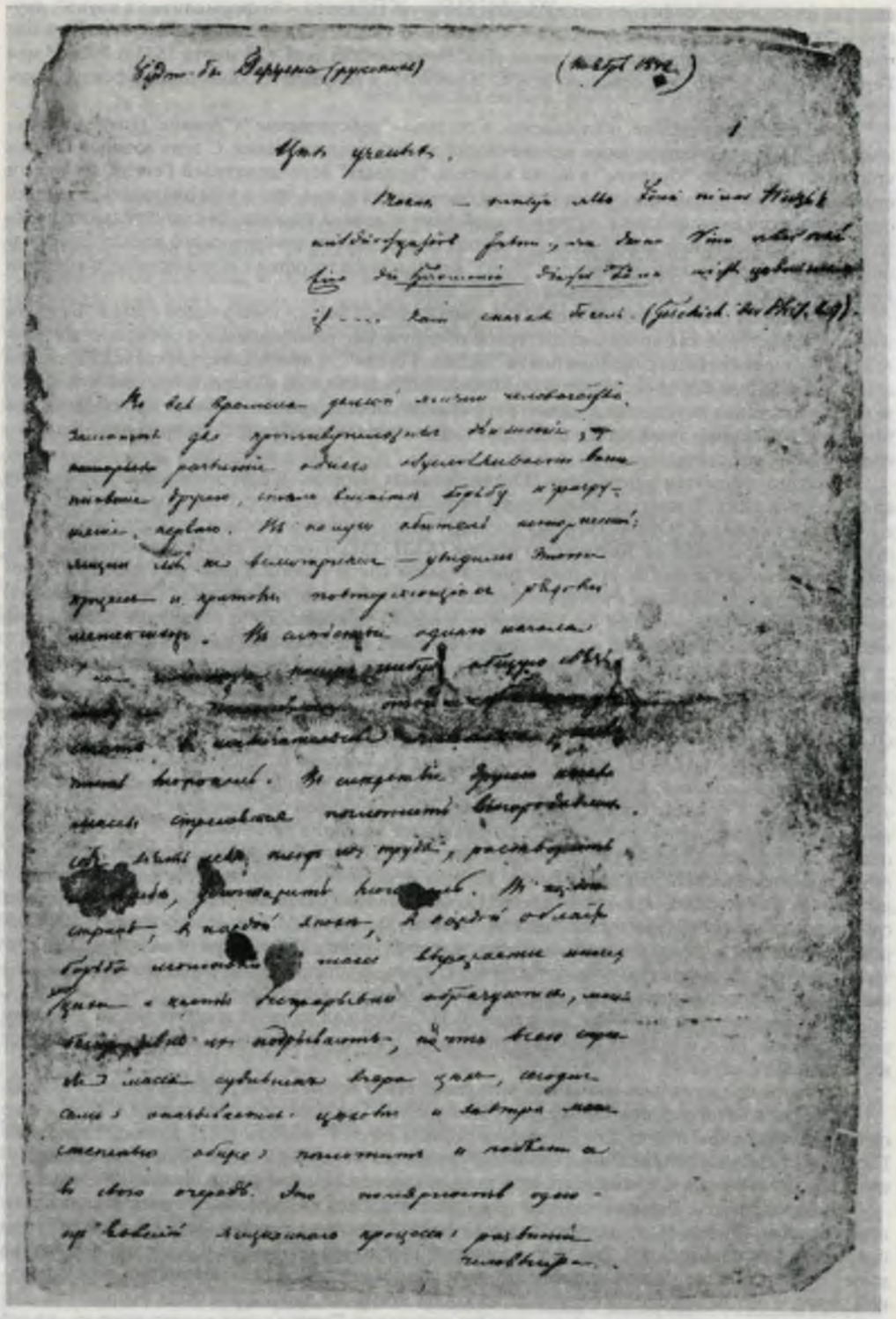
Публикуемая ниже рукопись "Цех ученых" и есть тот исходный ноябрьский текст; правка же его в значительной своей части отражает процесс дополнительной работы Герцена над статьею, но еще не окончательной, так как в рукописи отсутствует ряд мест, наличествующих в статье, напечатанной в "Отечественных записках". Это позволяет расценить текст данной рукописи в его основном слое как первоначальную, а с учетом внесенной правки – как промежуточную редакцию статьи.

Заметим еще, что, не закончив обработку "Цеха ученых", Герцен уже приступил к написанию четвертой статьи цикла, что, по нашему убеждению (мы приведем ниже некоторые факты и соображения на этот счет), не могло не сказаться и на третьей статье.

Но прежде чем дать место рукописи "Цеха ученых", несколько слов о статье четвертой, "Буддизм в науке".

Работа над ней начата в конце января 1843 г., хотя замысел ее возник раньше: в первой статье цикла есть упоминание о "мухаммеданах в науке". 31 января Герцен пишет в дневнике, что "начал статью о формализме – будет хороша" (II, 265). Несколько дней спустя он читал или показывал рукопись ее Боткину, который назвал начало статьи "symphonia eroica" ("героической симфонией"). "Я принимаю эту хвалу – оно написалось в самом деле с огнем и вдохновением. Тут моя поэзия, у меня вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами. Я иными словами могу высказывать тут, чем грудь полна" (II, 265). Это высказывание, выражающее сознание невозможности открытой политической публицистики, является свидетельством того, что разговор на философские темы был для Герцена способом обсуждения столь волновавших его насущных социальных и политических вопросов.

Определенную роль в возникновении статьи сыграл, по всей видимости, какой-то неизвестный нам обмен мнениями с Огаревым: 22 апреля 1843 г. Герцен сообщал ему: «Я написал



"ЦЕХ УЧЕНЫХ" – ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ ЦИКЛА "ДИЛЕТАНТИЗМ В НАУКЕ"

Автограф. Ноябрь 1842 г. Лист первый (фрагмент). Сверху надписи: рукой Герцена – "(Ноябрь 1842)"; неизвестной рукой – "Будто бы Герцена (рукопись)"

Государственный архив Российской Федерации, Москва

еще две ⟨статьи философского цикла⟩: одну, которую ты хотел – "о формализме в науке", другую – "о специализме" ⟨"Дилетанты и цех ученых"⟩» (XXII, 145). К этому времени работа над четвертой статьей была, очевидно, закончена. Ее авторская дата – 23 марта 1843 г. 7 или 8 мая Герцен читает ее И.В. Киреевскому и А.С. Хомякову, в результате "большой эффект и рукоплескания" (II, 281).

Важнейшее положение, обсуждаемое в статье, – "действование" ("деяние") (перевод с немецкого "Tat") как специфически человеческий способ существования. С этих позиций Герцен критикует не только "буддизм" в науке и жизни, "правых" истолкователей Гегеля, но даже и его самого, усматривая недостаток гегелевского учения в том, что в нем оказалась, в сущности, неразвитой идея практики, активного действия человека в жизни. Заключительные положения статьи выражают веру Герцена в осуществимость социалистического идеала; здесь нашел свое конкретное воплощение тот "союз" немецкой философии с социализмом, о котором Герцен прямо напишет впоследствии (см. VII, 252).

Для истории отечественной социально-философской мысли 1840-х годов статья "Буддизм в науке" характерна как яркое литературное обнаружение революционной интерпретации гегелевской диалектики, стремления пойти "дальше Гегеля". А понимание, трактовка Герценом самой философии как средства социального освобождения, без которого процесс освободительного движения невозможен, делают эту статью сопоставимой с ранними произведениями Маркса и Энгельса – теми именно, где они также ставили проблему "обмирщения" философии, слияния ее с жизнью.

С отправкой статьи в редакцию "Отечественных записок" и с печатанием ее произошли какие-то задержки. Только осенью Герцен переслал ее в Петербург. Но вскоре отсутствие ее в очередных книжках "Отечественных записок" стало, вероятно, тревожить Герцена: "Что IV статья?", – запрашивал он Кетчера 10 ноября (XXII, 157). Цензуру статья, включенная в декабрьскую книжку журнала, проходит лишь в самом конце ноября. 8 декабря Герцен уже просматривает номер журнала, в котором она была опубликована. «12 книжка "От⟨ечественных⟩ зап⟨исок⟩" получена, – пишет он Кетчеру, – спасибо за корректуру, а все-таки бессмыслиц много, явна вина переписчика – и они теперь остались мне в обвинение» (XXII, 162–163).

Очевидно, однако, что не только ошибки переписчика, но и цензурные ножницы попортили текст статьи: кое-что было изъято из нее. Это следует из слов в дневнике Герцена от 11 декабря 1843 г.: «В "Отечественных записках" напечатана моя четвертая статья *почти вся*» (II, 319; курсив мой. – *А.В.*).

14(26) сентября 1844 г. Огарев писал Герцену из Берлина о "Буддизме в науке": "Твоей статьей я очень доволен, я давно просил ее у тебя, и был бы еще довольнее, если б ты ее не так разбросал, а обделал бы последовательнее и не вмешивал бы слишком много фигурных выражений, сравнений etc., что иногда не объясняет мысли, а затмевает ее"[29]. И, продолжая письмо на следующий день, Огарев высказывает пожелание: "Напиши-ка еще статейку о дилетантах-формалистах. Эти люди имеют не одну неподвижную формулу, всюду ими прикладываемую, а несколько, не имеющих между собой никакой связи и прикладываемых в разных случаях по произволу" (там же). В приписке к этому письму Н.М. Сатин, вероятно, как и Огарев, получивший в подарок отдельный оттиск статьи, пишет 25 сентября (7 октября): "За статью твою спасибо, но делаю тебе тот же упрек: язык ее чересчур фигурен, и в этой статье ты имел неудачу перещеголять предыдущие; удержи немного коней своих"[30].

Как известно, зимою 1848 г. петрашевец Н.С. Кашкин написал и прочитал на собрании своего кружка речь о задачах общественных наук, в которой дословно воспроизвел ряд мест из "Буддизма в науке"[31].

А теперь представляем вниманию читателей текст неизвестной ранее рукописи Герцена.

Черновой автограф статьи Герцена "Цех ученых" находится на 16 листах in-folio и еще одном, прибавочном листе (4а). Надпись в скобках на л. 1 "ноябрь 1842" принадлежит тоже Герцену. В тексте и исправлениях его обнаруживается несколько слоев. Они устанавливаются по различию чернил; кроме того, есть правка карандашом (вероятно, наиболее поздняя).

Процесс работы Герцена над текстом представляется на основании этих слоев следующим образом. Сперва было написано начало статьи, почти до конца л. 3об. (до слов "в своем полумраке" включительно). Эта часть написана светло-коричневыми чернилами и почти не имеет правки ими же. Затем написан другими (темно-коричневыми) чернилами весь остальной текст, а потом вся статья от начала до конца этими же чернилами была исправлена. Далее, скорее всего после какого-то временно́го интервала, Герцен снова правил статью – на сей раз черными чернилами. И после этого были сделаны еще исправления карандашом (не очень значительные по объему).

В конце рукописи авторская дата: Ноябрь 1842 и *подпись*: И-р.

ЦЕХ УЧЕНЫХ

Таких – "welche alle Töne einer Musik mitdurchgehört haben, an deren Sinn aber das Eine, die *Harmonie dieser Töne* nicht gekommen ist..." – как сказал Гегель

(Geschich⟨te⟩ der Phil⟨osophie⟩, I, 9)[32].

Во все времена долгой жизни человечества заметны два противоположные движения[1*]; развитие одного обусловливает возникновение другого, с тем вместе борьбу и разрушение первого. В какую обитель исторической жизни мы ни всмотримся – увидим этот процесс, и притом повторяющийся рядом мете⟨м⟩психоз. Вследствие одного начала лица, имеющие какую-нибудь общую связь между собой, стремятся отойти в сторону, стать в исключительное положение, захватить монополь. Вследствие другого начала массы стремятся поглотить выгородивших себя, взять себе плод их труда, растворить их в себе, уничтожить монополь. В каждой стране, в каждой эпохе, в каждой области борьба монополи и масс выражается иначе; но цехи и касты беспрерывно образуются, массы беспрерывно их подрывают, и[2*], что всего страннее, масса, судившая вчера цех, сегодня сама оказывается цехом, и завтра масса степенью общée поглотит и побьет ее в свою очередь. Эта полярность – одно из явлений жизненного процесса развития человечества, явление вроде пульса, дыхания, систолы и диастолы, с той разницей, что с каждым биением всемирного пульса, человечество делает[3*] шаг вперед. Отвлеченная мысль осуществляется в цехе, группа людей, собравшихся около ее, во имя ее – необходимый организм ее развития, ее расчленения – но как скоро она достигла своей возмужалости в касте[4*], каста делается ей вредна, ей надобно дохнуть воздухом и взглянуть на свет как зародышу после девятимесячного прозябания в матери; ей надобна среда широкая; между тем и люди касты, столь полезные своей мысли при начальном развитии ее, теряют свое значение, застывают, останавливаются, не идут вперед, ревниво отталкивают новое, страшатся упустить из рук руно свое, хотят для себя, за собою удержать мысль. Это невозможно. Натура мысли лучезарна, всеобща, она жаждет обобщения, она вырывается во все щели, утекает между пальцами[5*]. Действительность мысли не в касте, а в человечестве; она не может из благодарности ограничиться тесным кругом цеха, мысль не знает супружеской верности – ее объятия всем, она только для того не существует, кто хочет эгоистически владеть ею. Цех падает по мере того, как массы постигают мысль и симпатизируют с ней; жалеть нечего – он сделал свое. Цель отторжения – непременно единение, общение. Люди выходят из дому, чтоб возвратиться с новыми приобретениями. Навсегда дом оставляют одни бродяги. Сила возвращает их[6*] против желания. Таков путь каст. Можно предположить, что pour la bonne bouche[33] каста человечества поглотит все прочие и будет одна великая, истинная каста, но это время придет не скóро, это Civitas dei[34] [7*]Августина; пока человек готов принять всякое звание, но к званию человека не привык. На слово человек откликаются только наши слуги.

Современная наука начинает входить в ту пору зрелости, в которой обнаружение, отдание себя всем становится потребностью. Ей[8*] скучно и тесно в аудиториях и конференцзалах, она рвется на волю, она хочет иметь действительный голос в действительных областях жизни. Несмотря на такое направление[9*], наука остается при одном желании и [10*] не может сделаться общенародною до тех пор, пока она в руках касты ученых; одни люди жизни могут внедрить ее в жизнь – великое дело это началось, правда, оно идет тихо, потому что наука доработывает кое-что[11*] в области аб-

---

[1*]*После*: движения *было*: из которых [2*]но [3*]*Вместо*: с каждым ~ делает *было*: с каждым биением пульса человечества, оно делает [4*]*Вместо*: возмужалости в касте *было*: относит⟨ельной⟩ действительности, развившись кастою [5*]*После*: пальцами *было*: цеха [6*]*Было*: таких [7*]*Вместо*: Civitas dei *было*: царство Божие на земле [8*]*Вместо*: Ей *было*: Науке становится [9*]*Вместо*: такое направление *было*: это делание доселе [10*]*После*: и *было*: она [11*]*Вместо*: началось ~ кое-что *было*: начинается, дают ей только срок доработать

стракций. Для масс она[12*] должна родиться не ребенком, а в полном вооружении как Паллада. Массы доселе смотрят на науку с недоверием, верное, но темное[13*] чувство убеждает их, что в ней[14*] должно быть разрешение величайших вопросов, успокоение, примирение, а между тем перед их глазами ученые по большей части занимаются мелочами, пустыми диспутами, вопросами, лишенными жизни, и отворачиваются от общечеловеческих[15*] интересов; начинают предчувствовать[16*], что наука – общее достояние всех, а между тем видят, что к ней приступу нет, что она говорит странным и трудно понятным языком. Массы[17*] отворачиваются от науки так, как ученые от масс. Вина, конечно, не в науке и не в массах, а между ними. Луч науки, чтоб достигнуть масс, должен пройти сквозь такие густые туманы и болотистые испарения, что достигает их подкрашенный, не похожий сам на себя, а по нем судит масса. Первый шаг к освобождению науки есть сознание препятствий, обличение своих ложных друзей, воображающих, что ее можно еще пеленать схоластическим свивальником и что она, живая, будет лежать как египетская мумия. Туманная среда, окружающая науку, вся наполнена ее друзьями, но эти друзья – ее опаснейшие враги. Они живут как совы под кровом храма Паллады и выдают себя за хозяев в то время, как они – работники или праздношатающиеся. Они заслужили все нарекания, все упреки, делаемые науке. Поверхностный дилетантизм и ремесленническая специальность ученых ex officio[35] – два берега науки, удерживающие ее от разлива – плодоносного и необходимого как разлив Нила. О дилетантизме мы недавно говорили[18*], но считаем не вовсе излишним упомянуть об нем здесь как о совершеннейшей противоположности специализму. Противоположность иногда объясняет лучше сходства.

Дилетантизм – любовь к науке, сопряженная с совершенным отсутствием пониманья ее; он расплывается в своей любви по морю ведения и не может сосредоточиться[19*]; он доволен тем, что любит, и не достигает ничего, не печется ни о чем, ни даже о взаимной любви; это платоническая, романтическая страсть к науке, такая любовь к ней, от которой детей не бывает. Дилетанты с восторгом говорят о сладости и высоте науки, пренебрегают иными речами, предоставляя их[20*] толпе, но они смертельно боятся вопросов и изменнически предают науку, как только их начнут теснить логикой. Дилетанты – это люди предисловия, заглавного листа, пропедевматики, люди, ходящие около горшка в то время, как другие едят. Жерновик, известный виртуоз, учил, помнится, английского короля играть на скрипке. Король был дилетант, т.е. любил музыку и прескверно играл. Однажды он спросил Жерновика, к какому разряду скрипачей он его относит. – "Ко второму", – отвечал Жерновик. – "Кого же вы еще причисляете к этому разряду?" – "Многих, Государь, я делю род человеческий относительно скрипичной игры на три разряда, – сказал острый артист, – первый разряд самый большой: люди, не умеющие играть на скрипке; второй разряд тоже довольно многочисленный: люди – не то, чтобы умевшие играть – но любящие беспрестанно играть на скрипке; третий разряд очень беден: к нему причисляются несколько человек, знающих музыку и иногда прекрасно играющих на скрипке. Ваше величество, конечно, уже перешли из первого разряда во второй".

Лучше о дилетантизме ничего нельзя сказать, и Жерновик превосходно заметил, что именно второй разряд беспрерывно играет; у дилетантов делается болезнь, помешательство от избытка любовной страсти к науке. Дилетантизм – дело не новое. Нерон был дилетантом музыки, Генрих VIII – дилетант теологии. Дилетанты принимают наружный вид своей эпохи[21*]. В XVIII веке они были веселы, шумели и назывались esprits forts[36]. В XIX дилетант имеет грустную и неразгаданную думу, он любит науку, но знает ее коварность, он немного мистик и читает Шведенборга, но так-

---

[12*] *Вместо*: она *было*: наука [13*] *Вместо*: верное, но темное *было*: темное [14*] *Вместо*: ней *было*: науке [15*] *Вместо*: общечеловеческих *было*: их [16*] *Вместо*: начинают предчувствовать *было*: массы начинают провидеть [17*] *После*: Массы *было*: с своей стороны [18*] "Отеч. зап." за 1843, № 1. Статья "О дилетантизме в науке". – *Прим. Герцена. После*: говорили *было*: в другом месте [19*] *Вместо*: сосредоточиться *было*: собраться [20*] *Вместо*: предоставляя их *было*: предоставляемыми [21*] *Вместо*: своей эпохи *было*: своего века

же и немного скептик, он часто говорит с Гамлетом: "Нет, друг Горацио, есть много вещей, которых не понимают[22*] ученые" – и про себя думает, что понимает все на свете. Наконец дилетант – безвреднейший и бесполезнейший из смертных; он кротко проводит свою жизнь в беседах с мудрецами всех веков, пренебрегая материальными занятиями; о чем они беседуют, кто их знает; самим дилетантам это еще не ясно – но как-то хорошо в своем полумраке. Каста ученых die Fachgelehrte[37], ученых по званию, по диплому, составляет совершенную противоположность дилетантам. Главнейший недостаток этой касты очевидно состоит в том, что она – каста; второй недостаток – специализм, в котором затеряны ученые. Чтоб разом выразить отношение касты ученых к науке, вспомним, что она развилась[23*] более, нежели где-нибудь, и шире и мощнее, нежели где-нибудь, в Китае. Китай считается многими очень благоденствующим патриархальным царством; все это может быть, ученых там бездна; преимущества ученых в службе у них спокон века – но науки у них следа[24*] нет. – "Да у них *своя* наука", – и против этого не будем спорить; да мы-то говорим о науке, человечеству принадлежащей, а не Китаю, не Японии и другим ученым государствам. У нас мальчишек отдают *в науку* кузнецам, столярам – думать надобно, что и у них есть *своя* наука. Впрочем, и для истинной науки есть возраст, в который[25*] каста ученых[26*] необходима: это в те периоды неразвитости, когда наука бывает отринута, ее права не признаны, она сама подчинена авторитетам[27*]. Так, у касты ученых, у людей знания[28*] в средних веках, окруженных грубыми и дикими понятиями[29*], хранилось и святое наследие древнего мира, и воспоминание прошедших деяний, и мысль эпохи; они в тиши работали, боясь гонений, преследований, и слава озарила после скрытый труд их. Ученые хранили тогда науку как тайну, и говорили об ней языком, недоступным толпе, намеренно скрывая свою мысль, боясь грубого непониманья. Тогда было доблестно принадлежать к левитам науки, тогда звание ученого часто вело не в Академию, а на костер. И они шли, вдохновенные истиной. Иордано Бруно был ученый, и Галилей был ученый[30*]. Тогда ученые как сословие были своевременны; тогда в аудиториях были обсуждаемы величайшие вопросы того века; круг занятий их был пространен, и они озарены первые восходящими лучами[31*] разума, как нагорные дубы – гордые и мощные. С тех пор все переменилось. Науку никто не гонит[32*], общественное сознание доросло до уважения науки, до желания ее, и справедливо[33*] стало протестовать против монополи ученых; но ревнивая каста хочет удержать свет за собою, окружает науку лесом схоластики, варварской терминологией, тяжелым и отталкивающим языком. Так огородники сажают около гряд своих колючее растение остро-пестро, чтобы дерзкий, намеревающийся перелезть, сперва десять раз укололся и изорвал бы платье. Все тщетно. Время аристократии знания миновало. Касте ученых потому удержаться нельзя, что в ней нет необходимости.

Каста ученых нашего времени образовалась после Реформации и всего более в мире реформационном. Об ученых корпорациях в средних веках и в католическом мире до XVII столетия мы упомянули[34*], их не надобно смешивать с новой кастой ученых, выращенной в Германии в последние[35*] века. Правда[36*], старая каста ученых налагала на умы ярмо своего авторитета, но не надобно забывать, во-первых, состояние умов того времени, во-вторых, что и их шея была стерта от ярма, тяжело лежавшего на ней[37*]. Во всем реформационном есть какая-то недоделка, нет геройства идти до последнего следствия, нет геройства логики: ставят громогласно начало и робко отрекаются от естественных последствий, разрушают здание и берегут мусор

[22*] *Вместо*: понимают *было*: объяснят [23*] *После*: развилась *было*: всего [24*] *Было*: и следа [25*] *Вместо*: есть возраст, в который *было*: были периоды, в которые [26*] *После*: ученых *было*: была на самом деле [27*] *После*: авторитетам *было*: тогда, напр., в средних веках. *Вместо всей фразы*: Впрочем ~ авторитетам *было*: Но не токмо в Китае, а и в Европе была необходимость в касте ученых [28*] *Вместо*: так ~ знания *было*: у этих людей знания [29*] *Вместо*: грубыми и дикими понятиями *было*: диким невежеством [30*] *Далее начато и зачеркнуто*: Но они не были [31*] *После*: лучами *было*: солнца [32*] *Далее начато и зачеркнуто*: люди [33*] *Вместо*: и справедливо *было*: оно [34*] *После*: упомянули *было*: выше [35*] *После*: последние *было*: три [36*] *Вместо*: Правда *было*: Если и [37*] *Вместо*: ней *было*: их шее

и битый кирпич. Мысль Реформации пришла в действие как-то преждевременно, и оттого она отстала и была обойдена. Каста ученых, образовавшаяся в мире реформационном, никогда не имела силы ни составить точно замкнутую в себе, твердую и ведающую свои пределы корпорацию, ни распуститься в массы. Она никогда не имела энергии ни пристать к положительному порядку дел, ни стать против него; оттого на нее со всех сторон стали смотреть косо и как на что-то постороннее, оттого она сама стала убегать живых вопросов и сосредоточиваться на мертвых. Нить, связующая касту с обществом, должна была ослабнуть, а результатом этого – взаимное непониманье, взаимное равнодушие. Какое-то поэтическое прови́дение указало на слово *гуманиора* – слово прекрасное, пророческое, великое; но в гуманиорах ученых не было ничего человеческого. Слово это было отнесено исключительно к филологии, как будто тут участвовала ирония, как будто они понимали, что древний мир человечественнее их. Педантизм, распадение с жизнию, ничтожные занятия, которым придавалась важность, а между тем тип их – меледа и casse-tête[38], т.е. какой-то призрачный труд, труд занимающий и, в сущности, совершенно пустой; далее искусственные построения, неприлагаемые теории, неведение практики – вот условия, под которыми развилось бледнолистое, худосочное дерево цеховой учености[38*]. Оно не[39*] осталось без плодов человечеству. После католической[40*] науки, новая наука, рожденная среди отрицания и борьбы требовала иных оснований, более положительных, фактических – но не было у нее материалов, запасов, обследованных событий и наблюдений; войско фактов было мало. Ученые разобрали по клочку поле науки и рассыпались по нему; им досталась тягостная доля défricher le terrain[39], и в этой-то работе они утратили широкий взгляд и сделались ремесленниками; на их поте, на их утомительном труде[41*] целых поколений возросли начала[42*] истинной науки – и работники, как всегда бывает, всего менее воспользовались результатами своего труда[43*].

Противуположность романского характера и германического не могла не отразиться в вновь образовавшемся сословии ученых novi continentis[40]. Французские[44*] ученые больше наблюдатели и материалисты, германские больше схоласты и формалисты. Одни больше занимаются естествоведением, прикладными частями, и притом славные математики, вторые занимаются филологией, всеми неприлагаемыми отраслями[45*] науки, и притом глубокомысленные теологи. Одни в науке видят практическую пользу, другие – поэтическую бесполезность. Французы больше специалисты – но меньше каста, германцы наоборот. Ученые в Германии похожи на касту жрецов в Египте, они составляют особый народ, в руках которого лежит дело общественного воспитания, общественного мышления, леченья, ученья и пр. Добрым германцам оставалось пить, есть и subir[41] леченье, ученье, мышленье имущих право на то по диплому. – Во Франции ученые не стоят на первом плане[46*] и, следовательно, не имеют такого влияния, как ученые в Германии. Во-вторых, они все более или менее устремлены на практические улучшения – это огромный выход в жизнь. Если их

[38*] *Далее первоначально следовало*: Нечто подобное образовалось, было сильно в классический период и существует до сих пор в академическом кругу – во Франции. Но их ученых не должно смешивать с зарейнскими. Во-первых, ученые во Франции ⟨*ранее было*: они там⟩ не стоят на первом плане... *Затем текст*: Нечто ~ зарейнскими *был вычеркнут, и значком ≠ Герцен отослал к вставке на полях, начинающейся словами*: Оно не осталось без плодов человечеству [39*] *Вместо*: оно не *было*: Однако и это древо не [40*] *Вместо*: католической *было*: схоластической [41*] *После*: труде *было*: целых лет [42*] *Вместо*: возросли начала *было*: другие создали начала [43*] *После*: своего труда *было*: Если мы вглядимся в ученых последних веков, мы увидим, что их можно разделить на два направления. Одно больше дома во Франции, другое больше дома в Германии. Одни больше наблюдатели и материалисты, другие больше схоласты и формалисты. Одни больше занимаются естествоведением и прикладными частями, другие филологией и вовсе неприлагаемыми отраслями знаний. Одни в науке видят пользу практическую, другие – поэтическую бесполезность. Первые больше специалисты, но меньше каста, вторые наоборот. Ученые по германскому типу, и особенно в Германии, вреднее французских. *Значок ≠ соединял сперва конец этой вставки со словами основного текста*: Во-первых ~ плане. *Затем все это было зачеркнуто, и сделана новая отсылка*: В прибавочном листе (α; ω) [44*] *Вместо*: французские *было*: Романские [45*] *Вместо*: отраслями *было*: частями [46*] Противуположность ~ первом плане *вписано на отдельном листе с значком* (α; ω)

по справедливости можно упрекнуть в специальности, больше, может, нежели германцев, то наверное нельзя упрекнуть в бесполезности. Франция именно стоит во главе популяризации науки: как ловко она умела[47*] век тому назад свое воззрение (каково бы оно ни было) облечь в совершенно народную, всем доступную, проникнутую жизнию форму! Француз не может удовлетвориться в одной абстрактной сфере, ему нужна и гостиная, и площадь, и пение Беранже[48*], и лист газеты; за него нечего бояться, он долго в касте не останется. Совсем не таковы цеховые ученые германские и инде[49*], принявшие слой на манер германский[50*].

Их главный отличительный признак – быть валом отделену от жизни; это монахи средних веков, отшельники, имеющие свой мир, свои интересы, свои обычаи. Теология, древние писатели, еврейский язык, объяснение темных фраз какого-нибудь писателя – вот их предмет. Когда же им случается иметь дело с действительностию, они хотят подчинить ее своим категориям, а из этого выходят чудовищные уродства. Академическая, сциентифическая жизнь в Германии составляет особое государство[51*]. По правде после 30-летней войны немного и можно было заимствовать школе из жизни. Вина обоюдная. Прозябая в вечном занятии схоластическим предметом[52*], ученые приняли слой, резко отделяющий их от прочих людей. Жизнь, медленно и скучно процветавшая за стенами Академий, не манила к себе, она в своем филистерстве была столько же невыносимо скучна, как ученость в своем[53*]. Несмотря на свое распадение с жизнию, ученые, памятуя, какой могучий голос имели университеты и ученые доктора в средние века, когда к ним относились с вопросами такой важности, как спор авиньонских и римских пап, хотели[54*] вершать безапелляционным судом все сциентифические и художественные вопросы, они, подрывшие во имя всеобщего права исследования касту католических духовных пастырей, показывали поползновение[55*] составить свой цех пастырей светских. Не удалось им, лишенным, с одной стороны, энергии католических пропагандистов, с другой – невежества масс. Новая каста людопасов не состоялась. Пасти людей стало труднее, люди смотрят на ученых дел мастеров как на ровных, как на людей, да еще как на людей, не дошедших до полной жизни, а пробавляющихся одной обителью из многих. Наука – открытый стол для всех и каждого, лишь бы был голод, лишь бы потребность манны небесной развилась. Стремление к истине, к знанию не исключает никоим образом частное употребление жизни; можно равно быть при этом ученым, артистом, купцом. Никак не должно думать, чтоб ученый имел бóльшие права на истину – он имеет только бóльшие притязания на нее. Отчего человеку, проводящему жизнь в монотонном и одностороннем занятии, иметь более ясный взгляд[56*], более глубокую мысль, нежели другому, искусившемуся самими событиями, встречавшемуся в тысяче разных столкновений с людьми? Напротив, цеховой ученый вне своего предмета за что ни примется, примется левой рукой. Он жалок и не нужен во всяком живом вопросе[57*].

Ученые занимают в обществе место второго желудка животных, жующих жвачку – в него никогда не попадает свежая пища, одна пережеванная, такая, которую жуют из удовольствия жевать. Массы действуют, проливают кровь и пот, а ученые являются после рассуждать вместе с гробовыми червями о происшествии. Поэты, художники творят, массы восхищаются их творениями, ученые пишут комментарии, грамматические и всяческие разборы.

С другой стороны было бы еще страннее, если б мы сказали, что ученые не могут знать истины, что они вне ее. Дух, стремящий человека к истине, не исключает

[47*] *Вместо*: как ловко она умела *было*: разве она не умела [48*] *Вместо*: пение Беранже *было*: Беранжерово пение [49*] *Вместо*: и инде *было*: или [50*] *После*: манер германский *было*: Цех ученых с настоящим дела не имеет, он живет в прошедшем, в абстракциях, имеет свои интересы, свой мир [51*] *После*: государство *было*: в государстве [52*] *Вместо*: предметом *было*: идеализ(мом) [53*] *После*: своем *было*: Последним результатом сдела(лась?) [54*] *Вместо*: хотели *было*: Ученым очень хотелось [55*] *Вместо*: показывали поползновение *было*: захотели [56*] *После*: взгляд *было*: на дела [57*] *Далее с пометой Герцена: Сюда RR перенесен абзац*: Ученые занимают ~ всяческие разборы, *следовавший первоначально на предыдущем листе за зачеркнутым текстом*: Цех ученых ~ свой мир. *Помета там Герцена о переносе RR ниже сделана на полях раньше, чем была вписана последняя часть большой вставки на полях.*

никого[58*]. Не все ученые[59*] принадлежат к цеховым ученым[60*], многие истинно ученые[61*] делаются, подавив в себе специальность[62*], образованными людьми, т.е. выходят из касты[63*] в человечество. Говоря о цеховых ученых, мы говорим о тех, которым Жан Поль пророчил: "Скоро поваренное искусство разовьется до того, что жарящий форели не будет уметь жарить карпа и наоборот". Вот эти-то повара карпов и форелей составляют массу ученой касты, в которой творятся всякого рода[64*] лексиконы, таблицы, наблюдения и все то, что требует долготерпения и душу живу. Их в людей развить невозможно, они – крайность одностороннего направления учености. Мало того, что они умрут в своей односторонности: они бревнами лежат на дороге всякого великого прогресса – не потому, чтобы они не хотели[65*] улучшения науки, а потому, что они только тот прогресс признают, который вытек из касты с соблюдением ритуала[66*] их или который они сами обработали. У них метода одна – анатомическая. Кто убил ученье Лейбница и дал ему труповой вид школьности как не ученые[67*]? Кто из живого всеобъемлющего ученья Гегеля стремился сделать схоластический, безжизненный, односторонний формализм? – Берлинские профессоры[68*].

Греция, умевшая развивать индивидуальности до какой-то художественной оконченности и высоко-человеческой полноты, мало знала в цветущие времена свои ученых в нашем смысле; их мыслители, их историки, их поэты были прежде всего граждане – люди жизни, люди общественного совета, площади, военного стана – оттого это гармонически уравновешенное, прекрасное своим аккордом, многостороннее развитие великих личностей их науки и искусства – Сократа, Платона, Эсхила, Ксенофонта и пр. Таковы ли наши ученые? Сколько профессоров в Германии спокойно читали свой схоластический бред во время Наполеоновской драмы и спокойно справлялись по карте, где Ауэрштет, Ваграм с тем любознательным бездушием, с которым на другой карте отмечали они путь Одиссея, читая Гомера. Один Фихте, вдохновенный и глубокий, громко сказал, что отечество в опасности и бросил на время книгу. А Гете... прочтите его переписку того времени![69*]

Так, как сложилась теперь каста ученых, им, конечно, не легко выйти из нее и отрясти прах академический с ног своих. Ученый до такой степени разобщился с современностью, до такой степени завял, вымер с трех сторон – что надобно почти нечеловеческие усилия, чтоб взойти живым звеном в живую цепь. Образованный человек не считает ничего человеческого чуждым себе, он сочувствует всему окружающему; для ученого – наоборот: ему все человеческое чуждо, кроме избранного им предмета, как бы этот предмет сам в себе не был ограничен. Образованный человек мыслит по свободному побуждению, по благородству человеческой натуры, и мысль его открыта, свободна. Ученый мыслит по обязанности, по возложенному на себя обету, и оттого в его мысли есть что-то ремесленническое, и она всегда подавторитетна. Ученый имеет часть, и в ней он должен быть умен. Образованный человек не имеет права быть глупым ни в чем. Есть великие поэмы, великие творения, имеющие всемирное значение, вечные песни, завещаваемые из века в век; нет сколько-нибудь образованного человека, который бы не знал их, не читал их, не прожил их – цеховой ученый наверное не читал, если они не относятся прямо к его предмету. На что химику – "Гамлет"? На что физику – "Дон Жуан"? Есть еще более странное яв-

---

[58*] *Далее было*: И конечно [59*] *Было*: Не всякий ученый [60*] *После*: ученым *было*: составляющим крайность [61*] *Было*: многие из ученых [62*] *Вместо*: подавив в себе специальность *было*: при всей своей учености [63*] *Вместо*: касты *было*: цеха [64*] *Вместо*: творятся всякого рода *было*: составляются [65*] *Вместо*: хотели *было*: шли вперед [66*] *Вместо*: ритуала *было*: всех требований [67*] *После*: ученые *было*: последователи его [68*] *После*: профессоры *было*: Причина одна: распадение с жизнию, исключительное положение и ученые предания. [69*] *После*: времени! *было*: Лейбниц и Гете, разумеется, не принадлежат к тем ученым, о которых мы говорим; это два гиганта, два колосса; один при входе Германии в педантизм, другой при выходе; оба они недосягаемо выше школьной односторонности, ⟨искупают Германию с немногими перед человечеством⟩ но оба не изъяты недостатков своей родины и своих эпох, ⟨они оба люди прошедшего⟩. Мы стоим перед их величественными тенями с глубоким удивлением, как перед Лукзорскими обелисками – великими памятниками, но не нашего, а иного мира; Шиллер, может, не так колоссальный, ближе к нам. Гегелем начинается новая Германия.

На полях помета Герцена: О Гете оставить.



ГЕРЦЕН

Рисунок Х.Я. Рейхеля (итальянский карандаш). Новгород. 1842. Справа внизу подпись художника: "Новгород. Х. Рейхель. 1842"

Российская государственная библиотека, Москва

ление, особенно часто встречающееся между германскими учеными: некоторые из них все читали и все читают, но понимают только по одной части, во всех же других они изумляют сочетанием огромных сведений с всесовершеннейшей тупостью, напоминающею иногда наивность ребяческого возраста[70*]; именно, как сказано в нашем эпиграфе, "они прослушали все звуки, да гармонии-то не слыхали". – Степень учености определяется решительно памятью и трудолюбием: кто помнит наибольший запас вовсе ненужных сведений об одном предмете, у кого в груди не бьется сердце, не кипят страсти, требующие не книжного удовлетворения, а подействительнее, кто имел терпение лет двадцать твердить частности и случайности, относящиеся к одному предмету – тот и ученее. Без сомнения, Monsieur, которого привозили к князю Потемкину и который знал на память месяцеслов, был ученый – и, еще более, сам изобрел *свою* науку. Ученые трудятся, пишут только для ученых, для общества, для масс пишут образованные люди; большая часть писателей, сделавших огромные влияния, потрясавших, двигавших массы, не принадлежит к ученым: Байрон, Валь-

[70*] *Вместо*: возраста *было*: состояния

тер Скотт, Вольтер, Руссо, у нас – Пушкин, Жуковский, Карамзин, Державин. Если же из среды ученых[71*] какой-нибудь гигант пробьется и вырвется в жизнь, они отрекаются от него как от блудного сына, как от ренегата, с злобой проклинают его апостазию[42]. Гегеля обвиняли в невежестве. Ученые пишут с ужасным трудом; один труд в мире тягостнее и есть: это чтение их doctes écrits[43] [72*]. Впрочем, такого труда[73*] никто и не предпринимает, ученые общества, академии, библиотеки покупают их фолианты, иногда нуждающиеся в них справляются, но никогда не читают. Образованный человек может знать и не знать по-латыни, ученый должен знать по-латыни – не смейтесь над этим замечанием, я и тут вижу след окостенелого духа касты. Собрание ученых какой-нибудь академии было бы похоже на нашу роговую музыку, где каждый музыкант всю жизнь дудит одну и ту же ноту, если б у них был капельмейстер и ensemble[45]. Или, лучше, они похожи на роговых музыкантов, спорящих между собою каждый о превосходстве своей ноты и дудящий во всю силу легких, чтоб доказать. Им и в голову не приходит, что музыка будет только[74*] когда все звуки поглотятся, уничтожатся в одной, их объемлющей гармонии.

Различие ученых с дилетантами весьма ярко. Дилетанты любят науку – но не занимаются ею; они рассеиваются по лазури, носящейся над наукой, которая точно так же ничего, как лазурь земной атмосферы. Для ученых наука – барщина, на которую они призваны обработать указанную полосу; занимаясь кочками и мелочами, они решительно не имеют досуга бросить взгляд на все поле. Дилетанты смотрят в телескоп, оттого видят только те предметы, которые по меньшей мере далеки, как луна от земли, – а земного и близкого ничего не видят. Ученые смотрят в микроскоп и потому не могут видеть ничего большого; для того, чтоб быть ими замеченным, надобно быть незаметну глазу человеческому; для них не существует кристальный ручей, а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Дилетанты любуются наукой так, как мы любуемся Сатурном: на благородной дистанции и ограничиваясь знанием, что он светится и что на нем обруч. Ученые так близко подошли к храму науки, что не видят храма и ничего не видят, кроме кирпича, к которому пришелся их нос. Дилетанты – туристы в области науки, и, как вообще туристы, знают о странах, в которых были, общие замечания да всякий вздор: газетную клевету, светские сплетни, придворные интриги. Ученые – фабричные работники и, как вообще работники, лишены умственной развязности и общечеловеческих признаков, что не мешает им быть отличными мастерами своего дела, вне которого они никуда не годны. Каждый дилетант занимается всем scibile[46], да еще сверх того тем, чего знать нельзя: мистицизмом, магнетизмом, физиогномикой, гомеопатией, двойным зрением и пр. Ученый, наоборот, занимается одной главой отдельной ветви какой-нибудь специальной науки и кроме ее ничего не знает и знать не хочет. Такие занятия иногда имеют свою пользу, доставляя факты для истинной науки. От дилетантов, само собою разумеется, никому и ничему нет никакой пользы. Многие думают, что самоотвержение, с которым ученые обрекают себя на кабинетную жизнь, на скучную работу, однообразную и утомительную, для пользы своей науки, заслуживает великой благодарности со стороны общества. Не знаю, как сказать[75*], сперва расскажу один старый анекдот.

Какой-то добрый француз сделал модель одного парижского квартала из воска с удивительной отчетливостью. Окончив долголетний труд свой, он поднес его Конвенту единой и нераздельной республики. Конвент, как известно, был нрава крутого и оригинального. Сначала он промолчал: ему и без восковых кварталиков было довольно дела – спасти Францию, да свою идею, пообрубить лишние головы, образовать несколько армий, прокормить голодный народ... Наконец, добрался он до модели и решил: "Гражданина такого-то, которого произведение нельзя не признать оконченно выполненным[76*], посадить на шесть месяцев в тюрьму за то, что он зани-

---

[71*] *Вместо*: из среды ученых *было*: из их среды [72*] Что-то вроде этого сказал Гегель об одной истории философии, не помню, где. Боясь обвинения в plagiat[44] делаю это примечание. [73*] *После*: труда *было*: почти [74*] *После*: только *было*: тогда [75*] *После*: сказать *было*: но думаю, что к пояснению дела [76*] *Вместо*: выполненным *было*: изящным, *потом над ним*: прекр⟨асным⟩

мался бесполезным делом, когда отечество было в опасности". С одной стороны, Конвент прав – но вся беда Конвента состояла ⟨в том⟩, что он во всех делах смотрел с одной стороны, да и то, кажется, не с самой приятной. Ему не пришло в голову, что человек, который мог с охотой заниматься годы целые леплением из воска, и притом – такие годы, не мог никуда быть иначе употребленным с пользою. Мне кажется, таких людей не следует ни наказывать, ни награждать. Специалисты науки находятся именно в этом положении: им ни брани, ни похвалы; их занятие, без сомнения, не хуже, да и, конечно, не лучше всех будничных занятий человеческих. Странная несправедливость состоит в том, что ученых считают повыше простых граждан, освобождают[77*] от всяких общественных тягостей и служб, потому что они – ученые, а они и рады сидеть в халате и предоставлять другим все заботы и труды. За то, что человек всю жизнь посвящает не истинному Богу, а какому-нибудь Молоху, за то, что он имеет мономанию к камням, или к медалям, или к раковинам, за это его ставит в исключительное положение – в этом нет здравого смысла. Между тем, избалованные обществом ученые дошли было до троглодитовски дикого состояния. И теперь всякий знает, что нет ни одного дела, которое можно[78*] поручить ученому – это вечный недоросль между людьми, он только не смешон в своей лаборатории, музеуме. Ученый теряет даже первый признак, отличающий человека от животного – общественность; он конфузится, боится людей, он отвык от живого слова, он[79*] трепещет перед опасностью[80*], он не умеет одеться, в нем что-то жалкое, безумное и дикое. Ученый – это готтентот с другой стороны, так, как Хлестаков был генерал с другой стороны. Вот каким клеймом отмечает Немезида людей, думающих выйти из человечества. Вечный тип цеховых ученых, обличающий всю нелепость их – это Вагнер в "Фаусте". И эти люди требуют, чтоб мы признали их превосходство над нами, требуют какого-то спасиба от человечества, воображают себя в авангарде его! Никогда! Они по своему званию не принадлежат к аристократии человечества, к передовой фаланге его, которая первая освещается восходящей идеей и первая побивается грозой. В этой фаланге может быть и ученый, так, как может быть купец, воин, артист, но они избираются не по этим званиям, а потому что на челе их увидели след божественной искры; они принадлежат не к ученым обществам, а просто к образованным людям, то есть к тому кругу, который развился до уразумения понятия человечества и современности. Этот круг, – более или менее просторный, смотря по степени просвещения страны, – есть живая, полная сил среда, пышный цвет, в который втекают разными жилами все соки, трудно разработанные, и преображаются в венчик красивый и благоухающий. Этот венчик – гробница[81*], хранящая плод[82*] всей прошедшей жизни растения, но, с тем вместе, колыбель, в которой покоится семя будущего. В нем, как в цветке, апотеоза растения, в нем грубое вещество преобразилось, достигло своей цели[83*] и, так сказать, переходя в будущее, развертывается во всей красе, для того, чтоб насладиться настоящим[84*]. Но предупредим недоразумение: эта аристократия далеко не замкнута, она, как Фивы, имеет сто широких врат, вечно открытых, вечно зовущих.

Каждый может взойти в ворота, но труднее в них пройти ученому, нежели всякому другому, скорее канат пройдет в игольное ушко. Ученому мешает его диплом. Диплом – чрезвычайное препятствие развитию. Диплом свидетельствует, что дело кончено, consummatum est[47]; носитель его совершил в себе науку, знает ее. Жан Поль говорит в "Левана": "Когда ребенок сказал неправду, скажите ему, что он сделал дурно, скажите, что он солгал, но не называйте лгуном. Он, наконец, поверит, что он лгун, вы развратите его в собственном мнении, он примирится с званием лгуна". Это замечание очень идет сюда: получивши диплом, ученую степень, человек в самом де-

---

[77*] *Вместо*: ученых ~ освобождают *было*: ученых считают освобожденными [78*] *После*: можно *было*: было бы [79*] *После*: он *было*: униженно [80*] *Вместо*: опасностью *было*: материальною властью [81*] *Вместо*: гробница *было*: мавзолей [82*] *Вместо*: плод *было*: результат [83*] *Вместо*: преобразилось ~ цели *было*: блестит небесными цветами [84*] *После*: настоящим *было*: Поглощая лучшие соки, эта аристократия не обязана даже благодарить, потому что вся цель их – быть поглощенными, как подмостки, как временные определения

ле воображает, что он знает науку, в то время, как диплом имеет собственно одно гражданское значение, но носитель его чувствует себя отделенным от рода человеческого, он на людей без диплома смотрит как на профанов. Диплом, точно иудейское обрезание[85*], делит людей на два человечества[86*]. Диплом по большей части свидетельствует, что такой-то не глупорожденный[87*] и знает по-латыни, да еще коечто. Что касается до первого, можно рассудить без диплома, что касается до второго – никому дела нет до этого. Диплом дается по экзамену – экзамен имеет такое же отношение к знанию человека, как погружение руки в кипяток к правоте его: может очень быть, что хорошо ответивший и в самом деле знает что-нибудь или макавший руку невинен. Именно потому и может быть это, что нет никакого истинного отношения, а одно случайное. Юноша, получивший диплом, или принимает его за акт освобождения от школы, за подорожную в жизнь – и тогда диплом[88*] не сделает ни вреда, ни пользы, или он в гордом сознании отделяется от людей и принимает диплом за право гражданства в республике litterarum[49], и идет подвизаться на схоластическом форуме ее. Республика ученых – худшая республика из всех когда-либо бывших, не исключая Парагвайской во время управления ею ученым *доктором* Франциа. Юношу вступившего встречают нравы и обычаи окостенелые и наросшие поколениями, его вталкивают в споры бесконечные и совершенно бесполезные, бедный истощает свои силы, втягивается в искусственную жизнь касты и забывает[89*] малопомалу все живые интересы, начинает расставаться с людьми и с современностью; с тем вместе он начинает чувствовать высоту жизни в области схоластики, привыкает говорить и писать торжественным и тяжелым языком касты, полагает достойным внимания только те события, которые случились за 800 лет и были отвергаемы полатыни, признаваемы по-гречески. Но это еще не все, это медовый месяц; вскоре им овладевает идиосинкразия, он предается специальности, делается ремесленником. Наука теряет всю торжественность свою для него, для своего слуги нет великого человека. – И цеховой ученый готов, и из несчастного делается одно из тех лиц, в которых масса смеется[90*] над наукой.

Но может ли существовать наука без специальных занятий? Разве энциклопедическая поверхность не есть именно недостаток дилетантизма? Конечно не может, но вот в чем дело[91*].

Наука – живой организм, в котором развивается истина. Метода одна, это собственно процесс ее органической пластики[92*]; ее фазы, ее моменты, расчленения предопределены в самой сущности ее понятия и развиваются по мере осуществления его[93*]. Никакая сумма сведений не составит науки до тех пор, пока сумма эта не обрастет живым мясом[94*] около одного живого центра, то есть не дойдет до раскрытия его, пониманья себя телом его[95*]. Никакая блестящая всеобщность, со своей стороны, не составит наукообразного знания, если, заключенная в ледяную область отвлечений, она не имеет силы раскрыться из рода в вид, если[96*] она не обнимает вида, если переход в мир событий и действий[97*] не заключен во внутренней необходимости ее, против которой она не может совладать [98*]. Все живое живо и истинно только как целое, как внутреннее и внешнее[99*], как всеобщее и частное – сосуществующие[100*]. Жизнь связует эти моменты, жизнь – процесс их вечного перехода друг в друга, колебание[101*] между тем и другим. Одностороннее пониманье науки разруша-

---

[85*] *После*: обрезание *было*: отрезывает [86*] *После*: человечества *было*: Почему никто не берет диплом в красоте, в уме – потому что одного взгляда и одного слова достаточно, чтоб без всяких pièces justificatives[48] понять, кто красив и кто нет. А разве [87*] *Вместо*: глупорожденный *было*: не сумасшедший, *потом*: не глупорожденный и не сумасшедший [88*] *Вместо*: диплом *было*: он большого вреда [89*] *Вместо*: забывает *было*: начинает забывать [90*] *Вместо*: смеется *было*: ругается [91*] *Вместо*: Конечно ~ дело *было*: Об этом следует поговорить [92*] *Вместо*: собственно ~ пластики *было*: ее жизненный процесс [93*] *Вместо*: осуществления его *было*: понятия [94*] *Вместо*: обрастет ~ мясом *было*: срастется [95*] *После*: его *было*: ибо он необходимо существует. [96*] *После*: из рода в вид *было*: т.е. [97*] *Вместо*: Мир ~ действий *было*: действительность [98*] *Вместо*: из рода ~ совладать *было*: в последнюю подробность и внешность [99*] *Далее было*: утянутое в деятельность [100*] *После*: сосуществующие *было*: Всеобщее существует не вне этих частей, а части по той мере имеют смысл, по которой они отнесены к целому [101*] *Вместо*: процесс ~ колебание *было*: процесс их перехода, жизнь – колебание

ет неразрывное, – то есть убивает. Дилетантизм держится в отвлеченной всеобщности, оттого у него нет действительных знаний, а тени. Они легко расплываются оттого, что кругом пустота, они для легкости ноши хотели отделить жизнь от живущего; ноша стала в самом деле легка, потому что такое отвлечение[102*] – *ничего*. А это ничего есть любимая среда дилетантов всех степеней, они в нем видят беспредельный океан и довольны простору мечтам и фантазиям; на этом море они[103*] обыкновенно встречаются с столь же отчаянными пловцами и романтиками – известными любителями эфира и бесконечной пустоты. Но если очевидно[104*] нечто безумное в мысли отделить жизнь от живого организма и между тем сохранить ее, то ошибка специализма, конечно, не лучше[105*]. Он всеобщего знать не хочет, но до него никогда не подымается, он за самобытное принимает всякую дробность и частность; удерживая их самобытность, специализм может дойти до каталога, до всяких субсумаций, но никогда не дойдет до их внутреннего смысла, до их понятия – до истины наконец, потому что в ней надобно погубить все частности; путь этот[106*] похож на определение внутренних свойств человека по калошам и пуговицам. Все[107*] внимание специалиста обращено на частности, он с каждым шагом более и более запутывается, частности делаются дробнее, ничтожнее; деление границ не имеет, темный хаос случайностей стережет его возле и увлекает[108*] в болотистую тину той закраины бытия, которую свет не объемлет. Это его бесконечное море в противоположность дилетантизму. Всеобщее, мысль, идея – начало, из которой текут все частности, единственно существующая нить Ариадны – теряется у специалистов[109*], упущена из виду за подробностями; видят страшную опасность: факты, явления, видоизменения, случаи давят со всех сторон; специалисты чувствуют природный человеку ужас заблудиться в многоразличии всякой всячины, ничем не сшитой; они слишком положительны, чтоб утешиться, как дилетанты, какими-нибудь общими местами, и в отчаянии, теряя единую великую цель науки, ставят границей стремление Orientierung[50]. Лишь бы найтиться, лишь бы не быть засыпану с головою песками фактов, сыплющихся отовсюду. Желание[110*] найтиться наводит на искусственные методы и теории, на искусственные классификации и всякие построения, о которых *вперед знают*, что они не истинны. Такие[111*] теории трудны для изучения, потому что они противоестественны, и они-то составляют непреоборимые укрепления, за стенами которых[112*] сидят ученые – себе на уме. – Эти теории – наросты, бельмы на науке, их[113*] должно в свое время срезать[114*], чтоб раскрыть[115*] зрение – но они и составляют гордость и славу ученых. В последнее время не было известного медика, физика или химика, который не выдумал бы своей теории: Бруссе и Ге-Люссак, Тенар и Распайль и tutti quanti[51] [116*]. Но чем добросовестнее ученый, тем меньше он сам может удовлетвориться домашними[117*] теориями: лишь только он принял какую-нибудь, чтоб скрепить связку фактов, он наталкивается на факт, очевидно, не идущий в меру; надобно для него сделать отдел, новое правило, новую гипотезу, а эта новая гипотеза противоречит старой – и чем дальше в лес, тем больше дров. Ученый должен по своей части знать все теории, и при этом не забывать, что все они[118*] вздор (как оговариваются во всех французских курсах физики). Посвящая время на[119*] полезные изучения прошедших ошибок, он не может найти мгновение, чтоб заняться не по своей части, еще менее – чтоб подняться в сферу истинной науки, обнимающей все частные предметы как свои ветви. Впрочем, ученые не верят в нее[120*], они на мыслителей посматривают, иронически улыбаясь, как Наполеон на

[102*] *Вместо*: такое отвлечение *было*: жизнь – абстракция [103*] *Вместо*: беспредельный океан ~ они *было*: беспредельный океан бесконечного, конечно, просторно их мечтам и бреду в этой среде, в ней они *Затем средняя часть была исправлена так*: конечно, они довольны, видя, что просторно их мечтам [104*] *После*: очевидно *было*: есть [105*] *Вместо*: лучше *было*: выше [106*] *Вместо*: этот *было*: социализма [107*] *Перед*: все *было*: Так как [108*] *Вместо*: увлекает *было*: зове⟨т⟩ [109*] *Вместо*: специалистов *было*: у них [110*] *Перед*: желание *было*: Это [111*] *Было*: Эти [112*] *В тексте ошибочно*: которой [113*] *Вместо*: их *было*: которые [114*] *Было*: должны в свое время быть срезаны [115*] *После*: раскрыть *было*: ее [116*] *Вместо*: tutti quanti *было*: многое множество других [117*] *Вместо*: домашними *было*: субъективными [118*] *Вместо*: все они *было*: та и другая [119*] *После*: на *было*: эти [120*] *Вместо*: в нее *было*: в философию

идеологов; они – люди положительного опыта, наблюдения. А между тем, их положительность и материализм не мешает им быть по превосходству идеалистами: искусственные методы, системы, субъективные теории разве не крайность идеализма?[121*] Как бы человек ни считал себя занимающимся одними фактами, внутренняя необходимость ума увлекает его в сферу мысли, к идее, к всеобщему; специалисты выигрывают упорным непослушанием только то, что вместо правильного пути они блуждают в странной среде, которой дно – факты без связи, а верх – теоретические мечтания без связи[122*]. Поднимаясь в всеобщее[123*], они не хотят упустить ни одной частности, а в той сфере не принимается ничего точимого молью[124*] – одно вечное, родовое, необходимое призвано в науку и освещено ею[125*]. – Мир фактический служит, без сомнения, основой науке; наука, опертая не на природе, не на фактах, есть именно туманная[126*] наука дилетантов. Но с другой стороны, факты in crudo[52], взятые в всей случайности бытия, несостоятельны против разума, светящего[127*] в науке. В науке – этом совершившемся[128*] самопознании природы – природа восстанавливается не с характером случайностей и внешних влияний, в который она погружена, а в чистоте своей логической необходимости. Подавляя случайности, наука примиряет бытие[129*] с идеей, восстановляет естественное во всей чистоте, понимает недостаток des Daseins[53] и поправляет его как власть имущая. Природа, так сказать, жаждала своей эманципации, просила немым, но выразительным языком своего освобождения[130*] от уз случайного бытия разумом, и разум совершил это в науке. Отсюда видно[131*], что люди отвлеченной метафизики должны опуститься из своего поднебесья именно *в физику* (в обширнейшем смысле и в смысле науки) и в нее же должны подняться роющиеся в земле специалисты. В науке[132*], принимаемой таким образом, нет ни мечтаний, нет ни фактических случайностей – в ней себя и природу созерцающий разум[133*].

Доказывать объективность разума на этот раз не предположено нами – мы обратим внимание на нечто иное, прямо относящееся к цели статьи. Главное, что делает науку недоступной массе со стороны науки – это метафизические бредни и тьматьмущая специальностей, на изучение которых посвящается целая жизнь – и схоластический вид которых отталкивает многих[134*]. Но в истинной науке необходимо улетучивается то и другое и остается стройный организм, разумный и оттого *просто понятный*. Стоит науке понять себя и массам подняться до сознания – и то и другое en germe[54] перед нами, иначе[135*] нам бы не пришло в голову говорить об этом. Язык, который[136*] употребляет наука поднесь – скверная привычка, взятая от вечного обращения писателей с учеными, и долею, впрочем, от собственного неясного пониманья. Нет истины, которую нельзя бы было[137*] высказать просто и ясно, особенно в ее диалектическом развитии. Старик Буало прав:

Tout ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement,
Et les mots, pour le dire, arrivent aisement[55].

Мы, улыбаясь, предвидим теперь смешное положение ученых, когда они хорошенько поймут современную науку – ее истинные результаты до такой степени просты и ясны, что ученые будут скандализованы: "Как! Неужели они бились и мучились целую жизнь, а ларчик так просто открывался?" Теперь еще они сколько-нибудь могут уважать науку, потому что[138*] надобно иметь некоторую *силу*, чтоб по-

---

[121*] *Далее было*: Дело просто [122*] *Было*: дно – факты, а верх – мечтания [123*] *Вместо*: в всеобщее *было*: в сферу всеобщего [124*] *Вместо*: точимого молью *сперва было*: что моль точит, *затем*: что точится молью [125*] *Было*: Бессмысленные частности [126*] *Вместо*: туманная *было*: блуждающая [127*] *Вместо*: светящего *было*: светящегося [128*] *Вместо*: совершившемся *было*: совершенном [129*] *Вместо*: необходимости ~ бытие *было*: необходимости, готовой всегда раскрыться, она примиряет действит⟨ельное⟩ бытие [130*] *После*: освобождения *было*: разу⟨мом⟩ [131*] *Вместо*: видно *было*: ясно [132*] *Вместо*: науке *было*: физике [133*] *Вместо*: себя и природу созерцающий разум *было*: в ней разум природы, *затем*: в ней себя созерцающий разум природы [134*] *Вместо*: и схоластический ~ многих *было*: которую массы не могут видеть [135*] *После*: иначе *было*: мы [136*] *После*: который *было*: говорит [137*] *После*: было *начато*: выр⟨азить⟩ [138*] *После*: потому что *начато*: в самом ⟨деле⟩

нять, как она проста[139*], а они и не догадываются об ее простоте[140*]. Но если в самом деле наука так проста, зачем же высшие представители ее, сам Гегель говорит таким трудным языком?

Гегель, несмотря на всю мощь и величие своего гения, был тоже человек, он испытал панический страх просто выговориться до последнего следствия своих начал; у него не достало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила. Величайшие люди останавливались перед очевидными результатами своих начал[141*], иные, испугавшись, шли вспять, напр. Шеллинг, и вместо того, чтоб искать ясности, затемняли себя. Гегель видел, что многое из общепринятого[142*] не вынесет удара – и особое чувство благочестия[143*] удержало его руку, ему жаль было разить то, с чем он сжился, но с другой стороны, он не мог не высказать то, что он был призван высказать... Отсюда, положив начало и боясь признаться во всех следствиях своих начал, Гегель часто ищет не[144*] простого, естественного, само собою текущего результата, но еще чтоб он был в ладу с существующим. Развитие делается сложнее[145*], ясность затемняется[146*]. Это не укор великому мыслителю. Никто не может стать выше своего века, и если юное поколение может проще высказаться и рука его смелее откроет последние завесы Изиды[147*], то это именно потому, что Гегелева точка зрения у него вперед шла, была побеждена для него. Молодое поколение стоит на горе[148*] и разом обнимает обширный вид. Но проложившему дорогу на гору он[149*] раскрывался мало-помалу. Когда же он взошел первый – ширина вида его подавила, он стал искать своей горы, ее-то[150*] не было, и он испугался[151*], она слишком связана была со всеми испытаниями его, со всеми судьбами, которые он пережил. Он хотел сохранить ее[152*]. Юное поколение, легко взошедшее на гору с помощью крепкой десницы, не имеет уже к ней ни той любви, ни того уважения, для него она – прошедшее.

Когда юное возмужает, когда оно привыкнет к высоте, оглядится, почувствует себя там дома, перестанет дивиться широкому виду его бесконечности и своей воле, словом, сживется с вершиной горы – тогда его истина, его наука выскажутся просто, всякому доступно. – И это будет![153*]

Ноябрь 1842 И–р

5

Сравнивая рукопись "Цеха ученых" со статьей "Дилетанты и цех ученых", опубликованной в "Отечественных записках", легко обнаружить, что ряд содержащихся в рукописи мест в журнальном тексте отсутствует; с другой стороны, в первопечатном тексте содержатся также такие положения, которых нет в рукописи. Так что рассматриваемый автограф представляет собою, как уже было сказано, своего рода промежуточную редакцию статьи.

Рукопись вполне можно назвать черновой, обязательно учтя при этом тот факт, что выглядит она весьма аккуратно – как будто уже вполне приготовленной для переписчика. На это указывает, в частности, и заметка Герцена на л. 5, к какому месту отнести текст, находящийся "в прибавочном листе", а также пометы на л. 5об. и 6 относительно переноса части текста из одного места в другое. Вероятно, Герцен действительно отдал эту рукопись переписчику, а затем вновь отредактировал текст, частично дополнил, частично сократил, и уже вот этот-то по-современному выражаясь, "наборный экземпляр" и был отправлен в Петербург Краевско-

---

139* *После*: проста *было*: а они именно и держатся за ее замысловатость 140* *Вместо*: ее простоте *было*: этом 141* *Между строк было*: напр., Лютер, Мирабо 142* *Вместо*: общепринятого *было*: принятого в науку 143* *Вместо*: благочестия *было*: пиэтета 144* *После*: ищет не *было*: истинного 145* *После*: сложнее *было*: труднее 146* *После*: затемняется *было*: Но 147* *Вместо*: И рука ~ Изиды *было*: и его не остановит любовь и уважение к фактическому миру 148* *Вместо*: Молодое ~ на горе *было*: Мы стоим на горе, но на гору нас привел Гегель 149* *Вместо*: он *было*: вид 150* *После*: ее-то *было*: и 151* *После*: испугался *было*: этого 152* *Вместо*: Он ~ ее *было*: Для молодого поколения гора уже не была свята, для них она есть ⟨была⟩ прошедшее. Но легко взошедшему юному поколенью на гору 153* *Вместо*: Когда юное ~ это будет! *сперва было*: Когда оно возмужает, наука его будет проста, доступна всем. *За этим следовала подпись*: И-р. *Затем на оставшемся перед подписью месте было дописано* (*и зачеркнуто*): Дайте время юному сделаться совершеннолетним – и наука будет проста, величественна в своей простоте и доступна всем.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ

ЗАПИСКИ,

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

1843

ТОМЪ XXVIII.

1843.



II.

НАУКИ И ХУДОЖЕСТВА.

ДИЛЕТТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКѢ.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ "ДИЛЕТАНТЫ И ЦЕХ УЧЕНЫХ"

"Отечественные записки", 1843, № 5

Титульный лист журнала и начало статьи

му. Автографическая же рукопись осталась, по-видимому, в Москве. Напомним, что, когда вторая статья цикла только еще печаталась, Герцен в Москве, дóма, "пробежал ее" (II, 268); значит, у него оставалась копия (вернее, оригинал, подобный тому, который мы здесь рассматриваем).

В целом, если сравнивать первоначальный "ноябрьский" сплошной текст статьи и, условно говоря, вторую ее редакцию, т.е. данную рукопись в том виде, как она нами теперь прочитывается, со всеми внесенными изменениями, то налицо *значительное улучшение* ее автором – в плане стилистического, литературного совершенствования, отточенности слога и стиля. Но этого мало: одновременно происходило и *обогащение содержания статьи* – за счет тех вставок между строк и на полях (а также на отдельном, "вставочном" листе), которые сделал Герцен. Отметим наиболее существенные из этих дополнений.

Л.2. Вписаны слова (они войдут и в печатный текст): "Для масс наука должна родиться не ребенком, а в полном вооружении, как Паллада" (III, 44).

Л.4. Вместо зачеркнутого: "Но не токмо в Китае, а и в Европе была необходимость в касте ученых" – появляется такой текст: "Впрочем, и для истинной науки есть возраст, в который каста ученых необходима: это в те периоды неразвитости, когда наука бывает отринута, ее права не признаны, она сама подчинена авторитетам". Это положение, незначительно отредактированное, сохранилось в тексте "Отечественных записок" (III, 47).

Л.4. После слов, относящихся к эпохе Дж. Бруно и Г. Галилея: "Тогда ученые как сословие были своевременны" – вставлено: "тогда в аудиториях были обсуживаемы величайшие вопросы того века; круг занятий их был пространен..." Эти слова также вошли в первопечатный текст.

Л.5. Вместо пяти вычеркнутых строк – "Нечто ~ зарейнское" – внесено такое дополнение: "Оно (дерево цеховой учености) не осталось без плодов человечеству. После католиче-

ской науки, новая наука, рожденная среди отрицания и борьбы, требовала иных оснований, более положительных, фактических – но не было у нее материалов, запасов, обследованных событий й наблюдений; войско фактов было мало. Ученые разобрали по клочку поле науки и рассыпались по нему; им досталась тягостная доля de défricher le terrain, и в этой-то работе они утратили широкий взгляд и сделались ремесленниками; на их поте, на их утомительном труде целых поколений возросли начала истинной науки – и работники, как всегда бывает, всего менее воспользовались результатами своего труда.

Противоположность романского характера и германического не могла не отразиться на вновь образовавшемся сословии ученых novi continentis. Французские ученые – больше наблюдатели и материалисты, германские – больше схоласты и формалисты. Одни больше занимаются естествоведением, прикладными частями, и притом славные математики, вторые занимаются философией, всеми неприлагаемыми отраслями науки, и притом глубокомысленные теологи. Одни в науке видят практическую пользу, другие – поэтическую бесполезность. Французы больше специалисты, но меньше каста, германцы наоборот. Ученые в Германии похожи на касту жрецов в Египте, они составляют особый народ, в руках которого лежит дело общественного воспитания, общественного мышления, леченья, ученья и пр. Добрым германцам оставалось пить, есть и subir леченье, ученье, мышленье имущих право на то по диплому".

Л. 5об. Большая вставка, посвященная более конкретному и пространному определению цеховых германских ученых. На место беглой фразы об отсутствии у них связи с настоящим, о том, что этот цех "живет в прошедшем, в абстракциях, имеет свои интересы, свой мир", – Герцен пишет на полях (предварительно перенеся часть текста с л. 5об. на л. 6): "Их главный отличительный признак – быть валом отделену от жизни; это монахи средних веков, отшельники, имеющие свой мир, свои интересы, свои обычаи. Теология, древние писатели, еврейский язык, объяснение темных фраз какого-нибудь писателя – вот их предмет. Когда же им случается иметь дело с действительностью, они хотят подчинить ее своим категориям, и из этого выходят чудовищные уродства. Академическая, сциентифическая жизнь в Германии составляет особое государство. По правде, после 30-летней войны не много и можно было заимствовать школе из жизни. Вина обоюдная. Прозябая в вечном занятии схоластическим предметом, ученые приняли слой, резко отличающий их от других людей. Жизнь, медленно и скучно процветавшая за стенами академий, не манила к себе, она в своем филистерстве была столько же и невыносимо скучна, как ученость в своем. Несмотря на свое распадение с жизнью, ученые, памятуя, какой могучий голос имели университеты и ученые доктора в средние века, когда к ним относились с вопросами такой важности, как спор авиньонских и римских пап, хотели вершать безапелляционным судом все сциентифические и художественные вопросы" (собственно вставка кончается словом "хотели"). Несколько подредактированный, этот текст вошел в окончательную редакцию статьи (см. III, 50–51).

Л. 6об. Вставка на полях об узких ученых-специалистах: "Мало того, что они умрут в своей односторонности: они бревнами лежат на дороге всякого великого прогресса – не потому, чтоб они не хотели улучшения науки, а потому, что они только тот прогресс признают, который вытек из касты с соблюдением ритуала их или который они сами обработали. У них метода одна – анатомическая. Кто убил ученье Лейбница и дал ему труповой вид школьности, как не ученые? Кто из живого всеобъемлющего ученья Гегеля стремился сделать схоластический безжизненный, односторонний формализм? – Берлинские профессоры". В окончательной редакции лексический состав этого отрывка кое в чем изменен: "прогресс" Герцен заменил "усовершенствованием"; раскрыл, что такое анатомическая метода: "для того, чтоб понять организм, они делают аутопсию"; ученье Лейбница убили не просто "ученые", а "ученые-прозекторы"; наконец, вместо слов "односторонний формализм" Герцен пишет: "страшный скелет" (см. III, 52).

Л. 12об. и далее. Большая правка заключительного раздела статьи начиная со слов: "Наука – живой организм". По этой правке, относящейся к пониманию "истинной науки", видно, что многие положения давались Герцену с трудом, не удовлетворяли его: он ищет наиболее точные формулировки. Вот одно из дополнений: суждение о том, что "никакая блестящая всеобщность ⟨...⟩ не составит наукообразного знания, если ⟨...⟩ она не имеет силы раскрыться в последнюю подробность и внешность", Герцен, зачеркивая четыре последних слова, модифицирует следующим образом: "... раскрыться из рода в вид, если она не обнимает вида, если переход в мир событий и действий не заключен во внутренней необходимости ее, против которой она не может совладать" (л. 12об). В печатном тексте это место, вновь отредактированное, выглядит несколько иначе (ср. III, 59). Думается, что вся эта правка как в рукописи, так и на следующем этапе работы над статьей, отражает стремление Герцена дать свое понимание науки, учитывающее гегелевское представление о ней, но вместе с тем отличающееся от него, свободное от панлогизма.

Л. 14об. На полях вписывается фраза, отражающая напряженные искания Герценом научно-верного определения отношений между разумом и природой. После слов о том, что наука, подавляя случайности, "примиряет бытие с идеей", обнаруживает недостаточность существующего и "поправляет его как власть имущая" (мысль вполне гегелевская!), Герцен вставляет: "Природа, так сказать, жаждала своей эмансипации, просила немым, но выразительным языком своего освобождения от уз случайного бытия разумом, и разум совершил это в науке" (ср. III, 61). От этой вставки позиция Герцена не стала материалистической, но сама потребность в такого рода вставке и ее реализация вполне обнаруживают тенденцию развития его мышления в этом направлении.

Л. 16. Переписывается концовка статьи. Первоначально было: "Когда оно ⟨юное поколение⟩ возмужает, наука его будет проста, доступна всем". За этим следовала подпись: "И-р". Данная концовка не удовлетворила Герцена, он зачеркивает ее и на свободном месте между нею и подписью пишет: "Дайте время юному сделаться совершеннолетним – и наука будет проста, [и] свято величественна в своей простоте и доступна всем". Но и это зачеркивается. И уже ниже подписи, на свободной части листа перо Герцена уверенно выводит следующие слова: "Когда юное возмужает, когда оно привыкнет к высоте, оглядится, почувствует себя там дома, перестанет дивиться широкому виду его бесконечности и своей воле, словом, сживется с вершиной горы – тогда его истина, его наука выскажутся просто, всякому доступно. – И это будет!"

Естественно, что, делая такого рода вставки, Герцен вычеркивал, редактировал те или иные куски текста. Он не только компенсировал вычеркнутое – он "приращивал" статью. Правда, в отдельных случаях мы сталкиваемся и с явными, трудно объяснимыми потерями. Но об этом несколько ниже.

Возвращаясь же к вопросу о характере правки, сделанной Герценом в рукописи, заметим: самые значительные по объему изменения и дополнения связаны с двумя темами: а) сопоставление Франции и Германии и б) взаимоотношения Гегеля и младогегельянцев. Тот, кто знаком с дневником Герцена 1842–1845 гг., легко заметит, что эти темы раскрываются им в записях от августа-сентября 1842 г. (см. II, 224, 229–231) – и раскрываются они там примерно так же, как и в дополнениях, внесенных уже после ноября 1842 г. Непроизвольно возникает предположение, что, имея уже в принципе готовую рукопись статьи, Герцен *правил ее затем по материалам своих дневниковых записей*. Иначе говоря, при написании статьи он использовал дневник, но не как (или, точнее, не только как) исходный материал, а как материал *дополнительный*, на второй стадии работы.

6

В целом рукопись "Цех ученых" со всеми ее исправлениями и вставками представляет собою, как сказано выше, промежуточную авторскую редакцию статьи. Небезынтересно поэтому, сопоставляя ее с первопечатным текстом, посмотреть, что́ появилось в нем нового, и на этом основании выяснить, в каком направлении и как Герцен дорабатывает статью.

Такое сопоставление показывает, что улучшился стиль статьи, в частности, уменьшилась "игра" в парные связки: "цехи" – "касты", "люди" – "массы" (предпочтение отдано первым словам в этих парах), внесены и другие изменения.

Однако куда более значимым является то обстоятельство, что по сравнению с рукописью первопечатный текст более содержателен. Отметим наиболее характерные места.

1. В автографе (л. 2): "Массы доселе смотрят на науку с недоверием..." В печатном тексте это положение обогащено и развернуто: "Прежде, нежели она ⟨наука⟩ предложит плод свой, она должна совершить в себе и сознать, что совершила всё, к чему была призвана в своей сфере: она близка к этому. Но люди смотрят доселе на науку с недоверием, и недоверие прекрасно..." (III, 44–45).

2. При характеристике дилетанта XIX в. в рукописи сказано: "...он немного мистик и читает Шведенборга, но также и немного скептик"; в журнальной редакции после этого еще добавлено: "...и заглядывает в Байрона" (III, 46).

3. В журнальном тексте появилось прекрасное место о роли книгопечатания как средства сближения науки с жизнью. Вот что было в рукописи: "Касте ученых потому удержаться нельзя, что в ней нет необходимости" (л. 4об.). Это развернулось в такой текст: "Изобретение книгопечатания, без всех остальных содействовавших причин, должно было нанести решительный удар спрятанности ведения, приобщая к нему всех желающих. Наконец, последняя возможность удержать науку в цехе была основана на разрабатывании чисто теоретических сторон, не везде доступных профанам. Но современная наука, сверх теоретических отвлеченностей, имеет иные притязания: она, будто забывая свое достоинство, хочет с своего трона сойти в жизнь. Ученым ее не удержать; это не подвержено сомнению" (III, 48).

4. Перед внесенным в текст уже на втором этапе работы положением о том, что после господства католичества именно цеховым ученым пришлось "подымать новь" на поле науки, где каждый обрабатывал свой клочок (см. л. 5), Герцен вместо слов: дерево цеховой учености "не осталось без плодов человечеству" – вставляет: "Ученые принесли свою пользу науке, которую не признать было бы неблагодарно; но совсем не потому, что они стремились составить касту: напротив, одни индивидуальные труды были истинно полезны" (III, 49). Через несколько строк высказывание о том, что на первом этапе развития науки нового времени ученые "утратили широкий взгляд и сделались ремесленниками", дополняется словами: "оставаясь при мысли, что они пророки" (там же). Далее Герцен продолжает конкретизацию цеховой учености. К тексту об ученых, занявших в обществе место "второго желудка животных, жующих жвачку" ("Массы действуют, проливают кровь и пот, – а ученые являются после рассуждать о происшествии. Поэты, художники творят, массы восхищаются их творениями, – ученые пишут комментарии, грамматические и всяческие разборы"), Герцен прибавляет: "Все это имеет свою пользу; но несправедливость в том, что они себя считают по праву головою выше нас, жрецами Паллады, ее любовниками, хуже – мужьями ее" (III, 51).

5. В "Отечественных записках" появилось любопытное подстрочное примечание насчет правильного понимания слова "образованный": «Разумеется, слово *образованный* принято в истинном смысле его, а не в том, в котором его употребляет, например, жена городничего в "Ревизоре"» (III, 52), а также некоторые другие подстрочные примечания. К месту, где давалась характеристика Гете, добавлено такое примечание: «Не помню, в какой-то, недавно вышедшей в Германии, брошюре было сказано: "В 1832 году, в том замечательном году, когда умер последний могиканин нашей великой литературы". – "Да!"» (III, 53). К словам о разобщении ученых с современностью дается примечание: "Считаю необходимым еще раз сказать, что дело идет единственно и исключительно о *цеховых ученых* и что все сказанное только справедливо в антитетическом смысле: *истинный* ученый всегда будет просто человек, и человечество всегда с уважением поклонится ему" (III, 53). Герцен имеет в виду антитезу: цеховой ученый – образованный человек.

6. К тем противопоставлениям, которыми Герцен раскрывает качественные различия между учеными и образованными людьми, он добавляет: "Образованный человек может знать и не знать по-латыни, ученый должен знать по-латыни... Не смейтесь над этим замечанием: я и здесь вижу след окостенелого духа касты" (III, 53).

7. Появились в статье имена Колумба и Коперника – и вот в каком контексте. В рукописи было: "Если же из среды ученых какой-нибудь гигант пробьется и вырвется в жизнь, они отрекаются от него как от блудного сына, как от ренегата, с злобой проклинают его апостазию" (л. 8). В журнальном тексте читаем: "как от ренегата. Копернику не могли простить гениальность, над Коломбом смеялись..." (III, 54). (Далее следуют слова, имевшиеся в рукописи: "Гегеля обвиняли в невежестве".)

8. Опровергая мнение, что самоотвержение, с которым ученые обрекают себя на кабинетную жизнь, заслуживает само по себе всяческого уважения, Герцен, прежде чем рассказать "старый анекдот" о том, как революционный Конвент Франции заключил одного человека в тюрьму за то, что он "занимался бесполезным делом, когда отечество было в опасности" (этот гражданин поднес Конвенту точнейшую восковую модель одного из парижских кварталов), – присовокупил: "Мне кажется, награда всякому труду в самом труде, в деятельности" (III, 56).

9. В пространную характеристику ученых Герцен добавил слова: "Ученые – это чиновники, служащие идее, это бюрократия науки, ее писцы, столоначальники, регистраторы" (III, 57).

10. Говоря о тех, кто может войти в передовую фалангу человечества, которая "первая освещается восходящей идеей и первая побивается грозой", Герцен добавил, что к этому кругу образованных людей, развившихся до "живого уразумения понятия человечества и современности", может принадлежать не только ученый, купец, воин, артист, но и женщина (см. III, 57).

11. Значительной правке подвергся заключительный раздел статьи – о науке как живом организме, развивающем истину. В частности, Герцен сделал такое добавление: "Полная система есть расчленение и развитие *души* науки до того, чтоб душа стала телом и тело стало душою. Единство их одействотворяется в методе" (III, 58–59). Выступая здесь против формалистического понимания науки как ледяной сферы отвлеченностей, Герцен писал, что научные абстракции только в том случае составляют научное знание, если они могут раскрыться из рода в вид, если они переходят в мир событий и действий. К этому Герцен добавляет еще фразу о внутренней потребности науки развиваться "из всеобщего в *личное*" (III, 59). Таким образом, при окончательной отделке данной статьи Герцен, по существу, начинает тему о формализме

в науке, которой он посвятил четвертую статью цикла. Вот свидетельство этого – предложение из рукописи: "Дилетантизм держится в отвлеченной всеобщности, оттого у него нет действительных знаний, а тени" (л. 12об.) – принимает в конце концов такой вид: "Дилетантизм и формализм держатся в отвлеченной всеобщности; оттого у них нет действительных знаний, а есть только тени" (III, 59).

12. К словам, что "надобно иметь некоторую силу", чтоб понять: наука по сущности своей проста, Герцен прибавил: необходимо иметь еще "и некоторую сноровку, чтоб узнавать ясную истину под плевою схоластических выражений" (III, 62).

13. А в тексте перед этим он осуществляет очень существенное видоизменение. В рукописи была фраза: "Стоит науке понять себя и массам подняться до сознания – и то и другое en germe перед нами, иначе нам бы не пришло в голову говорить об этом. Язык, который употребляет наука поднесь – скверная привычка, взятая от вечного обращения писателей с учеными, и долею, впрочем, от собственного неясного пониманья" (л. 15). Вместо этих слов появляется следующий текст: "Наука достигает теперь перед нашими глазами до понятия себя в истинном значении. Если б не было так, и нам не пришло бы в голову говорить об этом. Всегда и вечно будет техническая часть отдельных отраслей науки, которая очень справедливо останется в руках специалистов, но не в ней дело. Наука, в высшем смысле своем, сделается доступна людям, и тогда только она может потребовать голоса во всех делах жизни" (III, 61–62).

14. Дополнительный штрих вносится Герценом и при характеристике Гегеля: дело не просто в его личном "паническом страхе просто выговориться ⟨...⟩ до последнего следствия своих начал"; дело еще и в том, что этот страх отчасти объясняется характером его эпохи; он жил в "эпоху, выражавшуюся ломаным языком" (III, 62). Эта же мысль развивается еще и в другом дополняющем отрывке, опять-таки объясняющем сложность гегелевского учения: "Присовокупим к этому дурную привычку говорить языком школы, которую он поневоле должен был приобрести, говоря всю жизнь с немецкими учеными. Но мощный гений и тут прорывается во всем колоссальном своем величии. Возле запутанных периодов вдруг одно слово, как молния, освещает бесконечное пространство вокруг, и душа ваша долго еще трепещет от громовых раскатов этого слова и благоговеет перед высказавшим его" (III, 63).

Итак, при окончательной отделке статьи Герцен существенно конкретизировал ряд тем, раскрытых в рукописи более общим образом. Это темы: наука и стадии ее зрелости; цеховой ученый – истинный ученый – образованный человек и отношение их к массам и к жизни вообще; "цеховое" и гениальное в учении Гегеля.

7

Ряд мест, содержавшихся в рукописи, в печать не попали.

Часть из них была вычеркнута самим Герценом. Не вдаваясь в объяснение причин этого, отметим наиболее интересные случаи:

1. Вот отрывок из журнального текста: "Конечно, Гете недосягаемо выше школьной односторонности: мы доселе стоим перед его грозной и величественной тенью с глубоким удивлением, с которым останавливаемся перед Лукзорским обелиском – великим памятником какой-то иной эпохи, великой, но прошлой, не нашей!" (III, 53).

А вот что было в рукописи: "Лейбниц и Гете, разумеется, не принадлежат к тем ученым, о которых мы говорим, это два гиганта, два колосса, один при входе Германии в педантизм, другой – при выходе; оба они недосягаемо выше школьной односторонности (искупают Германию ⟨...⟩ но оба не изъяты недостатков своей родины и своих эпох перед человечеством, [они оба люди прошедшего]; мы стоим перед их величественными тенями с глубоким удивлением, как перед Лукзорскими обелисками, [как перед] – великими памятниками, но не нашего, а иного мира [не нашего], хотя Шиллер, может не так колоссальный, ближе к нам (Гегелем начинается новая Германия).

Так, как сложилась теперь каста ученых, им, конечно, не легко выйти из нее и отрясти прах академический с ног своих" (л. 7).

Почти весь этот текст зачеркнут.

Можно только предполагать, что́ побудило Герцена изъять из текста рассуждение о Лейбнице. Но, как бы то ни было, Лейбниц оказался "исключенным" из когорты гигантов и колоссов.

А вместе с тем исчезла и фраза о "близком к нам" Шиллере – не потому ли, что Герцен посчитал ее повторением сказанного о Шиллере во второй статье цикла: "Главная его симпатия была к современности?" (III, 38). Исчезла фраза о Гегеле как начале "новой Германии"; впрочем, в другом месте и в другой редакции Герцен воспроизведет эту мысль.

2. В рукописи есть слова о том, что ученый трепещет перед "материальною силою" (л. 10). Но они тут же и зачеркнуты, а поверх них вписано: "опасностью". Так и вошло в печатный текст (см. III, 56).

3. На л. 11 рукописи, раскрывая мысль о передовой фаланге человечества, к которой принадлежат люди, составляющие своего рода аристократию духа, Герцен сравнивает круг этих людей с венчиком цветка: "Этот венчик – гробница, хранящая плод всей прошедшей жизни растения, но, с тем вместе, колыбель, в которой покоится семя будущего. В нем ⟨...⟩ грубое вещество, преображаясь, достигло своей цели и, так сказать, переходя в будущее, развертывается во всей красе, для того, чтоб насладиться настоящим". И далее следовало: "Поглощая лучшие соки, эта аристократия не обязана даже благодарить, потому что вся цель их – быть поглощенными, как подмостки, как временные определения".

По какому-то неизвестному нам случаю на полях против этой фразы появился знак *NB*. А потом этот знак зачеркивается; вместе с тем зачеркивается и сама эта фраза. Не счел ли ее Герцен не вполне ясной, а может быть, и не вполне верной по существу?..

4. Колебания герценовской мысли отразились и еще в одном месте рукописи – там, где Герцен проповедовал столь принципиальную для него идею геройства последовательности. В "Отечественных записках" после слов о том, что Гегель "боялся идти до последнего следствия своих начал", что "у него недостало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила", следует: "Величайшие люди останавливались перед очевидным результатом своих начал; иные, испугавшись, шли вспять, и, вместо того, чтоб искать ясности, затемняли себя" (III, 62).

В рукописи после слова "нача́л" между строк Герцен вписывает: "например, Лютер, Мирабо". По-видимому, эту вставку он сделал, обратившись к записи в своем дневнике от 30 сентября 1842 г. Там было: " И Лютер, и Мирабо, и Платон были перейдены, т.е. развиты" (II, 230) – мысль, если и не вполне та же, то, во всяком случае, схожая. Но затем эти три вписанных слова зачеркиваются карандашом – возможно, потому что Герцен определил позицию Лютера и Мирабо как более сложную.

8

Отметим теперь те места в рукописи, которые не были зачеркнуты Герценом, но тем не менее в журнальной публикации по каким-то причинам не появились.

1. В рукописи – л. 1об. читаем: "Можно предположить, что pour la bonne bouche каста человечества поглотит все прочие и будет одна великая, истинная каста, но это время придет не скоро, это (далее зачеркнуто: царство божие на земле, civitas Dei Августина; пока человек готов принять всякое звание, но к званию человека не привык. На слово *человек* откликаются только наши слуги)".

В "Отечественных записках" это место приняло такой вид: "Можно предположить, что pour la bonne bouche цех человечества обнимет все прочие. Это еще не скоро. Пока – человек готов принять всякое звание, но к званию человека не привык" (III, 44).

Фраза: «На слово *человек* откликаются только "наши слуги"» в журнальной редакции, как видим, отсутствует. О причинах можно только гадать.

Сравнение общества будущего с "царством божиим на земле", с "градом божиим" Августина тоже опущено. Но лишь в данной статье. Оно появляется в статье четвертой, где тема будущего развертывается более широко и основательно: приступив в январе 1843 г. к работе над этой четвертой статьей, Герцен, по-видимому, счел целесообразным перенести этот образ в заключительную статью цикла. Там Герцен напишет: "Народы, глядя на совершение судеб человечества, не знали аккорда, связывавшего их звуки в единую симфонию, Августин на развалинах древнего мира возвестил высокую мысль о веси господней, к построению которой идет человечество, и указал вдали торжественную субботу успокоения". И далее: "Из врат храма науки человечество выйдет ⟨...⟩ на творческое создание веси божией" (III, 87–88).

Это сопоставление подтверждает высказанную ранее мысль о том, что Герцен писал "Дилетантизм в науке" *как единое произведение*. Быть может, некоторая задержка с отправлением третьей статьи Краевскому была связана именно с тем, что уже началась работа над статьей четвертой и возникла надобность в согласовании их текстов.

2. В журнальном тексте слова: "...наука ⟨...⟩ не может войти живым элементом в стремительный поток практических сфер (III, 44) – заменили рукописное: "...наука ⟨...⟩ не может сделаться общенародной" (л. 2). Уточнение существенное: мысль стала более конкретной и ясной.

3. Раскрывая различия между учеными, которые "трудятся, пишут только для ученых", и "образованными людьми", которые не считают ничего человеческого чуждым себе, пишут



МОСКВА. ДОМ Е.С. ГАГАРИНОЙ
В МАЛОМ ВЛАСЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ
Фотография, 1940-е годы
Литературный музей, Москва
В этом доме
с июля 1842 г. до сентября 1843 г.
жил Герцен с семьей.
Дом не сохранился

"для общества, для масс", Герцен замечает: "Большая часть писателей, произведших огромное влияние, потрясавших, двигавших массы, не принадлежат к ученым – Байрон, Вальтер Скотт, Вольтер, Руссо" (III, 54). Так в тексте "Отечественных записок". А в рукописи далее следует: "...у нас – Пушкин, Жуковский, Карамзин, Державин" (л. 8).

Почему исчез этот перечень – неизвестно. Но вряд ли потому, что Герцен счел такое сопоставление неверным. К данной герценовской характеристике выдающихся деятелей отечественной культуры следует внимательно присмотреться, что требует, конечно, особого разговора, специального анализа.

4. В тексте "Отечественных записок" (см. III, 56) отсутствуют находящиеся в рукописи слова о задачах французского революционного Конвента XVIII в.: "спасти Францию, да свою идею, пообрубить лишние головы, прокормить голодный народ" (л. 9об). Возможно, что в данном случае купюра возникла вследствие цензурных требований или соображений редакции.

5. В опубликованном тексте (см. III, 57) отсутствуют слова, содержавшиеся в рукописи: «Вечный тип цеховых ученых, обличающий всю нелепость их, – это Вагнер в "Фаусте"». Вероятно, это случилось потому, что при окончательной отделке статьи Герцен решил использовать тему Вагнера в четвертой статье цикла "Буддизм в науке": там гетевский Вагнер выступает как олицетворение формализма. По Герцену, натура Фауста "глубоко проникает за кору внешности, его ложь имеет более истины в себе, нежели плоская, непогрешительная правда Вагнера ⟨...⟩ Вагнера наука не мучит, напротив – утешает, успокаивает, отраду в скорби подает ⟨...⟩ Где он видел единство, примирение, разрешение и улыбался, там Фауст видел расторжение, ненависть, усложнившийся вопрос – и страдал" (III, 78–79).

6. Вовсе не дошло до читателя следующее рассуждение, хотя оно и не вычеркнуто из рукописи. Разрабатывая мысль: "Ученому мешает его диплом. Диплом – чрезвычайное препятствие развитию. Диплом свидетельствует, что дело кончено...", – Герцен замечает: "Почему никто не берет диплом в красоте, в уме – потому, что одного взгляда и одного слова достаточно, чтоб без всяких pièces justificatives понять, кто красив, а кто нет ⟨...⟩ Диплом по большей части свидетельствует, что такой-то не глупорожденный и знает по-латыни, да еще кое-что. Что касается до первого, можно рассудить без диплома, что касается до второго – никому дела нет до этого. Диплом дается по экзамену – экзамен имеет такое же отношение к знанию человека, как погружение руки в кипяток к правоте его: может очень быть, что хорошо ответивший и в самом деле знает что-нибудь или макавший руку невинен. Именно потому и может быть это, что нет никакого истинного отношения, а одно случайное" (л. 11об.).

7. Не появилось в печати и данное в рукописи определение науки как "совершившегося самопознания природы" (л. 14об.). Изъятие Герценом этих слов, возможно, связано с тем, что определение науки кажется ему пока ненайденным. Вот что, однако, любопытно: через приведенную – и в самом деле не очень ловкую – формулировку явно просвечивает материалистическая позиция, к которой Герцена неодолимо влечет вся логика его идейного движения, вероятно, не без содействия со стороны идей Фейербаха, с "Сущностью христианства" которого Герцен познакомился полгода назад. Но все же указанное выше определение исчезает – и в "Отечественных записках" появляется положение иного рода: "В науке ⟨...⟩ нет ни теоретических мечтаний, ни фактических случайностей: в ней себя и природу созерцающий разум" (III, 61).

Эта формула звучит вполне по-гегелевски. А ведь сначала-то было иначе, куда ближе к материализму, ведь сперва Герцен написал о науке: "в ней разум природы". И если б он остановился на этом, то это означало бы, что в его сознании материализм завоевал уже значительный плацдарм. Но Герцен в этом время материализма еще не приемлет полностью. Он правит: "в ней – себя созерцающий разум природы". Но и это кажется ему неудачным. Наконец, его перо выводит окончательную формулу, попавшую в "Отечественные записки", – вполне, как сказано, гегельянскую.

Вслед за рассуждением о сути науки в рукописи следовал абзац: "Доказывать объективность разума на этот раз не предположено нами – мы обратим внимание на нечто иное, прямо относящееся к цели статьи" (л. 14об.). Этих строк в окончательном тексте не оказалось, но для нас они очень важны как свидетельство "натыкания" Герцена на проблему, разрешить которую он пока не может, а именно проблему взаимоотношения разума и природы. Ее он сделает главным предметом своих "Писем об изучении природы".

Так, к примеру, в первом из "Писем..." Герцен следующим образом трактовал данную проблему: "...природа – только существование и отделяется, так сказать, от себя в сознании человеческом для того, чтоб понять свое бытие; мышление делает не чуждую добавку, а продолжает необходимое развитие, без которого вселенная не полна..." (III, 105). "Наука – живой организм, посредством которого отделяющаяся в человеке сущность вещей развивается до совершенного самопознания..." (III, 109).

А во втором из "Писем об изучении природы" Герцен рассуждает следующим образом: "Дело науки – возведение всего сущего в мысль. Мышление стремится понять, усвоить внесущий предмет и с первого приступа начинает отрицать то, что его делает внешним, другим, противоположным мысли ⟨...⟩ Неразумное непонятно для нас, но его и понимать не стоит труда: оно необходимо оказывается несущественным, неистинным ⟨...⟩ что разумно, то признано человеком ⟨...⟩ оправдание разумом – последняя безапелляционная инстанция. Само собою разумеется, что мысль предмета не есть исключительно личное достояние мыслящего: не он вдумал ее в действительность, она им только сознана; она предсуществовала как скрытый разум, в непосредственном бытии предмета, как его во времени и пространстве *обличенное* право существования, как на деле, фактически исполненный закон, свидетельствующий о своем неразрывном единстве с бытием. Мышление освобождает существующую во времени и пространстве мысль в более соответствующую ей среду сознания ⟨...⟩ природа не только внешность для нас – она сама по себе *только* внешность; ее мысль сознательная, пришедшая в себя – не в ней, *а в другом* (т.е. в человеке); напротив, родовое значение человека – быть истиною *себя и другого* (т.е. природы) ⟨...⟩ Если бы природа действительно противоречила разуму, все материальное было бы нелепо, нецелеобразно" (III, 124–127). Но тут же: "... Сознание – вовсе не постороннее для природы, а высшая степень ее развития..." (III, 126–127; см. также III, 128).

Иначе говоря, даже и в "Письмах" та же самая мысль, над которой Герцен мучился в "Дилетантизме", не находит своего четкого, непротиворечивого выражения, несмотря на многократные к ней обращения. Перейдя в принципе на позиции материализма, Герцен все же не может вполне порвать с Гегелем – и именно в пункте признания разумности природы*.

8. В одном месте рукописи (см. л. 15об.), характеризуя мыслителей, которые, "испугавшись, шли вспять", Герцен указывает: "напр., Шеллинг". Эти слова в автографе не зачеркнуты, но в печатном тексте их нет. Исчезли же они, вероятно, потому, что данную тему – о "ренегатстве" Шеллинга – Герцен более подробно разовьет в статье "Буддизм в науке". "Едва прошло десять лет после смерти Гете и Гегеля, – писал там Герцен, – величайших представителей искусства и науки, как самый Шеллинг, увлеченный новым направлением, стал делать совершенно иные требования, нежели с которыми явился проповедовать науку в начале XIX века. Ренегатство Шеллинга – во всяком случае событие важное и многозначительное ⟨...⟩ он пошел вспять, не сладивши с последствиями своих начал, и вышел из современности, указывая на больное место" (III, 74). Не исключено, что этот "переброс темы" о "ренегатстве" Шеллинга в следующую статью был связан с потребностью осмыслить тот материал о положении дел в идейной жизни Германии начала 1840-х годов, который был представлен в статьях В.П. Боткина "Германская литература", в особенности в напечатанной в № 1 журнала "Отече-

---

* Заметим, кстати: в одном из примечаний к статье "Дилетанты-романтики" Герцен написал: "О перевороте в науке предполагаем поговорить в особой статье, а потому не говорим здесь. Впрочем, достаточно назвать Бэкона, Декарта и Спинозу" (III, 36). Судя по этим словам, у Герцена уже в это время, т.е. в 1842 г., возник замысел произведения о "перевороте в науке", главные герои которого, как видим, уже определены: Бэкон, Декарт и Спиноза. Этот замысел он и реализовал затем в "Письмах об изучении природы", правда, не вполне: глава о Спинозе так и осталась ненаписанной...

ственные записки" за 1843 г. Как бы то ни было, следующее за только что цитированными словами предложение Герцена как бы интегрирует некоторые положения боткинской статьи, излагавшей содержание памфлета Энгельса "Шеллинг и откровение". Вот эти слова Герцена: "Во всей германской атмосфере носятся новые вопросы о жизни и науке, – это очевидный факт в журналистике, в изящных произведениях, в книгах" (III, 74) и т.д.

А в дневнике Герцена эта тема появилась еще раньше, при чтении статьи А. Руге из журнала "Deutsche Jahrbücher", представлявшей собой рецензию на брошюру "Шеллинг и откровение". Познакомившись с нею, Герцен записал: "Шеллинг – живой пример, как можно отстать от собственной мысли, когда мыслитель остановился на половинной дороге ее развития..." (II, 229).

Объективно анализ Герценом (как и другими авторами "Отечественных записок") "многозначительного" ренегатства Шеллинга означал полемику с теми высокими оценками шеллинговой "философии откровения", которые в это время давались на страницах "Москвитянина". Кроме того, это было недвусмысленное противостояние иррационалистической тенденции в отечественной философской мысли, нашедшей выражение, в частности, в выступлениях И.В. Киреевского, А.С. Хомякова и некоторых других.

9. Наконец, о той правке, которой Герцен подверг самую концовку статьи, точнее, об одном предложении из заключительной ее части. Рассуждая здесь о роли Гегеля, Герцен пишет: "Никто не может стать выше своего века, и если юное поколение может проще высказаться и рука его смелее откроет последние завесы Изиды (эта фраза от слов "и рука" вписана над строкой вместо зачеркнутого: "и его не остановит любовь и уважение к фактическому миру"), то это именно потому, что Гегелева точка зрения у него вперед шла, была побеждена для него". После этого у Герцена было сначала написано: "Мы стоим на горе, но на гору нас привел Гегель". Затем эти слова заменяются другими: "Молодое поколение стоит на горе... (л. 16). В журнальном же тексте эта последняя фраза принимает уже такой вид: "Человек настоящего времени стоит на горе..." (III, 63).

Явное сближение себя, своего поколения с радикальными последователями, учениками Гегеля исчезло, уступив место безличному, хотя и обобщенному "человеку настоящего"... Естественно, текст стал более, так сказать, социологичным, но вместе с тем потерял своеобразную личностную окраску.

Таким образом, если сравнивать рукописный и первопечатный тексты, то оказывается, что *на пути от рукописи к журнальным страницам статья не только многое приобрела, но и кое-что потеряла.* "Потерялись" Лютер, Мирабо, Лейбниц, перечень отечественных "образованных людей" во главе с Пушкиным, ушло кое-что из, условно говоря, фейербаховской темы, пропал определенный личностный мотив.

9

Подведем некоторые итоги нашего рассмотрения публикуемой рукописи и сопоставления ее текста с окончательным текстом статьи "Дилетанты и цех ученых".

Найденная рукопись раскрывает перед нами важные черты творческой манеры Герцена при создании им философских статей: первоначальный, более или менее цельный текст в последующем подвергается поэтапной доработке – с учетом реакции, замечаний, суда первых слушателей (возможно, и читателей) произведения. В процессе доработки производятся иногда довольно существенные уточнения, делаются дополнения. Характер этих дополнений и уточнений в данном случае был не в последнюю очередь связан, как представляется, с обращением Герцена к своему дневнику и, конечно же, к какой-то дополнительной литературе. Заметим также, что правка в статью вносится и с учетом того, что Герцен готовит цикл статей "Дилетантизм в науке" именно как целое; некоторые материалы, темы, имена переносятся из одной статьи в другую, из третьей – в четвертую, и, напротив, в третьей появляются сюжеты, специально рассматриваемые в следующей, четвертой статье.

Далее, анализ данного автографа обогащает наше прежнее представление о сложном, противоречивом, *действительно переходном* характере мировоззрения Герцена 1842–1843 гг.: это *лишь становление материализма*, это *лишь первый приступ* к самостоятельному, творческому переосмыслению гегелевской философии и ее значения для науки вообще, естествоведения в частности и особенности.

В литературе иногда можно встретиться с довольно наивными, а по существу неверными положениями, будто, познакомившись летом 1842 г. с фейербаховской "Сущностью христианства", Герцен чуть ли не тотчас же становится материалистом. На самом же деле – и анализ "Цеха ученых" дает нам здесь дополнительные аргументы – учение Фейербаха не было сразу и во всем воспринято и принято Герценом. То, что идеи Фейербаха произвели громадное воз-

действие на процесс разрыва Герцена с религиозными верованиями, – несомненно. Что же касается материализма, то, хотя тенденция к нему в работах Герцена 1842–1843 гг. действительно имеется, она не определяет их философского содержания; во всяком случае, материалистические положения "борются" здесь с идеалистической идеей разумности природы.

Вероятно, в значительной мере незавершенность этой борьбы и вынудила Герцена обратиться вскоре к созданию второго, уже более зрелого в материалистическом отношении цикла его статей – "Письма об изучении природы".

Немаловажное значение данной рукописи состоит также и в том, что благодаря ей делается возможным исправить хотя бы часть опечаток, которых в "Дилетантизме" было довольно много. Заметим, что ввиду отсутствия рукописей исправления в тексты философских произведений Герцена 1840-х годов вносились лишь "по смыслу и контексту". Так, при перепечатке "Дилетантизма" и "Писем об изучении природы" в III томе 30-томного Собрания сочинений Герцена таких опечаток и исправлений было внесено соответственно 17 и 26 (см. III, 324, 337–338).

Однако опечаток – и иногда довольно грубых – было, конечно, больше. Частью в том повинны были переписчики, частью – наборщики. Об одной "важной опечатке, вкравшейся в первую статью", Герцен сам вынужден был сказать в первой же сноске ко второй статье цикла: вместо *гуманнейший* было напечатано *туманнейший* (см. III, 24). А благодаря Н.Х. Кетчера за корректуру статьи "Буддизм в науке", Герцен писал ему после просмотра того номера "Отечественных записок", где эта статья была напечатана: "...а все-таки бессмыслиц много... *фраза* вместо *фаза* или... *целью* бытия вместо *ценою* бытия – и таких дюжины полторы, за них-то ты и ругал мой слог" (XXII, 162–163).

Найденная рукопись позволяет выявить некоторые ошибки в статье "Дилетанты и цех ученых". Так, в одном месте мы читаем: "Дилетанты с восторгом говорят о слабости и высоте науки ⟨...⟩ и изменнически продают науку, как только их начнут теснить логикой" (III, 45–46). Но в рукописи Герцена отчетливо читается: не *слабости*, а *сладости*, и не *продают*, а *предают*. В печатном тексте находим слова о том, что Франция, стоящая во главе популяризации науки, ловко умела век тому назад облечь свое воззрение "в современно-народную, всем доступную, проникнутую жизнию форму!" (III, 50). В рукописи же говорится о "совершенно народной" форме. В рукописи в предложениях: "На что химику Гамлет? На что физику Дон Жуан?" – слова *Гамлет* и *Дон Жуан* написаны без кавычек; в статье они закавычены, будто Герцен говорит не о героях, а о произведениях...

10

Герценовский "Дилетантизм в науке" оставил значительный след в истории отечественной философской культуры. Он был высоко оценен Белинским. В статье "Русская литература в 1843 году", развивавшей некоторые темы "Дилетантизма в науке", критик упомянул его, а также опубликованную в том же году статью Герцена "По поводу одной драмы" в числе "замечательных статей учено-беллетристических"[56]. По свидетельству Герцена, для Грановского успех статей о дилетантизме был "источником детской радости". «Он ездил с "Отечественными записками" из дому в дом, сам читал вслух, комментировал и серьезно сердился, если они кому не нравились» (IX, 126).

Самому Герцену особое удовольствие доставляло то обстоятельство, что его "Дилетантизм" нашел горячий прием у студентов, молодежи: "...большей награды за труд не может быть" (II, 204; см. также IX, 204).

Так было в 1840-е годы, так было и полтора десятилетия спустя. Петербургские студенты в конце 1850-х годов читали "Дилетантизм" на своих литературных собраниях[57].

Статьи Герцена живо обсуждались не только в столицах, но и в провинции. Об этом говорит такой факт: в рассказе "Овцебык" (1862) Н.С. Лесков повествует о том, как в 1840-е годы курские молодые учителя жарко спорили «"о дилетантизме" в науке»[58].

Работа Герцена пользовалась популярностью среди петрашевцев, у последующих поколений русской социалистической интеллигенции, о чем свидетельствуют, в частности, отзывы Н.В. Шелгунова ("По поводу одной книги", 1870), П.Л. Лаврова ("Александр Иванович Герцен", 1875) и др. Важнейшие идеи "Дилетантизма в науке" – "одействорения" философии, "перевода" ее в действительность, связи науки с жизнью, теоретического обоснования революционной практики и социалистического идеала – стали традиционными для отечественных публицистов революционно-демократического направления.

Более или менее благополучно прошедшие через цензурные рогатки при своем появлении в свет статьи "Дилетантизма в науке" были с неприязнью встречены идеологами "официальной народности" и разного рода добровольными блюстителями "духовного спокойствия"

российского общества. Так, в "Москвитянине" были не только ядовито высмеяны некоторые особенности литературно-философского слога герценовской работы, но и сами ее идеи были определены как "мнимовысокие"[59].

В поступившем в 1848 г. в III Отделение анонимном доносе на журналы "Отечественные записки" и "Современник", в котором указывалось, в частности, на "материализм и политические мнения в сочинен(иях) Искандера (Герцена)" (так именно называлась одна из "главок" доноса), в доказательство приводились среди прочих выписки из "Дилетантизма в науке"[60]. В 1852 г. вследствие доноса Б.М. Федорова, расценившего статьи Герцена как "исполненные безрассудства и вольнодумства"[61], номера "Отечественных записок", в которых напечатана «наиболее замечательная по вредному направлению статья "Дилетантизм в науке" (Герцена)» (слова председателя цензурного "Комитета 2 апреля" Н.Н. Анненкова), запрещают к распродаже (*Л* VI, 409–410).

Восприятие читателями всего более интересующей нас здесь третьей статьи цикла – "Дилетанты и цех ученых" – в целом было положительным. 9 мая 1843 г. Герцен отметил в дневнике, что она "тоже производит говор" (II, 281). 20 мая Боткин пишет Краевскому: "3-я статья Герцена превосходна"[62].

В созданном в первой половине 1840-х годов произведении "Листок из рукописи скитающегося софиста" Аполлон Григорьев, явно используя опорную терминологию герценовской статьи при характеристике преподавателей Московского университета (Н.И. Крылова и др.), пишет об их "цеховой деятельности", вообще о "круге цеховых"[63].

Тема критики "цеховых ученых", оторванности науки от жизни найдет свое дальнейшее развитие в последующих сочинениях Герцена, особенно в "Письмах об изучении природы".

"Вероятно, вы замечали, – говорит здесь Герцен, – с какою поспешностью естествоиспытатели предупреждают о пределах своего воззрения, как бы страшась услышать вопросы, на которые они отвечать не могут; но такого рода границы несостоятельны; поставленные личной волей, они столько же внешни предмету, сколько забор, поставленный правом собственности, чужд полю, на котором стоит. Цеховые натуралисты громко и смело говорят, что им дела нет до самых естественных и законных требований разума, что человек не должен заниматься тем, чего нельзя разрешить. Большей частию смелость эта подозрительна: она проистекает или от ограниченности, или от лени; у иных, однако, она имеет высшее начало для них – это ложные утешения, которыми человек хочет отвести свои собственные глаза от зла, считаемого неисправимым" (III, 95).

Большинству "цеховых натуралистов" Герцен противопоставляет в "Письмах" "великих естествоиспытателей", которых мучило "таинственное ignotum" и которые объясняли его неуловимость недостатком фактических сведений (III, 96).

Разбирая вопрос, что мешает единению естествознания и философии, Герцен указывает, в частности, на приверженность и ученых и философов предрассудкам, принимаемым ими по традиции: "Цеховые ученые и философы приобретают известный круг понятий, известную рутину, из которой не могут выйти. Учениками еще принимают они на веру основные начала и никогда не думают более об них; они уверены, что покончили с ними, что эта азбука, на которую смешно и не нужно обращать внимания" (III, 112).

Характеризуя Гете, его "глубокий реализм", Герцен писал: "Он был одарен в высшей степени прямым взглядом на вещи; он знал это и на все *смотрел сам*; он не был школьный философ, цеховой ученый – он был мыслящий художник; в нем первом восстановилось действительно истинное отношение человека к миру, его окружающему; он собою дал естествоиспытателям великий пример" (III, 114).

После герценовских выступлений 1840-х годов тема "ученые и наука" становится традиционной для передовой философской публицистики. Ее подхватывают петрашевцы, по-своему развивают идеологи революционной демократии 1860-х годов, в особенности Д.И. Писарев. Здесь в первую очередь обращают на себя внимание его статьи "Бедная русская мысль" и "Наша университетская наука", написанные в 1863 г.[64]

А несколькими годами ранее, явно опираясь на идеи Герцена, Огарев писал в "Колоколе": "Сколько бы трансцендентальная философия (иначе метафизика) ни стремилась из науки религию сделать, сколько бы академии не создавали цеховых ученых – никогда религиозное боготворение науки и никакие цеховых дел мастера от науки не придадут ей непогрешительности и не узаконят в ней statu quo; здравый смысл и действительное понимание всегда останутся благородными скептиками"[65].

В 1870-е годы разработку темы о "цеховых ученых" и действительной науке продолжат такие теоретики революционного народничества, как П.Л. Лавров, в частности, в статьях "Знание и революция" и "Социалистическая и буржуазная наука"[66].



РАЗДУМЬЕ.

(РАЗНЫЯ ВАРІАЦІИ НА СТАРЫЯ ТЕМЫ).

МОСКВА.
1870.



ЦЕХЪ УЧЕНЫХЪ.

СБОРНИК СТАТЕЙ ГЕРЦЕНА "РАЗДУМЬЕ. (РАЗНЫЕ ВАРИАЦИИ НА СТАРЫЕ ТЕМЫ)".

(Москва, 1870)

Сборник издан на средства харьковского издателя А.В. Скалона его родственницей Е.А. Троян. Здесь под заглавием "Цех ученых" была вторично напечатана статья "Дилетанты и цех ученых"

Титульный лист сборника и начало статьи

"Я разом получил два письма от Скалона из Харькова (...) Он предлагает издать сборник старых статей..." (Герцен – Огареву 13/1 апреля 1869 г.)

Как же герценовский автограф оказался в архиве П.Л. Лаврова?

Увы, ответа мы не имеем; приходится довольствоваться только предположениями и домыслами.

Набор, очевидно, делался с другого автографа, а скорее всего – со снятой с него писарской копии. А "ноябрьский" черновик, возможно, осел у кого-то из московских приятелей Герцена или был кому-то из них подарен автором. И так – через вторые-третьи руки – дошел в конце концов до Лаврова. Ведь мог же, скажем, каким-либо образом этот автограф оказаться у К.Д. Кавелина, а с Кавелиным Лавров одно время поддерживал тесные отношения. А может, это от В.Ф. Корша, издававшего "С.-Петербургские ведомости", в которых сотрудничал и Лавров, попала в руки последнего эта рукопись?.. Кто знает... Даже на построение более или менее удовлетворительной гипотезы фактов недостает.

В архиве Лаврова, между тем, лежит практически не исследованный герценоведами список другой статьи Герцена – "Москва и Петербург"[67]. И в некоторых местах его текст имеет вид не совсем такой, как в других известных нам списках. Вот только один пример: "Бакунин, проповедовавший в Москве православие, народность, самодержавие, – через год заткнул за пояс Гебера и Клоца"[68]. Но и относительно этого списка – как он попал к Лаврову – мы ничего не знаем...

И все-таки то, что герценовская рукопись "Цех ученых" нашлась именно в лавровском архиве, представляется вполне закономерным. Лавров идейно формировался на сочинениях Герцена. Он изучал и хранил у себя дома издания Искандера. Ему он посылал собственные со-

чинения. Ему он посвятил свою первую книжку. Портрет Герцена висел в кабинете петербургской квартиры Лаврова, а в бумагах его мы встречаем конспекты герценовской "Полярной звезды". К Герцену рвался Лавров из ссылки – и своему зятю поручил переговорить насчет возможного устройства за границей. Его издательский опыт изучал он при постановке журнала и газеты "Вперед!". За его наследие боролся – об этом говорит, в частности, полемика с Г.Н. Вырубовым. Его творчество исследовал в одной из своих статей, к сожалению, неоконченной. И, судя по архиву, до последних дней жизни читал все, что публиковалось герценовское, и о нем[69].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: А.И. В о л о д и н. Александр Герцен и его философские искания. – В кн.: Александр Иванович Герцен. В 2 т. Т. I. М., 1985, с. 3–62.

[2] А.И. В о л о д и н. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973, с. 25–26, 247.

[3] *РМ*, 1889, № I, с. 2–3.

[4] См. также "Лит. наследство", т. 62, с. 758.

[5] *РМ*, 1889, № 1, с. 11–13; см. XXII, 438.

[6] *ОЗ*, 1839, № 1, отд. II, с. 3.

[7] Процитированное выше суждение Огарева об увлечении "гегельством Губера" дает некоторые основания предполагать и факт личного знакомства Герцена с Губером: ведь статьи Губера были напечатаны еще в 1839 г., и, очевидно, говорить об "увлечении" ими год спустя не очень-то естественно; а вот поговорить с автором этих статей о Гегеле в период изучения его сочинений Герцен, вероятно, захотел. Годом раньше, еще не столь хорошо зная Гегеля, как теперь, захотел же он побеседовать о его философии с пастором К. Зедергольмом: "Он толкует о вреде Гегеля, но, кажется, плохо его знает", – заметил тогда Герцен в письме к Кетчеру (XXII, 14–15).

[8] См. В.Э. Б о г р а д. Журнал "Отечественные записки", 1839–1848. Указатель содержания. М., 1958, с. 388–389.

[9] *ОЗ*, 1839, № 1, отд. VII, с. 63, 65–67.

[10] См. М.А. Б а к у н и н. Собр. соч. и писем, т. III. М., 1934, с. 31.

[11] "Оставь всякую надежду" (*итал.*) – из надписи на вратах ада в "Божественной комедии" Данте ("Ад", 3, 9).

[12] "Чего ты боишься, ведь Цезаря везешь" (*лат.*) – обращение Юлия Цезаря к перепуганному бурей кормчему, пытавшемуся изменить курс судна.

[13] *ОЗ*, 1842, № 1, отд. III, с. 4.

[14] Там же.

[15] *Белинский* V, 588.

[16] Подробнее об этом см.: А.И. В о л о д и н. А.И. Герцен в размышлениях о науке ("Природа", 1987, № 4, с. 3–14).

[17] "Лит. мысль", т. II. Пг., 1923, с. 182.

[18] Г е г е л ь. Соч., т. IV. М., 1959, с. 6.

[19] *Белинский* XII, 130.

[20] Там же, V, 548.

[21] Л.Я. Г и н з б у р г. Герцен и вопросы эстетики его времени (статья "Дилетанты-романтики). – Сб. "Проблемы изучения Герцена". М., 1963, с. 122.

[22] "Отчет Императорской публичной библиотеки за 1889 год". СПб., 1893. Приложение, с. 62.

[23] *Белинский* XII, 148.

[24] Там же, 272.

[25] "Отчет Императорской публичной библиотеки". – Цит. изд., с. 57–58.

[26] Там же, с. 59.

[27] Там же, с. 62.

[28] Там же, с. 63.

[29] *Огарев* II, 344.

[30] *РМ*, 1891, № 6, с. 7.

[31] См. сб. "Философские и общественно-политические произведения петрашевцев". М., 1953, с. 656–657, 660.

[32] "которые прослушали все звуки музыки, но не постигли одного – гармонии этих звуков" ("Истор(ия) фил(ософии)) (*нем.*). Цитируется сочинение Гегеля.

[33] Под конец (*франц.*).

[34] Град Божий (*лат.*).

[35] По должности (*лат.*).

[36] вольнодумцы (*франц.*).

[37] ученых-специалистов (*нем.*).

[38] головоломка (*франц.*).

[39] поднять новь (*франц.*).

[40] нового континента (*лат.*).

[41] претерпевать (*франц.*).

[42] отступничество (от *франц.* apostasie).
[43] ученых сочинений (*франц.*).
[44] плагиате (*франц.*).
[45] ансамбль (*франц.*).
[46] познаваемым (*лат.*).
[47] Свершилось (*лат.*).
[48] Оправдательных документов (*лат.*).
[49] наук (*лат.*).
[50] ориентация (*нем.*).
[51] все прочие (*итал.*).
[52] в сыром виде (*лат.*).
[53] бытия (*нем.*).
[54] в зародыше (*франц.*).
[55] Все, что хорошо понимаешь, ясно высказывается,
И слова для выражения легко приходят на язык (*франц.*).
[56] См. *Белинский* VIII, 98.
[57] Г.А. Т и ш к и н. Рукописные издания студентов университета в 1857–1858 гг. ("Очерки по истории Ленинградского университета". Л., 1976, вып. 3, с. 74).
[58] Н.С. Л е с к о в. Собр. соч., т. 1. М., 1956, с. 46.
[59] См. "Москвитянин", 1844, № 6, с. 404.
[60] См. "Голос минувшего", 1913, № 4, с. 208–212.
[61] Там же, 1918, № 7-8, с. 90–91.
[62] "Отчет Императорской публичной библиотеки Цит. изд., с. 71.
[63] См. А. Г р и г о р ь е в. Воспоминания. Л., 1980, с. 84–85.
[64] См. Д.И. П и с а р е в. Соч. в 4-х томах, т. II. М., 1955, с. 52, 147, 153–154, 186–187, 191, 215, 290. В статье "Московские мыслители" (1862) Писарев также разбирал вопрос об отношении "некоторой части наших цеховых ученых (...) к массе грамотного общества" (там же, т. I, с. 309).
[65] *Огарев* I, 316.
[66] П.Л. Л а в р о в. Избранные сочинения на социально-политические темы, т. II. М., 1934, с. 72; т. IV. М., 1935, с. 81.
[67] *ГАРФ*, ф. 1762, оп. 5, ед. хр. 1.
[68] Там же, л. 5; ср. II, 39, 427.
[69] Подробнее об отношении Лаврова к Герцену см. в кн.: А. В о л о д и н, Б. И т е н б е р г. Лавров. М., 1981.

ДЕТСКИХ РОЗОГ! ДЕТСКИХ РОЗОГ!

ЗАМЕТКА ДЛЯ "КОЛОКОЛА"

Публикация И.А. Желваковой

6 сентября 1902 г. сын Герцена Александр Александрович писал из Лозанны редактору штутгартского журнала "Освобождение" П.В. Струве, публиковавшему за рубежом некоторые сочинения Герцена: «Узнав от М.О. Гершензона, что вы собираетесь писать статью об истории "Колокола", посылаю вам некоторый материал, который, надеюсь, будет вам полезен; посылаемую книжку пок⟨орно⟩ прошу по использовании вернуть мне».

К материалам, подлежавшим возврату, Александр Александрович приложил автограф Герцена, предназначавшийся для Струве: «Посылаю вам подлинник статьи моего отца для "Колокола", вещь весьма редкую, ибо он всегда уничтожал свои рукописи после напечатания».

В действительности Александр Александрович подарил Струве автографы не одного, а *двух* текстов Герцена. Они сохранились вместе с письмами среди бумаг Струве в фонде журнала "Освобождение".

Первый автограф содержит текст известного полемического выступления Герцена "Пророк-издатель", направленного против статьи И.С. Аксакова в газете "Москва" (номер от 6 января 1867 г.). Статья Герцена опубликована в листе 235–236 "Колокола" от 1 марта 1867 г. (см. XIX, 446).

Вслед за статьей об Аксакове в рукописи следует не появившаяся в печати заметка: "Детских розог! Детских розог!", направленная против князя В.А. Черкасского.

Характерный герценовский заголовок бьет противника, как удар розгой. Старый герценовский "герой", В.А. Черкасский, "секолюбивый князь", неразрывно связавший свое имя с розгосечением, был заклеймен бичующим искандеровским словом.

Видный публицист славянофильского лагеря, единомышленник и друг И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, А.И. Кошелева, кн. Черкасский был крупным деятелем крестьянской реформы (в 1858–1861 гг. он состоял членом-экспертом Редакционных комиссий). В разгар подготовки к реформе, когда уже были созданы губернские комитеты и обсуждались пути ее проведения, Черкасский, представлявший наиболее либеральное крыло помещичьего класса, вдруг выступил с чудовищным проектом сохранения телесных наказаний для освобожденных крепостных. В журнале "Сельское благоустройство" (1858, № 3, с. 260), где он опубликовал статью "Некоторые общие черты будущего сельского управления", им было заявлено, что "домашнее исправительное наказание" крестьян помещиками необходимо сохранить, но что оно "не должно превышать ⟨...⟩ 18 ударов розгами, а для малолетних, не достигших еще 14-ти лет от роду, и для женского пола – детскими розгами не более 15 ударов".

Отныне Герцен, страстный противник рабства во всех его проявлениях, "плантаторства", постоянно следил в "Колоколе" за эволюцией "изобретателя детских розог". Смягчить свое отношение к Черкасскому Герцен не мог, несмотря на благоприятное впечатление, которое князь некогда произвел на него при свидании в Лондоне (середина апреля 1858 г. – см. *ЛЖГ* II, 411). Новые "подвиги" Черкасского, назначенного в 1864 г. "главным директором, председательствующим в правительственной Комиссии внутренних дел Царства Польского", его участие в политике обрусения Западного края, в преследованиях католиков и их веры, его потворство клеветнической кампании против Герцена и русских революционеров не оставили Герцена равнодушным. "Такса за доносы", "Черкасский-министр развивается" – так характеризовал деятельность князя на новом посту "Колокол"; только теперь к неразрывным словам "Черкасский" и "розги" прибавилось новое слово – Польша.

Обнаруженная заметка Герцена тематически связана с рядом его выступлений в "Колоколе" – "Иконоборство Безака в Подольской губ.", "Грязь", "Первое запрещение, первое предостережение, первый суд" и др., в которых рассказывалось об "иконоборце А.И. Безаке, киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе, варварскими средствами переводившем "католичество на русский язык" (XVIII, 476).

Несомненно, что заметка о Черкасском предназначалась для "Колокола", в его боевой

отдел "Смесь", и должна была появиться в газете от того же числа, что и статья "Пророк-издатель", нанося общий удар двум представителям славянофильства, – но не появилась. Возможно, у Герцена не нашлось достаточно точных данных, прямо связывающих факт отставки Черкасского с его бесчинствами в Польше, а сообщение "Kölnische Zeitung" ("Кёльнская газета уверяет...") не было сочтено им слишком основательным.

Печатается впервые по автографу Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории (*РЦХИДНИ*), ф. 278. – Сообщено Музею А.И. Герцена К.Ф. Шацилло.

Детских розог! Детских розог! "Кельнская газета" уверяет, что Черкасский-князь лишился места в Польше за какие-то бесчинства и неистовства в церквах[1]. Иконоборец, как Безак, он употреблял солдат в видах антирелигиозных. Думали ли мы в Лондоне, когда видели почтенного князя, что ему будут обязаны – прекрасный пол – детскими розгами – а человечество – усилиями освободить его от христианства.

[1] О притеснениях, чинимых царской администрацией католической церкви при попустительстве кн. Черкасского, см. в указанных выше статьях "Колокола".

ПИСЬМА ГЕРЦЕНА

ОЛЬГЕ, САШЕ, ТАТЕ И ТЕРЕЗИНЕ ГЕРЦЕНАМ, О.А. ЖЕРЕБЦОВОЙ, Б. ЗАЛЕСКОМУ, МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ, ОГАРЕВУ, М.К. РЕЙХЕЛЬ (ЭРН), Н.И. ТРУБЕЦКОМУ, Н.А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ И В. ЧАРТОРЫСКОМУ

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ Н.Ф. ПАВЛОВУ.

Публикации А. Звигильского (Париж),
Л.Р. Ланского, С.Д. Лищинер, Л.И. Матюшенко,
М. Мерво (Руан), А. Новака (Краков),
Э.А. Павлюченко, В. и Р. Сливовских (Варшава)
при участии С.П. Гиждеу

О.А. ЖЕРЕБЦОВОЙ

Публикация А. Звигильского

Ольга Александровна *Жеребцова*, урожденная Зубова (1776–1849) – сестра фаворита Екатерины II Платона Зубова, влиятельная великосветская дама, в прошлом, вероятно, возлюбленная отца Герцена, И.А. Яковлева (см. IX, 66). Ниже публикуется единственное из дошедших до нас писем к ней Герцена от 27 января 1845 г. В "Былом и думах" Герцен кратко сообщает, что именно намерен он был сказать в этом письме, предельно осторожном вследствие возможной перлюстрации[1*]. Необходимость побывать в Петербурге он объясняет в письме болезнью жены и желанием проконсультироваться с петербургскими врачами. Что же касается вожделенного путешествия за границу, то намек на него содержится лишь в конце первого абзаца (ср. дневниковую запись от того же дня: "Если пустят ⟨в Петербург⟩, можно будет проситься в чужие края" (II, 404). Письмо свидетельствует о том, что и Герцен и его жена незадолго до того встречались с Жеребцовой и что она сама предложила им свою помощь. 1 ноября 1846 г. Н.А. Герцен записала в дневнике: "Ольга Александровна Жеребцова расположена к нам как нельзя лучше, она много может, и она хлопотала. Дуппельт, Орлов желали этого и не могли ничего сделать" (*РП* I, 234). Родственнице нового шефа жандармов гр. А.Ф. Орлова (он был женат на ее внучке), занявшего этот пост в сентябре 1844 г., удалось осуществить то, что казалось совершенно невозможным пятью годами ранее (ср. IX, 73–75).

Письмо публикуется впервые по автографу из собрания Ирины Адама-Зильстра (Adama-Zylstra), потомка князей Орловых и Трубецких.

⟨Москва. 27 января 1845 г.⟩

Милостивая Государыня, Ольга Александровна!

В последний раз, когда я имел счастие Вас видеть[1], Вы изволили, с тем деятельным вниманием к судьбе человека, однажды узнанного Вами, которому я всегда удивлялся, Вы изволили мне сами предложить Вашу помощь, чтобы исторгнуть меня из того неприятного положения, в котором я нахожусь. Я решился, наконец, воспользоваться Вашим милостивым предложением и осмеливаюсь приложить просительное письмо к Графу Алексею Федоровичу. Я прошу разрешить мне право въезда в

[1*] При этом он ошибочно указал, что письмо написано было за несколько месяцев до кончины отца (умер 6 мая 1846 г.). См. IX, 213.

Петербург; Вы изволите знать расстроенное здоровье моей жены, я убедился, наконец, что надобно взять деятельные меры, мне хочется посоветоваться с петербургскими докторами и потом устроить как-нибудь дела, чтоб иметь возможность ехать на лето, куда посоветуют.

Должен ли я просить прощения у Вас в том, что беспокою Вас моею просьбой? Я видел своими глазами, я испытал на себе бесконечную готовность Вашу помогать ближнему и безбоязненно обращаюсь к Вам.

Жена моя, полная памяти о Вашей ласке, просит передать чувства ее искреннейшего уважения к особе Вашей.

С истинным почтением и беспредельною преданностью честь имею пребыть.

Милостивая Государыня,

Вашего превосходительства покорнейшим слугою

Александр Герцен

Москва, 1845, января 27-го

Я счел необходимым приложить копию с моего письма к графу Алексею Федоровичу[2].

[1] Герцен посетил Жеребцову 15 июня 1841 г. (см. XXII, 111).

[2] Письмо Герцена к гр. А.Ф. Орлову от 27 января (см. XXII, 226).

М.К. РЕЙХЕЛЬ (ЭРН)

Публикация Э.А. Павлюченко

3 мая н. ст. 1907 г. Мария Каспаровна *Рейхель* (1823–1916) сообщала о себе из Швейцарии своему русскому земляку, врачу В.И. Семидалову:

"Родилась я в 1823 году и имею теперь честь представиться вам как 84-летняя. Сибирь оставила в 1835 году. Я даже думаю, что детские воспоминания – самое лучшее в моих записках. В 1835 г. я видела в первый раз А⟨лександра⟩ И⟨вановича⟩ в Вятке очень молодым человеком. В том же году меня свезли в пансион в Москву, где в семье Г⟨ерцена⟩ меня радушно приняли и старик-отец относился ко мне очень милостиво. Впоследствии я совершенно перешла в ⟨их⟩ дом. В год после моего выхода из пансиона приезжали молодые Г⟨ерце⟩ны в село Ивана Ал⟨ексеевича⟩, село Покровское, куда собрался и Иван Алексеевич, так как тогда въезд в Москву Г⟨ерцену⟩ еще был запрещен. Мать моя и я ездили вместе. В 1846 году в мае скончался Иван Алексеевич, и летом этого года я была с Г⟨ерцена⟩ми в Соколове, так же как предыдущее лето была с ними же в Покровском. ⟨В⟩ 1847 году я уехала с матерью А⟨лександра⟩ И⟨вановича⟩ и его семьею за границу. В 1850 вышла замуж. В 1851 приезжала Луиза Ивановна с маленьким Колей и учителем его Шпильманом к нам в Париж и пробыла до ноября, в котором на возвратном пути случилось страшное несчастье, о котором вот уже 56 лет не могу вспоминать без боли[2*]. В 1852 г. Г⟨ерцен⟩ просил меня приехать в Ниццу, и вскоре после моего приезда скончалась Наталья Александровна, 2 мая 1852 г. Недели через три я возвратилась в Париж, куда со мною и ко мне приехали Тата и Ольга Г⟨ерце⟩ны. Обе оставались у меня до апреля будущего 1853 г., в котором мой муж свез их в Лондон к отцу. Изо времени их пребывания у меня и после есть у меня много писем А⟨лександра⟩ И⟨вановича⟩. Первое из них когда он причалил к лондонскому берегу. Вот другие, из прежнего времени, затерялись. В Париже я оставалась с Рейхелем до 1857 г., откуда мы переехали в Дрезден. Оттуда в 1867 г. мы перебрались в Берн, где муж мой натурализировался и мы сделались швейцарскими гражданами. Вот вам перечень долгой жизни, богатой счастливыми воспоминаниями, но и горькими, тяжелыми потерями. В настоящем я балуюсь теплыми привязанностями, за которые не могу довольно быть благодарной" (Томский областной краеведческий музей).

М.К. Рейхель – ближайший друг Герцена – до начала XX в. почти не упоминалась в изданиях, посвященных его жизни и деятельности. В "Былом и думах" читатель встретился лишь однажды с ее именем: "Прерванные рассказы" открывались посвящением "Марии Р." (IX, 176).

[2*] Гибель 16/4 ноября при кораблекрушении на Средиземном море Л.И. Гааг, Коли и Й. Шпильмана. – *Ред.*



М.К. РЕЙХЕЛЬ, КОЛЯ ГЕРЦЕН и Л.И. ГААГ

Дагерротип. Женева, 1847. На обороте надпись рукой М.К. Рейхель: "Луиза Ивановна, мать А.И. Герцена, и я с Колей Герценым. МР"; ниже – рукой Е.С. Некрасовой: "Снято в Женеве, в 1847 году. Пожертвовано летом 1901 г. М.К. Эрн"

Исторический музей, Москва

Подобного рода умалчивание связано было со многолетним запретом, наложенным на имя Герцена в России. Роль же самой Рейхель в жизни Герцена, его семьи и близких друзей оставалась нераскрытой российскими властями, что видно по ее длительной и непрерывавшейся переписке с соотечественниками на родине. Поэтому, когда в 1898 г. Рейхель пожелала посетить Россию, к этому не встретилось никаких препятствий.

В последние годы XIX и в начале XX в. (особенно после революции 1905 г.) преграды, разделявшие Герцена и его отечество, слабеют; интерес к его жизни, творческой и издательской деятельности непрерывно возрастает, а число соратников, родственников, друзей, общавшихся с ним, естественно, уменьшается.

В этих-то условиях ряд русских исследователей начинает обращаться за помощью к Рейхель, давно уже живущей в Берне. С большой осторожностью, опасаясь излишней откровенностью повредить памяти Герцена или его друзьям, она все же предоставляет архивистам, литературоведам и историкам свои материалы и воспоминания. Многое передает она для "Комнаты людей 40-х годов", открытой в 1897 г. при Румянцевском музее. В 1909 г. в Москве выходят отдельной книгой "Отрывки из воспоминаний М.К. Рейхель и письма к ней А.И. Герцена". С той поры имя Рейхель и адресованные ей письма занимают достойное место в литературе о Герцене.

После Октябрьской революции, при разработке наследия Герцена, все более и более вы-

является значительность роли Рейхель в его жизни и деятельности. Материалы, связанные с нею, накапливались, главным образом, в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Москва), но были представлены и в других архивохранилищах – в частности, в "пражской коллекции" (см. публикации Н.П. Анциферова, А.Н. Дубовикова, Н.Д. Эфроса в "Лит. наследстве", т. 61, 63; Л.Р. Ланского в сб. "Памятники культуры. Новые открытия", 1977; Н.Я. Эйдельмана в "Прометее", 1. М., 1966). В 30-томном Собрании сочинений напечатано 395 писем Герцена к Рейхель и 28 к ее мужу Адольфу.

К этому времени отчетливо обрисовалась роль Рейхель как наиболее значительного тайного помощника Герцена по Вольной русской печати.

Письма публикуются впервые по фотокопиям *РГБ* с автографов *BN*.

1

Рукой Н.А. Герцен:

Ницца, 1850. Ноября 12

Ну дай бог и вам обходиться без посредства горшочка! А остальное подай... кто бы?.. Да разовьет сама жизнь наилучшим образом все хорошее, что у нее есть про тебя в запас[1].

Насколько искренно и велико это желание – смешно бы было мне уверять тебя, Машенька. Колька сильно утешает себя надеждой твоего скорого возвращения или тем, что сам поедет за тобой. А меня разлюбил совсем с твоим отъездом, и бог весть, что ему попритчилось, тайна ⟨?⟩ да и только.

Саша, Тата целуют, обнимают тебя крепко и много, напишут сами к тем порам, как тебе досуг будет читать их письма.

Итак – добрый arrivée[3*] вам желаю я![2]

Что сил жму руку тебе. Супругу-то, матушка, супругу-то не позабудьте наше челобитьице!

Твоя Н.

Рукой Герцена:

За вашу марсельскую записку[3] жму руку. Так как уж надобно непременно желать чего-нибудь, то желаю, чтоб было получше, да не было бы похуже. В хроническое счастие я не верю, ни в ваше, ни в чье, но верю, что бывает иногда ложка меду на бочку дегтя; скорее лижите досуха ложку, и дай вам Тихвинская Божия матерь побольше меду. А главное дай она вам мудрости не желать больше меду, как сколько придется, а дегтем, благо его много, мазать не лень. Тр-р-р-р- - - рр - - -р.

Шпильман два дни об вас точил слезу – думали ли вы, или вы его так, от нечего делать, подстрелили?

В Ницце нового мало. Мариучи еще больше стал похож на грыб. А вот и забыл было, я хожу всякой день – к одной Ankommlinge[4*], которая здесь проездом и у которой было письмо ко мне. Эдакой, знаете, "фенсерв"[5*] такой, и у нее дочери такие в саду у нас бегают[4].

Я поклялся написать письмо к вам без комиссий – а потому прошу не забыть сведения о мантилье.

А Рейхеля прошу сходить к Франку, rue Richelieu, и спросить, нет ли на мое имя книг из Кёльна, а если есть и если нет, взять у него перевод Шекспира Шлегеля и Тика новое издание и велеть ему, пожалуй, послать сюда на имя Visconti à Nice, только не по почте, это дорого слишком.

За сим кланяюсь вам обоим и остаюсь[6*].

3* приезд к месту назначения (*франц.*).

4* новоприезжей (*нем.*).

5* "острая приправа" (от *франц.* fines herbes).

6* Далее следует росчерк. – *Ред.*

Неустановленным почерком.
За душевный поклон моя душа кланяется. Е.Ф.[5]
Соседка[6] будет писать следующий раз.

[1]Пожелание высказано в связи с замужеством М.К. Рейхель.
[2]Рейхель отправилась из Ниццы в Париж, где находился ее муж А. Рейхель.
[3]Записка М.К. Рейхель из Марселя неизвестна.
[4]Матильда Биггс, посетившая Герцена с рекомендательным письмом от Дж. Маццини, датированным 21 октября (см. "Лит. наследство", т. 96, с. 243).
[5]*Е.Ф.* – Возможно, это приписка Г. Гервега, которого Герцен шутливо называл Егором Федоровичем (он в это время изучал русский язык).
[6]Эмма Гервег, которая жила с мужем и детьми этажом выше.

2

12 октября 1851. Ницца

Письмо ваше получено[1], и пишу по совершенно новому делу. Что касается до добрых знакомых из Москвы[2], я решительно поручаю вам их rappeler à la pudeur[7*]. Как же вам-то не стыдно поддаваться? Да если так, и еще строже для книг, а не для лиц, то и это не беда, разве⟨?⟩ может быть теперь там деятельность? Письмо мое к М⟨ишле⟩ печатается[3], я в нем ять⟨?⟩ изменить не могу. А что же, сказал ему Бернацкий или нет: я желал бы, чтоб Миш⟨ле⟩ перепечатал в "Avènement"[4]. A propos[8*], там опять он мне запустил комплимент, рассказывая историю Ивашева в Сибири (Les *Martyrs de la Russie*[5]).

Но к делу. Я знаю вашу готовность на доброе etc. Нельзя ли вам сходить к m-me Lemoine, у которой была дочь Хоецк⟨ого⟩[6], он в отчаянии, узнал он, что с матерью был Жюльвекур; главное, что он хочет знать, это где живет маленькая и на каком основании; если б можно хоть от Жюльв⟨екура⟩ узнать, обещая ему денег.

Да вы вот что от нее узнайте похитрее, участвовала ли она сама в отдаче ребенка, или нет, и кто помогал. Наконец, что хочет этот изверг-женщина, т.е. мать с ребенком; Хоец⟨кий⟩ может ее острамить ⟨!⟩, отдать под суд, потому что дитя записано на его имя.

Если не сами, то хоть Шпильмана настройте или самого супруга вашего, да нельзя ли кому-нибудь навестить малютку и сказать, на каком положении? Неужели она у Жюльвекура?

Пожалуйста, узнайте.

Если маменька приехала, то скажите, что я прошу, сверх родительского благословения, купить мне *карманный* пистолет, не дороже 100 фр., одноствольной или четырехствольной, небольшой очень, да только кто выберет, вот задача, а деньги мои. Да притом чтоб была машинка для пуль и ящик со всем, что нужно. Пора и вооружаться не только терпением, но и орудиями на сопостатов[7]. Засим преистинно жму вам руку. А русских-то, пожалуста, пугните! Да поможет это планам.

Шпильману буду писать после, а Колю целую безмерно и вашего маленького Карлушку.

Рукой Н.А.Герцен:

Уж от меня-то и не нужно еще просьбы, но так для собственного удовлетворения: когда будешь расспрашивать о маленькой Хоец⟨кой⟩, так, главное, как можно подробнее. А насчет М⟨арьи⟩ Ф⟨едоровны⟩ утешаюсь тем, что и прежде у нее кровь горлом шла, и говорили, что это геморроидальные припадки.

Я надеюсь на тебя, Машенька, насчет подробного и верного описания рассказов Н.П.[8] с маменькой, она уж, чай, у вас? – О Шпилиньке что уж и говорить, ни в сказке рассказать, ни пером описать. Расцелуй Колю и плавателя[9].

Рукожатие.

[7*] пристыдить (*франц.*).
[8*] кстати (*франц.*).

[1]Это письмо Рейхель неизвестно, как и остальные ее письма к Герцену. Датируется по содержанию.
[2]А.В. и Е.К. Станкевичи, гостившие у Рейхель в Париже.
[3]Брошюра Герцена в форме открытого письма к Ж. Мишле – "Le peuple russe et le socialism" (VII, 271–306).
[4]Отрывок из "Le peuple russe et le socialisme" был опубликован в № 63 газеты "Avènement du Peuple" от 19 ноября.
[5]О восторженных оценках Герцена в серии статей Мишле, печатавшихся в это время в газете "Avènement du Peuple" под заглавием "Les martyrs de la Russie" см. в "Лит. наследстве", т. 96, с. 323–333.
[6]Внебрачная дочь К.-Э. Хоецкого Мари была передана на воспитание в чужую семью вопреки воле отца и без его ведома.
[7]Приобретение Герценом оружия было связано с непрекращавшимися интригами и угрозами Гервега убить его.
[8]Вероятно, Н.П. Боткин, который в это время находился в Париже.
[9]По-видимому, Й. Шпильман, умевший хорошо плавать.

3

⟨Ницца.⟩ 27 декабря 1851

Вчера послал я письмо к Ротшильду, по которому вам следует получить 14000 франк. 10000 вам, 3000 пошлите Марии Федоровне[1]. 1000 последнюю отдайте Сазонову, которому прилагаю billet doux[9*2].

– Книг от Франка нет.

– Скучно, и знаете, что́ всего скучнее и досаднее, это знать и чувствовать, что жизнь, как бы ни шла, все уж хорошее прошло, чего еще ждать. Может не быть дурно – но воротить утраченное, надежды, finita la commedia[10*].

Наташа № 1[3] лежала три дни в постели, простуда, зубы...

Нам ученье ничего;
Впрочем, очень тяжело[4].

Вашего мужа, которого уснащаю комиссиями, – обнимаю. А Сашке № 3 (или даже 4 после коршинского[5]) скажите, что стыдно иметь зуб на мир[6]. Пусть подождет[7].

[1]Погибшая незадолго до того мать Герцена Л.И. Гааг оставила по завещанию 10000 фр. Рейхель и 3000 – М.Ф. Корш (см. XXIV, 214–215). Письма Герцена к Ротшильду неизвестны.
[2]Записка эта остается неизвестной.
[3]Жена Герцена (номер второй – дочь Тата).
[4] Цитируется русская солдатская песня.
[5]Сын Рейхель – "Сашка № 4" (считая самого Герцена, его сына и сына Е.Ф. Корша).
[6]Игра слов. Вероятно, Рейхель сообщила Герцену, что у ее сына прорезывается зуб.
[7]На обороте записка на немецком языке Луизы Цабель к Рейхель.

4

⟨Ницца. После 16 марта 1852 г.⟩

Прибавление[1]

А вот и ваше письмо от 13 марта, наша добрая и милая сострадательница. Видите, что я прав с Беше. С бумагами случилось что-то удивительное, и, вероятно, Мате уехал из Парижа. Главное, чтоб Беше не отдавал никому – кроме Лемуань; предложите просто 500 фр., но à condition[11*] отдать тогда, когда дитя[2] приедет к Лемуань.

Того мерзавца[3] и я счел бы сумасшедшим, но, по несчастию, он так ловко обдумывает каждый шаг и так правильно идет по тому же самому плану, по которому шел с самого начала, – что я не верю в сумасшествие. – Он мстит за то, что его выгнали из дома, он все уступил бы за вид примирения, и мстить он хочет не мне, а Н⟨а-тали⟩. – Он хочет теперь наглой ложью (не забудьте, что переписку я знаю) и гнусными доносами вывести меня из терпения – но я вооружен.

9* *Игра слов. По-французски* billet doux *означает* любовная записка *и* милый вексель. – *Ред.*
10* *Буквально*: комедия окончена (*итал.*) – *употребляется в смысле* настал конец. – *Ред.*
11* при условии (*франц.*).

Если бы вы могли через кого-нибудь в "Presse" или в "Débats"[4] тиснуть маленькую строчку – в этом роде: "Г⟨-н⟩ такой-то, некогда известный песельник демократический, проживавший в Цюрихе [по части] повредился, доктора сомневаются в излечении. Печальная новость эта, по несчастию, кажется, достоверна". Я дал бы охотно журналисту фр. 100 за помещение[5]. Но об этом никому ни слова.

К статуеру[12*] не ходите тотчас, ибо я письмо к нему пошлю завтра[6].

Жму руку Рейхелю. Мел⟨ьгунову⟩ скажите, чтоб писал.

[1]Вероятно, это "Прибавление" к письму Герцена от 16 марта, адресованному Рейхель (см. XXIV, 241–242).

[2]См. прим. 6 к п. 2, а также XXX, 807–808.

[3]Подразумевается Гервег.

[4]Парижские газеты "Presse" и "Journal des Débats".

[5]Это пожелание вряд ли было выполнено – иначе Герцен не умолчал бы об этом в письмах к другим корреспондентам.

[6]По просьбе Герцена Ж. Мишле заказал в Париже скульптору О. Прео проект памятника погибшим при кораблекрушении сыну и матери (см. XXIV, 241). Письмо к нему Герцена неизвестно.

5

⟨Лугано. 28 июня 1852 г.⟩

Больших новостей нет. Дело идет тихо, но зато скверно. 2 июля я беру главное начальство. Думаю, что удастся, а не удастся – ну так что же делать. А, впрочем, на сей раз довольно[1].

28, понедельник. Вечер.

Tessier едет сегодня сюда для угомонения генерала[2].

[1]В Лугано Герцен продолжал борьбу за организацию суда европейской демократии над Гервегом.

[2]"Угомонение генерала" Э. Гауга вызвано было его намерением принудить Герцена во что бы то ни стало драться на дуэли с Гервегом (см. XXIV, 287, 291, 294). Угомонить Гауга отправился друг Герцена М.-Э. Тесье дю Моте.

6

26 июля 1852. Люцерн

Получил ваше письмо от 24. Да, хорошо бы было увидеть Ст⟨анкевича⟩ или Боткина[1]. Вы жалеете меня. – Да, действительно, положение мое трудно. Апотеоза или позор[2]. Между ними смерть. – Поверьте одному, что долго это продолжаться не может... Смерть жаль детей, ужасно жаль – пусть живут под сенью всех, кто пример, и под сенью друзей, которые так славно проводили меня через всю жизнь. – Позор – то есть со всею низостью и подлостью, – если этот мерзавец спокойно останется на своем месте и напечатает клеветы и обвинения[3]. Тогда – тут пауза, ибо и придумать нельзя. Да не оставить же так злодея.

Победа развлечет меня. Тогда придет траурный покой. Тогда, если можно, я приеду в Париж – а если нельзя, поеду в Женеву. Я не звал за тем m-me Tes⟨sier⟩ в Женеву, чтоб увидеть детей, т.е. чтоб она ехала для того. Но, полагая, что ее муж тоже поселится в Женеве, думал, чтоб она их привезла. Все это решим после – что́ можно сказать теперь, – да об квартире не думайте, берите большую и удобную, это не ваше дело – неужели при этих страшных обстоятельствах мы будем считать небольшие потери?[4]

Последние новости в том, что я послал в цюрихскую газету несколько строк насчет подлого обвинения в подкупе моих друзей, в котором объявил,что от меня жалованья никто не получал, кроме моих лакеев и г. Гер⟨вега⟩, которого жена мою ежегодную помощь просила заплатить разом[5]. Вот настоящая война грязью. Но, кажется, он проведал и отправился искать меня с нашими 20 разбойниками[6]. Завтра приедет Фогт и Тесье, увидим, что́ будет.

[12*] скульптору (*франц.* statuaire).



ОЛЬГА И ТАТА ГЕРЦЕН

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). Ницца, 1852. Надпись рукой Н.А. Герцен: "Ольга и Тата 1852"

Музей Герцена, Москва

Что о письме Прудона?[7]

Я получил письмо от Мишле и написал ему длинное послание, которого список со временем вам пришлю[8]. Прощайте.

[1]Герцен вскоре встретился с Н.П. Боткиным и супругами А.В. и Е.К. Станкевичами. Последние, вероятно, повезли в Россию его письмо к московским друзьям от 7 – 23 августа (см. XXIV, 319–320).

[2]Возможные исходы борьбы с Гервегом.

[3]18 июля в "Neue Zürcher Zeitung" было опубликовано письмо Гервега к редактору с клеветническими выпадами против Герцена. Возможность таких публикаций, компрометирующих его покойную жену, Герцен предвидел заранее.

[4]В Париже с Рейхелями жили обе дочери Герцена.

[5]25 июля Герцен послал открытое письмо в редакцию "Neu Zürcher Zeitung", опубликованное 27 июля, в котором опровергалась клевета Гервега (см. VII, 391–392).

[6]Вероятно, Герцен имеет в виду единомышленников Гервега из числа эмигрантов.

[7]Герцен неоднократно запрашивал Рейхель о судьбе не дошедшего до него письма П.-Ж. Прудона, в котором тот поддержал своего русского друга в борьбе против Гервега. По-видимому, Прудону стало известно о пропаже письма, и 7 августа он написал его вторично. В первопечатный текст этого письма (*Л* VII, 125) страницы, связанные с семейной драмой Герцена, не попали. См. их в статье Л.Р. Ланского "К семейной драме Герцена" (*Известия ОЛЯ*, 1976, вып. 5, с. 465–468), где они восстановлены по автографу. Отрывок: *ЛЖГ* II, 108–109.

[8]В ответ на сочувственное письмо Ж. Мишле от 4 июля (о смерти Натальи Александровны) Герцен написал ему 25 июля "длинное послание" с изложением своей жизненной коллизии (см. XXIV, 307–314).

7

⟨Лондон. 6 сентября 1852 г.⟩

Я сегодня написал предлинное письмо к Пруд⟨ону⟩ об нашем деле[1] и, перечитывая его, вдруг вспомнил, что завтра двад⟨цать⟩ шестое августа[2]... я письмом отслужил панихиду.

А ведь как по временам страшно обертываться...как пусто... иногда во сне...Да вот сегодня ночью вижу, что я еду в дорогу, и все тут, и Луиза Ив⟨ановна⟩ хлопочет,

– проснувшись, становится страшно. Меня может поддержать только шум, когда он уляжется, когда, наконец, годом старше, я очутюсь ⟨!⟩ один...

"Fiumus"[3]. Как на гербе у Стуартов: "Жили". – Какая безответность у смерти, ничего... – Ну, прощайте.

Что же Франк не посылает книг? Если он не послал, нельзя ли через него прислать хоть 2 экз⟨емпляра⟩ ваших моей *второй* брошюры[4] сюда, но только не отдайте ему франкировать, или сами франкир⟨уйте⟩ (если возьмут как imprimé[13*]), а то здесь берут, как за письма, шиллинг⟨ов⟩ 8 или 10 за брош⟨юру⟩ – если ж он послал, не надобно.

На наш адрес и на имя Гаука.

Прощайте.

[1]См. XXIV, 324–336.

[2]День именин Н.А. Герцен (по ст. ст.).

[3]Часто употреблявшееся Герценом выражение из "Энеиды" Вергилия: "Были" (в смысле "отжили").

[4]Брошюра "Le peuple russe et le socialisme" (1-е издание), напечатанная в Ницце с обозначением на титульном листе Парижа как места издания и А. Франка как издателя. Бóльшая часть тиража была конфискована марсельской таможней при пересылке его из Ниццы (тогда итальянской) в Париж. *Первая брошюра,* которую Герцен здесь не упоминает, – "Du développement des idées révolutionnaires en Russie", – также была отпечатана в Ницце; на титульном листе ее было указано, что она издана в Париже.

8

⟨Лондон.⟩ 6 января ⟨1853 г.⟩[1]

Портрет ваш чрезвычайно удачен, и рука-то ваша – ваша. Это хороший подарок для нового года – я собираюсь переменить русскую формулу "с Новым годом, с новым счастьем" – на другую поумнее: "с Новым годом, с старыми воспоминаниями". Какие новые счастья – откуда, как и чем же теперь нашего брата удивишь... Как доживешь до известного перекрестка в жизни, так и забирай направо, и забирай... Воспоминания – все это вроде рекомендации, чтоб об нас думали.

От Шомшильда жду, Рейхеля благодарю, а покаместь не собираюсь еще очень скоро.

С новорожденным![2]

Многие лета!

[1]Годовая дата устанавливается по связи с письмом от 4 января 1853 г., в котором передается просьба к А. Рейхелю съездить к "Шомшильду" (Шомбургу) – см. XXV, 7–8.

[2]*Новорожденный* – вероятно, 1853 год.

9

⟨Лондон.⟩ 1 марта ⟨1853 г.⟩. Вторник

Я подрядился вас удивлять – прошлый раз типографией[1], сегодня новой загадкой. Представьте, что я третий день болен да и еще дней на пяток есть.

Я ровно двадцать лет не был до того болен, чтоб лежать. Перед Тат⟨ьяны⟩ Петр⟨овны⟩ носом[14*] с Вадимом у меня были парши (у Наполеона Перв⟨ого⟩ тоже; стало, это не стыдно), и притом какие-то удивительные, я лежал недели две[2].

Теперь сделался броншит[15*], скука смертельная. Одно утешение, что доктора вывожу из терпения, говоря о Франции, а д⟨окто⟩р – ваш парижский Девиль.

2 марта

Что же это значит, что от вас писем нет? Не хуже ли вам или нет ли новой беды?[3]

[13*] печатное (*франц.*).

[14*] Каламбур. По-французски свадьба (noce) звучит, как русское нос. – *Ред.*

[15*] бронхит (*франц.* bronchite).

Мне лучше. Воспаление перервали решительно. Однако я сижу в своей комнате, закутанный и весь сломанный. Можете себе представить, как я смешон больной. Ем один раз в день бульон и один раз пью чай.

Ну знаете ли вы, как геройски, как благородно здешнее правительство защищает беглых? Жаль, если до вас не дошли подробности. Великая страна[4].

Жду вестей от вас.

А миссионера и не читайте, такая скотина да и притом буржуа[5]. Княжну[6] компрометировал – он не стоит, чтоб я об нем писал, т.е. в публику.

[1]См. письмо Герцена от 24 февраля 1853 г. с сообщением об основании им Вольного русского книгопечатания в Лондоне (XXV,24).

[2]Венчание Т.П. и В.В. Пассеков состоялось в Москве 11 ноября 1832 г. (*Пассек* I, 433). Герцен был на их свадьбе шафером. Упомянутая здесь болезнь Герцена в воспоминаниях и в *ЛЖГ* не отмечена.

[3]После смерти своего годовалого сына Саши (в ноябре 1852 г.)Рейхель долго и тяжело болела.

[4]Иронический намек на английское правительство, которое под нажимом Наполеона III собиралось выслать из Англии революционных эмигрантов (ср. XXV, 24).

[5]Речь идет о Ж.-Ж. Роре, французском литераторе, парижском друге Н.И. Сазонова. Книга Рора "Un missionnaire républicain en Russie" была издана в трех томах анонимно в Париже в 1852 г. (отзыв о ней Герцена см. XXV, 23).

[6]В книге Рора фигурирует некая "княжна Ольга", в которую влюбился сам "проповедник". Несомненно, что существовал ее реальный прототип.

ПРИЛОЖЕНИЕ

М.К. ЭРН⟨?⟩

Публикация М. М е р в о

Кому адресована и когда написана публикуемая записка Герцена на итальянском языке?

Корреспондентка еще не замужем – это видно из обращения к ней: "Signorina".

Она не итальянка и только начинает изучать итальянский язык.

Она, бесспорно, принадлежит к числу близких Герцену людей.

Всем этим условиям отвечает Мария Каспаровна Эрн, путешествовавшая по Европе вместе с Герценами и свой человек в их семье до 1850 г., когда она вышла замуж за музыканта А. Рейхеля.

В письме из Парижа к С.И. и Т.А. Астраковым от 10 июня 1847 г. Герцен шутливо сообщил, что Мария Каспаровна "не говорит иначе, как по-итальянски" (XXIII, 29), по-видимому, намекая на то, что на ней и лежат переговоры с поваром-итальянцем Константино Грегорио, говорившим только на родном языке и на ломаном французском (см. XXIII, 29).

Это дает возможность хронологически соотнести итальянскую записку с тем письмом. Но более достоверным было бы, пожалуй, отнесение записки ко времени пребывания Герценов и Марии Каспаровны в Италии, т.е. к ноябрю–декабрю 1847 г. и январю–апрелю 1848 г. Особенно соблазнительной была бы взаимосвязь записки со следующей дарственной надписью Герцена на отдельном оттиске "Писем из avenue Marigny" ("Современник", 1847, № 10), сделанной также по-итальянски: "Alla Madamigella Maria Ern dal mutissimo autore. Roma, 30 Gennaio 1848" ("Девице Марии Эрн от наинемейшего автора. Рим, 30 января 1848 г." – XXIII, 331).

Письмо печатается по автографу *BN*. Впервые опубл. в "Revue des Etudes Slaves", 1981, N 2, p. 252.

⟨Рим Январь 1848 г. ?⟩

Ahi Signorina, Signorina, il pasticcio è buono e mirabilemente preparato, ma il biglietto non l'avete scritte – volete me fare credere che nelle due settimane d'occupazione scrivete come il Tasso e il Petrarca. – Ma mangiare il pasticcio è d'uopo.

П е р е в о д:

Ах, синьорина, синьорина, пирог хорош и чудесно испечен, но записку-то не вы написали, – хотите, чтобы я поверил, будто после двух недель занятий вы пишете, словно Тасс и Петрарка. – Пирог же надлежит съесть.

САШЕ ГЕРЦЕНУ

Публикация Л.И. Матюшенко

Настоящая публикация содержит два документа: записку без даты (возможно, это приписка к неизвестному нам письму, скорее всего адресованному жене Герцена, Наталье Александровне) и памятную записку ("нравственное завещание") от 1 января 1859 г.

Записка (или приписка) о посылке сыну "Всемирной географии" К. Мальт-Брёна не поддается точной датировке. Наиболее вероятным нам представляется июнь 1851 г. К этому времени уже определились склонности Саши к занятиям естественными науками. 30 апреля 1850 г. Герцен с радостью пишет о возможности для сына брать уроки у К. Фогта: "Ведь это моя мечта – направить его в сторону естественных наук" (XXIV, 39). О своих занятиях с Фогтом Саша сообщает отцу в июне 1851 г. (см. кн. 2-ю наст. тома). В июне того же года Герцен купил для сына и рельефные географические карты Европы, Швейцарии и России. "География" Мальт-Брёна могла быть подарком ко дню рождения Саши: 25 июня ему исполнялось двенадцать лет. "Всемирная география" Мальт-Брёна была известна Герцену еще в России. Он ссылается на нее в "Заметках..." (см. I, 369); Мальт-Брён упоминается и в романе "Кто виноват?", в характеристике женевца Жозефа, учителя Владимира Бельтова. В письме к Г. Гервегу от 21 февраля 1850 г. Герцен называет Мальт-Брёна в числе авторов, по которым сам изучал географию (XXIII, 278).

Второй публикуемый документ – памятная записка, обращенная к сыну. Она датирована 1 января 1859 г. и относится ко времени пребывания Александра Александровича в Англии, куда он приезжал из Берна на свои первые каникулы. Написана она за три дня до его отъезда обратно в Швейцарию.

Адресованная тому, кто еще находится рядом, повторяющая уже произнесенное вслух, публикуемая записка, которую Герцен называет своим "нравственным завещанием", представляет собой один из характерных жанров его эпистолярного наследия. Здесь обобщается и продолжается то, о чем говорилось и прежде. Это "думы" в эпистолярной форме.

Содержание публикуемого документа очень значительно. В нем высказано самое сокровенное о покойной матери Саши, о его сестрах. Именно здесь находим мы едва ли не самые задушевные слова Герцена об Огареве.

Идущие от сердца строки о старшей дочери позволяют увидеть в Герцене высший дар отцовского понимания и родственность натур его и Таты.

В характерстике Ольги сказались ум и мудрость отца и поистине "материнская нежность", которая, по свидетельству М. Мейзенбуг, была свойственна Герцену в его отношении к дочерям. Материнская "боль любви" была как бы завещана Герцену покойной Натальей Александровной и постоянно поддерживалась памятью о ней. В этой записке одна из самых возвышенных ее характеристик.

"Нравственное завещание" во многом оказалось провидческим. Как известно, не всем надеждам Герцена суждено было оправдаться. Но оправдалась надежда на глубокую духовную связь его детей с Огаревым. Это подтверждается многими документами, публикуемыми в настоящем томе, особенно перепиской Огарева с детьми Герцена.

Письма публикуются по фотокопии *РГБ* с автографов *BN*.

Письмо 1 впервые опубликовано М. Мерво в "Revue des Etudes Slaves", 1981, № 2, p 253; п. 2 – М. Окутюрье в *ААН*, 291, затем Л.Р. Ланскими в ст. "Новое о Герцене" ("Лит. газета", 1974, № 5, 30 янв.).

1

(Париж. Июнь 1851 г.?)

Саша, тебе я посылаю прекрасное издание с картинками Географии Малте-Брюна[1].

[1] Главный, двенадцатитомный труд К. Мальт-Брёна (настоящее имя и фамилия Malthe Conrade Bruun) "Précis de géographie universelle" выходил в Париже с 1810 по 1829 г. В 1842 г. вышло однотомное иллюстрированное издание – "Abrégé de géographie universelle physique, historique, politique, ancienne et moderne", которое, вероятно, и было подарено Герценом подростку-сыну.



РИМ. СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА

Гравюра Ле Пети, 1830-е годы

Из книги: C. Malte-Brun. Abrégé de Géographie universelle physique, historique, politique, ancienne et moderne. Paris, 1842

Экземпляр этого издания Герцен послал сыну в июне 1851 г.

2

⟨Фулем.⟩ 1 января 1859

Я хочу тебе, друг Саша, написать для памяти те слова, которыми мы встретили вчера Новый год[1].

Во всем мире у вас нет ближе лица, как Огарев – вы должны в нем видеть связь, семью, второго отца. Это моя первая заповедь.

Где бы вы ни были, случайно, средоточие вас всех дом Огарева.

На Огареве, на Natalie, на тебе – ляжет без меня обязанность – развитие Таты и Ольги. Стыдно, если вы втроем ничего не сделаете, и стыдно, кто устанет, не докончив воспитание.

Тата – так велика умом и так развита сердцем, что ее легко вести.

Развитие Ольги – сложнее, она была всех больше сиротой, любви матери – которая вас воспитала – она не знала. Ее чрезмерная живость, беспокойный характер – делает ее воспитание трудным. Она *пробьется* – в этом я не сомневаюсь, ее натура чрезвычайно талантлива – но горько мне было бы думать, что она пробьется *посторонней вам* – без чувства семейного единства и любви.

Пока будет возможно, живите с Огаревыми. Вы четверо – т.е. с Лизой – составите с ними – живое продолжение нашей жизни. Идеал у вас в памяти и сердце – ваша мать. Гармоничнее, изящнее существа я не встречал.

Если возможно воротиться в Россию – возвратитесь – там ваше место.

И еще одно – никогда, *ни в каком случае*, чтобы не было денежных споров, – всё поровну – денежные споры выражают большую грубость души и мелкость чувств[2].

Вот на первый случай. Буду иногда продолжать. Листик этот – мое *нравственное завещание*[3].

Твой отец

[1] "Мы были одни, и за печальными разговорами пробило 12", – вспоминал Герцен (XXVI, 233).

[2] Ср. публикуемую в кн. 2-й наст. тома "Объяснительную записку" А.А. Герцена.

[3] Как непосредственное продолжение этого документа можно рассматривать "Записку на случай моей смерти", которую Герцен начал писать в июле того же года (см. XXVI, 281–282).

Огареву и Н.А. Тучковой

Публикация Л.И. Матюшенко[16*]

Публикуемый документ был предназначен для отправления в Россию. Он оставляет впечатление некоторой "тайнописи". В нем нет ни подписи, ни обращения к адресатам; не названо имя "*бедной страдалицы*, заплатившей жизнью за несчастное сердечное заблуждение". Угадываемый на фотокопии автографа почерк Герцена нарочито изменен.

Дата письма (8 июля) и указанное место написания (швейцарский кантон Тичино, или Тессин) дают возможность определить и год (1852) и город (Лугано), где находился тогда Герцен. Содержание письма не вызывает сомнений в его авторстве. Адресаты также со всей бесспорностью устанавливаются по содержанию. Это самые близкие Герцену в России люди, которые еще далеко не все знают о его семейной драме. Встреча с ними – его страстное желание. Это, конечно, Огарев и Н.А. Тучкова, приезда которых ожидает Герцен. Тучковой известна воля покойной Натальи Александровны в отношении детей, и лишь ее Герцен называл "сестрой".

О существовании документа, печатаемого здесь, знали давно. Именно о нем идет речь в письме Герцена к М.К. Рейхель от 8 июля 1852 г.: "Вложу записочку к Огар⟨еву⟩, постарайтесь ее доставить через Тат⟨ьяну⟩ Ал⟨ексеевну⟩ ⟨...⟩ Я думаю, что вы берете все меры насчет записок в Россию, будьте осторожны, как змий" (XXIV, 295).

21 июля 1852 г. у Герцена возникла новая идея: "Да чего же лучше записку послать с Боткиным, дайте ему непременно статью из ниццкой газеты[17*], два-три экземпляра, пусть подкладку подошьет" (XXIV, 303). В письме к Рейхель от 23 июля Герцен настаивает на свидании с Н.П. Боткиным до его отъезда в Россию и повторяет: "Записку Огареву может и Боткин взять" (XXIV, 307).

У нас нет сведений о том, когда и каким образом "записка" была отправлена в Россию: по почте на имя Астраковой, как первоначально предполагалось, или с Боткиным. Во всяком случае, о судьбе своей записки Герцен не знал еще 1 ноября 1852 г., когда писал Рейхель: "Послали ли вы в Москву мою записку? Если нет, прибавьте, что я Ог⟨арева⟩ жду как величайшее и последнее благо. Пишите, что я жду" (XXIV, 358).

Прямыми сведениями, подтверждающими получение записки адресатами, мы также не располагаем, но отклики на ее содержание известны. Это прежде всего письмо Огарева к Н.М. Сатину от 26 января/7 февраля 1853 г.: "Имел я голос издалека, голос измученный, кричащий от боли и призывающий. Думать нечего, мешкать нечего. Сожгу мосты за собою, а там, что бы ни случилось, я на все готов, и не пожалею ни сил, ни жизни" (*РГБ*, ф. 69.8, л. 339).

Главное значение публикуемого документа в том, что это первые дошедшие до нас строки Герцена, написанные после смерти Натальи Александровны и адресованные Огареву.

Записка отражает трудное для Герцена время. 22 мая 1852 г., через три недели после похорон жены и на следующий день после печальной четырнадцатой годовщины своей свадьбы, он отправил дочерей в Париж с Рейхель и остро переживал разлуку с ними, "особенно отсутствие Таты" (XXIV, 275). "Судорожное волнение, в котором я жил, улеглось, зато пустота и весь ужас потери яснее, живее. Всякую ночь я вижу во сне смерть Н⟨аташи⟩", – делится он своими переживаниями с Рейхель (XXIV, 275). В начале июня, собираясь покинуть Италию, Герцен уничтожает значительную часть своего личного архива. Горестно простившись с Ниццей и дорогой могилой, Герцен с сыном 8 июня уезжает в Геную, затем в Лугано. Пребывание в

[16*] Письмо перевела с французского и итальянского автор публикации Л.И. Матюшенко.

[17*] Статья из "Avenir de Nice" от 13 июля 1852 г. рассказывает о посещении Г. Гервега Э. Гаугом и М.-Э. Тесье дю Моте по поручению Н.А. Герцен и о пощечине, данной Гервегу (см. *Л* VII, 77: XXIV, 501).

Генуе и Лугано отмечено особенной остротой переживаний в связи с беспримерно кощунственными поступками Гервега, не давшего Герцену возможности даже оплакать свою потерю. 30 июня датировано письмо-исповедь, адресованное Рейхель (см. XXIV, 286–292). 2 июля Герцен пишет на случай своей смерти "инструкцию" А. Рейхелю относительно опеки, высказывает заветные мысли о воспитании детей ("развить в них сильную любовь к России" – XXIV, 292–293).

Герцен порой ощущает себя человеком, с которым играет страшный фатум; он считает свою жизнь оконченной и готов умереть. В письмах к Рейхелям мы читаем о "сломленной душе", о жизни, "раздавленной роком" (XXV, 9). К письму сына, адресованому Астраковой (от 26 октября 1852 г., уже из Лондона), он приписывает: "Все сломилось, семья, дом, средоточье – узел развязали, и все рухнулось..." (см. кн. 2-ю наст. тома).

Немецкое выражение "Zugrunde gerichtet", с которого начинается публикуемое письмо, как бы обобщает мысли Герцена о постигших его несчастьях. Оно так многозначительно, что трудно поддается переводу. Общепринятое значение "совершенно уничтожен" кажется недостаточным.

Вместе с тем Герцен хочет, чтобы друзья в России знали, что нравственно он *не погиб*. "Совсем напротив: выше я никогда не стоял, я гордо несу венок с терниями на голове, я его несу, как корону", – пишет он 15 июня в связи с получением глубоко тронувшего его письма от Астраковой (см. XXIV, 284).

О нравственной высоте Герцена свидетельствует и его утверждение, что ему предстоит исполнить безмерный долг, лежащий на нем.

Из других писем этого времени мы знаем, что речь идет, во-первых, об "обязанности сказать погребальное слово и слово благодарности" (XXIV, 279), т.е. раскрыть людям величие женщины, которую он любил. Это, во-вторых, долг разоблачить виновника ее гибели, обличить коварство, о котором в России и понятия не имеют. Долг этот мыслится, по позднейшему выражению Герцена, как "сердечная потребность, акт высшей морали" (XXIV, 352). "Это вовсе не несчастная трагедия, – разъясняет он Рейхель, – а вопрос колоссальный – вопрос всей революционной религии, всех последних надежд на меня. Действительно, я сознаю себя *новым* человеком, как выразился *Саффи* (...) Понимаете, как у меня теперь все это сплетено в один жизненный вопрос" (XXIV, 306).

Не менее важным был долг по отношению к детям ("дети входят во всё"; "они-то и держат в узде" (XXIV, 278–279). Именно о них идет речь в публикуемом письме, когда говорится о святости для Герцена воли покойной Натальи Александровны. В одном из важнейших своих писем к сыну, от 14 ноября 1860 г., Герцен писал: "Ты знаешь, что́ и что́ я взял на душу за вас, вас спасти – я присягнул умирающей Мамаше" (XXVII, 111). Будущее детей – одна из причин и столь страстного желания приезда Огарева и Н.А. Тучковой.

В сознании долга, с одной стороны, в силе и глубине дружеских чувств – с другой, можно видеть психологические основы преодоления Герценом своей духовной драмы.

Записка к Огареву и Тучковой от 8 июля 1852 г. интересна и в том отношении, что она может служить иллюстрацией к сказанному в самом раннем, оставшемся неопубликованным при жизни Герцена предисловии к "Былому и думам" ("Братьям на Руси"): "Каждое слово об этом времени тяжело потрясает душу, сжимает ее, как редкие и густые звуки погребального колокола" (VIII, 397). Некоторые из этих слов станут ключевыми в поэтике части пятой "Былого и дум".

Наряду с открывающим письмо выражением "Zugrunde gerichtet", о котором говорилось выше, привлекает внимание другое: "einen unglücklichen Herz Schwindel". Отчасти оно восходит к цитируемому в "Былом и думах" письму Н.А. Герцен ("несчастное увлечение мое" – X, 291)[18*]. Необычное, специфически "искандеровское" словосочетание Herz Schwindel (по правилам немецкого языка здесь должно быть слитное написание) приоткрывает нам емкость понятия, которое по-русски Герцен передавал как "круженье сердца" (XXIV, 281–282, 289). Вскоре оно станет образом-заглавием одного из разделов "Рассказа о семейной драме" (X, 252). Герцен соединяет оба значения слова "Schwindel": и головокружение, и заблуждение. Характерно, что, говоря по-русски о "несчастном увлечении" Натальи Александровны, он употребляет и уточняющие слова: "одуренье", "чад", "тяжелые чары" (XXIV, 281, 289; X, 262).

Как предварение поэтической образности "Былого и дум" воспринимается и выражение pauvre martyre (ср. "бедная мученица" – XXIV, 283, 312, 335). "Бедная страдалица – и сколько сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве", – завершающие строки "прибавления"

[18*] Ср. "malheureux entraînement" – "злосчастное увлечение" (*франц.*) в черновике письма Герцена к П.-Ж. Прудону (XXIV, 328, 334).

к "Рассказу о семейной драме", написанные Герценом после посещения могилы жены 21 сентября 1863 г. (X, 314).

Важная тема "Былого и дум" – "две русские натуры, вступившие в единоборство с западным растлением" (XXV, 111), – намечается в словах о встрече с коварством, о котором в России и понятия не имеют. Примечательно сходство выражений в цитированном выше раннем предисловии к "Былому и думам": "Я нашел ⟨на Западе⟩ лукавое предательство, святотатство, не останавливающееся ни перед чем, посягающее на все, и нравственное растление, о котором вы не имеете понятия" (VIII, 398).

Интересен итальянский текст в конце письма. Он включает в себя не совсем точно воспроизведенную по памяти цитату из сочинения Дж. Леопарди. Обращение Герцена к Леопарди в столь эмоциональном документе, каким является записка к Огареву, найдет объяснение в характеристике итальянского поэта на страницах "Былого и дум": "У него, как у Байрона ⟨...⟩ стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они в некоторых ямбах Барбье. Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie..." (X, 79). О неугасающем интересе к Леопарди в семье Герцена свидетельствует и его переписка со своими детьми в последующие годы. Он просит сына захватить с собой одновременно с Лермонтовым "мамашин" томик стихотворений Леопарди (эти книги Герцена оставались в Швейцарии у А. Фогта – см. XXVI, 230). Интерес к Леопарди передался и Тате. Им интересовались впоследствии и Н.А. Тучкова-Огарева и Лиза Герцен.

В "Былом и думах", в "Post scriptum'e" к "Западным арабескам", Герцен более точно цитирует строки, приведенные по памяти в публикуемом письме, и называет стихотворение, откуда они взяты (см. X, 131).

В обоих случаях стих Леопарди – не совсем обычная литературная реминисценция: он позволяет Герцену выразить его собственное внутреннее состояние. Но во время работы над книгой оно уже существенно отличается от того, которое выразилось в публикуемом письме. «Рассказ мой о былом, может, скучен, слаб – но вы, друзья, примите его радушно; труд этот помог мне пережить страшную эпоху, он меня воротил из праздного отчаяния, в котором я погибал, он меня воротил к вам. С ним я вхожу *не весело, но спокойно* (как сказал поэт, которого я безмерно люблю) в мою зиму», – пишет Герцен в "Былом и думах" (X, 131). Характер следующей цитаты и ссылки – "Lieta no...maa sicura!" – говорит Леопарди о смерти в своем "Ruysch e le sue mummie", подчеркивает отличие нового мироощущения Герцена. Подсказанный ему поэтический образ он отрывает теперь от мыслей о смерти, относя его к последнему, заключительному "отделу" ("зиме"), но "отделу" жизни, включая его в богатые ассоциации с образным строем своей книги. В "Былом и думах" Герцен пишет о вступлении в свою "зиму" как о возможности обретения "досуга мысли", "гармонии вокруг" (см. X, 314), о гармонии в общем, о примирении пониманием. Настроение Герцена теперь более сродни пушкинскому "На свете счастья нет, но есть покой и воля". Стих Леопарди переосмысляется Герценом, и лишь его след ощутим в характерных герценовских выражениях: "Письмо мое было печально, но спокойно" (X, 254); "Встреча наша в Париже была не радостна, но проникнута чувством искреннего и глубокого сознанья" (X, 255); "Она встретилась с моим печальным и покойным взглядом" (X, 262).

Таким образом, являясь ценным биографическим документом, публикуемое письмо имеет непосредственное отношение к творческой лаборатории Герцена-писателя. Мы наблюдаем здесь один из моментов рождения образного строя "дум" Герцена и поэтического языка его книги. Мы еще теснее связываем замысел великого автобиографического произведения с именем Огарева.

Письмо печатается по фотокопии *РГБ* с автографа *BN*. Впервые опубликовано М. Мерво в "Revue des Etudes Slaves", 1981, № 2, p. 245–253.

⟨Lugano.⟩ 8 juillet ⟨1852⟩[1]

"*Zugrunde gerichtet*"[2] – et vous ne savez pas même la moitié de mes malheurs. J'existe, car j'ai une tâche immense à accomplir et je l'accomplirai. Pauvre martyre[3] qui a payé par sa vie – *einen* unglücklichen Herz Schwindel – et la rencontre d'une scélératesse dont on n'a pas l'idée chez v⟨ou⟩s[4]. On ne m'a pas laissé le temps de pleurer. Mais au fait. Si la volonté de la défunte est sainte pour toi, ma sœur, pense, si elle l'est pour moi. La seule chose que je désire, pour moi, c'est de vous embrasser encore et de passer q⟨uel⟩q⟨ues⟩ heures ensemble – *e poi morire*. La morte "*non è lieta, ma sicura del antico dolore*"[5]. Quant aux moyens, on p⟨eut⟩ arranger.

8 juillet. *C⟨antone⟩ Ticino*

Перевод:

⟨Лугано?⟩. 8 июля ⟨1852 г.⟩[1]

"Zugrunde gerichtet"[2] – а вы не знаете и половины моих несчастий. Я живу потому, что мне предстоит исполнить безмерный долг, и я его исполню. Бедная старадалица[3], заплатившая жизнью, – einen unglücklichen Herz Schwindel[19*] – и встреча с коварством, какое у в⟨ас⟩ не могут себе и представить[4]. Мне не оставили времени плакать. Но к делу. Если воля покойной свята для тебя, сестра моя, посуди, насколько свята она для меня. Единственное, чего я, для себя, желаю, это еще раз обнять вас и провести неск⟨олько⟩ часов вместе – e poi morire. La morte "non è lieta, ma sicura del antico dolore"[20*5]. Что касается денег, то это можно устроить.

8 июля. К⟨антон⟩ Тичино

[1] Ответ на неизвестное письмо Огарева и Н.А. Тучковой. Герцен приехал в Лугано около 26 июня и жил там по 13 июля 1852 г.

[2] *Zugrunde gerichtet* (совершенно раздавлен.-*нем.*). – Судя по кавычкам, это цитата (по-видимому, из "Фауста" Гете). Неточная, приведенная по памяти, она ассоциируется прежде всего с финалом первой части трагедии:

Mephistopheles. Sie ist gerichtet.
Stimme von oben. Ist gerettet!
(Мефистофель. Она осуждена.
Голос свыше. Спасена) (*нем.*).

По звучанию и смыслу цитата близка и другой строке из трагедии: "Zugrunde uns richte" – словам-предостережениям Фауста Евфориону (часть вторая).

Наше предположение укрепляется и тем обстоятельством, что к финалу первой части "Фауста" Герцен обратится через три года в главе "Былого и дум" "Il pianto", открывающей "вторую тетрадь" "Западных арабесок" (и здесь цитата неточная, по памяти – sie ist gerettet – X, 122).

Размышляя о судьбах истории, Герцен прибегает в этой главе к образу матери, ожидающей ребенка. Трагизм его мироощущения передает мысль о возможной гибели обоих. Присутствующая и в этом образе ассоциация с "Фаустом" несет одновременно и глубоко выстраданное личное содержание. В этой главе Герцен сопоставляет Байрона и Гете. Это сопоставление перерастает в вывод об историческом призвании его поколения. Реминисценция из "Фауста" в публикуемом письме – еще одно подтверждение той роли, которую играл Гете в творческом самосознании Герцена.

[3] Н.А. Герцен, умершая 2 мая 1852 г.

[4] Комментарием здесь могут служить следующие строки из письма к московским друзьям от 2 сентября 1853 г.: "Клевета продолжала бить по могиле, намеренная, обдуманная" (XXV, 110).

[5] Ср. у Леопарди: "Единственная в мире вечная, к кому устремляется//все сотворенное,//в тебе, смерть, находит успокоение//наше нагое естество,//отнюдь не исполненное радости, но надежно защищенное от вековечной скорби" (*итал.*).

ТАТЕ ГЕРЦЕН

Публикация Л.Р. Ланского

Записка Герцена к его восьмилетней дочери Тате, без сомнения, была приложена к одному из его писем, адресованных М.К. Рейхель. Речь в ней идет о предстоящем приезде к Герцену в Лондон обеих его дочерей (Таты и Оли) из Парижа, где они воспитывались в семье Рейхелей после смерти их матери – Натальи Александровны. Вопрос о том, кто будет сопровождать девочек, занимал большое место в переписке с Рейхелями за февраль–апрель 1853 г. Выезд намечался на разные числа между 24, 27 и 30 апреля. В публикуемой записке точно указано, что до его осуществления остается *шестнадцать* дней (см. XXV, 47 и 48). Письмо Герцена от 8 апреля, обращенное к Рейхель, не имеет приписки к Тате, а в соседних они есть, так что публикуемые строки, с известной долей условности, можно отнести именно к этому числу.

Вследствие разных неурядиц, муж Марьи Каспаровны А. Рейхель выехал из Парижа с детьми только 30 апреля; в тот же день они пересекли Ла Манш. Таким образом, годовщину смерти Натальи Александровны – 2 мая – Герцену удалось отметить, как он и мечтал, в присутствии всех троих его детей.

Письмо публикуется впервые по фотокопии *РГБ* с автографа *BN*.

[19*] несчастное сердечное заблуждение (*нем.*).

[20*] и потом умереть. Смерть "не радостная, нет, но избавляющая от древней скорби" (*итал.*).

⟨Лондон. 8 (?) апреля 1853 г.⟩

Письмами твоими, Тата, я очень доволен, а копию ты забыла. Что ты приедешь с Олей, мы очень рады и будем считать дни – теперь осталось *шестнадцать дней.*

И птички еще висят в базаре, две, и прыгают, и чирикают, их привезли из Южной Америки.

Целую *Олю*

МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ

Публикация А. З в и г и л ь с к о г о при участии С.П. Г и ж д е у[21*]

Личность Мальвиды *Мейзенбуг* (1816–1903) и ее отношения с Герценом хорошо известны. Имя ее занимает видное место в его биографии, переписке и мемуарной литературе. Ей посвящена большая статья С.П. Гиджеу во 2-й кн. наст. тома.

В ответ на просьбу молодого французского писателя и критика А. Сюареса – автора книг о Толстом и Достоевском – сообщить ему что-нибудь о Герцене Мейзенбуг послала ему 1 ноября 1892 г. автограф письма, адресованного ей Герценом, оставив для себя только выписку. При этом она писала Сюаресу: "Прилагаю вам письмецо Герцена, которое дарю вам, полагая, что вас больше с ним сблизит обладание чем-нибудь написанным его рукой и в какой-то мере проясняющим его личную жизнь. Я смогу рассказать вам о ней много волнующего, но только устно, ибо письма эти не подлежат огласке и слишком длинны, чтоб их списать. Письмо относится еще к первому периоду нашего знакомства, до того, как я вступила в его дом, и лишь время от времени занималась с его детьми. Я жила тогда одна на берегу моря в Англ⟨ии⟩, и мне писали. Именно сейчас привожу я в порядок его многочисленные письма ко мне, чтоб оставить их здесь в сохранности у его дочери ⟨Ольги⟩ в случае моей смерти. Я давно уже собираюсь о нем писать. Его слишком уж предают забвению, а он был слишком крупной личностью, чтоб это можно было допустить. И ныне, кроме меня, нет почти никого, кто мог бы о нем написать, ибо свидетелей его личной жизни уже не осталось; Тургенев собирался сделать это, но смерть помешала ему. Хотелось бы знать, удастся ли мне написать о нем нынешней зимой, но вам я, со своей стороны, охотно помогу сделать это во Франции. Суждение ваше о нем превосходно, это был единственный из деятелей 48-го года, который кое-что понял и кое-чему научился у событий и который не побоялся отделаться от благородных иллюзий как только пред ним явилась истина. Именно за это Бакунин, оставшийся таким, каким он был в сибирских льдах, возмущался им и под конец совершенно от него отдалился" (автограф в Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (Париж), ф. А. Суареса).

Письмо 1-е печатается А. З в и г и л ь с к и м по автографу того же фонда. Впервые опубликовано им в "Revue de la Littérature Comparée", 1974, p. 317–318. Несколько строк, выписанных из своего письма самой Мейзенбуг с отдельными разночтениями, опубликованы под условной датой "весна 1853 г." еще до того Л.Р. Л а н с к и м (XXV, 487). Русский перевод, за исключением упомянутого фрагмента, нигде не воспроизводился. Сохранившийся отрывок п. 2 публикуется впервые С.П. Г и ж д е у по ксерокопии *РГБ* с автографа того же парижского архива.

1

⟨Londres.⟩ 19 août ⟨1853⟩. Vendredi[1]

A force de vieillesse, je perds tout, j'oublie tout. Alex⟨andre⟩ vous a écrit une longue lettre, je l'ai mise avec la vôtre que je viens de recevoir aujourd'hui – et voilà qu'il m'est impossible de la retrouver[2].

Maniquine[3] et Tata, Alex⟨andre⟩ et Haug, tous ont cherché – pas moyen. Savez-vous que perdre quelque chose ou égarer pour q⟨uel⟩q⟨ue⟩ temps est une chose qui blesse profondément un homme, comme l'oubli d'un nom propre, *das macht so grob an die Grenze.*

Vous gardez la vie d'un point de vue serein, je lis vos lettres avec envie[4]... Non seulement

[21*] Вступительную заметку и письмо 1-е перевел с французского Л.Р. Л а н с к и й; письмо 2-е – С.П. Г и ж д е у.

la nature vous entraîne, mais votre esprit; vous avez de l'enthousiasme. Vos malheurs ne vous ont probablement laissé que des larmes, qu'une douleur pure. Les miens m'ont vieilli, et je me suis habitué à tout regarder à travers la poussière. Le trop clair de la nature *ist zu scharf, zu frisch.* J'appartiens profondément à la croûte malade de la société, j'appartiens quoique un peu barbare à la vieille civilisation en putréfaction, comme les vers au vieux fromage, et c'est pour cela que je vous envie – sentant que tout cela m'est impossible à la longue. J'ai été abreuvé tout ce temps par de petites avanies de tous côtés[5]. Je réserve le récit de ces belles choses pour notre entrevue.

Je serre amicalement votre main.

A. Herzen

Je ne suis pas tout à fait content non plus de Tata. Elle a beaucoup de petites habitudes qu'elle n'avait pas.

La lettre est retardée, il est 6 h. 1/2, elle ne viendra que demain.

Перевод:

⟨Лондон.⟩ 19 августа ⟨1853 г.). Пятница[1]

Вследствие старости я все теряю, все забываю. Алекс⟨андр⟩ написал вам длинное письмо, я положил его вместе с вашим, только сегодня мною полученным, и что же: никак не могу его отыскать[2].

Манихен[3] и Тата, Алекс⟨андр⟩ и Гауг, все искали – без успеха. Знаете ли вы, что потерять что-нибудь или затерять на како⟨е-то⟩ время – вещь, глубоко оскорбительная для человека, это все равно, что забыть чье-либо имя, das macht so grob an die Grenze[22*].



МАЛЬВИДА МЕЙЗЕНБУГ

Рисунок Лауры Мейзенбуг (карандаш).

Конец 1840-х годов

Воспроизводится по репродукции в книге: Malvida von Meysenbug. Aus den Memorien einer Idealistin. Berlin, 1963

Вы глядите на жизнь с безмятежной точки зрения, ваши письма читаю я с завистью[4] ... Вас увлекает не только природа, но и ваш ум; вам свойствен энтузиазм. От ваших несчастий у вас, по-видимому, остались только слезы, только чистая скорбь. Мои же состарили меня, и я привык смотреть на все сквозь пыльную пелену. Чрезмерная ясность природы ist zu scharf, zu frisch[23*]. Я целиком принадлежу к больному слою общества, я принадлежу, – хоть и являюсь, в какой-то мере, варваром, – старой, гниющей цивилизации, как черви к старому сыру, поэтому-то я и завидую вам – чувствуя, что мне все это, в сущности, недоступно.

Меня все это последнее время осыпали всякого рода мелкими гадостями. Откладываю до нашего свидания рассказ об этих прелестных вещах.

Дружески жму вам руку.

А. Герцен

Я не совсем доволен и Татой. У нее появилась масса мелких привычек, которых прежде не было.

Письмо это задержалось, теперь6[1]/2, оно придет лишь завтра.

[1] Пятница на 19 августа приходилась в 1853 г.

[2] Эти письма остаются неизвестными. О неопубликованном письме Мейзенбуг к Герцену от 13 августа см. XXV, 88 и *Мейзенбуг*, 243. Герцен ответил на него 16 августа (там же).

[3] Гувернантка Мария Фомм.

[22*] это под конец становится так грубо (*нем.*).

[23*] слишком остра, слишком свежа (*нем.*). – *Перед этим выражением в автографе крестик. Начатое на полях примечание (или вставка) почти полностью отрезано. – Ред.*

[4] В письме от 13 августа 1853 г. Герцен просил Мейзенбург сообщить ему "инциденты" из ее жизни. Она, по-видимому, тотчас же отозвалась. 16 августа Герцен писал ей: «Читая ваше письмо, я невольно сказал: "Боже, как вы еще молоды душой и чувствами"» (XXV, 92).

2

Фрагмент

⟨Ницца. 24/12 (?) апреля 1869 г.⟩[1]

un grand plan quelconque – je pourrais retirer mon désir et mon conseil – mais lorsque la carrière termine aux leçons de chant, il n'y a pas à changer. – Evaluez vous-même mes paroles–sans passion, avec l'amour de la vérité – et vous me serrerez la main comme toujours.

Or, la morale en est – il n'y a pas de raisons sérieuses pour ne pas aller à Paris – puisque la décision dépend de va et viens de Panofca[2]. Pour sûr, à Paris il ne manque pas de professeurs de première force.

Une des choses les plus sérieuses – c'est l'opinion d'Olga elle-même – elle peut maintenant mesurer d'après l'amour actif pour l'art – ce qu'elle peut faire.

Voilà la réponse et de l'homme, et du père, et de l'ami – sachez l'apprécier donc la plénitude de sa sincérité.

Schiff a été vraiment grand, j'attends avec impatience sa leçon. Il a quelque chose de l'apôtre. Exposer donc sa position, sa famille – pour prêcher en Savonarole de la science – c'est grand et je m'incline de tout mon coeur devant lui[3] – dites-lui cela – et ne vous fâchez pas.

Tout à vous A. H e r z e n

J'ecrirai à Olga un de ces jours – embrassez-la. Est-ce qu'elle est contente des Духи́[4]?

П е р е в о д:

какой-нибудь большой план – я мог бы отказаться от своего желания и своего совета – но когда карьера заканчивается уроками пения – ничего не изменишь. – Оцените сами мои слова – бесстрастно, с любовью к истине – и вы пожмете мне руку, как всегда.

Итак, отсюда мораль – нет серьезных оснований не ехать в Париж – поскольку решение зависит от приездов и отъездов Панофки[2]. Конечно, в Париже нет недостатка в первоклассных преподавателях.

Одна из самых серьезных вещей – это собственное мнение Ольги – она может теперь взвесить на основании деятельной любви к искусству – что́ может сделать.

Вот ответ и человека, и отца, и друга – сумейте же оценить его полную откровенность.

Шифф был поистине велик, жду с нетерпением его лекцию. В нем есть нечто от апостола. Подвергать опасности свое положение, свою семью – чтобы проповедовать, подобно Савонароле, науку – это величественно, и я от всей души склоняюсь перед ним[3] – скажите ему об этом – и не сердитесь.

Всецело преданный вам А. Г е р ц е н

Я напишу Ольге в один из ближайших дней – поцелуйте ее. Понравились ли ей Духи́[24*4]?

[1] Печатается по фотокопии *РГБ* с автографа *BN*. Начало письма отсутствует. По всей вероятности, это то письмо к Мейзенбург, которое считалось утраченным и датировалось 25/13 апреля 1869 г. (см. XXX, 461).

[2] См. ниже письмо Герцена к Ольге от 22 апреля 1869 г.

[3] Об этой лекции М. Шиффа, в то время профессора сравнительной анатомии во Флоренции, см. также в письмах Герцена к Огареву от 24 апреля (XXX, 95) и к А.А. Герцену от 25 апреля (там же).

[4] Подарок Герцена (см. ниже).

[24*] *Слово* Духи *написано в подлиннике по-русски. – Ред.*

Н.И. ТРУБЕЦКОМУ

Публикация А. З в и г и л ь с к о г о[25*]

Адресат письма – князь Николай Иванович *Трубецкой* (1807–1874), один из характернейших представителей русской либеральной аристократии. В 1849 г., приняв католичество, он поселился во Франции. Его перу принадлежат написанные по-французски брошюры (печатались под псевдонимом *M. Olgherdowitch*): "Etudes religieuses et politiques sur la Russie" (1858), "Les questions du jour en Russie. Abolition du servage – liberté individuelle–publicité" (P., 1858) и "Des chemins-de-fer russes" (P., 1859).

Публикуемое письмо – единственное из дошедших до нас писем Герцена к Трубецкому. Что же касается писем последнего, то одно из них, от13 октября 1858 г., было напечатано в т. 62 "Литературного наследства" (с. 582).

В июне 1861 г., во время своего недолгого пребывания в Париже, Герцен поселился на ул. d'Alger, № 4. Этот адрес указан им на письме к Трубецкому. 27 числа того же месяца Наполеон III принимал в своем дворце Фонтенбло делегацию сиамского посольства (см. "Illustration" от 6 июля). Сопоставление даты публикуемого письма с датой этого приема дает возможность установить, что именно 27 июня Герцен провел в Фонтенбло, в зáмке Трубецкого Бельфонтен (об этом зáмке и его владельце можно прочесть в статьях П. Уоддингтона "Бельфонтен, его происхождение и его прошлое" и "Иван Тургенев и владельцы Бельфонтена" ("Cahiers Samoisiens", 1973 (№ 2 и 4) и 1976 (№ 5)).

Помимо Герцена и его старшей дочери Таты, в гостях у Трубецкого находился известный востоковед-петрашевец Н.В. Ханыков и автор "Писем об Испании" В.П. Боткин. Их разговоры переданы были во всех деталях русскому посольству в Париже кем-то из слуг князя (см. Н.Г. Р о з е н б л ю м. Герцен в Париже летом 1861 г. Письма статс-секретаря В.П. Буткова к шефу жандармов кн. В.А. Долгорукову. – "Лит. наследство", т. 63, с. 306–310). Как видно из письма Герцена, после обеда была прогулка по лесу Фонтенбло: Трубецкой и его гости, по-видимому, прошлись по так называемой Родниковой дороге, ведущей к башне Денекур (в наши дни она называется Долиной Трубецкого – см. мое предисловие к кн. Ivan T o u r g u é n e v. Nouvelle correspondance inédite, t. 1. P., 1971. p. LIV).

Письмо публикуется впервые по автографу из собрания Ирины Адама-Зильстра.

⟨Париж. 1 июля 1861 г.⟩

Cher Prince,

De grâce, envoyez-moi l'adresse du prince Volkonsky – je ne veux pas quitter Paris sans saluer un de nos "Pères"[1].

Savez-vous que nous avons rencontré l'Empereur au débarcadère en partant de chez vous?

Je vous remercie de la belle journée, de la[26*] forêt et de la простокваша russe. Je pars jeudi[2].

Mes respects à madame la princesse[3].

A. H e r z e n

1 juillet
4, rue d'Alger

П е р е в о д:

Любезный князь,

Пожалуйста, пришлите мне адрес князя Волконского – не хочу покинуть Париж без поклона одному из наших "Отцов"[1].

Знаете ли вы, что мы встретили императора на вокзале, уезжая от вас?

[25*] Вступительную заметку и письмо Герцена перевел с французского Л.Р. Л а н с к и й.

[26*] *В автографе*: du. – *Ред.*

Благодарю вас за прекрасный день, за лес и за русскую простоквашу[27*]. Я уезжаю в четверг[2].

Мое почтение княгине[3].

А. Герцен

1 июля
Улица Alger, № 4

[1] Встреча с декабристом С.Г. Волконским состоялась между 3 и 8 июля (установлено на основании публикуемого письма проф. М. Кадо, который любезно предоставил мне текст своего сообщения "Герцен и декабристы" на симпозиуме, посвященном декабрьскому восстанию 1825 г. в парижском "Institut d'Études Slaves" 3 декабря 1975 г. Ответа от Трубецкого Герцен до 3 июля еще получить не мог, а 9-го он уже возвратился в Англию. Интересно отметить, что для получения адреса Волконского он обратился к Трубецкому, а не к декабристу Н.И. Тургеневу, который 27 июня также пригласил его к себе на дачу под Парижем. Ю.Г. Оксман объяснил в своей публикации "Н.И. Тургенев – Герцену" ("Лит. наследство", т. 62, с. 583–590), почему, руководствуясь личной неприязнью к Волконскому, Тургенев не выполнил просьбу Герцена и Огарева, с которой они к нему обратились 28 марта того же года, – передать привет Волконскому в Париже. Декабристов Герцен называл "нашими отцами в духе" (XXVII, 282) – почти как и в этом письме. Родство между первым поколением русских революционеров и самим Герценом символически выражено в четвертом "Письме к будущему другу", где, в частности, описана встреча его с Волконским (XVIII, 91).

[2] Герцен уехал не в четверг 4-го, а во вторник 9 июля 1861 г.

[3] Жена Н.И. Трубецкого Анна Андреевна, урожденная графиня Гудович.

ОЛЬГЕ ГЕРЦЕН

Публикация А. Звигильского
Статья С.Д. Лищинер
Комментарии А. Звигильского и С.Д. Лищинер[28*]

Напряженная духовная атмосфера жизни Герцена в 1860-е годы нашла своеобразное отражение в печатаемой серии писем, казалось бы, сугубо камерных, не выходящих за пределы понимания адресатки – своенравной молодой девушки. Эта атмосфера преломилась здесь в тревожном ощущении опасности, какую несет детям утрата духовной общности в семье, нарушение естественной связи поколений.

Именно в отношениях с Ольгой, с детства жившей вне семьи, это было особенно острой "болевой точкой" для Герцена, предметом нарастающей сердечной заботы. Мы видим постоянные усилия преодолеть пространственные преграды, отчуждающие обстоятельства "полнотой внутренней жизни" (XXIV, 253–254), – и вновь объединить семью. Публикуемые письма фиксируют как бы узловые моменты единого драматического действа, в котором развертывается борьба этих противоречий в семейной биографии Герцена.

Первое написано сразу после отъезда двенадцатилетней Ольги вместе со старшей сестрой Татой и воспитательницей М. Мейзенбуг в Италию – отъезда, вызванного невозможностью ужиться с Н.А. Тучковой-Огаревой и означавшего уже, по существу, разделение семьи, крушение общего лондонского дома. Второе – вскоре после неудавшейся попытки летом–осенью 1865 г. вновь создать такой единый дом в Château de Boissière, близ Женевы, и нового удаления Ольги с Мейзенбуг во Флоренцию.

Личное общение Герцена с дочерью отныне ограничивается короткими встречами – во время его приездов в Италию в январе – марте, ноябре – декабре 1867 г. и столь же недолгого сбора семьи под крышей замка Пранжен (Швейцария, близ Ниона) для общего отдыха в конце августа – начале сентября 1868 г. Все менее удовлетворяет Герцена это отрывочное, поверхностное общение "на людях", все тревожнее переживает он отдаление дочери, культивируемые Мейзенбуг идеалистически-эстетические вкусы и пренебрежение национально русскими интересами в ее воспитании, все упорнее добивается нового сближения. Поистине трагической кульминации достигает осознание им утраты душевной связи с Ольгой, когда на приглашение отца 4 февраля 1869 г. пожить хотя бы месяц одной с ним весной в Генуе ("чтобы несколько прийти в унисон", как разъясняет Герцен в отправленном одновременно письме к Мейзенбуг, XXX, 37) она ответила, что не желает подвергнуть

[27*] *Слово* простоквашу *написано в автографе по-русски. – Ред.*

[28*] Все письма – как в основном тексте, так и в подстрочных примечаниях – перевел с французского Л.Р. Ланский.

Мейзенбуг, которая для нее как мать, "беспокойству разлуки". Ответ этот был поистине жестоким ударом для отца.

Однако не в натуре Герцена было пассивно примириться с тем, что "слишком поздно", что нельзя помешать превращению дочери в иностранку. Завершается этот "сквозной сюжет" письмами накануне предпринятого нового объединения семьи в Париже. Тщательно подготовляя его, Герцен теперь особенно настойчиво рисует перед уже взрослой Ольгой перспективу серьезного приобщения к своему "образу жизни" и мысли, душевному состоянию, в котором "есть еще и силы" и размах (п. 28). Но первые шаги долгожданной совместной жизни были прерваны смертью Герцена.

На протяжении же предшествующих лет раздельного житья именно письма были для Герцена той ниточкой душевной связи, которую он все упорнее – и доверительнее – протягивал дочери. Вовлечь ее в круг собственных интересов, творчества, гуманистических идеалов означало для него вместе с тем удержать в ее сознании ощущение родной почвы, передать ей чистоту нравственной атмосферы, стремлений и идеалов русской передовой интеллигенции. "Сколько-нибудь возвратить Ольгу нашей традиции, нашему направлению – вещь нелегкая и столь же необходимая", – писал он Мейзенбуг 3 октября 1868 г. (XXIX, 454).

Путь к этому он видел в первую очередь в серьезных занятиях Ольги русским языком, а через него – в овладении богатствами русской культуры. Постоянной линией проходят в письмах семи лет все новые попытки приобщить ее к тому и другому, сетования на их тщетность. В письмах последнего года жизни эта тема приобретает особенно проникновенное звучание. Герцен надеется, что теперь Ольге уже по силам осознать всю драму беспочвенности – утраты родного языка, национальных корней, семейной связи поколений. Так, 15 апреля 1869 г. он пишет: "Это сущее бедствие, что ты не знаешь русского. Целый мир, – совершенно новый, своеобразный и полудикий, но имеющий необъятное будущее, останется для тебя совершенно скрытым, как и для большинства западных людей. Тата – более русская, чем ты и Александр". Характерно, что даже в этих горьких заключениях нет оттенка безнадежности. За приведенными словами о Тате следует: "Она еще на некоторое время останется с вами – ты можешь воспользоваться ее пребыванием и вновь приняться читать по-русски". Тот же ход мысли в письме от 3 марта: забвение Ольгой русского – "большое несчастье", но он надеется, что "года совместной жизни" хватило бы, "чтобы восстановить" все.

В письмах к восемнадцатилетней Ольге тема душевной близости поколений семьи неразрывна не только с темой общекультурной национальной традиции, восходящей к истории русского народа и обращенной к его будущему. Это и составная часть особенно глубоко волновавших Герцена в 1860-е годы раздумий об отношениях "отцов" и "детей" в русском освободительном движении, об идейной преемственности в нем. Вопреки нежеланию вожаков женевской "молодой эмиграции" да и части разночинной молодежи в России ("блудных детей") признавать историческую роль предшественников Герцен неустанно выявляет и утверждает те "красные нитки" ("Еще раз Базаров"), которые объединяют поколения борцов, обеспечивая неистребимость и силу русской революционной традиции. В этом отношении особенно показательно одно из последних публикуемых писем – от 17 мая 1869 г. из Женевы. Не уставая с живой надеждой следить за биением общественного пульса в России, Герцен чутко улавливает уже здесь признаки начала нового демократического подъема и спешит поделиться с Ольгой этими ободряющими известиями.

Таким образом, и в публикуемой серии писем Герцен предстает верным себе – в неизменной активности общественной позиции, доверительной открытости натуры. Вместе с тем, при всей по-герценовски напряженной эмоциональности, именно эти письма – письма замечательного воспитателя и старшего друга – особенно оттеняют такт Герцена, свойственную ему эстетическую меру в выражении чувств. Даже обуреваемый горькими переживаниями по поводу отчуждения дочери – как это было после упомянутого отказа ее приехать весной 1869 г. – он озабочен тем, чтобы самое горе, претворяясь и просветляясь в его слове, обращенном к ней, стало "гуманизирующим" элементом, послужило формированию добрых чувств в характере девушки.

Особенно наглядно это видно при сравнении публикуемых писем к Ольге с давно известными письмами Герцена к Мейзенбуг, которые отправлялись одновременно (например, 14 февраля, 3 марта, 17 мая, 30 сентября 1869 г.). Если в последних явственна тональность упрека, подчас открытого возмущения ("чувствуете ли вы на себе ответственность за отдаление Ольги от меня, от всей нашей атмосферы?" – спрашивает он с горечью 30 сентября 1869 г.; XXX, 204), то письма к Ольге дышат благородной сдержанностью и грустью, а вместе с тем надеждой – надеждой на разум и сердце дочери. "Действуй по велению собственного сердца", – пишет он ей в этот день, призывая "взвесить все " и решаться на "совместную жизнь" лишь

при внутренней тяге к сближению. Та же надежда звучит в письме к сыну от 2 апреля: "В ней (Ольге) с *развитием мысли* разовьется потребность узнать меня – и я не боюсь" (XXX, 74)[29*]. Перед нами характерная для революционно-просветительского склада мышления Герцена опора на разум в самых сложных и запутанных людских отношениях.

Для Герцена-воспитателя приобретало принципиальную важность руководство умственным развитием Ольги. Он постоянно следит за кругом ее чтения, направляя его в демократическое русло, добиваясь "гуманного воздействия" на формирующийся характер. Круг рекомендуемых книг постепенно расширяется. Наряду с только что появившимися романами "История человека из народа" и "Блокада" Эркмана-Шатриана, в нем занимают свое место книги герценовской юности – и "Обрученные" А. Мандзони, и "Сен-Мар" А. де Виньи, и произведения В. Скотта, В. Гюго. На первый план, естественно, выдвигаются и "великие maestri" – постоянные спутники Герцена – Шиллер и Гете. И, вместе с тем, дочерям отправляются собственные "Прерванные рассказы" и выходящие части "Войны и мира" Толстого, предлагаются для чтения "Былое и думы" и "Vom anderen Ufer".

Герцен берет в помощники книги и в стремлении укрепить у девочки навыки трудолюбия, самоконтроля, упорства, предостеречь ее от самоуспокоенности (см. п. 6). По мере взросления Ольги в письмах все более акцентируется необходимость выработки трезво реалистического взгляда на жизнь.

Требовательный взгляд Герцена, побуждающий к неустанному совершенствованию, фиксирует внимание девушки на любом диссонансе в ее письмах – от погрешностей в орфографии до этических промахов в отношениях с окружающими. Более всего стремится он предостеречь дочь от привычек барского тунеядства. Противоядие – в упорном, каждодневном труде, творческой неуспокоенности. Герцен с радостью поддерживает порывы девушки к серьезной работе, методическому овладению основами наук.

В публикуемых письмах Герцена предстают в нерасторжимом единстве его заботы о нравственном, интеллектуальном, эмоциональном и эстетическом формировании личности дочери. Пристальное внимание уделяется культивированию ее художественного вкуса и эпистолярного стиля. Письма Ольги к отцу не сохранились, но в его ответных письмах, а также в письмах к нему Таты и М.К. Рейхель (см. их в кн. 2-й наст. тома) контурно проступают черты этой жизнерадостной и одаренной, но еще по-детски шероховатой, несобранной натуры, подчас капризной и эксцентричной, избалованной "переизбытком любви" своей "второй матери" – М. Мейзенбуг. Герцен постоянно стремится уравновесить, гармонизировать порывы Ольги, ввести эстетическую меру в ее остроумие, предупреждает от претенциозности, неоправданного оригинальничанья (см. п. 6–7).

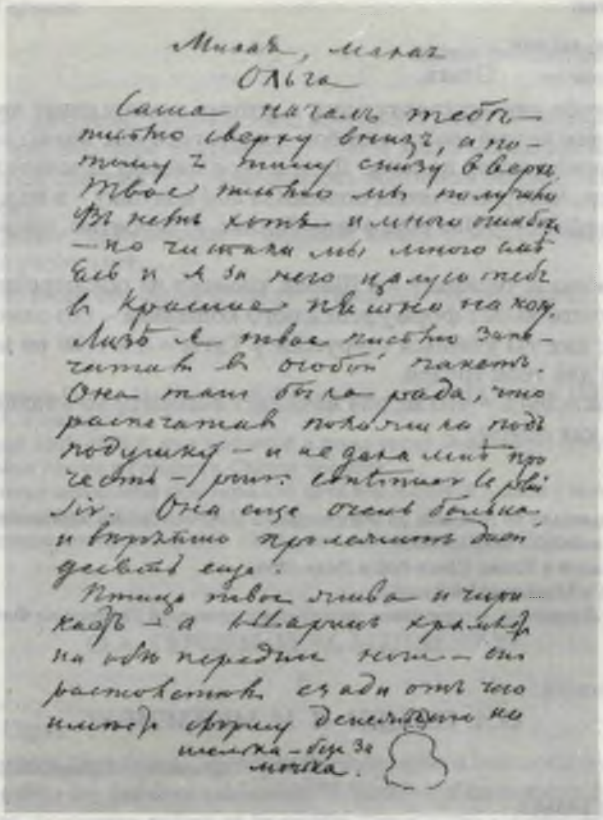
Публикуемая серия писем Герцена к Ольге содержит также значительный материал для конкретизации представлений о его жизни, настроениях и надеждах в 1860-е годы, о педагогических, этических, эстетических взглядах в завершающий период его духовной эволюции.

В публикацию включено 28 писем к Ольге, часть которых содержит также тексты, обращенные к другим членам семьи: два – к дочери Тате, одно – к сыну Александру, два – к воспитательнице Ольги – Мальвиде Мейзенбуг.

Письма печатаются на языке оригинала с рядом уточнений и в переводе по автографам, хранившимся в личных собраниях внучки Герцена Жанны Амфу-Моно (Париж) – п. 2–3, 5–10, 14, 16, часть 17-го*, 18–20, 22–28), внуков Ольги Александровны Герцен-Моно и М. Риста (Версаль – п. 1, 12, 15, 21) и Н. Риста (Париж; п. 4, 11). Впервые опубликованы А. З в и г и л ь с к и м в кн.: "Alexandre Herzen. Letrres inedites à safille Olga. P., 1970.

[29*] Курсив мой. – *СЛ.*

* Часть этого письма, хранящаяся в *BN* (см. ниже), публиковалась в *Л* XXI, 149, а затем в 30-томном Собрании сочинений Герцена (см. XXIX, 489–490). Фрагменты нескольких других писем приводились (в русском переводе) в обзорах: Л. М о ш е н с к а я. Неизвестные письма Герцена ("Вопросы литературы", 1971, № 2, с. 253–254); С.Д. Л и щ и н е р. Новая публикация писем Герцена (*Известия ОЛЯ*, 1971, вып. 4, с. 333–337); Л. Л а н с к и й. Новое о Герцене ("Лит. газета", 1974, № 5, 30 января).



ПИСЬМО ГЕРЦЕНА ДОЧЕРИ ОЛЬГЕ

Автограф. ⟨Лондон, 9 января 1863 г.⟩

Собрание Марио Риста (Версаль). Воспроизводится по репродукции в книге: Alexandre Herzen. Lettres inédites à sa fille Olga. Paris, 1970

1

Рукой А.А. Герцена:

⟨Лондон.⟩ 9 янв⟨аря⟩ 63
Orsett House. Westb⟨ourne⟩Terr⟨ace⟩. W⟨est⟩

Милая моя Ольга,

Вот я сам вызвался написать тебе *длинное* письмо – и почти не знаю, о чем писать. Вам легко писать: всё, что вы видите теперь, ново не только для вас самих, но и для нас[1]. А здесь у нас все по-старому, и все вам уже известно. Особенно теперь, во время болезни Лизы[2], мы почти вовсе не выходили, никого и ничего не видали. Теперь Лиза почти совсем поправилась и, вероятно, завтра встанет. Девочка и мальчик[3] остались совершенно здоровыми, и теперь, кажется, уже нечего бояться заразы.

Пишу с зажженным газом, в 11 часов утра; туман цвету дурного кофея (должно быть, такого, какой вам дали на станции) – так густ, что не видать церкви.

Сегодня Жак приносил Шарика наверх; ему лучше, и он начинает ходить, но еще очень слаб на передних лапах. Птица твоя жива и весела.

Тхоржевский и Чернецкий тебе и *вам*[4] кланяются. Пиши побольше, чтобы не забывать русского языка.

Целую тебя.

Твой С а ш а

Рукой Герцена:

Милая, малая
Ольга,

Саша начал тебе письмо сверху вниз, а потому я пишу снизу вверх. Твое письмо мы получили. В нем хотя и много ошибок – но читали мы, много смеясь, и я за него целую тебя в красное пятно на носу. Лизе я твое письмо запечатал в особой пакет. Она так была рада, что, распечатав, положила под подушку – и не дала мне прочесть – pour continuer le plaisir[30*]. Она еще очень больна, и, вероятно, пролежит дней десять еще.

Птица твоя жива и чирикает – а Шарик хромеет на обе передние ноги – он растолстел сзади, отчего имеет форму денежного кошелька – без замочка.

Напиши мне, как ты учишься по-русски у Таты – а я тебе не верю, чтоб итальянский язык был для тебя труден.

Егоровне[5] поклонись – что ж, она начинает говорить по-итальянски?

Здесь тепло, как летом.

Целую тебя Твой п а п а

[1] Тата и Ольга выехали из Лондона во Флоренцию в сопровождении Мейзенбуг 13 декабря 1862 г.
[2] 1 января Лиза заболела скарлатиной.
[3] Близнецы Алексей и Елена (Леля-бой и Леля-гёрл).
[4] *Вам* – т.е. Тате и Мальвиде Мейзенбуг.
[5] *Егоровна*, или *Жеоржина*, – горничная, прехавшая с дочерьми Герцена во Флоренцию.

2
О.А. ГЕРЦЕН И М. МЕЙЗЕНБУГ

⟨Женева.⟩ 12 февр⟨аля 1866 г.⟩. Понедельник

Милая Ольга,

Письмы твои получены[1] – и также весть о том, что ты больна. Надеюсь, что тебе теперь совсем хорошо, если же нет – напиши, я *могу приехать* тебя навестить. – Здесь Бакст и нас очень забавляет[2].

Пять фр. в месяц accordé[31*]; я тебе пришлю итальянской купон.

Прощай... Целую тебя.

Твой р а р а

Je vous prie – Malvida *cara* – de m'écrire immédiatement sur la santé d'Olga... sans rien cacher et avec la signature d'Alex⟨andre⟩ auquel j'intime le même ordre.

Pas de maison encore[3].

Il vostro A. H e r z e n

Est-ce que vous êtes au rez-de-chaussée? C'est malsain[32*].

Бакст очень жалеет, что он тебя не видал никогда... а я кланяюсь Шиффу.

[30*] чтобы продлить удовольствие (*франц.*).
[31*] согласен выдавать (*франц.*).
[32*] Прошу вас – Мальвида сага ⟨дорогая (*итал.*)⟩ – тотчас же написать мне насчет здоровья Ольги... ничего не скрывая и с подписью Алекс⟨андра⟩, которому предписываю то же.
Дома еще нет[3]. Il vostro ⟨Ваш (*итал.*)⟩ А. Г е р ц е и
Разве вы живете на первом этаже? Это вредно для здоровья (*франц.*).

Рукой Н.А. Герцен:

12 февраля 1866 г.
Château Boissière, *Genève*, или Jeune Eve[33*]
по моей новой орфографии

Получили мы, наконец, твои письма, милая лягушка. Очень жаль мне, что ты была нездорова; чтó это тебе вздумалось? – И я здесь шалю время от времени, но все-таки не до такой степени – ограничиваюсь головной болью... Но у тебя сошло с рук, ну и слава богу.

Так и ты хорошо занимаешься – видишь, какая у нас симпатия, несмотря ⟨на⟩ даль, которая нас разлучает...

Папа торопит, и сейчас будет Стелла[4]. Прощай. Целую всех.

Тата

[1]Неизвестные письма О.А. и Мейзенбуг из Флоренции, куда они в ноябре 1865 г., покинув Швейцарию, переехали к А.А. Герцену.

[2]В.И. Бакст зимой 1865–1866 г. жил в Монтрё и давал уроки Лизе. 10–12 февраля 1866 г. он проездом из Монтре в Берлин гостил у Герцена в Château Boissière.

[3]Речь идет о поисках небольшой квартиры или дачи под Женевой в связи с истечением в апреле срока найма Château Boissière (см. XXVIII, 152–154, 156).

[4]Ян *Стелла* – конспиративное имя И.Ф. Савицкого, дававшего уроки Тате.

3
О.А. ГЕРЦЕН И М. МЕЙЗЕНБУГ

⟨Женева. 28–29 июля 1866 г.⟩

Chère Olga,

J'ai été très content de ta lettre – quoique l'orthographe a beaucoup à désirer. Maintenant tu as probablement reçu les derniers cahiers de "L'histoire d'un homme du peuple". Les premiers sont très bien, le pauvre enfant et la vieille dame – qui l'a pris dans sa maison – me plaisent beaucoup[1]. Je t'écris en français pensant que tu ne sauras déchiffrer le russe. Essayons[34*] – о всех твоих проектах поговорим при свиданье. Вероятно, я с Татой приеду в сентябре, и тогда увидим. Жаль, что ты мало учишься. Dans tous les cas il faut apprendre à écrire correctement une langue quelconque. Pense que tu as 15 ans[35*].

Тата много поет и все гуляет с разными женевскими барышнями.

Прощай, Ага тебя целует. Лизу я оставил в Лозанне здоровой – она умна и все понимает, зато шалит много[2].

Целую тебя.

28 июля 1866. Женева

Dis à Malvida – qu'elle lit mal mes lettres, j'ai *deux fois* écrit que Tata viendra pour l'hiver à Florence et elle persiste toujours à m'écrire: "Comme Tata restera", etc. C'est à cause de cela que les Prussiens se conduisent comme des Iroquois à Francfort[36*] [3].

29 июля

Скорпиона твоего я получил и посылаю его Лизе[4]... Скажи, что по повелению Мальвиды тотчас писал к Луй Блан'у и к MONOD[5].

[33*] "*Юная Ева*" (по-франц. произносится почти так же, как название города Женева). – *Ред.*

[34*] Милая Ольга,

Я был очень доволен твоим письмом – хотя орфография заставляет желать гораздо лучшего. Теперь ты, вероятно, получила последние выпуски "Истории человека из народа". Первые очень хороши, бедный ребенок и старая дама – которая взяла его в свой дом, мне очень нравятся[1]. Пишу тебе по-французски, полагая, что русского ты разобрать не сумеешь. Попробуем (*франц.*).

[35*] Как бы то ни было, необходимо научиться правильно писать на каком-нибудь языке. Подумай, ведь тебе 15 лет (*франц.*).

[36*] Скажи Мальвиде, что она плохо читает мои письма; *я два раза* писал, что Тата приедет на зиму во Флоренцию; она же упорно продолжает писать мне: "Поскольку Тата останется" и т.п. Именно поэтому-то пруссаки и ведут себя, словно ирокезы, во Франкфурте (*франц.*).

To miss Meysenbug[37*]

Et pourquoi ce monsieur Monod ne passe-t-il pas par Genève? Nous avons maintenant un projet de rediger la *Cloche* en français, il pourrait corriger, étant en France, nos traductions[6]. Qu'en pensez-vous, mademoiselle?

La lettre est déjà partie pour Havre[38*].

[1]Этот роман Эркмана-Шатриана выходил отдельными выпусками в Париже в 1865 г. Первые выпуски Герцен отправил О.А. 12 июля (см. XXVIII, 206).

[2]Тучкова-Огарева с дочерью Лизой жила в Лозанне с мая. Герцен часто навещал их – в последний раз между 9 и 18 июля (см. XXVIII, 206–208).

[3]17июня началась война Пруссии против Австрии; через месяц, 16 июля, пруссаки заняли "вольный город" Франкфурт-на-Майне, ставший на сторону Австрии. Командующий войсками генерал Фогель фон Фалькенштейн обложил его огромной контрибуцией и рядом других повинностей.

[4]Вероятно, рисунок Ольги.

[5]См. эти письма в "Лит. наследстве", т. 96, с. 348 и 356–357.

[6]"Колокол" издавался Герценом и Огаревым на французском языке в 1868 г. (в Женеве) под названием "Kolokol".

4

(Женева. Начало сентября (после 4) 1866 г.)[1]

Письмо твое Лиза читала и перечитывала. Всё, милая Ольга, хорошо, но слухи, что ты мало учишься, меня огорчают. Tu es maintenant dans un âge dans lequel il faut aussi penser à son avenir – sans travail tu ne seras capable de rien. Tu as lu maintenant dans l'histoire de Pierre Jean[2] – par quoi passe l'enfant pauvre pour devenir homme et ouvrier. Tous ces moyens te sont donnés par un heureux hasard – c'est un péché de les négliger.

Je ne pense pas venir avant le 1 octobre[3].

De quel chien écris-tu? Quant à Linda, je ne puis te donner de bonnes nouvelles – elle est toujours couverte de gales, et tous les petits chiens...

Le pauvre vieux Polonais qui la soigne a aussi attrapé la même maladie.

Adieu, je t'embrasse de tout mon coe ur[39*].

Твой A. Herzen

[1]Обоснование датировки см. в статье: С.Д. Л и щ и н е р. Новая публикация писем Герцена (*Известия ОЛЯ*, 1971, вып. 4, с. 336).

[2]Герой "Истории человека из народа" Эркмана-Шатриана – Жан-Пьер Клавель.

[3]Поездка Герцена во Флоренцию состоялась только в январе 1867 г.

37* Для мисс Мейзенбуг (*англ.*).

38* А почему же сей господин Моно не проезжает через Женеву? У нас теперь проект составлять "Колокол" по-французски; он мог бы править, находясь во Франции, наши переводы[6]. Что вы об этом думаете, мадемуазель?

Письмо уже отправлено в Гавр (*франц.*).

39* Ты теперь в возрасте, когда надлежит думать и о своем будущем, – не трудясь, ты окажешься ни к чему не способной.

Ты теперь прочла в истории Пьера-Жана[2], через что́ проходит неимущий ребенок, чтобы стать человеком и работником. Все возможности для этого тебе по счастливой случайности даны, пренебрегать ими – грех.

Не думаю, что приеду ранее 1 октября[3].

О какой ты собаке пишешь? Что касается Линды, то хороших новостей о ней сообщить тебе не могу – она постоянно покрыта паршой, и все щенки тоже...

Бедный старый поляк, который за ней ухаживает, также схватил эту болезнь.

Прощай, от всей души целую тебя (*франц.*).

5

13 juin 1867. Genève

Chère Olga,

J'ai reçu ta lettre et j'étais très content de lire toutes les choses que tu m'écris. Certainement je serais encore plus content si la lettre était en russe. Mais enfin il n'y a rien à faire et pour un certain temps je l'admets.

Dans le grand *Guide à Paris* il y a un petit article de moi[1] – j'ai dit en plaisantant à Lise que si l'on me paye – je partage l'argent entre elle et toi – de manière que tu auras 2/3 et elle 1/3. Maintenant on m'informe que je dois recevoir 100 fr. Cela fait 75 pour toi. Or, veux-tu l'argent ou me charger de t'acheter une petite montre en or? Il me faut une réponse pour le 25 juin – car je pars le 1 juillet.

Je ne pense pas que le "Punch" soit une lecture intéressante pour toi. C'est pour cela que je l'envoie à Tata directement[2]. J'ai écrit qu'elle t'envoie après lecture le dernier roman d'Erckmann "Le Blocus" – c'est très beau[3].

Il est grandement temps pour toi de lire – et relire les poésies de Schiller – tu entres dans l'âge dans lequel Schiller plaît le plus. Prends son *Tell*. Tu sais – *cara mia* – que tu as beaucoup perdu de temps – gagne-le.

Quant à Venise nous en parlerons encore. *Komme Zeit – Komme Rat*[40*].

Целую тебя и прощай.

Огарева здоровье с начала лета лучше.

Тхорж⟨евский⟩ тебе кланяется, у него волосы еще не выросли. Мойся в холодной воде – без прибавки теплой...

На обороте:

Ольге[4]

[1]Речь идет о статье "Русская колония" в объемистом двухтомном сборнике "Paris-Guide par les principaux écrivains et artistes de la France. 2-e partie (La vie). P., 1867, p. 1098–1101, за подписью: *Iscander* (см. XIX, 302–311).

[2]"*Punch, or the London Charivari*" – лондонский иллюстрированный сатирический журнал, Герцен отправил его Тате в Ниццу (она приехала туда из Флоренции к Тучковой-Огаревой и Лизе 23 мая).

[3]Роман Эркмана-Шатриана "Blocus" вышел в свет в 1867 г. Герцен послал его старшей дочери в Ниццу в начале июня. Упоминаемое письмо к ней остается неизвестным.

[4]Письмо это было отправлено вместе с письмом к Мейзенбуг (см. XXIX, 121–122).

40*

13 июня 1867 г. Женева

Милая Ольга,

Я получил твое письмо и очень рад был прочесть все, что ты мне пишешь. Конечно, я был бы еще больше рад, если бы письмо было на русском языке. Но в конце концов ничего не поделаешь, и на какое-то время я допускаю это.

В большом "Путеводителе по Парижу" есть моя статейка[1] – как-то в шутку я сказал Лизе, что если мне за нее заплатят, то деньги эти я разделю между нею и тобой, – так, что ты получишь 2/3, а она 1/3. Теперь меня извещают, что мне полагается 100 фр. Для тебя из них – 75. Так вот, хочешь ты получить деньгами или же поручаешь мне купить для тебя золотые часики? Ответ нужен мне к 25 июня – ибо 1 июля я уезжаю.

Не думаю, чтобы "Punch" был для тебя интересным чтением. Поэтому посылаю его прямо Тате[2]. Я написал, чтоб она отправила тебе по прочтении последний роман Эркмана "Блокада" – это прекрасная вещь[3].

Для тебя давно уже настала пора читать и перечитывать поэтические произведения Шиллера – ты вступаешь в тот возраст, когда Шиллер особенно нравится. Возьми его "Телля". Ты ведь знаешь – cara mia, – что потеряла много времени – нагони же потерянное.

Что касается Венеции, то об этом мы еще поговорим. "Komme Zeit, comme Rat" ⟨"Поживем – увидим" (*нем.*)⟩ (*франц.*).

6

⟨Genève.⟩ 19 juin 1867

Милая Ольга,

J'ai parlé de toi dans le sens dans lequel tu m'écris de toi, seulement en d'autres termes. Le temps devait apporter un côté plus sérieux dans ta vie; il me semble que tu *te fixes* un peu. Mais de grâce ne pense pas que tu sois au bout de la tâche. Ce qui manquait à tout ce que tu faisais, c'est la persévérance et la discipline – il faut donc tout refaire de la base. Ce que le trop d'amour pour toi de la part de Mal⟨vida⟩ a toléré – ne le tolère plus toi-même.

Je ne suis pas tout à fait content de ton rapport sur la lecture. Tâche donc de lire Schiller, même Goethe, même Walter Scott; *l'Urvasia* et ces poèmes antédiluviens[1] sont très intéressants, mais n'humanisent pas – Schiller est le véritable poète de ton âge.

Adieu. La montre sera bien conditionnée.

Ma una piccola osservazione. Ne surcharge pas tes lettres de trop de traîts d'esprit. Prends l'exemple de Malvida – et non de moi. Tâche d'écrire avec simplicité, avec sentiment, avec clarté. L'esprit et la poésie viendront de soi-même.

Je t'embrasse. Adieu.

Thorz⟨evski⟩ te salue. Aga beaucoup. Sa santé depuis le commencement de l'été va assez bien[41*].

Линда живет компаньонкой у одной женевской барыни – горбатый господин теперь поехал к сыну. Детей у нее видимо-невидимо. Все отвратительные.

[1]Герцен имеет в виду поэму Калидасы "Мужеством обретенная Урваши" (IV–V в. – ср. "Aphorixmata...", XX, 115) и древнеиндийскую эпическую поэму "Махабхарата". В этот же день и 2 июля он в письмах к Мейзенбуг возражал против чтения этой поэмы Ольгой (см. XXIX, 130, 139; ср. 146).

7

2 juillet 1867. Mattenhoff. Bern

Chère Olga,

Vous avez si bien arrangé votre fuite à Venise que c'est venu comme un coup de canon, Malvida – la *unruhige*. Moi je pense que l'air doit être atroce comme le fromage de Limbourg – à Venise. Mais comme vous y êtes – il faut bien étudier la ville. C'est peut-être la ville la plus surprenante dans le monde – et que de richesse⟨s⟩.

J'ai attendu ta réponse[1] – mais comme elle ne venait pas – j'ai acheté une petite montre. Ce n'est pas une savonnette – mais c'est d'un des premiers horlogers de Genève, Goloy-Lardèche – et avec son nom. Ton nom sera gravé – et autour une guirlande en myosotis (*Vergiss mein nicht*). La montre est belle, petite et toute neuve.

Ecris-moi de Venise – à Nice, le 10 j'y serai. Ecris tout ce qui te vient par la tête. Je ne veux pas croire que toi – intelligente – ne saches pas comprendre que si je fais aussi des observations, c'est que je veux épurer le goût[2]. *Ich bin der alte Regulator* de vous tous.

[41*] Я сказал о тебе в том смысле, в каком ты мне сама о себе пишешь, но только в других выражениях. Время должно было внести в твою жизнь более серьезную сторону; мне кажется, что ты несколько *застываешь*. Но, бога ради, не считай, что ты уже достигла завершения задачи. Чего недоставало во всем, что ты делала, так это упорства и дисциплины – следовательно, все до основания надо перестроить. Вследствие переизбытка любви к тебе Маль⟨вида⟩ проявляла терпимость, но сама в себе ты этого не терпи.

Я не совсем доволен твоим отчетом о чтении. Попытайся же читать Шиллера, даже Гете, даже Вальтера Скотта; "Urvasia" и эти допотопные поэмы[1] очень интересны, но гуманней они не делают: Шиллер – вот истинный поэт твоего возраста.

Прощай. Часы будут красиво отделаны.

Ma una piccola osservazione ⟨Но небольшое замечание⟩ (*итал.*). Не перегружай свои письма излишними остротами. Бери пример с Мальвиды – а не с меня. Старайся писать просто, с чувством, ясно. Остроумие и поэзия явятся сами собой.

Целую тебя. Прощай.

Тхорж⟨евский⟩ тебя приветствует, Ага же – особенно горячо. Здоровье его с начала лета в довольно хорошем состоянии (*франц.*).



ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА ГЕРЦЕНОВ

Рисунок Таты Герцен (?) (перо). (Борнемут, лето 1864 г.)

Изображены: Ольга Герцен, М. Мейзенбуг, Н.А. Герцен, Герцен, неустановленное лицо ("О.")

Справа надписи рукой Н.А. Герцен: "O(lga). I. Linda, Linda" ("О(льга). I. Линда, Линда"); "M(eysenbug). 2. Waren wir doch an Rom! ("М(ейзенбуг). 2. Были же мы в Риме!"); "T(ata). 3. Wann wird Катя kommen?" ("Т(ата). 3. Когда приедет Катя?"); "P(apa). 4. Нет – Вы поймите то (что Катков подлец мы все знаем) но...; О. 5. Конечно-с..."

Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по репродукции в книге: "Русские пропилеи". Т. IV. Москва, 1917

"...мы провели лето (1864 г.) у моря в Борнемаусе. Туда приехала Мальвида Мейзенбуг с дочерьми Герцена. Тут в последний раз в Англии мы собрались все" (Н.А. Тучкова-Огарева. Воспоминания)

Or j'attends une description de Venise.

Je suis chez m-me Reichel, elle a vieilli et maigri – mais elle vous aime comme par le passé. Reichel est le même comme il a été en 1847–1857 – l'aîné de leurs enfants a 14 ans – les deux petits ne sont pas mal.

Mame Schiff est ici – j'irai la voir aujourd'hui.

Ton ci-devant maître Kelsieff – qui a aussi contribué à ce que tu ne saches pas le russe – est allé lui-même se livrer à la police russe[3]. Il est allé à la frontière – et a dit: "Je suis un tel, arrêtez-moi..." Est-ce folie, désespoir ou espoir? – nous verrons.

6 heures

– J'ai vu m-me Schiff et la Beba. *All right.*

Перевод:

2 июля 1867 г. Mattenhoff. Берн

Милая Ольга,

Вы так хорошо устроили свое бегство в Венецию, что это прозвучало, как пушечный выстрел, Мальвида – unruhige[42*]. Я же полагаю, что воздух в Венеции, должно быть, отвратителен, как лимбургский сыр. Но раз вы уже там – надо хорошенько изучить город. Пожалуй, это поразительнейший город в мире, – а сколько сокровищ.

Я ожидал твоего ответа[1] – но так как он не приходил, то купил часики. Они без открыва-

[42*] непоседа (*нем.*).

ющейся крышки – но зато работы одного из первых женевских часовщиков, Голуа-Лардеша – и с обозначением его имени. Твое же имя будет выгравировано – а вокруг гирлянда из незабудок (Vergiss mein nicht[43*]). Часы красивые, крошечные и совсем новые.

Напиши мне из Венеции – в Ниццу, 10-го я там буду. Пиши все, что тебе приходит в голову. Не хочу верить, что ты – такая умница – не в силах понять, что если я и делаю замечания, то потому лишь, что хочу *очистить* вкус[2]. Ich bin der alte Regulator[44*] всех вас.

Итак, жду описания Венеции.

Я у г-жи Рейхель, она постарела и похудела – но она любит вас, как прежде. Рейхель все такой же, каким был в 1847–1857 годах – старшему из их детей 14 лет – двое малышей недурны.

Mame[45*] Шифф здесь – сегодня пойду с ней повидаться.

Твой бывший учитель Кельсиев – который также содействовал тому, что ты не знаешь русского языка, – сам отправился сдаться русской полиции[3]. Он подошел к границе – и сказал: "Я такой-то, арестуйте меня"... Безумие ли это, отчаянье или же надежда? – увидим.

6 часов

– Я видел г-жу Шифф и Бебу. All right[46*].

[1]Герцен ждал ответа на п. 5.

[2]См. п. 6.

[3]Эмигрант В.И. Кельсиев учил Ольгу русскому языку, по-видимому, зимой 1859–1860 г. 19 мая 1867 г. после длительных скитаний по Австрии, Венгрии, Галиции он явился на Скулянскую таможню и предал себя в руки русских пограничных властей. После "прощения" сотрудничал в "Русском вестнике" и других реакционных органах печати.

8

⟨Ницца. Между 15 и 17 июля 1867 г.⟩[1]

Chrolga,

Ta petite montre est avec moi, Tata la trouve très jolie, Lise – parfaite. Elle marche sans s'en aller – et sans[47*] s'arrêter.

Tu sais que j'ai été chez m-me Reichel, à Bern, j'y voyais très souvent Vogt Adolphe. Son enfant cadet Max m'a beaucoup plu. Ernst est maladif et Alex un peu maussade. Mais ce que m'a beaucoup *plus plu* – c'est leur atmosphère pure, atmosphère de travail, leur noble pauvreté, on se rafraîchit à voir une existence pareille. Reichel est le même, il n'a pas vieilli, m-me Reichel beaucoup. Dans ce milieu – la famille du Lion est comme perdue. Elle s'est ruinée et végète à Bern – sans occupations dans une fainéantise parfaite. Le contraste est immense, m-me Lion est très bonne, lui n'est pas mauvais[2], mais se traînant parmi ces travailleurs rudes et sérieux – il fait de la pitié. *Si... si, cara mia*, ce n'est que le travail qui donne la santé de l'âme – le travail persistant... vigoureux.

Nous avons été à Monaco – c'est très beau – mais aussi très chaud.

Je t'embrasse – porte-toi bien.

Ton papa A l e x

Dis à Malvida que Fanny Levald a été beaucoup de fois chez moi – avec Star.

П е р е в о д:

Дрольга[48*],

Твои часики при мне, Тата находит их прехорошенькими, Лиза – превосходными. Они идут, не уходя – и не останавливаясь.

Ты знаешь, что я был у г-жи Рейхель, в Берне, я очень часто видал там Фогта Адольфа. Ее младший ребенок Макс мне очень понравился. Эрнест болезнен, а Алекс несколько угрюм.

[43*] Не забывай меня (*нем.*).

[44*] Я старый регулировщик (*нем.*).

[45*] Мамаша (*нем.*).

[46*] Все в порядке (*англ.*).

[47*] В автографе: s'en. – *Ред.*

[48*] Шутливое сокращение и соединение двух слов в одно: "Дорогая Ольга". – *Ред.*

Но что мне гораздо больше[49*] понравилось – это их чистая атмосфера, атмосфера труда, их благородная бедность; освежаешься, видя подобный образ жизни. Рейхель все тот же, он не постарел, г-жа Рейхель – очень. В этой среде – семейство Лиона – словно потерянное. Оно разорено и прозябает в Берне – без занятий, в полнейшей праздности. Контраст разительный, г-жа Лион очень добра, он – человек неплохой[2], но, когда видишь его бесцельно слоняющимся среди этих суровых и серьезных тружеников, испытываешь к нему жалость. Si... si, cara mia[50*], только труд дает душевное здоровье – труд упорный... бодрый.

Мы были в Монако – там чрезвычайно красиво – но и чрезвычайно жарко.

Целую тебя – будь здорова.

Твой папа А л е к с

Скажи Мальвиде, что Фанни Левальд много раз бывала у меня – со Штаром.

[1]Основания датировки см. в *ЛЖГ* IV, 436.

[2]Семейство тверского помещика С.М. Лиона. С *О.И. Лион*, дочерью владимирского губернатора И.Э. Куруты, Герцен был знаком со времени владимирской ссылки 1838 г.

9

5 août 1867. Nice
7, Promenade des Anglais

Chère Olga,

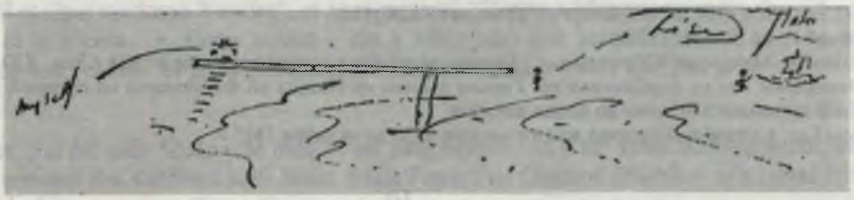
J'ai été très content de ta dernière lettre[1]. Moi je suis de ton avis que les mémoires sont beaucoup plus intéressants que les romans. Je t'ai recommandé Walter Scott – comme étude historique, on s'habitue d'une manière plus vivante aux mœurs des temps passés. Tu peux lire encore *Cinq-Mars*[2]... *I Promessi sposi*...[3] On trouve cela dans toutes les bibliothèques.

Avant de lire ta lettre, j'ai voulu envoyer pour vous *100 frs.* pour vous mettre un peu plus à flot. Je ferai l'essai de les envoyer – mais comment peut-on arranger les choses d'une manière si drôle en ne disant pas précisement quand vous partez. Eh bien, si l'argent vient après?..

Vingt-cinq frs. sont pour toi et les 75 pour gondole, brioche, fruits, huîtres.

Nous vivons très bien ici – Tata est devenue première nageuse. Lise nage très bien (tu dois aussi nécessairement apprendre).

Elle peut sauter d'une planche



toute seule et cela au large – c'est-à-dire sans fond. Elle le fait avec beaucoup de courage – une fois tombée avec la tête, elle nage autour toute seule. Il y a seulement un baigneur – à distance. Tata saute d'un bateau.

Le 15 sept⟨embre⟩ nous allons à Gênes reconduire Tata, et nous resterons là une dizaine de jours – toute la compagnie[4].

Adieu. Ta montre va très bien.

Je t'embrasse.

Ecris immédiatement si vous avez reçu l'argent.

Nous demeurons à deux pas de la maison où tu es née en 1850[5] – est-ce que tu te souviens?

[49*] В подлиннике – омоним: два одинаково звучащих, но разных по значению слова: plus – plu. – *Ред.*

[50*] Да... да, дорогая моя (*итал.*).

Перевод:

5 августа 1867 г. Ницца
7, Promenade des Anglais

Милая Ольга,

Я был очень доволен твоим последним письмом[1]. Да, я держусь того же мнения, что и ты: мемуары гораздо интересней, чем романы. Я рекомендовал тебе Вальтера Скотта – как исторический очерк, – таким образом живее свыкаешься с нравами былых времен. Ты можешь еще прочесть "Сен-Мара"[2], "I promessi sposi"[3]... Это найдется во всех библиотеках.

Еще до прочтения твоего письма я хотел послать вам *100 фр.*, чтобы несколько сдвинуть вас с мели. Попытаюсь их вам отправить – но как же устраивать свои дела таким диким образом, не давая точно знать, когда вы уезжаете. Ну, а если деньги придут позже?..

Двадцать пять фр. – для тебя и 75 – на гондолу, бриоши, фрукты, устрицы.

Мы живем здесь очень хорошо – Тата стала первым пловцом. Лиза плавает прекрасно (надо бы и тебе непременно научиться).

Она умеет прыгать с доски.



myself[51*] _____ Лиза Тата

совсем одна – и это в открытом море – то есть где нельзя коснуться дна. Делает она это с большой смелостью – погружаясь с головой, она плавает кругом совершенно одна. Только купальщик присутствует на некотором расстоянии. Тата прыгает с лодки.

15 сент(ября) мы едем в Геную провожать Тату и останемся там дней десять – вся компания[4].

Прощай. Твои часы идут прекрасно.

Целую тебя.

Напиши тотчас же, получили ли вы деньги.

Мы живем в двух шагах от дома, где ты родилась в 1850 году[5] – помнишь ли ты?

[1] См. письмо к О.А. и Мейзенбуг от 28 июля (XXIX, 156).

[2] Роман А. де Виньи (1826).

[3] Роман А. Мандзони "Обрученные". Герцен читал его в подлиннике еще в 1838 г. (см. XXI, 289).

[4] Намерение это не осуществилось. Герцен выехал из Ниццы во Флоренцию со старшей дочерью 17 ноября и оставался в Италии до конца декабря.

[5] Дом Сю, в котором Герцены жили с августа 1850 до октября 1851 г.

10

(Nice.) 7 octob(re) 1867

Chère Olga,

Oui – ne parlons pas des désavantages. Si tu penses que Malvida peut bien supporter l'hiver – prie-la de venir dans une dizaine de jours ou deux semaines. Il faut tout organiser ici – Lisa t'attend avec frénésie.

Il faut prendre, et cela nécessairement, le bateau de la Messagerie impériale (et non de la Compagnie italienne).

Au reste, si vous voulez aller par la Suisse (Splügen[1]) – c'est très facile.

Vous pouvez même prendre un coupé de diligence de Gênes à Monaco.

Les choses lourdes – livres etc. – doivent être envoyées par petite vitesse. – Alex(andre) peut expédier après...

Ne venez pas sans écrire – et sans une nouvelle lettre de moi.

[51*] я (*англ.*).

Je t'embrasse.

Encore une fois – chère Olga, si la santé de Malvida l'exige, reste jusqu'au printemps – je le permets de tout mon cœur[2].

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 7 октяб⟨ря⟩ 1867 г.

Милая Ольга,

Да – не будем говорить о неприятных обстоятельствах. Если ты полагаешь, что Мальвида может хорошо перенести зиму – попроси ее приехать дней через десять или недели через две. Надо все здесь устроить – Лиза исступленно ждет тебя.

Следует, и непременно, ехать пароходом Императорской почтово-пассажирской конторы (а не Итальянской компании).

Впрочем, если вы захотите ехать через Швейцарию (Шплюген[1]), то это очень легко.

Можете даже взять купе в дилижансе Генуя–Монако.

Тяжелые вещи – книги и пр. – должны быть отправлены малой скоростью. – Алекс⟨андр⟩ может выслать их позже...

Не выезжайте, не написав, и без нового письма от меня.

Целую тебя.

Еще раз – милая Ольга, если здоровье Мальвиды того требует, оставайся до весны – охотно разрешаю это[2].

[1] Перевал в Альпах, между городом Куар и озером Комо.

[2] Поездка О.А. и Мейзенбуг в Ниццу осенью 1867 г. не состоялась.

11

19 décem⟨bre⟩ 1867. Milano

Chère Olga,

J'ai été très content de recevoir ta petite lettre – et, comme tu vois, je me mets immédiatement à te répondre. Demain je pars pour Turin et probablement dimanche j'irai de là à Gênes. Hier et aujourd'hui – brouillard, pluie à verse, deux fois à vingt-quatre heures, une boue dans laquelle on s'enfonce. Je reste à l hôtel – et je m'ennuie d'autant plus que le travail ne va pas. Dès midi, je commence à manger[52*]. Вот тебе и Милан, je vois pourquoi Barbarossa n'aimait pas cette ville[1]. Et quel chien de climat en Italie, voilà une réputation usurpée. Malvida me dira: "Venez au mois de mai – et nous irons à Fiesole, à Poggio, à San-Miniato[2] et chez madame Vautier", et je répondrai: "Venez à Moscou au mois de juin – et nous irons à ci et à cela...». Entre autres – dis à Malv⟨ida⟩ que jusqu'à ce jour et cette heure je mange de ses "cakes" et je ne peux encore finir la *mezzocogniac* que j'ai pris.

20. Vendredi

Hier, j'ai été *alla Scala* – le théâtre est magnifique, on y est assis humainement, sans être pressés comme des sardines sans huile. Mais l'opéra de Gounod (*Roméo*) m'a laissé froid et le ballet m'a fait transpirer d'ennui[3].

Demain, j'irai au théâtre Scribe à Turin et dimanche pour farce j'irai au théâtre de Charles Albert à Gênes. Voilà ce qui s'appelle laisser un jeune homme sans surveillance.

On pense toujours qu'on ne travaille pas en Italie parce qu'il fait chaud – du tout, c'est parce qu'il fait froid dans les chambres. La pensée comme le bon vin exige une température élevée pour épanouir le bouquet (Alex⟨andre⟩ peut corroborer cela)[53*].

52*

19 дек⟨абря⟩ 1867 г. Милан

Милая Ольга,

Я очень рад был получить твое письмецо – и, как видишь, тотчас же принимаюсь отвечать тебе. Завтра еду я в Турин и, по-видимому, в воскресенье двинусь оттуда в Геную. Вчера и сегодня – туман, проливной дождь, два раза в сутки, непролазная грязь. Остаюсь в гостинице – и тем более скучаю, что работа не подвигается. Едва настает полдень, как принимаюсь за еду (*франц.*).

53* Я вижу, почему Барбаросса не любил этот город[1]. И что за собачий климат в Италии, вот поистине незаслуженная репутация. Мальвида скажет мне: "Приезжайте в мае месяце – и мы отправимся в Фьезоле, в Поджо, в Сан-Миниато[2] и к госпоже Вотье", а я отвечу: "Приезжайте в Москву в июне месяце – и мы отправимся туда-то и туда-то...". Кстати – скажи Мальв⟨иде⟩, что до нынешнего дня и настоящего часа я ем



ОЛЬГА ГЕРЦЕН

Фотография. Флоренция, ⟨1872–1873⟩

Из книги: Malvida von Meysenbug. Aus den Memorien einer Idealistin. Berlin, 1963

Adieu.

Спроси у Левье рецепт его от кашля и пришли мне; вероятно, мне следует приемы гораздо больше.

Записки Орсини[4] я вам пришлю, они пристрастны – но много любопытного.

[1] Германский император Фридрих I Барбаросса разрушил Милан в 1162 г. – Герцен остановился в Милане, возвращаясь в Ниццу из Флоренции, где гостил у старших детей с 21 ноября по 15 декабря.

[2] Окрестности Флоренции, известные своими историческими и архитектурными достопримечательностями.

[3] "*Ромео и Джульетта*" – опера Ш. Гуно (1864; либретто Т. Барьери и М. Карре). Впервые в театре La Scala поставлена 14 декабря; главные партии исполняли Р. Беллини, Тиберини, Коллини. В тот же вечер в La Scala Герцен смотрел балет "Леонильда" П. Тальони (музыка П. Джорца), при участии А. Феррарис и Е. Бозе, поставленный 30 ноября.

[4] Мемуары Орсини, опубликованные впервые в 1857 г. по-итальянски и в английской переводе.

12

⟨Nice.⟩ 18 janv⟨ier 1868⟩, le soir. Samedi[1]

Chère Olga,

A peine j'ai envoyé une lettre[2] que nous avons reçu une autre. Comme tu désires vite une réponse, tu l'auras. Je n'ai rien contre ton bon mouvement de cœur – mais tout contre l'exécution. Dis à Linda que c'est impossible et que je n'entre jamais dans aucune affaire pareille. Panofka n'est pas aussi pauvre que cela paraît – et moi, chère Olga, j'ai d'autres obligations. Or, refus catégorique et absolu[3].

Ce sont des choses bien plus compliquées que tu ne le penses – laissons donc tout cela de côté.

Je suis très content de tes lettres – mais il y a beaucoup trop de fautes. Prie toi-même Dom⟨engé⟩ d'appuyer un peu plus sur l'orthographe[4]. Laissez un peu reposer la Physique – et reprenez la grammaire. Dis cela aussi à Malvida. Tu es raisonnable toi-même pour ne pas voir que cela est tout à fait indispensable.

A propos – affranchis toujours tes lettres – on a payé pour ta dernière 16 s⟨ous⟩, juste le double.

Un de ces jours vous verrez m-selle Volodimiroff.

Embrasse Tata – je lui écrirai dans deux, trois jours. Est-ce qu'elle a reçu le *Cromwell*[5]?

ее "cakes" ("пирожки" (*англ.*)) и не могу еще прикончить mezzocognac ⟨полбутылки коньяка (*итал.*)⟩, взятую с собой.

20-го. Пятница

Вчера я был *alla Scala* – театр великолепен, сидят там по-людски, а не в сдавленном виде, словно сардины без масла. Но опера Гуно ("Ромео") оставила меня холодным, а балет нагнал на меня скуку[3].

Завтра я пойду в театр Скриба в Турине, а в воскресенье шутки ради пойду в театр Карла Альберта в Генуе. Вот что называется оставлять молодого человека без присмотра.

Обычно думают, будто в Италии не работается вследствие жары – ничуть, не работают потому, что в комнатах холодно. Мысль, как и доброе вино, требует высокой температуры, дабы распустился букет (Алекс⟨андр⟩ может подтвердить это).

Прощай (*франц.*).

Le livre que tu as envoyé à Lise avec les gravures très belles n'a au fond que ces gravures. Le texte est ennuyeux[6].

Ecris-moi ce que vous lisez, ce que tu lis?

Addio.

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 18 янв⟨аря 1868 г.⟩, вечер. Суббота[1]

Милая Ольга,

Едва отослал я одно письмо[2], как мы получили другое. Раз ты желаешь быстрого ответа, то получишь его. Ничего не имею против твоего доброго душевного порыва – но всё против его исполнения. Скажи Линде, что это невозможно и что я никогда в дела подобного рода не вхожу. Панофка также не столь беден, как кажется, – я же, милая Ольга, имею другие обязательства. Так вот, отказ решительный и безусловный[3].

Дела эти гораздо сложнее, чем ты полагаешь, – оставим же все это без внимания.

Я очень доволен твоими письмами – но ошибок слишком много. Попроси сама Дом⟨анже⟩ несколько больше приналечь на орфографию[4]. Дайте физике чуточку отдохнуть – и вновь примитесь за грамматику. Скажи об этом и Мальвиде. Ты сама так рассудительна, что не можешь не видеть, что это совершенно необходимо.

Кстати – всегда франкируй свои письма – за твое последнее уплатили *16 с⟨у⟩*, ровно вдвое дороже.

В один из ближайших дней вы увидите м⟨адему⟩зель Володимирову.

Поцелуй Тату – я напишу ей через два, три дня. Получила ли она "Кромвеля"?[5]

В книге с прекрасными гравюрами, которую ты послала Лизе, в сущности, нет ничего, кроме этих гравюр. Текст скучен[6].

Напиши мне, что́ вы читаете, что́ читаешь ты?

Addio.

[1] Год устанавливается по упоминанию книги о Кромвеле: Герцен послал ее Тате 16 января 1868 г. (см. XXIX, 256, 259, 277, 300). 18 января в 1868 г. приходилось на субботу.

[2] Это письмо Герцена неизвестно.

[3] Можно предположить, что в не дошедшем до нас письме О.А. попросила отца дать взаймы ее учителю пения Г. Панофке более или менее крупную денежную сумму.

[4] Французский эмигрант Ж. Доманже давал О.А. уроки французского языка, латыни, греческого, естественных наук и истории.

[5] Вероятно, труд Дарго: J. M. D a r g a u d. Histoire d'Oliver Cromwell. P., 1867.

[6] О какой книге идет речь, не установлено.

13

О.А. и Н.А. Герцен

⟨Женева. 6 апреля 1868 г.⟩

Chère Olga,

Je te remercie pour tes lignes[1] – et je suis très content que tu fêteras mon jour de naissance en chantant[2]... mais il faudrait le fêter aussi en dansant. J'ai appris, à mon étonnement indicible, d'Alex⟨andre⟩ que tu ne danses pas du tout. C'est mal. La vie civilisée ne tolère pas ces excentricités et les punit implacablement par le ridicule. La danse, comme la fête, comme les parures, ne peuvent jamais primer la vie, mais elles ont leur place pendant la jeunesse – et leur poésie.

Or, je t'en prie de tâcher à apprendre un peu la danse – tu pourras le faire avec Teres⟨ina⟩.

Et encore deux prières et deux conseils. Tâche donc – chère Olga – d'écrire un peu plus correctement et–cela très sérieusement – finir la mauvaise plaisanterie avec la clef du piano. C'est mauvais goût et accaparisme d'autant plus que c'est injuste. Si même le piano était exclusivement pour toi – cela serait manque de grâce. Mais le piano n'est pas à toi, mais à vous. Sans faire de phrases – tu arrangeras cette affaire et m'écriras.

Je pars après-demain le matin, je serai le 9 à Paris et probablement le 13 à Nice.

Adieu[54*].

A Tata[55*]

Твое письмо пришло сегодня[3]. Ты напрасно защищаешься – в знакомствах – я никогда не был против. Я говорил о нелепом société à part[56*] – с Волод⟨имировой⟩ и Утиным[4]. Жить надобно на людях. Что же ты думаешь о конце мая? Крайности нет – Огар⟨ев⟩ здоровеет, но если хочется, так тому и быть[5].

[1] Послано с письмом к Мейзенбуг в ответ на поздравление ее и дочерей Герцена с его 56-летием (см. XXIX, 304–305).

[2] Мейзенбуг в это время всячески препятствовала Тате играть на рояле, ссылаясь на то, что нуждается в тишине, и запирала инструмент. См. об этом конфликте в кн. 2-й наст. тома в письмах Таты к Герцену.

[3] Письмо Таты к Герцену от 1–2 апреля (там же).

[4] Ср. XXIX, 278, 278–279.

[5] Отклик на письмо Таты от 27–29 марта, в котором она выражала желание навестить больного Огарева в Женеве (см. публикацию этого письма в кн. 2-й наст. тома).

14

⟨Nice.⟩ 2 mai⟨1868⟩[1]. Samedi

Chère Olga,

Tu avais un an et six mois lorsqu⟨e⟩, il y ⟨a⟩ *seize ans*, le 2 mai, tu as perdu ta mère. Tu ne l'as presque pas connue – et c'est une lacune irréparable sous tous les rapports. L'enfant éclôt sous les yeux de la mère... comme la fleur au soleil. Au bout du compte, c'est la même chair et la même esprit. Après vient le développement, *die Selbständigkeit*... Tu es assez grande maintenant pour lire deux, trois chapitres du Былое и думы – sur la jeunesse étrange et triste de ta mère[2], pour comprendre de quel *carat* était son âme et son intelligence. Prends le livre et lis. Ecris-moi ce qui te frappera – sans trop penser, naïvement et simplement. (Je le dis parce que souvent ton style est maniéré – cela appartient un peu à la jeunesse, mais il ne faut pas s'habituer.)

Tu ne m'as pas encore répondu – ni Malvida – *sur la danse*, je m'en vais te dire pourquoi j'insiste. C'est une originalité et une fanfaronnade – de ne pas savoir danser, de ne pas savoir une chose qu'on peut apprendre en un mois. Or, l'originalité va jusqu'à un certain point à des talents très grands – elle forme un côté saillant *d'un amour-propre qu'on pardonne* – pour le talent et l'œuvre. Sans talent reconnu, extraordinaire cela produit un ridicule, parce que c'est banal et prétentieux – L'homme bien élevé comme la femme doivent s'effacer et ne pas briller par des tics, des caprices... Le monde est inexorable pour les polissonneries – *et il a raison*.

Je suis sûr, car je connais à fond les opinions de Malvida – qu'elle me comprend très bien et qu'elle est de mon avis.

54*

Милая Ольга,

Благодарю тебя за твои строки[1] – и очень рад, что ты отпразднуешь мой день рождения пением[2]; но его следовало бы отпраздновать и танцуя. Я узнал, к несказанному своему удивлению, от Александра, что ты совсем не танцуешь. Это плохо. Цивилизованная жизнь не терпит этих эксцентричностей и безжалостно карает их, делая смешным. Танец же, как и праздник, как наряды, никогда не может занимать главенствующего места в жизни, но в молодости у них свое место – и своя поэзия.

Так вот, прошу тебя – постарайся научиться немножко танцевать – ты можешь делать это вместе с Терез⟨иной⟩.

И еще две просьбы и два совета. Постарайся же – милая Ольга – писать чуточку правильнее и – что очень важно – прекратить скверную шутку с ключом от фортепьяно. Это дурной тон и захватничество, тем более, что в этом есть и несправедливость. Даже если бы фортепьяно предназначалось исключительно для тебя, то и тогда в этом сказывалось бы отсутствие учтивости. Но фортепьяно не для тебя, а для вас. Без лишних слов – ты уладишь это дело и напишешь мне.

Уезжаю я послезавтра утром, 9-го буду в Париже и 13-го, вероятно, в Ницце. Прощай (*франц.*).

55* Тате (*франц.*).

56* пребывании исключительно в обществе (*франц.*).



НИЦЦА

Гравюра неизвестного художника, 1850-е годы

Из книги: Edmond Roche. L'Italie de nos jours. Paris, 1860

Quant à l'opinion d'Alexandre – suis-la dans la physiologie. – Ogareff a fait justice de son réalisme – par rapport à la découverte "qu'on ne danse plus dans notre temps".

Je t'embrasse.

Ecris quelques lignes à Lise – elle ⟨est⟩ toujours si contente lorsqu'elle a une lettre.

Serre la main à Malvida – pense toujours que c'est elle qui par son amour pour toi t'a remplacé ta mère.

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 2 мая ⟨1868 г.⟩. Суббота[1]

Милая Ольга,

Тебе было полтора года, когда, *шестнадцать лет тому назад*, 2 мая, ты потеряла свою мать. Ты ее почти не знала – и это невосполнимый во всех отношениях пробел. Дитя расцветает под взорами матери... словно цветок на солнце. В сущности, это одна и та же плоть и один и тот же дух. Позднее приходит развитие, die Selbstständigkeit[57*]... Ты уже достаточно большая теперь, чтобы прочесть две-три главы "Былое и думы" о странной и печальной юности твоей матери[2], чтобы понять, какого *карата* были ее душа и ее ум. Возьми ж эту книгу и читай. Напиши мне, что́ поразит тебя – не предаваясь излишним раздумьям, простодушно и бесхитростно. (Говорю это потому, что стиль твой нередко бывает манерен – в какой-то степени это свойственно юности, но привыкать к этому не надо.)

Ты еще мне не ответила – так же, как Мальвида, – *насчет танцев*, и я сейчас объясню тебе, почему я настаиваю. Это оригинальничанье и фанфаронство – не уметь танцевать, не уметь делать то, чему можно научиться за месяц. Так вот, оригинальничанье до известной степени идет очень большим талантам – в нем проявляется рельефная сторона *самолюбия, которое прощается* – за талант и творчество. Без признанного, необыкновенного таланта это производит комичное впечатление, поскольку это по́шло и претенциозно – хорошо воспитан-

[57*] самостоятельность (*нем.*).

ный мужчина, как и женщина, должны держаться в тени, а не блистать своими ужимками, капризами... Свет безжалостен к распущенности – *и он прав*.

Я уверен, ибо досконально знаю убеждения Мальвиды, – что она меня прекрасно понимает и что она придерживается моего мнения.

Что же до воззрения Александра – то следуй ему только в области физиологии. – Огарев отдал должное его реализму – относительно открытия, что "в наше время уже больше не танцуют".

Целую тебя.

Напиши несколько строк Лизе – она всегда так довольна, когда получает письмо.

Пожми руку Мальвиде – помни постоянно, что именно она своею любовью к тебе заменила тебе твою мать.

[1] Год установлен в соответствии с сообщением, что со времени смерти Н.А. Герцен 2 мая 1852 г. прошло 16 лет.

[2] "Былое и думы", ч. III, гл. XX, XXII–XXIII. См. п. 23.

15

3 octob⟨re 1868⟩. Vichy[1]. Hôtel d'Amérique

Милая Ольга,

Тата позволяет писать немного – а потому пишу сначала по-русски. Очень рад, что ты приехала покойно – я хорошо лечусь и, думаю, к 20 октября кончу курс.

Alexandre nous a écrit deux fois – j'attends une lettre de toi – mais *il faut affranchir tes lettres* – la dernière lettre de toi a coûté un franc et demi.

J'attendrai avec impatience le printemps, qui doit enfin nous réunir pour quelques mois – pendant ce temps tâche de te rendre maître passé de la langue française et de l'arithmétique. Ensuite profite de l'amitié de Schiff et aussi de Levier. Demande des livres élémentaires sur les sciences naturelles, habitue-toi à la lecture concentrée.

Félicite m-me Schiff avec son Mario... qu'il se repose sur les fleurs et non sur les ruines de Carthage, qu'il chante comme Mario de Grisi et soit républicain comme Mario de miss White[58*]. Qu'il sache que les hommes ne sont en général que des Mario-nettes, etc., etc., etc.[59*] [2]

Целую тебя много.

[1] Герцен в конце сентября и в октябре 1868 г. принимал курс лечения диабета на французском курорте Виши.

[2] Поздравление в связи с рождением у Шиффов сына. В тексте письма сложный каламбур: *Марио* – имя новорожденного; Гай *Марий* (*Марио*) – древнеримский полководец, участник 3-й Пунической войны против североафриканского города Карфагена, разрушенного римлянами в 146 г. до н.э.; итальянский певец Джованни-Матео *Марио* был женат на знаменитой певице Джулии *Гризи*; Альберто *Марио* – итальянский политический деятель и публицист, муж английской писательницы и сестры милосердия в освободительной армии Гарибальди Джесси *Уайт*.

16

23 oct⟨obre 1868⟩[1]. Lyon

Chère Olga,

Ta lettre à Tata contient de très bonnes choses et un réveil de plus. Le désir de pouvoir se tenir sur ses propres jambes est un désir mâle, sain, nécessaire. Aussi la première conséquence que tu tires est parfaitement juste. Il faut conquérir les forces primaires, les fondements qui –

[58*] В автографе: With. – *Ред.*

[59*] Александр писал нам два раза – жду письма от тебя – но *надо франкировать свои письма* – твое последнее письмо обошлось в полтора франка.

С нетерпением буду ожидать весны, которая должна, наконец, на несколько месяцев соединить нас – пока же попытайся мастерски овладеть французским языком и арифметикой. Затем воспользуйся дружбою Шиффа, а также Левье. Попроси начальных учебников по естественным наукам, привыкай к сосредоточенному чтению.

Поздравь г-жу Шифф с ее Марио... да покоится он на цветах, а не на развалинах Карфагена; да поет он, как Марио Гризи, и да будет он республиканцем, как Марио мисс Уайт. Да знает он, что люди вообще – не что иное, как марио-нетки и т.д., и т.д., и т.д.[2] (*франц.*).

en eux-mêmes – n'ont rien d'attrayant, mais qui donnent une *solidité* et une grande *liberté*. La liberté d'un ouvrier qui a ses instruments sous la main. Ecris-moi de quelles spécialités se propose Dom⟨engé⟩ de s'occuper avec toi? Tiens-moi complètement au courant de tes occupations. Je pense qu'un peu tardivement tu entreras dans un véritable travail – et alors je sens aussi que je peux t'être utile. Tu sais que définitivement nous nous réunirons au mois de mai. J'aurais préféré Zuric – pour toi – le polytechnicon[2] et l'école de médecine représentent là la nouvelle Science – et les vieux Mohicans à la Kinkel ne sont que des curiosités. Arme-toi donc de simples moyens (Arithmét⟨ique⟩, langues française et allemande). Les spécialités viendront après...

Nous avons passé le temps de ma cure de Vichy très bien, avec la plus grande tranquillité. Les soirs – lectures. Les matins je m'occupais.

Les progrès d'intelligence que fait Lise sont exorbitants. Je la suis avec un intérêt absorbant. Elle a la manie d'écrire maintenant des romans (d'une feuille!) – toujours avec des tendances révolutionnaires et à travers l'enfantillage percent des idées d'une justesse étonnante. Qu'elle sera naturaliste – pas de doute, et avec cela un caractère indomptable. La vie du mouvement – sans unité – lui a servi plutôt que de nuire.

J'ai conseillé à Alexandre de quitter sa misérable place et de donner une leçon à cet imbécile[3]. Vous verrez que nous n'irons pas loin avec la poétique Italie.

S'il y a possibilité d'envoyer d'ici, je t'enverrai l'étoffe, si non, je t'enverrai l'argent.

Adieu. Je t'embrasse[60*]

P.S. Pourquoi, est-ce que tu ne m'as jamais montré ce que tu écrivais?

Перевод:

23 окт⟨ября 1868 г.⟩. Лион[1]

Милая Ольга,

В твоем письме к Тате немало прекрасного, а вдобавок еще и новый сигнал пробуждения. Желание прочно держаться на собственных ногах – желание мужественное, здоровое, необходимое. Также и первый вывод, который ты делаешь, совершенно справедлив. Надо овладеть началами знаний, основами, которые – сами по себе – ничего привлекательного не имеют, но дают *устойчивость* и большую *свободу*. Свободу работника, у которого его орудия труда под рукой. Напиши мне, какими специальными предметами собирается заниматься с тобой Дом⟨анже⟩? Держи меня полностью в курсе своих занятий. Думаю, что с некоторым опозданием ты приступишь к настоящей работе – и тогда, чувствую, что и я смогу быть тебе полезным. Ты знаешь, что окончательно мы соберемся в мае месяце. Я предпочел бы – для тебя – Цюрих: политехникум[2] и медицинский факультет представляют там новую Науку – а старые могикане в духе Кинкеля – всего лишь ископаемые. Вооружись же простыми средствами (арифмет⟨икой⟩, языками французским и немецким)... Для специальных предметов придет очередь позднее...

Мы провели время моего лечения в Виши очень хорошо, в полнейшем спокойствии. По вечерам – чтение. По утрам я занимался.

Успехи в умственном отношении, которые делает Лиза, потрясающие. У нее теперь мания писать романы (в лист!) – всегда с революционными тенденциями, и сквозь ребячество просвечивают поразительно верные мысли. В том, что она станет естествоиспытателем, – нет сомнения; и при всем этом неукротимый характер. Жизнь в движении – лишенная единства – пошла ей скорей впрок, нежела повредила.

Я посоветовал Александру покинуть свое жалкое место и преподать урок сему глупцу[3]. Вы увидите, что мы недалеко уйдем с поэтичной Италией.

Если есть возможность посылать отсюда, то вышлю тебе материю, если же нет, то отправлю тебе денег.

Прощай, целую тебя.

P.S. Почему ты мне никогда ни показывала то, что́ писала?

[1] Год установлен по месту написания. Соотносится с письмом к Мейзенбуг, написанным в этот же день (см. XXIX, 475–476 и п. 15).

[2] В цюрихском Политехникуме, построенном в 1861–1864 гг., помещаются Университет, Политехнический институт и музей.

[60*] *В автографе*: Je m'embrasse. – *Ред.*

[3] Новый директор Музея естественной истории во Флоренции проф. Ф. Парлаторе потребовал немедленного возвращения А.А. Герцена из Берлина, несмотря на данное ему прежним директором К. Маттеучи разрешение провести там семестр (см. XXIX, 472).

17

12 nov⟨embre 1868⟩. Genève. Hôtel de la Paix[1]

Très *cara* Olga,

J'ai reçu ta lettre et l'épître de Malvida[2]. – Le froid chez nous est extrême avec bise et neige, et tout le monde se porte bien.

Je suis très content de ton budget et pour vous encourager j'envoie

227 francs –

à votre triple disposition – sans les compter dans vos annuités.

Faites un conseil:

Malvida – président
Alexandre – 1-er votant
Olga – 2-e votante.

Le président a 2 voix... Vous 3. La liberté est garantie. Tu peux acheter le livre que tu as voulu avoir... Vous pouvez garder l'argent pour la nouvelle année–prends des leçons – ou des confitures.

Sur tout cela j'attends une réponse détaillée de toi. C'est mon cadeau de nouvel an.

Probablement, je resterai ici jusqu'au 24–25, après j'irai à Marseille[3].

Dis à Domengé – au milien d'amitiés – que j'ai attendu en vain son article – qu'il se dépêche donc[4] – ou le *Kolokol* sonnera son propre glas[5].

Travaille – travaille – et cela avec concentration de toutes les forces – gagne le temps perdu.

Donne beaucoup de temps à la lecture.

J'écrirai à Tata de t'envoyer le livre sur le "Travail de la Nature"[6] – si tu ne l'as pas. C'est un tableau large, simple et très beau. Vous pouvez lire cela à haute voix. Berduschek (которому кланяюсь), Levier et Alex⟨andre⟩ peuvent en cas de besoin expliquer.

Ogareff va assez bien. Son état est meilleur qu'il n'a été à Prangins[7].

M-me le docteur Sousloff a fait paraître à Pétersbourg un livre médical sur les cœurs lymphatiques[8]. Moi je persiste à vous inviter pour le 1-er mai à Zuric[61*].

Je t'embrasse.

Thorzevski est devenu ton admirateur.

Перевод:

12 нояб⟨ря 1868 г.⟩. Женева. Hôtel de la Paix[1]

Карейшая[62*] Ольга,

Твое письмо и послание Мальвиды я получил[2]. – Стужа у нас чрезвычайная, с бизой и снегом, но все чувствуют себя хорошо.

Твоим бюджетом я очень доволен и, чтобы поощрить вас, посылаю

227 франков

на ваше тройное усмотрение – не в счет вашего годового содержания.

Устройте совещание:

Мальвида – председатель
Александр – 1-й голосующий
Ольга – 2-я голосующая.

Председатель располагает 2-мя голосами... Вы – 3-мя. Свобода гарантирована. Ты можешь купить книгу, которую хотела иметь... Деньги вы можете оставить у себя на новый год – бери уроки или же ешь варенья.

[61*] Je cherche là une maison avec jardin.

[62*] дражайшая (*итал.*): *превосходная степень прилагательного* cara дорогая, *переделанного на русский лад. – Ред.*

Обо всем этом жду от тебя подробного ответа. Это мой новогодний подарок.

Вероятно, я останусь здесь до 24–25-го, затем поеду в Марсель[3].

Скажи Доманже – с дружескими любезностями, что я тщетно ждал его статью – пусть же он поторопится[4], а то "*Kolokol*" издаст погребальный звон по самому себе[5].

Трудись – трудись – и делай это, сосредоточив все свои силы, – наверстывай потерянное время.

Много времени уделяй чтению.

Я напишу Тате, чтоб она отправила тебе книгу о "Труде природы"[6] – если у тебя ее нет. Это широкая и простая, безыскусная, но дивная картина. Вы можете читать это вслух. Бердушек (которому кланяюсь)[63*], Левье и Алекс⟨андр⟩ могут в случае надобности объяснять.

Огарев чувствует себя достаточно хорошо. Состояние его лучше, чем было в Пранжене[7].

Г-жа доктор Суслова выпустила в Петербурге медицинскую книгу о лимфатических сердцах[8]. Я же настойчиво приглашаю вас к 1 мая в Цюрих[64*].

Целую тебя.

Тхоржевский сделался твоим поклонником.

[1] Письмо было отправлено вместе с другим от того же числа, адресованным Мейзенбуг (см. XXIX, 488–489). Фрагмент наст. письма см. в XXIX, 489–490.

[2] Оба письма неизвестны.

[3] С 26 ноября по 1 декабря Герцен находился в Цюрихе, а 3 декабря отправился в Ниццу, куда к этому времени приехали из Марселя Тучкова-Огарева с Татой и Лизой.

[4] После споров с Герценом во Флоренции в декабре 1867 г. Доманже намеревался написать открытое письмо в "Kolokol" с возражениями против его платформы, сформулированной, в частности, в статье Герцена "Prolegomena". Оно было важно Герцену как отправной пункт для развертывания печатной полемики. Но в связи с болезнью Доманже его статья так и не была написана.

[5] В очередном № "Kolokol" от 1 декабря было объявлено о прекращении издания. Затем 17 февраля 1869 г. вышел лишь прибавочный номер "Supplément du *Kolokol*".

[6] Незадолго до того вышедшая в свет книга: Félix F o u c o u. Histoire du travail. La nature et l'homme. P., 1868 (ср. XXIX, 482–483 и п. 18).

[7] Герцен и Огарев провели в замке Пранжен, близ Ниона, снятом для них на лето Тхоржевским, около месяца – с середины августа до середины сентября. Туда к ним приезжали все дети Герцена, а также Мейзенбуг.

[8] Докторская диссертация Н.П. Сусловой "Прибавление к физиологии лимфатических сердец", изданная в Петербурге отдельной книгой в 1868 г.

18

⟨Nice.⟩ 18 janvier 1869[1]

Chère Olga,

Tu as raison et Malvida aussi – je t'ai promis d'écrire une longue lettre il y a une dizaine de jours et je n'ai rien écrit. Maintenant – au lieu du calme – il y a de nouveau chez nous l'agitation désagréable que donnent les maladies. A peine Natalie s'est levée – Lise est tombée malade, elle a une maladie mixte – rougeole et variolide[2] – c'est une nouvelle forme inventée à Nice. Jusqu'à présent elle ne souffre pas beaucoup – et tout fait espérer que cela passera dans q⟨uel⟩q⟨ues⟩ jours. Mais c'est très ennuyeux – et il faut prendre beaucoup de précautions. – Tata reste tatouée – et cela encore pour un ou deux mois. Chez Nat⟨alie⟩ tout est passé sans traces – il n'y a que ça et là des petits restes de boutons.

4 heures

Non, il est impossible d'écrire aujourd'hui. Wirouboff est là et le vieux docteur de Cannes[3] – on crie, on se dispute sur la maladie de Lise. Wirouboff – que cela n'est pas une intoxication et une contagion. Bernadski dit que oui. Tata comme un secrétaire dresse le procès-verbal.

[63*] Слова в скобках написаны по-русски. – *Ред.*

[64*] Ищу там дом с садом.



КНИГА ФЕЛИКСА ФУКУ
"ИСТОРИЯ ТРУДА. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК"
(ПАРИЖ, 1868)

Обложка

Прочесть эту книгу Герцен рекомендовал дочери Ольге

Je suis très content que le livre (*Histoire du travail*) t'a plu. Oui, c'est une lecture saine et bonne.

Adieu, je t'embrasse beaucoup et beaucoup.

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 18 января 1869 г.[1]

Милая Ольга,

Ты права, и Мальвида также – я обещал тебе написать длинное письмо дней десять тому назад и ничего не написал. Теперь же – вместо затишья – у нас снова то огорчительное волнение, которое приносят болезни. Едва Натали поднялась, – заболела Лиза, у нее болезнь смешанная – корь и вариолида[2] – это новая форма, придуманная в Ницце. До сих пор она не особенно страдает – и все позволяет надеяться, что через неск⟨олько⟩ дней всё пройдет. Однако это очень скучно – и необходимо принимать множество предосторожностей. – Тата остается татуированной – и это еще на месяц или два. У Нат⟨али⟩ все прошло бесследно – лишь там-сям небольшие остатки сыпи.

4 часа

Нет, сегодня писать невозможно. Здесь Вырубов и старый доктор из Канна[3] – кричат, спорят о болезни Лизы. Вырубов – что это не отравление и не зараза; Бернацкий говорит, что да. Тата как секретарь ведет протокол.

Я очень доволен, что книга ("История труда") тебе понравилась. Да, это чтение здоровое и полезное.

Прощай же, крепко-крепко целую тебя.

[1] Письмо написано на бумаге с видом Ниццы.

[2] Ослабленная форма оспы.

[3] *Бернацкий* – польский эмигрант с 1830 г. По свидетельству Нат. Ал., оказался большим его поклонником (*Тучкова-Огарева*, 216).

19

Nice. 4 février 1869

Tata écrit – chérissimée Olga – avec une telle exubérance[1] que je n'ai plus de place. Je veux te dire que j'ai rêvé aujourd'hui de toi, et mon songe était très triste. Je voyais – que nous tous t'attendions au chemin de fer, le train arrive – sans lumière – tu viens déshabillée, déchirée. Je te prends dans mes bras – et tu tombes malade sur le pavé... Je me réveille, et voilà tout.

J'ai écrit à Malvida une nouvelle proposition[2]. Nous allons (probablement) à Gênes pour nous reposer de toutes les maladies et avanies de Nice – vers la fin de mars. Prie Malvida de t'autoriser à passer un mois avec nous. Thorzevski te conduira – et moi, peut-être, te ramènerai. Est-ce que cela te va – dis-le moi[3]. Je t'embrasse – ainsi que le docteur Alexandre.

Adieu. Ton père

A. Herzen

Перевод:

Ницца. 4 февраля 1869 г.

Тата пишет – дражайшая Ольга – с таким изобилием[1], что для меня уже не остается места. Хочу тебе сказать, что ты мне сегодня снилась, и сон мой был очень печален. Видел я, что мы все ожидаем тебя на железной дороге, поезд подходит – неосвещенный, ты выходишь раздетая, истерзанная. Я беру тебя на руки, но ты валишься, больная, на мостовую... Я просыпаюсь, вот и всё.

Мальвиде я написал новое предложение[2]. Мы едем (вероятно) в Геную, чтоб отдохнуть от всех ницких болезней и гадостей, – в конце марта. Попроси Мальвиду, чтоб она позволила тебе провести с нами месяц. Тхоржевский тебя привезет – а я, быть может, отвезу тебя обратно. Устраивает ли тебя это? – скажи мне[3]. Целую тебя – так же, как доктора Александра.

Прощай.

Твой отец

А. Герцен

[1] Это письмо Н.А. Герцен к сестре неизвестно.

[2] См. письмо к Мейзенбуг, написанное в тот же день (XXX, 30).

[3] См. прим. к след. письму.

20

⟨Nice.⟩ 14 février 1869. Villa Filippi

Je te donne – chère Olga – pleine absolution pour ta lettre et pour toute ta franchise[1]. Elle m'a fait venir un peu de larmes aux yeux – cela m'était pénible, mais, de l'autre côté, ton sentiment pour Malvida est si légitime que je n'ai rien à dire. Enfin tu as compris ce qu'elle a été pour toi, ce qu'elle est. Combien de fois je t'en ai parlé? Mais cela n'est pas une raison – pour ne pas *la quitter* pour un mois. J'ai changé d'avis, et tu ne viendras pas – mais je veux te faire comprendre que ma demande était bonne et juste.

Peut-être – chère Olga – après, c'est-à-dire après ma mort, il te restera des lacunes dans le cœur; la figure – belle et étonnante de force et de grandeur – de ta défunte mère ne se reconstruira jamais dans la tête. Et moi-même je resterai comme un ami éloigné... assez vague, assez inconnu... Supposons que la faute soit entièrement à moi – mais le résultat sera aussi pénible pour toi. Le seul moyen qui te resterait (comme à Tata) serait la lecture de mes livres – mais pour me bien comprendre, il faut lire en russe – et tu as complètement oublié cette langue.

Je voulais te voir seule. Je voulais te parler du passé et du présent – différons cela à un autre temps.

Je t'embrasse comme toujours de tout mon cœur. Si Malvida le désire, elle pourrait te lire ma lettre[2].

Adieu.

Probablement nous nous verrons au mois de mai. Salue Alex⟨andre⟩ et Teresina. As-tu reçu les 50 frs?

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 14 февраля 1869 г.
Villa Filippi

Даю тебе – милая Ольга – полное отпущение грехов за твое письмо и за полную твою откровенность[1]. Оно у меня вначале вызвало слезы на глазах – для меня это было мучительно, но, с другой стороны, твое чувство к Мальвиде столь законно, что мне нечего и сказать. Наконец-то ты поняла, чем она была для тебя, что́ она теперь. Сколько раз я тебе об этом говорил? Но это не основание для того, чтоб нельзя было *ее покинуть* на месяц. Свое решение я изменил, и ты не приедешь – но все же хочу тебе дать понять, что просьба моя была обоснованна и справедлива.

Быть может – милая Ольга – впоследствии, то есть после моей смерти – в твоем сердце останутся пустоты; прекрасное, поражающее силой и величием лицо твоей покойной матери – никогда не воссоздастся в твоем сознании. И сам я останусь словно какой-то чужедальний друг... довольно расплывчатый, довольно неизвестный... Предположим, что вина за это целиком лежит на мне, но итог оттого для тебя будет не менее мучителен. Единственное, что тебе тогда осталось бы (как и Тате) – это чтение моих книг, – но, чтобы меня хорошо понимать, надо читать по-русски – а ты совсем забыла этот язык.

Мне хотелось тебя видеть одну. Мне хотелось говорить с тобой о былом и настоящем – отложим это на другое время.

Целую тебя, как всегда, от всей души. Если Мальвида захочет этого, она сможет прочесть тебе мое письмо[2].

Прощай.

Возможно, мы увидимся в мае месяце. Передай привет Алекс⟨андру⟩ и Терезине. Получила ли ты 50 фр.?

[1] Это письмо (с отказом покинуть Мейзенбуг) неизвестно. О его содержании см. также XXX, 39–40.
[2] Письмо Герцена к Мейзенбуг, отправленное вместе с наст. письмом, см. XXX, 35–36 и п. 21.

21
О.А. и А.А. Герценам

⟨Nice.⟩ 3 mars ⟨1869⟩. Mercredi[1]

Chère Olga,

Ta dernière photographie n'est pas mal – mais j'aime mieux l'autre, d'Alinari[2]. Tu as l'air de Berthe Sommier.

Je viens d'écrire à Malvida[3] – et je te répète que jamais l'idée ne m'était venue en tête de te séparer de Malvida. Tu le sais maintenant. J'attendrai de ton propre cœur l'initiative – non seulement d'une visite, mais d'une véritable soif à nous rapprocher. En attendant, travaille... Le malheur de ce que tu ne connais pas le russe est grand. Tu avais un fond déjà... Une année d'existence commune suffirait peut-être pour te remettre. Il fut un temps dans lequel Malvida était tellement enthousiaste pour le coloris de la pensée russe, pour notre poésie, pour l'originalité – qu'elle-même faisait une tentative d'apprendre la langue. – Tata pourrait faire beaucoup. Probablement elle viendra vers le 10 avril. J'enverrai beaucoup de livres à toi et à Teresina. C'est très difficile de les envoyer par la poste.

Je suis très content de ce que tu vas aux leçons de Schiff.

Lise a ici un très bon maître de russe, qui est naturaliste[4]. Il l'a habituée à prendre des méduses, des actinies, oursins de mer, holothuries, etc. et de [faire] travailler avec le microscope.

Adieu. Je t'embrasse[65*] beaucoup.

Ogareff m'a écrit quelque chose de très peu clair sur Panofka[5], j'attends la nouvelle non *via* Genève, mais *via* Gênes. Il est temps de sentir, de comprendre – "as-tu une véritable vocation de chanteuse on non?". Tata a en horreur (je le pense) la musique – et en grippe le crayon.

Thorzevsky se propose de venir ici pour le jour de Pâques.

Pour Alex⟨andre⟩[66*]:

[65*] В автографе: m'embrasse. – *Ред.*

[66*] ⟨Ницца.⟩ 3 марта ⟨1869г.⟩. Среда[1]

Милая Ольга,

Твоя последняя фотография недурна – но мне больше нравится другая, от Алинари[2]. У тебя вид Берты Сомье.

Только что я написал Мальвиде[3] – и повторяю тебе, что никогда мне и в голову не приходила мысль разлучить тебя с Мальвидой. Теперь ты это знаешь. Я буду ждать от твоего собственного сердца инициативы не только посещения, но и подлинной жажды сближения с нами. Пока же трудись... Какая беда, что ты не знаешь русского языка. Основами ты уже владела... Одного года совместной жизни тебе, возможно, достаточно было бы, чтобы всё восстановить. Некогда Мальвида до такой степени пылала энтузиазмом к колориту русской мысли, к нашей поэзии, к оригинальности – что сама пыталась изучить язык. Тата могла бы в этом смысле много сделать. Вероятно, она приедет к 10 апреля. Я пошлю тебе много книг. Отправить их по почте – дело затруднительное.

Я очень доволен, что ты ходишь на лекции Шиффа.

У Лизы здесь очень хороший учитель русского языка, естествоиспытатель[4]. Он приучил ее брать в руки медуз, актиний, морских ежей, голотурий и т.п. и работать с микроскопом.

Прощай. Многократно целую тебя.

Огарев написал мне что-то очень неясное насчет Панофки[5], жду эту новость не via Женева, а via Генуя. Настало время почувствовать, понять – "имеешь ли ты истинное призвание стать певицей или нет?" Тата испытывает отвращение (я полагаю) к музыке – и терпеть не может *карандаша*.

Тхоржевский предполагает приехать сюда к началу пасхи.

Для Алекс⟨андра⟩ (*франц.*).

1-ое. Я велел тебе посылать из Женевы журнал "L'Egalité"[6], он очень интересен в смысле социального движенья – рекомендуй его другим.

2. Журнал с 1-й статьей я послал[7].

3. Денег могу выслать раньше – чтоб ты проценты не платил, – но на том условии, что ни ты, ни Мейз⟨енбуг⟩ не затратите.

[1] 3 марта приходилось на среду в 1869 г.

[2] По всей вероятности, фотография О.А. в шляпе (см. воспроизведение в "Лит. наследстве", т. 64, с. 663).

[3] См. это письмо – XXX, 48–50.

[4] А.Я. Щербаков.

[5] 26 февраля Огарев, получив письмо от Ольги, сообщал Герцену, что "всего больше ей хочется продолжать уроки с Панофкой", но в целом ее взгляд на свое будущее еще не определен ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 525–526).

[6] Первый номер женевского еженедельника "Egalité" – органа женевской секции I Интернационала вышел в свет 23 января. Ср. отзыв о нем Герцена в письме к Огареву от 2 марта (XXX, 47).

[7] По-видимому, речь идет о цикле очерков Герцена "Скуки ради", печатавшемся в петербургской "Неделе". Первые пять глав были опубликованы в № 48 от 1 декабря (19 ноября) 1868 г. (ср. письмо Герцена к сыну от 16 марта 1869 г. – XXX, 60).

22

⟨Nice.⟩ 27 mars ⟨1869⟩

Chère Olga,

Un mot pour toi; dès que j'ai su que tu as préféré les leçons à la robe, je me suis mis à courir dans les boutiques – et de te choisir une robe que Tata t'apportera vers le 25 avril; outre cela, j'envoie les autres 50 fr.

Je suis très content du succès d'Alex⟨andre⟩[1]. Est-ce que madame Kassatkine était à la leçon?[2] – Vous verrez un de ces jours Therkessoff avec sa femme[3] et après m-me Auerbach avec son mari[4] – ensuite l'honorable Thorz⟨evski⟩ vient ici le *15 avril.*

Tata t'apportera un tas de livres pour toi et pour Teresine.

Embrasse de ma part Malvida pour sa bonne lettre – au sujet du triomphe d'Alexandre[5]. Dis à Malvida qu'Alex⟨andre⟩ lui remettra 2000 fr. *français* et 50 à toi – le change vous reste comme revenant bon.

J'écrirai bientôt, Tata aussi.

Adieu.

Salue de ma part Friken et famille.

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 27 марта ⟨1869 г.⟩

Милая Ольга,

Словечко для тебя; как только я узнал, что ты предпочла уроки платью, то принялся бегать по лавкам – и выбирать тебе платье, которое Тата привезет тебе к 25 апреля; кроме того, посылаю остальные 50 фр.

Я очень рад успеху Алекс⟨андра⟩[1]. Была ли на лекции госпожа Касаткина?[2] – В один из ближайших дней вы увидите Черкесова с его женой[3], а потом г-жу Ауэрбах с ее мужем[4] – затем достопочтенный Тхорж⟨евский⟩ приезжает сюда *15 апреля.*

Тата привезет тебе кучу книг для тебя и для Терезины.

Поцелуй от меня Мальвиду за ее доброе письмо – по поводу триумфа Александра[5]. Скажи Мальвиде, что Алекс⟨андр⟩ передаст ей 2000 *французских* фр. и 50 тебе – разница в размене остается вам как дополнительный доход.

Вскоре я напишу, Тата тоже.

Прощай.

Передай от меня привет Фрикену и семье.

[1] Публичная лекция А.А. Герцена "О родстве между человеком и обезьянами", прочитанная во Флоренции на итальянском языке 21 марта. В ней он защищал теорию Дарвина о происхождении видов. См. прим. 6 к п. 25.

[2] Е.А. Касаткина – вдова эмигранта В.И. Касаткина, принимавшего участие в деятельности Вольной русской типографии в Женеве. В 1865–1866 гг. Касаткины жили во флигеле дома Château Boissière, занимаемого семьей Герцена.

[3] А.А. Черкесов, участник революционного движения 1860-х годов, в 1862–1865 гг. жил за границей и общался с Герценом, за что по возвращении в Россию подвергся аресту. Затем приезжал с женой Верой Васильевной (урожд. Ивашевой) во Францию и Швейцарию (в 1868–1869 гг.).

[4] С *Ауэрбахами* (возможно – Герман Андреевич Ауэрбах и его жена Юлия Федоровна, писательница), приезжавшими из России, Герцен познакомился в марте 1866 г. в Монтрё (см. письмо Н.А. Тучковой-Огаревой к нему от 27 марта 1866 г. в наст. книге), а затем встречался не раз в Швейцарии и Ницце.

[5] Письмо Мейзенбуг неизвестно.

23

15 avril 1869. Nice

Chère Olga,

Черкесов m'a dit que tu désires avoir l'édition française de mes mémoires, je tâcherai de les trouver, mais ce n'est pas facile. L'édition est épuisée et je pense maintenant à commencer une autre[1]. Est-ce que Гулевич qui s'appelle en français Dalmer a été chez vous?[2] Lui (ou sa femme) pourrait très bien te donner des leçons du russe – et alors tu pourrais lire le Былое и думы. C'est une véritable calamité que tu ne saches pas le russe. Un monde entier – tout nouveau, étrange, demi-sauvage et ayant un avenir immense te restera clos, comme à la majeure partie des Occidentaux. Tata est plus russe que toi et Alexandre. Elle va rester quelque temps avec vous – tu peux profiter de son séjour et te remettre à lire le russe.

Tu connais mes plans ultérieurs. Si Malvida consent à venir pour une année ou deux à Paris, je pense que cela serait une grande page d'éducation. Ce ne sont que les grandes métropoles qui peuvent donner un certain fini à l'intelligence – et surtout Londres et Paris. Avec tous les défauts du temps Paris éduque plus que Londres, et tout est facile. Bruxelles est à 8 heures de Paris (et non à 10 comme j'ai écrit)[3] – je pourrais *dann und wann* vous voir. Pense à cela et réponds en toute franchise et sincérité.

Quant à ta visite pour une quinzaine, je n'y attache pas une grande importance – agis en toute liberté. Si tu veux venir – nous irons par Gênes. Si tu ne veux pas – nous irons par Lyon. Pour deux semaines c'est évident qu'il n'y a aucune cause pour faire subir à Malvida les troubles du voyage. – Au reste tout cela, je répète, "is of no importance"... Tandis que la proposition d'aller à Paris en a beaucoup.

Nous avons reçu une lettre de Malvida[4]. En bien, est-ce que tu te sens *tanto poco* "*cantatrice*"? Si tu le sens aussi, je t'enverrai encore de l'argent pour les leçons[67*].

Adieu – je t'embrasse.

A propos, essaie de lire "Vom andern Ufer"[5].

Thorzevski vient le 17 – le 25 Tata sera à Florence.

Перевод:

15 апреля 1869 г. Ницца

Милая Ольга,

Черкесов сказал мне, что тебе хочется иметь французское издание моих записок, попытаюсь разыскать их, но это нелегко. Издание разошлось, и я думаю начать теперь другое[1]. Был ли у вас Гулевич, который по-французски зовется Дальмером?[2] Он (или его жена) вполне могли бы давать тебе уроки русского языка – и тогда ты могла бы читать "Былое и думы". Это сущее бедствие, что ты не знаешь русского. Целый мир – совершенно новый, своеобразный, полудикий, но имеющий необъятное будущее, останется для тебя закрытым, как для большинства западных людей. Тата более русская, чем ты и Александр. Она еще некоторое время останется с вами – ты можешь воспользоваться ее пребыванием и вновь приняться читать по-русски.

Мои дальнейшие планы тебе известны. Если Мальвида согласится на год или на два приехать в Париж, то, по-моему, это может стать великой страницей воспитания. Только крупные столицы могут придать уму известную законченность – и особенно Лондон и Париж. При всех своих нынешних недостатках Париж воспитывает больше, нежели Лондон, и все легко-

[67*] Il faut absolument dans ce cas aller à Paris. C'est là qu'il faut apprendre. Salue beaucoup Malvida.



ПАРИЖ. ПАНОРАМА СЕНЫ

Гравюра неизвестного художника, вторая половина XIX в.

На первом плане – набережная Лувра (Quai du Louvre) и Мост Искусств (Pont des Arts), в глубине – Новый мост (Pont Neuf) и остров Сите (Ile de la Cité)

Из альбома: "50 vues de Paris et Versailles". Paris, s.a.

доступно. Брюссель в 8 часах от Парижа (а не в 10-ти, как я писал[3]) – я мог бы dann und wann[68*] видеться с вами. Подумай об этом и ответь совершенно откровенно и искренне.

Что же касается твоего двухнедельного посещения, то большого значения ему я не придаю – действуй, как сочтешь нужным. Если пожелаешь приехать – мы поедем через Геную. Если ты не захочешь – поедем через Лион. Из-за двух недель, это очевидно, нет никаких оснований заставлять Мальвиду переносить тяготы путешествия. – Впрочем, все это, повторяю, is of no importance...[69*] В то время как предложение ехать в Париж имеет премного.

Письмо от Мальвиды мы получили[4]. Так что же ты, действительно, чувствуешь себя tanto poco, "cantatrice"?[70*] Если и ты это чувствуешь, то я пришлю тебе еще денег на уроки[71*]

Прощай – целую тебя.

Кстати, попытайся прочесть "Vom anderen Ufer"[5].

Тхоржевский приезжает 17-го – 25-го Тата будет во Флоренции.

[1]Французский перевод I–IV частей "Былого и дум", сделанный А. Делаво, вышел в Париже, в издательстве Э. Дантю, под названием: "Le monde russe et la Révolution" (1860–1862, 3 тома). Планировавшееся Герценом в 1869 г. новое, дополненное издание осуществить не удалось.

[2]М.С. Гулевич давал уроки Лизе. В 1869 г. он ездил в Ниццу и Италию под псевдонимом Далмер (ср. XXX, 73).

[3]Ср. письмо Герцена к сыну от 27 марта (XXX, 67).

[4]Письмо Мейзенбуг неизвестно.

[5]Немецкое издание "С того берега" (Гамбург, 1850).

[68*]время от времени (*нем.*).

[69*]не имеет значения (*англ.*).

[70*]хоть немножко "певицей"? (*итал.*).

[71*]Совершенно необходимо в таком случае ехать в Париж. Именно там следует учиться. Передай большой привет Мальвиде.

24

⟨Nice.⟩ 22 avril 1869

Chère Olga,

Encore une fois vous êtes plus en projets de voyage que moi – Tyrol et Vorarlberg[1], Bavière et Bains[2]. Alors en traversant les monts et les fleuves – vous n'avez qu'à venir à Paris – ou même à Bruxelles[3]. Dans ce cas probablement Tata ira avec vous – au moins jusqu'aux eaux... une fois les montagnes traversées, elle peut nous rejoindre. Mais je ne la presse pas, au contraire, je pense que c'est un très grand avantage pour toi, qu'elle reste quelques mois avec vous.

Thorzevski te remettra 50 fr., si en vérité et conscience tu sens que les leçons de Panofka sont utiles et nécessaires – emploie-les à ces leçons – sinon dépense-les d'une manière[72*] utile pour ta garde-robe. Tata t'apporte un nouvel[73*] habit.

Comment pense Malvida et toi aussi – concernant Paris? Si Malv⟨ida⟩ a besoin d'aller, c'est facile à arranger.

Je t'envoie un petit flacon d'Ess-bouquet[4], Lise – deux autres essences – figure-toi qu'elle a économisé sur 4 fr. qu'on lui donne par mois – 7 francs pour acheter ces essences. Cela va sans dire que je lui rendrai l'argent – mais elle les a économisés et gardés.

Adieu.

Le 24. Samedi

J'ai oublié de donner à Thorz⟨evski⟩ les 50 fr. – je les envoie avec Tata. – Il est parti hier par diligence – il craint la mer.

Je t'embrasse et je serre beaucoup la main à Malvida.

Portez-vous bien.

¿ Pourquoi emploies-tu un papier impossiblement épais pour tes lettres?

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 22 апреля 1869 г.

Милая Ольга,

Вы снова перещеголяли меня в своих проектах путешествия – Тироль и Форарльберг[1], Бавария и Бен[2]. В таком случае, пересекая горы и реки, – вам остается лишь двинуться в Париж – или даже в Брюссель[3]. В этом случае Тата, вероятно, поедет с вами – по крайней мере, до вод... перебравшись через горы, она может присоединиться к нам. Но я не тороплю ее – наоборот, думаю, что для тебя очень большая удача, что она остается на несколько месяцев с вами.

Тхоржевский передаст тебе 50 фр.; если ты, по правде и по совести, чувствуешь, что уроки Панофки полезны и необходимы, – употреби их на эти уроки; если же нет, то истрать их каким-нибудь полезным образом на свой гардероб. Тата везет тебе новую одежду.

Что думает Мальв⟨ида⟩, а также и ты – насчет Парижа? Если Мальв⟨ида⟩ захочет поехать, это легко устроить.

Посылаю тебе флакончик "Эс-буке"[4], Лиза – два других флакона духов – вообрази: из тех 4 фр., которые ей дают в месяц, она отложила 7 франков, чтобы купить эти духи. Конечно, деньги эти я ей верну, – но подумать только: она их отложила и сберегла.

Прощай.

24-го. Суббота

Я позабыл дать Тхор⟨жевскому⟩ эти 50 фр. – посылаю их с Татой. – Он вчера уехал дилижансом – боится моря.

Целую тебя и крепко жму руку Мальвиде.

Будьте здоровы.

¿ Почему ты употребляешь для своих писем такую невозможно толстую бумагу?

[1]Одна из коронных земель Австро-Венгерской монархии в Альпах.
[2]Имеется в виду французский курортный город Экс-ле-Бен.
[3]Герцен намерен был на продолжительное время поселиться в Брюсселе.
[4]Модные парижские духи.

[72*]*В автографе*: matière. – *Ред.*
[73*]*В автографе*: nouveau. – *Ред.*

25
О.А. и Н.А. ГЕРЦЕН

17 mai (1869)[1]. Genève

Chère Olga,

Ton dernier portrait n'est pas mauvais (celui sans chapeau)[2], envoie-moi au moins 3 exemp⟨laires⟩. Thorzevski m'a dit que tu veux augmenter le nombre de leçons de Panofka – mais il n'a pu me dire combien tu en prends. Or, va jusqu'à 3 leçons par semaine – et écris-moi après la surcharge de la dépense – je te l'enverrai.

Il y a un très grand mouvement dans la Russie – et nommément parmi la jeunesse. Les étudiants chassés des Universités et des Académies, exilés de Pétersbourg – et de Moscou – se dispersent dans les villes. Les villages affamés attendent ⟨avec⟩ anxiété l'année 1870 (le terme des rachats)[3]. Et par un retour capricieux – les jeunes gens se rappellent de plus en plus de nous autres, les vieux de la vieille. Outine[4] a rencontré Bakoun⟨ine⟩ et lui a dit avec désespoir: "C'est pourtant étrange, Herz⟨en⟩ devient derechef populaire". Tu dois raconter cela à l'inconnu... ou inconnue du Docteur Herzen[5]. A propos – dis à Alex⟨andre⟩ que Katkoff, plus attentif que ne l'était Erdon, a inséré toute la lettre de Lambruschini в "Соврем⟨енном⟩ обозрении"[6] – pour montrer que le fils d'un tel père est aussi un tigre-singe[7] de la pire espèce. La haine a plus de tendresse et d'attention que l'amour.

Tes lettres à Lisa et à Natalie seront remises aujourd'hui à 7 heures à Aix-les-Bains[8]. C'est un endroit ravissant – c'est là que devait aller l'idéaliste des mémoires[9].

Je t'embrasse de tout mon coeur[74*],

и прощай.

Тата, тебе буду писать потом[10]. Скажу только, что во Франции движение, действительно, сильно[11] – читайте газеты. Я еще раз случайно разговаривал о Доманже с Бакун⟨иным⟩ – и опять убедился, что он пренечистый человек. В уроки его я никогда не верил... Как по-твоему?

Ага и Бакун⟨ин⟩ тебе кланяются.

[1]Год устанавливается по письму Герцена к Мейзенбуг (см. XXX, 113), отправленному вместе с наст. письмом.

[2]Возможно, фотография, хранящаяся в *ГИМ* и воспроизведенная в "Лит. наследстве", т. 63, с. 469. Судя по одежде, она была снята одновременно с другой фотографией весны 1869 г., на которой Ольга в шляпке (там же, т. 64, с. 663). Именно эти два снимка, вероятно, и сопоставляются здесь Герценом.

[3]Герцен предполагал, что в 1870 г. начнутся массовые революционные выступления временнообязанных крестьян в связи с завершением девятилетнего "срока выкупа" земельного надела, определенного "Положениями" 19 февраля 1861 г. (ср. XXX, 11). Ж. Кларти в своих воспоминаниях о Герцене писал: "Надобно было слышать, как он предсказывал волнения, неотвратимые волнения, которыми не далее, чем через год, будет потрясен северный колосс" (Л. Л а н с к и й. Неизвестные воспоминания о Герцене. – "Новый мир", 1959, № 6, с. 277).

[4]Н.И. Утин.

74*

17 мая ⟨1869 г.⟩[1]. Женева

Милая Ольга,

Твой последний портрет неплох (тот, что без шляпки)[2], пришли мне, по крайней мере, 3 экземп⟨ляра⟩. Тхоржевский сказал мне, что ты хочешь увеличить число уроков у Панофки – но не смог мне сказать, сколько ты их берешь. Так и быть, дойди до 3 уроков в неделю – и после напиши мне, каков перерасход – я тебе его пришлю.

В России теперь очень сильное брожение – и особенно среди молодежи. Студенты, изгнанные из университетов и академий, высланные из Петербурга – и из Москвы – рассеиваются по разным городам. Голодающие деревни ⟨с⟩ тревогой ожидают 1870 года (последнего срока выкупов)[3]. И – по капризному повороту истории – молодежь все чаще и чаще вспоминает о нас, ветеранах старой гвардии. Утин[4] встретил Бакун⟨ина⟩ и сказал ему в отчаянье: "Как странно все же: Герц⟨ен⟩ вновь становится популярным". Ты должна рассказать это незнакомцу... или незнакомке Доктора Герцена[5]. Кстати – скажи Алекс⟨андру⟩, что Катков, более внимательный, чем был Эрдон, напечатал целиком письмо Ламбрускини в "Соврем⟨енном⟩ обозрении"[6] – чтобы показать, что сын такого отца – тоже тигр-обезьяна[7] наихудшей породы. У ненависти больше нежности и внимания, нежели у любви.

Твои письма к Лизе и Натали будут переданы сегодня в 7 часов в Экс-ле-Бене[8]. Это очаровательное местечко – именно туда и следовало бы поехать мемуарной идеалистке[9].

Целую тебя от всей души (*франц.*).

[5]Шутливый намек на ребенка, который ожидался в семье А.А. Герцена, доктора медицины (сын Владимир родился на следующий день, 18 мая).

[6]Р. Ламбрускини выступил 1 апреля в газете "Nazione" против "безнравственности" дарвиновской теории, пропагандируемой А.А. Герценом (см. п. 22). Теория эта подрывала, по мнению итальянского схоласта, авторитет Священного писания. Перевод выступления Ламбрускини был перепечатан не в "Современном обозрении", а в "Современной летописи" – воскресном приложении к "Московским ведомостям" М.Н. Каткова. Во втором издании своей лекции "Sulla parantella fra l'uomo e le scimie" ("О родстве между человеком и обезьянами". Firenze, 1869). А.А. Герцен перепечатал письмо Ламбрускини в сопровождении своего ответа. Друг А.А. Герцена французский публицист *А.-Я. Эрдон* обошел в своих статьях молчанием нашумевшую полемику с Ламбрускини (см. об этом также XXX, 102).

[7]*Тигры-обезьяны* – саркастическая характеристика французов в "Кандиде" Вольтера.

[8]Через несколько часов Герцен отправился в Экс-ле-Бен к Н.А. Тучковой-Огаревой и дочери Лизе. Они вместе вернулись в Женеву 21 мая.

[9]Намек на страдавшую ревматизмом Мейзенбуг – автора "Воспоминаний идеалистки" (первая их часть вышла в Женеве на французском языке в 1869 г.).

[10]Герцен написал Н.А. Герцен на следующий день, 18 мая (см. XXX, 116–117).

[11]Вскоре, 6–9 июня, в Париже произошли столкновения между полицией и рабочими.

26
О.А. и Н.А. ГЕРЦЕН

⟨Женева. 24 июня 1869 г.⟩[1]

Je t'embrasse, chère Olga, et encore une fois je n'ai pas le temps de t'écrire. Nous tous – nous sommes très contents de ta lettre[2]. Aga veut t'écrire. N⟨atalie⟩ aussi – moi aussi. Mais ces[75*] derniers jours nous avons été extrêmement tracassés.

Figure-toi que demain vient à Genève la sœur d'Aga m-me Plautine – avec sa fille qui s'est nouvellement mariée avec un aristo très riche comte Zouboff – et tout cela vient lui faire une visite[3]. Il maigrit à la seule idée – et en perd les cheveux.

Thorzevski va et vient attristé, affairé. Bakoun⟨ine⟩ se prépare à changer de linge[4]. Le vieux cocher qu'Alexandre connaît est toujours sur le qui-vive. *Accidenti.*

J'ai écrit hier à Malvida[76*].

Aspetto[77*] писем Таты.

"Прерв⟨анные⟩ рассказы"[5] и "Войну и мир"[6] послал.

[1]Дата определяется сообщением о предстоящем на следующий день приезде Плаутиных (ср. XXX, 143).

[2]Неизвестное письмо Ольги, отозвавшейся на сообщение Герцена, Огарева и Тучковой-Огаревой о характере их отношений и о том, что Лиза – ее сестра – см. XXX, 132–133 – было получено, вероятно, 23 июня. Накануне Герцен писал Тате, что ждет этого ответа Ольги, а 23-го сообщал уже Мейзенбуг, что тронут "простым и спокойным тоном" его (XXX, 138, 140).

[3]А.П. Плаутина посетила Огарева со своей дочерью В.С. Зубовой, но без зятя – гр. П.А. Зубова (см. XXX, 143 и "Лит. наследство", т. 62, с. 748).

[4]М.А. Бакунин ошпарил себе ногу и вынужден был остаться на несколько дней у Герцена, вследствие чего задержался и отъезд самого Герцена с семьей в Брюссель. Здесь, вероятно, ирония над недостаточной чистоплотностью обильно потевшего Бакунина.

[5]Сборник Герцена "Прерванные рассказы" (лондонское издание 1854 г.).

[6]Посылая 22 июня Н.А. Герцен "V книжку Толстого" (т. V первого отдельного издания "Войны и мира", который вышел из печати 16/4 марта и включал в себя главы, соответствующие главам части т. III и частям первой и второй т. IV окончательной редакции), Герцен писал: "В ней много уродств, но много необыкновенного, знакомящего с тем временем, даже мой отец на сцене, но глупо и неверно" (XXX, 139). См. в наст. книге работу А.Г. Тартаковского "Переписка И.А. Яковлева с А.И. Михайловским-Данилевским".

[75*]В автографе: c'est. – *Ред.*

[76*]Целую тебя, милая Ольга, и снова у меня нет времени писать тебе. Все мы – все – очень довольны твоим письмом[2]. Ага хочет написать тебе. Н⟨атали⟩ тоже – я тоже. Но все эти последние дни мы были в страшных хлопотах.

Вообрази себе, завтра в Женеву приезжает сестра Аги – г-жа Плаутина – со своей дочерью, которая совсем недавно вышла замуж за очень богатого "аристо" графа Зубова – и все это приезжает отдать ему визит[3]. Он худеет от одной мысли об этом – и теряет от нее волосы.

Тхоржевский расхаживает взад и вперед, угнетенный, озабоченный. Бакун⟨ин⟩ собирается переменить белье[4]. Старый кучер, которого Александр знает, все время начеку. Accidenti ⟨Ну и дела (*итал.*)⟩.

Я написал вчера Мальвиде (*франц.*).

[77*]Ожидаю (*итал.*).

27

14 septembre 1869. Amsterdam

Chère Olga,

Je pense que tu es de retour – et j'attends ta description. Je suis sûr que vous êtes les premières à traverser des montagnes, à courir de Livourne au milieu de l'Allemagne, à quitter toutes les occupations – pour entendre un opéra de Wagner[1]. Je commence à devenir envieux – et je commencerai aussi à écrire des opéras. Tu te rappelles le printemps, lorsque je t'invitai pour deux, trois semaines à Gênes. Que de difficultés, de lettres... enfin je me suis résigné et je ne suis pas allé moi-même à Gênes.

La question de Paris, comme tu l'écris, dépend exclusivement de Panofka – je n'y compte qu'à demi. Je pensai toujours que le grand obstacle était la santé de Malvida – mais je me réjouis de la voir complètement en force et vigueur. Je voudrais bien te voir à Paris – si nous y resterons (!). Tu pourrais venir même seule – si Malvida ne voudrait (!) pas faire le voyage pour un mois ou deux. C'est-à-dire seule avec Tata. Pense, car c'est très sérieux, que ce n'est qu'un désir de ma part – je ne l'exige nullement – ces choses doivent se décider par le cœur... Dans tous les cas, développe-toi de plus en plus – et pourvu que tu restes heureuse autant qu'on le peut et intelligente autant que notre temps exige – je serai content. Peut-être nous ne chanterons pas à l'unisson – mais chante bien ta partie, – et de l'autre côté pense un peu que tu as un père, qui voudrait être ton ami.

Nous sommes en Hollande. Tout porte ici un autre cachet qu'ailleurs. Ce sont des bourgeois et des marchands encroûtés – mais du vieux temps; ils n'ont pas la banalité effacée des Français (du même milieu) – avec les étrangers ils sont (au moins tous ceux que nous avons vus) d'une amabilité rare. Très peu d'industrie, très peu de fabriques – paysans, manoeuvres et commerçants. Une liberté des anciens cantons suisses[2]. Cela sera un grand malheur si la rapacité allemande faisait un attentat sur ce pays. Il faut le laisser comme échantillon des "tempi passati"[3] – ce qui a son intérêt dans un temps où on donne des opéras de l'avenir[4].

Salue Malvida et montre-lui ma lettre si tu le veux.

Je t'embrasse.

Lise va toujours bien. – Si l'on pouvait un peu corriger son caractère, elle irait même très bien. Je sais que cela passera... mais le temps... le temps...

Перевод:

14 сентября 1869 г. Амстердам

Милая Ольга,

Полагаю, что ты возвратилась, – и жду твоего описания. Уверен, что вы раньше всех пересекли горы, помчались из Ливорно в глубь Германии, бросили все занятия – чтобы послушать оперу Вагнера[1]. Я начинаю становиться завистником – и также примусь писать оперы. Помнишь ли, как весною я приглашал тебя на две, три недели в Геную? Сколько затруднений, писем... наконец, я смирился и сам не поехал в Геную.

Вопрос о Париже, как ты пишешь, зависит исключительно от Панофки – считаюсь с этим лишь наполовину. Я всегда думал, что немалым препятствием является самочувствие Мальвиды – теперь же радуюсь, видя ее пышущей здоровьем. Мне очень хотелось бы видеть тебя в Париже – если там останемся. Ты могла бы приехать даже одна – если б Мальвиде не захотелось совершить эту поездку на месяц или на два. То есть одна с Татой. Подумай, ибо дело очень серьезное, хотя с моей стороны это только пожелание – я ничуть не настаиваю – такого рода вещи должны решаться сердцем... Как бы то ни было, развивайся все больше и больше – лишь бы ты оставалась счастливой, насколько это возможно, – и умной, насколько этого требует наше время, – и я буду доволен. Быть может, в унисон петь мы не будем – так пой же хорошо свою партию, – и, с другой стороны, подумывай порой и о том, что у тебя есть отец, который хотел бы быть твоим другом.

Мы в Голландии. Все несет здесь на себе свою особую печать, не то, что в других местах. Это буржуа и закоснелые купцы – но былых времен; в них нет стертой пошлости французов (того же круга) – с иностранцами они (по крайней мере, все те, которых мы видели) исключительно любезны. Очень мало промышленности, очень мало фабрик – крестьяне, чернорабо-



ГЕРЦЕН

Фотография Л. Страцака. Брюссель, 4 сентября 1869 г. На обороте дарственная надпись (В.А. Крылову): "В память встречи в Париже в октябре 1869. А. Герцен"

Музей Герцена, Москва

"Пойду сегодня и велю себя отфотить" (Герцен – дочери Тате. 4 сентября 1869 г.)

чие и коммерсанты. Свобода старинных швейцарских кантонов[2]. Огромным несчастьем будет, если немецкая алчность совершит покушение на эту страну. Ее следует оставить как образчик "tempi passati"[3] – это имеет свой интерес в ту пору, когда исполняют оперы будущего[4].

Передай привет Мальвиде и покажи ей мое письмо, если пожелаешь.

Целую тебя.

У Лизы все так же хорошо. – Если б удалось сколько-нибудь исправить ее характер, то с ней все обстояло бы даже прекрасно. Знаю, что все это пройдет... но время... время...

[1]Страстная почитательница музыки Р. Вагнера, с которым она была лично знакома и находилась в переписке, Мейзенбуг вместе с Ольгой отправилась в Мюнхен, чтобы присутствовать на премьере оперы "Золото Рейна" (22 сентября).

[2]В письме к старшей дочери, написанном накануне, Герцен уточнил, что эта свобода "больше в нравах, чем в законах" (XXX, 193).

[3]"*Tempi passati*" ("Прошедшие времена" – *итал.*) – ставшие крылатыми слова римско-германского императора Иосифа II по поводу картины, изображавшей императора Фридриха I Барбароссу коленопреклоненным перед папой Александром (1172 г.). Это выражение часто употреблялось Герценом в смысле "дело прошлое, невозвратимое".

[4]Намек на Р. Вагнера, развивавшего в своих трудах, посвященных проблемам реформы музыкального искусства ("Искусство и революция", "Искусство будущего") концепцию "музыки будущего", образцами которой, по его мнению, являлись его оперы.

28
О.А. и Н.А. ГЕРЦЕН

30 sept⟨embre 1869⟩. Paris[78*1]

Милая Ольга,

J'ai été touché de ta dernière lettre – très sincèrement – et je t'embrasse. Mais je veux te dire ce que j'ai dit à Malvida. Ce n'est pas pour une visite que je veux t'avoir maintenant. Une visite – c'est un plaisir et une grande perte de temps. Je veux – si tu as un "Drang" toi-même – je veux te faire entrer dans notre manière de vivre, de voir te mettre à l'unisson. Il y a beaucoup de choses qui sont incultes, brisées, il y a des cicatrices, des incongruités – mais il y a encore des forces, *ein Schwung* qui, peut-être, te deviendra cher. Si tu le perds maintenant, tu ne le rattraperas jamais, le fion du couchant te manquera. Et qui a garanti que je vivrai longtemps?

Or sans vous jeter en wagon – pèse tout cela, pèse avec Malvida, pèse avec Tata – et viens après avoir pris une résolution sérieuse.

Venez si c'est mieux pour Malvida – le printemps (quoique l'automne est admirable). Je te donne une voix – écoute mon conseil, écoute l'avis de Malvida – mais agis aussi d'après ton coeur. Ce ne sont nullement des ordres – c'est un cri vers toi de mon âme – mais je te laisse libre – et libre. Encore une fois, sois heureuse et développe-toi. Mais je suis sûr que tu te développeras encore mieux – dans notre vie commune. Beaucoup de choses sont changées – toutes les aspérités sont émoussées.

L'harmonie ne peut être que le résultat des efforts communs[79*].

Все целуем тебя.

Тата. Я вчера писал к тебе[2], получила ли? Не нудь их ехать прежде решенья – а сама скачи сюда, как хочешь. Пиши скорее и обо всем.

[1]Публикуемое письмо было отправлено вместе с другим, адресованным Мейзенбуг и датированным 30 сентября (см. XXX, 203–205).

[2]Это письмо от 29 сентября неизвестно. См. о нем в письме Герцена к Огареву от того же числа (XXX, 201).

[78*]30 сен⟨тября 1869 г.⟩. Париж[1].

[79*]Я был тронут твоим последним письмом – совершенно искренне – и целую тебя. Однако я хочу сказать тебе то, что сказал Мальвиде. Теперь я хочу от тебя не визита. Визит – это развлечение и большая трата времени. Я хочу – если у тебя самой есть такой "Drang" ⟨"стремление"⟩ – хочу приобщить тебя к нашему образу жизни; видеть, как ты вступаешь в унисон. Многое у нас запущено, разбито, есть рубцы, несообразности – но есть еще и силы, ein Schwung ⟨размах⟩, который, возможно, станет дорог тебе. Если ты теперь его утратишь, то наверстать его не сумеешь никогда, последней красоты заката будет тебе нехватать. А кто дал поруку, что я буду долго жить?

Так вот, не бросаясь вместе с остальными в вагон, – взвесь все это, взвесь с Мальвидой, взвесь с Татой – и приезжай после принятия серьезного решения.

Приезжайте, если это лучше для Мальвиды, весной (хотя и осень восхитительна). Предоставляю тебе голос, – выслушай мой совет, выслушай мнение Мальвиды – но действуй и по велению собственного сердца. Это отнюдь не приказ – это обращенный к тебе крик моей души; однако оставляю тебя свободной – и свободной. Скажу еще раз – будь счастлива и развивайся. Однако я уверен, что ты разовьешься еще лучше – в совместной жизни с нами. Многое переменилось – все шероховатости сгладились.

Гармония может явиться лишь в результате общих усилий (*франц.*).

В. ЧАРТОРЫСКОМУ

Публикация А. Новака[80*]

В Отделе рукописей Библиотеки Чарторыских при Народном музее в Кракове хранится немало архивных материалов о связях парижского центра консервативно-либерального лагеря польской эмиграции – Отеля Ламбер – с лондонским кругом Герцена, Огарева и М.А. Бакунина за 1861–1864 гг. Из этих материалов особенную ценность представляют автографы деятелей революционной России, обращенные к князю Владиславу *Чарторыскому* (1828–1894), политическому главе Отеля Ламбер, и его сотрудникам. Материалы эти рассеяны по разным фондам и единицам хранения, но большинство из них сосредоточено в так называемом "Домашнем архиве" Чарторыских, который до 1945 г. оставался недоступным для исследователей и даже теперь еще не полностью систематизирован и каталогизирован.

Именно в этом фонде мною были обнаружены автографы трех писем Герцена. Два из них уже напечатаны; третье разысканное мною письмо публикуется ниже. Это, конечно, только часть переписки; многое, возможно, еще удастся выявить позднее...

Сношения Отеля Ламбер с издателями "Колокола" завязались после появления в этой газете серии статей Герцена в защиту Польши и ее национальных прав. Польская эмиграция приняла эти благородные и темпераментные статьи с исключительной признательностью. Этим же чувством проникнут был и престарелый отец Владислава, основатель Отеля Ламбер, Адам Чарторыский (ср. XI, 367). Среди бумаг этого прославленного политического деятеля ни черновика, ни копии письма, адресованного Герцену, обнаружить не удалось. Это объясняется, вероятно, тем, что А. Чарторыский (вскоре умерший) в те месяцы уже не в состоянии был почти ничего писать сам, и можно предположить, что он поручил передать свою благодарность Герцену-сыну, вскоре отправившемуся в Лондон. В. Чарторыский познакомился с Герценом 8 июня 1861 г. (а не в марте, как ошибочно указано авторами "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена" (*ЛЖГ* III, 195)[81*]. Еще до этой встречи, весной того же года, В. Чарторыский обратился к издателю "Колокола" с письмом, в котором просил его выступить с речью на русско-польском митинге. Ответ Герцена был опубликован в 30-томном Собрании сочинений по рукописной копии, снятой с подлинника Н.А. Тучковой-Огаревой, – скорей всего, перед отправлением письма адресату (см. XXVII, 156–157). Дата на этой копии не проставлена, не указан и адресат. Публикаторы Собрания сочинений условно датировали письмо началом (до 6-го) июня 1861 г., а в "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена" оно отнесено к предыдущему дню. В найденном мною автографе точно обозначено *4 июня*. Таким образом, можно считать установленным, что адресатом письма являлся В. Чарторыский. Что же касается текста письма, то он был скопирован Тучковой-Огаревой скрупулезно точно и не нуждается в каких-либо исправлениях или уточнениях.

Установленный между обоими политическими центрами контакт не прервался после первых связей. Они поддерживались, в частности, через членов бюро Отеля Ламбер З. Йордана и Ю. Клячко, о чем свидетельствуют обращенные к Йордану письма Герцена, а также письма Йордана, посланные из Лондона в Отель Ламбер. Позднее и сам В. Чарторыский считал нужным укреплять эти связи – в частности, во время своей очередной поездки в Лондон, где он в конце марта 1862 г. встретился с Герценом.

Третий из автографов Герцена – письмо от 25 февраля 1864 г. – обращено к Л. Гадону (Пораю), одному из деятельных сотрудников Чарторыского. Владея русским языком, Гадон успешно посредничал между Отелем Ламбер и его русским союзником. Это письмо, впервые опубликованное Г. Писарком в "Советском славяноведении" (1969, № 1, с. 73–76), содержит едкий анализ деятельности М.Н. Каткова, ожесточенного и беспринципного политического противника Герцена.

В ряде документов архива Чарторыского – например, в письмах Гадона и другого сотрудника отеля Ламбер – В. Валигорского – встречаются интересные сведения о Герцене – в частности, о еще до сих пор не опубликованных письмах 1863–1864 гг. (письма эти имели преимущественно информационный характер).

Молодые представители Чарторыского в Лондоне исполняли разные посреднические функции через Отель Ламбер и его турецкого агента В. Йордана. При их помощи поставлены были на прочный фундамент сношения Герцена–Огарева с придунайскими староверами и с их главой О. Гончаровым. Герцен не раз обращался к агентам Отеля Ламбер с просьбой пе-

---

[80*] Письмо переведено с французского автором публикации А. Новаком.

[81*] Дата уточняется по письму З. Йордана В. Калинке от 7 июня 1861 г. (Biblioteka Czartorysky, t. 5695, s. 87–90).

реслать книги В.И. Кельсиеву в Стамбул. Отель Ламбер помогал издателю "Колокола" поддерживать негласную связь и с петербургскими корреспондентами газеты, используя традиционный "пакет" князя Чарторыского в курьерской сумке французского Министерства иностранных дел.

Особый интерес представляют совместные действия польских и русских деятелей в Скандинавии (1862–1864). Исследователям этого периода, вероятно, удалось бы выявить в рукописном фонде Библиотеки Чарторыского дополнительные материалы об этой нашумевшей акции.

Отношения между ведущими деятелями Отеля Ламбер и кругом Герцена–Огарева изучаются и польскими и российскими исследователями. В заключительном разделе настоящего тома (кн. 2-я) печатается небольшое письмо от В. Чарторыского, написанное 27 августа 1863 г., т.е. за год с небольшим до письма, публикуемого нами. Идеологические различия и противоречия взяли в 1863–1864 гг. верх над попытками сотрудничества и политического сближения. Но память о совместных усилиях и контактах осталась жить в их памяти. Об этом свидетельствует и публикуемое письмо. Возможно, что Чарторыский откликнулся на выраженное ему соболезнование Герцена, но документальным подтверждением этого мы пока еще не располагаем.

Письмо публикуется впервые по автографу Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps Ew. 937 – Władysław Czartoryski. *Lettres de condoléance* (письма с выражением соболезнования. – *франц.*) – 1864–1865, s. 229.

⟨Montpellier. Le 27 décembre 1864⟩

Monsieur le Prince,

Au moment de quitter Montpellier, je reçois la nouvelle du malheur qui vous a frappé. Appris deux pertes éprouvées par Ogareff, j'accours pour aider à sauver son dernier enfant[1] – et j'apprends votre perte. Un besoin du cœur demande que je m'associe au nombre de personnes qui prennent sincèrement part à la grande perte qui vous est faite. Recevez, monsieur le Prince, l'expression de ma haute considération.

Alex. Herzen

27 déc⟨embre⟩ 1864
Montpellier, Hôtel Nevet

Перевод:

Господин князь,

В момент моего отъезда из Монпелье получаю я известие о постигшем вас несчастье. Узнав о двух утратах, понесенных Огаревым, поспешно приезжаю для спасения его последнего ребенка[1] – и узнаю об утрате вашей. Сердечная потребность заставляет меня присоединиться к числу тех, кто принимает искреннее участие в понесенной вами огромной утрате. Примите же, господин князь, выражение высокого моего уважения.

Алекс. Герцен

27 дек⟨абря⟩ 1864 г.
Монпелье, гостиница Nevet

[1] Речь идет о дочери Герцена и Н.А. Тучковой-Огаревой – Лизе.

Б. ЗАЛЕСКОМУ

Публикация В. и Р. Сливовских[82*]

Бронислав *Залеский* (1819–1880) – польский эмигрант, приятель Т.Г. Шевченко, с которым он вместе находился в ссылке. В 1860-х годах Залеский служил библиотекарем в Историко-литературном обществе (Париж).

Письмо печатается по ксерокопии с автографа *PAN* (Kraków). Впервые опубликовано И. Парви и Р. Сливовским – на языке оригинала и в польском переводе – в "Slavia Orientalis" (1971, N 3, s. 252); факсимильное воспроизведение см. в кн.: Wictoria i René Sliwowscy. Alexander Hercen. W., 1973 (между страницами 480 и 482).

[82*] Письмо переведено с французского Л.Р. Ланским.

⟨Paris.⟩ 10 fév⟨rier⟩ 1865, Grand Hôtel
Boul⟨evard⟩ d⟨es⟩ Capucines

Cher monsieur Zaleski,

Voilà ce que j'ai fait par rapport à votre album[1]. M.F. Szarvady (216, Boul⟨evard⟩ Malesherbes) vous prie de lui donner une note, un petit mémoire, et il l'insérera dans sa correspondance[2]. E. Réclus (4, Batignelles square) fera la même chose[3]. Je vous conseille de le voir. J'ai entendu qu'il y a une édition coloriée – quel en est le prix? Donnez-moi un exemplaire en commission pour montrer à Londres.

Je pense partir à 8 h⟨eures⟩ du soir, mais si le froid sera si intense, je resterai jusqu'à dimanche et je viendrai absolument vous serrer la main.

Votre tout devoué A. H e r z e n

П е р е в о д:

⟨Париж.⟩ 10 фев⟨раля⟩ 1865 г., Grand Hôtel
Boul⟨evard⟩ d⟨es⟩ Capucines

Любезный господин Залеский,

Вот что я сделал в отношении вашего альбома[1]. Г-н Ф. Шарвади (Boul⟨evard⟩ Malesherbes, № 216) просит вас дать ему заметку, небольшой отчет, и он включит его в свою корреспонденцию[2]. Э. Реклю (Batignolles square, № 4) сделает то же самое[3]. Советую вам повидаться с ним. Я слышал, что существует издание с цветными иллюстрациями – какова его цена? Дайте мне один экземпляр на комиссию, чтобы показать в Лондоне.

Думаю уехать в 8 ч⟨асов⟩ вечера, но если холод будет столь же силен, то останусь до воскресенья и, безусловно, приду пожать вам руку.

Всецело преданный вам А. Г е р ц е н

[1] Альбом большого формата, озаглавленный "La vie des steppes kirghizes. Descriptions, récits et contes. Texte et illustrations à l'eau-forte". Par Bronislas Zaleski.

[2] Фридьеш *Шарвади* (Сарвази) – венгерский публицист и переводчик, последователь Телеки. Жил в изгнании в Париже, сотрудничая в ряде французских периодических изданий. В тот день он был в гостях у Герцена (см. XXVIII, 33).

[3] Герцен поддерживал отношения с двумя братьями *Реклю*: Элизе, географом и социологом, и Эли, этнографом и писателем, участником I Интернационала. О ком из них идет речь, неясно. Один из братьев Реклю в этот день также был у Герцена.

ТЕРЕЗИНЕ ГЕРЦЕН

Публикация А. З в и г и л ь с к о г о[83*]

Два дошедших до нас письма Герцена к его невестке *Терезине* (урожденной Феличи, 1851–1927) написаны в дружеском тоне, свидетельствующем о том, что он, наконец, примирился с "неравным браком" сына. Одобрительные отзывы о ней, о ее порядочности, любознательности и усердии в занятиях расположили Герцена в ее пользу, и он, со своей стороны, сделал все, чтобы сблизиться с новым, пока еще инородным членом семьи. Известие о предстоящем рождении первенца-внука, "законного наследника", порадовало Герцена и возродило в его памяти счастливые месяцы, проведенные им с женой во Владимире перед рождением сына Саши, ставшего теперь мужем Терезины.

Тесного сближения с Терезиной в дальнейшем у Герцена не произошло и потому, что жить ему оставалось считанные месяцы, и потому, что Терезина не проявила достаточного внимания и сердечности к Тате, вследствие чего и стала возможна семейная драма, доведшая любимую дочь Герцена до душевной болезни и тем самым ускорившая его конец.

Письма печатаются по автографам личного собрания правнучки Герцена Надин де Медисис (Брюссель). Впервые опубликованы автором публикации А. Звигильским в *LHO*, 84–85.

[83*] Вступительную заметку и письма с французского перевел Л.Р. Л а н с к и й.

1

⟨Nice.⟩ 7 avril 1869. Villa Filippi

Chère Teresina,

Je suis très content de ta lettre[1] – enfin nous avons une langue commune; pourtant tu peux toujours m'écrire en italien – mais moi je répondrai en français[2]. Je viens de lire la brochure d'Alex⟨andre⟩ avec un grand plaisir[3]. Maintenant il doit mettre en pratique sa théorie et rendre "i suoi discendenti superiori... a se stesso". L'éducation et le développement des enfants doit, d'après sa doctrine, jouer le prime ⟨!⟩. Quant à moi, vieux gorille de 57 ans, je n'ai qu'à regarder "con piacere" la seconde génération. Alex⟨andre⟩ peut te lire, chère Teresina, l'histoire de sa naissance dans un volume de mes mémoires[4].

Adieu... Je t'embrasse. Tata sera avec vous le 25. Soignez-moi Thorzevski – qu'un cheveu ne tombe de sa tête[5] – il n'en a pas trop.

Adieu.



ТЕРЕЗИНА ГЕРЦЕН

Фотография. Флоренция, ⟨1869⟩

Музей Герцена. Москва

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 7 апреля 1869 г. Villa Filippi

Милая Терезина,

Я очень доволен твоим письмом[1] – наконец-то у нас общий язык; тем не менее ты всегда можешь писать мне по-итальянски – я же буду отвечать по-французски[2]. Только что я прочел с большим удовольствием брошюру Алекс⟨андра⟩[3]. Теперь ему следует осуществить на практике свою теорию и сделать "i suoi discendenti superiori... a se stesso"[84*]. Воспитание и развитие детей должно, по его учению, играть роль первой скрипки. Что до меня, старой, 57-летней гориллы, то мне только и остается, что смотреть "con piacere"[85*] на второе поколение. Алекс⟨андр⟩ может тебе прочесть, милая Терезина, историю своего рождения в одном из томов моих записок[4].

Прощай... Целую тебя. Тата будет с вами 25-го. Берегите мне Тхоржевского – да не падет с его головы ни один волос[5] – у него их и так не слишком-то много.

Прощай.

[1] Это письмо неизвестно.

[2] Свое письмо (до нас не дошедшее, как и все остальные) Терезина написала по-французски. На изучении этого, тогда международного, языка настаивал Герцен.

[3] Брошюра А.А. Герцена на итальянском языке "О родстве между человеком и обезьянами", изданная во Флоренции в 1869 г. (см. XXX, 76–77).

[4] Имеется в виду французское издание "Былого и дум"; глава "13 июня 1839" (ср. VIII, 380–388; ср. 409–416).

[5] Слова из Библии (*третья книга Царств* – I, 52).

[84*] "своих потомков более выдающимися... чем он сам" (*итал.*).

[85*] "с удовольствием" (*итал.*).

2

(Женева. Между 12 и 14 мая 1869 г.)[1]

Très chère Teresina,

Alexandre m'écrit que le 16 sera ton jour de naissance[2] – je t'embrasse et te félicite. Pour le moment il n'y a rien à désirer – qu'une facile et bonne arrivée du petit futur. Certes, c'est le temps le plus heureux de la vie individuelle – tâchez de le garder le plus longtemps possible.

Oui, je consens de tout mon coeur au nom de *Wladimir* – Wladimir la ville est restée comme une ligne lumineuse dans le lointain de ma jeunesse. Eh bien, qu'il soit *Wladimir*[3]. Ogareff trouve que c'est trop slave – il n'y a pas de mal à cela.

Thorzevski n'est pas encore arrivé. Un pont emporté sur le Luino l'a cloué à Lugano[4].

Dis à Tata que j'ai envoyé la lettre. Embrasse Olga pour moi et garde-toi bien.

Ogareff veut t'écrire et à tout le monde.

Je t'embrasse.

Перевод:

Милейшая Терезина,

Александр пишет мне, что 16-го – день твоего рождения[2] – целую и поздравляю тебя. В данный момент следует желать лишь одного – легкого и удачного прибытия будущего малыша. Конечно, это самое счастливое время личной жизни – постарайтесь же сохранить его подольше.

Да, я от всей души соглашаюсь на имя *Владимир* – город Владимир остался подобно светящейся черте в дали моей молодости. Итак, да будет он *Владимиром*[3]. Огарев находит, что это слишком по-славянски – но в этом нет беды.

Тхоржевский еще не прибыл. Унесенный течением мост на Луино пригвоздил его к Лугано[4].

Скажи Тате, что письмо я отослал. Поцелуй за меня Ольгу и как следует береги себя.

Огарев хочет написать тебе и всем остальным.

Целую тебя.

[1] Письмо датируется по содержанию.

[2] Это письмо А.А. Герцена к отцу неизвестно, как и почти все его письма к нему.

[3] Сын Герцена, родившийся 1 мая 1852 г. и в тот же день умерший, был назван Владимиром. Внук Герцена Владимир родился 18 мая.

[4] В это время в Италии был паводок.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Н.Ф. ПАВЛОВУ
ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ НА КНИГЕ "КТО ВИНОВАТ?"

Публикация Л.Р. Ланского

Надпись сделана Герценом на обложке первого отдельного издания романа "Кто виноват?" (выпущенного в свет как приложение к журналу "Современник"), вероятно, в январе 1847 г. Именно в это время, готовясь к отъезду за границу, он подарил другой экземпляр романа создателю "Философических писем", написав на нем: "Петру Яковлевичу Чаадаеву в знак глубокого уважения от А. Герцена" (XXII, 284). Обращение к Чаадаеву, как мы видим, заметно отличается от "павловского". Автор "Трех повестей", переиздающихся и в наши дни, – *Н.Ф. Павлов*, несмотря редкую по тем временам образованность и литературный талант, не пользовался симпатией современников, отзывы о нем как о человеке почти всегда холодны или пренебрежительны. Холодной кажется и надпись Герцена, но, справедливости ради, следует отметить, что точно такие же лаконичные дарственные надписи Герцен нередко делал на тех книгах, которые с теплым чувством преподносил и любимейшим друзьям.

Экземпляр "Кто виноват?" с автографом Герцена выявлен мною в Центральной научной библиотеке Украинской Академии наук (Киев).

Николаю Филипповичу Павлову.

А. Герцен

ОГАРЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вступительная заметка и публикация
М. М е р в о (Руан)*

Автографы печатаемых стихотворений Огарева хранятся в "амстердамской коллекции".

Судя по реалиям первого стихотворения, выдержанного в той же манере, что и "Мысли Россиянина..." и "Жил на свете русский царь", оно написано еще до крестьянской реформы. Упоминание о Н.А. Милютине, члене Редакционных комиссий с 1859 до 1861 г., и особенно о В.Н. Панине, который, по выражению Огарева, "решал судьбы" крестьян начиная с февраля 1860 г. (когда стал председателем Комиссий), позволяет отнести стихотворение к началу этого года.

Стремление Огарева развеять мифический ореол, окружавший царя, во всем соответствовало революционному варианту его стратегии, который стал вытеснять прежний, "либеральный" вариант. Это жесткая тенденция в значительной мере объясняется заметным соскальзыванием вправо царского "черного кабинета" начиная с сентября 1859 г. Ориентация эта особенно проявилась в назначении Панина председателем Редакционных комиссий. Таким образом, "Пашпорт" принадлежит к тому же поэтическому направлению, что и другие стихотворения Огарева той эпохи, связанные с декабристской традицией (например, "Памяти Рылеева", опубликованное в 1860 г.), где поэт приветствует русскую революцию, волны которой должны, нахлынув "с бешенством погони", повалить конные памятники Николая I и Петра I. Почему же "Пашпорт", выдержанный в разговорной крестьянской манере, остался неопубликованным? Не слишком ли жестоким показалось его содержание – все эти насмешки над иностранным происхождением царя и его окружения, лихоимцев и живодеров? Конечно, нет, поскольку Огарев выпускал противоцаристские стихи гораздо более сильного накала. Не потому ли в таком случае, что он нашел это сочинение не совсем удавшимся или недостаточно отделанным? Настойчивость, с которой Огарев подчеркивает в нем прусское происхождение Александра II (напоминая при этом, что и супруга его – гессен-дармштадтского происхождения), могла не прийтись по вкусу Герцену. Хотя акцентирование немецкого родословия царей уже встречается в поэзии декабристов (например, в стихотворении "Царь наш – немец русский" А.А. Бестужева и Рылеева), тем не менее Герцен отрицательно относился к злоупотреблениям этой антинемецкой тенденцией: не упрекнул ли он Огарева в письме от 15 февраля 1863 г. за слишком частое упоминание о немцах в одной из его статей? (см. XXVII, 291)[2]*.

Второе стихотворение Огарева – короткая эпиграмма, направленная против Аполлона Майкова, – с трудом поддается датированию. Известна другая эпиграмма Огарева (1868), мишенью которой послужил Майков. И в ней высмеивается внешность Майкова, который, по мнению Огарева, мало походил на Аполлона Бельведерского. Публикуемое ниже юмористическое стихотворение менее сурово, чем эпиграмма 1868 г., в которой Огарев безжалостно клеймил стихи виднейшего сторонника искусства для искусства, либерала, превратившегося в панслависта и льстеца самодержавия.

---

* Вступительную заметку перевел с французского Л.Р. Л а н с к и й.

2* Герцен имел в виду прокламацию Огарева – быть может, "Братья солдаты! Одумайтесь – пока время", где обличение "немецких и полунемецких" генералов повторяется как лейтмотив. Верный этой сатирической теме, Огарев в стихотворении "Жил на свете русский царь", написанном в том же 1863 г., трактует русского самодержца как "разнемецкого".

1
ПАШПОРТ

Надо знать нам – кто наш царь,
Всероссийский государь?
Из каких он – по отчизне?
Кто таков по роду жизни?
А ведь иначе сам черт
Не скрепит ему пашпорт.
Не похож он на индейцев,
Потому что из гвардейцев;
Не крутит в шнурочек ус,
Потому и не француз;
Он затем не итальянец,
Что вступает в Сент-альянец[1];
Не довольно гладко брит –
Оттого не гордый бритт;
Не похож он на жапонца[3*],
Загорелого от солнца, –
А меж тем не камчадал,
Хоть умом и запоздал.
Вздор – а хитрая задачка:
Раз – что мать его прусачка[2].
(От нее на весь помет
Так [Берлином] Потсдамом[3] и несет).
А отец какой породы –
И не ведают народы,
Знамо – оный господин
Бабкин внук и Марьин[4*] сын[4].
А затем все шито-крыто –
Сору целое корыто.
Ну! так время не теряй
И на пашпорте валяй:
По отце, мол, неизвестно
(Да и знать совсем не лестно),
А по матери так так –
Родом царь-де [тот] сей прусак
(А внизу – Россия-дура,
Чтоб не вышло каламбура, –
Напиши: ein preussisch Mann[5*],
А не то что таракан[5]).

А род жизни – ну, ей-богу!
Чёрт, пожалуй, сломит ногу, –
Роду жизни вовсе нет,
А уродство или бред.
Он охотник до охоты,
До командованья роты,
Он охотник до всего,
В чем нет толку ничего.
Он охотник до реформы,
Он охотник и до формы,

3* японца (*от франц.* Japonais).
4* По другому списку: сукин
5* прусский муж (*нем.*).

Уважает статский чин
И не бегает от вин;
Понапьется и поплачет,
А проспится – и поскачет...
Скачет в Тулу и в Острог,
Не скидаючи сапог,
А за тем что все без дела,
Так что скука одолела,
Дома ж святость все одна
И дармштадтская жена[6].
У него есть шут Муханов[7],
У него есть друг Баранов[8],
У него есть друг Орлов[9]
Брат есть – тоже птицелов[10].
Брат морской[11], брат инженерный[12]
И историк есть примерный,
Беспримернейший [Медем]барон.
[Крадет до] (Домокрадствует и он.)[13]
Адлербергов целых трое
Одинакого покроя,
Сын копается, бог с ним,
По карманам, по чужим,
А отец, чтоб знать причину,
Все докапывает мину[14].
Есть министр Сухозанет[15],
[Хоть] Но и в этом смысла нет;
Есть Муханов[16], что на Висле;
Горчаков[17] не в здравом смысле.
Есть и умный Горчаков[18],
Да уж что-то не таков.
Муравьев есть по Амуру[19],
А другой сдирает шкуру
С государственных крестьян
В царский да и в свой карман[20],
И хоть охает крестьянин,
А судьбы решает Панин[21]
Государственный доход
Забирается вперед;
Денег нет, Княжевич[22] плачет,
А царь кушает да скачет...
Словом, надобно сказать –
Да и нужды нет скрывать –
Весь род жизни так беспутен,
Не спасет и сам Милютин[23].

Да род жизни... ну его!
Не пиши ты ничего,
А оставь [нуль ⟨?⟩ не]тут место бело
И пиши пониже смело,
В день такой-то, месяц, год
Оный пашпорт сам народ
Государю выдает,
Чтобы в Пруссии родимой
Мог он жить с семьей любимой
И Тимашев[24] бы навек
Был при нем как человек[25],

Чтобы прусское начальство,
Без прижимок и нахальства,
Вольный им дало проезд
По пространству прусских мест,
Чтоб они там поселились
И на Русь не возвратились.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Сент-альянец* (от франц. Sainte-Alliance) – Священный союз. Здесь имеется в виду не общеизвестный Священный союз Австрии, Пруссии и России, заключенный в 1815 г. и распавшийся еще в 1830-х годах, а соглашение России с бонапартистской Францией (1857), облегчавшее последней борьбу с Австрией за освобождение оккупированных ею областей Италии.

[2] Мать Александра II Александра Федоровна (Фредерика-Луиза), дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III.

[3] *Потсдам* – резиденция прусских королей под Берлином.

[4] Отец Александра II Николай I был внуком немки Екатерины II. Мать его (т.е. Николая), вторая жена Павла I, императрица Мария Федоровна, также была немкой, дочерью принца Фридриха-Евгения, находившегося на прусской службе (впоследствии владетельный принц Вюртембергский).

[5] Каламбур: *пруссак* – уроженец Пруссии; *прусак* – рыжий таракан.

[6] Жена Александра II Мария Александровна – урожденная принцесса Дармштадтская, дочь Людвига II, великого князя дармштадтского.

[7] *Н.А. Муханов* – обер-форшнейдер, товарищ министра народного просвещения в 1858–1861 гг.; с 1860 г. – член Главного управления цензуры.

[8] Генерал-лейтенант граф *Э.Г. Баранов* – в прошлом флигель-адьютант Николая I.

[9] Князь *А.Ф. Орлов* – председатель Государственного совета и Комитета министров.

[10] "*Птицелов*" – здесь подразумевается великий князь Николай Николаевич-старший, третий сын Николая I, генерал-инспектор по инженерной части. "Птицеловом" назван он и в обличительных заметках, помещавшихся в "Колоколе" (см. XIV, 304–305; ср. 568), с намеком на его многочисленные любовные похождения и склонность "строить куры" (ср. XV, 28, 174).

[11] Великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал, в 1860 г. председатель Главного комитета по крестьянскому делу, второй сын Николая I.

[12] Великий князь Михаил Николаевич, генерал-фельдцехмейстер (главный начальник артиллерии), четвертый сын Николая I, военный теоретик, автор трудов по стратегии и тактике (см. о нем в XV, 28).

[13] Барон *Н.В. Медем* – военный теоретик, автор трудов по стратегии и тактике.

[14] Графы *Адлерберги*: В.Ф. (отец) – министр императорского двора и уделов. Его сын А.В. – член Главного управления цензуры. *Всё докапывает мину* – намек на Мину (Вильгельмину) Ивановну Буркову, фаворитку гр. В.А. Адлерберга, известную своим лихоимством и не раз высмеянную в "Колоколе".

[15] *Н.О. Сухозанет* – военный министр в 1856–1861 гг.

[16] *П.А. Муханов* – член совета Управления Царства Польского, реакционер, частый объект обличения в "Колоколе".

[17] *М.Д. Горчаков* – наместник Царства Польского с 1856 по 1861 г.

[18] Князь *А.М. Горчаков* – министр иностранных дел.

[19] Граф *Н.Н. Муравьев-Амурский* – генерал-губернатор Восточной Сибири.

[20] Граф *М.Н. Муравьев* ("Вешатель") – министр государственных имуществ.

[21] Граф *В.Н. Панин* – министр юстиции, постоянно обличавшийся Герценом.

[22] *А.М. Княжевич* – министр финансов в 1858–1862 гг.

[23] *Н.А. Милютин* – видный государственный деятель; в 1859–1861 гг. товарищ министра внутренних дел.

[24] Граф *А.Е. Тимашев* – управляющий III Отделением и начальник штаба Корпуса жандармов в 1856–1861 гг.

[25] *Человек* – в данном случае – слуга.

2
МАЙКОВУ

[Перед] Долго в зеркало глядясь,
[Долго] Молча он стоял крестясь.
И [с унынъем] (не без стона)
И, отвесив три поклона,
Вдруг спросил отца и мать,
Как им вздумалося дать
Сыну имя Аполлона?

"СТРАННОЕ ПРОЩАНИЕ". – "РОССИЯ С СИБИРЬЮ"

ОГАРЕВ, Н.А. ШЕВЕЛЕВ И ЖЕНЕВСКАЯ "МОЛОДАЯ ЭМИГРАЦИЯ"

(ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ПЕРСОНАЖА)

Архивно-документальное исследование Л.Р. Л а н с к о г о

1

"ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ ДУХОВНЫХ ХРИСТИАН..." — РЕЦЕНЗИЯ ОГАРЕВА. — ОТЗЫВЫ В.И. КЕЛЬСИЕВА И М.П. ПОГОДИНА. — "МОЛОКАНСКИЙ ШУЛЕР". — В ЖЕНЕВЕ. — СВОДКА АГЕНТУРНЫХ ДОНЕСЕНИЙ. — ФАЛЬШИВЫЕ ПИСЬМА. — "АКУШЕР В ДОНОСАХ" ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫЙ? — ОГАРЕВ И ГЕРЦЕН В СПОРАХ О ШЕВЕЛЕВЕ. — НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА ОГАРЕВА С ШЕВЕЛЕВЫМ. — "ПОСЛЕДНЕЕ РУГАТЕЛЬСТВО". — СКЕТЧ ОГАРЕВА "СТРАННОЕ ПРОЩАНИЕ"

(1865—1869)

В прибавлении к листу 200 "Колокола" от 15 июля 1865 г. появилось – вероятно, по инициативе Огарева – следующее лаконичное объявление:

"Поступило в печать и выйдет через месяц сочинение "ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ ДУХОВНЫХ ХРИСТИАН (обыкновенно называемых М о л о к а н а м и). Просим приславших рукопись адресоваться в Русскую типографию в Женеве, 40, Pré l'Evêque. Цена 2 фр.".

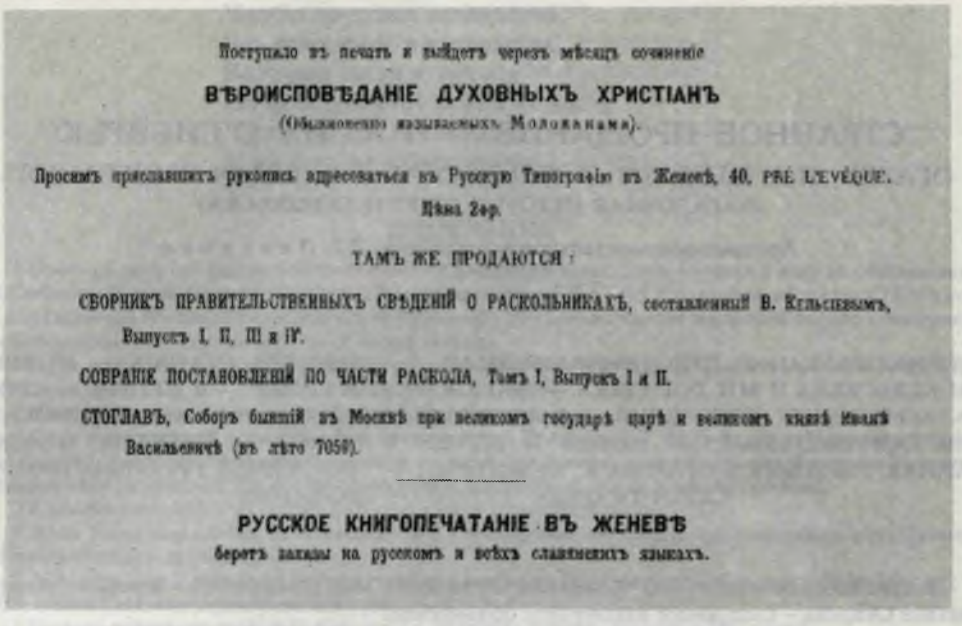
В рецензии на это сочинение, опубликованной на столбцах "Колокола", Огарев сообщал: "Недавно у нас отпечатана и поступила в продажу эта небольшая книжка. Мы не знаем, кто нам прислал рукопись, – но знаем одно, что она писана языком человека, искренно верующего в свою веру. Для нас эта вера дело чуждое; мы напечатали рукопись, потому что для нас дорога́ *свобода совести* – и дать средство людям высказать свое убеждение, которое им высказывать правительственно-полицейски запрещено, мы сочли святой обязанностью. Сверх того, секта, о которой у нас наименее писано, это секта Молоканов[1], и потому это издание, как самое ясное изложение ее убеждений, должно иметь глубокий литературный и общественный интерес"[2]. При этом Огарев выразил мнение, что содержание молоканского учения – "протест против всего внешнего и казенного в религии и против насилия в деле совести и убеждения, а потому не может не возбудить участия в читателях всех сословий"[3].

Проблемой раскола – вернее, вовлечения сектантов и старообрядцев в русло антиправительственного движения – Огарев занимался с начала 1860-х годов. Санкционировав печатание "Вероисповедания..." в Вольной русской типографии, он своими принципами отнюдь не поступился. Недаром одесский товарищ прокурора (затем прокурор) А.О. Ярошевич охарактеризовал брошюру как сочинение "антирелигиозное и антиправительственное"[4].

К этому изданию, по-видимому, не без одобрения отнесся и Герцен: вскоре после выхода брошюры он преподнес ее экземпляр историку М.П. Погодину[5], а в конце того же 1865 г. попросил В.И. Кельсиева похлопотать о продаже книги в Галаце и Тульче (XXVIII, 122–123). Кельсиев ответил ему: «"Молокан" ваших вышлите *мне сюда* в числе 25 экз(емпляров). Теперь зима, много сбыту не будет»[6].

Общепризнанный эрудит в области истории религии, старообрядчества и сектантства, Кельсиев впоследствии заявит в своей "Исповеди": «Кто сочинитель и кто издатель "Исповедания молоканов", дрянной книжонки, вовсе не дающей понятия о молоканстве, и которая, наверно, не молоканами писана, я не знаю»[7].

Что касается Погодина, то о брошюре он отозвался с подчеркнутым презрением. «Перелистовал присланное вами исповедание молоканов ⟨...⟩, – писал он Герцену. – Ну, дадутся же они диву, узнав из этой книжки свое учение, не в пример Мольерову мещанину, проведавшему нечаянно, что он всю жизнь свою говорил прозою, сам не сознавая того. Что это такое? Какой-то катехизис домашнего рукоделия с подкладкою французской энциклопедии под полами и Гегелевой философии в рукавах, – кощунство семинариста, который научился шулерски передергивать текстами. И кого хочет он опоить своим дурманом, которому ясно, что сам не верит ни на грош? Из настоящих молоканов никто и к губам его напитка не поднесет. Какую цель имел сочинитель? Недостойная, омерзительная игра! Вообще, отношения "Колокола" к раскольникам нелепы и доходят до смешного»[8].



Поступило въ печать и выйдетъ черезъ мѣсяцъ сочиненіе

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ДУХОВНЫХЪ ХРИСТІАНЪ

(Обыкновенно называемыхъ Молоканами).

Просимъ присылаемыя рукописи адресовать въ Русскую Типографію въ Женевѣ, 40, PRÉ L'ÉVÊQUE.

Цѣна 2ер.

ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

СБОРНИКЪ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ СВѢДЕНІЙ О РАСКОЛЬНИКАХЪ, составленный В. Кельсіевымъ. Выпуски I, II, III и IV.

СОБРАНІЕ ПОСТАНОВЛЕНІЙ ПО ЧАСТИ РАСКОЛА. Томъ I, Выпускъ I и II.

СТОГЛАВЪ, Соборъ бывшій въ Москвѣ при великомъ государѣ царѣ и великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ (въ лѣто 7058).

РУССКОЕ КНИГОПЕЧАТАНІЕ ВЪ ЖЕНЕВѢ

беретъ заказы на русскомъ и всѣхъ славянскихъ языкахъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ АНОНИМНОЙ БРОШЮРЫ "ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ ДУХОВНЫХ ХРИСТИАН..."

(ЖЕНЕВА. РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ. 1865)

Прибавление к листу 200 "Колокола". 15 июля 1865 г.

Не раз высказывалось предположение, а чаще всего утверждалось, что автором "Вероисповедания..." был Николай Александрович *Шевелев*[9], странный субъект, вне России выдававший себя то за пропагандиста молоканского учения, то за революционера, то за приверженца официальной церкви. Но вряд ли брошюра была написана им – по крайней мере, он себя ее автором не называл и впоследствии признался, что с молоканским учением ознакомился понастоящему уже после выхода в свет "Вероисповедания..." – и только для того, чтобы рассеять подозрение, будто он "не настоящий молоканин".

В Женеву Шевелев приехал в августе 1867 г. и вначале показался Огареву довольно симпатичным человеком – без сомнения, потому, что представился жертвой правительственных репрессий, узником, бежавшим из Петропавловской крепости. Многое, однако, в речах и повадках этого "молоканского квакера" настораживало женевскую колонию. Его внезапное появление вызвало у революционных эмигрантов подозрения, тем более обоснованные, что после неудавшегося покушения Д.В. Каракозова на Александра II (1866) в Женеву, Цюрих и другие зарубежные эмигрантские центры вместе с "бегунами" демократической России стали проникать агенты III Отделения – для слежки и провокаций: вспомним хотя бы агента-виртуоза А.Ф. Романна- (Н.В. Постникова – кстати сказать, личного знакомого Шевелева[10]): он сумел обвести вокруг пальца Герцена, Огарева и их окружение, выманив в 1869 г. для царя ценнейший противоправительственный архив князя П.В. Долгорукова.

М.К. Элпидин позднее вспоминал: "В 1867 г. является в Женеву некто Шевелев под именем эмигранта, будто бы сидевшего и бежавшего из Петропавловской крепости. Вглядевшись попристальнее, я сейчас (же) узнал, что это ташкентец из III Отделения (приметы его: 46 (!) лет[11], брюнет, росту с Германа[12], на рыле передних зубов нет, глаза бегающие и вечно ищущие чего-то). Иду оповестить в герценовскую типографию об этом ташкентце. Меня не только высмеяли они, даже передали Шевелеву, что я предупреждал их об нем. Чем же, вы думаете, кончилось? – Да просто тем, что Огарев с ним сдружился. Бакунин раздружился с ним только тогда, когда все стали хохотать под нос, что он революционизирует III Отделение. Огарев же остался при убеждении, что Шевелев молокан – так, как та бестия назвалась им[13]".

Как мы увидим, далеко не все в этой "ретроспекции" соответствовало подлинным фактам. Сам Шевелев признавался, что революционные эмигранты вначале отнеслись к нему с подчеркнутым недоверием и только позднее стали видеть в нем – и то ненадолго – "агента русских молокан", "имеющего дорогу в Россию", "человека со средствами", способного содей-

ствовать соединению двух пропаганд – сектантской и революционной, а также финансировать мероприятия "общего дела". Вот почему перед поездкой Шевелева в Россию Элпидин не только снабдил его поддельными паспортами, но и печатями и адресами...

В письме к Лаврову Элпидин охарактеризовал Шевелева как "ташкентца". Этот термин, введенный в литературу и публицистику М.Е. Салтыковым-Щедриным после завоевания Средней Азии[14], надолго вошел во всеобщий оборот как символ безудержного хищничества, мародерства и авантюризма[1*]. Есть определенная закономерность в том, что Шевелеву позднее пришлось попасть в поле зрения автора "Господ-ташкентцев" и стать прототипом нескольких колоритнейших персонажей его романа-фельетона "Дневник провинциала в Петербурге"[15].

Огареву хотелось верить, что его новый знакомый – вполне порядочный человек. "Что за глупая клевета на молокана в шпионстве! Тени подходящего нет – это наивный фанатик", – писал он Герцену, имевшему самое смутное представление о появившемся в их круге субъекте[16]. Шевелева Герцен до того никогда не видел, но в нем взыграл – и небеспричинно – инстинкт самосохранения, которого начисто лишен был его чрезмерно доверчивый друг. Поэтому автор "Крупова" категорически заявил, что ни в какие сношения с "молоканом" вступать не намерен и Шевелева не примет, если тот вздумает навестить его в Ницце, где жила жена "молокана" и куда по временам наезжал он сам.

Решение это Огарев пытался поколебать.

"Молок⟨ану⟩ не запирай двери: он кажется сомнителен, а между тем вероятнее, что он только сумасшедший, но может быть и полезен", – взывал он к Герцену (письмо от 21 января 1868 г.)[17]. И через несколько дней: "Напрасно ты не хочешь принять Мол⟨окана⟩. Мы с ним больше познакомились; он сумасшедший и фанатик, но остальное всё вздор. – Черн⟨ецкий⟩ имеет от него работу. – Я имею статью, о которой еще припишу[18]. Болтать с ним я много не стану, и сам он не болтлив; но отталкивать его было бы глупо"[19].

Насколько Шевелев был "не болтлив", Огареву вскоре пришлось убедиться – и самым горестным образом. Пока же имя "проблематичного человека" на несколько месяцев исчезает из писем соиздателей "Kolokol" – и не потому, вероятно, что они перестали обмениваться мыслями о загадочном сектанте, а по совсем другой причине: почти все письма Огарева к Герцену и многие письма Герцена к Огареву за это время до нас не дошли. Впрочем, в течение трех с половиной месяцев Шевелева в Женеве и не было. Вот что отмечено в зарубежной агентурной сводке III Отделения 12 февраля: "Показавшийся в Женеве бежавший из России Николай *Шевелев* выехал на днях чрез Италию в Константинополь в сопровождении жены и двоих детей, неожиданно прибывших из С.-Петербурга ⟨...⟩ Шевелев нанял в Женеве небольшую квартиру, что доказывает, что он намерен туда возвратиться, что очень не понравится *Огареву* и его компании, которые обрадовались его отъезду. – Шевелев, в бытность в Женеве, был очень дружен с одним тайным агентом австрийского правительства, некоим *Делаво*, из польских уроженцев". Под датой 24 мая в том же документе отмечалось: "Возвратился в Женеву из Тульчи и Галиции молокан *Шевелев*. Он рассказывает, что занимался там религиозною пропагандою; что был с некоим *Рожицким* из Польши у графа *Голуховского* по делам этой пропаганды и что донские казаки, находящиеся на русской границе близ Тульчи, занимаются, между прочим, провозом в Россию запрещенных сочинений". Далее прибавлено: "Шевелев отправился с женою в Saxon-les-Bains[20]".

В письме Герцена к Огареву от 26 мая мы находим следующую раздраженную реплику с упоминанием о Шевелеве: "Чернец⟨кого⟩ брани и ругай. С Молоканом безобразие..." (XXIX, 346; ср. 359).

Недовольство Герцена, скорей всего, было связано с неудачами в печатании Чернецким в женевской Русской (Вольной) типографии анонимной брошюры "Землеописание для народа", выпущенной на средства Шевелева. С этой книжкой связан один важный факт творческой биографии Огарева, только теперь становящейся известным благодаря настоящей публикации (см. ниже).

Под датой 19 июня в той же сводке агентурных данных о Шевелеве мы находим следующее упоминание: "Мнимый молокан *Шевелев* уехал в Вену; во время пребывания своего в Женеве он находился в сношении с некоторыми поляками и италиянцем *Маледжи*, долго проживавшим в Одессе. Шевелев, вероятно, вернется в Женеву, т.к. жена его там осталась"[21].

Чтобы заставить женевских эмигрантов принять всерьез его антиправительственную деятельность и в то же время подчеркнуть интенсивность направленных против него полицей-

---

[1*] В быту ташкентцами нередко называли шпиков. В таком смысле, может быть, и употребил здесь это слово Элпидин.

ских мер, Шевелев собственноручно фабрикует грубую фальшивку – письмо к себе от имени жены. Вот что прочли или могли прочесть Огарев, Бакунин, Элпидин и другие "женевцы" о "колоссальной" роли Шевелева в общественно-религиозной жизни России:

"1868 года, 25-го ⟨июля⟩/6 августа

Милый мой друг Николай!

Не понимаю, что с тобой делается в Песте!..[22] и как на тебя до сих пор смотрят... Я получила письма от наших[23] из Кавказа, Крыма, Москвы и Самары – все в один голос говорят, что тебя везде ищут у наших, на Кавказе и в Крыму много арестовали, за то, что они тебя принимали в прошлом году с триумфом[24], я тебе говорила, не доверяйся ни Предводителю, ни Исправнику, они молчали, а как дело коснулось их личностей, всё открыли, и деньги пропали, и все открыто, и сколько еще будет несчастий; в Крыму производит следствие жандарм Оглоблин из Москвы. Самарский Светов советует тебе ехать на Стокгольм и Або, где встретит тебя его зять Водов... Кельсиев, друг Герцена, продолжает подличать и против нас, и против раскольников; затем, как пишут наши, по ходатайству Каткова, ⟨он⟩ получил Станислава. Теперь, как пишут, Кельсиев с Катковым и Аксаковым хотят сделать зимою облаву на наших в Нижнем и Перми, но все уже скрыто, не опасайся, ради бога, не задерживайся долго в Песте, чтобы тебя морозы не захватили; если нет инженера, поезжай один... Боже! Боже! Я мучусь, я страдаю, это не жизнь, а каторга. Депешу твою я получила и сейчас же написала в Москву о подробностях выстрела в Томске; наши неспособны на это, это что-нибудь не так... Мамаша и братья просят, умоляют тебя не рисковать, а быть благоразумнее. Еще раз умоляю тебя, не оставайся долее в Песте, милый мой друг, спеши ехать, успокой нас всех, за это время я совершенно измучилась... Прощай, мой милый Ангел, несчетно раз целую тебя и благословляю... Остаюсь любящая тебя и думающая о тебе каждую минуту твоя"[2*] [25].

Нужно ли пояснять читателям, что все "реалии" этой фальшивки представляли собой чистейший блеф? 10 мая 1872 г. в ответ на запрос одесской Судебной палаты управляющий III Отделением А. Шульц сообщал, что упоминаемые в этом "письме" Самарский, Светов и Водов – личности, III Отделению неизвестные, и что "никакой переписки о производившемся будто бы в Крыму жандармским офицером Оглобжио (!) следствии, к которому прикосновенен был ⟨...⟩ Шевелев, не было"[26].

С начала 1869 г. Шевелев стал особенно интенсивно посещать Огарева и подолгу у него засиживаться. Хозяин дома, любитель уединения и сосредоточенной мысли, изнемогает от неутолимого словоблудия своего неотвязного визитера.

26 февраля, захваченный Шевелевым врасплох, Огарев вынужден на весь день прервать свои занятия. Писавшееся в этом время письмо к Герцену обрывается на втором абзаце. "На оном пункте вчерашнего письма меня прервал Шев. и просидел целый день (моя невозможность выходить теперь[27] меня лишает средства отделываться от людей). Он очень зол на тебя, потому что будто бы ты Клапке (который в Ницце) говорил, что он, Ш., – шпион, что Клапка об этом писал в Венгрию, где он был и имеет много дела[28], и т.д. – Он тут находит, что ты отсутствие всяких фактов выставляешь доказательством и что это преступно. – Потом он сердится на Тх⟨оржевского⟩ и на Бак⟨унина⟩[29]. (Тут разные причины)"[30].

"Кто Шев. – не знаю, – растерянно отозвался Герцен 1 марта, – (что за мания писать фамилию вкратце), догадываюсь, что речь идет о Леливе[3†]. Но самое лучшее в том, *что я Клапку не видал и не хотел видеть, к нему не писал, не телеграфировал и ни одного венгерца не видел также* и после выезда из Швейцарии имени Леливы не упоминал. Ergo[3*], что это за новая гадость? Пусть же этот господин (шпион он или нет – все равно) назовет, кто ему сообщает унгарские[4*] утки. Это скучно и гадко. Однако кто ж Шёв.? Пожалуйста, впредь дописывай фамилию" (XXX, 47).

"Эк! тебя прорвало – смешать Шевелева с Леливой! – досадливо отвечал Огарев 5 марта. – Разве забыл квакера, который печатал брошюру, заказанную Мечникову[32]? Рассчитался он со всеми честно. Книги в ход не пустил; жалуется, что она для народа слишком мудрено написана. Жалуется, будто там сказано, что освобождение крестьян произведено нами и что это русских очень сердит. Я уверен, что он не шпион, но он немножко тронут или никогда не мог сложиться мозгом. Написал венгерскую брошюру, которую здесь венгерцы чрезвычайно хвалят, выставляя ее как произведение, совершенно социальное[33]. Я не мог никого найти – кто бы мне ее прочел texte en regard[5*]. Если у тебя есть знакомый венгерец – пожалуй, пришлю[6*]. Он уверяет, будто

[2*] *В автографе нижняя часть "письма" – вероятно, с припиской – оторвана. На обороте:* Шевелеву.

[3*] Следовательно (*лат.*).

[4*] венгерские (от *нем.* ungarische).

[5*] *Здесь*: сразу же переводя (*франц.*).

[6*] *В тексте "Лит. наследства", вероятно, опечатка*: пришли. – *Л.Л.*

Клапка сообщил в Венгрию, что от тебя о нем слышал, что он шпион; чрезвычайно этим оскорблен и говорит, что его уже в Венгрии настолько знали, что этому не поверили и это ему не повредило. Теперь, насколько он врет или не врет, – за это ручаться не могу, потому что у него в языке есть что-то похожее на водоворот или на мельницу; но все ж шпионских замашек нет ни малейших. Живет он не в Женеве, очень уединенно[34] – и если уж на что смахивает, то, скорей всего, на контрабандиста! Вот тебе и отчет об Шевелеве. Но все же он мне кажется добрым человеком. О том, что ты Клапки не видал, я ему напишу завтра и спрошу, от кого он это слышал"[35].

"Шевалева (!) я по фамилии не слыхал, и это только тебе упрек писать фамилии просто, – откликается Герцен. – Извиняться перед ним не нужно – не стóит. – Об нем я с разговора в Женеве с Мечник(овым) (два года назад) ни слова не говорил".

«Но отчего ж и он "добрый человек?"» – иронически осведомился в заключение Герцен, так и не сумевший привыкнуть к прекраснодушию своего alter ego (XXX, 55).

Огарев написал "квакеру", но не на следующий день. До сих пор письмо это известно не было. Я разыскал его в следственном деле Шевелева. Нельзя не отметить в этом документе одну забавную черточку: несмотря на крайнее недовольство назойливыми посещениями Шевелева, Огарев в то же время просит "не забывать" его, т.е. почаще навещать. Письмо заканчивается общепринятой тогда словесной формулой: "Преданный вам", которую понимать буквально, конечно, нельзя, но в то же время это словосочетание не исключает и подобной трактовки.

Письмо датировано: *9 марта, вторник*:

"Виноват, любезный Шевелев, послал вам мою брошюру[36], а надписал Canton de Vaud – вместо Valais; поэтому посылаю другой экземпляр по настоящему адресу. Я вашу брошюру получил[37], но никого не могу найти, чтоб прочесть ее в самом деле. Прежнюю тоже получил[38], по свидетельству Чернецкого; но где она у меня, никак не отыскал до сих пор. Он перевести не может; должно быть, я о прежнем получении потому и забыл, что никто не мог мне перевести ее. Во всяком случае, один экземпляр пошлю Герцену; может, там кто найдется. От него же получил письмо, что он Клапки вовсе не видал (и ни)[7*] с кем об вас не говорил. Следственно, видите, что все это вздор, который не знаю, кто вам изобрел, – и принимать такой вздор и из-за этого становиться в позицию мести – да будет вам стыдно.

Засим прощайте. Будете в Женеве, нашего брата – больного старика – не забывайте.

Преданный вам
Н. О г а р е в"[39]

Ответ Шевелева отыскан мной в "пражской коллекции":

«12 марта 1869, г. Мартиньи

Многоуважаемый Николай Платонович!

Благодарю вас за оказанное вами мне внимание – обе брошюры[40] и ваше письмо получил третьего дня... Где путешествовала первая так долго, трудно сказать.

Что распускают обо мне грязные вещи – это не новость... Кто этим занимается и для какой цели, я, право, не понимаю. Да и кому я перешел дорогу?.. Но, во всяком случае, я чрезвычайно недоволен собой, что мог поверить обо мне дурно Александр Иванович. Мы совершенно незнакомы, quod super nos, nihil est ab no(bi)s[8*].

Посылаю вам "Gazette de Lausanne", № 67. – Поверить этой утке чрезвычайно трудно, но грустно читать подобный вздор, изобретение, вероятно, Кельсиева, Краевского, Каткова и К°. – Я бы просил вас, если это возможно, опровергните печатно эту нелепость[41].

Чрезвычайно грустно видеть имена ваши, уважаемые в России, до сих пор поставленными рядом с именем Кельсиева, презираемым всеми... Нет почти человека, не исключая даже самого Краевского, который бы сказал что-нибудь порядочное об этом пьянице, я уж не говорю об наших гг. раскольниках.

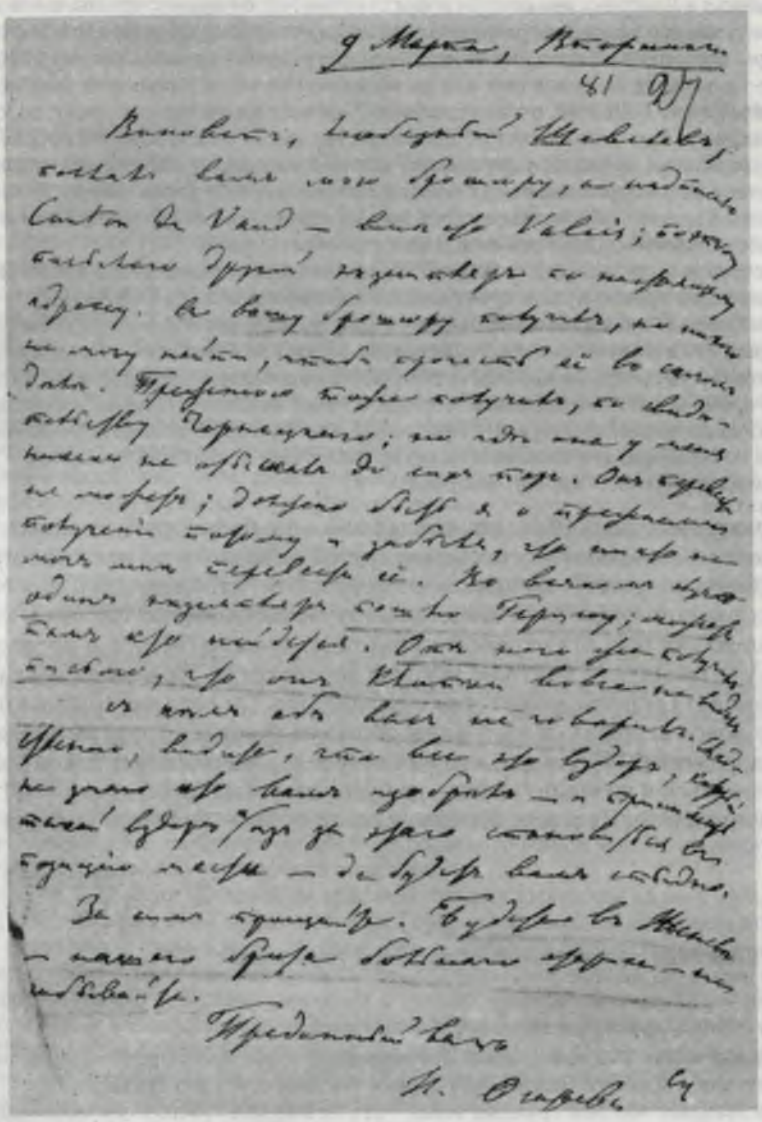
Какая черная судьба в прошедшем могла сблизить вас с этой помойной личностью?

Нет ли у вас каких-нибудь сведений по делу о купце Плотицыне (главе скобческой (!) секты)[42], я уже целый месяц из России не имею ни строчки, – это меня страшно беспокоит, – если есть что-нибудь, напишите мне.

Глубоко уважающий вас Николай Ш е в е л е в.

7* Текст поврежден. – *ЛЛ.*

8* Что выше нас, пусть ничего (не говорит) о нас (*лат.*).



ПИСЬМО ОГАРЕВА Н.А. ШЕВЕЛЕВУ

Автограф. 9 марта (1869 г.)

Государственный архив Российской Федерации, Москва

Свидетельствуйте мое почтение m-rs Sutherland.

P.S. Прочтите, пожалуйста, если у вас есть свободное время, "Le Chroniqueur" 7 марта 1869 г., № 205, передовую статью "Nos Russes"»[43].

Огарев ответил (также в не известном до сих пор письме):

(Женева.) 14 (марта). Воскресенье

"Любезный Шевелев!

Благодарю вас за Лозаннскую газету и подумаю, где на эту штуку (очевидно, идущую из Петербурга), отвечать, или вовсе не отвечать – потому что она слишком гадка. Но это еще увидится. Пока вот вам как-то попавшиеся мне под руку мои старые стихи,

давно уже адресованные "Норду"[44] (издаваемому, как вам известно, – Поггенполем):

В Норде, сквозь все тонкости
Языка французского.
Так вот так и чувствуешь –
Погань поля русского.

Я хвалю за оное
Царскую полицию,
Третье отделение
Нужно за границею[45].

Ну! а что же в самом деле с эдакой грязью спорить? Кроме оплеухи, ничего не найдешь!

Но все же я вам скажу, что ваше мелконькое озлобление против Герцена навеяно вам какой-то чужой завистью, и я в его враге не могу увидеть ничего иного, как врага собственного. Я с Герценым с 12 лет в такой дружбе, как теперь, и знаю его побольше, чем вы все его знаете. Поэтому я все больше ничего не могу вам сказать, как что ваше озлобление против него для вас наихудший стыд.

Преданный вам Н. О г а р е в.

M-rs S⟨utherland⟩ вам кланяется и благодарит за память"[9*] [46].

Несмотря на сильную антипатию, возбуждаемую Шевелевым, нельзя за него в данном случае не вступиться: в публикуемых письмах он Герцена не хулил.

И "молоканин" оправдывается:

"Мартиньи, 18/6 марта

Многоуважаемый Николай Платонович!

Ваше последнее письмо меня чрезвычайно удивило, откуда вы взяли, что я враг Александра Ивановича и вследствие этого враг и ваш? Я этого никак понять не могу.

Могу ли я принять так серьезно и близко к сердцу оскорбление ваше – я бы радовался этому – так только поступают люди сочувствующие, а не враги. Вы для нас[47], Николай Платонович, слишком много сделали, чтобы мне становиться с вами господу в оппозицию.

Издаваемое вами в Лондоне "Вече" у нас переписано чуть ли не в 5000 экземпляров.

Ваши имена слишком священны для нас, чтобы я мог хоть на одну минуту сделаться вашим врагом. – Этого Вседержитель мне не простит, – да и нашим очень и очень будет неприятно.

Спаси господи вас от подобной мысли! Верьте мне, что я более нежели сочувствую вам.

Н. Ш е в е л е в"[48]

Огарев не оставил без ответа и это письмо, о чем свидетельствует сохранившийся конверт с адресом, написанным его рукой (подшит к следственному делу[10*] – самое же письмо остается неизвестным)[49].

22 марта Огарев сообщал Герцену: "Еще вчера хотел к тебе писать, но с обеда и до ночи были гости. Тх⟨оржевский⟩, потом Шевел⟨ев⟩. – Шев⟨елев⟩ остается странною личностью ⟨...⟩ но не могу я его заподозревать, как другие господа; он мне скорее кажется торгашом. Он был вчера с 4-летним сыном, очень милая русская физиономия[50]. А, впрочем, черт его знает; а разузнать постараемся"[51].

И через три дня: "Все эти дни не писал, потому что ждал кой-кого ⟨...⟩ то мешал этот дурак Шевелев, приходивший за советом, как и где ему давать ответ по делу об огромном фальшивом завещании в России, при котором он был свидетелем и может дать все показания (говорит, что дело страшного варварства). Он вызван здесь для ответа[52]. Но он ужасно много врет – и, мне кажется, что он должен быть помешан и что у него что-нибудь неловкое в жизни. Тебя он, действительно, не знает, но только знает в лицо, потому что Строганов тебя ему показывал на железной дороге. Если бы случилось, что этот Шев⟨елев⟩ к тебе явится в Ниц-

---

9* *На конверте*: Canton du Valais, m-r Schévéleff, P ⟨oste⟩ Martigny. P⟨lain⟩ Pal⟨ais⟩. Martigny.
Почтовые штемпели: Genève. 14. III. 69. VI и Martigny. 15.3.69.

10* Monsieur Chévéleff (au second) en ville ⟨господину Шевелеву (на третьем этаже) в городе⟩ (*франц.*)).
Почтовый штемпель: «Genève. 22 mars. 69.9 M.[49]»

цу, то прими его так, что тебе некогда, и, если он не уйдет, то уйди сам и уведи и брось его где-нибудь, ибо скука невыносимая, и нашему брату – которому уйти нельзя[53] – ужасно трудно отделаться от продолжительности визита; а говорит этот господин всякую чушь без умолку. Что он такое – я решительно определить не могу. Поступают с ним все ужасно глупо. Доказать, что он был шпион, – нельзя; довести подозрение до его сведения, – было совсем нелепо. Я думал, что все это канет в озеро[54], потому что он сегодня уезжает (дети у него маленькие, жена – родственница покойника Касаткина и Солдатенкова[55]). Если тебе случится, что́ об нем узнать, – недурно бы было; надо же causa sufficiens[11*], чтоб его отбоярить, – иначе это нехорошо и бесчеловечно; а якшаться с ним утомительно"[56].

В ответном письме от 27 марта Герцен восклицал: "И зачем ты не гоняешь всякую сволочь, как Шев⟨елев⟩. Я его больше разу не допущу, да и то вряд ли – он меня вовсе не интересует. Прошу ему рекомендации не давать" (XXX, 69)[57].

Огарев писал свое письмо 25 марта, уверенный в том, что на следующий день Шевелев уедет из Женевы. Но отъезд "молокана" продолжал откладываться.

В уже цитированной сводке донесений о Шевелеве приводится еще один факт, датированный 4 апреля 1869 г.: "Неоднократно поименованный уже молокан *Шевелев* возвратился в Женеву с женою; при нем находится какой-то русский по имени *Гаркушевский*. Как тот, так и другой ведут жизнь скромную"[58].

Это донесение явно запоздало: о приезде Шевелева Огарев сообщил Герцену еще 22 марта.

5 апреля он снова пишет своему другу: "Я запер в столовой ставню от Шевел⟨ева⟩, чтоб он меня не увидал и чтоб можно было сказываться больным"[59].

И 7 апреля: "О Шевелеве все хуже слухи: я от него отделываюсь болезнию. Пожалуй, прими его (если он поедет в Ниццу) осторожно, на короткое время для проверки; или вовсе не пускай, как хочешь"[60].

После долгих попыток защитить Шевелева от "сплетен" Огарев под конец утверждается в мысли, что его "молокан" действительно шпион.

12 апреля Шевелеву удалось наконец прорваться к своей жертве. Внезапное появление настырного "квакера" произвело на Огарева, надо думать, впечатление влетевшей в комнату шаровой молнии. Чуть ли не впервые в жизни автор "Юмора" заговорил в не присущей ему манере – грубо, язвительно и жестко. Узнав от Шевелева, что тот наконец покидает Женеву, патриарх русской эмиграции несколько смягчился и даже позволил облобызать себя на прощанье.

"Вчера же вечером я поругался с Шевелевым, который меня полчаса с лишком промучил, так что я долго не мог успокоиться, – сообщал он Герцену, – думал даже, что буду болен, но при чудеснейшей погоде с рук сошло ⟨...⟩ Также уж сегодня к вечеру приготовлю сцену моего ругательства с Шев⟨елевым⟩. Надо хорошенько припомнить. Это до такой степени было смешно, что я после, когда поуспокоился, хохотал до упаду – т.е. в кресло, а не в обморок". Скаламбурив, Огарев добавляет: "Во всяком случае, теперь просьба: ты этого господина, если б он явился[61], к себе вовсе не пускай"[62].

Так возник печатаемый ниже "скетч" (это жанровое определение принадлежит не Огареву, а автору публикуемой работы, но, кажется, оно вполне подходит к этим шутливым сценкам, лишенным главных атрибутов "настоящей" комедии. В то же время перед нами отнюдь не "стенографическая" запись курьезного словообмена, а своеобразный творческий документ – без всяких, впрочем, претензий на "художественность"). Биографический и психологический интерес этих эпизодов, впервые появляющихся в печати, несомненен. Он еще усиливается от того, что сценки писались специально для Герцена, были им прочтены и прокомментированы.

Свою "забавную сцену с Ш⟨евелевым⟩" Огарев собирался закончить и отправить Герцену на следующий день, т.е. 14 апреля, но сделать этого не успел, завершил ее только 18-го тотчас же выслал в Ниццу[63].

Воспроизводимый ниже черновой текст, написанный карандашом, сохранился в одной из записных книжек Огарева (*РГБ*), и, вероятно, именно с него была снята копия, отправленная Герцену. Первоначальное (недописанное и зачеркнутое) название пьески было: *Старый эмигрант и*[12*].

11* достаточный повод (*лат.*).

12* Реплики действующих лиц и авторские ремарки "Странного прощания" оформлены в настоящей публикации по правилам, принятым для драматических произведений. *Л.Л.*

СТРАННОЕ ПРОЩАНИЕ

Действующие лица:
Нервозный, старый русский эмигрант.
Безмолóкан[64], подозрительный господин, выдающий себя за раскольника.
Хозяйка эмигранта.
Девочка в услужении.

Сцены в комнате эмигранта в Женеве

Сцена 1-я

Нервозный, *один, думает про себя (обыкновенно это называется монологом "в сторону")*: Как сегодня хорошо посидеть у окна! Что за закат солнца за горы; что за воздух! Просто можно отдохнуть под старость лет. Счастливо, что она уж два раза не пустила ко мне этого дурака Безмолокана. Черт его знает, что он такое! Шпион, контрабандист или просто скотина, но все же его пускать опасно. Он же имеет привычку, раз взошел, – его ничем не выживешь. Положим, мне его жаль. Он ей сказывал, будто у него жена выкинула[65]. Но что ж мне с этим делать? Ведь я не повивальная бабка. Ну! а если он в самом деле акушер в доносах? ну его! Если не совершенно вреден, так, наверно, ни на что не годен, кроме наведения неизмеримой скуки.

Сцена 2-я

Кто-то стучит в дверь.

Нервозный. Entrez[13*].

Входит Безмолокан.

Нервозный остается в оцепенении; оба смотрят друг на друга несколько минут молча.

Нервозный. Как вы прошли?

Безмолокан. Я прошел через кухню. Никого не было, кроме девочки. Говорит, вы дома – я и прошел.

Нервозный. Да почему же вы не послали ее спросить, что́ я делаю. Вы знаете, я человек больной.

Безмолокан. Меня уже два раза к вам не пустили; говорят, вы больны. За что вы на меня сердитесь? Что вы против меня имеете? Кто еще что на меня наговорил?

Нервозный. Никто ничего не говорил; но я теперь и занят и бóлен, и вы мне мешаете. Вот и все.

Безмолокан. Нет! Вы скажите – что́ против меня имеете? Без суда обвинять нельзя.

Нервозный. Говорю вам, ничего не имею, а если б и имел, объяснять ничего не стану. Мне некогда, и я нездоров. Чего ж вы еще хотите?

Безмолокан (*вскакивая со стула*). Вы знаете, у меня жена выкинула.

Нервозный. Сказывали.

Безмолокан (*повышая голос*). Вы этого не понимаете: у меня жена выкинула и лежит в постели. У меня голова идет кругом.

Нервозный. Совершенно понимаю, да чем же я могу ей помочь?

Безмолокан (*крича*). Нет! вы скажите, что против меня имеете?

Нервозный. Да что ж это вы кричите, черт возьми? Это уже вовсе несносно. Что вы меня осаждаете в моей комнате? Я вам говорю: мне некогда, а вы не уходите.

[13*] Войдите (*франц.*).
Далее зачеркнуто: Мой друг, моя хозяйка.

Безмолокан (*тихо*). Помилуйте! Я не кричу и не осаждаю. Я хочу знать, кто вам на меня наговорил? Что вы против меня имеете?

Нервозный. Я вам говорю, я занят и болен. Чего ж вам еще надо?

Безмолокан. Как же вы заняты, если вы больны?

Нервозный. Положимте одно другому мешает? Тем хуже! Я больше хочу быть один. Понимаете?

Безмолокан. В чем же вы меня обвиняете?

Нервозный. Я вам уже сказал – я занят и болен и объясняться не стану.

Безмолокан (*сквозь слезы*). Боже мой! Если я всех восемьдесят толковников[66] призову – и они мне не объяснят, что́ это такое.

Нервозный. И не зовите их, я их не пущу. У меня для них места нет. А растолкуют они вам или не растолкуют – это для меня не касается.

Безмолокан. Но ведь я от вас уйти не могу.

Нервозный. Это как? Ночевать, что ли, хотите?

Безмолокан. Нет! Мне у вас надо спросить совета.

Нервозный. Какого совета?

Безмолокан. Я хочу печатать книгу[67].

Нервозный. Ну и печатайте!

Безмолокан. Как же я стану печатать без вашего совета?

Нервозный. Печатали же свою венгерскую брошюру[68] без моего совета – ну! и эту печатайте без моего совета.

Безмолокан. Это по делу Плотицына[69].

Нервозный. Что же я в нем особенного могу знать?

Безмолокан. Вы в наших делах больше моего понимаете.

Нервозный. Оставьте меня в покое с вашей пошлой лестью. Как вы до сих пор не знаете, что вы меня этим не подкупите?

Безмолокан. Я вас не подкупать хочу; мне нужен ваш совет. Я завтра еду.

Нервозный. Не стану я вам давать советов. Говорю вам, я болен.

Безмолокан. Я и не знал, что вы так часто бываете больны.

Нервозный. От этого мне не легче.

Безмолокан. Я думал, вы больны раз в год или раз в месяц[70].

Нервозный. А может, и чаще. Вам что до этого?

Безмолокан. Но в какое же время дня вам бывает легче, чтоб я мог прийти?

Нервозный. На что это вам, если вы завтра едете?

Безмолокан. Я бы не уехал. В какое же время дня вы бываете здоровы?

Нервозный. Перестаньте меня допрашивать.

Безмолокан. Боже мой! За что вы меня не любите? Я вас люблю, как отца родного[71].

Нервозный. За то и не люблю, что вы постоянно о чем-нибудь да допрашиваете.

Безмолокан. А я завтра еду и, вероятно, погибну и никогда вас больше не увижу!

Нервозный. Ну и поезжайте!

Безмолокан (*сквозь слезы*). На кого же я жену мою оставлю?

Нервозный. Что же я могу для нее сделать?

Безмолокан. Она выкинула и лежит в постели.

Нервозный. Чем бы я мог быть ей полезен? Вы знаете, я даже не выхожу из дома. Но если бы ей в самом деле что́ понадобилось, пусть ко мне напишет, и, если я что могу, я вам обещаюсь, что исполню.

Безмолокан. Зачем же все писать? Отчего же ей просто к вам не приехать?

Нервозный. Вы сами говорите, что она в постеле. Как же ей приехать?

Безмолокан. Да не теперь, а после.

Нервозный. Ах, безмолокан, как вы мне надоели! Я вас прошу, оставьте меня одного и уходите.

Безмолокан. Боже мой! Это совсем бесчеловечно!

Нервозный. Избавьте меня от вашей морали. Я уж слишком стар для нее.

Безмолокан. Это не мораль. Я хочу сказать, что ваше обращение вне христианских принципов.

Нервозный. Ну! избавьте меня от ваших христианских принципов.

Безмолокан. Я забыл! Ведь вы ни во что не верите.

Нервозный. Тем больше – избавьте меня от вашей морали и ваших христианских принципов, оставьте меня одного и уходите.

Безмолокан (*плачет*). Что же я вам такого сделал? Я даже денег у вас никогда не просил.

Нервозный. И хорошо сделали, потому что я их вам бы не дал.

Безмолокан. Да ведь я у вас денег никогда не просил?

Нервозный. Что ж из этого? Хорошо сделали – и только.

Хозяйка (*входит*). Ah! bonjour[14*]. (*Shake hands*[15*] *с Безмолоканом. Обращается к Нервозному.*) Des scandales?[16*]

Нервозный. Non, non! pour rien au monde[17*]!

Хозяйка уходит.

Безмолокан. Стало, я оставаться не могу? А я завтра еду – погибну и никогда вас не увижу?

Нервозный. Ну! и уезжайте.

Безмолокан. Прощайте – дайте вашу руку. Я все же вас люблю, люблю, как отца родного.

Жмут друг другу руку.

Безмолокан. Я хотел бы с вами поцеловаться.

Нервозный. Ну, целуйте.

Целуются.

Безмолокан (*плачет*). Прощайте!

Безмолокан уходит.

Нервозный (*кричит ему вслед*). Не забудьте как человек религиозный, что и в Евангелии лобзания не больно красивы[72].

Сцена 3-я

Нервозный (*хозяйке*). Как он прошел?

Хозяйка. Меня не было. Он прошел через кухню, не постучавшись, и проскользнул мимо девочки прямо к вам.

Девочка. Я не успела его остановить. Он меня вовсе не спросил, дома вы или нет.

Нервозный. Пожалуйста, если б он еще раз пришел – ни за что его не пускайте. Продержи он меня еще минут десять, я бы так взбесился, что хватил бы его палкой. Ну, теперь можно отдохнуть. Наконец![73].

И пьеска Огарева, и само *странное прощание*, вероятно, не насмешили Герцена, а, наоборот, вызвали у него приступ раздражения или досады... 18 апреля он напишет Огареву (по другому поводу): "Это лучше твоего поединка с молок⟨анским⟩ шулером – поединка на поцелуях. В чем дело (ты об нем не мог собраться написать), я не мог понять и теперь не понимаю" (XXX, 89). А еще через несколько дней автор "Доктора Крупова"

14* Ах, здравствуйте! (*франц.*).

15* Рукопожатия (*англ.*).

16* Скандалы? (*франц.*).

17* Нет, нет! ни в коей мере! (*франц.*).

снова, но уже по-другому поводу, иронически упомянет о "безешках[18*] с молоканом" (там же, 91).

Увы! и после прощания Шевелев продолжал оставаться в Женеве, как и прежде досаждая Огареву своими посещениями. "Жалуется только, что его находят всякие молоканы и мясоеды", – сообщал Герцену об Огареве Чернецкий 27 апреля[74]. Сам же Шевелев припоминал позднее, что окончательно покинул Женеву только в сентябре[75].

2

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ВЕХИ. — ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ. — УНТЕР-ОФИЦЕР. — УЧАСТНИК КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ. — КОНТУЗИЯ, РАНЕНИЯ, МЕДАЛИ. — КОНТОРЩИК. — АГИТАТОР "ИСКАНДЕРОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ". — НА ВОЛЖСКИХ ПАРОХОДАХ. — ЛЖЕЯКУШКИН. — "НЕГОЦИАНТ". — ОТКУПЩИК. — ЕГО "НЕИСТОВСТВА" В ПОЛЬШЕ. — МЕДАЛЬ "ЗА УСМИРЕНИЕ ПОЛЬСКОГО МЯТЕЖА". — ТАМОЖЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙ. — В ПЕТЕРБУРГЕ ВО ВРЕМЯ ПОКУШЕНИЯ КАРАКОЗОВА. — ПРЕДАТЕЛЬСТВО. — ОПУСТОШЕНИЕ КАЗЕННОЙ КАССЫ И ЗЛОНАМЕРЕННАЯ КЛЕВЕТА. — ПЕРВЫЙ АРЕСТ. — СЛЕДСТВИЕ. — МНИМЫЙ СОУЧАСТНИК КАРАКОЗОВА. — В ПЕТЕРБУРГ ПОД КОНВОЕМ. — ВОЕННО-СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ. — ОТВЕРГНУТ. — ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОБЕГ ЗА ГРАНИЦУ

(1826?–1866)

Шевелев родился в 1826 или 1827 г.[76] Ему было сорок, когда он познакомился с Огаревым, и сорок два при "странном прощании".

В циркуляре, разосланном управляющим III Отделения и начальником штаба корпуса жандармов Н.В. Мезенцовым 5 мая 1871 г. о розыске и арестовании Шевелева, сообщались следующие приметы: "Рост выше среднего, плотный, широкоплечий, волосы черные, густые, немного вьющиеся, с редкою проседью, глаза темные, большие, взгляд исподлобья, брови черные, густые, губы толстые, зубы черные, нос большой, широкий, усы и баки черные, густые, цвет тела белый, а лицо сильно нагримировано красною краскою[77], грудь и руки покрыты волосами"[78]. Воспроизводимый мною фотографический снимок из следственного дела (1870) конкретизирует внешний облик этого "загадочного человека". Печать нравственного цинизма проступает на его грубом лице[79].

"Исповедания православного" – так указано в его формулярном списке. Из этого и ряда других документов мы узнаем, что Шевелев родился в состоятельной дворянской семье, владевшей каменным домом в Симферополе и двумя "виноградными садами" на Южном берегу Крыма, близ селения Карак-Чура; что воспитывался он "в доме родителей", "знает Грамматику, Историю, Арифметику, Географию и Немецкий язык"[80].

В ответ на запрос III Отделения от конца февраля 1872 г. о военной карьере Шевелева из Главного штаба поспешно отвечали: "Отставной подпоручик Николай Александров *Шевелев*, 44-х лет, из дворян Таврической губернии, сын надворного советника, православный. В службу поступил в октябре 1846 г. унтер-офицером в бывший Эстляндский егерский полк; в ноябре переименован в юнкера, в апреле 1848 г. приказом по действующей армии, за уклонение от службы, отставлен от оной. В 1853 г. принят вновь на службу, рядовым, в Черниговский пехотный полк; в июле 1854 г. переведен в Алексопольский пехотный полк: в декабре 1854 г. за отличие в сражении, оказанное им при кр(епости) Силистрии, по высочайшему повелению произведен в унтер-офицеры, в апреле 1855 г. переименован в юнкера (...) 5 февраля 1855 г. участвовал с полком в усиленной рекогносцировке, под начальством генерал-лейтенанта Хрулева в Евпатории. 26 мая 1855 г., при осаде г. Севастополя, контужен в голову, от разрыва бомбы, камнями. В мае 1855 г. за отличие в сражении при обороне Севастополя произведен в прапорщики. Высочайшим приказом от 15 ноября 1858 г. уволен в отставку по домашним обстоятельствам"[81].

Бóльшую часть времени, с 1855 г. до демобилизации, Шевелев пробыл на излечении в военных госпиталях. Затем около года служил он чем-то вроде конторщика у петербургских богачей, братьев Мясниковых. Уличенный в присвоении денежных бумаг, Шевелев каким-то образом ускользнул от судебной кары. В 1862 г. он женится на костромчанке В.И. Анисовой, года два живет у тещи в Галиче, где, по-видимому, пользуется репутацией "благонамеренного человека", поскольку его назначают почетным попечителем уездного училища. По показанию жены Шевелева Варвары Ивановны, он занимался тогда "частными делами, арендами и пр.", одно время управлял кирилловскими откупами. Затем, подобно Чичикову, Шевелев устремляется в богатое возможностями таможенное ведомство. Совпало это с завершающим пе-

---

[18*] "поцелуйчиках" (от *франц.* baisers).

риодом польского восстания 1863–1864 гг. 27 мая 1864 г. Шевелева определяют помощником управляющего и казначеем ратаевской таможни (Царство Польское), после чего переводят на опатовскую (томашевскую) таможенную заставу; в январе 1866 г. он назначается казначеем-попечителем завихостской таможни. Произведенный 22 февраля в провинциальные секретари, он служит там по 24 апреля, успев получить темно-бронзовую медаль на пятицветной ленте "За усмирение польского мятежа 1863–1864 годов" (свидетельство от 11 мая 1865 г.), учиняя "особые неистовства" полякам в Привислинском крае, как сам не без хвастовства вспоминал позднее[19*] [82].



Н.А. ШЕВЕЛЕВ

Фотография из следственного дела Шевелева. 1870

Государственный архив Российской Федерации. Москва

В марте 1866 г., незадолго до каракозовского выстрела, Шевелев отправляется с женой в двенадцатидневный отпуск. С 31 марта они в Петербурге, куда, по его словам, приехали "без всякой цели, только развлечься". После покушения на Александра II у решетки Летнего сада они с утра до вечера 4 апреля участвуют в патриотических манифестациях и возвращаются в Завихост 16 апреля с опозданием на 10 дней. Два месяца спустя Шевелев хладнокровно опустошает доверенную ему казенную кассу и делает попытку свалить вину на своего начальника с польской фамилией и жену этого же начальника обвиняет в отравлении его, Шевелева. Своему обвинению он придает грубо националистический характер, добиваясь ареста ни в чем не повинной женщины. Все это рельефно отражено в позднейшем приговоре Правительствующего сената от 12 мая 1874 г.: "Член и казначей таможни в Завихосте подсудимый Николай Шевелев, зайдя 22 июня/4 июля 1866 г. часов в 7 пополудни в квартиру управляющего означенною таможнею Виталиса Вольского, был там угощаем, по собственной же его просьбе, полынной водкой и закуской, состоявшей из маринованной рыбы. Отведав два раза этой водки, которую пил и сам хозяин, он, Шевелев, почувствовал сильную тошноту, вследствие чего выбежал на улицу, где его рвало, и затем немедленно отправился к участковому военному начальнику, которому лично и письменно донес, что его, Шевелева, отравили супруги Вольские, причем он требовал произвести обыск у обвиняемых им Вольских и арестовать их. Вследствие этого доноса военный начальник с бургомистром, аптекарем и жандармами отправились к Вольским на квартиру, куда вскоре пришел и Шевелев, который в присутствии всех собравшихся там лиц повторил, что он положительно обвиняет Вольского, преимущественно же жену его Клементину, в уголовном преступлении, именно в отравлении; что он, Шевелев, знает последствия этого обвинения и готов подвергнуться ответственности за лживый донос. Затем был произведен обыск, при котором были найдены в печке подделанный ключ, подходящий к тому замку кассового сундука, от кото-

---

19* «Я был членом томашевской таможни и пользовался репутациею русского фанатика, – писал Шевелев в одном из приложений к "Докладной записке", предназначавшейся для шефа жандармов П.А. Шувалова (1872). – В октябре 1865 г. приехал ко мне директор русской холменской гимназии статский советник Лебединцев и предложил мне принять участие в деле русско-униатской пропаганды против поляков в Галиции. Я с радостию взял на себя это Святое Дело, – конечно, секретно от поляков. В таможне я был один русский. Отправлял русские книги и тетради в Лемберг, конечно, тратя и свои деньги, а оттуда тоже получал секретно "Страхопуд" и отправлял Лебединцеву. Поляки вместе с жидами пронюхали, донесли и по представлению начальника округа Карлова департамент в декабре перевел меня членом Завихостской таможни, а в Томашев на место меня назначил поляка-фанатика Курмана... Так и кончилась эта благая мысль честного русского общества. Несмотря на все неудачи, я верен своему знамени и смело иду вперед. Успею ли я? или погибну, – это в руках Всевышнего, но изменить ему не изменю». Этот документ был 8 апреля представлен Александру II, чья малоразборчивая резолюция была покрыта в III Отделении бесцветным лаком для вечной сохранности[83].

рого настоящий ключ хранился у казначея Шевелева, и два шифрованные письма, адресованные на имя Вольской, в которых кто-то уговаривал ее отравить Шевелева приобщаемым к письму ядом, похитить посредством подобранного ключа деньги из кассы и выслать их в Галицию. Сверх того, в подоле платья Вольской, висевшего в комнате на стене, были найдены белый порошок, оказавшийся впоследствии стрихнином, и лоскуток бумаги с такими же самыми знаками, какими были написаны оба письма. Вольские, с своей стороны, тут же заявили, что все это подброшено Шевелевым и что донос его ложный...

Спустя неделю, именно 28 июня/10 июля 1866 года, в 6 часов пополудни, Вольский просил члена комиссии, назначенной для расследования этого дела, чиновника для особых поручений, Кемница, поверить кассу, и тут оказалось, что кто-то похитил 2824 р., а так как замки и печати были в целости и сундук не был испорчен, то Вольский заключил, что похищение денег могло последовать только при предыдущей проверке им и Шевелевым кассы 22 июня/4 июля 1866 г., т.е. в тот самый день, когда Шевелев обвинил его в отравлении. Вследствие этого Вольский был арестован по обвинению в растрате этих денег, но одновременно был взят под стражу и Шевелев. Комиссии же, производившей следствие по обвинению Вольского в отравлении, было поручено расследовать и это второе дело.

По мере того как следствие подвигалось вперед, Вольский и Шевелев обменялись ролями. Вольский и жена его вполне оправдались, и Келецкий уголовный суд 27 сентября/9 октября 1866 г. постановил дело об них, по обвинению в отравлении ⟨...⟩ производством прекратить, между тем как Шевелев предан суду подлежащим начальством по обвинению в похищении вверенных ему денег и в ложном доносе.

Подсудимый Шевелев первоначально виновным себя не признал и объяснялся в высшей мере увертливо, уклончиво и лживо, однако тщательно и с соблюдением всех предписанных законом формальностей, произведенным Комиссией следствием добыты полные доказательства его виновности ⟨...⟩

Отношения между Вольским и Шевелевым не были, по-видимому, враждебны; Шевелев, однако, питал к своему начальнику какую-то ⟨плохо?⟩ скрываемую ненависть и злобу. Несмотря на то, Шевелев часто посещал Вольского, иногда несколько раз в день, и ухаживал за его женою, которая жаловалась на это своему мужу. Сверх того, Шевелев любил выпить, оклеветать других, и он не скрывал свою ненависть к полякам, к которым причислял и Вольского, хотя православного и бессарабского уроженца, а равно его жену. Из образа действий Шевелева уже месяца за три до происшествия заметно было, что он затеял что-то против Вольских и старался подготовить местного военного начальника и других лиц так, чтобы они могли поверить тому, что должно было случиться впоследствии, именно отравления его, Шевелева, Вольскими. В апреле Шевелев донес упомянутому начальнику, будто бы управляющий таможнею впустил из-за границы контрабанду, состоящую из запрещенных Правительством книг, и что Вольская состоит членом тайного политического общества, причем уверял начальника, что Вольские – люди неблагонадежные, что они замышляют сделать ему, Шевелеву, какое-то зло и что начальнику следует их остерегаться. Затем в мае он донес тому же начальнику, будто бы Вольская получила два шифрованных письма, вследствие чего начальник убедился лишь в том, что некоторые письма на почте были вскрываемы и что Шевелев имел секретные сношения с почтовым писцом. С тех пор Шевелев, при каждой встрече с военным начальником, говорил ему, что у Вольских на дому подготовляется что-то во вред ему, Шевелеву, но что Вольские сами попадутся; накануне же происшествия намекал начальнику и другим лицам, что он предчувствует, что его на днях непременно постигнет несчастие, причем расспрашивал начальника, будет ли он завтра дома, и делал это таким образом, что легко было заметить, что он, Шевелев, будет на следующий день нуждаться в помощи военного начальника.

В день происшествия Шевелев пополудни, в присутствии нескольких бывших у него в гостях лиц, пил много водки, был расстроен, причем 13-тилетнему сыну штабс-капитана Петрова сказал, что если б он, мальчик, был поляком, то непременно отравил бы его, Шевелева, поручику же Жандру говорил, что ему, Шевелеву, немного остается жить, так как он будет отравлен поляками. Затем он заходил в присутствие к Вольскому, выходил оттуда и опять возвращался. Около 6-ти часов пополудни, под предлогом передачи жене Вольского лекарства от ревматизма, и когда Вольского не было дома, он зашел к ним на квартиру и ходил по комнатам. Надо заметить, что именно в этот день Вольские переменяли квартиру, что она стояла открытою и что в ней легко было подкинуть что угодно. Может быть, через час после этого Шевелев пристал к возвращавшемуся домой Вольскому, провожал его до дверей квартиры, с целью зайти к нему, но так как Вольский не спешил пригласить его, то Шевелев спросил, нет ли у Вольского полынной водки, и тогда только Вольский попросил его войти в квартиру. Тут им принесли графинчик полынной водки, которую они оба пили и закусывали маринованной

рыбой. Вольский затем отправился в свой сад, Шевелев же все сидел за столом и попросил Вольскую дать ему еще выпить водки; Вольская подала ему тот же самый графинчик, который уже было убрала служанка. Шевелев выпил около 1/4 рюмки, но ему сделалось дурно, и он удалился.

Когда Шевелев прибежал к военному начальнику, то, хотя с ним продолжалась рвота, но приглашенный фельдшер не заметил у него признаков отравления, а напротив, видя апоплексическое расположение, пустил ему кровь, и больному сделалось лучше; другой же свидетель, находившийся в то время у начальника, Аркушевский, под присягою показал, что он убежден, что Шевелев не был отравлен. Наконец, в протоколе освидетельствования Шевелева на следующий день после происшествия уездным врачом не сказано, чтобы врач заметил у подсудимого какие-нибудь признаки отравления, а в нем помещено лишь то, что врачу рассказал сам Шевелев. Врач же, с своей стороны, прибавил, что умственные способности Шевелева не были расстроены и что у него замечено лишь нервное раздражение. Далее, все то, что найдено при обыске, было открыто по указанию Шевелева. Когда в первый раз была осмотрена печка, в ней ничего не ⟨было⟩ найдено и лишь при вторичном осмотре печки, произведенном вследствие требования Шевелева, найдены были письма и ключ. – Равным образом Шевелев шепнул военному начальнику, чтобы он приказал искать в платьях Вольской, именно в обшивках того платья, в котором и был найден яд и записочка. Но когда надрезали обшивку с одной стороны и нашли эти предметы, то заметили с другой стороны обшивки – другой, больший надрез, через который эти предметы были всунуты в обшивку; свидетель же Вильконский показал, что в тот самый день и в той же комнате он видел через окно Шевелева одного, нагнувшимся у стены, на которой висело платье Вольской. Аптекарь Август Голлаг в присутствии всех участвовавших при обыске лиц выпил полрюмки той же самой водки, которою подсудимый будто отравлен, но она ему нисколько не повредила. Собака, которая, действительно, ела рвоту Шевелева, осталась жива и здорова; между тем, хотя следствием не обнаружено, чтобы находившиеся на квартире у военного начальника собака и кошка, действительно, ели извержения Шевелева, они все-таки издохли, но лишь на следующий день, а именно через полчаса после того, как Шевелев провел некоторое время в комнате, где эти животные находились, как это видно из показаний казака Губарева и других свидетелей. Сверх того, по данному под присягой показанию военного начальника, производившего обыск, Шевелев настаивал на арестовании Вольской, но начальник все это считал лишь комедиею, а также он сильно подразумевает Шевелева в отравлении собаки и кошки.

За несколько времени до происшествия Шевелев расспрашивал свидетеля Зябловского о том, как следует адресовать на польском языке письмо к женщине? По данному под присягою показанию свидетеля Маевского, оказывается весьма сомнительным, чтобы одно из найденных в печке писем было, действительно, прислано из г. Томашева по почте, так как в почтовых на нем знаках имеются ошибки и недостатки. Оба упоминаемые письма написаны знаками и после прочтения их с помощью ключа, найденного в платье Вольской, оказалось, что эти письма составлены плохо, как будто немцем и во всяком случае не поляком. Вот содержание первого из них[20*]: "Посылаю вам ключ, прошу сделать, как я сказал, когда эта собака издохнет, то двери будут открыты, деньги выслать в Галицию с помощью этого человека". Содержание же второго письма следующее: "Если в кассе ничего нельзя сделать, чтобы погубить этого подлеца Шевелева, то я посылаю вам порошок, употребление которого вам известно, остаток прошу хранить для других москалей, затруднение устранится, была бы лишь охота". Оба эти письма составлены с помощью букваря ⟨...⟩ изданного в 1865 г. Оконьским в Варшаве. Из этого легко заключить, кем эти письма были составлены ⟨...⟩

Когда при последней проверке кассы 25 июня/10 июля 1866 г. Вольский и сказанный чиновник, начальник таможни Завихостского округа, сидя за столом, поверяли кассовые книги, то казначей Шевелев, вынув из сундука ящик, в котором хранились кредитные билеты, и, показывая его, сказал: "Здесь лежали крупные деньги, а теперь их нет" – и поставил ящик на стол, сел в кресло весьма развязно и бойким голосом, с насмешкою, смотря на Вольского, прибавил: "Что, любезный куманек?" и "Вы хотели поддеть меня на эту штуку! Эх, плохо будет вам!" Вольский, – сказано в рапорте, – "сидел пораженный и почти не понимал, что денег нет ⟨...⟩ Эта же насмешка, нахальный взгляд Шевелева и произнесенные им слова доказывают радость, которую он испытал, видя, что его планы осуществились и что, по его мнению, Вольский уже не выпутается из дела. Не таковы были бы приемы казначея, который внезапно и неожиданно узнал бы о похищении денег из вверенной ему кассы ⟨...⟩

[20*] Приведенный ниже польский текст опускается. – *Л.Л.*

Нельзя тоже не обратить внимания на то, что за несколько времени до происшествия Шевелев скрыл почти все свое движимое имущество и тайком выслал жену свою из Завихоста ⟨...⟩

По настоящему делу имеется еще положительное сознание Шевелева от 21 июля/2 августа 1866 г., сущность которого состоит в том, что он, Шевелев, со времени отъезда жены его, т.е. с 18/30 июня 1866 г., постоянно пил, часто для этого он вставал даже по ночам и был беспрерывно занят мыслию вредить полякам, как людям, которые по службе в Завихостском округе не только не приносят пользы, но причиняют даже зло; главный же двигатель всех их дел, их протектор и коновод – управляющий таможнею Вольский, которого ему и хотелось поддеть, и что с этою целью он, Шевелев, составил шифрованную польскую азбуку и с помощью польско-русского словаря составил два письма на имя Вольской, с приложением поддельного ключа от кассы ⟨...⟩ и далее объяснил, что в то время, когда он после проверки кассы с 22 на 23 июня укладывал деньги, то и вынул их, и в тот же самый день письма с ключом запрятал в печку в зале, порошек же положил в платье Вольской между платьем и подшивкой; что в тот же день, встретившись с Вольским, почти навязчиво вызвал его приглашение на рыбу, и когда выпил вторично поданную ему Вольскою водку, то ему сделалось дурно так, что ему представилось, не нашла ли Вольская подложенный им порошок и не употребила ли его в дело ⟨...⟩ Вследствие ⟨...⟩ заявления и по указанию сознавшегося Шевелева найдены были зарытые в земле деньги в количестве 325 рублей; остальные же, будто бы брошенные им в Вислу, не были разысканы ⟨...⟩

Правда, Шевелев, сознаваясь в этих преступлениях, старался выгородить себя тем, что он в это время был в постоянном опьянении и одурении, что страдал головною болью от полученной им контузии при защите Севастополя; правда, Шевелев утверждал еще, что он все это сделал, имея в виду единственно интересы России, что он этим хотел навлечь явное подозрение на поляков, служащих в таможенном ведомстве, для искоренения их как зла, от которого его отечество страдает, которые действуют постоянно во вред интересам России, и хотя этого, конечно, нельзя доказать, но давно бы пора их всех прогнать как людей, не приносящих ничего, кроме зла, в обширном значении этого слова и проч. ⟨...⟩ Но это объяснение подсудимого не может повлиять на смягчение наказания, определенного законом ⟨...⟩ Напротив, подсудимый издавна подготовлял ложный донос и похищение денег, за несколько месяцев до их осуществления, и употребленные им для этого средства обнаруживают заранее обдуманное намерение и самую тонкую предумышленность, а потому, если в день похищения денег и доноса Шевелев и был выпивши, то с полною достоверностью можно предполагать, что он привел себя в это состояние с целью совершить или, лучше сказать, докончить издавна подготовленные им преступления. Относительно затем политических побуждений, которыми подсудный защищается, следует заметить, что в статье Уложения о наказаниях ⟨...⟩ вовсе не сказано, чтобы ненависть к какой-либо народности (в данном случае к полякам) служила основанием невменяемости уголовного преступления или признавалась обстоятельством, уменьшающим вину и наказание. Что же касается, наконец, объяснения Шевелева, будто бы он действовал так из любви к России и поддерживая ее интересы, то это объяснение можно считать разве насмешкою, так как выставляемая Шевелевым в оправдание своих действий любовь к отечеству проявилась в подаче ложного доноса и в ограблении государственной казны..."

Арестованный в конце июня Шевелев сначала не признал себя виновным "ни в ложном доносе, ни в похищении казенных денег, – как отмечалось позднее в краткой записке, приложенной к всеподданнейшему докладу Десятого департамента Правительствующего сената Александру II от 10 декабря 1874 г., – но вслед за тем ввиду многочисленных изобличающих его свидетельств и свидетельских показаний сознался и в собственноручном объяснении показал, что 22 июня 1866 г. ⟨...⟩ после поверки кассы ⟨...⟩ похитил из ⟨...⟩ ящика 2824 руб. 1 1/4 копейки вверенных ему казенных денег, из каковых денег 325 руб., зарыл в прилегающем к квартире его саду, а остальные бросил в реку Вислу. Подсудимый Шевелев сознался также, что в тот же день он запрятал на квартире у Вольских, в платье Вольской, порошок, оказавшийся стрихнином..."[84]

Началось следствие, не представлявшее из-за своей элементарности особых затруднений для юристов и прокуратуры. Однако арестант незадолго до завершения дела, 10 августа 1866 г., обратился из сандомирской тюрьмы с письменным заявлением к радомскому гражданскому губернатору полковнику Анучину: "Вдобавок к производимому следствию и предоставленному вам, имею честь донести вашему превосходительству, что я считаю себя виновным в ужасном происшествии в Петербурге 4 апреля, где я был в отпуску и где, к несчастию, я одной из личностей известен под другою фамилией, а потому имею честь покорнейше просить ваше превосходительство сделать с вашей стороны зависящее распоряжение об отправлении меня в Третье Отделение его императорского величества канцелярии, для обличения моих проступков и где я расскажу все обстоятельства дела подробно"[85].

Смысл этого путаного прошения выясняется из более поздних показаний, данных Шевелевым Временной военно-следственной комиссии, занимавшейся выявлением и истреблением "корней и нитей" революционного движения 1860-х годов.

Рассчитывал ли Шевелев, заявляя о своей причастности к каракозовскому покушению, что его самооговор будет принят всерьез, или же он воспользовался возможностью хоть ненадолго прервать ход расследования по своему уголовному делу, – особого значения не имеет. Без сомнения, звание государственного – т.е. политического – преступника импонировало ему тогда намного больше, чем клеймо клеветника и казнокрада, чтб, как убедятся читатели, окончательно погубило его.

17 августа комиссия предъявила Шевелеву вопросник из пяти пунктов для ответа.

Вот первый из них: "Из дел завихостской таможни видно, что вы отправились из Завихоста в дозволенный вам 12-дневный отпуск в Тимашев и Сташев 26 марта, а возвратились 16 апреля. Объясните, для какой надобности ездили вы в означенные места, к кому именно, как долго пробыли в одном и другом месте и у кого останавливались?"[86]

Шевелев ответил, что в Сташев он не заезжал, в Томашеве пробыл лишь короткое время, отправившись оттуда в Варшаву, а затем поехал с женой ненадолго, чтобы поразвлечься, в Петербург, где остановился в трактире на углу Невского проспекта и Знаменской улицы; по его словам, он посещал там "театры и гостиницы"[87].

24 августа, в предложенном Шевелеву новом вопроснике, он подробно рассказал о своем недавнем знакомстве в петербургской таможне с приехавшим из-за границы отставным коллежским ассесором Ильяшенко, который рассказывал ему о том, "как за границей все хорошо, как отвратительно все у нас", и "в весьма в резких выражениях отзывался о властях". Показывая Шевелеву свой заряженный револьвер, он будто бы заметил, что "запасся на всякий случай вот этой штукой". Пригласив Шевелева в клуб, он добавил: "Там вы услышите и узнаете все, что готовится на этой неделе... Куда денутся министры, все полетит вверх дном..." и пр.

«Нужно предварительно сказать, – писал далее Шевелев в своем ответе на вопросник Следственной комиссии, – что года два или три тому назад я был сильно пропитан духом Искандера и вообще всей заграничной русской прессы, и, очень часто разъезжая на пароходах по Волге, иногда по делам, иногда просто для развлечения, нёс всякий, по тепершнему моему взгляду, вздор, пропитанный искандеровским направлением; много молодежи и купцов, встречающихся на пароходе в минуты моего риторства, окружали меня, жадно слушали и внимали мне ⟨...⟩ Эту ахинею, созданную за морями и пересоздаваемую мною на свой лад, я изрыкал, по обыкновению, во втором классе пассажирской каюты. – Часто случалось, что, доехавши до Твери, я опять поворачивал назад до Казани или до Нижнего и новым пассажирам тоже нес свою чушь ⟨...⟩ В этих поездках я прикрывался фамилией моего знакомого (конечно, если не было на пароходе знакомых моих, которые знали, что я Шевелев), – Павла Ивановича Якушкина; во-первых, потому, что имя Павла Якушкина было известно в литературе как публициста, впервые словом печатным начавшего открывать всю закулисную сторону нашей обыденной жизни. Я упоминаю моим рассказом прошедшего только потому, что это необходимо для объяснения одного обстоятельства, касающегося настоящего дела. Теперь уже все переработалось в моей натуре, все перетлело, я увидел всю нелепость моего прошедшего заблуждения, моих сумасшедших тенденций, всю бесчестность и подлость в распространении идей, не согласных с духом Монархии, – я сделался самым ярым поборником монархических истин и русских начал, таким знают меня во всех уездах Царства Польского, где я находился на службе, таким же, вероятно, я известен и Следственной комиссии. – Никогда не поздно исправиться... А сколько погибло молодежи?.. свежих русских сил, увлеченных потоками учения заморского лжепророка, учения, основанного на софизмах. Нельзя не сказать русского спасиба г. Каткову, он многих отрезвил, в том числе и меня ⟨...⟩

Выехав ⟨3 апреля⟩ из театра и поужинав у Палкина на углу Невского и Литейной вместе с женою, мы отправились домой. – Было уже часов около 12-ти или даже и больше, когда я вспомнил, что я еще на завтрашний день не запас водки (я обыкновенно из экономии, чтобы не платить двойной цены за водку в трактирах, покупаю ее с вечера в кабаках), взял бутылку и пошел в ближайший питейный дом, но угольный был заперт, а потому я поворотил из Знаменской на Невский, но в нескольких шагах от угла был остановлен неизвестным словами: "Якушкин, если не изменились твои убеждения, то будь вооружен и бывай в Летнем саду на этой неделе". Сказав эти слова скороговоркой, почти вполголоса, поворотил от меня с панели направо на средину Невского. Я хотел его догнать, но при спуске с тротуара поскользнулся и упал (на дворе что-то моросило и была дурная погода), бутылка, бывшая у меня в руках, также зазвенела, но не разбилась; вставая, я заметил подходящего ко мне городового, который прошел молча, вероятно, потому, что я был в фуражке с ко-

кардой[88], – а незнакомца уже следов не было. Подойдя к кабаку, я застал его запертым, а потому возвратился домой с пустой бутылкой, не сказав ни слова жене, которая уже была в постели, да я ей никогда ничего не говорю в подобных случаях, но я не спал всю ночь и только заснул часов в пять, когда уже солнце было высоко. Сцена у г. Ильяшенко, и незнакомец, и всё в один день поразили меня, в моей душе был ад, и я не знал, на что решиться, а посоветоваться было не с кем; конечно, знай я, что замышляют на жизнь его императорского величества, я бы не задумался объявить правительству, но мне никогда не снилось ничего подобного. На другой день ⟨в понедельник⟩ 4 апреля я с самого утра ездил по трактирам, из одного в другой, всматриваясь в физиогномии, не узнаю ли вчерашнего незнакомца?.. но все было напрасно... он канул в воду». В тот же день Шевелев узнал, что у Летнего сада было произведено покушение на царя[89].

Трудно отделаться от впечатления, что россказнями об усиленном потреблении водочных изделий Шевелев пытался утвердить Следственную комиссию в полной своей политической "благонадежности", и в этом, как мы вскоре увидим, вполне преуспел...

22 сентября, отвечая на дополнительный вопрос Следственной комиссии, Шевелев заявил: "Я обвиняю себя в том, что накануне 4 апреля, узнав из рассказов г. Ильяшенко, что на Фоминой неделе имеют произойти в Петербурге какие-то беспорядки, и того же числа от случайно встретившейся неизвестной личности получил приглашение 4-го числа быть в Летнем саду вооруженным, я в то же время об этом не дал знать полиции..."[90]

По получении этих показаний III Отделением были разосланы многочисленные запросы о Шевелеве и Ильяшенко. В результате удалось установить, что претензии Шевелева на причастность к делу Каракозова лишены оснований и что его донос на Ильяшенко представляет собой злонамеренную клевету.

23 ноября председатель Следственной комиссии генерал-адьютант П.П. Ланской сообщал наместнику Царства Польского графу Ф.Ф. Бергу: "На допросах в председательствуемой мною комиссии Шевелев объяснил, что в бытность его в Петербурге в отпуску накануне 4 апреля он узнал от знакомого ему отставного коллежского ассесора Ильяшенки о имеющих произойти на Фоминой неделе каких-то беспорядках ⟨...⟩ Комиссия положила: так как из показаний Шевелева не видно, чтобы он принимал участие в событии 4 апреля и оговор его на коллежского ассесора Ильяшенко не сопровождается никакими доказательствами, оба они, по объяснению Шевелева, пили много водки, к которой Шевелев имеет пристрастие, и с ним однажды был апоплексический удар, а между тем о похищении из кассы таможни денег и за ложный оговор семейства управляющего Вольского он, Шевелев, должен подлежать суду и наказанию по закону, то отправить его, Шевелева, в Варшаву, для дальнейшего с ним распоряжения"[91].

Отвергнутый Следственной комиссией "заговорщик" был "выселен" из камеры III Отделения и передан в распоряжение обер-полицеймейстера Ф.Ф. Трепова, который отдал приказ о переводе арестанта в Спасскую полицейскую часть для возвращения его под конвоем в Царство Польское, т.е. по месту прежнего пребывания.

"Шевелев содержался, вопреки распоряжений о нем, не отдельно, а вместе с каким-то евреем[92], – доносил в III Отделение секретный агент, – и оба они пользовались совершенною свободою, отлучались, когда хотели, в разные места, каждый день ездили домой. За несколько времени до 4-го сего декабря Шевелев стал проситься съездить по какому-то будто бы делу в Царское Село дня на три. – Его отсутствие, по обыкновению, ⟨прошло⟩ без всяких затруднений, но прошел срок; минули еще 1–2 дня, а Шевелева все нет. Поднялась тревога по полиции; начали доискиваться, не скрывается ли беглец у жены, а та смеется и говорит, что ничего не знает. – Полицейские бросились по всем трактирам, но, разумеется, и там не нашли ничего. – Так Шевелев и пропал..."[93]

Другой агент сообщал позднее шефу корпуса жандармов и начальнику III Отделения гр. П.А. Шувалову: "Имеют честь обратить внимание вашего сиятельства на следующие обстоятельства. В Спасской части содержался пересланный из III Отделения собственной его величества канцелярии преступник Шевелев, который несколько времени тому назад бежал. Пред побегом Шевелев по какому-то случаю постоянно бывал по ночам в доме Федотова 4 участка Спасской части на Фонтанке близ Крюкова канала у мещанина Ивана Алексеева Ижболдина, с которым у Шевелева были какие-то подозрительные и темные отношения. В настоящее время у Ижболдина бывает жена Шевелева, и потому надо полагать, что намерения и местопребывание Шевелева небезызвестно Шеболдину"[94].

Отвечая впоследствии на запрос члена Одесской судебной палаты Муромцева, обер-полицмейстер Ф.Ф. Трепов сообщил, что 1 декабря Шевелев скрылся из приемного покоя 2-го военного сухопутного госпиталя, "не совершив при этом никакого преступления"[95].

Сам Шевелев свой побег описывал так: "Я тогда ночью пробрался к моей жене – она жи-

ла на Выборгской, где простился с нею, и уехал на извозчике до Коломны, там прождал до утра и с первым же утренним поездом исчез..."[96]

Дальнейший путь Шевелева лежал, по его словам, через Москву и Ростов.

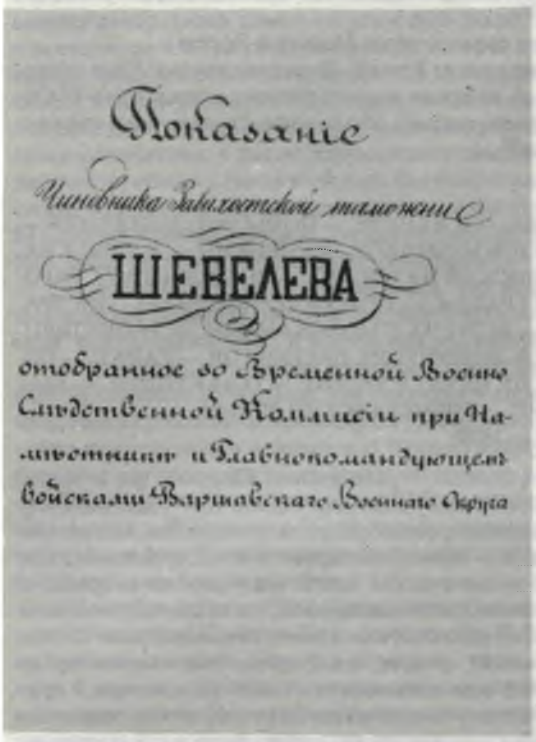
На вопрос следователя, как и почему бежал он из России, Шевелев отвечал: "Это обстоятельство хорошо известно III Отделению". А во время другого допроса заявил, что в III Отделении он, Шевелев, известен всем до последнего писца[97]. Мы увидим, однако, что в этом учреждении Шевелева знали тогда далеко не все[98].

3

ШЕВЕЛЕВ ЗА РУБЕЖОМ. — ЦЕЛИ И СРЕДСТВА. — В ЖЕНЕВЕ. — ПОПЫТКИ СБЛИЖЕНИЯ. — ОГАРЕВ, БАКУНИН, ЭЛПИДИН, ТХОРЖЕВСКИЙ, МЕЧНИКОВ, ЧЕРНЕЦКИЙ. — В ВЕВЕ У БАКУНИНА. — ИГРА В РУЛЕТКУ. — САН-МАРИНСКИЙ ПАТРИЦИЙ. — ЗНАКОМСТВО С РАГОЗИНЫМ. — СНОВА В ЖЕНЕВЕ. — МНИМЫЙ ГРАБЕЖ. — ОГАРЕВ СОЧУВСТВУЕТ "ПОСТРАДАВШЕМУ". — В ДАЛМАЦИИ. — ЧУЧЬМА. — ВСТРЕЧА С МОЛОКАНАМИ. — ТАИНСТВЕННЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. — В ИЗМАИЛЕ. — ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ. — ГАЛАЦ. — ПЕРЕГОВОРЫ. — ВСТРЕЧА С БАЛАБАНОВЫМ. НЕ НЕЧАЕВ ЛИ ЭТО? — О БАКУНИНЕ. — БЫЛ ЛИ ШЕВЕЛЕВ "НЕЧАЕВЦЕМ?" — ТИПОГРАФСКИЙ ШРИФТ

(1867 — 1870)

"Вследствие долгого странствования за границею, – рассказывал Шевелев при допросе, 1 мая 1870 г., после нового ареста, – я прибыл в Женеву в августе месяце 1867 года. Задачею моею было употребить все средства к прекращению революционной пропаганды, так сильно развращающей молодое поколение в России, т.е. скомпрометировать пред правительством тех деятелей, которые, действуя из каких-то эгоистических целей, получают из-за границы все там печатаемое и распространяют между неопытной молодежью, – и таким образом хотя на некоторое время остановить это движение, полное безумия и возмутительной лжи. Собственно говоря, заграничные агитаторы – без всяких средств; все средства ими получаются из России. Если людей, жертвующих для подобной цели деньгами не станет, то, конечно, и пропаганда должна сама собою прекратиться, – не станут же печатать для того, чтобы только самим читать, для собственного развлечения. Для этого я тотчас познакомился с Бакуниным, Элпидиным, Щербаковым, Жуковским и многими другими эмигрантами, хотя был принят ими весьма сухо-недоверчиво, вследствие сообщенных из Царства Польского сведений через польскую эмиграцию о том, что русское правительство будто бы нарочно меня выпустило как шпиона, но в этом кое-как я успел оправдаться. Эмигранты приняли меня в свой кружок, и я вместе с ними обедал – потом чрез месяц по неизвестной мне причине хозяйка этого пансиона мне отказала и запретила бывать у ней. В этом пансионе обедали и обедают по настоящее время самые крайние социалисты всех стран, бежавшие французские, итальянские и так далее дезертиры, но я не смутился пред этой неудачей и пошел по другой дороге для достижения моей цели, а именно: отправился к Тхоржевскому, управляющему конторою редакции "Колокола", и объявил ему, что я занимаюсь распространением в России молоканского учения, и тотчас просил его уступить мне 150 экз⟨empляров⟩ "Вероучения духовных христиан..." для отправления в Россию. Тхоржевский мне выдал их, за что я уплатил ему 300 фр., объявив мне при этом, что всех книг было напечатано 1000 экз⟨empляров⟩, из которых 600 экз⟨empляров⟩ какими-то лицами были вывезены в Россию в 1865 году, следовательно за покупкою 150 экз⟨empляров⟩ у него оставалось 250 экз⟨empляров⟩, что́ я и видел; я просил его к отходу утреннего поезда прибыть ко мне, что он аккуратно исполнил. К его, Тхоржевского, приезду я был совершенно готов в дорогу. Он меня проводил на самый вокзал и даже, чтобы показать ему, что я еду в Россию, дал ему сам деньги на покупку билета до Вены; конечно, я в Вену не поехал, а просто остановился в Милане, где прожил целый месяц, а потом вместе с этими книгами возвратился в Женеву. – По возвращении я застал эмиграцию разделенною на два враждебных лагеря – Бакунин, Огарев, Жуковский, Мечников и несколько других составляли одну партию – партию денежную – партию более со средствами, сгруппированную вокруг Герцена, человека хотя и скупого, но все-таки денежного. – Элпидин, Щербаков, Красовский, ⟨А.А.⟩ Серно-Соловьевич и еще многие другие составляли другую партию без средств и почти без дневного пропитания. – Обе эти партии наперерыв друг перед другом старались во что бы то ни стало приобрести меня. Задача первой партии в приобретении меня была вызвана не моими способностями, ни дарованиями, а чтобы именно отвлечь меня от Элпидина и К°, с которым я уже и так, вследствие отказа хозяйки пансиона, был в натянутых отношениях и, понимая меня как агента русских молокан и имеющего дорогу в Россию и как человека со средствами, опасаясь, что я в противном случае могу денежно содействовать элпидинской партии. Не более чем чрез неделю после вышеупомянутого возвращения в Женеву на квартиру мою пришел Огарев и пригласил меня ехать в Вевей к Бакунину и Жуковскому, где я встретил не-


Показание
Чиновника Завихостской таможни
ШЕВЕЛЕВА
отобранное во Временной Военно
Судебной Комиссии при Начальнике и Главнокомандующем
войсками Варшавского Военного Округа

ПОКАЗАНИЕ Н.А. ШЕВЕЛЕВА

Заглавный лист

Находится в следственном деле Н.А. Шевелева: "Производство прокурора Одесской судебной палаты о сортировщике Елисаветградской почтовой конторы Никаноре Шумееве, оказавшемся бывшим членом Завихостской таможни поручиком Николаем Шевелевым, обвиненным в государственных и других преступлениях". 1870.

Государственный архив Российской Федерации, Москва

сколько дам, в том числе княжну ⟨!⟩ Оболенскую и, как кажется, г-жу Барановскую, – наверное не знаю. Из мужчин мне знаком был там Мечников. Чрез час мужчины отправились в особую комнату к Бакунину, где я рассказывал о моей мнимой поездке в Россию, об России, конечно, в духе революционном, – потом положительно перешли Мечников и Жуковский к экзамену меня в знании молоканского учения. Все время в Милане я посвятил на изучение этого учения, зная вперед, что этими познаниями я заслужу доверия эмиграции. – Тут я узнал, что причина распри и разделения этих партий была брошюра Серно-Соловьевича, напечатанная в типографии Элпидина под заглавием "Наши домашние дела", где Герцен выставлен чуть не шутом и гаером[99]. Разъехались мы, не решив ничего. Был разговор о моих средствах; я говорил, что у меня 30 т⟨ысяч⟩ франков, но что могут быть и 100 000, а на самом деле у меня было 1500 франков. Из Вевей я уехал не в Женеву, а в Саксон, кантон Вале, где не более как в полчаса выиграл в рулетку до 10 000 франков. – Возвратившись в Женеву, поляки и эмигранты Русской партии Элпидина устроили так, что тамошнее правительство не решилось мне выдать карты на свободное жительство в женевском кантоне, потому что я приехал из России без паспорта, а поручительство за себя, что я политический преступник, я представить не мог, так что я должен был скрываться; о причислении же к гражданам Швейцарии мне нельзя было и помышлять. Из этого безвыходного положения я был выведен Огаревым, давшим мне письмо к Герцену 2-му, профессору флорентинского университета с просьбой рекомендовать меня графу Чебрариа, посланнику Сан-Маринской республики при флорентинском дворе[100], который, в свою очередь, дал рекомендательные письма к президентам республики, вследствие чего 1 декабря 1867 года я в общем собрании всего семитысячного народонаселения был избран к числу 33 патрициев 34-м патрицием, в чем выдан мне за подписью президентов печатный диплом[101]. Устроив это дело, я возвратился в Женеву. Здесь я опять у Тхоржевского взял до 100 экземпляров того же самого "Учения", заплатив ему 200 франков, и опять таким же образом он проводил меня до железной дороги, как будто бы я уезжаю в Россию, но я в Россию точно таким же образом не поехал, а из Милана чрез Геную и Ниццу приехал в маленькое княжество Монако, где в течение трех недель, ведя осторожно игру в трант и карант (trente et quarante), я выиграл 12 000 франков ⟨...⟩

В Ницце я прожил до мая. По возвращении в Женеву я сказал, что прибыл из России, благополучно сдав все книги по принадлежности. В это же самое время по приезде в Женеву я встретил Жуковского с неизвестным мне господином. На вопрос, кто это, он мне сказал, что это родственник Евгения Рагозина[102], я с ним не успел даже раскланяться, как он вышел из café du Nord; потом мне сказали, Элпидин и другие, что г. Рагозин – человек богатый, с большими связями в России, пользуется большим уважением как министра Рейтерна, так и Грота, и сотрудник "С.-Петербургских ведомостей", как своими средствами, так и связями поддерживает и даже развивает революционные движения в России и что он из числа тех немногих, принадлежащих к партии движения, пред которыми нужно благоговеть, тем более, что друг Чернышевского и поддерживает его детей, которые находятся у доктора в Петербурге; фамилию он мне сказал, но я забыл, кажется, Крупов или что-то в этом роде[103], и что он желает позна-

комиться со мною, как с человеком, близким к народу по революционно-религиозной пропаганде в России, – но уже было поздно. Рагозин уехал в Вену. Узнав эти подробности, я через неделю собрал книги молоканского учения, о которых говорил выше[104], и еще докупив у Тхоржевского сочинение "Учение для истинных христиан" Игнатия[105], в числе, кажется, как у него только осталось с 1865 года, – 25 экз⟨емпляров⟩, отправился в Вену догонять и во что бы то ни стало познакомиться с Рагозиным, сказав всем, что, хотя я уезжаю в Россию, но если что меня задержит в дороге, я буду писать Элпидину. Прибыв в Вену, я уже не застал Рагозина и узнал, что он уехал в Пест, но и там в июне месяце его не было, он разъезжал по Венгрии и Австрии для изучения табачной монополии по поручению Министерства финансов, о чем ⟨я⟩ писал Элпидину, что, не повидавшись с Рагозиным, я из Песта не выеду, – который мне ответил, если долго проживу там, советовал мне познакомиться с редактором газеты "Словенские новины" господином Бобула как журналом, диаметрально противоположным всех тенденций ⟨!⟩ панславянских, стремлений славян к соединению с Россиею. В письме этом было выражение: "Вы себя ничем пред нами не заявили, как будто боитесь русского правительства", что я и сделал, чтобы избавиться от всех нареканий эмиграции, как русского шпиона[106]. С этой целью я начал печатать в помянутой газете передовые статьи, хотя противуположные моим убеждениям, но в духе революционном, стараясь замарать в глазах славян мое правительство, подписывая их *Кевелев*, потому что в паспорте С.-Маринской республики значится Cheveleff, что произносится по-италиански *Кевелев*[107]. В славянских демократических сходках с трибуны я говорил возмутительные вещи, о чем передавалось немецкими, венгерскими и словенскими газетами. Потом в Пеште издана мною брошюра под заглавием "Orosz gang a Tótohos" ("Русский глас к словакам")[108].

Именно об этих своих "известных трудах" и заявит Шевелев на мясниковском процессе (см. ниже). Два экземпляра этой "венгерской брошюры", как мы знаем, Шевелев в 1869 г. переслал Огареву, и последний безуспешно пытался найти какого-нибудь мадьяра, способного на ходу перевести ему текст.

«В конце сентября, сколько помню, Рагозин приехал, – продолжает Шевелев, – мы встретились с ним по его же желанию в café Könnigin von England и потом отправились оттуда ко мне на квартиру, где я ему показал весь мой багаж, сказал, что я пробираюсь в Россию к своим единоверцам для распространения учения, ведущего прямо к революционному движению народа. Он взял у меня несколько книжек, и когда на другой день я посетил его в квартире против гостиницы "Париж", то он был в восторге, прочитав это учение, и, когда он узнал, что я в критическом положении, что у меня безденежье (меня в Пеште надул один поляк по фамилии Буковецкий, – об этом известно пештской полиции), то он тотчас же телеграфировал в Варшаву какому-то чиновнику, фамилию которого он от меня скрыл, тоже высокостоящему бюрократу, о высылке ему 200 руб., из которых я получил 140 руб., сказав мне, что он долга за мною не считает и что он делает это во имя предпринятого мною дела религиозного развития. У нас с ним было условие, что при посторонних он всегда будет меня обвинять в моих преступных замыслах и целях против русского правительства и даже хотел напечатать статью против меня в другой славянской газете "Пест-Будинские ведомости", но это почему-то не состоялось. Мы расстались с ним, кажется, в декабре месяце, условившись в мае месяце 1869 г. видеться с ним в Москве, в квартире брата его Виктора, на старом Конюшенном в д⟨оме⟩ Ильинской (кажется, так, сколько припомню)[21*]. Он уехал через Варшаву в Петербург, а я через Вену и Штутгарт со всеми книгами отправился в г. Мартиньи, кантон Вале; это страшное захолустье, где никто из иностранцев не живет. Сюда недели через две я выписал из Женевы свое семейство и прожил до апреля месяца»[109].

«В первых числах апреля нам с женою нужно было отправиться в Женеву к дочери, – продолжал Шевелев во время следующего допроса, 4 мая. – Оставив квартиру за собой, мы отправились туда на несколько дней, но, сходя с парохода, жена моя оступилась (была на четвертом месяце беременности), вследствие чего, с испуга ли, или от другой какой причины, она слегла в постель и чрез неделю выбросила; пользовал ее доктор Россель. В этот приезд посещал меня Элпидин, толкуя со мной о соединении моей молоканской деятельности с деятельностью революционной, – конечно, заданный мыслию, что я ближе всех к народу и что мои рискованные отлучки ничего не выражают, – ничего, кроме толчения воды; что, рискуя собой, я не переменяю нисколько положения дел в России... что в соединении с ними только можно произвести в России, начиная религиозной реформой, революцио-социальную. Тут я положительно узнал, что у них прямых сообщений нет, а что провозится кое-что в Россию или в двойных днах, или в кринолинах, или как-нибудь, но что именно дорог прямых; как в преж-

21* Среди следственных материалов Шевелева сохранилась визитная карточка (на немецком языке): "Евгений Рагозин, министерский инспектор императорского Министерства финансов".

нее время имел их Герцен, для провоза "Колокола", – нет. От Тхоржевского и Чернецкого я также узнал, что в последние два года существования "Колокола" также дорог у них не было и что провозилось в Россию не более 20 экземпляров. Было много раз толковано о соединении двух пропаганд, – но это все не сообразовалось с моими видами, так как в предложениях Элпидина как уполномоченного от других членов этой партии высказывалось желание скорей держать меня в своих руках, нежели бы они были в моих. Вот одно из подобных предложений: "Вы должны нам указать всех богатых и влиятельных лиц из молокан, хотя по одному из каждого настоятельства, чтобы мы могли удостовериться в их добросовестности чрез наших агентов". – "Как же вы хотите, чтобы мы вам верили, когда молокане себя ничем не заявили" (т.е., другими словами, что молокане не восстают). Ну, конечно, не зная никого в России из этого общества, ни влиятельных, ни невлиятельных, я отклонил от себя это предложение, сказав, что молокане ни с кем из не принадлежащих к их секте говорить не будут, и после этого долго Элпидин меня не посещал. В один день в апреле же месяце в отсутствие мое жена по городской почте получила письмо на имя мое, это письмо было от Элпидина, написанное женской рукою, как все его письма; не помню его содержания, только он просил меня, как кажется, в 4 часа прийти в café du Nord[22*], что́ я и исполнил, где застал Элпидина, ожидавшего меня. Много было говорено, но, в сущности, сколько могу припомнить из разговора нашего можно вывесть следующее: 1) что Бакунин требует настоятельно выдать партии действия те 20 000 руб., которые сданы в редакцию "Колокола", т.е. Герцену и Огареву, для революционной пропаганды в России; об этих деньгах я давно знал и даже ⟨видел?⟩ письмо, при котором они препровождены – Огарев мне показывал – каким-то господином, настоящую фамилию которого я забыл, уехавшим в Америку, который в романе Чернышевского "Что делать?" назван Рахметовым; на выдачу этих денег Огарев совершенно согласен, но Герцен упрямится[111]; 2) что если эти деньги будут получены, то Бакунин, который в это время уже примирился с Элпидиным, будет продолжать издание "Колокола" в духе социальном, который будет печататься не в типографии Чернецкого, т.е. Герцена, а в типографии его, Элпидина; 3) что если это не состоится, т.е. что Бакунин ⟨не⟩ получит денег, то он просит меня от имени всех привезти с собою для их дела 20000 рублей серебром; должно вам сообщить, что из моих мнимых поездок я возвращался с золотом, которое выигрывал, распуская слух, что ⟨это⟩ деньги, собранные в России от молокан; о том же, что я играл, никто из них и до сих пор не знает; 4) что, собственно, у меня Элпидин возьмет эти деньги по формальному обязательству, под залог своей типографии; 5) просил меня не требовать с Бакунина 800 франков, которые он мне должен, говоря, что во всем при получении 2000 рублей их партия рассчитается... Потом еще несколько раз встречался я с ним и с другими; разговор вертелся все на одних и тех же предметах с небольшими изменениями. Наконец в мае прежде я, а потом жена выехали из Женевы; эмиграция знала, что я еду в Россию; мы в Мартиньи рассчитались за квартиру, что́ могли взять, то взяли, а остальное ⟨...⟩ оставлено двум девицам-швейцаркам, о высылке адреса которых я жене писал; там же оставлены все книги духовного содержания и все те, которые куплены у Тхоржевского. Из Мартиньи мы приехали в Ниццу, тут я опять вздумал играть, но счастие меня оставило. – Мы переехали в Ментон. В конце июля я поехал за сыном в Женеву, который был болен корью. В этот приезд я избегал случая видеться с кем-нибудь из эмиграции, потому что у меня было безденежье, а они привыкли видеть меня всегда приезжающим из мнимых поездок в Россию с деньгами, но случай столкнул меня с Элпидиным; я отправился к нему на квартиру rue Terrassière № 24 и рассказал, что, когда я переехал границу близ Черновиц, то был арестован, деньги у меня отобрали, и я без гроша едва дотянулся до Женевы, и теперь не знаю, что делать. Эту ночь я провел у него; он мне сказал, что провоз ежемесячных заграничных изданий в Россию, по соображениям их, не нужен в разные города, а что только до Одессы к одному лицу, фамилию которого он не сказал, и уже оттуда будут развозиться в разные места России, – что они уже запаслись там дельным человеком. Притом узнал, что подобных людей со средствами, бешено поддерживающих революцию в России, раз-

---

22* Вот текст этого письмеца, написанного в Женеве около 22 марта 1869 г. (дата почтового штемпеля на конверте):

"Я хотел доказать вам всю ничтожность агитации так называемой молоканской секты и ее неумения на поприще революционном; но за неимением времени, по случаю скорого вашего отъезда, с одной стороны, и по случаю мелочности историческим данным (!), которые следовало бы поставить вам на вид, с другой стороны, я отлагаю мое опровержение до будущего, более удобного времени.

Теперь же, чтоб не разойтиться так, как расстались полтора года тому назад, я прошу вас, если есть время, забежать в café du Nord сегодня в час, чтоб пожелать вам bon voyage ⟨счастливого пути (*франц.*)⟩.

М. Элпидин

Понедельник"[110]

бросано человек девять. "Не в числе ли этих девяти Рагозин?" – спросил я. "Может быть", – было его ответом. В эту ночь было весьма много выпито вина. – "Как вы хотите, – говорил Элпидин, – чтобы мы были с вами откровенны, когда ваши молокане с нами секретничают и за всеми нашими расспросами мы об вас ничего не слыхали?". – Я ответил, что для этого нужно быть молоканином, а не нигилистом, чтобы что-нибудь выпытать. – Доставка периодических изданий должна начаться в январе или в феврале. – На другой день Элпидин достал деньги, 300 франков, выдал мне три печати, за резьбу этих печатей хотя я и заплатил деньги, но они у него находились почти год, говоря: "Возьмите в случае другой паспорт составить, то с этими можно все, в чем я буду в дороге нуждаться; чтобы я писал ему, – дав мне адрес, советуя ехать на Галац; на другой день при встрече с Бакуниным он мне сказал: "Ну теперь я вам должен не 800 франков, а 500 франков; вероятно, деньги эти он взял у Бакунина, – Огарев даже плакал о моем несчастии и дал мне 100 франков, да я еще занял под залог часов 100 франков – у хозяина Hôtel de Genève. Огарев и Бакунин дали мне один адрес на имя англичанки, если буду писать. – Взяв сына, с этими деньгами я уехал в Ментон. Из Ментона я выехал 1/13 сентября в путь в Россию в первый раз после выезда; прибыв в Венецию, я остался без гроша; тут я остановился поневоле и, узнав, что его сиятельство граф ⟨П.А.⟩ Шувалов приехал в Венецию и живет в гостинице Danielle, № 100, я явился к нему, собственно, с целью рассказать мое намерение служить правительству и всю мою деятельность, но при первых словах растерялся. Вот главная моя ошибка, и, кто знает, быть может, я не был бы теперь в таком положении... ну что делать, прошедшего не воротишь. На другой день граф дал мне 25 лир; с этими деньгами я отправился и доехал до Сисака, а оттуда до Биелины пешком, что и значится на карте, найденной у меня. В Белграде генеральский консул Шишкин дал мне 15 червонцев; с этими деньгами я доехал до Галаца. Из Галаца я писал Элпидину о моем критическом положении, и в ожидании ответа я разыскал молокан, пришедших из различных близлежащих от Галаца деревень для работы с своими семействами. Всех семейств было до десяти, в одном из этих семейств я и поселился. По воскресеньям, за неимением настоятеля, меня просили совершать богослужение; ⟨я⟩ толковал Евангелие и Библию и вскоре составил молитву за царя с коленопреклонением; весть обо мне дошла до Тульчи, куда меня пригласили. В Тульче я пробыл дней 10-ть, занимаясь толкованием Священного писания и проповедью против нарушителей спокойствия в России, что им чрезвычайно понравилось; они собрали мне до 200 франков; с этими деньгами я возвратился в Галац. Молокане вообще народ сосредоточенный, фанатики в своих религиозных убеждениях и всех революционеров иначе не понимают как поляками, и точно так же своими врагами. Ответа из Женевы еще не было; наконец, в половине октября, как кажется, я получил ответ; это письмо было от Элпидина, в котором он пишет, что "вместе с этим написано письмо австрийско⟨му⟩ вице-консулу, чтобы он помог мне, но при этом замечает, что я буду ему рекомендован как бежавший из Сибири поляк Шиманский"; кроме того, он еще писал, что ему известно, что "имеющиеся у меня паспорты никуда не годятся, а чтобы я за получением нового паспорта адресовался в деревню Чучьму, на границе России, к Николаю Ивановичу, фамилию которого я не знаю и никто в Чучьме не знает, но который там учителем"[112]. Должно сказать, что Чучьма населена почти одними молоканами, но я в этот приезд не желал с ними встречаться. В 10 часов вечера не помню, которого числа, я прибыл в Чучьму прямо на квартиру к Николаю Ивановичу; прочитав письмо Элпидина он тотчас вынул два дискира[113] турецких, без примет, в одном из них я проставил свои приметы, а в другом он свои; отдавая мне оба, просил кстати и для него выхлопотать паспорт, говоря: "Быть может, понадобится". Получив дискиры, я также получил рекомендательные письма к доктору[114] в Измаил, который знает, как с этим распорядиться. Мы условились, что при встрече второй раз быть вовсе незнакомыми. Это было сделано в моих видах. В Измаиле я остановился у доктора; этот господин – поляк, бежавший из России во время польского мятежа, до того странный, что можно думать, что помешанный; прочитав письмо, тотчас послал за евреем, фамилия которого, верно, записана в памятной книжке, торговец Керасино, который получил у меня оба дискира и 14 рублей, в получении которых выдал расписку, сказав, что через месяц будет все готово. Я возвратился на пароходе в Галац. Процедура для получения турецкого паспорта вовсе не сложна. Достают дискир на жительство в вассальных владениях Турции, потом отправляются в Измаил и, если имеет знакомых или рекомендательные письма, как я, тот платит 7 рублей; если нет ни того, ни другого, то являются прямо к этому еврею и платят ему уже 9 рублей как штраф за предприятие рискованное. Этот дискир отправляется в Вену и чрез месяц или не более полутора высылают паспорт с визой русского посольства для въезда в Россию.

Еврей этот по этому роду занятий – монополист; другого-то нет; он в короткое время нажил себе большое состояние... Печати, о которых говорится в этом показании, те самые, которые найдены у меня при обыске...»[115]

«...На другой день по приезде в Галац, – сообщил Шевелев при следующем допросе, – я отправился к австрийскому вице-консулу, подав через курьера визитную карточку, на которой написана была фамилия Шиманского; я получил ответ, что обо мне знают, но чтобы я пришел через два дня в первом часу. – В назначенный день и час встретил меня в приемной вице-консула секретарь его, низенький толстенький брюнетик, происхождения сомнительного и, как я после узнал, из евреев ⟨...⟩ Секретарь консульства по фамилии, как кажется, Кристи, сказал мне, что вице-консул поручил ему устроить мое дело и что он просит завтра меня к себе между 3 и 4 часами. – С этого дня я посещал секретаря ежедневно в назначенный час. Он от меня узнал, что мне раньше полутора месяца выехать из Галаца в Швейцарию нельзя, и, в свою очередь, объявил мне, что большой помощи консульство для меня сделать не может, а выдать мне максимум червонцев шесть для проезда в Кронштат (в Трансильванию) и что туда будет сообщено обоим и, быть может, меня оттуда найдут средства отправить до Вены или далее до Женевы. – Долгом считаю присовокупить, что консулу не было известно, что я еду в Россию, а ⟨он⟩ имел способствовать мне как бежавшему из Сибири денежными средствами на проезд в Швейцарию. В одно из подобных посещений я ему сообщил ⟨!⟩ не имеет ли он средств доставлять до Одессы ежемесячные издания. "Отчего же?", – но только об этом он сообщит мне сведения, поговоривши с консулом. – Суждения его о возможности транспортировки революционных изданий в Россию основывались на том именно, что Россия же агитирует против Австрии и восточных галичан и чехов и славян – следовательно, как он выводил, – долг платежом красен. Через несколько дней он сообщил мне, что транспортировка ежемесячных изданий положительно возможна; что всякий раз будет доставляться к австрийскому консулу в Одессу и что от него может быть получаемо вашим агентом, но вместе с этим поставлены условия, что расходы по этому делу, хотя и не будут превышать пяти червонцев за каждое отправление, но что он их принять на себя не может... – Мне казалось, что хоть этот путь – самый гарантированный, но эмиграция его не примет. "Все равно, думал я, дам знать правительству, оно меня снабдит, вероятно, надобными деньгами на уплату, о чем эмиграция знать не должна и не будет". Мне казалось, что мое правительство тем более не откажет мне в средствах, что оно в один раз било бы и революционную пропаганду и своих соседей с поличным, которые постоянно обвиняют его в агитации. Конечно, раз-другой, по моему соображению, я должен был бы пропустить, зато на третий партия действия, увлеченная успехом, развила бы деятельность шире, и тогда вся сеть революционных действий, обхватившая Россию со всех концов, была бы в руках правительства. В моем почти детском увлечении я писал жене, чтобы она не беспокоилась, что все будет уплачено, до одной копейки, конечно, надеясь, что его величество простит мне все прошедшее, не откажет приказать помочь мне как человеку, верно сослужившему свою службу, не жалевшего ни средств своих, ни трудов. Таким образом правительство, раскрыв все пружины, действующие в настоящее время для распространения возмутительного учения, могло бы спасти хоть на время молодое поколение, потому что в зрелых летах и устроившись, т.е. что, ⟨как⟩ говорится, обзаведясь домком, учение это не имело бы никакого влияния, потому что настоящее молодое поколение само тогда было бы заинтересовано в поддержании настоящего порядка как единственно гарантирующего благосостояние частной собственности. Разрушать то, что создает сам человек, или действовать во вред ему – это против логики и нецелесообразно. Вот в течение трех лет жизни за границей в чем состояла моя задача. Для этой идеи я жил и, не жалея средств и трудов, приносил в жертву мои собственные интересы. Все это, надеюсь, при дознании подтвердится. В моем показании нет ни лжи, ни прикрас. Это все голая истина. Меня скорей можно считать сумасшедшим человеком, что я затеял такое громадное предприятие, не посоветовавшись ни с кем, даже и с женою, – нежели преступником. Впрочем, это дело суда, который, по собственному выражению августейшего монарха, должен быть без лицеприятия – т.е. прав и милостив. В Одесской судебной палате, конечно, на милость я не надеюсь, но на правду – быть может.

Дня через два после нашего последнего разговора секретарь консульства сообщил мне, что русский консул меня разыскивает, что он об этом узнал от своих агентов, которые ему сообщили, что разыскивает меня, но только не как Шиманского, а как другое лицо. Советовал мне быть осторожным, потому что за безопасность мою он поручиться не может, – но, прощаясь, сказал мне: "Приходите завтра, я разузнаю об этом подробнее и, посоветовавшись кое с кем, приму меры к сокрытию вас; мы обязаны честно исполнить наше дело в отношении вас, так как об этом просит лицо, которого просьбу мы должны исполнить во что бы ни стало". Фамилию лица, писавшего обо мне, я никак от него не мог узнать, но понял из всего говоренного, что это один из членов революционного комитета, желающего ниспровергнуть настоящий порядок вещей в Румынии[116]. На другой день тот же самый секретарь сообщил мне, что другого средства нет как поместить меня в Коммунальный госпиталь, что об этом он уже переговорил с доктором Грасовским, и отдал мне к нему письмо. – Почему меня разыскивали – я

ни от кого добиться не мог. В тот же день меня поместили в госпиталь, – но не в общую камеру, а койку внесли в комнату младшего врача, фамилию я его забыл, он болгарин, но говорит по-молдавски, лет 22-х молодой человек. В этом госпитале я пробыл до начала декабря, выезжал только в крытом экипаже по вечерам, когда присылали за мной или доктор Грасовский или секретарь консульства...

В течение этого времени я получил письмо из Женевы, адресованное на имя Шиманского, но это не было от Элпидина, а только несколько слов карандашом выражали следующее: "Мы получили письмо из Америки к вам, относящееся до ваших религиозных дел". Действительно, из Америки писал ко мне отец Агафий ⟨!⟩ о необходимости ввести крещение между молоканами; письмо это вместе с ответом, в духе молоканском, я отправил в Тульчу к настоятелю тамошней церкви Никитину, для совета, согласен ли он с моим взглядом; с небольшими дополнениями мне Никитин возвратил ответ для отправления отцу Агапию в Нью-Йорк. С отцом Агапием мы и прежде переписывались по делам реформы религиозной. Он отвергает все таинства и обряды, но крещение ставит необходимым – не как таинство, но как обряд, – таинством он и не может его считать, потому что сам же отвергает рукоположение. – Когда-то отец Агапий был на полуострове Ситхе священником или диаконом, не помню хорошо; потом бросил духовное звание и стал проповедником реформы. Его учение ближе к методистам, нежели к квакерам и молоканам...[117]

Когда, по соображениям, паспорт должен был быть выслан к еврею, я выписался из госпиталя и уехал в Измаил, окруженный всеми предосторожностями со стороны консула и доктора Грасовского и получив от консула шесть червонцев (в чем и выдал расписку, потому что эти деньги казенные). Это было в первых числах декабря, грязь была непроходимая, лошади были наняты таким образом от Галаца до Измаила и оттуда до Чучьмы. – Чтоб избежать остановок в Измаиле для корма лошадей, я распорядился кормить их, не доезжая города, потому что в прошлый раз, когда я уезжал из Измаила, садясь на пароход, на меня подозрительно смотрел полицейский чиновник, бывший на пристани, и даже спросил паспорт; я показал ему один из бывших у меня русских паспортов, не помню который.

По приезде в Измаил, я, нигде не останавливаясь, прямо поехал в дом этого еврея, но не застал его; я предъявил расписку жене, которая тотчас вручила мне два паспорта, выданные посланником турецким при Венском дворе, с визой нашего посольства для въезда в Россию.

При выезде из Измаила у меня спросили снова паспорт, я показал, не помню какой, только не турецкий. В версте, не более, от города я встретил молодого человека, который, или слыша, что я говорю с извощиком по-русски, или, быть может, узнал меня, так как мы встречались с ним прежде, – остановился, и я в нем узнал Балабанова, того самого, которого видел в Женеве раза два, и известен ⟨он был⟩ мне от Элпидина как Балабанов; хотя по прическе похож на предъявленную мне елисаветградским полицеймейстером фотографическую карточку Нечаева. Вот что я узнал: что он только что из России; что прошедшую ночь ночевал в колонии болгарской у какого-то булгарина и перед светом перешел границу; что он останавливался в Одессе, кажется, на Ришельевской улице. – Оставаться долго в Одессе мне не советовал, говоря, что студенты тамошнего университета более купцы и прикащики, нежели люди, способные увлекаться; такого мнения и в Женеве об этом университете. Он, видимо, спешил, говорил очень скоро. Все время мы стояли поодаль от своих извощиков, потом, как бы вспомнив о чем-то, он побежал к своей повозке, порылся там несколько минут и вытащил оттуда кожаные лакированные манжеты, сложенную вчетверо парусинную шляпу и подрясник; от подрясника я вовсе отказался, говоря, что меня будут осматривать в таможне и заподозрят. Отдавая же мне остальное, сказал: "Носите эти нарукавнички, по ним узнает вас один монах, который занимается сбором подаяний в Херсонской губернии, в Бессарабии, в пользу церкви или монастыря, я его никак не мог встретить, – он один из наших, по этим нарукавничкам он примет вас за меня, отворит вам дверь к нашим и, если это вам нужно, во всяком случае, в случае какой надобности, даже снабдит деньгами... Мне очень жаль, – говорил он, – что я с ним не встретился, а то нужно бы было передать поклон кое-кому; впрочем, быть может, он арестован, потому что он не монах, а выходец из Турции, у него все фальшивое; кроме того, он мне передал паспорт монашествующего Иловайского; если не встретитесь с этим монахом, то оставьте у себя; быть может, вам пригодится. Ну! желаю вам успеха с вашими молоканами, не забывайте нас, а мы вас: дело общее", – сказал он, садясь на повозку и пожимая мне руку. Было уже совсем темно, когда мы расстались. Когда я стал рассматривать шляпу, то из нее выпал парик, об котором он мне ни слова не говорил ⟨...⟩ При обыске ⟨я⟩ указал на эти вещи, как более имеющие значение, на что судебный следователь улыбнулся, как бы желая сказать: "Каким образом в покраже почты может иметь особое значение эта мелочь", – но я просил в протоколе упомянуть об этом моем заявлении; не знаю, сказано ли об этом в протоколе...»[118]

К концу протокола третьего допроса, произведенного 7 мая, Шевелев собственноручно

приписал следующее показание: "Предъявляемая мне в настоящее время в больших размерах карточка совершенно похожа на встреченную мною личность при выезде из Измаила, но только все-таки я говорю, что он мне был известен в Женеве как Балабанов, а не как Нечаев, и что сию последнюю фамилию я узнал только в России, как ни кажется это странным, но это так. Нарукавнички, данные им мне, я постоянно носил, не снимая, по самый день моего ареста, что казалось очень странным моим сослуживцам и знакомым, – целью моей было не встретится ли где-нибудь этот монах, о котором мне говорил Нечаев. Более подробности о встрече моей с Нечаевым я буду говорить в будущих моих показаниях; чтобы избежать повторений, я не пишу теперь (...) Время моей встречи с Нечаевым близ Измаила я определить не могу, но, по моим расчетам, это, должно быть, было в конце ноября или в начале декабря прошлого, 1869 года"[119].

Несмотря на подробности, сообщаемые Шевелевым, эпизод, связанный с Нечаевым-Балабановым, остается недостаточно ясным. Не исключено, что Шевелев был гораздо более близок с Нечаевым, чем до сих пор можно было предполагать, и что он даже участвовал в его "агитационной кампании" 1869 г. Позднее Шевелев признался, что с этим человеком его познакомил в Женеве Элпидин[120]. О своем знакомстве с Нечаевым Шевелев заявил позднее, в 1872 г. (по собственной инициативе), выступая в качестве свидетеля по делу братьев Мясниковых, в С.-Петербургском Окружном суде (см. главу 6-ю наст. работы).

15 мая во время допроса, Шевелев продолжал:

«Часов в 9-ть утра я прибыл в Чучьму, остановился у одного из молокан; через час ко мне начали сходиться один за другим почти вся община, а как хата была невелика, то настоятель тамошней церкви, т.е. общества, предложил отправиться в молельню. Здесь собралось до ста человек; я должен был разъяснять им из Библии и Св. Евангелия спорные вопросы, в которых они сбивались, что продолжалось до 3 часов пополудни; потом все общество попросило меня сотворить молитву, что я и исполнил; должно сказать, что, когда меня просят молиться, я никогда не говорю тех молитв, которые напечатаны в молитвенниках и содержатся в книжке "Вероучения молокан", но всегда по вдохновению, согласно обстоятельств, что́ им чрезвычайно нравится, да и по правилам их молиться должно живым словом, а не печатным; они хотя и употребляют молитвы печатные, но это потому только, как сами говорят, что нет между ними образованных людей; потом пропели 50-й псалом "Помилуй мя, боже" – и разошлись – меня пригласил к себе настоятель; тут собралось несколько почетных лиц; толкование чисто религиозных вопросов продолжалось до 9 часов вечера. – Во все это время я не видал Николая Ивановича. Цель, с которою меня просили в Чучьму прибыть молокане, – это появившаяся в их обществе *ересь*, допускающая пьянство и общность жен, так называемый на языке их свальный грех, совершаемый по богослужении, в которую отделилось хотя не более 3-х семейств, но, несмотря на то, она опасна; это нечто вроде хлыстов. – Впрочем, об этом новом учении, занесенном туда из Кавказа, напечатано несколько статей в прошлом году в "Иллюстрированной газете", издаваемой, кажется, в Петербурге. – Не стану утомлять рассказами о религиозных прениях; они продолжались каждый день – во все время пребывания моего в Чучьме. – Мне отведена была квартира у одного из молокан; сени отделяли меня от хозяина и семьи его.

Было далеко за полночь, когда я почувствовал легкий стук в окошко; я подошел к окну и узнал в стучавшем Николая Ивановича; впустив его в комнату, я из предосторожности не зажег свечку, и, чтобы не побеспокоить моих хозяев, разговор велся шепотом. – Первое, что я ему сообщил, это встреча с Балабановым. "С каким Балабановым?" – спросил он. – "Который был отправлен Бакуниным и Элпидиным в Россию для распространения революционной пропаганды и составления общества, в чем, впрочем, он не успел, по крайней мере, как он мне говорил, встретясь со мною близ Измаила". Николай Иванович ответил: "Подобной фамилии я не слыхал, а писали ко мне, что, действительно, выехал из России какой-то молодой человек, фамилию я его забыл, но только, во всяком случае, не Балабанов". Ну что он еще говорил? – "Говорил, что он одевался монахом и женщиной".– Потом, когда я ему сказал, что спрашивал его об вас, то он мне ответил, что решительно вас не знает". – Тогда Николай Иванович вскочил с своего места и зашагал по комнате, он был видимо взволнован. – Потом остановился прямо против меня и в запальчивости произнес: "Ну! какой вы политический деятель? Ну! какой вы политический человек? Ну! как на вас можно положиться в чем-нибудь? Ведь условие Элпидина с вами было такого рода, чтобы вы только разговаривали с теми, о ком он вам скажет или напишет; прежде вашего приезда я получил об этом уведомление. Но с какой стати вам встречного и поперечного на большой дороге расспрашивать обо мне и, быть может, разговаривать; извините меня, я думаю даже, что вы не молоканин: посмотрите, они и с своими неразговорчивы. Это им делает честь. А вы?"

Правда, Элпидин поставил это условие в ту ночь, когда у него ночевал, и кроме того, писал ко мне в Галац, что это условие я должен исполнить.

"Успокойтесь же, Николай Иванович, ведь вы делаете шум, – сказал я ему. – Странный вы человек, и Элпидин тоже, я ведь вполне был уверен, что это предостережение относится только к людям посторонним, но не к своим. С Балабановым я познакомился через Элпидина, видел их дружеские отношения; видел, что они гораздо ближе между собою, нежели как я, и потом я, встречая того же Балабанова, вполне был убежден, что вы как переписываетесь с Элпидиным, так же знаете и Балабанова, а он вас. – Признаюсь, я в каком-то лабиринте и ничего из этого не понимаю; пожалуйста, объяснитесь".

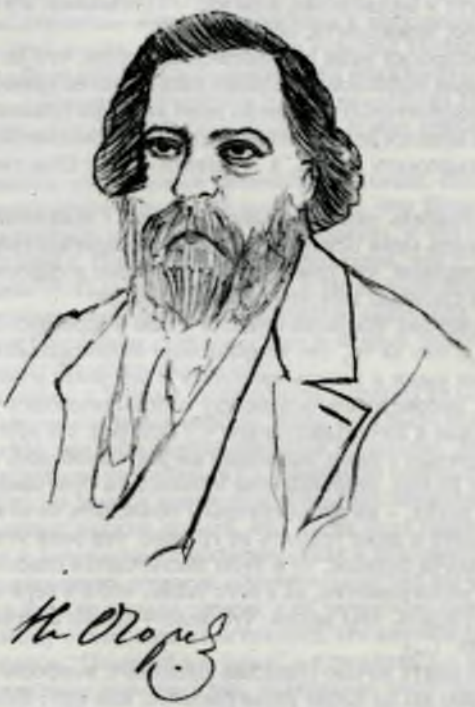
Он вместо ответа попросил меня провести себя, сказав, что он завтра придет. Я к этому обращению привык, и меня подобное поведение нисколько не удивило, – так они все поступают в затруднительных обстоятельствах, когда дело касается прямых одолжений, или отвечают обиняками. Я с ними возился долго и изучал их по выражению Бакунина: "Язык не для того у эмигранта, чтобы выражать мысль, а скрывать ее"[121]: Они твердо держатся этого правила.

На другой день настоятель тамошней церкви Фома Степанович и помощник его Семен Федорович пришли просить меня остаться в Чучьме до приезда Ивана Ивановича из Крыма ⟨...⟩ Воспользовавшись случаем, что они были у меня одни, я спросил их, что это за Николай Иванович, об котором я слышал? Вот что они мне сказали:

"Месяцев 8 тому назад два человека пришли к нам в деревню, сказав, что они служили в России в каком-то суде и что за то, что неправильно подписали какую-то бумагу, их хотели послать в Сибирь, но они ушли и теперь находятся и без денег и без куска хлеба; у нас тогда учителя не было, и мы, посоветовавшись между собою, решились их оставить у себя, но не иначе как свести их прежде к начальнику в кол ⟨?⟩ Болград. На другой день мы их отправили туда; начальник, поговоривши с ними, разрешил им жить свободно, где они хотят, и выдал им билетики. – Потом один из них, старший (они назывались братьями), который уже, кажется, в августе месяце от нас уехал, – начал некоторым объяснять 16-ю главу Св. Луки, ст. 9 в извращенном духе, что красть и даже грабить не грешно, что если это я делаю не для себя и не в свою пользу, а для раздачи бедным, то в этом заключается спасение. Ну! вестимо, вы сами судите, народ наш туп и малограмотен, да и есть такие, что и в вере нетверды, – начал прислушиваться да и себе рассуждать. Мы видим, что дело – дрянь, открыто по нашей религии мы не можем никого изгнать" ⟨...⟩.

Когда вошел ко мне опять ночью Николай Иванович, я спросил его: "Что же скажете вы мне, что́ за мистификацию вы со мною разыгрываете, или нет? Ведь это до крайности нелепо". Вот что я знаю по письму Элпидина об этом мальчике[122], – собственное выражение Элпидина, – если это он, фамилию его не спрашивайте, я ее забыл (это избитая фраза на устах всей эмиграции). В начале этого, кажется, года ⟨отвечал Николай Иванович,⟩ – прибыл в Женеву этот господин с письмом к Элпидину от какого-то его старого товарища. Чем заявил этот господин себя перед эмиграцией, я этого не знаю, писал ли он что? или занимался в типографии? Положительно не скажу, да это и лишнее. Только мне известно, что месяца через два или три по прибытии он стал настоятельно требовать от Элпидина и Бакунина, чтобы его командировали в Россию для составления революционного общества; при этом он захохотал ⟨?⟩; его долго отговаривали; наконец он в июле или августе, не помню хорошо, собрав прокламации, его ли это прокламации, или писаны кем-нибудь другим, ⟨не знаю⟩, и еще несколько брошюр и современных женевских изданий, отправился в путь. Что он делал в России, я решительно этого не знаю, потому что никаких сведений об нем не имею, и я вас могу уверить, что это мало меня занимает и почти вовсе не интересует, – таких искателей приключений для составления революционных обществ можно найти десятки и еще может быть их поедет в Россию десятками, если уйдут, как этот молодец. Ну! хорошо – напишут целые газетные колонны о своем путешествии, если нет – то умрут в каторге; напишут тоже, в свою очередь, рекламу о их деятельности другие – и только. Разве можно сериозно относиться к их деятельности?.. – Правда, жертвы, кровь, несчастия имеют свою долю интереса на стороне революционной партии. Это поддерживает в молодом, несозрелом поколении неусыпную агитацию. Вечное движение вперед поселяет недовольство к существующему порядку вещей не толь⟨ко⟩ их, но родных и близких к ним. Все это, конечно, пригодится в будущем, при сериозном развитии партии действия, – но в настоящем я не придаю большого значения и смотрю на это как ⟨на⟩ отвлечение главных сил неприятеля пустою перестрелкою.

Он говорил очень долго в этом духе, с таким хладнокровием, с таким равнодушием, что я затрепетал. Как, сколько жертв, сколько несчастий из-за какого-то темного будущего, созданного, быть может, в воображении двух-трех человек. Знаете ли, грубый и неотесанный Элпидин гораздо мягче; по крайней мере, я ничего подобного от него никогда не слыхал; но Николай Иванович – это человек образованный; по его манерам можно судить, что он когда-то бывал в порядочном обществе; он очень свободно владеет языками, французским и немец-



ОГАРЕВ

Рисунок неизвестного художника (карандаш). Перерисован с гравюры М. Леммеля (1858)

Отобран при обыске у студента А.Ф. Ергина в июне 1862 г.

Государственный архив Российской Федерации, Москва

ким, и при всем этом такое злое и черствое сердце; нужно быть поляком-кинжальником, чтобы с такой иронией отзываться о своих жертвах минутного увлечения. Кто этот господин, его фамилии в Чучьме никто не знает, и, конечно, мне опять не поверят, если я скажу, что я его не знаю[123]. «Нужно не знать совершенно Бакунина, – говорил он, – чтобы хоть на минуту задуматься, что он имеет что-нибудь общее с этими детскими шалостями, за которые, впрочем, иногда они рассчитываются или виселицей или каторгой. Он, правда, для нереволюционера виноват, что поддерживает и оправдывает подобные безумные предприятия, но мы с вами не ребята, чтобы обвинять его. Его и наше знамя – "Цель оправдывает все средства"[124]».

Заграничная жизнь Бакунина возмутительна; кроме выдуманной им экспедиции с десантом польских войск[125], которая была, собственно, им изобретена для излишней траты денег, чтоб высосать себе на шампанское и на вкусный стол и еще на кое-какие расходы для своей жены-польки[126]. Это рассказ Боссака (Галки), живущего в Каруже близ Женевы. Жизнь во Флоренции возмущает своею наглостию; по рассказам его же родственника Василия Неведомского, тверского помещика, бывшего когда-то чиновником особых поручений при генерал-губернаторе графе Закревском, в эту историю сбора подаяний в пользу эмиграции замешан был один русский барин Тихменев, который, бедный, не выдержал обнаруженного скандального происшествия и отравился[127]; в кровавую комедию, сыгранную Бакуниным при дневном свете во Флоренции, замешаны, к несчастию, и живописец Ге, и жена его, и брат жены Забелло[128]: вероятно, она известна С.-П⟨етербургской⟩ полиции, а Бакунин, как ни в чем не бывало, переехал только в Неаполь, с женой и с любовником ее[129]. Трудно предположить какое-нибудь дело, самое ужасное, на которое бы не пошел Бакунин. И он теперь, как видят,

во главе движения. В его распоряжении почти вся наша молодежь несчастная, на⟨д⟩ которой он просто издевается... Как же мне, имевшему возможность и связи, не восстать против этого вопиющего зла? А не приехать в Россию мне было нельзя, меня бы положительно заподозрили и укокошили; объявить же кому-нибудь, не имея ни вещественных доказательств, ни документов, это безумно. Да, наконец, быть может, я погиб бы, как Иванов[130], не сделав никакой пользы ⟨...⟩

Я официально, в присутствии посторонних, виделся с Николаем Ивановичем только два раза⟨...⟩ Во время наших ночных свиданий он меня уверил, что самое лучшее, не имея средств доехать до Тамбова и Моршанска, где я хотел собрать у молокан ту сумму, о которой просил меня Элпидин, с тамошних купцов-миллионеров Сорокина и Болотина, к которым я получил от вышеупомянутого Ивана Ивановича письма, которые и отправил по почте из Одессы; в этих письмах Иван Иванович, рекомендуя меня, писал, что вместо себя посылает говорить с ними – меня потому, что сам уже просрочил отпуск ⟨...⟩ Николай Иванович составил и написал мне аттестат на имя Шумеева ⟨...⟩ Николай Иванович советовал мне поступить по почтовому ведомству, так как чиновники этого ведомства ездят даром при почте.

На вопрос начальника Одесского жандармского управления г⟨осподи⟩на подполковника Кноп, знал ли я деятельность Нечаева или Балабанова в Женеве, – имею честь ответить, что не знал. Потом, знал ли я, что Нечаев поехал в Россию и с какой целью, – не знал. – Узнал через неделю после прибытия в Чучьму от Николая Ивановича, что, по справке его, действительно оказалось, что этот господин, которого я встретил под Измаилом, ушел и что он узнал, что чрез 2 или 3 дня после его побега был арестован тот булгарин, у которого он ночевал, – жандармским капитаном и чиновником, служащим при колониальном комитете. "Но не беспокойтесь, – прибавил он, – его должны выпустить, потому что в Бессарабии теперь введены новые судебные учреждения, которые не позволят никакого самоуправства, и долго без улик не станут держать; конечно, что действительно через границу переправил этот булгарин, но улик против него нет". Николай Иванович никогда не называл Балабанова Нечаевым, но только не говорил, что это не Балабанов.

Когда я Николаю Ивановичу рассказал о нарукавниках, он тоже расхохотался, сказав: "Что же вы не спросили его самого, есть ли у него самого ключ для отпирания дверей?"

– Это еще глупее, – заметил Николай Иванович. – Чем больше я узнаю об этом господине, тем более нахожу доказательства для вас, что Бакунин, человек науки, насквозь пропитанный революцией, никакой солидарности иметь не может с этими детьми; я вам не имею права подробно передавать то, что мне известно, но не в далеком будущем вы скоро удостоверитесь сами, что все это со стороны Бакунина ни больше, ни меньше как "фальшфайер"[23*] ⟨...⟩

В одно из своих посещений меня ночью Николай Иванович объявил мне, что, кроме книг, иногда будут доставляться тюки до одного пуда весу. Долго я его уговаривал сказать мне, что именно будут перевозить, но он мне ответил: "Завтра день праздничный, придите ко мне днем, часу в первом, после моленья". Я отправился к нему, но ничего особенного не мог заметить; наконец, я его вынудил, и он мне показал фунтов 30 или до пуда русского шрифта; когда он отвернулся, я воспользовался этим обстоятельством и взял этого шрифта целую горсть и положил в карман, не быв замеченным им. Этот шрифт найден у меня при обыске в Елисаветграде. У нас завелся при этом обстоятельстве с Николаем Ивановичем следующий разговор: "Вы, кажется; вздумали меня опять надувать, ведь вам известно, точно так же, как и мне, что русская типография в Женеве одна; это Герцена, которая может, не прибегая к помощи других типографий, производить оттиск сочинений сама. Типография же Элпидина и "Народного дела" устроены таким образом, что делают у себя только набор, который затем отправляют в одну из женевских больших типографий для отпечатыванья. Спрашиваю я вас, к чему пригодятся в Одессе или Москве подобные ручные типографии? где тайная типография может сыскать типографщика, готового принять на себя труд и громадную ответственность пред русским правительством? какая соблазнительная сумма должна быть ему заплачена за риск его? Извините, Николай Иванович, вы со мной что-то играете в какую-то детскую игру и просто насмехаетесь надо мною", – и вышел от него. Ночью того же дня он опять явился ко мне и просил меня принять все меры к доставлению этого шрифта разов пять или шесть до Одессы. – "Вам всего удобнее при ваших связях с молоканами, вам стоит только попросить их, и они вам все сделают". – "Во всяком случае я должен знать адрес того лица в Одессе, к которому адресовать эти вещи". Он мне ответил, что до сих пор ему самому неизвестно это лицо. Элпидин не написал еще подробно, что это за лич-

---

23* "ложный сигнал" (*нем.* «Falschfeier»).

ность в Одессе. "Но как же, – сказал я ему, – могу я посылать через своих молокан эти вещи?". – "Да я, – возразил Николай Иванович, – и не говорю о настоящем времени; конечно, это должно устроиться по вашему возвращению из России; только мне нужно знать, могут ли взяться молокане за это дело?". Я, в свою очередь, переговорил с одним молоканином Семеном Федоровичем, который за долгими отнекиваниями согласился на это условие, но не иначе как только принимать от меня, а не от кого другого. Конечно, Семен Федорович, зная мои убеждения, никогда не мог предполагать, что в этом будет провозиться шрифт или что другое, а книжечки вероучения молокан или что-нибудь другое для духовного распространения в России. В следующую ночь, когда Николай Иванович зашел ко мне, я успокоил его, сказав, что один из молокан согласен взять на себя доставку, но что ни от кого другого, кроме меня, принимать ничего не будет. Николай Иванович остался этим извещением доволен, понимая вполне, что молокане – народ замкнутый, скрытный и только со своими откровенен... Когда я прибыл в Херсон, то тотчас же хотел узнать, откуда этот шрифт, и употребил для этого опыта мазь, которая употребляется в каждой почтовой конторе. Когда же я сделал таким образом оттиск этого шрифта, то я, к удивлению моему, не нашел никакого сходства между шрифтами "Народного дела" типографии Элпидина, а также типографии Герцена или Чернецкого. Мне странно показалось, откуда до пуда шрифта могло попасть в Чучьму к Николаю Ивановичу ⟨...⟩[131]

От Николая Ивановича я должен был получить письма или в Херсон, или в Одессу на имя Oscar Michel ⟨...⟩

От Николая Ивановича я письма не получил и сам никому, кроме жены, из России не писал...»[132]

4

ОБРАТНО В РОССИЮ. — СОРТИРОВЩИК ЕЛИСАВЕТГРАДСКОЙ ПОЧТОВОЙ КОНТОРЫ Н.Л. ШУМЕЕВ, ОН ЖЕ И.А. АБРАМОВ, ОН ЖЕ ШЕВЕЛЕВ. — ГЕРЦЕН УНИЧТОЖЕН: МОЛОДЫЕ ЭМИГРАНТЫ ОБОЙДУТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ МОЛОКАН. — НАМЕРЕНИЕ ВОЗВРАТИТЬСЯ В ЖЕНЕВУ. — РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ АРЕСТЕ. — АРЕСТ. — ДОПРОСЫ. — ТИФ. — ПОКАЗАНИЯ ЖЕНЫ. — ЕЕ ЗНАКОМСТВО С ОГАРЕВЫМ. — БОЛЕЗНЬ ИЛИ "БОЛЕЗНЬ"? — БЕГСТВО ИЗ КУРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. — СНОВА ЗА РУБЕЖОМ

(1869–1871)

Итак, 22 декабря 1869 г., после трех лет зарубежных скитаний, Шевелев пересекает границу в обратном направлении, близ молдавского местечка Татарбунары, с паспортом на имя турецкого подданного Иосифа Абрамова – человека, двенадцатью годами моложе, чем он, и с совершенно несхожими внешними приметами. Через месяц с небольшим ему удается внедриться под именем Никанора Леонидовича Шумеева в елисаветградскую почтовую контору на штатную должность старшего сортировщика. "Причина, почему я искал места в почтовом ведомстве, – пояснял Шевелев следователям, – была та, что в то время была реформа в почтовом ведомстве и было много вакантных мест; кроме того, почтовые чиновники могут переезжать даром и во время отпусков"[133]. Помимо этих преимуществ, служба в почтовой конторе обладала для Шевелева еще одним, решающим достоинством: возможностью сравнительно легко завладеть казенными деньгами, а это, как мы знаем, было главной причиной его поездки в Россию – ведь он заверил Элпидина и Бакунина, что привезет от молокан две тысячи рублей для возобновления "Колокола". Однако план Шевелева провалился из-за допущенных им оплошностей. Во-первых, он отправил жене в Ментону, по-видимому, излишне откровенное письмо, позабыв о таком непременном атрибуте российской жизни как перлюстрация частной переписки[24*]; во-вторых, вероятно, будучи подшофе, он поделился с кем-то из собутыльников своими планами, вследствие чего уже в начале марта III Отделению стало известно не только местопребывание, но и подлинная фамилия и ближайшие намерения Шевелева. 7 марта начальник штаба корпуса жандармов генерал Н.В. Мезенцов направил начальнику Жандармского управления города Одессы подполковнику Кнопу совершенно секретное предписание[135], о содержании которого Кноп 21 марта известил прокурора Одесской судебной палаты Орлова: «Полученным мною сего числа предписанием от 7 сего марта господин управляющий III Отделением собственной его величества канцелярии сообщает мне полученное сведение о том, что ⟨есть⟩ некто, служивший писцом в костромской гимназии, потом поступивший сортировщиком в елисаветградскую почтовую контору и отправленный 28 февраля с по-

---

[24*] Жене своей я писал в Ментон из Одессы или Херсона, хорошо не помню, и дал ей этот самый адрес в Елисаветграде, где и получил от нее одно письмо, которое я изорвал (из показания Шевелева от 15 мая 1870 г.)[134].

чтою под чужою фамилиею *Никифора Шумеева;* что есть основание думать, что он, если не совершил, то предполагает совершить какое-то преступление и, не желая допустить себя до суда, намерен лучше отравиться; что у него есть какая-то знакомая – может быть, и жена, в Ментоне Вера (!) Шевелева, – и предписывает мне как можно осторожнее собрать негласные сведения о помянутом Шумееве и, если действительно откроется что-нибудь подозрительное и преступное в его действиях, то принять все меры предосторожности, чтобы не допустить Шумеева до самоубийства, арестовать его (...) Затем я получил шифрованную депешу от 13 сего марта следующего содержания, – продолжал Кноп: – Обокравший почту почтальон Шумеев, собственно, называется Николай *Шевелев,* жена его Варвара и дети Евгений и Надежда находятся за границею, куда и он намерен пробраться, вероятно, под настоящим именем. В случае задержания хочет отравиться. Сообщите эти сведения кому нужно для розысков и осторожного арестования»[136].

"Мне кажется, что по шумеевскому делу остается только телеграфировать Кнопу те указания из перлюстрации, которые могли бы облегчить розыск, – отмечено в памятной записке (без подписи) для Мезенцова от 13 марта. – Затем, может быть, мнимый Шумеев станет пробираться за границу под настоящем именем, т.е. как Шевелев. Не предупредить ли на пограничных пунктах?"

На записке резолюция Мезенцова: "Надо исполнить немедленно"[137].

24 марта Орлов поручил своему "товарищу" Ярошевичу произвести негласное дознание и 28 числа получил от него следующую секретную телеграмму: "Шумеев арестован, найдено много фальшивых паспортов и подозрительных вещей, производится следствие"[138].

Вслед за тем Ярошевич отправил обстоятельное донесение об арестованном "сортировщике", особенно отмечая следующую подробность: «При обыске в сундуке Шумеева найдено до 8-ми разных паспортов и видов (на жительство) – из коих 3 заграничные; разные орденские ленты, парик, три печати (...) и другие подозрительные вещи[139].

При первом же допросе, 28 марта, после обыска, арестант заявил: "Я старший сортировщик Елисаветградской почтовой конторы Никанор Леонидович Шумеев, отроду 30 лет, вероисповедания православного (...) вдов, детей не имею(...) Два года назад оставил Кострому (...) В том, что я обокрал почту, я не признаю себя виновным. Что же касается до вещей, изъясненных в протоколе обыска в моем помещении, то я объясню обо всем этом тоже в III Отд(елении) (...) Так как я занят и работаю в деле политическом, то о всех вопросах, даже и самых мелочных, я желаю ответить в III Отд(елении) ... Прошу прокурорский надзор принять все меры, чтобы дело о моем задержании не получило огласки, потому что в таком случае все труды мои за границей останутся без всякой пользы"[140].

По поводу этого требования Ярошевич сообщил своему начальнику: "Принимая во внимание оказавшуюся у него по обыску и частную его переписку, из коей видно, что он нуждался в самых ничтожных средствах к жизни, едва ли возможно допустить справедливость его объяснения. Для разъяснения личности Шумеева судебный следователь, между прочим, предлагает снять с него фотографические карточки и разослать их в С.-Петербургский почтамт, в III Отделение и другие места".

Исполняющий обязанности судебного следователя Волховский отметил в своем представлении прокурору И.Н. Орлову, что во время обыска у арестанта "отыскана (...) в бумажнике фотографическая карточка Николая Бакунина"[141].

На допросе 8 апреля Шевелев признался, что он "не тот, коим себя именует", однако имя и отчество назвать отказался.

14 апреля елисаветградский полицеймейстер М. Пащенко, несколько раз посетивший Шевелева в его камере, счел нужным уведомить Ярошевича о полученных им от арестанта некоторых "известиях". "Привыкший обращаться с арестантами различных сословий и умственных развитий, – заявил полицейский чиновник, – служа еще в корпусе жандармов и обладая несколько опытностию, не допускающею безусловного доверия к словам заключенных, я должен сказать, что Шумеев не есть простая личность, обвиняемая за одно лишь воровство почт; что ежели он и брал на себя эту роль, то не для того только, чтобы пользоваться самому, а для других, более широких целей.

Из его отрывочных каких-то излияний видно, что он двадцать с лишним лет тому назад был гувернером в Екатеринославле, у теперешнего губернского предводителя дворянства Петра Ананьевича Струкова". Годы моего знакомства с семейством Струкова почти совпадают со временем пребывания в доме Шумеева, – писал Пащенко, – он хорошо знает имена всех домочадцев и даже именинные дни главных членов семейства. Потом, в пятидесятых годах, он жуирует по Херсонской губ., знаком с домами Шмидов, Безродных, Лутковских и, видно, знал их очень хорошо; потом – как и почему он уехал за границу – умалчивает, говоря, что это обстоятельство хорошо известно III Отделению канцелярии его величества, в которой он изве-

стен всем (до последнего писца): что если он арестован теперь, то только по сведениям, полученным адъютантом начальника штаба корпуса жандармов Александром Константиновичем Мясниковым от Николая Ивановича Юрасова, живущего за границей живописца (русский агент); что здесь его выследили по лисьей шубке, в которой он выехал из-за границы и ходил в ней в Одессе. Далее он говорит, что в молодости он действительно увлекался идеями, противными и вредными правительственным целям: что, придя в более зрелый возраст (теперь ему 50 ⟨!⟩ лет)[142], он разочаровался во всем и задался одной задачей – спасти русскую молодежь от врагов, увлекающих ее в бездну, и раскрыть правительству те дороги, по которым идеи вредной пропаганды проходят в Россию; что это дело, при его пособии, с успехом может только сделать Александр Федорович ⟨!⟩ Роман⟨н⟩, служащий в III Отделении – кажется, начальником отделения, человек, весьма способный, разумный, ловкий и хорошо владеющий несколькими европейскими языками; с Романном ⟨он⟩ познакомился очень давно, когда тот служил в Галаце в почтовом ведомстве[143] ⟨...⟩

Однажды Шумеев сказал мне, что он ⟨был⟩ знаком с Нечаевым за границей. Желая проверить справедливость этих слов, в следующий раз при посещении тюрьмы я взял с собой несколько фотографических карточек различных преступников, в том числе и Нечаева. Поговорив с Шумеевым о его болезни и выслушав несколько его жалоб и просьб, я обратился к нему как к бывалому человеку и спросил, не случалось ли ему знать или встречать где-нибудь подобные личности? – Передавая карточки, я сказал, что они найдены в кармане недавно убитого около Елисаветграда неизвестного человека. На трех карточках он равнодушно, на мгновение остановил свое внимание, говоря "Не знаю", но, взглянув на карточку Нечаева, он улыбнулся и сказал: "Вероятно, и вам известно – кто эта личность?" – "Нет", – отвечал я. "Это Нечаев, только очень дурно снят, – впрочем, легко узнавать по волосам, они у него так мягки, что могут служить для женского и мужского костюмов". Это справедливо – так было сказано в описании примет Нечаева.

Взвесив все слышанное мною от Шумеева, я пришел к тому заключению, что эта личность, обвиняемая лишь в воровстве почтовых денег, далеко выше обыкновенного вора. Его широкое умственное развитие, смелость идей, которым он ловко умеет давать то или иное направление – смотря по надобности, видимое его участие в обществах заграничных пропагандистов, старые и новые знакомства его в разных частях России дают некоторое право думать, что этот вор почтовых сумм – не тот простой вор, который крадет ради улучшения своих личных обстоятельств, но тот, который рискует всем для достижения своей цели и получения тех знаков, которые проявляют такую громадную силу в деле революционной пропаганды, чего не делают за деньги и на что не решаются для их приобретения.

Я смею думать, ваше превосходительство, что подобную личность нельзя не представить суду тех, на которых он указывает; что в ней есть много скрытых тайн, которых проверка с политическим знанием, с отделением лжи от истины могла бы повести к весьма полезным результатам»[144].

Подобного же мнения об арестанте придерживался и "товарищ" прокурора Ярошевич.

Второму допросу Шевелев подвергся только 17 апреля, через три недели после первого, по возвращении Ярошевича из отпуска. На этот раз арестант заявил, что фамилия его Абрамов, т.е. назвал ту "паспортную" фамилию, которой воспользовался при переезде через границу. В показаниях Шевелева, данных в этот день, содержатся интересные подробности – особенно о его взаимоотношениях с эмигрантской колонией в Женеве. Ряд сообщенных им фактов имеет, кстати сказать, документальные подтверждения.

«Я турецкий подданный Иосиф Абрамов ⟨сын⟩ Абрамов, – так начал Шевелев "свои" показания. – Вышел из России слишком давно и родных моих не знаю. Жил в Вене, Италии и Швейцарии. В Женеве знаком со всеми русскими эмигрантами, и мне стоило много труда и денег, чтобы заискать их доверие. В Россию приехал я в силу моих убеждений с целию раскрыть собственными силами тех главных агитаторов в России, которые своим влиянием и деньгами поощряют на дело социальной пропаганды. Из главных двигателей и покровителей пропаганды известен мне по фамилии только один Евгений Иванович Рагозин, служивший прежде старшим ревизором по Департаменту неокладных сборов Министерства финансов. С ним я познакомился в Женеве, когда приезжал он туда в 1868 г. из Веве – вместе с русским эмигрантом Жуковским, которого имя и отечество забыл. В том же году с Рагозиным я встретился и в Пеште[145] ⟨...⟩ Уезжая из-за границы, никакой семьи и родных я не оставил, потому что жена у меня умерла. Прибывши в Одессу и не найдя квартиры в постоялом дворе и встретившись совершенно случайно с незнакомым мне до того Филатом Кортовым на Пересыпе, был приглашен им к нему и, проживши с неделю, 1 января настоящего года выехал в Тирасполь. Здесь я остановился в гостинице какого-то еврея, рядом с Отель Франсе. В ту же гостиницу потом приехал земский врач Бессарабской области в 25 верстах от Немценской таможни Розенберг,

окончивший курс наук в Московском университете Диан, а также чиновник Одесской городской думы Филипп Васильевич Марцинковский. С последним из Тирасполя я отправился в Кишинев и тут прожил за Крещение на постоялом дворе Чуфли. Здесь чрез посредство Розенберга я познакомился с учителем Коловичем, который старался предоставить мне место в почтовой конторе, но это ему не удалось. Вследствие этого желания Коловича и того, что я не застал его один раз в назначенный час в доме, он просил меня прийти к нему в 9 или 10 часов утра, что и выражено в отобранном у меня письме Коловича. Цель нашего свидания была потолковать о месте».

При допросе 10 апреля 1872 г. Шевелев уточнил: "Не принял я места в канцелярии кишиневского губернатора, предлагавшееся мне по ходатайству кишеневской гимназии учителя Коловича потому, что встретил в г. Кишиневе в то время адъютанта жандармского управления капитана Марченко, с которым я вместе служил в Завихостском таможенном округе, и потому я должен был сейчас ⟨же⟩ уехать из Кишинева, чтобы не быть им узнанным"[146].

"Определение мое на службу под чужою фамилиею было вызвано необходимостию, – заявил Шевелев в другом показании, – не мог же я поступить на службу как Шевелев, потому что я эмигрант и, вероятно, сообщено о моем бегстве за границу всем полициям ⟨...⟩ Поступить же под именем Шумеева мне все равно, что Иванова и Петрова, но под именем Никанора Шумеева мне советовал поступить Николай Иванович, ⟨так⟩ как ⟨он⟩ знал настоящего Шумеева, с которым жил вместе в Милане в 1865 г., и знает наверное, что он умер. Я почты никогда не грабил да и в настоящее время все доказательства ясно говорят, что в моих мыслях не было желания ограбления почты; что поступление в почтовое ведомство было не что иное, как по совету же Николая Ивановича к бесплатному проезду до Тамбова и Моршанска, где я думал заручиться деньгами от миллионеров-купцов Сорокина и Болотина, быв вполне убежден, что моя симпатичная речь в беседах о духовных делах обратила бы внимание их на мое критическое, безвыходное положение. Но когда в феврале месяце я узнал, что Герцен умер в Бозе скоропостижно, я смерть ⟨его⟩ отнес не к принятым мерам французской полиции, а к решительным действиям русской революционной партии действия, находящейся под покровительством Бакунина[147]. Таким образом, мне казалось, что не к чему мне забиваться в Тамбов и Моршанск, потому что уже партия эта не нуждается в деньгах и обеспечена: потому что того лица, которое сопротивлялось в выдаче 20 т⟨ысяч⟩ рублей серебром, теперь не стало[148]. С этою целью вечером в воскресенье я отпросился остаться дома, а вместо того поехал в Николаев и по приготовленному собственноручно дня за два свидетельству на отпуск члена Завихотской таможни Колтынина получил без хлопот от николаевского губернатора подорожную до Татарбунар, желая ехать обратно за границу, быв вполне убежден, что и без денег в настоящее время (это было в феврале месяце) я буду, вероятно, нужен эмиграции за границею. Но поездку в Татарбунары из Одессы я не совершил по неимению денежных средств и располагал по приезде в Елисаветград отпроситься в отпуск в Одессу и Херсон. – Об этом отпуске под предлогом женитьбы я просил свое начальство, но до разрешения этого отпуска был арестован"[149].

19 апреля Ярошевич направил Орлову следующую телеграмму из Елисаветграда: "По делу Шумеева обнаружены важные обстоятельства, видоизменяют его подсудность. Донесу по почте"[150].

Донесение было отправлено на следующий же день.

"Рассматривая вещественные доказательства по делу, я нашел между книгами Шумеева два сочинения, каждое в двух экземплярах: "Для истинных христиан" и "Вероисповедание истинных христиан, обыкновенно называемых молоканами", напечатанных в Женеве, – писал Ярошевич. – Оба эти сочинения по содержанию своему антирелигиозные и антиправительственные ⟨...⟩ Имея в виду важность сих сочинений, я старался разузнать, не передавал ли их кому-либо Шумеев? Но из расспросов окружавших его этого не обнаружено. Затем я обратился к самому Шумееву: он видимо был смущен моим спросом и сказал, что означенные сочинения купил из простого любопытства в Константинополе, но никому не передавал. Вечером того числа я получил представляемую при сем записку Шумеева, коею он просил меня к себе в тюрьму для объяснения по этому делу[25*], и рассказал мне следующее: русская эмиграция за

[25*]Вот эта записка Шевелева:

"Милостивый государь Антон Осипович!

Ради Бога, прошу вас пожаловать ко мне, если можно, сей час для объяснения по делу, о котором вы меня спрашивали, или вызовите меня к себе, но только сегодня.

Глубоко уважающий вас Иосиф А б р а м о в.

Апрель 29 дня 1870 г."[151]

границей порешила распространять революцию в народе помощью подобных сочинений; в этом содействуют ей 8 или 9 человек в России, высокопоставленных по своему общественному положению и богатству; попадаются же в руки правительства только орудия главных деятелей. Он знает, что одно из таких лиц находится в Одессе, но фамилия его ему неизвестна. Из этих лиц знает он только одного Евгения Рагозина, служившего в Д⟨епартаменте⟩ неокладных сборов. Встретившись с ним в 1868 г. в Пеште, Шумеев передал ему по 10 экземпляров каждого из сих сочинений; при этом Рагозин говорил, что он постарается распространить их в женских гимназиях и семинариях. На замечание Шумеева – как перевезет через границу? – Рагозин сказал, что это пустое, так как на таможнях знают, что он служит в Министерстве финансов, и притом следят только на польских границах, и то за поляками. Кроме того, Шумеев высказал предположение, что в деле этом содействуют еще и братья Рагозина: Виктор, женатый на Шиповой, проживающий в Москве, в Старой Конюшенной, в доме Ильинского, который был уже арестован III Отделением по поводу переписки с Александровой, и другой брат – доктор Александр, женатый на сестре жены эмигранта Жуковского, проживающего в своей деревне близ Москвы.

Имея в виду важность заявленного Шумеевым, я просил его написать об этом на бумаге, и он написал представляемое при сем заявление. На замечание мое – что в заявлении далеко не так написано, как он мне говорил, Шумеев сказал, что он опасается писать в точности, так как Евгений Рагозин весьма осторожен и у него сочинений этих могут не найти ⟨...⟩[26*]

В доказательство своего знакомства с эмигрантами за границей Шумеев заявил, что он будет писать к ним письма и будет получать от них ответы. Что же касается своего происхождения, то Шумеев сказал, что он русский подданный и что был попечителем училищ, но настоящей своей фамилии не сказал.

Для более точного определения личности Шумеева я завел с ним разговор о социальных вопросах и, проговорив с ним несколько часов сряду, убедился, что он человек, довольно образованный и весьма развитый. При этом он высказался, что по преимуществу трудился над сочинениями духовного содержания. Справедливость его слов отчасти подтверждается тем, что у него найдены книги исключительно духовного содержания.

Принимая во внимание рассказ Шумеева и то, что у него найдено по 2 экземпляра возмутительных сочинений, я усматриваю в его деле признак преступления, предусмотренного 245 статьей "Улож⟨ения⟩" изд⟨ания⟩ 1866 г. ⟨...⟩ При этом честь имею представить по одному экземпляру означенных сочинений[153]".

27 апреля Кноп телеграфировал Мезенцову: "Шумеев будет доставлен в Одессу для производства дела, принявшего политический характер, буду содействовать"[154].

Только 28 апреля Ярошевич "докопался" наконец до подлинной фамилии Шевелева, которую, в сущности, знал уже давно из справки III Отделения, но, видимо, позабыл. В донесении, отправленном Орлову, он сообщает: "Имею честь донести, что по собранным мною сведениям оказалось, что именующийся Шумеевым служил под именем Шевелев членом и казначеем на таможне в Завихосте (Радомской губернии), но в недавнее (!) время обокрал казну и содержался в петербургской тюрьме, откуда бежал[155]".

29 апреля Шевелев привезен был под конвоем в Одессу. Давать дальнейшие показания Ярошевичу он отказался, требуя, чтобы его допрашивал подначальный III Отделению Кноп.

3 мая Кноп сообщил Шувалову в секретном, как обычно, донесении насчет Шевелева: "После весьма продолжительного разговора, в котором он высказывал недоверие к судебным властям, называя их поляками, Шумеев свободнее разговорился со мною и, намекая на сношения и знакомство его с эмиграциею, уверял меня неоднократно в том, что, хотя ему, конечно, не поверят, он, тем не менее, действовал исключительно с целию оградить русский народ от пагубного влияния пропаганды и с намерением разузнать всех революционных деятелей, в особенности тех, которые живут в России, для того, чтобы обличить их перед правительством. Для подтверждения своих слов он имеет, как говорил, доказательства.

Применяясь к идеям Шумеева, которые он высказывал с красноречием и с увлечением фанатика, я успел его уговорить в том, что я с готовностию буду ему содействовать доказать правительству настоящую цель его действий – хотя он пошел по пути незаконному и опасному для достижения этой цели – и что я надеюсь успеть в том, если он изложит с полною откровенностию всю свою деятельность за границею, цель приезда его в Россию и те доказа-

---

[26*] Вот какое письменное заявление от 20 апреля Ярошевич имеет в виду: "Вследствие вашего словесного мне заявленного вопроса, не давал ли я кому-нибудь книг, найденных у меня заграничного издания, я имею честь объяснить, что несколько экземпляров подобных книг взяты, вероятно, из простого любопытства Евгением Ивановичем Рагозиным при моем свидании с ним в Пеште, как помнится, в ноябре месяце 1868 г."[152].

тельства, могущие подтвердить его верность установленному правительству, о которых он говорит. После долгих колебаний Шумеев обещал мне на следующий день дать вполне откровенное показание, но с тем, однако, непременным условием, чтобы я передал его показания господину шефу жандармов, а не прокурору, которому показание давать не будет. Я счел нужным на это согласиться, предупреждая, однако, Шумеева, что я могу поручиться ему лишь только за мои действия, но не за те распоряжения, которые моему начальству угодно будет сделать относительно его показания ⟨...⟩

Затем, 1 мая, после долгих его колебаний, я успел уговорить Шумеева, и он приступил к даче мне показания, при котором сознался, что он Николай *Шевелев*, содержавшийся в 1866 г. при III Отделении ⟨...⟩

Отобранное от Шевелева показание идет весьма медленно как потому, что он говорит много и часто переходит от одного предмета на другой, почему представляется необходимость переправлять и переписывать его показание, так равно и потому, что он сильно страдает от опухоли ног, происходящей от цынги и застарелого сифилиса ⟨...⟩ Для лечения его мною приняты надлежащие меры ⟨...⟩

По предложению Шевелева я телеграфировал вчерашнего числа в Ментону близ Ниццы для удостоверения в том, где в настоящее время находится его жена ⟨...⟩

Для получения книг, хранящихся в Женеве, он дал мне прилагаемое при сем письмо на имя г-жи Raux-Ponti[156], причем, однако, заявил мне словесно, а по моему требованию письмом, что он должен этой госпоже за воспитание его дочери Надежды 250 франков по векселю и с 1 сентября 1869 года по настоящее время по 25 франков в месяц, что составляет за 9 месяцев 225 франков, а всего 475 франков, и что он опасается, что она не выдаст книги до уплаты должных ей денег[157] ⟨...⟩

К отдельному по этому делу действию от прокурора я приступил по соглашению со статским советником Орловым, который, с своей стороны, производит дознания о действиях Шевелева по прибытии его в Россию и сношениях его с лицами, с которыми он познакомился в Одессе, Тирасполе и Херсоне. До настоящего времени нет никаких указаний на то, чтобы Шевелев действовал здесь в духе революционной пропаганды или имел бы сношения с лицами подозрительными.

Отбирая показания Шевелева, я придерживаюсь крайней осторожности, избегая вызвать вопросами чрезмерную его недоверчивость и, быть может, новый с его стороны отказ давать вовсе показание. По окончании же дачи им добровольного показания,в которое войдет и описание его свидания с Нечаевым и то, что он прибыл в Россию по поручению Ельпидина, при содействии которого получил в Княжествах, в нескольких верстах от нашей границы, паспорт на имя Шумеева, умершего сына бывшего управляющего у Мамонтовых, – я имею в виду приступить затем к подробному допросу Шевелева для установления, по возможности, его отношений, без сомнения, существующих, к другим производящимся о государственных злоумышлениях делам. Будучи послан в Россию Ельпидиным, он должен знать о переписке сего последнего с Троицким, а также о деятельности Нечаева".

В заключение Кноп писал Шувалову: "Донося об этом вашему превосходительству, имею честь присовокупить, что относительно личности Шевелева я не могу прийти к положительному заключению. Он с таким ударом говорит о несчастиях, вызываемых пропагандою, о невозможности произвести в России переворот при неразвитости народа, о преданности своей и жертвах, понесенных им для осуществления отчаянных его предприятий ознакомиться с революционной партиею, для истребления ее, с передачею главных в России ее агентов в руки правосудия, наконец и представляемые им факты, могущие – если они подтвердятся – до известной степени подкреплять его показания, – приводят меня к убеждению, что представленные им оправдания заслуживают тщательной проверки. Но вырывающиеся у него иногда невольно отрывочные выражения, его желание уверить меня, что он человек пустой, не заслуживающий особого внимания, его красноречие, твердость его характера, пытливость, с которою он старается ловить производимое на меня его показанием впечатление, так равно и выражаемое им иногда предположение, что III Отделение ⟨...⟩ не будет долго с ним возиться, но скорее порешит с ним, так как он ему наделал уже много хлопот, – приводит меня к убеждению, что он играет приготовленную им роль и, если говорить откровенно, то в надежде бежать, как это ему удалось уже прежде. Для содержания строгого за ним караула, мною приняты все зависящие от меня меры". На полях этого донесения Мезенцов написал: "Я полагал бы нам совершенно устраниться или же взять все дело в наши руки"[158].

Письмо Шевелева к жене, написанное по совету Кнопа, скорее напоминает заклинание, чем заурядную просьбу:



ЖЕНЕВА. НАБЕРЕЖНЫЕ РОНЫ

Литография, 1865

Публичная и университетская библиотека, Женева. Воспроизводится по репродукции в книге: P. Bertrand, C. Bergholz. Genève hier et aujourd'hui. Genève, 1962

"Одесса. Майя 3 дня 1870 года

Милый мой Ангел Варичька!

Прошу тебя и умоляю, не предпринимай ничего ужасного, не отчаивайся, все совершится по воле Божией... – Против Его воли мы ничего не сделаем, не упрекай меня, я увлекся из любви к моему Государю. Оставаться за границей, как мне, тебе и детям, невозможно. Тебе известно, как я страдал... Нечего от тебя скрывать: я под арестом, но я вполне надеюсь на Промысл Божий!,. Он откроет судьям моим глаза.

Теперь для оправдания моего, что я не агитатор против Правительства, как тебе известно, ⟨у⟩ меня честная мысль. Так, я тебе говорю, для моего оправдания мне нужны письма Элпидина, Огарева, письма с их конвертами, как я их получал от них. Ради Бога, умоляю тебя исполнить мою последнюю просьбу, если найдешь рукописи Мечникова и Огарева "Землеописание для народа", если только они у тебя, а не в Мартин⟨ь⟩и, а также если не найдешь ли ты там расписок или записок Тхоржевского, а также непременно разыщи расписочку Чернецкого в получении денег и в том, что он не может ни печатать, ни продавать моего издания "Землеописания". Прошу и умоляю еще раз тебя, непременно вышли все мною просимое, это послужит к моему оправданию, и непременно с их конвертами, эта переписка и эти документы докажут, в каких я отношениях был к эмиграции и вообще об моей личности. О Наде я писал вчера, и, быть может, ее избавят от голодной смерти. На эту пересылку посылаются тебе деньги добрыми людьми – и еще не забудь также выслать и книжечку с бронзовою оправою, – все письма и свое ко мне зашей в клеенку или холст и отправь по прилагаемому адресу, а также и книжечку. В настоящее время я для тебя и для всего семейства, к несчастию, человек мертвый. – Затем ты совершенно свободна в своих действиях, но я бы только не советовал тебе ехать ко мне, это меня еще больше убьет. Я подчиняюсь судьбе совершенно спокойно. Не знаю, я никогда еще не был так спокоен, как теперь, – только мысль о тебе и детях убивает меня.

Еще раз, умоляю тебя, зашей все аккуратно в холст или в клеенку и напиши этот адрес. – Боже! Боже! Если это все как-нибудь затеряется, тогда... я не знаю, что делать. Непременно все вышли.

Затем ты совершенно свободна в своих действиях, целую тебя, моего Ангела, тысячу тысяч раз. Женю целую и благословляю. Не обвиняй меня, я жертва своего

фанатизма и любви к родине. Притом я сильно болен. Со мной обращаются очень хорошо. Напиши мне, что ты намерена делать ⟨...⟩ Мы, верно, встретимся с тобой уже в будущей жизни, жизни лучшей, если безропотно выдержим наши страданья.

Если можно скрыть об моем аресте, то скрой, – впрочем, делай, как знаешь. Боже! Боже! сколько жертв во имя моего безумия. Тебе известно, мой Ангел, что я не агитатор. Ты знаешь, как я люблю Императора и Россию, так что за границей доходил до сумасшествия. Вышли как можно скорей просимое. – Целую тебя еще раз, Женю целую и благословляю. Умоляю тебя еще, не забудь выслать расписку этих девиц в Мартин⟨ь⟩и, где мои *книги* и наши вещи, или напиши, как их фамилия.

Вот адрес:

à Odessa – Russie
Le lieutenant-colonel
Charles Knopf.

Еще целую и благословляю.

Твой Н. Шевелев

Спеши, ради Бога[159]".

Большинство документов, запрошенных Шевелевым, вскоре было прислано ему женой и сохранилось в его следственном деле. Рукописей же Огарева и Л.И. Мечникова среди этих бумаг нет – вероятно, они остались на прежней квартире Шевелевых.

Из ответного письма Шевелевой выпишу лишь несколько строк:

«Дорогой мой друг. Вчера я получила твою печальную весть, ⟨вообрази⟩ мой испуг, мое отчаяние! то несчастие, которое постигло наше семейство, выше смерти ⟨...⟩ Друг мой, молись богу, укрепи себя в вере ⟨...⟩ Я желаю смерти ⟨...⟩ Лишить себя жизни – я с радостию сделала бы это, но мысль о детях удерживает меня ⟨...⟩ Что с ними будет? ⟨...⟩ Милый мой и дорогой друг, я уже более не живу у Мишелей, они мне отказали, несмотря на мои просьбы и мои мольбы спасти меня от голодной смерти ⟨...⟩ Наконец, я нашла себе место у одного больного старика ⟨...⟩ Здесь нельзя надеяться на сострадание добрых людей, их здесь нет, я это уже испытала. Посоветуй ты, моя радость, что́ мне делать? где и как мне устроиться? я бы полетела в мою милую родину Россию, но где возьму я денег на дорогу и чем бы я жила там? ⟨...⟩ Милый мой Ангел, умоляй твоих судей, умоляй их со слезами сжалиться над нами и нашими страданиями и позволить тебе писать ко мне ⟨...⟩ Пиши мне: где, за что и когда ты арестован, я ничего не знаю ⟨...⟩ Посылаю тебе, мой друг, все, что нашла, а более нет ничего; письмо Огарева, Элпидина, счет Чернецкого, расписки из Мартиньи, памятную книжку, а рукописи Мечникова и Огарева "Землеописания" нет, вероятно, осталось в Мартиньи...»[160]

17 мая Кноп счел нужным сообщить Мезенцову: "Содержащийся при подведомственной мне конной команде арестованный *Николай Шевелев* шестой уже день не встает с постели, стонет и жалуется на сильную боль в голове, происходящую от контузии, полученной им при защите Севастополя. Если эта болезнь, быть может, и не совсем притворная, то я считаю ее преувеличенною, потому что Шевелев в разговорах с пользующим его медиком и с штабс-капитаном Малышкиным в причине его болезни обвиняет меня, говоря, что я его убил тем, что уговорил давать мне показания. Мне же он вчера говорил, что, дав мне показания, он сам себе поставил виселицу. Вероятно, он пользовался этой болезнию, чтобы обдумать дальнейшие его ответы.

Настоящим поводом к этой болезни послужило, как я полагаю, не нравственное потрясение, вызванное тем, что я признал нужным добродушное мое с ним обращение, которым я успел склонить его к даче показаний,заменить серьезным внушением сознаться в его связях с пропагандистами, проживающими на юге России, не ожидая уличения его в том имеющимися по другим делам фактам. Его сильно озадачило то, что у нас есть сведения об одном лице, проживающем на юге России (Троицкий), который находился в переписке с Элпидиным об открытии в России тайной типографии и что к этому лицу должен был приехать элпидинский агент с инструкциями.

На другой день после этого разговора Шевелев заболел и отказался под предлогом сильной головной боли давать показания. Тем не менее 15 числа и вчера, хотя продолжая стонать и лежа в постели, он решился окончить свои показания. Данное им относительно найденного у него при обыске шрифта показание, вероятно, не вполне откровенное, – однако устанавливает, по моему мнению, связь между его приездом в Россию и задуманным Троицким, под руководством Элпидина, преступлением настолько, что она может быть доказана следствием, при совокупном производстве этих дел..."[161]

Извещая Мезенцова через неделю, 23 мая, о том, что в последнее время Шевелев "постоянно жаловался на сильные головные боли ⟨...⟩ и представлял признаки сильного душевного волнения вследствие данных им ⟨...⟩ показаний" и в последнее за тем время "почти не принимал пищи и сделался более чем прихотлив"; что "в нем проявились признаки горячечного состояния, а с вчерашнего числа он никого не узнает, на вопросы не отвечает и находится в сильной горячке", Кноп сообщал: "Вследствие этого и согласно с мнением пользующего Шевелева тюремного врача Розена, что больной требует ухода и присмотра, ⟨который⟩ невозможно предоставить ему при настоящем его содержании, я сего числа отправил его в одесский тюремный замок для пользования при больном в секретной камере". И заключал: "Произведенное прокурором дознание об образе жизни Шевелева в последний его приезд в Россию и о найденных у него подложных документах окончено, о чем он ⟨прокурор⟩ донес господину министру юстиции, испрашивая разрешение представить дело и арестанта в С.-Петербург. Дознание это не обнаружило никаких со стороны Шевелева предосудительных в политическом отношении поступков, все отзывы о нем вполне одобрительны"[162].

Когда Кноп отправил это донесение, он не мог еще знать, что Мезенцов накануне, в отношении к министру юстиции Палену, разъяснил, что "дело Шевелева подлежит обследованию совместно с производящимся следствием по делу Нечаева и других"; что "участие подполковника Кнопа в вышеозначенном дознании представляется лишенным основания" и "кроме того, и бесполезно", ибо "копии с показаний Шевелева явно свидетельствуют, что он делает ложные заявления, намереваясь, вероятно, тянуть ⟨дело⟩ и запутать его". "Поэтому имею честь покорнейше просить ваше сиятельство, – заключал Мезенцов, – почтить меня уведомлением, не изволите ли признать возможным сделать распоряжение, чтобы дальнейшие допросы отбирались от Шевелева самими чинами судебного ведомства..."[163]

В конце мая, как мы видели, следствие уже было завершено. Решением Келецкого уголовного суда от 9/21 июня" за ложный донос на управляющего завихостскою таможнею Вольского и присвоение вверенных ему казенных денег" Шевелев приговорен был "к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение с обязательством пополнения похищенных из кассы денег и уплатою 236 р. 69 коп. следственных и судебных издержек"[164].

Поданная Шевелевым кассация "как не заслуживающая уважения" во внимание принята не была. Через несколько дней ему стало известно, что его переводят в Петербург. Едва оправившись от болезни, он сообщает своей жене: "№ 3-й. Милая Варичька! Благодари Бога, я только что выздоровел от тифа, а то был на смертном одре. Слава Богу, что Бог тебя устроил как-нибудь. Меня везут сегодня в 4 часа по железной дороге в Питер. Не беспокойся ни обо мне, ни о себе, все будет так, как угодно Богу. Молись ему, и он нас не оставит. – Благодарю за посылку. Целую Женю и благословляю. – Будь здорова, молись Богу. Тысячу раз целую тебя. Твой навеки К о л я.

Вот адрес:

В С.-Петербурге

В III Отделение собственной его императорского величества канцелярии. Отвечай сейчас же, ничего на плати"[165].

Следующее письмо датировано 18 июля:

«№ 4. "Милая Варичька! Неоцененный мой друг. Драгоценное письмо твое я получил. Сегодня ровно месяц, как я в Питере, и на твои вопросы, в каком положении мое дело, я решительно ничего не могу ответить, потому что и сам ничего не знаю ⟨...⟩ Мой милый Ангел, тебе известна моя любовь к Императору и его Фамилии и вообще мои монархические тенденции, и вот меня считают *политическим преступником*. Конечно, это должно объясниться с милостию Божией, и тогда и положение мое будет выяснено. – Ради Бога, пришли мне все мои медицинские свидетельства о контузии и ранах, зашей их в холст, как посылку, и препроводи по тому же адресу ⟨...⟩

Со мной здесь обращаются хорошо, обед дают сытный; открывшиеся севастопольские раны подживают, но я еще очень и очень слаб, ходить еще не могу. Боже! Боже! скоро ли ты укажешь моим судьям, что я не политический преступник; с этим словом последним соединя-

ется весь ужас моего положения. – Я не боюсь смерти, потому что много выстрадал на земле, – но я боюсь потерять рассудок, что́ уже и начиналось со мною в Одессе, но меня сейчас (же) перевели из одиночного заключения в общую камеру больницы; здесь же я опять уже месяц содержусь в одиночном заключении, и последствия этого заключения, при моей головной контузии, меня ужасают хуже смерти. Не сплю ни ночью, ни днем и опять начал разговаривать сам с собою, – стараюсь забыться и не могу...»[166]

Действительно ли Шевелев находился тогда в таком отчаянном положении или сознательно драматизировал его, неизвестно. Как бы то ни было, через месяц его сочли достаточно здоровым для препровождения под конвоем в Одессу, к месту постоянного заключения. Однако на полпути, в Курске, ему снова – и не в последний раз – удалось бежать, воспользовавшись недостаточной бдительностью охраны ил́и подкупив ее, а может быть, не без помощи оппозиционно настроенных людей, принявших его за профессионального революционера.

Не исключено, конечно, в этой акции и участие правоохранительных органов, с которыми Шевелев мог найти общий язык...

Об обстоятельствах побега подробно рассказано в донесении начальника Курского губернского жандармского управления полковника Герасимова управляющему III Отделением Мезенцову от 24 февраля следующего, 1871 г: "Подпоручик Николай *Шевелев* прибыл в Курск этапным порядком 24 августа 1870 г. в собственной одежде при открытом листе С.-Петербургского губернского воинского начальника, в котором, кроме уголовных примет, только и было сказано, что препровождается он к одесскому полицеймейстеру (...)

Шевелев ранен в обе ноги и прибыл в Курск совершенно больной, так что смотритель тюрьмы признал необходимым в то же время отправить его в больницу богоугодных заведений, где могла быть оказана ему более серьезная помощь, чем в тюремной больнице.

По расспросам моим оказалось, что в богоугодном заведении сверх обыкновенного лечения Шевелеву сделана была операция, причем из ноги его вынуты были две разбитых кости. Когда рана начала немного подживать, Шевелев просил выписать его из больницы и отослать в тюрьму, куда был отправлен 2 октября, но по прибытии в острог стал снова жаловаться на нестерпимую боль в ногах и просил положить его в больницу. Осмотрев Шевелева заведовавший тюремной больницею здешний городовой врач, доктор медицины Феоктистов нашел на левой ноге его большую язву, покрытую фунгозными наростами и осложненную страданием кости, почему предложил смотрителю замка отправить его вторично в больницу богоугодных заведений, так как тюремная больница в то время переполнена была тифозными и холерными больными, от которых Шевелев мог заразиться тифом или холерою. Согласно предложению этому Шевелев 7 октября, уже перед вечером, и был отправлен в богоугодные заведения, на извощике, в сопровождении конвойного служителя, где в то же время осмотрен был дежурным ординатором врачом Либерским, который, в свою очередь, признавая, что в ноге Шевелева вновь возвращалась прежняя язва, распорядился положить его в арестантскую палату, но прежде исполнения этого Шевелев отведен был в ванную комнату для перемены белья и платья, откуда, пока фельдшер переписывал вещи, отлучился на больничный двор, под предлогом естественной надобности, и в комнату уже не возвращался. Отсутствие Шевелева замечено было вскорости, и к розыску его приняты были все меры, но, однако же, он нигде не найден (...) Нужно думать, что Шевелев, воспользовавшись темнотою осеннего вечера и недосмотром больничной прислуги, бежал случайно, через ограду каменной стены богоугодных заведений, вблизи которой были сложены сажни дров и, перепрыгнув на улицу, по всей вероятности, встретил биржевого извощика и, таким образом, в промежуток времени как его разыскивали на дворе богоугодных заведений и пока дали знать о побеге его полиции, успел скрыться от преследования сыщиков"[167].

В своем донесении Мезенцову Кноп писал 30 января 1871 г.: "Это происшествие, как мне кажется, порождает следующие вопросы: 1) почему политический преступник, бежавший уже прежде из-под стражи за границу, был отправлен обыкновенным этапным порядком и не были приняты необходимые меры предосторожности? 2) почему Шевелев был задержан в Курске с 24 августа по 7 октября? если, как следует полагать, по болезни, но она, без сомнения, судя по ее продолжительности и переводе Шевелева 7 октября в больницу, была настолько серьезна, что побег Шевелева делался невозможным; если же она была притворная, то мог ли Шевелев столь продолжительное время вводить в заблуждение врача, имеющего хоть не совсем поверхностные сведения о медицине и добросовестно исполняющего служебные свои обязанности? 3) почему, если Шевелев был отправлен из Петербурга хотя бы лишь только под названием "секретный", курские власти не сочли нужным с 7 октября и по настоящее время сообщить о побеге Шевелева тому лицу, на имя которого он должен был быть доставлен в Одессу и 4) можно ли полагать, что после подобных действий курская администрация приняла надлежащие меры для розысков бежавшего?"[168]

Только 5 мая 1871 г. в секретном циркуляре, направленном кронштадтскому военному губернатору, начальнику Варшавского военного округа, начальнику бессарабского жандармского управления и еще двенадцати официальным адресатам того же ранга, Мезенцов сообщил подробные приметы "бежавшего из курской тюрьмы отставного подпоручика Шевелева", а также "бежавшего студента" Технологического института Вл. Серебренникова. При этом он "покорнейше просил" "не оставить сделать распоряжение, чтобы в случае появления этих личностей в С.-Петербурге они были арестованы и доставлены в III Отделение..."

К этому Мезенцов добавил: "В настоящее время оба они за границей и, вероятно, в случае прибытия в Россию, примут чужие фамилии"[169].

Из этого циркуляра, как и из почти всех остальных официальных документов, можно сделать вывод, что *III Отделение Шевелева своим агентом не считало...*

Жена Шевелева возвратилась на родину в конце августа 1870 г., за несколько дней до помещения ее мужа в курскую больницу. 23 августа по распоряжению начальника Особой жандармской канцелярии в Варшаве на ее квартире был произведен обыск, причем среди разных бумаг обнаружили "весьма подозрительную переписку", в том числе написанное – вернее, списанное – ее рукой письмо к мужу от 25 июля/6 августа, которое я привел в начале этой работы – о вымышленных полицейских репрессиях, связанных будто бы с розысками Шевелева в разных губерниях России. Содержание этого "письма" вполне убедило начальника канцелярии в "полной солидарности Варвары Шевелевой с мужем относительно его преступных замыслов", и вследствие этого он счел нужным привлечь ее к следствию и подвергнуть "личному задержанию". В день приезда, 23 августа, были от нее получены следующие показания: "Лет мне от роду 29, исповедования православного, уроженка Костромской губернии г. Галича. Отец мой Иван Ависов, умерший около 15 лет тому назад, был в Галиче почтмейстером и умер на службе. Муж мой ⟨...⟩ жил со мной сначала в Галиче при моей матери более года, потом мы переехали в Кострому. Там провели около двух лет. Муж занимался частными делами, арендами и т.п. Из Костромы мы уехали в Ратаев, где муж определен был на службу в таможню. Потом его перевели в томашевскую таможню и, наконец, в завихостскую таможню. Отсюда я поехала навестить свою мать в Галич. В это время, в моем отсутствии, муж был арестован. Когда я возвратилась от матери, в Завихосте я его уже не застала – он был переведен в Сандомир, потом в Варшаву, в цитадель. Я отправилась в Петербург, где жила одна с сыном Евгением, на квартире. Мужа перевели в Петербург – в ведение III Отделения собственной его величества канцелярии, там я виделась с ним не однажды, с разрешения начальства ⟨...⟩ Потом он ушел из-под ареста. Меня тотчас же спрашивали, не знаю ли я, где мой муж, но я тогда была больна и в ожидании родов второго моего дитяти, дочери Надежды ⟨...⟩ Спустя после этого год или около этого, или даже более года, с точностью не могу сказать, но долго спустя после этого, решительно не зная, что́ мне делать одной с двумя детьми, я предприняла намерение отыскивать мужа ⟨...⟩ Я поехала в Швейцарию ⟨...⟩ В Женеве я случайно съехалась с мужем ⟨...⟩ В Женеве мы оставались почти год. Потом по болезни моей мы поехали вместе с мужем и детьми в Ниццу. Оставивши меня в Ницце, муж уехал для приискания каких-либо средств к жизни и содержания семейства..."

При более позднем допросе Шевелева сообщила: "С Чернецким и Тхоржевским меня познакомил в Женеве, в кафе, мой муж, и я Тхоржевского встречала раза два, но он у нас не бывал; Чернецкому же мой муж был должен рублей около пятидесяти ⟨...⟩ Получив от мужа письмо, в котором он просил меня расплатиться с Чернецким, я написала Чернецкому записку[170]; он принял меня и получил деньги; кроме этих двух посещений, Чернецкий никогда у меня и у мужа моего не был. Кто такие Чернецкий и Тхоржевский, мне неизвестно; я только слышала от мужа, что они поляки; когда мой муж уехал в Пест, то Чернецкий приходил ко мне и спросил об отдаче долга ⟨...⟩ Николаем Платоновичем зовут Огарева: с ним я познакомилась в Женеве на другой или на третий день по приезде из России; он приходил к мужу и пил у нас чай; через несколько дней после этого муж рассказывал мне, что Огарев сломил ногу; Огарев был у нас только один раз, когда Чернецкий просил заплатить ему долг, то я, зная о хороших его отношениях к Огареву, писала к Огареву и просила его поговорить Чернецкому ⟨!⟩, чтобы он подождал уплаты долга; Огарев прислал ответ, что исполнит мою просьбу; кроме этого случая, я ни в каких сношениях с Огаревым не была и если писала к нему письмо от 14 апреля 1868 г. из Ниццы, то мне неизвестно, о чем в этом письме писано, так как если оно было мною переписано, то с чернового письма, составленного мужем; я если делала это, то после только просьбы, и писала от своего имени, если только такое письмо послано было, то потому только что верила мужу, который говорил, что это ничего не значит..."[171]

В 1872 г. В.И. Шевелева была привлечена к ответственности «за участие в составлении книги "Землеописание для народа"». По постановлению члена Московской судебной палаты Цветкова "отдана под особый надзор полиции по месту ее жительства в Костроме".

5

В МОНАКО. — КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ? — ВСТРЕЧИ И "КОНТРОВЕРЗЫ" С ЭЛПИДИНЫМ, ЖЕМАНОВЫМ, МЕЧНИКОВЫМ. — АРХИВ "МОЛОДОЙ ЭМИГРАЦИИ". — "ДЕНЕГ НЕ ДАМ". — ДЕВОЧКА И КУКЛА. — КОМАНДИРОВКА В РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПАРИЖ ЗА ФАЛЬШИВЫМИ МИЛЛИОНАМИ. — ПАРИЖСКАЯ КОММУНА. — ИЗБИЕНИЕ И ОГРАБЛЕНИЕ. — ПРИГОВОРЕН К "РАССТРЕЛЯНИЮ". — НОВОЕ БЕГСТВО. — ПОСЕЩЕНИЕ РУССКОГО ПОСОЛЬСТВА. — АРЕСТОВАН ВЕРСАЛЬЦАМИ. — ОСВОБОЖДЕН ПО ОШИБКЕ. — РУССКОЕ ПОСОЛЬСТВО ХЛОПОЧЕТ О ВЫДАЧЕ БЕГЛЕЦА. — РОЗЫСК ВО ФРАНЦУЗСКИХ ПОРТОВЫХ ГОРОДАХ. — НОВЫЙ АРЕСТ. — ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В ПАРИЖСКОЙ ТЮРЬМЕ САНТЕ́. — УКАЗ ТЬЕРА О ВЫДАЧЕ ШЕВЕЛЕВА. — ПЕРЕДАЧА АРЕСТАНТА НА ПРУССКО-РУССКОЙ ГРАНИЦЕ

(1871–1872)

Когда и через какую границу переехал на этот раз Шевелев, неизвестно. Не удалось узнать эмигрантам и где обретался он в первые два месяца 1871 г. Сведений об этом мы не найдем и в его обширной "Докладной записке", составленной год спустя в Петропавловской крепости специально для шефа жандармов графа П.А. Шувалова (она уже цитировалась выше). "Записка" Шевелева во многом схожа с "Исповедью" В.И. Кельсиева (1867), предназначавшейся для того же сановного адресата[172]. "Отчет" Кельсиева, конечно, более масштабен, чем шевелевский; центральное место в нем занимают такие выдающиеся личности, как Герцен и Огарев, а также их сподвижники и противники начала 1860-х годов. Шевелев же показывает нам деятелей следующего поколения "зарубежной России"; героями его являются "женевцы" Элпидин, Жеманов, Мечников – люди менее значительные, но зато и менее изученные и, без преувеличений говоря, – корифеи "молодой эмиграции" 1860-х годов. Несмотря на крайнюю субъективность и грубую тенденциозность отдельных оценок, Шевелев, по-видимому, довольно верно передал их облик, отдельные черты характеров, мировоззрения, взаимоотношений, быта и т.п. Особенно отклоняться от "натуры" он не мог, поскольку его высокопоставленный адресат был слишком хорошо осведомлен насчет реалий эмигрантской жизни, чтобы не возмутиться откровенным враньем. Шевелев, подобно Кельсиеву, понимал, что от него ждут точных и новых фактов, а не сплетен, искреннего усердия, а не имитации. "Исповедь" Кельсиева принята была и Александром II и Шуваловым более чем благосклонно, автор не только был помилован, но и поощрен. Шевелев, вероятно, рассчитывал на тот же результат, но просчитался. "Записку" его внимательно прочли и испещрили пометами; не исключено, что рукопись прочел и сам Александр II. Милостей, однако, автор не дождался.

Описанием злоключений Шевелева в столице Франции во время агонии Парижской коммуны заполняются серьезные пробелы его "жизнеописания", свидетельствуя как о цепкости его памяти, так и о желании побольше рассказать.

Рассказ начинается с прибытия в Монако, где Шевелев, по-видимому, выиграл крупную сумму в казино. Если верить его прежним показаниям, удачливость в игре являлась чуть ли не главным его материальным ресурсом в годы пребывания за рубежом.

Вот несколько главных эпизодов из "Докладной записки":

«Итак, 8 марта 1871 г. я был в княжестве Монако, откуда 10 марта я выехал, вывезя с собой 21 600 франков. В Генуе я остановился на одни сутки, где случайно купил итальянскую ренту на 10 000 лир по 79 за 100 ⟨...⟩ Пробыв дней десять в Ломбардии, разыскивая мою жену и сына, постоянно наводя справки у знакомых и не получив никаких утешительных результатов, уехал к дочери в Женеву (об аресте моей жены я узнал только в С.-Петербурге.

В конце марта я встретился на rue Carroterie с Элпидиным.

Завидев меня издали, Элпидин несся ко мне на всех парусах.

Целуя меня, он сказал, что давно им известно об исчезновении моем из Курска.

– Но где это вы пропадали так долго?

Признаюсь, подобная сцена меня ошеломила; при медвежьей натуре Элпидина, при грубости и неотесанности подобные собачьи нежности, если позволено будет так выразиться, были как-то не в порядке вещей[173] (как это не остановило меня, при подозрительности моего характера, от дальнейших объяснений и переговоров, я, право, до сих пор не понимаю); не помню, что́ я ответил, и хотел идти дальше: мне в первом часу нужно было быть у одной знакомой дамы для выкупа некоторых вещей моей жены.

– Куда же вы? – остановил он меня, взяв дружески за руку. – Сколько времени мы вас не видели, но расскажите нам, зайдемте сюда хоть на полчаса в нашу плебейскую кафе (Элпидин

в разговоре со мной всегда употреблял *мы* взамен *я*, как будто говоря от всей эмиграции.) Действительно, в 1869 году эмиграция уполномочила его вести со мной переговоры по делу о соединении пропаганды молоканской с революционной (!).

Плебейская кафе, куда мы вошли с Элпидиным, это café Ciel, vis-à-vis café Midi.

– Ну, не правда ли, как вас хорошо принял австрийский консул по нашей рекомендации в Галаце и даже ссудил вас деньгами на дальнейший путь, – сказал он, улыбаясь.

– Да, я получил от него шесть червонцев, в которых и дал ему расписку, согласно вашего письма, от имени Шиманского[174].

– А запиской остался тоже доволен. Вы ведь ее переписали своей рукой?

– Да, я все сделал так, как вы мне писали. Но скажите, ради бога, откуда вы взяли те данные, о которых говорится в записке, и правда ли все это? – Я, право, долго не решался ее переписывать и подавать от своего имени, т.е. имени Шиманского[174].

– Ну, это уже наше дело, после все узнаете, нужно работать сообща.

Все это говорилось с таким жаром, с таким увлечением, что совершенно противоречило той медвежьей натуре Элпидина, которым я его оставил в 1869 г. Поэтому я не мог не заметить ему тут же, что он начинает увлекаться, что́ противоречит его и Чернышевского доктринам.

– Да, но я так обрадовался, вас встретя, что подобное мое состояние очень понятно.

– Но все-таки, хоть я и отдал записку австрийскому консулу, но до сих пор не могу себе объяснить, каким образом вы могли получить подобные сведения? Ведь для этого нужно иметь своих агентов в посольствах или в Министерстве иностранных дел, но я положительно убежден, что вы их не имеете. Если б подобная записка была получена от Герцена, тогда дело другое: всякое сомнение исчезает в правдивости данных, но от вас я сомневаюсь в истине.

– Уверяю вас, что все в ней верно, и подлинник у нас, который я вытребую для предъявления такому Фоме[175], как вы.

Нужно заметить, что в записке этой говорится о участии, которое русское правительство принимало в деле далматской инсуррекции[176], которая в это время была в разгаре, с наименованием лиц, бывших там агитаторами от русского правительства.

При прощании Элпидин заметил, что деньги, данные мне австрийским консулом в Галаце, даны на счет их, а потому если я при деньгах, то не худо бы было возвратить.

Возвращая шесть червонцев, я заметил Элпидину, что хотя я и дал австрийскому консулу расписку в получении от него шести червонцев, выдачу которых разрешил граф Бейст, но, в сущности, получил только четыре, а остальные два червонца, по словам консула, употреблены им на отправление телеграмм, писем и другие расходы по делу о достоверности тех лиц, о которых в записке говорится.

Так как я в тот же день должен был уехать из Женевы, то он взял с меня слово быть у него непременно во вторник, и не позже 10 часов утра, потому что ему нужно говорить со мною о более серьезных предметах, в чем я ему дал слово ⟨...⟩

Во вторник с утренним поездом я возвратился в Женеву. В 10 часов я был уже у Элпидина, rue Terrassière, № 24.

Первое, что он меня спросил, это было: оправдываю ли я все средства к достижению цели?

– Конечно.

Затем он продолжал:

– Так как вам известно, что в деле революции или вообще в стремлении народных масс к улучшению своего положения, первое и главное условие: деньги и деньги...

– Довольно, это старая вариация на новую тему, я уж это слышу шесть лет сряду, – возразил я тоном, более решительным, нежели как бывало прежде. – Это правда, что я оправдываю все средства к достижению своей цели; но цели, о которой вы сейчас говорили, и в зародыше нет в русском народе, и народ очень доволен, как я положительно знаю, своим настоящим.

– И я хорошо знаю, – сказал хладнокровно Элпидин, – он еще глуп и не дорос. Русский народ отстал в политическом смысле от Западной Европы настолько же, насколько Авст⟨рал⟩ия в геогностическом[177].

– Так для чего же об этом говорить: значит, цели не существует; следовательно, и о средствах как денег для достижения несуществующего не должно быть и помину (ведь я предполагал, что это старая история и новый брандер[178] под мой карман, и поспешил затушить его).

– Затем слушайте меня, – сказал я Элпидину. – Если такие корпорации как молокане не имеют никаких элементов революционных, а говорят, когда им жутко: "Претерпевай до кон-

ца, спасен будеши", что же вы скажете об остальном русском народе, так называемом черном? И после последней моей поездки по России я положительно удивляюсь, зачем вы пишете? зачем вы печатаете? Разве для того, чтоб самим читать?.. Поэтому-то у вас и постоянный дефицит. Нет сочувствующих вашему делу. У Герцена издания повторялись по два и по три раза, а у вас и одно, да с рук нейдет.

– Во всем том, что вы говорите, есть доля правды, но вы не имеете терпения выслушать меня до конца, – сказал Элпидин с особенной расстановкой. – Я вам хочу доказать, что этих элементов хотя в настоящее время и нет, но они могут быть и должны быть.

– Я не могу не возражать, извините меня: во-первых, вы сказали, что в моих словах есть доля правды, а я вам говорю – все правда, вот она: 1-е. Ваш процесс с книгопродавцем Бенду ю [179] и, кроме того, 2-е печатное ваше объявление о дефиците по изданию 3-го тома сочинений Чернышевского в 2500 фр.[180]; значит, ваши издания с рук нейдут, охотников нет... Затем вы говорите, что могут быть и должны быть революционные элементы в русском народе. Спрошу я вас, собирает ли кто жатву, не посеяв? и отвечаю за вас и за себя: нет, это дело сумасшедших, а посеять на русской почве этого нельзя, потому что это не тронутая плугом целина, и даже под пар ее поднять трудно, не только под посев. Затем дальше: ваше знамя: "Слово не должно расходиться с делом", или иначе: "То, что вы говорите, то должны и делать". А между тем из всего, что вы говорили сейчас, то ясно видно, что вы покинули ваше знамя. И давно ли? В 1869 году я оставил вас прикованным к этому символу. Вы были против революционной пропаганды, против "Народного дела". Вы находили его сумасбродным, доктрины его – фальшивыми[181].

– Да я и теперь остался тем же, – возопил жалобно Элпидин. – Откуда вы взяли, что я изменился? Вы выслушайте и тогда говорите...

– Позвольте мне продолжать; я хочу доказать, что вы оставили ваше знамя, и докажу вам сейчас.

– Говорите, я слушаю.

– Извольте. Вы издаете сочинения Чернышевского, которого вы боготворите. Чернышевский вам пишет из Сибири: "Если вы истинные друзья мои, не ухудшайте моего положения, не издавайте моих сочинений, я не держусь более моих доктрин, это была одна иллюзия моей юности, никогда не осуществимая". Не правда ли, вы ведь сами мне показывали это письмо в 1868 году[182].

– Да ну что ж из этого?

– Позвольте, я окончу. Как вы отнеслись к этому заявлению, а? Вы сказали, что Чернышевский умер, что Чернышевский подкуплен III Отделением и т.д. и в довершение всего печатно закидали его грязью. Вы назвали и постоянно печатно называете его покойником, потому только, что он отказался от своих убеждений[183]. Как же мне назвать вас, как не мертвецами, если теперешние ваши заявления противоположны окончательно тенденциям живого Чернышевского? За доказательствами ходить недалеко, вот они: Чернышевский говорит: "Не путем революции, тайных обществ и заговоров приближайте себе будущее, ясное и прекрасное, а учением и трудом". Может, я перефразировал эту формулу, но смысл ее такой, не правда ли?

– Да, это правда, но...

– Постойте же, дайте мне кончить, теперь вы говорите диаметрально противное принципам Чернышевского, которого *живого* вы считали и считаете Иисусом Христом. Не правда ли, ведь эти слова ваши были? Вы теперь проповедуете революцию, рассказываете о каких-то стремлениях народа к улучшению быта и т.д. Как хотите, это неудобоваримо и одно другое уничтожает... Чернышевский проповедует учение. Вы – революцию. – Чернышевский говорит: "Трудитесь"[184]. – Вы говорите: "Режьте". Зачем же после подобных противоречий с самим собою издавать его сочинения?.. Следовало бы, по всей справедливости, подобный бестактный процесс ваших действий назвать делом нечестным? Но я удерживаюсь – потому что знаю, что вы один из честнейших людей. Я прямее вам скажу, вы даже честнее меня. Вероятно, у вас есть что-нибудь за плечами, под спудом, что́ вы утаиваете от меня. Я у вас не допытываюсь, делайте, как знаете, это ваше дело. Мое же дело я тоже знаю: не давать ни гроша вам, даже и в таком случае, если б вы последовали по дороге Серно-Соловьевича[185]. Широк путь "Народному делу", валяйте за ним, может быть, вы там встретите все бисквиты да розы. Затем, чтоб еще раз вам не вздумалось подымать такого неудобоваримого вопроса, еще раз и навсегда заявляю, что революционной партии нет в народе, как и вам известно. Привить его нельзя – никакими деньгами, никакими средствами, никакими эмиссарами. – И, взяв шляпу и трость, я добавил: – На этой дороге, в отношении денежных средств, мы с вами стоять не можем.

Не успел я окончить последних слов, как дверь без предварительного постукивания отворилась и явился Жеманов. Я пожал руку Элпидину.

– Нет уж, вы не уйдете, – сказал он, – кстати, Жеманов пришел, теперь уже первый час, мы вместе позавтракаем, – и с этими словами исчез.

Жеманов, ни слова не говоря, сел за корректуру, которая лежала на рабочем столе Элпидина.

Я был очень счастлив, что был предоставлен самому себе хоть на несколько минут, чтобы хорошенько усвоить то неутешительное положение, в котором я находился, но прежде всего я должен приостановить ваше внимание на вошедшей личности и насколько можно познакомить вас с нею.

Жеманов – атлет 7 или 8 верш⟨ков⟩, груб, дерзок, сух, молчалив, бездушен, совершенно с вымороженным сердцем, но, когда он желает что-нибудь доказать, он увлекает слушателей, говорит хорошо, но не без софизмов, и в таком положении он даже опасен и не преминет в случае надобности применить к делу доказательством свою громадную физическую силу, что и испытал однажды Щербаков, не сойдясь с ним в чем-то; Жеманов в пылу доказательств, как мяч, вышвырнул его в окно. С ним я только один раз разговаривал серьезно, это было в 1867 году. Потом я избегал случая входить с ним в соприкосновение и при встречах ограничивался несколькими пустыми, ничего не выражающими фразами.

Мое положение, после сейчас пройденного разговора с Элпидиным, было вовсе не привлекательно. Мне стало ясно, что все это было заранее обусловлено, придумано, тем более, что Элпидин никогда не завтракает дома. Но к чему все это? Я в ту минуту не мог сообразить.

Во все время, когда мы оставались одни, Жеманов не обращался ко мне ни с одним вопросом, чему я от души был рад, он то корректировал, то исправлял набор, заменяя одни буквы другими. Должно заметить, что Элпидин живет в своей типографии. В этой же типографии два стенных шкафа, битком набитых корреспонденциями, писанными и печатными бумагами, фотографическими карточками сотен лиц, частию переданных ему Бакуниным, которые получил от Огарева после смерти Герцена, частию полученных им самим от своих корреспондентов. Так как Элпидин считается честнейшим человеком и прикован к своей типографии, а остальная эмиграция ведет больше бродячую жизнь, то на случай отъезда под сохранение оставляются ему и другие корреспонденции. Шкафы эти вечно на запоре. Внутренность шкафов я видел совершенно случайно – Элпидину понадобилось предъявить фотографию Постникова, письма об нем, для отыскания чего им были отперты оба шкафа. Да, кстати о Постникове, в одном из писем бывшего семинариста, ныне студента Медико-хирургической академии ⟨сказано?⟩, что на покупку переписки князя Долгорукова от Тхоржевского выдано ему больше пяти тысяч рублей серебром – прошу верить, что всю переписку он купил за четыре тысячи франков[186]. Наконец, если правительство хотело его посредством подобного издания, ни к чему не ведущего, кроме траты денег, втереть в эмиграцию в качестве агента, то поступило весьма непрактично, потому что переписка далеко не вся напечатана, и много недостает, что еще до получения писем о Постникове поселило подозрение в эмиграции[187]. Затем Постников не умеет себя вовсе держать, он возжается постоянно с Тхоржевским, которому никто ни в чем не доверяет, и если при нем и заводят нарочно политический разговор, то ложный, для передачи его Постникову[188]. Вообще, я должен заметить, что официальные агенты как-то совершенно не умеют себя держать и узнаются привычным обонянием эмиграции по запаху прежде справок, а некоторые сведения о них налицо.

Если действительно Постников – агент русского правительства, то я бы советовал его убрать – пользы он сделать не в силах. Затем своим долгом считаю присовокупить, что Элпидин во всей русской эмиграции играет далеко не маловажную роль. Это их справочное место. Это адрес-календарь.

За завтраком опять завязался почти тот же разговор, но тут я должен был уже состязаться с Жемановым – и в разговоре с ним я был гораздо сдержаннее.

– Верьте вы мне, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, – сказал Жеманов, – что все у нас выработано временем, осмысленно, продуманно. Вам хорошо говорить – учиться; но для того, чтобы учиться, нужно, прежде всего, есть и пить. Какая наука пойдет на ум голодному? А много ли у нас сытого народа? – продолжал он, улыбаясь. – Раз, два и обчелся. Придите вы в любую деревню, какая ужасная картина представляется вам. На улице старик, тяжело кашляющий под вязанкою дров, украденных им в лесу у помещика; там за прялкой в избе при свете лучины бедная старуха тянет морщинистыми руками из прядева нитку для насущного куска хлеба; в другой избе многочисленное семейство, разместясь вокруг стола, ест свой скудный ужин, состоящий только из хлеба и соли; в третьей муж перебранивается с своей женой из-за права пропить с горя последнюю рубашку, а двое полунагих детенышей кричат из всей мочи при этой семейной неурядице. И все это нищета, уродливая нищета. Когда же здесь улучшится? До науки ли тут? Тогда как какой-нибудь развратный тунеядец объедается устрицами и опивается шампанским. Это, по-вашему, благосостояние народа? Это, по-вашему, ему не нужно

заботиться, об улучшении быта? Как вам не совестно так говорить? Стыдитесь... А еще вы духовный христианин[27*].

– Но послушайте, – сказал я, – а в Швейцарии не то же ли самое? Самая нагая нищета и роскошное довольство живут рука об руку, а ведь это Республика... По-видимому, ужасный закон господства сильного и умного над слабым и глупым предопределен свыше и будет поддерживаться всеми надежнейшими, вернейшими средствами, которыми располагают мудрые люди всех времен.

– И это честно! – заключил он. – Э!Э! Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, вы, кажется, вместе с русским правительством разделяете идею народного благосостояния, изображаемую двумя словами: нищета и невежество... Во всей Европе скверно, подло для бедняков – это правда, – добавил Жеманов. – Но здесь есть выход – Америка. А русский крестьянин – где выход ему? Могила или острог. Несообразно дикая – рутинная – паспортная система связала его по рукам и ногам, по милости этой ужасной системы он должен, героически сложа руки, умирать в бесплодных или малоземельных губерниях, тогда как миллиарды десятин земли в хлебородных губерниях, не принося никакого дохода, стоят пустырями, ожидают только прикосновения плуга, чтоб воспроизвести богатую жатву и обогатить миллионы людей. Но придет время, когда тунеядцы заплатят капитал с процентами этому народу, – добавил меланхолически Жеманов, – так несправедливо и подло ими захваченного. Бедность крестьян в России, по большей части, вытекает, сколько я мог заметить, из бездействия и пьянства. Если молокане могут пользоваться всеми удобствами жизни и относительным богатством, – ведь они не дворяне, не купцы, а те же крестьяне, и им вовсе не выдают паспортов для отлучки из места родины на основании 83 и 84 статьи губернских учреждений, – то почему то же самое довольство при тех же самых неблагоприятных условиях не может сопутствовать крестьянам православным? А вся задача благосостояния молокан, как мне положительно известно, заключается в том, что религия запрещает им пить водку и вино. Их постоянная трезвость и усидчивый труд – вот их благосостояние... Эх! Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, мы с вами бьемся уже шесть лет и, кажется, никогда не кончим, – закричал Жеманов, вскакивая, – я астраханец, а, как вам известно, Дубовка и Царицын набиты молоканами, их благосостояние заключается не в трезвости, а в том, что они управляются Церковью, т.е. общиною, или, яснее, выборными настоятелем и стариками, и как только замечают мало-мальски, что кто-нибудь из общества прихрамывает в хозяйстве, тотчас старики заявляют всему собранию после молитвы и тут же, не выходя из молитвенного дома, составляется сбор, дружно выручающий своего собрата; недаром говорит русская пословица: "С мира по нитке, голому рубашка". В этой-то круговой поруке ваше благосостояние, а не в трезвости. Наконец, – добавил Жеманов более хладнокровно, – довольство молокан не имеет в этом случае места, как пример для подражания всему русскому люду, их положение – положение исключительное, ведь вас всего-навсего 30 000, не больше, на 70 000 000 – это капля в море. Замкнутость, несообщительность с остальным миром, кто не молоканин, и тяжелые, непривлекательные условия этой секты носят на себе печать семейного и патриархального образа правления. Я вам еще раз повторяю, – сказал Жеманов, – что придет время, и это время недалеко, когда тунеядцы возвратят народу капитал, украденный ими, с процентами.

– Выслушав вас, Жеманов, – сказал я, – я хочу вас просить разрешить мне следующий вопрос: разве предки наши или предки нашего народа, у которого украли капитал тунеядцы, владея этим капиталом, были счастливее? ⟨...⟩

– По-своему они были гораздо счастливее, – отозвался Жеманов. – Наши предки в почтенную прадедовскую эпоху были так же свободны, как ветер, разгуливающий по степям. Нашим праотцам принадлежали и звери лесные, и рыбы, и дары матери-земли. Для своего потребления наши предки занимались собиранием даров природы. Но впоследствии для нашего несчастного отечества настало время диких, коварных смут; уделы пали, и Москва с выбранным народом Романовым стала во главе угнетенного его народа. Свободные люди поделались холопами, независимость обратилась в подчиненность. Этот порядок вещей утвердился в течение столетий и вошел в кровь и плоть народа, который, утратив самую тень воспоминания о своей былой свободе, покорно и униженно подчинился рабству, подобно тому, как вол просовывает в ярмо свою шею. Подумайте, много ли между нами даже теперь еще можно насчитать людей, сохранивших сознание, что все люди без исключения слеплены из одной и той же глины?

– Это та же мартьяновская старая песнь[189], – заметил я, – только на другую тему. По-моему, грешно разрушать даже, положим, и дурное, не имея в виду создать лучшего.

27* Молокане называют себя духовными христианами. – *Прим. Шевелева.*

– Кто с вами столкуется? – заревел Жеманов. – Зачем создавать лучшее, оно само собою выльется из обстоятельств и заручится фактами. Вы везде, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, видите грех, а, по-моему, грешно поддерживать подобный порядок, когда можно изломать его. Да, наконец, у нас есть цель, а грех и мы отвергаем. А вы рискуете собой без всякой определенной цели, и в одно утро петербургское правительство, поймав, скрутит шею. – А за что? Вы и сами хорошо не знаете. Ваша пропаганда молоканская больше портит дело, нежели приносит пользы, – и это мертвячина без соединения с революционной партией. Да куда далеко ходить, – заговорил снова Жеманов. – Лучшим доказательством полной неразвитости молокан служит рассказ Нечаева. В поездку где-то там по России он попал на ночлег к вашим молоканам, которые сознались ему, что Шевелева никакого не знают, а Н.А. они знают – он между ними провел сутки[190]. В разговоре о могущем быть выборном правлении и что царь есть только случай рождения, молокане слушали без возражения, но, когда он кончил, то отец семейства в сопровождении детей повел его на пасеку, где в это время роились пчелы, и, указав ему матку в рою, сказал: "Ты видишь, все ее слушают и все ей повинуются, и она так и родилась маткой, потому что больше всех, и назначена Богом управлять роем, но человек разумнее пчелы, как же он будет без царя?" Затем прибавил: «"Несть же Власти, аще не от Бога"[191]. Так же Царь родился Царем и управляет по воле Божией. Мы не молимся за Царя, потому что он не нашей веры, но признаем, чтим и уважаем, как помазанника Божия... "Кесарево – кесарю, а Божие – Богови"[192]. Так вот вам обращик развития умственного в вашей секте, и ведь это был не простой мужик, а настоятель церкви», – добавил Жеманов, громко рассмеявшись.

Таким образом велся разговор с небольшими отступлениями и изменениями и был прерван приходом ковылявшего на двух костылях Мечникова. Неожиданное появление еще нового лица, не бывшего вовсе в дружественных сношениях с Элпидиным, меня крайне озадачило, и я задался мыслию, что какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства заставили Элпидина отворить дверь этому господину.

Атлет Жеманов, завтракавший у Элпидина, появление Мечникова – это были все такие непредвиденные обстоятельства, которые меня сбили с толку, я просто осовел. Ретироваться было совестно... да это и не в моем характере.

Я опять долгом считаю остановиться на этой личности, чтоб, насколько возможно, ясно познакомить вас с нею и передать откровенно все, что я знаю и что слышал.

Нигилист Мечников – художник и литератор, как значится на его визитных карточках и как он отмечен в женевской полиции. Когда началось движение в Италии, он был там и вместе с своим другом, тоже художником, положительно ничего не смыслящим в живописи, сыном бывшего начальника Завихостского таможенного округа Прянишниковым[193], совершенным поляком, поступили в войска Гарибальди капитанами. Мечников при штурме Неаполя был ранен и в настоящее время без помощи двух костылей ходить не может»[194].

Следующая далее характеристика Мечникова крайне несправедлива и проникнута ненавистью, выросшей, надо думать, из черной зависти:

«Это личность чрезвычайно сомнительной честности, готовая на все, много думающая об себе; его статья о финансовом вопросе, помещенная в "Колоколе", ниже всякой посредственности[195]; этот господин решается на всевозможные сделки, на всевозможные услуги. Он юлил хвостом перед покойным Герценым, но этот честный человек сразу раскусил Мечникова и в разговоре со мною в Ницце в 1868 году[196] нарисовал мне его портрет в самых непривлекательных красках, в особенности о его жене-нигилистке Скарятиной-Смоленской он отзывался как о публичной женщине[197]. То же самое мне говорил о нем Бакунин, предостерегая, чтоб я был осторожен, говоря: "За сплетнями остановки не будет". Страсть его играть роль не удается; зная языки и получивший порядочное образование, он силится играть роль Герцена, но постоянно обрывается, удерживая за собою роль не актера, передающего мысль какого-нибудь великого писателя, – а гаера. Элпидин, Жеманов и даже Жуковский, который по способностям ниже самого Мечникова, отзывались и отзываются о нем с разными вариациями на ту же тему, даже m-me Бакунина сказала мне: "Бонзте остружны с паном[28*] Мечниковым"[198]. Его попытка издавать журнал "Современность" без направления, без идеи и даже без смысла, лопнула; при этой верной оказии Мечников художнически принадул кой-кого, распуская акции этого журнала, но я благодаря своей сметке как-то увильнулся; затем этот журнал, не доживя до периода юности, отправился в вечность, едва прорезались у него передние зубы[199]. Бестактная брань и бросанье грязью даже возмутило таких грубых людей, как Жеманов и Элпидин.

Мои отношения к Мечникову были вынуждены крайней необходимостью. В 1867 году

[28*] "Будьте осторожны с господином" (*польск.*).



"БОРЦЫ ЗА СВОБОДУ"

Фототипия. Лондон, 1877

Слева направо: М.А. Бакунин, Герцен, Огарев. Внизу строки из стихотворения Огарева "Портреты": "Мы бодро верили в надежде благородной. // Что близок новый мир, широкий и свободный, // И вот теперь рассеялися мы... Н. Огарев"

Литературный музей, Москва

мне нужно было как можно скорее изучить итальянский язык, а так как я в то время не знал ни слова по-итальянски и не мог справиться с учителем итальянского, а итальянской грамматики на русском языке нет[200], – то потому для предварительной подготовки в этом языке был приглашен Мечников, который и занимался со мной месяца два. В отношениях с ним я был всегда чрезвычайно надменен, ни с кем, даже с поляками, я не обходился так гордо, как с Мечниковым. Мечников ужасно всегда сетовал на своих родных, что они его ограбили, и однажды в порыве откровенности предложил мне прочесть письмо, только что им полученное от своего брата Николая, служащего где-то в Харьковской губернии по выборам Дворянства[201].

Прочитав письмо и отдавая его Мечникову, я сказал: "Для меня прискорбно читать подобные грязные отзывы вашего брата о вас, я до этого времени думал о вас всегда лучше". Он, эту пилюлю осиля, проглотил (что сказать о подобном человеке?) и на другой день опять явился ко мне.

Мечников юлит хвостом пред всеми путешественниками, русскими и поляками, сходится с ними очень скоро, пьет, играет из преданности и дружбы к ним, но только под страшным секретом, служит для них путеводною звездою в публичные дома и к отдельным секретным личностям женского пола, вследствие этого, я думаю, путешественники, а может быть и агенты, с которыми я встречался в моих разъездах по Европе, отзываются об нем очень хорошо. Мечников как путеводитель по секретной части – опасный конкурент Тхоржевскому, с которым, впрочем, они, по-видимому, в приятельских отношениях.

В настоящее время, как я узнал, Мечников находится в самых коротких, интимных отношениях с Бакуниным, последний – лиса, знает свое дело верно, ⟨когда⟩ как-нибудь нужно надуть.

Вообще Мечников как-то ближе сходится, вероятно, по дружбе к Бакунину, с уроженцами Северо-Западного и Юго-Западного края России, даже у него там есть друзья. Личность

эта для правительства совершенно безвредная, не имеющая ничего общего с демокр⟨атами⟩ и никакой партией в России. Это скорее хлыщ, нежели политический деятель. Но все-таки, если мои надежды осуществятся, – лучше уничтожить[202].

Мечников, раскланявшись со мной и после различных галантерейно-пошлых любезностей о радости, с которою он встречает меня свободным, прибавил, что он приписывает моему избавлению сверхъестественное чудо[203], ⟨и⟩ взглянул пытливо на меня.

Не помню, что я ему ответил, и тут же спросил, чтобы переменить разговор, не знает ли он, где Бакунин?

– Я только что проводил его на пароход (действительно, пароход отходил в 2 часа дня). А вам он нужен? – спросил, в свою очередь, Мечников.

– Не особенно нужен, но я хотел с ним поговорить касательно последних событий в России, где его эмиссар[204], как вам известно, наделал тьму глупостей, и даже Бакунин на вызов "Народного дела" ничего не отвечал.

– Он ответил, – сказал Мечников, – и записку его на имя секретаря редакции "Н⟨ародного⟩ д⟨ела⟩" вы можете видеть у Трусова, а так как это не секрет, то я вам могу передать ее содержание; в первой строке послесловия после года и числа значится: "Не для печати". Потом вы прочтете: "Секретарю редакции Н.Д. Трусову" и, наконец, следующее: "Если б Редакция мне сообщила, что по делу Нечаева арестовано в настоящую минуту три тысячи человек, я бы умер спокойно, с убеждением, что народ русский встрепенулся от векового рабства"[205].

– Ну в таком случае, – заметил я, улыбнувшись, – Бакунин застрахован от смерти, и придется еще долго ждать ему подобной катастрофы.

– Кто знает, может быть, да, может быть, нет, – возразил Мечников с расстановкой.

В это время, как я узнал после от поляков в Париже, ожидалось движение Нигилистов и Интернационалистов в России, но, увы, надежды не оправдались[206].

Встретившись с Трусовым на другой день в café du Nord он подтвердил мне слова Мечникова.

Между тем, по словам Элпидина и книгопродавца Георга, для публики распространяется, что Бакунин очень сожалеет, что случилось такое несчастие и что он ошибся в Нечаеве[207].

– Меня, право, удивляет, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, – продолжал Мечников с дурно скрываемою злостью, – если вы так саркастически смотрите на все предприятия наши, хотя крайние, но вызываемые необходимостью, зачем вы приезжаете к нам?

– Господин Мечников, можно лгать, но ⟨надо⟩ знать же меру. Когда я это вам говорил? – спросил я. – Всем известно, что я приехал к себе и для себя. Мне никто из вас не нужен, мне нужна только Вольная типография для печати религиозных и других книг, относящихся к нашему вероучению. Я ни у одного из вас не попросил еще ничего, между тем как вы меня, господин Мечников, атаковываете. Начать с того, что вы и Бакунин мне должны. Извините, господин Мечников, я вовсе не предполагал вас здесь встретить, меня упросил Элпидин быть у него сегодня. Я приехал с утренним поездом.

– Замечание о долгах не может иметь здесь места. Ваша добрая воля была давать или нет, – сказал Мечников рассеянно.

– То есть, цитируя ваши слова, давая деньги эмигрантам, я должен от получения их отказываться. Это будет мне нужно знать для будущего.

– Уже четвертого половина, – сказал Мечников Жеманову, вынув часы. – Вы готовы?

– Что за вопрос, – отвечал Жеманов, надевая серую курпейчатую шапку, какие тут приготовляют.

Оба, сухо мне поклонившись, вышли.

Элпидин тоже вышел и возвратился через 10 минут с двумя бутылками вина.

Все эти обстоятельства сильно поразили меня, я не мог сосредоточить моих мыслей, чтобы взглянуть глубже и проанализировать то, что происходило вокруг меня.

– Ну, скажите, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, к чему вы всегда ссоритесь с нами? – сказал Элпидин довольно мягко, наливая вино в стаканы. – Вы не сочувствуете нашему делу, мы и не требуем, но ведь нужно знать, и вы в этом сознаетесь, что и ваши молокане притеснены петербургским правительством, что им нужна доля свободы – следовательно, делая ⟨шаги?⟩ сообща хоть по разным дорогам, мы можем достигнуть цели. Ну, сами посудите, вы знаете нас очень хорошо, стали бы тратить время на разговоры с вами, если б это не было для нас необходимо, если бы мы не питали к вам доверия? Некрасов, издатель "Современника", вовсе не принадлежал и никогда не может принадлежать нашему кружку, он слишком грязен для этого; однако молодое поколение обязано ему теми доктринами и тем новым учением, которому оно теперь следует и которое, хотя и замаскированное для непосвященных, проходило в его издании в 1861 и 1862 годах. Он при всей своей жадности к наживе, однако же, не жалел сво-

их средств. Можно вовсе не принадлежать нашему обществу, не разделять наших тенденций, но все-таки быть полезным нам. Я вас прошу только с терпением не противоречить мне, выслушать меня, а тогда ваша добрая воля – принять или не принять. Например, вы говорите, что у нас дефицит; это правда; вы намекаете, что мы имели процесс с Бендой и как будто его надули, – и это правда[208]. А если нам иначе поступать было невозможно? Вот как было дело. Мы обязались по контракту с Бендой не оставлять для себя более 25 экземпляров, но мы, кроме 25, печатали для себя 300 и распродавали, очень натурально, в пользу нашего дела, подрывая тем продажу книг, сданных ему. Вы считаете нас честными, неспособными на подобное дело; мы нашли, что так поступать необходимо, и я вам представлю сейчас те данные, которые нас оправдают в ваших глазах: если б мы деньги, вырученные таким образом, употребляли для себя, для нашего развлечения, на платье, шампанское, на женщин и т.д., тогда это чистое воровство; у Жеманова три рубашки, у меня тоже, остальной гардероб наш соответствует белью, как вы видите, и, кроме того, мы по шею в долгу. То, что я вам рассказал, никто не знает. Сумеете ли вы, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, оценить ту степень доверия, какую мы питаем к вам? Но слушайте дальше. Вырученные деньги мы употребляем на различные издания, для ⟨духовных⟩ семинарий, которые нигде не продаются, а идут прямо в Россию. Например: провезено и распущено в России "Учение для истинных христиан" Игнатия в двух изданиях, кроме первого издания, которое по неимению у нас в то время типографии напечатано было в типографии Герцена[209]. Действительно, экземпляр, показанный им, был отпечатан шрифтом типографии Элпидина, хотя внизу и выставлено: "1865 года. Пре Левек, № 40", причем он объяснил, что это делается для того, чтобы в случае, когда попадется подобная книжка в руки правительства, то оно подумало, что это старое издание, которое уже было в продаже. Потом вот еще, – и он мне показал "Назидание верующим" на основании 16 главы Евангелия Святого апостола Луки, в котором главную роль играет стих 9-й[210], тоже прошло в Россию одно издание. Сколько я припомню, это то самое учение, о котором мне несколько раз говорил Бакунин в 1867 и 1868 годах, что нужно непременно написать в духе социально-коммунистическом и распространить между молоканами, и, кажется, я об этом показывал в Одессе[211].

– Ведь это все, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, идет даром, что́ взять с семинариста, а даже иногда и денег придется дать на дорогу – но между тем это стоит денег. Положим, у нас своя типография, но нам нужна бумага; кроме того, есть и пить и еще что-нибудь.

Просмотрел бегло последнюю брошюру, носящую название "Назидание верующим", с виньеткой на заглавном листе, изображающей Иисуса Христа во время проповеди на горе; внизу Москва 1870-го, не помню только, в какой типографии. На обороте заглавного листа разрешение цензуры[212]. По наружности это самая обыкновенная книжка, которую продают букинисты, и даже на серой бумаге.

– Пожалуйста, дайте мне дня на два эту книжонку, она меня сильно интересует[29*].

– Я с радостью дал бы, но у нас всего только один экземпляр, и теперь посмотрите, набор делается; во время каникул приеду за изданием[213].

Отдавая брошюру, я сказал:

– Ведь это красный петух... Признаюсь, никогда не слышал, чтобы в семинариях существовала подобная пропаганда, и даже не предполагал.

– Эту брошюру мы получили из России, и нужно отдать справедливость, написана с толком, знанием и реально приноровлена к почве русской. Это вещь слишком серьезная[214]. Куда Бакунину написать что-нибудь подобное, здесь обман, ложь, воровство, подлог и многое другое допускается на основании евангельских текстов, а вам, конечно, небезызвестно, что силою евангельских доктрин можно разрушить многое. Теперь требуется второе издание, а денег нет положительно; мы должны в пансионе, где обедаем, 600 фр., хоть мы там уже шесть лет безвыходно продовольствуемся, но все-таки теперь на нас там посматривают косо, – сказал Элпидин как-то грустно.

– А в скольких экмземплярах вы напечатали первое издание? – спросил я.

– Да немного, в 300 всего, не было средств, и то едва-едва хватило.

– Как это вы умеете провозить такими массами?

– Это уже дело Утина; тому, кто везет, мы от Утина получаем рекомендацию в Галицию к местным властям. Австрийское правительство слишком заинтересовано в деле русской пропаганды.

– Значит, Утин посвящен во все ваши дела?

– Никто об этом не знает, и я первому вам говорю[215].

29* *Далее повторяется*: "... тем более, что Бакунин давно мне советовал написать подобное учение на основании 16-й главы Евангелия от Луки для распространения между молоканами". – *ЛЛ.*

– Благодарю, – сказал я, пожав руку.

– При этом я должен вам сказать, что если б Утин или Бакунин проведали что-нибудь о нашем деле, то тотчас изгадили бы его, они бы послали туда своих эмиссаров и для прославления своего имени устроили бы демонстрации и тому подобные нелепости, и дело, которое мы ведем с такою осмотрительностию и для которого подвергаемся стольким лишениям, погибло бы безвозвратно, не принеся никакой пользы. До времени никто не должен знать. А время еще не настало. Жеманов правду вам сказал, оно недалеко, – добавил Элпидин рассеянно. – Мы с вами должны быть откровенны, насколько можно, т.е. что у нас есть в семинарии партия; да даже если б и случилось что, вы бы узнали что-нибудь больше, то и тогда вам нет расчета портить наше дело, и, наконец, кроме того, мы надеемся, что вы исполните ваше обещание, данное вами, когда вы уезжали, помочь нам и выпутать нас из этого безвыходного положения. У нас слишком плохи дела, участь Серно-Соловьевича пугает нас[216].

Все это Элпидин говорил так тихо и монотонно, как бы боясь, чтобы стены нас не подслушали; не вино на него так действовало, которое он то и дело прихлебывал; я пил очень мало, отзываясь биением сердца.

– Вот что я слышу от вас об семинариях, для меня совершенная новость.

– Какой вы странный, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, откуда вышли деятели настоящей эпохи – Чернышевский, Добролюбов? ведь это просто семинаристы, наш брат голодная кутья.

– Да, положим, это так, – возразил я, – Чернышевский и Добролюбов это исключения, это дело случая, я не об том говорю, а что там я никогда не слышал о фактах, какие имеются в университетах, в Петровской академии, как это там совершается шито-крыто, что никто ничего не знает.

– Как шито-крыто? В 1862 г. чуть не разыгралась страшная сцена, да только гром погремел, а гроза мимо. Вот что случилось в Вологде[217]. Какой-то подлец донес на семинаристов жандармским властям. Жандармский офицер пришел и объявил архиерею, что нужно сделать обыск сегодня у таких-то семинаристов и у профессора; этот разговор был подслушан келейником, который тоже принадлежал к этому кружку; конечно, тотчас дали знать, и у некоторых, в двух-трех книгах, по беспечности оставленных, нашли выписки из Фиербаха, затем несколько человек посадили в острог, но архиерей и духовенство вступились за это дело, вырвали у жандармов, передали судебному следователю, и дело в шляпе. Не случись такого доброго архиерея и келейника, все дело бы погибло и в других семинариях, тогда только начинавшееся в зародыше[218], и казанские происшествия не могли бы осуществиться, где я участвовал[219]. И кто знает, где бы я теперь витал?.. Хотите для доказательства я вам представлю переписку по этому делу, у меня сохранилось несколько русских писем", – и он, действительно, достал из шкафа два-три письма. Все они были написаны, как теперь припоминаю, каким-то Фердиновским[220], и действительно слова Элпидина этими письмами подтверждались[221]. Кроме того, к одному из этих писем была приложена вырезка из губернских ведомостей, – это был преуморительный приговор Уголовной палаты, не помню всего его содержания, но что бросилось в глаза, это именно выражение "считать, что сочинение Фейербаха проникло в семинарию от посторонних лиц и что профессору-священнику такому-то за сделанный у него обыск искать запрещается"[222]. Отдавая письма, я прибавил: "Мне кажется, что и без этого внушения уголовной полиции почтеннейший профессор не стал бы нигде искать и благословлял, вероятно, судьбу, что так счастливо отделался; однако ж такой благополучный исход, как в этом деле, это редкость"[223].

– Да, – сказал Элпидин, – спасибо архиерею, спас наше дело, а то пришлось бы плохо. – С тех пор в семинариях пошло дело осторожнее; в выборе людей для составления кружков стали осмотрительнее, и люди, принадлежащие нашей корпорации, почти замкнулись. Этой бдительности мы обязаны, что за всем надзором и шпионством петербургского правительства до сих пор ничего не открыто, и наши идеи так глубоко пустили свои корни и всосались в кровь и мозг семинаристов, что в случае какого несчастия, если по воле судеб деревья и падут под секирой, то достаточно будет отпрысков, чтобы продолжать святое дело свободы. Хорошо унавоженное, со вниманием посеянное и тщательно взбороненное взойдет и при непогоде; о плодах нужно позаботиться, и если жнецы не упустят благоприятного момента, то и жатвы окупят труды, принесут богатую пользу. В настоящее время все в росту, земно... Теперь вам, я думаю, больше понятно, почему мы так дорожим тайной нашего святого дела и боимся прикосновения святотатственной руки Бакунина и других играющих своими именами, как, например, бессмысленная, ничего не выражающая поездка Нечаева; разве для того, чтоб подстрелить кого-нибудь, нужно составлять кружки, нужно составлять общества?[223] Для этого нужен только человек с твердым характером, серьезный и глубоко проникнутый необходимостью своего поступка, вроде Каракозова, а кто же серьезный соединится с Бакуниным? Самая ра-

зумная, благонамеренная политическая доктрина обращается в чепуху, когда ее на практике прилагают олухи и бараньи головы; с другой стороны, самое скверное дело в руках талантливых людей постоянно делается хорошим и процветает... Что наша партия не обнаруживает в настоящее время той энергии, какую молодежь университетов и других заведений, – это только доказывает ее зрелость, продуманность, рост. К среде университетской молодежи примазались многие нечистые, даже совершенно чуждые элементы, которые по воле руководящих их правительственных лиц могут для развлечения петербургского правительства давать фейерверки и шутихи в виде разбросанных прокламаций, подметных писем, представления протестаций и т.д. – в этом не мы одни согласны, но, судя по письмам, согласны все чистые люди нашей родины, даже и не принадлежащие к партии действия. Все мало-мальски развитое и образованное общество заинтересовано в перевороте.

– Я только что из России и ничего подобного не слышал. Право, не иллюзии ли все это, Михаил Константинович? Проанализируйте хорошенько. Вы чрезвычайно переменились с 1869 года; тогда вы порицали все то, чего нет в народе, и были заинтересованы исключительно его только развитием, его образованием – одним словом, вы были истинный чернышевец. А теперь не то. Мы должны идти рука об руку с развитым обществом и помогать ему, хотя и не имеем с ним ничего общего. Вот наша теперешняя задача. В мою последнюю поездку я жил в Одессе очень долго, потом в Херсоне и Елисаветграде, был в разных слоях общества, но ничего подобного не слышал; всякий занят своим делом, и о перевороте никому в голову не приходит; есть доморощенные либералы, которые находят, что при конституции дела пойдут лучше, но конституция – не переворот, не красный петух, о котором вы говорите.

Проглотив залпом последний стакан вина, Элпидин из шкафа достал пачку писем.

– Вот это, – сказал он, – для такого Фомы неверного, как вы, будет служить лучшим доказательством моих слов, вот вам переписка панславистов и судебной корпорации. – И, взяв две пустых бутылки, вышел.

Эти письма не были адресованы ни к одному из эмигрантов, ни к одному из членов партии действия, это есть не что иное, как переписка между друзьями, полная откровенность. Очень жаль, что подробного отчета об них, за давностию, я не могу дать, но вот все, что я помню в общих чертах. Панслависты сетуют, что без представительного правительства нечего и думать о соединении славян, так подпираемых немецким элементом; скоро ли придет то желанное время, когда мы, опрокинув немцев, обнимем своих родичей? Кроме того, что я помню, во всех шести письмах авторы их глубоко проникнуты религиозным чувством; по нескольку раз в письмах повторяются выражения "по милости Божией", "да благословит Бог", "Бог больше терпел и нам повелел" и т.д. Письма судебной корпорации совершенно в другом роде, в них, по большей части, выведен на сцену *их начальник* с самой комической стороны, выписаны его фразы со странными оборотами, – вы встречаете там же выражение: "Скорее настанет то блаженное время, когда не мы министрам, а министры народу будут служить" или "ответственное министерство есть только ручательство благосостояния народа" и т.д. Что это не фабрикация, в этом нет никакого сомнения. Многие из этих писем разорваны и потом тщательно подклеены, в двух письмах недостает по четверти листа. Одно, нужно заметить, изорванное, подклеенное и тщательно промытое, было, должно быть, в послеобеденном употреблении. Имена, фамилии подписавшихся, а также годы, месяцы и числа тщательно вычеркнуты, но года можно в некоторых прочесть.

Когда возвратился Элпидин с двумя бутылками, свечкой, ветчиной и хлебом, мне оставалось дочитать еще три письма; все они, судя по почерку, принадлежат одному автору. Письма эти до того юмористичны, что, несмотря на тоскливое состояние моей души, вследствие передряги сегодняшнего дня, я не мог без смеха их читать – автор этих писем с таким особенно свойственным ему гумором выставляет с карикатурной стороны своего *начальника*, что нет никаких средств удержаться от смеха, – впрочем, в одном из писем он слишком его третирует, так что юмор переходит в неприличную сальность и делается грустно за человека, подвергнувшегося такой нахальной насмешке. В этом же довольно пространном письме он говорит о покойной сестре и о зяте Ясинском. Эту последнюю фамилию я очень хорошо помню, потому что, бывши еще в Севастополе, я сильно поссорился с одним ляхом Ясинским, за что комендантом на Северной стороне Севастополя генералом Тетеревниковым был арестован на сутки. В этом же письме он говорит, что он, автор, пользуется особым уважением начальника, вероятно, потому, что носит иностранную фамилию. Отдавая письма Элпидину, я просил его сообщить имя автора этих писем.

– Чтобы доказать вам, что мы вам доверяем. – Он достал записную книжку и сказал мне фамилию, которую я записал, как только мог увильнуть от наблюдений Элпидина, но так как Коммуна у меня все похитила, то из памяти моей исчезла эта фамилия; но насколько могу припомнить, она коротка и начинается на Г – Гине, Гиве, Гире, Гере. Одним словом, что-то вроде это-

го[224]. Письма эти принадлежат 1867 году, автор описывает железную дорогу Рязанскую, а потом Козловскую, почему нужно предполагать, что они отправлены или из Рязанской или из Тамбовской губернии, где он находится в отпуску, пользуясь благосклонностию своего начальника, над которым так безжалостно потешается. В одном из писем судебной корпорации еще говорится, что если это правительство просуществует еще десять лет, то целое поколение молодежи предано будет правительственному растлению и теперь в Москве на пять человек студентов непременно один шпион. – Забыл еще сказать, что автор трех юмористических писем, вероятно, пишет летом, потому что говорится о сенокосах и о дозревающем хлебе.

Элпидин, наливая стаканы, сказал:

– Видите ли, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, ведь это пишет не наш брат хомяк, которому и холодно и голодно, а аристократия, ведь это правоведы; что же думают остальные, не пользующиеся благами жизни? А вы все твердите, что нет никаких элементов, нет фактов. Что может быть сильнее этих доказательств? Конечно, эти письма попали к нам без ведома их авторов, а для нас они нужны как доказательство тех неблагоприятных для правительства элементов, которые гнездятся даже в среде лиц, обязанных быть заинтересованными настоящим порядком, охранять его и преследовать нарушителей. Да! у нас есть еще из прусского и австрийского источников кое-что более положительное, но об этом после, – ведь вы по-немецки не читаете, так нечего и говорить. Интернационалистов[225] в Пруссии 300 тысяч, а во всей Германии 800 тысяч – значит, легко знать многое, а это такая практичная штука, что пролезет и в замочную скважину.

– Но что здесь общего имеет эта переписка с вашим делом? – заметил я, вставая, – авторы этих писем, сколько можно понять, заинтересованы только, собственно, в представительном правлении, и больше ничего.

– Да, да, ваша правда, тут нет общего ничего с нашим делом, и никто из авторов этих писем и не думает о перевороте – но представительное правление может быть только в следующем царствовании, в настоящем нечего и думать об нем; но так как все мыслящее общество заинтересовано будущим царствованием как конституционным, следовательно, с нашей стороны, т.е. со стороны партии действия, зависит ускорить это дело...

– Прошу вас, Элпидин, если вы мне верите, – перебил я, – то в объяснениях со мной ⟨лучше⟩ не прибегать к полувыражениям, а говорить прямо, т.е. что значит ускорить дело.

– Очень просто: спустить настоящее царствование в вечность, и, верьте мне, второй Каракозов промаха не даст, он выучится хорошо стрелять, – прибавил Элпидин, выпивая залпом стакан. – Затем выражение Жеманова, которое, как мне кажется, вы приняли шутя, "это время недавно" ⟨...⟩ прошу считать стоящим на реальной почве.

Мы замолчали, каждый по-своему погруженный в самого себя. Я был сильно поражен, в голове моей я не мог в ту минуту найти ни одной дельной мысли для выражения или вопроса и был очень счастлив, что мой собеседник вывел меня из этого положения.

– Не хотите ли кусок хлеба и ветчины? Извините, у нас нет вилок, – добавил Элпидин иронически, закладывая в рот порядочный кусок мяса; потом, прихлебнув вина, продолжал: – Но не думаете ли вы, в самом деле, что мы из-за дворянской панславистской конституции будущего царствования, из-за английской конституции на русской почве – никто бы и не думал прибегать к таким крайним мерам. Вы попали в лучшую минуту моей жизни; вино способствует развитию умственных способностей. Знайте же вы, лучший и скромный наш друг, – сказал Элпидин, протягивая дружески мне руку. – Видите ли в чем дело: в будущем царствовании, во главе которого будут стоять панслависты с дворянством и купечеством, возбудят войну, которая и теперь уже подготавливается, своими газетными памфлетами против немцев..."

Далее Элпидин сказал: "Мысль о цареубийстве и благоприятные последствия, могущие произойти от этого, не наши; мы только проверили ее, списались, заручились данными и оправдали. Быть может, народ на этот раз и проиграет, но, раз заручившись нашими светлыми революционно-социальными доктринами, не забудет их никогда. А это главное. И даже в этом случае точно так же выигрыш. Идея цареубийства как необходимая основа будущего благосостояния масс, а не отдельных корпораций созрела, как нужно полагать, в Париже и передана нам редакциею "Народного дела". Ее одобряют все, кто знает, как необходимый вывод для переворота. Что касается до нас, то мы еще к исполнению этого дела приступить не можем, хотя бы и рады были ускорить ход событий. У нас еще не все правильно обставлено и не все хорошо закреплено, а главное – безденежье. По справедливости сказать, так только мы и имеем для этого дела людей подручных и, кажется, за неимением субъектов в других партиях для этой цели, жребий исполнения падет на нас, а при отсутствии в провинции всякой полиции, может поручиться за успех ⟨...⟩ Затем прошу вас выражение Жеманова, на которое вы также мало обратили внимания: "Лучшее само выльется из обстоятельства и заручится фактами" – считать как аксиому, как последний вывод".

Потом разговор наш перешел к более общим предметам о децентрализации, о возможности на развалинах нашего отечества отдельных самостоятельных государств и т.д. Хозяйка Элпидина в это время принесла еще две бутылки вина. Оживление Элпидина постепенно увеличивалось, и он говорил с увлечением о том прекрасном будущем, заря которого уже наступила.

Далее Элпидин сказал: "Ну теперь, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, когда вы уже посвящены в наши тайны, я с вами должен объясниться серьезнее. Сегодня, в начале нашей беседы, я вам объявил, что для всякого революционного дела нужны деньги, а так как у нас совершенное безденежье и так как вы оправдываете наши дела и видите в них все лучшее, – то я вас прошу снабдить нас деньгами. Нам нужно теперь безотлагательно 2000 фр. и столько же в сентябре, в обеспечение чего впредь до возвращения денег я совершу с вами формальный акт о передаче ⟨вам⟩ нашей типографии, которая, как вам известно, существует на мое имя".

– Благодарю вас, М⟨ихаил⟩ К⟨онстантинович⟩, – сказал я, пожимая руку, – за вашу откровенность, но вы очень хорошо понимаете, что это дело очень серьезно, и я не могу его решить вдруг. Мне нужно об этом подумать и осмотреться.

– Да, но вы обещали нам по возвращении помочь, мы с нетерпением вас ждали; мы во всем вам помогали, для переезда вашего в Россию мы исполняли в 1869 году все ваши требования, но что делать, если мы обманулись и в этот раз в вас, как пять лет тому назад. Я вам доверился, чего не должен ⟨был делать⟩, – проговорил Элпидин, почти шепотом, склонив голову на руку. На узкой руке так же, как и на висках, с силою напряглись жилы, тогда как на лбу его выступило красное яблоко; я заметил, что он был более чем навеселе.

– Я и теперь не отказываюсь, как и всегда, но говорю, что об этом я должен подумать, – сказал я, вставая, взявши шляпу и трость.

– "Подумать!" "Подумать!" Вы если честный человек, должны были прежде обдумать, нежели выслушивать откровенное признание. Это больше, чем подло, – сказал Элпидин, заскрежетав зубами, и с такою силою поставил свой стакан на стол, что стакан разбился и вино из него вылилось.

– Где же мы завтра увидимся, М⟨ихаил⟩ К⟨онстантинович⟩? Уж теперь за полночь, – сказал я, как будто не слыша последнего выражения.

– В первом часу после завтрака в нашем кафе, – сказал он, вставая и протягивая мне руку.

Я шел домой по длинным улицам; погрузясь в размышление, я повторял мысленно, что́ слышал.

Откровенность, которой я добивался пять лет, вылилась сегодня предо мною во всей своей наготе. Непринужденность и безыскусственность рассказа целиком врезались в моей памяти. Мне было крайне совестно за себя, что я их заподозрил сначала в неискренности.

Да! Так вот в чем дело, – говорил я сам с собою. – Дело в красном петухе. Никогда я не видел Элпидина таким пьяным, как сегодня... Что это значит? Завтра, пожалуй, он забудет все, что говорил сегодня, но он может так же послезавтра опять напиться, и тогда я постараюсь свести разговор на более интересные подробности организации этого дьявольского общества. Этот дурак хочет играть роль великого человека, не обладая никакими для того средствами, и считает себя целой головой выше других людей. А если великолепно задуманная ваша преступная организация окажется, при посредстве моем, недоноском... Тогда что? А? И на чем основан этот ваш план? Без денег, без средств – нет, тысячу раз нет... Ему не совершиться ⟨...⟩

В первом часу в среду я застал Элпидина уже в кафе ⟨...⟩

– Что ⟨...⟩ касается до вашего вчерашнего предложения насчет 2000 фр., – ⟨сказал я⟩, – то я это могу исполнить только по приезде моей жены. Потерпите, прошу вас, недели две-три.

Затем разговор был почти вчерашний. Элпидин мечтал о недалеком прекрасном будущем, и мы расстались в три часа, довольные друг другом.

В четверг в 10 часов утра Элпидин застал меня с дочерью за чаем. Он взял на руки дочь, был слишком с ней любезен, потом невзначай, без намерения, спросил:

– А кто это тебе подарил куклу?

– M-r Davidoff, – отвечала она.

Элпидин побледнел, едва не упустил моего ребенка.

– Ведь это странно, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, – сказал он взволнованным голосом, – объясните мне. Как это так? Давыдов покупает куклы вашей дочери. Вы эмигрант, а он служит в русском посольстве.

– Я, право, ничего не знаю и за всеми расспросами от дочери ничего не добился. М⟨ихаил⟩ К⟨онстантинович⟩,– сказал я совершенно спокойно, – лучшее, что мы можем сделать в этом темном деле, интересующем меня еще более, нежели вас, это отправиться в Паки́ к m-me Raux-Ponti, где в мое отсутствие жила моя Надина, и расспросить ее подробно.

И что же оказалось: эта треклятая итальянка, как сама нам объявила, во все время моего отсутствия, постоянно получала плату за моего ребенка от этого доброго и мягкосердечного господина Давыдова, а когда я с ней рассчитывался, она об этом умолчала. Этой мерзкой женщине следовало получить от меня 725 фр., но я ей отдал 800 фр. при m-r Robert, где моя дочь помещается в настоящее время. Эта мошенническая сделка этой грязной итальянки известна в Женеве многим. Ясное дело, М⟨ихаил⟩ К⟨онстантинович⟩, что я ничего не знал, а то иначе мог ли я ей заплатить все деньги, не рассчитавшись прежде с теми, кто содержал мою дочь во время моего отсутствия?

– Это так, это так, это понятно, – говорил, горячась, Элпидин, – но я вам советую об этом напечатать, а то, пожалуй, с вами никто не захочет иметь дела.

Тут я от Элпидина узнал, что Жеманов, который вышел от Элпидина во вторник, уехал и воротится только завтра.

Элпидин простился со мной сухо и даже не назначив места свидания, как это обыкновенно делалось между нами.

Кто мог ожидать, что копеешная кукла будет стоить мне жизни?! Или, по крайней мере, тех ударов судьбы, которыми я уже скоро год как подвергаюсь? В моем положении ожидать хорошего исхода было невозможно, но я по своему хохлацкому упрямству никогда не останавливался на полдороге.

Вечером в тот же день я получил от Мечникова очень любезную записку[226], где он просил завтра, т.е. в пятницу, на завтрак. По городской почте ⟨я⟩ уведомил, что не могу исполнить его просьбы.

В пятницу между 12 и 1-м часом, когда я шел завтракать в американский буфет, который помещается в улице Мон-Блан, рядом с Женевской гостиницей, со мною повстречался Элпидин.

– Вы завтракали? – спросил я у него.

– Нет.

– В таком случае пойдемте со мной, здесь два шага.

– Хорошо, – ответил он, – я буду к вашим услугам непременно в час, а теперь я занят.

В буфете я поместился в самой маленькой комнате с одним столом – и впредь до прихода Элпидина занялся чтением газет.

За завтраком Элпидин молотил, почти не разговаривая, и вообще бы⟨ло⟩ заметно, что ему как-то не по себе.

Когда подали кофе, вошел Жеманов. После обыкновенных приветствий, изо всего, что я ему предлагал для насыщения и утоления, он принял только черный кофе и папироску. Жеманов был угрюм и как-то особенно деликатен. Как он узнал, что я в этом буфете, это для меня и до сих пор необъяснимо.

Наступило молчание, гости мои переглядывались между собою, ясно было видно, что у них что-то вертелось на языке, но никто не решался первый начать, я просматривал "Егалите"[227].

Наконец Жеманов спросил меня:

– Скажите, пожалуйста, нам Николай Александрович, откровенно, спрашивали вас что-нибудь при допросах в Одессе о типографии, которую будто бы Элпидин хотел открыть в этом городе?

Я рассказал по справедливости, как показывал г⟨осподину⟩ подполковнику Кнопу, но добавил:

– Хотя я об этом не говорил и меня никто не спрашивал, но я сам у учителя Николая Ивановича в д⟨еревне⟩ Чучьма[228], к которому вы меня рекомендовали и которого фамилию настоящую вы тщательно от меня за всеми моими расспросами скрываете, видел в ящиках; много типографических букв разного калибра[229].

– Мы же его фамилии не знаем, ни его самого никогда не видели, – отвечал, заикаясь, Элпидин.

– Это странно. Как же вы могли меня рекомендовать к человеку, вовсе вам незнакомому, за получением русского паспорта – это не только неосторожно, но даже глупо, я с вами бы никогда так не поступил.

– Да что вам за дело? – вмешался в разговор Жеманов. – Н⟨иколай⟩ И⟨ванович⟩ удовлетворил вас, дал вам паспорт, ну и довольно. Дело сделано, и концы в воду.

– Прекрасно, что я от него получил паспорт, но не должно забывать, что с этим паспортом я был арестован.

– Но это не дает вам права подозревать, что вы арестованы по доносу Н⟨иколая⟩ И⟨вановича⟩, – вскричал, побагровев, Жеманов.



ЖЕНЕВА. УЛИЦА КАРУЖ

Фотография Ф. Буассонá. Конец 1890-х годов

Из книги: G. Fatio. Genève à travers les siècles. Genève, 1900

В декабре 1870 г. Огарев поселился на ул. Каруж (rue de Carouge, 20) и прожил здесь до октября 1873 г. В 1872 г. эта часть улицы стала называться улицей Большого Совета (rue du Grand Conseil, или rue du Conseil Général), но нумерация домов осталась неизменной

– Но то же самое не дает вам права отвергать этот факт, так как вы Н⟨иколая⟩ И⟨вановича⟩ вовсе не знаете, следовательно, и не можете знать, на что он способен. Прошу быть немножко сдержаннее, ведь мы здесь не одни, – сказал я Жеманову. И, чтобы замять разговор, который принимал очень неприятное направление, обратился к Элпидину с вопросом:

– Когда же вы мне дадите прочесть подлинную записку, копию с которой я представил австрийскому консульству?[230]

– Для чего вам подлинную записку, консул дал вам денег, – вступился опять Жеманов, – справки, наведенные им по этой записке, как вы нам писали из Галаца, оказались верными, ну и довольно, и просили вас ту карандашную записку, которую вы от нас получили, считать подлинною.

– Что за идеи у вас, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩? Что за контроль? – добавил Элпидин, состроя гримасу.

Я предполагаю, что сведения, о которых говорится в записке, ими получены не от посольства и не от Министерства иностранных дел, а, вероятно, таким же путем, как и письма. И легко может быть, что люди, принимавшие участие в далмацкой инсуррекции, просто были аккредитованы коноводами панславистов, и с нашим правительством ничего общего не имели, и об них, может быть, никто ничего не знал в Министерстве иностранных дел.

– Знаете ли, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, – сказал Жеманов, выдерживая себя, – мне вчера передали люди, заслуживающие доверия, что русское правительство, получив от вас заявление, что у Н⟨иколая⟩ И⟨вановича⟩ вы видели буквы, навело справки, и все оказалось вздором.

– Подайте мне этих людей! – вскричал я, в свою очередь. – Подайте мне источники, откуда это взято; иначе я буду считать вас лгунами.

– Успокойтесь, Н⟨иколай⟩ А⟨лександрович⟩, – сказал Элпидин, взяв меня за руку, – как вам угодно, считайте нас – это ваше дело, но рассудите же сами, как нам пренебрегать последними фактами, сообщенными об вас, и не принять к соображению всех обстоятельств при осложнившихся в нашей душе подозрениях касательно вас, например, как содержание вашей дочери русским посольством в лице Давыдова во время вашего двухлетнего отсутствия, и как вы, видя мою откровенность с вами во вторник, нашли нужным утаить от меня ваш допрос в Одессе касательно меня.

– Первое, – сказал я, вырывая руку свою у Элпидина, – вы сами нашли несостоятельным, в чем удостоверились лично, что я был обманут мошенницей. Второе, я не имел времени вам сообщить, потому что, как вы помните, я все молчал, предоставляя вам право говорить.

– Так это вы всё во вторник говорили? – обратился Жеманов к Элпидину, иронически

улыбаясь, – и, верно, пили? У вас только тогда язык и развязывается. Хороши политические деятели с кабацким запахом, – и бросил на Элпидина, совершенно расстроившегося, один из тех взглядов, от которого несчастный содрогнулся и побледнел. Потом Жеманов взял шапку, протянул молча мне руку и вышел.

Вероятно, в эту минуту воздушный полет Щербакова живо представился воображению уничтоженного Элпидина[231].

Спустя несколько минут и мы тоже вышли. Проходя по залам заведения, я заметил в одном углу притаившего дыхание Мечникова и, не удостоив его своим вниманием, прошел мимо...

Как только я возвратился домой, тотчас, опустившись на колени, сотворил благодарственную молитву Всевышнему, внушившему мне мысль отказаться от сегодняшнего завтрака, предложенного мне политическим сусликом. Бог знает, что́ меня ожидало там, быть может, участь Иванова...[232] И совершенно безвинно – потому что никогда не был аккредитованным агентом нашего правительства, а действовал и буду действовать из любви к моему государю и его правительству, конечно, кроме судебной корпорации, поддерживать которую я считаю государственным преступлением, а господина Давыдова, которого я от души благодарю, никогда не видел, – следовательно, не мог иметь с ним ничего общего. В чем же я виноват против партии действия? Разве в том, что не сочувствую... Если бы я принял приглашение политического суслика Мечникова, то был бы вновь подвергнут в его квартире формальному допросу, которому уже подвергался в 1867 году в Веве у Бакунина.

Ясное дело, что всё, о чем меня спрашивал Жеманов, все эти сведения получены из моих показаний, данных в Одессе; я не мог только в то время сообразить, каким образом они могли получиться: из III Отделения его императорского величества канцелярии или от подполковника Кнопа, потому что до сего времени был в совершенном неведении, что ВЛАСТЬ, ограждающая безопасность его величества и Государства, была подчинена учреждению судебной корпорации, члены которой, согласно переписке, мною читанной, заинтересованы в противном. И если б я тогда знал, что подполковник Кноп обязан был сообщить показания прокурорскому надзору, так подло и бессовестно меня выдавшему врагам его величества, я никогда не был бы с ним так откровенен...[233]

Дорогой Элпидин извинялся, что Жеманов слишком горячо принял сведения, переданные обо мне, что эти сведения получены из польского источника, по хладнокровном рассмотрении которых они оказались не стоящими выеденного яйца. А затем просил меня, чтобы вчерашнее обстоятельство было забыто, и что оно никак не может лежать между нами на дороге к достижению общей цели. Поляки всегда мутят воду, а на поверку оказывается чушь и пустяки, тем более, что они на вас злы за пропаганду между униатами.

Когда мы удобно поместились в плебейской кафе, разговор наш вертелся на иезуитском принципе, хотя уже избитом, но тем не менее все-таки интересном, это именно: "Все ли мы средства должны оправдывать к достижению цели?" Этот диспут был так продолжителен, что я не решаюсь утомлять терпение вашего сиятельства, ограничусь только последним выводом, он был следующий: "Все средства допускаются к достижению, если цель утверждена на почве благосостояния народа".

– Таким образом, – сказал Элпидин, – допускаете ли вы, для достижения благосостояния народных масс и ведения неусыпной пропаганды, фабрикацию фальшивых денег и их распространение?

Признаюсь, я был так неожиданно озадачен подобным заявлением, что в первую минуту не мог собрать в порядок своих мыслей и, с удивлением глядя на Элпидина, сказал:

– Вы меня, кажется, в настоящий приезд из России сговорились бросать из огня в полымя; я совершенно не могу и не способен в настоящую минуту пускаться с вами в диспут по этому предмету, для обсуждения которого потребуется очень много времени, а я голоден. Извините меня.

– Ну, в понедельник, в 9 часов здесь, – сказал Элпидин, дружески пожимая мне руку.

Затем я теперь приступлю к изложению событий вкратце – т.е. только одних фактов, потому что дело относится до меня одного и, переставая быть на почве политической, лишается того характера, который бы мог быть опасен его величеству и нашему правительству.

В понедельник я согласился принять предложение партии действия от имени Элпидина и Жеманова ехать в Париж за фальшивыми деньгами[234], – продолжал Шевелев, – а так как эмиграции хорошо было известно, что в Париже, не рискуя быть убитым, я не могу показаться под именем Шевелева вследствие различных неприятных, для поляков, воспоминаний, сопровождавших мое служение по таможенному ведомству (я был во всех столицах Европы, исключая Парижа), поэтому было постановлено, что для своих фотографических карточек я дам Элпидину ⟨письмо?⟩ для отправления в Париж в контору Домбровского по заготовлению

фальшивых денег, с рекомендацией меня, гарантирующей безопасность сношений их со мною по делу о передаче мне части фальшивых денег. Что же касается до фамилии, под которой я явлюсь в Париж, это для эмиграции остается секретом.

Как ни рискованно для исполнения подобное уполномочие, ввиду уже предшествовавших событий и допросов, я все-таки его принял на себя по той уважительной причине, что если б я от исполнения его отказался, то эмиграция могла бы уполномочить другого индивидуума, который, быть может, буквально исполнил бы это поручение и таким образом громадная сумма появилась бы в руках людей, которые с капиталом слишком опасны для Нашего Правительства, в особенности после всего мною читанного и слышанного, для особы его императорского величества, которую я поставил свою жизненною задачею охранять. Кроме того что я обязан это исполнять как русский и сын Церкви, тут еще входят другие обстоятельства, о которых я буду говорить в подробном описании моей бурной и полной деятельности жизни, – это слишком длинная история, сношения с кем следует по этому делу вел флигель-адъютант его императорского величества Чебышев, и я потому произведен в Николаеве, а то бы мне не видать, как ушей, своего прапорщичьего чина[235].

В тот же день, пробрив подбородок, я заказал в фотографии Буассона[236] полдюжины фотографических карточек. Нужно сказать, что, находясь на службе в Польше по таможенному ведомству, я всегда носил бороду, и никто из поляшек и эмигрантов не видел меня в таком виде, как я был снят теперь, что совершенно изменило мою физиогномию и сбавляло мне, по крайней мере, лет десять.

Карточки я получил в четверг и отдал две из них Элпидину, взамен чего получил от него наставления и адресы в Париже. На другой день, в пятницу, я должен был уехать. План мой был таков, что по получении фальшивых денег и насколько позволяла осторожность и чувство самосохранения, проследив ход операции Домбровского по заготовлению фальшивых кредитных билетов, отправиться в русское посольство в Версале. Но так как я в Женеве узнал, что в Версале не только иностранцам, но даже и французам не позволено появляться на улице без carte-permis[30*], которая выдается в hôtel de ville[31*], и что для получения подобного позволения я как иностранец должен представить, кроме паспорта, рекомендации нескольких особ, которые бы поручились за мою благонадежность; что в противном случае я буду на станции железной дороги обыскан, допрошен и непременно арестован, то для устранения всех этих неприятностей я, не открывая моего плана, обратился за помощью к моим знакомым женевцам, которые, видя безуспешность уговорить меня отложить мою поездку, пригласили к себе в четверг comissaire spécial de police[32*] из Фернея и поручились за меня в количестве более десяти человек с дамами, выхлопотали у него для меня carte blanche, это было в моем café de la Poste, rue Mont-Blanc. Кроме того, от Ливрие, Барни, Стефани и других я получил рекомендации к некоторым чиновникам Министерства финансов и Министерства иностранных дел. Давая мне эту карту, комиссар предупредил меня, чтоб в Париже я был с нею осторожен и припрятал подальше; что эта карта, найденная Коммуною, проложит мне дорогу к моим предкам; кроме того, на моей фотографической карточке он написал своей рукой рекомендацию. Я оставался в кафе до 8 часов вечера с своими друзьями и комиссаром. Да, я забыл еще добавить, что Элпидин, говоря со мною о фальшивых кредитных билетах, уверял, что подделка так хороша, что по дубликату можно только узнать, что один из двух нужно уничтожить как фальшивый, но который?.. Этого никто не скажет.

В доказательство своих слов он мне дал один пятидесятирублевый билет парижской фабрикации часа на три – я в то же время поспешил к банкиру, меняющему русские деньги, взял у него пятидесятирублевый билет под залог. И действительно, по сравнению, это было поразительное сходство, так что я до сих пор не знаю, который из двух этих билетов возвратил банкиру. Впрочем, я не ручаюсь, может быть и банкира кредитный билет был той же фабрики; наконец, легко может быть, что Элпидин мне дал настоящий.

Выйдя из кафе, я с час гулял, чтобы освежиться после слишком много выпитого пива, которым с избытком на прощанье угощали мои добрые женевцы.

Возвращаясь домой, я был остановлен против английской церкви девушкой, занимавшейся ретушировкой в фотографии Буассона (она была года два тому назад обязана мне) ⟨...⟩ которая мне сообщила, что после моего ухода пришел какой-то русский к г. Буассону и просил его снять с моей фотографической карточки еще шесть карточек ⟨...⟩ По описанным приметам это был не кто другой, как Элпидин.

Я ей дал какую-то монету, поблагодарил ее и поспешил на поиски Элпидина, но, не най-

---

30* сквозного пропуска (*франц.*).

31* ратуше (*франц.*).

32* полицейского комиссара особого назначения (*франц.*).

дя его нигде, возвратился домой часов в 11, совершенно измученный, и объявил своим друзьям, что я завтра не еду.

Утром, зайдя в фотографию, я уничтожил ножом на стекле оттиск мой, а все шесть карточек, которые были в воде, тут же сжег, заплатив, конечно, деньги, и взял расписку от Буассона, что он без моего позволения не будет печатать моих портретов, и пустился опять на поиски за Элпидиным или Жемановым и только нашел их в полдень за завтраком в абонированном пансионе ⟨...⟩

По приезде в Париж я остановился в гостинице, содержимой поляком, как я получил адрес от Элпидина – близ Люксенбургского сада, в Hôtel americain, rue Quatre-Vents, № 6; в принесенной книге гостиницы и в двух карточках я расписался "*Николай Александрóвич*, поляк из Генуи, ретушер, – без паспорта". Визитные карточки с этой же самой фамилией были литографированы в Женеве. – В Париж я приехал 15 апреля ⟨...⟩

В 11 часов утра того же дня я уже разговаривал с Дальским, расспрашивал обо всех новостях. Этот человек очень развит и хорошо владеет русским языком. Я получил от него наставление, как видеться с Домбровским, но все мои попытки оказались тщетными... хоть я раза два-три проникал со страхом на place Vendôme, оцепленный баррикадами, с пятью-шестью бастионами, полупьяной garde nationale[33*]. Я не из трусливого десятка, но тут каждую минуту можно ⟨было⟩ рисковать быть захваченным или по подозрению, или по нечаянности с пьяных глаз, как это случилось с Околовичем.

На письма тоже от Домбровского не было ответа. Между тем время шло, день за днем, а дело мое не подвигалось вперед; я знакомился то с тем, то с другим из приятелей Дальского ⟨!⟩ принадлежащих к шайке Домбровского. Наконец, я узнал, что за неделю до моего приезда по здешнему распоряжению Тиера никакая корреспонденция из-за границы Франции не принимается в Париже, а отправляется прямо в Версаль; впрочем, и из провинции доставлялась в Париж только та, которая имела особый какой-то тимбр[34*], или печать, или знак, – одним словом, нечто вроде этого. Быть может, я этому случаю обязан, что фотографии мои от нигилистов не могли скоро сюда проникнуть.

Находясь в таком безвыходном положении, я отправился в маленький город Милон, час расстояния от Парижа, запертый, занятый в то время прусскими войсками, откуда и отправил Элпидину в виде детских игрушек коммунистические газеты, воззвания, прокламации и т.д., согласно условия. Письмо же на имя Charles Craimier, rue Terrassière, № 24 отправил страховым, прося его меня уведомить, что мне делать...

Спустя несколько дней Дальский и другие мне сообщили, что Домбровский никого не принимает в статском платье, а потому посоветовали мне определиться во вновь формирующийся corps ⟨des⟩ enfants de Paris[35*], которым командовал Рогасский (colonel Casimer[36*])[237], что́ я и сделал, но на предложение его принять роту я отказался и просил его оставить меня в том чине, каким я пользовался в России. 8 мая я надел форму подпоручика и получил охранительную карту от Военного министерства, последнее составляло большую важность для меня, как ограждающая меня от контрибуций, которые я должен был очень часто уплачивать полупьяным гвардейцам, останавливавшим меня на улице как иностранца.

Через несколько дней я услышал, что прибыли из Женевы Озеров с Лункевичем, но я всеми силами старался избегать их встречи. Поляки с этого времени стали со мной сдержаннее, подозрительнее. Очень легко может быть, что фотографию мою привез Озеров. Потом я слышал, что Озеров по делам Домбровского ездил в Версаль и только что возвратился. В августе месяце, когда я был на свободе, я спрашивал у Молинари о судьбе Озерова – он мне сказал, что после моего ареста он уехал в Версаль и более оттуда не возвратился[238].

11 мая Дальский продавал мне за 1000 фр. 5000 руб, уверяя, что ему нужно уехать из Парижа в Галицию, но не имеет денег, а дела по этой операции остановились, да и вообще с отъездом Вихерского из Петербурга идут очень тихо. Вынутые им 50 руб. кред⟨итных⟩ билетов из огромной пачки, помещающейся на полке за книгами, были тоже великой работы; я отказался от покупки по неимению денег.

12 майя утром я был в Пале-Элизе, в штабе Врублевского, тут я встретился со всеми почти поляками, принадлежавшими партии Домбровского, в том числе и с братьями Вилкошевскими[239]. Старший, отозвав меня в галерею, тоже предлагал продать 10 ⟨000?⟩ руб. кредитных билетов, но я под тем же предлогом отказался. В этих двух случаях я, по-моему, поступил благоразумно: соображая все, что постигло меня, я на эти предложения смотрю в насто-

---

33* национальной гвардией (*франц.*)

34* штемпель (*франц.* timbre).

35* корпус сынов Парижа (*франц.*).

36* полковник Казимир (*франц.*).

ящее время как на расставленную для меня ловушку, чтобы иметь предлог арестовать меня, сделать обыск, найти у меня фальшивые деньги, распубликовать, что я русский, прибыл для сбыта фальшивых кредитных билетов и тем снять позор с Домбровского, а потом меня очень натурально застрелить. Таким образом сделаны были ⟨бы⟩ две услуги – и для нигилистов, и для себя.

Было для меня ясно, что деньги фальшивые не у Домбровского, еще яснее – подлость и низость нигилистов. Так как мне уже более в Париже нечего было делать и искать аудиенции у его превосходительства г. Домбровского незачем, то я хотел на другой же день утром выехать, но прачка мне объяснила, что белье, может быть, будет готово ⟨только⟩ послезавтра, то я и остался до 14-го, тем более, что в этот день, окончив срок квартиры, дав притом слово себе ни с кем не видеться и никому не говорить. Но судьбе угодно было опять подшутить надо мной.

13-го утром я получил от Пашковского приглашение по городской почте прибыть к нему вечером на чай. "Отчего же не поехать? – думал я, укладывая в кофр вещи. – Она ко мне так внимательна, и белье принесут, а утром на заре и в путь, т.е. 14-го". Через два часа того же дня я получил приказание от командира корпуса, в котором я числился, что 14 майя в 10 часов утра он будет представлять генерал-аншефу Домбровскому всех офицеров вверенного ему корпуса, где будут при этом розданы дипломы на чины. "Ну это едва ли", – подумал я.

Вечером того же дня я застал дома за чаем одну m-me Пашковскую (бульвар Клиши, № 62) в обществе Бауэра, братьев Вилькошевских, Дальского, Верницкого и еще пять-шесть человек, которых я тоже встречал, но фамилий которых не припомню. Я был принят очень радушно; о муже она сказала, что он прибудет через полчаса, но через полчаса вместо Пашковского является член Коммуны Мительский, который мне объявил, что Пашковский ожидает меня в кафе по очень важному делу. Я не успел еще встать, как Пашковская ответила вошедшему, что муж ее должен придти домой, а пана Александровича она не выпустит. Посвящена ли она была в заговор против меня, мне до сих пор загадка, но говорили мне в семействе Молинари, в августе месяце, что она очень плакала, когда прочла в "Голуа", что Коммуна меня расстреляла[240]. – Затем целый день 15 августа она меня от себя не выпускала, тут были и слезы и истерики. Я у нее пробыл до двух часов ночи. Я от нее много услышал новостей о английской фабрике[241], о Дроздовском. Я у нее узнал положительно, что, когда она с мужем вечером накануне смерти Дальского уходила, то деньги, 5 000 000 рублей серебром вовсе не были сожжены, как об этом рассказывали другие поляки, что Дальский вместе с ее мужем только в этот вечер их рассортировывал в меньшие пачки, для отправления куда-то по распоряжению m-me Домбровской; она сообщила мне свои подозрения о похищении этих денег, но, сколько мне кажется, это несправедливо. Потом умоляла меня несколько раз, ⟨говоря⟩, что ей известно от Бышинского, что русское посольство меня хочет арестовать, чтоб я как можно скорей уехал, и, имея сама только сорок франков, давала мне половину на проезд до Брюсселя. Кроме того, мне известно от Молинари и от Бордзо-богатого, что Бауэра, Вишневского и Мительского она выгнала из своего дома после моего ареста и до сих пор их не принимала. Не понимаю, что это за женщина. Но, во всяком случае, при других обстоятельствах она бы мне могла принести большую пользу. Она душа партии подделывателей фальшивых денег, очень развита, но совершенно непрактична. Я не подал ей никак повода к подобному вниманию, которое она мне оказывала ⟨...⟩ Должно заметить, что она в некоторой степени придерживается товянизму ⟨...⟩[242]

Затем, через полчаса, опять является Мительский уже с настоятельной просьбой идти с ним в кафе к Пашковскому. Я вынужден был, несмотря на все противоречия хозяйки, выйти. Бауэр последовал за мной, но не успел я показаться на улицу, как был атакован четырьмя комиссарами Коммуны, вооруженными револьверами, и 30 гвардейцами. Бауэр и Мительский исчезли, но хохот их громко раздавался. Меня комиссары и гвардейцы били, приговаривая: "Мы тебя, подлеца, уже три недели разыскиваем", и таким образом избитого привели на пост. На посту предъявили мою карточку и предписание префектуры об моем аресте от 18 апреля. Офицер Народной гвардии, очень порядочный молодой человек, что редкость между французами, сказал им: "Если виноват этот человек, его будут судить, а бить все-таки не следует", – и в ограждение меня от побоев послал с поста своего капрала, проводить до префектуры. Но так как у меня отняли костыли, то вели под руки. В префектуру доставлен я был в 12 часов ночи и тот же час подвергнут допросу. Допрос снимали у меня президент, два члена и какой-то поляк, который был от меня спрятан. Допрос начался с Галаца о Грасовском, потом о произведенных мною неистовствах в Привислинском крае во время мятежа, потом почему я объявил в гостинице чужую фамилию, а главное, в том, что я прибыл в Париж по поручению русского правительства для отравления Домбровского, в доказательство чего представили мне подлинное письмо, полученное из Женевы от 13 апреля[243]. Так как я уже сказал, что Мечни-

ков со мною занимался в течение двух месяцев, то я сразу узнал его почерк, которым было написано письмо. Затем от комиссара взяли фотографию, которая даже не была наклеена на картон, и стали сличать ⟨...⟩ Затем взяли у меня ключи и отправились в мою квартиру, где похитили 1460 fr. золотом, на 10 т⟨ысяч⟩ итальянской ренты и вещей моей жены, которые я выкупил по приезде из Монако на сумму до 3 т⟨ысяч⟩ фр., со всем этим выдали расписку хозяйки, при которой и считали мои деньги. Потом сняли с меня часы, крытые золотом, с моим вензелем, и золотую шейную цепочку и, обобравши таким образом, отправили в кордегардию, куда меня поместили; это вовсе не была кордегардия, а просто-напросто наша русская клоповка, об уничтожении которой так много ратовала русская журналистика. Когда я присел на единственный бывший тут стул, я заметил наверху налево полукруглое окно, выходящее, вероятно, в коридор; наблюдая далее, мог разглядеть две рожи, которые поглядывали на меня украдкой, не желая быть мною замеченными. Одна, кажется, сколько я мог всмотреться, принадлежала Озерову, другая, безбородая, имела сходство с Нечаевым, но, кажется, его в Париже не было, он был в Лионе с Бакуниным, сколько мне известно[244] . Затем еще в ту же ночь меня раз пять требовали к допросу. В одном из допросов президент взял мои руки и сказал: "Г⟨осподин⟩ Шевелев говорит, что он ретушер. Клянусь вам, господа, – обращаясь к присутствующим, – взгляните на эти аристократические руки, они ни к чему не прикасались ⟨...⟩".

Потом, в последнем допросе, приказали меня раздеть, и, когда увидели на моей груди два крестика: "Вот еще новое доказательство его подлости, – закричал президент неистово, со злобой срывая крестики. Хорош подпоручик Коммуны!" – Во время этой сцены мой слух уловил условное выражение на русском языке, произнесенное очень громко в соседней комнате: "Хорош молоканин, обвешанный крестами". На другой день, после усиленных просьб, мне возвратили один серебряный крестик, который и теперь на мне, а золотой погиб вместе с другими вещами и деньгами.

14 майя меня вызвали опять в присутствие, и президент, так же пьяный, как и вчера, объявил, что мое дело так серьезно, что они его отправили для обсуждения в Министерство юстиции – на place Vendôme.

16-го. В 12 часов дня мне прочли заключение Комиссии Юстиции, коим я обвиняюсь в следующих шести пунктах:

1-е. Как отравитель Домбровского, в доказательство чего найден у меня в квартире, при обыске, стрихнин, – это они ошиблись, это у меня был Morphi aetheris[37*], который я постоянно употребляю после головной контузии, для усыпления.

2-е. Был в форме подпоручика, не получив номинации[38*].

3-е. Имел у себя carte blanche версальского правительства.

4-е. Найдены у него адреса версальцев, врагов наших, высчитаны их имена.

5-е. Скрыл свою фамилию *Шевелев,* назвавшись Александровичем, и

6-е. Обманул при допросе, назвавши себя молоканином, когда молокане и квекеры крестов не признают, – а у него на шее было два креста – последнее обвинение чисто русское или польское. Потом мне сказали, что на основании этих шести пунктов будет произнесен приговор, а до того времени меня отправляют в тюрьму префектуры, куда тотчас препроводили, заковав руки, и водили целый час по разным улицам и встретившимся знакомым рассказывали: "Это отравитель генерала Домбровского", – с различными прибаутками. В Префектуре меня расковали и посадили в cellule № 29 с секретной красной дощечкой, что означало, что я кандидат отправиться в вечность; гулять, как других, не имеющих красных дощечек, меня не выпускали. Так тянулись долгие дни и ночи до 24 майя. В этот день Перрон (служитель тюрьмы) объявил по секрету, что завтра утром будет производить экзекуцию на дворе префектуры Ферре, член Коммуны, и что ему известно, что все с красными дощечками будут завтра расстреляны. Узнав об этом, я его умолял призвать какого-нибудь священника для исповеди – но это оказалось невозможным, я провел все это время в молитве, затем часа четыре всех имеющих красные дощечки на дверях выпустили гулять в одиночные камеры, но под открытым небом.

В 7 часов вечера Перрона сменил итальянец, тоже служитель, который иногда по ночам перекидывался со мною несколькими фразами. Выбрав удобный случай, я постучал, когда он был вблизи моей камеры; рассказав ему мое положение, я умолял его спасти меня. Часов в 12-ть ночи он ко мне опять подошел и сказал, что если я могу бросить 100 фр., то он меня может спасти ⟨...⟩

Я тотчас отдал итальянцу 100 фр., и через час он перевел меня в 35 нумер, где не было

37* эфирный морфий (*древнегреч.*).

38* зачисления (от *франц.* nomination).

красной дощечки, но предварительно спросил, не знает ли меня лично Ферре. – Ферре меня никогда не видел.

Канонада продолжалась всю ночь, бомбы и обюзы[39*] падали в Префектуру, одним осколком оторвало карниз моего окна. – Я стоял на коленях и молился ⟨...⟩ Какая-то рука дотронулась до меня, я вскрикнул, это был мой добрый итальянец, он меня пришел обрадовать, что все кончено, что Ферре ушел и что мне пора возвратиться в свой нумер, и, подняв меня с полу, увел. Войдя в мой 29-й нумер, я заметил узелок какой-то на кровати и штиблеты. "Чье это?" – спросил я. – "А я и забыл убрать, это того самого, которого Ферре сейчас покончил вместо вас, – сказал итальянец, улыбаясь, и, затворяя дверь моей камеры, сказал: "Не забудьте и Перрону что-нибудь дать, когда придет". Потом, опять через несколько минут воротился:

"Не беспокойтесь, этот человек никуда не годился. Он сумасшедший, он три ночи не давал покою никому в том отделении – четном. Он бы все равно и без того умер".

До сих пор я положительно не знаю, был ли расстрелян вместо меня кто-нибудь или нет? M-me Пашковская и все поляки ее общества знали, что я был расстрелян, журналы тоже поддержали это, а "Голуа" рассуждению о моей смерти посвятил два столбца. Наконец, m-me Пашковская мне сказала в августе месяце: "Неужели вы думаете, что если б поляки не были уверены, что вы убиты, оставили бы вас в покое? – Никогда!". Другие же два-три поляка партии Чарторижских мне говорили, что это фокус Перрона и итальянца, чтобы выманить у меня деньги.

Между тем совесть меня невыносимо мучит. При одном воспоминании об этом несчастном у меня делается истерика. Главное, мне неизвестно имя этого мученика, понесшего крест мой ...

25 майя

Перрон по обычному порядку вошел в камеру и изумился; я вместо объяснения всунул ему в руку билет в 100 фр., потому что билета меньшей стоимости у меня не было. Он остался очень доволен. До этого времени ни Перрон,ни итальянец не знали, что у меня есть деньги; откуда же бы пришло в голову выманивать то, о чем они не знают.

Через час, не позже, выпустили из общей залы всех криминальных преступников в числе до 500 человек, и они, спеша по коридору, огласили тюремную тишину криками "Да здравствует Коммуна!"...

Около 10 часов утра к общему треску бомб и обюзов присоединился удушливый дым, наполнивший мой cellule; не понимая, что́ это значит, я кое-как, с страшным трудом поднялся вверх по печке к окну, чтобы узнать как-нибудь причину этого нового явления. Когда я отворил ставню, тогда ясно увидел, что главное здание префектуры в пламени и огонь длинными языками врывался в наш корпус. Опустившись, я услышал страшную беготню внизу, служители кричали: "Огонь, огонь", – замки щелкали, двери отворялись, и, наконец, и моя дверь отворилась. Перрон был весь в поту и успел только сказать "Спешите!" и пошел дальше, отворяя двери несчастным... Когда мы спустились вниз, нас было не менее 400 человек, нам отворили внутренние двери, но у ворот мы были остановлены пьяными гвардейцами в числе двух тысяч человек, жаждущих нашей смерти; держа ружья на изготовке, ⟨они⟩ кричали: "Бей их! Это тиеристы! это попы! это Баденге!"[245] Мы опять попятились в здание тюрьмы. Тюремная прислуга пришла в замешательство, не знала, что делать. Директор Грофье и все чиновники убежали еще до прихода Ферре; между тем огонь все быстрее и быстрее распространялся. – Наше положение с минуты на минуту становилось опаснее. Служители с своими бригадирами держали совет, женщины и дети плакали, мужчины повесили носы. Но вот как-то бригадир особенно приосанился, взял много ключей и, подойдя к нам, сказал: "Следуйте, только как можно тише". Бригадир повел нас на задний ход, отворяя нам какие-то темные коридоры, проулки, сараи, и, наконец, вывел нас на площадь Notre-Dame. Несколько бастионов здесь завтракало, ружья стояли в козлы, и мы с криками "Да здравствует Коммуна!" пронеслись, как молния, мимо изумленных гвардейцев, и никто из них даже не сделал по нас выстрела. Пробежав таким образом несколько улиц, то направо, то налево, мы вдруг неожиданно наткнулись на какую-то сильную баррикаду. Нас остановили и требовали, чтоб мы шли работать; здесь было очень много вооруженных женщин; одна из них назвала меня по фамилии и заговорила со мной по-русски – это была какая-то стриженая нигилистка громаднейшего роста, с безобразной рожей, так что лошади при встрече шарахнутся в сторону, в фантастическом каком-то костюме с шаспо[246] и револьвером; я ее отроду никогда не видел. Откуда она меня знает? Да

[39*] снаряды (*франц.* obus).

и могу ли я, поклонник всего изящного и прекрасного, иметь что-нибудь общего с этаким уродом?[247] Не знаю и не помню, что́ она со мной говорила, что́ я отвечал ей; только когда я заметил, что наши двигаются назад, и я с ними поспешил, по нас дали несколько выстрелов, с меня сбили только пулей шляпу, которую я до сих пор храню. После залпа мы прибавили шагу и с криками "Да здравствует Коммуна!" повернули в какую-то улицу, потом я как-то попал в сад вместе с другими, потом из сада мы должны ⟨были⟩ бежать, по нам жарили из ружей с двух сторон, несколько было раненых, я не был ранен, но у меня ноги подкосились... Наша партия разделилась. Два каких-то добрых парня взяли меня под руки, и я очнулся в rue de la Boucherie, № 3, в каком-то кабаке. Здесь добрая хозяйка родом из Альзаса во время прохода Национальной гвардии по этой улице спрятала меня в погреб; я у нее разменял последнее достояние, оставленное мне Коммуной, – сотенную бумажку, купил здесь же фуражку за два франка, боясь надевать шляпу, чтобы не узнали меня русские или поляки. Потом эта добрая женщина привела меня в какую-то грязную гостиницу в той же улице, № 9-й, где я заснул крепчайшим сном. Часу в четвертом я был разбужен страшной канонадой, она происходила на баррикаде у hôtel de ville, где 42 батальона Народной гвардии боролись с десятью тысячами версальского войска под командою Мак-Магона.

Из пятого этажа этой гостиницы была видна вся ужасная картина; hôtel de ville, префектура, все было в пламени и золотило кресты Notre-Dame. На Пантеоне красовался еще красный флаг, вокруг него было страшное движение, мне сказали, что его с минуты на минуту должны взорвать.

В гостинице этой я прописался в книге: "*Nicolas Chévéloff, из тюрьмы Префектуры*".

Я до трех часов ночи не мог уснуть, таков был ад кругом от грохота орудий высыпались почти все стекла в этой обветшалой гостинице. Перед светом я заснул, но часов в 9 утра 26 майя был разбужен капралом версальских войск, который потребовал меня следовать за ним и препроводил на пост Пантеон, еще туда тогда падали бомбы из окрестных баррикад, и вместе с другими посадил в сортир, где мы находились до 6 часов вечера, а в 6 часов отправили в подвал Люксенбургского дворца, куда набили нас, как сельдей в бочонке, в числе 500 человек. Здесь мы, стоя, провели ночь, и когда утром в 4 часа нас выпустили на двор, то мы оставили после себя задохнувшихся 22 трупа. Потом нас сочли, поставили по пять в ряд, с сильным конвоем 29-го линейного полка препроводили на другой конец города за площадь Святого Марка в конноартиллерийские конюшни казарм Дюпленер. Того же дня начался допрос, начали с поляков и всех пятерых тут же через час расстреляли. 6 июня я был допрошен, рассказал все то, что вам, исключая только причины моего приезда в Париж. Я сказал просто, что приехал в Париж требовать удовлетворения от Домбровского на нанесенное мне оскорбление. Прево был очень доволен мной и приказал мне дать тюфяк как для хромого. На другой день меня отправили в Версаль.

7 июня меня привели в Оранжерею Людовика XIV и в тот же день опять подвергли допросу; я сказал то же, что Прево, и полковник Гаяр отправил меня к comissaire spécial de police, m-r Massine; этот господин продержал меня десять дней без всякого допроса, ни о чем не спрашивая, но отправил опять в Оранжерею Людовика XIV. Здесь меня опять в тот же день допросили и поместили в Salle intérieure[40*]. Испытания, каким я подвергся в этом салоне, уму непостижимы. Общество состояло из 300 человек, самое безобразное – это были уличные мальчишки, макро[41*], гарсоны из публичных домов и т.п. шваль; в первую же ночь меня обокрали, и я не смел слова сказать об этом. Эта грязная до отвращения циничная сволочь, подстрекаемая грязными ляхами, наносила мне всякого рода оскорбления, – я не выдержал – припадки контузии, кроме того, осложнились истерическими припадками, так что я по целым часам плакал и совершенно свалился с ног. Меня отнесли в infirmerie[42*], добрый доктор из Стразбурга принял во мне живое участие; он объявил прямо полковнику Гаяру, что это бессовестно поступать так с людьми, которые были приговорены Коммуною к смерти и ограблены ею. Я вовсе не знал, что доктор этот проверил всё, что со мной случилось, и что я ему передавал в Париже в гостинице, где я жил»[248].

Вероятно, через этого "доброго доктора" Шевелеву удалось послать в русское посольство просьбу о помощи.

30/18 июня русский поверенный в делах (фактически посол) во Франции Г.Н. Окунев сообщил в Министерство иностранных дел копию с полученной им депеши:

"Несколько личностей, неизвестных императорскому посольству, но выдающих себя за русских подданных, будучи арестованными в результате недавней парижской смуты, обрати-

---

40* внутренний зал (*франц.*).

41* сводники (*франц.* maqueraux).

42* медицинский пункт (*франц.*).

лись ко мне, прося меня вступиться за них перед французским правительством под предлогом, что они арестованы по ошибке.

Прошения, до меня дошедшие, чрезвычайно туманны и содержат лишь неполные сведения об их авторах и обстоятельствах, при которых они были арестованы. Беру на себя смелость представить вашему превосходительству имена двух просителей (Н.А. Шевелева и А. Ионина).

Вышеназванный Николай Александров *Шевелев* (...) утверждает, что он подпоручик русской службы; по его словам, он прибыл в Париж 3/15 апреля нынешнего года и арестован по приказу Коммуны, причем у него отобран был его паспорт. Освобожденный во время пожара префектуры, он, по его словам, был в тот же день посажен под стражу в служебное помещение версальской артиллерийской казармы за знакомство с мятежниками (...)

Предпринятые мною в версальских тюрьмах среди арестантов изыскания не привели к установлению местонахождения сих двух личностей. Вследствие того я поспешил устно и письменно запросить о них г. Фавра и ходатайствовал перед ним, дабы он соблаговолил отдать приказ о произведении немедленного расследования насчет их поведения, равно и насчет освобождения их из-под стражи, если будет признано, что они неповинны. – Министр иностранных дел ответил мне, что число арестантов в настоящее время столь значительно, что установление их личности представило бы исключительную трудность; к тому же, в версальских тюрьмах арестантов задерживают лишь на непродолжительное время, так как правительство направляет их оттуда во французские порты, после более чем поверхностного допроса. Именно в этих портах и предстоит им подвергнуться окончательному суду, получая все возможные гарантии в случае их невиновности.

Такой же ответ был дан г.Ж. Фавром представителям других держав, обратившихся к нему с подобного рода вопросами (...)

Что же касается гг. Шевелева и Ионина, то их имена сообщены мною нашим консулам в различных французских портах с просьбой не упускать из виду ни одной справки, содержащей сведения о месте их заключения[43*249]...

В архиве Министерства иностранных дел (Москва) я разыскал несколько ответов русских консулов на запросы о местонахождении Шевелева в тюрьмах и на понтонных судах Бреста, Шербура и Тулона, откуда инсургентов депортировали в заокеанские владения Франции.

"Господин министр, – писал консул из Бреста Альф. Керрос. – Как только дошла до меня депеша, которую вы оказали мне честь направить 18/30 июня нынешнего года, я поспешил написать главному коменданту общественных сооружений, в которых интернированы пленники, дабы испросить у него нужные вам разъяснения насчет пребывания там названных Шевелева и Ионина, которые на понтонных судах Бреста не значатся"[250].

Шевелев в это время находился в битком набитом служебном помещении версальского дворца, превращенном в тюремные камеры; управлял этими камерами полицейский комиссар, у которого, вероятно, никто насчет Шевелева не осведомлялся. Добросердечный страсбургский врач, расположенный к Шевелеву, под конец добился своего, доказав военным властям "благонадежность" своего подопечного.

"Полковник Гайяр предписал меня допросить и навести справки. Справки были великолепные, – вспоминал арестант, – кроме того, m-me Denrée, содержательница отеля, принесла несколько листов газет, где говорилось о моей смерти. 15 и 17 июля я давал показания juge d'instruction du 3-ème Conseil de Guerre[44*], а 14 августа, по рассмотрении этого дела в Совете военном, я получил с утверждения генерала Ампера и полковника Гаяра свободу, в чем мне и выдали карту из Совета..."

Вскоре после этого до Шевелева дошла весть, что русское посольство во Франции добивается его ареста и выдачи русскому правительству.

«15 августа (...) – писал Шевелев в своей "Докладной записке", – я провел у m-me Пашковской. – Мне хотелось, заручившись сведениями и намеками, стать на дорогу к описанию фальшивых денег; вследствие этого 16 августа я пришел в русское посольство, спросив предварительно у вышедшего ко мне секретаря: "За что вы хотите меня арестовать?". Он очень замялся, пошел в другую комнату, с кем-то поговорил, потом опять вышел. "Позвольте вас просить эту карту от 3-го Военного совета оставить у меня", – сказал он. – "Этого я не могу сделать – мне нечем гарантироваться на улице, где без этой карты меня тотчас арестуют".

Видя, что из этого толку никакого не будет, я раскланялся и ушел; часа через два, когда

[43*] Перевод с французского. – *Л.Л.*

[44*] судебному следователю 3-го Военного совета (*франц.*).

я возвратился в гостиницу, m-me Denrée мне по секрету сообщила, что два мушара[45*] от русского посольства желают со мной говорить. – "Я очень рад".

Действительно, к концу завтрака явились какие-то две оловянные головы. Вопросы, которые они мне задавали, до такой степени были пошлы, так все было ребячески глупо, что я более десяти минут в их сообществе оставаться не мог, допил вино и ушел[251]».

20/8 августа Окунев телеграфировал в Министерство иностранных дел: "Шевелев выпущен на свободу по ошибке военных властей; когда он явился в посольство, я добился его немедленного ареста. Для того, чтобы добиться его выдачи ⟨России⟩, необходимо срочно и безотлагательно прислать точную копию приговора, вынесенного судом города Кельца, осудившего Шевелева к ссылке в Сибирь, и, если возможно, другие документы, устанавливающие его виновность, без упоминания о его политических преступлениях..."[46*252]

И позднее: "Как я уже имел честь донести вашему превосходительству телеграммою от 8/20 августа, Шевелев неожиданно явился в императорское посольство и в разговоре с секретарем посольства Капнистом предъявил свидетельство здешних военных властей о своем освобождении из тюремного заключения и о прекращении судебного следствия.

Я не замедлил вследствие того обратиться к французскому министру иностранных дел с просьбою о немедленном аресте Шевелева. На сие ходатайство я имел тем более права, что между мною и г. Фавром уже прежде предшествовало конфеденциальное соглашение, вследствие которого г. Фавр заявил мне согласие на выдачу Шевелева, буде сей последний не подвергнется никакому судебному взысканию по прикосновенности к беспорядкам, происходившим в Париже.

Г-н де Ремюза́ благоволил сослаться на мою просьбу, и на следующий день Шевелев был подвергнут предварительному аресту; он содержится ныне в одной из парижских тюрем..."[253]

Арестанту пришлось просидеть, по его словам, "без спроса и допроса" и голодая, в нетопленой камере тюрьмы Санте́ с августа 1871 г. до 19 января 1872 г. "В течение этого времени, – вспоминал он, – я отправил более пятнадцати писем в русское посольство и не получил никакого ответа[254]. После этой пытки, которую мне задало р⟨усское⟩ п⟨осольство⟩ в Париже, я теперь так ослабел, что едва могу дышать, а ходить вовсе не могу[255].

19 января комиссар парижской полиции ("преимущественно квартала Монпарнасс") Л. Оннора ⟨?⟩ вручил Шевелеву копию следующего декрета президента Французской республики А. Тьера от 21 ноября, подписанный им по докладу хранителя печати и министра юстиции Франции: "Исходя из ходатайства русского правительства, добивающегося выдачи г. *Шевелева* Николая, 43-летнего казначея Казначейства, осужденного уголовным судом г. Кельца к ссылке в Сибирь за похищение государственной казны (2824 рубля) при нахождении в должности хранителя кассы ценных бумаг, арестованного в Париже.

Несмотря на то, что между Францией и Россией не существует договора о выдаче преступников, правонарушения все же должны преследоваться, – поэтому, рассчитывая, как почти во всех подобных соглашениях, на взаимные услуги при выполнении этого рода судебных действий и осуждений, кои, впрочем, подлежат пересмотру перед исполнением, –

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Статья 1-я

Вышеназванного Шевелева (Николая), временно содержащегося под арестом, передать в распоряжение русского правительства.

Статья 2-я

Хранителю печати и министру юстиции, министру внутренних дел и министру иностранных дел поручено каждому в том, что́ его касается, выполнить настоящий декрет.

Дано в Версале 21 ноября 1871 г.

Подписано: А. Тьер

В присутствии президента республики, хранителя печати, министра юстиции.

⟨Подписи⟩

А дабы вышеназванный Шевелев не ссылался на незнание настоящего документа, мы

45* шпика (*франц.* mouchards).

46* Перевод с французского. – *Л.Л.*

оставили ему сию копию, содержа его попрежнему в исправительном доме Санте в Париже.

Комиссар полиции Л. О н н о р а ⟨?⟩
Париж, 19 января 1872 г."[47*].

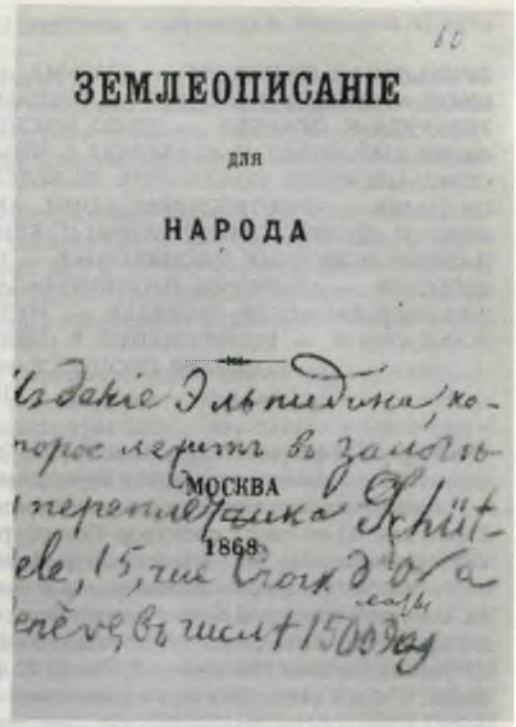
Документ завершается печатью XIV округа Парижа[256].

Арестант оставался в Санте́, одной из главных парижских тюрем, до 4 февраля н. ст., после чего был отправлен под конвоем в Россию через Германию. Русское посольство во Франции выделило необходимую сумму на покупку для него теплой одежды и продовольствия, вследствие чего между разными министерствами и III Отделением долго велась оживленная переписка по поводу компенсации расходов.

Через неделю на прусско-русской границе состоялась передача Шевелева русским властям. При этом составлен был следующий протокол:

"1872 года февраля 1/13 принят от королевского прусского эйдкуненского советника арестованный отставной подпоручик Шевелев, при нем тюк с надписью "Книги и бумаги г. Шевелева" со сломанной печатью саарбрюкенского ландсрата, причем г. полицейский советник в Эйдкунене Счесни пояснил, что повреждение означенной печати случилось в Эйдкунене, в управление его, в присутствии самого арестанта и прусских жандармов, по неосторожности арестанта, что́ удостоверяют корпуса жандармов майор Конради и королевско-прусский советник Счесни собственноручными подписями[257]".

Возможно, в этом протоколе зафиксирована неудачная попытка Шевелева сорвать с обшитого холстом тюка свою владельческую надпись. Прусские чиновники, вероятно, из жалости к арестанту, объяснили этот криминальный факт простой неосторожностью[258].


ЗЕМЛЕОПИСАНІЕ
для
НАРОДА
МОСКВА
1868

АНОНИМНАЯ БРОШЮРА "ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ ДЛЯ НАРОДА", В КОТОРОЙ НАПЕЧАТАН ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОГАРЕВА "РОССИЯ С СИБИРЬЮ"

На титульном листе – вымышленные выходные данные ("Москва, 1868"), на обороте титула – ложное цензурное разрешение ("Дозволено Цензурою. Москва, 10 января 1868 г."). На самом деле брошюра издана в том же году в Женеве

Титульный лист с надписью рукой неизвестного лица: "Издание Эльпидина, которое лежит в залоге у переплетчика Schützele, 15, rue Croix d'Or à Genève, в числе 1500 экз(емпляров)"

Государственный архив Российской Федерации, Москва

[47*] Перевод с французского. – *Л.Л.*

6

ПРИБЫТИЕ В ПЕТЕРБУРГ. — ПИСЬМА А.Ф. КОНИ. — КОМЕНДАНТ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ РАПОРТУЕТ АЛЕКСАНДРУ II О ШЕВЕЛЕВЕ. — ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА К ОГАРЕВУ. — "ДЕЛО МЯСНИКОВЫХ". — ОГАРЕВ ЧИТАЕТ СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ И ЗНАКОМИТ С НИМ А.А. ГЕРЦЕНА. — НАЧАЛО ПРОЦЕССА. — СЕНСАЦИОННОЕ ПОКАЗАНИЕ ШЕВЕЛЕВА. — ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ. — КУСАЮЩАЯСЯ ДАМА. — ВЫСТУПЛЕНИЯ КОНИ, АРСЕНЬЕВА, ЛОХВИЦКОГО. — ШЕВЕЛЕВ О СЕБЕ И СВОЕЙ "ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". — ЕГО ДАВНИЙ ДОНОС НА МЯСНИКОВЫХ. — ОЧНАЯ СТАВКА. — САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И ШЕВЕЛЕВ. — "ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ": ШЕВЕЛЕВ-ШАЛОПУТОВ, ШЕВЕЛЕВ-ЛАВАССЁР, ШЕВЕЛЕВ — ИУДА СТРЕЛЬНИКОВ. — ДИАЛОГ С ШЕФОМ ЖАНДАРМОВ. — ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОДЕССУ. — ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВТОРОМ МОСКОВСКОМ ПРОЦЕССЕ МЯСНИКОВЫХ. — ПРЕССА

(1872)

Итак, 1/13 февраля 1872 г. Шевелев был "исправно доставлен" на прусско-русскую границу королевско-прусскими жандармами Вильгельми и Клаэром и принят их русскими коллегами[259].

Арестанта направили под конвоем к месту назначения – в Петербург, куда он прибыл 2 февраля. 11-го числа прокурор Петербургского окружного суда А.Ф. Кони в обращении к заведующему секретной агентурой старшему чиновнику III Отделения К.Ф. Филиппеусу писал: "Шевелев – весьма важный свидетель по делу о духовном завещании Беляева, могущий значительно разъяснить дело на судебном следствии. Поэтому я покорнейше прошу вас быть столь обязательным – сделать распоряжение о задержании его здесь до окончания дела Мясниковых, т.е. до 22 февраля, и о доставлении его в судебное заседание, о чем я отнесусь к вам официально. Этим будет оказано с вашей стороны то внимание к интересам правосудия, которое так дорого в трудном деле исследования преступлений"[260].

На следующий день отставной подпоручик Шевелев был передан для содержания в Петропавловскую ("Петербургскую") крепость, комендант которой генерал-от-кавалерии Н.Д. Корсаков отрапортовал 14 февраля Александру II: "По распоряжению III отделения ⟨...⟩ сего числа доставлен в С.-Петербургскую крепость отставной подпоручик *Шевелев*, который принят и заключен в один из нумеров вновь отстроенного в Трубецком бастионе здания для политических арестантов".

Шефом жандармов на полях сделана надпись карандашом: "Государь хочет знать, где Шевелев служил. 17 февраля"[261].

Желание самодержца было немедленно удовлетворено: Главный штаб, в котором хранились личные дела офицеров, находился рядом. Часть ответа уже процитирована мною во 2-й главе.

Именно в это время какой-то знакомый Огарева сообщил ему из Петербурга, что Шевелев "арестован был в Париже за участие в Коммуне, сидел в Бастилии ⟨!⟩, 4-го ⟨!⟩ февраля сего года выдан версальским правительством русскому, посажен в Петропавловскую крепость, в Алексеевский ⟨!⟩ равелин. Призываем к допросу по делу наследства Мясниковых, где замешан помощник графа Шувалова. Сам Шевелев обвиняется в трех уголовных преступлениях, и дело об нем скоро наступит. Припомните Шуйского, он его и выследил"[262].

Так называемое "Дело Мясниковых", начавшееся еще в конце 1850-х годов и затянувшееся на долгие годы, приобрело в России огромную известность и навсегда вошло в историю русской криминалистики и юриспруденции. В нем приняли участие крупнейшие судебные деятели и ораторы того времени. Специфическое служебное положение главного подсудимого – петербургского богача и высокопоставленного сотрудника III Отделения А.К. Мясникова – придавало делу особенно скандальный характер. Газеты и журналы уделили этому событию большое место. Отдельными книгами были выпущены в свет почти одновременно два полных стенографических отчета (подробно об этом процессе см. в хронике Н. Демерта "Наши общественные дела" – "Отечественные записки"[263]).

Одна из таких стенограмм дошла до Огарева.

"Теперь я занят чтением процесса Мясниковых в Петербурге, – сообщал он 6 июля 1873 г. сыну покойного Герцена Александру Александровичу. – К сожалению, книга не моя, и я ее тебе послать не могу. Постарайся достать во Флоренции ("Дело Мясниковых", стенографический отчет Маркузе). СПб., 1872. Дело о фальшивом завещании и разных отравлени-

ях, главный виновник – адъютант начальника III Отделения – ротмистр А. Мясников. Просто оторваться не могу от чтения"[264].

Огарев почему-то при этом не упомянул, что их общий знакомый Шевелев оказался на процессе одной из центральных фигур и что его показания вызвали сенсацию. При разборе дела выяснилось, что в 1866 г. Шевелев подписал клеветническое письмо, в котором утверждал, что именно братья Мясниковы, его бывшие хозяева, подделали завещание купца Беляева.

"В нашей судебной практике, с тех пор, как введен новый гласный суд, нет процесса, изобилующего таким множеством интересных как для криминалистики, так и для всякого другого, сторон и материалов, как процесс Мясниковых. Нет и другого процесса, занявшего более общественное мнение, наделавшее столько шуму ⟨...⟩ Дело Мясниковых займет место в летописях нашей криминалистики", – писал стенограф в предисловии к своему стенографическому отчету, запоем читавшемуся Огаревым.

"Шесть дней продолжалось заседания СПб. Окружного суда по известному читателям делу братьев Мясниковых, – сообщалось в одной из газет, – шесть дней публика с раннего утра стояла у дверей здания, несмотря на то, что попасть туда было очень трудно, а для опоздавших становилось почти невозможным, на лестнице и у решетки, при входе в залу, всегда от утра до вечера толпилась гурьба публики в каком-то томительном ожидании и отчаянии, что, может быть, и на ее долю выпадет случай попасть на заседание; шесть дней пробыли в суде безвыходно и присяжные"[265].

В письме к редактору журнала "Искра" "Смеяться или плакать?" корреспондент писал по этому поводу: "При мне случилось такое событие, которое показало мне, что для того, чтоб попасть в залу заседания, нужны *нечеловеческие* приемы и усилия. Я был свидетелем, как одна дама, прокладывая себе дорогу в зал, до того ожесточилась, что укусила судебного пристава, весьма приятного блондина. Не знаю, достигла ли этим средством энергическая дама своей цели и смеялся ли от души укушенный судебный пристав, но я смеялся от души, хотя тут же решил больше в суд не ходить ⟨...⟩ Я не останавливаюсь на показании свидетеля Шевелева не потому, чтоб тут не было чему посмеяться, а потому, напротив, что здесь уж слишком много поводов для смеха. Я дивлюсь даже, как оба защитника, слушая показания Шевелева, сумели сохранить спокойствие и не фыркнуть..."[266]

Первое заседание открылось 17/29 февраля.

Многие из присутствовавших были крайне разочарованы, узнав из сообщения прокурора, что свидетель обвинения Шевелев, содержащийся в Петропавловской крепости, вследствие болезни не явился. Ввиду важности его показаний, сообщалось далее, он все же будет подвергнут судебному допросу.

18 февраля «суд приступил к слушанию ⟨...⟩ интересного и поразившего всех неожиданностью показания, – отмечалось в "Биржевых ведомостях" о вступлении» в дело Шевелева[267]. Вспомнил ли Огарев, читая стенографический отчет, что еще в 1869 г. в Женеве его "молоканский квакер" собирался посоветоваться с ним насчет показаний, которых у него требовали судебные органы по "скандальному делу", т.е. по делу Мясниковых?

"Брюнет с длинными волосами и такою же бородою. Он ходит прихрамывая и опирается на палку", – записал в своем отчете стенографист, фиксируя появление Шевелева.

"– Как вас зовут? – обратился к нему председатель суда князь Кейкуатов.

– Николай Александрович Шевелев.

– Ваше звание?

– Подпоручик.

– Ваши лета?

– 41 год.

– Какого вы вероисповедания?

– Православного.

– Под судом вы не были?

– Теперь был под судом в Париже за участие в коммуне. Меня 4 месяца держали в крепости во Франции"[48*], – отвечал Шевелев, не вдаваясь в подробности своего "участия" в революционных событиях, потрясавших мир.

После приведения Шевелева к присяге председатель обратился к нему со словами:

"Не угодно ли вам положить палку, которую вы держите в руках?

– Я ранен в ногу, мне трудно стоять, – отвечал Шевелев.

– Не угодно ли вам сесть?"

[48*] В стенографическом отчете Маркузе: "Меня 4 месяца выдержали в Мазасе"[268]. – *Л.Л.*

Свидетель усаживается на кресло и просит председателя говорить погромче:

"– Я глух, я мало слышу. В 1866 году, в августе, я был привезен сюда жандармами из Царства Польского прямо в III Отделение; где я находился некоторое время. В III Отделении в припадке контузии заболел (я был в госпитале), потом, как и все прикосновенные к тому делу были распределены по частям города, точно так же и я. Я попал в Спасскую часть. Обстоятельства мои в то время сложились таким образом, что я не мог оставаться в России, – я должен был уехать за границу. У меня не было средств, не было денег... Находясь в таком критическом положении, – молитвами тут трудно было достать помощь, – был я в положении человека, которому нужно повеситься или нужно уйти за границу. Чтобы уехать за границу, как вам известно, нужны деньги. Денег не было... семейство... в это время меня выручает следующее обстоятельство. Приходит один господин ко мне в Спасскую часть и объясняет мне: так как вы были управляющим у Мясниковых в то время, когда умер Беляев, то если вы покажете и напишете то-то и то-то, то мы вам дадим средства для исчезновения из России. Сказано – сделано. Меня привезли к Сысоеву. Я написал под диктовку его письмо и снял копию с письма Сысоева, и таким образом я к 1 декабря из квартиры Ижболдиных уехал за границу. Кроме этого средства к исчезновению, Ижболдины обязались при получении наследства от Мясниковых выплатить мне 2000 р. ⟨...⟩

П р о к у р о р ⟨...⟩. Что же вы написали в письме, о котором идет речь?

С в и д е т е л ь. Я написал.... я был приведен в квартиру Сысоева и снял копию с письма, которое мне предложил Сысоев. Я написал ложно...

Поскольку Шевелев "постеснялся" изложить детально на суде содержание своего клеветнического заявления от 4 апреля 1866 г., адресованного И.А. Ижболдину, приведу несколько строк из этого документа, напечатанного в приложениях к стенограмме "Дела Мясниковых": «... Получив от вас письмо, я спешу поделиться с вами теми данными, которые мне известны по делу о фальшивом духовном завещании Кузьмы Васильевича Беляева, а потому без дальних околичностей приступаю к делу. Духовного завещания Кузьма Васильевич не оставил, и его вовсе не было ⟨...⟩ Показанное Александром Мясниковым духовное завещание было писано рукою Целебровского еще в мае месяце 1858 года, на котором значилась подпись Беляева, подписанная не совсем похожею рукою, и так как подписи свидетелей на завещании не было, то Александр Мясников тут же обратился ко мне и к Кемпе со словами: "Вы узнаете руку Кузьмы Васильевича? Подпишитесь свидетелями". Я и Кемпе отказались от подписи...» Письмо Шевелева завершалось следующим обещанием: "Что вспомню интересного по этому делу, опять напишу".

"П р о к у р о р. Что же, вам ничего больше по делу Мясниковых неизвестно?

С в и д е т е л ь. Положительно ничего. Я был управляющим у Мясниковых и был в самых скверных с ними отношениях. Они на меня сделали самый неблаговидный донос. Это правда. Но никаких других отношений между нами не было ⟨...⟩

В о п р о с. Вы до какого времени служили у Мясникова?

О т в е т. До апреля 1859 года.

– В это время вы знали, что существует завещание Беляева, или нет?

– Я знал, что существует, я даже видел ⟨...⟩

– Вы в Париже судились за какое преступление?

– Я в Париже судился за преступления по делам коммуны.

– По каким это делам?

– Меня обвиняли в том, что я служил в Corps des enfants de Paris. Но вы должны знать, что я был арестован коммуною и приговорен к расстрелянию и избегнул этой смерти вследствие... Об этом есть акты в следственном производстве, в Версали ⟨...⟩

– Вы находились под судом вследствие обвинения, взведенного на вас Мясниковыми. В чем они вас обвиняли?

– Обвиняли меня в том, что я будто бы сделал захват сумм, им принадлежащих. Но это было несправедливо. Это были облигации железных дорог. Я в то время хотел жениться и хотел предъявить их невесте; но я никакого захвата не сделал; я не менял этих билетов ⟨...⟩

– Отчего вам билеты нужны были для предъявления невесте? Чтобы казаться богаче, чем вы были?

– Поэтому... мне так нужно было.

– Но ведь облигации не принадлежали вам?

– Мне не принадлежали, но я, по данной мне доверенности, мог ими распоряжаться, как мне угодно было; мог все взять. Следовательно, тут никакого не может быть спора и уголовного дела.

– Вы в настоящее время не состоите под судом по какому-нибудь делу?

С в и д е т е л ь (*в волнении*). Я... я... не знаю... может быть, и состою под судом. Я сижу в крепости. Меня привезли сюда. Может быть, я и под судом.

– В Одессе есть об вас дело?

– В Одессе есть дело, которое Мясниковы возбудили против меня.

– Вы служили в Одессе?

– Служил.

– Под своим именем?

– Нет, под чужим. Я обвиняюсь как человек, поступивший на службу под чужим именем, и обвиняюсь еще в том, что будто бы знаком был с Нечаевым и будто бы был его приятелем, когда это вовсе не правда. Я знаком действительно с ним, но вовсе не его приятель ⟨...⟩

П о в е р е н н ы й г р ⟨а ж д а н с к о г о⟩ и с т ц а г. Л о х в и ц к и й. Вы сказали, что в 1866 году вы были в таком положении, что вам нужны были деньги, или вы должны были повеситься и что для того, чтобы получить деньги, вы согласились подписать ложное показание?

– Да.

– Теперешнее ваше положение лучше того положения, в каком вы были в 1866 году?

– Видите ли... я надеялся тогда, что мои средства улучшатся, что мои труды за границею принесут мне пользу... то есть, я понимаю, что́ вы хотите сказать, но я теперь так долго сижу в крепости и так далеко, за столькими замками, за столькими часовыми, что этот намек ваш не имеет смысла.

П р е д с е д а т е л ь. Я просил бы вас, свидетель, разъяснить, о каком намеке вы говорите.

– Мне говорят: улучшились ли мои средства? Из этого надо заключить, что если я написал прежде фальшивое письмо, то и теперь могу дать такое показание... При этом я должен сказать, что я вовсе не желал воспользоваться этими 2000 руб. Дело было таким образом: в Женеву приходит требование о допросе меня. Я адресуюсь к адвокату и спрашиваю, каким образом мне поступить? Дело вот какое: у меня требуют показания по таким обстоятельствам, которые совершенно неправильны; мне во что бы то ни стало нужно отказаться от дачи этого показания. Мне говорят: нельзя. Вы должны будете отвечать – иначе, по нашим законам, вы подлежите выдаче, потому что это не политическое дело. И вот я должен был исчезнуть из Женевы, и я уехал в Пест и работал в тамошних журналах. Труды мои известны[269]. Я работал именно в то время, когда в Женеве получены были отсюда требования.

П р о к у р о р. Свидетель, вы говорите, что в 1866 году находились в положении безвыходном, имели необходимость бежать за границу, и там вы занимались, как вы заявляете, трудами, которые известны. Вы решились воспользоваться предложением Ижболдиных и написать показание, которое вы в настоящее время признаете заведомо ложным. Это письмо ⟨...⟩ содержало в себе обвинение нескольких лиц в том, что они составили подложное духовное завещание. За это вы получили средства, чтобы уехать за границу ⟨...⟩ Таким образом, вы решились взвести на нескольких лиц ложное обвинение, которое вы потом опровергнуть не могли, так как вы уезжали за границу и знали, что исчезнете с горизонта. Вы взводите ложное обвинение на неповинных людей для того, чтобы составить себе возможность получить более удобное положение?[49*]

– То есть на удобное, а для того, чтобы мне можно было ичезнуть.

П р о к у р о р. Так вы все это признаете?

– Да, я это признаю.

З а щ и т н и к М я с н и к о в а г. А р с е н ь е в. Где вы написали ваше письмо?

– Ижболдин меня повел к Сысоеву, и Сысоев мне диктовал.

– И это письмо и условие писаны не в апреле ⟨1866 г.⟩?

– В апреле я их и не видел, а это условие на 2000 р. составлено как бы в апреле, когда, между тем, есть факты, что я не мог их в апреле видеть, и прежде ноября я их никогда не видел и не знал ⟨...⟩

П р о к у р о р ⟨...⟩ Если вы считали возможным для того, чтобы поставить себя в положение, более удобное, для того, чтобы вырваться из тяжелого положения, взвести на несколько людей ложное обвинение, то считаете ли вы такое возможным и оправдывать этих людей то же под влиянием такой же цели?

– Я уже на это вам ответил, что хотя сделал это дело, но не желал воспользоваться даль-

---

[49*] *Далее в книге Маркузе начало ответной реплики Шевелева*: "То есть они намекнули на то, что я увлекаюсь, быть может. То есть они заключают, что если я написал таким образом прежде фальшиво... Да, еще больше! Против этого я должен объяснить, что если бы я и желал воспользоваться этими двумя тысячами, о которых я говорил прежде... дело было таким образом".

нейшим его ходом за границею. Я ведь как свидетель здесь мог бы подтвердить то, что изложено в письме, для того, чтобы получить 2000 р., но этого я не сделал. Следовательно, подобный вопрос, г. прокурор, мне кажется...

П р о к у р о р. Но ваш ответ приводит меня к другому вопросу: не известно ли вам, что вы как эмигрант, как человек, обвинявшийся в государственном преступлении, не имели права взыскивать в России деньги с Ижболдина?

– Я это знаю. Поэтому Ижболдины дали мне обязательство на имя моей жены.

– Но, давая свое показание, вы знали о тех последствиях, которые могут постигнуть Мясниковых?

– Да, я и говорю: цель оправдывала у меня некоторым образом средства.

– Так что, следовательно, вы наполовину только сделали то дело, за которое вы взялись; вы взвели ложное обвинение и затем относительно Ижболдина не сдержали слова?

– Каким образом мне держать слово? Я только списал копию; я только и обязан был это сделать.

З а щ и т н и к И. М я с н и к о в а г. Я з ы к о в. Потрудитесь сказать: вы давно доставлены в Россию?

– Я только что сюда доставлен. 4 февраля меня вывезли из Парижа.

– Видели ли вы кого-нибудь, кроме тех лиц, которые вас привезли и охраняют?

– Одним словом... я прежде сидел уже, я уже несколько раз сижу в крепости. Но в настоящее время до такой степени со мною строго поступают, что даже смотритель, за которым я посылал для того, чтобы меня обстричь, и тот ко мне не приходит. Я запечатан в Петропавловской крепости.

– И вы находитесь под специальным надзором?

– Больше, чем под специальным надзором. Я герметически закупорен.

Смех. Движение ⟨...⟩

Шевелев заявляет, что он болен, в настоящее время лечится и опасается, что завтра, быть может, не будет достаточно здоров, чтобы явиться в заседание.

. . . . . .

П р о к у р о р. Свидетель Шевелев, потрудитесь рассказать, каким образом вы воспользовались свободою вследствие помощи Ижболдина?

– Посредством железной дороги.

– Вы уехали от Ижболдина?

– Я с Ижболдиным постоянно виделся. Он приходил в ⟨Спасскую⟩ часть, я к нему ездил.

– Вас отпускали одного?

– Да.

– Вам доверяли?

– То есть как доверяли? Я просто выходил и тотчас опять являлся.

– Так что вы пользовались относительной свободою?

– Да.

– Вы от Ижболдиных отправились на железную дорогу и затем уехали?

– Да.

– Ижболдины вас провожали?

– Нет.

– Вы не могли сами уехать из части? Зачем вы сперва отправились к Ижболдиным?

– Я их вовсе в том не обвиняю, что они мне содействовали к побегу, но так как жена моя была у Ижболдиных, то я заехал к ним.

– Так в чем же состояло содействие Ижболдиных, о котором вы говорили?

– У меня не было копейки денег.

– Да вы разве от Ижболдиных деньги получили?

– И Сысоев дал мне 50 р., и Ижболдин также давал.

– Вы получили деньги от Ижболдиных просто так или вы объяснили о своем намерении бежать?

– Ш е в е л е в (*после некоторого молчания*). Очень натурально, что он знал об этом; он знал, что я нахожусь в таком положении, что мне нужно уехать.

– Вы говорили ему, что вам нужны деньги для того, чтобы убежать от комиссии графа Муравьева?

– Да.

– И он вам дал на это деньги?

– Да.

– Это было в какое время?

– Это было в ноябре месяце 1866 года.

– В каком месте вы с железной дороги удалились за границу?

– Я ехал через Вержболово.

– Какой у вас был паспорт?

– Паспорт у меня был. Я достал паспорт. Я остановился в Ковно, там я имел знакомого еврея, он дал мне паспорт за 10 р., и я уехал за границу.

Л о х в и ц к и й. Вы говорите, Шевелев, что деньги, которые Сысоев и Ижболдин вам дали, вы им возвратили; значит, эти деньги вы получили взаймы, а не как плату за подпись письма?

– Да, но я вместе с этим требовал обратно свое письмо, но они мне не возвратили. Я с тем им отдал деньги, чтобы они возвратили. Я с тем им отдал деньги, чтобы они возвратили мне мое письмо.

– А условие вы им предлагали отдать?

– Непременно. Очень натурально, потому что это условие в настоящее время не имеет никакого значения, как будто оно не существует. Наконец, оно не мое, а на имя моей жены, я хотел отдать его, затем идти к моей жене, но тут случилось таким образом, что я опять скоропостижно должен был уехать из Петербурга, потому что я встретил на улице одного человека, который меня узнал ⟨...⟩ Я боялся, что это лицо, которое меня встретило на улице, меня оговорит.

Л о х в и ц к и й. Когда вы писали то письмо, то было ли единственным вознаграждением то условие на 2000 р. и затем деньги вы взяли взаймы и считали обязанностью и помимо возвращения вам письма отдать им эти деньги?

– Вы, г. поверенный, ставите неточно вопрос: я вас не понимаю. Вы столько говорите, что мне нельзя сообразить. (*Смех.*) Вы, пожалуйста, поточнее.

– Вы когда писали письмо, так знали, для чего?

– Да-с ⟨...⟩

– Когда вы писали то письмо, то было ли единственным вознаграждением то условие?

– Я в таком был положении, что я должен был или это сделать или умереть.

– Это было единственное средство к вашему спасению?

– Единственное средство – положим, что нечестное, – я должен буду за это отвечать; но... иногда цель оправдывает средства...

. . . . . .

Г-н А р с е н ь е в. В апреле ⟨1866 г.⟩ вы не содержались?

– Нет, я приехал сюда... За что я был арестован? Я был таможенным чиновником и уволен был в отпуск, но по обстоятельствам, не дождавшись отпуска, поехал без него в Петербург. В Петербурге меня заарестовали по обвинению меня в том, что я будто бы участвовал по делу Каракозова[270]. Я в апреле, 3-го числа, приехал, остановился в гостинице Сомова, на углу Знаменского и Невского, где останавливался в течение двадцати лет сряду. Вы помните, как прошел апрель месяц, как шумно, какие делались овации. Следовательно, было ли тогда время писать подобное письмо?

– Вы содержались в Спасской части?

– Я содержался сперва в III Отделении, а потом в Спасской части.

П р о к у р о р. Вы говорите, что в апреле у вас не было времени писать письмо: делались овации. Какое отношение вы имели к этим овациям, которые вам не позволяли в то время заниматься другим делом? Чем эти овации вам мешали?

– Я постоянно был отвлекаем: смотры были, парады, наконец, у дворца постоянно стоял, ходил всюду со своею женою ⟨...⟩

– Вы не боялись, чтобы Ижболдин, для того, чтобы сложить с себя ответственность в том, что способствовал вашему бегству, на вас донесет?

– Это нельзя было сделать на том основании, что он не знал момента того, когда я сделаю побег. Наконец, я не поехал чрез Варшаву, я поехал чрез Москву, и потом в дилижансе до Ростова ⟨...⟩

– Вы не могли на свой вид получить заграничный паспорт?

– Этого нельзя было никак сделать, потому что после каракозовской истории III Отделение чрезвычайно строго стало следить за уезжающими за границу.

– Однако в Петербурге, где именно есть III Отделение, вы были совершенно свободны, могли ходить и по гостям и возвращаться только обедать домой...

– Потому что я не был в III Отделении, а был в Спасской части.

– Следовательно, находились под стражей и могли ходить по трактирам, могли, наконец, бежать; и почему в Ковно вы непременно попались бы?

– Я не понимаю вас...

– Вы говорите, что были совершенно свободны, могли ходить по трактирам?..

– Да почему вы непременно ударение делаете на трактиры? Вы не думаете ли, что я трактирный господин?[271] Я вовсе и не ходил по трактирам. Можно сказать о человеке, что угодно, но для чего его третировать? (...)

Затем свидетель Шевелев был удален из зала заседаний".

19 февраля состоялась очная ставка адвоката Сысоева с Шевелевым:

«Свидетель Сысоев показал, что знал Шевелева, который прежде служил у Мясниковых вроде конторщика. В 1866 г. в половине или в конце лета явились к Сысоеву на квартиру Ижболдин и его жена и предложили ему принять на себя ходатайство по делу о фальшивом духовном завещании, составленном от имени Беляева. Сысоев взял на себя вести это дело, но, увидев громадную цифру иска, не решился один взять его на свою ответственность и предложил Ижболдину, чтобы он пригласил в помощь еще другого адвоката. В сентябре того же года Ижболдин доставил к Сысоеву дело, веденное чиновником Германом, огромную переписку, и доставил письмо на имя Ижболдина, подписанное Шевелевым. Сысоев спросил у Ижболдина: справедливо ли это письмо? Тот отвечал, что Шевелев находится здесь и может подтвердить справедливость этого письма. Желая удостовериться в этом лично от Шевелева, Сысоев спросил, где можно его видеть, на что Ижболдин ответил, что Шевелев содержится в Спасской части и доступ к нему свободен. Приняв письмо, Сысоев отправился с ним к Шевелеву, которому показал письмо. Шевелев признал, что письмо писано им и что все это совершенно справедливо, что он желал бы сообщить некоторые другие вещи, так как ему много известно о том, как явилось фальшивое завещание и было расхищено имущество из дома Беляева.

По распоряжению председательствующего был введен Шевелев.

Сысоев продолжал, что тогда Шевелев сказал, что нервы его расстроены, почему он не может сообщить в ту минуту, когда будет свободен, и записал адрес Сысоева; затем действительно был у него и рассказал, может быть, в десять раз больше того, что написано в письме. По мнению Сысоева, этот разговор не относится, собственно, к фальшивому завещанию, потому что был переполнен рассказами об ужасах, которые происходили в доме Мясниковых, о каких-то страшных убийствах. Шевелев рассказывал так ясно, с такими подробностями, что Сысоеву иногда даже приходило на мысль, что сам Шевелев был участником всех этих происшествий, – с такою удивительною живостью рассказывал Шевелев (...)

Шевелев заявил, что 4 апреля он ни с Сысоевым, ни с Ижболдиным не был знаком и не видал их никогда; познакомился с ними только в октябре, и то они искали его, а не он их.

Сысоев объяснил, что на прошлой неделе он слышал от присяжного стряпчего Конради, что на днях близкий родственник его привез какого-то Шевелева, выданного по распоряжению французского правительства в качестве политического преступника; что всю дорогу Шевелев рассказывал своему спутнику о деле Мясниковых и говорил, что желает, наконец, сбросить с себя это ярмо и сказать Суду всю правду о злоупотреблениях, которые творились по этому делу, на что Шевелев сказал: "Я это и исполнил"».

Прокурор Кони в своей речи охарактеризовал Шевелева как уголовника и агента-провокатора, надевшего на себя личину революционера, "коммунара". В то же время он отмечал, что из массы свидетелей на этом процессе особенно резко выделяется свидетельское показание Шевелева, которое с первого же взгляда имеет, по-видимому, довольно важное значение, тем более, что дано "в чрезвычайно последовательном и красивом, изящном даже рассказе, выделявшем показание Шевелева из показаний почти всех остальных свидетелей".

«Вы помните показание Шевелева, – продолжал прокурор, – он рассказал пред вами свою историю, и по ней мы имеем возможность познакомиться с его личностью. Это мелкий откупной приказчик, служащий потом в конторе Мясниковых, жених невесты, которой с целью, весьма понятной, он предъявляет облигации, ему не принадлежащие, за что и преследуется Мясниковыми, как за присвоение их собственности; затем, привлеченный к делу Каракозова, но, очевидно, настолько мало виновный в нем, что, несмотря на тогдашние строгости, содержится в части и гуляет целые дни на свободе; беглец за границу, живущий в Пеште и издающий брошюры, будто бы, известные всей Европе; затем коммуна, доблестный защитник Парижа и правдивый свидетель по настоящему делу. Очевидно, тут являются такие переходы и крайности, которые трудно совместить: человек борется за самые крайние идеи, идущие вразрез с общественным строем, для торжества этих идей жертвует жизнью на баррикадах Парижа, даже ранен при этом, и вместе с тем считает возможным, под предлогом, что для него цель оправдывает средства, написать ложное письмо, чтоб получить за это небольшие деньги, причем выражение "цель оправдывает средства" он понимает самым узким образом. Это не та возвышенная общая, широкая цель, для которой, по известному безнравственному правилу, всякое средство может быть возможным, а цель низкая, лично ему принадлежащая и не име-

ющая ничего общего с благом других. Цель, на которой написано "150 рублей", – такая цель оправдывала для Шевелева средство, могущее погубить человека. Очевидно, что этот "провинциальный секретарь", служивший по откупам в России и по коммуне во Франции, не очень разборчив на средства и не очень далеко ходит, выбирая свои цели.

Что же он показывал? Он говорил, что был признан Ижболдиным и под диктовку Сысоева, или, лучше сказать, с письма, написанного Сысоевым, переписал свое письмо, потому что был тогда в безвыходном положении. Ему оставалось или повеситься, или бежать, говорит он, и таким образом делает намек на то, что он был таким опасным политическим преступником, что ему не предстояло другого исхода, как смерть от своей руки или от руки правосудия ⟨...⟩ Главный ⟨...⟩ источник его настоящего показания тот, что Шевелев прежде всего желает рисоваться; в его движениях, голосе, манерах, в походке разве не звучит постоянно это желание? Не ясно ли, что это живое участие в коммуне, издание им брошюр, известных всей Европе, – не более как фраза, как желание драпироваться в мантию политического преступника, что тут нет ничего верного, что все это хвастовство и принятая на себя личина? Хорош, в самом деле, заговорщик, политический деятель, которого даже суровый и строгий граф Муравьев считал возможным содержать в части и отпускал погулять одного по городу! Если мы отбросим эту мифическую сторону его рассказов, если взглянем поближе на этого общественного деятеля, то увидим, что, несмотря на замечательный ум и сценическое достоинство, с которым он разыгрывает свою роль здесь, на суде, среди этой роли, среди его сценически красивого рассказа изредка прорываются ноты, присущие тому русскому типу, который так гениально очерчен одним из величайших русских писателей, типу похитителя губернаторской дочки и "давненько не бравшего в руки шашек" человека[272]. И если мы спокойно и не увлекаясь солидно-величавым видом и тоном Шевелева разберем его показания и откинем из него все прикрасы, то останется то, что он за деньги написал Ижболдину о том, что ему, по его словам, было известно по делу Мясниковых, и написал, по его дальнейшим словам, неправду...»

Отметив, что Шевелев сообщил суду ценные факты, "рельефно обрисовывающие характер целой категории свидетельских показаний", защитник А.К. Мясникова К.К. Арсеньев заключил свое выступление следующей сентенцией: "Человек, способный сделать то, что сделал Шевелев осенью 1866 г., т.е. написавший ложные показания, обвинявшие ни в чем не повинных людей, и скрывшийся за границу, – защищаем быть не может".

В таком же плане воспринят был Шевелев и М.Е. Салтыковым-Щедриным, который если и не посещал судебные заседания, то уж, во всяком случае, внимательно следил за стенограммами этого нашумевшего процесса и знаком был с его подоплекой, быть может, больше, чем защитники, прокуроры и судьи.

В "Отечественных записках" 1872 г. печатался его большой сатирический роман-фельетон "Дневник провинциала в Петербурге" (вскоре вышедший отдельным изданием). В нем оказались отраженными – в гротесковом преломлении – актуальнейшие события этого года – в том числе, конечно, и "Дело Мясниковых".

Какое же место занял в этом романе Шевелев? Щедрин придал его черты нескольким персонажам. Для первого из них, "отставного корнета", провокатора "без царя в голове", он выбрал достаточно красноречивую фамилию – Шалопутов (по В.И. Далю, *шалопут* – ветрогон, безрассудный, взбалмошный, полоумный человек). Сущность характера Шевелева прекрасно схвачена этой фамилией. В таком же аспекте когда-то рассматривал его, как мы помним, и Огарев. Верный своему принципу переосмыслений, Щедрин связал Шалопутова не с делом Мясниковых, а с другим событием петербургской жизни – Международным статистическим конгрессом, проходившим в 1872 г. в столице России. Конгресс этот Салтыков-Щедрин не считал сколько-нибудь серьезным научным мероприятием. Саркастически описывая на многих страницах эту одиссею пустозвонства и обжорства, он объясняет, что воссозданный им конгресс отнюдь не являлся тем официальным конгрессом, который проходил в залах петербургского Дворянского собрания, а злоумышленной подделкой нескольких мошенников и провокаторов, выдававших себя за делегатов и устраивавших свои "заседания" в одной из низкопробных петербургских "ресторацій".

На официальную сессию *подлинного* конгресса приглашено было около двухсот иностранных делегатов. Среди них находился и прославленный французский статистик Э. Левассёр. Лжелевассёр то и дело заводил со своими собеседниками провокационные политические разговоры: он осуждал царское правительство, уверял, будто был "сторонником Парижской коммуны и участвовал в разграблении дома главы французской исполнительной власти А. Тьера, а жена его будто бы была "коммунаркой-поджигательницей" ("петролейщицей"). Несколько делегатов-статистиков попались на эту удочку, в том числе и Провинциал.

Вот как описывает Щедрин заключительный эпизод "конгресса": «Не успели мы приступить к голосованию последнего параграфа, как случилось нечто поразительное. На лестнице



ДНЕВНИКЪ ПРОВИНЦІАЛА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Я цѣлый мѣсяцъ не велъ дневника своихъ похожденій, и, признаюсь, даже теперь не могу съ ясностью выразумѣть, что происходило со мной за это время.

Я былъ жертвой двухъ мистификацій сразу. Цѣлый мѣсяцъ я оглашался, хлопоталъ, и думалъ, что живу въ самомъ реальномъ значеніи этого слова. Сначала я былъ членомъ VIII международнаго статистическаго конгресса (съ какой стати делегать отъ ранненбургско-саратовскаго клуба!), участвовалъ во всѣхъ его трудахъ, доказывалъ неполезность употреблявшихся нами пріемовъ для изслѣдованія практической преступности, бесѣдовалъ съ Левассёромъ, Кетле, Фаррохъ и проч. Потомъ, вдругъ, какимъ-то чудомъ, декорація перемѣнилась. Оказалось, что вмѣсто статистическаго конгресса, я чуть было не сдѣлался членомъ опасѣйшаго тайнаго общества, имѣющаго цѣлію цивилизированіе общественнаго порядка, и что только по особенной бойкости, я явился предъ лицомъ суда не въ качествѣ главнаго обвиняемаго, а лишь въ качествѣ пособника и попустителя. Что Кетле совсѣмъ не Кетле, а тенденціозный покойникъ Каликинскій, что Левассёръ отставной корнетъ Шалопутовъ, Корреги—шарлатанъ Городобаково и т. д. И что всѣ эти господа—эмиссары отъ интернаціонала... Но этого мало: въ самой разгарѣ прогресса, въ ту минуту, когда я уже начиналъ питать увѣренность, что немногіе изъ докладовъ, декорація опять внезапно перемѣнилась, и явилася новая, среди которыхъ я нашу себя... дрожащимъ! На конгресса, на процесса—ничего этого не было. Былъ великолѣпнѣйшій, возмутительнѣйшій фарсъ, самымъ грубымъ образомъ разыгранный шайкою досужихъ русскихъ людей надъ вятской простолушныхъ провинціальныхъ кадилокъ, въ числѣ которыхъ, къ величайшей обидѣ, оказался и я...

Только въ обществѣ, гдѣ положительно никто не знаетъ, куда дѣваться отъ праздности, можетъ существовать подобное времяпрепровожденіе! Только тамъ, гдѣ нѣтъ другого дѣла, кромѣ внутренняго самосовершенствованія, гдѣ нѣтъ другого общественнаго интереса, кромѣ безпорядочнаго уличнаго говора, можно

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Отечественные записки, 1872, № 10

Н.А. Шевелев является прототипом корнета Шалопутова, статистика Левассёра – персонажа восьмой главы, а также слабужского мещанина Иуды Стрельникова – персонажа главы десятой

послышался сильный шум, и в залу заседаний вбежал совершенно бледный и растерявшийся половой ⟨...⟩ В комнате заседаний стоял господин в полицейском мундире, а из-за дверей выглядывали головы городовых ⟨...⟩ "Господин отставной корнет Шалопутов!" – провозгласил между тем господин в полицейском мундире. – "Здесь!" – отозвался Левассёр, отдаваясь в руки правосудия. Мы так и ахнули».

Провинциал пытается уверить судей, что он ничего крамольного не говорил.

«"Позвать сюда Шалопутова!" Опять загремели кандалы; но Шалопутов не вошел, а вбежал и с такою яростью напустился на Провинциала, что тот "даже изумился". – "Вы не говорили? вы?! – кричал он, – вы лжец, позвольте вам сказать! Когда я вам сказал, что моя жена петролейщица, – что́ вы ответили мне? Вы ответили: вот к нам бы этаких штучек пяток – побольше!.."».

Ничего подобного Провинциал, разумеется, не говорил. Слова эти ему приписаны были провокатором. Чуть не поседев от ужаса, он говорит судье о Шалопутове-Шевелеве:

«"Помилуйте, ваше высокопревосходительство! но ведь он, наконец, свинья!"

"Гм, свинья... – откликается тот. – Это, конечно... это даже весьма может быть! ⟨...⟩ Но скажите, вы разве не употребляете свинины?"

– *Употребляю-с.*

– Ну и мы употребляем. К сожалению, свиньи покамест еще необходимы. C'est triste, mais c'est vrai!»[50*].

Личность Шевелева и его показания на процессе Мясниковых легли в основу и еще одного персонажа – "расторопного елабужского мещанина", лжесвидетеля с характерным именем *Иуда Стрельников*, который, по его собственным словам, "не токма что в Елабуге, а даже в самом Париже проживание имел-с", "при камуне сторожем состоял!" – "Утром, известно-с, в камуне служишь, а вечером – касательство в Версали-с..."; "по чувствам же своим" он ближе всего был "до господина Тьера".

Приведенные цитаты не оставляют сомнения в том, как осмысливал сатирик "проблематичную" личность Шевелева. Персонаж этот естественно вплелся в художественную ткань щедринского романа.

Процесс Мясниковых завершился 17 февраля. Суд присяжных оправдал обоих братьев, и в этом немалую роль сыграли саморазоблачения главного свидетеля обвинения Шевелева.

23 февраля управляющий III Отделением граф Левашев отправил неофициальное письмо (на великолепной веленевой бумаге с графской коронкой в углу) своему сановному приятелю – по-видимому, коменданту Петропавловской крепости, генералу Корсакову:

Любезный друг,

"Шевелев окончил все свои показания на суде по делу Мясникова, который оправдан. По обстоятельствам он должен быть враг всей компании Утина и других в Женеве.

[50*] Жаль, но это так! (*франц.*)

Так как по требованию юстиции он поручен нам для отсылки в Одессу, позволь его перевести к нам в N отделение, и разреши мне с ним переговорить.

Л е в а ш е в".

Ответ на том же листе:

"Согласен, но желал бы во избежание какой-либо попытки бежать, чтобы он был к тебе доставлен, и каждый раз возвращай в крепость. Затем этого арестанта перечислишь мин⟨истерству⟩ полиции; а потому надлежит известить гр. Палена о том, что он будет вызываем в ⟨III⟩ Отделение"[273].

Каков был характер беседы (или бесед) управляющего III Отделением с арестантом перед отправлением последнего в Одессу, к месту заключения, неизвестно, – надо думать, что она имела строго конфиденциальный характер (кстати сказать, почти вся ведомственная и служебная переписка о Шевелеве рассылалась под постоянными грифами *секретно, совершенно секретно* и *конфиденциально*). Tête-à-tête с сановником III Отделения никакого воздействия на судьбу Шевелева, по-видимому, не оказали.

28 марта прокурор Одесской судебной палаты Орлов подтвердил доставление Шевелева в одесскую тюрьму.

Через полгода арестант был снова вызван "на палубу", в связи с повторным слушанием дела братьев Мясниковых – на этот раз в Москве[274]. Туда-то и был отправлен Шевелев. Интерес, возбужденный этим делом в белокаменной, был исключительно велик. Сообщая о процессе, открывшемся 7 октября, Н. Демерт выразил в "Отечественных записках" уверенность, что если бы кто-нибудь из участников, – "например, Шевелев", – решился бы "показывать себя за деньги в большой зале Славянского базара"[275], то «публики бы, в течение целой недели, собиралось бы больше, чем на обычные "забавы", так что и потерпевшие в процессе и их защитники могли бы отчасти себя вознаградить за потери...»[276]

Мясниковы и в Москве добились своего оправдания. Шевелев же возвращен был в Одессу и водворен в тюрьму. Круг замкнулся.

7

СОДЕРЖИМОЕ ТЮКА. — "ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ ДЛЯ НАРОДА". ГЛАВА, НАПИСАННАЯ ОГАРЕВЫМ? — ПРЕДИСЛОВЬИЦЕ. — ЖЕНЕВСКИЙ ВАРИАНТ. — ЛЖЕМОСКОВСКИЙ ВАРИАНТ. — ФАЛЬШИВЫЕ ПИСЬМА. — "РОССИЯ С СИБИРЬЮ": ПЕТР I; ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ; ЕГО ПРЕЕМНИКИ В XVIII ВЕКЕ; БУНТ РАЗИНА; ПУГАЧЕВ; ПАВЕЛ I; АЛЕКСАНДР I; ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.; ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ; НИКОЛАЙ I; КРЫМСКАЯ ВОЙНА; ГЕРЦЕН И ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТЬ; ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ II; ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. — ШЕВЕЛЕВ В ПЕШТЕ. — ЗНАКОМСТВО С Я.-Н. БАБУЛОЙ. — "SLOWENSKE NOWINY" — ПЕРЕДОВИЦЫ ШЕВЕЛЕВА И ЕГО БРОШЮРЫ. — ИХ АНАЛИЗ. — ФИЗИЧЕСКОЕ И УМСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ШЕВЕЛЕВА. — ПЕРСОНАЖ ИЗ "БЕСОВ" ДОСТОЕВСКОГО. — СМЕРТЬ В БЕЗВЕСТНОСТИ. — СУЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ. — ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ. — ГОЛОС СЛОВАЦКОГО УЧЕНОГО XX ВЕКА. — РУССКИЙ ИСТОРИОГРАФ (1868—1967)

Среди различных зарубежных изданий, находившихся в тюке Шевелева (от которого он безуспешно пытался отречься), находилось 66 экземпляров анонимной брошюры "Землеописание для народа". Шевелев объяснил на допросе, что в 1868 г., после его возвращения в Женеву из Венгрии, Мечников и Огарев предложили ему издать этот "учебник" для подпольного распространения в России. Шевелев согласился, рассчитывая укрепить этой акцией свой престиж в среде революционных эмигрантов. "Огарев написал о России с Петра Первого до освобождения крестьян, – пояснял он, – а Мечников писал о других странах с присовокуплением различных религиозных учений, в параллель молоканскому учению. Мечников получил за это от меня 300 франков, а Огарев работал даром". "За напечатание в типографии Чернецкого, т.е. Герцена, уплачено 430 франков, – добавил Шевелев, – с условием, что типография не имеет права ни перепечатать, ни продавать ни одного экземпляра, в чем имею расписку, которая хранится у моей жены за границей, где воспитывается моя дочь Надежда.

Все же это издание хранится в Женеве au Paquis, rue du Nord, chez m-me Raux-Ponti, в двух пачках по 500 экземпляров в каждой. Эти издания будут выданы по моему письму"[277].

Сочло ли нужным III Отделение заполучить этот тираж, неизвестно. Судя по сводному каталогу русской запрещенной и нелегальной печати, в России сохранилось только *три* пол-

ных экземпляра "Землеописания...": один в Москве (*ГАРФ*) и два в С.-Петербурге (*РНБ* и *РГИА*)[278]. Вот титульный лист экземпляра, прежде хранившегося в следственном деле Шевелева, а потом перенесенного в коллекцию печатных изданий архива:

ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ
ДЛЯ
НАРОДА

Женева

Вольная русская типография
40, Pré l'Evêque

1868
Genève

Это книжка крошечного формата в голубовато-серой обложке, повторяющей все компоненты титульного листа. На последнем обороте обложки напечатано: *Цена 10 коп.*

"Землеописание..." открывается следующим предисловьицем: "Для людей малограмотных, но алчущих чтения и просветления, мы старались представить труд сжатый, но ясный; подробный, но не наскучливый; труд, какого, вероятно, они не найдут в русской печати. Мы старались изложить, совершенно доступно, Географию чужеземных стран, в которую включаем не только самую Географию, т.е. Землеописание, но и религиозное развитие народов, различные у них сложившиеся религиозные мнения. Обращаем внимание наших читателей на это последнее обстоятельство. Здесь они найдут, где и какие великие плоды явила свобода веры, принося с собою все, что есть человечески свободного. Мы не включаем в наше издание Землеописания России, потому что уверены, что *в этом отношении* наши люди, зная многое по месту жительства, могут вообще Географию России прочесть во всяком русском учебнике. – ИЗДАТЕЛИ

Кому принадлежали эти строки – неизвестно. Изложенная в них программа, как мы увидим, скорей затемняла, чем проясняла, содержание брошюры. Конечно, сделано это было предумышленно, чтоб отвлечь внимание контролирующих властей. Утверждение автора предисловия, что книжка предназначена для малограмотных читателей, оказалось неверно: написана она серьезным языком для более или менее интеллигентной аудитории[279]. Что же касается статьи под заглавием "Россия с Сибирью", занимающей вторую половину брошюры, то она, как указывает Шевелев, была специально написана для этого сборника Огаревым (см. выше). Несколько странное название статьи объясняется тем, что одна из предшествующих статей, принадлежавших перу Л.И. Мечникова, названа "*Азия, кроме Сибири*".

Статья Огарева не пришлась Шевелеву по вкусу. "Жалуется, что она для народа слишком мудрено написана", – сообщал Огарев Герцену и добавил: "Жалуется, будто там сказано, что освобождение крестьян произведено нами и что это русских очень сердит" (см. выше).

Поскольку автограф "России с Сибирью" до нас не дошел, а на свое авторство Огарев нигде не ссылается, оставим пока эту новонайденную статью в режиме "дубиальности"[280].

Изучая следственные дела Шевелева, я обнаружил еще один – неполный – экземпляр брошюры со следующими любопытными разночтениями на титульном листе и его обороте (*выделяю их курсивом*):

ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ
ДЛЯ
НАРОДА

Москва
1868

Дозволено Цензурою

Москва, 10 Января 1868 года[281]

И формат, и шрифты, и пагинация обоих экземпляров совершенно идентичны. Вероятно, это был один и тот же набор. В "московском" наборе, правда, есть две незначительные ошибки, тут же устраненные корректурными знаками. В женевском издании их нет. Что же касается переделок и купюр, то о них судить трудно, поскольку от этого уникального экземпляра сохранились только первые двадцать восемь страниц (начало очерков Мечникова). Возможно, что изменения и изъятия произведены были в более "идеологизированной" – огаревской – части брошюры.

На титульном листе "московского" экземпляра надпись неустановленным почерком: "Издание Эльпидина, которое лежит в залоге у переплетчика Schützele, 15, rue Croix d'Orf Genève в числе 1500 экз."

Ссылка на Москву как на место издания и ложное цензурное разрешение сделаны были для облегчения переправки, сбыта и распространения брошюры в России. Предисловие создавало впечатление, будто это легальный и совершенно безобидный в политическом отношении справочник, в котором и о России-то почти ничего не говорится...

Когда тираж "Землеописания..." в "московском" варианте уже был отпечатан, Шевелев сообразил, что такое проникновение брошюры в Россию может принести ему серьезные неприятности. Ведь своей целью он ставил не революционную пропаганду, а, наоборот, повседневную борьбу с ней. Брошюру "Глас русского к словакам" (см. ниже) он, по его собственным словам, только для того и напечатал на малораспространенном венгерском языке, чтоб ее не читали ни в России, ни в Западной Европе. Вспомним, что под видом доставки нелегальных брошюр на родину он увозил из Женевы сотни экземпляров "Вероисповедания..." и с полпути привозил их обратно.

После выхода в свет "Землеописания..." Шевелев снова прибег к уже испробованной им фальсификации: сочинил два будто бы обращенных к нему письма. Первое из них, от группы молокан, должно было создавать впечатление, что они в неописуемом восторге от изданной им брошюрки и рассматривают ее как явление, имеющее чуть ли не боговдохновенный характер:

«Милостивый государь [Николай Александрович!]

Ваше Землеописание для нас драгоценность, это новый для нас свет, с которым вы нас так близко познакомили. Да будет над вами Благодать Духа святого всегда и вовеки...

В знак нашего уважения к вам и нашей признательности препровождаем к вам драгоценный перстень; носите его как залог нашей любви.

Кроме того, просим вас выдать из наших сумм Достойнейшему и уже оказывавшему прежде много услуг для нас Николаю Платоновичу и Мечникову по 25 руб. серебром; скажите им, что это от правоверных русских мужичков, да не пренебрегают они нашими ничтожными дарами.

С глубоким уважением и беспредельной преданностью молящиеся за вас всем известные...»[282]

"Письмо" не подписано.

Второй фальшивкой Шевелев пытался объяснить и оправдать в глазах Огарева и Мечникова необходимость переделки титульного листа уже напечатанной брошюры и, возможно, изъятие из нее ряда "крамольных" страниц или строк:

«Милостивый государь [Николай Александрович].

Покорнейше просим вас при втором издании Землеописания о Сектах пропустить и издать об них особую книгу и вместо *Москва* и разрешения цензуры напечатать так, как следует; зачем людей вводить в грех, а обман – страшный грех, и не советуем вам прибегать к этому средству. Что же касается до составленного вами Катехизиса для наших детей, который нами рассмотрен и одобрен, просим вас напечатать его как можно скорее. Благодарим вас и ваших сотрудников за труд на пользу нашу.

Глубоко уважающие вас, преданные вам и молящиеся за вас вам известные

Ijboldin .

В Усачевом переулке, в новом доме Шита»[283].

На допросе Шевелев признался: "Предъявленные мне тетрадки, в которых записано пять писем, принадлежат мне. Содержание этих писем вымышлено, никому я не писал и ни от кого писем не получал, Акима Феодульевича и Сибулдина, из которых первому адресовано это письмо, а вторым подписано, – я не знаю; составление проектов этих писем нужно было для моих целей"[284].

В той же тетради находятся и черновики двух неизданных писем к Огареву, *написанных Шевелевым от имени его жены*. Перебеленные ее рукой и ею же подписанные, письма сохранились в "пражской коллекции" среди корреспонденции Огарева, т.к. были им получены по почте. Для установления "генезиса" загадочной брошюры "Землеописания..." они представляют несомненный интерес.

Воспроизвожу их по "пражской коллекции" (отмечу при этом, что в черновиках есть несколько зачеркнутых мест).

Вот первое письмо:

«Респу(блика) С(ан)-Марино. Марта 15/27 дня (1868 г.)

Милостивый государь Николай Платонович!

Пользуясь вашим знакомством, я имею честь утруждать вас следующими просьбами:

Попросите, пожалуйста, г-на Чернецкого, чтобы он как можно скорее выслал "Землеописание" в Ниццу по прилагаемому адресу, куда я завтра еду, а также попросите у г-на Чернецкого счет и что сталось с телескопом, который у него оставлен. И прилагаемыми деньгами сделайте с ним расчет[285].

Мужа моего в Константинополе теперь нет да он и пробыл-то там всего один день. Если вам нужно чтб сообщить ему, то пишите ко мне; впрочем, он только ожидает "Землеописания" и немедля возвратится по Дунаю, через Вену и Женеву, – я предполагаю, что в конце апреля он приедет туда, а я с семейством до того времени все буду жить в Ницце. Вот адрес:

В Ниццу Варваре Ивановне Шевелевой.

Квартира моя на почте будет известна. Еще раз прошу извинения за мою неделикатность, что я вас так много утруждала, но вы сами взялись нам помогать во всем, а ни одна из этих просьб не выходит из круга деятельности нашего религиозного общества.

Глубоко уважающая вас Варвара Ш е в е л е в а

P.S. Если останутся деньги, то вы их не пересылайте, а оставьте у себя впредь до свидания.

Прошу сообщить г-ну Чернецкому наш девиз: *Соффир*.

Ах, еще чуть не забыла самого важного, получил ли книгопродавец Георг из Лондона сведения, сколько будет стоить 100 экземпляров Библии Кельсиева (Вадима) с пересылкою в Женеву? Вот еще маленькая просьба, ради Бога, если останутся деньги, заплатите Вассали-Майор за квартиру мужа с 1 апреля по 1 мая, всего 20 франков, и расписку с него возьмите, а если же нет денег, то скажите на словах, если вас не затруднит, что квартира за моим мужем.

Не знаю, будет ли годиться атлас, я его получила вчера с названиями французскими; кажется, моего мужа надула литография флорентийская, получив деньги вперед»[286].

Второе письмо (от 14/2 апреля того же года) представляет собой отклик на неизвестное письмо Огарева к Шевелевой, в котором он, между прочим, сообщил, что сломал ногу:

«Милостивый государь Николай Платонович!

Ваше письмо от 10 числа мною получено, глубоко сожалею о случившемся с вами несчастии; но что делать?.. Бог посылает на нас невзгоды за наши грехи, желая, чтоб мы исправились... Я не смею вам читать религиозную мораль; тот, кто проповедует истину, тот также молится в своем роде, как и мы, ибо Бог есть истина, и что выше ее?.. Если б вы выслали ко мне издание раньше, я должна бы была отправить обратно к вам. Чтобы кратче высказаться, я делаю выписку из письма моего мужа: «Если выслали "Землеописание", тотчас отправь назад в Женеву для перемены обертки и для уничтожения *разрешено цензурою*, и чтобы вместо *Москва* было напечатано: *Женева, в Вольной русской типографии*, как печаталось "Учение духовных христиан". При свидании, почему так, объясню».

Теперь прошу вас, попросите г-на Чернецкого все сделать так, как пишет Николай Александрович, и оставить все издание в Женеве до моего или его приезда.

Благодарю вас за исполнение вами всех моих просьб и считаю себя счастливою молиться о вашем выздоровлении. В конце этого месяца я оставляю Ниццу с ее дороговизною.

Глубоко уважающая вас Варвара Ш е в е л е в а

P.S. Попросите г-на Чернецкого оставить у себя телескоп – до свидания»[287].

И, наконец, последнее письмо Шевелевой, написанное четыре месяца спустя:

«Женева. Августа 13 дня 1868 г.

Милостивый государь Николай Платонович!

Г-н Чернецкий мне сообщил, что 13 августа нового стиля, если деньги не будут уплочены, то наше издание "Землеописания для народа" поступит в публичную продажу. Неужели это сбудется? Ради бога, многоуважаемый Николай Платонович, устраните это новое несчастие, готовое обрушиться на наш и так уже несчастный народ. Ведь главное, что в этом издании помещено сравнение нашего вероучения с квакерами, сейчас догадаются, что это написано для молокан, и тогда обыскам, скандалам и арестам не будет конца, особливо при министерстве *Тимашева*, как уже и было, когда поступило в продажу наше *Вероучение*: ломали полы, отыскивая эту книгу.

Умоляю вас, устраните это новое несчастие.

Уверяю вас честным словом, что как только я получу деньги из России тотчас расплачусь...

При пожелании вам всего лучшего, остаюсь глубоко уважающая вас

В. Ш е в е л е в а

P.S. Уведомьте меня, ради Бога, как это устроится и возможно ли?[51*]»[288].

В обвинительном акте Особого присутствия сената от 23 февраля 1876 г. будет отмечено, что "Землеописание для народа" – "книга преступного содержания". Она "заключает в себе дерзостное порицание образа действий верховной власти". Особенно акцентируется в этом документе "противоправительственное направление" брошюры...

К числу аргументов, подтверждающих авторство Огарева для заключительной главы этой книжки, нельзя не прибавить следующего соображения: в "России с Сибирью" четко определена общественно-политическая деятельность Герцена и его влияние на крестьянскую реформу, в то время как личность и деятельность Огарева обходятся полным молчанием. Это неудивительно, если автор статьи – сам Огарев: человек редкой щепетильности, он не восхвалял бы самого себя даже в анонимной брошюре, хотя, конечно, в полной мере сознавал, что является достойным соратником Герцена как в издательской деятельности, так и в публицистике.

Привожу полный текст неизвестного ранее историко-революционного очерка приписываемого Огареву:

РОССИЯ С СИБИРЬЮ

Россия получила титул империи при *Петре I*, или *Великом*, а потому мы и начнем именно с этого государя наш беглый *исторический очерк Русской империи*.

Общий характер преобразований Петра Великого слишком хорошо всем известен: он заключается в насильственном привитии западноевропейского просвещения русскому народу, ощущавшему в нем очень малую потребность. Петр I останется, во всяком случае, весьма самобытною историческою личностью, но в настоящее время нельзя не признать, что вовсе не он один возвел Россию на степень европейской державы, – как это обыкновенно предполагают. Начиная с Иоанна Грозного (вошедшего в торговые сношения с Англиею) многие цари усиленно заботятся о сближении русского народа с западною Европою. Из таких особенно следует помянуть *Лжедимитрия I* (о чем см. Костомарова "Смутное время" в журнале "Вестник Европы", 1866–1867 года).

Но и кроме Лжедимитрия, вообще московские цари нуждались позаимствовать кое-что из западной Европы, особенно тогдашние европейские приемы для обучения и вооружения войска, для постройки укреплений и тому подобных вещей. Так что мы уже при московских царях, до Петра Великого, находим в русском войске царями приглашенных на службу немцев. К сожалению, все царские нововведения были направлены против самых существенных и обычных прав русского народа. Таким образом, сила царская, опираясь на военщину, уничтожала везде областные народные права, а до этого каждая область правилась сама собою; для решения – как в каком случае нужно распорядиться – собиралось народное Вече; оно же избирало своего посадника, и, если было им недовольно, отрешало его. Эти народные права царская власть, сосредоточенная в Москве, постоянно и повсеместно уничтожала, и народных выборных правителей по областям – заменяла царскими приказными. Отсюда начались притеснения, поборы, взяточничество, дошедшее до совершенного грабежа; правый суд оставался только для вида в писаном законе, а на деле выходило бессудие. Так мы находим законы, изданные отцом Петра Великого, царем Алексеем Михайловичем, под названием Уложения, а на деле было такое бессудие, что народу становилось невтерпеж. Царям же до этого не было дела, лишь бы уничтожить обычные народные права и все подвести под одну мерку, под волю царскую. Даже

51* *Далее следует адрес*: Rue Bonivard, N 8, au premier.

веру захотели подвести под одну мерку. Никоновское толкование Священного писания назвали православием, а всякое другое толкование стали гнать полицейскими проделками и преследованиями, ссылками и казнями. Отчего же не быть и Никоновскому толкованию, но отчего же не быть и всякому другому? Вера дается не полицией, всякое человеческое понимание свободно и распространяется живым словом, а не кулаком квартального и не кнутом палача.

Народ в ту пору взволновался; был многоизвестный бунт Стеньки Разина, который отстаивал народные вечевые права и свободу веры. Но сила царская уже была слишком могуча, и, несмотря на первые успехи Стеньки Разина, он был разбит и мученически погиб смертною казнию[52*].

Петр Великий продолжал то, что начали цари, то есть уничтожение народных прав и замен их беспрекословной царской волею. Лучшим способом для этого было сделать царскую власть чужестранною ко всему русскому и к воле народной безжалостною. Так он и сделал и устроил правление, где, с одной стороны, император (даже и слово, непонятное русскому), и колотящий чиновник в немецком мундире, а с другой стороны заколоченный русский мужик в жупане. Петр продолжал начатое царями прикрепление[53*] крестьян за помещиками, то есть распространение крепостного права; отменил областное деление России и разделил ее на губернии; наместников превратил в губернаторов, а Земскую думу в Сенат. Постройка С.-Петербурга, т.е. столицы России с немецким именем, хотя и принесла пользу для сношений с Европою, но совершенно сделала народ и государство друг другу чужими.

Вся редкая сила воли Петра Великого была направлена, собственно, не на то, чтобы сблизить русский народ с Западом и таким образом сделать из России государство, вполне образованное, но и не утратившее вместе с тем своей самобытности. Петр просто хотел выкроить, так сказать, из России государство по западному образцу; поэтому-то он с особенным усилием старается разорвать всякую связь между прошлым России и тем будущим, которое он хочет насильственно создать для нее; поэтому-то он до смешного увлекается внешностью, мелочами, придает огромное значение бритью бород, немецким кафтанам и т.п. Можно быть очень просвещенным человеком, знать всевозможные науки и с тем вместе оставаться русским и по сущности и по внешности, носить платье, к которому привык спокон веку и которое хорошо соответствует условиям климата. Но такое просвещение не приобретается по высочайшему повелению и не дается сразу. Поэтому Петр предпочитает, чтобы его подданные оставались, в сущности, варварами, лишь бы они усвоили себе внешний вид, привычки и одежду просвещенных людей. Сам Петр, при всех своих блестящих достоинствах и способностях, остается таким по-европейски наряженным варваром: он жесток не менее Иоанна Грозного, грубо сластолюбив, сечет розгами взрослых своих дочерей и "*учит*" плеткою свою жену.

Говорить подробно о реформе Петра Великого здесь было бы невозможно, так как она касается слишком многих сторон русской политической, общественной, религиозной и даже домашней жизни. Но во всем она сохраняет один и тот же характер: варварской сущности, прикрытой оболочкою просвещения. При этом, конечно, внешняя оболочка, – как бы ни была она хороша сама по себе, – не может замедлить исказиться. Приказные не перестают брать взятки оттого, что их переименовали в регистраторов: бояре, принарядившись в парики и кафтаны, остаются царскими холопами, жадными, невежественными обиралами народа.

Для народа самою чувствительною стороною петровских преобразований оказалось то, что они уничтожали и последние остатки земского самоуправления, которые щадил даже Иоанн Грозный.

Всего более величие Петра проявилось на политическом поприще: его война со

52* Во время страшной пытки перед смертною казнию, Стенька Разин ни разу не вскрикнул, ни разу не охнул и бровью не повел – ибо такое малодушие считал для себя унизительным.

53* Прикрепление крестьян началось при царе Феодоре Иоанновиче (1584–1598) по совету Бориса Годунова – с уничтожения Юрьева дня, т.е. права народа переходить с земли на землю.

шведами, завязанные им дипломатические сношения с другими народами, – пуще же всего его не осуществленные им самим стремления завладеть Черным морем, – свидетельствуют о его необычайных политических способностях.

Преемники Петра до воцарения Екатерины II все без исключения оказываются неспособными к государственной деятельности. Все они рабски подражают ему, плохо понимая настоящие его стремления и нужды. А между тем реформа мало-помалу приносит естественные плоды: образуется вокруг престола целый слой крупных и мелких бояр, оторванных от народа, утративших обычную нравственность, не приобретших взамен ее никаких новых основ честности, усвоивших себе одну только мишурную сторону просвещения. Эта толпа своевольничает, когда у императора нет достаточно силы, чтобы управиться с нею; рабски ползает у ног того, кто имеет власть пригрозить. Императоры и императрицы смотрят на государство, как на вотчину; живут, как богатые помещики, поручающие управление прикащикам, – преимущественно из немцев – презирают свой народ, руководятся одним грубым сластолюбием и проч. Образцом такой императрицы-помещицы может служить *Анна Иоанновна,* скупая, жадная и развратная, без всякого образования, даже и внешнего. Прикащиком при ней состоит курляндский немец, берейтор *Бирон,* считающий себя образователем народа русского, а в сущности даже и понаслышке не знающий – что такое образование. Жестокое бесчеловечие Бирона и Анны Иоанновны превышали всякие размеры. Государственная жизнь России в течение всего этого времени есть сцепление интриг и казней. Временщики сменяют один другого, клевещут один на другого, свергают и возводят императоров: народ чувствует так мало связи между собою и Петербургом, что ему все равно, кто бы ни сидел на престоле.

По смерти Анны Иоанновны была возведена на престол, с помощью медика Лестока и преображенского полка, подкупленного французскими деньгами, – Елисавета Петровна, дочь Петра Великого; а назначенный Анной Иоанновною наследник малолетный принц Брауншвейгский Иоанн Антонович – был посажен на всю жизнь в Шлюссельбургскую крепость. Несмотря на эту ненужную жестокость, Елисавета Петровна могла бы процарствовать лучше, если б не исказил ее нрава неожиданный переход от родительского гнета к обладанию всея России, да если б не наследственное сластолюбие, которое подчинило ее влиянию любовников. У нее прорывались хорошие побуждения: так, она, по совету Ив. Ив. Шувалова (а Шувалов действовал по совету знаменитого писателя Ломоносова) основала в Москве первый русский университет (в 1755 г.) в Петербурге – Академию наук (в 1758 г); уничтожила внутренние таможни, уничтожила смертную казнь. В внешней политике она поступила не хуже. Кроме довольно удачной шведской войны, она впуталась совершенно ненужно в семилетнюю войну против Фридриха Ц, короля Пруссии, что́ стоило много людей и денег. Впрочем, в самом народе она не принимала участия; чиновничество и барство, которыми она была окружена, хотя были и русские – а уже не из немцев, но заправляли народом точно так же на манер чужеземных прикащиков, как и прежде. Преемником себе она назначила своего племянника, гольштинского принца Петра Ульриха, который если не сам собою, то именем своим (Петра III) памятен не только в истории русского народа, но и в истории других славянских племен.

Его именем назывались все деятели, вышедшие из народа и стремившиеся возвратить народу права областного самоуправления и потому бунтовавшие во время царствования супруги его Екатерины II (принцессы Ангальт-Цербстской). И немудрено, что во имя его волновался народ и хранил память о нем, как святыню: во-первых – он умер мученическою смертию; супруга его Екатерина Алексеевна, при помощи 17-летней, очень умной и хорошей женщины, княгини Екатерины Романовны Дашковой, возмутила Измайловский полк; Петр III был арестован и сослан в Ропшу, а Екатерина Алексеевна провозглашена императрицей. В Ропше граф Орлов с товарищами задушили Петра III.

Если б вслед за этим ненужным злодеянием (Петр III сам отказывался от престола) Екатерина II обратила действительное внимание на народные потребности, может быть, никаких бунтов и не было бы, и народ легко понял бы, что Петр III, нена-

видевший все русское, окружавший себя только немцами и шутами и действовавший в пользу Пруссии, а не России, недостоин той народной любви, которую вызвала молва. Но народу и при Екатерине приходилось так плохо от гнета помещиков и чиновников, тем больше, что Екатерина окончательно ввела крепостное состояние раздачею крестьян помещикам из своих любовников и покровительствуемых ими чиновников; народу приходилось так плохо, что он рад был схватиться за всякий слух, чтоб взбунтоваться, отделаться от притеснителей и учредить у себя свое выборное направление[54*]. Брат Алексея Орлова, убивший Петра III, Григорий Орлов был любовником Екатерины, тем худшее впечатление производило на народ убийство Петра III. Впрочем, Екатерина меняла любовников так часто, что скорей была похожа на старого распутного помещика, менявшего крестьянских девок, чем на императрицу. Самый замечательный из ее любовников, самый умный и небесполезный в управлении государством, был князь Потемкин, остальные были все люди без толку.

Несмотря на эту слабость, Екатерина II была необычайно умная и образованная женщина. Она много сделала для государства. Она поставила Россию на чрезвычайно высокую степень силы и значения относительно других государств Европы. Ее победы над Турцией доставили России Крым и большую часть берега Черного моря. Победа над шведами удержала Финляндию. Она присоединила Западный край и Польшу, которую разделили между Россией, Пруссией и Австрией. Все это в выгодах государственных; притесняемый народ не мог смотреть на войны, стоившие ему людей и денег, с живым участием.

Внутри государства Екатерина покровительствовала просвещению, учредила Академию наук, поощряла печатание книг. Но это все касалось высших сословий; даже когда явились такие писатели, как Новиков и Радищев, которые искренно отстаивали волю и выгоды народные, то Екатерина испугалась и преследовала их. Может быть, из ее распоряжений могло найти в народе сочувствие устранение пытки; но и это устранение пытки было больше на словах, чем на деле. Что же касается до ее знаменитого разделения России на 50 губерний, т.е. окончательное отдание народа в руки помещиков и чиновников, то народ мог встретить такую меру только с великим негодованием. Новое судопроизводство, но все же письменное, закрытое, основанное на канцелярских тайнах, хотя и было введено во все города, но далеко не могло удовлетворить народа, потому что судьи пользовались своим положением только для того, чтоб его грабить. Преследование староверчества еще более возбуждало народные ненависти, и староверчество всегда шло рука об руку с народными восстаниями.

Первый, кто воспользовался именем Петра III и молвой, что Петр III жив, – явился не в России, а в Черногории в 1767 году. Он известен под названием Степана Малого. Он был юноша лет 18-ти. Цель его была, очевидно, восстановить все славянские племена против турецкого и венецианского владычества; через три года успеха – Степан Малый ослеп от осколка скалы, попавшего ему в глаза, когда он взрывал эту скалу порохом для проложения пути через гору; а потом, так как и слепой был все еще страшен для турок, был изменнически зарезан гусляром-греком, подкупленным турецким правительством.

Вскоре после царствования Степана Малого в Черногории, имя Петра III и молва о том, что он жив, распространилась в юго-восточной и северо-восточной России и долею на Украйне. Народ с радостью прислушивался к разным вестям и придавал имени Петра III святое значение – тем больше, что верил, что Петр III приносит льготы и вольности именно народу, а не так, как Екатерина, которая давала льготы только дворянам и чиновникам, а народ кабалила в рабство. Первый, кто на юго-востоке России принял имя Петра III, был казак Богомолов в 1771 г. и доказывал, что он – именно Петр III – тем, что у него на теле, на груди был отпечаток белого креста. Но, несмотря на то, что народ к нему стремился, он действовал неудачно, был

54* Екатерина роздала крестьян помещикам не только в Великороссии, но и на Украйне, где до тех пор была вольница.

пойман, высечен кнутом; ему вырезали ноздри и сослали на каторгу, но он туда не доехал и на дороге умер.

В то время, как умирал на пути замученный Богомолов, через степи на Урал пробирался другой, более знаменитый из принявших на себя имя Петра III – Емельян Пугачев. Покровительствуемый старообрядцами, казаками, крестьянами, проповедуя свободу веры, восстановление народных прав, самоуправление, истребление дворян и чиновников, показывая на теле знаки, будто бы неотъемлемо доказывающие, что он Петр III, – он, наконец, после долгих затруднений добрался до Яицка, где был принят казаками как государь. С 1773 г. начинается его деятельность. Он осаждал Яицк и Оренбург, брал крепость за крепостью, вешал старшин и чиновников, всюду восстановлял права казачества на выборное самоуправление; на белом полотне его знамени развевался староверческой осьмиугольный крест. Потом он пошел к югу берегами Волги, взял Самару, Симбирск, Саратов, Пензу; везде вешал дворян и чиновников и был принят народом как освободитель, законный государь Петр III. Взять Царицын ему не удалось, а под Черным Яром он был окончательно разбит, в 1774 году, полковником Михельсоном, потом пойман, связан ⟨и доставлен⟩ в железной клетке знаменитым Суворовым в Москву, где и был казнен в 1775 году. Вслед за его гибелью правительственные власти, на всем протяжении, где он имел приверженцев, свирепствовали по-своему – казнили, драли кнутом, ссылали на каторгу и пр. Права казачества были окончательно уничтожены, яицкое войско переименовано в уральское, Яицк назван Уральском; старообрядчество преследуемо жестоко, крепостное состояние все круче водворяемо, чиновничий грабеж все безжалостнее. Но, несмотря на все истязания, долго восточная Русь не могла утихнуть; полуразбойничьи, полубунтующие шайки, набиравшие своих людей из Малороссии и Запорожья и из местных населений, долго скитались около Каспийского моря и по Поволжью. В 1780 году явился новый Петр III – казак Ханин, но вскоре был схвачен и погиб. Правительство одолело; Запорожская Сечь была уничтожена, Малороссия отдана на крепостное рабство, и великороссийское крестьянство склонило голову и замерло надолго под розгой и грабежом помещика и чиновника. Тем и заключается блестящий век Екатерины II, освободившей дворянство от телесного наказания.

Ей наследовал нелюбимый ею сын ее *Павел I*, слишком прославившийся своим необузданным самодурством. Он процарствовал всего три ⟨!⟩ года: дворяне, которых он особенно ненавидел, задушили его ночью в его собственной спальне и возвели на престол его старшего сына Александра, воспитанного под надзором Екатерины честным и умным швейцарцем Лагарпом.

С Александром I повторилась, с весьма немногими изменениями, история Екатерины II. Он вступил на престол с самыми благими намерениями и с полнейшей невозможностью сделать что бы то ни было для блага собственно народа, которого он не знал и до которого не мог добраться через стену чиновничества, придворного штата, ложно образованного дворянства и т.п. В первые годы своего царствования Александр был отвлечен от дела внутреннего благоустройства своего государства и должен был заняться делами всей Европы: Германия требовала у него защиты против Наполеона; сами французы, приверженцы старого порядка, просили русского императора избавить Францию от своего; Англия просила его помощи. Ход войны с Наполеоном и нашествие французов на Россию всем известны. В конце концов Александр I с русскими войсками занял Париж, восстановил по дороге в Германию королей и владетелей, низвергнутых Наполеоном с престолов. Он благоразумно советовал восстановляемым им королям блюсти интересы своих народов, а сам в то же время сознавал, что он ничего не сделал и не может сделать для блага своего народа. В это время он думал даже отречься от престола; он дал либеральное устройство Польше, жалел об отсталости русского народа сравнительно с польским, мечтал перенести свою столицу в Варшаву и т.п.

Между тем русские офицеры, победоносно прошедшие черезо всю Европу и ознакомившиеся обстоятельно с внутренней жизнью европейских народов, возвратясь домой, встретили деспотизм худший того, от которого они освобождали Европу. Ме-

жду ними стали образовываться тайные общества и союзы, с целию добиться и для русского народа тех льгот и того участия в государственном управлении, которым уже пользовались другие европейские народы. Александр знал про существование этих обществ и относился к ним весьма различно, смотря по настроению духа и по влиянию, под которым он находился. Очень дурно на него действовало влияние австрийского министра Меттерниха.

Впоследствии Александр подпал под влияние мистической и мечтательной баронессы Крюднер и значительно охладел к делам государственным. Когда же происшествия вроде "семеновской истории" вызывали его из бездействия и мечтательности, – он сердился и бывал даже жесток. Наконец, в последние годы своего царствования он окончательно отдался в руки свирепого Аракчеева, предоставил ему вводить военные поселения и творить всякого рода беззакония и насилия над народом.

Когда Александр окончательно поддался аракчеевскому влиянию, лучшие члены тайных обществ ("Союз Благоденствия", главным образом) разочли, что им следует действовать, не рассчитывая на правительство, а напротив того – надо у самого императора отнять безграничную власть, которою он и пользуется и в настоящее время в России. Среди такого рода приготовлений застигла заговорщиков смерть Александра I.

Ближайшим наследником престола был второй сын Павла – *Константин*, находившийся в это время наместником в Варшаве. Петербург уже присягнул Константину, когда разнесся слух о завещании покойного императора, о добровольном отречении Константина от престола и о назначении императором третьего брата – *Николая*. И точно, Константин, будучи женат на польке не из царского звания, потерял свои права на престол. – Стали требовать новой присяги Николаю... Народ был в недоумении... Заговорщики решились воспользоваться этою минутою, склонили на свою сторону часть войска и произвели в Петербурге на Адмиралтейской площади вооруженное восстание (14 декабря 1825 г.) с целью добиться для народа конституционных льгот на английский и французский образец, а также *освобождения крестьян*. (Проект этого освобождения был представлен Николаю заговорщиками *Пестелем* и *Рылеевым* уже в то время, когда они судились за попытку 14 декабря.) Волнение было задушено военною силою; Николай воцарился над Россиею безусловно. Пять главнейших заговорщиков были повешены. Вот их имена: *Пестель*[55*], *Рылеев, Бестужев, Муравьев-Апостол, Каховский*. Множество было сослано на каторгу в Сибирь; другие на Кавказ и т.п.

Еще будучи великим князем Николай мало был любим теми, кто его знал, за свое унтер-офицерское бездушие, за ограниченный ум и крайне властолюбивые стремления. Став императором, он увидел, что русскому царю надо или сблизиться с народом, узнать народные стремления и суметь ответить на них, – или погибнуть. Первого он сделать не мог; второго, очень естественно, не хотел. Он думал удержаться насильно, – обратить все свое государство в отупевших, забитых солдат, не имеющих ни своей мысли, ни своей воли. Он стал давить всех безразлично, и даже во внешности не покровительствовал просвещению, как это делали его предшественники. Он уничтожил Виленский университет и ограничил число студентов всех других университетов. Все ученые и учебные заведения он устроил на военный лад. С любовию он занимался одним только делом: учением солдат, смотрами и парадами. В этом ему деятельно помогал младший его брат *Михаил*. Что солдатам было не легче от этого пристрастия к ним императора – и говорить нечего. Таким образом Николай собрал в России громадное войско, отлично ходившее в ногу и выделывавшее на параде невозможные фокусы военного искусства, на диво немецким князьям и принцам, которых он всегда держал во множестве при своем дворе.

Жутко жилось под его управлением народу; но народ привык к тому, что ему во-

---

55* Пестель написал *Русскую правду*, то есть как должен освободиться и управляться народ русский. Но рукопись исчезла. Была ли истреблена правительством или спрятана заговорщиками – неизвестно, только ее нигде нельзя отыскать.



КАРИКАТУРА НА СОЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИКОЛАЕВСКОЙ РОССИИ

Рисунок неизвестного художника из семейного альбома Герценов

Международный институт социальной истории, Амстердам

обще жить жутко; в сущности, и при лучших царях не много видал он себе добра. Высшие классы, привыкшие к царскому покровительству, вдвойне терпели, но предпринять ничего не могли, ибо сами по себе они не составляют силы, а сочувствия к себе народного ничем не заслужили. Все думали, по крайней мере, что Россия сильна на славу, что ее все боятся в Европе, и этим удовлетворяли свою народную гордость.

И России, точно, боялась вся Европа, знавшая о ее несметном, на славу вымуштрованном войске. Николай вел войны с Турциею, с Персиею (1829), и обе с успехом. В 1830 г. он задавил вспыхнувшее в Польше восстание. В 1849 г. он задавил венгров по дружбе к австрийскому императору, а больше для того, чтобы показать, что его воля служит законом и не для одной только России. В это же самое время горсть молодых людей, больше из учащихся и писателей, задумала составить между собою братство с тою целию, чтоб сблизиться с народом, распространять в нем научные сведения и с народною помощью добиться для крестьян уничтожения крепостного права и надела землею; для себя возможности мыслить и говорить свободно, служить честно своему народу, а не капризу царскому. Полиция проведала о их сходках; их судили и приговорили сперва к расстрелянию, но император смилостивился и сослал их только на каторгу. Так пострадали *Петрашевский, Спешнев, Дуров, Достоевский* и еще другие.

В 1854 г., выведенные из терпения высокомерием Николая, Англия и Франция решили попытать на деле: так ли силен русский царь, как кажется издалека. Началась *Крымская война.* Солдат дрался храбро; и теперь еще с почетом отзываются о нем и самые враги. Но ружья, годные для парада, оказались негодны для военного дела. Начальство умело только сечь и грабить... Севастополь пал. Николай был оскорблен, унижен. Говорят, он отравился; если ж это неправда – то он кстати умер. Продолжать царствовать по-прежнему было уже нельзя. Иначе царствовать он, конечно, не сумел бы.

В самые тяжелые годы царствования Николая бывший московский студент

А.И. Герцен, преследуемый за вольный образ мыслей, уехал за границу и там завел вольный типографский станок, приглашая всех, кто любит народ русский, присылать к нему сочинения о том: как следует поступать просвещенным людям России, чтобы сблизиться с народом, от которого их отчуждили петровские преобразования, – как помочь народу добиться того, что́ ему всего нужнее: "Земли и Воли".

Когда умер Николай, Герцен написал к новому императору Александру II ⟨письмо⟩, в котором излагает ему свое мнение о тех преобразованиях, которые безотлагательно должны быть осуществлены. Преобразования эти, во-первых, *освобождение крестьян с землею без выкупа*; во-вторых, *свобода вероисповеданий и печатного слова*; в-третьих, *созвание Земского Собора из выборных всей земли русской*, чтобы сделать новую раскладку повинностей, изменить рекрутчину и пр.

Необходимость этих реформ понимал и сам император. Будучи еще наследником, он езжал по России и знал, что ненадолго потерпит крестьянин гнет власти барской. Во время Крымской кампании мужики должны были поставить ратников, которые сражались храбро, вернулись израненные или же с почетным крестом на груди. Заставить терпеть побои от помещика людей, только что претерпевших вражьи ядра и пули, – нечего было и думать. Освободить одних ратников и оставить в неволе их братьев, отцов – было тоже дело несбыточное. И царь порешил уничтожить крепостное право. Много толковали о том: с землею или без земли надо освободить крестьян? Освобождение без земли, разумеется, было бы одною только пустою формою: безземельный батрак хуже крепостного раба; последнего хозяин должен хоть кормить и одевать, а до наемного батрака никому нет дела. Чтобы не обидеть ни крестьян, ни помещиков, – царь порешил наделить крестьян землею, а за землю назначить выкуп. Оценить землю предоставлено, однако же, помещикам; крестьянин же либо должен брать землю в той цене, которую назначил помещик, либо же идти на *задельную повинность*, т.е. в те же крепостные, только со всеми невыгодами наемного батрачества.

А что было потом – то ведомо всем и каждому. Что будет? – того не ведает никто. Бог даст, и лучше будет; только не следует забывать, что, по правде, земли на всех людей довольно, а забирать в пользу одного доли десятерых, которые от того остаются не при чем или почти не при чем, не есть дело правды».

* * *

В цитированом выше приложении к своей "Докладной записке" Шевелев вспоминал:

«В 1866 г. я писал в "Словенских новинах", в венгерском "Нок" ⟨?⟩. В этом же году был конгресс славян, где я с трибуны говорил очень много правды и издал брошюру на венгерском языке "Urȍsz ⟨!⟩ gang ⟨!⟩ a tótohas"[289], которая в свое время наделала много шума; все газеты говорили о ней, где агитаторов Добрянского, Ференчика и других я смешал с грязью, я их назвал лгунами и мошенниками, потому что сведения, передаваемые ими о словенах, ложны, они из-за своих корыстных целей ставят на фальшивую дорогу русских... и тем гадят наши отношения к немцам»[56*] и т.д.[290]

При этом Шевелев умолчал об изданном одновременно в Пеште под названием "Russki hlas do Slowakom" словацком переводе брошюры.

О венгерском ее издании я упоминал уже несколько раз. Шевелев, как мы видели, дважды присылал ее Огареву, но ни Огареву, ни Герцену ознакомиться с этим сочинением не пришлось из-за отсутствия под рукой человека, способного ее перевести.

Шевелев еще в мае 1870 г. показал при допросе, что в 1868 г. он познакомился с редактором пештской словацкой газеты "Slowenske Nowiny" Я.-Н. Бобулой, которого порекомендовал ему Элпидин, и привел из письма последнего выражение: "Вы себя ничем пред нами не за-

---

56* В своем прошении от 18 декабря 1872 г. Шевелев сообщал: "Что касается до брошюры "Urȍsz gang a tótohos" на венгерском языке, то она мною была напечатана в Песте в количестве 500 экземпляров, но в продажу я ее не выпускал, и это издание находится вместе с моими книгами в куфре ⟨сундуке⟩, оставленном мною и моей женою в городе Мартиньи (canton Vallais); у моей жены есть адрес этих девиц, у которых сложены наши вещи ⟨...⟩ Что касается до издания моего "Землеописания для народа", то хотя мною в типографии Герцена и было напечатано 1000 экземпляров, но только я его в продажу не выпускал, и оно хранится у m-me Charles Robert в Женеве, rue Bonnivard, № 8, где я оставил и дочь мою при отъезде" (*ГАРФ*, ф. 112, ед. хр. 86, л. 67).

явили, как будто боитесь русского правительства". Чтобы в дальнейшем избавиться от подобных нареканий, Шевелев, по его словам, напечатал в этой газете серию ультрарадикальных статей под общим названием "Русский глас к словакам" за подписью *Николай Кевелев* (или *Кевелов*). Статьи эти, по его утверждению, были направлены против нескольких западноевропейских панславистов; на самом же деле они целили в самодержавную Россию.

В связи с показаниями Шевелева, Правительствующий сенат принял эффективные меры для установления характера зарубежной публицистической деятельности арестанта. 20 ноября 1872 г. Петербургская Судебная палата предъявила ему комплект газеты "Slowenske Nowiny" за 1868 г., присланный из русского посольства в Вене вместе со словацкой брошюрой, предлагая указать, какие именно статьи принадлежат ему, Шевелеву. Шевелев отметил шесть передовиц – в №№ 116, 117, 119, 121, 122 и 129 от 26, 29 сентября и 3, 6 и 27 октября под общим названием "Письмо русского к словакам" и за подписью *Николай Кевелов*[291], а также словацкий перевод этого текста.

Член С.-Петербурской Судебной палаты П.К. Гераков, ведший дело Шевелева, направил 4 ноября 1872 г. в ректорат университета собранные материалы с просьбой сообщить, есть ли связь и "если есть, то какая именно, между статьями газеты "Slowenske Nowiny" и брошюрою "Russki hlas do Slowakom", а также нет ли между передовыми статьями "означенной газеты", не подписанными именем *Кевелев*, статей, подходящих слогом и духом к той же брошюре"[292].

"Профессор по кафедре славянских наречий, которому поручено было рассмотрение сего дела, – сообщал 12 декабря ректор университета К.Ф. Кесслер, – на первый из предложенных вопросов отвечал положительно, на второй вопрос – предположительно, но с полною вероятностию. Брошюра "Russki hlas do Slowakom" и статьи под тем же заглавием в газете отличаются между собою только шрифтом – одна напечатана *швабахом*, т.е. готическими буквами, другие же *латиницею*. Содержание их буквально сходно. Между этими статьями и другими передовыми статьями газеты нет ничего общего"[293].

"Все остальные статьи, – отмечалось далее, – писаны с большим или меньшим знанием дела, обличают в авторе известное политическое образование и направление реальное, которых нельзя найти в упомянутом "Hlas'e". Притом же в некоторых из этих статей говорится о России несколько иначе"[294].

В первых передовицах мы находим краткий обзор крестьянской политики царизма в XVII–XVIII вв. Следующие – характеризуют развитие событий в дальнейшие царствования. Особенно резкому осуждению подвергается в них Александр II и его земельная политика. Сочинение Шевелева, вероятно, произвело бы на издателей "Колокола" благоприятное впечатление, поскольку в нем варьируются отдельные положения их собственной программы. Словацкий историк Я. Орлис (наш современник) сравнительно недавно обнаружил эти забытые статьи "Миклоша Кевелова (псевдоним)" и дал им благожелательную оценку[295]. Сведений о самом Шевелеве он не разыскал.

«Правительство взяло на себя инициативу перестроить устаревшую правительственную машину, – писал Шевелев, – но его реформы не успокоили приверженцев радикальных преобразований ⟨...⟩ Александр II очень хорошо знал, что это освобождение не есть свобода, но лишь новое рабство под другим именем ⟨...⟩ Правительство знало, что подобная реформа не может успокоить и осчастливить народ, это видно из его действий ⟨...⟩ Для чего было обещать народу свободу и давать ему владельческие права без земли? ⟨...⟩ На это есть простой ответ: Александр II по окончании Крымской войны видел себя в крайне затруднительном положении: без денег, при всеобщем народном ропоте ⟨...⟩ Правительство с ужасом видело в глубине масс страшный зев красного петуха (революционное выражение) – пожара, т.е. новую пугачевщину. Что могло безнравственное правительство сделать в подобных случаях? Нужно было пуститься на шарлатанство – нужно было приступить к макиавелизму, т.е. нужно было спеть народный гимн о его будущей свободе, дворянству же говорить грозные речи о необходимости реформ. Всю эту комедию Александр II разыграл со своими приятелями, как мы видели, великолепно; декорации и костюмы были безукоризненны, на сцене недоставало только крестьянских депутатов; народ не считал важным это, потому что верил царю и во всем полагался на него. Поэтому он и аплодировал ему как лучшему актеру!.. Вот маски спали, люди начинают показываться на божьем свете в своем незамаскированном, природном положении, либерализм и псевдодемократическая политика уже отложены в архив, к дверям коего Александр II приложил свою тяжелую печать.

Он теперь снова силен, войско снова поставлено, полиция уже сильна, жандармерия троекратно увеличена, шпионы расставлены по местам с сетьми; министры, как по масштабу, одинаково кровожадны, глупы и лжецы (исключая военного министра – Милютина) ⟨...⟩ Безгласный же 35-миллионный народ, видя себя ошеломленным во всех этих разбойствах, видя себя слабым для борьбы, слабым также и для противуречия, склонил свою голову под ударами сво-



ЧТЕНИЕ МАНИФЕСТА 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН

Гравюра неизвестного художника, 1861

Литературный музей, Москва

его бездушного и бессовестного правительства ⟨...⟩ Александр же II, успокоенный тем, что хорошо разыграл свою роль, говорит крестьянам: "Другой свободы не ждите", дворянам: "Я сам владелец". Правительство, по-своему давя всякую живую мысль, идет еще далее, оно не только преследует, но и теснит всех самостоятельных и независимых писателей и выселяет их в Сибирь, не только без всякого справедливого суда и выслушания, но и в самом даже зародыше их деяний им готова ссылка в Сибирь, но выполнение этого намерения откладывается лишь для того, чтоб выиграть более удобное для себя время, т.е. когда всеобщее мнение будет на стороне правительства, – например, усмирение польского восстания, смерть наследника или же покушение на жизнь царя...»

Особенно резко обличаются в брошюре панславистские претензии русского самодержавия; словаки и другие западнославянские народности предостерегаются от тесного сближения и – тем более – от слияния с царской Россией:

"При таком запахе, при такой удушливости, а в особенности при таком положении дел в России, какой разумный человек решится советовать западным славянам соединение с русским царством, находящимся всегда в положении осадном! ⟨...⟩ Правительственный панславизм, который постоянно выхваляют подкупленные или заблудившиеся люди, ничего общего не имеет с русским народом. Что же касается до русской литературы или же лучших сочинений литературных деятелей, которые, будто, имели в виду представить мнение народа, – то это также неправда, потому что русский народ ничего общего не имеет с теперешнею литературою ⟨...⟩ Официальная Россия – это обман, это холера. Эта Россия начинается от царя и идет от жандарма к жандарму, от чиновника к чиновнику, до последнего полицейского самого отдаленного и запущенного края монархии. Каждый шаг этих ступеней приобретает, как в дантовской Bolgia[296], новые силы зла, новые ступени обманных действий и варваризма ⟨...⟩ Страшно подумать, страшно себе вообразить, что с этою пирамидою обмана и подлости вы, западные славяне, хотите соединиться, – вы, наши братья, – с людьми, каковы, например, *Хурбан, Добржанский, Ференчик* и другие, которые кланяются той пирамиде, обожают ее и тем самым одобряют ее действия и поступки против русского народа".

И Шевелев заключает:

"Не губите себя, братия-словаки соединением с официальною Россиею, ибо это делает между вами только разъединение без всякой для вас пользы"[297].

Приговоры Сената по делу Шевелева пестрят цитатами из его показаний, подчеркивающи-

ми виновность арестанта в политических преступлениях против самодержавия и самодержца. Таким образом прежние самолюбивые стремления отставного подпоручика считаться "государственным преступником" оказались реализованными. Но и от своих чисто уголовных прегрешений ему все-таки избавиться не удалось. Политические претензии не принесли Шевелеву никаких благ – скорей, наоборот. Между тем, здоровье его все более разрушалось. Продолжительное пребывание в одиночных камерах было для него особенно мучительно. "Заключение само по себе тяжкое наказание, но содержание под стражей ⟨...⟩ которое выпало на долю мою, – писал он в рапорте 7 июня 1872 г., – грозит не в далеком будущем лишением рассудка. Подобное содержание, которому я подвергнут прежде разбора дела о моей виновности или невиновности, равносильно смертному приговору и, кажется, не может входить в цели закона; закон достаточно силен над каждым, и если б желал подвергнуть виновного более строгому наказанию, то мог бы иметь для того достаточно средств, не прибегая преждевременно к притеснениям в той форме, в какой я испытываю, заживо похороненный ⟨...⟩ изолированный от всего внешнего, лишенный сообщений и совета людей опытных, знающих процесс судопроизводства, зачумленный и отвергнутый всеми", – так резюмировал свое положение Шевелев[298].

С просьбами о замене тяжелого заключения на "более человечное" – о переводе в общее тюремное помещение III Отделения, или Петропавловской крепости, или, в крайнем случае, в "Литовскую часть", т.е. в петербургский Литовский тюремный замок, Шевелев обращался не раз, но ему, как правило, – вероятно, в отместку за двукратный побег – отказывали, а если порой куда-нибудь и переводили, то лишь на короткое время, а затем снова сажали в одиночку. "Подобное тяжелое заключение есть уже высшая мера наказания без суда. Я потерял: память, зрение, слух..." – писал несчастный в одном из следующих рапортов, жалуясь на "двухсполовиной годовое томление в казематах Парижа и России"[299].

Некоторые из прошений Шевелева написаны удручающе старческим, трясущимся почерком...

2 ноября 1876 г. смотритель петербургского тюремного замка донес градоначальнику, что "преступник Шевелев", которому вскоре предстоит публично заслушать приговор Особого присутствия Сената, "страдает расстройством умственных способностей и требует специального лечения в больнице"[300].

Узнав об этой перспективе, Шевелев направил 30 ноября сенатору Я.Я. Чемадурову следующее прошение:

"Я уже более десяти дней не встаю с постели, совершенно без сна и три дня не принимаю пищи; здешние доктора вместо сонных порошков, которые я прошу, дают мне слабительные, вследствие чего я отказывался принимать лекарства. Кроме того, честь имею почтительнейше присовокупить, что здешнее начальство 20 декабря хочет отправить меня в дом Святого Николая к этому злодею рода человеческого Дюкову[301], где мне наденут рукавицы, обреют голову и будут на темя капать холодную воду. В виду этой ужасной пытки я намерен при отправлении меня защищаться, и лучше мне пасть мертвым, нежели выдерживать такие адские мучения"[302].

Избежать своей горькой участи Шевелеву не удалось. Он был переведен в больницу для умалишенных. "Определенной формы психического расстройства" старший врач у него не обнаружил, отметив при этом, что "высказываемые припадки" вызывают сомнение[303]. Все же версия о помешательстве Шевелева восторжествовала, и его пять лет продержали в психиатрических клиниках тюремных больниц. В 1881 г. Шевелев был переведен в Вышневолоцкую пересыльную тюрьму, а затем сослан в Восточную Сибирь, в Туруханский край, где, вероятно, и умер на поселении. Год его смерти не установлен.

Так закончил свою жизнь нравственно несостоятельный и преступный человек, словно целиком вышедший из "Бесов" Достоевского. Его спутанное существование причудливо скрестилось с жизнью нескольких выдающихся личностей – Огарева, Герцена, Бакунина, Салтыкова-Щедрина, А.Ф. Кони – и навсегда закрепилось в их произведениях, письмах, судебных речах... Вынырнув на некоторое время из тумана, Шевелев снова скрылся в нем, подобно призраку, порожденному больной фантазией...

* * *

Главным и чуть ли не единственным источником сведений о Шевелеве до последнего времени являлась справочная заметка в известном "Биобиблиографическом словаре" А.А. Шилова и М.Г. Карнаковой. Вот что сообщалось там об этом "пламенном революционере":

«Ш е в е л е в Николай Александрович, дворянин Таврической губернии, отставной подпоручик. Родился около 1826 г. Разыскивался по циркулярам III Отделения от 5 и 7 мая 1871 г. Был арестован в Париже в 1871(?) г. по подозрению в принадлежности к Парижской коммуне и в феврале 1872 г. выдан русским властям и предан суду, причем выяснилось, что он был знаком с А. Герценом и М. Бакуниным и "неоднократно доставлял им крупные суммы на ре-

волюционные цели". Судился Особым присутствием Сената 23–24 февраля 1876 г. Приговор высочайше утвержден 3 июня 1876 г. по совокупности: 1) за двукратный побег из-под стражи в 1860-х годах из Спасской полицейской части в Петербурге и из курской больницы богоугодных заведений; 2) за проживание по подложным паспортам (турецкий подданный Абрамов, писец Костромской губернии Никанор Шумеев, казначей завихостской таможни Колтынин[304], князь Бенедикт Кикуатов)[305]; 3) за приобретение фальшивых печатей; 4) за похищение казенных денег; 5) за составление и издание в Женеве в 1868 г. с целью распространения в России книги "Землеописание для народа", в которой заключается дерзостное порицание установленного основными законами образа правления; 6) за составление и издание за границей сочинения "Русский глас к словакам", направленного к возбуждению неуважения и недоверия к верховной власти в России; 7) за помещение в пештской газете "Новины" статей такого же содержания, – приговорен 21 февраля 1876 г. к лишению всех прав состояния и к каторжным работам в крепостях на 10 лет. Назначенный на 5 августа 1876 г. обряд гражданской казни не состоялся в виду его "умопомешательства". В 1876–1881 гг. содержался в Николаевской больнице для душевнобольных и в больнице петербургского тюремного замка. По распоряжению Главного тюремного управления отправлен 29 мая 1881 г. из первой больницы в Вышневолоцкую пересыльную тюрьму для дальнейшей отправки в Сибирь. В 1880-х годах жил в Туринске Тобольской губернии»[306].

На основе этой заметки с небольшими, но существенными поправками и дополнениями построена небольшая справка в обзоре М.О. Клевенского "Герцен-издатель и его сотрудники" (1941), где особенно подчеркивается *неразгаданность* личности Шевелева и исключительная скудость сохранившихся о нем материалов:

«Ш е в е л е в Николай Александрович (род. около 1826 г.) – отставной подпоручик. Совершенно не выясненная личность. В 60-е годы подвергался арестам, скрылся за границу. Участвовал в пештской газете "Новины", выпустил сочинение "Русский глас к словакам". Вместе с Л. Мечниковым участвовал в составлении книжки "Землеописание для народа", напечатанной в 1868 г. в "Вольной русской типографии" в Женеве (именно в первом отделе, посвященном странам Западной Европы, Азии, Африки и Америки). Кроме того, есть некоторые основания предполагать, что он был автором книжки "Вероисповедание духовных христиан, обыкновенно называемых молоканами", напечатанной в женевской "Вольной русской типографии" в 1865 г. В конце 60-х годах Шевелев обвинял Герцена в распространении через венгерца Клапку слухов о том, что он, Шевелев, – русский шпион (слух этот циркулировал тогда за границей и даже проник в печать). Герцен в письмах к Огареву опровергал факт своего разговора с кем-нибудь о Шевелеве. В 1871 г. Шевелев был арестован в Париже по обвинению в принадлежности к Парижской коммуне и в 1872 г. выдан русским властям. Судился в 1876 г. по ряду обвинений Особым присутствием Сената и приговорен к 10 годам каторги в крепостях. Ввиду "умопомешательства", содержался в больнице для душевнобольных. В 1881 г. отправлен в Сибирь. Жил в Туринске Тобольской губернии»[307].

Имя *Шевелева* введено и в биобиблиографический словарь В.Я. Дьякова "Деятели русского и польского освободительного движения" (М., 1967), причем в двух местах: как "подпоручик неустановленной части", находившийся", в декабре 1866 г. под арестом – по распоряжению III Отделения – в Спасской полицейской части, Петербург[57*] и как "отставной поручик" – в перечне корреспондентов "Колокола", составленном М.О. Клевенским (см. выше) со ссылкой на этот словарь "Герцен-издатель). Этим ограничивается диапазон сведений в книге Дьякова о далеко не примитивной биографии Шевелева.

КОММЕНТАРИИ

[1] В.И. Даль дает следующее определение слову *молокан*: "Раскольник или еретик *молоканского* толка, который отвергает таинства и священство, иконы и все православные обряды, гражданскую власть, военную службу, т.е. всякое пролитие крови, почему и не ест мяса, а только молоко и яйца". См. также статью Н.В. Костомарова "Воспоминание о молоканах" в "Отеч. записках", 1869, № 3, с. 57–65, оцененную Огаревым в письме к Герцену как *перл* (*Огарев* II, 534).

[2] "Колокол", л. 206, 1865, с. 1690.

[3] Там же. Рецензия Огарева была напечатана в двух листах "Колокола" – 206 и 207 (в подзаголовке последнего листа опечатка: *267* вместо *207*).

[4] См. ниже его донесение от 20 апреля 1870 г.

[5] *ЛЖГ* IV, 177. – Запись Погодина о чтении им "Вероисповедания..." см. в его дневнике (*РГБ*, ф. 231.1. 35, л. 160 об).

[57*] "Воспользовавшись небрежностью охраны ⟨...⟩ он бежал и скрылся, по-видимому, за границу". *ГАРФ*, ф. 109, секр. арх., ф. 109, оп. 1, ед. хр. 306, л. 1–4.

[6] "Лит. наследство", т. 62, с. 212 (в XXVIII, 123 опечатка: *Колокол* вместо *Молокан*. – См. *ЛЖГ* IV, 204).

[7] "Лит. наследство", т. 41-42, с. 204.

[8] "Заря", 1870, №2, отд. II, с. 93–94.

[9] См. XXX, 370; "Лит. наследство", т. 41-42, с. 448 и 615; т. 62, с. 194 и 212; т. 63, с. 267; т. 64, с. 720; *ЛЖГ*, IV, 177 и др.

[10] Во время одного из допросов Шевелев похвально отозвался о штатном агенте III Отделения Романне (в его написании *Романе*). 27 апреля 1870 г. начальник Херсонского губернского гражданского управления подполковник де Лазари сообщил из Елисаветграда управляющему III Отделения генералу Н.В. Мезенцову, что, "исповедываясь" ему и рассказывая о себе и о своем намерении свести на нет революционную эмиграцию, Шевелев сказал: "Если б мне возможность была под руководством Александра ⟨!⟩ Феодоровича ⟨!⟩ Романа действовать по делу, мною предпринятому, то, я уверен, что не далее одного года все остальные двигатели, подобные Рагозину, были бы переданы в руки правительства. Г-н Роман известен мне по своей службе в Галаце, в заграничной конторе" (*ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 37–41. Об успешно проведенной Романном (Постниковым) "экспедиции" по приобретению у Герцена и С. Тхоржевского антиправительственного архива князя П.В. Долгорукова см. в книге Р.М. Кантора "В погоне за Нечаевым". Изд. 2-е. М.–Л., 1925, с. 15–26; ср. Н.Я. Э й д е л ь м а н. Герцен против самодержавия... Изд. 2-е. М., 1984, с. 254–300. Специфически хвалебная оценка Романна не помешала Шевелеву в 1872 г. сделать на него донос, обвинив в утаивании крупной суммы при покупке этого архива (см. главу 5-ю наст. работы).

[11] Судя по формулярному списку Шевелева, хранящемуся в его личном деле (*ГАРФ*), он родился в 1826 или 1827 г. – следовательно, в 1870 г. ему было около 43 лет.

[12] Очевидно, имеется в виду Г.А. Лопатин (он был высокого роста).

[13] "Лит. наследство", т. 63, с. 710–711 (письмо к П.Л. Лаврову). Нельзя не отметить, что Элпидин поддерживал с Шевелевым довольно тесные отношения; позднее он сам не избежал подозрения в связях с Департаментом полиции.

[14] См. М.Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Собр. соч., т. X. М., 1970, с. 662–672.

[15] Роман этот печатался в "Отеч. записках" в 1869–1872 г.

[16] "Лит. наследство", т. 39–40, с. 483. В сводке заграничных сведений о Шевелеве, хранящейся в фонде III Отделения, сообщалось под датой 16 января 1868 г.: "В Женеву прибыл некто *Шевелев*, привезший составленные в России молитвы для народа, которые он будет печатать в Женеве" (*ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1-я, л. 22).

[17] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 486.

[18] Не исключено, что это "Россия с Сибирью" (см. ниже). Что же касается "работы для Чернецкого", то это набор и печатание брошюры "Землеописание для народа", в которое вошла составной частью названная статья.

[19] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 488.

[20] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 22об. – *Саксон* – город в Швейцарии.

[21] Там же, л. 23.

[22] *Пест* (Пешт) – город в Венгрии; в 1872 г. был слит с городами Буда и Обуда и стал столицей Венгерского королевства – Будапештом.

[23] *Наши* – т.е. молокане.

[24] Никаких поездок по Кавказу и Крыму Шевелев в 1867 г. не предпринимал, и никаких триумфов ему там, разумеется, не устраивали.

[25] *ГАРФ*, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 85, л. 50–52. – *Получил Станислава* – т.е. орден св. Станислава.

[26] Там же, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 277.

[27] В феврале 1868 г. Огарев сломал себе ногу и до конца жизни с трудом передвигался.

[28] Упоминаемое письмо к Клапке неизвестно. Возможно, что оно и не было написано.

[29] В это время Бакунин был должен Шевелеву 500 фр.

[30] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 526.

[31] *Лелива* – это, по-видимому, венгерский эмигрант. В письмах Герцена он больше не упоминается.

[32] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 531. – Брошюра – "Землеописание для народа", вышедшая в свет в Женеве в 1868 г. См. о ней в главе 7-й наст. работы.

[33] Брошюра "Русский глас к словакам" вышла на венгерском языке в пештском издательстве "Athenaeum" под названием "Oròsz hang a Totóhas" и за подписью *Kevelov*. См. о ней ниже.

[34] В это время Шевелев жил с семьей в швейцарском городке Мартиньи.

[35] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 531.

[36] Вероятно, политический памфлет Огарева "Восточный вопрос в панораме. Рифмованные строчки", вышедший в Женеве в 1869 г.

[37] Это мог быть второй экземпляр венгерской брошюры Шевелева или ее издание на словацком языке.

[38] Вероятно, та же брошюра или ее словацкое издание. См. прим. 290.

[39] *ГАРФ*, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 85, л. 81.

[40] Вторая брошюра Огарева, вышедшая в это время: "В память людям 14 декабря 1825" (см. *Огарев* I, 782–796).

[41] По всей вероятности, статья была вызвана газетными слухами о мнимом обращении Герцена к венскому священнику М.Ф. Раевскому с просьбой исходатайствовать ему возможность возвращения в

Россию (ср. XX, 517). Сопоставление Герцена и Огарева с В.И. Кельсиевым было вызвано недавним ренегатством Кельсиева, возвратившегося в Россию с повинной головой.

[42] Судебный процесс над богатым моршанским купцом М.К. Плотициным, обвиненным в распространении скопческой ереси и в попытке дать взятку полицейским властям, состоялся в 1869 г.

[43] *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 510, л. 8–9. Упоминаемые статьи разыскать не удалось.

[44] "*Норд*" ("*Nord*") – ежедневная газета на французском языке, издававшаяся в Брюсселе при материальной поддержке царского правительства; фактически являлась его официозом.

[45] Стихотворение Огарева (1863) впервые напечатано полностью в *АО*, 300.

[46] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1. ед. хр. 84, л. 192–194.

[47] Шевелев имеет в виду молокан.

[48] *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1. ед. хр. 510, л. 6–7. Письмо публикуется впервые.

[49] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84.

[50] Эти слова, без сомнения, относятся не к Шевелеву, а к его сыну Жене.

[51] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 537.

[52] Так называемое "Мясниковское дело". В 1858–1859 гг. Шевелев служил у братьев Мясниковых в Петербурге чем-то вроде управляющего; в 1866 г. им подписано было ложное свидетельство о подделке Мясниковыми завещания их родственника купца К.В. Беляева (см. ниже).

[53] См. прим. 27.

[54] Намек на Женевское (Леманское) озеро.

[55] Факты непроверенные. Не исключено, что это измышление Шевелева. Революционный эмигрант, библиограф В.И. Касаткин, человек, весьма состоятельный, незадолго до того, в 1867 г., умер в Женеве.

[56] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 538–539.

[57] О встрече Шевелева с Герценом (возможно, вымышленной) см. в главе 5-й наст. публикации.

[58] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 23.

[59] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 546. В печатном тексте ошибочная дата: *3 апреля*.

[60] Там же, с. 548.

[61] См. прим. 57.

[62] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 550.

[63] Там же, с. 551–553.

[64] Почему Огарев называет молокана "безмолоканом", не совсем ясно. Вероятно, это связано со следующей далее лаконичной характеристикой Шевелева: "Выдающий себя за раскольника".

[65] Этот факт подтверждается показаниями Шевелева на допросах.

[66] *Толковник* – "переводчик, толкующий с одного языка на другой" (определение из "Толкового словаря" В.И. Даля. См. там же: "Св. Писание перевода семидесяти двух толковников").

[67] О какой книге идет речь, неизвестно.

[68] См. прим. 33.

[69] См. прим. 42.

[70] Шевелев намекает на припадки эпилепсии, которой, как многим было известно, страдал Огарев.

[71] Не исключено, что Шевелев действительно относился к Огареву с искренней теплотой. Во всяком случае, никаких попыток очернить или скомпрометировать его, насколько видно из следственных дел, Шевелев не предпринимал.

[72] Намек на поцелуй Иуды Искариота, ученика Христа: этим заранее обусловленным поцелуем он выдал своего учителя его истязателям.

[73] *РГБ*, ф. 69.6.38, л. 13–14.

[74] "Лит. наследство", т. 63, с. 266.

[75] См. главу 5-ю наст. публикации.

[76] Во всех доступных мне документах Шевелева и в протоколах допросов указывается только его возраст; по этой причине год его рождения приходится "вычислять".

[77] Разумеется, речь идет о пунцовом цвете лица Шевелева, а не о нанесении им грима.

[78] *ГАРФ*, ф. 109, 1871, 3 эксп., ед. хр. 68, л. 1.

[79] См. воспроизведение портрета Шевелева на с. 262 наст. книги.

[80] См. выше.

[81] *ГАРФ*. ф. 109, 1871, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 130–130 об. – В справке III Отделения, составленной со слов Шевелева, указывается, что он воспитывался в одесском Ришельевском лицее.

[82] *ГАРФ*, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 393, л. 4–4об.

[83] Там же, ф. 109, 1870, ед. хр. 41, ч. 2, л. 238–238об. – "*Страхопуд*" – сатирический еженедельник, издававшийся в Лемберге (Львове).

[84] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 83, л. 158–191 об.

[85] Там же, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 393, л. 4–4об.

[86] Там же, л. 5–6.

[87] Там же, л. 8.

[88] В 1832 г. русским дворянам была присвоена форма Министерства внутренних дел, в том числе и фуражка с красным околышем и кокардой.

[89] *ГАРФ*, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 393, л. 11–24.

[90] Там же, л. 26.

[91] Там же, л. 44–45.

[92] Имя этого арестанта не выяснено.

[93] *ГАРФ*, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 306, л. 1–1об. По агентурным данным, Шевелев бежал 27 ноября (см. там же, л. 2).

[94] Там же, л. 4. – На полях помета Шевелева: "Нельзя ли в этом убедиться?".

[95] Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 67об.

[96] Там же, л. 67об. Возможно, что в это время у Шевелева в III Отделении была своя рука.

[97] Там же.

[98] См. главу 4-ю.

[99] Брошюра революционного эмигранта А.А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела. Ответ г. Герцену на статью "Порядок торжествует"» с грубыми нападками на издателей "Колокола" вышла из печати в Женеве в мае 1867 г. См. о ней в публикации Б.П. Козьмина "Александр Серно-Соловьевич. Материалы для биографии" ("Лит. наследство", т. 67, с. 702–703).

[100] Это письмо Огарева к А.А. Герцену неизвестно, так же как упоминаемая далее переписка.

[101] Пышно оформленный диплом (пергамент) на имя Шевелева от 19 декабря 1867 г., подтверждавший его избрание патрицием карликовой республики Сан-Марино, сохранился в его следственном деле (*ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 304). Здесь же сан-маринский паспорт Шевелева от 30 марта 1869 г. (л. 302).

[102] О каком родственнике Е.И. Рагозина идет речь, неизвестно.

[103] Друг Чернышевского – П.И. Боков. Что касается Крупова – то это фамилия главного героя герценовской повести "Доктор Крупов" и одного из главных персонажей его романа "Кто виноват?".

[104] "Вероисповедание духовных христиан".

[105] Книжка известного революционного деятеля и ученого И.А. Худякова (*Игнатий* – его псевдоним, кстати сказать, не попавший в четырехтомный "Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей" И.Ф. Масанова). Издавна Вольной русской типографией в Женеве. Точное название брошюры: "Для истинных христиан". См. объявление о ее печатании в "Колоколе", 1865, л. 207 от 1 ноября.

[106] Упоминаемая переписка Шевелева с Элпидиным неизвестна.

[107] См. подробно об этих статьях в главе 7-й.

[108] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 236об. – 2-й Славянский съезд состоялся в Праге (май 1868г.) в связи с закладкой Чешского национального театра. В анонимном отчете "Славянский съезд в Праге и годовщина съезда в Москве" (М., 1868) упоминаний о выступлении Шевелева нет – явно из цензурных соображений: оно имело антицаристский характер (см. XX, 785).

[109] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 106–107.

[110] Там же, л. 195.

[111] О так называемом "бахметевском фонде" и возникшем в связи с ним конфликте между Герценом и "молодой эмиграцией" см. подробно в "Былом и думах" (XI, 344–352). Русский молодой человек, вручивший Герцену в августе 1857 г. крупную денежную сумму, – П.А. Бахметев. Письмо его к Герцену напечатано в "Лит. наследстве", т. 41-42, с. 526.

[112] Об этом *Николае Ивановиче* см. в прим. 123.

[113] *Дискир* – вид на жительство.

[114] Фамилия этого врача неизвестна.

[115] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 110–111.

[116] Упоминаемая личность не установлена.

[117] *Агапий* (Андрей Гончаренко) – дьякон русской посольской церкви в Афинах, корреспондент "Колокола". Переехав в США, он стал выпускать газетку на русском языке под названием "Свобода". Его переписка с Шевелевым неизвестна.

[118] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 384об. – *Балабанов* – фамилия молодого болгарского революционера, входившего весной 1869 г. (в Женеве) в состав делегации болгарских демократов для совещания с Герценом и Бакуниным; болгарские делегаты обещали зарубежным руководителям русского общественного движения содействие в переправке агитационной литературы через румыно-русскую границу (см. К.А. П о г л у б к о. Очерк истории болгарско-российских революционных связей (60–70-е годы XIX века). Кишинев, 1972, с. 132; ср. "Лит. наследство", т. 96, с. 466).

[119] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 128–128об. – Как предполагается, Нечаев нелегально перебрался через русско-прусскую границу в декабре 1869 г. и, прежде чем отправиться в Женеву, съездил на несколько дней в Одессу и прилегающие к ней области Молдавии, где пытался создать отделения своей организации (см. В.Я. Г р о с у л. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе (1859–1874 гг.). Кишинев, 1973, с. 354–419). Публикуемые мной разрозненные сведения из показаний Шевелева как будто подтверждают этот факт, но в то же время все они требуют дополнительного осмысления и проверки. Сенатор Я.Я. Чемадуров, ведший дело Шевелева, утверждал в донесении от 5 июня 1870 г., что Нечаев не мог быть в Измаиле в декабре 1869 г. (см. *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 346об.).

[120] См. ниже, в след. главе.

[121] Это известное изречение принадлежит не Бакунину. Обычно оно приписывается Талейрану, но встречается еще у античных писателей, затем у Вольтера.

[122] Речь идет о Нечаеве.

[123] Для выяснения, что собой представляет этот выдающийся революционный эмигрант, была предпринята попытка разузнать "о личности, именуемой Николаем Ивановичем". "По собранным сведениям подтверждается, – сообщалось Мезенцову, – что в селе Чучьме в Молдавии проживает некто Николай Иванович, прибывший туда в октябре или начале ноября 1869 года вместе с братом своим, но последний

вскорости из Чучьмы неизвестно куда скрылся. Николай Иванович в прошлом году бежал из России, имеет от роду 22 и не более 25 лет, росту выше среднего, блондин, волосы на голове, усах и небольшой бородке светлорусые, зубы редкие, лицо продолговатое, худощавое, нос немного с горбом, умеренный, глаза большие, но цвета их нельзя было приметить по причине плотно прилегавших синих очков, говорит заметным московским наречием, и вообще этот Николай Иванович – личность крайне подозрительная, судя по всем доставленным мне о нем сведениям, так что не только настоящая его фамилия, но даже и та, под которой он проживает в Молдавии, мало кому известна, и почти все знают его только по имени и отчеству. Брат его до побега из России занимался обучением малолетних арестантов в московском тюремном замке и примет следующих: росту среднего, полноватый, глаза черные, борода черная, окладистая, на голове большая лысина. Но брат ли его этот человек, в действительности, того не известно положительно, но, по крайней мере, по слухам, оба они первоначально были арестованы молдавскими властями близ местечка Тузлово за неимение письменного вида и затем были известны всем в Чучьме как братья.

По прибытии в Чучьму упомянутый Николай Иванович принял молдавское подданство, сперва был учителем русского языка в Чучьменском училище, но потом, около двух месяцев тому назад, оставив должность, поступил в тамошнюю подпрефектуру для переписки бумаг и, проживая в Чучьме, часто, однако, отлучается в город Измаил по каким-то делам. В настоящее время учителей из русских в Чучьме ни одного нет; эмигрантов же русских и из поляков как в Чучьме, так и вообще в Молдавии, как говорят, весьма много, и все они пользуются покровительством тамошних властей, которые всячески покрывают их; сами же эмигранты, конечно, скрывают тщательно все до них касающееся и смотрят крайне подозрительно и недоверчиво, на всякие о них расспросы лиц, прибывающих из России, так что малейшие сведения об этих эмигрантах, даже самыми тайными путями, чрезвычайно трудно добыть из Молдавии, и потому других каких-либо сведений относительно Николая Ивановича до сих пор нельзя было иметь" (*ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 144–145). В 1865 г. он жил в Милане.

[124] Девиз основателя ордена иезуитов Лойолы. Им в своей деятельности руководствовались и Нечаев, и Шевелев. Как отмечал в своей книге "Русская секция Первого интернационала" Б.П. Козьмин, последователи Бакунина в разгаре борьбы "считали допустимым применять по отношению к противникам "любые средства: и ложь, и клевету, и запугивание, и даже меры физического воздействия" (М., 1957, с. 64).

[125] Об этой морской экспедиции революционеров-волонтеров, отправившихся на помощь восставшей Польше, см. в главе "Былого и дум", озаглавленной «Пароход "Ward Jackson"» (XI, 387–390).

[126] Антонина Ксаверьевна Бакунина, урожденная Квятковская.

[127] В своих воспоминаниях "М.А. Бакунин в Италии в 1864 г.". Мечников, возможно, коснулся этой истории, но в напечатанном фрагменте, ("Исторический вестник", 1897, № 3), вероятно, были сделаны купюры, и никаких следов ее там нет.

[128] Жена известного художника Н.Н. Ге Анна Петровна. Она была сестрой скульптора П.П. Забелло, автора надмогильного изваяния Герцена в Ницце. Мечников позднее вспоминал об этом человеке, имя которого навсегда связано с именем Герцена: "Из постоянных жителей Флоренции более других выделялся скульптор З⟨абелл⟩о, один из красивейших представителей малороссийского чумацкого типа ⟨...⟩ человек, далеко не лишенный энергии и недюжинный ⟨....⟩ З⟨абелл⟩о много читал, преимущественно Прудона и Герцена, и умел хорошо переваривать прочитанное. К сожалению, опутанный, с одной стороны, финансовыми затруднениями, из которых он никогда не выходил, с другой стороны, увлеченный своими успехами в обществе, он слишком рано опустился, осел в каком-то чувственном эгоизме, которому его изящная наружность и его склонный к парадоксам, но блестящий и гибкий ум придавали некоторые чайльдгарольдовские оттенки ⟨...⟩ Всегда недовольный собою и другими, он переходил от одной крайности к другой; то искал развлечений и знакомств, то без всякого повода лез на ссоры; говорил незаслуженные грубости вчерашним своим друзьям; отравлял жизнь своей красивой и чрезвычайно деловитой швейцарке-жене" (цит. изд., с. 817–818).

[129] Итальянский адвокат К. Гамбуцци, возлюбленный А.К. Бакуниной, потом ее законный муж и отец ее детей.

[130] *И.И. Иванов* – слушатель Петровской земледельческой академии, убитый под Москвой 21 ноября 1861 г. группой членов нечаевского тайного общества "Народная расправа" при непосредственном участии Нечаева.

[131] Эта часть показаний Шевелева позднее стала известна "элпидинской" группе женевских эмигрантов, потребовавших у него отчета за совершенное им предательство.

[132] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 126–129; ср. сб. "Нечаев и нечаевцы", М.–Л., 1931, с. 5, 50–55 и 219.

[133] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 128.

[134] Там же, л. 129.

[135] См. там же, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 3–5.

[136] Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 82, л. 1–1об.

[137] Там же, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 5.

[138] Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 82, л. 4.

[139] Там же, л. 5об.

[140] Там ж, л. 11. Протокол этот значится вторым, т.к. первый представлял собой описание обыска у Шевелева.

[141] Там же, л. 5.

[142] См. прим. 11.

[143] См. прим. 10.

[144] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 82, л. 18–20.

[145] Имеется в виду Н.И. Жуковский, принадлежавший к числу ближайших последователей Бакунина. "Эмиграция делилась тогда на две части, – писал в своих воспоминаниях М.П. Сажин. – Большая, имея во главе Бакунина, состояла из Огарева, Жеманова, Елпидина, Мрочковского, Мечникова, а другая из Утина, Трусова и женщин ⟨...⟩ К первой же группе принадлежал и Нечаев» (М.П. С а ж и н (Арман Р о с с). Воспоминания о М.А.Бакунине. М., 1926, с. 11–12).

[146] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 383.

[147] Предположение о зловещей роли французских полицейских властей в скоропостижной кончине Герцена могло возникнуть вследствие мер, принятых в Париже при похоронах писателя, который незадолго до того имел совершенно здоровый вид (см. мой обзор "Отклики на смерть Герцена по материалам иностранной печати и "пражской коллекции" в "Лит. наследстве", т. 63, с. 537–538).

[148] Шевелев был уверен (и, вероятно, не он один), что Герцен умер не естественной смертью, а был умерщвлен нечаево-бакунинской "партией действия", рассчитывавшей добиться от его наследников выдачи второй половины "бахметевского фонда" (см. прим. 111).

[149] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 127–129.

[150] Там же, ед. хр. 82, л. 22 и 26.

[151] Там же, л. 30.

[152] Там же, ед. хр. 84, л. 31.

[153] Там же, л. 26об.

[154] Там же, ед. хр. 82, л. 39.

[155] Там же, л. 31.

[156] 4 мая Кноп сообщил Мезенцову: «Вчерашнего числа я получил ответную телеграмму из Ментоны близ Ниццы ⟨...⟩ следующего содержания: "Г-жа Шевелева находится у меня в Немецком пансионе, Ментона. Ее муж покинул ее семь месяцев тому назад, совершенно нищей; должна 4500 франков". Телеграмма подписана: П у п п о» (*ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 68). Текст "Г-жа Шевелева ~ Пуппо" дается здесь в переводе с французского.

[157] Письмо Шевелева к г-же Ро-Понти неизвестно.

[158] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, ед. хр. 41, ч. 1, л. 55–58.

[159] Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 85, л. 35–36.

[160] Там же, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 115–117.

[161] См. прим. 132.

[162] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 131–132.

[163] Там же, л. 112–113.

[164] Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 85, л. 37.

[165] Там же, л. 38.

[166] Там же, л. 39–40об.

[167] Там же, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 44–46 и 38–40.

[168] Там же, л. 38–40.

[169] Там же, л. 43.

[170] Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 85, л. 41об.–42.

[171] *В РГАЛИ* сохранилось три письма, написанных рукой Шевелевой и от ее имени к Огареву (они упомянуты мною в т. 62 "Лит. наследства", с. 860). Как явствует из настоящего ее показания, подлинным автором писем был ее муж, а не она. Письма публикуются ниже в последней главе наст. работы.

[172] "Исповедь" Кельсиева напечатана в "Лит. наследстве", т. 39–40, с. 253–470.

[173] Вероятно, эти "нежности" объяснялись не только перспективой получения от Шевелева крупной субсидии, но и сознанием (впрочем, весьма непродолжительным), что он действительно участвует в революционном деле и пострадал за него. Все это располагало к благожелательности.

[174] Об этой записке ничего не известно.

[175] *Фома* – один из учеников Христа. По евангельской легенде, он с крайним недоверием отнесся к рассказу о распятии и воскресении своего учителя и выразил желание ощупать его смертельные раны, чтоб убедиться в ральности случившегося (*от Иоанна*, 20, 24–29). *Фома неверный* – т.е. недоверчивый – олицетворение крайней подозрительности.

[176] *Далмацкая инсуррекция* – вооруженное народное восстание в Далмации (область Югославии) против австрийского владычества – началась в 1869 г.

[177] *в геогнологическом отношении* – т.е. в отношении древности земных напластований.

[178] *Брандер* – зажигательный снаряд.

[179] Судебный процесс Элпидина с швейцарским издателем-книгопродавцем Б. Бенда состоялся в 1868 г. Он был вызван нарушением Элпидиным контракта на совместное издание Собрания сочинений Чернышевского. Бенда, предоставив в кредит бумагу и средства к тиражу, получал взамен право быть единственным депозитором издания, – поясняет биограф Элпидина. "Дефицит после выпуска I тома составлял 294 фр. 75 сантимов, после II тома – 1870 фр. 58 сантимов". При издании III тома Элпидин отказался от невыгодного договора с Бендою, что и вызвало судебное разбирательство, в результате которого Элпидин обязался выплачивать Бенде долг (М.Т. П и н а е в. М.К. Элпидин – революционер, издатель и пропагандист наследия Н.Г. Чернышевского. – сб. "Некоторые вопросы русской литературы". Уч. зап. Волгоградского гос. пед. ин-та им. А.С. Серафимовича, вып. 21. Волгоград, 1967, с. 23–37).

[180] Первое Собрание сочинений Чернышевского выходило с весны 1868 г. В каждом из томов печатались подробные отчеты о полученных и израсходованных на издание деньгах. В томе третьем, выпущенном в свет раньше второго (1869), опубликована была заметка (вероятно, Элпидина) "От издателей", где подробно излагались финансовые условия издания и указаны были убытки по каждому тому.

[181] О женевском журнале "Народное дело", выходившем в свет с 1 сентября 1868 г., см. подробно в книгах: Б.П. К о з ь м и н. Русская секция Первого интернационала. М., 1957, с. 70–278; Е.Л. Р у д н и ц к а я. Русская революцинная мысль. – Демократическая печать. 1864–1873. М., 1984, с. 128–285.

[182] Письмо Чернышевского к Элпидину или к его сотоварищам с протестом против выпуска в свет его зарубежного собрания сочинений неизвестно. Существование такого письма представляется маловероятным, однако в некоторых источниках встречаются схожие упоминания (ср. запрос шефа жандармов к губернатору Восточной Сибири от 12 ноября 1868 г. в связи с получением эмигрантами за границей "словесных инструкций и письма от государственного преступника Чернышевского" – "Забайкалье", 1950, т. IV, с. 236–237).

[183] По-видимому, имеются в виду не личные выступления в печати Элпидина, а высказывания отдельных представителей "молодой эмиграции" (см. обзор Н.М. Клевенского "Н.Г. Чернышевский в нелегальной литературе 60-х–80-х годов". – "Лит. наследство", т. 25-26, с. 551–575); в автографе, рядом со словами: "Вы назвали ~ убеждений" П.А. Шуваловым поставлен вопросительный знак.

[184] Не исключено, что слухи о политической эволюции Чернышевского в сторону либерализма нарочно распускались его родными (напр., А.Н. Пыпиным) в надежде облегчить его судьбу, повлиять на правительственные круги с целью его досрочного освобождения. В какой-то мере, впрочем, эволюция эта действительно имела место.

[185] Вероятно, имеется в виду увлечение А.А. Серно-Соловьевича рабочим движением и I Интернационалом.

[186] О покупке в 1869 г. за рубежом по заданию Александра II антиправительственного архива князя П.В. Долгорукова агентом-провокатором К.А. Постниковым (Романном) см. в прим. 10.

[187] Часть документов из архива Долгорукова, не представлявших особого интереса и безопасных в идеологическом отношении, Постников выпустил в виде тощего томика на французском языке (Женева, 1870), остальные же автографы увез в Петербург.

[188] Здесь и далее явно клеветническая характеристика С. Тхоржевского, многолетнего помощника и почитателя Герцена и Огарева. Тхоржевский был беззаветно предан своим "шефам" и их семьям. Правда, он отличался простодушием и не всегда был достаточно сдержан. Доверяя Постникову, он, возможно, иногда проговаривался, поскольку видел, что и Герцен, и Огарев вполне доверяют его собеседнику.

[189] Намек на политическое кредо крестьянина-эмигранта П.А. Мартьянова, который, ненавидел крепостное право и критически относился к воплощению в жизнь крестьянской реформы, но в то же время восторгался Александром II, "снявшим цепи с народа" (см. о нем XVIII, 11–15 и в кн. М.К. Лемке "Очерки освободительного движения...", изд. 2-е. СПб., 1908, с. 333–356).

[190] Чьи это инициалы, неясно. Быть может, самого Шевелева.

[191] Изречение из Евангелия (*Послание римлянам*, 13, 1–6).

[192] Изречение из Евангелия (*от Матфея*, 22, 15–21).

[193] К публикуемой "Докладной записке" Шевелевым был присоединен адресованный Шувалову донос на родителей художника-передвижника И.М. Прянишникова. Приведу из него лишь несколько строк для характеристики тона и слога: "Мать живописца и капитана Прянишникова, жена бывшего начальника Завихостского таможенного округа, в полном смысле развратная женщина; за старостию Прянишникова, грешила с чиновниками-поляками и русским попом Зябловским, во главе которого (!) стоял чиновник особых поручений Залеский (кажется, так), ее любовник, управляла таможенным округом. Весь округ, кроме нижних чинов пограничной стражи и офицеров из нижних чинов, активно или пассивно принимал участие в мятеже" и т.п. (*ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2. л. 237–238об.).

[194] Мечников был деятельным участником итальянского освободительного движения, в частности штурма гарибальдийскими войсками Неаполя. Его тяжело ранило 1 октября 1860 г. в битве при Капуе.

[195] Статья Мечникова «Прудонова "новая теория собственности"», напечатанная в л. 218 "Колокола" от 15 апреля 1866 г.

[196] Встреча Шевелева с Герценом в 1868 г. вряд ли могла иметь место. Герцен высоко ценил Мечникова, но в его переписке порой встречаются и осуждающие высказывания.

[197] Эта характеристика Мечникова имеет явно клеветнический характер. Хорошо знавший его Плеханов видел в этом незаурядном человеке "одного из самых замечательных и самых симпатичных представителей того поколения 1860-х годов, которому много обязана наша общественная жизнь, наша наука и литература" (Г.В. П л е х а н о в. Соч., т. VII. М., 1925, с. 329).

[198] Мечников вспоминал о жене Бакунина: "В Антосе мне не понравились стальные холодные глазки (...) Несколько суховатая, с короткими завитыми волосами, Антося по временам казалась очаровательною девочкою, чаще смахивала она на мальчика, но женщиною я ее не видал никогда" ("Исторический вестник", 1897, № 3, с. 811–812).

[199] "*Современность*" – женевский журнал, издававшийся с апреля по сентябрь 1868 г. Выходил под редакцией Мечникова и Н.Я. Николадзе. Вышло 7 номеров (все в типографии Элпидина).

[200] Итальянские грамматики на русском языке, разумеется,тогда уже существовали. По одной из них, например, изучал итальянский язык Герцен во время ареста в 1834 г. (см. VIII, 186).

[201] Н.И. Мечников в 1858 г. был отдан под строгий секретный надзор полиции за участие в студен-

ческих "беспорядках" в Харьковском университете (см. *А.А. Шилов и Л.Г. Карнаухова.* Деятели революционного движения в России, т. 1, ч. 2. Шестидесятые годы. М., 1927, стлб. 242.

[202] Последнее, поистине зловещее слово вызвало даже у шефа жандармов недоумение; он сопроводил его вопросительным знаком на полях.

[203] Вероятно, намек на подозрительный успех бегства Шевелева из курской больницы. Мечников предполагал, очевидно, что Шевелев совершил его не без помощи полиции или III Отделения.

[204] Имеется в виду Нечаев.

[205] Этот ответ Бакунина на запрос "Народного дела" (о деятельности Нечаева в России) неизвестен.

[206] Весной 1870 г. оканчивался срок временнообязанных отношений между крестьянами и помещиками. Бакунин, Нечаев и "элпидинская группа" рассчитывали на то, что недовольное реформой крестьянство взбунтуется, и готовились к этому событию, намереваясь возглавить его. Этой иллюзией был тогда проникнут и Герцен. – *Интернационалисты* – члены и сторонники I Интернационала, созданного К. Марксом. Среди членов "Интернационалки" была немалая группа русских.

[207] Текст "кто знает ~ Нечаеве" отчеркнут Шуваловым; на полях им проставлен знак *NB* (см. в т. 96 "Лит. наследства" публикацию С.В. Житомирской и Н.М. Пирумовой «Огарев, Бакунин и Н.А. Герцен-дочь в "нечаевской" истории (1870 г.)». Большое место занимают в ней взаимоотношения Бакунина и Нечаева).

[208] См. прим. 179.

[209] См. прим. 105.

[210] Стих 9-й из 16-й главы Евангелия "От Луки святое благовествование": "И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители". – Брошюру "Назидание верующим" разыскать не удалось.

[211] В протоколах допросов Шевелева этого показания нет.

[212] На полях помета Мезенцова: "Нужно стараться достать".

[213] Эта книжка, вероятно, переиздана не была.

[214] Автор брошюры не установлен.

[215] Текст "как это ~ говорю" и предыдущие два абзаца отчеркнуты Шуваловым. На полях *NBNB*.

[216] А.А. Серно-Соловьевич, как указывалось выше, покончил с собой.

[217] Слова "Вот что случилось в Вологде" отчеркнуты Шуваловым; на полях его помета "*NB спросить*".

[218] В конце 1850-х годов среди учащихся вологодской духовной семинарии возник кружок, в котором обсуждались произведения Герцена, Некрасова, Бакунина, Чернышевского, Фейербаха и др. Местные власти, обеспокоенные случаями антиправительственной агитации среди крестьян, произвели в ночь с 15 на 16 июля 1862 г. обыски в здании духовной семинарии, на квартире исполняющего обязанности ректора А.Я. Попова и нескольких семинаристов. С особым усердием полиция искала произведение атеиста Л. Фейербаха "Дух христианства". Арестовано было несколько человек – Румянцев, Кедровский, Благовещенский и др. Архиереем в это время был Христофор (Емауский), которому вскоре удалось заглушить это дело и добиться освобождения арестованных (см. сб. "Вологодский край", вып. 2-й. Вологда, 1960, с. 297–306). Об этой истории рассказывает М.П. Сажин (Арман Росс) в своей книге "Воспоминания 1860–1880-х годов". М., 1925, с. 27; см. также: А.А. П о п о в. Воспоминания причетнического сына. Из жизни духовенства Вологодской епархии. Вологда, 1913, с. 90–161.

[219] Будучи студентом Казанского университета, Элпидин в 1863 г. был арестован и привлечен к делу о распространении прокламаций "Земли и воли" (так называемый "Казанский заговор").

[220] Фамилия *Фердиновский* отчеркнута Шуваловым; на полях им проставлен знак *NB*. Фамилия в автографе искажена. Должно быть: *Фрязиновский*.

[221] Эти письма неизвестны.

[222] Дело о вологодских семинаристах рассматривалось в Правительствующем сенате, решение которого сообщено было 9 января 1864 г. в Вологодском уездном суде. – Следующий далее текст (до слов "так счастливо отделался") отчеркнут Мезенцовым на полях и снабжен вопросительным знаком.

[223] Намек на убийство И.И. Иванова (см. прим. 130).

[224] Отчеркнуто Мезенцовым. Помета его на полях: *Герард*?

[225] См. прим. 206.

[226] Эта записка Мечникова неизвестна.

[227] Женевская газета "Egalité" – орган романдской федерации I Интернационала. Руководителем газеты в это время был Бакунин.

[228] На полях надпись Мезенцова: "Где ж деревня, велика ли она и как там отыскать учителя Н.И.?" (см. прим. 123).

[229] См. главу 3-ю наст. работы.

[230] Абзац отчеркнут Шуваловым. На полях им проставлен вопросительный знак и *NB*.

[231] Намек на стычку Жеманова с А.Я. Щербаковым, завершившуюся рукоприкладством: силач Жеманов выбросил своего собеседника из окна.

[232] См. прим. 130 и 223.

[233] Начиная со слова ВЛАСТЬ до конца абзаца текст отчеркнут на полях Шуваловым и снабжен пометой *NB*.

[234] В конце 1869 г. был арестован польский революционный эмигрант Я. Домбровский. В июле 1870 г. он предстал перед французским судом с тремя своими "сообщниками", ложно обвиненный в изготовлении фальшивых русских ассигнаций. Хотя невиновность Домбровского была доказана и суд оправдал его, компрометирующие слухи о нем намеренно продолжали распространяться во Франции и России.

[235] Эти эпизоды Шевелев, вероятно, не записал. – В прапорщики он был произведен, как видно из его формулярного списка, во время Крымской войны, 15 мая 1855 г.

[236] *Буассон* – женевский фотограф. Отмечу, что в его фотографическом салоне продавались фотокарточки Чернышевского, томившегося тогда в сибирской тюрьме (см. XXIX, 552).

[237] Строка отчеркнута Шуваловым. На полях им проставлена помета: *NB.*

[238] Судя по письмам Озерова к П.Л. Лаврову, в Париж ему в это время выбраться не удалось (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 460).

[239] В составленном позднее русским посольством списке польских эмигрантов, "состоящих на службе у Коммуны", числятся и Йозеф Вилькошевский ("национальный гвардеец, освобожден из Мазаса, где находился за выпуск фальшивых векселей") и его брат Этьен (сб. "Парижская коммуна". М., 1956, с. 147).

[240] Эти номера ежедневной парижской газеты "Gaulois" разыскать не удалось.

[241] О какой фабрике идет речь, неясно.

[242] *Товянизм* – учение польского мистика середины XIX в. А. Товяньского.

[243] Письмо это неизвестно.

[244] Во время Франко-прусской войны Нечаев долго находился в Париже. Что же касается Бакунина, то в Лионе он прожил несколько более двух недель, еще до провозглашения Парижской коммуны (с 11 по 28 сентября 1870 г.).

[245] *Баденге* – прозвище Наполеона III; здесь имеются в виду сторонники императора.

[246] *Шаспо* – игольчатое ружье, техническая новинка того времени.

[247] Какую из немногочисленных русских участниц Парижской коммуны так карикатурно изобразил здесь наш "поклонник всего изящного и прекрасного", не установлено.

[248] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 227–228.

[249] Там же, л. 72–73об.

[250] Архив Министерства иностранных дел, фонд русского посольства в Париже (Версале), ф. 1034, оп. 524, л. 5. Датировано 6 июля 1871 г. н.ст.; ср. там же, л. 6 и 7.

[251] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед.хр. 41, ч. 2, л. 229–230.

[252] Там же, л. 85. – Подлинник на французском языке.

[253] Там же, л. 90–93.

[254] Эти письма Шевелева неизвестны.

[255] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед.хр. 41, ч. 2, л. 232об.

[256] Там же, л. 144–145.

[257] Там же, ед.хр. 84, л. 375–375об.

[258] Ср. там же, с. 378.

[259] Там же, ф. 109, оп. 1, ед.хр. 41, ч. 2, л. 109.

[260] Там же, л. 107–107об.

[261] Там же, л. 109.

[262] "Лит. наследство", т. 63, с. 860, где письмо датировано 22 февраля. Процесс Мясниковых, начавшийся 17 февраля *ст.ст.*, к этому времени был уже завершен.

[263] *ОЗ*, 1872, № 3, отд. II, с. 78–84.

[264] См. это письмо в кн. 1-й наст. тома.

[265] "Сын отечества", 1872, № 50, 5 марта.

[266] "Искра", 1872, № 9, 5 марта, с. 134–135. "Письмо" подписано: *Поклонник адвокатов безукоризненной честности.* Корреспондент еженедельника "Гражданин" охарактеризовал Шевелева как "русского коммуниста", "раненного на парижских баррикадах", "оригинальную и весьма сомнительную личность" (№ 10 от 6 марта).

[267] "Биржевые ведомости", 1872, 5 марта.

[268] *Мазас* – парижская тюрьма предварительного заключения.

[269] См. главу 7-ю наст. работы.

[270] Речь идет о манифестациях, вызванных "чудесным спасением" царя при покушении на него Каракозова.

[271] *Трактирный господин* – т.е. шпик низшего разряда, соглядатай в гостиницах, питейных заведениях и харчевнях.

[272] Гоголевский Чичиков. Приводится его реплика из разговора с Собакевичем в главе IV "Мертвых душ".

[273] *ГАРФ*, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед.хр. 41, ч. 2, л. 122–123.

[274] Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 86, л. 14.

[275] "*Славянский базар*" – известный ресторан на Никольской ул. в Москве.

[276] *ОЗ*, 1872, № 11, отд. II, с. 119.

[277] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 84, л. 105–105об.

[278] "Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века. – Книги и периодические издания". Часть 3-я. М., 1971, с. 389.

[279] См. *Звенья* VI, 392.

[280] "Лит. наследство", т. 39-40, с. 317–322. Ср. ниже заключительные страницы статьи Огарева.

[281] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 85, л. 60–75. – Среди следственных материалов сохранилось два письмеца Л. Чернецкого к Шевелеву. В первом из них, от 1 февраля 1868 г., он писал по поводу издаваемой книжки и заказанной для Шевелева фальшивой печати: «Посылая две странички "Землеописания" как образчик, присовокупляю то же и записку резчика, из которой узнаете цену двух печатей Начальника за-

вихост(ской) таможни от 35 до 40 фр. Другая – 25 fr.». Второе письмецо – от 8 февраля: «...Вчера я отдал в набор 1-й лист "Землеописания" Н.П. О(гареву). Хорошо бы было, чтоб вы сами взглянули на него прежде mise-en-page (верстки (*франц.*))». Здесь же находится счет на бланке "Русской лондонской типографии в Женеве" под датой 1 июня за набор, корректуру, печать и переплет "Землеописания..." (1000 экз.) от фирмы Дюпле (Dupleix) с распиской Чернецкого об уплате 173 фр. и его обязательством не выпускать второго издания брошюры» (*ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 84, л. 197 и ед.хр. 85, л. 84 и 86).

[282] Там же, ед.хр. 85, л. 93.

[283] Там же, ед.хр. 83, л. 93об. – Никакими сведениями о катехизисе для детей молокан я не располагаю – скорей всего это был очередной блеф Шевелева.

[284] Там же, ед.хр. 84, л. 408–409. – *Сибулдин* – ошибочно транскрибированное латинское написание фамилии *Ижболдин* (см. выше).

[285] Ср. "Лит. наследство", т. 63, с. 860. – Воспроизвожу зачеркнутый вариант из тетради, имеющий смысловое значение: [«Из денег, посылаемых вам, прошу вас тотчас, если это вас не затруднит, отправить *Щербакову* или *Щербачеву*, студенту Бернского университета, сто франков.] Попросите Тхоржевского, чтобы он собрал к себе все экземпляры "Учения духовных христиан", как кажется, всего 519 экз., так, чтобы в продаже их не было, мы все возьмем. Что же касается до поправки и перепечатки, то об этом сообщу вам, – пока еще не решено, как и что».

[286] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 85, л. 96–96об. и *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 510, л. 1–2.

[287] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 85, л. 41–42; *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 510, л. 4–4об.

[288] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 83, л. 65. – В этой тетради третьего письма нет.

[289] См. выше прим. 108.

[290] В следственном деле сохранилось два русских (рукописных) перевода статей: *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 84, л. 218–231 и 234–257. Первый из них оснащен обложкой, повторяющей текст словацкого издания (в переводе): "Русский глас к словакам. Писал Николай К е в е л о в. Статьи из словенских газет 1868 года. Книгопечатница Ф. Водянера в Пеште". Перевод осуществлен Тимаевым. По нему я и цитирую сочинение Шевелева. Второй перевод – А. Кочубинского, исполнявшего, как указано в рукописи, должность доцента славянской филологии Новороссийского университета (Одесса). Перевод этот датирован 25 апреля 1872 г.

[291] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 86, л. 25 и 54. Русским посланником в Вене был Е.П. Новиков.

[292] Там же, л. 54об.

[293] Там же, л. 63.

[294] Там же, л. 63об.–64.

[295] Я. О р л и с. Словацкая критика царской России в 1868 г. – "Slovenskó", XVI, 1951, s. 108–114. Цит. по ст.: А.Л. Г р и г о р ь е в. А.И. Г е р ц е н в зарубежной критике (1917–1965). – "А.И. Герцен. Исследования и материалы". Сб. научных трудов Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Л., 1974, с. 104–105.

[296] *Bolgia* (*итал.*) – Яма в Дантовом аду.

[297] *ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 84, л. 218–231.

[298] Там же, л. 416.

[299] Там же, ед.хр. 83, л. 5.

[300] Там же, л. 146.

[301] *П.А. Дюков* – старший врач в петербургской клинике душевных болезней.

[302] *ГАРФ*, ф. 212, оп. 1, ед.хр. 83, л. 146–146об.; ср. ед.хр. 86, л. 156–156об.

[303] Там же.

[304] Паспорт Колтынина был похищен Шевелевым во время его работы в завихостской таможне.

[305] "Выдавая себя ложно за князя Венедикта Кикуатова, наследника казанской помещицы княгини Кикуатовой, в доказательство чего предъявил паспорт на имя князя Кикуатова, – отмечалось в следственном деле, – Шевелев выманил у бывшего генерального консула в Белграде Шишкина, под видом займа, 15 австрийских червонцев (45 руб.), кои обратил на свои надобности" (*ГАРФ*, ф. 112, оп. 1, ед.хр. 83, л. 113; ср. ед.хр. 84, л. 137).

[306] А.А. Ш и л о в и М.Г. К а р н а у х о в а. Деятели революционного движения в России, цит. изд., т. 1, ч. 2-я. М., 1932, стлб. 2003–2004.

[307] "Лит. наследство", т. 41-42, с. 615, 599; ср. 619.

ПИСЬМА ОГАРЕВА
ГЕРЦЕНУ, ЛИЗЕ, ОЛЬГЕ, САШЕ И ТАТЕ ГЕРЦЕНАМ, П.В. ДОЛГОРУКОВУ, МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ, Г. МОНО И Т.П. ПАССЕК

Публикации И.А. Желваковой, С.В. Капиноса, С.Д. Лищинер, М. Мерво (Руан) и Е.Л. Рудницкой

А.А. ГЕРЦЕНУ

Статья и публикация С.Д. Лищинер

Настоящая публикация включает 92 письма Огарева к А.А. Герцену. В России они печатаются полностью впервые. Вместе с 22 напечатанными ранее[1] они исчерпывают круг известных ныне эпистолярных обращений Огарева к Герцену-сыну.

Публикуемые письма охватывают два последних десятилетия жизни Огарева. Первое письмо датируется 26 сентября 1859 г., последнее написано за полтора месяца до смерти – 25 апреля 1877 г. Они обращены к "младшему другу", которого Огарев любит с поистине отцовской нежностью и требовательной заботой – как сына "единственного брата и ⟨...⟩ единственной сестры" (XXVII, 231). С его будущим он, как и сам Герцен, с детства Саши связывает надежды на продолжение революционного дела их жизни, на развитие традиции русской демократической мысли. Всей полнотой доверительной душевной открытости проникнуты эти письма. Перед читателем широко раскрывается духовный мир Огарева на протяжении всего эмигрантского периода его биографии. Мысль его предстает в многообразии теоретических поисков социолога, творческих замыслов и художественных впечатлений поэта, в наблюдениях естествоиспытателя, ведущих нередко к новым философско-гносеологическим выводам.

Показательно по своему тону первое же письмо. В нем уже создается особая атмосфера уважительности и откровенности, свойственная дружескому общению равных, которое зиждется и на единстве научных интересов, и на "традиционной" связи, ощущаемой как родственная, освященной общим благоговением к умершей Наталье Александровне и любовью к Герцену: "По дружбе, до тла глубокой, к твоему отцу и к твоей матери, я чувствую в себе право любить тебя, как сына". Прося Сашу сообщать о ходе учебных занятий, экспериментов, Огарев замечает: "Мне кажется, что я тебе помогу – логикой, а ты мне поможешь фактами, и мы очутимся совсем друзьями, работающими в одном деле".

Разумеется, в тональности писем дают себя знать различия обстоятельств в общественной и личной биографии Огарева на протяжении почти двух десятилетий. Если в апогее его и Герцена политически-организационной и публицистической активности – в пору первой революционной ситуации, широкого распространения "Колокола" – письма исполнены боевым пафосом, то в 1870-е годы в них звучат нотки тоски по фактически распавшемуся главному делу жизни – делу русской революционной пропаганды в условиях эмиграции. Вместе с тем сохраняется надежда на организацию нового вольного органа русского слова – силами эмигрантской молодежи, которая с любовью и почтением относилась к "дорогому патриарху", так называл Огарева в своих письмах Н.И. Утин[2]. "Есть надежда на работу, и тогда воскресну", – пишет Огарев в связи с одним из таких проектов 18 февраля 1873 г. И вновь 14 января 1875 г.: "Надеюсь на новое русское издание и стараюсь устроить".

При всем том нельзя не заметить в письмах самых последних лет некоторого ослабления духовной энергии. Оно было вызвано болезнями и неотступным глубоким горем, каким до конца дней ощущал Огарев смерть Герцена. Но были для этого и объективно-исторические причины – изживание "дела" первой русской эмиграции по мере усиления революционной борьбы в самой России.

За годы столь длительной переписки настроенность ее корректируют, разумеется, и многие изменения в жизни, в духовном развитии адресата. Первое письмо (как и несколько напе-

чатанных ранее[3]) служит напутствием Огарева совсем еще юному студенту-биологу Бернского университета, едва прикоснувшемуся к науке; письма 1863 г. адресованы активному участнику политических событий революционной эмиграции, члену первой "Земли и воли"; многие последующие обращены к зрелому ученому-физиологу, отцу большого семейства, профессору флорентийской Спеколы (Музея естественной истории) и университеты, чьи работы по физиологии высшей нервной деятельности приобретали европейскую известность.

И тем не менее этой обширной, протяженной во времени переписке свойственно определенное единство. Единство не только тематическое, естественно кристаллизующееся за многие годы эпистолярного общения в кругу близких интересов, но и единство основных проблемных мотивов, фундаментальных идей. Оно обусловлено монолитностью убеждений автора, материалиста и революционера, цельностью его личности, бескомпромиссностью нравственной позиции патриота и гражданина. Оно скреплено той самоотверженной добротой к людям и в то же время принципиальной твердостью моральных оценок, тем благородством и тактом, которые обнаруживаются в непосредственных реакциях Огарева на самые разные жизненные коллизии.

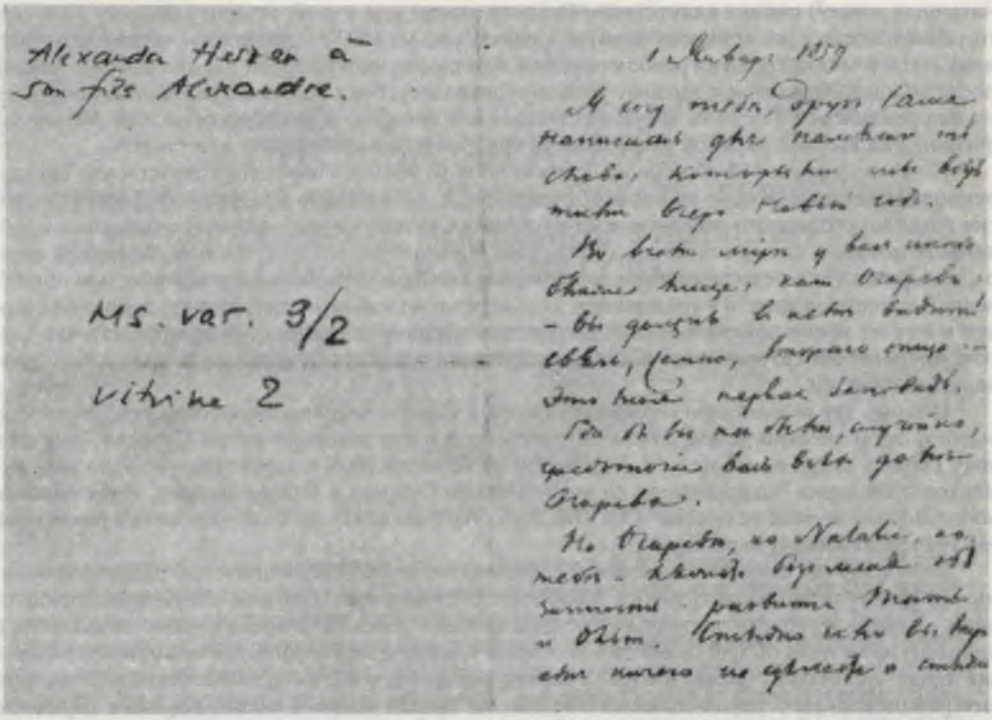
Именно эту важнейшую сердцевину писем к Саше – человеческую ценность, этическую высоту, органический демократизм запечатленной в них духовной жизни Огарева – имеет в виду Герцен, когда в письме к М. Мейзенбуг от 25 июля 1866 г. характеризует один из документов этой серии (не дошедший до нас): "Письмо Огарева к Саше – шедевр, – вот человек *новой морали* во всей ее поэзии" (XXVIII, 209). Эту доминанту легко обнаружить в различных тематических линиях переписки.

Одну из таких значительных линий составляют будни пропагандистской работы, проблемы и перипетии освободительного движения. В сочетании с другими документами 1863 г., лишь недавно ставшими доступными исследователям[4], письма Огарева к Саше позволяют, к примеру, прояснить общий размах и некоторые конкретные стороны деятельной помощи редакторов "Колокола" "Земле и воле" в период польского восстания, их усилия по укреплению интернационального революционного союза, по привлечению к общей борьбе с царизмом финских демократов. Четче вырисовывается роль А.А. Герцена в реализации этих планов, в установлении контактов с финской и шведской передовой общественностью, устройстве путей транспортировки пропагандистских изданий в Россию. Из писем Огарева мы узнаем, в частности, насколько далеко продвинулось во время пребывания в Стокгольме молодого представителя "Земли и воли" дело устройства там типографии этой тайной революционной организации: в руках А.А. Герцена в мае – июне 1863 г. был уже не только "шрифт", присланный Огаревым, но и "машина" (см. п. 9).

Конкретизируется вместе с тем представление о трудностях, с которыми столкнулись в своих начинаниях в Скандинавии русские революционеры, – трудностях не только объективных, происходивших от слабости местного демократического движения, от усиления реакции и террора в России, нарушившего их связи с петербургским подпольем, но и трудностях внутренних, явившихся следствием разногласий между А.А. Герценом и М.А. Бакуниным. Их конфликт летом 1863 г. предстает в живом переплетении случайных, личных поводов и усугубляющих факторов, среди которых не последнее место занимала нервозная, насыщенная слухами и пересудами эмиграционная атмосфера (и – добавим то, чего не мог знать тогда Огарев, – усилившаяся на этой почве провокационная активность агентуры III Отделения[5]). А сквозь эти наслоения, сквозь сшибку самолюбий проступают глубинные причины конфликта – они восходили в конечном счете к различию тактических установок Бакунина и редакторов "Колокола", к неприемлемому для них беспочвенному авантюристическому "революционаризму" Бакунина.

Ссора А.А. Герцена с Бакуниным во время выполнения общих ответственных поручений, проявившиеся при этом "самолюбивые замашки" в поведении юноши (XXVII, 370) привели Огарева и Герцена к выводу о его неспособности к конспиративной политической деятельности профессионального революционера[6]. Однако Огарев продолжает неустанно культивировать и поддерживать в молодом адресате, окончательно избирающем научное поприще, широту и гражданственность устремлений. Он сам до конца дней в гуще интересов русской демократии, в курсе текущих общественных событий России.

Письма его полны сообщениями о предприятиях и планах русской революционной эмиграции, об изданиях вольной прессы. 28 декабря 1872 г. он пишет Александру о предстоящем открытии русской типографии в Париже, об ее организаторе Н.В. Соколове и его книге "Отщепенцы", подвергшейся, как и ее автор, судебному преследованию в России. 3 февраля 1872 г. сообщает об обыске у Н.И. Утина в Женеве, 14 октября – о журнале "Свобода", издающемся А. Гончаренко в Сан-Франциско (и посылает его во Флоренцию, советуя знакомить с ним "порядочных соотечественников", ибо он может "послужить связью с Россией через Си-



ПИСЬМО-ЗАВЕЩАНИЕ ГЕРЦЕНА СЫНУ АЛЕКСАНДРУ

Автограф. 1 января 1859 г. Лист первый

Международный институт социальной истории, Амстердам

"Во всем мире у вас нет ближе лица, как Огарев, – вы должны в нем видеть связь, семью, второго отца. – Это моя первая заповедь. Где бы вы ни были, случайно, средоточие вас всех дом Огарева" (Герцен – сыну Александру. 1 января 1859 г.)

бирь" – см. п. 47, 48). С июня 1875 г. не прекращаются одобрительные, увлеченные отзывы о газете П.Л. Лаврова "Вперед!", в которой напечатаны стихи Огарева и в которой он стремится "усердно участвовать".

Огарев постоянно делится с Александром русскими политическими новостями, чутко улавливает и тотчас передает просачивающиеся на страницы прессы сведения о народном брожении и с горечью констатирует факты его подавления. 24 декабря 1870 г. он пишет: "На Урале возникла секта неплательщиков (податей), которую правительство шибко преследует; на юге нечто в том же роде, там гр. Канкрин сечет розгами". В письмах от 5 января 1874 г., 22 января 1877 г. опять тревожные известия с Родины – "о новых политических преследованиях".

И в последние годы Огарева одушевляет живая заинтересованность в событиях, имеющих отношение к судьбам народов Европы и мира – будь то конфликт России и Турции или возвышение Мак-Магона во Франции. Внимание в социально-политической жизни Запада вызывает, в частности, набирающее силу рабочее движение и проявляемый интерес к нему сына Герцена. Так, в письме от 9 мая 1868 г. Огарев спрашивает Александра относительно его статьи (очевидно, помещенной в флорентийской прессе) о стачке строительных рабочих, которую тот наблюдал в свой приезд в Женеву в апреле, – и с сожалением сообщает о ее половинчатом исходе. А 18 октября этого года (п. 18) просит подробностей о работничьих собраниях в Берлине. Из письма 32 (от 11 января 1871 г.) мы узнаем, что Огарев с нетерпением ждет статью А.А. Герцена "об интеллигенции"[7].

Впрочем, в одном из публикуемых писем (от 7 марта 1870 г.) мы находим и прямой отзвук расхождений Огарева с Герценом в оценке перспектив революционного движения Запада – расхождений, которые проявились уже в мае – июне 1869 г. в "Ответах старому другу"[8]. В них Огарев полемизировал с первой редакцией писем "К старому товарищу", с принципиально новым – единым для России и Запада – углом зрения Герцена на проблемы движения человечества к социальному освобождению. В противоположность "старому другу" Огарев, оставаясь всецело на позициях "русского социализма" и включившись в

пропагандистскую кампанию Бакунина – Нечаева, призывающую русскую молодежь к немедленному восстанию, подчеркивал в этом споре "исключительную преданность" "русскому вопросу". Утверждению Герценом объективности экономических законов и познаваемости исторического процесса, акценту на необходимость "постепенности" в осознании массами социалистического идеала он противопоставлял надежды на скорейшую крестьянскую революцию, пока протест народа питается еще не разрушенным окончательно "общинным элементом".

В герценовских идеях "постепенности" он видел недооценку "толчковых (революционных) рядов" развития[9].

С этим и связано отрицательное отношение Огарева в марте 1870 г. к подготавливаемой А.А. Герценом и Тучковой-Огаревой публикации писем "К старому товарищу", о чем мы узнаем из названного письма. В разгар участия в новой волне пропагандистски-конспиративных акций группы Бакунина – Нечаева он полагает, что эта публикация может лишь бросить тень на память Герцена, "присвоить его к буржуазии" (см. п. 26). Отметим, однако, что уже вскоре Огарев изменил свое мнение по поводу издания: 12 июня 1870 г. (в дни разоблачения мистификаций Нечаева, окончательного разрыва с ним) он писал Саше, что с выпуском посмертных "сочинений Герцена" "надо спешить" (см. п. 27).

В общемировоззренческом и гражданственном аспекте предстает под пером Огарева также специальная, связанная с естественнонаучными занятиями адресата (и автора) проблематика, которая закономерно занимает в предлагаемых письмах большое место. В "серьезном умственном труде" ученого-естествоиспытателя, перспективу которого рисует Огарев перед юношей, выдвинута на первый план общественная миссия – возможность "быть полезным для других и для науки, т.е. для развития человеческого понимания" (п. 3).

Потому столь усиленный акцент ставится на методологических сторонах научного творчества. И здесь, надо заметить, очень часто соображения Огарева идут в унисон с герценовскими, в письмах 1850–1860-х годов нередко развертываются мысли, вскользь брошенные Герценом, а подчас тот впрямую передает перо Огареву для разъяснения добытых вместе в течение долгих лет выводов (ср. XXVI, 314 и XXX, 830; XXVII, 231–233; см. XXVIII, 175 и др.).

Огарев стремится привить начинающему исследователю в первую очередь вкус к факту, уважение к объективным результатам наблюдения и эксперимента – в противоположность губительной априорности, "высокомерию собственных соображений"; учит вокруг каждого вопроса соединять все те данные, которые до него касаются, ничего не выпуская из виду" (п. 1).

Вместе с тем скрупулезные эмпирические изыскания должны опираться, по мысли Огарева (и Герцена), на серьезную общефилософскую базу. "Специализм, проникнутый стремлением к общему пониманию, – *почва*", – пишет он Александру, уже признанному физиологу, 16 марта 1866 г.[10], доказывая, что только широта философского кругозора обеспечивает глубину и перспективность в постановке специальных проблем (ср. в письмах Герцена этих дней: "Именно в соединении специальности с общностью и состоит настоящая учено-научная деятельность"; "чтоб быть специалистом, необходимы две вещи – наука вообще и *серьезные проблемы*, которые пытаются разрешить методами данной специальности" – XXVIII, 165, 160).

При этом знаменательно, что в качестве такой исходной почвы для Огарева неприемлема философская система О. Конта с ее "запутавшимися" "готовыми решениями"[11], широко пропагандируемая в середине 1860-х годов в Европе Э. Литтре, Дж.-С. Миллем и привлекшая к себе интерес как в среде русской демократической интеллигенции, так и в кругу флорентийских натуралистов, группировавшихся вокруг М. Шиффа. Отвергая методологию Конта, Огарев постоянно исходит в своих суждениях по конкретным вопросам психологии, физиологии из материалистической концепции единства природы и человека, сознание которого "так же мудрено отделить от организма, как звук от струны" (XXX, 830).

К соединению опытного знания и материалистического мировоззрения устремлена традиция русской передовой мысли начиная с "Дилетантизма в науке", "Эмпирии и идеализма" и других философских работ Герцена 1840-х годов.

Эта традиция явно прослеживается и в письмах Огарева к А.А. Герцену. Добываемые экспериментальной наукой середины века новые факты в области изучения рефлексов, процессов нервной деятельности русский мыслитель стремится ввести в общую систему материалистического миропонимания, освоить диалектически. За его суждениями постоянно стоит монистическое понимание мира в его единстве – единстве развивающейся материи. Лишь такой методологически широкий и цельный подход к исследуемой жизни организмов, к "восходящей лестнице форм" в живой природе устраняет, по его убеждению, возможность лазеек

для фидеизма. "Чем больше мы докажем необходимость, тем меньше нам нужно будет религии", – рассуждает он[12].

Впрочем, здесь же (п. 32), как и в соседствующих письмах (например, п. 34, 36), явственно отразились также не преодоленные Огаревым слабые стороны в его общефилософском осмыслении процессов человеческого сознания – элементы механистичности. Стремясь прояснить проблематику задуманного А.А. Герценом зимой 1871 г. труда по психологии человека, он полагает, что, "кроме серьезной критики самого названия, напоминающего душу", в нем необходима "разработка сравнительной психологии животных", "т.е. сравнительного отражения внешних предметов на индивиде": без этого "ты факт сознания не выведешь". Разница между "сознанием устрицы" и человека – "в количестве впечатлений и отражений" и т.д. В аргументации Огарева, при общей материалистической трактовке функций человеческого сознания, его качественная, общественно-историческая специфика не схвачена, не определена в той мере, в какой это было сделано Герценом, например, в "Письме о свободе воли".

Однако заметим, что и в этих письмах Огарева, рядом с наиболее уязвимыми общими заявлениями, сводящими, казалось бы, высшую нервную деятельность человека к внешней необходимости, действующей в животном царстве природы, мы найдем размышления отнюдь не о количественной только разнице: "Одно из главных отражений окружающих предметов на мозг" человека – "это впечатление другого индивида, приходящего в помощь, и, ergo, обусловливает социологию (общественность), которой одна из главных необходимостей – не то что свобода воли, – а свобода индивида, ибо иначе приходилось бы душить друг друга, что и делается при нарушении этой необходимости". Такого рода суждения отнюдь не случайны для Огарева. Они служат ему отправным пунктом для реального обоснования социалистической, коллективистской морали. Мы опять, с новой стороны, попадаем в сферу актуальнейших этических интересов автора писем.

Находясь в средоточии научных и философских исканий времени, мысль Огарева в исследовании отдельных конкретных сторон деятельности мозга намечает подчас те проблемы и пути их решения, которые окажутся в центре внимания и полемики целых школ психологов, гносеологов, эстетиков XX в. (таковы, к примеру, его материалистические догадки о природе сна, о механизме зарождения представлений, соотнесение процессов сна и воображения, образотворчества и т.п.[13]).

В размышлениях Огарева пафос научного познания мира, убежденность материалиста и воинствующий атеизм неразрывны. Он постоянно с острым интересом следит за научной полемикой А.А. Герцена, поощряет его боевые выступления в защиту атеизма и материализма, видя в научных спорах с носителями и проводниками религиозных взглядов гражданский долг подлинного ученого. "Я рад, что ты ругаешься с попами", – пишет он 30 сентября 1869 г. и просит Александра Александровича перевести очередную статью о воле, помещенную им в итальянском журнале, на французский или русский язык, чтобы иметь возможность глубже вникнуть в существо его аргументов.

И так до конца – продолжается интенсивный обмен естественнонаучными идеями, проявляется неослабевающий интерес к философским поискам младшего друга, к сохранению боевого материалистического и атеистического их направления.

Еще в письме от 12 июня 1862 г., предостерегая юного доктора медицины от серьезнейшей опасности для ученого – "отсутствия запроса в науке" – и ставя перед ним актуальные исследовательские проблемы, Огарев писал: "Как ты можешь жить, – ты – зоолог – не работая ни йоты по этим двум задачам, и жить спокойно и самодовольно?" "Если ты, взволнованный запросом, заглянешь в то, что ты сделал в науке, в понимании – ты содрогнешься перед тем, как это мало и ничтожно (...) И тогда ты поймешь (...) как много труда в знании и как много подвига даже в обыденной жизни, и ринешься безбоязненно на ежеминутный запрос, ежеминутный труд и ежеминутный подвиг" (XXVII, 231–233).

И через восемь лет – уже в обращении к известному ученому – вновь тот же мотив: «Теперь главное: не вдавайся слишком в home-life[1*] и не оставляй науки без движения. Мне ужасно хочется тебя просить написать диссертацию "о механических условиях патологических явлений" (...) пищеварительных органов» (п. 29 и др.). Письма Огарева выдвигают перед адресатом новые научные "запросы", служат противоядием самоуспокоенности, застоя мысли, будят инициативу. В их совокупности, таким образом, наряду с высоким нравственным идеалом революционера перед читателем встает во весь рост этический идеал истинного ученого, жизнь которого, движимая "страстью к науке", – это "ежеминутный подвиг" самоотверженного труда для блага людей, творческой неудовлетворенности сделанным, подвиг преданности истине и активного ее утверждения.

[1*] домашнюю жизнь (*англ.*).

Творчество, борьба и неуспокоенность духа – как альтернатива "бесплодному барству" (п. 20), требовательность к себе, "ответственность" за свои поступки – вообще важнейшие составляющие огаревской этической позиции, весьма существенные для оценки и регулирования человеческих отношений. Мужества признания своей вины в нанесенной товарищу обиде требует Огарев от Александра осенью 1863 г., поясняя: "Спрос прощения – акт самоочищения, а внутренняя раскаянность – это то самосознание, без которого самый развитой человек гадок" (п. 4). Как важно для духовного движения личности "заглянуть в самого себя", осознать свою неправоту – в противоположность самолюбивому "обвинению других", писал он и ранее (см. XXVII, 233).

С бескомпромиссной твердостью звучит этот мотив в письмах лета 1867 г., связанных с самоубийством бывшей подруги А.А. Герцена Шарлотты Гётсон. "Мне не нравится то, что ты стараешься сложить с себя ответственность за ее участь", – читаем в письме 13[14]. И вновь в следующем письме – о новом неизвестном ответе Александра: "Он весь состоит из самооправдания – до такой степени, что ты даже забыл хотя помянуть бедную женщину словом сожаления". Огарев осуждает его, разумеется, не с позиций "вечности брака" и христианского аскетизма: "От человека я требую просто гуманности, человеческого милосердия – и если нужно бывает покаяние, то не для того, чтобы прощать себе прошедшее (прощай или не прощай – его не вычеркнешь), а для того, чтоб перед самим собой сознать, насколько было зло бессознательного поступка, ответить за последствия и собраться с новыми силами для дела..." (п. 14).

Таким образом, в эпоху, когда вековая мораль "божьей кары", сверхличного императива утрачивает свою силу в сознании людей, а Достоевский в перспективе "смерти бога" в душах усматривает угрозу наступления "вседозволенности", Огареву важно утвердить в самой личности опоры подлинно человеческой, альтруистической нравственности.

Кризис традиционной религиозной идеологии зачастую оборачивался тем, что в "конкретных вопросах" отношений между людьми и их моральных оценках оказывалась "спутана, – как писал Герцен в 1867 г., – традиция и революция, религиозная отрыжка и социальный перестрой" (XXIX, 147). Подобно Герцену[15], Огарев в своих этических раздумьях (особенно интенсивных в пореформенную эпоху – будь то письма, или статьи, или мемуарно-теоретический очерк 1869 г. "С утра до ночи"[16] упорно ищет реальные движущие импульсы личности общественной, обращенной к людям и в них черпающей силы.

Отбрасывая ханжеские нормы аскетической морали, он, как и Герцен, остро реагирует вместе с тем на опасность морального релятивизма, которую несут "возникающие ученья" о "неотразимой власти страстей" (X, 202), о "физиологической" детерминированности, а значит, нравственной неподсудности поступков. Связанные с применением постулатов естественнонаучного материализма к жизни общества и, казалось бы, освобождающие индивида от оков официальных предрассудков, эти теории неприемлемы для обоих мыслителей революционной демократии – при характерном своеобразии аргументации каждого. Оба констатируют, что здесь "стирается" "всякая ответственность, всякое самообуздание" (X, 208). Но Герцен доказывает, что "покорение человека неотразимым и не подчиненным ему силам – дело, совершенно противоположное тому освобождению в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стремятся, разными путями, все социальные учения" (там же). Огареву же особенно претит антиобщественный характер представлений о природе самой личности, а следовательно, подспудная элитарность, эгоцентризм подобных теорий. В письме к В.И. Кельсиеву от 9 мая 1866 г. он подчеркивает эту их антидемократическую сущность: "Безответственность собственных ошибок – мысль аристократическая, в каком бы мире ни являлась – в феодальном или литературном, сословно или индивидуально самолюбивом – а все же мысль аристократическая, и обрывается на неизбежностях sui generis[2*] химизма личной и общественной жизни" (XXVIII, 184).

Так ответственность личности перед ближними и дальними, перед собой и обществом становится одной из ключевых в системе коллективистских этических требований Огарева, опирающейся на "простые законы нравственности"[17]. Вспомним слова Огарева, обращенные к Саше в июле 1867 г.: "От человека я требую просто гуманности, человеческого милосердия" к окружающим. Те же основные нравственные ориентиры отражены в этической "формуле" письма Огарева к Герцену от 19 сентября 1860 г.: "Сочетание преданности к истине и милосердия к людям", притом "деятельного" ("милосердие должно быть употреблено на спасение людей, с которыми случай привел в близость")[18].

Нельзя не заметить, что столь усиленное внимание Огарева к категориям вины, ответствен-

---

[2*] своего рода (*лат.*).

ности личности, направленности ее вовне, к окружающим перекликается с нравственно-максималистскими исканиями других представителей передовой русской культуры этой переломной эпохи – при всем различии идеологических обоснований подобной проблематики. Достаточно вспомнить повторяющиеся мысли Л.Н. Толстого в дневниках о нераздельности раскаяния и "движения вперед" в нравственном мире, о необходимой коллективистской устремленности нравственных усилий[19]. Поведенческой установке Огарева близок и новый "центр тяготения" – "вне себя, на другом", становящемся "не средством для меня, но всегда ⟨...⟩ моею целью", – тот "центр тяготения", который, по определению выдающегося психолога современности А.А. Ухтомского, обнаруживается в художественном мире Достоевского[20]. Но наряду с закономерными точками сближения остается четким тот водораздел жизнеотношения, который создают религиозные мотивировки в этических концепциях Толстого и Достоевского.

Таким образом, публикуемый комплекс писем расширяет источниковедческую базу для изучения философско-гносеологических, психологических, этических взглядов Огарева в их развитии, в соотнесении с отечественной духовной традицией, содержит фактический материал для уточнения наших представлений о конкретных эпизодах революционного движения пореформенного периода. И вместе с тем эти письма, являясь зачастую документами прямой нравственной проповеди гуманизма и творчества, общественного служения и материалистической трезвости мысли, бескомпромиссности и деятельного добра, несут в себе огромный непосредственно воспитательный заряд. Ибо весомость слова, призыва в них обеспечена всей жизнью автора, исполненной глубокой человечности, бескорыстного служения истине; за укоризной, жестким моральным требованием всегда ощущается любовь и боль, вера в душевные силы и возможности адресата.

Сохранилось всего несколько ответных писем А.А. Герцена к Огареву[21]. Однако и эти немногие документы убедительно подтверждают сердечную глубину их отношений и вследствие этого проникновенную силу воздействия слова Огарева, "симпатическое влияние" (IX, 15) самой его личности. "Я знаю, как ты меня любишь, и знаю ⟨...⟩ в чем бы ты меня ни обвинил, ты это сделаешь не с чувством наслаждения над унижением другого – а с материнской болью обо мне..." – пишет Александр, получив известие от Огарева об исчезновении Шарлотты.

И случившиеся в 1870-е годы осложнения в денежных отношениях не могли поколебать безусловного взаимного доверия. Вынужденные объяснения по этим вопросам, просьбы прислать деньги досрочно ввиду нужды, долгов и т.п. – один из грустных мотивов, нередкий в письмах. Дело в том, что материальное положение Огарева, во все время эмиграции стесненное (из-за невыполнения Н.М. Сатиным условий выплаты долга за имение), в годы, последовавшие за смертью Герцена, еще ухудшилось. Если ранее регулярная помощь Герцена (от 10 000 франков годовых в 1856–1858 гг. до 6000 в 1868–1869) дополнялась время от времени хотя бы незначительными присылками от Сатиных, то теперь и эти присылки прекратились[22]. Единственным источником его существования оставалась "пенсия" в 6000 франков в год (т.е. 500 франков в месяц), присылаемая, по "нравственному завещанию" Герцена (см. XXIX, 249), поочередно его детьми. При этом усложняющиеся – по мере роста семьи – денежные обстоятельства А.А. Герцена делали все более затруднительным его постоянное участие в этих пособиях, пока в начале 1874 г. (тогда у Александра было уже шестеро детей), по предложению Тучковой-Огаревой, его доля не была исключена из них (а вслед за тем ее взяли на себя Тата, Ольга и Лиза)[23]. Однако и этот эпизод, отразившийся в п. 73–76, не изменил общего отечески доверительного отношения Огарева к сыну Герцена. А в памяти Александра Александровича Огарев навсегда остался не только наставником в формировании материалистических убеждений, научных интересов, живой связью с родиной, а, как и для самого Герцена, эталоном нравственной "шири и чистоты" (XXX, 124).

Следует специально остановиться еще на одной стороне рассматриваемой переписки. Пронизанная любовью к Герцену, стремлением Огарева продолжить его издания, увековечить его память, она содержит новые сведения по истории посмертных публикаций и переводов произведений Герцена, отражает работу Огарева над биографией автора "Былого и дум" (очевидно, незавершенную), над статьями о нем для западноевропейской прессы, над воспоминаниями для русской печати в 1873 г., когда казалось, что возможна их публикация. Забота о сохранении рукописей Герцена, его переписки, о содействии мемуаристам – одна из сквозных тем писем 1870-х годов.

Наконец, последнее: публикуемая эпистолярная коллекция содержит материалы для текстологии поэтического наследия Огарева. Письма заключают в себе несколько творческих текстов, причем некоторые из них при жизни Огарева не печатались. Примечательно, что стихи сопровождают первое и последнее из представленных в публикации писем. Притом перед нами посылаемые на суд А.А. Герцена беловые автографы, окончательные редакции, тогда как прежде эти стихи (в тех случаях, когда они входили в посмертные издания) публико-

вались текстологами преимущественно по черновикам из записных книжек Огарева. Таким образом, мы получаем аутентичные тексты (и датировки) для ряда стихотворений поэта.

Письмо 1 печатается по фотокопии *РГБ* с автографа *BPUG*; опубликовано М. О к у т ю р ь е в *AAH*, 297–302; п. 2–92 – по ксерокопиям *IISG*; опубликованы М. М е р в о в *LOAHf* (включая фрагменты п. 36, полностью публикуемые здесь впервые). Ряд фрагментов напечатан автором в *Ог. чтениях* и 30-томном Собрании сочинений.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]19 эпистолярных текстов Огарева 1858–1866 г., входивших в состав совместных с Герценом писем к его сыну, включены в тт. XXVII, XXVIII, XXX 30-томного Собр. соч. Герцена; одно письмо – от 5 мая 1875 г. – было опубликовано С.А. Переселенковым в 1941 г. в т. 39-40 "Лит. наследства" (набросок, с. 613–см. прим. 1 к п. 82); здесь же, с. 336, 341, им было опубликовано как обращенное к А.А. Герцену летом 1869 г. – черновое письмо Огарева к Н.А. Герцен от 7 июля 1869 г. и два письма – от 16–26 марта 1866 г. и 28 июня 1868 г. ("Несколько слов о сновидениях") – напечатаны мною в журнале "Философские науки", 1966, № 3, с. 95–100.

[2]См. "Лит. наследство", т. 62, с. 625, 632, 644, 657.

[3]См., например, письма от 10 до 25 сентября 1858 г., 22 июня и 1 декабря 1859 г. (XXX, 818, 819, 826, 830).

[4]См. в т. 96 "Лит. наследства" статью Е.Л. Рудницкой "Герцен, Огарев, Бакунин и польское восстание 1863 г.", обобщившую публикации последних лет о деятельности революционеров 1860-х годов в Скандинавии.

[5]Небезызвестный мастер провокаций Ю.-А. Балашевич-Потоцкий в донесении из Парижа от 22 июня 1863 г. сообщал, что намерен "послать письмо к Бакунину, чтобы удалил сына Герцена" (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, Kraków; микрофильм – *ГАРФ*.

[6]См. об этом подробно в кн. 2-й наст. тома.

[7]Кстати, сведения из писем Огарева дают толчок для поисков в периодике тех дней упомянутых статей и некоторых других произведений, которые до сих пор не были зафиксированы в библиографии трудов А.А. Герцена, составленной его учеником О. Ру и хранившейся у ныне покойного правнука Герцена Л. Риста в Версале (см. *LOAHf*, 14, 113, 177).

[8]См. "Лит. наследство", т. 61, с. 193–204.

[9]Об учете и продолжении этой полемики (отразившей процесс поляризации идей объективной и субъективной социологии) в работе Герцена над последней редакцией писем "К старому товарищу" см. в статье: С.Д. Г у р в и ч-Л и щ и н е р. Об идейной эволюции А.И. Герцена в 60-е годы (сб. "Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг." М., 1965, с. 178–186). О политической позиции Огарева в статьях и прокламациях 1869–1870 гг. см. подробнее в книге: Е.Л. Р у д н и ц к а я. Русская революционная мысль. Демократическая печать 1864–1873 гг. М., 1984, с. 149–166, 175–178, 239–246.

[10]"Философские науки", 1966, № 3, с. 96.

[11]Там же, с. 95–96.

[12]См. письмо от 11 января 1871г.

[13]См. письмо Огарева "Несколько слов о сновидениях" и нашу вступительную статью к его публикации ("Философские науки", 1966, № 3, с. 97–100 и 92–95), а также статью: С. Л и щ и н е р. Об эстетических исканиях Огарева ("Вопросы литературы", 1980, № 2, с. 155–159).

[14]Ему предшествовало, очевидно, по крайней мере, еще одно – несохранившееся – письмо Огарева с сообщением об исчезновении Шарлотты Гётсон 31 мая и суровой оценкой роли Саши в ее судьбе. Тон откликов последнего (см., в частности, письмо А.А. Герцена от начала июня 1870 г. в кн. 2-й наст. тома) огорчил Огарева.

[15]См. главу "Раздумье по поводу затронутых вопросов" в части пятой "Былого и дум" (X, 202–212).

[16]*Огарев* II, 184–199.

[17]О месте в очерке "С утра до ночи" этической проблематики см. в нашей статье "Об эстетических исканиях Огарева" ("Вопросы литературы", 1980, № 2, с. 151–159).

[18]*Огарев* II, 447.

[19]См., например, записи от 22 апреля 1889 г. и 15 января 1890 г. (Л.Н. Т о л с т о й. Полн. собр. соч. в 90 томах, т. 50, с. 71; т. 51, с. 11).

[20]А.А. У х т о м с к и й. Письма ("Новый мир", 1973, № 1, с. 255).

[21]Одно из них – от второй половины марта 1870 г. – опубликовано в *AO*, 81 с датой ⟨1870⟩; четыре приписки к письмам Герцена – от 30 сентября и 2 октября 1859 г., 2 января 1865 г., 3 ноября 1869 г. включены в т. XXVI, XXVIII, XXX 30-томного Собрания сочинений Герцена. Остальные шесть публикуются в кн. 2-й наст. тома.

[22]См. об этом подробно в сообщении А.Н. Дубовикова "Сатинский долг Герцену" ("Лит. наследство", т. 63, с. 712–718).

[23]См. там же, с. 720–721.

1

(Лондон, 26 сентября 1859 г.)[1]

Саше

Ступай, мой сын. Постранствуй, погляди!
Мне, старику, оно уже не лестно...
Как сонный кот, забившись в угол тесный,
Я не ищу отрады впереди;
А молодость, с своим орлиным взором,
Летит вперед за волей и простором.
Учись! Пойми, что знание есть власть;
Умей страдать вопросом и сомненьем;
Умей людей любить с благоволеньем
И претворяй бунтующую страсть
В смысл красоты и меры благородной:
Живи умно – как человек свободный.
Пора любви придет своей чредой:
Умей любовь возвысить до святыни;
Но мудрый страх взлелей в себе отныне
Пред свычкою тяжелой и тупой,
Чтоб женщина, весь день дыша разладом,
Не портила всей жизни мелким ядом.
За истину сноси обидный гнет –
Без хвастовства, но гордо и достойно,
Будь тверд в борьбе и смерть встречай спокойно –
Не злобствуя и зная наперед:
Народы все, помимо всех уроков,
Сперва казнят, а после чтут пророков.
Итак, ступай! Мужайся и расти,
На все кругом смотря пытливым взглядом, –
И, действуя наперекор преградам,
Не уходя с заветного пути...
Забудь в труде и страх и утомленье –
И вот тебе мое благословенье.

Твой Н. О г а р е в

26 сентября[2].

Милый Саша, ты скоро едешь, и, кроме тебе посвященных стихов, мне хочется написать тебе несколько слов прозы. По дружбе, дотла глубокой, к твоему отцу и к твоей матери, я чувствую в себе право любить тебя, как сына; вследствие этого, ты и выслушай мою речь. Я хочу, чтобы ты вступил со мной в переписку о своих занятиях, хочу этого, потому что мне кажется, что я тебе помогу – логикой, а ты мне поможешь фактами, и мы очутимся совсем друзьями, работающими в одном деле.

Всякий факт имеет свою причину; от этого человеческий ум не может успокоиться без теоретического понимания. В религии это успокоение ума разрешается богом; в науке – ничем, потому что действительно пытливый ум не может остановиться на фантастических разрешениях вопросов – вроде сил жизненных, химических и тому подобных. Я тебе вменяю в обязанность спрашивать самого себя и идти глубже в понимании, даже если бы это потребовало труда, как например – изучения физики, математики etc. А без этого обойтись нельзя.

Но ты теперь приступаешь к специальности, и я насчет того хочу тебе кое-что сказать. Специальность теперь будет для тебя патология. Ты, без сомнения, знаешь и понял настолько естественные науки, что различить патологического процесса жизни от физиологического – нельзя, потому что физиологическое и патологическое развитие совершаются по одним и тем же законам. Я одного требую от тебя, чтобы, равно избегая *веры* в учебники и *высокомерия* собственных соображений, –

ты вокруг каждого вопроса соединял все те данные, которые до него касаются, ничего не выпуская из виду. Например, патологический факт – туберкулезная чахотка. Что такое туберкул? Отложение какой-то гноящейся материи на легких, которая, при заживании, образует известковые [окаменелости] отложения, иногда проходящие и оставляющие каверны. Откуда берется известковый осадок в туберкулезе? Вопрос, который надо проследить повсюду, в трупе и в живом организме. Кровь ли отлагает известь? Вдыхается ли она из воздуха? Оставляет ли осадок электрический ток вроде гальванопластики? Если ли это отложение лишнее для образования костей и переходящее в болезнь (для легких) для органа, для которого оно физиологически *не нужно*, но совершается физиологически *необходимо*? Какую роль играет вдыхаемый воздух? употребляемая пища? Какую роль играет давление колонны воздуха, носимой естественно человеком, которую физики рассчитывают так, а она при сгущенном или наполненном иным матерьялом воздухе выходит иначе. Насколько все это уклоняет жизненые отправления от нормы и приводит к ненормальным химическим осадкам и ненормальным органическим отправлениям? Словом – ни одного вопроса не пропускай. Постановка вопроса – почти решение, по крайней мере ближайший путь к решению. Методу решения я бы тебе рекомендовал франклиновскую алгебраическую, т.е. на одной странице поставить все соображения по плюсу, а на другой все соображения по минусу; потом зачеркивай все, что представляет + – = 0; останется решение или по плюсу, или по минусу, или, если все придет к нулю, тогда, очевидно, в наблюдении была полная ошибка и искать надо на другом пути. Пойми это. Это ужасно просто и справедливо, и, поставив себе насчет одного факта всевозможные вопросы, ты, вычеркивая мнения pro и contra, дойдешь до самой приблизительной истины.



А.А. ГЕРЦЕН

Фотография. Лондон, 1858.

На обороте надпись рукой П.В. Анненкова: "Саша Герцен, 1858"

Музей Герцена, Москва

Вот что я хотел сказать тебе и еще раз прошу – пиши ко мне о своих трудах, войдем в деятельную переписку, она будет полезна для обоих – ради науки и дружбы.

[1]А.А. Герцен, с октября 1858 г. изучавший биологию и физиологию в Бернском университете, проводил свои каникулы в августе – сентября 1859 г. с семьей в Англии, а 29 сентября вновь отправился в Берн для продолжения занятий. Этим определяется год написания стихотворения и письма.

[2]Впервые стихотворение опубликовано Огаревым в 1868 г. в "Полярной звезде на 1869", с. 173–174, в более поздней редакции, под названием "Юноше (Подражание Полонию)"и с подстрочным примечанием: «Вероятно, читатель помнит в "Гамлете" наставление Полония Лаэрту» (имеется в виду д. 1, сцена 3 трагедии). В записной книжке Огарева 1859–1860 гг. (№ 34, *РГБ*, ф. 69.6. 23, л. 32об.–34) сохранился еще один – черновой – автограф первоначальной редакции, переданной Саше, – без даты, названия и с неболь-

шими разночтениями в тексте строфы V. Кроме того, здесь перед последней строфой есть еще одна, зачеркнутая (она отсутствует как в автографе, приложенном к письму Саше, так и в тексте "Полярной звезды на 1869"):

Но если ты воротишься домой,
Как крепкий муж, в цветущей, полной силе,
И старика меня найдешь в могиле, –
То соверши ты тризну надо мной,
За пенистым вином припомнив снова
Мою любовь и праведное слово.

Очевидно, текст стихотворения для "Полярной звезды на 1869" Огарев в 1868 г. готовил по этому черновику: в нем, в строфе 3-й, несколько слоев авторской правки карандашом, приводящей к печатной редакции.

В издании М.О. Гершензона "Стихотворения Н.П. Огарева" (т. 1. М., 1904, с. 194) стихотворение напечатано по первой публикации, но с произвольными изменениями в тексте. Затем эти искажения повторены во всех последующих изданиях.

2

⟨Лондон.⟩ 12 октября ⟨1863 г.⟩[1]

Милый Саша, урываюсь на минуту, чтоб написать несколько строк. К завтрему надо приготовить "Колокол", чтоб оттиснуть, потому работы очень много. Благодарю тебя за твое последнее письмо, в котором проглядывает больше любви и поменьше самолюбия. Не сердись на меня, когда я бранюсь; мне так хочется, чтоб вы были – хороши. Я не могу согласиться с тобой насчет неинициативы в работе у Таты. Она еще не смеет, а не то что не может[2]. Дай ей еще год школы да побольше сосредоточенности, и инициатива придет. Об остальном не стану говорить. Я о многом думал, и прежде чем для меня чтб будет ясно, я ни на что не решусь. Но ты в одном ошибаешься. Драма никогда не разрушает девственную прелесть, а водевиль разрушает. От этого ты и остерегись. Если ты воспитаешь в себе серьезно любовь к ребенку – тогда другое дело[3]. Но ты и это чувство в себе проверь, по крайней мере, двух- трехгодовым опытом. А ребенок чрезвычайно мил; я его вчера видел. Мне кажется, она его отдаст. Натал⟨и⟩ уже ей предлагала. Я – idem[3*]. Вероятно, по возвращении вашем дело уладится. Обнимаю тебя крепко.

Натал⟨и⟩ ушла в Кингстон[4]. Тате я стану писать завтра[5].

[1]Год определяется пребыванием Огарева и Н.А. Тучковой-Огаревой в Лондоне – в отсутствие Герцена и А.А. Герцена (15 сентября 1863 г. они уехали в Италию, и лишь в октябре 1863 г. Огарев мог написать: "по возвращении вашем"; вскоре выяснилось, что А.А. Герцен остается жить во Флоренции), а также упоминанием о ребенке: сын адресата и Ш. Гётсон Александр (Тутс, как его звали в семье Герцена) родился 13 июня 1863 г.

[2]Ср. письмо Огарева к Н.А. Герцен от 9 октября 1863 г. в наст. книге.

[3]По-видимому, А.А. Герцен в неизвестном письме к Огареву делился намерением соединить свою жизнь с Ш. Гётсон из любви к их ребенку или взять Тутса в семью (ср. п. 3).

[4]В Кингстоне (городок близ Лондона) жила Ш. Гётсон с Тутсом.

[5]Это письмо Огарева к Н.А. Герцен неизвестно.

3

⟨Лондон. Середина октября (после 12) 1863 г.⟩[1]

Саше

Мальчику[2] поехали прививать оспу. Сведений еще не имею, но жду.

Теперь о другом. Встреча с Бак⟨униным⟩ мне была бесконечно больна ради тебя. Мне кажется, что несмотря на все мое желание принести пользу, я тебе сделал бесконечный вред поездкой в Швецию[3].

Вот обвинения Бак⟨унина⟩, сколько могу вспомнить:

1) При нем ты говорил Кв⟨антену⟩, что ты уполномоченный "З⟨емли⟩ и В⟨оли⟩" и что тебе стоит только написать – и пришлют к тебе нарочного человека: тон, ко-

[3*] также (*лат.*).

торый его удивил по хлестаковской замашке. 2) Ты Демонт⟨овича⟩ просил представить себя Нордш⟨трему⟩ помимо Бак⟨унина⟩, потому что Бак⟨унин⟩ человек, на которого нельзя обращать внимания, что он заслуживает уважения только потому, что выстрадал, но что ты сам по себе и хочешь действовать помимо (уж потому-то нельзя было этого говорить!). 3) Что ты всем говорил в том же духе и что главное – твой отец и что ты прямо от его лица действуешь. Это, наконец, рассказывал Бак⟨унину⟩ Минт⟨он⟩[4] и еще какой-то старец: он начёл 5 или 6 человек, которые говорили ему одно и то же, слышанное от тебя. 4) Что ты хотел представиться королю[5] и получил отказ, это он знает через министра, сказавшего отказ... забыл я его имя. – Если одно из этих обвинений справедливо, друг мой, то ты поступал с мальчишеским самолюбием, страшной неделикатностью и совершенным непониманием дипломатических приличий. Бак⟨унин⟩ им отвечал, что ты по молодости погорячился, хотел заслужить шпоры, но что он убежден, что твой отец не давал тебе таких поручений насчет его. Если одно из этих обвинений справедливо, то я на твоем месте, с человеческой искренностью, написал бы Бак⟨унину⟩: "Я поступал как мальчик, прости меня". – Подумай искренно, обратись на самого себя и реши этот вопрос с широким благородством.

А потом, Саша, займись естествен⟨ными⟩ науками. Нельзя поставить себе целью быть отцом семейства. Если нет иной человеческой цели возле этой антропологической необходимости, то цель до такой степени буржуазна, что в ней ничего нет уважительного. Чем больше думаю, тем больше прихожу к заключению, что тебя к этой цели увлекает самолюбие и критика над домом нашим, критика, впрочем, довольно узкая. Вдобавок заметь, что ты дерзок, но бесхарактерен, и что ты главой семейства никогда не будешь. Ты будешь неприятно примеровать[4*] над женщиной в разговоре и подчиняться на практике – и только. Подумай, что гораздо чище, шире и умней – задать себе серьезный умственный труд, где бы ты мог совершенствовать себя и быть полезным для других и для науки, т.е. для развития человеческого понимания, чем записаться в pater familias[5*], роль, которую Львицкий, может быть, отлично справляет.

Помни, что ты мне обещал не вовлекать Тату в матримониальные мечтания. Смотри сильно за собой – чтобы не быть для них вредным[6].

Не сердись на меня, друг мой. Я пишу так потому, что мне больно, потому что я тебя люблю, потому что, соображая все обстоятельства, – мне становится страшно тяжело, а так хотелось бы, чтоб ты развился в светлое и благородное, т.е. мыслящее и любящее правду существо. – Бак⟨унин⟩ говорит, что ему больно было писать к Г⟨ерцену⟩ и больно говорить со мной, потому что мне должно быть в 20 т⟨ысяч⟩ раз больнее. Я ему сказал, что он не преувеличивает ли, но что он должен, во всяком случае, поступить как старший, т.е. побранить откровенно и отпустить грехи. Это я сказал, потому что он не хотел бы с тобой встретиться. Он отвечал, что он для нас готов поступить, как я хочу[7].

[1]Дата установлена при первой (неполной) публикации (*Ог. чтения*, 121–122). О приезде М.А. Бакунина из Стокгольма в Лондон 12 октября 1863 г. см. в его письме к И.-В. Фричу от 10 ноября ("Эпоха Чернышевского. Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.", вып. 7. М., 1978, с. 247).

[2]Сыну А.А. Герцена Тутсу.

[3]А.А. Герцен уехал из Лондона в Стокгольм по делам "Земли и воли" 16 мая 1863 г. и вернулся 23 июня, "все свои поручения исполнив хорошо", по отзыву Герцена (XXVII, 346). См. также прим. 3 к п. 9; М.К. Перкаль. О поездке А.А. Герцена в Стокгольм в мае 1863 г. – "Проблемы изучения Герцена". М., 1963, с. 504–512. Подробнее об отношениях М.А. Бакунина и А.А. Герцена с деятелями финского национально-освободительного движения Э. фон Квантеном, И.-Я. Нордштрёмом и др. см. в публикации Е.Л. Рудницкой "Герцен, Огарев, Бакунин и польское восстание 1863 г." в т. 96 "Лит. наследства".

[4]24 марта, выехав из Стокгольма для соединения с экспедицией Демонтовича – Лапинского в помощь польскому восстанию, Бакунин писал А.А. Герцену из Гётеборга о предстоящих в Стокгольме знакомствах – и, в частности, со своим "добрым другом Минтоном" (см. *HOBL*, 74; ср. "Лит. наследство", т. 96, с. 371. См. также о нем в п. 4).

[4*] первенствовать (от *франц.* primer).

[5*] отцы семейства (*лат.*).

[5]Шведский король Карл XV в своей антирусской политике прибегал в марте – апреле1863 г. к заигрыванию с передовыми общественными кругами Швеции и с участниками движения "фенноманов", а также с польскими и русскими эмигрантами. Так, во время приема Бакунина в середине апреля им (или его братом принцем Оскаром), по-видимому, был сделан намек на готовность вступить в войну с Россией в защиту Польши. "Вы, кажется, что-то нахвастали с вашим вторым Карлом XII", – пишет Герцен Бакунину 8 мая (XXVII, 323), очевидно, откликаясь на сообщение об этих контактах в несохранившемся письме Бакунина от 20 или 21 апреля. Однако уже в конце апреля 1863 г. слухи о воинственных настроениях Карла XV, проникшие и в западную печать, были официально опровергнуты правительственными кругами Швеции (см. В.Г. Ревуненков. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. Л., 1957, с. 336–237; п. 4).

[6]Огарев имеет в виду сестер А.А. – Наталью и Ольгу.

[7]О неизвестном ответе А.А. на это письмо см. в п. 4.

4

⟨Лондон. Около 6 ноября 1863 г.⟩[1]

Милый мой Саша, сын мой – потому что ты его и ее сын[2] – долго я сбирался отвечать на твое письмо[3], и не хотелось – больно! Натали я его не показывал; я ничего ей не покажу, что прямо говорило бы не в твою пользу. Amen[6*] всему делу я не могу поставить, – это было бы нравственно унизить тебя. Руководствуюсь я не тем, что les présents ont toujours raison[7*], а тем, что la vérité a toujours raison[8*], и, следственно, скажу все, что на душе. – Я разделю мое письмо на два отдела: один горький, другой – мой внутренний, молящий, зовущий к лучшей жизни. Incipiem[9*].

Ты начал с возражения на самое пустое обвинение; оно тебе показалось важным именно потому, что оно пусто и что ты до сих пор пустоты от действительной человеческой истины не различаешь. Это обвинение о представлении королю. Да если бы ты и искал его – беда была бы невелика. Все, что поважнее, – ты перескользнул. Например, то, что Норд⟨штрём⟩, Минтон и другие старые люди говорили Б⟨акунину⟩, что ты о нем дурно отзывался им. Это они готовы подтвердить. Это сделало не его, а тебя смешным в их глазах, ибо это имело весь вид интриги. А ты это делал без всякого понятия об интриге, а чисто по глупости и мальчишеской заносчивости. Ты не понял разницы – между избеганием участия в ложных путях, пробиванием других путей – и просто сплетней, т.е. интригой. Путей ты не пробил, а сплетней, без сомнения, оскорбил Бак⟨унина⟩. – Смешным ты его не сделал, ибо эти люди остались с ним в сношениях и пересказывали ему твои слова, не исключая Демонтовича.

Смешным ты его не сделал, уже потому, что его заслуга, т.е. заточение, не позволяет сделать его смешным. Шведские газеты печатают о нем теперь страницы уважения. Путь действительный он пробил[4], и я его undervalue[10*] не хочу. – И overvalue[11*] его не хочу. Он остался со всеми недостатками и несносными мелочами, которые делают его присутствие тягостным; но он имеет другое достоинство – он подчиняется и слушается. Его можно отвести от промаха одним словом; а дело определенное он исполнить в состоянии, не жалея труда. Для меня его положение определено: он может делать на свой салтык все, что не касается до того дела, где ему предписаны пределы и определенное действие. Он подчиняется, исполнит многословно, но исполнит, исполнит в самом деле, а не на ветер. Выкидывать его было бы просто глупо и отзывалось бы тем, что мы уже никакой частной неприятности не в состоянии вынести ради подмоги общему делу. Но жизнь наша пойдет врозь – кроме отдельных поручений. Так мы и поставились. Он едет на днях во Флоренцию; из Швеции он уехал оттого, что туда ждут Мерославск⟨ого⟩[5] (на днях, кажется, это немного изменяется, для общего дела к худшему), а к весне Бак⟨унин⟩ возвращается в Швецию[6].

6* Здесь: конец (*лат.*).

7* присутствующие всегда правы (*франц.*).

8* истина всегда права (*франц.*).

9* Приступаю (*лат.*).

10* недооценивать (*англ.*).

11* переоценивать(*англ.*).

Ты говоришь, что тебе равнодушно, что ему больно с тобой встретиться. Да если б у него только и было заслуг, что он посидел в казематах (а у него была еще заслуга, что он сызнова рисковал тем же и худшим) – то и тогда едва ли ты вправе сказать это. Это только наглая фраза, под которой кроется чувство, что ты не вовсе прав. Что же ты-то сделал, чтоб ставить себя так свысока? Три дурных поступка в четыре года по женскому разряду? И только!

Сплетней ты чуть-чуть не помешал серьезным сношениям, так что мне теперь приходится отписываться, чтоб поправить дело. Я это сделаю незаметно. А тут дело, действительно, идет на лад.

Все это ты можешь показать отцу.

Секретно

А вот чего я не хочу, чтоб ты ему показывал и держал бы между мной и тобой строго: Бак⟨унин⟩ мне сказал, что ты говорил ему, что получил на поездку от отца денег столько-то, а покажешь столько-то и, стало, выиграешь для себя. Если ты считал его врагом и действовал против закулисно, пойми всю пошлость этого хвастовства. Я сказал ему, что это быть не может. Он мне дал *расписку, которую я храню,* и, сверх того, дал честное слово, что он никогда против тебя ни с кем не говорил и старался всю историю пальировать[12*], а что про это он никогда не скажет никому и что это умрет между нами двумя. Он согласился со мной subito[13*], что юношу, нам близкого, следует не обвинять, а спасать. Тебе же об этом написать он мне дал полное право. Саша! Саша! Я, впрочем, сказал, что если это неправда, то я его убью.

Теперь перехожу ко второму отделу моего письма. Может, сюда войдет несколько теоретических заметок, но это не беда. – В роде человеческом всегда существовали пороки, обозначенные в "Robert le diable"[7], т.е. хождение к девкам, пьянство, игра. Первое – какое бы ни было общественное устройство – порок физиологический и очень внешний. Второе – тоже внешний порок, но искусственный и потому гораздо хуже (видишь, я себя не щажу). Третье – еще хуже, ибо это жажда стяжания без труда; от этого она всего больше распространена в аристократии и полубуржуазном мире, т.е. у богатых. Но что для меня всего хуже и составляет действительный *грех* – это нераскаянность, это узкое самолюбие, которое всегда готово обвинить другого вместо себя и никогда не доходит до великодушия спроса прощения. – Я тебе писал о спросе прощения не из уважения к Бак⟨унину⟩, а из любви к тебе. Если я виноват перед преступником, я и у него спрошу прощения. Спрос прощения – акт самоочищения, а внутренняя раскаянность – это то самосознание, без которого самый развитой человек – гадок. Если ты на волос чувствуешь себя неправым, – скажи оскорбленному человеку: прости меня! Поверь мне, мой Саша, что это чувство личной чистой искренности – выше всех идеалов буржуазно⟨го⟩, браку верного и семьюлелеющего комфорта.

Если ты в этих строках не поймешь любящей мольбы – то, конечно, я напрасно пишу их. Но я этому не верю. Я не знаю, как бы ты мог не понять этого простого сердечного $2 \times 2 = 4$. Поэтому дай мне руку, посмотри мне в глаза, чувствуешь ли ты, как мне больно, и как я бесконечно люблю тебя – моего сына, и как мне хочется, чтоб ты был чист и хорош, чтоб я мог в тебе предугадывать: ecce homo[8].

Обними меня, Саша, плачь на моем плече, если хочешь, – и будь этим лично внутренно-чистым человеком, как бы мне хотелось. – Addio покаместь.

Бойся пуще всего пустого верхоглядства.

Гости меня с ума свели. Я никуда не поспеваю – ни к тем и ни к другим. Мальчик[9] чрезвычайно красив. ⟨4 *нрзб.*⟩ отдали и разговора путного не добьюсь.

[1]Письмо писалось за несколько дней до отъезда Бакунина из Лондона через Париж в Италию (уехал 11 ноября) и было отправлено, очевидно, вместе с неизвестным письмом Огарева к Герцену, которое тот получил 12 ноября (см. XXVII, 377): в ответе его в этот же день – отклик на "секрет о Саше", очевидно, идентичный содержащемуся в наст. письме.

12* сгладить (от *франц.* pallier).

13* поспешно (*итал.*).

[2]Т.е. Герцена и Н.А. Герцен.

[3]Неизвестное письмо А.А., служившее ответом на п.3.

[4]А.А., как и Бакунин, вел переговоры со стокгольмским книгопродавцем Е. Штраубе о транспортировке изданий Вольной русской типографии в Россию. Однако, очевидно, реальных успехов в их распространении, вопреки намечавшейся ко времени отъезда Бакунина договоренности, эти контакты не принесли (см. XXVII, 353, 372–373, а также 807).

[5]Конфликт Бакунина с Л. Мерославским, разразившийся после лондонских переговоров редакторов "Колокола" и Бакунина с представителями Варшавского Центрального национального комитета в конце сентября 1862 г., был вызван националистической позицией Мерославского и его диктаторскими притязаниями на роль главы всего польского освободительного движения. Союз революционеров Польши и России на основе провозглашенного ими права народов Украины и Белоруссии на самоопределение он назвал игрой "в расчленение отечества". На его открытые письма в "Siècle", "Opinion Nationale" и пр. с обвинениями против русских демократов в панславизме, во вмешательстве в польские дела – Бакунин отвечал обращением в редакцию "Courrier de l'Europe", напечатанным также отдельной брошюрой – "Le Comité central de Varsovie et le Comité militaire russe". L., 1863 (вышла около 5 января). В ответной брошюре "La dernière réponse à M. Michel Bakounine" (P., 1863) Мерославский вновь повторил свои обвинения против "русско-славянской партии".

[6]Вторая поездка Бакунина в Стокгольм состоялась в сентябре – октябре 1864 г. Здесь он вел переговоры с редактором радикальной газеты "Aftonbladet" А. Сульманом в связи с организацией Интернационального тайного общества освобождения человечества (см. "Лит. наследство", т. 96, с. 394, 398).

[7]Опера Дж. Мейербера на либретто Э. Скриба и Ж. Делавиня (1831).

[8]"*Се человек*!" (*лат.*). По евангельскому преданию, слова Пилата, обращенные к толпе, перед которой предстал после истязания, в терновом венце, Христос (*От Иоанна*, 19, 5).

[9]Пятимесячный Тутс.

5

⟨Борнемут.⟩ 24 июля ⟨1864 г.⟩[1]

Давно я к тебе не писал, милый Саша. Дай поздороваться с тобой, обнять хорошенько, посмотреть, какой ты стал. Что ты делаешь? Принялся ли опять за работу[2] – за какую? Об этом пиши мне, ибо это меня страшно интересует. Я шибко занимаюсь математикой, а это всеобъемлющая, всеприложимая, всенеобходимая наука, которая возбуждает интерес ко всем вопросам. Между вашими, т.е. физьологами, есть один математик – Гельмгольц. Советую читать его[3]. – Ну, что ж сказать тебе сегодня? Pater[14*] в Лондоне, ужо приедет[4]. Остальная семья дома. Тату я с каждым днем больше люблю. Это доброе и разумное существо, здоровое и светлое. Ее вид для меня утешение.

Хотел что-то еще писать, да расхотелось. Посылаю эти строки для возобновления переписки, которая как-то застряла, а между тем не должна прерываться. Поэтому жду от тебя длинного письма, сердечной и умственной корреспонденции. – Все здоровы. За сим обн⟨имаю те⟩[15*]бя еще раз.

[1]В автографе описка в месяце: "24 июня". В публикации М. Мерво письмо ошибочно отнесено к 1859 г. (*LOAHf*, 41–42). Год и месяц установлены в "Истории СССР", 1979, № 6, с.213–214.

[2]А.А. прервал свою работу во Флоренции, приехав 14 мая 1864 г. в Рим для встречи с сестрами Татой и Ольгой, отправляющимися в Англию. Проводив их до Женевы и 20 июня посадив на парижский поезд, он в начале июля вернулся во Флоренцию.

[3]Научным интересам А.А. были, очевидно, наиболее близки труды Г.-Л.-Ф. Гельмгольца 1850-х годов по физиологии нервной и мышечной системы, посвященные исследованию скорости передачи возбуждения в нервах, определению скрытого периода рефлексов и т.п.

[4]Герцен уехал в Лондон 21 июля для встречи с Ю.Ф. Самариным и 25 июля вернулся в Борнемут (см. XXVII, 493–494).

[14*] Отец (*лат.*).

[15*] Нижний край листа поврежден. – *Ред.*

6

⟨Ричмонд.⟩ 28 января ⟨1865 г.⟩[1]

Милый Саша, "Колок⟨ол⟩" я тебе послал[2] и вот уже сколько дней сбираюсь к тебе писать и не могу собраться то по работе, то по перепискам, то по нездоровью. Вот же тебе наконец письмо, в котором постараюсь сказать все что хочется.

Primo[16*] – поклонись Бак⟨унину⟩ и скажи ему, что "Times" поместил телеграмму от 24-го янв⟨аря⟩, что московское дворянство вотировало просьбу к государю об учреждении двух представительных камер[3]. Русские газеты еще не принесли этого известия, но заседания московск⟨ого⟩ дворянск⟨ого⟩ собрания печатаются со всеми предложениями, спичами и баллотировками в "Московск⟨их⟩ ведомостях"[4]. Все это еще ничего, но пути расчищаются видимо.

Secondo[17*]. – Вчера я видел Ал⟨ександра⟩ III[5]. Ты знаешь, что его болезнь оказалась чесоткой, которая от серной мази и прошла, было. Но, видно, рано прекратили мазь, и она опять возобновилась и, вероятно, опять пройдет; но я просил Ш⟨арлотту⟩ не прекращать мазь прежде совершенного докторского удостоверения о том, что следа чесотки нет. Он, было, совсем поздоровел; с возвращением сыпи опять похуже, но все же лучше, чем был, когда два месяца никто не мог понять, что это чесотка (парша, шелуди, la gale). А понять, действительно, было трудно: сыпь начиналась со спины, я ее принимал за экцему, остальные не знаю за что; мне немудрено ошибиться – из всех болезней, я всего меньше видал сыпные и всего меньше интересовался ими. Как эта чесотка ни к кому в доме не пристала – это тоже вопрос. Я, с своей стороны, одно только заключение принимаю, что это сыпь, которая проходит от серной мази, а там, что это за сыпь, chi lo sa[18*]. – Одно скажу, что Ш⟨арлотта⟩ ходить за ним не умеет, то с рук не спускает, то от рук вдруг отучить хочет. Но Чернец⟨кий⟩, который сам его охотно бы взял, не думает, чтоб она его отдала, поэтому я решился еще не спрашивать, а посондировать, так, чтоб при внезапном согласии тотчас его взять и не дать времени раздумать. Потом (entre nous)[19*] мне кажется, что дамы как-то поссорились или, по крайней мере, что-то неладно и что Ч⟨ернецкий⟩ принимает участие, ибо находится под влиянием, но это, вероятно, пройдет скоро, и тогда мне легче будет действовать. Пожалуйста, держи это про себя и не ссорь меня с Ч⟨ернецким⟩ из-за вздора. Я решился всякому подобному явлению давать son cours[20*], потому что его никогда не остановишь; правых не бывает, разумных тоже, а всякая глупость сама собой испаряется; а если не может испариться, тогда надо людей разводить. Здесь это слишком мелко, чтоб иметь последствие важнее кошачьего фырканья.

Иное дело трагическое настроение Натали. Я не знаю, что тут делать. Боюсь и за нее и за Лизу, и ужасно бы хотелось, чтоб кто-нибудь был при Натали; ума не приложу, как это сделать. Меня это неотступно мучит. Вот три дня нет писем (а бывало каждый день от патера), и это меня мучит. По прежним письмам судя, он завтра должен быть в Париже[6]. Хотелось бы, чтоб он обработал дела и побывал бы у меня и опять бы тотчас поехал к ним, ибо я понимаю, как их одних оставлять нельзя. Мне бы ужасно хотелось, чтоб скорбь довела Нат⟨али⟩ до гармонии с детьми. Тата, на мой взгляд (я не думаю, чтоб это был пристрастный взгляд), хорошеет нравственно постоянно; она теперь работает; Мальвида ее полюбила и пишет мне об этом[7]. Я в Тате вижу ангела-хранителя для Лизы. Все бы должно привести к гармонии. А чтоб сказать тебе, что я верю в этот исход, – не могу. И это меня мучит еще постоянно.

Теперь стану говорить о себе, а ты что сочтешь нужным, поговоришь с Шиффом. Как я теперь – я никому не годен – и это меня еще постояннее мучит. Поэтому обсуди серьезно мой отчет.

Ты мою болезнь знаешь[8]. В последнее время моего пьянства она развилась до при-

---

16* Во-первых (*итал.*).
17* Во-вторых (*итал.*).
18* кто ее знает (*итал.*).
19* между нами (*франц.*).
20* свой ход (*франц.*).



М.А. БАКУНИН
Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова (карандаш).
(Флоренция), 1864.
Надпись "М.А. Бакунин (1864)" – на обороте
Музей Герцена, Москва

падка в две недели раз. Так продолжалось и по прекращении пьянства до поездки в Париж, где по приезде на другой (или 3-й) день был припадок. Потом в Париже 2 недели и не было припадка. По возвращении в Лондон, припадки начались в неделю раз таким образом: вторник, воскресенье, понедельник через неделю, вторник через неделю, понедельник через неделю. Жизнь моя была аккуратна во всех отношениях – ем я два раза в день сытно и только, пью от 2-х до 3-х *рюмок* бордо за едой; половые отношения сведены до minimum'a, мне необычного; я думал, что занятие математикой мне вредно (это Нефтель мне заметил[9] со слов Герцена) – я перестал читать книгу, которая меня увлекала. Ничто не помогло. Явления идут так: помаргивание начинается дня через три после припадка, бывает долю дня, есть доля дня совершенно свободная, помаргивания качественно усиливаются к исходу недели, пока одно помаргивание (подергивание) равносильно обморку; после этого как рукой сняло, помаргиваний нет; дня через три опять та же процедура. При обмороке бывает пена у рта, укус языка; если обморок в постеле – то он очень легок и болей нигде нет; если обморок с падением на пол, то боль в мускулах икор остается несколько дней и обморок тяжел; часы обморка обычно бывали поутру вскоре после пробуждения, потом два раза было вечером, а потом опять пришло наутро. – Я стараюсь приучить себя рано засыпать и ложусь в 11-ть часов, но заснуть не могу – то ли от внутренней мысли, то ли это привычка, но сплю не меньше 8 часов. Теперь о леченье.

По *самоощущению*, я относил болезнь к затылочным мозговым органам, причем большие полушария приходят в ковибрацию[21*]; твоя статья[10] привела меня к большому убеждению, ибо явления конвульций могли исходить только ⟨из⟩ рефлексного нервного начала. Нефтель меня оправдал, отнеся, по наблюдениям Schroeder van der Kolk, эпилепсию к расширению капиллярных сосудов медуллы, которого причины, впрочем, могут быть многоразличны. (Так у Дифенбаховой горничной эпилепсия прошла, когда он ей вынул осколок стекла, оставшийся в пальце.) Но возвращаюсь к лечению: 1) кровососные банки 2 по бокам местности медуллы, т.е. под самым корнем затылка, или 1 посередине того же места, – повторено 4 раза, крови вышло всего, может быть, около 4-х чайных чашек. Кровь спироживалась довольно быстро (это я упоминаю потому, что в 1847 году мне пускали кровь из руки и банки ставили во время кори, и кровь вовсе не дала пирога, а была похожа на студень). 2) завол⟨о⟩ка на затылке, которую ношу и теперь (séton). 3) Цинк в небольших приемах. Все хуже. – 4) Perchloride de fer[22*] – недавно. Я чувствую себя крепче, но помаргивания опять начинаются, и я жду припадка завтра или послезавтра.

[21*] одновременную вибрацию (*франц.* covibration).
[22*] Железистый перхлорид (*франц.*).

Мое личное соображение: или парижская поездка натянула мои нервы до выносливости и потом вдруг они опустились до прострации (которую я все это время ощущал – до железа, с которого чувствую себя крепче, но немного); или кровопускание было совершенно лишнее, по слабости сердцеударения, наблюденной из аускультации. Планиметрия заставляет *предполагать* небольшое расширение печени и селезенки; это едва ли ясно. Но что ясно, что у меня перемежающиеся явления не редкость; так я был преследован невралгией nervi supra orbitalis[23*] перемежающейся; для меня эпилепсические явления теперь имеют совершенно перемежающийся характер – и хочет Нефтель или нет, – а я приму хинины à haute dose[24*] сегодня и завтра, считая еще этот период апоплексией и в те часы, когда помаргиваний нет. Я жду Нефтеля теперь, но если он не приедет, то пойду возьму в аптеке...

Сейчас был Нефтель и прописал хинину. Но письмо мое на почту опоздало. Все же положу, тогда пойдет в понедельн⟨ик⟩ утром. От патера и Нат⟨али⟩ письмы[11]. Здоровы. Патер завтра едет. У Лизы собака.

Прощай, мой Саша. Работай и будь здоров.

[1] Год определяется упоминанием о поездке Огарева в Париж (состоявшейся 5–19 декабря 1864 г. – в связи с болезнью и смертью там младших детей Герцена и Н.А. Тучковой-Огаревой – трехлетних близнецов Елены и Алексея).

[2] "Колокол", л. 193 от 1 января.

[3] 25 января в "Times" было помещено телеграфное сообщение от 24-го о принятом Московским дворянским собранием 11/23 января адресе на имя Александра II с призывом "довершить" реформы созданием двухпалатного представительного правления. В сущности, речь шла об олигархической конституции, обеспечивающей господство аристократических верхов. Адрес был напечатан в № 4 газеты "Весть" от 14/26 января, в связи с чем газету приостановили на восемь месяцев, а этот номер был конфискован. Оценка этих выступлений реакционной оппозиции дана в статье Герцена "Прививка конституционной оспы" в л. 195 "Колокола" от 1 марта (XVIII, 371–324).

[4] Вопрос о центральном представительстве в дополнение к местному земскому, введенному реформой 1864 г., был поднят в начале января в Московском губернском дворянском собрании в речи Н.А. Безобразова, предложения которого были поддержаны предводителем дворянства Звенигородского уезда Д.Д. Голохвастовым и гр. В.П. Орловым-Давыдовым.

[5] Прозвище сына А.А. – Тутса (Александром I – называли Герцена, Александром II – его сына). Ш. Гётсон и Тутс жили в это время вместе с Л. и М. Чернецкими в Нью-Хемптоне под Лондоном.

[6] Герцен задержался в Монпелье у Тучковой-Огаревой в связи с ее тяжелым душевным состоянием; приехал в Париж 31 января.

[7] Письмо М. Мейзенбуг к Огареву неизвестно.

[8] Огарев, как известно, страдал эпилепсией.

[9] Врач-эмигрант В.Ф. Нефтель, лечивший семью Герцена и Огарева в 1861–1864 гг., а затем переехавший в Америку, зимой 1865 г. вновь приезжал в Лондон.

[10] Речь идет о брошюре: A. H e r z e n. Expériences sur les centres modérateurs de l'action réflexe (Turin, 1864).

[11] Эти письма неизвестны.

7

Женева, Château Boissière. 13 апреля ⟨1865 г.⟩[1]

Милый мой Саша, вот я где. Виноват я перед тобою, что так давно не пишу – и не потому чтоб был слишком занят, а потому, что ничего не делаю. Здесь я три дня и как-то еще не чувствую себя at home[25*], несмотря на огромный palazzo[26*] и les beaux vallons de l'Helvétie[27*]. Но послезавтра намерен приняться за постоянную работу, которую приезд Герцена, Нат⟨али⟩ и Лизы (в понедельник)[2] должен не прерывать. С каким нетерпением я жду их, если б ты знал! Лиза составляет для меня какую-то цель ожиданий на сию минуту; хочется видеть, что́ из нее выработалось с тех пор...

Но сегодня главная цель моего письма к тебе – это известия об Ал⟨ександре⟩ III.

[23*] нижнеорбитальных нервов (*лат.*).

[24*] в большой дозе (*франц.*).

[25*] дома (*англ.*).

[26*] дворец (*итал.*).

[27*] прекрасные долины Швейцарии (*франц.*).

Я их поместил с Мери в Мортлэке[3]. Мери, кажется, будет иметь сильное влияние на Шарл⟨отту⟩. Она уже ее заставила бросить привычку сидеть с ребенком на коленях целый день перед камином и воображать, что он того не ест, другого не ест, etc. Это была, по моему мнению, основная причина болезненного положения ребенка. Теперь его носят и водят на воздух как можно больше, ест он мясо и все на свете и видимо здоровеет. С Генри друг закадычный, и Генри сделался чем-то вроде его няньки совершенно по собственному влечению. Вероятно, ты этим известием останешься доволен – и, когда поедешь в Лондон, может быть (наверно не могу сказать), успеешь в твоем желании взять Ал⟨ександра⟩ III. Мне так кажется.

Мое здоровье очень поправилось. Хинин меня воскресил, т.е. перервал еженедельный припадок, а теперь, хотя я не думаю, чтоб очень надолго удержалось отсутствие припадков, вероятно, еще раз будет вскоре, но потом дойдет до таких расстояний, что жить можно будет без отвращения, т.е. можно будет работать, что хочешь, – это все же conditio sine qua non[28*]. Железо и весна, вероятно, немало способствовали моему quasi[29*]-выздоровлению. Я до сих пор продолжаю железо и хинин. Посоветуйся с Шиффом, как долго можно продолжать хинин безопасно; я принимаю 10 гран в день, по 5 за раз.

Еще мой идеал – это приезд Таты, к которой я имею бесконечную преданность. Это чувство для меня освящено всей святыней воспоминания о вашей матери. А все же я к Тате страшно давно не писал; не могу ни вспомнить, ни отыскать их адреса, а писать к ней ужасно хочется.

Вот Герц⟨ен⟩ приедет – и напишу.

Сейчас был у меня младший Чернецкий. Похож на брата. Жаль мне его – едет в Турцию в военную службу. Что за цель? Что за ремесло? Но – его воля. Чернец⟨кого⟩ нашего жду со дня на день. Отправка вещей стоит неимоверно дорого. Этот переезд нелегок.

Вчера был у Фохта, должен был у него ужинать. Бедный Фохт оказался с такой мигренью, что был вынужден лечь в постель. Я с Кас⟨аткиным⟩ просидел весь вечер с m-me Фохт, которая так себе ничего; она мне понравилась гораздо больше, чем я ожидал.

Говорят, что русские (т.е. вояжеры) сбираются уезжать из Женевы от нашего приезда, боясь встречи с нами и думая, что наше появление навлечет на них неудовольствие правительства. Экая дичь какая! Кто ж им мешает не знать нас и не читать "Колокола", даже если б они жили об дверь с нами или с типографией? Для Женевы это убыток.

Напиши, пожалуйста, что делает Бак⟨унин⟩? Он вовсе не пишет, и чем он занят и как он живет – я ничего не понимаю.

Ну! прощай – оденусь и пойду на почту. Не мсти мне и пиши тотчас. Мне хочется от тебя письма.

[1] Год определяется сообщением о переезде в Женеву. Семья Герцена и Огарев поселились в нанятом для них В.И. Касаткиным "старинном швейцарском замке с террасами" Château de la Boissière (XXVIII, 63), где жили до начала апреля 1866 г.

[2] Герцен с Тучковой-Огаревой и дочерью Лизой приехали в Женеву 17 апреля.

[3] Мери Сетерленд, подруга Огарева с 1858 г., осталась со своим сыном Генри (род. в 1851 г.) на время в Англии (в городке Мортлейк близ Лондона). Переехали в Женеву к концу октября 1865 г.

8

⟨Женева.⟩ 24 октября ⟨1865 г.⟩[1]

Давно собираюсь писать к тебе, милый Саша, и все как-то день ото дня откладываю за разными недосугами. А главное дело, почему мне хочется писать к тебе, это чтоб дать тебе кой-какие известия об Ал⟨ександре⟩ III, – Мери, которая приехала сюда, чрезвычайно его любит и находит его необычайно интеллигентным и грациозным, но говорит, что здоровье его плохое и что он страшный крикун и плакса;

[28*] непременное условие существования (*лат.*).

[29*] почти (*лат.*).

Hoarton bridge near Westbrayton – вот где теперь живет Шарл⟨отта⟩; это где-то около Виндзора, там у ней тетка. Впрочем, у тебя адрес должен быть. Один недостаток, который находит Мери, это что, при всей своей доброте, Шарл⟨отта⟩ не умеет ни унять, ни занять ребенка, и оттого он много кричит. Впрочем, это мне напоминает детство Ал⟨ександра⟩ II[2], который также был слаб и криклив, пока не стал вдруг крепнуть. Но все же я думаю, не теперь – а исподволь, лучше бы ребенка, т.е. лет к 10, перевести в какое-нибудь учебное заведение, – это все лучше бы бабьих и материнских рук. Мери сейчас напоминает мне написать тебе, как они раз нашли грибов, сварили и стали есть, а Ал⟨ександр⟩ III, смотревши на это серьезно, внезапно закричал им: "For God's sake eat it with salt!"[30*] М⟨ери⟩ чрезвычайно наслаждается этим первым предчувствием яда жизни сей. – Она тебе кланяется. Генри ушел в школу, где месяца два-три станет вырабатывать себе французский язык, а потом поступит в école de l'horlogerie[31*], где, мне кажется, воспитание по предметам, которые там преподают – от ручной работы до диффер⟨енциального⟩ исчисления, – весьма хорошо, цена 240 фр. в год.

Что же тебе сказать, переходя к большому дому? Я думаю, лучше ничего не скажу, потому что ничего не могу сказать хорошего. Отъезд Лизы меня сильно огорчил, но съездить к ней я еще не собрался; все как-то кажется еще не к чему; Лиза ко мне имеет большую привязанность, но насколько я буду дружелюбно принят Н⟨атали⟩, – не знаю. Хорошо ничего не шло в последнее время, и теперь еще мысли обо всем этом не дают жизни придти к тому внутреннему покою, который нужен бы для серьезной работы...

Ольга очень мила и все еще очень ребячлива. Они с Мальв⟨идой⟩ скоро собираются к тебе[3]. – Тата моя утешительница, это одно из тех светло добрых существ, на которые довольно взглянуть, чтоб стало легче жить... Впрочем, это все тебе не новости. – У патера зуб болит. – Ст. приезжал[4]... У Долгор⟨укова⟩[5] обедают по субботам. – Бо́льшая часть из соотечественников гадки... Все это скучно. – Но, впрочем, одна из целей в скором времени написать об историческом основании социального начала[6], и многие другие по деятельной части не оставляют меня, как ни тихо складываются по обстоятельствам и как ни задерживаются внутренней печалью. Авось ли до чего-нибудь достигну прежде чем умру, хотя и об этом думается не то чтоб вдалеке.

Ну! Прощай, друг мой. – Да! Что ты собираешься писать против Сеченова?[7] Не забудь в полемике, что его считают очень хорошим человеком вообще, т.е. в отношении общего направления студентов.

Забыл взять одну *ноту* – и потому письмо пойдет только завтра. Если Луг⟨инин⟩ еще у вас, то скажи ему, а если уехал, то тотчас напиши ему, что Цверцекевич просит его прислать заглавие книги професс⟨ора⟩ Hubert об ассоциациях[8] или иное экономическое заглавие, о чем Луг⟨инин⟩ ему – Цвер⟨цякевичу⟩ – говорил.

[1] Год определяется, в частности, упоминанием о неблагополучии в "большом доме" – семье Герцена, об "отъезде Лизы". Тучкова-Огарева, так и не сумев привести "к гармонии" отношения со старшими детьми Герцена, 17 или 18 сентября 1865 г. уехала с Лизой из Буасьера; Герцен поселил их в Монтрё.

[2] Т.е. адресата письма.

[3] Ольга и Мейзенбуг 26 сентября вернулись в Женеву из Берна, где Ольга с середины июля обучалась в пансионе Фрёлиха. 1 ноября они уехали во Флоренцию (см. XXVIII, 108–109, 111–112).

[4] Очевидно, речь о приезде А.Ф. Стуарта, зоолога, одного из организаторов Гейдельбергской русской читальни и Бернской типографии "Земли и воли", сблизившегося с А.А. Герценом во Флоренции. См. о нем в письме Таты Герцен к Тучковой-Огаревой в кн. 2 наст. тома.

[5] Кн. П.В. Долгоруков переехал из Лондона в Женеву около 20 мая.

[6] Критический пересмотр существующих доктрин утопического социализма составил содержание "Частных писем об общем вопросе", "Колокола" с 1 января 1866 по 1 мая 1867 г.

[7] В 1864–1866 гг. развернулся научный спор между А.А. и И.М. Сеченовым о природе процессов торможения. В книге "Expériences sur les centres modérateurs de l'action réflexe" (вышла в Турине в октябре 1864 г.) А.А. на основании собственных экспериментов полемизировал с выводами о существовании "спе-

---

[30*] Ради бога, ешьте это с солью! (*англ.*)

[31*] школу часового дела (*франц.*).

цифических задерживательных механизмов в головном мозгу лягушки", сделанными Сеченовым. Свое намерение продолжить полемику А.А. Герцен осуществил, по-видимому, уже вскоре после настоящего письма. 16 марта 1866 г. Огарев писал ему: "Передо мной (...) твоя книга против Сеченова" ("Философские науки", 1966, № 3, с. 95; см. там же, с. 93–94).

[8] По предположению М. Мерво, речь могла идти об одной из работ П. Юбера-Валеру (см. *LOAHf*, 100).

9

(Женева.) 20 января (1866 г.)[1]

Давно не писал я к тебе, милый мой Саша. Больше потому, что особого сказать нечего и особенно отрадного ничего. Теперь разве только то, что здоровье мое поправляется (?), а лечусь я по методу д-р(а) Ч(апмана) теплом и холодом, т.е. горячими припарками и вслед за оным трением льдом спинного хребта, начиная с 1/4 спины и до низу. Что это на меня действует – в этом нет сомнения, даже при очень дурном расположении нерв – успокаивает и предотвращает припадок. Что подумает об этом Шифф и как часто посоветует (если посоветует) употреблять эту процедуру: несколько раз в день или раз в день, натощак или когда б то ни было и сколько времени спустя после еды?.. – Вдобавок, я, наконец, урежимился.

Но пишу я к тебе, собственно, не за этим, а за вопросом, на который требую немедленного ответа: у кого, в вашем путешествии, остался шрифт и у кого машина? К кому мне об этом писать, к кому адресоваться?[2] Пожалуйста, отвечай мне немедленно. Для других знакомых, посещающих Флоренцию, этот мой вопрос неинтересен, и потому ты объясни его исключительно мне. Да еще вот что! Был ли там бревьер?[3]

Ну! что твоя работа? Что Ольга? Как ее ученье?

Тата так же мила, как была. Голос ее развивается, и она в пенье работает много. Много работает и со Стеллой[4] в физике, химии и вообще естеств(енных) науках. Боюсь, что она запустит живопись.

Она к тебе будет писать на днях[5]. Я сегодня ждать ее письма и откладывать моего не хотел.

Патер сегодня уехал в Монтрё[6]. Бакст учит Лизу естеств(енным) наукам[7] и необыкновенно ею доволен. Она интересуется уроками чрезвычайно. Но задумала еще вот что: «Как это, – говорит, – мы едим, спим, гуляем, учимся, на фортепьано играем, а для дяди[8] полезного ничего не делаем? Я напишу повесть, а вы, Бакст[32*], поправьте, и пошлем дяде напечатать в "Кол(околе)"». – И принялась писать повесть, так что ее насилу спать уложили.

Toots, хотя всё не совсем здоров, но лучше чем было, судя по письмам; и, должно быть, очень забавен. Мечтает о том, что как скоро вырастет, так наденет такое пальто, как у дедушки. Ты не забывай их, друг мой, т.е. есть ли у них, что́ нужно. Я это говорю потому, что не знаю об этом ни по плюсу, ни по минусу.

Я теперь много читаю и собираюсь много писать[9]. Хотя много времени уходит сквозь пальцы, но надеюсь устроиться получше.

Теперь подходит к полночи. Спешу написать несколько слов Ольге и Мальвиде – и в постель. Сон еще плох, но чем позже ляжешь, тем хуже.

Крепко обнимаю тебя и жду твоего письма с нетерпением.

Скажу еще одно: припадки на два дня отдалились с тех пор, как я употребляю лед (т.е. 20 дней), т.е. с 8-дневного периода перешли на 10 дней, а теперь и 10 дней прошли благополучно; но чаще повторяются кошемары; бывали маленькие, а перед сегоднишним 10-м днем, благополучно прошедшим – такой был кошемар, что я лежал ни жив ни мертв, не в состоянии двинуть мизинцем, и с сознанием во сне, что это сон и кошемар, и насилу преодолел: может ли кошемар быть суррогатом эпилептического припадка, и вообще есть ли тут соотношение нервных явлений и замена одного другим?

[32*] *В автографе описка*: Бабст. – *Ред.*

Ecce[33*] как расписался!

Нет! Саша – Ольге и Мальвиде завтра напишу[10], побоюсь за себя. Поцелуй их от меня. Лучше днем позже напишу, но не второпях.

[1] Год определяется пребыванием Н.А. Герцен в Женеве и отъездом Герцена в Монтрё к Тучковой-Огаревой и дочери Лизе 20 января (ср. XXVIII, 142).

[2] Одной из целей поездки А.А. в Швецию в мае – июне 1863 г. было устройство там типографии "Земли и воли" для перепечатки изданий Вольной русской типографии в Лондоне, а также других пропагандистских изданий, транспортировавшихся нелегально в Россию. Огаревым был послан ему в Стокгольм ящик со шрифтами (см. XXVII, 329, 334, 339), а там А.А. приобрел и типографский станок. Однако в связи с невозможностью установить в эти месяцы надежную связь с Петербургом – с ЦК "Земли и воли" – типография так и не была организована. Возвращаясь в Англию, А.А. оставил шрифты в распоряжении Бакунина, о чем, очевидно, и сообщил Огареву в ответном письме (неизвестном – см. п. 10 и прим. 3 к нему). Вопрос Огарева связан, вероятно, с переоборудованием Вольной русской типографии в Женеве, потребовавшим приобретения "новых шрифтов" и т.п. (см. редакционное "Объявление" в л. 211 "Колокола" от 1 января 1866 г. – XIX, 319).

[3] Мелкий типографский шрифт (от *франц.* bréviaire – молитвенник: их обычно набирали этим шрифтом).

[4] Полковник Генерального штаба И.Ф. Савицкий под именем *Стелла* командовал отрядом польских повстанцев в 1863 г.; после поражения восстания эмигрировал в Швейцарию; преподавал Н.А. Герцен в Женеве естественные науки.

[5] Это письмо Н.А. Герцен неизвестно.

[6] Герцен вернулся в Женеву 28 января (см. XXVIII, 145, 148).

[7] В.И. Бакст, один из руководителей Гейдельбергской читальни и Бернской типографии "Земли и воли", в декабре 1865 – начале февраля 1866 г., живя в Монтрё, преподавал Лизе естествознание.

[8] Так Лиза называла Герцена до конца июня 1869 г., когда он и Огарев сочли возможным сообщить ей, что она дочь Герцена.

[9] Вероятно, имеются в виду главным образом "Частные письма об общем вопросе".

[10] Очевидно, Огарев написал им лишь 31 января (см. п. 10 и прим. 4 к нему).

10

⟨Женева.⟩ 31 января ⟨1866 г.⟩[1]

Милый Саша, письмо твое получил и вот 3-й день собираюсь к тебе писать. Спасибо тебе за мнение Шиффа; через некоторое время приведу его в исполнение. Покаместь и так идет хорошо; вот уже три недели как у меня нет припадка. Но теперь у меня явился открытый геморрой: он сопровождался (три дня) ужасной тяжестью головы, особенно затылка; если это не боль, то, по крайней мере, страдание, которое лишает возможности порядочно думать и делать. Не знаю, что будет сегодня. Но с припадком или предчувствием его это ничего общего не имеет. Я, кажется, тебе писал (или нет?), что несколько времени тому назад были с вечера предварительные признаки припадка (Zückungen[34*]); ночью был тяжелейший кошемар, так что мизинца шевельнуть нельзя было, несмотря на сознание, что это сон и что надо проснуться. Наконец, разумеется, проснулся-таки, и все кончилось, но припадка не последовало. Это явление повторилось еще, т.е. был тяжелый кошемар, а припадка не было. Я делаю вопрос: может ли сон, в этом виде, служить заменою нервного припадка – и можно ли принять это за средство проследить связь сновидения и нервной патологии?[2] Не думаю, чтоб этот вопрос был dénué de fondement[35*], и жду твоего мнения. Далее: могло ли лечение припарками и льдом привести к открытому геморрою, или он пришел сам по себе, потому что и перед этим было издавна утолщение заднепроходной кишки и подчас геморроидальные шишки, оставляющие по себе постоянные мешки. – Девиль вечно говорил, что открытый геморрой был бы моим спасением. Насколько это правда – не знаю, а ставлю сильный вопросительный знак, т.е. знак сомнения.

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ благодарят тебя за память и кланяются тебе. Г⟨енри⟩ довольно успел во французском языке и может, хотя ошибочно и с трудом, но говорить с

33* Вот (*лат.*).

34* подергивания (*нем.*).

35* лишен основания (*франц.*).

французами. Мне бы очень хотелось подготовить его к осени к действительной реальной школе (т.е. школе часовщиков), которая мне очень нравится по преподаванию мастерства и физико-математических наук. В Г⟨енри⟩ много милого и благородного, но сосредоточиться еще он не может по чрезвычайной детскости и живости характера. К сожалению, мне некогда иметь на него достаточно влияния, а М⟨ери⟩ невольно его балует, потому что не довольно развита, чтоб иметь на него влияние, а ему уже 14 лет!

Далее – прими *всерьез* то, что я скажу, и постарайся употребить в пользу твое влияние. Мне ужасно грустно, что Тата забросила живопись. С одной стороны, ее увлекло пение – а доведет ли она его до чего-нибудь действительно артистического – не знаю, т.е. хватит ли выдержки, вникнет ли она побольше в самый строй музыки, без чего нельзя голос довести до свободного, артистического пения. С другой стороны, она занимается физикой, химией – что́ очень хорошо для общего образования и развития (лишь бы не служило только забавой) – но все же это не пойдет ни в какую научную деятельность. А между тем она уже 2 месяца кисти в руки не брала, между тем как у ней в живописи есть все же действительный *талант*. Я тебе советую писать ей об этом; я думаю, ты все же для нее самый близкий и можешь иметь существенное *влияние*.

Далее – прилагаемую записку перешли немедленно Бак⟨унину⟩[3]. Я боюсь, что она его уже не застанет в Неаполе, а может он и во Флоренцию никогда не сберется. Поэтому возлагаю на тебя обязанность доставить ему ее (тотчас) куда знаешь. Тебе должно же быть известней, где он.

При сем также письмо к Ольге и Мальвиде[4], к которым так давно не писал, что самому стыдно.

За сим обнимаю тебя обеими руками и прощаюсь.

Рукой Герцена:

И я кланяюсь, а также подтверждаю, что Тата вовсе не рисует. Прощай.

[1] Огарев отвечает на неизвестное письмо А.А. Герцена, служившее откликом на п. 9.

[2] Мысли о близости процессов, протекающих в мозгу в состоянии сновидения и нервной патологии, и о специфических возможностях для исследования высшей нервной деятельности, которые представляют, таким образом, "самонаблюдение" за содержанием сновидений, развиты Огаревым в заметках "По поводу чтения Сеченова и Саши" (*Огарев* II, 165). Результаты некоторых подобных наблюдений изложены в открытом письме к А.А. Герцену от 28 июня 1868 г. "Несколько слов о сновидениях" ("Философские науки", 1966, № 3, с. 97–100).

[3] Судя по ответу М.А. Бакунина из Неаполя от 23 марта, Огарев в этом письме осведомлялся о шрифтах, оставленных в Стокгольме (см. п. 9). Бакунин сообщил, что они находятся у книгопродавца Е. Штраубе и дал его стокгольмский адрес (*Письма Бакунина*, 163–165).

[4] Письмо Огарева к Мейзенбуг от 31 января с припиской Герцена от 1 февраля 1866 г. см. в наст. разделе. Письмо к Ольге неизвестно.

11

А.А., Н.А. и О.А. ГЕРЦЕНАМ

⟨Женева.⟩ 13 апреля ⟨1867 г.⟩

Petit Lancy[1]

Милые мои, что же это вы меня совсем забыли? Хоть бы строчку написали о том, что здоровы, и как работается, и пр. Жду патера послезавтра. Сегодня кончаю корректуру "Кол⟨окола⟩" 15 апр⟨еля⟩[2]. – Сегодня же, кажется, устанавливается удивительно изящная погода, после вчерашней бизы. Поэтому я тебе запрос делаю, мой милый Саша, почему ты отклоняешь приезд Ш⟨арлотты⟩ и Тутса до июля?[3] Она там умирает со скуки, а Тутс страдает от климата. Здесь бы женщины были друг другу в помощь. В доме есть комната для Ш⟨арлотты⟩ с Тутсом, по 2 1/2, много по 3 фр. в неделю, да на мебель придется истратить фр. 50 или 60 сразу. Разочти по возможности и устраивай их. Теперь хорошо и удобно. Мне же от этого никакой помехи не будет, потому что я утро занят, до вечера, часов с 3-х, не бываю дома, а с приездом патера еще меньше буду дома – и потому не думай, чтоб мне приезд их в чем бы то ни бы-



ЖЕНЕВА. УЛИЦА ПРЕ Л'ЭВЕК

Фотография Ф. Буассонá. Конец 1890-х годов

Из книги: G. Fatio. Genève à travers les siècles. Genève, 1900

В 1865–1867 гг. на улице Пре л'Эвек (Pré l'Evêque, 40) находилась Вольная русская типография

ло помешал; напротив того, я буду очень рад, по возможности, помогать воспитанию Тутса.

Лиза выздоровела и говорит о Голынском: "Je crois que c'est un homme qui n'a jamais rien fait de bon ni de mauvais"[36*] [4].

Ну! что же вы делаете? Что твоя лекция и почему ты мне ее не пришлешь?[5] Да и лекцию Шиффа не худо бы прислать[6].

Что Тата? что Ольга? что Мальвида? Целую их всех vom ganzen Herzen[37*] – и тебя тоже, жду от тебя письма в скором времени.

Прощай!

Иду есть и потом на службу к Чернец⟨кому⟩.

Папа А г а

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ кланяются тебе и Тате; Г⟨енри⟩ в часовом искусстве преуспевает быстро.

[1] Огарев жил в пригороде Женевы Petit Lancy с начала апреля 1866 до начала мая 1868 г.; из названных лет только в 1867 г. на 15 апреля пришелся приезд Герцена в Женеву (из Ниццы, где жили Тучкова-Огарева и Лиза).

[2] 15 апреля вышел л. 239 "Колокола".

[3] Ш. Гётсон с сыном приехала в Женеву по приглашению Огарева 21 мая (см. п. 12).

[4] Огарев передает сведения о Лизе и А.В. Голынском из писем Герцена к нему от 29 марта, 2 апреля (ср. XXIX, 74, 76).

[5] Речь идет о публичной лекции, прочитанной А.А. в Спеколе 9 марта. В ней излагались результаты его исследований рефлективной деятельности нервной системы. О "полном и заслуженном" успехе лекции см. в письмах к Огареву Герцена и Н.А. Герцен от 10 марта (XXIX, 57; "Лит. наследство", т. 63, с. 460).

[6] В тот же вечер 9 марта читал лекцию о термогальванических наблюдениях над нервами и М. Шифф.

[36*] Думаю, что это человек, который никогда, ничего не сделал ни хорошего, ни дурного (*франц.*).

[37*] от всего сердца (*нем.*).

12

⟨Женева.⟩ 21 мая ⟨1867 г.⟩[1]

Вот, милый Саша, я так долго к вам не писал, что сегодня приехала Mrs. Hatson. Не знаю, что сказать тебе о ней, кроме того, что она должна быть a very good child[38*], но об чайльде[39*]-то именно я и хочу тотчас тебе написать. Это один из милейших ребенков, каких я видел; похож на тебя (как ты был маленький), но здоровее, толще, веселее, не плаксив и необычайно мил. Я совершенно чувствую себя *дедушкой*, и мне хорошо на сердце. Ген⟨ри⟩ их привез с железн⟨ой⟩ дороги, и Туте с ним дружен, так, как и Ген⟨ри⟩ с ним. Это, вероятно, происходит и от большой дружелюбности Ген⟨ри⟩ к детям, и потому что он его постоянно помнил. Главное то, что мальчик мне бесконечно нравится. Через несколько дней я тебе напишу больше, теперь я еще не могу прийти в себя и хорошенько оценить, что и как. Почему я взволнован – я сам не понимаю, но чувствую только, что появление Тутса напомнило мне всех вас – даже твою мать, и мне как-то странно и хорошо.

Комната недурна – 80 фр. в 6 месяцев. Мер⟨и⟩ берется кормить их за 30 фр. в месяц. Мебели надо фр. на 60. – Вот и весь отчет. Прощай пока. Поцелуй Тату (если она не уехала)[2], Ольгу и Мальвиду. Теперь напишу в Ниццу[3], а тебе вскоре.

[1] Год определяется приездом в Женеву Ш. Гётсон с сыном Тутсом.

[2] Н.А. Герцен уехала из Флоренции к Тучковой-Огаревой и Лизе, по-видимому, 22 мая. Приехала в Ниццу 23 или 24 мая (XXIX, 104).

[3] Это письмо Огарева к Тучковой-Огаревой неизвестно.

13

⟨Женева.⟩ 21 июня ⟨1867 г.⟩[1], после дождя под деревом

Ты, вероятно, сердишься на меня, dear doctor[40*], что я так давно не пишу. Все ждал какого-нибудь известия, но, наконец, перестаю ждать. Сегодня ровно три недели как Ш⟨арлотта⟩ пропала. Куда она девалась? Пошла ли, бедная, утопиться со стыда?[2] Уехала ли с кем, преднамеренно следуя такому плану оставить мне ребенка (что могла бы сделать совершенно просто) – ни слуху ни духу. Может, все это через год, а может, и никогда не объяснится. Мальчику у меня хорошо. Я его люблю, и он меня любит. М⟨ери⟩ с ним обращается совершенно матерински и, без сомнения, несравненно лучше, чем Ш⟨арлотта⟩ с ним обращалась, ибо она его порядочно мучила и ревностью материнской любви, и неуменьем обращаться с ребенком. Но он чрезвычайно добродушен, вспоминает об ней, хотя все реже и реже, но не плачет и, вероятно, чувствует себя счастливее, чем при ней. Мы его посылаем в детскую школу от 8 час⟨ов⟩ до 11½ и от часу до 4-х, потому что дома все-таки нельзя доставить ему столько развлеченья. В школе учитель m-r Maréchal, который занимается с большими мальчиками, но в том же доме, где учительница занимается с маленькими, – так любит А⟨лександра⟩ III, что даже ходит наблюдать за ним в школу маленьких, чтоб ему не было скучно. "Je voudrais bien lui servir de père"[41*], – сказал он мне. Расстояние от нас до школы минут 10, но А⟨лександр⟩ III любит ходить туда один и старается уходить без хозяйского сына, который обыкновенно его сопровождает. Он довольно здоров, весел, плачет мало и постоянно болтает. Учиться, конечно, он еще не может: ему 13 июня только стукнуло 4 года.

В твоем письме к нам, милый Саша, мне одно не нравится, и с полной любовью к тебе не могу пропустить этого без возражения. Мне не нравится то, что ты стараешься сложить с себя ответственность за ее участь[3]. Генри может не отвечать за ее

[38*] милейшее дитя (*англ.*).

[39*] дитяти (*англ.* child).

[40*] любезный доктор (*англ.*).

[41*] "Мне очень хотелось бы быть для него отцом" (*франц.*).

участь, потому что 15-тилетиий мальчик не мог иметь инициативы в увлечении quasi 30-тилетней женщины. Это могло быть только наоборот. Но кто же виноват, что она пошла баловаться до того, что дошла до *Арвы*? Нет, Саша, – я сам слишком много делывал дурного, но от себя, как и от тебя, требую *искренности*, которую уважаю как чувство самое мужественное и человечное, – а не самооправдания, которое только мелочно и боязливо.

Когда будет сподручно – приезжай взглянуть на мальчика. Что ему у меня хорошо – за это я отвечаю. Я передам его только тебе или кому прикажешь.

Обнимаю тебя, Ольгу и Мальвиду.

Addio.

Твой А г а·

[1] Год определяется упоминанием об исчезновении Ш. Гётсон 31 мая 1867 г., утопившейся, как впоследствии стало известно не в Арве, а в Роне (см. п. 28).

[2] По мнению Тучковой-Огаревой (остро ненавидевшей М. Сетерленд), Мери оклеветала Шарлотту, убедив Огарева в том, что та будто бы соблазняла ее сына Генри (см. в кн. 2-й наст. тома обзор Л.Р. Ланского "Письма Н.А. Тучковой-Огаревой к Е.С. Некрасовой".

[3] Это письмо (очевидно, второе после несохранившегося сообщения Огарева об уходе Шарлотты) неизвестно. Первым откликом на известие послужило письмо А.А. от начала июня, публикуемое в кн. 2-й наст. тома.

14

13 июля ⟨1867 г.⟩ Petit Lancy,
maison Dunoyer, Genève

Наконец собрался писать к тебе, мой милый Саша. Сейчас от папы и Лизы письмо из Ниццы[1]; следст⟨венно⟩, он доехал благополучно. Toots (т.е. Al⟨exandre⟩ 3-е очень весел, поет и свищет (хотя последнее я ненавижу и запрещаю). В нем есть какая-то детская неповоротливость. Он потолстел, но говорит без умолку. К арифметике покаместь не имеет никакой способности, но он выйдет зоолог. Вчера утром – я еще в постеле – слышу, что он плачет во все лопатки; встал посмотреть и нашел, что Мери его утешает и не может утешить. Вот в чем дело: он отнял у кошки мышь, а кошка ее опять унесла. – "Да зачем тебе мышь?" – "To keep it under my jacket"[42*] – "Зачем?" – "I would roast it after and eat it"[43*] – Ну, видишь, что мальчик идет в зоологи. В нем злого умысла никакого нет, а наблюдать он любит. Но теперь – к ответу на твое письмо[2].

А трудно мне тебе ответ писать, мой милый Саша, потому что я с твоим ответом никак не могу согласиться, да и ты сам, вероятно, не думал, чтобы я мог с ним согласиться. Во-первых, он весь состоит из самооправдания – до такой степени, что ты даже забыл хотя помянуть бедную женщину словом сожаления – и все пишешь о себе, о своем самоочищении, после которого вправе себя простить и смотреть на себя как на *чистого*. Я ведь этим нравственным слабительным плохо верю. Физиологически они могут довести до импотенции – и только. Вечность брака для меня не существует уже со времени Реформации. А собственно аскетизм, так высоко стоявший в монастырской жизни христианства, мне представляется не добродетелью, а мастурбацией самолюбия и самооправдания. От человека я требую просто гуманности, человеческого милосердия – и если нужно бывает покаяние, то не для того, чтоб прощать себе прошедшее (прощай или не прощай – его не вычеркнешь), а для того чтоб перед самим собой сознать, насколько было зло ⟨следствием⟩ бессознательного поступка, ответить за последствия и собраться с новыми силами для дела более общего, чем свой собственный брак.

Что касается до Тутса, хотя я и надеюсь, что ты приедешь на него взглянуть, когда будет лишнее время и лишние деньги, но до тех пор не беспокойся; он и ко мне

[42*] "Держать ее у себя за пазухой" (*англ.*).

[43*] "Я зажарил бы ее потом и съел" (*англ.*).

привык, а М⟨ери⟩ с ним совсем как добрая мать.

Пора, пора – детей других
Нам не считать детьми чужими!
Тогда сумеем мы для них
Руками бодрыми, родными,
Создать ряды тех школ святых,
Где цель и связь одна меж ними
И где они, как с братом брат,
Поймут, что жизнь есть общий склад[3].

За сим прощай, Саша, ждем Левье[4], рад буду с ним познакомиться.

М⟨ери⟩ тебе кланяется. Г⟨енри⟩ в школе. Когда он возвращается, то считает своей обязанностью ходить за Тутсом.

О Шар⟨лотте⟩ ни слуху, ни духу, вчера еще говорил с мэром.

[1] Письмо от 10 июля 1867 г. (см. XXIX, 143).

[2] В неизвестном ответе А.А. на п. 13, очевидно, уже содержались намеки на возможную женитьбу (на Т. Феличи).

[3] Стихотворение опубликовано впервые (по черновому наброску в записной книжке Огарева, *РГАЛИ*) в "Лит. наследстве", т. 61, с. 657. Затем в издании: *Огарев* 1956, с. 342, оно напечатано по наст. автографу, но с ошибочными прочтениями и с отнесением к 1868 г.

[4] Речь идет о приезде из Флоренции Э. Левье, французского врача, близкого к кругу А.А. Герцена – М. Шиффа.

15

29 juillet⟨1867⟩[1], Petit Lancy,
maison Dunoyer. – Genève

J'ai reçu ta lettre hier, mon cher Alexandre, et tu vois que je te réponds aussitôt possible. Mais tu dois savoir que tu me demandes une chose bien difficile – c'est de donner un conseil, quand quelqu'un ne sait pas se décider. D'ailleurs j'ai fait tant de fautes dans ma vie et précisément dans les cas de la même espèce, qu'il me devient encore plus difficile d'y fourrer mon avis. Tu as dit ton avis – il me paraît juste, mais pour cela il faut bien connaître les individus, et moi je ne les connais pas. Tout ce je crois c'est qu'un homme et surtout un homme de 28 ans doit savoir lui-même ce qu'il a à faire. Je pense aussi qu'il n'a pas le droit de jouer avec sa Thérèse pour la satisfaction des préjugés traditionnels, et je ne crois pas que sa famille ait le droit de l'opprimer. Mais tu dois aussi comprendre que je ne connais pas les circonstances.

En revenant au roman. Certes, dans mon opinion – je ne distingue pas les femmes d'après leurs conditions. Physiologiquement je ne sais pas si le cerveau féminin est capable d'un développement égal à celui de l'homme. C'est à toi à décider. Qu'il y a des différences entre les sexes qui doivent donner une résultante vitale différente – je n'ose pas en douter. Pratiquement je crois que le bonheur conjugal n'appartient pas à l'instruction, qui – c'est meilleur si elle a lieu et si elle n'a pas lieu – ce n'est pas encore un malheur. Ce qui fait le bonheur – c'est des deux côtés un caractère capable de pardonner l'un à l'autre les manques inévitables. Aussi le bonheur est une chose exceptionnelle, tandis que le malheur conjugal est presque général sans égard aux conditions ni aux instructions. Pourtant je voudrais bien que tu me dises quelle est l'instruction que l'on donne à Thérèse? Mais avant de s'engager il faut bien que des deux côtés on pense bien si l'on est capable de pardonner l'un à l'autre les manques inévitables. Le bonheur social tout de même que le bonheur individuel consiste dans l'équilibre des rapports qui a pour résultat l'association.

Maintenant c'est tout quant à l'objet en question.

Avant hier – moi, Thorzev⟨ski⟩, Mary, Henry et le petit[2] – nous sommes allés au haut du grand Salève. Il a monté à âne et il en était bien satisfait, il ne voulait pas le laisser s'en aller. Je lui ai dit: "What will you be – queen of England?" – "No!" – "King of England?" – "No!" – "Donkey of England?" – "Yes!"

Mais je te dis adieu pour me reposer à ne rien faire, car un quart d'heure avant d'écrire la lettre je me suis trouvé mal (17-e jour[3]). Ainsi porte-toi bien et travaille.

T⟨ou⟩t à toi.

A g a

Mary t'envoie dix mille remerciements pour le petit qui est sa meilleure société. Henri loge à l'école d'horlogerie.



ТЕРЕЗИНА ФЕЛИЧИ – НЕВЕСТА А.А. ГЕРЦЕНА

Фотография. ⟨Флоренция, 1868⟩

Из книги: Alexandre Herzen. Lettres inédites à sa fille Olga. Paris, 1970

П е р е в о д [44*]

29 июля ⟨1867 г.⟩[1] Petit Lancy, дом Дюнуайе. – Женева

Письмо твое я получил вчера, мой милый Александр, и ты видишь, что я тебе отвечаю с наивозможной быстротой. Тебе надо, однако, знать, что ты просишь у меня об очень трудной вещи – дать совет, когда кто-то не смеет сам решиться. К тому же я натворил в своей жизни столько ошибок, и в подобных же случаях, что мне еще трудней становится соваться со своим мнением. Ты свое мнение высказал – оно кажется мне верным, но, чтобы судить, надо хорошо знать, о ком идет речь, мне же сии личности неизвестны. Полагаю, только, что мужчина, и в особенности 28-летний мужчина, должен сам знать, что надлежит ему делать. Полагаю также, что он не имеет права рисковать своей Терезой для удовлетворения традиционных предрассудков, и не думаю, чтобы семья его имела право притеснять ее. Однако ты должен понимать и то, что обстоятельства мне неизвестны.

Но вернемся к роману. Конечно, со своей стороны, я различия между женщинами в зависимости от их общественного положения не делаю. В физиологическом отношении, я не знаю, способен ли женский мозг развиваться в равной мере с мозгом мужчины. Решить это должен ты. В том, что между обоими полами существуют различия, которые должны образовать иную жизненную равнодействующую силу, – не смею сомневаться. Практически же, как я полагаю, супружеское счастье не зависит от образованности, которая – лучше будет, если она приобретена, а если и не приобретена, то это еще не беда. Счастье бывает лишь тогда, когда с обеих сторон характеры, способные прощать друг другу неизбежные недостатки. Поэтому счастье – это явление исключительное, тогда как супружеское несчастье – явление почти всеобщее и не зависит ни от условий, ни от образования. Все же мне очень хотелось бы, чтобы ты мне сказал, каково образование, данное Терезе? Однако прежде чем взять на себя обязательства, надо бы, чтобы обе стороны хорошенько поразмыслили о том, способны ли они прощать друг другу неизбежные недостатки. Счастье общественное так же, как и счастье личное, состоит в равновесии отношений, следствием чего и является союз.

С вопросом, о котором шла речь, теперь покончено.

Позавчера – я, Тхоржев⟨ский⟩, Мери, Герни и малыш[2] – все мы отправились на вершину Большого Салева. Он поднялся на осле и был очень доволен этим; он не хотел отпускать его. Я сказал ему "What You will be – queen of England?" – "No." – "King of England?" – "No!" – "Donkey of England?" – "Yes"[45*].

Но говорю тебе прощай, чтобы отдохнуть от ничегонеделания, ибо за четверть часа до

[44*] Письмо перевел Л.Р. Л а н с к и й.

[45*] "Кем хочешь ты быть – английской королевой?" – "Нет!" – "Английским королем?" – "Нет!" – "Английским ослом?" – "Да" (*англ.*).

того, как начать это письмо, я почувствовал себя плохо (17-й день[3]). Так будь же здоров и трудись.

Вс⟨еце⟩ло твой

А г а

Мери шлет тебе десять тысяч благодарностей за малыша, который составляет наилучшее ее общество. Генри живет в школе часовщиков.

[1] В неизвестном письме, на которое отвечает Огарев, А.А., очевидно, иносказательно (под видом рассказа о своем друге – ср. п. 16) описал свой роман с шестнадцатилетней фабричной работницей Терезиной Феличи и просил совета относительно женитьбы на ней. Этим определяется и год написания (ср. п. 14 и 17).

[2] Тутс.

[3] Намек на периодичность припадков падучей.

16

⟨Женева.⟩ 20 сентября ⟨1867 г.⟩, Petit Lancy

Пишу к тебе несколько слов, мой милый Саша; сбирался писать еще в понедельник, но отложил до окончания дела. Нас призывали к судебному следователю для расспроса о Шарл⟨отте⟩. Кажется, ее мать подозревает, что мы ее намеренно сгубили, чтоб оставить у себя ребенка. Английский консул тоже спрашивал. Разумеется, никто не поверил в такое смешное подозрение. Но я счел нужным не скрыть, кто его отец; я верю, что и ты сам не скрыл бы. Оно было бы и глупо и подло. Вчера М⟨е–ри⟩ была у следователя с m-lle Роша. Я думаю, этим и кончится все. Но, в конце концов, Шар⟨лотту⟩ нигде не нашли – и комедию ли она сыграла для побега или утопилась – остается чистым предположением.

Тутс здоров и мил.

Надеюсь, что ты получил мое письмо о твоем друге и его романе[1]. Дивлюсь, что ты так давно не пишешь. Не оскорбил же я тебя ничем, однако. Кланяйся Левье, жалею, что не встретил его. Что ж он меня не предупредил о дне приезда?

– Что Ольга и Мейзенб⟨уг⟩? – Крепко обнимаю тебя и иду в город.

[1] См. предыдущее письмо.

17

9 мая ⟨1868 г.⟩, суббота.
Genève 493, Petits Philosophes[1]

Как же это я давно к вам не пишу, друг мой?! Извини меня перед всеми – перед Мальвидой, Татой и Ольгой. Теперь сберусь скоро. Квартирой новой я чрезвычайно доволен. Комната моя чудесная и всё сады кругом; один маленький сад наш приятен – с цветами, вишнями, ягодами и виноградом. Помещение для всех отличное и удобства всесовершенные. Я бы и прежде заохотился писать, но признаюсь, что не только письмы писать, но дело делать мешает постоянное лежанье в постеле, которое и меня, наконец, утомило[2]. Маиор меня вскоре после твоего отъезда[3] уложил в постель, привязавши с левой стороны доску, потому что нашел, что с левой стороны кости срослись слабо и потому дают составам пятки возможность уклоняться влево. А tibia, которая, кажется, выдалась вправо, срослась крепко. Я ходить мог и даже стал бы ходить без костылей, но чтоб лапа не скривилась и не свихнулась, Маиор уложил меня опять. Перевезли меня отлично и опять уложили. Это меня (т.е. лежанье, а не переезд, – при переезде я был счастлив не меньше, чем Тутс) лежанье меня так томит (и, сколько мне кажется, от постоянного нагревания позвоночн⟨ого⟩ столба и особенно шейных позвонков), что располагает к припадкам гораздо чаще, хотя и слабым, и придает sui generis[46*] тяжесть голове, которая мешает самостоятельной

[46*] своего рода (*лат.*).

работе, и теперь всего легче читать, да и то серьезные вещи одно время утомляли. Когда это лежанье кончится, я воскресну. – О соленых ваннах нечего и спрашивать, потому что ссадина (которую называют ulcère на tibi'e) *почти* зажила, а здоровой стороны еще далеко нет(...)[47*]

Ну! Тх⟨оржевско⟩му за отыскание квартиры я ужасно благодарен; а М⟨ери⟩ за устроение моей комнаты и удобств. Теперь о Тутсе: она его хотя и балует и бранит вперемежку, но он выравнивается, доволен жизнью и очень мил. Вчера с Чернецкой ездил на лодке. Сегодня Тх⟨оржевский⟩ водил его в новую школу, где ему так понравилось, что он не хотел уходить. Житейские понятия у него развиваются, но понятия числа и меры совсем отсутствуют. Вообще у вас математ⟨ические⟩ способности развивались туже других. Недаром Бакун⟨ин⟩, увидев его в 1-й раз, смотрел-смотрел на него и сказал: "Нечего спрашивать, к какому роду он принадлежит". – В школе условились, что за обед 4 фр. в неделю, а за школу 5 фр. в месяц и 5 фр. единовременно на инструменты. Тх⟨оржевскому⟩ 10 фр. отдал; с понедельника, т.е. 11-го мая, начнется хождение в школу.

Цамп⟨ерини⟩ еще не видал[4]. Да что, Саша, не этим поможешь. Видно, еще придется порезаться, да тогда уже и очнутся.

Что твоя статейка о греве[48*]?[5] Она кончилась тихо на полцене.

Генр⟨и⟩ продолжит до зимы у Сорде ученье, чтоб привести знание мастерства на порядочную степень; тогда увидим. Теперь все дешевле. Он работает прилежно (ревматич⟨еская⟩ лихорадка, разумеется, прошла). Он ходит на лекции Мишо (ботаника) и очень оным занят.

Ну! теперь поужинаю и постараюсь уснуть. При грозной погоде все плохо спится.

Целую тебя с передачей Мальвиде, Тате и Ольге.

Жму руку Терезине. Ах ты мой милый юноша! И ты думаешь, что уйдешь дальше эквилибрации[49*] жизней?[6]

Искренно желаю тебе достигнуть и удержаться на этом, чтоб жизнь могла пройти без внутренних волнений и в интеллигентной работе.

Письмо пойдет только завтра, ergo[50*], завтра припишу. Тутс спит. Сегодня меньше кашляет, но все время (т.е. с неделю) покашливает – простой катарр, который здесь почти у всех, даже у меня был слегка. Погода ужасно тепла и переходы быстроваты.

10-го. Воскресенье.

Добивался от Тутса, что тебе написать, но ничего не понял, а говорил он что-то много. – Г⟨енри⟩ и М⟨ери⟩ тебе кланяются. – М⟨ери⟩ третьего дня, возвращаясь домой, увидела мальчиков, которые, становясь друг другу на плечи, достают через забор наши сирени и ломают сучья, – и хотела пожурить их, а потому обратилась к одному из стоявших уже на улице мальчиков с следующей французской речью (вспомнив, что по-английски рвать – to pick up): "Etes-vous Pické?"[51*] – Мальчик, видно, принадлежал к многочисленному семейству Piquet и отвечал ей: "Oui, madame". – "Très mauvais"[52*], – сказала она. Мальчик удивленно посмотрел и убежал.

Ну, за сим прощай, надо послать на почту. Не мсти мне и пиши.

[1] Огарев поселился по указанному адресу 8 мая 1868 г. (см. XXIX, 329) и жил здесь до начала октября 1869 г.

[2] В ночь на 20 февраля с Огаревым случился припадок эпилепсии на улице; при падении он сломал себе ногу.

[3] А.А. приехал в Женеву навестить Огарева 28 марта и находился здесь до середины апреля.

47* Далее опускаются физиологические подробности. – *Ред.*

48* стачке (*франц.* grève).

49* равновесия (от *франц.* équilibration).

50* следовательно (*лат.*).

51* "Вы Пикé?" (*франц., англ. искаж., вместо*: "Вы рвали?").

52* "Да, сударыня". – "Очень плохо" (*франц.*).

[4] *Ф. Цампернни* – рабочий-жестянщик, член женевской секции "Альянса социалистической демократии", основанного Бакуниным, и Итальянской секции I Интернационала, участвовал в апрельской стачке строительных рабочих Женевы, боровшихся за повышение заработной платы.

[5] Корреспонденцию А.А. о ходе стачки, написанную по возвращении во Флоренцию для какой-то итальянской газеты, найти не удалось.

[6] Отголосок бесед Огарева с А.А. в Женеве относительно его предстоящего брака. См. об этом не одобряемом Герценом шаге и об огаревской теории "эквилибрации" в письме Герцена к нему от 15 апреля (XXIX, 310–311). А.А. женился на Терезине Феличи 6 августа.

18

⟨Женева.⟩ 2 июля ⟨1868 г.⟩, четверг

Тата 3-го дня уехала в Берн и Базель[1]. Я ею был очень доволен; а Тутс как бы от нее не отходил. Я верю, что она всегда будет ему лучшим другом.

А у вас, мой милый Саша, умер Матеуччи. Мне не только за тебя жаль, но и его жаль; я, от юности моей, привык его уважать, долею по нем учился[2].

Посылаю тебе маленькую статью; если вы с Шиффом с ней согласны, то я ее напечатаю в "Пол⟨ярной⟩ звезд⟨е⟩"[3]... – Если ты находишь, что надо что исправить, – то напиши. Тата переписала "Д-гу" – *другу*, что я не вычеркиваю, ибо глубоко признаю; но я написал "Д-ру" – *доктору* для отличия от патера.

Тутс здоров и очень мил. М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе кланяются. – Я больше не пишу, ибо ужасно занят "Колоколом". А здоровье мое плохо; т.е. нога лучше гораздо, но голова плоха. Я думаю на днях напишу тебе реляцию, чтоб спросить совета у Шиффа. Сомневаюсь, чтоб здесь добрался до совета, а между тем страдание сильно мешает работе. – Крепко обнимаю тебя. Кланяйся Терезине.

Твой А г а

[1] Н.А. Герцен приехала в Женеву из Флоренции около 18 июня 1868 г., чтобы навестить Огарева, а затем присоединиться к Герцену, Тучковой-Огаревой и Лизе, путешествующим по северной Швейцарии. В письме от 24 июня Герцен рекомендовал ей через несколько дней выехать в Берн для встречи с М.К. Рейхель и ее семьей – по пути в Базель, где он будет ее ждать (см. XXIX, 373, ср. 374). Тата выехала из Женевы 30 июня (см. XXIX, 399).

[2] Известный итальянский физик и астроном К. Маттеучи был профессором и директором флорентийского Музея естественной истории (Специалы), сотрудником которого был А.А. См. о прогрессивной общественной деятельности Маттеучи в письме Герцена к Огареву от 30 июня (XXIX, 380).

[3] Статья "Несколько слов о сновидениях. (Письмо другу А. Герцену II), датированная 28 июня 1868 г. (ее первая редакция была написана до 7 июня – см. письмо Огарева к Н.А. Герцен от этого дня в наст. томе). В последней – VIII – кн. "Полярной звезды на 1869", вышедшей в ноябре 1868 г., она не появилась (сохранилась в беловой копии, сделанной рукой Н.А. Герцен, с последующими поправками Огарева); опубликована в журнале "Философские науки", 1966, № 3, с. 97–100.

19

⟨Женева.⟩ 18 октября ⟨1868 г.⟩[1]

Ну! милый мой Саша, твое письмо от 14-го не больно меня обрадовало[2]. Экие же они там скоты, что из-за личностей портят жизни. Но что же делать? По-моему, лучше потерять одну тысячу, назначенную для мимоходного устройства, чем все долговременное устроение и в работе и в профессуре. Мне кажется, что потерять Флоренцию было бы непростительно. Съездить в Германию успеешь еще в других обстоятельствах, а возвратить серьезного положения и серьезной работы уже не успеешь. – Да я думаю, что это и твое мнение; по крайней мере, мудрено, чтоб было иначе. – А что патер пишет об этом? Я не знаю[3]. – Ergo[53*], по-моему, возвращайся во Флоренцию.

А его леченье идет превосходно и, должно быть, теперь кончилось. Ты, вероятно, знаешь, что сахар с 4-х сошел на 0,2-х. Вот тебе и Карльсбад, вот и Виши! – Насчет моей ноги решится при приезде патера[4]. Я постепенно сам по себе пришел к за-

[53*] Следовательно (*лат.*).

ключению, что кости были сломаны и что операция будет нелепостью, которая, при всей обстановке возраста, болезней и пр., даром не пройдет. Маиор был на днях и только подтвердил мое мнение. – Теперь как хотят – мне все равно. – Здоровье мое в последнее время лучше. Эти дни маленькая простуда расстроила, но это ничего.

Сейчас Тутс прибежал показать, что он снес яйцо. Фу! какой чудной! Положительно верит этому и в восторге, и спрашивает Мери: что будет, если он другое снесет, но не на пол, а прямо в панталоны? – Сегодня напротив, в манеже (где маленький Луи, его друг), его сажали на лошадь. – Он ходит в новое отделение Kindergarten'a[54*], возле нас; это сделалось несравненно удобнее. Обедает дома и после обеда до 4-х час⟨ов⟩ в школе; а поутру с 9 до 12 час⟨ов⟩. Учится читать и писать. Очень мил. Эти дни кашляет немного, но и это уже проходит. Вообще довольно здоров, иногда капризен, но не слишком. Ест хорошо, спит хорошо (теперь и один не вываливается, а спит спокойно).

Ну! Что же Терезина и как ей Германия, по нутру ли? Из твоего первого письма вижу, что Берлин в 30 лет ни на грош не изменился в обычаях[5]. А что это у вас за грустные сцены выкидывают работничьи собрания?

Ну! Обнимаю вас обоих – и перехожу к другим письмам, ибо сегодня накопилось.

Никак не могу понять – Тутс все спрашивает: чтó ты писал ко мне, чтó я тебе пишу и т.д., не остановишь.

Я хожу с палочкой просто, гораздо лучше и проворнее, чем с костылем.

[1] Год определяется сообщением о лечении Герцена в Виши (с 21 сентября по 22 октября 1868 г.).

[2] В неизвестном письме А.А. сообщал Огареву из Берлина, куда был командирован на семестр для работы в университете, что назначенный на место умершего К. Маттеучи новый директор Спеколы проф. Ф. Парлаторе ("гнусный ретроград", в оценке Герцена) затребовал его обратно ко 2 ноября, угрожая в противном случае "исключить из службы" (см. XXIX, 472).

[3] Герцен, возмущенный этой акцией, свидетельствовавшей об отсутствии "общественного мнения" в Италии, советовал сыну в письме от 17 октября "бросить этой свинье отставку в рожу" (XXIX, 469, ср. 472). Он рекомендовал также выяснить в русском посольстве в Берлине возможность поездки Александра в Россию. В визе было отказано, и А.А. вернулся во Флоренцию (см. XXIX, 476).

[4] Герцен приехал в Женеву 3 ноября. От предлагавшейся Огареву операции решено было отказаться (см. XXIX, 472–474, 483).

[5] Это письмо неизвестно.

20
А.А. и Т. ГЕРЦЕНАМ

⟨Женева.⟩ 8 января 1869

Вот я почти десять дней не отвечаю тебе, мой милый Саша, но во многом не могу и согласиться и с твоим письмом. Болезнь Таты тебя испугала, так же как и болезнь Натали; однако ты настолько издали убедился, что тут ничего не может быть опасного, что не захотел двинуться взглянуть на Тату[1]. И pater был болен, но это, кажется, просто простуда; а Лиза остается невредима. Но у Таты даже и пятны еще не прошли. Тебе просто двинуться с места не хочется, мой милый Саша. Ты как приютился на новой квартире, так еще юность твоя находит в этом наслаждение, что тебе мудрено двинуться. А всего более мне грустно, что ты как будто хочешь отстать от Шиффа. Этого я ужасно боюсь, друг мой. Теперь покаместь ты занят с Шиффом; останешься один и утратишь и страсть к науке и к работе, и останется только одно домоседство; а Терезине от этого лучше не будет. Мне страшно, если ты утратишь призвание и работу и пойдешь в бесплодное барство. Я этого столько на своем веку пережил, что не желал бы тебе вступить в подобную колею. Останься при своей задаче, и при своей работе, и при Шиффе; ты, без сомнения, найдешь время – да, может, и с большим пониманием – учить Терезину.

Тутс чрезвычайно курьезен и забавен; иногда капризен, но не то уж чтоб слиш-

[54*] детского сада (*нем.*).

ком. Что он в Prangins врал на Францелину – будто она его била, в этом я убедился. Они так дружны, что не могут отстать друг от друга, но настолько дети, что при большой дружбе могут повздорить и подраться; но теперь это реже возможно, потому что она становится постарше и умнее. У него развивается ухо, я думаю, он будет не без музыкальных способностей. В школу он ходит аккуратно и успевает; но до арифметического сложения (addition) еще достичь не может. Он слишком дитя; от этого школы для него, где бы ему жить, – теперь еще мудрено найти; но через год или два – другое дело. Во всяком случае, лучше его отдать в школу, чем тебе его взять; особенно при новых детях – это Терезине было бы ужасно тяжело. А покаместь пусть остается у меня; он поздоровел и растет.

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ кланяются тебе и Терезине. Все вас помнят и любят. На днях я тебе пришлю какую-нибудь работу Тутса из Kindergarten'а.

Ну, прощай, мой милый Саша, не сердись на меня за проповедь: я иначе не мог. Сам же я теперь работаю для supplément'а к "Колоколу"[2]. Обнимаю тебя, а Тер⟨езине⟩ пишу особо.

Ma chère petite Thérésine, – Alexandre me dit que tu sais déjà écrire le français. Donc j'attends de toi une longue lettre – pour me dire ce que tu fais, ce que tu travailles, ce qui t'amuses, ce qui donne de la peine, enfin tout pour pouvoir commencer une correspondance. Car il faut que je sache ce que tu fais pour pouvoir dire ce que j'en pense et donner mon avis. Donc c'est convenu – j'attends une lettre. Maintenant je t'embrasse et je vais me coucher. Henri va porter la lettre à la poste. Vous l'aurez probablement après-demain.

Ton P a p a - A g a[55*]

[1] Н.А. Герцен, приехав в Ниццу с Тучковой-Огаревой и Лизой, 1 декабря 1868 г. заболела оспой. Герцен, извещенный об этом, 4 декабря приехал из Женевы в Ниццу; 22 декабря заболела ветряной оспой и ухаживавшая за ней Тучкова-Огарева (см. XXIX, 503, 504, 512, 522). Ср. те же упреки в письме Герцена к сыну от 15 декабря 1868 г. (XXIX, 513).

[2] В декабре 1868 – начале января 1869 г. Огарев работал над статьей "Голод и новый год" для "Supplèment du *Kolokol*" (вышел 17 февраля; статья напечатана в русской части "Прибавления", с. 245–251; см. *Огарев* I, 763–781). Герцен оценивал ее как "превосходную" (см. XXX, 8, 19, 44, 51).

21

⟨Женева.⟩ 5 мар⟨та 1869 г.⟩. Пятница[1].

Вот я как давно не пишу тебе, любезный Саша, даже самому стыдно. Но столько есть собственного писания[2], что не вдруг приспособишься к письму. Вчера Пан получил от тебя письмо[3], и это было для меня свежим толчком писать к тебе.

С чего начну? Да начну с Тутса – предмет самый живой и современный. Он поздоровел, румян, прыгает, хохочет – и плачет не хуже тебя, когда ты был маленькой, – от всякого вздора. Но последнее, вероятно, через годик само собой исчезнет. Учится в Kindergarten'е – вырезывать и плести разные бумажки, планировать[56*] булавкой, петь и читать. Одно меня сильно оскорбило – они там учат молиться по-французски (нечто вроде того: "Я маленькой хлопчик, принес богу снопчик") и рассказывают Библию. Таким образом, он, воротясь домой, стал с увлечением рассказывать историю Иосифа Прекрасного и Пентифриевой жены[4] – и завершил (кажется, уже собственным изобретением), что Иосиф и король в тюрьме потихоньку курили сигары. – Впрочем, стало, и это с рук сходит, если он с такой точки зрения смотрит на

[55*] Милая моя Терезиночка, – Александр говорит мне, что ты уже умеешь писать по-французски. Так вот, ожидаю от тебя длинного письма – чтоб ты сказала мне, что́ делаешь, над чем работаешь, что́ тебя забавляет, что́ затрудняет, – наконец, все, чтоб можно было начать переписку. Ибо мне надобно знать, что́ ты делаешь, чтобы иметь возможность сказать, что́ я об этом думаю, и высказать свое мнение. Итак, мы договорились – я жду письма. Теперь же целую тебя и отправляюсь спать. Генри отнесет сейчас письмо на почту. Вы его получите, вероятно, послезавтра.

Твой п а п а - А г а

[56*] скоблить (от *франц.* planer).

святость Библии. А другой школы здесь не найдешь; все выйдут еще более религиозны и еще менее детские.

Придется до поры до времени перетерпеть эти штучки; я не думаю, чтоб они были ведены достаточно талантливо, чтобы, собственно, святость их впилась в мозг. Вообще для него отвлеченные понятия и самый счет еще недосягаемы. Над последним мы всякий день трудимся, но с весьма маленьким успехом. Отличительная черта Тутса – живость, острота и даже комизм мимики. Посмотрю, что будет к весне, и еще напишу (т.е. недель через шесть). В этот возраст дети ужасно изменчивы.

А теперь у нас настоящая зима – снег и мороз; мне кажется, что я там где-то в Саранске[5] – и мне становится heimisch[57*].

Отложил окончание до после обеда. Тхорж⟨евский⟩ у меня обедал и завтра собирается к тебе писать. Также завтра, вероятно, пошлет тебе мою брошюру в стихах: "Восточный вопрос в панораме". Он уверяет, что к вам все приходит. Прочти ее внимательно и показывай русским; может, посмеетесь! – Мой друг Чернецкий держит печатание полулиста *две недели*! Конечно, это мне особенного убытка не делает, но противно. Бедный Чернецкий, я не знаю, чем все это кончится[6]. – Тхорж⟨евский⟩ просил меня тебе написать, что он сейчас (т.е. 2 часа по пол⟨удни⟩) отправился к m-me Vogt узнавать о Карле Вогте[7]. До сих пор кажется – едва ли он здесь. Тх⟨оржевский⟩ завтра будет к тебе писать.

Я не понимаю – какого ты у меня просишь совета о выходе из профессуры. Это твое дело решить. Я говорил из боязни, чтоб ты не лишил себя важного stimulus'a[58*] для науки. Подумай, caro mio, и решай свободно и разумно.

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе *кланяются*. Тутс тебя цел⟨ует⟩.

Тх⟨оржевский⟩ еще раз воротился: "Вогт будет до понедельника в Кенигсберге. Gasthoff "Zum de utschen Haus"; потом в Берлине 2 дня, hôtel de Rome; после 15 марта в Франкфурте-на-М⟨айне⟩, chez m-r Moritz Goldsmith; а в конце марта в Женеве.

[1] Год определяется упоминанием о стихотворном памфлете Огарева "Восточный вопрос в панораме" (написан в январе 1869 г., отпечатан отдельной брошюрой в типографии Л. Чернецкого в начале марта; см. о нем XXX, 27, 44).

[2] Огарев, в частности, работал в это время над статьей "Казновластие (Письма к Герцену)" (см. XXX, 51; цикл не завершен. "Письмо первое" опубликовано в "Лит. наследстве", т. 39-40, с. 528–530). Вероятно, продолжалась также работа над теоретически-мемуарным очерком "С утра до ночи", начатым еще в январе. Письмо к Н.А. Герцен от 7 июля (см. ниже) свидетельствует, что он вновь и вновь возвращался в "продолжению" "мемуара" (сохранившееся начало очерка см.: *Огарев* II, 184–199).

[3] Это письмо А.А. к С. Тхоржевскому неизвестно.

[4] Библейская легенда о попытке жены египетского царедворца Пентефрия соблазнить юного Иосифа (*Бытие*, 39, 7).

[5] Огарев провел годы детства в имении отца Старое Акшено в Пензенской губ., в 35 км. к северо-западу от г. Саранска (ныне центр Мордовской АССР), затем в 1846–1849 гг. вновь жил там и сохранил навсегда "романтическую привязанность" к этим местам (см. "Моя исповедь" – "Лит. наследство", т. 61, с. 676, 677, 679).

[6] Речь идет о тяжелом финансовом положении, в котором оказалась в феврале – марте Вольная русская типография (Герцен еще осенью 1866 г. передал ее в собственность А. Чернецкого, продолжая систематически поддерживать его – см. XXX, 34–35, 43, 62; "Лит. наследство", т. 39-40, с. 520, 523–524, 534). В 1872 г. уже тяжело больной Чернецкий продал типографию (умер 18 июня 1872 г.).

[7] Так, очевидно, Огарев передает здесь произношение Тхоржевским фамилии Фогта.

[57*] по-домашнему, как у себя на родине (*нем.*; в автографе описка: "heimlich", т.е. "тайно").

[58*] стимула (*лат.*).

22

⟨Женева.⟩ 30 сент⟨ября 1869 г.⟩. Четверг



КАРЛ ФОГТ

Рисунок г-жи Фогт, невестки К. Фогта (карандаш).

Женева, 1870-е гг.

Публичная и университетская библиотека, Женева. Воспроизводится по репродукции в журнале "Musées de Genève", № 147, 1974

Радуйся, друг мой Саша, я лысею, и, когда мы встретимся, мы встретимся лысыми лбами. That is splendid![59*]

Благодарю тебя за милое письмо[1] и за карточки, из которых карточка Терезины превосходна[2]. Терезина просто похорошела. Поздравь ее от меня и поцелуй.

Тутс весьма интеллигентен, добродушен, но шалит страшно; сладить с ним довольно мудрено – и еще только Мери держит его в решпекте, а то мудрено бы ладить. А дело все в том, что держать его на привязи невозможно, а уличные знакомства неудобоваримы. Что тут делать, я никак не могу придумать. Я думаю, на новой квартире (которую тебе скажет Тата[3]) будет лучше. От пансиона так же близко, а дети там больше порядочные.

Я рад, что ты ругаешься с попами[4], но прошу тебя статью о воле перевести мне на французский или русский язык[5]. Ведь это тебе хоть Тата сделает; а я по-итальян⟨ски⟩, конечно, не пойму.

Я был бы очень рад, чтобы ты мне написал, что у вас за история с Пинези[6].

О себе ничего не могу тебе сказать особого. Работы бездна[7], и потому длинных рассуждений писать некогда. Остается только обнять тебя, и Терезину, и Володю и отложить длинное рассуждение, когда придет к делу.

Во всей работе много даже страшного. Жду известий с содроганием. Вот все, что могу сказать.

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе кланяются. Г⟨енри⟩ довольно успешно оканчивает свой "баланс", а М⟨ери⟩ так работает, что никак ее не приведешь к отдыху, и от этого бывает больна.

А я ни болен ни здоров, – все то же. Нога кажется похуже. Но что же с этим делать, ведь приходит же время покончить с жизнию.

За сим прощай, caro mio.

Будь счастлив и воюй с попами.

[1] Огарев отвечает на письмо А.А. от 22 сентября 1869 г. (см. его в кн. 2-й наст. тома).

[2] Возможно, это фотография, воспроизведенная в наст. томе.

[3] Очевидно, в неизвестном письме Огарева к Н.А. Герцен, написанном в эти же дни (см. о нем XXX, 207), сообщался адрес квартиры, на которую он переехал 6 октября: Route de Carouge, № 249, дом Шу (см. "Лит. наследство", т. 39-40, с. 560).

[4] С весны 1869 г. в Италии разгорелась полемика в связи с открытым письмом сенатора Р. Ламбрускини в газету "Nazione" против "безнравственности" теорий А.А. о физиологическом родстве человека и животных.

[5] О серии задуманных А.А. статей см. в его письме от 22 сентября. Его лекция "Свобода воли" опубликована в "Enciclopedia mèdica italiana" и отдельной брошюрой – "Il libero arbitrio" (Firenze, 1869).

[6] Так Огарев назвал гр. Пенизи, слепого итальянского музыканта, близкого к кругу А.А. во Флорен-

---

59* Это великолепно! (*англ.*).

ции. Об "истории" с ним Огареву написал Герцен 17 (а затем 23) сентября: "Тата очень встревожена тем, что Пенизи (слепой) сильно и безумно в нее влюблен и предлагал руку"; отказ привел его в отчаяние (см. XXX, 195, 200). В связи с вопросом Огарева Тата писала ему 6 октября: "При виде его страданий, при мысли последствий у меня (...) не хватало энергии действовать решительно" (Лит. наследство", т. 63, с. 477). См. ответ Огарева Тате от 10 октября в наст. книге, а также XXX, 229).

[7] Речь идет об участии Огарева в пропагандистской кампании Бакунина – Нечаева. К концу сентября относится его работа над воззваниями-листовками "Встреча (Посвящено духовенству)" и "Напутствие (Научите немудрых)", печатавшимися в типографии Л. Чернецкого и переправлявшимися в Россию (см. *Огарев* II, 226–229).

23

⟨Женева.⟩ 5 дек⟨абря 1869 г.⟩. Воскресенье[1]

Виноват я, мой милый Саша, что так долго тебе не пишу. На это было много причин. 1) Я был взволнован поездом наших и ждал известий[2]; 2) Мне надо было распорядиться с Тутсом; 3) Я твоим письмом недоволен. Обо всем этом следуют пункты.

1) Наконец наши приехали в Ниццу, и кажется, что дело сходит с рук. Но я тут ставлю сильный вопросительный знак. Патер не находит, чтобы Тата выздоравливала; припадки мрачного нрава (меланхолии?) повторяются[3]. Тебе я скажу inter nos[60*], что все остальное в их путешествии меня не много радует. Мне мерещится больше возможностей смут, чем ладной жизни. Патер мне кажется раздражен; все окружающее, вероятно, idem. Что из этого сделаешь? Если не обманывать себя насчет какого-то устройства – то куда же придешь? Мне страшно. Я думаю, что́ я могу сделать – и не знаю. Все, что я могу сделать (а насколько это полезно?) – это переехать в город, где будет жить патер. Но не в Париж, Саша, не в Париж! В Брюссель – пожалуй! – Напиши мне (да поскорее): справедливо ли мое мнение, что Тате полезнее северные климаты?

2) Тутса я отдал гувернантке школы фрёбелевской (m-lle Gessmann) – с мышкой на щеке, но очень милой. Это на какой-нибудь месяц, пока я приищу более сериозную школу, куда его поместить. Дома становится невозможно. Ему скучно. Не выпускать его нельзя, а улица – совершенная порча. Там же, т.е. у гувернантки, есть дети дома (трое), и в школу она водит сама. Вечером же учит их по-немецки. Все же это что-нибудь. Но все же школа эта мне напоминает пушкинского аббата в "Онегине", который,

Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя[4].

Поэтому он даже считать выучился больше у Мери, чем в школе. Жуковский[5], ищущий помещения детей, обещал мне на днях подробное сведение о новооткрытом учебном заведении. Посмотрим. А натура талантливая, друг мой. Любит он нас всех чрезвычайно, но удержу с ним нет никакого; а как скоро поиграет на улице, то уже вовсе не сладишь. Это такой возраст. Но вот, напр⟨имер⟩, его развитие. По соседству умер мальчик. "Я знаю, – говорит Тутс, – почему он умер; у него не было больше сил для жизни". – Как тебе это нравится?

3) Твоим письмом я недоволен, потому, что, мне кажется, – вы составили себе поклеп на Тату. Кокетство с слепым – невероятно; дружба к слепому естественна. Но кто же виноват в его лишних притязаниях – он или она?[6] – Обходись осторожно с невольно сумасошедшими, Саша!

Вот все три пункта.

Далее: Ольге минуло 20 лет[7], а мне завтра 56. Тутс ко мне придет обедать.

За тем обнимаю тебя и Терезину и целую Володю.

Мери тебе жмет руку; она решительно нездорова; но об этом после. Генри весьма развился, и в хорошую сторону. В этом я много обязан Бакун⟨ину⟩[8].

[60*] между нами (*лат.*).

[1] Год определяется упоминанием о болезни Н.А. Герцен (заболела тяжелым нервным расстройством в конце октября 1869 г. во Флоренции); подтверждается пометой о дне недели. Письмо начато, вероятно, накануне: дата в автографе исправлена (первоначально было "4 дек. Суббота, вечером").

[2] 29 октября. по вызову сына, Герцен с Тучковой-Огаревой и Лизой выехали из Парижа во Флоренцию. 18 ноября они с больной Татой отправились обратно – "через Пизу в Специю", оттуда 22 ноября в Геную, где дождались приезда Мейзенбуг с Ольгой, и затем вместе продолжали путь до Ниццы, прибыв туда 1 декабря.

[3] См. письмо Герцена к Огареву от 2 декабря (XXX, 271–272). О ходе выздоровления Таты см. также в ее письмах к Огареву (XXX, 277–273, 289–290).

[4] "Евгений Онегин", гл. I, строфа 3-я.

[5] Деятель "молодой эмиграции" в Швейцарии Н.И. Жуковский, с 1867 г. сблизившись с Бакуниным, в 1869–1870 гг. участвовал в пропагандистской кампании Бакунина – Нечаева – Огарева.

[6] Ср. письма Герцена к Огареву от 25 ноября и к А.А. от 4 декабря (XXX, 263–264, 273–274).

[7] Огарев ошибся: О.А. Герцен исполнилось 19 лет (родилась 20 ноября 1850 г.).

[8] Г. Сетерленд сблизился с бакунистами из Женевской секции I Интернационала (см. *Письма Бакунина*, 306).

24

⟨Женева.⟩ 14 февр⟨аля 1870 г.⟩. Понедельник[1]

Милый Саша, не отыщешь ли ты старого Тассинари à Vincenne⟨s⟩ à l'infirmerie gale...[61* 2] не могу разобрать этого слова в его записке[2].

Прибегаю к тебе с просьбой: займи мне у Тх⟨оржевского⟩ 300 фр. Я столько расплатил долгов, что не знаю, чем дальше жить, и, пожалуйста, пришли поскорее[3]. Из фонд⟨а⟩ же я ни копейки для себя не займу – только что нужно его тоже поскорее. Я его положу у Бонна К° и стану тратить процент⟨ы⟩ или долю понемногу для типографа. Работа накапливается, надо не унывать.

Обнимаю вас всех и не сегодня прощаюсь.

[1] Письмо адресовано в Париж, где после смерти Герцена находились его дети и С. Тхоржевский; посвящено, в частности, т. наз. бахметевскому фонду. На наст. письмо ответила Н.А. Герцен 15 февраля 1870 г. (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 457, л. 6–7).

[2] 18 февраля Н.А. Герцен написала Огареву, что навестит Тассинари в понедельник, т.е. 21 февраля (там же, л. 8 об.).

[3] 15 февраля Н.А. Герцен писала Огареву: "Тхоржевский уже поместил свой капитал и получает только проценты и, конечно, не может больше давать взаймы... "Саша устроит как-нибудь" (*РГАЛИ*, там же, л. 7). См. п. 25.

25

⟨Женева.⟩ 2 марта ⟨1870 г.⟩. Середа[1]

Печально я гляжу на наше поколенье,
Его грядущее иль пусто иль темно,
Меж тем под бременем познанья и сомненья
В бездействии состарится оно.

Лермонтов[2]

Мой милый Саша, – нет! Я не несчастную мысль имел, а счастливую. Болезнь мозга может быть чисто патологическая, т.е. последствием какой-нибудь особой болезни; так это и Шифф определил (после оспы). Или болезнь может происходить от нравственных причин, т.е. от пустоты, праздности и скуки жизни. Этим вы Тату сгубить можете[3]. Но деятельностью мозга, о вы, мои специалисты, вы можете только воскресить мозг, что, по моему мнению, теперь и делается, и я вижу Тату здоровее и деятельнее, даже веселее.

А если вы ее затянете под полицейский надзор Тх⟨оржевского⟩ и пр⟨очих⟩[4], то, конечно, вы ее с ума сведете именно от пустоты жизни.

[61*] В Венсане ⟨1 *нрзб.*⟩ больнице (*франц.*).

Сейчас ждут учителя для Лизы, и я кончаю. Через 2 дня напишу тебе еще. – Обнимаю тебя и Терезину и прошу побольше доверия. Да чего вы это боитесь? В Россию Тата не поедет, потому что это не нужно и она к этому неспособна по незнанию края. А мне она здесь будет самым полезным другом, самой любимой дочерью. Вот и все.

Твой А г а

Благодарю тебя за 300 фр. Пожалуй, пометь их на счет Тутса. Но апрельские деньги пришли мне, если можно, в половине марта, иначе я не выпутаюсь. Я 200 фр. прожил, а 120 храню для уплаты за квартиру. Что же мне делать?

[1] Год определяется связью с п. 24 и пометой о дне недели. Огарев отвечает на неизвестное письмо А.А., в котором выражалось беспокойство в связи с тем, что Огарев намеревался привлечь Н.А. Герцен, приехавшую в Женеву в конце февраля 1870 г., к участию в делах конспиративной организации Бакунина и С.Г. Нечаева. См. об этом в дневнике Таты ("Лит. наследство", т. 96, с. 440–462).

[2] Начало стихотворения Лермонтова "Дума" (1840).

[3] Ср. письма Бакунина к "обеим Natalies" от 21 и к Огареву от 22 и 29 февраля 1870 г. ("Лит. наследство", т. 63, с. 486–488; *Письма Бакунина*, 262–264, 270).

[4] Намек на Тучкову-Огареву, которая приехала в Женеву вместе с Татой и Лизой и также решительно возражала против участия Таты в политических акциях Бакунина – Нечаева (см. письмо А.А. к Тучковой-Огаревой от 26 февраля – *АО*, 78).

26

⟨Женева.⟩ 7 марта ⟨1870 г.⟩. Понедельник[1]

Милый мой Саша, твое назидательное письмо получил – и отвечаю смиренно, что я беру факт, как он есть, а не как он был: Тата здорова теперь, т.е. совсем не отзывается тем временем, когда Гуго Шифф плакал или рыдал[2] (к чему я, впрочем, остаюсь равнодушен, потому что я его не знаю). Что же касается до преступности – берегись сам и мотай себе на ус: ты не под влиянием Шиффа, а под влиянием Натали и Тх⟨оржевского⟩ и потому хочешь совершить больше, чем преступление, а бессмыслицу.

Останови Натали печатать письмы Герцена[3], особенно впереди всего – это бросить камень в его память и возбудить вражду с двух сторон – со стороны реакции и прогресса и присвоить его к буржуазии. Может, вам этого хочется – я не знаю, но я решительно *требую*, чтобы их печатали только в гораздо позднейшем выпуске. А хотите делать по-своему – ну! разойдемся. Я по-вашему не хочу вредить единому мертвому, которого я любил. – Биографии я ближе 6 месяцев не могу приготовить; статью я могу приготовить сейчас[4].

Отвечай категорически, но без грубостей.

За сим прощай!

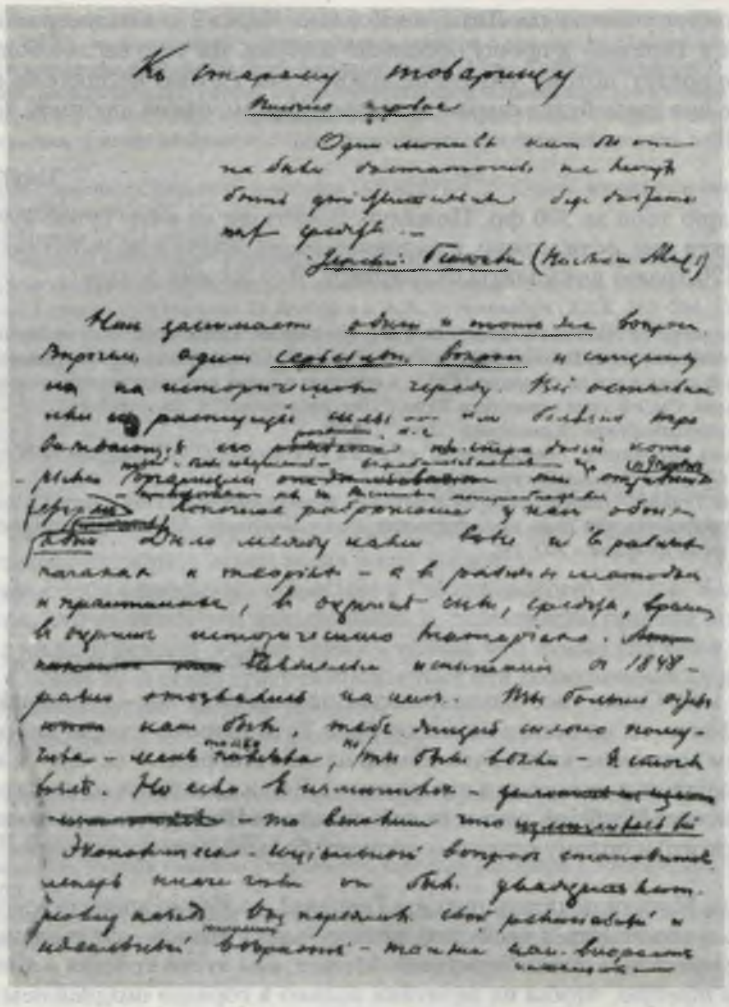
Твой А г а

[1] Год определяется прямой связью с п. 25, упоминанием о готовящемся издании произведений Герцена и пометой о дне недели.

[2] Г. Шифф, врач во Флоренции, младший брат М. Шиффа, лечил Н.А. Герцен и был влюблен в нее.

[3] Речь идет о письмах "К старому товарищу" (1869), которые должны были войти в подготавливаемый к печати А.А. и Тучковой-Огаревой "Сборник посмертных статей А.И. Герцена". В неизвестном ответе от 10 марта на наст. письмо А.А. выразил готовность разделить весь материал на два тома и отложить публикацию цикла писем Герцена до второго тома (см. *АО*, 78–80 и прим. 3 к след. письму).

[4] Огарев собирался написать биографию Герцена для "Полярной звезды"; очевидно, в начале марта возник план поместить ее в "Сборнике посмертных статей А.И. Герцена". Однако уже к июлю стало ясно, что состояние здоровья не позволит Огареву выполнить это намерение (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 486). Статью-некролог "Памяти Герцена" Огарев поместил в № 3 возобновленного "Колокола" от 16 апреля (*Огарев* I, 797–799).



"К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ". ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Автограф. Ницца, 15 января 1869 г. Лист первый

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

27

⟨Женева.⟩ 12 июня ⟨1870 г.⟩

Любезный Саша,

Давно я к тебе не писал – и по причине: я из твоих писем узнал, что ты меня ненавидишь[1], о чем мне прежде не грезилось. Но сколько ни крепился в молчании, все же хочется махнуть рукой на все темное, что прошло между нами, и забыть оное.

Статьями Герцена, т.е. изданием его сочинений, по моему мнению, надо спешить. Они теперь будут иметь большой успех. Я не статью о нем писать хотел, а работаю над биографическим очерком.

"Колокол" остановился и должен выходить в ином виде[2]. Скоро с этим мудрено сладить, но добиться этого необходимо.

Подметным письмам "Расправы" – я не верю: это какая-нибудь здешняя сплетня – из других рук[3].

Тата совершенно здорова, мила и умна. Тутс теперь у них и во многом исправля-

ется. Он всегда был очень мил и интеллигентен, хотя порядочно капризен и boudeur[62*].

Последнее, о чем я хочу писать, – это мои собственные обстоятельства. Надеюсь, что ты к июлю пришлешь мне 500 фр. С долгами расплачиваться и жить трудно. Теперь хорошо, что Генри вышел из ученья и поступил на маленькую работу; месяца через ⟨два?⟩ пойдет совсем на лад. Он становится хорошим человеком.

У нас теперь дело, но об этом напишет пусть лучше Тата, которую сейчас ожидаю[4].

Фонд 1600 фр. получил и передал Тате на хранение[5].

Пришлешь ли сколько-нибудь в коллекцию для ведения дела?

Я довольно здоров.

Целую детей[6], Терезину и тебя и бегу на почту и на хромой ноге.

Твой А г а

[1] В неизвестных письмах весны 1870 г. А.А., очевидно, высказывал резкое недоверие к участию Огарева в конспиративных и пропагандистских предприятиях Бакунина и С.Г. Нечаева. Особенное недовольство А.А. вызвало то, что Огарев привлек к этой деятельности Н.А. Герцен.

[2] Возобновленный "Колокол" выходил в Женеве со 2 апреля по 9 мая под редакцией Огарева и Нечаева на средства Бахметевского фонда.

[3] 7 марта Нечаев отправил Тучковой-Огаревой письмо от имени Заграничного бюро общества "Народная расправа" с требованием не печатать статьи Герцена из цикла "К старому товарищу", угрожая в противном случае "действовать менее деликатным образом" (см. "Лит. наследство", т. 41-42, с. 163 и прим. 3 к пред. письму).

[4] Об участии Н.А. Герцен в нечаевских "конспирациях", а затем (июнь-июль) в разоблачении Нечаева см. в т. 96 "Лит. наследства", с. 413–546. Письмо ее к брату неизвестно (ср. ее письмо к Бакунину от 16 июня там же, с. 530).

[5] Остатки Бахметевского фонда. См. связанный с передачей их на хранение Н.А. Герцен документ от 20 июня в т. 63 "Лит. наследства", с. 498–499, а также "расписку" Бакунина от 21 июля (*Письма Бакунина*, 284). Очевидно, эти последние суммы были израсходованы в связи с Лионским восстанием (в конце сентября 1870 г.) во главе которого стоял Бакунин.

[6] Владимира и Алексея (род. в 1869 и 1870 гг.).

28

⟨Genève.⟩ 19 июня ⟨1870 г.⟩[1]
43, Route de Carouge

Спасибо тебе за твое последнее письмо, Саша! Оно все же больше пахнет дружбой, чем все прежнее. Я ходил к Натали, а о печатании и забыл порядком поговорить, хотя совершенно с тобой согласен, что лучше прежде всего печатать перевод "С того берега". А забыл по причине, потому что слишком встревожен все это время. Кроме подлостей Георга в продаже Серебр⟨енникова⟩ брошюры, которая к тебе послана (Георг отказывается выставить экземпляр в окне, и я прерываю с ним все сношения)[2] – кроме всех дрязг, отыскался в Роне труп (или, лучше сказать, остов) Шарлотты[3]. Полиция ходит к нам часто насчет освидетельствования найденных вещей. Мери признала ее ключи и porte-monnaie[63*]. Но, к сожалению, они остов похоронили с остатком платья и одним башмаком, так что для дальнейшего освидетельствования придется остов вырывать – если полиция сочтет нужным. Тате я об этом ничего не говорил, потому что боюсь ее слишком встревожить. Ты ей ничего не пиши об этом тоже. – А я в память Шарлотты написал стихи, которые тебе на следующей странице посылаю. Не по злобе на тебя я написал их – поверь мне, а мне хочется, чтоб у тебя слеза навернулась – слеза возвышает человека.

Целую тебя, Терезину и шумящих детей. У меня так по соседству в иезуитской

[62*] ворчун (*франц.*).

[63*] кошелек (*франц.*).

школе дети поют полдня отвратительно-божественные песни.

Безлунною ночью плыл труп по реке.
Увяз, зацепившись в подводном песке,
И годы лежал он на этом погосте,
Покуда остались голые кости.
Я знаю, чей плыл это труп молодой, –
Труп женщины, рушенной горькой бедой...
Не выдержал мозг – столько жизнь нелегка, –
Ее утопила любовь да тоска.
А вытащил остов не друг, не родной,
А просто квартальный, шпион площадной[4].

[1] Год определяется упоминанием о печатании французского перевода "С того берега" Герцена (1870). Ср. письмо А.А. к Тучковой-Огаревой от 28 октября 1870 г. (*АО*, 82 и 306–307). Отмечу, что в приложении к нему впервые появились письма "К старому товарищу".

[2] Речь идет о брошюре С.И. Серебренникова "L'arrestation de S. Sérébrénikoff par la police de Genève" (переведена на французский язык Огаревым; вышла в Женеве в июне, издание Г. Георга). См. о ней в "Лит. наследстве", т. 96, с. 423 и 496.

[3] Ш. Гётсон.

[4] Стихотворение впервые опубликовано в *РП* II, 178, по копии Тучковой-Огаревой, а затем перепечатано в издании: *Огарев 1956*, с. 764, по черновому наброску *РГВ* (оба текста имеют незначительные разночтения с беловым автографом, посланным А.А. в наст. письме).

29

⟨Женева.⟩ 6 августа ⟨1870 г.⟩, суббота[1]

Начну сначала, любезный Саша, чтоб не было лукавства: ты мне деньги на сентябрь пришли непременно прежде сентября, потому что мне кажется, что я к 1-му сентября или около должен переехать на другую квартиру: на наше место приезжает родить сестра хозяйки. Сам поймешь, что это сопряжено с затруднениями не только для хозяйкиной сестры, но и для нас, переезжающих: ищу квартиры не дороже, но с водопроводами; здесь без оных нестерпимо воняет, и вода обходится не даром.

Третьего дня ночью во 2-м часу, возле наших, в St.-Jean[2], был пожар. Они перепугались, оделись, детей одели и хотели уйти; но для них все обошлось благополучно. Мельницы, внизу брассерии[64*], у реки – все выгорели. Тата ко мне вчера приходила с Гуго Шиффом.

Саша, теперь главное: не вдавайся слишком в home-life[65*] и не оставляй науки без движения. Мне ужасно хочется тебя просить написать диссертацию "О механических условиях патологических явлений" – положим, для специализации, только пищеварительных органов. Меня на это навела даже простая разница влияния положений человека при испражнении. Сочтешь ли ты меня с ума сходящим или примешь дело к сердцу – это твое дело. Но мне кажется, что тут корень патологии.

Вот все, что я хотел тебе сказать, caro mio; за сим пойду в St.-Jean.

Обнимаю тебя, Терезину и детей и остаюсь

твой А г а

[1] Год устанавливается по помете о дне недели.

[2] Н.А. Герцен и Тучкова-Огарева с Лизой поселились в Женеве по адресу: Campagne Baumgartner, St.-Jean-la-Tour. 1 июня Тата взяла к себе Тутса (см. ее письмо к М.К. Рейхель от 6 июня 1870 г. в кн. 2-й наст. тома).

[64*] пивные (от *франц.* brasseries).

[65*] домашнюю жизнь (*англ.*)

30

⟨Женева.⟩ 19 октября ⟨1870 г.⟩[1]
Route de Carouge, 10

Вот как давно сбираюсь писать к тебе, любезный Саша, и не мог собраться. Все что-нибудь да помешает, когда бумага на столе. Обстоятельства слагаются странно и плохо. Надеюсь, что ты не ходил встречать Тьера на железную дорогу[2]. Ты не можешь себе представить, как мне французы не по сердцу и прусаки ненавистны. Все последнее время шло весьма тревожно. Я ждал известий от Б⟨акунина⟩[3] и, наконец, дождался. Все же он цел, а как идет дело – не знаю; он верит и работает без устали – это правда, но я поверю в результат, когда он будет фактом. Брошюра его превосходная, я ее тебе пришлю[4].

Ну! как Ольга доехала?[5] Как ты разыгрываешь pater familias[66*]? Напиши когда-нибудь, ведь тебе, чай, время хватит. Ты, вероятно, блаженствуешь.

Из России никаких известий не получаю, так же как и денег[6]. Если можешь, пришли к 1-му ноября, иначе есть нечего будет. С должишками много расплатился, будущий месяц будет полегче.

Вот еще тебе один запрос: пришли несколько экземпляров сборника, я их распространю. На одном, который ⟨у⟩ меня – много не поделаешь. Статья "Доктор etc."[7] с первой страницы мне, было, не понравилась, но потом я от нее пришел в восторг, и мое самое большое желание сейчас ее перевести и напечатать в французской газете в фельетоне[8]; это больше будет иметь успеха, а отдельной брошюрой можно напечатать после. Отвечай мне на это немедленно.

Жду сейчас одного математика[9] и тороплюсь закончить письмо.

Лиза выдержала в школе отличный экзамен. Тата мила, как всегда. Тутс поздоровел и становится опрятен.

Поцелуй за меня Ольгу, Мальвиду и детей, а себя поцеловать попроси Терезину и ее поцелуй.

Как же идет твое профессорство? Что ты работаешь?

Я опять впадаю в стихотворство.

Прощай, caro mio.

Твой А г а

[1]Год определяется, в частности, выходом из печати "Сборника посмертных статей А.И. Герцена" (Женева, 1870).

[2]После падения III Империи фактический глава сентябрьского правительства Национальной обороны 1870 г. А. Тьер, в связи с поражениями французской армии в войне с Пруссией, обращался за помощью к правительствам Англии, России, Австрии, Италии. Во Флоренции он был встречен весьма торжественно. Толпы людей выражали в его лице симпатии Франции, избавившейся от Наполеона III.

[3]Речь идет о Лионском восстании конца сентября – начала октября, во главе которого стояли Бакунин и его сподвижники по Международному альянсу социалистической демократии, в частности В.М. Озеров. Оно окончилось поражением (см. *Письма Бакунина*, 304–313, а также письмо Н.А. Герцен к М.К. Рейхель от 2 октября в кн. 2-й наст. тома).

[4]Брошюра Бакунина "Lettres à un Français sur la crise actuelle", вышедшая в Женеве в сентябре.

[5]О.А. Герцен и Мейзенбуг в середине июня выехали из Парижа в Эмс для лечения Мейзенбуг, а затем приехали в Женеву. В конце сентября они отправились из Женевы на жительство во Флоренцию.

[6]Ср. письмо Огарева к Н.М. Сатину от начала 1870 г. (оно было передано с оказией и попало к адресату лишь в следующем году – *АО*, 73), а также п. 33 и прим. 5 к нему.

[7]Повесть Герцена "Доктор, умирающий и мертвые", писавшаяся в марте 1869 г., была впервые опубликована в "Сборнике посмертных статей А.И. Герцена".

[8]Огарев перевел эту повесть весной 1871 г. (см. п. 35), но перевод тогда не был опубликован. Первый французский перевод ее (возможно – огаревский) появился в печати в кн.: "Oeuvres d'Alexandre Herzen. Récits et nouvelles", вышедший в Париже в 1872 г. у изд. Germer-Baillière, без обозначения года.

[9]Возможно, Лазарева (см. п. 33, 34).

[66*] отца семейства (*лат.*).

31

⟨Женева.⟩ 24 декабря ⟨1870 г.⟩[1]
Rue de Carouge, 20[1]

Ну что, мой милый Саша! Дела вообще плохи. Здесь все перехворали. Лиза чирьем, Тутс кашлем, Натали зубами, Тата мигрениями, я – невралгией (du nerf surorbital), Мери – сердцем; но теперь всем лучше и выздоровление идет хорошо. Я нашим маленьким доктором – Porte – очень доволен, он специалист медицины, но очень знающий и очень хороший человек. Майор[2] в Берне депутатом, так же как и мой адвокат Цюрлинден. Но эти господа для меня другого рода дело; хотя они и радикалы, но это еще далеко не всё. Майор имеет весь вид полковника, а Цюрлинден нашего процесса еще не начинал, начать ⟨не⟩ хочет, денег депозитных, которые я взял у Касаткиной, – отдать тоже не хочет – хотя я предлагал ему прекратить процесс[3] и отдать деньги, потому что Касаткина тревожится и требует с меня. Цюрлинден, напротив того, уверен, что он не только что возвратит деньги, но и выиграет процесс и уплату убытков с правительства (которое рушилось). Говорить с ним я могу только на следующей неделе, ибо теперь он еще в Берне. Конечно, я из денег, получаемых от тебя, с Касаткиной расплачиваться не могу (хотя и уверен, что ты мне на днях пришлешь), потому что надо существовать (хотя бы и недолго).

Теперь, переходя от частных дел к общим, утешения не найдешь. Ложь с двух сторон о войне – надоела так, что просто читать отвратительно. Что касается до России – она, вероятно, войны не предпримет – по безденежью и по внутренним делам. На Урале возникла секта неплательщиков (податей), которую правительство шибко преследует; на юге нечто в том же роде, там гр. Канкрин сечет розгами. Все это не подвинет к войне.

Вот все, что могу сказать тебе в письме. Теперь скажи мне, что ты, что Терезина, что Володя? Напиши поскорей, я давно от тебя ничего не имею.

Напиши мне, свободно ли посылать тебе печатные вещи, т.е. нет ли цензурных задержек?

За сим обнимаю вас всех и иду к Цюрлиндену, т.е. в этюду[67*], хлопотать о требуемых с меня *во второй раз* податях.

Твой А г а

С праздником[4] не поздравляю, ибо их не признаю.

[1]В публикации М. Мерво письмо отнесено к 1871 г. (*LOAHf*, 188–189), однако по указанному адресу Огарев жил уже в середине декабря 1870 г. (см. *AO*, 84); кроме того, в конце декабря 1871 г. Н.А. Герцен находилась в Цюрихе, а не в Женеве.

[2]*Майором* в семье Герцена называли в шутку женевского врача Майера, лечившего Огарева.

[3]Речь идет о процессе, возбужденном С.И. Серебренниковым против швейцарского правительства за незаконный арест (он был 9 мая 1870 г. взят швейцарской полицией, принявшей его за С.Г. Нечаева, и 12 дней находился в заключении). Как явствует из письма Серебренникова к Огареву от 28 июля 1870 г., последний считал, что "при настоящих условиях не следует вести процесс" (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 754); однако, именно он обеспечил материальную возможность его ведения, взяв взаймы у Е.А. Касаткиной деньги, требуемые адвокатом в залог. Процесс был проигран.

[4]С праздником Рождества Христова (25 декабря).

32

⟨Женева.⟩ 11 января ⟨1871 г.⟩ вечером[1]

Мне хочется сейчас отвечать тебе, мой милый Саша, на твое письмо. Оно меня страшно занимает. Мешает только небольшая зубная боль, но это я преодолею. – Что ты такое хочешь сделать под видом психологии?[2] Ты больше опытен и можешь отнести к движениям мозга больше стремлений и необходимостей, чем какие бы то ни были запросы. А дальше я тебе ничего не могу сказать: ты должен знать больше, чем я.

[67*] Здесь: контору (*франц.* étude).



А.А. ГЕРЦЕН С ЖЕНОЙ ТЕРЕЗИНОЙ

Фотография М. Темпести. Флоренция, 1868

Фотография выполнена вскоре после женитьбы А.А. Герцена

Музей Герцена. Москва

Одно только необходимо для твоей психологии (кроме сериозной критики самого названия, напоминающего душу) – это разработка *сравнительной психологии животных*; без этого ты не придешь к цели, сколько бы ни был прав.

Так ли, caro mio?

Да еще вот чего не забудь высказать, что чем больше мы докажем необходимость, тем меньше нам нужно будет религии.

Но все еще я не досказал! Мне кажется, что без сравнительной психологии животных, т.е. сравнительного отражения внешних предметов на индивиде, ты факт сознания не выведешь. Таким образом, сознание устрицы заключается в постоянном раскрытии и закрытии раковины для поглощения пищи и ясно доказывает, что дело заключается в механическом впечатлении окружающих предметов на известную форму индивида. Идя по восходящей лестнице форм, ты доходишь до человека, у которого одно из главных отражений окружающих предметов на мозг – это впечатление другого индивида, приходящего в помощь, и, ergo[68*], обусловливает социологию (общественность), которой одна из главных необходимостей – не то что свобода воли – а свобода индивида, ибо иначе приходилось бы душить друг друга, что и делается при нарушении этой необходимости.

68* следовательно (*лат.*).

Если это письмо тебе покажется полезным, ты его для меня сохрани, потому что мне переписывать некогда, а собственно для самого себя было бы нужно. – Статьи твоей об интеллигенции еще не получал[3].

Мне же теперь в St.-Jean Latour ходить нет никакой возможности: биза, снег, лед на дороге, нога не выдерживает этого усилия. Знаю только, что вчера Лизе и Тутсу наш доктор Порт прививал оспу (здесь эпидемия).

Мне жутко стало при твоих словах об отце; но, к сожалению, я до такой степени не могу сомневаться в его смерти, что эта уверенность вызывает во мне только одно чувство: желание самому умереть. Вот все, что могу тебе сказать[4].

Мне кажется, друг мой, я Тату немножко граблю. Ты мне денег не присылал, а она мне дала взаймы. Вообще я думаю, что лучше бы, когда ты будешь присылать мне деньги, то присылать прямо на мое имя, ордер внутри, а адрес на конверте может быть и на имя Мери, это дойдет проще и скорее. Что меня тревожит – это маленькие должишки, с которыми расплатиться до сих пор не могу, а это делает жизнь дороже и приводит к новым должишкам. Это тебе, вероятно, покажется натуральным.

Письмо твое о ребятишках у Лизы вытребую – вот как скоро она отдохнет от оспопрививания, или настанет такая оттепель, что мне можно будет ходить дальше маленькой почты и чтения газет.

Общие дела плохи, но еще посмотрим.

Вчера получил из Cluses, где Генри в школе, письмо от директора школы с совершенно удовлетворительным отзывом о нем. Он хоть и бывает молод, потому что в самом деле молод, но не лишен способностей и совершенно благородных стремлений.

Книги Тэна я не знаю[5].

Обнимаю тебя и жену и детей.

Твой А г а

[1]Год определяется по связи с п. 34.

[2]Возможно, в неизвестном письме А.А. поделился с Огаревым размышлениями и выводами, к которым он пришел, работая над трудом, получившим окончательное название "Fisiologia della volontà" (Firenze, 1871).

[3]О какой статье А.А. (очевидно, в итальянской прессе – см. п. 34) идет речь, не установлено.

[4]Смысл этого драматичного сообщения А.А. остается неясным.

[5]J. T a i n e. De l'intelligence (P., 1870).

33

20 февраля ⟨1871 г.⟩, понедельник[1].
⟨Женева.⟩ 20. Rue de Carouge

Ну что, мой милый Саша? Ко мне ты уже никогда не пишешь. Вчера был у Натали. Говорят, что будто бы твои обстоятельства не процветают. Так ли это? Тутсу гораздо лучше, т.е. у него довольно здоровый и милый вид. Таты не видал, она ходила обедать к Карлу Фогту. Я к нему не хожу и давно считаю его реакционером; уважаю в нем и признаю только одно, что человек происходит от обезьяны[2].

Теперь обращаюсь к тебе с главным вопросом: мой друг Лазарев писал к тебе письмо[3] – о продаже проекта воздухоплавания во Франции, но теперь это поздно, нельзя ли бы было ему продать проект воздухоплавания в Италии, но ты ему еще не отвечал. Если же нельзя, то не пришлешь ли рекомендации к кому-нибудь в Лондон (конечно, не к Трюбнеру)? Немцам же и в России продать не хочется, а во Франции нельзя. Отвечай хотя на мое имя.

Не оставь меня также к марту месяцу[4]. Я хотя и писал домой[5], но никакого ответа не получаю.

Перевод "Писем из Франции и Италии" подходит к концу[6]. Но признаюсь – я им не больно доволен, так же как и поправками Коста[7].

Мне сегодня нездоровится, и я устал. Поцелуй Терезину и детей, да пиши же мне хотя сколько-нибудь, иначе это нехорошо.

Твой А г а

[1]Год определяется пребыванием Н.А. Герцен в Женеве, а также адресом и пометой о дне недели.

[2]Личный разрыв Огарева с К. Фогтом подготавливался издавна их политическими расхождениями и особенно враждой Фогта ко "всему русскому и славянскому" (см. письма Огарева к Герцену от 12 сентября 1867 г. – *Огарев* II, 525 и к Н.А. Герцен от 7 июня 1868 г. – в наст. книге). Огарев вместе с тем продолжал ценить материалистическую основу концепции происхождения человека в работах Фогта.

[3]Это письмо неизвестно.

[4]См. п. 34.

[5]См. письмо Огарева к Н.М. Сатину от 16 декабря 1870 г. (*АО*, 83–84). О "сатинском долге" см. в "Лит. наследстве", т. 63, с. 713–722.

[6]Французский перевод "Писем" – "Lettres de France et d'Italie", выполненный Тучковой-Огаревой и отпечатанный в типографии Л. Чернецкого, вышел в Женеве в том же 1871 г. под инициалами *N.H.*

[7]Французский врач из Монпелье Л. Кост, друг Герцена и его семьи с 1865 г. (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 534), очевидно, редактировал по просьбе Тучковой-Огаревой ее перевод "Писем из Франции и Италии".

34

⟨Женева.⟩ 27 февр⟨аля 1871 г.⟩. Понедельник[1]

Спасибо тебе за твое письмо, наконец, мой милый Herr Doktor! Мы, кажется, все стали ленивы писать письмы. Да, по правде сказать, – время такое, что мало хорошего скажешь, а огорчать друга письмом невесело.

Прежде всего начну с Лазарева. Пришли мне письмо к Гильдичу[2], тогда мы посмотрим, повезет ли Л⟨азарев⟩ письмо в Лондон сам, или мы только с твоим письмом пошлем проект и детали, если средств на путешествие не найдется. Вот в этом-то и штука. Сообщи Гильдичу в письме только следующее: что один из моих знакомых воспользовался давлением воздуха для воздухоплавания и ищет сведущего человека, который ему помог бы привести дело на практику. (После письма к тебе у Л⟨азарева⟩ в проекте сделаны большие упрощения.)

Далее – спасибо тебе за посылку денег, получу – так немножко воскресну, а то долгов много, а денег ни гроша.

Вчера ходил к Натали и видел всех. Тата как-то похорошела; Туте выздоровел и целый день бьет на барабане, который ему подарил какой-то приятель-буржуа. Ах, Саша, Саша! Возьми его к себе – это чрезвычайно милый ребенок, только мало-помалу его надо направить поумнее. Здесь этого никто не сумеет. Я сам на этот счет неспособен, я могу шалить с детьми, а воспитывать их не могу, да, кажется, и все остальные тоже.

Лиза страдает мигренями – экое наследство патологическое!

Ты, кажется, тоже не понял моего письма[3], сколько я вижу из твоего письма к Тате[4]. Я никогда не отрекался от старания определить "что такое сознание"; я, может быть, говорил, что теперь это не определено, – вот и всё. Но, вероятно, определение сведется на механический процесс. Особенно, рассматривая устрицу, ты увидишь, что ее сознание – раскрытие и закрытие раковины пищи ради, т.е. давление и отражение, да и наши мозги-то едва ли представляют другой процесс. Разница в количестве впечатлений и отражений.

Эк! У тебя на ходу третий ребенок![5] Ты не оставляй же Терезину одну в это время, пусть пруссаки в Париже делают, что хотят.

Женева совершенно превратилась в казарму – всё солдаты да солдаты, барабаны скучнейшие, а музыка полковая недурна, только все одно и то же. Да еще швейцарский немецкий язык несносен – ничего не поймешь.

Статьи твоей[6] Тата еще не переводила, а по-итальянски я не пойму. Ну! Поцелуй детей и Терезину, и стало быть до свиданья.

Мери тебе кланяется, Генри кончает ученье в Клюзе (в Савойе).

Твой А г а

[1]Огарев отвечает на неизвестное письмо А.А., служившее откликом на п. 33. 27 февраля в 1871 г., действительно, приходилось на понедельник.

[2]Рекомендательное письмо А.А. для Лазарева было, очевидно, отправлено к Э. Гильдичу (английскому врачу, знакомому Герцена и его сына еще с начала 1860-х годов) вместе с письмом Лазарева. См. об этом в п. 35.

[3]Речь идет о п. 32.
[4]Это письмо А.А. до нас не дошло.
[5]Пьер (Петр Александрович) Герцен родился 8 мая.
[6]Имеется в виду статья А.А. Герцена "Об интеллигенции" или (что менее вероятно) его книга "Fisiologia della volontà".

35

⟨Женева.⟩ 26 марта ⟨1871 г.⟩. Суббота[1]
20. Rue de Carouge

Спасибо тебе, милый Саша, за хлопоты об открытии, сделанном моим другом Л⟨азаревым⟩. – К Гильдичу мы напишем на днях; но так как на Америку главная надежда, то мы и решились послать тебе и твоему американцу[2] планы цилиндров. Может – они не довольно хорошо нарисованы, но у нас совершенно не хватило рисовальных материалов; Л⟨азареву⟩ надо было работать от руки и по памяти. Все же если твой американец войдет во вкус, то отвечай поскорее; если наоборот, то тоже отвечай поскорее. – Л⟨азарев⟩ сам непрочь съездить в Америку, но теперь обстоятельства немножко запутаны. Во всяком случае, подумавши, мы решили подождать твоего ответа (т.е. твоего американца) и уже потом писать к Гильдичу, если ваш ответ будет неудовлетворителен.

А с американскими людьми было бы лучше сладиться, чем с предательскими государствами!

Хотел я тебе писать о твоей статье, которой я все-таки по-итальянски прочесть не могу, но оставляю до другого раза, не столько вследствие надглазной невралгии, сколько вследствие того, что запрятал все, что берег, – так, что сегодня не отыскал. А между тем дела куча – корректур, переводов, собственных писаний и пр., не знаю, как и сладить. Во всяком случае, герценский перевод кончу к послезавтра[3]. Местами мой перевод мне очень нравится, а местами не могу сладить с французским диалектом.

Ты меня на эти два месяца не оставь, ибо я только в 2 месяца расплачусь так, чтобы жить было можно без долгу. А из дому – ответа нет.

Целую вас всех, caro mio, и спешу отправить на почту.

Твой А г а

Твое последнее письмо мне пришло почти распечатанным. Тебе пишу на Спеколу – мне кажется вернее.

[1]Год определяется связью с п. 33 и 34; однако Огарев ошибся либо в числе, либо в дне недели: 26 марта в 1871 г. приходилось на воскресенье.
[2]Лицо не установлено (ср. п. 36).
[3]Перевод повести "Доктор, умирающий и мертвые" (см. п. 30).

36

⟨Женева.⟩ 15 ап⟨реля 1871 г.⟩. Суббота[1]

Вот третье письмо начинаю писать к тебе, мой милый Саша, и все рву написанное, потому что недоволен – мне надо, чтобы письмо дошло до совершенной ясности, иначе не могу быть довольным. Вдобавок –

Весною пахнет, тело лень объемлет,
И голова и кружится и дремлет.

Все это не мешает мне страдать sui generis[69*] ревматической болью нижней челюсти и невралгией надглазного нерва той же правой стороны. Но все же боль достаточно маловажна, чтобы употреблять какие-нибудь лекарства, которые мне никогда в этом случае не помогали, а новых лекарств господа медики еще не придумали.

[69*] своего рода (*лат.*).

Надо тоже заметить, что женевское освещение – не итальянское и не северное – но яркое и колеблющееся, ужасно действует на глаза. – Тата с Тутсом в Берне; жду их обратно с часу на час. Я очень рад, что она взяла Тутса в Берн; у него глаза болят и вид какой-то бледненькой; я думаю, что у него глисты, но могу и ошибиться: все же Ад⟨ольф⟩ Фогт получше обсудит дело, чем здешние медики. У Лизы тоже глаз болит, хотя вид у нее здоровый и растет она не по дням, а по часам. Натали все так же. Генри и Мери тебе кланяются; Генри не совсем здоров и на время остается у меня, а потом, вероятно, опять отправится в Cluses.

Теперь обращаюсь к старым вопросам:

1) Лаз⟨арев⟩ очень благодарен твоему американцу за внимание[2], но он просит его указать в литературе воздушных машин, где бы в их принципе было давление, а не упругость и инерция масс воздуха. До сих пор он нигде не мог встретить предположения в этом направлении. Машина, действующая аммиаком, должна произвести подъемную силу – в несколько раз большую против ее веса, считая тут же вес жидкого топлива и вес аммиака. На следующей неделе я пришлю тебе его подробное вычисление.

2) Ты придаешь слишком много значения словам (названиям) и впадаешь в метафизику[3]. Ищи объяснения мозговых функций, а не слова вроде сознание, ум, разум и т.д. – В устрице ты едва ли найдешь что́ иное, как возможность пищеприема. Взгляни на твою зоологию 1862 года[4], она хотя и не кончена и, может, недостаточна, но она реальнее твоих теперешних предположений. Давай спорить дальше.

А дела общие плохи, так что to be or not to be, that is the question[5].

Обнимаю тебя и Терезину. Не поленись и пиши.

Благодарю тебя за пособие, которое пришлось больше чем кстати, а из дому никакого ответа.

[1]Год определяется упоминанием о поездке Н.А. Герцен с Тутсом в Берн (ср. письмо Н.А. Герцен к М.К. Рейхель от 17–18 апреля 1871 г. – автограф *BN*, фотокопия *РГБ*) и подтверждается пометой о дне недели.

[2]См. п. 34, 35.

[3]Огарев продолжает спор по философским проблемам физиологии мозга, затронутым в п. 32 и 34.

[4]А.А. Г е р ц е н. Краткое общепонятное изложение сравнительной анатомии и зоологии. Лондон, 1862.

[5]"Быть иль не быть – вот в чем вопрос" – начало монолога Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира (д. III, сц. 1).

37

⟨Женева.⟩ 12 мая ⟨1871 г.⟩, пятница[1]

Вчера у меня была Натали и сказывала, что у тебя родился сын[2]. Поздравляю вас обоих и желаю благополучия. Что ж ты мне об этом сам не напишешь? Жду хоть записочки.

Сегодня сбирался к Тате на их новую квартиру в Паки́, но жестоко простудился, так что челюсти разбаливаются и не могу решиться.

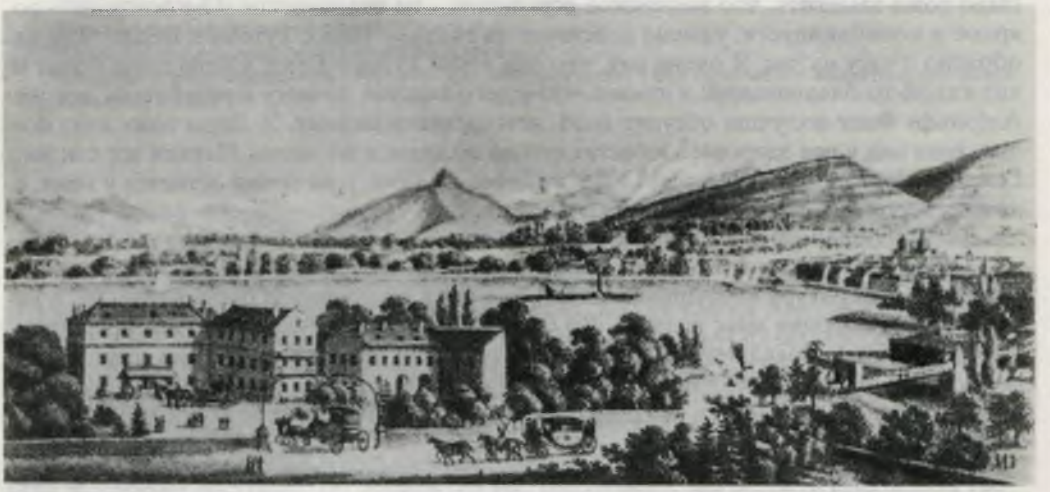
Здесь остановился. Сейчас приходил старый знакомый и многое порассказал об России, кое-что хорошее, т.е. касающееся до общих дел. Личные же мои дела, кажется, пойдут плохо. Я и сам ума не приложу, как с ними быть.

За сим обнимаю тебя и снесу записку на почту.

Твой А г а

[1]Год определяется упоминанием о "новой квартире в Паки", куда переехали Н.А. Герцен и Тучкова-Огарева в начале мая 1871 г. (адрес: Pension Sutterbin, 80, Quai du Léman. Pâquis – см. письмо Н.А. Герцен к М.К. Рейхель от 9 июля; автограф *BN*, фотокопия *РГБ*), и подтверждается пометой о дне недели.

[2]Петр, родился 8 мая 1871 г.



ЖЕНЕВА. ПАКИ

Литография по рисунку К. Мюллера. Конец 1840-х годов

Публичная и университетская библиотека, Женева. Воспроизводится по репродукции в книге: P. Bertrand, C. Bergholz. Genève hier et aujord'hui. Genève, 1960

В 1871 г. в пригороде Женевы Паки, на набережной Леман жили Тата Герцен и Н.А. Тучкова-Огарева с дочерью Лизой

38

⟨Женева.⟩ 1 октября ⟨1871 г.⟩, воскресенье[1]

Еще вчера хотел благодарить тебя за присылку трехсот фр., мой милый Саша, но не собрался; подумал, что суббота, и отправился в банк. Reverdin[2] переехал на place de Hollande (в том же доме, где редакция "Journal de Genève") – и я прошлялся долго, его разыскивая. Вот что пришло кстати, потому что я оставался без копейки. Теперь начинаю расплачиваться с остервенением, начиная с мясника.

А Тата еще не приезжала[3]. Пишут они редко, не охотницы до литературы.

Тутс в пансионе Gouin, route du Chêne. Он очень мил, был у нас передпрошлое воскресенье; а прошлое воскресенье погода была слишком ⟨плохая?⟩ и сегодня также, да и я не совсем здоров – точно избитый от припадка 4 дня тому назад, и простудился так, что кашель душит; поэтому дальше маленькой почты не пойду сегодня. Тутс, кажется, в ученье начинает успевать.

От Ольги имею милое письмо[70* 4].

Обнимаю тебя и Терезину братски. Мои тоже – но все не совсем здоровы. Пишу много стихов[5].

[1]Год определяется упоминанием о тяжелой болезни Л. Чернецкого (умер от рака желудка 18 июня 1872 г. – см. п. 41, 42).

[2]*Реверден* – женевский банкир (у него были помещены Огаревым и С.И. Серебренниковым в июле 1870 г. также остатки Бахметевского фонда – см. "Лит. наследство", т. 96, с. 460).

[3]Н.А. Герцен в сентябре–октябре путешествовала по южной Германии (Франкфурт-на-Майне, Мюнхен). Затем с Тучковой-Огаревой и Лизой поселилась в Цюрихе.

[4]Это письмо остается неизвестным.

[5]Из написанных, по-видимому, в это время стихотворений известны "Картинка очевидца", "Песня русской няньки у постели барского ребенка", "Дворянин", "Война" (см. *Огарев. 1956*, с. 351–353, 765–766).

[70*] Вот было и не покончил, что хотел сказать главное: Чернецкий шибко болен, я даже не думаю, чтобы доктора распознали диагностику. У него постоянная тошнота и боль в желудке (?). Докторов он часто меняет и смотрит очень изнуренно.

39

3-го февраля ⟨1872 г.⟩, суббота[1]
⟨Женева.⟩ Rue du Grand Conseil, 20

Как видишь, caro mio, улица переименована, а № остался. Вот это я, друг мой, как тоже долго страдательно выжидал от тебя известий, а деятельно писать не принимался. А почему, мой милый Саша? А потому, что сказать порядочного нечего, разве *сочинять*. А сочинять я все-таки привык для печати, а ее-то теперь и мудрено уладить. Как скоро приду к какому-нибудь коллективному решению, то тотчас тебе напишу и попрошу *известий*[2].

Целую твоих милых маленьких заочно; рад бы был поцеловать их на самом деле, но нога меня уже отсюда не выпустит. Хожу еще не больно далеко, а остальные путешествия стали невозможны. Больших болей нет, и потому живу спокойно. Но все больше *страдательно* занят планами, а *деятельно* привести их в исполнение мудрено.

Вчера получил из Цюриха деньги. Спасибо вам за аккуратность, друзья мои! Она еще месяца два для меня необходима.

Здесь недавно у Утина был обыск в присутствии русского агента. Забрали кое-какие бумаги; он протестовал, ему их отдали назад и извинились. Что все это значит, добиться толку не могу; самому к нему сходить не хочется[3]. Сейчас еще отправлюсь на розыск.

Не сердись и ты на меня за долгое молчание, друг мой, и напиши поскорее о всем, что делаешь. На сию минуту я кончаю, потому что озабочен и многого не скажешь.

Мери тебе кланяется. Генри дает уроки английского языка. Обнимаю вас обоих.

Твой А г а

[1]Год определяется пребыванием Н.А. Герцен в Цюрихе, пометой о дне недели, упоминанием о перемене адреса (в письмах конца 1870–1871 г. – Rue de Carouge, 20).

[2]Огарев вместе с В.М. Озеровым, Н.В. Соколовым и др. в это время собирался основать новый журнал революционной эмиграции в Цюрихе (см. письмо В.М. Озерова к Огареву от 17 января 1872 г. – "Лит. наследство", т. 62, с. 441).

[3]В начале марта 1870 г. Н.И. Утин, А.Д. Трусов, Е.Л. Дмитриева и их единомышленники из числа "молодых эмирантов" основали Русскую секцию I Интернационала, ставшую целиком на сторону К. Маркса и Генерального совета в конфликте с М.А. Бакуниным. Возможно, с этим связано выраженное в письме нежелание Огарева видеть Утина.

40

20 апр⟨еля 1872 г.⟩ Суббота[1]
⟨Женева.⟩ Rue du Conseil général, 20

Вот еще вчера сбирался писать к тебе, мой милый Саша, да не удалось. А не удается потому, что нездоровится. У меня легонькой *гриб*⟨!⟩ не прерывается, но это ничего. А Мери тяжело больна. Я дня через два об этом напишу тебе, чтоб спросить совета; в это время надеюсь дойти до какого-нибудь уяснения, и тогда могу спросить. А теперь сам не знаю, что́ такое, – знаю только, что весьма затруднительно. Сегодня же я хочу писать к тебе о специальном деле, которое ты поблизости можешь лучше раскрыть, чем кто-нибудь другой. Третьего дня у меня был старый друг Гандольфи[2] и сказал полученное им известие и дело, им самим виденное. Дело вот в том, что в Неаполе во всех больших книжных лавках продаются в огромном количестве сочинения Герцена, в особенности "De la Rive" и "Lettres de France et d'Italie"[3]. Но что это, кажется, новое перепечатание, т.е. подложное. Я писал об этом вчера Натали[4], но ей, вероятно, трудно будет узнать. А тебе это поближе и полегче. Потому похлопочи об этом и напиши мне как можно скорее. Вот это сегодня моя главная задача, потому что на иное просто сил не хватает писать. К Тате писал, там много интересного. Вот все, что могу сказать тебе сегодня.

Твой друг А г а

[1] Год определяется пометой о дне недели и адресом.

[2] Время знакомства Огарева с итальянским революционером Дж.-Б. Гандольфи неизвестно. В 1873 г. он переводил стихи Огарева на итальянский язык (с огаревских автопереводов на французский) – см. "Лит. наследство", т. 62, с. 741 и письма Н.А. Тучковой-Огаревой к Огареву в кн. 2 наст. тома.

[3] Об издании французских переводов произведений Герцена, предпринятом Тучковой-Огаревой и А.А. в 1870–1871 гг., в частности "De l'autre rive" и "Lettres de France et d'Italie", см. выше.

[4] Письмо Огарева к Тучковой-Огаревой от 19 апреля неизвестно, как и упоминаемое ниже письмо его к Н.А. Герцен.

41

14 июня ⟨1872 г.⟩, пятница
Женева, rue du Crand conseil, 20

Итак, у тебя родилась дочь[1], мой милый Саша! Искренно желаю ей счастья в этом мире, где оно нелегко дается. Напиши же мне и о ней, и о себе, и о семье, и об Италии – хотя одну страничку. Здесь довольно плохо: Чернецкий совсем исчезает. Доктор Chardon, который его лечит, все уверяет, что он его вылечит; а d-r Porte, который был на консультации, сказывал мне, что у него неизлечимый рак в желудке. Чернецкий уже не встает с постели и едва говорит; посещения его затрудняют, так что мы ходим только справляться, как и что, а его редко видим. Mrs Louis[2] совсем устала. – Я довольно здоров; Мери за мной ходит, как мать. Генри хорошо работает и хорошо развивается. Оба жмут тебе руку. – Тата мне прислала книгу Monod[3], которая мне вовсе не нравится. У Натали странная боль в руке, которой я в толк не возьму. За сим обнимаю тебя как старый друг и жду от тебя хоть записочки.

Твой А г а

[1] Первая дочь А.А. Герцена Ольга родилась 8 июня 1872 г.

[2] Жена Чернецкого – Марианна (Огарев, на европейский лад, называет ее здесь по имени мужа – Людвика).

[3] G. M o n o d. Allemands et Français. Souvenirs de campagne. Metz, Sedan, la Loire (P., 1872).

42

21 июня ⟨1872 г.⟩. Пятница[1]
Rue du Conseil général, Genève

Твое письмецо, мой милый Саша, вчера вечером получил от Таты. Еще раз поздравляю тебя с дочкой (ибо я уже тебе писал, но адресовал в Спеколу). Мери меня просит еще раз послать тебе ее поздравление именно с дочкой, что ее радует.

Я же пишу тебе немного слов, возвращаясь с похорон Чернецкого (который умер во вторник раком желудка).

Больше, право, сегодня я не способен сказать.

Твой А г а

[1] Год определяется связью с предыдущим письмом. Огарев в эти дни написал стихотворение "Памяти Л. Чернецкого" (*Огарев 1956*, с. 353). Впервые опубликовано в "Свободе" (Сан-Франциско) от 28 сентября 1872 г.

43

⟨Женева.⟩ 5 июля ⟨1872 г.⟩. Пятница[1]

Сегодня получил фотографии, милый мой Саша, и чрезвычайно им обрадовался. Спасибо тысячу раз за присылку. Мальчик похож на вас всех – как вырастет – посмотрю (если успею). Девочка напоминает мать. Но оба лица премилые[2].

Тата, вероятно, уже уехала к Ольге; обещаются навестить меня в августе или сентябре[3].

У меня на уме *n* работ; как скоро немножко приготовлюсь, напишу тебе обстоятельно.

Генри начинает учиться естественным наукам. Он здоров, и я им очень доволен.

Все тебе кланяются.

Мое здоровье ни хорошо, ни дурно. Можно жить и работать. Крепко обнимаю тебя. Скоро еще напишу.

Твой А г а

Русские журналы и revues меня совсем поглотили в чтение[4].

[1] Год устанавливается по помете о дне недели.

[2] А.А. прислал фотографии своих сыновей Петра и Алексея (ср. *AO*, 89). Однако в первый момент Огарев принял на портрете Алешу за Ольгу.

[3] Н.А. Герцен выехала 3 июля 1872 г. из Цюриха к сестре в Страсбург, а затем они вместе с Мейзенбуг отправились в Швальбах (см. письмо Н.А. Герцен к М.К. Рейхель от 20 июля 1872 г. – автограф *BN*, фотокопия *РГБ*).

[4] Огарев в 1872–1873 гг. получал отдельные номера "Отечественных записок", "Дела" и др. от В.М. Озерова (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 441–442). *Revues* – журналы (*франц.*). Слово "журналы" здесь (как часто и у Герцена) означает "газеты" (*франц.* journaux).

44

⟨Женева.⟩ 6 июля ⟨1872 г.⟩, воскресенье[1]

Милый мой Саша, прости меня за нелепость последнего письма. Я ее только заметил, когда воротился с почты. Я и не подумал хорошенько о твоих мальчиках, а только поставил фотографии на камин и смотрел на них с отрадою; а на обороте на надписи не посмотрел, и так был уверен, что Алеша девочка, что тотчас написал тебе о получении фотографий и снес на почту. Возвращаясь домой подумал: что за нелепость? Посмотрел на надписи и расхохотался, рассказал Мери, которая еще больше расхохоталась.

Расхохочись же и ты!

Зато вчера, бывши у Чернецкой, я чуть не расплакался. Она мне подарила фотографию с мертвого Чернецкого. Я никогда такого фотографического безобразия не видал. Какому-то дураку вздумалось снять лицо en face, да еще с немного назад опрокинутой головой. Я взял, однако, один экземпляр, но держу его в книге и заглядываю изредка.

Теперь я занят чтением процесса Мясниковых в Петербурге. К сожалению, книга не моя и я ее тебе послать не могу. Постарайся достать во Флоренции. ("Дело Мясниковых, стенографический отчет Маркузе". СПб., 1872). Дело о фальшивом завещании и разных отравлениях, главный виновник – адъютант начальника III Отделения ротмистр А. Мясников.

Просто оторваться не могу от чтения.

Твой А г а

P.S. Лиза дает Мери поручение купить и прислать ей дорожную птичью клетку. Это для Тхор⟨жевского⟩, который сбирается путешествовать с птицей.

[1] В публикации М. Мерво письмо ошибочно отнесено к 1873 г. (*LOAHf*, 227–229). Год устанавливается по непосредственной связи с п. 43 и по упоминанию о смерти Чернецкого (умер 18 июня 1872 г.). Огарев, однако, ошибся в числе или же в дне недели: 6 июля 1872 г. приходилось на субботу. Судя по контексту, вероятнее, что письмо написано было в воскресенье, 7 июля.

45

⟨Женева.⟩ 27 авг⟨уста 1872 г.⟩, вторник[1]

Милый мой Саша, давно мы не писали друг к другу. Это дико. Перестанем продолжать такое молчание. Я вот уже несколько дней сбираюсь писать к тебе, и именно в обычный час кто-нибудь да приходит. Иногда и очень милые люди и полезные,

а все-таки время совершенно изменяется и ход занятий тоже. – Вот тебе запрос, на который отвечай мне поскорее: Гандольфи просит твоего согласия на перевод на итальянский язык "С того берега" (т.е. "De l'autre rive"). У него в Турине знакомый типографщик, который напечатает ему перевод даром. Я надеюсь, что ты дашь свое согласие; по моему мнению, перевод был бы полезен и для памяти Герцена и для общего дела[2]. Ответь же поскорее. Гандольфи очень почтенный человек, рекомендованный мне еще Мац⟨цини⟩.

Вот и опять помешали! Но зато есть русские книги для прочтения. – Мне самому хочется начать новое издание, но еще средств и сношений не хватает. К новому году надеюсь сладить[3].

В сентябре жду Тату и Ольгу! – Ольгина фотография у меня на камине посереди твоих двух маленьких, которыми я постоянно любуюсь.

Ну! что все твои? Обними их за меня, да и напиши же обо всех.

Тутс, кажется, в Цюрихе преуспевает.

Мери и Генри тебе кланяются. Генри готовится в медицинскую академию. Он хорошо вырос до 21 года.

Ну! Прощай на сегодняшний раз. Пора на почту

Твой А г а

[1] Год устанавливается по связи с предыдущим письмом.
[2] Был ли осуществлен этот перевод, установить не удалось.
[3] Издание не было реализовано.

46

⟨Женева.⟩ 14 сент⟨ября 1872 г.⟩. Суббота[1]

Сегодня, в 6 час⟨ов⟩ утра, Тата, Ольга и Мальвида должны были отправиться к тебе, мой милый Саша, и, вероятно, отправились. Напиши тотчас, хорошо ли они доехали. Тата все такая же добрая и милая; у Ольги голос чудесный, только не знаю, насколько ее грудь его выдержит (заметь это обстоятельство как доктор). О Тутсе самые выгодные известия, даже он уже очень хорошо пишет по-немецки. Натали и Лиза (которая растет не по дням, а по часам) уезжают завтра обратно в Цюрих. Тата мне оставила фортепьяно, от которого я совсем отучился, но обрадовался ему, как старому другу. Обнимаю вас всех и жду еще русских посетителей.

Твой А г а

Генри учится математ⟨ике⟩ и латыни и хочет поступить в медицинск⟨ую⟩ академию. Мери за мной ходит, как мать, нянька и всё на свете.

Addio, caro mio!

[1] Год устанавливается по связи с п. 45 и помете о дне недели. О "первых неделях", проведенных на вилле А.А. под Флоренцией, Н.А. Герцен писала М.К. Рейхель 9 января 1873 г. (автограф *BN*, фотокопия *РГБ*); см. также письмо А.А. к Тучковой-Огаревой от 10 октября (*АО*, 89–90).

47

⟨Женева.⟩ 14 окт⟨ября 1872 г.⟩. Понедельник[1]

Вчера я тебе послал "Свободу" Гончаренко[2]. Хотя языком оной я и не совсем доволен, но все же надо порядочным соотечественникам показывать и указывать на место издания (Сан-Франциско). Может, этот пункт для нас когда-нибудь важен будет. Надо посмотреть последующие №. – Гандольфи книгу переводит, вероятно, но ко мне зайдет завтра или послезавтра (вероятно) – таков его обычай, и тогда я еще пристальнее с ним сговорюсь. – Лиза была больна в постеле (сегодня письмо от Н⟨а–тали⟩[3]), но, кажется, все обошлось хорошо и она сегодня встает с постели. – Погода

у нас отвратительная, только и можно по нужде сбегать на почту, а то целые дни дождь. Но мы приблизительно здоровы. – Крепко жму тебе руку.

Твой А г а

3-го дня я получил Станислава[4].
Тутс в Цюрихе здоров и доволен.

[1] Год устанавливается по связи с п. 45. 14 октября приходилось на понедельник в 1872 г.

[2] А.А. Гончаренко, в 1860–1861 гг. работавший наборщиком в Вольной русской типографии, в 1867 г. устроил в Сан-Франциско русскую типографию; в 1872–1873 гг. издавал там газету "Свобода" (см. "Лит. наследство", т. 41–42, с. 588; т. 62, с. 741, а также п. 48).

[3] Это письмо Тучковой-Огаревой из Цюриха неизвестно.

[4] Значение этих слов неясно; возможно, Огарев шутливо называет так очередной приезд С. Тхоржевского. – "*Станислав*" – русский орден Св. Станислава.

48

⟨Женева.⟩ 30 ноября ⟨1872 г.⟩, суббота[1]

Я твоему письму был очень рад, мой милый Саша, тем более, что прежнее, должно быть, как-нибудь не дошло. – Теперь первый вопрос об Ольге. Я, конечно, не забыл ее приезда и приезда Моно; но мне кажется, что свадьба слишком долго не слаживается, и я боюсь, что кто-нибудь мешает. От этого хотел твоего извещения, так чтоб дело было пояснее, и надеюсь, что ты скоро напишешь.

Я очень доволен, что Тата занята Киндергартеном[71*], надо же быть чем-нибудь полезным занятою[2].

Деньги, должно быть, у всех плохо идут. Мне вот 6-го декабря будет 60 лет; следственно, жить недолго. Но о чем же ты хочешь, чтоб я сделал завещание? Разве о старых штанах? Да о каких-нибудь – не помню кому – розданных книгах? Эх! милый мой – это уже не под силу и не на пользу.

Но что еще, действительно, желал бы я знать – это что за болезнь с тобой случилась? Я хорошенько не понимаю. Напиши еще пообстоятельнее.

Ты же не понимаешь цели американского журнала[3]. На это я скажу только, что это издание лучше, чем ничего. Не то чтоб я был им очень доволен, но оно послужит связью с Россией через Сибирь, что выйдет далеко не бесплодно.

У меня другая болезнь – это насморк, хотя и ничтожный, но скучноватый..

Крепко обнимаю тебя, а ты обними за меня всех своих.

Твой А г а

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе кланяются. Г⟨енри⟩ занимается усердно химией в Академии.

[1] Год определяется упоминанием о приезде О.А. Герцен и Г. Моно (в начале сентября 1872 г. – ср. п. 45 и 46) и о их предстоящей свадьбе (состоялась 6 марта 1873 г.); подтверждается пометой о дне недели. В определении же своего возраста Огарев ошибся: 6 декабря 1872 г. ему исполнилось 59 лет.

[2] 9 января 1873 г. Н.А. Герцен в письме к М.К. Рейхель описывала первые месяцы своей жизни во Флоренции (после пребывания с Ольгой на даче у А.А.): «С болезнью Марты Бердушек, директрисы Kindergarten'а, я неожиданно очутилась на ее месте, т.е. я сделалась фактотум заведения и предподавательница. Для меня главное было во что бы то ни стало спасти "Детский сад". Ты не можешь себе представить важность этого заведения, особенно в Италии, где решительно ничего нет для детей ⟨...⟩ Я знала, что если закроют "Детский сад" – очень трудно будет опять собрать детей после паузы. Совсем нелегко вводить новую систему преподавания там, где клерикальная партия имеет еще очень чувствительное влияние. – К тому же я знаю, что, если больная узнает, что ее "Сад" закрыт, она будет в отчаянии» (автограф *BN*, фотокопия *РГБ*).

[3] Газета "Свобода".

[71*] детским садом (*нем.* Kindergarten).



ЖЕНЕВА. ВИД С НАБЕРЕЖНОЙ МОНБЛАН

Гравюра Кс. Валла, 1873

Из книги: "Schwitzerland: its Scenary and People". London, 1881

49

⟨Женева.⟩ 11 дек⟨абря 1872 г.⟩. Середа[1]

Милый Саша,

Дочка твоя[2] очутилась у меня в двух экземплярах, но прежнего письма отыскать не могу; может быть, еще отыщется где-нибудь в ящике, но до сих пор не отыскалось. Если я его как-нибудь выронил – это обидно и досадно для меня.

Теперь я понимаю положение Ольги (после твоего вчерашнего письма). О Мальвиде напиши мне в следующий раз яснее. А о Тате пиши сам почаще или хоть бы ⟨несколько⟩ строк она написала. – О письмах Г⟨ерцена⟩ к Прудону скажи, когда получишь ответ, но не забудь и не замедли; вопрос слишком интересен[3]. – Здесь есть плохие обстоятельства между соотечественниками; но я напишу о них аккуратно – как скоро аккуратней узнаю, что́ не всегда удается[4]. – Твоей болезни я еще меньше понимаю, чем Шифф и Лёвье; но напиши поскорей о дальнейшем ее ходе и о времени начала и выздоровления.

Я же сам в 60 лет ни больней ни здоровее, и довольно доволен жизнию, но не погодою, которая здесь отвратительна. Я даже доволен Генри, который сильно работает в Академии по изучению физики и химии.

Обнимаю тебя, Терезину и дочку, на которую гляжу с удовольствием.

Твой А г а

Еще есть письмо в дальние стороны, которое надо отправить сегодня[5].

[1] Огарев отвечает на неизвестное письмо А.А., служившее откликом на его письмо от 30 ноября 1872 г. В 1872 г. 11 декабря приходилось на среду.

[2] Т.е. фотография дочери А.А. – Ольги (см. п. 41).

[3] Очевидно, А.А. обратился к наследникам П.-Ж. Прудона с просьбой вернуть письма к нему Герцена. Это было выполнено лишь частично: в архиве семьи Герцена оказались автографы восьми писем (см. их в т. XXIII–XXVII 30-томного издания). Шесть писем Герцена до последнего времени хранились в Бе-

зансонской муниципальной библиотеке на родине Прудона. См. статью Л.Р. Ланского "Находка в Безансоне" ("Лит. газета", 1971, 27 января, № 4) и его же публикацию в "Лит. наследстве", т. 96, с. 306–323.

[4] Имеется в виду конфликт между группировками "бакунистов" и "лавристов". Н.В. Соколов писал о нем Огареву из Цюриха 2 января 1873 г. (очевидно, отвечая на его неизвестное письмо) – в связи с намерением П.Л. Лаврова "основать журнал" в Цюрихе (см. Е.Л. Рудницкая. Огарев в русском революционном движении. М., 1969, с. 410–412.

[5] Возможно, неизвестное письмо Огарева к сестре – А.П. Плаутиной, на которое она отвечала 4 февраля (23 января) 1873 г. (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 750).

50

28 дек(абря 1872 г.), суббота[1]

С Новым годом, друг мой Саша! Каков-то будет этого год – не знаю; надежд больше, чем на текущий год, а что выйдет толку – that is the question[2]. Кажется, что в Цюрихе состоится русская книгопечатня. Я хотя в Цюрих и не поеду, потому что для меня путешествие долею затруднительно, но участие приму живое. Там главный участник мой приятель Соколов (полковник генеральн(ого) штаба, рефюжье[72*])[3]. Я теперь читаю его брошюру "Отщепенцы"[4], которою чрезвычайно доволен. Постараюсь достать еще экземпляр и послать тебе.

Мери послала тебе Christmas-pudding[73*] своей работы. Надеюсь, что ты его получил?

Генри усердно занимается физикой и химией в Академии. Это ему пришлось совсем по вкусу. – У нас страшные туманы, от которых у меня скучнейший cold[74*]. Я родился в 1813 году, стало мне теперь 59 лет. – Прощай, мой милый Саша, обнимаю тебя и всех наших. Напиши обо всех.

Твой А г а

[1] Год определяется возрастом Огарева и подтверждается пометой о дне недели.

[2] "Вот в чем вопрос" (*англ.*). См. прим. 5 к п. 36.

[3] Об этом проекте Н.В. Соколов писал Огареву 2 января 1873 г. из Цюриха: "Наше дело о типографии на мази. Ждать приходится не долго (...) А ты пиши да пиши и нам присылай. Твое слово, дружище, не пропадет даром" (*Письма Бакунина*, 344); см. также письмо М.П. Сажина к Огареву от 2 января 1873 г. в "Лит. наследстве", т. 62, с. 521.

[4] Книга Н.В. Соколова "Отщепенцы" (о социалистах-утопистах) была издана в Петербурге в 1866 г. и тогда же конфискована, а автор заключен в Петропавловскую крепость, затем сослан. 14 октября 1872 г. бежал в Швейцарию. Книгу переиздал в Женеве в 1872 г. В.М. Александров. Огареву ее прислал В.М. Озеров (см. в "Лит. наследстве", т. 62, с. 440–441, его письмо к Огареву, условно датированное весной 1872 г., но относящееся к декабрю этого года).

51

(Женева.) 1873, понедельник, 6-го января[1]

Друг мой Саша, пишу тебе мою искреннюю благодарность за получение денег. Pavarin[2] мне выдал за 550 лир 484 фр. – Так ли это? – Хотя с меня этого совершенно довольно, но мне не хотелось бы в другой раз одолжать Pavarin; а цены вещей я отчасти забыл и пробую настроивать свою лиру. – Пудинг Мери тебе был послан, во всяком случае справься на почте; мне бы не хотелось, чтобы что-нибудь пропадало из наших корреспонденций. А Натали, в Цюрихе, свой экземпляр пудинга совершенно верно получила. Тутсом все довольны, пишет ли она[3] к тебе? – Я хотел писать Тате, Ольге и Мальвиде (которая мне писала премилое письмо[4]), но я уверен, что мне сегодня (т.е. сейчас же) помешают соотечественники, и откладываю письма (и более длинное письмо к тебе) до завтра[5]. Мери и Генри тебе и всем вам дружески кланяются. Я вас всех обнимаю до завтра.

Твой А г а

[72*] эмигрант (*франц.* réfugié).

[73*] рождественский пудинг (*англ.*).

[74*] простуда (*англ.*).

[1] На автографе карандашная надпись по-французски: "Copiée par Vispino en déc⟨embre⟩ 84" ("Скопировано Виспино ⟨Живчиком (*итал.*)⟩ в дек⟨абре⟩ 84 г."). *Виспино* – прозвище кн. А.А. Мещерского, близкого друга Н.А. Герцен.

[2] *Паварен* – женевский банкир.

[3] Тучкова-Огарева, которая могла наблюдать за Тутсом, находившимся в пансионе в Цюрихе.

[4] Это письмо остается неизвестным.

[5] Письмо, возможно, так и не было написано (ср. п. 52).

52

⟨Женева.⟩ 17 янв⟨аря 1873 г.⟩. Пятница[1]

Вчера получил твое письмо о получении плам-пудинга, мой милый Саша, но отвечать сбирался завтра или послезавтра, т.е. писать ко всем вам, да никак не сберусь с силами, ⟨потому⟩ что нездоровится, да и Мери нездорова. Но решился, напротив того, писать к тебе днем раньше по делу, которое всех нас интересует, да еще и премного. К Натали писал об этом уже два раза, но не знаю, как она распорядилась[2]. Я имею письмы из Дрездена от Татьяны Петровны Пассек[3] (Dresden, Raeckichstrasse, N 6, parterre). Она пишет свои воспоминания о Герцене, а печатаются они в России, в журнале "Русская старина"[4]. Я не могу отыскать у себя ни одного экземпляра "Былого и думы". А Татьяне Петровне они необходимы. Пошли хоть ты ей экземпляр, да только поскорее. Это наша обязанность ей помочь в этом.

Обнимаю вас всех и все же сбираюсь писать скоро о многом, а теперь устал. – Т⟨атьяне⟩ П⟨етровне⟩ сегодня посылаю свои воспоминания, переписывал их и устал[5].

Твой А г а

[1] Год устанавливается по связи с п. 50 – 51 (о плам-пудинге) и с письмами Огарева к Т.П. Пассек от января 1873 г. по поводу ее работы над воспоминаниями о Герцене (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 589, 641). 17 января приходилось на пятницу в 1873 г.

[2] Эти письма Огарева к Тучковой-Огаревой неизвестны. 10 или 11 января он сообщал Пассек: «"Былое и думы" не могу у себя найти: вероятно, кому-нибудь отдал и обратно не получил. Сегодня пишу в Цюрих к Натали, чтобы она тебе выслала свой экземпляр» (*Пассек* II, 462). Письмо Тучковой-Огаревой к Пассек от 16 января, связанное с названным, а также следующим письмом Огарева в Цюрих, см. *ИРЛИ*, ф. 430, ед. хр. 15, л. 7–8.

[3] См. фрагменты писем Т.П. Пассек к Огареву от 3 и 13 января н. ст. 1873 г. в "Лит. наследстве", т. 63, с. 588–589.

[4] Начало мемуаров Пассек опубликовано в "Русской старине", 1872, № 12.

[5] Побуждаемый призывами Пассек, Огарев начал около 6 января 1873 г. работу над своими "Записками русского помещика". На присылку начала первой главы она ответила 20 января, сообщив, что собирается включить его воспоминания в главы XI–XII "Из дальних лет". Фрагмент был ею включен уже в гл. X, предназначавшуюся для № 3 "Русской старины", но не пропущен цензурой (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 589, и там же далее – о продолжении работы Огарева). Незаконченные "Записки" Огарева опубликованы в "Полярной звезде", 1881, № 1–5, – в составе дополнительных глав "Из дальних лет".

53

⟨Женева.⟩ 21 янв⟨аря 1873 г.⟩. Вторник[1]

Вот опять несколько дней собираюсь ко всем вам писать[75*], мой милый Саша, и все не могу решиться. А почему не сберусь – вот тебе резон: во-1-х, несколько дней простуда или что другое, но нездоровится; Мери тоже нездоровится; у ней я боюсь за болезнь сердца. Во-2-х – 30 лет тому назад я где-то, чуть ли не в Париже ⟨подписал вексель⟩ в уплате 2000 фр. за моего товарища Сазонова[2]; теперь с меня хотят взыскивать эти деньги, угрожая описью имущества, но надеюсь, что эта чаша пройдет мимо; я советовался с Амберни[3] и даже сказал ему, что все мое имущество не мое, а ваше, т.е. твое и твоих сестер, в каком случае описывать нельзя. Однако сей-

[75*] *В автографе описка*: *вместо* писать – решиться. – *Ред.*

час пойду хлопотать по делу еще. Крепко вас всех обнимаю; мои вам кланяются. Генри держит экзамены в Академии по химии и физике. Портрет твоей дочки у меня на камине, в рамке.

Твой А г а

[1] Год определяется пометой о дне недели.

[2] См. п. 59. В.П. Боткин писал П.В. Анненкову 26 ноября 1846 г.: "До меня дошли слухи, будто бы Сазонов писал в Москву к Огареву о своем положении в Clichy, куда посажен за долг в 15 тысяч франков, и просил немедленно прислать ему эти деньги, грозя застрелиться" ("Анненков и его друзья". СПб., 1892, с. 525). По-видимому, Огарев своим векселем участвовал в погашении этого долга.

[3] *Амберни* – женевский адвокат (см. п. 58).

54

30 янв(аря 1873 г.). Четверг[1]
⟨Женева.⟩ Rue du Conseil général, 20

Милый мой Саша! Пишу тебе или, лучше сказать, всем вам несколько слов. Мне кажется, я простудился и есть что-то вроде лихорадки. Вчера Натали и Лиза уехали в По к детям Сатина, которые все в чахотке[2]. Что-то грустное врывается в этот период жизни.

Напиши мне о себе и скажи Тате, чтоб написала, что́ она не ⟨?⟩ делает. Ольгу не смею тревожить, она теперь занята любовью.

Мери вам всем кланяется, и ей порядком нездоровится.

Обнимаю вас всех. На следующий ⟨раз⟩ надеюсь написать интересное письмо.

Твой А г а

Татьяна Петровна Пассек пишет свои записки о Герцене и о мне в "Русской старине".

[1] Год определяется сообщением о записках Т.П. Пассек (см. 52), упоминанием об О.А. Герцен, готовящейся к свадьбе. Подтверждается пометой о дне недели.

[2] Алексей и Мария Сатины приехали из России в январе 1873 г. для лечения туберкулеза и поселились в горном курортном городке По на юге Франции.

55

18 февр(аля 1873 г.), вторник[1]
Rue du Conseil général, 20

Вот уже давно сбираюсь писать к тебе, друг мой Саша, и теперь уже не могу откладывать, потому что два важных предмета надо рассказать.

Первый – это вопрос, на который буду ждать твоего скорого ответа – как ты об этом думаешь. В Цюрихе из наших никого не осталось, Тутс, следственно, один, и что с ним делают в школе – никому не известно. Не лучше ли прислать его сюда, и поместится ли он у нас или в школе, мы все же можем постоянно за ним надзирать?

Второе это то, что я теперь в живой переписке с Татьяной Петровной П⟨ассек⟩, которой мемуары, печатаемые в "Русской старине" в России, мемуары о Герцене, и приводят выписки из его "Былого и думы" и из моих мемуаров, – и я нахожу, что ее записки превосходны. Она мне писала, что распорядилась, чтобы вам был послан экземпляр[2]. Получен ли он у вас? Она сбирается к вам и потом проездом заехать ко мне. Но это, разумеется, можно знать только немногим. Я нетерпеливо желаю ее видеть.

Есть надежда на работу, и тогда воскресну, – если не духом, то мозгом[3].

Мери и Г⟨енри⟩ тебе кланяются. Г⟨енри⟩ занят в Академии специально химией, т.е химическим анализом, и работает с успехом, так что получил поздравление от их теперешнего профессора Suskind.

Крепко обнимаю тебя, Терезину и детей. Обними за меня Тату и Ольгу – и Мальвиду. Попроси Тату мне написать, что она делает.

Твой друг А г а

Посылаю тебе издание моего приятеля Гончаренко в Сан-Франциско. Посылаю 2 экземпляра 4-ого №[4].

[1] Год определяется сообщением о переписке с Т.П. Пассек по поводу ее мемуаров (см. п. 52 и прим. к нему) и планов поездки в Италию и Женеву; пребыванием Тутса одного в Цюрихе (после отъезда Тучковой-Огаревой – см. п. 54); подтверждается пометой о дне недели.

[2] В письме от 5 февраля (автограф в пражской коллекции). Сам Огарев получил № 12 "Русской старины", вероятно, лишь в середине февраля (ср. его письмо к Пассек от 8 февраля – "Лит. наследство", т. 63, с. 642).

[3] Речь идет о предполагаемом издании – (в основном группой бакунистов) русского журнала в Цюрихе. В его активной подготовке в декабре 1872 – феврале 1873 г. участвовали эмигранты В.М. Озеров, В.М. Александров, М.П. Сажин, Н.В. Соколов (см. п. 50). Это издание не было осуществлено.

[4] Газеты "Свобода" (см. п. 47).

56

⟨Женева.⟩ 26 февр⟨аля 1873 г.⟩. Середа[1]

Еще раз пишу тебе, друг Саша, и прошу скорого ответа. Тщетно я искал у себя какой-нибудь переписки с Герценым. Вероятно, она осталась у него и перешла к кому-нибудь из вас. Теперь есть случай многое написать в России. Ergo, дай мне знать, по возможности, немедленно.

Я сильно простужен и писать больше до послезавтра не могу. Обнимаю вас всех.

Твой А г а

[1] Год определяется просьбой Огарева предоставить Т.П. Пассек переписку его с Герценом для публикации в "Русской старине", в составе ее печатающихся мемуаров "Из дальних лет" (см. ее письма к Огареву от 3, 13, 28 января, первых дней февраля 1873 г. – "Лит. наследство", т. 63, с. 588–592). В 1873 г. 26 февраля приходилось на среду. 18 октября Огарев получил от А.А. "посылку" своих "старых писем" к Герцену (см. п. 67). Однако уже с апреля 1873 г. публикация мемуаров была приостановлена по цензурным причинам.

57

⟨Женева.⟩ Суббота, 12 апреля ⟨1873 г.⟩[1]

Вот уже 3-й день сбираюсь к тебе писать, друг Саша, и все что-нибудь да заставляет отложить. Но сегодня уже непременно решился писать, боюсь, как бы обстоятельства еще хуже не помешали. Во-1-х, Мери у меня весьма нездорова, так что, несмотря на ее нежелание, я сегодня иду к Порту – пригласить его взглянуть на нее; да и то еще боюсь, что она именно в этом положении никак не решится говорить с доктором. Что тут поделаешь? Ей надо спокойствие, а она не может минуты прожить без труда – и устает. – Во-2-х, много теперь иной работы. Надеюсь, что ты и Тата в переписке с Татьяной Петровной?[2] Я теперь и для нее работаю[3]. Жду писем из Вены. – Кстати: рекомендую тебе прочесть книгу, изданную в Париже у Бальера, под заглавием: "L'Europe orientale, son état présent, sa réorganisation"[4]. Вероятно, ты ее достанешь во Флоренции.

Хотел сегодня же писать к Тате, но сам устал и оставлю до послезавтра: может, еще чего-нибудь нового наберется к тому времени. А нового я также поджидаю из Цюриха. То есть Тхоржевский поехал в Цюрих и хотел на праздники привезти к нам Тутса, но прежде хотел написать, а уже уехал больше недели и ничего не пишет.

Генри весьма успешно учится в Академии, специально занимаясь химией, и экзамены идут отлично.

Натали пишет весьма тревожные письмы о детях С⟨атина⟩, которые, кажется, недолго проживут. Они просто, кажется, в чахотке. Стану писать к ней сегодня же[5].



ЖЕНЕВА. УЛИЦА КОРРАТРИ

Фотография Ф. Буассонà. Конец 1890-х годов

Из книги: G. Fatio. Genève à travers les siècles. Genève, 1960

Улица Корратри – одна из главных улиц Женевы на левом берегу Роны, переходившая в улицу Каруж, где в 1870–1873 гг. жил Огарев

Теперь пойду на почту и вернусь опять домой к моей больной. Теперь же немного солнца, а то погода больно нехороша.

[1] Год определяется упоминанием о пребывании Т.П. Пассек в Вене (Огарев получил ее первое письмо из Вены 5 апреля 1873 г. – "Лит. наследство", т. 63, с. 593) и пометой о дне недели.

[2] Эта переписка неизвестна.

[3] Речь идет о "Записках русского помещика" (см. прим. 5 к п. 52). 6 апреля Огарев послал Пассек 2-ю главу и в апреле же работал над 3-й (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 593).

[4] Книга (без обозначения автора) издана Ж. Бальером в Париже в начале 1873 г.

[5] См. в кн. 2-й наст. тома публикацию Л.Р. Ланского и М. Мерво "Письма Н.А. Тучковой-Огаревой к Огареву и Герцену", в которой заметное место занимает поездка за границу больных чахоткой детей ее сестры Е.А. Сатиной.

58

⟨Женева.⟩ 2 мая ⟨1873 г.⟩. Пятница вечером[1]

Это письмо, друг мой Саша, пойдет к тебе завтра. Сегодня нездоровилось, но это ничего. Вот Мери так пошибче меня больна, и это меня беспокоит. Генри продолжает тщательно заниматься в Академии, специально изучая химию. Я им очень доволен. Но у меня теперь возникает новое тяжебное дело, которое, надеюсь, кончится ничем. Какой-то господин Peste d'Yonn приехал взыскивать с меня по векселю, будто бы данному мною Сазонову лет *тридцать* тому назад. Надеюсь, что это кончится ничем, я же об этом не имею ни малейшего воспоминания. А вексель в 2000 фр., и этот d'Yonn хочет с меня взыскивать по 40 фр. в месяц. Я не могу представить себе подобной возможности при решении суда, срок давности во всех странах в зако-

нах признается; а потом, давал ли я вексель Сазонову или нет, я себе припомнить не могу, а может быть, что и никогда не давал. Завтра пойду к Ambemy еще раз поговорить. Но я умоляю тебя, пришли мне деньги на месяц; у Натали вместо денег умирающие дети Сатина, а мне становится больно плохо без месячных. Жду еще кое-каких пособий, но получу или нет – не знаю.

Тхорж⟨евский⟩ писал из Цюриха, что видел два раза Тутса, но ничего ясного и обстоятельного не написал, так что мне это очень прискорбно.

Поцелуй за меня Терезину[76*] и детей и мою добрую Тату. Хотел к ней сегодня же писать, но устал, надо в постель и заснуть. К Тате я напишу в понедельник[2]. А к Натали напишу завтра, потому что мне кажется, что у нее дела больных больно плохи[3]. Крепко обнимаю тебя.

Твой друг **А** г а

Мери и Генри тебе и Тате кланяются.
С Марьей Кашпаровной нахожусь в переписке[4].

[1] Год определяется упоминанием о судебном деле по векселю Сазонова (ср. п. 53, 59) и подтверждается пометой о дне недели.

[2] Вероятно, это намерение было отложено: см. ниже в наст. разделе письмо Огарева к Н.А. Герцен от 13 мая.

[3] Это письмо к Тучковой-Огаревой неизвестно.

[4] Переписка Огарева с Рейхель почти целиком неизвестна.

59

⟨Женева.⟩ 17 мая ⟨1873 г.⟩, суббота[1]

Вот уже три дня сбираюсь писать к тебе, друг Саша, да все как-то невмогуту, и это письмо пишу с вечера, чтоб отправить завтра поутру. – То нездоровится (ничтожная простуда, которая, вероятно, скоро пройдет), то надо хлопотать по нелепейшим делам. Адвокат мой Ambemy (рекомендованный мне Фази) надеется дело выиграть, и залога с меня, как Цюрлинден в деле Серебренникова (рекомендованный Фогтом)[2], с меня не брал. Он мне кажется честным и дельным человеком. Но как кончится – не знаю, а хлопотать надо. – Какой-то господин взыскивает с меня 2000 фр. по векселю – будто бы данному мною Сазонову 27 лет тому назад; а конечно, если я и давал Сазонову такой вексель (?), то денег от него, наверно, не получал. Сазонов умер лет 15 тому назад (?) в Париже, если не больше 15-ти лет[3], и я с ним не видался *по крайней мере* 27 лет. Он никогда ко мне не обращался с этим векселем, вдруг иск является теперь! Это сильно нелепо.

Спасибо вам за деньги. Мне приходилось больно плохо. А теперь до будущего месяца, расплатившись с маленькими должишками, могу прожить спокойно. Но только до будущего месяца, потому что́ случиться с этими делами – не знаю. Знаю только, что здесь в Женеве, начинают преследовать réfugiés[77*] вообще, а французских коммюнистов в особенности[4], т.е. высылают из Женевы вон. Бернское правительство признало, что для Швейцарии это всё люди опасные. Что может случиться, друг мой, – не знаю. А только что положение гадко. Конечно, Утины, Мечниковы и пр. не пропадут, а за себя и моего бедного, больного и единственного друга Озерова – не ручаюсь; может, придется в скором времени переехать не знаю в какаю страну[5].

Теперь жду от тебя скорого письма о рождении ребенка[6]. А если еще не родился – то напиши, как и что, как Терезина, как все остальные. Меня все дела начинают тревожить. Натали пишет, что юный Сатин харкает кровью по стакану в день, а будто бы там слишком жарко и сбирается путешествовать! Я отвечал, что́ сумел; но все же взволнован будущим исходом[7].

Тате и Ольге я писал на днях. Они обе ко мне писали совершенно дружески[8]. – Таню жду постоянно, но писем давно не имею и не знаю, куда наверное писать.

76* *В автографе ошибочно*: Жозефину. *Та же ошибка исправляется в п. 62, 64–66, 72, 80, 82. – Ред.*

77* эмигрантов (*франц.*).

Мери у меня плохо здорова, а Генри с большим успехом занимается в Академии химией и физикой. Он вообще работает исправно и интеллигентно. Оба тебе жмут руку.

Обними за меня всех своих и Тату, и напиши поскорее. Мне стало тяжело не получать от тебя писем.

Несмотря на все болезни и хлопоты, пишу еще теперь штуку, которая, вероятно, выйдет недурна, и удастся ее напечатать[9].

За сим прощай, друг мой, иду спать.

Твой А г а

[1] Год определяется ожидаемым приездом "Тани" – Т.П. Пассек; известиями об А.Н. и М.Н. Сатиных; подтверждается пометой о дне недели.

[2] См. п. 31.

[3] Н.И. Сазонов умер в Женеве 5 ноября 1862 г.

[4] Т.е. коммунаров, участников Парижской коммуны.

[5] Н.И. Утин вскоре переехал в Брюссель, где окончил Политехнический институт; от участия в революционном движении отошел и в 1878 г. вернулся в Россию. Л.И. Мечников в 1874 г. уехал в Японию, где преподавал русский язык; вернулся в Швейцарию в 1876 г. О притеснениях здесь русских эмигрантов в 1873–1874 гг. см. в п. 71 и прим. к нему. В связи с этим осенью 1874 г. Огарев уехал в Англию, В.М. Озеров – в Италию.

[6] Николай Герцен родился 5 июня 1873 г.

[7] См. в упомянутой выше публикации писем Тучковой-Огаревой к Огареву и Герцену.

[8] Письма Н.А. и О.А. Герцен неизвестны, как и ответ Огарева Ольге. Его письмо к Н.А. Герцен от 13 апреля см. ниже в этом же разделе.

[9] Возможно, речь идет о "Записках русского помещика".

60

⟨Женева.⟩ 25 мая ⟨1873 г.⟩, суббота[1]
Rue du C⟨onseil⟩ g⟨éneral⟩, 20

Вчера, друг Саша, получил твое письмо (хотя и с ошибочным числом от 24-го) и был ему чрезвычайно рад. Вот и дети здоровы, и новый, вероятно, явится на свет здоровым. А Тата с Мальвидой в Неаполе школьничают![2] А Ольга тоже готовится для будущности! Я же теперь занят в Женеве не только одним делом. Новое дело это – ходить всякой день к старому Жихоню, который лежит в постеле и, вероятно, на днях умрет[3]. Хотя сегодня он и спит, но все же состояние ненадежно – жар и кровохаркание. Мери со мной ходит к нему всякой день, освещая мне фонарчиком дорогу почти что по невозможной лестнице. Надо видеть Жихоня каждый день, чтоб в случае нужды хоть доктора порядочного позвать; да надо тоже в его делах позаботиться, чтоб старуха не умерла с голода. – К адвокату я ходил почти ежедневно, но не имел счастия его застать. В последний раз видел его на суде (au tribunal), где он мне сказал, что дело отложено до 3-го июня, и просил зайти к себе поговорить. Наконец в четверг я нашел замок его двери изломанный, а проволоку от колокольчика перерванною. Посмотрев в окно, я видел, что в Etude[78*] никого нет. С тех пор не ходил, но писал письмо о назначении дня и часа свидания, но ответа еще не получал. А все же Amberny (т.е. адвокат) мне кажется почище остального этого мира: и рекомендовал мне Жемсом Фази, и залога с меня никакого не брал. – Посмотрим! Выйдет плохо, придется распродать всю мебель и где-нибудь приютиться. А мне бы не хотелось выехать из Женевы, прежде чем Генри окончит свой курс в Академии, где он уже прошел нынешние экзамены с похвалою. Вероятно, меня отсюда не выгонят; они выгоняют теперь только французских коммюнаров. А впрочем, чорт их знает – посмотрим! – Тхоржевск⟨ий⟩ прислал мне письмо о делах Жихоня, но не больно ясное. Стану писать ему завтра. И моей доброй Тате стану еще писать завтра[4]. И это письмо к тебе пойдет завтра же. Теперь десять часов вечера. Мери и Генри шлют тебе shakehands[79*]. Обнимаю тебя, детей и Терезину и иду спать.

Твой друг А г а

[78*] конторе (*франц.*).

[79*] рукопожатия (*англ.*).

P.S. 26. Понедельн⟨ик⟩. – Сегодня пишу к Тх⟨оржевско⟩му. К Тате напишу завтра. Сегодня не успею. Тьер подал в отставку; президентом *Mac-Mahon*.

[1] Год устанавливается по связи с п. 59 (*в частности*, по упоминанию об избрании М.-Э.-П. Мак-Магона президентом Франции – произошло 24 мая 1873 г.). Однако в помете о дне недели Огарев ошибся: 25 мая 1873 г. приходилось на воскресенье (ср. помету при завершении письма).

[2] Ср. п. 61 и прим. 5 к нему.

[3] *Ф. Жихонь* – польский эмигрант, работавший в книжной лавке С. Тхоржевского в Лондоне, затем в Женеве, умер около 24 сентября (см. письмо Огарева к Т.П. Пассек от 28 сентября – "Лит. наследство", т. 39-40, с. 602).

[4] Эти письма к Тхоржевскому и Н.А. Герцен неизвестны.

61

⟨Женева.⟩ 8 июня ⟨1873 г.⟩, воскресенье[1]

Сегодня получил твою записку, друг мой Саша. Поздравляю тебя с новым Николаем и совершенно убежден, что он так назван в мое воспоминание, а не в честь покойного императора.

Тате стану писать завтра[2], сегодня нездоровится, устал. Деньги она мне прислала, за что я искренне благодарен, потому что были чрезвычайно нужны. Здесь у меня еще процесс на руках, но, кажется, кончится благополучно[3].

А эти дни я был занят приездом Натали, Лизы и детей Сатина[4]. Юноша и девица (лет 16-ти и 17-ти) в сильнейшей чахотке, а милее я ничего не знаю. Они вчера уехали в Цюрих, что мне очень жаль! – Да еще я взволнован сближением Таты с m-me Schwabe. Тата мне прислала такую прокламацию реакционную, что я совсем опечален[5]. – Обнимаю тебя и Терезину. Пиши скоро. М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебя поздравляют.

[1] Год устанавливается по упоминанию о рождении у А.А. сына Николая (5 июня 1873 г.). 8 июня в 1873 г. приходилось на воскресенье.

[2] Было ли написано это письмо, неизвестно.

[3] См. п. 53, 59, 60.

[4] Алексей и Мария Сатины (см. п. 54 и прим. к нему, а также публикацию "Нелегальная семья" в кн. 2-й наст. тома).

[5] Какая "прокламация" имеется в виду, неясно. В мае Н.А. Герцен участвовала в Неаполе в "филантропических" начинаниях лондонской знакомой Герцена и его семьи г-жи Швабе – устройстве "народного детского сада" и пр. (см. письмо Н.А. Герцен к М.К. Рейхель от 24 июля – автограф *BN*, фотокопия *РГБ*).

62

⟨Женева.⟩ 26 июля ⟨1873 г.⟩, четверг[1]
Rue du Conseil général, 20

Вот, милый Саша, наступило лето, т.е. были теплые дожди, а теперь сияющая биза с пылью, которая туманит глаза. Не люблю я этот климат, даже Лондон лучше. Друзей из русских у меня осталось много двое или трое[2]. Посылаю тебе новый № "Свободы" Сан-Франциско, которая трактует об этом предмете[3], но меня не много удовлетворяет. Делать нечего, потому что не с кем. Скучно! Вдобавок адвокатские штучки и городские пошлины. Не забудьте меня ты и Тата к 1-му июля, а не то может плохо прийтись. Жду отца Натали[4]. Сатин умер, дети в Цюрихе в чахотке.

27 июня

Сегодня нездоровилось. Не знаю, как Мери с одного конца квартиры до другого слышит, когда у меня припадок, и прибегает на помощь. Все обходится хорошо.

Генри с успехом занимается в Академии. Оба тебе кланяются. Что Терезина и дети? Обними их за меня, а им вели себя за меня обнять. Да напиши же поскорее.

Твой А г а

[1] Год определяется упоминанием о смерти Н.М. Сатина. 26 июля приходилось на четверг в 1873 г.

[2] Имеется в виду В.М. Озеров и, возможно, Н.В. Соколов, Огарев, Бакунин. Огарев часто общался в это время в Женеве и с М.К. Элпидиным (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 764–768).

[3] По-видимому, речь идет о возможности издания нового эмигрантского органа в Швейцарии.

[4] А.А. Тучков приехал погостить к своей дочери Наталье Александровне в Швейцарию летом 1873 г. (см. дневник Е.Ф. Литвиновой "Нелегальная семья" в кн. 2-й наст. тома).

63

⟨Женева.⟩21 июля ⟨1873 г.⟩, понедельник[1]
⟨Genève.⟩ 20, Rue du Conseil général

Милый друг Саша, давно не имею от тебя известий. Что ты делаешь? Что твоя семья? Напиши, caro mio!

Я жду Таню со дня на день[2]. Это, конечно, между нами, близкими.

Мне самому не больно здоровится: и нога, и простуда, и иногда нервность. Но все это, кажется, ничтожно.

Дело по сазоновскому векселю как-то заглохло, хотя мой адвокат Амберни и предлагал мне по векселю в 2000 фр., данному 30 лет тому назад, и по которому я никогда не был должен, платить по 15 фр. в месяц. Но я отказался, и до сих пор никакого вызова не было. Как тебе это понравится?

Напиши же, прошу тебя.

Твой А г а

Обнимаю тебя и твоих. М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе кланяются.

[1] Год определяется связью с п. 59–61 и пометой о дне недели.

[2] 26 июля Огарев сообщил М.А. Бакунину, что Т.П. Пассек у него "в гостях" ("Лит. наследство", т. 63, с. 594). Во время этой встречи Огарев передал ей для использования в воспоминаниях письма Герцена к нему (там же, с. 603–604). Описание встречи: *Пассек* II, 466–471, 621–624.

64

⟨Женева.⟩ 23 авг⟨уста 1873 г.⟩, суббота[1]

Давно не писал к тебе, друг Саша, и давно не получал от тебя писем, так что стало грустно. Напиши мне, что́ ты делаешь, что́ Т⟨ерезина⟩ и что́ дети? Мне немножко нездоровится – простудился, насморк и зноб. Денег я получаю за два месяца и тем доволен, около октября должен переменить квартиру, потому что наш хозяин (до истечении срока) отдал нашу квартиру кому-то другому за увеличенную цену и даже меня не спросясь. Но все же жизнь как-нибудь устроится, лишь бы найти дело, что́ очень мудрено, потому что здесь общий разлад между русскими[2]. У меня остаются только двое, да и те больны и в разъезде[3].

Крепко обнимаю тебя, друг мой. М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе кланяются.

Твой А г а

[1] Год устанавливается по помете о дне недели и по упоминанию о предстоящей в октябре смене квартиры (ср. п. 70 от 31 октября 1873 г.).

[2] Речь идет об идейном конфликте "бакунистов" и "лавристов" (см. п. 49).

[3] Очевидно, Огарев имеет в виду в первую очередь В.М. Озерова, находившегося в августе на лечении в Бодене (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 442). Под *вторым русским* он, вероятнее всего, подразумевает Н.В. Соколова, поселившегося в Цюрихе.

65

⟨Женева.⟩ 1 сентября ⟨1873 г.⟩, понедельник[1]

Вот, мой милый Саша, получил, наконец, я твое письмо. С Таней мы переписываемся часто, потому что она остается моим самым искренним другом и полюбила нас всех, побывавши у нас[2]. Надеюсь еще с ней свидеться. Мне вообще из Женевы переехать трудно, но если б я и решился переехать, то на какой-нибудь север, а уж,

конечно, не на юг. Генри получает место[3]; мы остаемся с Мери вдвоем. Я в жизни моей не знал такого преданного ухода за мной, как ее помощь; да еще 18-ти летняя привычка, любовь и дружба[4]. Я без нее жить не останусь; это было бы все равно, что броситься в Арву. Натали пишет, что Мане лучше, а Лёле все хуже; она из Граубюндена переехать не может, а Лизу думает отправить в Цюрих. А ты мне пишешь, что Лиза с Татой приезжают к тебе во Флоренцию[5]. Ничего не понимаю, объясни мне, насколько можешь, разумеется – не ссоря меня ни с кем. От Таты жду письма с нетерпением.

Как скоро дело с новой квартирой окончательно сладится, я тебе напишу новый адрес. Новая квартира и дешевле, и там тихо, а я только этого и желаю.

Обнимаю тебя, Терезину и детей.

Да! о Тутсе мне никто ни слова не пишет, а мне сильно хотелось бы знать, что он делает[6].

Твой старый А г а

Пожалуйста, пришли два экземпляра твоей книги[7], т.е. один для Генри. Он занимается естественными науками (специально химией), и для него твоя книга будет полезна и интересна. Конечно, ни мы не переедем, ни он не поступит на место прежде месяца. Здоровье мое поправляется.

[1] Год определяется по содержанию. 1 сентября приходилось на понедельник в 1873 г.

[2] См. письма Огарева к Т.П. Пассек от 26 августа, 28 и 30 сентября ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 600–603; см. также т. 63, с. 644, 594).

[3] Г. Сетерленд получил предложение поступить воспитателем в семью киевского помещика Янковского; в начале ноября он уехал в Россию.

[4] Огарев познакомился с Мери Сетерленд не в 1855 г., а в 1858 г.

[5] Н.А. Герцен, приехавшая в августе 1873 г. в горный курортный городок Давос к Тучковой-Огаревой и Лизе, писала 29 августа Рейхель: "Так как Нат⟨алия⟩ Ал⟨ексеевна⟩ решилась расстаться с Лизой, мне бы ужасно хотелось, чтоб она ее отпустила со мной во Флоренцию" (фотокопия *РГБ* с автографа *BN*). Однако эти пожелания Н.А. и А.А. Герценов (ср. *АО*, 92) не осуществились – очевидно из-за несогласия Тучковой-Огаревой. Н.А. Герцен осталась до декабря в Давосе с больными детьми Сатиной, а Тучкова-Огарева вернулась с Лизой в Цюрих, чтоб устроить ее в какой-нибудь пансион (см. *АО*, 93–94).

[6] А.А. решил не оставлять сына в пансионе Бойтса в Цюрихе; по просьбе его и Н.А. Герцен Тутса вскоре взяла к себе М.К. Рейхель, у которой в Берне он жил до 1876 г.

[7] Вероятно, подготавливаемый Ш. Летурно французский перевод книги А.А. "Fisiologia della volontà" (Firenze, 1871): A. H e r z e n. Physiologie de la volonté. P., 1874 (ср. п. 68).

66

⟨Женева.⟩ 14 сент⟨ября 1873 г.⟩. Воскресенье[1]

Вот уже много дней сбираюсь писать к тебе, милый Саша, и все что-нибудь да мешает – писать вовремя. Спешу написать сегодня сколько успеется, чтобы рассказать вещи не то чтоб приятные. Во-первых, что Жихонь сильно болен, в постеле. Дописавши эти строки, я с Мери отправляемся к ним, несмотря на скверную погоду. Кажется, у них никого из друзей не осталось. – Сам про себя я занят новым делом. Генри получает место и едет, но об этом еще не говори, ибо все не покончено. Мы же переезжаем с Мери на другую квартиру (наш хозяин нашу квартиру к сроку сдал на 50 фр. дороже). Новая квартира подешевле на 150 фр., с видом на поля и реку, также с водой и газом. Я чрезвычайно рад избавиться от уличной трескотни и лая собак. Но тоже дело еще не покончено, и надо справляться почти ежедневно, чтобы не упустить из рук.

Лиза отправляется в Цюрих. Лёле Сат⟨ину⟩ все хуже и хуже. Сестре его, кажется, получше. Натали остается с ними в Граубюндене, (где теперь и Тх⟨оржевский⟩. – Тата, вероятно, заедет ко мне проездом во Флоренцию. Жду ее с нетерпением. – О Тутсе мне давно никто ничего не пишет, так что мне это прискорбно. Тебе, вероятно, пишут, напиши хоть ты да поподробнее. – От Тани тоже жду письма и боюсь писать, как бы не ошибиться адресом.

Здоровье не превосходно, но и не дурно.

Читал ли ты английский роман "Djinks Child" (1871 года). У меня он в русском переводе. Это прелесть. Достань его в оригинале. Имени автора нет[2].

Крепко обнимаю тебя, милый друг, и Терезину, и детей.

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе кланяются.

Твой А г а

[1] Год устанавливается по связи с соседними письмами. На 14 сентября воскресенье приходилось в 1873 г.

[2] Русский перевод анонимно изданного в Лондон романа Э. Дженкинса "Джинксов младенец, его рождение и другие несчастия. Политико-сатирический рассказ" был напечатан в "Отечественных записках", 1871, № 7, с. 223–302. Переводчик В.А. Тимирязев отмечал, что это произведение выдержало в Англии за несколько месяцев семь изданий и имело громадный успех. "Критики признали его, – отмечал Тимирязев, – за лучшую политическую сатиру, вышедшую на английском языке со времен Свифта, но тщетно старались отгадать имя его автора, который до сих пор сохранил свою тайну, хотя, по общему мнению всех журналистов, это один из известных политических и экономических писателей..."

67

⟨Женева.⟩ 2 окт⟨ября 1873 г.⟩[1]
Rue du Conseil général, 20

Друг мой Саша, сейчас получил от Моно 500 фр. и сейчас ему отвечаю еще в Гавр[2]. Ольге посылаю свою карточку, и тебе idem (тоже сейчас только получил от фотографа)[3]. – Здоровье ни хорошо ни дурно. Но теперь вот тебе главный вопрос: нет ли у тебя какой нашей переписки Герцена со мной? Отвечай и пришли немедленно. У меня идет сериозная работа, и я без старых переписок обойтись не могу. За целость отвечаю. Вот все, что могу сегодня сказать.

Твой А г а

Обнимаю тебя и твоих. Самому мне приходится к концу месяца переехать на другую квартиру, о чем тебя извещу, как скоро все будет совсем слажено. Наш хозяин захотел вместо 700 фр. – 900 фр. И хотя испугался, что я отказался, но мы разошлись.

Хлопот бездна.

[1] Год уточняется по содержанию письма.

[2] Это письмо Огарева к Г. Моно (с марта – муж. Ольги Герцен) неизвестно.

[3] Вероятно, именно эта фотография (или копия) с нее воспроизведена в "Лит. наследстве", т. 39-40, с. 581, с датой "1870-е гг".

68

⟨Женева.⟩ 10-го окт⟨ября 1873 г.⟩. Пятница[1]
Rue du Cons⟨eil⟩ gén⟨éral⟩, 20

Милый друг Саша, сейчас получил твою записочку[2] и спешу тотчас отвечать. – Я думаю, ⟨фотография⟩, действительно, удалась, и я думаю, что в одном ты прав:

Я стар и сед,
Но не от хилости и лет,
Не страх внезапный в ночь одну
До срока дал мне седину...

(Перевод "Манфреда" Жуковского[3])

Но сходства между мной ⟨и⟩ им[4] и сходства, которое Мери находит между мной, им и Сатиным, я не нахожу. Мне кажется, что *моя* физиономия всего более оправдывает мнение К. Фогта о происхождении от обезьяны, между которой и *мной* я все более и более нахожу сходства. – Но писать к тебе я спешу сегодня не по этому вопросу, а прося тебя выслать мне *как можно скорее 30-е года*, которые подходят моей



ОГАРЕВ

Фотография. Женева, 1873 (переснимок, сделанный с фотографии Отто Ренара, Москва)

Музей Герцена, Москва

"Я думаю, (фотография) действительно удалась" (Огарев – А.А. Герцену. 10 октября 1873 г.)

цели[5]. А последние года, которые у меня, *решительно не подходят*; в них только семейные неудовольствия и эмигрантские. Оно все умно, мило и грустно, но невозможно[6].

А то, что у тебя есть, – вероятно, очень подходяще для моих мемуаров, которыми я сильно занят и не сомневаюсь в возможности их издания. Заметь, что полезная работа меня воскрешает; праздность была = скуке, а делать было совершенно нечего. Ergo, друг мой, поторопись присылкой, чтоб я не утратил времени. Опасного, кажется, ничего нет; надо запаковать как обычную посылку. А пук мне нужен немедленно, иначе работа остановится.

Что все твои? что твоя физиология? Напиши обо всем хотя словечко.

К *концу месяца* я перееду на другую квартиру; а на днях, когда все определится, напишу тебе адрес. Но посылка еще застанет меня здесь.

Мери и Генри тебе кланяются. Генри скоро получит место.

Твой А г а

На днях жду Тхоржевского.

[1] Письмо, судя по зачеркнутым первоначальным пометам *9* и *четверг*, начато накануне. 10 октября приходилось на пятницу в 1873 г.

[2] Огарев отвечает на неизвестное письмо А.А., служившее откликом на п. 67 и посланное вместе с фотографией Огарева.

[3] Цитируются (неточно) начальные строки "Шильонского узника" Байрона в переводе В.А. Жуковского.

[4] Вероятно, А.А. обнаружил в портрете Огарева сходство с внешностью Герцена.

[5] Речь идет о юношеской переписке Герцена с Огаревым.

[6] Т.е. невозможно напечатать (ср. письмо Огарева к Т.П. Пассек от 30 сентября 1873 г. – "Лит. наследство", т. 39-40, с. 603).

69

18 окт⟨ября 1873 г.). Суббота[1]
⟨Genève.⟩ Rue du Conseil général, 20

Сейчас получил твою посылку, друг Саша, и премного тебе благодарен. Теперь работа оживится, хотя я и чувствую, что я тогда был лучшим человеком. Но и теперь еще надеюсь на успех. Только ты *никому не говори*, что у меня есть работа. – На другую квартиру (10, Rue Villereuse) перееду, вероятно 25-го октября[2]. Генри должен взять место, но все еще неопределенно. Напишу накануне моего переезда. Теперь слишком взволнован стариной.

Твой друг А г а

[1] Год определяется непосредственной связью с соседними письмами.

[2] Переезд состоялся 27 или 28 октября (см. письмо Огарева к В.С. Плаутиной от 26 октября– *Звенья* VI, 404).

70

31 окт⟨ября 1873 г.). Пятница[1]
Genève. Chemin de Villereuse, № 16, au 3-me[80*]

Так вот куда мы перебрались, друг мой Саша! Тишина совершенная, здесь будет работаться поудобнее, чем с постоянным треском часов с утра до поздней ночи на прежней улице. У меня из окна направо вид на озеро и на Юру, а налево на Салев. Только иногда перед глазами, на крыше низенького дома, сушащиеся рубашки застилают вид на город и то простирают ко мне объятия, то отворачиваются – смотря по направлению ветра. А когда рубашки сняты, то я вижу, хотя и вдали, но постоянно, главный купол русской церкви. Но эти маленькие неприятности все же ничего в сравнении с потребной для меня тишиной.

Вот уже два дня сбираюсь к тебе писать, но раскладка и распаковка бумаг и еще кое-какие письмы настолько помешали, что и теперь едва могу сладить.

Дай расскажу тебе мой первый сон на новой квартире, он же нечто вроде физиологического сна (а я к утру всегда вижу *n* снов). Вот как дело было: обедаем мы на новой квартире – Мери, Натали, Герцен, Лиза маленькая и я. Окно растворено. Влетает огромная муха с огромными прозрачными крыльями; я ее отстранил от Лизы; но на столе ходила небольшая птица и крошечной серенькой барашек, и мы все заключили, что баран есть произведение мухи и птицы. Каково! Я проснулся и расхохотался.

[80*] на 4-м этаже (*франц.*).

Ну! прощай друг мой, некогда. Обнимаю тебя и твоих.

Твой А г а

Мери и Г⟨енрн⟩ тебе кланяются. Г⟨енри⟩ на днях получает место[2]. Пиши прямо на мое имя и адрес. Теперь верно.

P.S. На новой квартире сто фр. дешевле; а на старой хозяин требовал 200 фр. прибавки.

[1] Год определяется сообщением о переезде и новым адресом; подтверждается пометой о дне недели.
[2] См. прим. 3 к п. 65.

71

⟨Женева.) 13 дек⟨абря 1873 г.). Суббота[1]
Chemin Villereuse, 16

Пишу тебе вечером, друг мой Саша, письмо пойдет только завтра. Сегодня получил письмо от Таты из Парижа и уже писал ей[2]. Ольга совершенно здорова, резва и весела. Дети С⟨ати⟩на в Граубюндене тоже, кажется, выздоравливают. Генри доехал до места назначения (т.е. место преподавателя) и, по его письму, должен быть положением совершенно доволен. Он до такой степени вырос под моим направлением, что мне его отсутствие грустненько; но я рад за то, что он принялся за заработное дело.

Я к тебе обращаюсь с особенной просьбой: вышли мне томы стихов Пушкина, и поскорее. Я кому-то их дал и никогда не получал обратно. А теперь у меня с Гандольфи работа перевода русских поэтов на итальянской. Я перевожу на французскую прозу, а он на итальянский стихи, и переводит превосходно, и хочет печатать. Но без Пушкина мне обойтись нельзя. Достать негде, а купить – едва ли найдешь, да и карман лопнет. Если только можно, умоляю тебя, вышли мне немедленно, после не раскаешься, а экземпляры я не потеряю – и возвращу после издания (итальянского)[3].

Видел ли ты контракт Швейцарии и России о выдаче неполитических преступников?[4] А кто поручится за определение рода преступления?.. Плохо, друг мой! – Одно здесь хорошо, это только разрыв с Римом (в сегодняшних депешах "J⟨ournal⟩ de Genéve")[5]. Прочти хорошенько. – А видел ли конец процесса Базена? Я так и думал, что его сошлют, а он убежит[6].

Ну! теперь все дружные женщины родят, так что сейчас иду к соотечественнику на обед.

А как у тебя?

Целую тебя, твою жену и детей.

Мери тебе жмет руку.

Твой А г а

[1] Год определяется сообщениями об А.И. и М. Сатиных, о Генри Сетерленде, подтверждается пометой о дне недели и адресом.
[2] Эти письма неизвестны.
[3] Вышло ли в свет это издание, установить не удалось.
[4] 7 декабря газета "Journal de Genève" сообщила, что Федеральный совет предоставил швейцарскому парламенту для ратификации договор с Россией о выдаче преступников – на тех же основаниях, какие "перечислены в договорах с Францией и Бельгией".
[5] 12 декабря Федеральный совет Швейцарии прервал дипломатические отношения с папским Римом.
[6] Французский маршал Ф.-М. Базен, во время Франко-прусской войны сдавшийся в плен в Меце с 100 000 солдат, был в 1872 г. арестован по обвинению в измене и приговорен военным судом к смертной казни.

72

1874, 5 января, понедельник
Genève. Chemin Villereuse, N 16

Уже давно сбираюсь писать к тебе, друг мой Саша, и как-то нездоровится. Во время припадка стукнулся затылком о ножку стула. Теперь гораздо лучше, но все же еще побаливает. Вероятно, пройдет спокойно, штука не в первый раз, и у меня выздоравливает скоро, несмотря на 60 лет. Пишу сегодня, чтобы дольше не откладывать, а как-то сегодня грустно: из России известия о новых политич⟨еских⟩ преследованиях, в особенности направленных на женские школы! Что за дичь такая! Хотелось бы узнать что-нибудь пообстоятельнее.

Из Парижа деньги получил. А милая Ольга производит благополучно[1]. Верю в их счастие.

Мери тебе кланяется. Генри имеет хорошее место, по химии и естеств⟨енных⟩ наук не оставляет. Сейчас пришло от него письмо[2].

Как и что ты, Терезина и дети? Напиши мне поскорее, слишком давно не писалось.

Я теперь занят переводом русских стихов на французский, а Гандольфи переводит на италиянские стихи и хочет издать в Италии.

Крепко обнимаю тебя.

Твой А г а

[1] 24 декабря 1873 г. у О.А. Моно родился сын-первенец Эдуард.
[2] Письма Г. Сетерленда к Огареву неизвестны.

73

⟨Женева.⟩ 1 февраля ⟨1874 г.⟩, воскресенье[1]
⟨Genève.⟩ 16, Chemin Villereuse

Друг мой Саша, давно не имею от тебя известий и давно сбираюсь писать к тебе, но все как-то занят был разными писаньями и переводами. Сегодня пишу к тебе с полным доверием и убеждением, что *именно ты* примешь мою сторону. Я получил от Моно 400 фр. (будто бы жалованья, что по-французски значит charité[81*]). Письмо его объясняет, что у меня уменьшается 100 фр. в месяц, потому что Генри получил место учителя и уехал. Я ему вчера отвечал, что он в это вмешиваться не имеет никакого права, и о том же писал к Тате[2]. Дело это, для меня очевидно, началось по приказанию Натальи Алексеевны, после моего письма к ней и к детям Сатина[3] (от которых известий не имею, вероятно тоже через ее влияние). Письмо к Наталье Алексеевне я писал, получивши известие от *моих родственников* из Петербурга, известие, которого я не ожидал, что хозяйственное положение *моего состояния* в России теперь находится в превосходном положении; конечно, *мои родственники* известили меня об этом, чтоб никто не имел права меня ограничивать и что в противном случае они сумеют принять мою сторону в России[4]. Письмо же к Наталье Алексеевне я писал и потому, что мне уже больше 60-ти лет, и, хотя мое здоровье скорее поправляется, а не ухудшается, но все же я хочу распорядиться моим достоянием прежде моей смерти. Надеюсь, что я имею на это *человеческое* право. Я готов жертвовать многим для социальных направлений, но после ее презрительных поступков для нее жертвовать не стану. Отвечать на ее письмы не стану и отношений к ней сохранить не хочу. Лиза тут, верно, не виновна, и я ее люблю.

Как и что́ у тебя? Напиши поскорей.

Твой старый друг А г а

[81*] благотворительность (*франц.*).

[1] Год устанавливается по содержанию письма и подтверждается пометой о дне недели. В *IISG* сохранился черновик наст. письма с несколькими незначительными вариантами.

[2] Письмо Г. Моно к Огареву от 27 января неизвестно. См. ниже письма Огарева к Моно и Тате, связанные с этим конфликтом. См. также Предисловие к наст. работе. От детей Герцена (как и от самого Герцена в последние годы его жизни) Огарев получал 6000 фр. в год, т.е. 500 фр. в месяц. Каждый из них четвертых посылал три месяца в год по 500 фр.

[3] Эти письма неизвестны. Намерение уменьшить посылаемую сумму действительно исходило от Тучковой-Огаревой, но связано было, как свидетельствует А.А., с его стесненными обстоятельствами: Наталья Алексеевна предложила просто исключить его долю из посылаемых денег. Получив возмущенное письмо Огарева от 31 января, Н.А. Герцен в ответном письме (от 2 февраля) попыталась отрицать участие Тучковой-Огаревой в этом деле (см. автограф *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 458, л. 44–45). А.А. и М. Шифф, "надзиравший за разделом наследства Герцена", также написали Огареву объяснительные письма, раскрывая истинные мотивы действий детей Герцена. Однако видя, что это ставит Огарева в трудное финансовое положение, Тата, Ольга и Лиза решили впредь сохранять ему прежнее пособие в размере 6000 фр. в год, т.е. посылать по 2000 фр. (см. "Лит. наследство", т. 63, с.720–721, а также п. 75 наст. публикации и письмо Огарева к Моно от 6 марта в наст. кн.).

[4] По-видимому, это сообщение содержалось в неизвестном письме сестры Огарева А.П. Плаутиной (ср. аннотацию ее письма к нему от 25/13 марта в "Лит. наследстве", т. 62, с. 750).

74

6 февр(аля 1874 г.). Пятница[1]
⟨Genève⟩. Chemin Villereuse, 16

Сегодня получил твое письмо, мой милый Саша, и спешу написать тебе несколько строк, чтоб они еще застали тебя дома[2]. У нас погода чудесная.

Я жду тебя, когда зефир игривый
Листочки роз в час утра шевелит...[82*]

(С т а р ы й р у с с к и й р о м а н с)[3]

Ты пишешь мне, чтобы я "*ради* Бога" ни на кого из вас не сердился. Хоть бы написал *ради памяти Герцена,* а какое мне дело до бога? Да я ни на кого и не сержусь, а не могу же я встретить поступок, который нехорош и неоткровенен, равнодушно.

Сейчас получил из России письмо от нашей старой Тани[4], которое мне напоминает святую ко мне дружбу Герцена. Из этого письма я вижу, что Таня там обо мне старается как истинный друг.

Итак, до свиданья, мой милый Саша, тороплюсь на почту.

Твой старый А г а

[1] Год устанавливается по содержанию письма, подтверждается пометой о дне недели. В *IISG* сохранился также черновик наст. письма с несколькими вариантами (фотокопия *РГБ*). См. эти варианты в LOAHf, 248.

[2] В неизвестном ответе на п. 73 А.А обещал "чрез две недели" приехать и "объяснить" дело с пенсией (см. черновик наст. письма и п. 75).

[3] Начало романса на слова П.А. Вяземского (1816); музыка написана И.И. Рейнгардтом. Эти стихи не раз цитировались Огаревым.

[4] Вероятно, письмо Т.П. Пассек от 27/15 января (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 596).

75

⟨Женева.⟩ 25 марта ⟨1874 г.⟩, середа[1]
Chemin Villereuse, 16

Третьего дня получил твое письмо от 21-го, друг мой Саша[2]. Жаль мне, что ты не успел заехать, но понимаю необходимость быть прежде всего дома. Пойми же и ты мои необходимости. Тата мне не пишет; о Тутсе я ничего не знаю; письмы Моно нехороши. Но я ни на кого не сержусь, а не могу оставить своих дел так просто, потому что выходит гадко и опасно. Вот и я тебе объясню так же откровенно, как ты мне объяснил. Может, мне придется повторять вещи, уже писанные, но что же делать? Забыть можно

[82*] *В автографе ошибочно*: серебрит. – *Ред.*

многое, что́ писалось, но пропустить необходимого нельзя. Дело в том, что мне необходимо найти средство написать в Россию, еще не знаю к кому, но знаю, что найдутся люди, которые сильно примутся работать в мою пользу. Скоро ли найду средство написать, – тоже не знаю. Я не промотал моего именья, как иные думают, а оставил сестре Натали[3] именье, которое приносит 36 т⟨ысяч⟩ или 40 т⟨ысяч⟩ фр. дохода, оставил для того, чтобы уехать с Натали в Лондон. Я думаю, это еще безгрешно; но я имел право на получение 12 т⟨ысяч⟩ фр. дохода (об этом Герцен говорил самому Тхоржевскому). Я очень рад предоставить 6 т⟨ысяч⟩ фр. Лизе и думаю, что 6-ю т⟨ысяча⟩ми имею полное право распорядиться по своему усмотрению. Болезни меня порядочно утомляют; недавно во время припадка зашиб здоровую ногу, бронхит с лихорадочным знобом тяготит, а Мери, несмотря на все мои болезни, болезненнее меня, хотя и работает с утра до ночи, начиная с перевязывания и омовения моих больных ног до приготовления обеда и ужина. Проживу я недолго и, конечно, не могут оставить моих обстоятельств без совершенной определенности. До социализма мы еще не дошли, и потому я не могу оставить моего полного права на мою собственность, иначе я умру беспокойно. Вас стеснять мне не хочется; пойми же, что мне необходимо сношение с Россией. Вот и всё. Как и скоро ли я до этого добьюсь – that is the question[83*].

Эко у тебя развилась семья-то, мой бедный Саша! Что ж делать? Закон природы. Напиши же о рождении седьмого ребенка[4].

Обнимаю тебя и всех твоих, Мери тебе кланяется.

Итак, до мая месяца[5].

Твой старый А г а

[1] Год определяется связью с п. 73 и 74. В *IISG* сохранился и черновик наст. письма с несколькими несущественными вариантами (фотокопия *РГБ*). См. их в *LOAHf*, 251. Судя по дате в черновике – *24, вторник*, письмо начато накануне.

[2] Это письмо неизвестно.

[3] Елене Алексеевне Сатиной.

[4] Жена А.А. – Терезина ждала шестого ребенка (Огарев говорит о седьмом, имея в виду также Тутса); Нерина Герцен родилась 30 апреля.

[5] О приезде А.А. в мае см. в п. 76.

76

4 августа ⟨1874 г.⟩. Женева[1],
Chemin de Villereuse, 16

Давно сбираюсь писать к тебе, друг мой Саша, и все дожидался от тебя хотя строчки. Вдобавок насколько твое посещение было мне дружно, настолько визит Натальи Алексеевны стал мне ненавистен. Вообрази себе, что она мне сделала выговор, что я сошелся, будто, с кабацкой женщиной и простой кухаркой и поэтому русские перестали ко мне ходить. Мери дала отпор, я обошелся кротко из памяти к Герцену, и потому что выговор был в присутствии Лизы, которую мне не хотелось тревожить[2]. Но, без всякого сомнения, простая кухарка обошлась со мной попроще и покротче, чем великорусская барышня. Она осталась мне благодарной за воспитание сына и ходит с полнейшим усердием за моими болезнями, несмотря на свои собственные. А русские, которые остались мне преданы, ее уважают и посещают меня, и вероятно, приедут (это между нами) работать со мной в Лондоне по русской печати[3]. Ты же в Лондон ездишь, и, следовательно, разлуки между нами нет. А только я буду в более свободно-спокойной стороне и не в жарком климате, который мне страшно нездоров. Да еще скажи мне, кто устроил так, что мне из России не присылают ни копейки, а я из России (тоже между нами) имею два письма, в которых мне пишут, что у них дела чрезвычайно поправились?[4]

На днях напишу тебе еще. Мери тебе жмет руку.

Обнимаю тебя и всех твоих.

Твой старый А г а

[83*] вот в чем вопрос (*англ.*).

[1] Год устанавливается по упоминаниям о посещении А.А. (ср. п. 75) и о предстоящем переселении Огарева в Англию. В *IISG* сохранился также черновик письма, датированный 3 августа, с несколькими вариантами (см. их в *LOAHf*, 253). На об. л. 1 рукой Огарева помечен адрес: "M-lle Bertes, ruelle de m-r Lorrent, 6, au 1-er".

[2] Об этом визите Тучковой-Огаревой (вероятно, в июле) и о последовавшем затем окончательном разрыве отношений Огарева с нею см. в его записи "Из моей биографии. Недавнее и давнее" (*АО*, с датой 1873–1874). См. об этом также в письмах Тучковой-Огаревой к Е.С. Некрасовой в кн. 2-й наст. тома.

[3] О причине выезда Огарева из Швейцарии см. в прим. 4 к п. 11. Вслед за Огаревым в Англию намеревался переехать В.М. Озеров, чтобы "вместе ⟨...⟩ начать настоящую работу"; однако этому помешала необеспеченность существования в Лондоне, и Озеров с женой поселились во Флоренции (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 446–448).

[4] По-видимому, речь идет о неизвестных письмах А.А. Тучкова и Плаутиной.

77

⟨Женева.⟩ 21 августа ⟨1874 г.⟩, пятница[1]
Chemin Villereuse, 16

Где ты, друг мой Саша? 3 авг⟨уста⟩ писал к тебе, но от тебя письма не получал. Ждал Тату с неделю тому назад, но ее еще нет[2]. Вчера писал к Ольге, чтоб узнать, где она[3]. Напиши же мне строчку и дай адрес, где отыскать в Лондоне твое сохраненное мясо[4]. В начале сентября надеюсь отсюда выехать. Здешний свет для моих глаз стал совершенно невыносим; без стекла не могу читать, а с стеклом больно. Обнимаю тебя и всех твоих. Мери тебе кланяется.

Твой старый А г а

[1] Пятница на 21 августа приходилась в 1874 г.

[2] Н.А. Герцен приехала в Женеву с Лизой в последние дни августа (по пути из Цюриха во Флоренцию), чтобы увидеться с Огаревым перед его отъездом в Англию (см. письмо Лизы Герцен к матери – *АО*, 129, без даты; отнесено нами к этим дням).

[3] Это письмо неизвестно.

[4] Открыв способ консервации мяса, А.А. задумал организовать коммерческую компанию по продаже его с применением этого способа – в Англии, Америке и России.

78

16 окт⟨ября 1874 г.⟩, пятница[1]
Newcastle-on-Tyne. Hawthorn Str⟨eet⟩.
Westmoreland Road. M-r или m-rs Ch. Wood
А внутри for mother[84*]

Вот тебе возможно полный адрес, друг мой Саша. Улица новая, №-в еще нет. Но Charles так известен на почте (по своей работе в торговом доме), что все, на его имя адресованное (отовсюду), доходит ко мне исправно. А одно письмо, отправленное мною в Париж к Ольге, пропало. К английским почтам я имею доверие, а к остальным мало, особенно после нашей Женевской экспедиции[2]. Здесь мне спокойно, и все недорого и хорошо. Здоровье поправилось. Пожалуйста, прилагаемую записку передай теперь же Озерову, который, вероятно, теперь уже во Флоренции, но оттуда еще не писал[3].

Обнимаю вас всех и стану писать в понедельник.

Твой старый А г а

[1] Год определяется сообщением адреса в Ньюкастле, где Огарев поселился по приезде из Швейцарии в середине сентября 1874 г. (ср. письмо к нему В.М. Озерова от 7 октября в "Лит. наследстве", т. 62, с. 446) и подтверждается пометой о дне недели.

[2] Речь идет о задержке (или пропаже) части багажа, отправленного из Женевы (ср. письмо Огарева к О.А. и Г. Моно, Н.А. и Е.А. Герцен от 20 ноября в наст. книге).

[84*] для матушки (*англ.*).

[3] В письме из Женевы от 7 октября В.М. Озеров сообщал Огареву об отъезде во Флоренцию и просил писать ему на адрес А.А. ("Лит. наследство", т. 62, с. 447). "Прилагаемая записка" Огарева к нему неизвестна. Первое письмо Озерова из Флоренции от 10 ноября см. там же, с. 448.

79

А.А., Н.А. и Е.А. ГЕРЦЕНАМ

3 ноября (1874 г.), вторник[1] Newcastle-on-Tyne,
66, Westmoreland Road, m-rs Smith

Вот вам мой новый адрес, друзья мои Саша, Тата и Лиза. Новой квартирой и местностью я еще больше доволен, чем прежней, которую мы должны были оставить. Charles получил превосходное место комиссионера и будучи постоянно в путешествиях. Monod мне писал, что Тата и Лиза приезжают к 15 ноября в Париж[2]. Спешу послать вам эти строки, чтобы они еще застали вас во Флоренции. Сегодня выхожу с удовольствием, день великолепный, местность великолепная. Климат мне совсем отраден, и здоровье поправляется. Напишите же мне несколько строк о получении моих писем. На внутренней обертке адресуйте письма просто на мое имя, а на пакете Mrs Smith. Это наша старая хозяйка, очень хороший человек, и Мери здесь найдет отдых для здоровья, что весьма необходимо. Я вас всех обнимаю, и она вам кланяется. Затем кончаю и иду на почту.

Ваш старый А г а

[1] Год определяется адресом (ср. 78) и пометой о дне недели.
[2] Это письмо Г. Моно неизвестно. Предполагавшаяся поездка Н.А. и Е.А. Герцен в Париж, очевидно, не состоялась (ср. письма Лизы и матери от 12 и 28 ноября – *АО*, 138–140).

80

1 января 1875 г. Greenwich,
Ashburnham Road, N 35

С Новым годом, друг мой Саша! Вот я где поселился. Тихо и светло, похоже на деревню и близко к Лондону (что для меня необходимо). Квартира наша и жизнь будут поудобнее, чем в Ньюкастеле, хотя хорошенько поместиться требует порядочных хлопот, а я все же приобрел страшный насморк, а Мери головную боль. Но надеюсь, что болезни скоро пройдут, а жизнь скоро устроится.

Вот тебе посвящено:

Newcastle-on-Tyne, 30 ноября:

Вчера, наконец, из Женевы пришла
Посмертная книга – "Былое и думы",
И так мне на память *Его* привела,
Что я зарыдал, как младенец угрюмый[1].

Напиши мне весть о себе (в Greenwich на мое имя по вышеданному адресу). Я ждал, ждал, но не могу дождаться и пишу снова.

К Тате и всем в Париж писал 8 дней тому назад, т.е. в день нашего помещения здесь[2], но известий от них еще не имею. Не знаю, Christmas[85*] не остановил ли почты; оно глупо, но возможно. От Озерова тоже ждал известий, писал к нему давно, но от него вести тоже нет. Хотел писать к нему сегодня, но не поспею и откладываю до завтра[3]. Где Мальвида? Хотелось бы написать к ней, но боюсь ошибиться адресом. Есть ли у тебя адрес Давыдова в Лондоне?[4] Не могу отыскать у себя – да и только. В следующем письме напишу тебе подробнее о всем устройстве и предприятиях; те-

[85*] День праздника Рождества (*англ.*).



ГРИНВИЧ. ВИД НА ЛОНДОН

Гравюра Шаванна, 1850-е годы

Из альбома: "Views of Mighty London, of its Public, Buildings, Streets, Parks, etc.". First series. London, s.a.

перь еще не все пришло в порядок и хлопот много. Обнимаю тебя, Терезину и детей. Мери тебе кланяется.

Твой старый А г а

Что твое мясо?[5] Пришли нам фунтик.

[1] Огарев получил "Сборник посмертных статей А.И. Герцена", изд. 2-е (Женева, 1874), куда входило несколько глав "Былого и дум", не публиковавшихся при жизни автора. Стихи Огарева впервые опубликованы нами в *Ог. чтениях*, 134.

[2] Эти письма неизвестны. Указание М. Мерво, что речь идет, в частности, о письме к Н.А. Герцен, сохранившаяся часть которого начинается словами: "В Лондон я езжу очень редко..." (*LOAHJ*, 259), – ошибочно. Ее содержание свидетельствует о том, что оно написано отнюдь не в первый день по приезде в Гринвич, а уже после 1 января 1875 г.

[3] Упомянутые письма к В.М. Озерову неизвестны. См. письма Озерова к Огареву от 5 декабря 1874 и 18 января 1875 г. в "Лит. наследстве", т. 62, с. 449–450.

[4] А.П. Давыдов, советник русского посольства в Лондоне, поддерживал связь с Герценом и Огаревым и после их отъезда в Швейцарию.

[5] См. прим. 4 к п. 77.

81

14 генваря ⟨1875 г.⟩, четверг[1]
Greenwich, Ashburnham Road, 35

Вот уже больше недели сбираюсь тебе писать, мой милый Саша, получив твое письмо от 29 д⟨екабря⟩. Но катарил[86*] все время так, что ни на что не мог решиться. Наконец Мери меня, кажется, вылечила ячменным отваром с лимонным соком, и я, при спокойной жизни здесь и большею частью ясной весенней погоде, могу жить удовлетворительно и рад, что живу не в таком муравейнике, как Лондон, куда ездил для размена в банке денег от von Glehn'a[2], который их мне прислал перед отъездом во Францию, так что я к нему в Лондоне не заезжал и о получении не писал. К Моно стану писать завтра[3]; сегодня боюсь опоздать на почту и сильно утомлен от перемены погоды на какую-то сыро-душную. Что же делают Тата и Лиза?[4] Рад бы был увидать твоих юных детей. О Тутсе я известий так и не добился. К Натали не писал и не пишу.

Из журналов[87*] здесь читаю "Morning Advertiser", который имеет самые солидные и сочувственные новости. Книгу Герберта еще не достал[5], но не сегодня-завтра достану и о ней тебе немедленно напишу. Надеюсь на новое русское издание и стараюсь устроить и приготовить как можно скорее[6].

Обнимаю тебя, и детей, и Терезину, и Тату, и Лизу. Магу тебе кланяется.

Твой старый друг А г а

[1] Огарев отвечает на письмо А.А. от 29 декабря 1874 г. (см. его в кн. 2-й наст. тома).

[2] *Глен* – знакомый О.А. и Г. Моно; через него они переслали в начале ноября 1874 г. 500 фр. Огареву (см. письмо Огарева к Ольге от 10 ноября 1874 г. в наст. книге).

[3] Это письмо неизвестно.

[4] Н.А. Герцен привезла сестру Лизу во Флоренцию – на Сашину дачу – в сентябре 1874 г.; затем с конца ноября поселилась "вдвоем с Лизой" в городе (см. письмо Н.А. Герцен к М.К. Рейхель от 26 декабря 1874 г. – автограф *BN*, фотокопия *РГБ*; см. также *АО*, 129–152; "Лит. наследство", т. 63, с. 516).

[5] Речь идет о книге: H. S p e n s e r. The Study of Sociology. L., 1873, мнение о которой спрашивал А.А. 29 декабря; (ср. *Звенья* VI, 397–398).

[6] Об этом предполагавшемся издании Огарев писал, очевидно, также В.М. Озерову в несохранившемся письме от 15 января (см. ответ Озерова от 18 января – "Лит. наследство", т. 62, с. 450). Вскоре Огарев стал сотрудничать в журнале "Вперед!", который с февраля издавался в Лондоне П.Л. Лавровым и близкой к нему группой революционных эмигрантов.

82

8 мая ⟨1875 г.⟩, суббота[1], Гринвич,
Ashburnham Road, N 35.

Вот уже 5 дней сбираюсь писать к тебе, друг мой Саша, и не собрался по *n* причинам. Раз не поздоровилось. Хорошо еще, что болезнь все реже и реже, и, при наблюдении, я, падая, не ушибаюсь, как прежде. А главное, я остановился над одним вопросом, который тебя интересует, и, кажется, уяснил себе, как и что́ написать тебе. Сам увидишь. На днях получил письмо от Генри из Киева (gouvernement de Kiev, Kanieff–Chodorow, Henry Sutherland, chez Mr. Jankovsky). Он говорит, что успешно хлопочет по возникающей компании для твоего мяса. Я обрадовался и не удивился, потому что считаю Малороссию и вообще юг России, конечно, небезуспешнее Америки для твоего мяса[2]. Юг России состоит из степей, т.е. из огромных пастбищ и огромного стада быков и овец. Разумеется, компании твое приготовление мяса было бы не менее выгодно, чем в Америке; пожалуй, еще ближе для доставки. Железные дороги существуют, судоходные реки в изобилии, и тележный перевоз – один из народных промыслов, особенно в Малороссии. Хозяин же, где Генри учит детей языкам французскому и английскому, один из самых лучших русских людей (т.е. мало-

[86*] был простужен (от *англ.* catarre).

[87*] Здесь: газет (*франц.* journaux).

россов), за которого я по многим известиям охотно ручаюсь. Сам же Генри всего охотнее занимается химией. Так что там, кажется, дело могло бы сладиться успешно: между тем как здесь делу сладиться трудновато; мясники твоего мяса боятся пуще грозы небесной, и подвинуть в ход компанию остановки будут многоразличные.

Я не решился сам отвечать на вопрос о возможности русской компании, потому что боюсь ошибиться в ее распределении и не хотел бы там вмешать своих писем и своего имени; в этом отношении скорее имею недоверие к русскому правительству; между тем как ты сам лично все же для оного человек посторонний. Я думаю, что лучше бы ты сам написал к Henry Sutherland, как и что сделать, поэтому и написал тебе его адрес. Он тебе ответит прямо, что там делается по твоему делу. Но, пожалуйста, чтоб все это осталось между нами. Я вижу вражды, которые посильней и похуже помешали бы. Напр(имер), Натали пишет мне дикие письмы, в которых даже упоминает, что одна она, Натали, отстаивает мое благосостояние, а не кто другой![3] Между тем как мне слишком очевидно, что без вашей помощи я давно бы пропал и что у меня к пензенским помочам доверия не имеется[4]. Впрочем, мне только скучно вступать в ссоры и разговоры, но полагаю, что в случае нужды сумею себя отстоять.

Напиши же мне по возможности поскорее, как и что ты по русским вопросам сделаешь, и, как я сказал, старайся держать дела inter nos[88*] – ради людей и почт. Седьмой десяток, друг мой, надо же недолгие годы дожить спокойно и вольно и умереть без дружеских преследований, совершаемых не знаю с какою целью.

Эк у тебя детей-то народилось[5], dear doctor[89*]! Напиши тоже поскорее, все ли обстоит благополучно?

Хотел еще писать о других предметах, но устал сегодня, лучше на той неделе. – Обнимаю тебя и детей, Терезину и Тату, и Лизу, если ей дружба моя не противна!

Твой старый друг А г а

P.S. Май здесь выходит отличным для почвы и человека. Сейчас получил майский № "Работника"[6].

[1] Год определяется, в частности, пребыванием Лизы Герцен во Флоренции и пометой о дне недели. В *IISG* сохранился и черновик письма с несколькими несущественными вариантами (фотокопия *РГБ*). На обороте пометы Огарева:

"1) Писал или не писал Ольге – писать еще.
2) Писать Саше, Тате и Лизе.
3) Писать сестре.
4) Писать Гандольфи и еще раз Озерову.
5) Спросить у него адрес Тх(оржевского).
6) Писать к Тане (Пассек).
7) Писать к Генри.
8) Писать к Тх(оржевскому) и Ел(пидину)?
9) Писать к Szafi. Спросить его адрес у Ольги или у Саши".

В Записной книжке № 25, л. 15 (*РГБ*) находится также набросок начала наст. письма, сделанный 5 мая (опубликован в "Лит. наследстве", т. 41-42, с. 613, с отнесением к 1876 г.).

[2] 7 января А.А. писал Рейхель, что его друг Конти отправляется в Америку, чтобы начать там задуманное предприятие (автограф *BN*, Slav. 109, f. 276; цит. в *LOAHf*, 265).

[3] См. письмо Тучковой-Огаревой от 12 апреля в "Лит. наследстве", т. 63, с. 514.

[4] Т.е. к выплате "сатинского долга" детьми Е.А. и Н.М. Сатиных.

[5] 26 апреля у Терезины родился седьмой ребенок – сын Гуго.

[6] "Работник. Газета для русских рабочих" издавалась в 1875–1877 гг. в Женеве Н.И. Жуковским и его друзьями-бакунистами З.К. Ралли, Э.Л. Эльсницем и др. Получив от Тучковой-Огаревой адрес Огарева, Жуковский начал с мая 1875 г. высылать ему это издание. № 13 от января 1876 г. открывался отрывком поэмы Огарева "Забытье", перепечатанным из "Полярной звезды на 1862" под названием "Песня о земле и воле" (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 135; *Огарев 1956*, с. 681–682).

[88*] между нами (*лат.*).

[89*] дорогой доктор (*англ.*).

83

10 июня (1875 г.), четверг[1]
Greenwich, Ashburnham Road, 35

Друг мой Саша, писал тебе два раза. Известий не получал ни от кого. Напиши хотя два слова о вашем здоровье, иначе мне тревожно. Да еще раз: напиши, если можно, где и что Озеров? Мне это знать необходимо. – Мое здоровье неплохо. Брянчу на клавире и готовлю *n* вещей для печати в Лондоне, где изданием "Вперед" очень доволен[2]. 1-го июня там и мои стихи. На всякой случай – если бы ты пропустил в журналах 9-го июня – посылаю тебе "Clay to clay"[3], что может быть для тебя интересно.

Твой старый Н и к

[1] Год определяется началом сотрудничества Огарева в журнале П.Л. Лаврова "Вперед!"; подтверждается пометой о дне недели. Лавров посетил Огарева около 15 мая 1875 г. После их знакомства Огарев написал стихотворение "Свидание" и отправил ему 16 мая вместе с письмом (см. "Лит. наследство", т. 39-40, с. 576; см. также в т. 62, с. 283, 284 – об участии Огарева в журнале). Стихи напечатаны в № 10 журнала от 1 июня, с. 298, с редакционным вступлением (см. *Огарев 1956*, с. 357–358 и 837).

[2] О журнале "Вперед!" сообщил Огареву В.М. Озеров из Флоренции 16 апреля; он же 28 апреля прислал ему адрес редакции в Лондоне и известил о желании Лаврова узнать его адрес (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 453–454).

[3] Так ли называлась газетная статья, посланная Огаревым, или это его собственная характеристика ее содержания, не установлено.

84

Greenwich, Ashburnham Road, N 35
Июня 18 (1875 г.), пятница[1]

Наконец, друг мой Саша, вчера вечером получил твое письмо от 15-го, за что искренно благодарю. От Таты из Парижа письмо имею и писал к ней[2]. От Генри письма нет что-то долее обыкновенного, а это меня по отношению к благословенной матушке России как-то беспокоит. Если увидишь Озерова, спроси его, нет ли у него известий от Генри. Я от Озерова давно не получаю известий и боюсь за его болезнь сердца. Адрес его во Флоренции был обычно: Via S-ta Reparata, N 3, p. 2. О смерти Гервега знаю из лондонских газет. А лондонским русским изданием "Вперед" ("Forwards") все более и более доволен, в особенности русской корреспонденцией в листке 1-го июня[3]. Готовлю им статью и надеюсь усердно участвовать[4].

Напиши же хорошенько о положении Терезины и новорожденного. – Посылаю тебе мою старую рожу, которая, кажется, вышла удачно, а готовилась так долго, что я насилу дождался[5]. – Мери тебе кланяется.

Твой старый А г а

P.S. Так вот ты как: на рысаке выезжаешь! Ах ты, мой милый юноша! – Английских листков sous bande[90*] еще не получал.

[1] Год определяется упоминанием о смерти Г. Гервега (7 апреля 1875 г.).

[2] Эти письма неизвестны.

[3] Под рубрикой "Что делается на родине" в № 10 "Вперед!" были напечатаны корреспонденции "Из жизни рабочего люда", "Из жизни села Павлова" и др., разоблачавшие произвол царских властей. 1 июня, получив журнал, Огарев писал П.Л. Лаврову, что этот отдел его "приводит в восторг омерзения" ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 578).

[4] Какая статья была в работе у Огарева в июне, установить не удалось. Получив ее, Лавров 1 июля сообщил Огареву, что постарается "ее поместить в одном из ближайших номеров" ("Лит. наследство", т. 62, с. 287).

[5] Эта фотография Огарева остается неизвестной.

[90*] бандеролью (*франц.*).

85

18 ноября ⟨1875 г.⟩, четверг[1]
Greenwich, Ashburnham Road, 35

Вот, наконец, сегодня от тебя письмо, друг мой Саша! Пришло оно третьего дня. Я хотел тот час же писать к тебе, но нездоровилось, и пишу только сегодня. Болезнь моя, т.е. припадки, хотя и реже, но все же случаются. Хорошо еще, что Мери наблюдает за временами, когда могут случиться, и поддерживает, чтоб я не ушибся, так что припадки сходят с рук легко, а после припадка я опять становлюсь бодр и свеж, как юноша. А мне теперь 62 года и, вероятно, проживу недолго, и надо торопиться отработать хорошо и скоро, что́ возможно. В Лондоне у меня союзник превосходный – это Лавров, издатель журнала "Вперед" (раз в две недели) и revue[91*] того же названия 4 раза в год. Я его очень люблю и уважаю. Впрочем, очень рад, что живу не в Лондоне, а в полудеревне, это мне больше по нутру.

Лавров Тате посылает журнал, она чрезвычайно довольна[2]. Мне он присылает на прочтение русские издания. В revue "Знание" (№ 4) я заметил статью Мильнера Джоржиля (вероятно, перевод с английского) о расстройстве умственных способностей при обыкновенных болезнях, которую чрезвычайно уважаю; ищу здесь на английском и еще не доискался[3]. Твой переезд в Швейцарию, друг мой, я нахожу ни лепым, ни нелепым: сообразен с целью – то и нужен. Я в Италии ни за что бы не поселился, боюсь, жарко и забыл язык. Здесь у нас погода превосходная, я такой осени в Англии не запомню, совсем весна, а сегодня, напр⟨имер⟩, совсем лето – и тепло и светло. Барометр был поднявшись, что дальше будет, не знаю. Это по известиям о наблюдениях, которые я читаю ежедневно в "Daily Telegraph".

Искренно рад, что ты полюбил Озерова и доволен Генри[4]. Если Генри любит русских людей – это, вероятно, те, с которыми он сошелся и не мог не сойтись, но мир казенный он, конечно, не любит. Мери мне поручает тебе сердечно кланяться и сказать, что она с ревностью смотрит на его первый визит во Флоренцию, но с терпением переносит ожидание и все же ждет сюда.

Но обнимаю тебя, Терезину, детей и *Тутса*[5], и здесь кончаю. Поздно становится и смеркаться начинает, а у меня глаза сильно устают.

Твой старый друг А г а

[1] Год устанавливается по упоминанию о возрасте Огарева и подтверждается пометой о дне недели.

[2] См. письмо Н.А. Герцен к Огареву от 20 октября в кн. 2-й наст. тома.

[3] Научный и критико-библиографический ежемесячный журнал "Знание" издавался в Петербурге в 1871–1877 гг. (в редакцию входили П.А. Хлебников, А.П. Бородин, С.П. Глазенап, И.А. Гольдсмит). О названной статье Д. Мильнера-Фотерджиля "Состояние умственных способностей при обыкновенных болезнях" (1875, № 4, отд. II, с. 14–30) Огарев писал также П.Л. Лаврову 15 ноября как об "одной из самых замечательных" в журнале ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 585). За этим изданием Огарев следил систематически (ср. заметку "После чтения "Знания"", посланную Лаврову 10 сентября – *Огарев* II, 248–249, 599).

[4] В середине октября Г. Сетерленд приехал из Киева во Флоренцию и пробыл там около месяца, виделся с А.А., с В.М. Озеровым, а затем вернулся на Украину, намереваясь устроить там школу. Огарев посылал для него во Флоренцию книги (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 746).

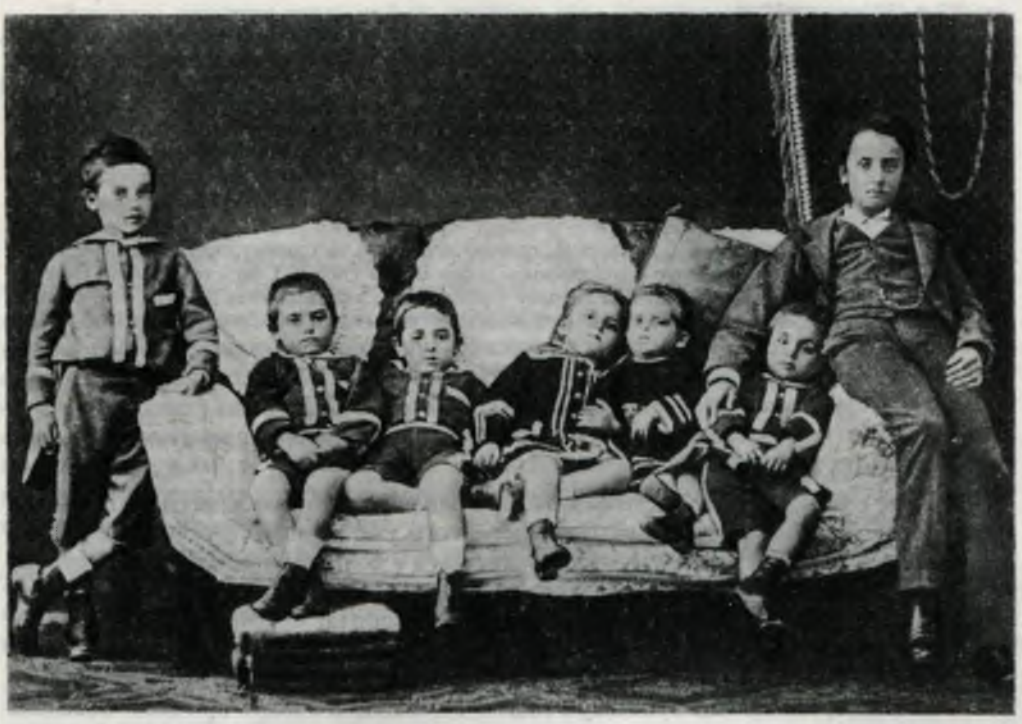
[5] Незадолго до этого А.А. взял Тутса из Берна (где тот жил с осени 1873 г. в семье М.К. Рейхель) к себе во Флоренцию.

86

⟨Гринвич.⟩ 26 ав⟨густа 1876 г.⟩. Суббота[1]

Вчера вечером получил твое письмо от 22 ав⟨густа⟩, милый Саша, и ты так давно не писал, и я так давно не писал, что тороплюсь написать тебе и отправить хотя бы несколько строк сегодня (а завтра воскресенье беспочтовое). – Итак, у тебя третья дочь! Что же ты мне не пишешь, как ее зовут? Пиши же скорее и подробнее. Мне грустно не получать от вас подробных известий. Да пиши же ясно о том, как и

[91*] обозрение (*франц.*).



ДЕТИ А.А. ГЕРЦЕНА

Слева направо: Владимир, Алексей, Петр, Ольга, Нерина, Николай, Александр (Тутс)

Фотография. ⟨Флоренция, 1876⟩

Литературный музей (фототека), Москва

что Тутс. Мы с Мери были страшно рады иметь о нем известие, но все же неясно, как и что и где он.

Я писал к Тате несколько раз[2], но все боюсь, не ошибаюсь ли адресом, потому что опять давно не имею от нее известий. К Моно писал в Bayreuth в ответ на его письмо[3] и тоже не уверен в правильности адреса. Что же это с Ольгой? Какой недуг? – Мери хворает песком, я – обычными болезнями, но все еще бодр, но чувствую подступающую старость. Долго ли проживу, не знаю, и только вспоминаю стихи:

Странное, странное дело,
Жить мне давно надоело,
Смерть же как будто беда,
Нет в ней нужды никогда[4].

Нат⟨алья⟩ Ал⟨ексеевна⟩ отнеслась ко мне с озлоблением. Как и что она, хотелось бы знать. Если что узнаешь – напиши. Да напиши хорошенько адрес Озерова. Писал к нему, а известий не имею. – Здесь превосходно идет "Вперед". – Да! У тебя, вероятно, есть фотография с статуи Герцена[5]. У меня только один экземпляр, и здесь достать не могу. Пошли экземпляр в Vevey. Lossinsky, poste-restante. Он видел, а достать не может, а ему иметь хочется, и человек полезный[6].

Ну, прощай покаместь, пора на почту. Тороплюсь.

Твой старый Н и к

Мери тебе кланяется.

[1] Год устанавливается по упоминанию о рождении у А.А. "третьей дочери" (Нелла Герцен родилась 13 августа 1876 г.).

[2] Эти письма неизвестны.

[3] Названные письма Огарева и Г. Моно неизвестны. Моно был в Байрейте вместе с Ольгой, Татой и Мейзенбуг – на премьере оперы Р. Вагнера "Гибель богов" (см. письмо Н.А. Герцен к Огареву от 8 октября в кн. 2-й наст. тома).

[4] Начало стихотворения Огарева, посланного им Пассек с письмом от 24 февраля 1873 г. ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 599) и напечатанного ею (неполно) в т. III "Из дальних лет" (*РС*, 1886, № 2). Впервые полностью по беловому автографу опубликовано в изд.: Н.П. О г а р е в. Стихотворения и поэмы, т. II. Л., 1938, с. 393–394, под названием "Вопрос".

[5] Памятник на могиле Герцена в Ницце, установленный в 1875 г. по проекту скульптора П.П. Забелло.

[6] Студент-революционер М.П. Лозинский, приехав ненадолго за границу, вступил в переписку с Огаревым, чтобы узнать его мнение о современном положении в России. 1 августа он писал Огареву: "Я у Р⟨одичев⟩а видел гравюру памятника Герцену – напишите ⟨...⟩ где можно ее достать, а то я как ни бился, нигде не нашел, ни в Вене, ни в Берне, ни в Женеве" ("Лит. наследство", т. 61, с. 298).

87

⟨Гринвич.⟩ 19 дек⟨абря 1876 г.⟩. Вторник[1]

Милый друг Саша!

Если не с Рождеством христовым, то, по крайней мере (по обычаю), поздравляю тебя с Новым годом. А что из него выйдет, этого уже не знаю. Восточный вопрос все наиболее кажется мне смутным безобразием – и только. Впрочем, я не буду плакать, если они все передерутся и разорят друг друга; только тогда люди придут к необходимости и возможности действительного переворота.

К Тате писал 4-го дня в Париж[2]. Где же она теперь?

От Моно 500 фр. получил и отвечал им[3]. Спасибо вам, добрые друзья! Сколько лета ни клонят, все же еще проживу с вашею помощью и с моею при всех болезнях железною натурою.

Живу спокойно. Пишу воспоминания[4]. "Forward'y" на Новый год посвятил стихи, за которые получил большое благодарение[5].

Пиши же, Саша. Грустно или горько не иметь от тебя известий.

Обнимаю тебя и Терезину и детей. Мери вам кланяется. Сегодня туман, и уже темно. А откладывать посылки письма к тебе не хочется.

Твой старый А г а

[1] Вторник на 19 декабря приходился в 1876 году.

[2] Это письмо неизвестно.

[3] См. в наст. кн. письмо Огарева к О.А. и Г. Моно от 2 декабря.

[4] Это последнее мемуарное произведение Огарева, по-видимому, не сохранилось.

[5] Стихи "На Новый год" с посвящением П.Л. Лаврову Огарев отправил ему с письмом от 29–30 ноября (они явились откликом на стихотворение Лаврова "Н.П. Огареву" – см. "Лит. наследство", т. 62, с. 293–294). Ответ Лаврова неизвестен. Стихи Огарева впервые опубликованы в "Стихотворениях Н.П. Огарева" (под ред. М.О. Гершензона), т. 1. М., 1904, с. 357; см. там же на с. 411 упомянутое письмо Огарева.

88

⟨Гринвич. Начало января 1877 г.⟩[1]

Наконец, друг Саша, от тебя доброе письмо (от 29 дек⟨абря⟩) пришло в первый день Нового года и обрадовало меня сердечно тем, что пришло. Стану отвечать тебе на оное и писать все, что давно бы хотелось, пунктуально.

Итак, у тебя девять человек детей![2] У меня оных на фотографии семь. Напиши мне, как это и не путаю ли я чего? И сколько их в каком порядке народилось – по именам? И что же Терезина? Как ее силы и здоровье? Друг мой! Ведь это мне теперь все животрепещущие вопросы перед смертью, и покончить, не зная их определенно, – было бы печально. Я зас всю жизнь любил и потому что вы *Его*[3], и потому что многое в вас мог любить, и даже потому, что вы меня не забросили и что я могу отнестись к вам только с братской или отцовской привязанностью.

[1] Возможно, настоящее письмо не было закончено, ибо в следующем, от 22 января 1877 г., Огарев оправдывается, что долго не отвечал на то же неизвестное письмо А.А. от 29 декабря 1876 г.

[2] Имеются в виду Тутс и восемь детей в браке с Т. Феличи. Последний, десятый ребенок – сын Эдуард – родился 6 августа.

[3] *Его* – т.е. Герцена.

89

⟨Гринвич.⟩ 22 янв⟨аря⟩. Понедельн⟨ик⟩. 1877

Добрый друг Саша, не сердись и ты на меня, что я так давно не пишу тебе, получив твое добрейшее письмо от 29 дек⟨абря⟩. Не столько ленюсь, сколько нездоровится: больная рука страдает и мешает писать, пирамидальной мозжечок не то чтоб весьма был здоров, и простуда грудобрюшины порой тревожит. Вообще старость подходит. Вероятно, проживется недолго, хотя все еще силы порядочные и аппетит огромный. Стихи еще пишутся. Записываю тебе здесь мои два сна. Мери слушала их с удовольствием в английской прозе и уговорила меня писать их русскими стихами и посылать друзьям[1]. Я и попробовал. Третьего дня у меня были два соотечественника и остались оными довольны. Здесь соотечественники относятся ко мне с величайшей дружбой, что меня утешает.

А из России известия плохи, т.е. правительство сильно преследует юношей[2]. От Генри более трех месяцев нет известий. Во время оно он оставался все на прежнем месте, но собирался в Киеве поступить на медицину. Но что теперь, болен он или что неловкое выходит? Понять не могу, и это нас тревожит.

В Гавр писал тотчас при получении январских 500 фр. Ольге и Гавриелю писал 3-го дня[3]. Тате хотел писать сегодня, но боюсь опоздать на почту и откладываю до завтра, и рука устала[4].

Мери кланяется тебе и Терезине. Я обнимаю вас и девятерых детей, которых фотографии всегда у меня перед глазами.

Твой старый А г а, или Old N i c k[92*]

СОН 5 ЯНВАРЯ 1877

Вот сон: въезжаю с Мери в край родной,
Дней юных ссылки старый город мой,
И мы идем на площадь, где был сад,
Все голых лип двойной унылый ряд,
Насупротив дома, живут там баре,
И я узнал на грязном тротуаре
Знакомца прежних лет в солдате старом
С метлою нищего. Он был ударом
Пришиблен, мёл, качаясь, дрябло он,
С удара ль ниц иль нищетой сгублён...
Я ров, как юноша, перепрыгну́л
И подошел, и руку протянул.
И он меня узнал, как друг бы мой,
Смотрел печально и поник главой,
И молвил: да! ты обошелся дружно
И миру, знать, переменить нужно. –
А я сказал: не станет же весь век
Стоять, как гниль, на месте человек.
Тут я проснулся, сон мой был мне странен,
А мир все так же длинен и туманен[5].

92* Старый Ник (*англ.*).

СОН 13 ЯНВАРЯ

Во сне я дома был, в постеле спал приветно,
И вдруг ко мне пришел двоюродный мой брат.
Он генералом был в полиции секретной,
А в юном возрасте свободы был солдат.
И он сказал мне: "Ты меня прозвал шпионом,
Уж не подраться ли на смерть в возмездье оном?" –
А я сказал ему: "С шпионом не пойду
На смерть ли драться или только на вражду.
Все, если хочешь, что могу теперь свершить,
Так взять да просто так до смерти пришибить.
И все равно – мои дни вышли, может, худы,
Умру ль от болтовни, умру ли от простуды,
К тому ж пораньше ли или попозже сколько,
Выходит все одно, все до конца, и только"[6].

[1] Первое стихотворение было, в частности, послано П.Л. Лаврову 11-го и А.П. Плаутиной 12 января (см. "Лит. наследство", т. 39-40, с. 597; *Звенья* VI, 405–406).

[2] В конце 1876 г. в России усилились репрессии против революционной молодежи. Возможно, Огарев имеет здесь в виду разгон студенческой демонстрации 18/6 декабря 1876 г. возле Казанского собора в Петербурге и последовавшие затем многочисленные аресты.

[3] Вероятно, Огарев писал О.А. и Г. Моно в январе дважды. Оба письма неизвестны.

[4] Это письмо (ср. о нем в п. 90) до нас не дошло.

[5] В "Русской мысли", 1902, № 5, с. 212 впервые опубликован фрагмент стихотворения – по черновому автографу в записной книжке Огарева (*РГБ*), полностью по тому же автографу опубликовано в 1936 г. в *Звеньях* VI, 406 (ранее, по копии С.А. Переселенкова, оно было напечатано в сб. "Литература", 1931, с. 193). Обе публикации содержат некоторые варианты по сравнению с беловым автографом.

[6] Впервые опубликовано в журнале "30 дней" (1937, № 7, с. 88) по черновому автографу *РГБ*, без названия, с отличиями в композиции и с отнесением к 1876 г. (этот текст и датировка повторены во всех последующих изданиях).

90

⟨Гринвич.⟩ 31 января ⟨1877 г.⟩[1]

Друг Саша, вот опять от тебя давно нет письма, и от Таты нет из Парижа. Где она – не знаю. Писал к ней на днях[2]. От Ольги и Моно ждал известий. Они должны были писать о Тате. Но тоже нет. От Озерова жду письма с нетерпением. Хотя бы вы все писали строку о получении моих писем? Генри не писал давным-давно. Знаю, что он остался при прежнем месте и в Киеве занимается химией и медициной. Но как и что? Уж не болен ли он? или наши корреспонденции на русских почтах перехватываются? Вопросы разрешить необходимо, а без известия невозможно. Здешними русскими друзьями весьма доволен, а из иностранных итальянцем Musicano (фотограф), который ко мне имеет действительную преданность за память о Mazzini. На обороте посылаю тебе начало поэмы, которую надеюсь развить. Обнимаю тебя и Т⟨ерезину⟩ и детей. Мери вам кланяется.

Мне не больно здоровится. Мери тоже прихворывает, хотя работает и часто спасает меня от припадочных ушибов.

ПРЕДСМЕРТНЫЕ МОНОЛОГИ

Меня здесь люди дружелюбно любят,
Хоть дней своих с моими не погубят.
За что б любить? Ведь не пойму нисколько,
Мое тут самолюбице – и только! –
За что б любить – не знаю вовсе, право,
Жил не умно – да тож не безлукаво.
Но говорят: талант был до стихов,

Простим же множество других грехов.
Будь это мнение остро иль тупо,
Во всяком случае оно и глупо,
И умирать пришлася мне пора –
Не совершив ни зла и ни добра.
Я никому и мне никто не нужен,
Лишь бы кой-как доесть обед и ужин,
То есть дожить, не сморчивши лица
До скучного, но верного конца,
Не вслед скорбей, болезней, слез и слов,
А просто вслед количества годов[3].

Твой Old N i c k

[1] Год устанавливается по связи с соседними письмами.

[2] Это письмо неизвестно.

[3] "Предсмертные монологи" в составе стихотворений Огарева не публиковались. В тетради Огарева № 32.1 (*РГБ*, ф. 69.7.12) вслед за черновым автографом этого "монолога" (л. 1), помеченным цифрой "1" (с обильной правкой и вариантом в стихе 8: вместо *множество – много мы*), на л. 2 расположено продолжение цикла:

2

И, может быть, насколько будет можно,
Еще вздремну стихами нетревожно,
А важно, сохраняя смысл и цель,
Стремясь к изяществу как бы досель.
Все это, может [быть немножко], тоже поздно стало,
Не хватит сил, и в жизни все устало,

Далее на этом листе записан адрес П.Л. Лаврова и сделаны пометы о журналах "Русская старина", "Русский архив", "Древняя и новая Россия", а на следующем – л. 3 – находится стихотворный текст, начинающийся строкой: "Работаю, не сосводя со стола..." Он опубликован впервые М.О. Гершензоном – как самостоятельное произведение ("Стихотворения Н.П. Огарева", т. 1. М., 1904, с. 410). Однако вероятнее, что это составляло дальнейшее продолжение "монологов". В пользу этого предположения говорит и искусственно прерванный – на запятой – текст на л. 2, и единство итоговых размышлений о жизни, и общность грустно-иронического тона, и близость размера, а также само высказанное в наст. письме намерение Огарева "развить" "поэму".

91

⟨Гринвич.⟩ 28 марта ⟨1877 г.⟩, середа[1]

Старый друг и юный профессор! Наконец-то от тебя письмецо, хотел еще вчера к тебе писать, но боялся опоздать, сегодня хотя страничку написать, но поспею. Старею, друг мой (64-й год проходит). Болезни все те же трудные, а при всех оных желудок превосходный, пищеварение и аппетит бесподобные. Мери страдает грудью, а работает даже в уборке маленького огорода без устали. Пишу к тебе, чтобы испросить отчет о твоем курсе (на неитальянском языке)[2]. Курс твой меня глубоко интересует, а итальянский язык забыл. Имею здесь соседа фотографа Мюзикано, итальянца, приятеля, который меня любит за мою память о Маццини, за "My Exile" Герцена[3], и дети его встречают нас дружески. К Озерову я писал вчера, имея вчера от него письмо[4]. – Вот оно куда Якоби своротил![5] Мне ездить невозможно, хожу и с хромой ногой превосходно, но все же не далее Гринвича. Да думаю, не заедете ли как-нибудь вы? Хорошо было бы!

Пишу теперь подражание "Шильонскому узнику", совсем с другим содержанием:

Я стар и сед
Уже от хилости и лет...[6]

Скоро кое-что пришлю.
От Таты, хотя редко, но есть письмы.

Твой старый А г а

Обнимаю тебя и жену твою. Мери вас помнит. У нас перед глазами твоя девятерня, которой любуемся.

[1] Год определяется содержанием письма; подтверждается пометой о дне недели.

[2] 9 марта 1877 г. А.А., "дипломированный профессор", читал вступительную лекцию к курсу физиологии во Флорентийском высшем институте. Она была тогда же опубликована ("Cose la fisiologia. Prolusione del prof⟨essore⟩ incaricato dott⟨ore⟩ A. Herzen". Ist⟨ituto⟩ superiore di Firenze. Anno scolare 1876–1877. Firenze, 1877) и отправлена Огареву. Прислал ли А.А. по его просьбе отчет (или рецензию?) на эту лекцию, не установлено.

[3] Под этим названием ("Мое изгнание") вышло в октябре 1855 г. в Лондоне двухтомное английское издание ч. II и IV "Былого и дум" (см. VIII, 462).

[4] Оба письма неизвестны. См. ответ Озерова на упомянутое письмо Огарева в "Лит. наследстве", т. 62, с. 456–457.

[5] Врач, участник революционного движения 1869-х годов и польского восстания 1863 г., затем один из активных деятелей "молодой эмиграции" в Швейцарии, П.И. Якоби в 1876 г. был избран членом Медицинской академии в Мадриде. Впоследствии вернулся в Россию.

[6] В записных тетрадях Огарева № 32 (1, л. 8 об.) и 16 (1, л. 32, 33) сохранилось несколько набросков этого "подражания" начальным стихам "Шильонского узника" Байрона в переводе В.И. Жуковского (у которого: "я сед//, но не от хилости и лет"). – См. *РГБ*, ф. 69.7.12 и 9. Один из набросков опубликован С.А. Переселенковым в сб. "Литература". 1. Л., 1931, с. 185. Ср. выше п. 68.

92

⟨Гринвич.⟩ 25 апреля ⟨1877 г.⟩, середа[1]

Вот две или три недели сбираюсь писать к тебе, друг Саша, но то действительное нездоровье, то старческая лень разбирают. Известий же от кого б то ни было имею немного. Война, кажется, приближается со дня на день, хотя султан уповает на мир и едет командовать войском на войну! (Телеграм 24 апреля).

Ну, как ты с женой и немалочисленным количеством детей? Напиши хоть строчку. Мне не терпится послать тебе последние стихи, но напиши, насколько придутся по вкусу.

МОЯ УЛИЦА В ГРИНВИЧЕ

Старик, параличом хвачённой,
Идет походкой удручённой,
И, взоры скорбные воздев,
К жильцам шлет крик или напев:
Umbrellas to mend, umbrellas to mend![93*]

*

Не хватит скудная работа,
Чтоб в жизни легче шла забота,
Но без нее, под старость лет,
Ни съесть, ни выпить средства нет:
Umbrellas to mend, Umbrellas to mend!

*

Жена и дети по могилам,
Жить долго было не по силам,
А он все жив в параличе,
Несет котомку на плече:
Umbrellas to mend, Umbrellas to mend!

*

Напевы сколько б ни взывались,
Без чинки зонтики остались,
Не нужен труд, бесплоден клик,
А он все тот же тянет крик:
Umbrellas to mend, Umbrellas to mend![2]

[93*] Зонтики чинить, зонтики чинить! (*англ.*).

Устал, друг мой, пойду на почту и подышать воздухом. Осенняя усталь тела весною надоедает, а весна, кажется, устанавливается благодатная.

Мери вам кланяется.

Твой старый А г а

[1] Год устанавливается по упоминанию о предстоящей русско-турецкой войне (была объявлена Россией 24/12 апреля 1877 г.). 25 апреля приходилось на среду именно в 1877 г. Это последнее из сохранившихся писем Огарева, умершего 12 июня.

[2] Стихотворение впервые опубликовано в женевском эмигрантском журнале "Вольное слово", 1881, № 2, с. 6–7 (см. *Огарев 1956*, с. 361–362, где оно датировано 22 апреля 1877 г. – в этот день были посланы П.Л. Лаврову первые 3 строфы с письмом, в котором Огарев сообщал, что они написаны "3-го дня"; ср. "Лит. наследство", т. 39–40, с. 597). В *РГБ* сохранился черновой автограф всего стихотворения с зачеркнутыми вариантами первоначального текста (тетрадь 32.1 – см. 69.7.12, л. 15 и 14об.).

ГЕРЦЕНУ и ТАТЕ ГЕРЦЕН

Публикация М. М е р в о[94*]

Из трех публикуемых ниже писем Огарева к Герцену ("амстердамская коллекция") два имеют "практический" характер, т.е. связаны с денежными делами. В первом (1860) идет речь о так называемом "сатинском долге", часто упоминаемом на страницах настоящего тома. Мы обнаруживаем в этом письме и проявление той "слабости" по отношению к Н.М. Сатину, которую Герцен, как известно, далеко не одобрял. Второе письмо (1862) обращено одновременно и к Герцену и к его восемнадцатилетней дочери Тате. Это своего рода завещание, в котором Огарев поручает, на случай смерти, свою подругу Мери Сетерленд заботливым попечениям Герцена, а сына ее Генри – Тате с просьбой заняться его воспитанием. Из этого письма мы видим, что и через десять лет после смерти первой жены Герцена она продолжала оставаться для Огарева предметом подлинного культа.

Что касается третьего, незаконченного письма (1862–1863?), то оно подтверждает, что для Огарева, в некоторые моменты его совместной жизни под одним кровом с Герценом и Тучковой-Огаревой, напряженная атмосфера в доме была поистине невыносима. Возлагая за это ответственность на Наталью Алексеевну, Огарев в своем письме выражает убеждение, что далее так продолжаться не может...

Письма публикуются впервые по автографам *IISG*.

1

⟨Лондон. Середина июля 1860 г.[1]⟩

Друг ты мой неизменный, как ни глупа переписка с 2-го этажа в 1-й – но так гнусно-тяжело говорить о денежных обстоятельствах, что я решился писать. Прочти терпеливо и внимательно.

За всеми уплатами долгов моих папá[2] и тебе 700 фунт., у меня остается капитала 40 000 р. сер., т.е. 160 000 франков. По 6% доход годовой у меня 2400 р. сер., т.е. 9600 франков, или 800 фр. в месяц. Из них 400 – Натали, 400 – мне. – Это выходит каждому по 13 фр. в день.

Натали в Германии, без сомнения, справится этими деньгами, ибо квартира не дороже 5 или 6 талеров, положим 10 талеров в месяц, т.е. 1/3 талера в день, т.е. не больше 1 шиллинга. Ведь сам ты знаешь, как там дешево. Стало, надо иметь талант, чтоб не справиться, и жить можно на 1 талер, т.е. на 3 шиллинга в день очень хорошо, т.е. 100 франк. на квартиру и стол в месяц. Стало, достанет на все с роскошью.

Мои расходы следующие. Я даю матери с мальчиком[3] 1 1/2 фунта в неделю, т.е. 6 фунт. в месяц, или 4 шилл. в день, квартира у них 10 шилл., 6 пен. в неделю. Остальное идет на еду, на одежду и пр. Следственно, в год 72 фунта, или 1700 франков; остается на мою долю 3100 франков, или 258 фр. в месяц, т.е. 64 фр. в неделю, т.е.

[94*] Вступительную заметку и примечания перевел с французского Л.Р. Ланский.



ГЕРЦЕН

Фотография Э. Каржа. Париж, 1861

Институт русской литературы РАН, С.-Петербург

Фотография продавалась в пользу Польского революционного фонда. Герцен принял участие в ее распространении

немного менее 3 фунтов. Сам ты посуди, что мне по жизни за тобой не угоняться, что мне на необходимые нужды квартиры и еды нельзя тратить больше, чем тратит Мери, т.е. больше 6 фунт. в месяц; живи я один – я больше не мог бы тратить. Остальное нужно на одежду, сигары и все то, что может доставить маленькое удовольствие в жизни. Поэтому мой расход не может превышать следующего:

Моя кварт⟨ира⟩ и еда	1 700 франк.
Ее.....	1 700 франк.
Мой особый расход	1 400
	4 800 франк. в год.

т.е., сверх моей еды и квартиры, мне нужно 124 фунт. в год, т.е. я должен получать 10 фунт. 4 шилл. в месяц (для матери с мальчиком и для себя). Иначе мне жить невозможно, и то я могу только с 1 августа, и в июле не обойдусь без 15 или 20 фунтов, которые прикладываю к должным мною 700 фунт., и потому накинул лишки в

моем счете Сат⟨ину⟩, т.е. он должен уплатить тебе 5 000 сер., что составит более 700 фунт., а остальное я просил его высылать аккуратно 2 раза в год, так, чтоб мой прожиток был всегда очищен.

Уладь, чтоб Трюбнер купил у меня или 2-е издание стихотворений, или что другое на 60 фунт. в этот год; иначе я не мог бы брать уроков математики, разве на счет "Колокола" или на твой счет. А мне ни того, ни другого не хочется.

Ты этим не обижайся – мне жить на твой счет было бы совершенно не обидно, если б мы жили вдвоем и твоя цель была бы прожить твое достояние так, чтоб с последним дыханьем выпал последний золотой из кошелька, да еще если бы я не был тебе должен и весь мой капитал 40 000 р.с. А так как я его тебе и без того должен и, следственно, во всяком случае, живу на твой счет, то грабить тебя сверх этого, действительно, заслужило бы *нарекания*, а я его не хочу и выше его стать не могу. Оно для меня было бы прискорбно.

Но 40 000, которые я тебе должен, так как с моей несостоятельности на получение их ни ты и никто не может рассчитывать – то ты мне их совершенно прости, т.е. подари; таким образом, долг Сат⟨ина⟩ мне, после моей смерти, будет уплачиваем им Лизе, и все будут обеспечены, ни Сат⟨ин⟩ не должен разориться для немедленной уплаты долга, ни Лиза не останется нищая, ни я, ни Натали на наш век не потерпим нужды.

Вот все, что я имел сказать об этом, Герцен. Прости мне этот сухой расчет. – Но мне ни иначе поступать, ни умолчать все это перед тобою невозможно. Меня мысль о моих средствах к жизни давила эти дни, а это одна из тех мыслей, которые неприятно и бесплодно мешают жить; надо было с ней разделаться. От этого я и написал сие послание. Если ты со всем оным согласен, то я доволен[4].

[1] Обоснование датировки см. в *ЛЖГ* III, 131–132.
[2] *папá* – тесть Огарева, А.А. Тучков.
[3] Мери Сетерленд и ее сын Генри.
[4] Ответное письмо Герцена неизвестно: вероятно, он объяснился с Огаревым устно.

2
ГЕРЦЕНУ и ТАТЕ ГЕРЦЕН

⟨Лондон.⟩ 10 мая 1862 года

Не знаю, сколько дней мне еще остается жить. Вот главное распоряжение после моей смерти:

Что числится за мною по праву наследства, переходит к детям.

Поручаю Герцену, в воспоминание обо мне, не оставить женщины, которая меня ничем не оскорбила. Я говорю о Mary Sutherland. То есть я прошу Герцена давать ей от восьмидесяти до ста фунтов в год[1], чтобы она могла жить безбедно и воспитывать сына. Я хочу, чтоб он был подготовлен так, чтоб в юном возрасте мог избрать себе любую карьеру.

Долго думал я – кто же с сердечным участием займется его воспитанием, потому что, кроме денег, надо при этом какое-нибудь человеческое участие, иначе замороженный внутри себя отрок доучится только до возможности сделаться хорошим мошенником. У кого же мне просить для много, много любимого Генри этого человеческого участия? Долго я думал... Я прошу его у Таты. Если бы ее мать была жива, я поручил бы его ей.

Тата, сделай в мое воспоминание все, что тебе скажет сердце.

О г а р е в

На конверте:

Герцену мое завещание на хранение и исполнение[2].

[1] Как указывает Н.А. Тучкова-Огарева, Герцен намерен был выплачивать впоследствии, в случае смерти Огарева, дотацию одной лишь Мери, игнорируя ее сына Генри (см. в кн. 2-й наст. тома в разделе "Н.А. Тучкова-Огарева" письмо Натальи Алексеевны к Огареву от 27 декабря 1873 г.). Такой постановкой вопроса Огарев был сильно возмущен, как мы увидим из публикуемых ниже его писем к Тате и Г. Моно.
[2] В этот день Тучкова-Огарёва с дочерью Лизой и близнецами уехала на остров Уайт.

3

⟨Лондон. 1862–1863 г. (?)⟩[1]

Можно ли уладить, чтоб часа в два позавтракать и потом мне уйти до субботы? Если нельзя, я и не претендую, а если можно, то это был бы роздых, которым я ужасно был бы доволен. Можно сказать, что я иду домой за делом, и никто бы не заметил. Ты не можешь себе представить, как хорошо действуют сутки, проведенные без всякой мысли и сплетни. Могут быть свои скорби, только не такие – и это освежает, Если б Н⟨атали⟩ поняла, что она становится ниже самого простейшего существа, – может, самолюбие воскресило бы ее. Да нет! у меня и надежды нет. Только жить эдак невозможно. На вопрос ⟨1 *нрзб*⟩.

[1] Это письмо (без сомнения, неоконченное) с трудом поддается датировке. Оно, по-видимому, написано уже после встречи Огарева с Мери Сетерленд (в конце 1858 г.) и, во всяком случае, свидетельствует о том, что у Огарева в начале 1860-х годов уже выработалась привычка целыми сутками не бывать дома. Разочарованный тон письма в какой-то мере сближает его со стихотворением "Настоящее и думы (Письма к Герцену)" – "Лит. наследство", т. 61, с. 636–641, – написанным в январе 1863 г. Огарев выражал в нем горькое сожаление, что все попытки "спасти" Наталью Алексеевну оказались безуспешными.

ТАТЕ ГЕРЦЕН

Публикация С.Д. Лищинер, И.А. Желваковой и М. Мерво[95*]
Предисловие С.Д. Лищинер

Нежностью, душевной близостью и взаимопониманием проникнуты письма Огарева, адресованные старшей дочери Герцена Тате, заметно отличая их от его писем к другим детям своего друга, хотя и они полны отеческой любви и преданности. Объяснить это можно, главным образом, свойствами характера Таты. Самоотверженная доброта и мягкость нрава, душевная тонкость и такт, присущие ей, и вместе с тем пытливый ум, разносторонняя творческая одаренность, широта духовных интересов рано снискали глубокую дружбу и доверие Огарева (первое из сохранившихся обращений к ней – дарственная надпись 14-летней девочке на его портрете, гравированном в 1858 г.: "Моей милой Тате от оригинала")[1].

В Тате Огарев, как и Герцен (ср. XXVII, 70, 77), видел воплощение внутренней грации, которая отличала ее покойную мать – Наталью Александровну Герцен. "Из всех вас она ⟨Тата⟩ мне больше всех напоминает вашу мать своим добрым спокойствием. Я ее очень люблю", – признавался он в письме к Саше Герцену от 2 ноября 1864 г. (XXVII, 517). И 13 апреля 1865 г.: "Мой идеал – это приезд Таты, к которой я имею бесконечную преданность. Это чувство для меня освещено всей святыней воспоминания о вашей матери". Несколько позднее он так охарактеризовал общение с ней: "Тата – моя утешительница, это одно из тех светло-добрых существ, на которые довольно взглянуть, чтобы стало легче жить"[2].

Уверенный в столь же животворном действии "благородного и теплого нрава" Таты (по отзыву Герцена – XXVII, 498) на всех окружающих, на общую душевную атмосферу в семье, Огарев писал М. Мейзенбуг: "Вы не можете себе представить, как я счастлив, что вы тоже стали любить эту нежную, простую, глубокую, осердеченную натуру. Это правда, что она теперь достигла истинного апогея своего развития, и поэтому я убежден, что в ней вы найдете много утешения в жизни, и это делает меня счастливым"[3].

У Огарева все больше крепла надежда, что Тате предстоит особая роль в жизни семьи – роль сплачивающего, нравственного центра, духовной опоры младшего поколения, выросшего на чужбине. Эти прогнозы он связывал, в частности, с интенсивным умственным развитием девушки, с рано проявившимися творческими, эстетическими интересами, с ее намерением серьезно заняться живописью. И он неуклонно культивировал эти интересы – в том числе и в переписке с ней, завязавшейся во время поездки Таты в Дрезден летом 1860 г. и уже не прерывавшейся с отъездом ее из Лондона в Италию в декабре 1862 г.

Так, 9 октября 1863 г. Огарев писал о полученных им, но не дошедших до нас письмах Таты из Рима: "Они простодушны и милы. Из-за них я угадываю искреннюю любящую натуру, которая младенчески светла и гораздо глубже, чем может показаться с первого взгляда. Ты,

[95*] Письма 1 и 3–17 публикуются С.Д. Гурвич, п. 2 – И.А. Желваковой, п. 18–23 – М. Мерво.

говорят, развилась чтением и наблюдением над художественным миром; но, говорят, сама ты мало работаешь. Я уверен, что работа еще придет (...) А я хочу, чтоб ты была художником и потому, что, может быть, *лучше*, изящнее и счастливее ничего нет, и потому, что это настолько развивает понимание и сердце, что человек вдруг становится каким-то центром для всех близких людей" (п. 3).

Заметим, что при всей теплоте тона здесь нет сентиментальности, бездейственного умиления. Голос Огарева с первых же писем, обращенных к пятнадцатилетней девочке, звучит ободряюще-требовательно, побуждая к творческому дерзанию, к кропотливому труду "воспитания чувства изящного" – в "наблюдении картин и статуй, а всего более (...) живой природы, живых лиц, линий, света и теней, и цвета", в "изучении красок", их "гармонии". К каждодневному труду овладения формой – в копировании "великих рисовальщиков" и Тициана, "в эскиссировании" с натуры – пейзаже, жанре, портрете. А вместе с тем он зовет к постоянному труду души – в приобщении к гуманистическим сокровищам литературы, к расширяющемуся "пониманию" "скорби этой жизни" и непосредственной полноте ощущения ее радостей (как писал он 30 июля 1863 г. – XXVII, 360). Усилия Огарева направлены к формированию цельного нравственно-эстетического идеала у юной художницы: "Найди в искусстве свою святыню – и тогда твоя жизнь будет невольно наполнена и горячим чувством, и живой мыслью, тогда твоя жизнь может быть изящным развитием служения твоему идеалу" (XXVII, 255).

Таковы, по убеждению Огарева, залоги и полноценного творчества и подлинно достойной человека деятельности, способной снять средостение между искусством и жизнью. В излучении энергии человечности на окружающих, на самое действительность, в этой непосредственно облагораживающей роли заключено для Огарева одно из ценнейших свойств подлинного искусства ("Все, что только возвышает человека до жизни творческой, – все должно жить вокруг нас").

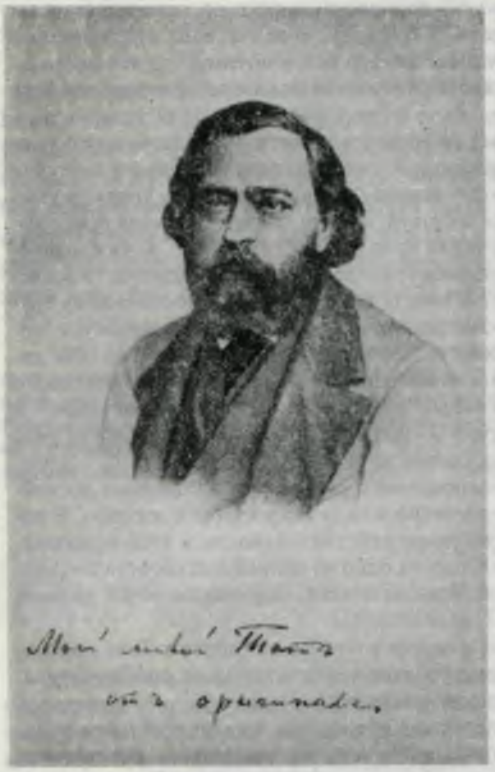
Как один из доминирующих содержательных пластов в письмах Огарева к Тате определяется, таким образом, с самого начала переписки собственно эстетическая проблематика, взятая притом в ее сугубо жизненном, гуманистическом аспекте.

Огарев стремится передать Тате свои монистические убеждения эстетика-материалиста, устремленность к конкретно-историческому истолкованию законов искусства, к реалистическому отражению в нем единства человека и мира, личности и обстоятельств. Существенное место в письмах занимает специфика художнического взгляда на жизнь, проблема серьезного комизма, сливающегося с трагическим мироощущением. Красной нитью проходит в рассуждениях Огарева нераздельность красоты и нравственности, сопряжение высших для него жизненных ценностей – идеалов свободы и творчества[4].

Весь этот круг мотивов получает специфическое сюжетное развитие во временном движении переписки. Мы можем наблюдать, как постепенно изменяется ее внутренняя целевая установка: все более превалирует в ней роль Таты не как объекта эстетического воспитания, а как такого собеседника, повышенная эстетическая отзывчивость которого стимулирует творческую мысль корреспондента. Так личные письма подводят нас к той роли адресата – как бы арбитра из будущего, на суд которого представлены сокровенные итоговые нравственно-эстетические поиски и прозрения писателя, – какую играет образ Таты, посвящение ей в эпистолярном по форме очерке Огарева "С утра до ночи" (1869).

Письма позволяют, кстати, полнее воссоздать творческую историю очерка. Так, письмо от 16 декабря 1868 г. к больной оспой Тате фиксирует момент, близкий к самому зарождению замысла, и отражает первоначальные содержательные и жанровые устремления автора: "Я хотел было тебя потешить и написать тебе целую комическую повесть, т.е. мемуар моего целого дня (куда, разумеется, вошли бы избранные места из разных дней, соединенных в одно) (...) не брошу этой идеи, она меня очень интересует. Да (...) боюсь, чтоб в комическое не вошло сумрачного; а теперь тебе еще таких оттенков не надо" (п. 11).

Строки примечательные. Непритязательный, казалось бы, замысел с самого начала интересен автору заложенными в нем потенциями идейно-эмоционального углубления. Действительно, "мемуар" огаревского "дня" вобрал в себя важнейшие раздумья об искусстве грядущего, направляемом не "публике", а миллионам, об искомых свойствах его поэтики. Такими свойствами должны стать предельная "простота" и искренность. В свете новых, максималистских устремлений многие привычные атрибуты искусства, вообще художественный вымысел, ощущается теперь автором как знак барской вычурности, "праздномыслия". Утверждается поэтичность невыдуманного "выражения жизни" (*Огарев* II, 191). И сам очерк приобретает значимость жанрового эксперимента в намеченном направлении – к предельной безыскусности рассказа о пережитом, увиденном сейчас и сегодня. А вместе с тем, как видно из цитируемого письма, для Огарева остается сама собой разумеющейся необходимость отбора и концентрации жизненного материала, его творческого обобщения – незыблемая сердцевина искусства.





ЭКЗЕМПЛЯР "СТИХОТВОРЕНИЙ Н. ОГАРЕВА" (ЛОНДОН, 1858), ПОДАРЕННЫЙ АВТОРОМ ТАТЕ ГЕРЦЕН

Титульный лист и фронтиспис с портретом Огарева (гравюра М. Леммеля по фотографии 1857 г.) и дарственной надписью: "Моей милой Тате от оригинала"

Музей Герцена, Москва

Письмо же от 7 июля 1869 г. раздвигает временные границы работы автора над этим весьма существенным для него произведением (известные ранее свидетельства касались лишь второй половины января – февраля 1869 г.[5]) и побуждает предположить, что до нас дошли не все написанные разделы.

Но вернемся к динамике отношений корреспондента и адресата. Их развитие тем более естественно, что и первые письма наполняют отнюдь не сухие дидактические наставления. Ведь кардинальным воспитательным принципом Огарева было "спуститься до жизни ребенка, чтоб вместе с ним развиваться до степени собственного штандпункта", "принять участие в его боли и радости и aus im heraus[96*] вести его к самодеятельному развитию"[6]. Эта педагогика душевной самоотдачи была не абстрактным головным императивом, а потребностью натуры Огарева, выражением его органического демократизма, существо которого наиболее точно охарактеризовал в своих воспоминаниях П.В. Анненков: "Он сделался по плечу каждому человеку, как самому простому, так и самому развитому, потому что одинаково верно понимал их духовные нужды и входил в цепь их мыслей и представлений"[7]. И публикуемые письма как нельзя нагляднее подтверждают это. Они всегда – заинтересованный диалог, полный "сердечного участия" (XXVII, 255). Девочка-собеседник свободно, "на равных" вводится в сложный мир художественных эмоций, оценок, размышлений пишущего. С тем же нетерпеливым интересом ждет Огарев от нее ответных "отчетов" о чтении, работе, эстетических переживаниях. А как чутко отзывается он на них, с нелицеприятной серьезностью анализируя и благоговейно храня ее творческие опыты (XXVII, 343, 350, 359–361, 387). Некоторые ее живописные работы – как копия с портрета Галилея, портрет сестры Лизы – становятся его любимыми спутниками до конца жизни (см. п. 9, 5, 7; XXIX, 486).

[96*] изнутри (*нем.*)

Слово старшего друга направляет рост наблюдательности, дает новые импульсы в развитии вкуса подростка. "Радуюсь, что тебе не понравилась гольбейновская Мадонна. Здесь так стали подражать старой живописи, т.е. дорафаэлевской, т.е. Гольбейну из немцев и чуть ли не Giotti из итальянцев, что на выставке так тошно становится", – пишет он Тате в Дрезден 23 июня 1860 г. (XXVII, 70). Кстати, через три года эти вкусовые пристрастия Огарева (и Герцена), определяемые неприятием средневеково-религиозного элемента в живописи и противопоставлением ему гуманистически полнокровного искусства Высокого Ренессанса[8], отзовутся в итальянских впечатлениях Таты. Она напишет Герцену 1 января 1863 г. о спорах с Мейзенбуг: "Не могу я восхититься прерафаэлитами, настоящими, даже учителем Рафаэля Перуджини и его, т.е. Р(афаэля), первыми работами – они все еще слишком похожи на византийские мадонны – которых я просто терперь не могу. Я знаю, что ты тоже так думаешь, поэтому тебе я это говорю" (см. кн. 2-ю наст. тома).

Подобные переклички через годы дают возможность не только наглядно проследить источники формирования индивидуальных художественных вкусов юного живописца. Это и материал для более широких наблюдений. Они помогают выделить различные образные ряды в художественном сознании эпохи, очертить реальные границы эстетического пространства, находившегося в поле активного творческого освоения целого культурного слоя, к которому принадлежали Герцен и Огарев, эстетического пространства, переходившего в виде живой культурной традиции к следующему поколению.

В естественной связи с повышенной художественной восприимчивостью Таты письма к ней Огарева выявляют и специфику его собственного образного жизневосприятия, – притом такую сторону его, которая до сих пор не привлекала еще должного внимания – богатство и тонкость колористического образа мира. Еще Белинским замечено было, что стихи Огарева "отличаются особенною внутреннюю меланхолическою музыкальностию"[9]. Его поэтическому миру особенно близка гармония звуков, он слышал и воспроизводил жизнь звучащей не только в своих музыкальных пьесах, но и в стихах, называя их "Скерцо", "Фантазия", "Ноктурно". Письма же к Тате открывают, как много значит для жизневосприятия поэта Огарева, наряду со звуком, – цвет, как ярко творческая память его способна воссоздать зрительный образ былого, как многоцветна палитра схваченных им и эмоционально претворенных красок природы.

"Я помню Вико, как бы вчера его видел, – пишет он 30 июля 1863 г. – Желтые скалы да зеленые сады, голубое море и солнце, солнце... (...) я был бы счастлив, глядя на тебя середь этого пейзажа" (XXVII, 360). Гроза в окрестностях Женевы врывается в письмо, как переход от "тьмы кромешной" к свету, – и вот уже "над Юрой синяя полоса, Салев очерчивается резко. Как это хорошо!" (п. 11). Воспоминания о светлом настроении в Альбано 20 лет назад оживают в зримой картине озера, аллей, снующего "удивительного народа", "красных курток женщин" (XXVII, 305). И так всегда, будь то сиюминутное впечатление от Ричмонд-парка, тонущего в разных "оттенках мглы" (XXVII, 360), или давняя память о Пизе (п. 8). Мир в воображении Огарева живет во всем великолепии красок, звуков, запахов.

Характернее же всего, что чувственная многоцветность жизни связана в восприятии поэта с органическим, столь же непосредственным чувством родины. Поразительно постоянство подобных, подчас, казалось бы, неожиданных ассоциаций. Вот, читая Татино "описание Пизы", Огарев вспоминает свою жизнь там "в совершенном одиночестве": "И еловый лес помню, и его запах, а с ним вместе помню и Россию... Ведь я все еще дикий, Тата!". Зелень леса, запах ели, белизна снега – вот это живительный привет родины для Огарева[10]. Трепетное чувство родной земли – один из лейтмотивов этой переписки.

Стремясь поддержать в дочери Герцена животворную память о родине, ее природе и просторах, чувство кровной связи с ее культурой, с ее демократической традицией, Огарев, верный себе, и в этом случае не упрощает задачи. Перед Татой доверительно распахивается вся драматическая сложность дум писателя о подлинном патриотизме. В уже известном письме от 22 июля 1863 г. они связаны, в частности, с недавней гибелью друга – русского революционера А.А. Потебни – в борьбе за свободу Польши. Его подвиг интернационалиста, по убеждению Огарева, и есть выражение истинной любви к родине, вопреки трагическому непониманию этого как в царской России, одурманенной официозным шовинистическим угаром, так и среди националистически настроенных польских сподвижников. Жертвенный путь героя утверждает честь и достоинство русского народа, его свободное будущее – противостоя "лихорадке" "диких патриотизмов" (XXVII, 359–360).

Мысль о судьбах родины раздвигает, таким образом, горизонты личного в письмах, сопрягает воедино частные дела и "историю", домашние занятия юной корреспондентки и будущее родного народа, его духовной свободы. Ближе всего связывает с ним молодежь семьи само дело жизни автора – вольное слово Герцена и Огарева. К продолжению этого дела напра-

влена безраздельно мысль Огарева после ошеломившей его внезапной кончины Герцена. К воссозданию вольной прессы, к революционному делу он стремится приобщить вплотную в эти дни Тату[11].

Любовь к Герцену, рядом и неразрывно с любовью к России, составляет глубочайшее эмоциональное средоточие всей переписки. Еще 14 октября 1862 г. Огарев написал Тате о Герцене – просто как само собой разумеющееся: "Он для меня настолько же *Я*, как и я сам" (XXVII, 255). И в поздних письмах к Тате, затрагивающих этически трудные, болевые моменты жизни семьи, будь то отношения с Н.А. Тучковой-Огаревой, или необходимость сообщить Лизе правду, кто ее отец, или денежные недоразумения, – всегда присутствует образ Герцена, любовь к нему выступает как эталон истинно человеческой близости.

Этот высокий масштаб выдержан до конца и в отношениях старшей дочери Герцена к Огареву, которому она отвечала столь же глубокой привязанностью. К нему обращено ее письмо от 7 декабря 1869 г. – исповедь потрясенного болезнью сознания, мучимого жаждой "каждую минуту" "что-нибудь делать для других" (XXX, 277–278). И Тата – самый духовно близкий ему (после смерти Герцена) человек – стояла у постели умирающего Огарева, к ней были обращены его последние слова и мысли[12].

Письма печатаются по фотокопиям *РГБ* с автографов *BN* (п. 1, 3–16; *IISG* (п. 18–23); собрания Л. Риста в Версале (п. 2) и по автографу *РГАЛИ* (п. 17). Все названные письма, кроме последнего, впервые опубликованы полностью по автографам М. М е р в о: 15 писем из *BN* – в *CMRS*, 1969, v. X, № 3–4, p. 484–552; п. 2 – в *HOBL*, 107–108; 6 писем из *IISG* – в *LOAHf*, p. 295–304; п. 17 публикуется впервые. Отдельные фрагменты писем напечатаны С.Д. Г у р в и ч в *Ог. чтениях* и в обзоре И.А. Ж е л в а к о в о й и Е.Л. Р у д н и ц к о й в сб. "Освободительное движение в России", вып. 7. Саратов, 1978, с. 114; фрагмент п. 12 опубликован С.А. Переселенковым по черновику как письмо к А.А. Герцену ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 336 и 338).

[1] См. "Лит. наследство", т. 61, между с. 472 и 473.

[2] См. вып. письмо 8 в пред. публикации.

[3] Цитируется письмо от 26 января 1865 г., публикуемое ниже в наст. разделе.

[4] Вопросы теории искусства, затронутые в письмах, рассматривались нами в соотнесении с общей эстетической концепцией Огарева, с ее эволюцией в пореформенную эпоху – в статьях "Об эстетических исканиях Огарева" (Вопросы литературы, 1980, № 2, с. 135–159); "О некоторых проблемах эстетики в наследии Огарева 1860-х годов" (сб. "Проблемы творчества Н.П. Огарева". Саранск, 1980, с. 112–116).

[5] См. письма Огарева к Герцену от конца января – февраля 1869 г. ("Лит. наследство", т. 39–40, с. 506, 514, 516, 517, 522, 524), отклики Таты и Герцена на получение первых разделов (там же, т. 63, с. 469, 470; XXX, 38, 48).

[6] См. письмо к Герцену от 15 сентября 1860 г. – "Лит. наследство", т. 39-40, с. 379.

[7] П.В. А н н е н к о в. Идеалисты 30-х годов. – В кн. "П.В. Анненков и его друзья", т. 1. СПб., 1892, с. 102.

[8] Ср. также суждение Герцена в "Письмах из Франции и Италии": "Египетское ваяние и наша дикая иконопись давали идолам неестественные позы и неестественный колорит, чтоб отделиться от презренного мира земной красоты и теплой живой карнации" (в первоначальной редакции – "чтоб отделиться от презренного мира телесной красоты и мягких, грациозных движений" – V, 89, 266).

[9] *Белинский* V, 579–580.

[10] См. письмо к Тате от 7 ноября 1868 г. (Вопросы литературы, 1974, № 3, с. 319 и п. 23).

[11] Известия ОЛЯ, 1967, вып. 2, с. 163–164.

[12] См. ее письмо к Н.А. Тучковой-Огаревой от 14 июня 1877 г. (*Пассек* II, 491).

1
ТАТЕ ГЕРЦЕНОВОЙ

⟨Лондон. Около 2 августа 1860 г.[1]⟩

Вот ты просила меня написать тебе поскорей, Тата, а я не мог тотчас написать, – либо работа, либо гости, – так день за днем и откладывал. Впрочем, время не ушло – учитель тебе говорил о том, что семь лет надо учиться рисовать, а из семи лет прошло только десять дней с получения твоего письма, теперь пишу тебе в Гейдельберг[2]. Твой учитель прав, Тата: для того, чтоб искусство сделалось для тебя легко и чтоб ты могла владеть кистью так, что рука будет делать именно то, что ты хочешь, – надо годы ученья. Семь лет или меньше, как это знать? Это зависит от твоей наблюдательности, твоего понимания и ловкости – и прилежания, конечно. Советы

учителя, наблюдение картин и статуй, а всего более наблюдение живой природы, живых лиц, линий, света и теней, и цвета, и изучение красок – и пр., и пр., работы много и для глаза, и для руки, и для ума. Но если ты чувствуешь, что ты хочешь преодолеть трудности и сделаться артисткой, – в добрый путь, милая Тата, работай. Но это не значит, что надо бросить все, кроме живописи; такая специальность невозможна; без сомнения, надо читать – потому что надо понимать; надо учиться музыке, потому что она не мешает, а поможет успехам в живописи. Если ты воспитаешь ухо к пониманию гармонии, это только поможет глазу схватывать такую же гармонию форм и цвета, какая есть в самих звуках. Да главное – и то и другое воспитает чувство изящного (the feeling of beauty[97*]) и научит производить в искусстве. Дело не в том, чтоб так заниматься живописью, что ни на что другое времени не хватит; а надо так устроить свою жизнь, что хотя живопись и главное, а чтоб время хватало и на музыку и на чтение. Чем больше дела, тем жизнь богаче, а при всем этом все имей в виду, что все, чему ты научишься, что́ увидишь и услышишь, все бы тебе помогало задавать себе работу в живописи.

Ну – уж не знаю – ясно ли я тебе объяснил, что думаю. Когда увидимся, поговорим[3]. А покаместь целую тебя в лоб и поручаю поцеловать Лизу.

Твой А г а

Сашу обнимаю.

[1] В *CMRS*, p 485 письмо датировано концом июля 1860 г. Но Огарев в нем отвечает – спустя "десять дней" – на неизвестное письмо Таты из Дрездена, полученное 23 или 24 июля 1860 г. (см. первый отклик на него в письме Герцена к дочери от 24 или 25 июля – XXVII, 79).

[2] Тата, гостившая в Дрездене у М.К. Рейхель, предполагала в конце июля отправиться в Гейдельберг с А.А. Герценом, приехавшим за ней из Берна. (В Гейдельберге в это время находились Н.А. Тучкова-Огарева с Лизой и приехавшая из России сестра Натальи Алексеевны Е.А. Сатина с семьей). Однако Н.А. и А.А. Герцены задержались в Дрездене и выехали оттуда не ранее 5 августа (см. XXVII, 79, 81–86).

[3] В Лондон Н.А. и А.А. Герцены вернулись 21 августа (см. XXVII, 90).

2

⟨Лондон.⟩ Воскресенье, 28 декабря ⟨1862 г.⟩

Вот еще нет от вас писем из Флоренции, милая Тата. Ужасно хочется знать, какое впечатление произвела на тебя Италия и Флоренция[1].

Часто об тебе думаю, и вот пришло в голову сказать тебе кой-какие советы. Послушайся их, я убежден в их правде.

Возьми себе для копии картину кого-нибудь из великих *рисовальщиков* и с трудными фигурами, целую группу – и работай над ней все время, не успокоиваясь, пока копия будет совершенно хороша. Дома рисуй час карандашом с натуры. Возьми женскую голову, потому что мягкие линии труднее резких. – Пока большая копия будет сохнуть, возьмись за копию одной фигуры с Тициана – это для изучения красок, потому что выше колорита венецианской школы ты все же ничего не найдешь. Вечером, в часы досуга, черти в альбоме картинки, т.е. сочиняй картинки, пока изобретешь фигуру или группу, которую тебе захочется выполнить. Тогда пробуй написать свою картину, возьми модели и работай в те часы, когда ты не за большой копией.

Пойми, что для уменья, для ученья, большая копия необходима; а собственное изобретение, самодеятельность точно так же надо прилежно в себе воспитывать. Вглядывайся в людей, вдумывайся в жизнь и в происшествия, воспитывай свое понимание и свою фантазию. Сколько труда, Тата! Но ты его не бойся – в этом вся внутренняя жизнь, все хорошие наслаждения – все благородные печали...

Ну – прощай пока.

Понедельник

Поцелуй Ольгу, кланяйся Мальвиде. Лиза очень мила, но видимо скучает без вас.

[97*] В скобках английский перевод предыдущих слов. – *Ред.*



ТАТА ГЕРЦЕН

Фотография. Лондон, 1858.

На обороте надпись рукой П.В. Анненкова: "Наташа Герцен. 1858"

Музей Герцена, Москва

31 декабря. Вчера пришли ваши письмы[1]. Я ужасно рад, что ты побывала в Италии. Теперь жду подробностей о Флоренции, да не забудь написать – что́ во всем этом говорит и делает Ольга.

Еще несколько слов *о том же*: непременно сочиняй эскиссы; тебе надо понять самое себя, т.е. к какому роду живописи у тебя будет талант: просто ли к наивно-грациозным фигурам, или к очень серьезному роду (историческому) – или к *комическому*. Не пренебрегай и этим: действительно комическое всегда так исполнено или сострадания к людям или мизантропии, что граничит с *трагическим*, от этого-то оно и производит сильное впечатление. Вспомни Гогарта. – Эскиссируя постоянно, ты поймешь свои идеалы и свою дорогу.

Поздравляю вас с новым годом и всех обнимаю и целую.

[1] Тата выехала в Италию вместе с Ольгой.

[2] См. письмо Таты от 25–26 декабря 1862 г. в кн. 2-й наст. тома. Письмо Ольги неизвестно.

3

⟨Лондон.⟩ 9 октября ⟨1863 г.⟩[1]. Ночью

Милая моя Тата, хотел я тебе писать длинное письмо, но едва ли слажу. Вмещу в одну страницу все, что могу. Твоими письмами я чрезвычайно доволен[2]. Они простодушны и милы. Из-за них я угадываю искреннюю, любящую натуру, которая младенчески светла и гораздо глубже, чем может показаться с первого взгляда. Ты, говорят, развилась чтением и наблюдением над художественным миром; но, говорят, сама ты мало работаешь. Я уверен, что работа еще придет. Еще одно серьезное впечатление римской природы и римского искусства да влияние Галле[3] – и ты станешь работать много. "Osez – c'est tout dans les révolutions"[98*], – сказал Мирабо, osez – это все, что тебе недостает в искусстве. Ты мало работаешь из тимидитета[99*]. Я это инстинктивно понимаю и потому говорю тебе: osez! А я хочу, чтоб ты была художником, и потому, что, может быть, *лучше*, изящнее и счастливее ничего нет, и потому, что это настолько развивает понимание и сердце, что человек вдруг становится каким-то центром для всех близких людей. А я убежден, что ты будешь центром всех членов наших семейств, всех больших и маленьких. Выйдешь ты замуж скоро или не скоро – все равно: мы, старые, найдем возле тебя отдых, а малые найдут материнское крылышко. Пойми это положение. А ты поймешь все его изящество, потому что ты можешь быть художником. Стало, и будь художником. Вот и все уписал. А затем целую тебя[4].

[1] Отнесено М. Мерво к 1862 г. (см. *CMRS*, p. 486); передатировано в *Ог. чтениях*, 129. Дата подтверждается упоминанием о впечатлениях "римской природы и римского искусства" и перекличкой основных мыслей письма с письмом Огарева к А.А. Герцену от 12 октября 1863 г. (см. выше).

[98*] "Дерзайте – это все в революциях" (*франц.*)

[99*] робости (от *франц.* timidité).

[2] Письма Таты к Огареву от осени 1863 г. неизвестны.

[3] *Л. Галле*, бельгийский художник исторического жанра, давал в 1862 г. уроки Тате. Осенью 1863 г. она должна была встретиться в Италии с его женой (см. XXVII, 352, 354, 418).

[4] На обороте надпись Н.А. Герцен: "Милый Ага".

4

Richmond, 6, Rothsay Villas, Richmond Hill.
26 ноября ⟨1864 г.⟩[1]

Pour Tata[100*].

Милая, милая моя Тата, спасибо тебе за твое письмо, в котором было столько любви ко мне, что я был счастлив, читая его[2]. Но не тревожься за меня. Я теперь здоров, припадков с тех пор у меня не было, и расположения к ним нет. Жизнь я веду примерную. Уединение мое с прекрасным видом с обеих сторон, с садиками, с чистым воздухом, а между тем середь обитаемой улицы, не то что в пустыне. Уход за мной в доме гораздо аккуратнее, чем что мог сделать Жюль[3], который сильно свихнулся с пути. Но до сих пор не предвидится никакой нужды в больничном уходе, потому что с тех пор, как я веду аккуратную жизнь, я совершенно здоров и не чувствую даже никакого предчувствия нервных волнений. Будь спокойна на мой счет, моя милая, моя добрая Тата; патер[101*] тебе тоже хотел писать[4], следственно, тут нет никакого сомнения. Нефтель сегодня был у меня и помешал мне отправить к тебе письмо. Но зато он нашел меня в таком исправленном виде, что был мною совершенно доволен.

Теперь будет толковать обо мне; поговорим о тебе. Насколько мне жаль, что я тебя не вижу – это ты можешь сама понять; но я чувствую, что тебе там[5] спокойнее и что ты можешь усердно приняться за работу. Работай, моя Тата, работай усердно, – работай ради общего образования, потому что оно даст тебе содержание для мысли и для картины, работай в уменье рисовать и живописать, потому что без этого не пойдешь дальше в искусстве и не дашь своей мысли образа. Теперь я жду обещанных подробностей о вашей жизни и следств⟨енно⟩ о твоей работе, жду с нетерпением. Пиши часто, не забывай меня.

Я спешу кончить, потому что еще хочу сегодня же патеру писать[6]; а теперь 7 час⟨ов⟩. Надо до 9-ти снести на почту, чтоб письмы пошли в понедельник утром и дошли днем раньше. Будущее мое письмо будет подробнее. В заключение одного прошу: вызови в Ольге любовь к *Лизе* и к Лёле[7]; я не могу думать без горя, чтоб они были недружны. – Ну – прощай – обнимаю крепко тебя и жму руку Мальвиде.

[1] Год определяется по указанному в письме адресу (в Richmond Hill Огарев поселился 15 ноября 1864 г.).

[2] Это письмо Таты к Огареву неизвестно. Герцен писал ей 24 ноября: "Письмо твое его сильно тронуло и меня тоже, в нем такая истинная любовь и такое искреннее участие" (XXVII, 530).

[3] *Жюль* – слуга в доме Герцена.

[4] Герцен 21 ноября уехал на континент и написал Тате о здоровье Огарева 24 ноября уже из Парижа (см. XXVII, 530).

[5] Письмо адресовано в Рим, куда Тата вернулась из Англии вместе с Ольгой и Мейзенбуг 6 ноября (с 24 июня по 25 октября они находились в Борнемуте и Лондоне вместе со всей семьей).

[6] Письмо Огарева к Герцену от 26 ноября 1864 г. (полученное адресатом 28 ноября – см. XXVII, 535, ср. 536) неизвестно.

[7] Елена (ее звали в семье Леля-гёрл) – младшая дочь Герцена и Тучковой-Огаревой.

[100*] Для Таты (*франц.*).

[101*] отец (*лат.* pater).

5
Н.А., О.А. ГЕРЦЕН и М. МЕЙЗЕНБУГ

22 декабря (1864 г.). Ричмонд[1]
6, Rothsay Villas, Richmond Hill

Возвратясь сюда[2], моя милая Тата, я нашел ваши письма с поздравлением меня с днем рожденья[3]. Добрая моя, милая моя Тата – и рад я был письмам, и горько мне было это поздравление с таким страшным вступлением в 52-й год моей жизни. Ты уже, вероятно, все знаешь[4]. Лёли я не застал, приехавши в Париж. Боя застал больным и на первый взгляд был уверен, что он умрет; но доктор так был уверен, что он его спасет, что я сам поверил и дня три был утешен – как вдруг болезнь опять явилась, и на другой день Бой умер. Как мучительно его лечили разными прижиганьями – я теперь не могу вспомнить об этом без содроганья. Ненужной операции мы не допустили, довольно того, что девочку ею помучили. Хорошо было и без операции; я такого медицинского палачества и такой страшной боли *не видывал*! Бедный мальчик! Несмотря на это он умер тихо под конец, игрушки остались в руках; только за несколько минут до смерти с испугом посмотрел – нет ли тут докторов, которых он боялся, как палачей. Натали с Лизой мы наскоро отправили в Монпелье, чтоб удалить от эпидемии. Мой благородный друг – m-me Сальяс – провожала их до Дижона[5]. Мы похоронили, т.е. свезли в caveau[102*], бедного мальчика. Потом Герцен поехал в Монпелье; я боялся ехать по болезни; дождался в Париже телеграммы о том, что Лиза вне опасности[6], и приехал сюда продолжать леченье у Нефтеля. Не тревожься о моем здоровье, Тата; я все сделаю, чтобы оправиться и быть для всех вас полезным. Я всю жизнь мою так устроил и много имею надежды на выздоровление. Натали в ужасном положении. Потеря детей, особенно Лёли, которую она любила с фанатической страстью, мысль о том, что дети погибли от ее поездки, – все делает ее положение ужасным. Да, моя Тата, протяни ей руку с той любовью, к какой ты способна; люби Лизу как сестру, выучи Ольгу тому же; в том, что Мальвида в трагическое время станет выше всякой личности – я не сомневаюсь. Поддержите, покаместь письменно, силы Натали для Лизы, помогите ей после исправить в Лизе многое, что испорчено, но что не мешает еще светлой и умной натуре взять верх. Да, я уверен, моя Тата, что ты все это сделаешь, потому что я в тебя как-то особенно, бесконечно верю. – Теперь работай; я рад видеть из твоего письма, что ты работаешь и помогаешь Ольге развиваться. Я не сомневаюсь в способности Ольги к изящному развитию, и ты через какой-нибудь год увидишь ее совсем иною, вышедшею из ребячества в милое и умное существо. – Я сам уйду в леченье и работу, сохраню мою скорбь как святыню, но постараюсь жизнью стать выше скорби и быть небесполезным последние годы жизни. – Да! еще одно надо тебе сказать: Мари[7] ходила за Боем, как мать; я вынес из этого тяжелого времени – глубокое уважение к ней; столько любви и самоотвержения и я не думал в ней найти. Вспомни это – когда встретишься с ней.

Ну, теперь прощай пока, моя Тата. Пиши ко мне. Мне твои письмы нужны, ты для меня, как родное дитя.

Твой А г а

Я спас забытый тобой портрет с модели (профиль), он немножко попорчен. Я его присвоил себе.

Liebe Malwida, danke für Ihre guten freundlichen Zeilen. Ich wollte Ihnen viel schreiben, aber ich lasse es für das künftige Mal; ich habe an Tata geschrieben und fühle mich ganz erschöpft fürs schreiben. Sie wird Ihnen erzählen, wie der arme Knabe gestorben ist. Also ist Lisa allein übrig geblieben. Die Lage der Mutter ist schrecklich. Ich will arbeiten und gesund

---

[102*] склеп (*франц.*).

werden. Das ist alles, was ich für's heute sage. Ich drücke Ihnen die Hand. Es ist Nebel hier, aber es ist mir doch nicht so schwer als in Paris.

Ihr Freund O g a r e f f[103*]

Милая Ольга, спасибо за твое письмо. Ты знаешь все наше горе. Умей его понять и сердцем разделить. Лиза осталась одна; люби ее, как сестру. – Что ж еще тебе сказать? Говорят, ты все же получше учишься, чем прежде. Пора, моя милая Оля, скоро уж ты будешь не ребенок; надо быть посерьезнее. А вот когда встретимся, ты мне так хорошо сыграй на фортепьяно, чтоб я мог заслушаться. Покаместь крепко целую тебя. Погладь от меня Линду[8].

Твой А г а

[1] Год определяется сообщением о смерти младших детей Герцена и Тучковой-Огаревой – Елены (Лёли) и Алексея (Боя), умерших от дифтерии в Париже в ночь на 4 и 11 декабря 1864 г.

[2] В связи со смертельной болезнью детей Огарев выехал в Париж 5 декабря; вернулся в Лондон 19 декабря.

[3] Поздравления ко дню рождения Огарева (6 декабря) содержатся в письме Н.А., О.А. Герцен и Мейзенбуг к нему от 28–30 ноября (авт. *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 455, л. 11–12об.).

[4] О смерти близнецов Герцен писал Тате 5 и 11 декабря (XXVII, 543).

[5] Тучкова-Огарева с Лизой отправились из Парижа в Монпелье в ночь с 12 на 13 декабря в сопровождении Е.В. Салиас де Турнемир.

[6] Герцен выехал из Парижа в Монпелье 15 декабря, а 17-го послал телеграмму Огареву о здоровье Лизы (неизвестна – см. XXVII, 544–545, 922).

[7] *Мари* – горничная в доме Герценов, сопровождавшая Тучкову-Огареву и детей в Париж.

[8] *Линда* – собака Ольги, подаренная ей Огаревым.

6

⟨Ричмонд. Начало февраля 1865 г.⟩[1]

Милая Тата, давно я к тебе сбираюсь писать, все хочется писать так много, и все не удается. То ради "Колокола" читаю газеты месяца за два и устаю; то напишешь заметки, то записку или письмо к папе – и нет больше сил на что другое. Лучше уж напишу сегодня не больно длинно, но напишу. Я начал уставать с этой болезнью, которая, собственно, развилась с приезда из Парижа, несмотря на примерно-умеренную жизнь и ношение заволоки (séton) на затылке. Я думаю, это скоро перевернется к лучшему, но это время очень утомило меня. Так что я большой работой не могу похвастаться, большой прогулкой даже не могу похвастаться, а все время уходило в какой-то усталости. Но чувствую, что начинаю оживать, и, должно быть, скоро похвастаюсь работой не хуже тебя. А тебя дай мне благословить за то, что ты серьезно работаешь; без этого действительная человеческая жизнь невозможна.

Со слезами на глазах благодарю тебя за любовь к Лизе (мне прислали ее чудесный фотограф). Ты увидишь, Тата, что она ни к кому не будет иметь такого доверия, как к тебе; ты из нее чудеса сделаешь. Горе убивает Натали; но мне страшно, что она своим горем, имеющим весь колорит отчаяния, от которого человек отказаться не хочет, мне страшно, что она своим горем смутит детский мозг Лизин. Страшно, а теперь еще страшнее было бы самому к ним ехать; я все делаю, чтоб восстановить здоровье так, чтоб я был полезен, и надеюсь, что к апрелю достигну – если не до совершенного излечения – то до такого положения, что я безопасно и усердно могу быть всем вам на что-нибудь пригоден. А покамест пусть патер хлопочет, иначе нельзя[2].

Ты, верно, ждешь моего письма и от этого остановилась писать. А я хочу, чтоб ты мне все рассказывала, как в прошлом письме, – где, что работаешь, с кем видаешься и пр.

[103*] Дорогая Мальвида, благодарю за ваши добрые дружеские строки. Я хотел писать вам много, но оставляю это до будущего раза; я написал Тате и чувствую, что у меня совсем нет сил писать еще. Она вам расскажет, как умер бедный мальчик. Итак, Лиза осталась одна. Положение матери ужасно. Я хочу работать и оправиться от болезни. Это все, что я скажу сегодня. Жму вашу руку. Здесь туман, но мне все же не так тяжело, как в Париже. Ваш друг О г а р е в (*нем.*).

У нас все был мороз и солнце[3] (а в Лондоне, говорят, туман) – а сегодня и здесь туман и дождь. Скверно, но я сегодня был довольно свеж и много работал, – стало, доволен.

Письмо твое прислали по почте из Лондона Швабе[4], и с тех пор у меня, черт знает почему, всё стихи в ушах:

Brief und Schwabe sind in Wagen,
Und der Wagen rollt am Strand,
Nur ein Schwabe kann dich tragen
In das weite Schwabenland[104*].

Прощай, моя Тата. Пиши к Натали, не покидай ее. Горе ее страшно перевернуло, а может, и изменило многое, многое... Дай твою добрую руку и прощай.

[1] Написано вскоре после предыдущего. Огарев отвечает – с некоторой задержкой – на неизвестное письмо Татьяны о недавнем получении которого он писал Е.В. Салиас де Турнемир 19 января, добавляя: "Что это за мягкое, доброе, светлое созданье! Под влиянием этого доброго, любящего взгляда Лиза должна сделаться сама собой" ("Лит. наследство", т. 61, с. 842).

[2] Герцен 31 января приехал из Монпелье в Париж, где находился до 11 или 12 февраля, занимаясь устройством дел, связанных с предстоящим переездом из Англии на континент.

[3] Очевидно, реминисценция из стихотворения Пушкина "Зимнее утро" ("Мороз и солнце; день чудесный!"). Ср. п. 14 и прим. 6 к нему.

[4] Салис-Швабе, приятельница М. Мейзенбуг, находилась зимой 1864–1865 г. в Риме. Очевидно, письмо Н.А. было отправлено для пересылки Огареву на адрес родных Салис-Швабе в Лондоне. В стихах каламбурно использовано созвучие ее фамилии и обозначения жителя средневекового герцогства на юге Германии.

7

⟨Женева. Около 30 июня 1867 г.[1]⟩

Милая моя Тата, давно сбираюсь благодарить тебя за все твои хорошие письмы ко мне и к папе[2]. Я из них вижу твою добрую душу и твою любовь к Лизе – и, если б это было можно, еще больше люблю тебя. Веселости все это мне не прибавляет, друг мой, несмотря на твой естественно веселый нрав, который пробивается невольно в каждой странице. Но будь тверда в добром деле, моя Тата, это твоя огромная заслуга.

"Колокол" на время прекращается[3], и я, признаюсь, не недоволен этим. Во-первых, я примусь не за газету, а за книгу или книги, к чему чувствую неодолимое влечение; а во-вторых, эта приостановка может повести к больше влиятельному труду[4]. Посмотрим!

Скажи, пожалуйста, – брала ты у меня 1-й том математики Francœur'a[5] и где ты его оставила? Не то чтоб он мне был необходимо нужен, а то, что я его отыскать не могу и хочу только знать его пребывание. Украсть его у меня никто не мог, а все же не могу найти. Разве отыскался бы при переворачивании всей моей библиотеки (которая в порядочном беспорядке), но это переворачивание так скверно действует на мои нервы, что никак не могу на него решиться. (Все это Лизина matérialité[6]). А впрочем, я скорее здоров, как бык, чем что другое. Только некоторые волнения – материальные и нравственные – могут на меня дурно действовать. Напр⟨имер⟩, отыскиванье чего-нибудь, неприятные слухи, неприятные движения – и внутренние печали. А в сущности здоровье гораздо лучше, чем было.

Итак, папа скоро будет с тобой![7] Ты меня все же не забывай и пиши как можно чаще. Право, мне твои письмы так близки и дороги сердцу, что тебе будет грех, если мало станешь писать. А ты мне – помимо картины baigneuse[105*] и игры на фор-

---

104* Письмо и Швабе в карете,
И карета катит вдоль берега,
Лишь шваб может перенести тебя
В далекую Швабию (*нем.*).

105* купальщица (*франц.*).

тепьянах с Лизой – ничего не сказала о том, что́ серьезно рисуешь и что́ серьезно поешь. Об этом прошу отчета[8].

Обнимаю тебя как 2-й pater, и addio.

Твой А г а

Папа Ольге покупает часы.



ЛИЗА ГЕРЦЕН

Портрет работы Таты Герцен (масло), 1867

Собрание Жанны Амфу-Моно, Париж. Воспроизводится по репродукции в книге: Alexandre Herzen. Lettres inédites à sa fille Olga. Paris, 1970

Повторение этого портрета, выполненное Татой Герцен для Огарева, Герцен привез ему в Женеву 3 ноября 1868 г.

[1] В *CMRS* (p. 497) письмо ошибочно отнесено к началу июля: передатировано нами в *Ог. чтениях*, 131. Дата подтверждается соотношением с ответным письмом Таты от 3 июля 1867 г. (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 455, л. 33–34; часть опубликована в "Лит. наследстве", т. 63, с. 462–463); написано до отъезда Герцена 1 июля из Женевы в Берн.

[2] Речь идет о письмах в Женеву из Ниццы, куда Тата приехала к Тучковой-Огаревой и Лизе 23 мая (см. XXVII, 104). Сохранились ее письма к Герцену от 27 мая, 4, 12 июня (кн. 2-я наст. тома) и совместное с Лизой к Огареву от 1–9 июня (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 455. л. 29–30 об.).

[3] В л. 244–245 "Колокола" от 1 июля 1867 г. (вышел 29 июня – XXIX, 135), в передовой статье Герцена "1857–1867" было заявлено о приостановке издания "на полгода" (XIX, 286–287, см. также 487–488). Здесь же было напечатано стихотворение Огарева «До свиданья ⟨Смолкает "Колокол" на время...⟩» (*Огарев 1956*, с. 337–338).

[4] Очевидно, здесь отразился, в частности, замысел издания "в конце года" "Сборника" "новых статей" редакторов "Колокола", о котором Герцен писал в статье "1857–1867" (XIX, 287; см. также 331). Он рекомендовал Огареву переделать для этого издания его книгу "Essai sur la situation russe". L., 1862 (см. XXIX, 153, 159, 173 и др.). В ходе работы над сборником замысел перерос в план французского "Kolokol" (выходил с 1 января по 1 декабря 1868 г., № 1–15), куда и вошел его материал.

[5] Речь идет о популярном учебнике: L.-B. F r a n c œ u r. Cours complet de mathématiques pures (выдержал в Париже множество изданий). 3 июля Тата отвечала: "Книги о математике я никогда у тебя не брала, и у N⟨atalie⟩ нет" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 455, л. 34).

[6] В письме к Огареву от 9 июня Тата передала свой разговор с Лизой, в котором та заявила: "Les femmes abusent de leur matérialité" ("Женщины злоупотребляют своей материальностью" (*франц.*). Там же, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 455. л. 30 об.).

[7] Герцен выехал из Женевы в Ниццу 9 июля.

[8] В своем ответе от 3 июля Тата писала: "Ты спрашиваешь тоже, что́ я сама делаю. Ты понимаешь, что я почти целый день с Лизой, свободные минуты мы большей частью посвящали чтению ⟨...⟩ Ты из моих писем к Наташе, верно, знаешь, что́ я читала, теперь же мы кончили мемуары Benvenuto Cellini, роман George Sand'a "Le château des Désertes" ("Лит., наследство", т. 63, с. 462).

8

⟨Женева.⟩ 493, Пти философ
7 июня ⟨1868 г.⟩ (воскресенье)[1]

Вот уже сколько дней получил твое письмо от 28 мая, моя милая Тата, и всякий день сбираюсь к тебе писать и все не мог собраться. Вчера и сегодня нахожусь в большом волнении. По моему расчету следовало, чтоб вчера или сегодня – pater приехал повидаться со мной из Лиона, а выходит, что не только этого не могло случиться, но что одно мое письмо к нему в Лион пропало (чего бы мне очень не хотелось).

Тем не меньше – вчера вечером мне казалось, что он хоть поздно, но непременно приедет, и я сидел, прислушиваясь ко всем уличным звукам, с биением и замиранием сердца, как школьник, ожидающий первого свиданья, так мне его хотелось видеть. Должно быть, на днях приедет[2]. – А квартира моя чудесная, чуть ли не лучше Пти Ланси[3]. Я окружен садами, даже у нас свой садик – такой зеленый, что не хуже никакой Италии, с розанами, земляникой, вишнями и виноградом. Это и маленького и М⟨ери⟩[4] в восторг приводит. Он, т.е. маленький, чрезвычайно мил, и верхняя часть лица очень напоминает – кого именно из вас не знаю, но только что тип семейный сохранился. Он ходит в Киндергартен[106*], где его очень любят, и он судьбой очень доволен. – Ты не можешь себе представить, с каким наслаждением я читал твое описание Пизы[5]. Это скучное место – одно из моих любимых, я там долго жил в совершенном одиночестве. И еловый лес помню, и его запах, а с ним вместе помню и Россию... Ведь я все еще дикий, Тата!

Что это за казус с бедной Терезиной! Впрочем, с тех пор как она воспитывалась у старика, прошло много времени; может, они друг другу и не понравились бы...[6]

Скажи Саше, что я ему написал письмо о сновидениях, но никак не могу решиться, просто ли переписать и послать, или вместо переписыванья перевести на французский язык, или ты переведешь?.. Еще подумаю дней несколько, а может быть, и больше[7].

Прилагаю письмо Ольге и Мальвиде[8]. Как это ей через 20 лет с сестрами захотелось видеться?[9] Это такой срок, после которого человек может быть только доволен, что расстался.

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе кланяются. Он работает исправно, и она хозяйничает with passion[107*]. Она же перевязывает мою бедную ногу, которая нисколько не болит и движется исправно, но которую Майор все же не выпускает из лубка, потому что одна кость (tibia) давно срослась вся совершенно, а маленькая кость с другой стороны срослась слабо, и он боится снять один лубок, чтоб как-нибудь не свихнулось. Впрочем, должно быть, скоро выпустит. – Жарко, голова тяжела, сплю скверно, а ем отлично; пью воду, которая здесь (в нашем колодце) очень хороша.

Фогт у меня был. Люблю смотреть на его брюхо, когда он смеется! Но какой же он затаенный немец и враг всего русского и славянского! Как он ни скрывает этого, а просвечивает сильно и неприятно.

Жду Пана. Когда придет – допишу.

Катенька[10] мне прислала восхитительного варенья.

Патер и сегодня не приедет[11]. – Есть письмо от Нефтеля из Нью-Йорка[12].

Портрет Лизин чудесный[13].

Тх⟨оржевский⟩ тебе кланяется.

[1] Огарев отвечает на письмо Таты от 28 мая 1868 г. (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 5–7 об.; часть опубликована в "Лит. наследстве", т. 63, с. 464–466).

[2] Герцен с Тучковой-Огаревой и Лизой приехали в Лион из Ниццы 3 июня с тем, чтобы 9-го или 10-го отправиться далее в Кольмар и Мюльгауз. 4 июня в письме к С. Тхоржевскому он высказался предположительно: "Не приехать ли мне отсюда дни на два к вам в Женеву?" (XXIX, 358), что и дало Огареву основания ждать Герцена в ближайшие дни. Однако 7 июня Огарев получил его письмо от 6 июня, в котором тот объяснял, что Огарев и Тхоржевский будут предупреждены заранее, если поездка состоится; он сетовал на то, что не дошло письмо Огарева от 3 июня (было получено Герценом 7 июня – см. XXIX, 359–360). Герцен приехал в Женеву навестить Огарева 10 июня и вернулся в Лион 13-го или 14-го (XXIX, 365, 366, 367).

[3] Огарев, живший с начала апреля 1866 г. в пригороде Женевы Petit Lancy, переехал на новую квартиру, по указанному в письме адресу, 8 мая 1868 г. (см. XXIX, 329). 28 мая Тата писала ему: "Ты, верно, жалеешь Petit Lancy, дорогой Ага? Или приятно себя чувствовать большим философом на chemin des Petits Philosophes ⟨улице Маленьких философов⟩?" (Тата перефразирует здесь – и далее приводит – шутку Герцена из письма к ней от 2 мая – ср. "Лит. наследство", т. 63, с. 466, и XXIX, 329).

[4] Пятилетний сын А.А. Герцена Александр (Тутс) с мая 1867 г. жил у Огарева и его подруги Мери Сетерленд.

[5] О посещении Пизы и леса Гомбо см. в письме Таты от 28 мая ("Лит. наследство", т. 63, с. 464–466).

[106*] детский сад (*нем.* Kindergarten).

[107*] с увлечением (*англ.*)

[6] Терезина Феличи, дочь флорентинского слесаря, работала на фабрике; невеста А.А. Герцена с июля 1867 г. (см. выше письма Огарева к нему от13 и 29 июля 1867 г.). Тата 28 мая писала Огареву, что "устраивает гардероб Терезине", готовящейся к свадьбе (состоялась 6 августа; об истории этой женитьбы, описанной в воспоминаниях Таты, см. публикацию Л.Р. Ланского "Неизданное, затерянное, забытое". – "Как женился сын Герцена" ("Наука и жизнь", 1974, № 10, с. 125–127). – В письме к Огареву Тата рассказала и о поездке Саши с невестой в деревню "близ Пистойи", в которой "она провела первые годы детства" в семье бездетного крестьянина – "старика Валентино", где "ее очень любили". Однако Валентино умер за две недели до ее посещения и перед смертью постоянно вспоминал ее, повторяя, что "единственное желание его – это собрать силы и доехать до Флоренции, взглянуть на Терезину ⟨...⟩ Она была очень огорчена. Бедный старик!" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 6 об. – 7 об.).

[7] Статья "Несколько слов о сновидениях. (Письмо к другу А. Герцену II)" была переписана Татой, приехавшей в Женеву около 18 июня, датирована 28 июня и послана Огаревым А.А. Герцену с письмом от 2 июля (см. это письмо Огарева в наст. книге). Впервые опубликована в журнале "Философские науки", 1966, № 3, с. 97–100.

[8] Письмо к Мейзенбуг от 6 или 7 июля см. ниже в наст. книге; письмо Огарева к О.А. Герцен неизвестно.

[9] Тата сообщила Огареву, что Мейзенбуг намерена ехать с Ольгой Герцен в Крейцнах "для здоровья и чтобы повидаться с сестрами" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 6). См. также письмо Таты к Герцену от 5 июня в книге 2-й наст. тома.

[10] Е. Владимирова, приятельница Таты.

[11] Начало приписки на полях первого листа, сделанной, очевидно, после прихода Тхоржевского с новыми известиями от Герцена.

[12] Письмо В.Ф. Нефтеля неизвестно.

[13] В конце мая (до 25) Герцен заказал ниццкому фотографу два портрета Лизы; один – "премилый и похожий" – 29 мая послал Огареву и оба 1 июня – Тате (XXIX, 345, 350, 355; эти фотопортреты неизвестны; один из них описан М.К. Лемке – см. "Лит. наследство", т. 63, с. 754, 791). В письме говорится о какой-то из этих фотографий, полученной обоими корреспондентами, а не о портрете маслом работы Таты, как указано в комментарии М. Мерво (*CMRS*, p. 502). Из письма Таты к Огареву от 16 ноября явствует, что автокопию этого портрета, сделанного ею в 1867 г. (см. *LHO*, 61) и затем повторенного для Огарева, Герцен вручил ему при свидании в Женеве 3 ноября 1868 г. (XXIX, 486; "Лит. наследство", т. 63, с. 467).

9

⟨Женева.⟩ 1 июля[108*] ⟨1868 г.⟩ Суббота[1]

Вот это как давно к тебе не пишу, моя милая Тата! Где ты, не знаю[2]. Твоего последнего письма ко мне не могу сыскать, должно быть, я его с рукописью[3] отправил к Саше или заложил в книгу, так что не найду. Все эти дни работал для "Колокола"[4] и хворал ни для кого. Устал порядочно, так что и теперь еще не на многое гожуеь. Надоело мне это отчасти; даже ногой не совсем доволен, а впрочем, ничего особого нет – только устаю так, что работать трудно. – Приходила ко мне 31-го дня m-lle Portugal с товаркой, обе начальницы Kindergarten'a. Ужасно желают на ваканции (на месяц) взять Тутса. Как ты думаешь? – Я отдам, все же он там больше выучится, чем у нас? Напиши сейчас.

Что же тебе еще сказать?

Чуть в окны день глядит светлея;
Проснувшись, вижу на стене –
Почтенный образ Галилея,
Твоей рукою данный мне.

И мысль живую будят кстати
С приходом утренних минут –
Науки ясной ровный труд
И память светлая о Тате...[5]

Засим прощай.

Жду о патере вести, уже три дня не знаю, где он может быть. В Берне вы, что ли?[6] Посылаю все Тх⟨оржевскому⟩ – письмы, твою арию и "Позитивн⟨ую⟩ философию"[7].

[108*] В автографе описка: июня. – *Ред.*

Я писал Герц⟨ену⟩[8]. Твоих писем Генри не отдают – может, потому, что их нет; но говорят, что без твоего особого приказания никому не выдадут.

Кланяйся Рейхелям. Хотел бы взглянуть на них!

[1] Ответ на письмо Таты от 2 июля 1868 г. из Берна (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 8; часть опубликована в "Лит. наследстве", т. 63, с. 467).

[2] Тата приехала из Флоренции в Женеву около 18 июля навестить Огарева. 30 июня она отправилась в Берн для встречи с Рейхель и ее семьей, чтобы затем присоединиться к Герцену, Тучковой-Огаревой и Лизе, путешествующим по северной Швейцарии (см. XXIX, 369, 371, 379, 399).

[3] Речь идет о рукописи Огарева "Несколько слов о сновидениях" (см. прим. 7 к п. 8).

[4] В № 10 "Kolokol" от 15 июля напечатаны следующие работы Огарева: "La Russie actuelle et son développement" (гл. XII), "⟨Enfin la police s'est heurtée à la réforme judiciaire...⟩" "⟨Les divers pouvoirs administratifs des provinces...⟩".

[5] В стихотворении упомянута копия с портрета Галилея кисти неизвестного итальянского художника XVII в., сделанная Татой, очевидно, во время пребывания в Брюсселе в октябре-ноябре 1862 г. и подаренная Огареву (см. XXVII, 271, 360). Об этой же копии Огарев писал в мемуарном очерке "С утра до ночи": "Работа в самом деле превосходная; да и лицо превосходное – умное, твердое, спокойное... Что это должно быть был за человек)" (*Огарев* II, 188). См. также стихотворение Огарева 1876 г. "На твоего смотрю я Галилея..." (*Н.П. Огарев*. Стихотворения и поэмы, т. II. М., 1938, с. 402).

[6] После письма Герцена из Люцерна от 8 июля (о предстоящей поездке в Берн 10 июля) следующее его письмо к Огареву было написано из Берна 11 июля. Приехав туда для встречи с умирающим кн. П.В. Долгоруковым (при больном находился также С. Тхоржевский), Герцен 13 июля вместе с Татой выехал обратно в Люцерн, где находились Тучкова-Огарева с Лизой (XXIX, 405–406, 409).

[7] "Revue de la Philosophie Positive" – журнал, издававшийся в Париже Г.Н. Вырубовым и Э. Литтре с 1867 по 1887 г.

[8] Вероятно, речь здесь идет о письме Огарева от 5 июля, в котором он просил передать Тате, что Г. Сетерленду не выдают адресованные ей письма ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 490).

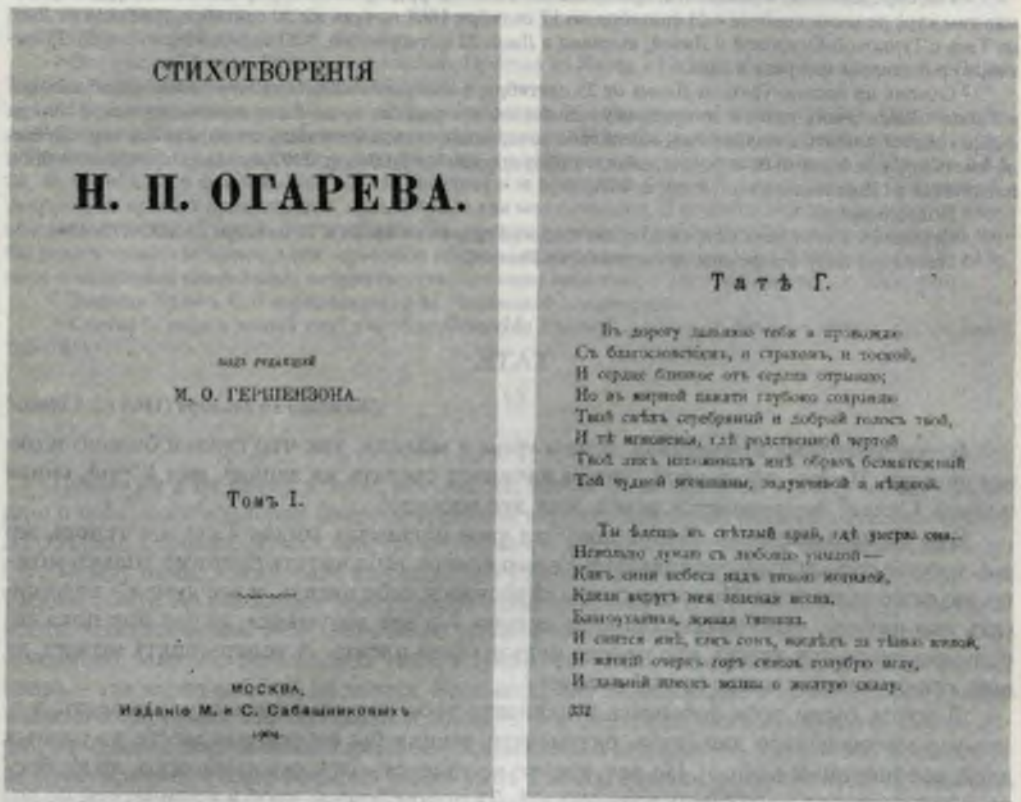
10

⟨Женева.⟩ 21 окт⟨ября 1868 г.⟩. Середа[1]

Где вы? Что вы? моя милая Тата! Ждал вчера и сегодня письма, но тщетно. Должно быть, вы двинулись из Виши. Смотрите, берегитесь Лионско-Швейцарской дороги – там что-то попортилось. Тх⟨оржевский⟩ мне сказывал, но я в газете не сыскал.

Вот уже скоро месяц сбираюсь к тебе писать. Пора собраться, иначе, пожалуй, отложишь до твоего приезда, тогда ты надо мной станешь смеяться. – Хотелось бы мне знать – как тебе прожилось это время? Молодого, симпатического общества, вероятно, не встретилось. Стремление к нему я очень понимаю; если б его не было – только было бы странно и неестественно[2]. Но что мудрено, моя Тата, это найти молодое, симпатическое общество. Не Катенька[3] же к нему причислится! Она скорее одно из живых доказательств, как трудно встретить симпатическое молодое лицо. Слишком понятия перемешаны, слишком занятия перемешаны, слишком положения перемешаны. Чем больше думаю, тем меньше мне кажется возможность встретить кружок, в который бы можно войти, который был бы не чужой. Да ты это, вероятно, и поиспытала. А признаюсь, я об этом часто думаю и задаю себе вопрос: неужели же Тате не встретится кружок равнолетний, где бы она была дома, где бы был отзыв не только на все серьезное, но и на все веселое? Неужели один исход: одинокое углубление в науку, в специалитет[109*]? Для этого надо воспитать в себе страсть к науке, страсть к специалитету; да и для того, чтоб воспитать в себе эту страсть, надо кружок, который бы на нее отзывался, который бы ее в себе воспитывал. Иногда мне кажется, что ты способна к этой страсти, единственной, которая вносит в жизнь постоянно развивающийся, а не мимоходный, не надоедающий элемент. Но также кажется, что тебе нет в этом достаточной поддержки. Мы стали стары, дети еще малы. Откуда же взять этого постоянного подстрекания к развитию, к работе, даже к такому развлечению и отдыху, который бы согласовался с главным стремлением, с главной задачею, самой себе поставленной? До сих пор ничего не могу придумать, Тата, как только сказать тебе: ищи силы в самой себе, ищи серьез-

[109*] специальность (*нем.* Spezialität).



СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. П. ОГАРЕВА.

подъ редакціей

М. О. ГЕРШЕНЗОНА.

Томъ I.

МОСКВА.
Изданіе М. и С. Сабашниковыхъ

Татѣ Г.

Въ дорогу дальнюю тебя я провожаю
Съ благословеніемъ, и страхомъ, и тоской,
И сердце близкое отъ сердца отрываю;
Но въ жизни памяти глубоко сохраню
Твой свѣтлый серебряный и добрый голосъ твой,
И тѣ мгновенья, гдѣ родственной чертой
Твой лицъ напоминалъ мнѣ образъ безвозвратный
Той чудной женщины, задумчивой и нѣжной.

Ты ѣдешь въ свѣтлый край, гдѣ умеръ сынъ...
Невольно думаю съ любовью умной —
Какъ сини небеса надъ тихою могилой,
Какъ вьются тамъ зеленая лоза,
Благоухая, жизнь таящая.
И снится мнѣ, сынъ сонъ, всходитъ за тѣнью тѣнью,
И жизнь очерк горъ синихъ голубо мглы,
И дальній плескъ волны о желтую скалу.

332

СТИХОТВОРЕНИЕ ОГАРЕВА, ПОСВЯЩЕННОЕ ТАТЕ ГЕРЦЕН (ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ)

"Стихотворения Н.П. Огарева". Том I. Москва, 1904

Написано в декабре 1862 г., перед отъездом Таты из Лондона в Италию. Значительная часть стихотворения посвящена воспоминаниям о ее покойной матери

но, деятельно, – я не вижу иначе спасения. Могут быть, счастливые случаи в жизни, но это свелось бы на веру в судьбу, на гадания и тому подобное; в это уже никто из нас не верит... – Однако поздно! До завтра, Тата. Спи спокойно.

22 ок⟨тября⟩. Четверг

И сегодня от патера нет письма; не знаю, что будет попозже[4].

Составь себе план работы, Тата, и напиши мне об нем. Тогда я увижу, да и ты сама себе уяснишь – какая мысль руководит твоей деятельностью; а это уяснить чрезвычайно важно. В этом уяснении можно найти силы для жизни, которые пока остаются несознанные. Тогда поговорим побольше.

Ты знаешь, что Саша должен вовратиться в Фиренцу[5].

Сегодня holiday[110*]. Тутс прибежал ко мне в 9-ом часу объявить, что он идет верхом ездить. Он ходит играть с маленьким Луи в манеж, к твоему оппоненту. Там его очень любят и раз посадили на лошадь, и сегодня тоже обещались. Он в восторге.

Все тебе кланяются. – М⟨ери⟩ хворает. Я сам простужен шибко, и это приводит меня к разным неприятным ощущениям. Но я думаю, что это ничего и само собой пройдет.

Ну! теперь прощай, Тата, – надо работать. Лизе пишу особо. Что Ольга? Она ко мне не пишет, а я и адреса их не знаю.

Твой папа-А г а

[110*] праздник (*англ.*).

[1] Год определяется, в частности, пребыванием Таты на французском курорте Виши (Герцен принимал там курс лечения диабета с 21 сентября по 17 октября 1868 г., туда же 30 сентября приехала из Лиона Тата с Тучковой-Огаревой и Лизой; выехали в Лион 22 октября – см. XXIX, 445, 452, 467, 473). 21 октября приходилось на среду в 1868 г.

[2] Отклик на письмо Таты из Лиона от 25 сентября, в котором она писала, что "очень рада" поездке в Виши: "Здесь очень тихо; я не предвижу возможности с кем бы то ни было познакомиться, а иногда очень хочется побыть с молодежью, найти себе товарищей, иногда мечтаешь о том, как бы хорошо было иметь кружок знакомых, хороших, симпатичных друзей!" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 9–9об.; цитируется в "Лит. наследстве", т. 63, с. 467).

[3] Володимирова.

[4] Вероятно, в этот день Огарев получил письма Герцена от 18–21 и 21 октября (XXIX, 472–474).

[5] Имеется в виду Флоренция (по-итальянски Firenze).

11
ТАТЕ

⟨Женева.⟩ 16 декабря ⟨1868 г.⟩. Среда[1]

В три часа тьма кромешная. Затем гром и молния, так что глазам больно и окны дрожат. Дождь проливной. Затем начинает светать на западе, над Юрой, синяя полоса, Салев[2] очерчивается резко. Как это хорошо!

Это только введенье. Вчера получил твое письмецо, милая Тата – и теперь верю, что ты совсем выздоравливаешь[3] и что теперь тебе читать будет не только можно, но даже захочется. Поэтому с утра сбираюсь к тебе писать, и все думал – надо писать что-нибудь, чтоб читать было не скучно, – и вот додумался, до тех пор пока середь дня стало так темно, что просто нельзя было писать. А теперь опять можно, да еще как-то самому после грозы веселее.

Я хотел было тебя потешить и написать тебе целую комическую повесть, т.е. мемуар моего целого дня (куда, разумеется, вошли бы избранные места из разных дней, соединенных в одно). Но нет, как-то не удается – отложу немножко, но не брошу этой идеи, она меня очень интересует[4]. Да потом боюсь, чтоб в комическое не вошло чего сумрачного, а теперь тебе еще таких оттенков не надо.

Записки твои раздал, т.е. одну Тх⟨оржевскому⟩, который означенной книги не находит. У меня ее, наверно, нет, я бы помнил; у меня память отсутствует не во всем, а только своим манером, который мне очень интересен для наблюдения. – Другую твою записку послал m-me Чернецка по почте[5].

Что ж еще тебе сказать на этот раз? Мне все эти дни было как-то лихорадочно тяжело, даже нога была беспокойна. Вероятно, после разряжения грозы все будет лучше.

Как же ты могла вообразить, чтобы мне не хотелось к тебе приехать? Ну! а если обошлось без поездки – и то хорошо, потому что поездка была бы все-таки очень мудрена.

Все мои тебе кланяются и вспоминают о тебе с большим участием. Тутс посылает тебе зайца. Извини, что он у меня в кармане завалялся, я было об нем забыл. – Я теперь сильно занят довольно мудреной статьей[6]. – Целую тебя, и Лизу, и Нат⟨али⟩ и addio ненадолго.

Твой п а п а - А г а

Все сбираюсь писать Саше и Ольге и все ленюсь. Писать bonjour[111*] – прощайте – не хочется; писать, что хочется, не соберешься.

На конверте:

France. Nice (Alp⟨es⟩ mar⟨itîmes⟩,
M-lle N. Herzen
Hôtel et pension Suisse
Ponchettes

[111*] здравствуйте (*франц.*).

[1] Год устанавливается по почтовому штемпелю на конверте. 16 декабря приходилось в 1868 г. на среду.

[2] *Салев* – гора невдалеке от Женевы.

[3] Это письмо Таты к Огареву неизвестно. Приехав из Лиона в Ниццу с Тучковой-Огаревой и Лизой, Тата 1 декабря заболела оспой (см. XXIX, 501).

[4] Первое упоминание о замысле мемуарного очерка "С утра до ночи" (*Огарев* II, 184–199), над которым Огарев работал во второй половине января–феврале 1869 г. (и, вероятно, в марте), посылая Герцену и Тате написанные разделы, и затем возвращался к доработке его – в частности, в июле 1869 г. (см. XXX, 24, 38, 45, п. 12). 16 февраля 1869 г. Тата, благодаря за присланное «начало "Дня"», писала Огареву: «Ты непременно пришли продолжение, милый Ага, и как можно скорее. И не бойся (как ты мне говорил в первом письме твоем об этом), что "твой день" не выйдет достаточно забавным. Ведь я уж не ребенок, чтобы искать только забавное, меня серьезные вопросы даже больше интересуют и больше помогают не думать о маленьких ежедневных неприятностях, чем одно забавное» ("Лит. наследство", т. 63, с. 470).

[5] Записки Таты к С. Тхоржевскому и М. Чернецкой неизвестны.

[6] Статья "Голод и новый год" для "Supplément du *Kolokol*" (вышел 17 февраля 1869 г.; см. *Огарев* I, 763–781).

12

⟨Женева.⟩ 7 июля ⟨1869 г.⟩. Середа[1]

Давно же я не писал к тебе, моя милая, милая Тата! Да и ни к кому из вас. Начинаю с тебя возобновление более деятельной корреспонденции. Мне не хотелось писать до отъезда Герцена. Думал, что по его отъезде напишу тебе много утешительного, но (это между нами, Тата) – мне кажется, что у него болезненно развивается не сахар, которого почти не оказалось при разборе специалистом, – а старческая раздражительность, которая мешает ему дать волю развиваться какому-нибудь мнению, кроме собственного. Мне это больно, моя Тата, я думал, что в нас, слишком искренно любивших волю, – эта черта никогда не явится. Вдобавок, ему тяжело жить с этим. Думаю, думаю – как его окружить так, чтоб его успокоить, – и ничего не могу придумать. Плохо верю, чтоб наши жизни пошли вместе...[2] А насколько это больно, Тата, – это я даю тебе на рассуждение. – Лиза остается очень умна и мила; Натали была со мной чрезвычайно хороша в этот приезд. Кажется, все должно было идти как нельзя лучше. А что-то остается тяжелым. Я ли виноват, pater ли раздражителен? Право, не знаю. Знаю только, что это меня давит, как душный воздух сегодня...

Еще я не писал долго, потому что постоянно занят разными предметами, которые надо все свести к концам[4]. От этого все сбирался переписать тебе посвященный тебе мемуар, но ужасно ленив переписывать продолжение и все еще самого мемуара[5] не кончил так, как бы хотелось. Зато теперь тебе посылаю статью для Пинези[6] ⟨...⟩; из французской приписки тебе увидишь, как с оной статьей поступить. Мне бы хотелось тоже, чтоб можно было ее напечатать где-нибудь во французском журнале[112*] или Revue[113*] [7]. Поговори с Сашей об этом; статья подперчила бы забористо всероссийскому престолу – что́ и доказать надлежало. – Работ разных набралось столько, что предметы становятся перебегающими; а самый перебегающий предмет это Тутс, который все же очень мил, очень остроумен, но – несмотря на мнение Герцена – слишком мал для пансиона; год-другой надо подождать[8]. Теперь он немножко кашляет; Герцен все обещался мне дать ваш рецепт от кашля (катарального) и уверен, что дал его, а между тем не давал; стало, ты мне его пришли, немедля. К Саше я стану писать через неделю. Idem[114*] к Ольге, которую крепко целую за ее письмо[9]. Кто в нее верил? Я в нее верил и не ошибся.

Левье поступил молодцом с Володей[10] – честь ему и слава! Надеюсь, что теперь все идет хорошо? Но ты пиши ко мне, Тата, без известий оставаться нельзя. Что же Саша? Что Терезина?

Ты с ума свела Пана[11]. Он все ходит на амбаркадер и ждет m-me Schiff, которая до сих пор не приезжала. Wie kann ein Schiff zu Land kommen?"[115*] [12]

[112*] газете (*франц.* journal).

[113*] обозрение (*франц.*).

[114*] также (*лат.*).

[115*] Как может корабль попасть на сушу? (*нем.*). Здесь игра слов: *фамилия* Schiff и *слово* Schiff (корабль). – *Ред.*

Лизавет Ал. завтра едет в горы. Ольга вчера меня узнала! Обе маленькие – пышки и веселенькие. Тутс у них был со мной, с Мери и с Тх⟨оржевским⟩.

Бак⟨унин⟩ обварил себе ногу и все лежит. Вчера Черн⟨ецкий⟩ сказывал, будто ему хуже. Я писал к Майору[13], чтоб съездил к нему тотчас. Жена его в Италии – он один. Если хуже пойдет – не знаю, что́ делать.

Прощай, моя милая Тата, крепко обнимаю тебя. Пиши, не забывай – хотя бы я сам и ленив был при разнообразии работ – ты-то мне все же мстить не станешь.

Жму руку Мальвиде.

Мои все тебе кланяются. Тутс всех вас помнит необычайно и часто говорит о тебе, о Терезине и об Ольге в особенности.

Chère Tata,

C'est une tâche bien difficile de répondre aux questions de m-r P⟨inesi⟩, car ce qui est le plus confus par rapport au clergé russe – ce sont les données statistiques, ou plutôt elles manquent complètement.

J'ai employé huit jours à trouver les quelques résultats que voici, et m-r P⟨inesi⟩ peut en disposer à son gré; seulement je le prie de ne pas mentionner mon nom en citant les choses.

Ton dévoué A g a[116*]

P.S. Еще я потерял 1-й том Свода законов, что мне много помешало в работе и много отняло времени в бесполезном лазанье по шкапам.

Еще P.S. 8 июля. Четверг. Вчера больной Бак⟨унин⟩ приехал ко мне и помешал мне работать. Посылаю письмо днем позже. Обратите внимание на мою статью для Пин⟨ези⟩, и если можно напечатать ее где-нибудь во французских журналах, то сделайте тотчас.

У нас воздух удушлив. У Генри и других детей в доме начинается холера. Дел много и некогда.

[1] Год определяется по содержанию письма.

[2] 20 июля Тата отвечала из Ливорно: "Что ты мне пишешь о Папаше, о его раздражительности, меня очень, очень огорчает. Помнишь, я тебе писала из Ниццы, как меня огорчала его вспыльчивость, доходящая до какого-то болезненого отчаяния fur nichts und wieder nichts ⟨из-за совершеннейших пустяков⟩? Нет, добрый Ага, никогда не устроится общая жизнь, я в этом убеждена..." (Лит. наследство", т. 63, с. 471). Сомнения Огарева и Таты связаны с проектами Герцена вновь собрать семью в Брюсселе или Париже, убедить и Огарева переехать туда.

[3] О прогрессирующей раздражительности Герцена Огарев не раз сигнализировал и ему самому.

[4] К этому времени относится, в частности, начало работы Огарева над очерком "В память людям 14 декабря 1825" (*Огарев* I, 782–799), изданном в Женеве отдельной брошюрой в первой половине сентября (см. XXX, 196). Именно в одном из не дошедших до нас июльских писем Огарев рекомендовал Герцену книгу мемуаров декабриста бар. А.Е. Розена ("Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen". Leipzig, 1869; см. XXX, 158), ряд сведений из которой используется им в брошюре (см. *Огарев* I, 785, 789, 791–792, 859).

[5] Мемуарно-теоретический очерк "С утра до ночи" (см. п. 11 и прим. 4 к нему).

[6] Так Огарев вначале писал фамилию слепого итальянского музыканта и литератора гр. Пенизи, приятеля Таты во Флоренции.

[7] Статья на французском языке о русском духовенстве, которую Огарев написал по просьбе Пенизи (ср. XXX, 139, 143, 144; см. также "Лит. наследство", т. 39-40, с. 341), напечатана, по-видимому, не была. Опубликована впервые С. Переселенковым вместе с французской частью наст. письма, по черновику из записной книжки Огарева в "Лит. наследстве", т. 39-40, с. 336–341. Адресатом письма считался А.А. Герцен (см. также т. 61, с. 921; *ОРО*, 129).

[8] Герцен в письме к Огареву от 2 июля и к А.А. Герцену от 5 июля высказывал мнение, что Тутса следует отдать в пансион (см. XXX, 145–147).

[9] Эти письма неизвестны.

116*

Дорогая Тата,

Это весьма трудная задача – отвечать на вопросы г. П⟨инези⟩, статистические данные, касающиеся русского духовенства, сильно запутаны, или, вернее, они совершенно отсутствуют.

Я потратил неделю на то, чтобы раздобыть некоторые результаты, вот они, и г. П⟨инези⟩ может располагать ими по своему усмотрению; прошу его только не упоминать моего имени при ссылке на эти факты.

Преданный тебе А г а (*франц.*).

[10] Сын А.А. Герцена *Владимир* родился 18 мая. О его опасной болезни и "геройском" поведении врача Э. *Левье*, спасшего ребенка, см. также в письме Герцена к сыну от 5 июля (XXX, 146–147) и в письмах Таты к Тучковой-Огаревой (кн. 2-я наст. тома).

[11] С. Тхоржевского.

[12] Очевидно, Елизавета Алексеевна *Касаткина*, вдова эмигранта, умершего в Женеве 27 декабря 1867 г. (в т. 61 "Лит. наследства" и в 30-томном Собр. соч. Герцена она ошибочно названа Елизаветой *Васильевной*; ср. "Лит. наследство", т. 39-40, с. 485; т. 62, с. 550). Далее Огаревым упоминается ее дочь Ольга Викторовна.

[13] Семейное прозвище д-ра Майера, лечившего Огарева.

13

10 окт⟨ября 1869 г.⟩. Воскресенье.
Genève 249, Route de Carouge, maison Schuh[1]

Вот тебе, моя милая Тата, мы переехали – хотя повыше (au 2-d[117*]), но лестница меня меньше беспокоит, чем вонь и шум Маленьких философов. – Благодарю тебя за милое письмо, и милый портрет, и дорогое мне обещание твоего приезда[2]. – Но все же не вдайся в pitié[118*] – ты знаешь, как это опасно, бесполезно и обманчиво[3]. Действуй по искренности своего сердца; остальные сердца вынесут все боли благополучно – не много заботься о них: это все призраки... Путешествие тебе, вероятно, поможет; поэтому я его желаю больше, чем когда-нибудь. Я одного боюсь: твоего закабаления.

Я думаю, что у вас всем известно, поэтому слегка намекнул Саше вопросом; но теперь, т.е. после твоего письма – поверь мне, у меня никогда ни слова, помимо тебя, с языка не сорвется[4].

Новой квартирой я в самом деле доволен; цена та же – т.е. 55 фр. в месяц; воздух чист, помещение совершенно удовлетворительное.

– Здесь я должен был остановиться, прерванный визитом целого семейства. Поэтому даже и папаше не успею сегодня писать[5]. Но тебе спешу послать мой новый адрес, чтоб ты, приехавши, меня тотчас нашла. – М⟨ери⟩ тебе жмет руку; Г⟨енри⟩ тебе кланяется. Я им в последнее время весьма доволен и этим много обязан Бак⟨унину⟩. – Тутс вчера объявил, что, когда вырастет, то пойдет в солдаты, чтоб стрелять в людей. М⟨ери⟩ ему заметила, что за убийство в Англии вешают, а здесь рубят голову. На это он отвечал, что в таком случае и палачу, который совершает убийство, следует рубить голову. Pas bête, mon enfant[119*].

Благодарю Сашу за статью о селезенке[6] – и обнимаю тебя, моя милая Тата, и прощай. Поцелуй Ольгу. Спешу на почту.

Твой А г а

[1] Ответ на письмо Таты от 6 октября 1869 г. (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 456, л. 17–18; цитируется в "Лит. наследстве", т. 63, с. 477). По указанному адресу Огарев поселился 6 октября 1869 г. (см. "Лит. наследство", т. 39-40, с. 560. – Ранее он жил на Chemin des Petits Philosophes (ул. Маленьких философов; см. п. 8).

[2] Этот портрет неизвестен. Тата намеревалась отправиться в Париж к Герцену и по пути непременно заехать в Женеву навестить Огарева.

[3] Речь идет об отношениях Таты с Пенизи (см. в наст. книге прим. 6 к письму Огарева А.А. Герцену от 30 сентября). Герцен был очень встревожен "историей с Пенизи", боясь, что Тата из жалости даст согласие на брак с ним, и в письме из Парижа от 29 сентября просил Огарева "воспользоваться своим влиянием", чтобы предотвратить "такое несчастье" (XXX, 201). Тата же 6 октября, объясняя Огареву, почему встречается с Пенизи (после своего отказа в конце июля выйти за него замуж), писала: "По-моему, надо мало-помалу кончить это письменно, а не сразу, как желает Папаша, – не надобно забывать, что он больной ⟨...⟩ Уговори папашу" ("Лит. наследство", т. 63, с. 477).

[4] Имеется в виду "вопрос об истории с Пенизи" в письме Огарева к А.А. Герцену от 30 сентября (см. выше в наст. книге). 6 октября Тата писала Огареву в этой связи: "Не пиши никому об этом – здесь никто не знает" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 456, л. 17).

[5] 11 октября Огарев писал Герцену, сообщая о письме Таты и о своем ответе: "Что Тату надо оттуда выписать – в этом я не сомневаюсь, она увлекается добросердечием: но важного, кажется, ничего не

[117*] на 3-й этаж (*франц.*).

[118*] жалость (*франц.*).

[119*] неглупо, мое дитя (*франц.*).



Рисунок Таты Герцен (?) (перо). ⟨Борнемут, лето 1864 г.⟩

Из семейного альбома Герценов

Внизу рукой Таты Герцен: "(Издали) – Это Ага, смотри – Огарев, Огарев!! (Огарев ничего не слышит и не видит, продолжает поправлять коррект(урный) лист)"

Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по репродукции в книге: "Русские пропилеи", т. IV. Москва, 1917

может случиться, кроме того, что вся Geschichte ⟨история⟩ (*нем.*) для нее должна быть мучительна" ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 562).

[6] На получение от А.А. Герцена номера газеты "Italia" с его "статьей о селезенке" Огарев откликнулся в письме к Герцену от 7 октября ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 560).

14

⟨Женева.⟩ 28 дек⟨абря 1869 г.⟩ вечером

Я с твоим письмом не могу расстаться, моя милая Тата[1]. Но из него я не вижу, чтоб у тебя было размягчение мозга или что-нибудь подобное, а есть нервное раздражение, против которого, я думаю, всего лучше употреблять обливания холодной водой. Может, тогда ты утешишься и не станешь искать слез и одиночества. А потом развлекайся – в Париже это возможно.

29 дек⟨абря⟩. Полуднем

Я вчера перестал писать, моя милая Тата, потому что как-то нездоровилось; даже не ходил слушать певца и пианиста по соседству. Я тебе как-нибудь достану романс, который поет певец (Laussier) и который очень хорош. У него почти все романсы хороши и с хорошим направлением – и голос превосходный; он мог бы делать

что-нибудь получше, чем петь только романсы и только в биррерии[120*], куда, впрочем, ходит генеральша Бибикова[2]

Вот и тебе отчет, моя Тата, – может, он тебя потешит.

Стало, патеру я сегодня писать не буду и пошлю ему только "Вестн⟨ик⟩ Европы", где прошу пересмотреть все статьи, которые разрезаны[3].

Каких ты классиков хочешь читать, моя Тата? Французских, итальянских, латинских или греческих[4]? Читай лучше Диккенса и русских романистов. Право, найдешь больше интереса и развлечения.

Обнимаю тебя как брат, как отец – как знаешь, – и тороплюсь посылать все на почту и Бак⟨унину⟩ последние деньги[5].

Тх⟨оржевский⟩ был; я сегодня здоров; "мороз и солнце – день чудесный" (это стих Пушкина)[6].

Прощай, моя милая! Забудь все тряпье и выздоравливай.

[1] Ответ на письмо Татьяны от 22–27 декабря 1869 г. из Парижа (XXX, 289–290), в котором она писала об остаточных явлениях ("плаксивость невольная", боязнь "размягчения мозга") после тяжелого нервного заболевания, начавшегося у нее в последние дни октября 1869 г. вследствие продолжающихся преследований и угроз Пенизи (см. п. 13 и прим.). За больной Татой во Флоренции ухаживали вызванные телеграммой Герцен и Тучкова-Огарева, а затем они вместе с ней отправились в Париж, куда прибыли 18 декабря. (См об этом подробно в кн. 2 наст. тома)

[2] Анна Ивановна *Бибикова* – писательница (печаталась также под псевдонимом *Евгений Лунский*). В свой приезд в Женеву в 1868–1869 гг. поддерживала связи с русской политической эмиграцией (в *Л* XX, 131, 278; "Лит. наследстве", т. 39-40, с. 485; XXIX, 257 названа ошибочно Марией Николаевной; ср.: Б.П. К о з ь м и н. Революционное подполье в эпоху "белого террора". М., 1929, с. 26).

[3] Речь, очевидно, идет о № 12 "Вестника Европы". Этот журнал выписывался в Женеве Огаревым (ср. XXX, 280, 283, 448).

[4] 22 декабря Тата писала: "Мне хотелось бы перечитать некоторых классиков. Я не имею ясного понятия ни о какой литературе. Все у меня кусочки отдельные в голове, потому что и развитие шло странными прыжками, то вправо, то влево" (XXX, 289).

[5] 16 декабря Бакунин в письме из Локарно к Огареву, рассказывая о своем тяжелом материальном положении и болезни жены, просил быть его "посредником и поручителем перед Герценом", похлопотать о займе ему "из фонда" 800 фр. 17 декабря просьба была повторена. Ответом на нее была посылка Бакунину через Тхоржевского и Огарева сначала 200, а позже еще 100 фр. из денег Герцена (без отдачи), а не из Бахметевского фонда (см. *Письма Бакунина*, 247, 249–252; XXX, 287).

[6] Начальная строка стихотворения Пушкина "Зимнее утро".

15
Н.А. и А.А. ГЕРЦЕНАМ

⟨Женева. 13 февраля 1870 г.⟩ Воскресенье[1]

Милая моя Тата, как же я рад, что ты счастливо доехала, а как я был рад твоему приезду[2] – это ты сама можешь понять. Но это последний листок почтовой бумаги, и потому, хотя и хотел писать Саше особо, но пишу вам вместе. – Много благодарю Сашу за присылку денег, но теперь умоляю его прислать поскорей остальные тому же банкиру; [очень мне надо] я бы у него их поместил и стал бы из них платить Чернецкому и начинать "Колокол" и "Полярн⟨ую⟩ звезду"[3]. Умоляю не останавливать меня. Я считаю это необходимейшим и полезнейшим делом. Теперь прошу немедленно уведомить меня – где Таландье? – и сообщить мне его лондонский адрес, если он в Лондоне; тогда я ему могу послать многое для помещения в английских журналах[4]. – Похлопочите, мои милые. Что ж мне делать, если не работать? – Натали стану писать завтра[5]. Обнимаю всех и доброго Пана. На сей раз больше не могу писать, ибо совершенно один работник.

Нельзя ⟨ли⟩ из тех же денег подписаться для меня и ergo[121*] прямо высылать мне "Marseillaise" и "Rappel", включивши в это число все статьи, которые были помещены о Герцене[6]. Также отыщите мне адрес, как посылать статьи в "Rappel" без остановки. Ибо я все-таки посланного мною в "Марсельез" не нахожу, и это гадко, если

[120*] пивной (*франц.* bierrerie).

[121*] следовательно (*лат.*).

пропало[7]. Настоящий адрес "Марсельезы" я недавно узнал, а адрес "Раппеля" не знаю, т.е. к кому адресовать. Прямо в редакцию – пропадает.

Я отыскал несколько рукописей Герцена. Я их хорошенько пересмотрю. Но нужно ли пересылать теперь? Ведь типография их, во всяком случае, возвратит[8]. – Addio – больше решительно некогда. Но, пожалуйста, отвечайте на все вопросы немедленно; ответы касаются Герцена и всего нашего на свете.

[1] Это письмо – первый отклик на сообщение Таты в письме от 11 февраля 1870 г. о ее возвращении из Женевы в Париж (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 457, л. 3 и об.). Ответила она на наст. письмо и письмо Огарева к А.А. Герцену от 14 февраля 1870 г. – 15 февраля (см. там же, л. 6–7; отрывок – в "Лит. наследстве", т. 63, с. 484). Воскресенье в эти дни приходилось на 13 февраля.

[2] Тата приехала с братом и С. Тхоржевским в Женеву к Огареву "в первых числах февраля". Затем, посетив также М.К. Рейхель в Берне, она 10 февраля вернулась с Тхоржевским в Париж (А.А. Герцен уехал из Женевы в Париж раньше). – См. "Лит. наследство", т. 96, с. 440, 442, 445, и *Письма Бакунина*, 258–260.

[3] Речь идет об оставшейся части Бахметевского фонда (см. также п. 16, письмо к А.А. Герцену от 14 февраля и прим. 1 к нему). Вопрос о возобновлении "Колокола" и новом выпуске "Полярной звезды" обсуждался еще в переписке Огарева с Герценом (см. XXX, 297), а после его смерти на этом особенно настаивали Бакунин и С.Г. Нечаев. Отвечая на наст. письмо 15 февраля, Тата спрашивала у Огарева: «В каком роде статьи, которые готовятся для "Полярной звезды"? Не должна ли бы она состоять только из твоего биографического очерка ⟨о Герцене – см. п. 16⟩ и папашиных статей?» ("Лит. наследство", т. 63, с. 484).

[4] Французский революционер А. Таландье, друг семьи Герцена, эмигрировал в Англию после бонапартистского переворота 1851 г. 23 января 1870 г. Тата писала Огареву, что Таландье, узнав из газет о смерти Герцена, "тотчас же приехал и присутствовал при похоронах". Его некролог Герцену был опубликован в газете "Démocratie" (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 483, 529–530). О возможности через Таландье поместить корреспонденции в английской прессе писал Огареву Бакунин 8 и 22 февраля, имея в виду в первую очередь статьи о Герцене и о "полицейских преследованиях" против русских революционных эмигрантов в Швейцарии (*Письма Бакунина*, 260, 266; на с. 260 неверное прочтение; исправлено в "Лит. наследстве", т. 62, с. 776). Посылая Огареву 15 февраля адрес Таландье в Фарнборо и извещая, что "в Лондоне бывает он редко", Тата советовала обращаться с "поручениями" также к живущим в Лондоне Ф. или Ю. Альтгаузам.

[5] Это письмо неизвестно.

[6] "*Marseillaise*" – ежедневная газета радикально-демократической оппозиции бонапартистскому режиму, издававшаяся А. Рошфором в Париже в 1869–1870 гг. "Rappel" – также ежедневная газета, основанная в Париже в 1869 г. Виктором Гюго и др. В той и другой были помещены извещения о смерти Герцена, некрологи и другие публикации, посвященные его памяти (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 528–529, 537; *Л* XXI, 571). Просьба Огарева о подписке была выполнена немедленно. 18 февраля Тата уже сообщала, что газеты "вчера посланы", добавляя: "Буду посылать ежедневно – ты давай знать, когда не дойдет" (*РГАЛИ*, ф. 2197, ед.хр. 457, л. 8об.). См. также *Письма Бакунина*, 261.

[7] Вероятно, Огарев поручил Тате справиться в редакции "Marseillaise" насчет получения и публикации открытого письма Бакунина о Герцене, датированного 6 февраля. 28 мая она вспоминала в своем дневнике, что "исполнила аккуратно поручения и чуть-чуть не попалась" в "мышеловку", устроенную в редакции "Marseillaise", а узнав об обыске и арестах там, "немедленно написала Огареву" (см. "Лит. наследство", т. 96, с. 445–446). Сообщения об арестах в редакции "Marseillaise" содержатся в письмах Таты от 11 и 14 февраля (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 457, л. 3, 5). С этим, вероятно, связаны уведомление в письме Бакунина к Огареву от 23 февраля о высланной им "новой копии" "письма о Герцене" и просьба переслать ее в "Marseillaise" через "Наталий" с помощью его французских друзей (*Письма Бакунина*, 268). Открытое письмо Бакунина было опубликовано в № 72 и 73 газеты от 2 и 3 марта (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 524–528).

[8] В связи с подготовкой к изданию неопубликованных сочинений Герцена, которую начали сразу после его смерти А.А. Герцен и Тучкова-Огарева, решено было сосредоточить в их руках все автографы, с тем чтобы по мере снятия копий отправлять их для набора в женевскую типографию Л. Чернецкого (см. письма Таты к Огареву от 14 февраля, А.А. Герцена к Тучковой-Огаревой от 26 февраля и 12 марта – "Лит. наследство", т. 63, с. 484; *АО*, 78). С этим и связан вопрос Огарева, очевидно предполагавшего сразу отправить имеющиеся у него автографы в типографию – для набора, чтобы поместить их первоначально в планируемом выпуске "Полярной звезды".

16

⟨Женева.⟩ 15 февр⟨аля 1870 г.⟩, вторник[1]

Милая моя Тата, что ты жалуешься, что я не пишу? Я к тебе писал почти всякий день. Вчера писал к Саше. Умоляю его исполнить две мои просьбы, иначе плохо придется и для меня и для печати[2]. "Полярн⟨ую⟩ звезду" отпечатать к 1 марта – нечего и думать[3]. Я брался приготовить ее для печати к 1 март⟨а⟩ и надеюсь – сколько оно ни мудрено. Но *первую статью* о Герцене я напечатаю в "Колоколе" 1-го или 15-го марта; а над *биографией* проработаешь не один месяц, и ее в "Полярн⟨ой⟩ зв⟨езде⟩" можно помещать по главам[4].

Итак до свиданья, моя Тата. Ты мне много поможешь в Женеве[5] и возьмешь на себя кой-какие работы на русском языке, которые меня ужасно отвлекают от настоящего занятия писаньем статей и пр.

Твой п а п а - А г а

[1] Ответ на письмо Таты от 14 февраля 1870 г. (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 457, л. 4–5; цитируется в "Лит. наследстве", т. 63, с. 484).

[2] См. в наст. кн. письмо Огарева к А.А. Герцену от 14 февраля и прим. к нему (ср. п. 15). Просьбы о присылке оставшихся сумм Бахметевского фонда и личном займе в 300 фр. были в ближайшие же дни выполнены (см. в наст. кн. письмо Огарева к А.А. Герцену от 2 марта).

[3] 14 февраля Тата писала: «Помни, Ага, что "Полярная звезда" должна бы выйти в марте. Биографический очерк ты обещал к 1 марта – тебе остаются две недели едва, – будешь ли ты готов?» ("Лит. наследство", т. 63, с. 484).

[4] Статья Огарева "Памяти Герцена" была посвящена в возобновленном "Колоколе" (см. о нем выше письмо Огарева к А.А. Герцену от 12 июня и прим.), № 3 от 16 апреля. Одновременно Вольной русской типографией была выпущена листовка Огарева "Будущность (Посвящается памяти А. Герцена)" (см. *Огарев* I, 797–799; *Огарев* II, 235–236). Работа Огарева над биографическим очерком о Герцене, очевидно, не была завершена, а новый выпуск "Полярной звезды" в свет не вышел.

[5] Тата отвечала 18 февраля: "Насколько я буду в состоянии тебе помогать, дорогой мой папа-Ага, я, право, не знаю. La bonne volonté y est – mais la méfiance en mes propres forces aussi ⟨Добрая воля есть – но есть и неверие в собственные силы⟩, потому что все знаю только по кусочку" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 457, л. 8; цитируется в "Лит. наследстве", т. 63, с. 486). Здесь же она замечала в связи с отъездом, что поручения в Париже – "что отнести в редакции или куда хочешь" – можно давать Г. Моно, и сообщала его адрес (л. 8об. – 9). Тата приехала в Женеву вместе с Тучковой-Огаревой и Лизой 22 или 23 февраля 1870 г. (см. *АО*, 78; *Письма Бакунина*, 270). Подробности участия ее в конспиративных начинаниях Бакунина и С.Г. Нечаева – в "Лит. наследстве", т. 96, с. 440–460.

17

⟨Женева. 24 февраля (?) 1870 г.⟩ Четверг[1]

Милая Тата, что твоя голова? Если еще плоха, не принуждай себя и не выходи; если же довольно сильна, то приходи, ибо работы довольно. – Что Лиза? и Натали? – Моя голова, *кажется*, еще сегодня не пройдет. Не знаю, выйду ли, во всяком случае только по улице в аптеку – иначе ветер слишком раздражителен. Ты и сама возьми это в расчет.

Твой А г а

[1] Судя по содержанию записки, она относится к первым дням пребывания Таты, Тучковой-Огаревой и Лизы в Женеве (т.е., возможно, к четвергу 24 февраля, ср. п. 16). Тата вспоминала в своем дневнике 28 мая: "В Женеву мы приехали ⟨22 или 23 февраля⟩ усталые, с головными болями, в жалком состоянии. Тем не менее я отправилась к Ага узнать ⟨...⟩ в чем именно я могу ему помочь. Он мне очень обрадовался, – сказал, что я в самом деле могу оказать большую помощь, что он на днях мне скажет, в чем дело" ("Лит. наследство", т. 96, с. 447, ср. 469). "На следующий день" Огарев вручил ей письмо Бакунина к "обеим Natalies" от 21 февраля (см. *Письма Бакунина*, 270). "На второй или третий день" Огарев показал Тате письмо С.Г. Нечаева с просьбой послать ее к нему в Локль с "преважными бумагами". Возможно, об этом поручении – исполненном Татой между 25 и 28 февраля – и идет речь в наст. письме.

18

13 мая ⟨1873 г.⟩, вторник[1]

Сегодня получил деньги. Спасибо тебе, моя милая Тата, иначе было бы больно плохо. Теперь я в обыденной жизни буду свободен, но пишу только несколько строк, потому что поздно, а я сей⟨час⟩ пришел из суда по делу о моем векселе, будто бы данном покойному Сазонову[2]. Суд отложил заседание до 3-го июня. Amberny надеется выиграть в мою пользу. Вот как дела, друг мой, а здоровье тоже плоховато, т.е. настоящее здоровье – насморк и немного ревматического начинания. – Ольге стану писать завтра, Саше тоже[3], а теперь нет возможности – тороплюсь.

Твой А г а

М⟨ери⟩ и Г⟨енри⟩ тебе кланяются.

[1] 13 мая приходилось на вторник в 1873 г.
[2] См. об этом выше, в письмах Огарева к А.А. Герцену от 21 января и 2 мая.
[3] Письмо Огарева к А.А. Герцену от 17 мая см. там же.

19

⟨Женева.⟩ 31 г⟨енваря 1874 г.⟩ Суббота[1]

Друг мой Тата, вчера получил от Моно 400 фр. при письме, что мне уменьшается на 100 ф⟨р.⟩ (*будто бы*) жалованья, потому что Генри взял место учителя и уехал[2]. Сегодня посылаю ему письмо с объяснением, что я получаю не жалованья, а малую долю моего огромного состояния, которое я оставил в России. Я думаю, что Моно имеет в этом случае наименьшее право судебного разбирательства (особенно имея 14 т⟨ысяч⟩ дохода). Вероятно, это влияние Н⟨атальи⟩ А⟨лексеевны⟩. Я к ней писал запрос о моих делах в России[3], получивши от моих *родственников* известие, что хозяйственные дела *в моих именьях* теперь идут превосходно[4]. Должно быть, она испугалась. Писал я тоже и к Сатиным, но известий от них не имею. Напиши мне, пожалуйста, поскорее об их здоровье и их определенный адрес, чтоб я не ошибся, посылая им письмо. Но после этого, если Н⟨аталья⟩ А⟨лексеевна⟩ станет писать ко мне, я ей отвечать не стану, потому что все это с ее стороны *гадко*. А старику Тучкову стану писать прямо; пути найду.

[1] Год уточняется по содержанию письма (см. ниже письма Огарева к Г. Моно).
[2] Упоминаемое письмо Г. Моно неизвестно.
[3] Письмо Огарева к Тучковой-Огаревой до нас не дошло, так же как к Сатиным (см. ниже).
[4] Эти сведения сообщены были Огареву его сестрой А.П. Плаутиной.

20

⟨Женева.⟩ 4 февр⟨аля 1874 г.⟩ Середа

Друг мой Тата, вчера получил твое письмо[1]. Мне очень грустно, что я вас огорчаю, но что же мне делать? Я не понимаю, как ты не знаешь, что я предоставил Елене именья в России, которые, конечно, могут давать дохода не менее 36 000 франков, и имел полное право на получение 12 000. Предоставил же я ей эти именья для того, чтоб иметь право уехать с Натали к Герцену в Англию. Теперь же в последнее время я согласился на получение только 6000. Надеюсь, что этот поступок недурен и что никто не имеет права отнимать у меня последнего остатка моего дохода и состояния, или моей последней воли. Ты легко поймешь, что доход, съехавший с 36 000 на 6000, уменьшился в 6 раз, потому что 6×6=36. На право же получения 12 000 из России, об этом говорил Герцен не только мне, но и Тхоржевскому. Ты сама догадаешься, почему я согласился на 6000. Лизе могут присылать оттуда 6000 и мне 6000. Чего же от меня больше требовать?

Вот что значит смерть Герцена, что я *доходом, уменьшенным в 6 раз*, уже не могу распорядиться! Ради социальных направлений я многим готов жертвовать, но в таких отношениях у меня еще хватит сил сосчитаться. Саше стану писать завтра.

Прощай, друг мой Тата!

И скучно и грустно...[2]

Твой старый друг А г а

Письмо вчера отправить не успел, отправляю только сегодня – 5 февр⟨аля⟩, четверг. Саше писал[3].

[1] Это письмо в печати не появлялось.
[2] Из стихотворения Лермонтова "И скучно, и грустно..." (1840).
[3] См. выше в этом же разделе письмо Огарева к А.А. Герцену от 1 февраля и к Г. Моно от 31 января. Письмо к Саше от этого числа неизвестно. Вероятно, имеется в виду письмо от 1 февраля.



ГРИНВИЧ СО СТОРОНЫ ТЕМЗЫ

Гравюра Шаванна, 1850-е годы

Из альбома: "Views of Mighty London, of its Public, Buildings, Streets, Parks, etc." London, s.a.

21

⟨Женева.⟩ 26 апреля ⟨1874 г.⟩, воскресенье[1]

Милая моя Тата, все же я от тебя письма еще не получил и не знаю, где ты и что делаешь. А у меня теперь новая забота, которую тебе и объясняю. Наши хозяева сказали нам, что они хотят устроить пансион и что лучше, если б мы переехали на другую квартиру, хотя они нас нисколько не торопят. Я тотчас сказал Мери, что это только штука[2] и что они хотят, чтоб не Мери стряпала наш обед и ужин, а чтоб мы ушли у них на пансион. Но как только мы скажем, что нашли другую квартиру, то они испугаются и станут ужасно любезны. Так и случилось, но обедать с ними и слушать их трескотню мне невозможно, и оставаться с ними долее я не хочу.

[1] 26 апреля приходилось на воскресенье в 1874 г.
[2] *штука* – здесь: хитрость, обман.

22

Фрагмент

⟨Гринвич. Январь 1875 г.[1]⟩

В Лондон я езжу очень редко, потому что все же езда мне утомительна, и мне с хромой ногой недалеко походить всего отраднее.

Саше хотел писать теперь же, но боюсь опоздать снести письмо на почту. Напишу же в понедельник или во вторник, тем более, что жду известий от моего приятеля Томсета, работника, переплетчика и главного агента домов нашей улицы.

К Ольге писал недавно[2]. Прощай, моя добрая Тата.

Твой старый друг А г а

P.S. Нет ли у тебя адреса Давыдова в Лондоне? Не могу у себя отыскать – да и только.

[1] В *LOAHf*, 300, это письмо (начало его не сохранилось) предположительно датировано 24 декабря 1874 г. – по указанию в письме Огарева к А.А. Герцену от 1 января 1875 г., что Тате он писал в день своего переезда в Гринвич. Но речь там шла о другом письме: из контекста явствует, что оно написано не сразу по приезде в Гринвич, а после 1 января 1875 г. (сообщено С.Д. Л и щ и н е р).

[2] Это письмо неизвестно.

23

Черновое

⟨Гринвич.⟩ 1 мая ⟨1875 г.⟩. Суббота[1]

Твое письмо от 25 апр⟨еля⟩, милая Тата, получил и вот уже три дня сбираюсь писать к тебе и к Саше, но все не хотелось. Теперь же долее откладывать нельзя, потому что суббота (а в воскресенье почт нет). Вдобавок, сегодня 1-е мая. Мелкий дождь, который много поможет нуждавшейся почве. Воздух благоприятный и для моего здоровья не жарок и не холоден, а такой, какого мне хотелось. Год будет, вероятно, превосходный, и лето мне напомнит русское лето, тоже какого мне хотелось. Если я не переехал в Россию, это потому что женевское правительство меня и других высылало по вызову русского правительства. В Англии же я на этот счет спокоен. Гринвичем остаюсь доволен как страной и спокойной и красивой.

Наша улица в особенности тиха и меня не тревожит.

Чернецкую мы, без сомнения, приняли хорошо в память Чернецкого, но я признаюсь, что был искренно рад, когда она ушла, и все же не могу забыть разворочание моих бумаг на моем столе, во время нашего отсутствия.

На последнее гадкое письмо Н⟨атальи⟩ А⟨лексеевны⟩ ко мне я решился не отвечать, чтоб ее не затронуть, а держать в покое и отдалении. Хотя она в нем и требует, чтоб я истребил ее письмы ко мне, чтоб никого не мешать в наши дрязги (!), но я этого не сделаю, чтобы иметь на всякий случай средство показать, кто прав, кто виноват, кто добр, кто зол. Да и не хочется мне отвечать женщине, которая старается меня восстановить против людей, мне близких и по памяти и по всем отношениям ко мне[2].

⟨————⟩

Если бы Саша мне написал откровенно, что вы за сие время ничего не получили из России (это не то, что не получаете) – а что у вас самих денег нет – я бы ни слова не сказал и стеснился бы, насколько возможно. Но написать, что у меня уменьшается 100 фр. в месяц дохода *моего*, потому что юноша, которого я воспитал с 5-летнего возраста, вышел достаточно образованным человеком, чтоб получить хорошее место, я, конечно, к этому не могу отнестись иначе, как с отвращением; да я и не верю, чтоб это было дело Саши, это дело чье-нибудь другое[3]. Уменьшение же ста фр. для меня теперь важно мало ли почему: надо купить новое белье и новые сапоги для хромой ноги, да и в скором времени надо переменить квартиру: к нашей хозяйке приезжает брат с женой, которая должна родить и требует помощи, стало нам не останется здесь ни места ни покоя. Хорошо бы, если б это уладилось иначе, но едва ли.

Старик Тучков писал мне, что у них дела чрезвычайно поправились и что он продал (значит, из моего именья) леса на 9 000 рублей сер.[4] Из Петербурга мне писали *мои родственники*, что дела в моих именьях в России превосходны. Если меня там станут стеснять, они, без сомнения, примут мою сторону. Из всех моих последних отношений я вижу, что они меня любят и уважают[5].

Я к вам писал не угрозы, друг мой, а просто то, что мне внушало чувство человеческого негодования.

А Наталья Алексеевна даже мне ничего не отвечала на мой вопрос о том, что делает Тутс, о котором я не имею никаких сведений.

Ты во всем деле действовала потому, что не знаешь и не понимала. Теперь пойми же, моя милая Тата, которую я люблю, как всегда.

Прощай, друг мой.

Твой старый А г а[6]

P.S. Прилагаю к тебе письмо к Моно[6], которое ты *обязана* ему передать и имеешь полное право прочесть.

[1] Ответ на письмо Н.А. Герцен от 25 апреля 1875 г., публикуемое в кн. 2-й наст. тома.

[2] Письмо Тучковой-Огаревой от 12 апреля, в котором она объявила Огареву о своем разрыве вследствие того, что в конфликте между нею и Мери Сетерленд он принял сторону последней (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 514).

[3] Намек на Тучкову-Огареву. См. выше в наст. кн. письмо Огарева к А.А. Герцену от 1 февраля 1874 г. и прим. 2 к нему.

[4] Это письмо А.А. Тучкова неизвестно.

[5] См. выше письмо Огарева к А.А. Герцену от 4 августа 1874 г.

[6] Не исключено, что текст второй половины этого чернового письма (после проставленной нами линейки) относится не к 1 мая 1875 г., а к февралю 1874 г. – *Ред.*

МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ

Публикация Е.Л. Рудницкой[122*]

Воспитательница младшей дочери Герцена Ольги, друг его семьи, переводчица и мемуаристка, Мальвида *Мейзенбуг* (1816–1903) испытывала глубокую и неизменную симпатию к Огареву. Понимание истинного значения его общественно-политической деятельности было ей не совсем доступно – в нем она видела главным образом "одну из жертв злополучной николаевской эпохи, когда страдали все лучшие и даровитейшие люди России" (*Мейзенбуг*, 343). В своих мемуарах она приводит часто варьировавшееся Герценом высказывание об Огареве: "Разве кто-нибудь знает, чем мы обязаны речам и влиянию этого человека?" Отношения Мейзенбуг и Огарева подтверждают верность этой исторической оценки.

Мейзенбуг полагала, что подлинная сущность Огарева проявляется в его поэзии. Воспроизводимые в нашей публикации тринадцать писем поэта прямо свидетельствуют о душевном контакте между ними. Их сближала любовь к Ольге Герцен-Моно и то присущее Огареву философско-поэтическое мироощущение, которое было близко его корреспондентке. Неудивительно, что два из этих писем написаны в стихотворной форме: первое – поздравление по случаю дня рождения Мейзенбуг; второе навеяно размышлениями о развалинах древнего храма (это изображение ему прислано было корреспонденткой). Ирония и грусть этих стихов напомнили Герцену, сделавшему к этому второму письму приписку, то впечатление, которое некогда произвело на него искусство знаменитого французского комического актера П. Левассора. Приписка Герцена представляет собой блестящий образец его эпистолярного стиля. Выразительный духовный портрет Мейзенбуг создан им парадоксальным сопоставлением ее с Маццини: одним штрихом обрисовывается при этом склад личности вождя Рисорджименто с его мистическим преклонением перед итальянским народом.

В письмах от 5 декабря 1864 г. и 26 января 1865 г., связанных с трагической смертью в Париже детей Герцена, близнецов Елены и Алексея, отчетливо запечатлен внутренний облик самого Огарева. Стойкость, душевная сдержанность, отвращение к фразе, уважение к чувствам другого – неизменные свойства его гуманного характера. В январском письме, написанном после возвращения из Парижа, когда недавняя потеря особенно обострила его любовь к старшим детям Герцена, исключительно ярко выразилось его чувство к ним, вера в их нравственные и интеллектуальные возможности.

Весной 1868 г., завершив работу над первой частью "Воспоминаний идеалистки", Мейзенбуг отправила рукопись Огареву в Женеву. Несмотря на перелом ноги, надолго приковавший его к постели, он с готовностью откликнулся на просьбу ознакомиться с рукописью и взял на себя осуществление издания, которое и вышло на французском языке в 1869 г. в женевской Вольной русской типографии.

Публикуемые письма охватывают период с начала 1860-х годов до самой смерти Огарева и являются еще одним полноценным свидетельством широты и многообразия его человеческих связей, душевной щедрости и нравственной чистоты. Они заметно обогащают наши представления о его личности, жизни и творчестве.

Письма печатаются по ксерокопиям *ГЛМ* с автографов, переданных внуком Герцена Л. Ристом в музей Герцена (Москва). Письмо 12 впервые опубликовано во французском переводе в 1932 г. (*Vinant*, 241). С этого текста его перевел и напечатал Л.Р. Ланский в "Лит. наслед-

[122*] Письма 12 и 13 перевел с французского Л.Р. Ланский.

стве", т. 63, с. 530. Все письма опубликованы М. Мерво на языке оригинала и во французском переводе в *HOBL*, 103–141. Ряд писем и фрагментов воспроизведен И.А. Желваковой и Е.Л. Рудницкой в сб. "Освободительное движение в России", вып. 7. Саратов, 1978, с. 84–91.

На п. 2, 5, 6 приписки Герцена.

1

Den 30 Oktober ⟨1862⟩. Richmond[1]

AN FRÄULEIN MEYSENBUG

Ihr Festtag[2]... und ich wuβt'es nicht!
So ist es mein fatales Fatum –
Nie weiβ ich weder Tag noch Datum,
Und komm' zu spät mit dem Gedicht.

Was möcht'ich sagen?.. Grau und Stille,
Der Nebel liegt auf Berg' und Tal';
Der fernen Lichtchen blaβer Strahl
Durchschimmert kaum die schwüle Hülle.
Die ferten Lichtchen kenn' ich recht!
Dort stehen Häuser, Menschen leben,
Und was sie tun – das kann ich eben,
Als Mitmensch, sagen wahr und echt:

Sie wünschen, hoffen, tun die Dauer
Durch Lieb und Haβ einander sauer,
Sie treiben Pflicht mit Mäusehast,
Und sinnen ohne klar zu denken,
Und streben ohne was zu lenken,
Und prüfen, ohne End' und Rast,
Und so geht's fort vom Tag zu Tage
In der verwirrten Lust der Plage.

Ich schau': die Welt im Nebel steckt,
Das Einerlei des feuchten Schwebens
Bewegt sich langsam und bedeckt
Das Einerlei das Menschenlebens, –
Ich fühle mich ganz wohlgestellt,
Wenn ich so finde in der Welt –
Der schönen Welt voll schöner Regung –
Das Nichts in ewiger Bewegung.

Jedoch – was wollt' ich sagen und...
Sie waren am Geburtstags Feste,
Wenn ich es hoffen darf, gesund?
Gewiβ? [Nicht wahr] Und das ist ja das Beste.

Verzeihen Sie diesen Unsinn, ich weiβ nicht, warum ich von deutschem Reim verfolgt war, wollte was Freudiges schreiben, aber es gelang nicht. Dennoch schicke ich es Ihnen, als ein Beweis meiner Sympathie zur deutschen Sprache, und endlich um Ihnen in Prosa zu sagen, daβ ich Ihnen eine heitere Stimmung und ein heiteres Jahr zu Ihrem Geburtstag gewünscht habe.

Ihr ergebenster N. O g a r e f f[123*]

[123*] Далее следует приписка, обращенная к Ольге Герцен, – см. ее вслед за русским переводом этого письма. – *Ред.*

Перевод:

30 октября ⟨1862 г.⟩. Ричмонд[1]

К ФРЕЙЛЕЙН МЕЙЗЕНБУГ

Ваш праздник[2]... а я этого не знал!
Таков мой фатальный фатум –
Не знаю никогда ни дня, ни числа
И запаздываю с стихотворением.

Что я хотел бы сказать?.. Мрак и тишина,
Туман лежит в горах и долинах;
Далекий луч бледного огонька
Едва пробивается через удушливый покров.
Я хорошо знаю эти далекие огоньки!
Там стоят дома, живут люди,
А что они делают – это я, как ближний, могу
Сказать правдиво и точно:

Они хотят, надеются, отравляют друг другу существование
Любовью и ненавистью,
Они выполняют свой долг с мышиной торопливостью
И размышляют без ясности мысли,
И куда-то стремятся без ясной цели,
Изучают всё без конца и отдыха,
И так продолжается изо дня в день
В безумном наслаждении страданий.

Смотрю я: мир лежит в тумане,
Однообразие сырых испарений
Движется медленно и покрывает
Однообразие человеческой жизни, –
Я чувствую себя вполне благополучным,
Находясь в таком мире –
Прекрасном мире, полном прекрасных порывов, –
Ничто в постоянном движении.

Однако – что я хотел сказать и...
Вы были во время праздника
Вашего дня рождения,
Как я надеюсь, здоровы?
Так ли? И это – самое лучшее.

Простите меня за эту бессмыслицу, я не знаю, почему меня преследуют немецкие рифмы; я хотел написать что-нибудь радостное, но это мне не удалось. Тем не менее я посылаю вам это, как доказательство своей симпатии к немецкому языку и, наконец, чтобы сказать вам в прозе, что я желаю вам к вашему дню рождения веселого настроения и веселого года.

Преданный вам Н. О г а р е в

Fräulein Olga[124*]

Милая Оля, что ж ты ко мне не напишешь? Здорова ли ты, здорова ли Туту?[3] Что ты играешь на фортепьяно? Что ты делаешь с Лизой? Напиши мне все подробно. Жду от тебя письма и целую тебя на обе щеки и в лоб. Видел мисс Майльс, которая об тебе и обо всех спрашивала.

Твой А г а

[1] Год уточняется по следующему указанию в письме Огарева к В.Ф. Лугинину от 30 октября 1862 г.: "Я ушел из Лондона в Ричмонд на одиночество работать и пишу разбор основных положений преобразований судебной части" (*Огарев* II, 470).

[2] Мейзенбуг родилась 28 октября 1816 г.

[3] *Туту* – кличка собаки (по-французски le toutou – *собачка*).

[124*] Фрейлейн Ольге (*нем.*).

2

⟨Teddington.⟩ Den 6 August ⟨1863⟩

Liebe Malvida Pinciana[1],

1

Erstens, danke für den Tempel,
Den ich aufgehängt im Zimmer,
Als ein prächtiges Exempel
Der Vernichtung und der Trümmer[2].

Ja, ich liebe diese Trümmer
Einer Welt, die einst gestanden:
Unsre Gegenwart ist dümmer
Und die Zukunft nicht vorhanden.

Das Gespenst der [alten] toten Zeiten
Schwankt – ein Dunstbild – stumm und leise
Und verschimmert in dem weiten
Abenddämmrung-Schattenkreise.

Doch die Welt, die nicht geboren,
Das Gespenst des Unbekannten –
Steigt ein Nebelbild verloren
In der Nacht, der leerumspannten.

Und da sitz ich zwischen beiden
Auf der dürren trocknen Erde,
Und ich fühl's mit bittrem[125*] Leiden
Wie ich drollig mich gebehrde.

Diese schmerzensvolle Lage
Wäre einfach vorzutragen,
Nur daß ich's, bei Gott, nicht wage
In französischen zu sagen.

Nun! die Welle wird zerschellen,
Und die Klage wird verhallen,
Und ich werde mich gesellen
Zum Gespenst verfallner[126*] Hallen.

Und ein andrer Narr wird kommen,
Wird da sitzen auf der Erde,
Herzgebrochen, geistbeklommen,
Mit der drolligsten Gebehrde –

Haschend nach den beiden Seiten
Die Gespenster aufzufinden,
Die im Dunst und Nebel schreiten,
Und entfliehen und verschwinden.

Zwischen Sonnenuntergehen
Und dem nicht gekommnen Morgen,
Ohne jemals klar zu sehen,
Wird er sitzen voller Sorgen,

125* *В авторской копии, принадлежавшей М.Ристу*: tiefem.
126* *В той же копии*: der öden.

Seufzen um die alten Tage,
Warten ob es doch wird helle, –
Bis verstummt ist seine Klage
Und zerschellt ist seine Welle...

Und so weiter... Zum voraus
Dank ich aber untertänig
Ruft er mein Gespenst heraus...
Doch das hilft und beiden wenig.

2

Zweitens, müβen Sie erfahren,
Daβ die Kinder lachen, weinen;
Lisa wird schon bald [sechs] fünf Jahren,
Sieben viertel bald die Kleinen[3].

Durch das Kartenspiel des *Sir John*[4]
Ist auf Krieg nicht mehr zu warten;
Unser *landlord* ist ein *surgeon*
Und nach Talg stinkt unser Garten.

Doch die Gegend alles zieret!
Blumen, Heuduft, grüne Säume,
Und man trifft, wenn man spazieret
Dumme Menschen, hohe Bäume.

Ach! in Hamptonwick da wohnte
Eine alte deutsche Mutter,
Handel trieb sie, wie sie's konnte –
Gingerbier, confect und Butter.

Nun! das Haus fiel jüngst zu Trümmer,
Fort ist auch die alte Frau,
Und man lechzt und findet nimmer[127*]
Ginger – weder kalt noch lau.

Und nun ist des Weibes Lage
Zwischen alt' und neuer Schwelle –
Bis verstummt ist ihre Klage
Und zerschellt ist ihre Welle.

Doch ich komme gleich zu Ende,
Enden muβ ich was ich treibe;
Folglich, drück' ich Ihre Hände,
Beide Hände und verbleibe

Ihr Freund N. O g a r e f f

Рукой Герцена:

Chère amie, voilà un poëme entier pour une lettre. Nous en avons ri et "au fond" comme disait Levassor[128*] – c'est triste. J'ai reçu votre lettre[5] – (la dernière de Vico). Toujours et toujours je vois l'immutabilité des individus. Vous êtez derechef comme photographiée psychiquement dans votre lettre et remarquez – non seulement vous mais le génie germanique – je le dis maintenant très sérieusement – grand entendement, pas de persistance pratique, révolte – contre l'injuste, – mais pas de lutte – retraite dédaigneuse ⟨!⟩ – mais pas de triom-

[127*] *В копии М. Риста*: Und bekommen wird man nimmer. – *Ред.*
[128*] *В автографе*: Levasseur. – *Ред.*



МАЛЬВИДА МЕЙЗЕНБУГ

Фотография, 1850-е годы

Из книги: Alexandre Herzen. Lettres inédites à sa fille Olga. Paris, 1970

phe. Prenez d'un côté votre côté gauche (avec le coeur) et de l'autre une moitié de Mazzini – et vour aurez un *half and half* admirable. Laissez comme cela est – vous déserterez l'humanité et Mazzini – la logique. *Weiter* – très chère Amie – non – vous n'avez pas bien compris ce qui se passe – je tâcherais de vous expliquer dans la suivante lettre – avec l'accompagnement – de 1000 fr. – Les affaires de l'Amérique s'améliorent[6].

Adieu.

6 août 1863

Перевод:

⟨Теддингтон.⟩ 6 августа ⟨1863 г.⟩

Дорогая Мальвида Пинчана[1],

1

Во-первых, благодарю за храм,
Который я повесил в комнате,
Как великолепный пример
Уничтожения и развалин[2].

Да, я люблю эти развалины
Мира, который некогда существовал:
Наше настоящее глупее,
А будущего нет вообще.

Призрак [древних] мертвых времен
Колеблется – видение – безмолвное и тихое
И меркнет в далеком
Круге теней вечерних сумерек.

Но мир, который не родился,
Призрак Неизвестного –
Возникает туманное изображение, которое теряется
В ночи, окруженной пустотой.

И я здесь сижу между обеими
На бесплодной сухой земле,
И чувствую с горькой[129*] печалью,
Как смешно я себя веду.

Это положение, полное скорби,
Изложить было бы просто,
Но я, ей-богу, не отваживаюсь
Сказать это по-французски.

Итак, волна разобьется,
И жалоба замрет,
А я присоединюсь
К призраку разрушенных сводов.

И другой дурак придет,
Будет сидеть здесь на земле,
С разбитым сердцем, со стесненной душой,
Смешно кривляясь, –

Бросаясь то туда, то сюда,
Чтобы найти призраки,
Которые движутся в дыму и тумане
И ускользают, и исчезают.

Между заходом солнца
И не наступившим утром,
Без возможности когда-либо ясно видеть,
Он будет сидеть, преисполненный забот.

Будет вздыхать о прежних днях,
Ожидать, не станет ли посветлее, –
Пока не умолкнет его жалоба
И не разобьется его волна...

И так далее. Заранее
Я покорнейше благодарю,
Если он вызовет мой призрак...
Но это мало поможет нам обоим.

2

Во-вторых, вы должны узнать,
Что дети смеются, плачут;
Лизе скоро будет пять лет,
Семь четвертых скоро малышам[3].

Карты сэра Джона[4] показывают,
Что войны можно больше не ожидать,
Наш лендлорд – хирург,
И наш сад воняет салом.

Но всё украшает эту местность!
Цветы, запах сена, зеленые опушки леса,
И, гуляя, встречаешь
Глупых людей, высокие деревья.

129* *В авторской (?) копии, принадлежавшей М. Ристу*: глубокой. – *Ред.*

Ах! В Хэмптонуике жила
Старая немецкая матушка,
Вела, как умела, она свою торговлю
Пивом, конфетами и маслом.

И вот! Дом этот недавно превратился в развалины,
Нет и старой женщины.
И, томясь жаждой, нигде не находишь[130*]
Пива – ни холодного, ни теплого.

И таково теперь положение женщины
Между старым и новым порогом –
Пока не умолкнет ее жалоба
И не разобьется ее волна.

Но я должен сейчас закончить,
Закончить должен я свое дело;
Поэтому я жму ваши руки,
Обе руки, и остаюсь

вашим другом Н. О г а р е в ы м

Рукой Герцена:

Дорогой друг, вот целая поэма вместо письма. Мы посмеялись над ней, но "в сущности", как говаривал Левассор[131*], – это грустно. Я получил ваше письмо[5] – (последнее из Вико). Постоянно и непрестанно вижу я незыблемость личностей. Вы отныне как бы психически сфотографированы в своем письме и, заметьте, – не только вы, но и германский дух – я говорю это теперь весьма серьезно... большая способность понимания, отсутствие практической настойчивости, возмущение – против несправедливости – но не борьба – презрительный отход, – но не торжество. Возьмите, с одной стороны, ваш левый бок (с сердцем), а с другой – половинку Маццини, – и вы получите великолепную half and half[132*]. Оставьте все, как есть, – вы измените человеческой природе, а Маццини – логике. Weiter[133*] – дражайший Друг, нет, вы не совсем хорошо поняли, что происходит, – и я постараюсь объяснить вам в следующем письме – с сопровождением 1000 фр. – Дела Америки улучшаются[6].

Прощайте.

6 августа 1863 г.

[1] Мейзенбуг жила в это время с Н.А. и О.А. Герцен в Риме на Via Porta Pinciana.

[2] Изображение развалин храма Весты в Риме, которое Мейзенбуг незадолго до того прислала Огареву (см. XXVII, 343).

[3] Малолетним близнецам Герцена и Тучковой-Огаревой Алеше и Леле 23 ноября должно было исполниться по два года. Шутливый подсчет Огарева, вероятно, означал, что через три месяца (1/4 года) дети достигнут двухлетнего возраста (т.е. 4/4 = 1 году, 3/4 + 1/4 – еще году).

[4] В связи с отклонением Россией предъявленного ей 27 июня ультиматума Франции, Англии и Австрии, вступившихся за восставшую Польшу, многие находились в ожидании общеевропейской войны. Герцен и Огарев не разделяли этих опасений (см. XXVII, 358). И действительно, западные державы ограничились дипломатическими демаршами. *Сэр Джон* – Г.Дж. Пальмерстон – английский премьер-министр.

[5] Это письмо Мейзенбуг к Герцену неизвестно.

[6] Речь идет об акциях США, в которые вложена была значительная часть состояния Герцена.

3

⟨London.⟩ Den 5 December ⟨1864⟩

Liebe Malvida, hierbei bekomme einen Brief von Schurz, den ich, freilich, nicht gelesen habe[1]. Ich reise heute nach Paris: Lela-girl hat man die Tracheotomie gemacht. Sie war noch

---

130* *В копии М. Риста*: И нигде не получишь. – *Ред.*

131* *В автографе*: Левассёр (Levasseur). – *Ред.*

132* смесь в равных долях (*англ.*).

133* Далее (*нем.*).

am Leben vorgestern. Ich umarme und küsse Euch alle, habe keine Zeit zu schreiben. Schreiben Sie mir Paris, 15, rue du Colisée, Champs Elysées. *Addio*! Wahrscheinlich reise ich zu einem Begräbniss[2].

Перевод:

⟨Лондон.⟩ 5 декабря ⟨1864 г.⟩

Дорогая Мальвида, сейчас получено письмо от Шурца, которое я, откровенно говоря, не прочитал[1]. Сегодня я уезжаю в Париж: Леле-гёрл сделали трахеотомию. Позавчера она была еще жива. Я обнимаю и целую вас всех, у меня нет времени писать. Пишите мне – Париж, улица Colisée, Champs Elysées, 15. Addio. Возможно, я еду на похороны[2].

[1] Это письмо Шурца неизвестно. Огарев приехал в Париж 6 декабря.
[2] О смерти близнецов Лели-боя и Лели-герл см. ниже.

4

⟨Richmond.⟩ 6, Rothsay Villas, Richmond Hill.
S⟨ud⟩-W⟨est⟩, den 26 Jan⟨uar 1865⟩, abends

So lange habe ich Ihnen nicht geschrieben, liebe Malvida, oder vielmehr so lange habe ich Ihnen nicht auf Ihren herzlichen Brief geantwortet, daß es mir selber schwer fällt. Vieles hat dazu beigetragen, meine Gesundheit, die seit meiner Rückkehr aus Paris erbärmlich wurde, – und meine Beschäftigung, die nie ermattet, und zuweilen etwas *businesslike* wird und in jedem Falle mich etwas ermattet, so daß ich den Brief, der mir am meisten am Herzen gelegen, verschiebe aufs morgen, morgen u.s.w.[1] – Nun aber ich komme auf Ihren Brief zurück. Was der Tod der unglücklichen Kinder auf Sie gewirkt hat, das konnte ich wissen ohne Sie es gesagt hätten. Den Kleinen habe ich sterben sehen, – ruhig, aber lebensgierig und ich glaube daß er verstand daß er sterben wird. Gequält hat man ihn mit den Arzneien – schrecklich; er fürchtete den Arzt. Die Kleine habe ich nicht gesehen! Ich weiß nur, daß mit ihr dasselbe gewesen ist, daß sie sich zum Fenster tragen ließ um auf die Welt zu sehen – und ruhig starb. Ich glaube wohl – beide ruhig: bei dieser Krankheit ist der Kranke äußerst entkräftet und der Entkräftete stirbt immer ruhig...

Aber wollen wir von den lebenden sprechen. Ich kann noch bis jetzt an die beiden Kleinen nicht denken ohne selbst entkräftet zu werden. Unter den Lebenden – von wem ich zuerst sprechen will, es ist von Tata. Sie können sich nicht vorstellen wie ich glücklich bin, daß Sie auch zu lieben anfangen diese zarte, einfache, herzenstiefe Natur[2]. Daß sie jetzt zum echten Entwicklungspunkte aufgewachsen, das ist wahr und daher bin ich überzeugt, daß Sie an ihr viel Trost im Leben finden werden und das macht mich glücklich. An Olga müßen Sie noch warten wenigstens ein paar Jahre warten; laßen Sie sie noch ein Paar Jahre kindisch und zerstreut bleiben; ich glaube daß es so mehr naturgemäß ist. Dann werden Sie sehen eine *plötzliche* Umwendung zum Ernst... So gerne möchte ich noch bis der Zeit selbst am Leben bleiben um das zu sehen, und hoffe es. Mit Lisa wird es sehr nahe dasselbe werden. Sollte ich nicht am Leben bleiben, so vergeßen Sie dieses nicht.

Alexander – und dazu applaudire ich – ist zum Ernst durch die Wissenschaft gekommen!

Zum Schluß, da ich doch sehr wenig Zeit habe, muß ich Ihnen sagen, daß ich glaube meine Gesundheit wird von diesen Tagen an besser und besser werden. Ich sage dieses nicht ins Blaue hinein, als aber eine Mutmassung auf wissenschaftlicher Erfahrung gegründet. Die Sache ist außerordentlich interessant, das muß ich gestehen.

Shakehand, Ihr A g a

Перевод:

⟨Ричмонд.⟩ 6, Rothsay Villas, Richmond Hill.
Ю⟨го⟩-З⟨апад⟩, 26 ян⟨варя 1865 г.⟩, вечером

Я так долго не писал вам, дорогая Мальвида, или вернее, я так долго не отвечал на ваше сердечное письмо, что мне самому это очень тяжело. Многое тому причиной – мое здоровье, которое после возвращения моего из Парижа стало отвратительным, – и мои занятия, кото-

рые никогда не прекращаются и подчас принимают характер несколько businesslike[134*] и, во всяком случае, меня немного утомляют, так что письмо, которое больше всего затрагивает мое сердце, я откладываю на завтра, завтра и т.д.[1] – Но теперь возвращаюсь к вашему письму. Как на вас подействовала смерть несчастных детей, я мог себе представить, даже если бы вы об этом не говорили. Я видел, как умирал малыш, – спокойно, но страстно желая жить, и, думаю, он понимал, что умрет. Мучили его лекарствами ужасно; он боялся врача. Малышку я не видел! Знаю только, что с ней было то же самое, она требовала, чтобы ее поднесли к окну посмотреть на божий мир – и умерла спокойно. Думаю, что действительно, оба спокойно: при этой болезни больной крайне обессилен, а обессиленный всегда умирает спокойно...

Но поговорим о живых. Я сам до сих пор не могу думать об обоих малышах, не испытывая при этом полной утраты сил. Среди живых – о ком я прежде всего хочу поговорить, это о Тате. Вы не можете себе представить, как я счастлив, что вы тоже стали любить эту нежную, простую, глубокую, осердеченную натуру[2]. Это правда, что она теперь достигла истинного апогея своего развития, и поэтому я убежден, что в ней вы найдете много утешения в жизни, и это делает меня счастливым. Что касается Ольги, то вы должны подождать, по меньшей мере, несколько лет; дайте ей возможность еще несколько лет оставаться ребячливой и рассеянной; полагаю, что так более естественно. Потом вы увидите *внезапный* поворот к серьезности... Как бы я хотел остаться в живых до того времени, чтоб увидеть это, и на это я надеюсь. С Лизой очень скоро будет то же самое. Если мне не суждено дожить, не позабудьте сказанного мною.

Александр – и я рукоплещу этому – стал серьезным человеком благодаря науке!

В заключение, поскольку у меня все же очень мало времени – я должен сказать: думаю, что с этой поры здоровье мое будет все лучше и лучше. Я говорю это не наобум, а как предположение, основанное на научном опыте. Дело исключительно интересное, должен признаться в этом.

Shakehand[135*], ваш А г а

[1] Начало известного изречения Х.-Ф. Вейзе: «"Завтра, завтра, не сегодня", так ленивцы говорят».

[2] Это письмо Мейзенбуг с похвальным отзывом о старшей дочери Герцена неизвестно. Вообще-то она относилась ревниво-недоброжелательно к этой красивой и обаятельной девушке, не прощая ей успеха у мужчин.

5

⟨Женева.⟩ 31 января ⟨1866 г.⟩

Liebe Malvida,

Nach einem solchen Stillschweigen, und nur einige Worte... aber lieber schreibe ich einige Worte als gar nichts. Denn es ist schon so lange, lange daβ ich schreiben will und kann nicht dazu kommen.

Ich höre daβ Sie unwohl sind; aber mir scheint daβ die Fantasie auch darin eine groβe Rolle spielt. Ich würde Ihnen raten mehr Gesellschaft, mehr Spaziergang, mehr Lebenslust. Sie haben das alles so leicht zu finden in dem kunstreichem, singenden, warmen Lande, um ja das hypochondrische Wesen zu vergeβen. Tun Sie das.

Ich fühle mich viel besser seitdem ich mich kochen und verfrieren laβe...

Wir haben hier auch Sonne und Frühling Tendenzen.

Nein, Malwida, mein Brief kommt heute nicht zu Ende; ich schreibe Ihnen lieber ein anderes Mal, bei ganz unermüdetem Gehirn. Jetzt bin ich müde, aber schicke Ihnen diese Zeillen nur um Ihnen die Hand zu drücken und Sie an mich zu erinnern.

Ihr alter F r e u n d

Рукой Герцена:

1 février

Oui, certainement votre lettre à N⟨atalie⟩ a été envoyée á Montreux[1]. Mais je n'ai rien entendu après. – Je trouve l'état de N⟨atalie⟩ en général très souffrant et mauvais. Est-ce le

[134*] деловой (*англ.*).

[135*] рукопожатие (*англ.*).

côté physique qui entraîne le moral, ou "vice versa" – mais toute convalescence est eloignée..

Votre lettre a été reçue en temps. Og ⟨areff⟩ veut vous faire danser (*heraustanzen aus der Krankheit*); qu'en dites vous de cela? Et lui-même reste avec son éloquence muette et son humeur noir? Sa santé (à mon avis) va mal...

Tata et Lise prospérent, mais Tata a abandonné la peinture, avec acharnement.

Adieu.

Je cherche une petite maison près de Genève – pour être libre comme un vagabond[2].

Перевод:

Дорогая Мальвида,

После такого молчания – и всего несколько слов... но лучше я напишу несколько слов, чем совсем ничего. Потому что уже давно, давно я хочу написать и никак не могу этого достигнуть.

Слышу, что вы плохо себя чувствуете; однако мне кажется, что и в этом большую роль играет фантазия. Я бы вам посоветовал больше бывать в обществе, больше прогулок, больше жизнерадостности. Вам так легко найти это в стране, богатой искусством, пением, теплом, чтобы забыть все, что нагоняет ипохондрию. Сделайте это.

Я чувствую себя гораздо лучше с тех пор, как подвергаю себя разогреванию и охлаждению...

У нас тут тоже солнце и весенние стремления.

Нет, Мальвида, письмо мое никак не закончится сегодня; я лучше напишу вам в другой раз, с отдохнувшим мозгом. Сейчас я устал, но посылаю вам эти строки, только чтобы пожать вам руку и напомнить вам о себе.

Ваш старый д р у г

Рукой Герцена:

1 февраля

Да, конечно, ваше письмо к Н⟨атали⟩ послано было в Монтрё[1]. Но после этого я ничего не слышал. – Я нахожу состояние Н⟨атали⟩, в общем, крайне мучительным и скверным. Влияет ли физическое состояние на моральное или же "vice versa"[136*] – но окончательное выздоровление отодвигается вдаль.

Ваше письмо было получено вовремя. Ог⟨арев⟩ хочет заставить вас танцевать (heraustanzen aus der Krankheit)[137*] – что вы на это скажете? А сам он остается со своим немым красноречием и мрачным своим настроением? Его здоровье (на мой взгляд) неважно...

Тата и Лиза процветают, но Тата с ожесточением забросила живопись.

Прощайте.

Ищу маленький домик близ Женевы – чтобы быть свободным, как бродяга[2].

[1] Это письмо Мейзенбуг к Тучковой-Огаревой, которая жила тогда с дочерью в Монтрё, неизвестно. Незадолго до того, 28 января 1866 г., Герцен возвратился из этого города в Женеву, оставив Наталью Алексеевну в глубокой душевной депрессии, из которой она долго не выходила после смерти своих детей-близнецов в 1864 г.

[2] Намерение Герцена надолго обосноваться с семьей в Женеве не осуществилось.

6

4 Juny ⟨1866⟩

Liebe Malvida, lieber will ich Ihnen einige Zeilen schreiben, als gar nichts – wenigstens werden Sie mich nicht vergessen und werden nicht böse daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe. Das Wetter ist bei uns so schrecklich schlecht und drückend, daß ich kaum Zeit finde für meine Arbeit; ich brauche mich oft zu erholen. Uebrigens im ganzen muß ich sagen, daß ich mich besser fühle. Auch Ihr Wunsch ist erfüllt – ich gehe früh zu Bett und stehe früh auf.

136* "наоборот" (*лат.*).

137* вытанцевать вас от болезни (*нем.*).

Schreiben Sie mir doch was Sie machen? Sie haben doch mehr interessantes zu sehen, als wir. Sie müßen kriegerisch gestimmt sein[1]. Wir sind auch kriegerisch gestimmt, aber nur gegen die entsetzlichen Maßregeln der rußischen Regierung[2]. Aber Sie haben ein ganzes Volk zu sehen, das wirklich kriegerisch gestimmt ist. Das ist etwas anders.

Wie ist Ihre Gesundheit?...

So eben scheint die Sonne nach einem entsetzlichen Regen von Mitternacht an bis $2^1/_2$ Uhr nachmittag. Adieu, liebe Malvida, ich laufe nach Genf Herzen und Tata zu sehen...

Lisa geht ins Kindergarten in Lausanne. Ich hoffe es wird Ihr viel gutes tun. Intelligent ist sie gewiß und das außerordentlich.

Addio, drücke offenherzlich die Hand.

Ihr A g a

Рукой Герцена:

Chère Malvida,

Nehmen Sie sich in *Acht* hundert francs[3] die Ihnen Alexander auszahlen wird. Nachher können Sie v⟨on⟩ Avigdor bekommen.

Sie zahlen nichts für die 800 fr.

P.S. Non, le cours est inconnu et on vous fera payer – mais je prends sur moi.

Перевод:

4 июня ⟨1866 г.⟩

Дорогая Мальвида, лучше напишу вам несколько строчек, нежели совсем ничего, – вы меня, по крайней мере, не забудете и не станете на меня сердиться за то, что я так долго вам не писал. Погода у нас столь ужасающе скверная и гнетущая, что я едва нахожу время для своей работы; я часто нуждаюсь в отдыхе. Впрочем, в целом, я должен сказать, что чувствую себя лучше. И ваше желание исполнено – я рано ложусь в постель и рано встаю.

Напишите же мне, что́ вы делаете? Вы ведь можете увидеть больше интересного, чем мы. Вы должны быть настроены воинственно[1]. Мы тоже настроены воинственно, но только против ужасных мероприятий русского правительства[2]. Однако вы можете видеть целый народ, который действительно настроен воинственно. Это нечто другое.

Как ваше здоровье?..

Только что засияло солнце после ужасного дождя, продолжавшегося с полуночи до $2^1/_2$ часов пополудни. Прощайте, дорогая Мальвида, я спешу в Женеву, чтобы повидаться с Герценом и Татой...

Лиза ходит в детский сад в Лозанне. Надеюсь, что это принесет ей много добра. Она чрезвычайно умна – и это бесспорно.

Прощайте, сердечно жму вам руку.

Ваш А г а

Рукой Герцена:

Дорогая Мальвида,

Примите во внимание *восемьсот* франков[3], которые заплатит вам Александр. Потом вы сможете получить от Авигдора.

Вы ничего не платите за 800 фр.

P.S. Нет, курс неизвестен, и вас заставят платить – но я возьму на себя.

[1] Огарев намекает на крайне напряженные отношения между Пруссией и Австрией. В начале июня Пруссия оккупировала герцогство Голштейнское, а 16-го числа ею была объявлена война Австрии (ср. XXVIII, 205).

[2] Имеется в виду разгул реакции в России после покушения Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 г.

[3] В немецком оригинале каламбур: Acht означает *внимание* (Acht) и *восемь* (acht).

7

⟨Genf.⟩ Den 20 November ⟨1867⟩[1]

Liebe Malvida, endlich will ich Ihnen wenigstens meinen Händedruck schreiben, Ihnen zu Olga's Geburtstag Glück wünschen. Schwerlich kann ich heute mehr tun. Habe wieder korrektiert, korrektiert und jetzt muß zum Printing-office gehen.

Sagen Sie mir doch wann Herzen und Tata gekommen sind? Wie geht es Ihnen in Florenz... Es ist eine üble Zeit, schwerlich können Sie sich worüber freuen. Sagen Sie mir auch wie ist ihre Gesundheit? Sagen Sie mir wie Olga singt?

Was wir hier haben, das ist wirklich zum müde werden: beständig ein Umtausch zwischen bise und Regen, und oft ein ganz londoner Fog.

Es ist glücklich wenn man Arbeit hat und das Rundumher vergessen kann.

Grüßen Sie alle. Ich werde morgen an Herzen schreiben, heute est es unmöglich[2].

Addio, meine gute Freundin,

Ihr ergebenster A g a

Перевод:

⟨Женева.⟩ 20 ноября ⟨1867 г.⟩[1]

Дорогая Мальвида, хочу, наконец, письменно передать вам по меньшей мере свое рукопожатие, пожелать вам счастья к Ольгиному дню рождения. Сегодня я с трудом могу сделать больше. Снова и снова держал я корректуру, а сейчас должен идти в Printing-office[138*].

Скажите же мне, когда приехали Герцен и Тата? Как вам живется во Флоренции... Погода скверная, вряд ли вы можете там чему-нибудь радоваться. Скажите мне также, как ваше здоровье? Скажите мне, как Ольга поет?

То, что здесь у нас делается, по-настоящему утомляет: постоянное чередование бизы и дождя, а часто совершенно лондонский туман.

Счастье, когда есть работа и можно забыть обо всем вокруг.

Передайте всем привет. Герцену я напишу завтра, сегодня сделать это невозможно[2].

Addio, мой добрый друг,

всецело вам преданный А г а

[1] Год устанавливается по упоминанию о поездке Герцена и его старшей дочери во Флоренцию. На пути туда Герцен писал Огареву из Турина 19 ноября 1867 г. (XXIX, 233–234).

[2] Письмо Огарева к Герцену от 21 ноября остается неизвестным. Возможно, что оно написано не было.

8

⟨Genf.⟩ Den 13 März ⟨1868⟩[1]

Erstens, danke Ihnen, liebe Freundin für Ihre vortreffliche Photographie und für Ihre guten Briefe. Zweitens – beruhigen Sie sich über mein Unglück. Es ist kein Unglück, es ist nur eine Unheimlichkeit[139*], denn ich bin ganz gesund und muß noch wahrscheinlich drei Wochen lang auf dem Rücken liegen. Aber ich habe mich schon dazu gewohnt und kann lesen und mit der Bleistift schreiben, d⟨as⟩ h⟨eißt⟩ ich kann arbeiten und bin zufrieden. Mein Bein ist immer besser und besser. Mayor bewundert wie ich so schnell genessen kann.

Sie schreiben mir von Blumen und Duft, aber ich habe hier was schöneres gesehen. Einen Tag war es hier rund umher Schnee, glänzend in der Sonne. Ich glaubte zu Hause zu sein und war ganz glüklich...

Danke für die Beschreibung Olga's Stimme. Schreiben Sie mir öfters darüber.

Drücke Ihnen herzlich die Hand. Möchte Sie doch so gerne sehen.

Ihr A g a

[138*] типографию (*англ.*).

[139*] *В автографе* Unannehmlichkeit. – *Ред.*

Перевод:

⟨Женева.⟩ 13 марта ⟨1868 г.⟩[1]

Во-первых, благодарю вас, дорогой друг, за вашу великолепную фотографию и за ваши добрые письма. Во-вторых, – не беспокойтесь по поводу моего несчастья. Это не несчастье, это только неприятность, т.к. я совершенно здоров и еще, наверное, три недели должен оставаться лежа на спине. Но к этому я уже привык и могу читать и писать карандашом, т.е. я могу работать, и я доволен. Моя нога становится все лучше и лучше. Майор удивляется, как удается мне так быстро поправляться.

Вы пишете мне о цветах и аромате, но я здесь видел нечто более прекрасное. Однажды здесь кругом был снег, блестящий на солнце. Мне казалось, что я дома, и я был совершенно счастлив...

Благодарю за описание Ольгиного голоса. Пишите мне чаще об этом.

Жму вам сердечно руку. Так хотелось бы вас видеть.

Ваш А г а

[1] Ответ на письмо Мейзенбуг (с ее фотографией) от 6 марта ⟨?⟩ 1868 г. (см. его в кн. 2-й наст. тома).

9

⟨Женева. Июня между 7 и 10 1868 г.[1]⟩

Liebe Malvida, verzeihen Sie daβ ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe. Es wäre wirklich verzeihlich – hätte ich mir die rechte Hand gebrochen, aber es ist nur der linke Schenkel – also ist es wirklich unverzeihlich...

So eben kommt Thorzewski und bringt mir Ihre Handschrift[2], die ich Ihrem (und meinem) Wunsche gemäβ durchlesen werde und dann mit David darüber sprechen will, damit et nicht überkorrigiert. – Thorzewsli erwartet von Ihnen die Entscheidung über das Format u.s.w. Die Proben hat et Ihnen geschickt.

So muβ ich wieder um Verzeihung *bitten* – ich werde gehindert, aber ich will die Briefe durchaus heute abfertigen. Lieber werde ich Ihnen einen echten Brief schreiben, [diese Zeilen] nach dem Durchlesen Ihrer Handschrift... Also diese Tage. – Ich erwarte Herzen; ich hoffe er wird bald zu mir kommen[3].

Wollen Sie wirklich nach Kreuznach reisen? Und das aus Italien? Übrigens der Sommer scheint prachtvoll. Bei uns ist es so warm, daβ ich mehr leide als geniesse.

Herzlich drücke ich Ihnen die Hand.

Ihr alter Freund A g a[4]

Перевод:

Дорогая Мальвида, простите, что я так долго вам не писал. Это в самом деле было бы простительно, если бы я сломал себе правую руку, но это лишь левое бедро – так что сие в самом деле непростительно...

Только что пришел Тхоржевский и принес мне вашу рукопись[2], которую я согласно вашему (и моему) желанию прочитаю и затем хочу об этом поговорить с Давидом, чтоб он чрезмерно не правил. – Тхоржевский ожидает от вас решения о формате и т.п. Образцы он вам послал.

Я снова должен *просить* у вас прощения – мне помешали, но я хочу закончить письма непременно сегодня. Лучше я напишу вам настоящее письмо [эти строки] после прочтения вашей рукописи... Итак, на этих днях. – Я ожидаю Герцена; надеюсь, что он скоро ко мне приедет[3].

Вы действительно хотите поехать в Крёйцнах? И это из Италии? Впрочем, лето кажется великолепным. У нас так жарко, что я больше страдаю, чем наслаждаюсь.

Сердечно жму вашу руку.

Ваш старый друг А г а

[1] Письмо датируется приблизительно, по упоминанию о предстоящем вскоре приезде Герцена в Женеву.

[2] Имеются в виду "Воспоминания идеалистки" Мейзенбуг.

[3] Герцен приехал в Женеву 10 июня (см. XXIX, 365).

[4] Мейзенбуг ответила 16 июня (см. книгу 2-ю наст. тома).



ЖЕНЕВА. ВИД НА ПРАВЫЙ БЕРЕГ РОНЫ

На переднем плане – мост Де Берг, остров Руссо и мост Монблан; далее (слева направо) – набережная Де Берг, с отелем Де Берг (в центре), набережная Монблан, Паки

Цветная литография, 1860-е годы

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва

На набережной Монблан (Quai de Mont Blanc, 7) Герцен жил в 1866 г.

10

⟨Genf.⟩ 6 Februar ⟨1870⟩

Liebe Malvida, ich bin Ihnen viel dankbar für Ihren guten Brief[1]. Ja, wenn ich auch selbst Ihnen bis jetzt nicht geschrieben habe, so ist es weil ich wirklich stumm und erstaunt bleibe und kann bis jetzt nicht verstehen – wie, was geschehen ist. Das einzige was ich fühle daβ ich was verloren habe und allein bleibe…

Ich dachte niemals, daβ ich überleben werde. Es scheint mir unnatürlich.

Aber so ist es geschehen und ich bleibe noch zu leben für unsere Arbeit.

Ich bin wirklich nicht im Stande Ihnen noch was zu sagen. Die Tränen flieβen, die Hand will nicht schreiben.

Ihr A g a[2]

Перевод:

⟨Женева.⟩ 6 февраля ⟨1870 г.⟩

Дорогая Мальвида, я вам очень благодарен за ваше доброе письмо[1]. Да, если я сам вам до сих пор не написал, то это потому, что действительно продолжаю пребывать в состоянии немоты и потрясения и до сих пор не могу понять – как, каким образом это случилось. Я чувствую только, что́ утрачено мною и что я остаюсь в одиночестве…

Никогда я не думал, что переживу его. Это кажется мне противоестественным.

Но так случилось, и я остаюсь еще жить для нашей работы.

Я действительно не в состоянии сказать вам что-нибудь еще. Слезы льются, рука не хочет писать.

Ваш А г а[2]

[1] Огарев отвечает на письмо Мейзенбуг от 3 февраля 1870 г. (см. его в кн. 2-й наст. тома).

[2] Ср. "Лит. наследство", т. 63, с. 530 и 538–539.

11

⟨Genf.⟩ Den 22 September ⟨1871?⟩[1]

Liebe Malvida, wie lange haben wir nicht einander geschrieben! Es scheint daß wir alt werden und daß die vorige Lust zu schreiben nicht mehr vorhanden ist. Ich fürchte daß ich sogar das Deutsche verlernt habe!.. Aber es bleibt mir gewiß, daß Sie Ihre vorige Sympathie zu mir nicht verloren haben. Meinerseits fühle ich daß meine Sympathie und Freundschaft zu Ihnen unmöglich zu ändern sei.

Schreiben Sie mir doch. Ein Brief von Ihnen wird mir gewiß eine lange Antwort einflößen.

Ihrem Rate gemäß schlafe ich jetzt immer bevor Mitternacht ein, und ich kann nicht klagen daß meine Gesundheit schlimmer sei, vielmehr scheint es mir daß ich viel besser bin als früher.

Leben Sie wohl für diesmal. Ich kann heute nichts vernünftiges schreiben. – Ich drücke Ihnen die Hand brüderlich.

Ihr A g a

Перевод:

⟨Женева.⟩ 22 сентября ⟨1871(?)г.⟩[1]

Дорогая Мальвида, как долго мы друг другу не писали! По-видимому, мы стареем и прежнего веселого желанья писать уже нет. Боюсь, что я разучился даже писать по-немецки!... Однако во мне остается уверенность, что прежней симпатии ко мне вы не утратили. Со своей стороны я чувствую, что мою симпатию и дружеское расположение к вам изменить невозможно.

Напишите же мне. Письмо от вас наверняка вдохновит меня на обширный ответ.

Следуя вашему совету, я ложусь теперь спать до полуночи и не могу пожаловаться, что здоровье мое ухудшилось; мне даже кажется, что я чувствую себя сейчас гораздо лучше, нежели прежде.

Будьте здоровы. Сегодня не могу написать ничего толкового. Братски жму вам руку.

Ваш А г а

[1] Письмо с трудом поддается датированию. Как отмечает М. Мерво, это, должно быть, последнее письмо Огарева к Мейзенбуг, написанное по-немецки (в нем жалоба, что забывается немецкий язык из-за отсутствия практики). Следующие далее письма – от 19 декабря 1871 и 8 апреля 1872 г. – написаны уже по-французски.

12

МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ и О.А. ГЕРЦЕН

⟨Genève.⟩ 19 décembre ⟨1871⟩. Mardi

Mille fois merci pour vos bonnes lettres, chère Malvida et chère Olga[1]. Il y a bien longtemps que je n'avais pas eu le bonheur d'en recevoir. Alexandre aussi ne m'écrit jamais. Dites-lui que ce n'est pas bien de sa part.

Quant à moi, voilà déjà plusieurs jours que je me proposais de vous écrire, mais j'attendais pouvoir vous dire quelque chose de nouveau; enfin la patience me manque et le besoin de vous écrire augmente. J'aurais bien voulu vous voir, mais la chose est qu'il me sera impossible de quitter Genève jusqu'à la fin de mes jours. Mon pied malade me permet encore de rôder, mais pour monter en voiture il n'y a plus à penser. Pourtant je suis encore assez fort et je puis travailler; je voudrais bien recommancer quelques éditions dans ma propre langue, mais il faut rassembler les éléments et les moyens et l'on n'y arrive pas trop vite. Dites-moi, si je puis vous envoyer quelque chose en ma langue et avec pleine sûreté–ou si c'est inutile[2].

Ce qui est étonnant c'est qu'ici j'ai désappris l'allemand, car je ne parle que ma propre langue ou le français, et à la maison je parle l'anglais. A la maison je suis parfaitement tranquille, mais quant aux affaires générales, elles vont bien mal![140*]

[140*] Je félicite Alexandre pour l'entreprise de l'école, mais c'est l'entreprise d'une patience éternelle.

J'aurais été bien heureux d'entendre Olga.
Je vous embrasse avec pleine amitié, mes bonnes amies.

Votre dévoué A g a

Quant à André Léo – je ne la connais pas[3].

П е р е в о д:

⟨Женева.⟩ 19 декабря ⟨1871 г.⟩. Вторник

Тысячу раз благодарю за ваши добрые письма, милая Мальвида и милая Ольга![1] Давно уже не имел я счастья их получать. Александр тоже мне никогда не пишет. Скажите ему, что с его стороны это нехорошо.

Что до меня, то вот уже несколько дней, как я собирался написать вам, однако я ждал возможности сообщить вам что-нибудь новенькое; все же напоследок у меня уже не хватает терпения, а потребность писать к вам растет. Мне очень хотелось бы повидаться с вами, но дело обстоит так, что мне невозможно будет покинуть Женеву до конца моих дней. Больная моя нога еще позволяет мне кое-как передвигаться, но чтобы сесть в карету – нечего уж и думать. Тем не менее я еще достаточно силен и могу работать; мне чрезвычайно хотелось бы возобновить некоторые издания на моем родном языке, но для этого надобно собрать кое-какие материалы и средства, чего особенно быстро не добьешься. Скажите-ка, можно ли мне послать вам что-нибудь на своем языке и с полной надежностью, или же сие бесполезно[2].

Удивительно то, что здесь я позабыл немецкий язык, ибо говорю только на своем или по-французски, дома же я говорю по-английски. Дома я бываю в совершенно спокойном состоянии, что же касается общих дел, то идут они прескверно[140*]

Ольгу я был бы чрезвычайно рад послушать.

Целую вас с безгранично дружеским чувством, мои добрые друзья.

Преданный вам А г а

Что касается Андре Лео, то я ее не знаю[3].

[1]Ответ на письма М. Мейзенбуг и Ольги от 6 декабря 1871 г. (см. кн. 2-ю наст. тома).

[2]Что именно Огарев собирался послать Мейзенбуг, не установлено.

[3]Французская романистка Андре Лео в 1869 г. опубликовала похвальную рецензию на "Воспоминания идеалистки" (см. XXX, 285), приведшую Мейзенбуг в восторг. В своем письме она осведомилась у Огарева, знает ли он Лео.

13

⟨Genève.⟩ 8 avril ⟨1872⟩. Lundi[1]

Je voulais vous répondre encore hier (son jour de naissance[2]) à votre bien bonne lettre, chère vieille amie; mais j'ai été un peu indisposé hier (ordinairement, mais les attaques deviennent plus rares) – ce qui ne m'embarasse pas beaucoup, Mary me soignant comme on ne le peut mieux. Mais voilà une chose embarassante, chère amie, c'est la maladie de Czerniecky, qui est alité. Les médecins le traîtent d'un rheumatisme de l'estomac par la *Milchkur*. Moi je crois (mais je n'ose pas le dire) que c'est un empoisonnement plombique de l'imprimerie (qu'il ne peut pas vendre faute d'acheteur). – Groupez toutes ces circonstances, et vous trouverez que l'homme est dans un état fort pénible et dangereux. – Quant à moi – j'espère retrouver de l'ouvrage ici excepté celui à faire des vers.

J'ai vu hier[3] Z. en mémoire de J⟨oseph⟩[4].

Ma bonne Mary et mon bon Henry (qui devient professeur de langue anglaise) vous présentent leurs amitiés.

J'embrasse ma bonne Olga et j'espère que sa maladie est peu de chose. Je vous embrasse vous, ma vieille amie, et vous prie de m'écrire souvent. Faites et dites le aussi de ma part à Alex⟨andre⟩.

Votre A g a

[140*]Поздравляю Александра с задуманной им школой, но ведь затея эта требует бесконечного терпения.

Перевод:

⟨Женева.⟩ 8 апреля ⟨1872 г.⟩. Понедельник[1]

Я хотел ответить вам еще вчера (в его день рождения[2]) на ваше очень доброе письмо, дорогой старый друг; но вчера я был немножко нездоров (по обыкновению, но припадки становятся реже) – что́ меня не слишком-то беспокоит, поскольку Мери ухаживает за мной как нельзя лучше. Но что чинит мне затруднение, дорогой друг, – так это болезнь Чернецкого, который слег в постель. Врачи лечат его от желудочного ревматизма Milchkur' ом[141*]. Я же думаю (но не осмеливаюсь это высказать), что это отравление свинцом типографии (которую он никак не может продать за неимением покупателя). Суммируйте все сии обстоятельства, и вы найдете, что человек этот находится в крайне трудном и опасном положении. – Что до меня, то я надеюсь вновь найти здесь работу, кроме работы по сочинению стихов.

Я видел вчера Z.[3] на вечере в память Дж⟨узеппе⟩[4].

Славная моя Мери и славный мой Генри (который вскоре станет преподавателем английского языка) шлют вам дружеские приветы.

Обнимаю мою милую Ольгу и надеюсь, что болезнь ее несерьезна. Обнимаю вас, мой старый друг, и прошу вас писать мне часто. Делайте это и скажите то же от меня Алекс⟨андру⟩.

Ваш А г а

[1]Понедельник на 8 апреля приходился в 1872 г.

[2]Т.е. в день рождения покойного Герцена.

[3]О ком идет речь, неясно.

[4]Без сомнения, имеется в виду вечер в память Дж. Маццини, скончавшегося 10 марта 1872 г.

ОЛЬГЕ ГЕРЦЕН (МОНО)

Публикация И.А. Ж е л в а к о в о й[142*]

С дочерью Герцена Ольгой (в замужестве *Моно*, 1850–1953) Огарев связан был не так тесно, как со старшей, Татой, но сердечно любил ее и называл своим близким другом. Он заботился о ее воспитании и старался выработать в ней гуманистические идеалы, трудолюбие и увлеченность искусством.

Чувство, которое Огарев испытывал к Ольге и ко всем остальным членам родной для него герценовской семьи, прекрасно выражено в его письме (вернее, в приписке к письму Герцена) от 13 июня 1869 г., публикуемом ниже.

Осенью 1874 г., после десятилетнего пребывания в Швейцарии, Огарев вынужден был переехать в Англию. В его письмах к Ольге слышится голос человека, уставшего от духовного одиночества, болезней и всякого рода невзгод, но не утратившего желания трудиться "для русского дела".

В книге 2-й настоящего тома публикуется несколько сохранившихся писем Ольги Александровны к Огареву, которого она искренне любила.

Письма печатаются по автографам *ИРЛИ* и *BN* (п. 2). Они впервые опубликованы М. М е р в о на языке оригинала в *HOBL*, p. 106–107, 129–131, 136–138, 138–141 и *LOAHf*, 311. До поступления в *ИРЛИ* автографы (кроме п. 2) находились в архиве правнука Герцена Л. Риста (Версаль). В 1973 г. Рист прислал в Музей Герцена ксерокопии с них, а подлинники позднее подарил гостившей у него правнучке Герцена Наталье Петровне. После смерти последней (1983) автографы были переданы в *ИРЛИ*. Фрагменты русского перевода опубликованы И.А. Ж е л в а к о в о й и Е.Л. Р у д н и ц к о й в сб. "Освободительное движение в России", вып. 7. Саратов, 1978, с. 84–91.

[141*] курсом молочного лечения (*нем.*).

[142*] Французские письма перевела И.А. Ж е л в а к о в а; п. 2 – Л. Р. Л а н с к и й.

1

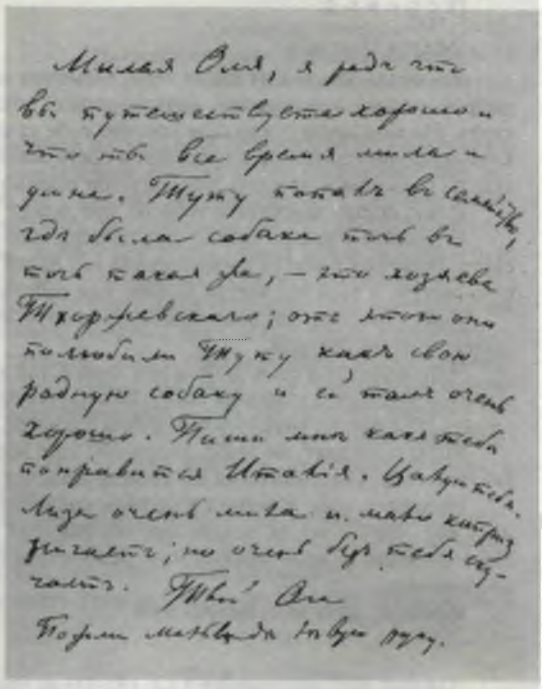
(Лондон. Между 20 и 25 декабря 1862 г.)[1]

Милая Оля, я рад, что вы путешествуете хорошо и что ты все время мила и умна. Туту попал в семейство, где была собака точь-в-точь такая же, – это хозяева Тхоржевского; от этого они полюбили Туту, как свою родную собаку, и ей там очень хорошо. Пиши мне, как тебе понравится Италия. Целую тебя. Лиза очень мила и мало капризничает; но очень без тебя скучает.

Твой А г а

Пожми Мальвиде левую руку.

[1]13 декабря 1862 г. О.А. и Н.А. Герцен вместе с М. Мейзенбуг выехали из Лондона во Флоренцию. Письмо написано после 20 декабря – до этого времени собачка Туту, упоминаемая в письме, еще находилась в доме Герцена (ср. XXVII, 272), но только до 25-го числа, т.е. до приезда во Флоренцию.



ПИСЬМО ОГАРЕВА ОЛЬГЕ ГЕРЦЕН

Автограф. Декабрь 1862 г.

Институт русской литературы РАН, С.-Петербург

2

(Женева. 13 июня 1869 г.)[1]

[Chère Olga,

Il y a bien longtemps que je ne t'ai pas écrit, malgré tout mon désir de te remercier pour ta bonne lettre et de te demander la nouvelle romance que tu chantes et que tu as promis de m'envoyer. Mais j'avais encore quelque chose à te dire, ce que je considère comme parfaitement sérieux et humain, et parfaitement de mon devoir, puisque maintenant tu es grande et que tu peux comprendre les choses comme je les comprends.]

Je m'en vais donc te dire ce qui me tient à cœur, chère Olga.

J'aime et j'ai toujours aimé ton père comme le seul frère que j' aie au monde. Aussi j'ai toujours considéré ses enfants comme mes enfants. J'ai aimé ta mère comme une vraie sœur, aussi je vous ai toujours aimé comme mes propres enfants.

J'aime Lise comme ma propre enfant, puisqu'elle est aussi la fille de ton père et de Natalie, que je considère comme une sœur.

Ce que je te demande, ma bonne Olga, c'est d'aimer Lise comme ta propre sœur et de tâcher toujours de rester unies entre vous en mémoire de ton père et en ma mémoire, car nous ne voudrions pas que vous nous sépariez jamais dans votre affection[2].

Les années s'avancent, je ne sais si j'ai encore longtemps à vivre ou non. Voilà ce que j'avais donc de sérieux, à te dire. Penses-y bien et écris-moi.

C'est d'accord avec ton père et avec Natalie que je me suis décidé à t'écrire, car nous ne voulions pas que tu ne saches pas les choses comme elles sont. Tu nous tiens trop près pour que nous ne soyons pas francs avec toi et que nous ne le soyons avec une pleine confiance dans ton cœur et ton entendement.

Adieu, mon enfant, je t'embrasse.

Ton dévoué A g a

Перевод:

[Милая Ольга,

Уж очень давно я не писал тебе, несмотря на все мое желание поблагодарить тебя за твое доброе письмо, и попросить новый романс, который ты поешь и который мне обещала прислать. Но мне предстояло еще кое-что тебе сказать: нечто такое, что я рассматриваю как исключительно серьезное и гуманное и составляющее мой исключительный долг, поскольку ты теперь большая и можешь понять вещи именно так, как я их понимаю.]

Итак, спешу высказать тебе то, что лежит у меня на душе, милая Ольга.

Я люблю и всегда любил твоего отца, как единственного брата, который есть у меня на свете. Поэтому я всегда рассматривал его детей как своих детей. Твою мать я любил, как родную сестру, и всех вас всегда любил, как собственных своих детей.

Лизу я люблю, как свое собственное дитя, поскольку она дочь и твоего отца и Натали, которую считаю сестрой.

Чего я прошу у тебя, добрая моя Ольга, так это любить Лизу, как свою собственную родную сестру, и прилагать старания всегда оставаться тесно сплоченными в память своего отца и в мою память, ибо нам не хотелось бы, чтобы вы когда-либо разделяли нас в своей привязанности[2].

Годы проходят, не знаю, долго мне еще жить или нет. Вот то серьезное, что я собирался сказать тебе. Подумайте-ка об этом хорошенько и напиши мне.

Написать тебе я решил в полном согласии с твоим отцом и с Натали, ибо нам не хотелось бы, чтобы ты не знала, как все обстоит на деле. Ты слишком близка нам, чтобы не быть с тобою откровенными и не относиться с полным доверием к твоему сердцу и твоему пониманию.

Прощай, дитя мое, целую тебя.

Преданный тебе А г а

[1]Письмо, опубликованное в XXX, 131–133 по тексту *Л* XXI 395, перепечатано в *HOBL*, 130–131 по автографу *BN* с исправлением отдельных погрешностей первопечатных текстов. Перевод на русский язык печатается полностью впервые. Год уточняется по содержанию. Два первых абзаца, зачеркнутых Огаревым в черновике *IISG*, вставляются (в прямых скобках) по публикации Мерво в *LOAHf*, 307–308.

[2]По словам внучки Герцена Жанны Амфу-Моно, Лиза, узнав, что она дочь Герцена, а не Огарева, заявила только: "Значит, вместо инициалов *Л.О.* придется проставить на моем саквояже *Л.Г.*" (*HOBL*, 130–131).

3

Tuesday, 10 November⟨1874⟩.
Newcastle on Tyne, Westmoreland Road 66,
at Mrs Smith (et à mon nom intérieurement,
je crois que c'est plus sûr et tranquille))

Merci, ma bonne Olga, p⟨ou⟩r ton affectueuse lettre et le *photograph* de Gabriel et d'Edouard. Vraiment, tu me restes une véritable amie, et cela me fait un vrai plaisir et bonheur, et je trouve la photographie parfaite. Je vous ai déjà écrit notre changement de logement[1]; Mary avait trop à travailler par là, ce qui était impossible pour sa santé; ici elle aura du repos ou à peu près. Je suis aussi content de la situation ou à peu près. Voilà tout ce que je puis dire pour le moment. – Je remercie bien Gabriel pour l'envoi des 500 fr. (20 £) que j'ai reçu de Londres avant-hier, avec une aimable lettre d'A. von Glehn. Je lui ai répondu de suite[2], mais quant à changer je n'ai réussi qu' hier, la *Branchbank of England* étant ici très difficile. Mon ami Charles Wood étant en voyage pour son travail, c'est son collègue de magasin qui m'a aidé hier à changer dans une autre banque assez bien. Je remercie Gabriel d'autant plus qu'avec tous mes tracas l'argent m'est venu fort à propos. – Je suis vraiment content d'être arrivé ici et je recommence à travailler espérant parvenir à quelque chose.

Maintenant je commence à écrire ma confession en vers[3] et ma "dernière malédiction" en prose[4], qui vous amuseront peut-être. J'ai écrit à Al⟨exandre⟩ et à Tata et Lise[5], mais je n'ai pas de leur réponse. Ecris-moi quelque⟨mots?⟩ comment elles arrivent à Paris.

Mary t'envoie son *shakehands*. Elle est bien satisfaite de la photographie de Gabriel et d'Edouard.

Envoie-moi l'adresse de Malvida.

Ton vieil ami A g a

Перевод:

Tuesday, 10 November[143*] ⟨1874⟩.
Ньюкасл-на-Тайне, Westmoreland Road, N 66
г-же Смит (и на мое имя внутри;
полагаю, что это надежнее и спокойнее)

Спасибо, добрая моя Ольга, за твое сердечное письмо и за photograph[144*] Габриеля и Эдуарда. В самом деле, ты остаешься моим подлинным другом, и это доставляет мне истинное удовольствие и счастье, фотографию же я нахожу превосходной. Я уже вам написал о перемене нами квартиры[1]; Мери приходилось там слишком много работать, что совершенно недопустимо было для ее здоровья; здесь у нее будет отдых или подобие его. Я тоже доволен положением или почти доволен. Вот все, что могу сказать в данный момент. – Я весьма благодарен Габриелю за присылку 500 фр. (20-ти фунтов), которые получил позавчера из Лондона вместе с любезным письмом А. фон Глена. Я ему сразу же ответил[2], но что касается обмена, то это мне удалось сделать только вчера, потому что Branchbank of England[145*] здесь чинит с обменом затруднения. Поскольку мой друг Чарлз Вуд разъезжает по своим делам, то его коллега в магазине помог мне вчера достаточно хорошо обменять в другом банке. Благодарю Габриеля тем более, что при всех этих моих неурядицах деньги пришлись мне весьма кстати. – Я, в самом деле, доволен, что приехал сюда, и возобновляю работу, питая кое-какие надежды.

Теперь начинаю писать свою исповедь в стихах[3] и свое "Последнее проклятие" в прозе[4], которые вас, быть может, позабавят. Я написал Ал⟨ександ⟩ру, Тате и Лизе[5], но ответа от них не имею. Напиши мне несколько ⟨слов⟩ о том, как они добираются до Парижа.

Мери посылает тебе свое shakehands. Она очень удовлетворена фотографией Габриеля и Эдуарда.

Пришли адрес Мальвиды.

Твой старый друг А г а

[1]Огарев переехал из Швейцарии в сентябре 1874 г. В Ньюкасле он сначала жил на Hauthorn Street, у Ч. Вуда.

[2]Это письмо Огарева остается неизвестным.

[3]Речь идет о незаконченном стихотворном отрывке, озаглавленном "Моя исповедь" (см. Н.П. О г а р е в. Избр. стихотворения и поэмы. М., 1938, с. 165–167 и 419; ср. комментарии С.А. Рейсера к кн. *Огарев 1956*, с. 842). Первый публикатор настоящего письма М. Мерво полагает, что, возможно, речь идет о двенадцати строках, озаглавленных "К моей биографии (Мое надгробие)". «Известно, – пишет Мерво, – что Огарев предполагал продолжить свои "Записки русского помещика", из которых четыре главы он передал Т. Пассек в 1873 г.» (*HOBL*, 137).

[4]"*Последнее проклятие*" – отрывок, написанный прозой и датированный 17 октября 1874 г. ("Лит. наследство", т. 39-40, с. 363–364).

[5]Письмо от 3 ноября см. выше в публикации писем Огарева к А.А. Герцену.

4
О.А. ГЕРЦЕН, Г. МОНО, ТАТЕ И ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Le 20 nov⟨embre 1874⟩. Vendredi[1].
Newcastle on Tyne. Westmoreland Road, № 66.
Mrs Smith, for M-r Ogareff

Chers amis Olga et Gabriel, Tata et Lisa!

Je m'empresse de vous féliciter de notre part à l'occasion du jour de naissance de ma chère Olga. Quant à moi-même je viendrai à mon jour de naissance (61 ans) le 6 du mois prochain.

J'ai pour le moment beaucoup d'affaires très difficiles à régler entre Genève et moi (c. à d. p⟨ou⟩r mes effets expédiés de Genève). Je suis pressé. Je vous embrasse et je vous écrirai ces jours-ci, à Alex⟨andre⟩ aussi.

Votre dévoué A g a

[143*] Вторник, 10 ноября (*англ.*).

[144*] фотографический снимок (*англ.*)

[145*] Филиал Английского банка (*англ.*).



ОЛЬГА ГЕРЦЕН – НЕВЕСТА Г. МОНО

Фотография. ⟨Флоренция⟩, январь 1873 г.

Из книги: Alexandre Herzen. Lettres inédites à sa fille Olga. Paris, 1970

Перевод:

20 нояб⟨ря 1874 г.⟩. Пятница[1]
Ньюкасл-на-Тайне. Westmorland Road, N 60
Домовладелице Смит, для г. Огарева

Дорогие друзья Ольга и Габриель, Тата и Лиза!

Спешу поздравить вас от нашего имени по случаю рождения моей милой Ольги. Что касается меня самого, то я приеду в свой день рождения (61 год) 6-го числа будущего месяца.

У меня теперь много очень трудных дел, которые мне предстоит разрешить с Женевой (т.е. по поводу моих вещей, отправленных из Женевы). Я тороплюсь. Обнимаю вас и напишу вам в один из ближайших дней, и Александру тоже.

Преданный вам А г а

[1]Пятница на 20 ноября приходилась в 1874 г.

5

Greenwich, Ashburnham Road, N-35
3 février ⟨1875⟩, mercredi[1]

Chère amie Olga, il y a bien longtemps que je voulais t'écrire. J'ai eu une lettre de Tata et j'ai lui ai écrit[2], mais ces jours-ci que je voulais t'écrire à toi, je ne me portais pas assez bien et j'ai dû me tenir tout-à-fait tranquille. En général ma santé n'est pas pire, peut-être meilleure, et Mary me soignant je ne risque pas de me heurter pendant mes évanouissements. Aussi ils sont plus rares, mais pourtant cela arrive quelquefois. Mary connaît bien les précédents, aussi elle ne m'abandonne pas dans les cas en question et je m'en retire facilement. – Nous avons ici le commencement d'un printemps superbe. Il y avait un soleil brillant. Mais aujourd'hui il y a du brouillard rougeâtre, qui a l'air de passer bientôt et faire de nouveau place au soleil. Enfin je suis bien content du climat qui ne fait ni chaud ni froid. Tout ce que je sais c'est que je dois absolument commencer ce mois-ci une édition russe; aussi dès que je pourrai j'irai à Londres. Quoique c'est assez difficile p⟨ou⟩r moi, mais enfin ce n'est qu'un quart d'heure de chemin de fer. Je dois même aller voir Trubner p⟨our⟩ *n* raisons. Je t'en prie, envoie-moi l'adresse de Davydoff ou de Savitch au plus vite. Je ne peux pas les retrouver dans mes livres et papiers, et le besoin de les voir est indispensable. Si tu te rapelles encore le russe, mon amie chérie, je t'aurais envoyé des choses à lire.

Je reçois ici le *Morning Advertiser*, que j'aime pour la *précision* des nouvelles et la clarté de l'imprimerie, mes yeux devenant vieux (j'ai 61 ans).

Donne-moi aussi l'adresse de Touts que je n'ai pu avoir de personne. – Henri a une bonne place de précepteur; nous avons de lui des bonnes lettres. – Mary n'est pas trop bien portante, mais l'habitude du travail et le besoin d'arranger ma chambre-à-écrire font qu'elle travaille du matin au soir, et je crains un peu pour sa santé. Elle te présente ses amitiés.

Dis mes amitiés à Gabriel. – Je voulais même aller faire la connaissance de von Gleh[3], mais il m'avait écrit le 9 janv⟨ier⟩ qu'il allait partir pour la France[4]. – J'espère que ce mois-ci je viendrai à bout de ma *situation* et de mes entreprises littéraires. Voyons!

Je sais qu'Alexandre était allé à Rome, mais je ne sais pas où il est maintenant.

Je t'embrasse en vieux père.

Ton ami A g a

Рукой Лизы Герцен (обращено к М. Мейзенбуг)[5]:
Meine Mali, hiermit nur Küsse und süsse Worte von deinem Kind Lilina.
Die kleinen Garibaldi interessieren mich – schreibe mir mehr von ihnen. Ist der kleine Junge wie Fiddi!? Ich gratuliere daβ Theo endlich nicht mehr tanzt. – Ich begriffe es nicht von ihr. Wie lange bleibt sie noch in Rom?

Addio, Dein T ö c h t e r c h e n[146*]

П е р е в о д:

Гринвич. Ashburnham Road, N 35
3 февраля ⟨1875 г.⟩, среда[1]

Дорогой друг Ольга, уже очень давно мне хотелось тебе написать. Я получил письмо от Таты и написал ей[2]; но в эти дни, когда мне хотелось писать именно тебе, я чувствовал себя недостаточно хорошо и должен был соблюдать полный покой. В основном, здоровье мое не хуже, возможно, лучше, и поскольку Мери ухаживает за мною я не рискую разбиться во время своих обмороков. К тому же они происходят реже, но все же это иногда случается. Мери хорошо знает, что́ им предшествует, и поэтому не оставляет меня в подобных случаях, и я легко выхожу из всего этого. – У нас здесь начало великолепной весны. Было ослепительное солнце. Но сегодня красноватый туман, который, похоже, вот-вот рассеется и снова уступит место солнцу. Наконец-то я очень доволен климатом, не жарким и не холодным. Все, что я знаю, это что для меня совершенно необходимо начать в этом месяце русское издание; поэтому, как только смогу, я поеду в Лондон. Хотя сие достаточно трудно для меня, но, в конце концов, это всего лишь четверть часа езды железной дорогой. Мне необходимо из *n* соображений повидаться с Трюбнером. Прошу тебя, пришли мне адрес Давыдова или Савича, как можно скорее. Я не могу отыскать их в моих книгах и бумагах, а увидеть их мне необходимо. Если ты еще помнишь русский язык, мой дружок, я пошлю тебе кое-что почитать.

Я получаю здесь "Morning Advertiser", которую люблю за *достоверность* новостей и четкость печати, мои глаза стареют (мне 61 год).

Дай мне также адрес Тутса, который я не смог ни у кого получить. У Генри хорошее место наставника; мы получаем от него славные письма. – Мери чувствует себя не слишком хорошо, но привычка трудиться и потребность убирать мой кабинет заставляют ее работать с утра до вечера, и я немного боюсь за ее здоровье. Она шлет тебе дружеский привет.

Передай от меня добрые пожелания Габриелю. – Я хотел даже поехать познакомиться с фон Гленом, но он написал мне 9 янв⟨аря⟩, что собирается во Францию. – Надеюсь, что в этом месяце я выйду из своего *положения* и завершу свои литературные предприятия. Посмотрим!

Я знаю, что Александр ездил в Рим, но не знаю, где он теперь.

Целую тебя, как подобает старому отцу.

Твой друг А г а

Рукой Лизы Герцен (обращение к Мейзенбуг): Моя Мали! Только поцелуи и нежные слова от твоей доченьки Лилины. Маленькие Гарибальди меня интересуют – пиши мне о них побольше. Тот юноша, что помоложе, похож ли на Фидди? Поздравляю Тео с тем, что и она, наконец, стала танцевать. Этого я от нее не ожидала – сколько пробудет она еще в Риме?

Addio. Твоя д о ч е н ь к а[146*]

[1]Год устанавливается по содержанию письма.

[2]Эти письма в печати не появлялись.

[3]Как указывает в своей публикации М. Мерво, основываясь на фактах, сообщенных ему внучкой Герцена Жанной Амфу, речь идет об Александре фон-*Глене* (Glehn), лондонском негоцианте прибалтийского или русского происхождения, женатом на старшей сестре Г. Моно – Фанни (род. в 1839 г.). Она жила в Риге.

6
ОЛЬГЕ

⟨Гринвич.⟩ 19-го апреля ⟨1875 г.⟩

Ma bien chère Olga, il y a deux jours après la réception de ta bonne lettre du 12 av⟨ril⟩ (celle de N⟨atalie⟩ y incluse)[1] que je voulais t'écrire, mais hier c'était dimanche et avant-hier

[146*] Эта надпись Лизы сделана на автографе письма уже после получения его во Флоренции. – *Ред.*

je ne me portais pas assez bien. J'avais une lettre préparée avant pour Gabriel, que je lui ai expédiée de suite[2]. J'avais reçu son Michelet que j'ai lu avec une grande sympathie et par rapport auquel je lui écrirai encore ces jours-ci[3].

Eh bien! Edouard prospère[4]. Donne-moi plus souvent de ses nouvelles. Nous avons ici un printemps délicieux. Il y a longtemps que je n'ai vu un mois d'avril pareil. Les arbres verdissent, le parc est resplendissant.

Quant à la lettre de Natalie[5], je pense que ce n'est pas moi, mais elle qui perd la mémoire. Aussi, après avoir beaucoup réfléchi, je me suis décidé à ne pas lui répondre pour ne pas la blesser.

J'ai reçu le journal Joukovsky[6], mais je ne puis encore rien dire.

Je suis occupé pour le moment à travailler à des rimes, je ne sais comment elles réussiront. Mary, quoique assez malade travaille toute la journée et même au petit jardin de la maison. L'existence est tranquille et solitaire, ce qui me fait du bien.

Adieu pour aujourd'hui, chère Olga! Je t'embrasse bien, Mary te serre la main. Ecris-moi où tu es et que fait Gabriel.

Ton devoué.

Перевод:

Дражайшая моя Ольга, прошло два дня с получения твоего милого письма от 12 апр⟨еля⟩ (в нем находилось письмо Н⟨атали⟩)[1], я хотел тебе написать, но вчера было воскресенье, а позавчера я себя чувствовал неважно. У меня было заранее заготовленное письмо к Габриелю, и я его тотчас же ему отправил[2]. Мной получен его Мишле, которого я прочитал с большой симпатией и о котором ему еще напишу в ближайшие дни[3].

Итак! Эдуард процветает[4]. Сообщай мне о нем почаще. У нас здесь восхитительная весна. Давно уже не видел я подобного апреля. Деревья зеленеют, парк сверкает.

Что касается письма Натали, то полагаю, что не мне изменяет память[5]. И вот, изрядно поразмыслив, я принял решение ей не отвечать, чтобы не оскорбить ее.

Я получил газету Жуковского[6], но сказать о ней ничего еще не могу.

Я занят сейчас стихоплетством, но не знаю, удачно ли у меня получится. Мери, хотя она не совсем здорова, трудится весь день напролет и даже в садике у дома. Существование мое спокойно и уединенно, и это действует на меня благотворно.

Прощай на сегодня, милая Ольга! Целую тебя крепко, Мери жмет тебе руку. Напиши мне, где ты и что поделывает Габриель.

Преданный тебе.

[1] Эти письма Таты и Ольги в печати не появлялись.

[2] Это письмо неизвестно.

[3] Книга Г. Моно о его учителе, знаменитом историке Ж. Мишле, вышла в Париже в 1875 г. Написал ли Огарев о ней Моно – не установлено.

[4] *Эдуард* – первенец Моно и Ольги Александровны (родился в 1873 г.). Глубоко уважая личность и деятельность Герцена, он, как известно, присоединил к своей фамилии фамилию деда.

[5] Письмо Н.А. Тучковой-Огаревой от 12 апреля (опубликовано Н.А. Роскиной в "Лит. наследстве", т. 63, с. 514). "Огарев, так как тебе память часто изменяет, – писала она, – хочу тебе напомнить, что если я и Лиза тебе не пишем, так это потому, что эта дикая женщина ⟨Мери Сетерленд⟩ нас выгнала из твоего дома без малейшего протеста с твоей стороны ⟨...⟩ Прощай навсегда, не пеняй на нас".

[6] Имеется в виду народническая газета "Работник", издававшаяся в Женеве бакунистами Н.И. Жуковским, З.К. Ралли и др. с января 1875 по март 1876 г. По поводу нее Тучкова-Огарева сообщала Огареву в цитированном выше письме: «В Женеве Жуковский с другими издает газету "Работник", совсем твой взгляд – я послала Жуковскому твой адрес и надеюсь, что он тебе вышлет газету».

П.В. ДОЛГОРУКОВУ

Публикация С.Д. Гурвич

В т. 63 "Литературного наследства" опубликована записка к Герцену от 13 августа 1866 г., подписанная группой женевских эмигрантов – М.С. Гулевичем, В. Мерчинским, Н.Я. Николадзе и еще одним лицом, фамилию которого не удалось разобрать (с. 858). Обращение к автографу (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 581) позволяет предположить, что эта подпись, стоящая первой, принадлежит Н.И. Утину; им же, судя по почерку, написан весь текст. "Записка"

вызвана письмом-доносом князя П.В. Долгорукова президенту женевского кантонального правительства Ф. Камперио, в котором он сообщил, что бежавший от преследований царского правительства М.К. Элпидин "противузаконно содержит типографию и печатает брошюры". Возмущенные доносом "молодые эмигранты" потребовали обличения Долгорукова в "Колоколе".

До сих пор из документов, раскрывающих отношение редакции "Колокола" к этому возмутительному поступку Долгорукова, было опубликовано лишь заключительное письмо Герцена от 21 августа, из которого видно, что ему предшествовало еще одно письмо, остающееся неизвестным; ответ Долгорукова (также не сохранившийся) сильно огорчил Герцена, вызвав развернутую отповедь нападкам князя на "нигилистов". "Я телом и душой не только принадлежу к нигилистам, но принадлежу к тем, которые вызвали их на свет", – заявил Герцен. Порывая отношения с Долгоруковым, он, в частности, писал: "Я верил, что наш голос заслуживал иного внимания, в чистоте наших намерений вы не сомневаетесь" (XXVIII, 215). Слова "наш голос", "наши намерения" относились, однако, не только к предыдущему письму Герцена.

В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится черновой автограф письма Огарева к Долгорукову. Это его непосредственная реакция на сообщение "молодых эмигрантов" о поступке Долгорукова. Получив "записку" в отсутствие Герцена, находившегося тогда в Лозанне, Огарев счел нужным сразу же выразить Долгорукову от имени редакции "Колокола" решительное возмущение и призвать его к публичному покаянию.

Письмо публикуется впервые по автографу *РГБ*, ф. 69.8.238, л. 1.

⟨Женева. 14 или 15 августа 1866 г.⟩[1]

Люб⟨езный⟩ П⟨етр⟩ В⟨ладимирович⟩!

Мы вынуждены писать к вам, как оно ни прискорбно на этот раз. Конечно, вы не станете искать в нашем письме никакого вражд⟨ебного⟩ поступка, вы его не должны и предполагать; но тут дело чистой необх⟨одимости⟩. Ваш поступок с Элпид⟨иным⟩ никто не может оправдать – вы первые, и мы настолько верим в вашу великодушную искренность. Но поступок этот разнесся по городу – и мы получили письмо с 5-ю русск⟨ими⟩ подписями с треб⟨ованием⟩ обнародовать ваш поступок в "Колоколе".

Что нам делать? В праве этого требования мы отказать не можем. Но мы вас убедительно просим – напишите нам письмо о том, что вы написали Камперио сгоряча и совершенно в этом поступке раскаиваетесь. Это снимет с нас одну из самых тяжелых обязанностей, какие только встречались нам в жизни.

Примите эти строки в истинном значении, за действительный голос дружбы[2].

[1] В *ОРО* письмо условно датировано 1865 г. (см. с. 158, № 308). Дата уточнена в *ЛЖГ* IV, 289–290.

[2] Ответ Долгорукова (неизвестный), очевидно, не удовлетворил вернувшегося из Лозанны Герцена, и он около 17 августа написал ему первое (процитированное выше) "пространное письмо", в котором осуждал его "образ действий". Конфликт с Долгоруковым продолжался до октября, когда его имя вновь появилось в "Колоколе", в статье Герцена "Биография Муравьева-Вешателя" (см. XIX, 142–143). Об инциденте с Элпидиным см. в письме Долгорукова к его сыну, В.П. Долгорукову, от 16 ноября 1866 г.; Б.П. Козьмин. П.В. Долгоруков и М.К. Элпидин. – "Красный архив", 1929, т. III (34), с. 231–232.

Т.П. ПАССЕК

Публикация С.В. Капиноса

21/9 июля 1843 г. Огарев сообщал Герцену: "Теперь наступила для меня минута писать автобиографию, что ты мне давно велел писать, но тогда я не имел ни малейшей потребности. Теперь я вижу в этом необходимость". И заключил следующим лаконичным, но емким определением: "Автобиография есть исповедь, расчет с собою за прошедшее" (*РМ*, 1890, № 4, с. 2).

В дальнейшем Огарев не раз принимался за воплощение этого замысла. В сущности, его "Кавказские воды" и "Моя исповедь" представляют собой отдельные эпизоды давно задуманного им труда.

В конце жизни Огарев снова принялся за автобиографическое сочинение – на этот раз

под влиянием "корчевской кузины" Герцена – Татьяны Петровны Пассек, настойчиво рекомендовавшей ему писать воспоминания о своей молодости, о дружбе с юным Герценом. Она открыла ему возможность сразу же вступить в непосредственный контакт с русской читающей публикой, так как собиралась включить написанные им автобиографические очерки в свои мемуары "Из дальних лет", печатавшиеся тогда в петербургском журнале "Русская старина". О том, что мемуары Пассек произвели на Огарева прекрасное впечатление, видно из его неизданной записки к ней, датированной *вторником 11 м⟨арта⟩* и относящейся к 1873 г.: "Нет, Таня, посылаю тебе обратно твои прелестные воспоминания, боюсь их затерять иначе. Ты привезешь и перешлешь, когда хочешь, побольше экземпляров. Братски обнимаю тебя. Твой А г а " (автограф. *РНБ*, ф. 124 (П.Л. Вакселя), ед. хр. 3129, л. 1).

В первой половине января 1873 г. Огарев известил Пассек, что пишет воспоминания под заглавием "Записки русского помещика".

В переписке Огарева с сыном Герцена Александром Александровичем, публикующейся выше в настоящем разделе, он несколько раз упоминает о ходе своей работы над "Записками русского помещика". Огарев надеялся, что это занятие даст ему возможность воскреснуть "если не духом, то мозгом", и просил Александра Александровича выслать ему переписку своего отца с ним, Огаревым.

В других письмах к тому же адресату встречается ряд подробностей о работе Огарева над первыми двумя главами "Записок...". В своем исследовании «Воспоминания Т.П. Пассек "Из дальних лет" как источник для изучения биографии Герцена и Огарева» А.Н. Дубовиков высказал предположение, что главы третья и четвертая написаны летом 1873 или в начале 1874 г. ("Лит. наследство", т. 63, с. 597). Не исключено, однако, что главы эти были завершены значительно позже: 19 декабря 1876 г. Огарев сообщал А.А. Герцену: "Живу спокойно. Пишу воспоминания". Но о последних ли двух главах "Записок русского помещика" идет здесь речь?

Письмо печатается по автографу *РГАЛИ*, ф. 2567 (Ю.Г. Оксмана), оп. 2. ед.хр. 380, л. 1–1об. Несколько строк опубликовано А.Н. Дубовиковым в "Лит. наследстве", т. 63, с. 589–590; ср. 641.

Женева, 26/14 января ⟨1873 г.⟩. Воскресенье
Rue du Conseil général, 20

Старый друг Таня, давно собираюсь вам отвечать на вашу превосходную присылку[1], да всё как-то сил не хватает, сильно простужен. И сегодня еще посылаю коротенькое письмо, озноб и головокружение мешают писать. "Русскую старину" получил и нашел в ней должные поправки в записках Толстого[2].

– Досадно, что у себя не могу отыскать ни былого и дум, ни старых писем и рукописей и не могу вспомнить, где я их оставил. Хотел писать об этом к Ната⟨ли⟩ в Цюрих[147*], но теперь едва ли письмо ее там застанет, а вероятней, что она в скором времени ко мне заедет и я переговорю. Не худо написать и к Саше во Флоренцию.

Жду с нетерпением ваших записок к печати[3].

А что ж это за характер – Семевский? Это что-то не дурно, а плохо. А в "Рус⟨ской⟩ старине" мои воспоминания погодите печатать[4].

Что-то забыл, послал я вам один из последних стихов, на всякой случай посылаю.

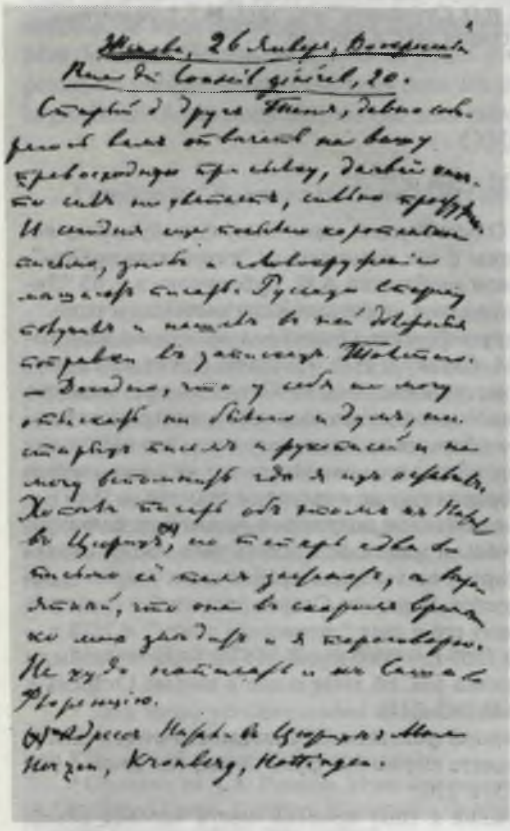
РАЗДУМЬЕ

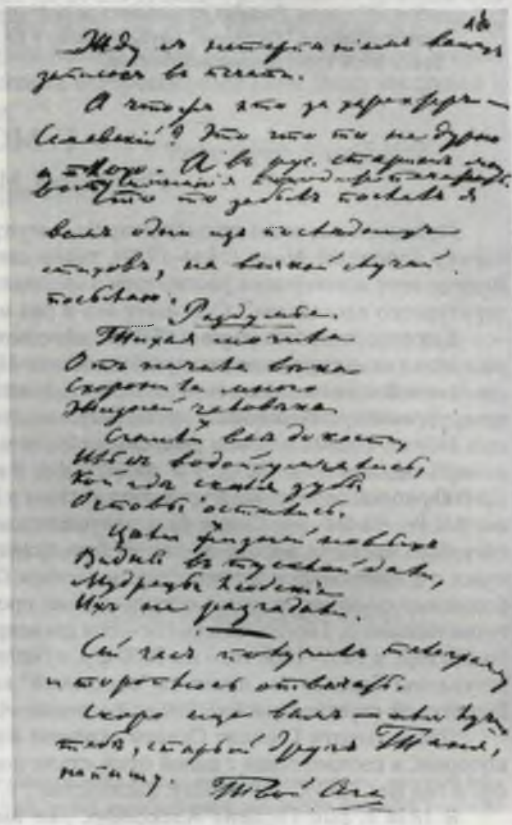
Тихая могила
От начала века
Схоронила много
Жизней человека.

*

Сгнили все до кости,
Иль с водой умчались,
Кой-где, скаля зубы,
Остовы остались.

147* Адрес Натали в Цюрихе: M-me Herzen, Kronberg, Höttingen.





ПИСЬМО ОГАРЕВА Т.П. ПАССЕК

Автограф. Женева, 26 января (1873 г.)

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

*

Цели жизней новых
Видны в тусклой дали,
Мудрецы людские
Их не разгадали[5].

Сейчас получил телеграмму и тороплюсь отвечать[6].
Скоро еще вам – или, лучше, тебе, старый друг Таня, напишу.

Твой А г а

[1] Ответ на письмо Пассек к Огареву от 8/20 января 1873 г., в котором она переслала ему фрагменты VIII и IX глав своих воспоминаний "Из дальних лет" ("Лит. наследство", т. 63, с. 589).

[2] "Записки гр. Ф.П. Толстого, товарища президента Императорской Академии художеств", гл. I–VI. 1873–1809 гг." (*РС*, 1873, № 1, с. 24–51).

[3] Первые главы "Из дальних лет" были опубликованы в "Русской старине" (1872, № 12 и 1873, № 2–3). С апреля того же года и до апреля 1876 г. они находились под цензурным запретом, и только в 1878 г. Пассек удалось опубликовать в отдельном издании первого тома "Из дальних лет" главу XV – "Ник", в которую она включила первые две главы "Записок русского помещика".

[4] 8/20 января Пассек сообщила Огареву о требовании редактора "Русской старины" М.И. Семевского "перефразировать", т.е. дать в изложении, выдержки из "Былого и дум", что и вызвало недовольство Огарева. Не нравилась Огареву и политическая ориентация Семевского. Так, он писал М.К. Рейхель 25 марта того же 1873 г.: «Записки Тани в "Русской старине", где проходят и записки Герцена, – сильно интересны. А есть другие нумера, например, с записками о декабристах, которые больно скверны, так что

не знаю, как наша работа там пойдет» (*РГБ*, ф. 69.8.330, л. 1). Огарев имеет здесь в виду публикацию "14 декабря 1825 года. Рассказ начальника артиллерии И.О. Сухозанета" (*РС*, 1873, № 3, с. 361–370).

[5] Стихотворение "Раздумье" опубликовано в кн.: *Огарев 1956*, с. 353–354.

[6] Текст этой телеграммы неизвестен.

Г. МОНО

Публикация М. М е р в о[148*]

Публикуемые ниже письма Огарева к мужу Ольги Герцен, известному французскому историку Габриелю *Моно* (1844–1912), тесно связаны с так называемым "сатинским долгом". Вопрос этот всесторонне рассмотрен в специальном сообщении А.Н. Дубовикова в т. 63 "Литературного наследства". Освещает его и ряд материалов, публикуемых в настоящем томе.

Как известно, собираясь в 1849 г. тайно покинуть Россию, Огарев полуфиктивно и наскоро продал свое огромное пензенское имение Н.М. Сатину и Н.Ф. Павлову. Какая часть обусловленной суммы была ему тогда выплачена, не установлено, но Сатин вскоре оказался единственным должником Огарева. Ему предстояло выплатить своему другу, эмигрировавшему в 1856 г., 45 000 с лишним рублей серебром, и он обязался посылать ему в течение десяти лет не меньше, чем по 4 500 р., т.е. по 6000 фр. в год, пока с ним окончательно не расквитается (25 000 рублей серебром Огарев взял взаймы у Герцена еще до отъезда за границу, в 1846 г. – см. *РП* IV, 93–94). Но Сатин был картежником, любителем покутить и пожить на широкую ногу. Вдобавок, он, вероятно, лишен был практической жилки, вследствие чего вскоре столкнулся с финансовыми затруднениями. Деньги Огареву он высылал крайне нерегулярно и небольшими суммами, не покрывавшими даже процентов. Видя, что Огарев остался без средств к существованию, Герцен систематически авансировал его в счет "сатинского долга": в 1858 г. – 10 000 фр., в 1859–1868 гг. – по 8000 фр. в год и в 1869 г. – 6000 фр. В 1867 г. Огаревым были уступлены Герцену все права на "сатинский" капитал (см. об этом выше в письме Огарева к Герцену от середины июля 1860 г.; см. также *AAH*, 242–244).

После смерти Герцена Огарев оказался в полной финансовой зависимости от его детей, которые, в соответствии с волей отца, стали посылать ему по 500 фр. в месяц, т.е. те же 6 000 фр. в год (см. XXIX, 249 и "Лит. наследство", т. 63, с. 720).

В 1874 г. сын Герцена Александр, уже имевший к тому времени шесть человек детей, счел для себя обременительной выплату своей части субсидии. Из письма Г. Моно от 27 января Огарев узнал, что его "рента" уменьшается на 100 фр. в месяц, и почувствовал себя безгранично оскорбленным. Он тотчас же отозвался резким письмом, в котором нашли место даже угрозы. Получив затем ответ Моно, Огарев осознал, что живет не на собственные "пензенские" деньги, а на средства детей Герцена, но все же не мог воздержаться от протеста (см. п. 3-е). Нельзя не отметить при этом, что инициатором снижения посылаемой ему суммы Огарев справедливо считал свою бывшую жену Наталью Алексеевну.

Вскоре вопрос был улажен. Моно дослал удержанные деньги, и в следующие годы, вплоть до самой смерти, Огарев продолжал получать свою "ренту" полностью.

Что же касается огромного долга Сатина, то его наследники так и не расплатились с наследниками Герцена.

Письма печатаются по автографам *IISG*. Впервые опубликованы на языке оригинала в *LOAHf*, 308–310 и 313–314 с ошибочными датировками: 1 мая 1875 г. (п. 2) и начало февраля 1874 г. (п. 3).

1

Черновое

(Женева. 31 января 1874 г.)[1]

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous répondre que j'ai reçu votre lettre du 27 janvier[2] et les 400 francs que je ne reçois pas par charité, mais parce qu'il m'est dû 500 fr. par mois, puisque j'ai abandonné en Russie une immense fortune. Vous n'avez pas le droit de m'envoyer plus ou moins. Je puis avoir élevé un enfant que j'estimais[3], je puis avoir dix autres ou des dettes, que cela ne

[148*] Статью и комментарии Мерво, а также письма Огарева перевел с французского Л.Р. Л а н с к и й.

vous regarde pas. Si vous agissez par l'influence de m-me Herzen[4], je ne trouve la chose que ridicule. Je vous demande à cela une réponse sans délai, car je ne vais pas tarder d'écrire au père de m-me Herzen en Russie[5] et à mes propres parents toutes les circonstances, et je [suis pressé de publier toutes les choses dans les journaux européens] puis aussi livrer les choses à la publicité. Alors nous verrons qui aura raison.

Votre t⟨out⟩ dévoué *N.O.*

J'embrasse Olga avec la même affection que toujours[6].

Перевод:

Милостивый государь,

Имею честь ответить вам, что получил письмо ваше от 27 января[2] и 400 фр., которые получаю не как милостыню, а потому, что мне причитается 500 фр. в месяц, поскольку я бросил в России огромное состояние. Присылать мне больше или меньше вы права не имеете. Я же имею право дать, как мною и сделано, воспитание высоко ценимому мною ребенку[3], могу иметь десяток других воспитанников или же иметь долги без того, чтобы это вас касалось. Если же вы действуете под влиянием г-жи Герцен[4], то я нахожу, что это просто смешно. Прошу вас дать на все сие ответ безотлагательно, ибо я не замедлю написать об этом отцу г-жи Герцен в Россию[5] и моим собственным родственникам, и я [поспешу даже опубликовать все это в европейских газетах] могу даже предать все это гласности. Тогда мы увидим, кто окажется прав.

Все⟨цело⟩ преданный вам *Н.О.*

Целую Ольгу с той же любовью, что и всегда[6].

[1] Дата точно устанавливается по упоминанию в письмах Огарева к Н.А. Герцен от 31 января и А.А. Герцену от 1 февраля 1874 г. (см. их выше в наст. томе).

[2] Письмо Моно остается неизвестным.

[3] Ссылаясь на А.А. Герцена, Моно мотивировал уменьшение высылаемой субсидии тем, что сын Мери Сетерленд Генри, которого воспитывал Огарев, уже начал зарабатывать сам и что поэтому расходы Огарева должны теперь сократиться.

[4] Н.А. Тучкова-Огарева с 1869 г. считалась официальной женой Герцена и носила его фамилию. Она ненавидела Мери Сетерленд. Вдобавок, она опасалась, что Огарев может составить духовное завещание в пользу Мери (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 719–720).

[5] Отец Тучковой-Огаревой – А.А. Тучков.

[6] В *РГАЛИ* сохранилось следующее письмо Моно к Огареву от 3 ноября 1873 г. (подлинник по-французски):

"Дорогой г. Огарев,

Извините, что посылаю вам эти 400 фр. лишь 3-го числа, вместо 1-го, но 1-го и 2-го у банкиров ⟨3 *нрзб.*⟩ золота.

Ольга чувствует себя очень хорошо, она предполагает написать вам о нас ⟨и⟩ посылает вам тысячу дружеских приветов.

Сердечно любящий вас Г. М о н о" (ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 480, л. 1–1об., ср. "Лит. наследство", т. 63, с. 860).

2

Черновое

⟨Женева. Начало февраля 1874 г.?⟩[1]

Mon cher Gabriel,

J'ai reçu votre lettre hier[2]. Je suis très fâché de vous causer du chagrin. Moi-même je ne comprenais pas que je vivais à votre charge, étant parfaitement sûr que j'avais plein droit de recevoir de Russie au moins six mille francs, à quoi j'avais consenti (et certainement que j'avais le droit au moins au double). Et je sais par les lettres de mes propres parents en Russie que les affaires de mes propriétés vont maintenant parfaitement bien[3]. Si vous ne compreniez pas la chose, ce n'est que drôle. Mais je suis sûr que dans la diminution de cent francs, cela n'est pas dirigé par Alexandre, mais par quelqu'un d'autre. Si vous m'aviez écrit que pour *le moment* vous n'avez rien reçu de la Russie pour moi et que vous manquez d'argent, je n'au-

rais rien dit et je me serais privé amicalement des choses les plus nécessaires. Mais connue au lieu d'une *franche* explication, vous m'ôtez cent francs par mois, parce que j'ai élevé un jeune homme (depuis l'âge de cinq ans) assez bien qu'il ait pu avoir une place de précepteur, certes, je ne pouvais considérer [votre lettre] la chose que comme une insulte. Vous pensez [voir en moi] me respecter comme un vieux père, et vous voulez me traiter en mendiant. Je ne [pensais] puis laisser la chose sans réponse et protestation.

Votre t⟨ou⟩t dévoué *N.O.*

Перевод:

Любезный мой Габриель,

Вчера получил я ваше письмо[2]. Мне очень неприятно причинять вам огорчение. Сам я не понимал, что живу на ваш счет, так как был совершенно уверен, что имею полное право на получение из России, по меньшей мере, шести тысяч франков ⟨в год⟩, на что я согласился (ведь я, конечно, имел право, по крайней мере, на вдвое большую сумму). А из письма моих собственных родственников в России мне известно, что дела в моих имениях идут теперь превосходно[3]. Если вы до сих пор этого не понимали, то сие лишь смешно. Я уверен, однако, что это уменьшение на сто франков произведено было не по указанию Александра, а по чьему-то другому[4]. Если бы вы написали мне, что в *настоящий момент* вы ничего для меня не получали и что у вас безденежье, то и я ничего не сказал бы и по-дружески отказался бы от самых необходимых вещей. Но поскольку вместо *откровенного* объяснения вы ежемесячно отнимаете у меня по сто франков потому, что я воспитал молодого человека (с пятилетнего возраста) достаточно хорошо, чтоб он смог получить место наставника, то, конечно, я не мог рассматривать [ваше письмо] это иначе как оскорбление. Вы полагаете [видеть во мне], что уважаете меня, как старого отца, а намерены обращаться со мной, как с нищим. Я не [думал] могу оставить это без ответа и протеста.

Все⟨цело⟩ преданный вам *Н.О.*

[1] В *LOAHf*, 312 письмо это было ошибочно датировано 1 мая 1875 г., на самом же деле оно, надо думать, относится к началу февраля 1874 г. и представляет собой *ответ на ответ* Моно в связи с возражениями Огарева против сокращения ему дотации (см. пред. письмо). В феврале 1874 г. Моно прислал Огареву очередную дотацию, прибавив к ней не дошедшие ранее 100 фр. (ср. письмо Огарева к Тате от 4 февраля).

[2] Упоминаемое письмо Моно неизвестно.

[3] Письма эти неизвестны.

[4] См. вступительную заметку к наст. публикации.

3

Черновое

Genève. 6 mars ⟨1874⟩ Vendredi[1]

Cher monsieur,

J'ai l'honneur de vous remercier pour l'envoi des 500 + 100 fr., et je suis bien reconnaissant à Tata, dont je connais la véritable amitié, d'avoir pris mon parti. Mais tout de même il me paraît que vous ne savez pas assez toutes les circonstances de ma situation. Je serais content de vous les expliquer. Pour pouvoir quitter la Russie avec Nat⟨alie⟩ j'ai abandonné une énorme fortune, qui pouvait rapporter, au moins, 40 m⟨ille⟩ fr. de rente à la soeur de Natalie, et sa famille devait me payer 12 m⟨ille⟩ fr. par an. J'ai abandonné ma fortune pour venir à Londres travailler avec mon ami Herzen. Cette rente de 12 m⟨ille⟩ fr. que j'avais à recevoir était si bien connue de Herzen qu'il en a même parlé à notre ami Thorjevsky. Ayant reçu de mes plus proches parents la nouvelle que les affaires de mes propriétés laissées à la famille vont parfaitement bien, je n'ai pas eu l'idée que j'ai à exister rien que par votre aide amicale. Mais je crois que j'ai à recevoir de la Russie les 12 m⟨ille⟩ fr. et je me propose d'en écrire au vieux père de m-me Her⟨zen⟩[2], c'est-à-dire le grand père de Lise Herzen, et j'espère que j'ai tout le droit d'abandonner des 12 m⟨ille⟩ fr. 6 m⟨ille⟩ fr. à Lise Herzen et de garder 6 m⟨ille⟩ pour moi-même et en disposer comme je le veux. Je ne vondrais pas laisser à mendicité une femme qui m'a soigné 20 ans et dont j'ai élevé le fils

de manière qu'il a pu avoir maintenant une place de précepteur et se suffit à son propre entretient; mais cela n'est pas encore assez pour qu'il puisse nous entretenir, pour deux vieux et malades. J'ai 60 ans passés, je puis mourir d'un jour ⟨à⟩l'autre. ⟨Vous pouvez⟩ facilement concevoir que je ne peux pas laisser les choses sans les arranger d'une manière précise, surtout en y ayant plein droit. Certes, je vous suis bien reconnaissant de votre aide amicale, mais si j'ai le droit d'avoir ce qui m'est dû de ma propriété (nous ne sommes pas encore arrivé au socialisme), je ne vois pas de raison de ma part de vous infliger des privations. J'espère que dans toutes les choses passées et présentes il n'y a rien d'humainement mauvais de ma part, et je vous le dis avec pleine confiance en votre sympathie.

Je v⟨ou⟩s serre la main et j'embrasse Olga avec toute l'affection que j'ai p⟨ou⟩r elle depuis son enfance.

Votre t⟨ou⟩t dévoué O g a r e f f

P.S. J'ai depuis un mois une bronchite qui me tracasse affreusement. C'est bien encore que j'ai ici Marie qui me soigne comme une mère son fils ou une fille son père, et qui pourtant elle-même est plus malade que toutes mes maladies prises ensemble.



ГАБРИЕЛЬ МОНО

Фотография, 1873

Из книги: Alexandre Herzen. Lettres inédites à sa fille Olga. Paris, 1970

П е р е в о д:

⟨Женева.⟩ 6 марта ⟨1874 г.⟩. Пятница[1]

Любезный господин Моно,

Имею честь поблагодарить вас за присылку 500 + 100 фр. и весьма признателен Тате, истинная дружба которой мне известна, за то, что она приняла мою сторону. Но, тем не менее, мне кажется, что вы недостаточно хорошо знаете все обстоятельства моего положения. Я был бы рад разъяснить их вам. Чтоб иметь возможность покинуть Россию с Нат⟨али⟩, а бросил огромное состояние, которое могло приносить, по меньшей мере, 40 т⟨ысяч⟩ фр. дохода сестре Натали, и ее семья должна была выплачивать мне 12 т⟨ысяч⟩ фр. в год. Я бросил свое состояние, чтобы переехать в Лондон для работы со своим другом Герценом. Этот доход в 12 т⟨ысяч⟩ фр., который мне предстояло получать, настолько хорошо был известен Герцену, что он даже говорил о нем нашему другу Тхоржевскому. Получив от моих ближайших родственников известие, что дела в моих имениях, оставленных семье, идут превосходно, я и подумать не мог, что мне предстоит существовать только на ваше дружеское пособие. Полагаю, однако, что эти 12 т⟨ысяч⟩ фр. я должен получать из России, и собираюсь написать об этом старому отцу г-жи Гер⟨цен⟩[2], то есть деду Лизы Герцен, и надеюсь, что имею полное право уступить из 12 т⟨ысяч⟩ фр. 6 т⟨ысяч⟩ фр. Лизе Герцен и сохранить 6 т⟨ысяч⟩ для себя самого и располагать ими по собственному усмотрению. Мне не хотелось бы оставить в нищете женщину, которая 20 лет за мною ухаживала и чьего сына я воспитал так, что он смог теперь получить место наставника и сам себя содержать; но этого еще недостаточно для того, чтоб он мог содержать нас обоих, престарелых и больных. Мне за 60 лет, я не сегодня-завтра могу умереть. ⟨Вы можете легко⟩ понять, почему я не могу оставить эти дела без приведения их в надлежащий порядок, особенно имея на это полное право. Конечно, я вам весьма благодарен за вашу дружескую помощь, но если я обладаю правом получать то, что мне полагается с моего имения (до социализма мы еще не дошли), то не вижу причины, почему бы мне, со своей

стороны, подвергать вас лишениям. Надеюсь, что во всем, что было раньше и теперь, с моей стороны нет ничего, в гуманном смысле, дурного, и говорю вам это с полным доверием к вашему сочувственному отношению.

Жму в⟨ам⟩ руку и целую Ольгу со всей любовью, которую питаю к ней с ее детства.

Все⟨це⟩ло преданный вам О г а р е в

P.S. У меня уже целый месяц бронхит, который мне страшно надоедает. Хорошо еще, что здесь у меня Мери, которая ухаживает за мной, как мать за своим сыном, или как дочь за своим отцом и которая, в то же время, сама больна еще больше, чем я со всеми моими болезнями, вместе взятыми.

[1] Год устанавливается по содержанию. Пятница на 6 марта приходилась в 1874 г.
[2] Имеется в виду А.А. Тучков.

4
ОЛЬГЕ и ГАБРИЕЛЮ МОНО

⟨Greenwich.⟩ Le 2 déc⟨embre 1876⟩. Samedi[1]

Chers amis Olga et Gabriel, voici décembre, je ne puis m'empêcher de vous dire quelques mots, car mercredi prochain je vais avoir 63 ans. La santé faiblit, et le bras souffre. Mais pourtant il reste encore assez de forces pour vivre. J'ai même envoyé avant-hier une épître au *Forward*[2] et j'attends une réponse. Mais les circonstances sont assez vacillantes, car les santés ne promettent pas un grand futur et les choses qui se passent dans le monde sont tristes. Par exemple: j'ai reçu avant-hier le № du *Forward* p⟨ou⟩r le 1-er déc⟨embre⟩, et la première chose que j'ouvre c'est la nouvelle de la mort d'un de nos amis Choudiacoff, mort à Irkoutsk, en exil et en folie. Il pouvait à peine avoir 30 ans, il a bien travaillé et – à ce qu'il paraît – il a été bien persécuté[3].

П е р е в о д:

⟨Гринвич.⟩ 2 дек⟨абря 1876 г.⟩. Суббота[1]

Милые друзья Ольга и Габриель, вот и декабрь, не могу удержаться, чтобы не сказать вам несколько слов, ибо в будущую пятницу мне исполнится 63 года. Здоровье слабеет и болит рука. Но в то же время еще остается достаточно сил, чтобы жить. Я даже отправил позавчера эпистолу в "Forward"[2] и жду ответа. Однако обстоятельства достаточно шатки, ибо здоровье наше не сулит большого будущего, а то, что происходит в мире, наводит грусть. Например: позавчера я получил номер "Forward'a" от 1 дек⟨абря⟩, и первое, что я обнаруживаю, – это известие о смерти одного из наших друзей – Худякова, умершего в Иркутске, в ссылке и в состоянии безумия. Ему едва ли исполнилось 30 лет, он много работал и – как кажется – много преследовался[3].

[1] Год устанавливается по указанию Огарева о предстоящем на будущей неделе его шестидесятитрехлетии. Суббота на 2 декабря приходилась именно в 1876 г.
[2] Вероятно, имеется в виду стихотворение "На новый год (Лаврову)" – см. выше письмо Огарева к А.А. Герцену от 19 декабря 1876 г. Стихотворение "Лаврову" во "Вперед!" не появилось и впервые опубликовано лишь в *Звеньях* VI, 395; см. также *LOAHf*, 275.
[3] О *И.А. Худякове* см. выше в наст. разделе.

ОТЕЦ ГЕРЦЕНА
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ

ПЕРЕПИСКА И.А. ЯКОВЛЕВА С А.И. МИХАЙЛОВСКИМ-ДАНИЛЕВСКИМ

Статья и публикация А.Г. Тартаковского

Колоритная фигура Ивана Алексеевича *Яковлева* (1767–1846), обрисованного в "Былом и думах" порою беспощадно-саркастически, порою же с горечью и теплотой, прочно вошла в сознание каждого читавшего мемуары Герцена. Обаяние этого по-своему монументального образа было столь велико, что ощутимо сказалось на общей тональности повествования о старике Яковлеве в воспоминаниях даже таких близко знавших его, каждодневно соприкасавшихся с ним в 1820–1840-х годах лиц, как Т.П. Пасссек и М.К. Рейхель.

Однако типически обобщенный, художественно заостренный в "Былом и думах" образ Яковлева далеко не вполне передает его реальный житейский облик, существенные черты его крупной и противоречивой натуры. Некоторые стороны жизни отца Герцен просто не знал, что-то запамятовал или, по соображениям этики и такта, опустил намеренно. Иные же "реалии" облика Яковлева были, видимо, преображены в свете идейно-эстетических и философско-исторических принципов, лежавших в основе построения "Былого и дум". Как бы то ни было, многое в биографии Яковлева, в перипетиях его жизненного пути, в его духовном строе остается и до сих пор неясным. В самом деле, нам почти ничего не известно, если не считать нескольких беглых фраз в "Былом и думах" (VIII, 30) и лаконичных указаний в официальных документах, хранящихся в Российском государственном архиве Древних актов[1] (*ЛХII*, 172) о службе Ивана Алексеевича в привилегированном Измайловском полку – любимом гвардейском соединении Екатерины II, сыгравшем видную роль в дворцовом перевороте 1762 г., и о его участии в войне со Швецией. О причинах же выхода в отставку в сентябре 1797 г. – спустя десять с половиной месяцев после восшествия на престол Павла I – можем пока только догадываться. Единственное мемуарное свидетельство об этом периоде жизни Ивана Алексеевича – рассказ в воспоминаниях Т.П. Пассек (видимо, с его собственных слов) о сближении с великим князем Константином Павловичем, ставшим с ноября 1796 г. шефом Измайловского полка. Покоренный "оригинальным, сильным умом" Яковлева, великий князь обратил на него внимание и выказывал к нему свое "расположение до того, что ⟨...⟩ нередко заезжал за ним на его квартиру и увозил его с собой разделять свои удовольствия", которые Иван Алексеевич "одушевлял остроумием и любезностию". При этом, – добавляет Пассек – "до конца дней своих Иван Алексеевич сохранил к цесаревичу глубокую преданность и благоговейное воспоминание", называя его даже (уже после воцарения Николая I) великим человеком[2].

К сожалению, обширный в свое время архив Ивана Алексеевича после его смерти в 1846 г., особенно же по отъезде Герцена за границу, оказался распыленным и утраченным. Некоторые документы перешли к племяннику и душеприказчику Яковлева – Д.П. Голохвастову, коечто удалось переправить с оказиями к Герцену в Лондон, большая же часть бумаг, остававшаяся в Москве у брата Герцена – Егора Ивановича, видимо, вообще погибла (см. I, 535)[3]. Поэтому сведения о раннем периоде жизни Ивана Алексеевича почти не сохранились. И все же из случайно уцелевших остатков этого архива мы, например, неожиданно узнаем, что "гвардии капитан-порутчик" Яковлев в марте 1796 г. был избран членом Вольного Экономического общества[4] – факт немаловажный и доселе вовсе не известный.

Затем, после выхода в отставку и до отъезда за границу (по указанию Герцена, в 1801 г. – VIII, 30), в биографии Ивана Алексеевича наступает совершенно глухая пора[1*]. Что побудило его после воцарения Александра I покинуть Россию и несколько лет провести в Европе, "скита-

---

[1*] Вопрос о времени отъезда Яковлева за границу остается не вполне выясненным. Вопреки указанию Герцена в "Санкт-Петербургских ведомостях" и в "Московских ведомостях" за 1801 г., публиковавших обычно объявления о предстоявшем выезде тех или иных лиц за границу, отъезд Яковлева никак не отмечен. Указание Герцена на 1801 г. не согласуется и с принятыми в литературе данными на счет обсто-

ясь из страны в страну" (VIII, 30), в каких именно странах он жил, чем был занят, с кем общался, каковы были в те годы его умственные интересы, – на все эти вопросы мы также почти не находим ответа в источниках. Рейхель, составляя уже в начале XX в. свои воспоминания, сетовала на то, что плохо помнит рассказы Ивана Алексеевича о "заграничной жизни"[5]. О пребывании его за рубежом мы располагаем немногими свидетельствами. Близкий знакомец и однополчанин Ивана Алексеевича, генерал Е.Ф. Комаровский, повествуя в своих записках о поездке в Вену (осень 1807 – начало 1808 г.), отмечает, что среди живших там русских аристократов были и "два брата Яковлевых", т.е. Иван и Лев Алексеевичи. Их же он застал и в Париже, когда приехал туда в ноябре 1808 г. В семейном архиве Яковлева сохранился паспорт за подписью русского посла в Париже А.Б. Куракина от 10/22 августа 1809 г., где сказано, что "службы его императорского величества Российского отставной подполковник, кавалер ордена Св. Иоанна Иерусалимского Иван Яковлев отправляется в Германию"[6]. Известен, наконец, мемуарный рассказ Пассек о знакомстве Ивана Алексеевича в 1811 г. в Касселе, у его брата Л.А. Яковлева, с Генриеттой-Луизой Гааг (будущей матерью Герцена) и возвращении с ней накануне Отечественной войны в Россию[7].

1812 год, когда в захваченной французами Москве, волею случая, Иван Алексеевич оказался на гребне исторических событий, круто переломил его судьбу, глубоко отразившись и на внешнем течении его жизни, и на всем его внутреннем, душевном мире.

Даже по тем временам далеко не старый еще человек – в 1812 г. ему всего 45 лет, – привыкший к постоянной смене жизненных впечатлений, много путешествовавший, вращавшийся в верхах светского общества, после войны навсегда поселяется в Москве и ведет здесь уединенное существование, отчужденный, полный желчного презрения к близким, угнетающий их мелочным деспотизмом, таящий пережитую некогда травму. "Я никогда не мог вполне понять, – признавался Герцен, – откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его" (VIII, 86).

Мало прояснены и личные связи Ивана Алексеевича. А общался он с людьми далеко не равного общественного положения, различных взглядов и разных поколений, преимущественно это были выходцы из знатных дворянских фамилий. Одни из них поднялись на поверхность политической жизни во второй половине XVIII в., другие преуспевали на государственном, военном, дипломатическом, просветительском поприще уже в первые десятилетия XIX в. Сведения об этом, рассеянные в разных источниках, даже не суммированы в герценоведческой литературе. Ввиду их важности для воссоздания общественно-культурной среды, в которой воспитывался и жил Герцен до отъезда из России, они могли бы стать предметом специального исследования.

Не ставя перед собой такой задачи, укажем лишь на наиболее значимые факты этого рода, частично, правда, отмеченные самим Герценом. Так, в "Былом и думах" рассказано о близости Ивана Алексеевича с князем Н.Б. Юсуповым – "блестящим умом и богатством русским вельможей", главноуправляющим Кремлевской экспедицией, знаменитым владельцем Архангельского, дряхлеющим скептиком, меценатом и эпикурейцем, носителем интеллектуальных традиций XVIII в., собеседником Вольтера и Руссо, Дидро и Бомарше, Д.И. Фонвизина и А.С. Пушкина (VIII, 33, 87, 105, 106). Здесь же говорится и о близких, видимо, более чем только дружеских отношениях Яковлева с О.А. Жеребцовой – великосветской красавицей, женщиной авантюрного склада, сестрой фаворита императрицы П.А. Зубова, деятельнейшей фигурой антипавловского заговора 1801 г. "Дружба ее с моим отцом шла с незапамятных времен, – писал в "Былом и думах" Герцен, – он познакомился с ней, когда она была при дворе Екатерины II, потом они встретились в Париже, вместе ездили туда и сюда". Когда Герцен по приезде в Петербург в декабре 1839 г. явился к Жеребцовой с рекомендательным письмом от Ивана Алексеевича, она с удовольствием вспомнила о своей дружбе с ним: "Я ведь короткая приятельница с вашим отцом и люблю его", отнеслась к Герцену, как к родному, и приняла живейшее участие в хлопотах за него (IX, 66–75)[8]. В воспоминаниях Рейхель отмечены рассказы Ивана Алексеевича о знакомстве (вероятно, еще с начала 1790-х годов) с княгиней Е.Р. Дашковой[9] – вот откуда могли идти первые представления Герцена об этой выдающейся женщине XVIII в., занявшей столь заметное место в его исторических интересах 1850-х годов. Какие-то отношения связывали Ивана Алексеевича и с семьей ее брата С.Р. Воронцова. В конце 1790-х – начале 1800-х годов С.Р. Воронцов покровительствовал Л.А. Яковлеву (будущему "сенатору" по "Былому и думам"). Тесные отношения

ятельств и даты рождения Е.И. Герцена, основанными на свидетельстве Пассек. В ее воспоминаниях сказано, что он появился на свет "по отъезде Ивана Алексеевича в чужие края, в подмосковном селе Покровском" и что по возвращении Яковлева в Россию ему было 9 лет, т.е. годом его рождения надо считать 1803 г. Но если эта дата верна (хотя в надмогильной надписи на кладбище Новодевичьего монастыря, где похоронен Е.И. Герцен, время его рождения вообще не указано), то отъезд Яковлева из России в 1801 г. – никак не мог состояться и его следовало бы передвинуть на 1802 или 1803 гг. Однако в названных выше газетах этих лет также нет отметок об отъезде Яковлева за границу (*Пассек* I, 79–80; Великий князь Николай Михайлович. Московский некрополь, т. I. СПб., 1907, с. 266).

Л.А. Яковлева с С.Р. Воронцовым, его страстное увлечение дочерью последнего Екатериной и намерение вопреки воле отца соединить с ней свою судьбу, послужили даже темой специальной работы Г.П. Струве, полагавшего, однако, что сам Герцен об этой старинной романтической истории своего дяди ничего не знал (VIII, 29)[10]. Как бы то ни было, но когда в конце 1840 г. над Герценом нависла угроза высылки из Петербурга, далеко не случайно возникла мысль привлечь к хлопотам за него сына бывшего посла в Лондоне – М.С. Воронцова (IX, 75).

Под "Свидетельством", приложенным к прошению Герцена 1820 г. о зачислении его в Кремлевскую экспедицию, стоят подписи сенаторов А.А. Долгорукова и П.Н. Каверина, недавнего куратора Московского университета П.И. Голенищева-Кутузова – людей, бесспорно, близких к И.А. Яковлеву (см. *Л*, 4). В их же числе Е.А. Дурасов, бывший после войны Московским гражданским губернатором, и М.А. Салтыков – человек примечательной биографии и, несомненно, передовых общественных воззрений: поклонник энциклопедистов, приветствовавший Великую французскую революцию, и вместе с тем – последний фаворит Екатерины II, после воцарения Александра I близкий к кружку его "молодых друзей", либеральный попечитель Казанского университета, почетный "арзамасец", зять поэта А.А. Дельвига и добрый знакомец А.С. Пушкина[11]. Любопытно, что Дурасов и Салтыков названы Герценом в следственных показаниях 1834 г. в качестве его собственных знакомых (см. XXI, 410). Облик М.А. Салтыкова, одного из постоянных посетителей в 1830-х годах дома Яковлева, запомнился и Рейхель. Она же отметила среди его знакомых легендарную по блестящему остроумию и фантастическим рассказам личность князя Д.Е. Цицианова[12]. Пассек вспоминала, что старинными приятелями Яковлева были виднейший сановник александровского царствования кн. П.М. Волконский, командир Отдельного Сибирского корпуса П.М. Капцевич, младший из екатерининских фаворитов Орловых – Владимир Григорьевич[13]. Указала она в числе знакомых Ивана Алексеевича на родственника своего мужа П.Б. Пассека (отчима М.А. Салтыкова) – одного из главарей дворцового переворота 1762 г., возведшего на престол Екатерину II, а затем белорусского генерал-губернатора и его сына, генерал-майора П.П. Пассека – друга многих декабристов, принятого И.Д. Якушкиным после Московского съезда Союза благоденствия 1821 г. в тайное общество[14]. Сюда же, очевидно, следует отнести кн. П.Н. Оболенского и его сына декабриста Е.П. Оболенского – в первой половине 1820-х годов они часто бывают в доме своей родственницы кн. М.А. Хованской – родной сестры Ивана Алексеевича[15] (по мужу Ф.С. Хованскому она приходилась теткой Е.П. Оболенскому).

Среди друзей Яковлева должен быть назван и Д.Н. Бологовский, замешанный в деле М.М. Сперанского, во время Отечественной войны – начальник штаба корпуса Д.С. Дохтурова, в 1820–1830-х годах приятель Пушкина, впоследствии вологодский губернатор: "Очень короткий знакомый моего отца, он довольно любил меня, и я бывал у него иногда", – пишет о нем Герцен по другому поводу (IX, 75)[16].

Известно об уважительном отношении молодого Герцена к знаменитому тогда поэту-баснописцу, в прошлом министру юстиции И.И. Дмитриеву, которого он, будучи студентом, посещал в его доме на Спиридоновке, бывшем в Москве средоточием литераторов карамзинского, а затем и пушкинского окружения. В не дошедшей до нас статье "I Maestri" – одном из ранних автобиографических опытов Герцена – Дмитриев, наряду с А.Л. Витбергом и В.А. Жуковским, фигурировал среди замечательных людей 1830-х годов, встречи с которыми были особенно для него памятны (VIII, 304; XXI, 172, 179, 212)[17]. Думается, что отношения с Дмитриевым Герцен "унаследовал" от самого Яковлева – человека близкого к нему круга и одного с ним поколения[18].

В числе лиц, с которыми у Ивана Алексеевича были доверительные отношения, – и министр внутренних дел, в прошлом тоже "арзамасец", Д.Н. Блудов. Факт их знакомства выясняется из письма к нему Ивана Алексеевича от 8 февраля 1839 г. Удрученный недавней смертью Л.А. Яковлева и неудачей попыток добиться освобождения Герцена от полицейского надзора, он просит Блудова о помощи: "С растерзанной от горести душою к кому могу я обратиться с моими стенаниями, есть ли не к тем лицам, кои принимают еще во мне участие и дарят меня своею дружбою" (*Л* II, 238–239).

В очерченном круге дружеских связей Яковлева обращают на себя внимание люди, выдвинувшиеся еще в екатерининскую эпоху, лично обязанные императрице своим возвышением, а после ее смерти подвергшиеся глубокой опале. Так, жертвой гнева Павла I стал П.Б. Пассек – уже в декабре 1796 г. он был смещен со своих постов с запрещением въезда в обе столицы. Та же участь постигла и М.А. Салтыкова, уволенного Павлом I со службы и все его царствование бывшего не у дел. Близость Яковлева к лицам проекатерининской ориентации, так или иначе пострадавшим от павловского режима и находившимся к нему в оппозиции, может отчасти объяснить причины его собственной отставки в сентябре 1797 г. и вместе с тем сделать более понятными его особенно тесные отношения с деятелями "дворцовой революции" 1801 г. В самом деле, помимо О.А. Жеребцовой, о которой уже шла речь в данной связи, одним из идейных вдохновителей заговора был С.Р. Воронцов, непосредственно прикосновенны к организации цареубийства Д.Н. Бологовский и



И.А. ЯКОВЛЕВ

Портрет работы неизвестного художника (масло).

Начало 1840-х годов

Музей Герцена, Москва

П.М. Волконский. Как известно, после воцарения Александра I некоторые участники переворота были удалены из Петербурга или вообще вынуждены были покинуть на долгие годы Россию. Не связан ли каким-то образом с этим, в частности с близостью Яковлева к Жеребцовой (она уехала за границу еще накануне цареубийства и снискала там шумную репутацию активной заговорщицы), и его отъезд из России, равно как и многолетние скитания по европейским странам?

Недостаточно раскрыты взаимоотношения Яковлева с однополчанами. "Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку ⟨...⟩ часто бывали у нас", – пишет Герцен в "Былом и думах", но упоминает лишь генерала гр. М.А. Милорадовича (его дружба с Иваном Алексеевичем – это особая тема), Оренбургского генерал-губернатора П.К. Эссена, героев Бородина братьев А.Н. и Н.Н. Бахметевых (VIII, 22, 33–35, 88, 98)[19]. Но "измайловцев", друживших с Яковлевым, было гораздо больше. Это и упомянутые выше Д.Н. Бологовский, и командир Отдельного корпуса внутренней стражи Е.Ф. Комаровский[20], привезший в Москву известие о воцарении Николая I и в 1825–1826 гг. посещавший, по свидетельству Герцена и Пассек, дом Ивана Алексеевича[21]. Сослуживцами Яковлева были, кроме того, отличившийся в войнах с Наполеоном генерал З.Д. Олсуфьев – его подпись стоит под упомянутым выше "Свидетельством" в Кремлевскую экспедицию, П.И. Озеров – участник Суворовских походов и войн начала века, шталмейстер, действительный тайный советник, почетный опекун Московского опекунского совета – его Герцен тоже числил среди своих близких знакомых (см. XXI, 410)[22].

Поразительно, как эти прославленные в битвах военачальники, достигшие высших боевых почестей, командовавшие бригадами, дивизиями, корпусами, занимавшие в мирное время крупные административные посты, по прошествии многих лет после выхода капитана Яковлева в отставку тянутся к нему, проводят в беседах с ним свой досуг, охотно делятся воспоминаниями, вникают в его домашние дела и – что для нас особенно важно – с любовью следят за возмужанием юного Герцена, озабочены его воспитанием и его будущим.

Сохранилось письмо к Ивану Алексеевичу от Н.Н. Бахметева, датированное 21 января 1835 г., где старый генерал тепло и заинтересованно отзывается о его сыне: "О здоровье своем уведомь, пожалста, и об Шуше, которому пора уже быть Александр⟨ом⟩ и Ивановичем, об Егоре и Луизе Ивановне и, пожаласта, подробнее. Сообщи им, что их мысленно обнимаю и желаю им всевозможного благополучия и доброго здоровья"[23]. О "благополучии и добром здоровье" говорить, однако, не приходилось – Н.Н. Бахметев, видимо, задолго до того уехавший из Москвы, не знал об аресте Герцена и совсем уж не подозревал о предстоящей ему ссылке – сначала в Пермь, а затем в Вятку.

Отношение Ивана Алексеевича к правительственным гонениям на сына, особенно в период Вятской ссылки, – также один из наименее проясненных эпизодов его биографии.

Публикуемая переписка Яковлева с военным историком А.И. Михайловским-Данилевским в известной мере восполняет этот пробел. Она освещает ряд затемненных прежде сторон его жизни после Отечественной войны и происхождение рассказа Герцена в "Былом и думах" о событиях 1812 года.

Вместе с тем она вводит в окружение Яковлева (а следовательно, и самого Герцена) еще одно весьма значительное лицо, не отмеченное до сих пор в герценоведческой литературе. До сих пор имя Михайловского-Данилевского возникало в ней лишь в связи с публикацией в 1860 г. во второй книжке "Исторического сборника" значительного комплекса мемуарных материалов из его обширного архива, касавшихся потаенных сторон политической истории

России XVIII – первой четверти XIX в. Появление этих материалов в бесцензурном лондонском издании вызвало в России публичный протест дочери историка, объявившей их подложными, и Герцен вынужден был обратиться к своим русским корреспондентам с просьбой подтвердить подлинность напечатанных им материалов.

О взаимоотношениях же Яковлева с Михайловским-Данилевским какие-либо данные в литературе отсутствовали. Упоминания на этот счет мы не находим ни в пространных комментариях М.К. Лемке в "Полном собрании сочинений и писем А.И. Герцена", ни в "Летописи" его жизни и творчества, ни в работах биографического плана. Отчасти это может быть объяснено тем, что личные фонды Яковлева и Герцена, к которым обычно обращались специалисты, не хранят в себе никаких следов этой переписки, а богатейший архив Михайловского-Данилевского не привлекал к себе их внимания.

Александр Иванович *Михайловский-Данилевский* (1790–1848) – адъютант М.И. Кутузова в 1812 г., доверенное лицо начальника Главного штаба армии П.М. Волконского в кампаниях 1813–1815 гг., а по их окончании – полковник Гвардейского генерального штаба, уже тогда снискавший известность как военный писатель, мемуарист, собиратель исторических материалов о наполеоновских войнах, – проделал к 1830-м годам сложную идейную эволюцию.

Воспитанный на традициях французского просветительства, вместе с Н.И. Тургеневым учившийся в Геттингенском университете, после войны он поддерживает завязавшиеся еще в 1812–1814 гг. связи с передовой офицерской молодежью, с членами тайных декабристских обществ и во многом разделяет их свободолюбивые устремления. Но по мере "поправления" правительственного курса и успехов своей карьеры (с 1816 г. – флигель-адъютант Александра I, сопровождавший его в многочисленных поездках по России и за границей, с 1823 г. – генерал-майор и командир бригады), он все более отходит от былого вольномыслия, а после 14 декабря отрекается от него вовсе. С воцарением Николая I Михайловский-Данилевский, как и другие приближенные бывшего императора, сам оказывается не в чести и, удалившись в отставку, три года проводит в нижнегородском имении, болезненно переживая отстранение от дел. Только в начале 1829 г. он отправляется в Петербург с твердым намерением изменить свое опальное положение, обратить на себя внимание нового монарха и заручиться его поддержкой. После долгих хлопот он получает, наконец, разрешение вернуться на службу, в 1829 г. участвует в войне с Турцией, а в 1830–1831 гг. – в польской кампании.

Перелом в воззрениях Михайловского-Данилевского, ставшего вслед за тем одним из провозвестников охранительной доктрины самодержавия, сказался и на принципах его общественного поведения. Сложившись как личность в годы боевых походов и послевоенного подъема, в атмосфере духовной цельности этой эпохи, состоя в дружбе с лучшими людьми декабристского поколения, он предает теперь и их нравственные идеалы. В 1830-х годах Михайловский-Данилевский обретает репутацию человека, погрязшего в придворном искательстве и низкой лести всесильным при Николае I сановникам, не очень разбирающегося в средствах ради достижения своих целей. В это же время он выпускает ряд мемуарно-исторических трудов, с воинственно националистических позиций освещающих кампании 1813–1815 гг. и прославляющих Александра I за восстановление легитимных порядков в Европе. Благодаря этому Михайловский-Данилевский привлекает к себе симпатии царя и постепенно завоевывает положение официального и весьма влиятельного в правительственных сферах историографа. Взлет его карьеры подкрепляется и "высочайшими милостями": в декабре 1835 г. он производится в генерал-лейтенанты и одновременно назначается сенатором и председателем Военно-цензурного комитета.

Между тем приближался 25-летний юбилей Отечественной войны, и его было решено отметить серией пышных пропагандистских и военно-демонстративных акций. Немалое место среди них отводилось созданию фундаментального труда о 1812 г., призванного с учено-исторической точки зрения обосновать коренные постулаты теории "официальной народности". Составление этого труда было поручено Михайловскому-Данилевскому специальным рескриптом Николая I от 24 февраля 1836 г., шумно разрекламированным в официозной прессе[24].

Но, приступив к его подготовке, Михайловский-Данилевский понимал, что для воссоздания всесторонней картины эпохи и разъяснения запутанных военно-политических вопросов истории 1812 г. он не может ограничиться официальными печатными источниками и документами государственных архивов, куда ему был открыт правительством неограниченный доступ. Оценив значение для своего труда свежего мемуарного материала, он разослал во все губернии циркулярные письма с просьбой присылать всякого рода сведения об Отечественной войне и наряду с тем предпринял усилия по разысканию воспоминаний современников – и уже составленных, хранившихся в частных архивах, и устных, еще не записанных мемуарных свидетельств. С этой целью он обратился ко множеству военных и гражданских лиц, о прикосновенности которых к событиям 1812 г. ему было хоть что-либо известно[25].

Среди них, естественно, оказался и Яковлев. Но интерес к нему историка подогревался не

одним лишь фактом его пребывания при французах в Москве – очевидцев московских событий 1812 г., доживших до 1830-х годов, было тогда немало в России, – а исторической встречей с Наполеоном. Ведь именно через Яковлева французский император в первой и последний раз за всю кампанию обратился к Александру I с личным письмом, надеясь в критической для "Великой армии" ситуации начала сентября завязать мирные переговоры. Только от Яковлева можно было получить уникальные сведения об этом кульминационном моменте Отечественной войны. Правда, встреча, проходила не совсем с глазу на глаз – на ней присутствовал еще дипломат-разведчик, секретарь-переводчик Наполеона и его негласный советник по русским делам Л.-Ф. Лелорнь д'Идевиль, но никаких его свидетельств об этом в печать не проникало, беглое же и неточное описание встречи в книге секретаря Наполеона, барона А. Фэна – единственное в исторической литературе того времени – не внушало Михайловскому-Данилевскому доверия. Хотя встреча Яковлева с Наполеоном по ряду причин, о которых будет сказано далее, после войны в России не разглашалась, она не составляла тайны ни для военно-придворных кругов, ни для московского дворянства, – тем более, что сам Яковлев был здесь фигурой достаточно заметной. Д.Н. Свербеев, вспоминая о своем знакомстве с Герценом в начале 1840-х годов, писал, что его отцом "был тот Иван Алексеевич Яковлев, который отчасти сделался известным по своему свиданию с Наполеоном в объятой пламенем Москве в 1812 году"[26].

"Известен" он был с этой стороны и Михайловскому-Данилевскому, но не только по слухам, а прежде всего благодаря личному знакомству с самим Яковлевым и его семейным окружением, причем, как теперь выясняется, еще задолго до 1836 г.

Так, из публикуемых писем явствует, что он хорошо знал племянника Ивана Алексеевича – Н.П. Голохвастова и был в давних отношениях с его любимым братом Л.А. Яковлевым, видным дипломатом, проживавшим после войны в Москве в почетной отставке тайным советником и сенатором. Отношения эти возникли, надо полагать, еще в бытность Л.А. Яковлева русским посланником в Штутгарте и Касселе, где молодой "геттингенец" мог посещать его в 1808–1811 гг. во время своих путешествий по Германии. В конце 1810 – начале 1820-х годов Михайловский-Данилевский – и в свите Александра I, и по семейным делам – часто наезжает в Москву, где постоянно видится со знакомыми и друзьями. Не исключено, что он и тогда мог общаться с Л.А. Яковлевым. Если же учесть, что с 1814 по 1823 г. братья Яковлевы, вместе снимая в разных частях Москвы то один, то другой дом, живут под одной крышей и общей, в сущности, семьей[27], то не будет преувеличением допустить возможность встреч Михайловского-Данилевского в ту пору и с самим Иваном Алексеевичем. К концу 1820-х годов их отношения были уже достаточно давними и вполне доверительными.

Когда в 20-х числах февраля 1829 г. Михайловский-Данилевский едет в Петербург представляться Николаю I и задерживается на несколько дней в Москве[28], он снова навещает Л.А. Яковлева. В письме к жене от 1 марта 1829 г., рассказывая о пребывании в белокаменной, где его "приняли с распростертыми объятиями", о дружеских встречах и задушевных разговорах со старинным приятелем, знаменитым партизаном Д.В. Давыдовым ("Я обедал у больного Давыдова, никого, кроме меня, у них не было, долго беседовали"), с тяжело раненным в русско-турецкой войне А.С. Меншиковым, с поэтом И.И. Дмитриевым ("Обедал я у И.И. Дмитриева, бесценный, единственный человек! Время протекло незаметно до семи часов"), Михайловский-Данилевский сообщает, что 28 февраля "в шесть часов вечера поехал ко Льву Алексеевичу, с которым просидел до полуночи". С ним, как и с Д.В. Давыдовым, он откровенно делится опасениями, удастся ли вернуться на службу, как примут его при дворе и т.д. Извещая жену об этих сомнениях он, в частности, замечает: "Каково будет в Петербурге, это другое дело; все зависеть будет от каприза ⟨...⟩ Давыдов клянется, что меня утеснят, Лев Алексеевич противного мнения, ни тот, ни другой ничего знать не могут"[29].

Но что всего для нас интереснее, – в этот свой приезд в Москву, еще за два дня до встречи с Л.А. Яковлевым, Михайловский-Данилевский посещает самого Ивана Алексеевича. Об этом мы узнаем из отрывочных и доселе не опубликованных дневниковых заметок историка, дополняющих его письмо жене от 1 марта 1829 г. Здесь подробно переданы его разговоры в те дни с московскими друзьями о политически сокровенных событиях недавнего прошлого. В заметке, датированной 24 февраля, он пишет: "Пять лет я не проводил дня в такой рассеянности, как сегодня, ибо с утра до вечера был в гостях. Большую часть дня я был с Денисом Давыдовым, которого пламенные рассказы мне всегда приятны. Он про Ермолова во время его удаления из Грузии. Вот главные причины оного: государь не был доволен, 1, что подчиненность в Кавказском корпусе не была соблюдаема со строгостью, 2, что войска мнимо от этого к себе привязал и 3-е, что был слишком жесток с подвластными ему народами. Паскевич хотел идти с рогатками против персиян". Далее следует запись за 26 февраля: "Я был вчера у Дмитриева, а сегодня он у меня обедал, литература была нашею беседою. Вот некоторые из слов его: государь сказал ему через два дня после увезения Сперанского, что он провозглашал

даже в секретарской комнате, говорил громко о предстоявшем будто бы упадке империи; это со стороны его тем непростительнее, сказал император, что он по званию Государственного секретаря мог докладывать мне во всякое время о неустройстве в империи".

Ясно, что собеседники историка, люди в высшей мере осведомленные, делятся своими воспоминаниями в ответ на его прямые расспросы. Если при встрече с Давыдовым Михайловского-Данилевского интересовали еще животрепещущие и скрытые от современников мотивы отставки Ермолова, а в беседе с Дмитриевым столь же таинственные и обросшие самыми фантастическими слухами причины внезапной опалы и ссылки Сперанского накануне Отечественной войны, то в разговоре с Яковлевым, который зафиксирован в продолжении той же записи за 26 февраля, историка более всего занимают конфиденциальные обстоятельства пребывания Ивана Алексеевича в Москве и Петербурге в 1812 г. Краткая, всего в несколько строк, запись о посещении в этот день Яковлева состоит из почти протокольного изложения его рассказа о встрече с Наполеоном и о том, что́ за тем последовало[30], – подробнее мы к этому еще вернемся.

Об этих расспросах много лет спустя помнила Пассек, жившая в 1829 г. в доме Яковлева: он при ней рассказывал о московских событиях 1812 г. Михайловскому-Данилевскому, "когда тот, начавши писать свою историю двенадцатого года, приезжал к нему и просил сообщить, что́ знает о том времени, и его разговор с Наполеоном"[31]. Здесь память, правда, несколько подвела мемуаристку, поскольку расспросы эти не могли быть еще связаны с работой Михайловского-Данилевского над историческим трудом о 1812 г., начавшейся только с весны 1836 г. Позднейшие представления о нем как историографе Отечественной войны наложились на собственные впечатления Пассек от его встречи с Яковлевым. Да и время этой встречи она, по забывчивости, несколько сместила, ибо, приступив к подготовке своего труда, в 1836–1837 гг., Михайловский-Данилевский из Петербурга уже никуда не выезжал и видеться тогда с Яковлевым в Москве никак не мог; факт же их встречи в 1829 г. удостоверен документально.

Но теперь, в 1836 г., Михайловскому-Данилевскому нужны были не устные рассказы Ивана Алексеевича, а развернутые воспоминания, зафиксированные им самим письменно. Поначалу историк вступил в переговоры по этому поводу с Н.П. Голохвастовым, в марте 1836 г. побывавшем в Петербурге. И по роду должностных обязанностей в качестве чиновника Канцелярии московского генерал-губернатора, и по своему доброму согласию он обещал историку содействовать в поиске интересующих его материалов. Вскоре после отъезда Голохвастова в Москву, 5 апреля 1836 г. Михайловский-Данилевский шлет ему вдогонку письмо с новой просьбой: "Мы упоминали о разговоре, происходившем у Наполеона с Иваном Алексеевичем и помещенном в сочинении Фэна ⟨...⟩ Я отыскал это сочинение и, выписав от слова до слова разговор, посылаю его к вам. Не сделаете ли милость показать его Ивану Алексеевичу и сделать на нем отметки с означением того, что́ правда, что́ ложь, и также сделать тут дополнения. При разговоре Fain не был, следственно, и не мог знать в точности содержания его. Тут каждая черта его драгоценна, выдумок и вымышленных дополнений допустить нельзя. Если вы сделаете милость и исполните мою покорнейшую просьбу, то не откажите прилагаемую бумагу с отметками мне возвратить"[32].

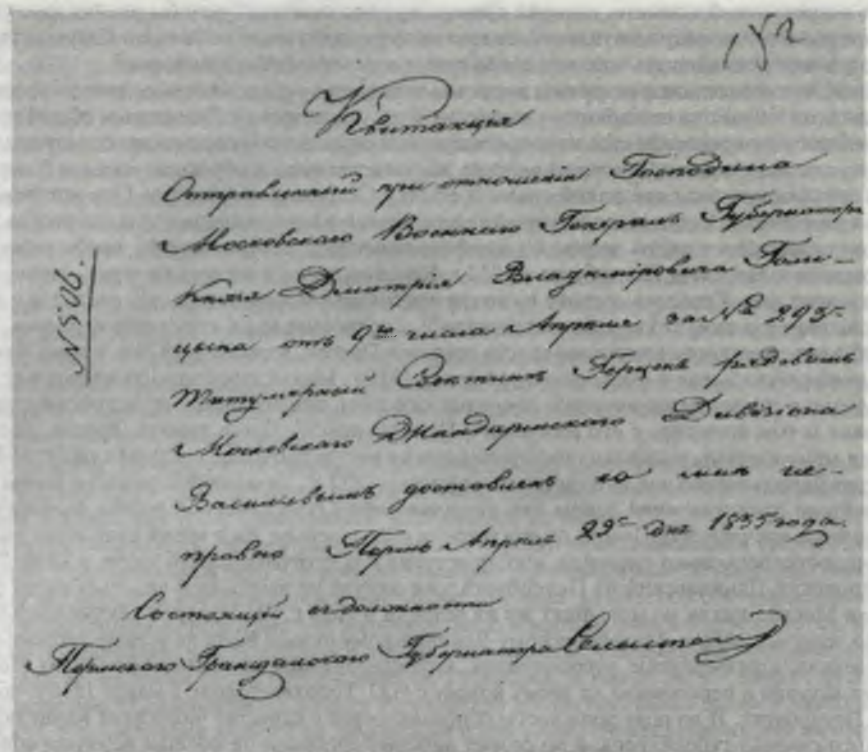
Прошло более полутора месяцев, но ни ответного письма Голохвастова, ни выписки из книги Фэна "с отметками" не последовало и, казалось просьба Михайловского-Данилевского канула в Лету, как вдруг в 20-х числах мая он получает письмо от самого И.А. Яковлева, но совсем по другому поводу.

Так завязалась их переписка[2*].

[2*] Письма Яковлева сохранились в автографах в личном фонде Михайловского-Данилевского (4, 8, 10 – *ИРЛИ*, ф. 527, ед. хр. 121, л. 1–4), в коллекции собранных им исторических материалов по 1812 г. (5 – Российский государственный военно-исторический архив, ф. ВУА, ед. хр. 3465, ч. 4, л. 61) и в архиве "Русской старины" (*ИРЛИ*, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 614, л. 1–4). Письма Михайловского-Данилевского дошли до нас в виде писарских отпусков в "Реестре исходящим бумагам по сочинению Истории 1812 года", куда заносились тексты его обращений к разным лицам с просьбой о присылке материалов для этой "Истории" (2, 3, 6 – *РНБ*, ф. 859, 2, 5, л. 33–36, 69), и одного чернового автографа (9 – *ИРЛИ*, ф. 527, ед. хр. 34). Переписка состоит, таким образом, из 10 писем (6 – Яковлева и 4 – Михайловского-Данилевского). По отдельным упоминаниям в публикуемых источниках устанавливается существование еще четырех писем, не разысканных или вовсе утраченных (Яковлева от 5 и 29 июня 1836 г., Михайловского-Данилевского от 29 декабря 1836 г. и 19 февраля 1837 г.). Всего корпус их переписки включал в себя не менее четырнадцати самостоятельных почтовых отправлений.

Письмо Яковлева от 23 ноября 1836 г. было напечатано в "Русской старине" (1892, № 10, с. 218–219). В архиве журнала находится и копия этого письма, по которой оно было здесь опубликовано, и аналогичная копия письма от 18 мая 1836 г., также подготовленная редакцией к печати, но света так и не увидевшая (*ИРЛИ*, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 614, л. 5–9). Кроме письма от 23 ноября 1836 г., переписка прежде не публиковалась. Тем самым впервые вводится в научный оборот пять новых писем отца Герцена – до сего времени было известно всего двенадцать его писем[34].

В настоящей публикации сохраняются индивидуальные особенности правописания Яковлева в ряде случаев архаичные для орфографии 1830-х годов.



КВИТАНЦИЯ, ВЫДАННАЯ ПЕРМСКИМ ГРАЖДАНСКИМ ГУБЕРНАТОРОМ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО ГЕРЦЕН ДОСТАВЛЕН В ПЕРМЬ

Пермь, 29 апреля 1835 г.

Центральный государственный исторический архив г. Москвы

1
ЯКОВЛЕВ – МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ

⟨Москва. 18 мая 1836 г.⟩

Милостивый государь Александр Иванович!

Издавна доброе расположение вашего превосходительства к брату моему Льву Алексеевичу и многократные доказательства ласки вашей ко мне лично, к тому же, заметив и готовность вашу, по мере возможности, быть полезным и одолжать себе подобных: вот что служит поводом к следующей и усердной моей к вам прозбе.

Воспитанник мой титулярный советник Александр Герцен, служивший в Москве, в Дворцовой конторе, молодой человек, одаренный умственными качествами, отличившийся блистательными успехами в науках, за что, так как и за похвалное поведение, награжден званием кандидата, за лутчее сочинение медалью и посетителем ученого здесь общества[33], два года тому назад был взят из дому моего и повергнут в заточение, в коем находясь девять месяцев, был отправлен на службу в Пермь, а оттуда переведен на службу в Вятку, где уже другой год и теперь находится при тамошнем гражданском губернаторе.

При преклонных моих летах и беспрестанно болезненном состоянии имел я в воспитаннике сем не толко единственное утешение, но и занятие, ибо он со дня рождения был от меня без отлучен, под надзором моим воспитан в Законе Божием и напитан пламенным усердием быть верным и полезным слугою государя императора.

Неизвестно мне, почему воспитанник мой был от меня удален, но, откровенно сказать вам, милостивый государь, должен, что он не только не изобличен в каком-либо предосудительном действии, но подобных и вопросов ему не было делано, из чего я замечать могу, что мы разлучены с ним почти два года по какому-нибудь недоразумению.

Находясь в таком горестном положении, прибегал я письменно к представительству графа Александра Христофоровича, прося его повергнуть меня к стопам государя императора со всеподданнейшею моею прозбою о возвращении ко мне моего воспитанника, дабы я, в последние дни моей жизни еще его увидел и чтобы он продолжал здесь служение под моим надзором. Но не имея на сие мое прошение никакова отзыва, не знаю, дошло ли оное до его сиятелства.

Зная, что вашему превосходительству не чужды чувства родительские, тем с большею доверенностию обращаюсь к вам с покорнейшею моею прозбою, то есть, узнать, получил ли его сиятелство мое письмо, а затем, где и насколко возможно, содействовать к удовлетворению моего прошения. Надеюсь, что во всяком случае, вы, милостивый государь, извините мою нескромность, в рассуждении причины, коя меня к тому побуждает.

С истинным почитанием и преданностию, честь имею пребыть

вашего превосходительства покорнейшим слугою Иван Я к о в л е в [3*]

Мая 18-го дня 1836-го года

2
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ – ЯКОВЛЕВУ

⟨Петербург. 26 мая 1836 г.⟩

Я имел честь получить почтеннейшее письмо ваше от 18 мая на счет справки у г⟨рафа⟩ Бенкендорфа о письме, которое вы к нему писали. Я тотчас не мог исполнить вашего поручения, потому что граф не в Петербурге, а в Ревельской губернии в своем имении. Коль скоро он вернется, то я воспользуюсь первою с ним встречею, чтоб выполнить ваше поручение. Привыкши издавна уважать вас душевно, мне весьма приятно исполнить все то, что угодно вам будет на меня возложить. Позвольте и мне воспользоваться сим случаем, чтоб обратиться к вам с покорнейшею просьбою. Может быть, вам небезызвестно, что я описываю теперь войну 1812 года. Мне крайне желательно знать подробности вашего свидания и разговора с Наполеоном. Поэтому усердно вас прошу прислать мне описание этого случая. Разговор ваш с Наполеоном напечатан в сочинении г-на Фена, но я, зная лживость и ветренность французов, не доверяю этому сочинению. Поэтому любопытен я знать, до какой степени можно ему верить. Здесь прилагаю точную выписку из книги Фена. Выписка сделана с намерением на полулистах, на другой половине которых покорнейше прошу сделать ваши отметки, что́ справедливо и что́ ложно в напечатанной книге, а также, где нужно дополнения. Это я прошу чувствительным для себя одолжением, за которое приемного буду вам благодарен.

Я уже об этом просил вашего племянника Николая Павловича Голохвастова и 5 апреля послал ему таковую же выписку из сочинения Фена, какую здесь прилагаю. Проходит около двух месяцев, но Николай Павлович не рассудил за благо мне отвечать. В этом случае я придерживаюсь старинной французской пословицы; она гласит так: point de réponse est aussi une réponse[4*].

[3*] *На письме помета Михайловского-Данилевского:* отв. 26 мая. – *Л.Т.*

[4*] отсутствие ответа – тоже ответ (*франц.*).

3
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ – ЯКОВЛЕВУ

⟨Петербург. 8 июня 1836 г.⟩

Я имел честь получить почтеннейшее письмо ваше от 5 июня. Постигая заботливость вашу о вашем воспитаннике, употреблю для исполнения вашей воли все зависящие от меня меры. Скорому течению дел препятствует лето. Все разъехались, граф Бенкендорф в Ревеле, Блудов на даче, я в городе, заваленный делами. Не взирая на препятствия местные, при первом удобном случае начну действовать. Точно ли вы уверены, что вятский губернатор относился выгодно о вашем воспитаннике, ибо из вашего письма вижу, что вы говорите гадательно. Прошу покорно это обстоятельство пояснить. Иначе же на чем мне основывать разговор мой с Г. Блудовым; сверх того, надобно, чтоб вы потрудились объяснить мне, в чем состояла шалость г. Герцена. Принимаясь за дело, необходимо знать существо его.

Премного благодарю вас за обещание сообщить мне то, что сохранилось в памяти вашей из разговора с Наполеоном. Чем скорее изволите доставить мне обещанное, тем скорее и я примусь с моей стороны действовать по вашему поручению.

В сочинении Домерга, которое теперь передо мною, об вас ни словом не упоминается[35].

Что касается до г. Голохвастова, то я не получал двух его писем, о которых он вам говорит. Почта у нас в России преисправная, у меня переписка огромная, и ни одно письмо еще в течение многих лет не потерялось. Чему же приписать, что эти два письма утратились? Не знаю, но не удивляюсь, ибо привык ничему не удивляться. Я только жалею, зачем г. Голохвастов расточал мне свои обещания о содействии труду, возложенному на меня государем императором.

При случае прошу сказать мое усреднейшее почтение бывшему министру при Вестфальском короле, а теперь по Сенату моему сотоварищу Льву Алексеевичу.

4
ЯКОВЛЕВ – МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ

⟨Москва. 22 июня 1836 г.⟩

Милостивый государь Александр Иванович!

Уже три недели я одержим недугом, от которого я так изнурион, что не могу ни сидеть, ни лежать, вот почему я не отвечал на почтенное письмо ваше от 8-го сего месяца.

При малейшем облехчении и возможности я исполню желание ваше касательно разговору моего с Н⟨аполеоном⟩, теперь силы не имею.

С истинным почитанием и преданностию и с чувствами благодарности честь имею пребыть вашего превосходителства покорнейшим слугою

Иван Яковлев

Июня 22-го года
Москва

5
ЯКОВЛЕВ – МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ

⟨Москва. 27 июля 1836 г.⟩

Милостивый государь Александр Иванович!

При обыкновенном болезненном состоянии моем я почти два месяца был в беспрестанном страдании от нового недуга, от коего, получив ныне, хотя и малое еще, облехчение, но пользуюсь оным, чтобы исполнить желание ваше присылкою бумаги, кою с трудом мог написать и кою при сем прилагаю. Прошу принять оную, милостивый государь, единственно как знак готовности моей исполнить всякое от вас

мне поручение. Je réclame votre indulgence en faveur du style et de la rédaction. A mon âge et avec encor infirmités, je m'estime fort heureux de pouvoir, bien ou mal, faire encore marcher la plume[5*].

В продолжении последнего страдания моего я имел честь писать к вашему превосходительству два раза. Первой была уведомление о причине замедления присылкою требуемой вами бумаги. Второй с объяснением о причине удаления воспитанника моего, ибо вы оное иметь желали. Не знаю, дошли ли до вас сии два писма, хотя адрес на оных я поставил прежний.

За лишнее почитаю подкреплять новой прозбою прежнюю мою и покорнейшую касателно моего воспитанника. Я не только чтобы сумневатся, но, имея честь знать вас и расположение ваше на добро ближнему, я уверен, что ваше превосходителство не упустили случая ходатайствовать за меня у графа Бенкендорфа, а равно и у господина министра внутренних дел. Сей последний получает аттестации о Герцене, а прозба моя состоит в том, чтобы оные не оставались в неизвестности и без действия. L'extrême complaisance fait naître les importunités. A qui la faute?[6*]

С истинным почитанием и такою же преданностию честь имею пребыть

вашего превосходителства покорнейшим слугою Иван Я к о в л е в

Июля 27-го дня 1836 года
Москва

Брат мой Л⟨ев⟩ А⟨лексеевич⟩, благодаря вас за память об нем, поручил мне уверить вас, что он непреложно сохраняет к вам чувства его почтения и что он разделяет со мною душевную признателность за попечение ваше меня успокоить[7*].

6
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ – ЯКОВЛЕВУ

⟨Петербург. 21 августа 1836 г.⟩

Два почтеннейшие письма ваши от 29 июня и 27 июля имел честь получить. Не нахожу слов благодарить вас за присылку разговора вашего в Кремле с Наполеоном. Этот любопытный случай вашей жизни, описанный мастерским пером, достояние истории, для меня как призванного описывать великое событие Отечественной войны, есть драгоценный подарок, новое свидетельство вашего дружеского, лестного ко мне расположения. Не одними словами постараюсь вам доказать мою признательность, но приложу все старание, чтобы усердствовать исполнению вашего поручения. Примусь за него, как только возвратятся с дач, что, вероятно, скоро последует. Осенние ветры, холодные дожди, беспрестанно бушующие, конечно, в непродолжительном времени принудят оставить загородные домы. Тогда не умедлю приняться за ваше поручение и тотчас же сообщу, какой получу ответ. Не сомневайтесь, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, в моем усердии; не знаю, каков будет успех, но за стараниями и просьбами дело не станет. Позвольте еще раз возобновить мою искреннюю благодарность за ваше почтеннейшее письмо и сообщение разговора и примите уверение в истинном уважении и проч.

5* Прошу вашей снисходительности в отношении слога и написания. В моем возрасте да еще с недугами я почитаю за большое счастье быть в силах, хорошо или плохо, держать в руке перо (*франц.*).

6* Чрезмерное снисхождение порождает докучливость. Чья же вина? (*франц.*)

7* *На письме помета Михайловского-Данилевского*: Отв⟨ечал⟩ 21 августа. – *А.Т.*

7
ЯКОВЛЕВ – МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ

(Москва. 23 ноября 1836 г.)

Милостивый государь Александр Иванович!

L'extrême complaisance fait naître importune. Voilà mon histoire du moment[8*].

Ваше превосходительство по прозбе моей столь охотно приняли на себя ходатайство по неожиданно горестному со мною происшествию в 1834-м году касательно воспитанника моего Герцена, что я с полною доверенностию обращаюсь к вам с новой прозбою.

По наследству после покойного дяди моего, генерал-поручика Михаила Александровича Яковлева, достались мне два портфеля, заключающие именные повеления блаженной памяти императрицы Екатерины Второй, болшею частию секретные и некоторые собственной ее руки, все же на имя означенного дяди моего.

Подобного рода бумаги подлежат вечному и надежному сохранению, почему я бы и желал представить оные на благоусмотрение государя-императора и испросить его волю, куда он благоволит препроводить оные на сохранение. Не зная, однако же, каким путем и через кого оные отправить, прошу покорнейше вашего на то совета.

Естли вы рассудите так, как и я, то думаю, что приличнее всего отнестись мне с сею прозбою к графу Бенкендорфу; то в таком случае дозволите ли вы мне просить вас о доставлении ему сих бумаг, ибо, отправив прямо на его имя, я опасаюсь, чтобы не остаться в неизвестности, дошли ли они до него или нет, зная из опыта, что его сиятельство, по многочисленным занятиям его, не имеет время уведомлять нас о получении наших писем.

Воспитанник мой Герцен, по приказанию г-на Вятского губернатора, занимался собранием сведений о пожертвованиях и происшествиях той губернии в 812-м году, но, к крайнему его сожалению, мало находится там материалов для составления удовлетворителной записки.

Повторяя живейшую мою благодарность за обещанное содействие ваше, милостивый государь, к достижению моего спокойствия, с сожалением, однако же, сказать должен, что с 21-го августа лишен всякого от вас обещанного сообщения.

С истинным почтением и преданностию честь имею пребыть вашего превосходительства покорнейшим слугою

Иван Яковлев[9*]

8
ЯКОВЛЕВ – МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ

(Москва. 1 февраля 1837 г.)

Милостивый государь Александр Иванович!

В прошлом году просил я ваше превосходительство принять на себя труд в крайнем моем одолжении узнать от графа Бенкендорфа, получил ли он два мои к нему просительные письма касательно воспитанника моего Герцена, который, находясь на службе при Вятском губернаторе, аттестацию о поведении его, службе и препровождается к министру внутренних дел, от которого уже зависит, оставлять оные как маловажные без внимания или передавать, куда следует. Вы, милостивый государь, по всегдашнему вашему ко мне благорасположению изъявили мне готовность вашу ходатайствовать за меня у того и другого, коль скоро первой возвратился из Лифляндских своих деревень, а второй с дачи в город, что, вероятно, и воспоследовало еще в прошлом же году; но я по сей час ни малейшего сообщения от вас не имел ни о действии вашем, ни об отзыве тех лиц, помня однако же подтверждение ваше, что

[8*] Чрезмерное снисхождение порождает докучливость. Вот моя история в настоящий момент (*франц.*).

[9*] *На письме помета Михайловского-Данилевского*: отвечал 29 декабря. – *А.Т.*

не на одних словах, но и на самом деле вы докажете мне готовность вашу меня одолжить.

Умалчивая о причинах, кои побуждают меня к нескромности противу вас, я, опираясь на те же причины решился беспокоить вас и новой прозбою, через писмо, отправленное мною с почтой ноября 23 числа прошлого 836-го года, но и теперь в неизвестности, дошло ли оно до вас, что́ по справедливости меня беспокоит, почему убедительнейше прошу вас кому-либо известить меня, получено ли вами оное писмо или нет, а уже действие по оному и по прежним моим остается в воле вашей.

Скоро три года, что я разлучен с воспитанником моим, не ведая на то причины. Вы сами отец. Взойдите в мое положение как христианин, вы тогда найдете в душе своей, чем меня оправдать.

Приговорить меня к молчанию столко же лехко, сколко трудно довести меня до сумнения, чтобы вы не желали одолжить и успокоить меня при конце моей жизни.

С истинным почитанием и таковою же преданностию честь имею прибыть вашего превосходителства покорнейшим слугою

Иван Яковлев

Февраля 1-го дня 1837 года
Москва[10*]

9
МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ – ЯКОВЛЕВУ

⟨Петербург. 6 февраля 1837 г.⟩

Милостивый государь Иван Алексеевич!

Сей час имел честь получить ваше письмо от 1 февраля с упреками, которые были бы справедливы, если б я их заслужил. Ни одно из писем ваших не осталось без ответа; не взирая на огромные мои занятия, по которым я от всякой частной переписки отказался, я постоянно каждый раз имел честь отвечать вам. В последний раз это было 29 декабря, где подробно вас уведомлял, что по поручению вашему говорил с графом и что граф охотно принимал на себя поднести по вашему желанию бумаги покойного вашего дяди. Все это подробно изъяснено в письме от 29 декабря, а почему оно не дошло к вам, не знаю, но виною в том не я, а почта или ваши люди, которые его, может быть, затеряли[11*]. Не угодно ли вам выправить в почтамте, ибо в этом письме писал я вам, помнится, и о вашем воспитаннике.

Имею честь быть с совер⟨шенным⟩ почт⟨ением⟩ и проч.

М⟨ихайловский⟩-Д⟨анилевский⟩

10
ЯКОВЛЕВ – МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ

⟨Москва. 15 февраля 1837 г.⟩

Милостивый государь Александр Иванович!

Почтенное писмо ваше от 6-го сего месяца я имел честь получить и приношу за оное покорнейшую мою благодарность. То, что ваше превосходителство рассудили назвать упреками, ближе уподобить можно стенанию страждущего человека да и в том не толко чтобы себя оправдывать, но прошу искреннего вашего извинения.

Писмо ваше от 29-го декабря я не получал и, по справкам в здешнем почтамте, оказалось, что в декабре и январе на имя мое из Петерб⟨урга⟩ ни одного писма не было. Кто виновен в утрате сего писма не ведаю, но верно то, что наказан я лишением писма, кое, может быть, и заключало какое-нибудь утешительное для меня сообщение и кое я так давно от вас по обещанию вашему ожидаю.

[10*] *На письме помета Михайловского-Данилевского*: Отв. 5 февр. – *А.Т.*

[11*] *В черновом автографе следующий далее текст до конца абзаца зачеркнут.* – *А.Т.*

Последнее ваше пред сим ко мне письмо было от 21-го августа, в коем между прочим сказано: не одними словами постараюсь вам доказать мою признателность, но приложу все старание, чтобы усердствовать в исполнении вашего поручения. Примусь за него, как толко возвратятся с дач, что, вероятно, скоро последует; тогда не умедлю приняться за ваше поручение, тотчас сообщу, какой получу ответ, не сомневайтесь в моем усердии и пр. Сии-то слова побудили меня к нескромному писму моему от 1-го февраля и, хотя я и по сей час не имел от вас ни единого слова ни о действии вашем, ни об отзыве тех лиц, но однакоже, ни мало себя не оправдывая, прошу как старого, хворого и огорченного человека, меня извинить, присоединяя сверх того уверение, что уже новой нескромности от меня более не будет.

Приношу вам, милостивый государь, чувствителную мою благодарность за сообщение мне дозволения графа Бенкендорфа обратиться к нему с бумагами покойного моего дяди, а равно и за принятой вами на себя труд по сему предмету.

Теперь важнейшая моя к вам прозба состоит в том, чтобы вы сохранили ко мне ваше прежнее благорасположение и, может быть, доброе ваше обо мне мнение, ибо я и тем и другим весма дорожу, дело же мое я поручаю вам и милосердию Божию.

С истинным почитанием и таковою же преданностию честь имею пребыть вашего превосходителства покорнейшим слугою Иван Яковлев.

Февраль 15-го дня 1837 года
Москва[12*]

Все содержание этой переписки сводится к двум сюжетам – хлопоты Яковлева об освобождении Герцена из ссылки и составление им по запросу Михайловского-Данилевского мемуарной Записки о свидании с Наполеоном в 1812 г. Оба столь, казалось бы, несхожих сюжета причудливо сплелись в один узел, особенно на начальной стадии переписки. Но каждый из них представляет, тем не менее, самостоятельный интерес, и есть поэтому смысл рассмотреть их далее отдельно.

ЯКОВЛЕВ В БОРЬБЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ГЕРЦЕНА ИЗ ВЯТСКОЙ ССЫЛКИ

Арест сына поверг Яковлева в глубочайшее волнение. "Разлука с Сашей сильно потрясла расстроенное здоровье Ивана Алексеевича", – писала в одном из рукописных набросков своих воспоминаний Пассек[36]. Еще в бытность Герцена под следствием Иван Алексеевич не раз ходатайствовал перед властями об облегчении его участи. 30 октября 1834 г. он обращается к председателю Следственной комиссии кн. С.М. Голицыну с письмом о дозволении "иногда видеться с сыном". 9 ноября просит Голицына разрешить Герцену "провести хотя один час в доме его родителей" или, на худой конец, позволить "посетить и обнять в Крутицких казармах матери его, Луизе Гаак, и брату его, титул⟨ярному⟩ сов⟨етнику⟩ Егору Герцену и тем самым доставить сему страдальцу хотя минутное утешение". 14 декабря Иван Алексеевич, движимый "беспрестанным страданием и беспокойством" насчет сына, посылает письмо к московскому коменданту К.Г. Стаалю с просьбой о выдаче его "на расписку" и о содержании до конца следствия в домашних условиях: "на моей ответственности и под присмотром", а на следующий день после объявления приговора, 1 апреля 1835 г. просит московского генерал-губернатора кн. Д.В. Голицына отсрочить отправление Герцена к месту назначения, "дабы я по преклонным моим летам и расстроенному моему и его здоровью, не был вынужден на сей раз расстаться с ним навечно" (*Л* XII, 352–355, 358–359).

Об охватившем тогда Ивана Алексеевича горе, смятении, страхе за судьбу сына с трагически впечатляющей силой рассказано в "Былом и думах" (VIII, 181, 208). Рисуя в предельно откровенных, почти обличительных тонах портрет своего отца, вспоминая о его светских предрассудках, эгоистическом высокомерии в отношении к домочадцам, о невыносимой атмосфере в семье, Герцен неожиданно перебивает свое повествование знаменательной фразой: "Впоследствии я видел, когда меня арестовывали, и потом, когда отправляли в ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал. Я никогда не поблагодарил его за это, не зная, как бы он принял мою благодарность". Продолжая эту те-

---

12* *На письме помета Михайловского-Данилевского*: 19 февраля, *указывающая на дату ответного его письма Яковлеву. – А.Т.*

му, Герцен не без раскаяния вспоминает, что в юности, "до тюрьмы удалялся от моего отца" и даже "вел против него маленькую войну" (VIII, 89–90). Из этих как бы невзначай брошенных признаний, своего рода "проговорок" следует, что "после тюрьмы" от старика-отца он уже больше "не удалялся", что перелом в отношении к нему наступил именно тогда под влиянием раскрывшейся в Иване Алексеевиче душевной теплоты и что только арест примирил его с отцом.

Заметим, однако, что в своих мемуарах Герцен ведет речь лишь о том, как проявил себя Иван Алексеевич с момента ареста и до отправления в ссылку, т.е. с июля 1834 по апрель 1835 г. О душевном состоянии отца в период самой ссылки и о его неустанных хлопотах 1836–1837 гг. в "Былом и думах" не сказано ни слова. Ничего сколько-нибудь определенного на этот счет не содержится и в воспоминаниях Пассек и Рейхель. Но о том, что за его возвращение из ссылки ведутся хлопоты, Герцен, находясь в Вятке, знал и хорошо помнил о них, когда писал "Былое и думы". Это видно даже из глухих и хронологически не очень ясных намеков в самом их тексте – на то, например, что "начали носиться слухи о близком окончании ссылки", что "года через два" после приезда в Вятку "стали поговаривать" о его возвращении (VIII, 349, 352). Явные, хотя лишенные конкретных очертаний, отголоски осведомленности Герцена в хлопотах Яковлева отразились, как увидим далее, и в письмах к Н.А. Захарьиной за апрель, май, сентябрь 1836 г. и февраль 1837 г. (XXI, 77–78, 102–103, 145). Значит, столь важный эпизод и собственной жизни, и в жизни своего отца Герцен, по каким-то сейчас неясным причинам, обошел в "Былом и думах" молчанием.

К тому же, ввиду почти полной утраты эпистолярной части яковлевского архива, мы не располагаем и перепиской Герцена с родными во время пребывания в Вятке, наверняка заключавшей о том ценные и точные сведения. До нас не дошло вообще ни одного письма Герцена к Ивану Алексеевичу, Л.И. Гааг, Е.И. Герцену и Л.А. Яковлеву, обеспокоенному судьбой племянника и бывшему в курсе хлопот по его освобождению. Только за март 1835 – ноябрь 1837 гг. в перечне несохранившихся писем Герцена отмечено 9 – к отцу и 6 – к Егору Ивановичу, также посвященному в хлопоты за возвращение брата из ссылки (XXI, 604–607). Письма Егора Ивановича, Л.И. Гааг и Л.А. Яковлева к Герцену вовсе неизвестны. В "Былом и думах" он указывает, что в пору ссылки отец обыкновенно писал ему несколько строк раз в неделю (VIII, 376). Стало быть, за вятский период должны были отложиться десятки, если не сотни писем к нему Яковлева – ни одно из них опять-таки не сохранилось.

Поэтому переписка Яковлева с Михайловским-Данилевским приобретает значение совершенно особое. Не в том только дело, что она обогащает интересующий нас сюжет новыми фактическими данными. Но ею проясняется и смысл ранее опубликованных (правда, весьма немногочисленных и разрозненных) документальных свидетельств на эту тему, не получивших доселе верного истолкования в литературе. Выстраивая все их в один ряд, она позволяет восстановить хронологически последовательную и более полную, чем это можно было сделать до сих пор, картину борьбы Яковлева за освобождение Герцена из вятской ссылки.

Ключевым является здесь упоминание в его письме от 18 мая 1836 г., которым и открывается переписка, о прошении шефу жандармов и начальнику III Отделения А.Х. Бенкендорфу с просьбой исходатайствовать у Николая I повеление "о возвращении" его "воспитанника". Судя по сетованиям Ивана Алексеевича на неполучение "никакова отзыва", можно полагать, что это прошение было послано им еще несколькими неделями ранее, скорее всего, не позднее середины апреля, ибо рассчитывать на скорый ответ по столь непростому делу, требовавшему, к тому же, обращения лично к императору, Иван Алексеевич, естественно, не мог. До сих пор, однако, его усилия воздействовать на шефа жандармов относились исследователями лишь к лету 1836 г., связываясь с письмом Ф.А. Гильтебрандта к Н.Ф. Арнду от 17 июня и августовской запиской самого Ивана Алексеевича к Бенкендорфу, о которых мы еще скажем далее (*Л* I, 332, 276)[37].

Таким образом, датируемое не позднее середины апреля 1836 г. прошение на имя шефа жандармов надо, видимо, считать вообще первым обращением Яковлева в правительственные инстанции по вопросу об освобождении Герцена из вятской ссылки, обращением – еще раз подчеркнем это – его биографам неизвестным и в "Летописи" его жизни и творчества не зафиксированным. Не лишне в данной связи отметить, что в хранящемся в архиве III Отделения обширном деле, где сосредоточена вся переписка о Герцене со времени ссылки до 1870-х годов, в том числе и поступавшие сюда документы на имя Бенкендорфа, апрельское прошение Яковлева отсутствует[38]. Следовательно, упоминание о нем в комментируемом письме от 18 мая 1836 г. представляет собой единственно дошедшее до нас достоверное свидетельство на этот счет.

В письмах к Н.А. Захарьиной от 29 апреля и 12 мая 1836 г. Герцен сообщал, что к концу мая "решится важный вопрос, можно ли надеяться" в этом году "быть в Москве", и даже о



ГЕРЦЕН

Рисунок А.Л. Витберга (итальянский карандаш). Вятка, декабрь 1835 г. Внизу подписи художника: "В(итберг)"; "Вятка 1835"

Портрет был сделан для И.А. Яковлева и отправлен ему в начале января 1836 г.

Оригинал утрачен. Воспроизводится по фотокопии (*Институт русской литературы РАН, С.-Петербург*)

"Витберг смотрел не ⟨на⟩ одно лицо – он смотрел и на душу, он знает ее, и потому мой портрет оживлен" (Герцен – Н.А. Захарьиной. 12 февраля 1836 г.)

том, не удастся ли вернуться туда "через месяц или два" (XXI, 77–78). Лемке усматривал в этих надеждах отражение якобы дошедших до Герцена сведений о письме Гильтебрандта к Арндту от 17 июня 1836 г. Известнейший московский врач, заслуженный профессор Медико-хирургической академии и в то же время – старинный друг семьи Герцена, знавший его с детских лет, явно по наущению Ивана Алексеевича просил влиятельного при дворе лейб-медика уговорить Бенкендорфа содействовать возвращению "сына отцу, больному от горя и забот"[39]. Лемке полагал, что "Герцен знал об этом, вероятно, гораздо раньше, когда такая комбинация только еще созрела среди друзей Яковлева" (*Л* I, 276). Мнение это было повторено и Л.Р. Ланским в комментариях к указанным письмам Герцена в 30-томном Собрании сочинений (XXI, 484). Трудно, однако, допустить, чтобы об этом ходатайстве Гильтебрандта, сама мысль о котором возникла, очевидно, лишь незадолго до его отправления в Петербург 17 июня 1836 г., могло стать известно Герцену за полтора месяца до того. Такое объяснение выглядит натяжкой и малоправдоподобно. Вместе с тем, установленный выше факт обращения Ивана Алексеевича к Бенкендорфу еще не позднее середины апреля вполне проясняет надежды Герцена

на освобождение, столь определенно выразившееся в его письмах к Н.А. Захарьиной от 29 апреля и 12 мая 1836 г.

Смысл письма Ивана Алексеевича к Михайловскому-Данилевскому от 18 мая 1836 г. (помимо общей просьбы помочь в хлопотах за сына) и состоял в том, чтобы выяснить участь этого обращения. Но, поняв из ссылок на отсутствие Бенкендорфа в Петербурге в письмах Михайловского-Данилевского от 26 мая и 8 июня, что ожидать от него хлопот в ближайшее время не приходится, Иван Алексеевич счел необходимым, видимо, в середине июня оказать давление на шефа жандармов через связи с Н.Ф. Арндтом Ф.А. Гильтебрандта, следствием чего и явилось упомянутое выше его письмо от 17 июня.

По прошествии сорока дней, не получая никакого ответа от Бенкендорфа на отправленное ему еще в апреле прошение и не зная, возымели ли какое-нибудь действие переговоры с ним Арндта (см. *Л* I, 276), Иван Алексеевич вновь сносится с Михайловским-Данилевским. 27 июля, посылая Записку о 1812 г., он деликатно напоминает историку о своем деле, надеясь, что тот не упустил уже случая ходатайствовать за него "у графа Бенкендорфа", и поддерживает свою просьбу авторитетным в глазах Михайловского-Данилевского мнением брата – Л.А. Яковлева, который, со своей стороны, испытывает "душевную признательность" к историку за его "попечение" "успокоить" Ивана Алексеевича.

Не ограничившись этим, две недели спустя он вторично обращается к самому Бенкендорфу с прошением, составленным собственноручно, но от третьего лица и в виде сугубо деловой записки, намеренно остраняясь от изъявления каких-либо личных своих чувств к шефу жандармов. Вкратце изложив сущность дела Герцена, Иван Алексеевич далее писал: "Г⟨-н⟩ Яковлев, находясь в преклонных летах и в болезненном состоянии, имел при себе единственным утешением означенного Герцена, а разлучением с ним уже третий год погружен в глубочайшую горесть и, желая при конце своей жизни еще увидеть и благословить воспитанника своего, осмеливается просить монаршего милосердия о дозволении воспитаннику его Герцену возвратится на службу и в родительский дом в Москву"[40].

Лемке считал, что записка Яковлева была передана по назначению в начале августа 1836 г. Датировка эта закреплена и в "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена"[41]. В действительности же записка была представлена Бенкендорфу от 10 до 13 августа – именно в эти дни шеф жандармов, сопровождая Николая I в его поездке по России, находился в Москве[42]. В рапорте же Бенкендорфу от 17 августа 1836 г. начальник 2-го округа Корпуса жандармов С.В. Перфильев, которому эта записка была переслана для заключения о Герцене, упомянул о ней как "поданной здесь в Москве г. Яковлевым"[43]. Рапорт Перфильева, удостоверявший прикосновенность Герцена к "делу о лицах, певших пасквильные песни", 24 августа был доложен Бенкендорфу, и тот распорядился оставить записку без внимания. Потому никакого ответа Ивану Алексеевичу и на это его обращение к шефу жандармов дано не было (*Л* I, 332)[44].

Видимо, весть об августовском ходатайстве Яковлева также дошла до Вятки. Лемке не без оснований именно с ним связывал чаяния Герцена на возвращение в Москву (*Л* I, 332). Об этом он писал Н.А. Захарьиной 29 сентября 1836 г.: "Знаешь ли ты, что опять есть надежды, и надежды большие? Егор Ив⟨анович⟩ может рассказать тебе. Может, гораздо менее году остается до свиданья" (XXI, 102–103).

С середины августа на протяжении более трех месяцев хлопоты Яковлева по делу Герцена не документируются. Но не позднее начала сентября 1836 г. ему стало известно о неудаче усилий повлиять на Бенкендорфа в официально-ведомственном порядке – посредством ходатайств Вятского губернатора К.Я. Тюфяева через Министерство внутренних дел.

Косвенное указание на то, что и эти усилия предпринимались не без участия Ивана Алексеевича, а, скорее всего, по его инициативе (причем параллельно с его же обращениями к Бенкендорфу), заключало в себе не дошедшее до нас письмо Яковлева от 5 июня 1836 г. Содержание письма частично восстанавливается по ответу Михайловского-Данилевского от 8 июня, где он спрашивал: "Точно ли вы уверены, что вятский губернатор относится выгодно о вашем воспитаннике, ибо из вашего письма вижу, что вы говорите гадательно". Но первый известный нам положительный отзыв Тюфяева о Герцене был дан только в его рапорте министру внутренних дел Блудову от 16 июня[45] (*Л* I, 284). Теперь же выясняется, что еще в мае, если еще не раньше, Иван Алексеевич располагал информацией о такого рода действиях вятского губернатора. "Гадательно" же, т.е. предположительно, с оговорками, он писал Михайловскому-Данилевскому, думается, потому, что его осведомленность имела неофициальный характер и он не считал нужным сообщать что-либо такое, из чего могли быть заподозрены его источники.

Подтверждением этому служит цитировавшееся письмо Гильтебрандта от 17 июня. Явно со слов самого Ивана Алексеевича, но уже не "гадательно", а вполне уверенно, как о реальном факте, Гильтебрандт писал, что вятский губернатор "время от времени дает сведения

о ⟨...⟩ поведении" Герцена "графу Бенкендорфу" и, беспокоясь, как бы "многое" из них не прошло мимо графа, просил Арндта обратить "большее внимание его на эти сведения" (*Л* I, 276). (Заметим попутно, что в упомянутом выше архивном деле III Отделения о Герцене донесения Тюфяева Бенкендорфу с благоприятными его аттестациями также отсутствуют.)

Перед нами несомненные следы завязавшихся еще с весны 1836 г. связей Яковлева с вятским губернатором, которого он, вероятно, побуждал к активным действиям в пользу своего "воспитанника" – и через обширный круг влиятельных знакомых, как предполагает Л.Р. Ланский в комментариях к письмам Герцена в 30-томном Собрании сочинений (XXI, 486), и лично от себя. В рукописных заметках 1861 г. о роде Яковлева П.И. Бартенев, много общавшийся с его родными, друзьями и видевшийся к тому времени уже с самим Герценом, указывал, что Иван Алексеевич "писал за сына два письма" к Бенкендорфу, "не полу⟨чил⟩ ответа, и ⟨...⟩ к самому Тюфяеву"[46].

Очевидно, в прямую связь с этим давлением на вятского губернатора следует поставить и стремление Ивана Алексеевича привлечь к своим хлопотам министра внутренних дел Блудова – именно к нему должны были, в первую очередь, поступать донесения Тюфяева о Герцене. В том же не дошедшем до нас его письме от 5 июня 1836 г. он просил Михайловского-Данилевского переговорить об этом с Блудовым, повторив ту же просьбу и в письме от 27 июля. Из "Былого и дум" мы узнаем, что Иван Алексеевич пытался заручиться его поддержкой и при помощи О.А. Жеребцовой: "Батюшка ваш, – рассказывала она позднее Герцену, – писал ко мне, когда вас послали в Вятку, я пробовала говорить с Блудовым" (IX, 67).

Достаточно вчитаться в текст рапорта Тюфяева Блудову от 16 июня, чтобы отпало всякое подозрение в том, что этот тонко и осмотрительно составленный документ мог явиться плодом собственного творчества вятского губернатора – невежественного самодура, типичнейшего порождения чиновничье-бюрократического режима николаевской эпохи, "восточного сатрапа" и "ученика Аракчеева", как характеризовал его Герцен (VIII, 236, 241). И сама цель ходатайства ("разрешить Герцену службу в Москве, где ближайшие его родственники, поруча его особенному их надзору, или в Санкт-Петербурге, где при его образованности он особенно может быть полезен") и его мотивировка ("круг служебных действий здесь в губернии совершенно не соответствует обширности его познаний, и таланты его останутся без необходимого для них развития" – *Л* I, 284), бесспорно, были подсказаны, внушены Тюфяеву какими-то очень авторитетными людьми, с настояниями которых он не мог не посчитаться, а за ними легко угадывается сам Яковлев.

Слишком уж разительно, местами даже текстуально перекликается тюфяевский рапорт о том, что писал он в разные адреса, в том числе, как мы помним, Михайловскому-Данилевскому и Бенкендорфу, обосновывая свои просьбы о возвращении Герцена из Вятской ссылки.

Блудов, получив рапорт Тюфяева, поддержал его ходатайство перед Бенкендорфом. Последний, однако, 20 июля – еще за месяц с лишним до распоряжения оставить без внимания августовскую записку Яковлева – отказался войти с представлением к Николаю I о переводе Герцена в Москву или Петербург[47]. Известие об этом отказе, несомненно, отразилось в его письме к Н.А. Захарьиной от 14 августа: "Наша разлука продолжится еще долго. Ответ пришел и отрезал мечты на скорое свидание" (XXI, 91, 489). Дойдя до Москвы 30 августа, письмо это явилось для Ивана Алексеевича новым ударом.

Итак, осенью 1836 г. перед ним, быть может, впервые за все время хлопот, воочию раскрылась позиция Бенкендорфа. Если прежде, не имея от него ответов на свои прошения, он мог о ней догадываться и еще на что-то надеяться, то ныне она определилась с не допускающей никаких сомнений ясностью.

Только при учете безуспешности попыток добиться расположения шефа жандармов, – а от этого во многом зависела возможность самой апелляции к Николаю I, – становится понятным, почему 23 ноября Иван Алексеевич еще раз обратился с письмом к Михайловскому-Данилевскому. Чтоб оценить меру морального напряжения, какого стоил ему этот шаг, надо вернуться немного к истории их отношений.

21 августа, в благодарность за присылку Записки о 1812 г. Михайловский-Данилевский не скупился на обещания сделать все, что в его силах, для Яковлева. Но в течение последующих трех месяцев он не удостоил его ни одним письмом, словно позабыв о прежних посулах, – и это обескураживало прежде всего вопиющим отступлением от принятых в кругу Ивана Алексеевича светских приличий, неукоснительное соблюдение которых составляло, по словам Герцена, его "нравственную религию" (VIII, 88). Вместе с тем закрадывалось подозрение: не уклоняется ли Михайловский-Данилевский вообще от взятых на себя обязательств.

Впрочем, сильнее всего настораживало то объяснение, которое давал он промедлению в своих хлопотах. Еще в письмах от 26 мая и 8 июня он связывал его с отъездом Бенкендорфа в ревельское имение, а Блудова – на загородную дачу. Тогда – весной и в начале лета – Иван

Алексеевич мог бы этому поверить. Но 21 августа Михайловский-Данилевский в выспренно-патетических тонах снова повторил эту версию, заверяя, что примется за дело, "как только возвратятся с дач, что, вероятно, скоро последует. Осенние ветры, холодные дожди, беспрестанно бушующие, конечно, в непродолжительном времени принудят оставить загородные домы" и т.д. Выходило, что шеф жандармов и министр внутренних дел все лето, с мая по август, провели безвыездно на отдыхе, вне столицы.

Что касается Бенкендорфа, то из его воспоминаний следует, что в июне он был в Петербурге, в июле присутствовал на смотре Николаем I Балтийского флота, в начале же десятых чисел августа посетил, как уже отмечалось, Москву[48], о чем Яковлев, подавший ему здесь свою записку и, возможно, встречавшийся с ним лично, прекрасно знал. У Ивана Алексеевича, следовательно, не могло быть и тени сомнения в том, что почтенный историк и высокопоставленный генерал беззастенчиво вводит его – старого, убитого горем человека – в заблуждение. На что рассчитывал Михайловский-Данилевский, идя на такой явный обман, мы, наверное, никогда не узнаем. Но Ивану Алексеевичу, наделенному обостренным самолюбием и высоко развитыми понятиями о дворянской чести, это нанесло глубокое оскорбление. И все же, насколько оказалось в его силах, он сумел этим оскорблением пренебречь. Ибо в тот момент, когда казались исчерпанными все средства давления на верховную власть, Михайловский-Данилевский с его правительственными связями представлялся ему, видимо, единственной опорой в хлопотах за сына.

Свое письмо от 23 ноября Иван Алексеевич начинает с учтивой, но на фоне всего происшедшего исполненной злой иронии благодарности за столь "охотно" принятое им "на себя ходатайство" за его "воспитанника", и далее переходит без лишних слов к другому занимающему его ныне делу. Он полон желания представить на "благоусмотрение" государя императора доставшиеся "по наследству после покойного дяди", генерал-поручика М.А. Яковлева "два портфеля" с именными повелениями Екатерины II. Сознавая историческое значение этих важных государственных бумаг, подлежащих "вечному и надежному сохранению", и полагая, что "приличнее всего" доставить их не к кому другому, как только к графу Бенкендорфу, Иван Алексеевич и просил Михайловского-Данилевского получить у него на то предварительное согласие, поскольку без оного писать к Бенфендорфу не считает для себя возможным, "зная из опыта, – и здесь Иван Алексеевич не мог уже удержаться от язвительного выпада в адрес самого шефа жандармов, – что его сиятелство, по многочисленным занятиям ⟨...⟩ не имеет времени уведомлять нас о получении наших писем".

Нельзя не увидеть в этом обращении некоей тактической уловки, рассчитанной на то, чтобы с новой, неожиданной стороны, привлечь к себе внимание Бенкендорфа, а через него – и самого царя, и за свою готовность передать столь ценные для правящей династии исторические реликвии, склонить его в свою пользу, заслужив, быть может, и благорасположение к сыну.

Надо сказать, что Михаил Александрович Яковлев, родной брат отца Ивана Алексеевича, занимавший в царствования Елизаветы и Екатерины II видные придворные и военные посты, ближайший фаворит П.И. Шувалова – умер в 1768 г., и его имущество перешло к детям – Николаю и Екатерине. Когда же оба они скончались в 1810 г., Ивану Алексеевичу с братьями и досталось "по наследству" все то, что оставалось от М.А. Яковлева, включая, надо думать, и его бумаги с "двумя портфелями" именных повелений Екатерины II[49]. Но на протяжении четверти века Иван Алексеевич держал эти "портфели", которыми, безусловно, дорожил как семейным раритетом, в своем архиве, и не помышляя о передаче их на "вечное сохранение" в более надежное место, и только в трудную пору ссылки Герцена решил пустить их в ход.

О том, что эта его попытка имела своей преимущественной целью облегчение участи Герцена, знал еще П.И. Бартенев. Упомянув, что у братьев Яковлевых был "дядя, генерал-майор, близкий ко двору Екатерины", он отметил, что "Ив⟨ан⟩ Алекс⟨еевич⟩ два портфеля ее писем к нему представил гр⟨афу⟩ Бенкендорфу в умилостивление за Алекс⟨андра⟩ Ивановича"[50]. Но всезнающий издатель "Русского архива" в данном случае ошибался.

Забегая немного вперед, укажем, что 6 февраля 1837 г. Михайловский-Данилевский писал Яковлеву, что еще в конце декабря 1836 г. известил его о согласии Бенкендорфа взять на себя труд "поднести" Николаю "бумаги дяди". Но, убедившись со временем, что готовность пожертвовать их правительству никак не влияет на изменение его отношения к делу Герцена. Иван Алексеевич, по всей видимости, так и не переслал этих "портфелей" шефу жандармов и продолжал хранить их у себя дома. Во всяком случае, по свидетельству известного коллекционера и археографа А.А. Титова, в 1881 г. они были приобретены им у "одного из наследников Яковлева"[51], – вероятно, у Егора Ивановича Герцена, в последние годы жизни вконец разорившегося и распродававшего семейные вещи и старинные бумаги яковлевского архива[52].

В том же письме от 23 ноября 1836 г. бросается в глаза сообщение Ивана Алексеевича о собирании его "воспитанником" для специальной записки сведений о происшествиях 1812 г. в Вятской губернии. И это было, видимо, своего рода тактической уловкой – попыткой вызвать у Михайловского-Данилевского уже личную заинтересованность в Герцене, а тем самым и дополнительный стимул к хлопотам за него. Такого рода записки, по местным архивам и опросам очевидцев, составлялись в 1830-х годах, согласно циркулярным письмам историка, в каждой губернии и очень ценились им как источник для описания Отечественной войны. Между тем о причастности Герцена к собиранию исторических материалов о 1812 г. какие-либо данные в литературе отсутствуют, не отмечен этот факт и в "Летописи" его жизни и творчества.

С момента отправления письма от 23 ноября прошло еще более двух месяцев, но никакого ответа от Михайловского-Данилевского не пришло. И вот 1 февраля 1837 г., совсем, видимо, отчаявшись в благоприятном исходе хлопот, Иван Алексеевич снова пишет ему письмо.

Выдержанное в официальных тонах, оно сухо напоминает историку о всех прежних обещаниях выполнить обращенные к нему просьбы и прежде всего вступить в переговоры с Бенкендорфом и Блудовым, "коль скоро первой возвратится из Лифляндских своих деревень, а второй – с дачи в город, что, вероятно, – не без основания и не без сарказма замечает Иван Алексеевич, – и воспоследовало еще в прошлом же году". С еле сдерживаемым негодованием бросает он Михайловскому-Данилевскому резкий упрек, смешанный с тенью еще некоторой надежды на то, что тот "не на одних словах, но и на самом деле", докажет свою готовность пойти навстречу просьбам Ивана Алексеевича. Но сквозь эти инвективы прорывается исторгнутый из недр души голос: "Скоро три года, что я разлучен с воспитанником моим (...) Вы сами отец. Взойдите в мое положение как христианин, вы тогда найдете в душе своей, чем меня оправдать".

Примечательно, что этому последнему письму (как и самому первому обращению Ивана Алексеевича к Михайловскому-Данилевскому 18 мая 1836 г.) предшествовала еще одна попытка воздействовать на Бенкендорфа. За несколько дней до того – 22 января 1837 г. – в его канцелярию поступила памятная записка, написанная по просьбе друзей Ивана Алексеевича и от его имени каким-то близким к III Отделению лицом, с повторной просьбой испросить высочайшее дозволение на пересмотр дела Герцена и возвращение его в Москву (*Л* I, 393)[53]. Не исключено, что с намерением Ивана Алексеевича подкрепить это новое свое ходатайство перед Бенкендорфом и было связано его письмо к Михайловскому-Данилевскому от 1 февраля.

"Вчера получил я письма, в которых мне дают более нежели надежды на скорое возвращение. Я ожил", – писал Герцен 24 февраля 1837 г. Н.А. Захарьиной. М.К. Лемке, а вслед за ним и Л.Р. Ланский (*Л* I, 393; XXI, 145, 510–511) считали, что оно было навеяно известием о памятной записке Бенкендорфу от 22 января. Но с не меньшим основанием можно предположить, что здесь имелось в виду и новое обращение Яковлева к Михайловскому-Данилевскому с письмом от 1 февраля, о чем Герцену также могли сообщить родные в Вятку.

На него последовал краткий и холодно-вежливый ответ от 6 февраля, сохранившийся лишь в черновом автографе. Не скрывая раздражения, Михайловский-Данилевский отводил все упреки Яковлева и заявлял, что и раньше исправно отвечал на все его письма, но сослался при этом только на затерянное будто бы в московском почтамте письмо от 29 декабря 1836 г. с известием о своем разговоре с Бенкендорфом по поводу повелений Екатерины II М.А. Яковлеву, главный же предмет просьб Ивана Алексеевича – освобождение Герцена из ссылки – удивительным образом обошел здесь полным молчанием. Правда, в самом конце черновика Михайловский-Данилевский небрежно, вскользь упомянул о том, что 29 декабря писал, "помнится, и о вашем воспитаннике". Но слова эти были затем зачеркнуты и в окончательном тексте письма от 6 февраля, отосланном Ивану Алексеевичу, о столь волнующем его деле ничего сказано не было. Иначе, отвечая историку 15 февраля, он не отметил бы, что "о действии вашем" по этому делу "я и по сейчас не имел от вас ни единого слова".

Письмо И.А. Яковлева от 15 февраля – последний аккорд в этой растянувшейся на девять месяцев и исполненной острого драматизма переписке. Оно и сейчас производит гнетущее впечатление. Встревоженный раздраженной реакцией Михайловского-Данилевского на свои упреки, более всего опасаясь, как бы это вообще не сказалось худым образом на дальнейших хлопотах за сына, Иван Алексеевич в унизительных тонах расточает благодарности и просит историка сохранить к себе "прежнее благорасположение", "доброе" мнение и т.д. Всю жизнь свято оберегавший принципы гордой независимости в обращении с людьми, никогда ни перед кем не заискивавший, он вынужден приносить извинения человеку, к которому после всего случившегося не мог не испытывать величайшего презрения и на содействие которого теперь вряд ли рассчитывал. Мы не знаем, что ответил ему Михайловский-Данилевский в несохранившемся письме от 19 февраля, но к весне 1837 г. для Ивана Алексеевича это уже не имело, надо полагать, никакого значения.

Как известно, благодаря просьбам В.А. Жуковского и К.И. Арсеньева, посетивших в мае 1837 г. Вятку в свите великого князя Александра Николаевича, удалось добиться его вмешательства в дело Герцена, и оно, наконец, сдвинулось с мертвой точки. "Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург", – пишет Герцен в "Былом и думах"; в результате и последовало повеление Николая I о его переводе во Владимир (VIII, 294). Но и здесь угадывается незримое присутствие Яковлева.

Жуковский, давший первый толчок этому туру хлопот, наверное, не случайно обратил внимание на Герцена при встрече с ним 18 и 19 мая 1837 г. в Вятке (см. XXI, 170). Среди добрых знакомых Ивана Алексеевича и самого Герцена было немало людей, тесно связанных с поэтом – воспитателем наследника (например, И.И. Дмитриев, М.А. Салтыков), и вполне вероятно, что они заблаговременно, еще в марте–апреле могли просить Жуковского о ходатайстве за сына Яковлева. Вопрос о подоплеке заступничества Жуковского за Герцена не освещался в литературе, но сама постановка его представляется в данном случае правомерной, хотя и нуждается в дополнительной аргументации.

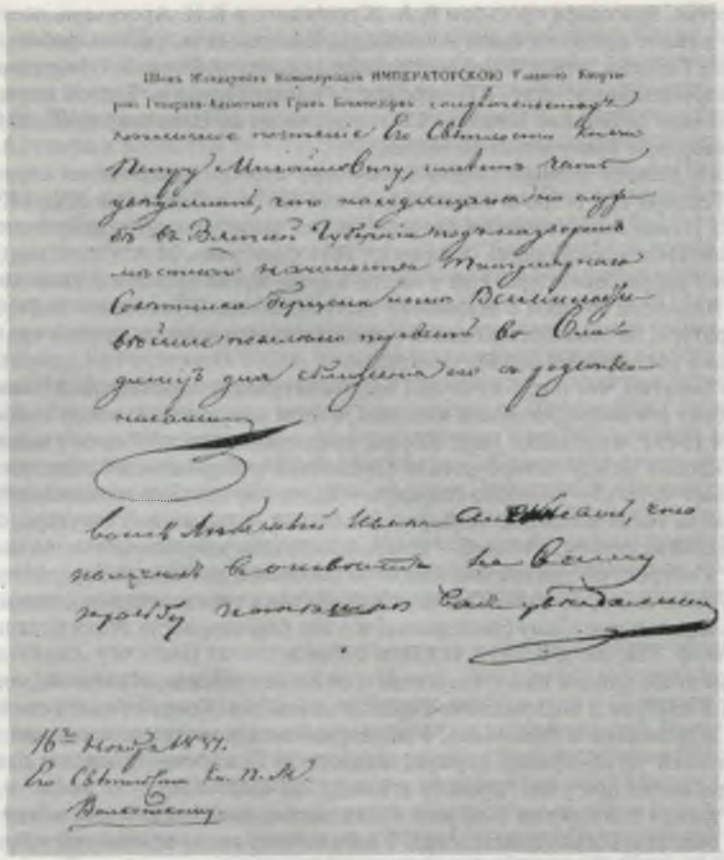
Отметим попутно, что после отъезда Герцена за границу злопамятный Николай I не простил Жуковскому его посреднической миссии. Об этом мы узнаем из неопубликованной записи от 1 ноября 1849 г. в дневнике М.А. Корфа, предложившего за обедом у императора наладить обмен книгами между петербургской Публичной и Парижской библиотеками: "Да кто же их там станет читать? – возразил государь. – Разве эти канальи, наши изменники и беглецы: благодарю за таких подлецов. A propos de канальи, – продолжал государь, обращая этот разговор, бывший за столом, в общий, – теперь в Лейпциге завелись опять два мошенника, которые пишут и интригуют против нас: какой-то Сазонов и известный Герцен, последний был уже у нас в руках и сидел; но merci à Mr Жуковской ⟨так в тексте, видимо, описка. – *А.Т.*⟩, употребили тут в ходатайство Сашу ⟨наследника⟩ и – вот благодарность этого подлеца за помилование!" (*ГАРФ*, ф. 728, оп. 1, д. 1817, т. XII, л. 277об.).

На данном этапе хлопот Иван Алексеевич, со своей стороны, обратился, видимо, с новым ходатайством к властям о возвращении Герцена из ссылки. Когда летом, в связи с негласными усилиями Жуковского и Арсеньева, в жандармском ведомстве возникла по этому поводу переписка, вятский штаб-офицер корпуса жандармов Замятнин отзывался благоприятно о Герцене, поддерживая при этом "просьбу его отца" (*Л* I, 437–438).

С точки зрения психологии и нравов эпохи весьма любопытно, как повел себя во всей этой истории Михайловский-Данилевский. Уже с начала своих отношений с Яковлевым весной 1836 г. он грубо и обнаженно обусловил свое согласие хлопотать за Герцена получением Записки о 1812 г. Михайловский-Данилевский буквально вымогал ее у Ивана Алексеевича, заявив ему в письме от 8 июня с беспримерным для эпистолярного этикета и норм взаимоотношений в дворянской среде того времени цинизмом: "Чем скорее изволите доставить мне обещанное, тем скорее и я примусь с моей стороны действовать по вашему поручению". До получения Записки он всячески оттягивал под ложными предлогами свои хлопоты, но вскоре после того, как она оказалась у него в руках, потерял всякий интерес к делу Ивана Алексеевича, перестал вообще писать ему, в течение пяти месяцев не отозвался ни на одну из его просьб, так ничего и не сделав для выполнения своих обещаний.

Не менее ярко вырисовывается из переписки и линия поведения самого Яковлева с его неукротимым стремлением вызволить сына из ссылки. Он выказал редкую для своих преклонных лет и расстроенного здоровья энергию и настойчивость, действовал с широким размахом, последовательно и предприимчиво в поисках прямых и обходных путей влияния на императора и, в конце концов, как мы видели, отчасти добился своего.

Помимо личных обращений к Бенкендорфу и Тюфяеву, попыток давления на них и на Блудова через Михайловского-Данилевского, Гильтебрандта, Жеребцову, Иван Алексеевич вовлек в хлопоты многих своих друзей и близких. Еще в декабре 1834 г. он писал К.Г. Стаалю о "живом участии", "какое ⟨...⟩ берут" в его положении "не только родные, но некоторые и из знакомых" (*Л* XII, 355). Само собой разумеется, что после отправления Герцена в ссылку круг их еще более расширился, хотя и не может быть сейчас выявлен в полном объеме. Но из свидетельств П.И. Бартенева мы узнаем, например, что Яковлев обращался по этому же вопросу с письмами и к С.М. Голицыну, и к Н.Б. Юсупову, и к жандармскому генералу П.И. Апраксину, и к старому своему приятелю-однополчанину, министру императорского двора Волконскому[54]. Факт обращения Ивана Алексеевича к последнему подтверждается, между прочим, и документально. В той части яковлевского архива, которая осела в Международном институте социальных исследований в Амстердаме, сохранилось отношение А.Х. Бенкендорфа от 16 ноября 1837 г. к П.М. Волконскому – несколько запоздалый отклик на его запрос об участи Герцена, к тому времени благодаря хлопотам В.А. Жуковского уже решенной. Шеф жандармов извещал Волконского, что "находящегося на службе в Вятской губернии под надзором



УВЕДОМЛЕНИЕ ШЕФА ЖАНДАРМОВ А.Х. БЕНКЕНДОРФА
МИНИСТРУ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА КНЯЗЮ П.В. ВОЛКОНСКОМУ
О ПЕРЕВОДЕ ГЕРЦЕНА ВО ВЛАДИМИР

16 ноября 1837 г. Внизу приписка П.М. Волконского: "вот любезный Иван Алексеевич, что получин (!) в ответ на вашу прозьбу поспешаю вас уведомить"

Международный институт социальной истории, Амстердам

местного начальства титулярного советника Герцена ныне всемилостивейше повелено перевесть во Владимир для сближения его с родственниками". Чуть же ниже – приписка самого П.М. Волконского, адресованная Яковлеву: "вот любезный Иван Алексеевич, что получин в ответ на вашу прозьбу поспешаю вас уведомить".

Замечательно, что во всех своих хлопотах он неизменно стоял на позиции непризнания вины Герцена, осужденного не за уголовно наказуемое деяние, а "по одному образу мыслей" (*Л* XII, 357).

В не дошедшем до нас письме от 5 июня 1836 г., говоря о проступках своего "воспитанника", Иван Алексеевич определял их словом "шалости" (в ответном письме от 8 июня Михайловский-Данилевский просит его объяснить, "в чем состояла шалость г. Герцена"). Сам этот термин в устах Яковлева весьма характерен и далеко не случаен. Московский генерал-губернатор Д.В. Голицын, не склонный к раздуванию дела "о лицах, певших пасквильные песни", и на первых порах пытавшийся смягчить вину арестованных ссылками на "нетрезвое состояние", считал их тоже лишь "замешанными в шалостях"[55]. Рассказывая в "Былом и думах" о вольных формах времяпрепровождения в университетские годы, о дружеских пирушках, веселых застольях, молодом разгуле, и Герцен писал обо всем этом как о "шалостях" (VIII, 152, 158–159). Очевидно, это слово было принято в повседневном обиходе дома Яковлева и в его московском аристократическом окружении. Именно в таком или близком к нему смысле употребил его Иван Алексеевич и в письме к Михайловскому-Данилевскому, подчеркивая невинный в политическом смысле характер поведения Герцена, не заслужившего столь суровой кары.

И свое убеждение в юридической несостоятельности этой кары он отстаивал решительно и непреклонно, невзирая даже на то, что это могло сильно ухудшить шансы на освобождение Герцена. О "*невиновности*" сына Иван Алексеевич писал еще Стаалю в декабре 1834 г. – после полугодового пребывания Герцена под арестом, когда исход следствия уже достаточно определился (*Л* XII, 335). "*Неизвестно мне*, почему воспитанник мой был от меня удален", ибо "не изобличен в каком-либо предосудительном действии", – отмечал он 18 мая 1836 г., в первом же письме к Михайловскому-Данилевскому. И в феврале 1837 г. жаловался ему же на разлуку с сыном, "*не ведая на то причины*". Более того, о несправедливости понесенного Герценом наказания Иван Алексеевич не побоялся заявить и самому Бенкендорфу, заметив в агустовской записке 1836 г., что его "воспитанник (...) Александр Герцен *неизвестно почему*, но уже третий год, как взят из родительского дома" (*Л* I, 332. Курсив мой. – *А.Т.*). Тем самым Яковлев открыто выразил свое неприятие приговора, вынесенного – и это ни для кого не было секретом – по прямому повелению Николая I.

В части, касающейся хлопот за Герцена, переписка служит, как мы видим, ценным дополнением к выписанному в "Былом и думах" образу старика Яковлева. Она углубляет этот образ неповторимо красочными подробностями житейского поведения Ивана Алексеевича с его привычками, гибким умом, прикрытым чудачествами и напускной мнительностью, с его убийственно язвительной иронией, которой он владел, как пишет Герцен, "артистически" (VIII, 90). Она передает, наконец, сам стиль его мышления, воплотившийся в своеобычном языке писем, где слышатся отзвуки его живой разговорной речи с простодушной интонацией, несколько старинным, архаичным слогом, перемежающимся светско-изысканными французскими оборотами.

Но в то же время переписка проливает свет на известную односторонность в изображении Герценом своего отца, позволяет лучше понять, что он бывал иногда к нему пристрастен и не во всем справедлив. В связи с тем участием, какое, как теперь выясняется, Яковлев, бесконечно любивший Герцена, принял после ареста в его судьбе, не представляется уже большого труда увидеть, сколь неверно и утверждение Герцена о том, что Иван Алексеевич "сам ни для кого ничего не делал" и никогда "не обращался" к кому-либо "с значительной просьбой" (VIII, 88). Речь идет, однако, не только о событийно-биографической стороне жизни Яковлева, но и о некоторых неточных акцентах в освещении Герценом его душевно-нравственных свойств. В этом смысле переписка новыми резкими штрихами высветляет облик Яковлева, и из нее, пожалуй, впервые с такой отчетливостью предстают стоические черты его характера, цельность и духовная сила его личности, по всему складу своих воззрений, культуры, воспитания принадлежавшей к "удивительному кряжу" людей XVIII в.

"БЫЛОЕ И ДУМЫ" И ЗАПИСКА ЯКОВЛЕВА О 1812 ГОДЕ

Теперь надлежит посмотреть на переписку под углом зрения происхождения Записки Яковлева, полученной Михайловским-Данилевским летом 1836 г. "Собственноручный" ее текст, написанный по-французски, и поныне хранится в собранной историком коллекции материалов о 1812 г. в Военно-Ученом архиве[56]. Но предварительно несколько слов о судьбе Записки в исторической литературе.

Бесчестно пренебрегая личными просьбами Ивана Алексеевича, Михайловский-Данилевский, тем не менее, оценил по достоинству его мемуарный рассказ. В выпущенной по "высочайшему повелению" в 1839 г. – в самый разгар официальных торжеств по поводу юбилея 1812 г. – истории Отечественной войны, в описании попыток Наполеона завязать в Москве мирные переговоры с русскими, он использовал его в качестве одного из важнейших источников. Содержание Записки было воспроизведено здесь с возможной полнотой в виде пространных цитат или подробного пересказа, причем впервые названо имя "отставного гвардии капитана Яковлева" как главного участника этих событий и дана ссылка на сам текст Записки[57]. Таким образом, уже вскоре после своего составления она вошла в историографический оборот.

Так же полно, с опорой на рукописный ее подлинник, Записка была использована и в другом фундаментальном труде о 1812 г., вышедшем уже в пору общественного подъема на рубеже 1850–1860-х годов, – в "Истории Отечественной войны" М.И. Богдановича[58].

Прошло еще полтора десятилетия – и Записка Яковлева снова всплыла на поверхность.

В апрельской книжке "Русского архива" 1874 г. появилась сенсационно озаглавленная статья двоюродного племянника Герцена – Д.Д. Голохвастова "Правда и вымысел". "Конституционалист и аристократ" (по выражению И.С. Аксакова), земский деятель либерально-консервативного толка, близкий к московскому кружку славянофилов, выступивший в 1865 г. с нашумевшей речью о введении олигархической дворянской конституции, за что и поплатился

пожизненной опалой[59], Голохвастов подверг в этой статье разносной критике начальные главы воспоминаний Т.П. Пассек, еще в декабре 1872 г. и феврале–марте 1873 г. напечатанные в "Русской старине".

Напомним, что Пассек посвятила их, по совету М.И. Семевского, популяризации творчества и биографии Герцена, сведения о которых были тогда в России фактически запретными. Она насытила свой труд множеством мемуарных и эпистолярных материалов, связанных со средой Герцена, его собственными произведениями, в том числе и текстами "Былого и дум", публиковавшимися до того лишь за границей[60]. Воскрешение после долгих лет замалчивания облика Герцена и его подлинного слова, овеянных революционным ореолом, более всего, очевидно, и вызвало критические нападки Голохвастова.

Прежде всего он публично отмежевывался от Пассек и ее "близких" как от своих родственников и на первой же странице статьи поспешил заявить, что семья Голохвастовых уже четверть века не имеет с ними "никаких отношений"[61]. Основываясь на документах семейного архива, Голохвастов уличал Пассек в фактических ошибках при освещении взаимоотношений братьев Яковлевых и старших Голохвастовых в связи с разделом родового имущества, обвиняя мемуаристку в оскорблении чести их общих предков, но главный удар своей критики направил на описание ею московских событий 1812 г. и встречи Яковлева с Наполеоном. Отказывая воспоминаниям Пассек в каком-либо правдоподобии, объявляя их сплошной выдумкой, передающей сомнительные анекдоты и слышанные в детстве рассказы "нянек", Голохвастов столь же пренебрежительно оценивал и "Былое и думы", "которыми она в такой значительной степени воспользовалась" в описании этих событий: это "роман", а "не повествование о действительно случившемся", где "много вымысла и мало правды"[62].

Выступление Голохвастова не было лишь актом защиты личных амбиций и фамильной чести. Сея у читающей публики сомнения в исторической достоверности воспоминаний Пассек и "Былого и дум", его статья была направлена на дискредитацию личности Герцена, смыкаясь в тех условиях с правительственными гонениями на литературное наследие великого писателя и революционера. Тем более, что выходу статьи непосредственно предшествовали новые цензурные преследования – как раз в марте 1874 г. начальник Главного управления цензуры М.Н. Лонгинов запретил публиковать в "Русской старине" продолжение воспоминаний Пассек, "возбуждавших симпатии к Герцену". Сама она в письме к Огареву от 19 июня 1874 г. высказала даже подозрение в том, что статья "Правда и вымысел" была прямо инспирирована реакционными кругами, "натравившими" на нее Голохвастова. А.Н. Дубовиков считал, что, хотя "документальным подтверждением этого мы не располагаем", нет оснований и отводить мнение Пассек[63].

Неопубликованный дневник Голохвастова за 1874 г., где зафиксирован весь ход его работы над статьей, не содержит в себе никаких данных, которые позволили бы признать это мнение справедливым.

Записи в дневнике велись с 1 января ежедневно, но до исхода второй декады месяца ничего о занятиях статьей здесь не сказано. Зато мы находим в этих записях небезынтересные сведения о круге чтения Голохвастова, о его литературно-общественных связях в Москве. Так, 15 января он отмечает посещение на Девичьем поле фабрики С.В. Ганешина, где на заседании Московского комитета грамотности Л.Н. Толстой выступил в защиту своего метода обучения (Толстой был хорошо знаком с Голохвастовым, как и с братом его Павлом Дмитриевичем)[64]. Наконец, 19 января появляется первая заметка о составлении "возражений на воспоминания г-жи Пассек" – этим днем, видимо, и следует датировать начало работы над статьей. Но тогда еще возобновление публикации в "Русской старине" воспоминаний Пассек казалось вполне беспрепятственным и ни о каком "натравливании" на нее Голохвастова речи идти не могло. В записях за последующие дни января отмечено продолжение его занятий статьей. Завершил он ее 8 февраля, а на следующий день "прочел брату замечания на воспоминания г-жи Пассек, ему понравились". Совершенно очевидно, что эти "замечания" Голохвастов составлял по собственному почину, извне никем не побуждаемый; 14 февраля, после переписки их набело, поехал к П.И. Бартеневу, "которому прочел свой ответ г⟨-же⟩ Пассек, он с большой охотой взял напечатать в апрельской книжке Архива"[65]. Из этих записей складывается впечатление, что и П.И. Бартенев до окончания Голохвастовым статьи ничего о ней не знал и тем паче предварительно ее не заказывал, а познакомился с ней впервые 14 февраля, тут же предложив поместить в ближайшем номере журнала.

Но оттого, что статья Голохвастова возникла по его личному замыслу и не была связана с чьей-либо официозной инициативой, не меняется ее объективное значение реакционного по своей политической сущности выпада против Герцена и пропагандистки его творчества в России – Пассек.

Для того, чтобы документально обосновать главный пункт критических выпадов в ее ад-

рес, Голохвастов и опубликовал в составе статьи "Правда и вымысел", со ссылкой на свой семейный архив, полный текст Записки Яковлева о свидании с Наполеоном (на языке оригинала и в русском переводе)[66], полагая, что она сильнее, чем что-либо другое, обличает мемуаристку в искажении истины. "Записка эта, – писал он, – имеется у меня в двух экземплярах: один с помарками, писан весь рукою Ивана Алексеевича; другой же писан рукою моего отца, но несколько слов вписаны тоже Иваном Алексеевичем". Отметив чисто редакционный, "литературный" характер разночтений между экземплярами, Голохвастов пояснил, что публикует "первый, очевидно черновой, экземпляр, писанный самим И.А. Яковлевым"[67].

Оба эти экземпляра вместе с выпиской из книги А. Фэна, присланной ему Михайловским-Данилевским, хранятся в фонде Яковлева[68]. Один из них, датированный 27 июля 1836 г. – действительно, его автограф, другой – написан Д.П. Голохвастовым. Однако квалифицированы они были Д.Д. Голохвастовым неверно. На самом деле, рукопись, писанная его отцом (возможно, под диктовку Ивана Алексеевича), представляет собой первоначальный вариант Записки – в нем присутствует ряд текстов (зачин Записки, уточнения и исправления между строк и т.д.), преобразованные и учтенные позднее в автографе Яковлева, который, следовательно, несмотря на свой внешне черновой облик (результат продолжавшейся работы над рукописью), есть не "первый", а окончательный вариант. Переписав его собственноручно набело, Иван Алексеевич и отослал в этом виде Записку Михайловскому-Данилевскому. Их тексты – и тот, что находится в его коллекции, и тот, что хранится в яковлевском архиве, – абсолютно идентичны.

Но из этого напрашивается важный вывод: Голохвастов, считавший, что с сенсационно обличительными намерениями впервые предает гласности Записку Яковлева, не имел, видимо, никакого понятия о том, что она уже давно была введена в общественно-историографический оборот Михайловским-Данилевским (а вслед за ним и Богдановичем) в том самом окончательном ее варианте, который он ошибочно принял за первоначальный. В противном случае Голохвастов не допустил бы такой оплошности в определении соотношения между текстами Записки и непременно сослался бы на труды историков.

Тем не менее его публикация Записки повлияла на историографию Отечественной войны. Все крупные труды о ней последней четверти XIX – начала XX в. в освещении мирных контактов Наполеона с Александром в 1812 г. опирались на текст именно этой публикации[69]. По ней же Записка Яковлева была опубликована и вторично – в XII томе "Полного собрания сочинений и писем А.И. Герцена" М.К. Лемке напечатал полностью ее русский перевод, широко использовав текст Записки при комментировании "Былого и дум" (с. 160–163).

Но после этого Записка Яковлева странным образом стала исчезать из поля зрения герценоведов. В комментариях к первой главе "Былого и дум" в 30-томном Собрании сочинений А.И. Герцена она не только не привлечена, но даже ни разу не упомянута (VIII, 448–449). Не отмечена она и в перечне источников к записи "Свидание И.А. Яковлева с Наполеоном, который поручает ему доставить письмо Александру I" и в "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена", хотя, казалось бы, должна была быть названа здесь в первую очередь[70].

В последние десятилетия Записка Яковлева мало-помалу стала выпадать даже из специальных исследований об Отечественной войне. Так, Е.В. Тарле в известной своей книге "Нашествие Наполеона на Россию", упомянув о попытке Наполеона завязать при посредстве Яковлева мирные переговоры с Александром I, пишет: "Об этой попытке мы знаем из французских источников, из первых страниц герценовского "Былого и дум" и из полного текста письма Наполеона к Александру, отправленного через Яковлева", но о его собственной Записке не говорит ни слова, будто бы она вовсе не существовала[71]. Не учтена она и в разделе "Отечественная война 1812 г." фундаментального библиографического справочника "История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах" (т. II, ч. 1. М., 1977). Забвение в литературе Записки Яковлева и побуждает нас снова привлечь к ней внимание.

Приводим текст "Записки" по русскому переводу с французского, напечатанному в "Русском архиве" (1874, № 4, стлб. 1066–1069), с необходимыми уточнениями и исправлениями.

ЗАПИСКА И.А. ЯКОВЛЕВА

2 сент⟨ября⟩ 1812 г., садясь в карету, чтобы ехать из Москвы, я был настигнут французским отрядом, который отнял у меня моих лошадей и мои экипажи со всем тем, что в оных находилось; это принудило меня остаться в Москве с моим семейством, моею прислугою, с прислугою моих родственников и с сотнею крестьян, их женами, детьми, скотом и со всем их имуществом. Все, в том числе и я, лишились все-

го, вплоть до обуви, и у нас не было еды, а так как дома наши один за другим сгорели, то мы вынуждены были день и ночь скитаться по улицам, без крова; я посоветовался с полковником Мейнадье, начальником Главного штаба, которого случайно встретил, насчет того, как мне выбраться со всеми своими за французские аванпосты; он сказал, чтоб я обратился к м⟨аршал⟩у Мортье, который был тогда губернатором города, и немедленно провел меня к нему. М⟨арша⟩л сказал, что он никак не может дать мне это разрешение без соизволения Н⟨аполеона⟩, которому он, действительно, сказал о том, вследствие чего Н⟨аполеон⟩ приказал привести меня к себе. (Это было 9 сент⟨ября⟩. Его тогдашний секретарь, некий Делорнь-Дидвиль, пришел за мной и провел меня в Кремлевский дворец, в тронную залу, где Н⟨аполеон⟩, по-видимому, ожидал меня; он дал знак Делорню остаться, а сам тотчас подошел ко мне.

После обыкновенного приступа к разговору, он начал жаловаться на московские пожары, говоря: "Это, конечно, не мы поджигали город; ибо я занимал почти все европейские столицы, но не сжег ни одной из них; за всю свою жизнь я сжег только один город, в Италии, и то потому, что там оборонялись на улицах. Как! И вы сами хотите уничтожить Москву, святую Москву, в которой покоится прах всех предков ваших государей". Я отвечал ему по правде, что мне неизвестны виновники этого бедствия, но что мне довелось испытать его в немалой степени, поскольку он видит на мне все мое состояние и весь мой гардероб (что в тот момент было буквально верно, ибо я был весь в лохмотьях и всего лишился). Он продолжал: "А кто у вас в Москве губернатор?" Делорнь сказал ему, что граф Рост⟨опчин⟩. "А что это за человек?" – Я сказал, что это человек, очень известный по уму своему, но он возразил мне: "По уму, может быть, но это бешеный". И продолжал: "Я имел достаточное понятие об этой стране, но, ⟨судя по тому⟩, что я видел, от границы до Москвы, это страна великолепная, повсюду возделанные поля, повсюду поселения, но я нашел одни из них опустелыми, другие – обращенными в пепел, а между тем вы сами губите эту прекрасную страну, и зачем это сделано? Продвигаться вперед это мне не помешало бы. Мне было бы понятно, если бы вы такого рода вещи проделывали в Польше. О, те вполне заслужили это, потому что выходили нам навстречу, чтобы броситься в наши объятья. Надо же положить конец кровопролитию, нам надо прийти к соглашению. Война эта чисто политическая, мне в России делать нечего, я ничего от нее не требую, лишь бы соблюдался Тильзитский трактат, я хочу уйти отсюда, ибо все мои дела в Англии. О! мне бы только взять Лондон, я б его не покинул! Да, я хочу возвратиться. Коль скоро император Александр желает мира, пусть только даст мне знать о том; я пошлю к нему кого-нибудь из моих адъютантов либо Нарбонна, либо Лористона, и мир будет вскоре же заключен; но если он хочет продолжать войну – что ж, мы будем ее продолжать; мои солдаты настоятельно просят меня, чтоб я шел в Петербург, ну что ж, мы туда пойдем, и Петерб⟨ург⟩ испытает участь Москвы". Воспользовавшись моментом, когда он закладывал себе в нос табак, я спросил его, где наша главная армия. Он отвечал мне: "О, ваша главная армия пошла по Рязанской дороге". (Это доказывает, что в тот день ему еще неизвестно было, что она находилась уже на Калужской дороге.) Я задал ему такой же вопрос относительно г⟨енерал⟩а Витгенштейна, и он мне сказал: "Витг⟨енштейн⟩ движется по направлению к Петербургу. Он был совершенно разбит С⟨е⟩н-Сиром". Потом, говоря о нашей армии, он сказал, "Солдат ваш превосходен, у вас есть хорошие офицеры, но офицер ваш не вынес бы того, что выносит наш, ибо наш одинаково хорошо переносит как жар, так и холод, а также всякого рода лишения".

В течение этого долгого разговора он явно хотел передо мною поважничать, часть этого разговора изгладилась из моей памяти, а другая, по моему мнению, не стоит упоминания, так как в ней одновременно было и бахвальство, и по временам даже фанфаронство, как, например, когда он мне говорил, что наши бумажные деньги с каждым днем падают в цене и что мы кончим банкротством; что солдаты его устроили в городе рынки, что они нашли в московских погребах большой запас лучших вин, и прибавил: "Знаете, что, когда мои солдаты сообщат эти новости своим

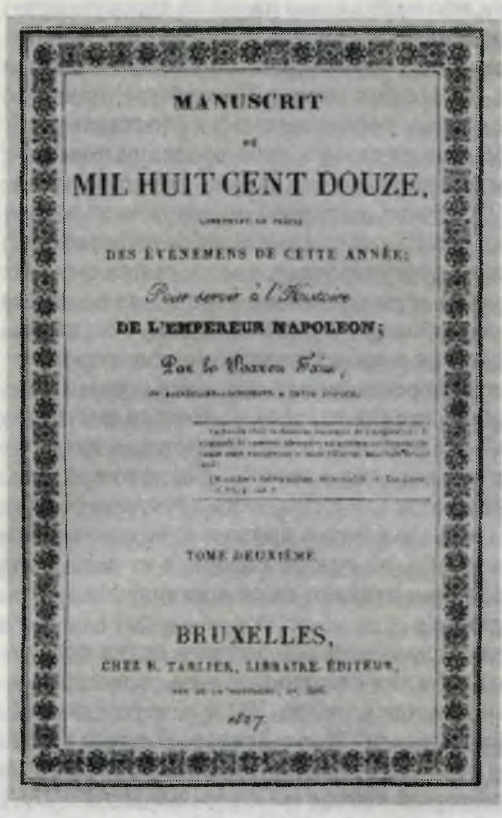
родным, то вы привлечете к себе всю Европу, ибо народ везде падок на даровую приманку". В заключение он сказал, что так как я просился выйти за французские аванпосты, то он ничего против этого не имеет, но при условии, чтобы, проводив всех моих людей в то место, которое я им назначил, сам я отправился в Петерб⟨ург⟩; что император будет рад видеть очевидца-свидетеля всему происходящему в Москве и чтоб я дал ему в этом отчет. Я отвечал, что у меня нет ни какого-либо права, ни положения, чтоб иметь смелость представиться императору, на это он мне ответил, что я могу прибегнуть к посредству гофмаршала Толстого, которого он знает за хорошего человека; что я могу приказать доложить о себе через камер-лакея императора, что, впрочем, поскольку император ежедневно прогуливается, я могу пойти ему навстречу. Но, так как несмотря на мои постоянно отрицательные ответы, он не истощался в средствах, излагая мне множество способов представиться моему государю, я вынужден был сказать ему: "Государь! Теперь я в вашей власти, но я не перестал быть подданным имп⟨ератора⟩ Александра и не перестану быть им, пока в жилах моих будет хоть капля крови. Не требуйте, чтобы я сделал то, чего не должен сметь делать и чего поэтому я не могу вам обещать". На это он сказал: "Хорошо, я напишу императору, я скажу ему, что призывал вас, что говорил с вами"... Он изложил мне содержание письма, которое предполагал мне написать и сущность которого состояла в том, что он желает мира. Под конец он сказал, что я должен отвезти письмо это в Петерб⟨ург⟩, на что я не отвечал ничего, ибо, по правде говоря, я не знал тогда да и теперь знаю это не лучше, вправе ли я был отказаться от доставления этого письма. Он пожелал мне доброго пути, и я вышел.

На другой день он повелел передать мне письмо через Делорня и отдал приказ проводить меня до французских аванпостов; итак, на следующий день, в полдень я вышел из Москвы пешком, в сопровождении человек около 500 и вечером достиг Черной Грязи, где застал полковника (ныне генерала) Иловайского. Я провел там ночь, а на другой день он отправил меня под эскортом казаков до деревни Давыдково, где находился ген⟨ерал⟩ Винценгероде, который тотчас же отправил меня в Петерб⟨ург⟩ в сопровождении офицера. По прибытии к петерб⟨ургской⟩ заставе предъявлено было приказание везти меня прямо к гр. Аракчееву, который встретил меня отменно ласково и сказал мне, что имп⟨ератор⟩ приказал ему взять привезенное мною письмо. Это я и сделал в обмен на расписку гр⟨афа⟩, которую храню и поныне.

Этот рассказ о моем разговоре с Н⟨аполеоном⟩ может служить в то же время и опровержением рассказа барона Фэна в отношении тех подробностей, о которых я с ним не согласен.

Как же представлял себе Голохвастов происхождение Записки? Дело объяснялось просто: Яковлев "прочитал в 1836 году" книгу Фэна, "нашел, что разговор его с Наполеоном передан" в ней "неверно, и именно вследствие этого составил записку, в которой изложил то, что помнил об этом происшествии"[72]. Но при таком объяснении трудно было понять, почему книга Фэна, изданная еще в 1827 г., только через восемь лет вызвала интерес Ивана Алексеевича и почему он лишь тогда принялся вдруг исправлять ее неточности, неизвестно для кого предназначая свое мемуарно-критическое сочинение. Голохвастов, родившийся через три года после написания Записки, сам о ней мало что знал и ничего не мог слышать о том от причастного к ее составлению отца – Д.П. Голохвастова, умершего, когда он еще был ребенком. Можно думать, что его ввела в заблуждение рукопись первоначального варианта Записки, прямо начинавшаяся с критики в адрес Фэна. Поскольку этот зачин первоначального ее варианта не появлялся в печати, приведу его здесь в русском переводе:

«Рассказ барона Фэна в его труде "Manuscrit de 1812" о моей встрече с Наполеоном заключает в себе немало обстоятельств, не сообразующихся с истиной, а сверх того и других, которые могли бы представить значительный интерес для истории памятной кампании 1812 г. Я хочу постараться, насколько позволит мне моя память по прошествии 24 лет, воссоздать известные события, как они были в действительности для того, чтобы изложение это послужило вместе с тем и опровержением рассказа б⟨арона⟩ Фэна во всех подробностях, в которых я не найду возможным с ним согласиться»[73]. Этот развернутый критический пассаж Иван



MANUSCRIT

DE

MIL HUIT CENT DOUZE,

DES ÉVÉNEMENS DE CETTE ANNÉE;

Pour servir à l'Histoire

DE L'EMPEREUR NAPOLEON;

Par le Baron Fain,

TOME DEUXIÈME.

BRUXELLES,

CHEZ R. TARLIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR.

1827.



DE MIL HUIT CENT DOUZE. 83

CHAPITRE VI.

L'EMPEREUR REVIENT À MOSCOU. — TENTATIVES POUR COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC L'EMPEREUR ALEXANDRE.

Le 18 au matin, on quitte le château de Petrowskoïe pour revenir au Kremlin. L'empereur rencontre sur son passage une foule de malheureux réduits au plus affreux dénûment par l'incendie et par le pillage qui a complété leur désastre (1). On remarque, parmi eux des femmes de toutes nations : un grand nombre d'Allemandes et même quelques Françaises, qui faisaient partie des colonies marchandes de Moscou. Napoléon donne ordre qu'on leur ouvre des salles; que des rations de vivres et un premier secours de cinquante mille roubles leur soient distribués. Cette mission de charité est confiée à un ministre du culte

(1) La population de Moscou, jusqu'à ce jour, avait été portée à trois cent mille âmes; mais elle ne dépassait pas cette dernière, et le nombre, qui s'élevait à cent vingt mille environ, devenait bientôt moins encore. (Lettre de M. [illegible], préfet intérimaire de la préfecture de Moscou, au gouverneur, général.)

КНИГА БАРОНА ФЭНА "РУКОПИСЬ О ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ДВЕНАДЦАТОМ ГОДЕ..."

(БРЮССЕЛЬ, 1827)

Том второй. Обложка и начало главы VI, в которой содержится рассказ о встрече Наполеона с И.А. Яковлевым

Автор "Записок" был секретарем-архивистом Наполеона во время войны 1812-го г.

Алексеевич не включил в окончательный вариант Записки, а вместо него дал в конце текста краткое резюме в одной фразе и тем самым как бы понизил значение полемики с Фэном для своего мемуарного повествования.

Выдвинутая Голохвастовым версия происхождения Записки была повторена Пассек, В.К. Надлером[74] и М.К. Лемке, писавшим, например, что «о свидании своем с Наполеоном И.Я. Яковлев составил "записку" после того, как в 1836 г. прочитал книгу "Manuscrit de mille huit cent douze" par le baron Fain и нашел в ней ошибки» (*Л* XII, 160). В результате эта версия вплоть до наших дней прочно утвердилась в литературе. Даже в сравнительно недавних комментариях к одному из писем Герцена в 30-томном Собрании сочинений она воспроизводится почти буквально (XXX, 381).

Лишь публикуемая переписка вскрывает подлинные причины появления Записки Яковлева, написанной – повторим еще раз – по настоянию Михайловского-Данилевского в ответ на его обещания хлопотать за Герцена. Что же до критики ошибок Фэна, то она была, так сказать, навязана Яковлеву самим историком, приславшим ему "выписку" из книги французского автора о свидании с Наполеоном (до того Иван Алексеевич книги Фэна, видимо, вообще не читал). Строго говоря, Михайловский-Данилевский, как явствует из его письма от 26 мая 1836 г., хотел получить от Яковлева два документа – его собственное "описание этого случая" и постраничные замечания на рассказ о нем Фэна. Но последнего Яковлев делать не стал, резонно полагая, что его Записка уже сама по себе есть "опровержение" книги Фэна и поначалу даже подробно отметил это в раннем варианте Записки, что и было превратно истолковано Голохвастовым как формулировка истинных целей ее составления.

Переписка выявляет и некоторые существенные оттенки в отношении самого Ивана Алексеевича к труду, который ему предстояло совершить.

Обратившись 18 мая 1836 г. к Михайловскому-Данилевскому с ходатайством о содействии освобождению Герцена, Яковлев взывал к его "доброму расположению", всегдашней отзывчивости и т.д., но ни словом не обмолвился о том, что еще 5 апреля Михайловский-Данилевский через Н.П. Голохвастова просил его прислать замечания на книгу Фэна, столь нужные ему для подготовлявшейся истории 1812 г. Казалось бы, что, отозвавшись на эту просьбу историка, Иван Алексеевич мог бы более всего рассчитывать на его ответную заинтересованность в своем деле. Не знать же об этой просьбе он не мог, ибо никак нельзя допустить, чтобы Н.П. Голохвастов – один из ближайших родственников Яковлева, свой человек в его доме, – не рассказал ему о ней, получив в начале апреля письмо Михайловского-Данилевского. Да и из письма последнего от 8 июня явно следует, что Яковлев действительно был осведомлен Н.П. Голохвастовым насчет переданной через него просьбы.

Поэтому умолчание о ней в письме от 18 мая было намеренным – Яковлев предпочитал не откликаться тогда на призыв историка. На первых порах взаимоотношений с Михайловским-Данилевским он, видимо, надеялся заручиться его поддержкой в ходатайствах за Герцена, не связывая себя обязательством прислать замечания на книгу Фэна. И лишь когда Михайловский-Данилевский обратился к нему 26 мая с такой же просьбой лично, Яковлев в не дошедшем до нас письме от 5 июня ответил согласием "сообщить ⟨...⟩, чтó сохранилось" в его "памяти из разговора с Наполеоном". Но последним толчком, склонившим его к составлению Записки, был, видимо, грубый нажим Михайловского-Данилевского в письме от 8 июня, поставившего хлопоты за Герцена в зависимость от скорейшего доставления сведений о свидании с Наполеоном. Однако и потом он всячески медлил, отговариваясь в обычной своей манере (например, в письме от 22 июня), старческой немощью, тем, что "уже три недели ⟨...⟩ одержим недугами" и не может "ни сидеть, ни лежать" (что – напомним – не помешало ему в те же дни деятельно хлопотать за Герцена перед Гильтебрандтом), и только на исходе июля послал, наконец, Михайловскому-Данилевскому обещанное. Если учесть, что уже в начале апреля 1836 г. Яковлев знал о его просьбе, то в общей сложности оттягивал ее выполнение почти четыре месяца подряд.

Во всех этих проволочках и промедлениях сквозит явное нежелание Ивана Алексеевича писать что-либо о своей причастности к московским событиям 1812 г. И на то у него были достаточно серьезные основания.

В 1812 г. выезд жителей из Москвы перед вступлением в нее наполеоновской армии истолковывался и местной администрацией и в самом Петербурге как проявление их верноподданнических чувств. Пребывание же в Москве во время оккупации расценивалось как нечто в высшей мере предосудительное, независимо от их поведения и причин, по которым они не выехали из города, хотя во многом повинен в этом был генерал-гебернатор Ф.В. Ростопчин, дезориентировавший городское население ложными заявлениями о том, что Москва не будет сдана. Наиболее остро воспринимались случаи пребывания при французах лиц дворянского сословия. Правительственная пропаганда и официозная пресса старались даже создать впечатление о поголовном их выезде из занятой неприятелем древней столицы, – вопреки тому, что количество дворян, бывших тогда здесь, исчислялось десятками, если не сотнями. Особое внимание обращалось на тех, кто по разным поводам вступал в те или иные отношения с французским командованием. После освобождения Москвы почти все они были окружены атмосферой морального осуждения, а летом 1813 г., благодаря проискам Ростопчина в московской полиции начали составляться "без всякой огласки списки как чиновников, так и прочего звания людей", находившихся при французах в Москве, с тем, чтобы "иметь за всеми их поступками неослабный ⟨...⟩ надзор". Тем самым любой из них был признан политически неблагонадежным и подвергнут полицейскому наблюдению[75].

Не избежал этой участи, как увидим далее, и Яковлев. Его вина усугублялась возложенной на него Наполеоном посреднической миссией в переговорах с Александром I, а именно это было в тот момент особенно болезненно для престижа царя. После падения Москвы в разных слоях общества, по ассоциации с Тильзитом, стало распространяться глубокое недовольство его политикой, приведшей страну чуть ли не на грань национальной катастрофы, и на этой почве поползли чреватые для правящей династии непредвиденными последствиями слухи о намерении Александра I пойти на заключение мира. Слухи эти, не соответствовавшие, правда, его личной позиции, имели под собой то основание, что при самом дворе сложилась влиятельная партия (императрица Мария Федоровна, великий князь Константин Павлович, канцлер Н.П. Румянцев, А.А. Аракчеев и т.д.), склонная к миру с Наполеоном[76]. Неудивительно, что осенью 1812 г. Александр I решительно пресекал малейшие, даже диктуемые военно-тактической целесообразностью попытки вступления в переговоры с французами.

Невольно взятая на себя Яковлевым – представителем старинного дворянского рода, близкого к придворно-дипломатическим кругам – посредническая роль в мирных поползнове-

ниях Наполеона как бы поддерживала столь нежелательные слухи, бросая тень на самого Александра I. Поэтому приезд Яковлева из Москвы в Петербург в середине сентября 1812 г. с письмом от Наполеона не мог встретить со стороны царя ничего, кроме крайней неприязни. По справедливому замечанию Богдановича, он "даже не хотел видеть Яковлева, чтобы не подать повода к слухам о каких бы то ни было сношениях с Наполеоном"[77].

Печать этой неприязни еще долгие годы лежала на имени Ивана Алексеевича. По-видимому, ею и было вызвано замалчивание в русской исторической литературе послевоенного времени (вплоть до конца 1830-х годов) его причастности к столь знаменательному эпизоду Отечественной войны.

В этом отношении весьма показательна цензурная история "Кратких записок" А.С. Шишкова, состоявшего в годы войны при Александре I в качестве государственного секретаря и составителя правительственных манифестов. Рассказывая об обстановке в Петербурге осенью 1812 г., Шишков писал, что вскоре после известия о вступлении французов в Москву оттуда "приехал ⟨...⟩ некто тамошний житель" – по приказу царя он посетил его для расспросов о положении оккупированного города. Этим "тамошним жителем" и был Яковлев, имя которого Шишков не решился назвать и – видимо, не случайно – по прошествии стольких лет после войны. Когда же рукопись "Кратких записок" была представлена им в Санкт-Петербургский цензурный комитет, то среди мест, вызвавших сомнение в возможности публикации, была отмечена и эта невинная в общем-то и мало что говорящая фраза. Стало быть, еще и в 1830 г. даже анонимный намек на прикосновенность Яковлева к историческим событиям 1812 г. считался одиозным и не подлежащим огласке[78].

Не менее показателен в том же отношении и характер освещения его роли в этих событиях в одном из военно-исторических трудов Д.В. Давыдова. Готовя в 1837–1838 гг. трехтомное собрание своих сочинений, он предполагал включить в него историко-критические замечания на книгу Вальтера Скотта "Жизнь Наполеона Бонапарта", вышедшую в русском переводе в 1831–1832 гг. – точнее, на изображение в ней войны 1812 г., полное пробелов и неточностей. В архиве Давыдова сохранились черновой автограф и две писарские копии этого сочинения (из них одна авторизована, другая, более поздняя, составлена без участия Давыдова). В гл. XI описания русской кампании В. Скотт, в частности, рассказывал о намерении Наполеона направить из Москвы в начале сентября 1812 г. письмо Александру I с предложением о мире: "Письмо это было послано с известным службою своею офицером, оставшимся в Москве от болезни, которая воспретила ему следовать за армиею". По поводу этого пассажа Давыдов в черновом автографе заметил (его историко-критический труд был построен в форме письма к В. Скотту, написанного якобы еще при жизни английского историка и романиста, – В. Скотт умер в 1832 г.)[79]: "Вы, конечно, имели в виду, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, г-на Я..., о коем упомянул г-н Фен в рукописи 1812 г. ⟨...⟩"[80]. Давыдов, следовательно, не счел себя вправе полностью назвать фамилию Яковлева, ограничившись воспроизведением лишь начальной ее буквы. В этом фактически зашифрованном виде фамилия Яковлева была обозначена и в двух копиях, причем в авторизованной копии написанная сперва буква *Я* затем тщательно вымарана[81]. Видимо, и во второй половине 1830-х годов Яковлев в связи с его посреднической миссией в 1812 г. продолжал оставаться лицом настолько скомпрометированным, что Давыдов вообще сильно колебался в возможности оглашения в русской печати даже намека на его имя. (Напомним, что "Описание Отечественной войны в 1812 году" Михайловского-Данилевского, где впервые официально и полностью было названо в этой связи имя Яковлева, вышло в свет уже после смерти Давыдова – осенью 1839 г.)

Конечно, он мог исходить в данном случае из соображений этического порядка – ведь "Письмо к Вальтеру Скотту" готовилось к публикации при жизни Яковлева, и Давыдову это обстоятельство было далеко небезразлично. Хотя о личном знакомстве знаменитого партизана с отцом Герцена у нас нет прямых данных, но, как теперь выясняется, они принадлежали к одной среде столичной дворянской интеллигенции, имели немало точек непосредственного соприкосновения через общих друзей и знакомых, в 1820–1830-х годах Давыдов подолгу жил в Москве, и вероятность его встреч с Иваном Алексеевичем не вызывает сомнений. Мы видели, например, что в 20-х числах февраля 1829 г. Михайловский-Данилевский, приехав в Москву, посещает Ивана Алексеевича, И.И. Дмитриева, Л.А. Яковлева, Давыдова, обсуждает с ними свои дела и, вполне возможно, делится с последним теми интереснейшими и мало кому известными подробностями исторического свидания Яковлева с Наполеоном в 1812 г., о которых за два дня до того рассказывал сам Иван Алексеевич и которые, естественно, не могли не волновать Давыдова.

Во всяком случае, черновой автограф "Письма к Вальтеру Скотту", заключающий в себе много фактических сведений, не попавших в опубликованный текст, хранит следы доскональной осведомленности Давыдова в перипетиях биографии Яковлева. Первоначально в за-

мечаниях на цитировавшийся выше пассаж В. Скотта было написано: "Г-н Я... около 16 лет прежде бывший офиц⟨ером⟩ л⟨ейб⟩- гвардии Измайловского полка", затем Давыдов зачеркивает эту фразу и заменяет ее несколько иной редакцией: "давний офицер гвардии и около 15 уже лет находившийся в отставке"[82], опуская излишнее в данном контексте указание на полк, в котором служил Иван Алексеевич, и уточняя срок пребывания его в отставке, – и, действительно, после его увольнения в сентябре 1797 г. из Измайловского полка и до сентябрьских дней 1812 г. прошло не 16, а именно 15 лет.

Но какими бы личными мотивами ни руководствовался Давыдов, не меньшую роль сыграла здесь официальная традиция замалчивания имени Яковлева в связи с московскими событиями 1812 г. Потому-то, надо полагать, и была сохранена эта усеченная форма упоминания Яковлева (с воспроизведением только начальной буквы его фамилии) и в первой (уже посмертной) публикации "Письма к Вальтеру Скотту" в "Сыне отечества" в 1840 г.[83], и в вышедшем в том же году трехтомнике сочинений Давыдова[84], и в их перепечатке 1848 г.[85], и даже в существенно дополненном и исправленном издании 1860 г.[86], хотя к тому времени имя Яковлева уже было названо в военно-исторических трудах Михайловского-Данилевского и Богдановича. Только в последнем дореволюционном, изданном в конце XIX в., собрании сочинений поэта-партизана фамилия Яковлева в тексте "Письма к Вальтеру Скотту" была, наконец, напечатана полностью[87].

Но вернемся к лету 1836 г. Теперь нетрудно понять, что, согласившись тогда составить для Михайловского-Данилевского Записку о 1812 г., Яковлев попал в положение трудное и достаточно щекотливое. С одной стороны, Яковлев должен был пойти навстречу его просьбам и рассказать об обстоятельствах своего свидания с Наполеоном в должной мере подробно и правдиво, ибо имел дело не с дилетантом, а с великолепно осведомленным в событиях 1812 г. историком. С другой же стороны, вынужден был избегать (или, во всяком случае, стараться свести к минимуму) все, что лишний раз напоминало бы о его политически сомнительной в глазах властей роли в этих обстоятельствах. (После 1812 г. Иван Алексеевич вообще, видимо, уклонялся от всего того, что могло привлечь к нему внимание высших правительственных лиц. Так, во время коронации Николая I в Москве летом 1826 г., когда великий князь Константин Павлович пожелал видеть Яковлева и пригласил его в Кремль, он вдруг сказался больным, жаловался приходившим к нему приближенным цесаревича на разные немощи и недуги, принимал их чуть ли не в постели, но "мы знали, – замечает Пассек, – что это одна комедия, что недугами он хотел отделаться от поездки к цесаревичу"[88], хотя, как помним, лично к нему он относился с пиететом). Меньше всего Иван Алексеевич боялся при этом повредить себе – дело было в том, что такого рода напоминания могли отрицательно отразиться на хлопотах за сына, ради чего, собственно, он и взялся составить Записку.

К тому же Яковлев не мог не учитывать ее предназначения для официального исторического труда, вся подготовка которого велась по повелению Николая I и под пристальным наблюдением его приближенных, что, в свою очередь, склоняло Ивана Алексеевича к особой сдержанности. Его опасения были в данном случае совсем не беспочвенны. Он, видимо, верно почувствовал, что отосланная историку Записка на такую острую историко-политическую тему, вероятно, станет предметом чтения и обсуждения в правительственных верхах, которые могли бы проявить при этом и далеко не благосклонное внимание к ее автору. В самом деле, на тексте Записки значится помета Михайловского-Данилевского: "Эта бумага вместе с прочими назначена быть отправлена к военному министру"[89], – т.е. Записка, прежде чем была использована им, препровождалась на просмотр и заключение к военному министру А.И. Чернышеву, осуществлявшему по распоряжению Николая I непосредственный контроль над подготовкой Михайловским-Данилевским его труда.

Вот этот сложный переплет противоречивых мотивов и интересов определил ту избирательность в отборе фактов и тот угол зрения в их освещении, под которыми Яковлев строил свое повествование.

Сказанное не умаляет, тем не менее, достоинств Записки как мемуарного источника. Михайловский-Данилевский был прав, когда отмечал, что она писана "мастерским пером". Записка пронизана отчетливым пониманием исторической значимости событий, с которыми столкнула автора судьба. Сжато, всего в нескольких фразах, подчеркнуто сухо освещается в ней положение семьи Яковлева в охваченном пожарами городе, выход из него после получения пропуска от французов, прибытие на русские аванпосты, а затем и отправление в Петербург. Зато гораздо подробнее изображена сама встреча с Наполеоном – сердцевина яковлевского рассказа. Не следует, впрочем, обольщаться насчет полноты передачи в Записке этой встречи. В феврале 1829 г. Яковлев говорил Михайловскому-Данилевскому, что "часа три" был у Наполеона[90]. Изложение же здесь беседы с ним далеко не соответствует длительности этого трехчасового разговора – он отражен сокращенно, в виде некоей выжимки. Но Яковлев

старался передать его с воспроизведением прямой речи, интонации говоривших, и в последовательности, видимо, близкой к реальному ходу беседы.

Все изложенное подводит нас к вопросу, который и составляет тему данного раздела работы: как соотносятся с Запиской Яковлева первые страницы "Былого и дум", посвященные тем же событиям 1812 г.? Иными словами, в какой мере сведения, закрепленные в Записке, отразились на герценовских мемуарах?

Ставя этот вопрос, мы должны, разумеется, отдавать себе отчет в том, сколь несоизмеримы по своим масштабам эта скромная непритязательная Записка с книгой Герцена – вершинным созданием мемуарной прозы XIX в., не говоря уже о художественно-эстетической и идейно-философской стороне дела. Весьма различным было отношение отца и сына и к предмету их воспоминаний. Если для Яковлева 1812 год был в данном случае прежде всего личным потрясением, с которым его связывали самые мрачные переживания, то для Герцена, писавшего "Былое и думы", он значил историческую веху в жизни родины, пробудившую духовные силы нации, освободительные устремления общества и само то поколение, к которому он принадлежал: "Новая Россия ведет свое начало с 1812 года" (XX, 230).

И то, что начало его собственной жизни переплелось с этой окруженной героическими преданиями вехой русской истории, было полно для Герцена особого, поистине символического смысла, о чем он много писал и до и после "Былого и дум" (XVIII, 88–89; XXI, 85; XXVII, 170). Именно поэтому он и начал свое мемуарно-автобиографическое повествование – в отличие от современных мемуаристов из дворянской среды – не с истории своего рода, не с генеалогических сведений о предках, а с 1812 г., который, по удачному выражению Л.Я. Гинзбург, был его "духовной генеалогией"[91].

Для понимания же того, как складывалась сама ткань герценовского повествования о 1812 г., Записка Яковлева и представляет немаловажный интерес. Присмотримся внимательнее к их текстам.

В "Былом и думах" события изложены в иных соотношениях, нежели в Записке. Центральный ее момент – разговор Яковлева с Наполеоном – передан здесь более кратко, суммарно, некоторые фактические реалии опущены вовсе. Но предшествующие и последующие эпизоды – вторжение наполеоновской армии в Москву, первые пожары, бесчинства французов, бедствия семьи Яковлева, отъезд из города, встреча его в войсках И.Д. Иловайского и Ф.Ф. Винценгероде, наконец, пребывание в Петербурге – освещены заметно полнее.

Между ними есть и отдельные расхождения – явно не в пользу герценовского рассказа. Так, в "Былом и думах" сказано, что первый, с кем встретился Яковлев, пожаловавшись на свое бедственное положение, был командир эскадрона итальянской конницы; в Записке говорится в этой связи о полковнике французской армии Мейнадье. Герцен вкладывает в уста Наполеона – в его диалоге с Яковлевым – слова о том, что он уже посылал парламентера с мирными предложениями к Кутузову: речь шла об известной миссии Лористона. В Записке этих слов нет да и быть не могло, так как Лористон отправился в Тарутино только 23 сентября 1812 г., а разговор Яковлева с Наполеоном состоялся еще 8 сентября. Касаясь в другом месте этого разговора, Герцен пишет, что он "довольно верно передан в истории барона Фен" (VIII, 18), но, как мы видели, Яковлев считал ее несогласной с истиной и окончательный вариант своей Записки заключил фразой, прямо указывающей на это: "Рассказ о моем разговоре с Н(аполеоном) может служить в то же время опровержением рассказа барона Фена в отношении тех подробностей, в которых я с ним не согласен".

Ясно, что в конце 1852 г., во время работы над первыми страницами "Былого и дум", у Герцена не было под рукой Записки Яковлева. Если б это было не так, он не допустил бы идущих вразрез с ее текстом неверных утверждений, анахронизмов и столь противоречащей ей оценки книги Фэна. По той же причине исключается возможность использования им "Описания Отечественной войны в 1812 году" Михайловского-Данилевского, на которое ссылался в "Былом и думах", но которым тогда не располагал. Герцен читал эту книгу, видимо, еще в России, на рубеже 1830–1840-х годов, когда она вышла в свет; к началу же 1850-х годов он представлял себе ее содержание настолько смутно, что сам факт воспроизведения здесь текста Записки с указанием на имя Яковлева совершенно стерся из его памяти.

Более того, Герцен и раньше этой Записки не читал и хотя что-то должен был знать о ней (из книги Михайловского-Данилевского, во всяком случае), но к началу 1850-х годов о ее существовании уже не помнил. Он вернулся в Москву через три года после создания Записки, когда в доме Яковлева о ней вряд ли уже говорили. Ивану Алексеевичу при его гордой замкнутости и презрении к человеческим слабостям, не доставляло, наверное, удовольствия вспоминать о том унижении, с каким было сопряжено для него писание Записки, когда он стал жертвой самого низкого обмана. Экземпляры же ее в яковлевском архиве, возможно, и не находились, так как один из них был отослан еще летом 1836 г. Михайловскому-Данилевскому,

а два остальных уже тогда могли оказаться в архиве Д.П. Голохвастова, подаренные ему Иваном Алексеевичем как бы в награду за помощь в составлении его воспоминаний.

Это, конечно, – предположения. Но вот что симптоматично и вполне доказательно: в "Былом и думах" мы не находим ни одного, даже мало-мальски глухого упоминания о Записке, тогда как освещавшие то же событие книги Фэна и Михайловского-Данилевского Герцен здесь назвал. По самому же характеру своего рассказа, где Яковлев представал главным действующим лицом, он никак не мог бы обойти вниманием его Записку, если бы ему о ней хоть что-то было известно. Вместе с тем, другие документы из архива Яковлева, связанные с его пребыванием в 1812 г. в Москве, Герцен в "Былом и думах" отметил – пропуск на выезд из города, выданный Яковлеву Э. Мортье, и расписку, полученную от Аракчеева взамен письма Наполеона к Александру I (VIII, 18–20)[92].

Видимо, до конца жизни Герцен так и оставался в неведении относительно Записки своего отца.

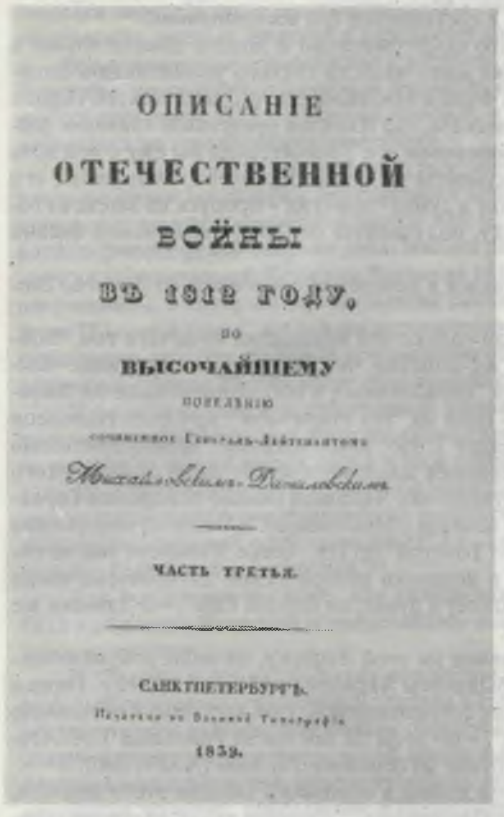
Весной 1869 г. в семье Герцена жадно читали только что вышедший из печати том "Войны и мира", где изображалась та же эпоха и те же события, что и на первых страницах "Былого и дум". Среди персонажей романа оказался "ограбленный и оборванный капитан Яковлев, не знающий, как выбраться из Москвы", – один из "тех старичков", которых Наполеон призвал для передачи мирных условий Александру I. Но, озабоченному "преимущественно приобретением шапки и повозки", ему были невдомек дипломатические виды французского императора. Уничижительный тон писателя в отношении Яковлева сильно покоробил Герцена, воспринимавшего творчество Л.Н. Толстого вообще очень сложно. В ответ на недоумения Н.А. Тучковой-Огаревой относительно того, что Толстой "об Ив. Алекс. Яковлеве как-то нехорошо помянул", Герцен, упрекая романиста в незнании исторической литературы, писал 15 мая 1869 г.: "Толстой не читал, стало, ни Был⟨ое⟩ и думы, ни барона Fain", – о Записке же отца опять не сказал ни слова (XXX, 112, 384)[93].

Не имея, таким образом, в своем распоряжении ни этой Записки, ни иных документально-исторических материалов, весь эпизод с пребыванием Яковлева в Москве в 1812 г. Герцен в значительной мере восстанавливал по откликам современников (как, впрочем, и остальные темы и сюжеты начальных глав "Былого и дум") – об этом он сам писал Рейхель и Т.А. Астраковой, жалуясь на нехватку для своего труда бумаг из семейного архива (XXIV, 360)[94].

Но при всем том в воссоздании фактической канвы и основного смысла этого эпизода, особенно в передаче самой сути разговора отца с Наполеоном, "Былое и думы" явственно совпадают с Запиской Яковлева – не текстуально, но по духу, по взгляду на вещи и даже по ряду деталей. Объяснить этот феномен можно только тем, что главным источником для Герцена явились многократно слышанные в 1820-х – начале 1830-х годов рассказы самого Ивана Алексеевича и домочадцев, еще в пору своего устного бытования (до закрепления их в его Записке), приобретшие характер устойчивого семейного предания. М.К. Лемке, отмечавший несоответствие отдельных подробностей герценовского рассказа о 1812 г. с Запиской Яковлева, полагал, что "они могли быть сообщены им ⟨...⟩ устно сыну" (*Л* XII, 160). Переходя к изложению беседы Яковлева с Наполеоном, Герцен прямо указывает на это: "Разговор их, который я столько раз слышал", а, завершая повествование о 1812 г., еще раз свидетельствует: "Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто" (VIII, 18, 22).

Однако, сравнивая далее оба источника, мы сталкиваемся в "Былом и думах" и с важными подробностями, которые в Записке Яковлева вовсе не присутствуют, – с своего рода "превышениями" над ее текстом. Но перед тем, как перейти к их разбору, вернемся еще раз к воспоминаниям Пассек.

Она писала их через двадцать лет после начала работы Герцена над "Былым и думами", в России, при более благоприятных условиях, собирая нужные ей материалы, наводя справки у людей герценовского круга, сопоставляя добытые сведения и т.д. В журнальной редакции воспоминаний при описании событий 1812 г., помимо текста "Былого и дум", послужившего ей важнейшим источником, Пассек воспользовалась и припоминаниями престарелого, но еще сохранившего живую память и много знавшего о том времени брата Герцена – Егора Ивановича, которого разыскала в Москве летом 1872 г.[95] Отразила она в этом описании и свою богатую личную осведомленность, питавшуюся все теми же устными рассказами Яковлева и его близких: "Все, что говорится в моих воспоминаниях о пребывании Ивана Алексеевича Яковлева и его семейства в Москве во время занятия ее неприятелем, слышала я в его семействе, для большей же точности записала со слов его сына Егора Ивановича Герцена, бывшего в то время уже на десятом году и присутствовавшего при всех упоминаемых мною событиях". Отводя обвинения Т.П. Пассек со стороны Д.Д. Голохвастова в вымышленном изображении событий 1812 г., М.И. Семевский при возоб-



ОПИСАНІЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

ВЪ 1812 ГОДУ,

ПО

ВЫСОЧАЙШЕМУ

ПОВЕЛѢНІЮ

составленное Генераль-Лейтенантомъ

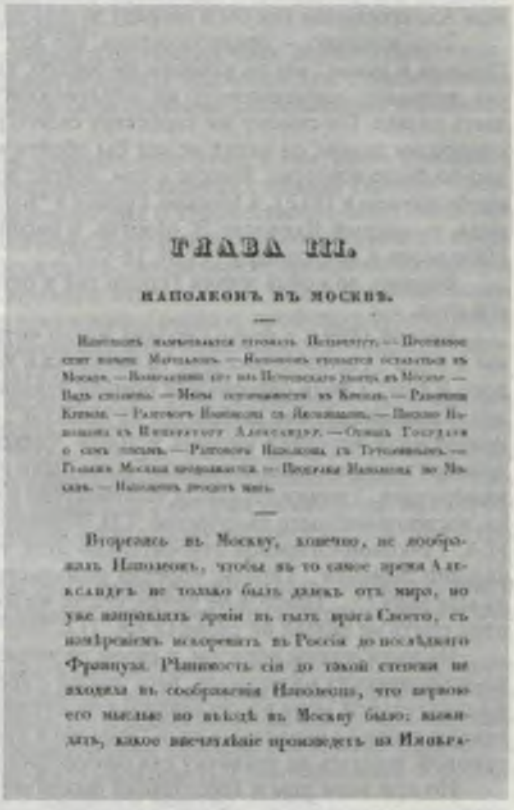
Михаиломъ Ивановичемъ Данилевскимъ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ Военной Типографіи

1839.



ГЛАВА III.

НАПОЛЕОНЪ ВЪ МОСКВѢ.

Вторгаясь въ Москву, конечно, не воображалъ Наполеонъ, чтобы въ то самое время Александръ не только былъ далекъ отъ мира, но уже направлялъ армію въ тылъ врага Своего, съ намѣреніемъ истребить въ Россіи до послѣдняго Француза. Рѣшимость сія до такой степени не входила въ соображенія Наполеона, что первое его мысленіе по выходѣ въ Москву было: ожидать, какое впечатлѣніе произведетъ на Импера-

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ "ОПИСАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 1812 ГОДУ" А.И. МИХАЙЛОВСКОГО–ДАНИЛЕВСКОГО (СПб., 1839)

Часть третья. Титульный лист и начало главы III, где приведена "записка" И.А. Яковлева о его встрече с Наполеоном

новлении публикации ее воспоминаний в "Русской старине" в 1876 г. подкрепил их достоверность письменным показанием самого Е.И. Герцена, к которому обратился за разъяснением: «Справедливость этих фактов подтвердил своим свидетельством в собственноручно подписанной и доставленной в редакцию "Русской старины" записке Егор Иванович Герцен, единственный оставшийся в живых очевидец рассказанного, бывший тогда уже десятилетним мальчиком и хорошо помнящий все, что он видел в продолжении этого времени». Переходя к рассказу о встрече Яковлева с Наполеоном, Т.П. Пассек еще раз удостоверила: "Разговор, бывший между им и Наполеоном, я еще не раз слышала от самого Ивана Алексеевича с большими или меньшими подробностями"[96].

Готовя позже отдельное издание воспоминаний, Пассек учла критику Голохвастова по поводу отдельных фактических неточностей и включила из его статьи ряд документов, в том числе и некоторые фрагменты из самой Записки Яковлева, что, однако, не изменило основного состава ее сведений о 1812 г., сложившегося еще в журнальной редакции воспоминаний.

Уже в ней мы находим "превышения" над текстом этой Записки, подобные тем, которые имеются и в "Былом и думах". Поскольку те и другие "превышения" восходят к одному общему источнику – рассказам Яковлева и членов его семьи, – рассмотрим их вместе, расположив по хронологии самих событий.

1. В первых строках "Былого и дум" невыезд Яковлева из Москвы накануне вступления французов связывается с затянувшимися сборами, нерешительностью самого Ивана Алексеевича и, главное, с колебаниями П.И. Голохвастова и его отказом покинуть город. В части же четвертой своих мемуаров Герцен прямо говорит, что именно "он помешал" отцу "уехать из Москвы в 1812 году" (VIII, 15; IX, 184).

В Записке Яковлева эти обстоятельства не освещены; о том же, почему остался в Моск-

ве, он пишет: "Садясь в карету ⟨...⟩ я был настигнут французским отрядом, который отнял у меня моих лошадей и мои экипажи".

2. Герцен отмечает, что французский губернатор Москвы, маршал Э. Мортье, которому представили Яковлева, "знал его отца в Париже" (VIII, 18).

В Записке об этом ничего не сказано.

3. По свидетельству Пассек, первый раз с Наполеоном Яковлев встретился на Тверской площади (видимо, еще 3 сентября) «и стал просить у него пропуск из Москвы себе и своему семейству. Наполеон спросил его фамилию. Узнавши, что он Яковлев, спросил: "Не родня ли он тому Яковлеву, который был посланником при Вестфальском дворе?". "Это мой брат", – отвечал Иван Алексеевич. Наполеон сказал, что назначит время, когда ему явиться во дворец»[97].

4. Герцен пишет еще об одной встрече – накануне выезда Яковлева из Москвы (11 сентября), когда он был позван к Наполеону для вручения письма Александру I (VIII, 19).

Всего, следовательно, Герцен и Пассек указывает на три встречи – в Записке сказано только об одной (но не 9-го, как отмечено здесь, а 8-го сентября) в Кремле, когда и состоялся их знаменитый разговор.

5. Пассек указывает на то, что Мортье "обратил внимание Наполеона на Ивана Алексеевича как на русского вельможу, способного вести переговоры с русским двором"[98] – в его Записке об этом ничего не говорится.

6. Герцен трижды отмечает, что в ответ на настояния Наполеона передать письмо Александру I лично ему в руки Яковлев дал честное слово выполнить эту просьбу: первый раз – при их разговоре 8 сентября, второй – при последнем свидании перед отъездом Ивана Алексеевича из Москвы и третий – уже в Петербурге у Аракчеева (VIII, 19, 20–21).

В Записке вопрос о "честном слове" обходится молчанием, и свою позицию Яковлев освещает довольно уклончиво: "Под конец, он сказал, что я должен отвезти письмо это в Петер⟨бург⟩, на что я не отвечал ничего, ибо, по правде говоря, я не знал тогда да и теперь знаю это не лучше, вправе ли я был отказаться от доставления этого письма".

7. Пассек пишет, что по прибытии Яковлева на русские аванпосты его "приняли как лицо подозрительное"[99], – Записка об этом хранит молчание.

8. Герцен рассказывает, что в Петербурге Яковлев в течение месяца содержался под арестом в доме Аракчеева в полной изоляции от внешнего мира и его навестил только А.С. Шишков; что освобожден он был по повелению Александра I (значит, и арестован был в Петербурге по его же приказу) и при этом "Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не видавшись ни с кем, кроме старшего брата" (VIII, 20–21).

9. Пасек пишет в этой связи, что "въезд в Петербург ему был запрещен и на будущее время"[100].

В Записке всех этих подробностей Яковлев вообще не касается, а только сообщает, что по приезде к Аракчееву тот встретил его "отменно ласково".

Комментируя эти расхождения между мемуарами Герцена – Пассек и Запиской Яковлева, Голохвастов не допускал, чтобы он "преднамеренно лгал, рассказывая г-же Пассек о ⟨...⟩ свидании с Наполеоном или, составляя" свою Записку (аналогичные же его рассказы Герцену Голохвастов здесь просто не брал в расчет), "гораздо вероятнее, что он передавал это событие ⟨...⟩ более или менее одинаково". Голохвастов молчаливо исходил, таким образом, из трех посылок: о включении Яковлевым в Записку всего того, что он помнил о 1812 г.; о непререкаемой ее достоверности сравнительно с позднейшими свидетельствами (автор "в качестве очевидца" "заслуживает наибольшего доверия"); об идентичности текста Записки устным воспоминаниям Яковлева. Но раз он не мог "преднамеренно лгать", то подозрения естественно падали на тех, кто впоследствии пересказывал его воспоминания. Поэтому все "превышения" Герцена и Пассек Голохвастов объяснял не столько даже ошибками их памяти, сколько намеренным вымыслом, а на этом основании и квалифицировал их мемуары (и прежде всего "Былое и думы") как романтические сочинения, лишенные какого-либо правдоподобия[101].

Это мнение (а оно отмечено, помимо всего прочего, фетишизацией текста первоисточника, столь характерной для позитивистской историографии второй половины XIX в.) было полностью усвоено М.К. Лемке. "Рассказ Герцена" о 1812 г., писал он, "местами очень неверен", не соответствуя "рассказу самого Яковлева", а Пассек (стр. 40–50, т. 1) "еще больше запутала истинные факты в сеть всякого вздора"; «таким образом ныне и ее "Воспоминания" совершенно не могут быть принимаемы за какую бы то ни было тень истины» (*Л* XII, 158, 160).

Беспочвенность этих скептических оценок была убедительно опровергнута исследованиями А.Н. Дубовикова, восстановившими добрую репутацию мемуаров Пассек. Они базировались на развернутой источниковедческой аргументации, касавшейся ее воспоминаний в це-

лом[102]. Теперь представляется возможность дополнить эту аргументацию данными, относящимися к описанию в них 1812 г.

В свете того что мы знаем о сложных условиях создания Записки, "превышения" над ее текстом получают совсем не то объяснение, какое пытался им дать Голохвастов. Они предстают перед нами следствием определенной системы умолчаний, принятой самим Яковлевым при составлении своих воспоминаний. Как бы мимоходом он заметил здесь, что часть подробностей встречи с Наполеоном "не стоит упоминания", т.е. недвусмысленно дал понять, что кое-что из происшедшего с ним в 1812 г. сознательно опускает. И справедливость этого признания вполне может быть доказана.

Если передча в Записке разговора с Наполеоном не поддается проверке в силу отсутствия параллельных источников, то совсем иначе обстоит дело с теми ее текстами, которые отражали все остальные эпизоды пребывания Яковлева в 1812 г. в Москве и Петербурге. О них сохранились авторитетные свидетельства, в том числе исходящие и от самого Ивана Алексеевича.

Голохвастов опубликовал по семейному архиву чрезвычайно ценный документ – письмо его к сестре, Е.А. Голохвастовой, написанное 1 ноября 1812 г., тут же по приезде из Петербурга в ярославское имение Новоселье. Рассказывая о промедлении в сборах перед вступлением французов Яковлев пишет, что остался в Москве совсем не из-за задержки французским отрядом его экипажа, а потому, что в связи с отказом утром 2 сентября П.И. Голохвастова (мужа сестры) покинуть город сам решил: "Я ни в каком случае Павла Ивановича одного не оставлю" и велел своим экипажам, "вместо Троицких ворот (куда устремлялись беженцы. – *А.Т.*), ехать к тетушке на двор", где обосновался тогда со своей семьей. Но ведь именно так освещен этот эпизод и в "Былом и думах".

В том же письме, объясняя сестре, почему после выезда из Москвы не смог сопровождать семью с грудным ребенком и беспомощным стариком П.И. Голохвастовым (вскоре после того умершим) в Новоселье, Яковлев прозрачно намекает на непредвиденный поворот событий: из-под Клина "незапно я должен был ехать в Петербург, не имев позволения, ни способа даже и объясниться о причине моего отъезда. Итак, я вдруг принужден был, почти не простясь, расстаться и на неизвестность..." со всеми родными[103].

О том, что произошло с ним здесь и что это был за "незапный" отъезд, подробно рассказано в записках декабриста С.Г. Волконского, тогда гвардейского полковника, дежурного офицера штаба отряда Ф.Ф. Винценгероде, в расположение которого и был доставлен Яковлев. Волконский – свидетель их встречи – пишет, что Винценгероде осудил его за посредническую миссию, так как "предложение к миру не может прилечь к сердцу ни государя, ни кому из его верноподанных" и, задержав Яковлева, распорядился отвезти на курьерских "арестованным" в Петербург и одновременно отослал "собственноручное донесение государю императору"[104].

В этом донесении от 13 сентября 1812 г. Винценгероде сообщал, что после того, как Яковлев "открылся" о привезенном им письме Наполеона, не мог уже "почесть его за обыкновенного человека" ("как он осмелился принять на себя такое поручение") и потому "как его, так и бумаги его" немедленно отправляет к министру полиции[105].

Тем самым расшифровывается лаконичное указание Пассек на встречу Яковлева "на наших передовых войсках как лицо подозрительное", о чем, как и о всем последующем, он полностью умолчал в Записке.

По словам Волконского, Яковлев сам объявил Винценгероде, что "Наполеон, имевший о нем сведения как о брате бывшего русского посланника при короле Вестфальском в Касселе, вызвал его к себе" для передачи Александу I письма и своих мирных предложений[106]. И это свидетельство Волконского удивительно перекликается с рассказом Пассек о том, что французское командование видело в Яковлеве особенно подходящую фигуру для завязывания переговоров с русскими ввиду его принадлежности к разряду "вельмож" и дипломатических связей.

Волконский далее пишет, что, как выяснилось впоследствии, "по прибытии Яковлева в Петербург, его прямо повезли в Петропавловскую крепость, где подвергли его следствию тайному"[107]. Заключение Ивана Алексеевича в крепость и тайное следствие над ним – скорее всего преувеличение, слухи, но Волконский был человеком весьма осведомленным, и к его показанию, совпадающему по сути своей с тем, что говорилось об этом в "Былом и думах", надо прислушаться. В нем, несомненно, отразились какие-то реальные сведения о постигшей Яковлева в Петербурге суровой участи, а отнюдь не о "ласковом" приеме его здесь.

Уникальны в этом же плане уже цитировавшиеся дневниковые заметки Михайловского-Данилевского о посещении Яковлева 26 февраля 1829 г. с записью его рассказа о свидании с Наполеоном. Согласуясь с описанием в "Былом и думах" внешней обстановки его встречи в

Петербурге, они впервые с документальной точностью выявляют скрытые от современников, но доподлинно известные самому Яковлеву мотивы неодобрительного отношения к нему лично со стороны Александра I: "По прибытии его он отдал письмо Арак⟨чееву⟩, но не допустили до г⟨осударя⟩, который велел объявить неудовольствие ему и всем тем, которые оставались в М⟨оскве⟩"[108]. Отсюда, между прочим, следует, что Яковлев добивался личного приема у Александра I.

Эти мотивы вполне разъясняются текстами упомянутого выше чернового автографа "Письма к Вальтеру Скотту", еще раз демонстрирующими замечательно точную осведомленность Д.В. Давыдова в обстоятельствах дела Яковлева: "Малое число неслуживших дворян (5 или 6), остававшихся в Москве под различными предлогами, были – по изгнанию неприятеля из сей столицы – преданы суду и спасены милосердием императора Александра" (в авторизованной копии дана еще более суровая квалификация: "Упомянутые же дворяне, *забывшие долг сынов отечества*, были преданы суду (курсив мой. – *А.Т.*). Что же до г-на Я...", – пишет далее Давыдов, – то он "был в числе преступников, удостоившихся высочайшего прощения"[109].

В полемике с английским историком, допустившим ошибки в описании Отечественной войны, Давыдов усматривал выполнение своего "долга русского солдата в мирное время"[110], и в истолковании поступка самого Яковлева, как и поведения остальных дворян, не уехавших из Москвы и вступивших в контакты с французами, придерживался правительственной версии, полагая этот поступок непатриотичным и, строго говоря, достойным не только морального, но и юридического осуждения. Быть может, ввиду особой резкости этой квалификации Давыдов так и не включил ее в окончательную редакцию "Письма к Вальтеру Скотту". Тем не менее тексты его чернового автографа являются, пожалуй, единственным источником, которым в полной мере раскрывается острота политической оценки царем образа действий Яковлева в 1812 г. Но личная неприязнь к нему Александра I могла, вместе с тем, подогреваться и причинами совсем иного свойства, Давыдову вряд ли известными, – глубоко затаенными воспоминаниями о давней близости Ивана Алексеевича к заговорщикам 1801 г.

И, наконец, последнее свидетельство. Волконский в завершении своего рассказа о "происшествии" с Яковлевым, пишет, что после следствия он из Петербурга "был отправлен в свои деревни под надзор местной полиции, и запрещен ему был въезд в обе столицы"[111]. Насчет ссылки в "деревни" и "обеих столиц" опять же – след молвы, Яковлев, как мы знаем, всю жизнь после войны провел в Москве. Но что касается Петербурга, то об этом в тех же самых словах писала и Пассек.

Совпадения между записками Волконского и ее воспоминаниями в этом и во всех других случаях настолько ощутительны, что можно было бы подумать о влиянии мемуаристов друг на друга – то ли Волконский позаимствовал у Пассек приведенные выше свидетельства, то ли она сама перенесла их из его записок в свои воспоминания. Но это предположение отпадает, поскольку записки Волконского, составленные им не позднее начала 1860-х годов, около сорока лет пролежали в рукописи и в печати впервые появились только в 1901 г., воспоминания же Пассек и писались и печатались в начале 1870-х годов, когда Волконского давно уже не было в живых.

Сами эти совпадения независимых друг от друга свидетельств – лучшее доказательство их истинности в освещении посреднической миссии Яковлева и обстоятельств его высылки из столицы в 1812 г. В связи с последним вспомним еще раз его письмо сестре, написанное сразу же по приезде из Петербурга. За его глухими намеками чувствуется напряженная скованность человека, очутившегося в положении тягостном и драматическом. Иван Алексеевич не решается назвать здесь вещи своими именами, ни слова не пишет о том, что произошло с ним в Москве, зачем его так "незапно", не дав даже проститься с близкими, отправили в Петербург, что он делал там целый месяц и при каких условиях был выдворен. За всеми этими намеками и умолчаниями скрывается невозможность рассказать родным о случившейся с ним беде, а еще вернее – запрет, наложенный властями на такие рассказы при удалении из Петербурга.

Разобранные выше сообщения Герцена и Пассек, "превышающие" Записку Яковлева в рассказе о его пребывании в 1812 г. в Москве, на русских аванпостах и в Петербурге, находят, как видим, полное соответствие в целой серии высоко надежных источников. Следовательно, в противовес мнению Голохвастова, эти "превышения" явились не плодом их безответственного сочинительства, а отражением реально имевших место в действительности событий. Небезосновательно поэтому предположить, что и "превышения", относящиеся к самому разговору Ивана Алексеевича с Наполеоном, которые мы не можем пока проверить документально, также соответствовали действительному положению вещей.

Таким образом, Яковлев включил в свою записку отнюдь не все, "что помнил" о 1812 г. Учитывая ее официальное назначение, он строил свой рассказ так, чтобы не выпячивать наи-

более компрометирующие его обстоятельства участия в событиях 1812 г. Он не хотел сказать лишнего о причинах невыезда из Москвы, что вызывало упреки в недостатке патриотического рвения, был заинтересован в сокрытии особого внимания к своей личности со стороны французского командования, преуменьшении числа контактов с Наполеоном и вообще в затушевывании подробностей вынужденно взятого на себя посредничества. И уже совсем не входило в его расчеты упоминать что-либо о недружелюбном приеме, оказанном ему на русских аванпостах и особенно в Петербурге, ибо это было бы уже непосредственным напоминанием о политическом недоверии к нему правительства.

Эти наблюдения, касающиеся, на первый взгляд, частного, локального эпизода, имеют принципиальное значение для оценки "Былого и дум" как литературного памятника и исторического источника. В литературоведческих работах иногда высказывается мнение о романно-беллетристической природе этой книги с присущими произведениями такого рода свободной игрой художественной фантазии, творческим вымыслом, вольными отклонениями от фактической основы в изображении исторических лиц и событий. Уже где как не на этих первых страницах "Былого и дум", в рассказе об овеянном легендарно-мифической дымкой 1812 г., впечатления от которого явились для Герцена, как он сам признавался, его "колыбельной песнью, детскими сказками", его "Илиадой и Одиссеей" (VIII, 22), и было дать волю творческой фантазии, "сказочным" вымыслам и т.д. Но и эти страницы "Былого и дум", при всем своем эпическом размахе и художественной выразительности, сохраняют, как убедительно следует из сказанного, характер мемуарно-документального повествования, достоверно в целом воссоздающего подлинные обстоятельства эпохи по рассказам отца и семейным преданиям, как они с юношеских лет запечатлелись в сознании Герцена и как они отложились затем в его памяти.

И в заключение – еще об одном аспекте разысканий вокруг публикуемой переписки, важном для комментирования "Былого и дум". Дело касается самого образа Яковлева в связи с той ролью, которую сыграл в его жизни 1812 год.

Только ценой согласия отвезти письмо Наполеона в Петербург Иван Алексеевич мог спасти семью и вырваться с многочисленными домочадцами и пятимесячным сыном из разбушевавшейся стихии пожаров, грабежей, военного произвола. Вместе с тем, в этот критический момент, когда его частная жизнь силою внезапно сложившихся обстоятельств пересеклась с судьбами отечества, ему вовсе не было чуждо понимание своей ответственности перед историей – по этой причине он также не счел себя вправе отказаться от выполнения посреднической миссии, могущей иметь решающее воздействие на исход кампании и положить предел кровопролитию.

Мы видели, что вынужденное согласие Яковлева взять на себя эту миссию вызвало суровое осуждение царя; бремя этого осуждения он остро ощущал долгие годы. И это неудивительно, ибо спешная высылка вслед за арестом из столицы, с весьма жесткими напутствиями, после чего он в Петербурге уже до конца своих дней не появлялся, означала не что иное, как опалу сугубо политического свойства. Именно ее подразумевала Пассек в журнальном варианте своих воспоминаний. Отметив запрещение Яковлеву въезжать в будущем в Петербург, она многозначительно и не без оттенка иронии добавила: "Это событие осталось le grand événement de sa vie[13*], за которым последовали многие годы глубокого покоя в Москве и расстройство здоровья от поездки в осеннее время на фельдъегерских"[112].

"Великое событие" повлекло за собой не только "расстройство здоровья" – оно болезненно затронуло личное достоинство и патриотические чувства Ивана Алексеевича, питавшиеся аристократическими представлениями о древности и государственных заслугах его рода, ничем дотоле не запятнанных. Этот комплекс переживаний, поглощавших душевные силы Яковлева, и явился, видимо, той глубоко затаенной травмой, которая усугубляла тяжкие черты его характера и повлияла на манеру его житейского поведения и на его взгляды, как они запечатлелись на страницах "Былого и дум".

Становятся теперь яснее, наполняясь реальным биографическим содержанием, истоки скептицизма, отчуждения, разочарованности Яковлева, "ненавидевшего", по словам Герцена, "весь официальный мир", разлюбившего "все военное", крайне осторожного в высказывании политических мнений (VIII, 30, 34, 61).

Герцен задавался вопросом: "Что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь (...) Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которое никому не доверил" (VIII, 86). Думается, что одним из таких "воспоминаний" и была опала, постигшая Яковлева после 1812 г.

[13*] великим событием его жизни (*франц.*).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]*РГАДА*, ф. 1291, ед. хр. 251, л. 1–2, 4.

[2]*Пассек* I, 51, 232. Возможно, с культом великого князя в доме Яковлева отчасти связано и поклонение Герцена после междуцарствия 1825 г. Константину Павловичу, которого он считал "народнее Николая" и – вслед за Иваном Алексеевичем – "великим человеком" (там же, с, 217; VIII, 63, 79).

[3]К Д.П. Голохвастову, умершему в 1849 г., перешла часть архива Ивана Алексеевича с семейно-имущественными материалами Яковлевых. Она хранилась в общем составе архива Голохвастовых вплоть до 1919 г., когда его перевезли из Звенигородского уезда, где были их имения, в Главархив, причем материалы Яковлевых были выделены в самостоятельный фонд (ныне – *РГАДА*, ф. 129; собственно голохвастовский архив – ф. 1263). Описи того и другого архива, датированные 25 февраля 1919 г., составлены разбиравшим их П.С. Шереметевым. Некоторые из личных бумаг И.А. Яковлева, попавшие в 1850-х годах за границу к Герцену, находятся ныне в Международном Институте социальных исследований в Амстердаме, а их микрофильмы, полученные редакцией "Лит. наследства", переданы на хранение в *РГБ*. См. С.В. Житомирская. Архив Герцена и Огарева. – "Лит. наследство", т. 96, с. 551, 622.

[4]Диплом об избрании И.А. Яковлева членом Вольного экономического общества от 1 марта 1796 г. за подписями П.Б. Пассека, А.А. Нартова и И. Эйлера см.: *РГАДА*, ф. 1291, ед. хр. 251, л. 3.

[5]*Рейхель*, 20–21.

[6]"Записки гр. Е.Ф. Комаровского". СПб., 1914, с, 148, 159; *РГАДА*, ф. 1291, ед.хр. 251, л. 9.

[7]*Пассек* I, 78.

[8]Сообщая жене 17 декабря 1839 г. о посещении им О.А. Жеребцовой, Герцен писал, что нашел с ее стороны "столько приветливости и доброты, сколько не ждал" (XXII, 64).

[9]*Рейхель*, 21.

[10] Г. Струве. Эпизод из жизни Л.А. Яковлева, "сенатора", дяди А.И. Герцена ("Возрождение", 1971, № 219, с. 52–68); "Архив князя Воронцова", кн. XVII. М., 1880, с. 20; кн. XX, 1881, с. 427; кн. XXIX, 1883, с. 440–448.

[11]"Русский биографический словарь", т. Сабанеев-Смыслов. СПб., 1904, с. 79–81; Б.Л. Модзалевский. Роман декабриста Каховского. Л., 1926, с. 8–9, 14–15.

[12]*Рейхель*, 20, 26.

[13]*Пассек* I. 231–232.

[14]Там же, 231–232, 335; "Русский биографический словарь", т. Павел (преподобный) – Петр (Илейка). СПб., 1902, с. 359–361; Б.Л. Модзалевский. Указ. соч., с. 17–21; "Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина". М., 1951, с. 46, 48–49, 51, 56, 76.

[15]*Пассек* I, 158, 218; П.В. Долгоруков. Российская родословная книга, ч. I. СПб., 1854, с. 80–82, 282.

[16]"Русский биографический словарь", т. Бетанкур-Бякстер. СПб., 1908, с. 177.

[17]См.: Л.Р. Ланский. Неизвестные произведения и неосуществленные замыслы Герцена (XXX, 853–854).

[18]По предположению Л.Р. Ланского (см. указ. выше его работу), с Дмитриевым Герцена познакомил вхожий в дом Яковлева чиновник и литератор Д.И. Пименов. Здесь же Ланский пишет, что кроме известного текста "Былого и дум" с упоминанием о посещениях Дмитриева в студенческие годы (VIII, 304), Герцен "почти нигде не высказывался о своих отношениях с престарелым московским поэтом". Между тем, в следственных показаниях 1834 г. среди тех, кого он имеет честь "знать довольно коротко" (в первоначальном варианте показаний среди тех, у кого "имею честь бывать"), Герцен называет "его превосходительство Ивана Ивановича Дмитриева" в одном ряду с такими близкими ему людьми, как, например, родной дядя – Л.А. Яковлев, М.Ф. Орлов, Н.Н. Бахметев (XXI, 410, 584).

[19]О частом посещении М.А. Милорадовичем дома И.А. Яковлева в первой половине 1820-х годов пишет и Пассек (I, 162).

[20]"Русский биографический словарь", т. Кнаппе – Кюхельбекер. СПб., 1897, с. 409.

[21]*Пассек* I, 231–232.

[22]"Русский биографический словарь", т. 12. Обольянинов–Очкин. СПб., 1905, с. 194.

[23]*РГАДА*, ф. 1291, ед. хр. 7, л. 2.

[24]О А.И. Михайловском-Данилевском, его участии в кампаниях 1812–1815 гг., в послевоенном общественном движении и о его историографической деятельности см.: А.Г. Тартаковский. Военная публицистика 1812 года. М., 1964, с. 87–94; Его же. 1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого изучения. М., 1980 (по указателю); *РС*, 1893, № 7, с. 175–179; *РГВИА*, ф. 1. оп. 1, т. 6, ед. хр. 17538 (формулярный список).

[25]А.Г. Тартаковский. 1812 год и русская мемуаристика, с. 218–224.

[26]"Manuscrit de mil huit cent douze, contenant le précis des événements de cette année pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon. Par le baron Fain", t. II. Bruxellis, 1827, p. 89–90; "Записки Д.Н. Свербеева (1799–1826)", т. I. М., 1899, с. 498.

[27]См. в кн. 2-й наст. тома сообщение С.К. Романюка "Герцен в Москве".

[28]Время пребывания Михайловского-Данилевского в Москве устанавливается по его записной книжке, где он пунктуально фиксировал свои передвижения. 23-м февраля 1829 г. помечен его приезд в Москву из нижегородского имения Гари, а 5 марта – в Петербург (*ИРЛИ*, ф. 527, ед. хр. 27, л. 45). В письме к жене от 1 марта 1829 г. Михайловский-Данилевский пишет, что "завтра" едет в Петербург (*ЛО* Архива *РАН*, ф. 295, оп. 1, ед. хр. 9, л. 2об.). Следовательно, в Москве он находился с 23 февраля по 2 марта 1829 г.

[29]ЛО Архива *РАН*, ф. 295, оп. 1, ед. хр. 9, л. 1–2.

[30]*РНБ*, ф. 859. 2. 8, л. 78–79.

[31]*Пассек* I, 83.

[32]*РНБ*, ф. 859. 2. 5, л. 18–19.

[33]Яковлев имеет в виду принятие Герцена "учеником в Московское общество испытателей природы 16 июня 1830 г., награждении его 22 июня 1833 г. серебряной медалью за выпускное сочинение "Аналитическое изложение солнечной системы Коперника" и присвоение ему ученой степени кандидата в связи с окончанием Московского университета (*ЛЖГ* I, 41–42, 50–51; VIII, 460).

[34]Помимо семи писем к разным лицам, использованных в нашей работе, публикуемого в настоящем томе письма к А.А. Герцену от 8 февраля 1845 г., и упомянутого выше письма к Михайловскому-Данилевскому от 23 ноября 1836 г., это – письма к: А.А. Яковлеву от 1821 г. (*Л* XII, 168), Т.П. Пассек б.д. (*Пассек* I, 261), Д.П. Голохвастову от мая 1845 г. *(РГАДА*, ф. 1264, ед. хр. 35, л. 1).

[35]Речь идет о мемуарах режиссера Французского театра в Москве в начале XIX в. А. Домерга, изданных в Париже в 1835 г. (A. D o m e r g u e, La Russie pendant les guertes de l'Empire (1805–1815). Vol. I–II. Рус. перевод: *ИВ*, 1881, № 6–8, 10–12).

[36]"Лит. наследство", т. 63, с. 582.

[37]*Л*. I, 276, 332; *ЛЖГ* I, 94–95, 98.

[38]*ГАРФ*, ф. 109, ед. хр. 239, ч. 10. "О лицах, певших пасквильные песни. Об Александре Герцене".

[39]Там же, л. 7 – 7 об. Подлинник на немецком языке. В русском переводе опубликовано: *Л* I, 276. Лемке, видимо, не представлял себе, кем был Гильтебрандт, отзываясь о нем как о "каком-то И. Гильдебрандте", "неизвестном нам ходатае к Арндту" и неверно передавая его инициалы. В следственных показаниях 1834 г. Герцен называет "его превосходительство Федора Андреевича Гильтебрандта" среди своих коротких знакомых (XXI, 411).

[40]*ГАРФ*, ф. 109, ед. хр. 239, ч. 10, л. 13.

[41]*ЛЖГ* I, 98.

[42]"Записки графа А.Х. Бенкендорфа (1832–1837)". – В кн.: Н.К. Ш и л ь д е р. Император Николай I. Его жизнь и царствование, т.II. СПб." 1903, с. 730–731.

[43]*ГАРФ*, ф. 109, ед.хр. 239, ч. 10, л. 11.

[44]Там же, л. 13; *Л* I, 332.

[45]Рапорт отослан 17 июня.

[46]*РГАЛИ*, ф. 46, оп. 1, ед.хр. 9, л. 10об. На наличие в архиве П.И. Бартенева этих заметок указано мне Н.А. Рабкиной.

[47]*Звенья* VIII, 67–68.

[48]"Записки графа А.Х. Бенкендорфа (1832–1837)", с. 730–731.

[49]*Пассек* I, 95; "Русский биографический словарь", т. Яблоновский-Фомин. СПб., 1913, с. 93; *Л* XXI, 577; А.Б. Л о б а н о в - Р о с т о в с к и й. Русская родословная книга, т. II. Изд. 2-е. СПб., 1895, с. 445–446. О М.А. Яковлеве много и интересно пишет в своих знаменитых записках сталкивавшийся с ним по службе А.Т. Болотов ("Жизнь и приключения А. Болотова, описанные самим им для своих потомков", т. I. СПб., 1871, с. 310–320, 323–327, 331; т. II, 1871, с. 250–257, 259–262).

[50]*РГАЛИ*, ф. 46, оп. 1, ед.хр. 9, л. 11об.

[51]*РА*, 1893, № 5, с. 5. А.А. Титов опубликовал здесь указы Екатерины II на имя М.А. Яковлева за 1763–1764 гг. наряду с другими документами, хранившимися в этих "портфелях", в том числе и составленное в 1798 г. братом Ивана Алексеевича – А.А. Яковлевым "Родословие Яковлевых", которое возводило их род к выходцам из Пруссии, перешедшим в 1241 г. на службу к великому князю Александру Ярославовичу Невскому.

[52]См. А.Н. Д у б о в и к о в. Письма Е.И. Герцена ("Лит. наследство", т. 63, с. 416–429).

[53]*ГАРФ*, ф. 109, ед. хр. 239, ч. 10, л. 14.

[54]*РГАЛИ*, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 9, л. 11об.

[55]М.Г. В а н д а л к о в с к а я. Допросы А.И. Герцена в Следственных комиссиях 1834 года как исторический источник. – В кн.: "Археографический ежегодник за 1961 год". М., 1962, с. 105.

[56]*РГВИА*, ф. ВУА, ед. хр. 3465, ч. IV, л. 63–65.

[57]А.И. М и х а й л о в с к и й - Д а н и л е в с к и й. Описание Отечественной войны в 1812 году, т. III. СПб., 1839, с. 61–65.

[58]М.И. Б о г д а н о в и ч. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам, т. II. СПб., 1859, с. 320–324, 603.

[59]Наброски из воспоминаний князя Д.Д. Оболенского (*РА*, 1894, № 12, с. 581–583); В.М. Г о л и ц ы н. Московский университет в 60-х годах ("Голос минувшего", 1917, 11–12, с. 217–218; В.А. С к о р о с п е л о в а. Московское дворянское собрание 1865 г. и газета "Весть" ("Вестник МГУ". История, 1974, № 2, с. 27–44).

[60]А.Н. Д у б о в и к о в. Воспоминания Т.П. Пассек "Из дальних лет" как источник для изучения биографии Герцена и Огарева. – "Лит. наследство", т. 63, с. 572–587, 613.

[61]*РА*, 1874, № 4, стлб. 1053; Д.Д. Голохвастов в своем стремлении отмежеваться от Герцена был не вполне точен (по неведению или намеренно). В конце 1864 – начале 1865 г. Герцен встречался в Женеве с его братом, П.Д. Голохвастовым – фольклористом, историком, писателем и тоже земским деятелем, о котором писал М.К. Рейхель: "Он очень, очень порядочный человек – с ним помянули московских" (XXVIII, 32). Привлекла внимание Герцена и личность самого Д.Д. Голохвастова в связи с его конституционной речью в Московском дворянском собрании 11 января 1865 г. Живой интерес Герцена к этой речи отразился в статьях "Прививка конституционной оспы" и "Поправки и дополнения" (XVIII, 317–324, 327–331), а также в письмах к Н.А. Тучковой-Огаревой и Огареву (XXVIII, 35, 44).

[62]*РА*, 1874, № 4, стлб. 1054, 010,192–01093.
[63]А.Н. Дубовиков. Указ. соч., с. 622–626.
[64]Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 томах, т. 62. М., 1959, с. 274–275; т. 83, 1938, с. 282–283; "Лит. наследство", т. 69, кн. 1, с. 530; кн. 2, с. 20.
[65]*ГИМ*, ф. 404, ед. хр. 95, л. 22, 24–28, 34, 35, 36об., 37–38.
[66]*РА*, 1874, № 4, стлб. 1062–1069.
[67]Там же, стлб. 1062.
[68]*РГАДА*, ф. 1291, ед. хр. 6, л. 5–6об. (автограф И.А. Яковлева), л. 3–4об., 7–8об. (автограф Д.П. Голохвастова), л. 1–2 ("выписка" из книги А. Фэна).
[69]А.Н. Попов. Французы в Москве в 1812 году. М., 1876, с. 151–154. В.К. Надлер. Император Александр I и идея Священного союза. т. II. Рига, 1886, с. 89–92; И.М. Катаев. Переписка о мире между Наполеоном и Александром. – В кн: "Отечественная война и русское общество", т. IV. М., 1912, с. 175–176.
[70]*ЛЖГ* I, 29.
[71]Е.В. Тарле. Соч., т. VII. М., 1959, с. 648.
[72]*РА*, 1874, № 4, стлб. 1061.
[73]*РГАДА*, ф. 1291, ед. хр. 6, л. 3.
[74]*Пассек* I, 83; В.К. Надлер. Указ. соч., т. II, с. 89.
[75]А.Г. Тартаковский. Население Москвы в период французской оккупации в 1812 г. – "Ист. записки", 92. М., 1973, с, 357, 360–361.
[76]В.К. Надлер. Указ. соч., т. II, с. 36–39.
[77] М.И. Богданович. Указ. соч., т. II, с. 325.
[78]"Краткие записки адмирала А. Шишкова". 2-е изд. СПб., 1832, с. 45–46; *РГИА*, ф. 772, оп. 1, ч. 1, ед. хр. 258.
[79]"Лит. наследство", т. 91, с. 282–291.
[80]*РГВИА* ф. 194, ед.хр. 17, л. 15.
[81]Там же, л. 95об. – 96об; ед.хр. 16, л. 110.
[82]Там же, ед. хр. 17, л. 15об.
[83]"Сын отечества", 1840, т. II, отд. VI, с. 348.
[84]"Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова", т. III. СПб., 1840, ч. 2-я, с. 30.
[85]"Сочинения Давыдова (Дениса Васильевича)". СПб.,1848, с. 314.
[86]"Сочинения Д.В. Давыдова", т. I. М., 1860, с. 30.
[87]Д.В. Давыдов. Сочинения, т. III. СПб., 1893, с. 100.
[88]*Пассек* I, 231.
[89]*РГВИА*, ф. ВУА, ед. хр. 3465, IV, л. 66об.
[90]*РНБ*, ф. 859, 2, 8, л. 79.
[91]Л.Я. Гинзбург. "Былое и думы" Герцена. Л., 1957, с. 197–198.
[92]Пропуск за подписью Э. Мортье хранится в архиве А.А. Аракчеева (*РГВИА*, ф. 154, ед. хр. 94, л. 90–93), фотокопия расписки, полученная из Международного института социальных исследований, – в архиве Герцена (*РГБ*, ф. 69, 25, 25).
[93]См. С. Розанова. Толстой и Герцен. М., 1972, с. 252–253.
[94]И.А. Желвакова. Дом в Сивцевом Вражке. М., 1982, с. 153–173.
[95]*Пассек* I, 26, 81, 479.
[96]Там же, 83.
[97]Там же.
[98]Там же.
[99]Там же, 87.
[100]Там же, 88.
[101]*РА*, 1874, № 4, стлб. 1067, 191–0193.
[102]А.Н. Дубовиков. Указ. соч.
[103]*РА*, 1874, № 4, стлб. 1055–1058.
[104]"Записки С.Г. Волконского (декабриста)". СПб., 1902, с. 188–189.
[105]Н. Дубровин. Отечественная война в письмах современников (1812–1815). "Записки императорской Академии наук", т. 43. СПб., 1882, с. 140.
[106]Записки С.Г. Волконского, с. 188.
[107]Там же, с. 189.
[108]*РНБ*, ф. 859, оп. 2, 8, л. 79.
[109]*РГВИА*, ф. 194, ед. хр. 17, л. 15об.; ед.хр. 16, л. 95об. – 96об.
[110]"Звезда", 1984, № 7, с. 198.
[111]"Записки С.Г. Волконского", с. 189.
[112]*РС*, 1872, № 12, с. 618.

ПИСЬМО И.А. ЯКОВЛЕВА САШЕ ГЕРЦЕНУ

Публикация Л.И. Матюшенко

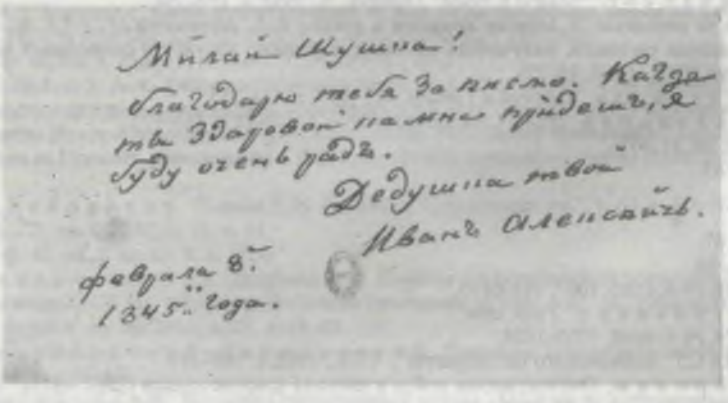
Из всей переписки Герцена с его отцом И.А. Яковлевым до нас не дошло ни одного письма. Публикуемая записка – единственный в своем роде документ: строки, обращенные к пятилетнему внуку, в известной степени приоткрывают душевный мир Яковлева и являются дополнительным штрихом к его характеристике в "Былом и думах".

"Слабым и уже действительно больным" застал Герцен своего отца после возвращения из ссылки в 1842 г. «Тогда только оценил я, – писал он в "Былом и думах", – все безотрадное этой жизни; с сокрушенным сердцем смотрел я на грустный смысл этого одинокого, оставленного существования, потухавшего на сухом, жестком, каменистом пустыре, который он сам создал возле себя, но который изменить было не в его воле; он знал это, видел приближающуюся смерть и, переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживал себя. Мне бывало ужасно жаль старика, но делать было нечего – он был неприступен». И добавлял: "Тихо проходил я иногда мимо его кабинета, когда он, сидя в глубоких креслах, жестких и неловких, окруженный своими собачонками, один-одинохонек играл с моим трехлетним сыном. Казалось, сжавшиеся руки и окоченевшие нервы старика распускались при виде ребенка и он отдыхал от беспрерывной тревоги, борьбы и досады, в которой поддерживал себя, дотрогиваясь умирающей рукой до колыбели" (VIII, 104).

Саша был любимцем дедушки. Как и Герцена в детстве, Яковлев называет его *Шушкой*. Нельзя не вспомнить и о глубокой привязанности деда и к своему второму внуку – Коле, о которой нам известно из воспоминаний М.К. Рейхель.

Характерна орфография публикуемого документа.

Записка печатается впервые по фотокопии *РГБ* с автографа *BN*.


Милай Шушка!
благодарю тебя за писмо. Кагда
ты здаровой ка мне прйдешь, я
буду очень рад.
Дедушка твой
Иванъ Алексайчъ.
февраля 8.
1845. года.

ПИСЬМО И.А. ЯКОВЛЕВА ВНУКУ САШЕ

Автограф. (Москва), 8 февраля 1845 г.

Национальная библиотека, Париж

(Москва. 8 февраля 1845 г.).

Милай Шушка!

благодарю тебя за писмо[1]. Кагда ты здаровой ка мне прйдеш[2], то я буду очень рад.

Дедушка твой

феврала 8 1845-го года. Иван Алексейчь

[1]Письма Саши к деду неизвестны.

[2]В связи с болезнью старшего сына Н.А. Герцен писала Н.Х. Кетчеру 17 февраля 1845 г.: "Я уж и не рассказываю тебе, как было Саша занемог, как он похудел..." (XXII, 227).

Наталья Александровна ГЕРЦЕН (ЗАХАРЬИНА)

ПИСЬМА Н.А. ГЕРЦЕН Т.А. АСТРАКОВОЙ, ГЕРЦЕНУ, САШЕ И ТАТЕ ГЕРЦЕНАМ, ОГАРЕВУ И Н.А. ТУЧКОВОЙ

Публикация Ю.П. Благоволиной, В.Г. Зиминой и И.М. Рудой

ГЕРЦЕНУ

Статья и публикация В.Г. Зиминой

Публикуемые письма Натальи Александровны *Герцен* (рожденной Захарьиной, 1817–1852) охватывают период в двенадцать лет, с 1840 по 1851 г. Число их несопоставимо с теми письмами, которые она писала Герцену в период, когда они были женихом и невестой; те исчисляются многими десятками. И это понятно: они жили тогда врозь.

Первый обмен письмами Натальи Александровны с Герценом после их женитьбы относится к 1839 г., ко времени коротких отлучек Герцена из Владимира, сначала в Москву (январь 1839 г.), затем в Москву и Петербург (декабрь того же года). Все семь ее писем того года напечатаны в сборнике "Братская помощь пострадавшим в Турции армянам" (М., 1897). Данная публикация исчерпывает все остальные известные нам письма Н.А. Герцен к мужу. В их жизни было немного разлук, вызывавших необходимость переписки[1]*.

Герцен высоко ставил эпистолярные способности Натальи Александровны. "Ты, может, не имеешь понятия об огромности твоего таланта *писать*, – замечал Герцен в марте 1838 г. – Этот талант, выращенный религией и любовью, ставит каждое письмо твое выше всех статей моих" (XXI, 327). Печатью этого таланта, простоты, глубокой внутренней силы, поэтичности и образности отмечены и публикуемые здесь письма Н.А. Герцен к мужу.

На одном дыхании написано первое из писем настоящей публикации. В нем явственно чувствуется связь с письмами Натальи Александровны к Герцену поры их юношеской любви. Это, собственно, не письмо в строгом смысле слова (они в это время не разлучались, были оба в Москве), а скорее запись дневникового характера, обращенная к мужу.

Второе письмо – от августа 1843 г.

Между этими двумя письмами – серьезное испытание, пережитое молодыми супругами, как бы первый акт семейной драмы Герцена, его мимолетное увлечение, что определит отчасти в дальнейшем трагический финал их любви. Об этом периоде красноречиво свидетельствует дневник Герцена, относящийся к зиме-весне 1843 г. (II, 256–284), полный раскаянья и сознания непоправимости случившегося, горечи, отчаяния...

Лето 1843 г. принесло Наталье Александровне некоторое успокоение. Об этом она писала Кетчеру в декабре того же года: "Ты слишком хлопочешь обо мне, мне даже совестно, *я спокойна*, есть больные места в душе, до них больно дотронуться, ну и не будем дотрогиваться, а вообще покровская хлеб-соль мне впрок пошла, я живу так, в полусне, кажется вполовину стала чувствовать и понимать, лампада полнее масла, светильня тонет, огонь тусклее – может, это и хорошо..." (XXII, 163).

---

[1]* Нам неизвестны письма Н.А. Герцен к мужу с 22/10 июня по 10 июля/28 июня 1849 г., когда Герцен уехал из Парижа к Женеву, а Наталья Александровна еще оставалась во Франции. Однако из ответных писем Герцена видно, что они были, и остается надеяться, что со временем они где-нибудь обнаружатся.

Именно к концу лета, проведенного в Покровском, и относится второе письмо. Тон его – ровный, спокойный. Оно дышит ощущением полного житейского благополучия и проникнуто любовью к мужу.

Следующие девять писем относятся к октябрю 1846 г. Ими отмечен еще один существенный этап в формировании личности Н.А. Герцен, который она запечатлела и на страницах своего дневника (IX, 271–275). Лето 1846 г., проведенное Герценами в Соколове, было, как известно, "кризисным" в истории московского кружка друзей Герцена. Именно в это время с болью порвались дружеские связи, казавшиеся прежде неразрывными, нарушились душевные контакты, еще совсем недавно представлявшиеся нерушимыми. Через новую кризисную фазу прошли, по-видимому, и отношения Натальи Александровны с мужем ("У меня поколебалась вера в Александра – не в него, а в нераздельность, в слитость наших существований, но это прошло, как болезнь, и не возвратится более" – IX, 272). Подводя в дневнике итог этому периоду, Наталья Александровна писала: "Религиозная эпоха наших отношений прошла" (там же, 271). Однако пережитые испытания способствовали возмужанию души.

В письмах этого времени много подробностей из жизни семьи в отсутствие Герцена. Они драгоценны потому, что документально воспроизводят картину взаимоотношений в московском кружке перед самым отъездом Герценов. Из писем видно, что идейный конфликт не привел к разрыву приятельских отношений в житейско-бытовом плане. Наталью Александровну постоянно посещают общие друзья; Т.Н. Грановский, как и в 1843 г., читает лекции для нее в доме Герценов, потому что она больна и не выезжает; поправившись, она бывает у Коршей, ведет долгие беседы с Серафимой Кетчер – и пр. И все-таки это общение, очевидно, уже не приносит прежней радости. 5 октября Наталья Александровна пишет мужу: "У нас все мирно и хорошо, то есть что хорошо? Хорошо в душе. там, глубоко, на самом дне, а чем ближе к поверхности, тем мутнее, и, наконец, виднеются щепки да обломки после бури" (п. 5).

Особое место в публикуемых письмах занимает Огарев – единственный друг, оставшийся по-настоящему близким и после распада кружка. "Что касается до меня, – пишет она 13 октября, – так все мои симпатии, привязанности после тебя – все слилось в преданности этому человеку, шире, глубже натуры я не знаю" (п. 11).

Часто Наталья Александровна пишет о детях. Пишет с сознанием глубокой ответственности за их воспитание и судьбы: "Дети – да, я люблю их много..." (п. 4). Рассказывая о Саше, она делится с мужем наблюдениями и раздумьями. Но еще чаще она размышляет о взаимоотношениях с мужем, о глубокой их духовной связи.

Вместе с другими письмами Н.А. Герцен за этот период, с дневниковыми записями и набросками биографии публикуемые письма 1846 г. занимают важное место в биографии Н.А. Герцен и формировании ее идейного облика.

Два письма 1850 г. писаны в Цюрихе.

Оказавшись вновь в этом городе через восемнадцать лет, в 1868 г., Герцен записал в дневнике: "Цюрих... Здесь началась трагедия, кончившаяся похоронами 2 мая. Сюда были писаны первые письмы с сомнением, со страхом, с затаенной надеждой ⟨...⟩ Я смотрю на эти города – как Уллис на те скалы, на которых были клочья его кожи, его кровь ⟨...⟩ Я вспоминаю сплошную боль..." (XX, 611).

В "Былом и думах" (глава "Кружение сердца") о Цюрихе сказано вскользь, мимоходом: "В конце 1849 я поехал из Цюриха в Париж" (X, 253). "Сплошная боль", пережитая им в этом городе, осталась за рамками мемуарного повествования, но – как ясно показывает эта дневниковая запись – она долго была еще живым и мучительным воспоминанием в душе. "Былое и думы" фиксируют лишь итог этих переживаний: «Я тогда только дошел до одного слова, не выходившего из головы: "Несчастие, несчастие!.."» (X, 254).

Разлука между супругами после отъезда Герцена из Цюриха в Париж продолжалась чуть более месяца. По "Былому и думам" известно, что в это время оба они неоднократно писали друг другу; часть писем процитирована Герценом в главе "Кружение сердца" (X, 254–255). Однако до сих пор считалось, что ни одно из упоминаемых и цитируемых там писем Герцена и его жены не сохранилось.

Поэтому два письма Н.А. Герцен, публикуемые ниже, чрезвычайно существенны для восстановления и реальных данных о ее переписке с мужем в этот период, и психологической атмосферы, в которой эта переписка велась.

После свидания в Берне с Герценом 22 декабря 1849 г. Гервег едет к Наталье Александровне в Цюрих – и в Цюрих приходят письма Герцена, адресованные не только жене, но и Гервегу. Его письма этого времени к жене не сохранились, письма же к Гервегу хорошо известны читателям. Наталья Александровна прочитывает и те, и другие. Во всяком случае, из публикуемого ниже письма от 12 января 1850 г. ясно, что она прочла письмо мужа к Гервегу от

31 декабря 1849 г. (см. XXIII, 226–229), в котором Герцен резко упрекал его в "капризной жестокости" по отношению к жене Гервега Эмме, находившейся тогда в Париже. Как бы продолжая разговор, начатый Герценом в его письме, она пишет мужу об Эмме: "Она возмутительно любит! Я жалею Г⟨еорга⟩ более, чем тебя, в этом случае. Жалею столько же и ее". Из позднейшего письма Гервега к Герцену от июня 1850 г. мы узнаем, что Наталья Александровна одобряла поведение Гервега пока оставалась в Цюрихе (*Л* XIV, 83). В том же письме она говорит, что ее письмо к Эмме "сухо". Вполне возможно, что обида за оскорбленного Гервега, усиленная разговором с ним самим, определило тот "резкий и холодный", "калигулийский", по определению самого Герцена (XXIII, 244), тон ее писем к мужу, который так больно ранил его. Упомянутое письмо Герцена к Гервегу от 31 декабря 1849 г. с упреками в его адрес было получено в Цюрихе 3 января 1850 г. Значит, 3 или 4 января должно быть, вероятно, датировано то письмо Натальи Александровны к мужу, в котором она говорила о своем "сочувствии к Гервегу" (X, 254) и которое побудило Герцена задать ей наконец прямо вопрос о характере ее чувства к его другу. Это неизвестное нам письмо к жене было написано, как указано в "Кружении сердца", 9 января (там же, 491). В тот же день Герцен пишет ответ и на письмо Гервега, где говорит о холодности писем жены и о своем душевном смятении: "В мыслях у меня хаос, всё в брожении, распадаются последние основы, рушатся последние прибежища" (XXIII, 231).Текст его письма к жене неизвестен, но в "Былом и думах" Герцен вспоминает, что оно было "печально, но спокойно" (X, 254). Он просил ее "тихо, внимательно исследовать свое сердце и быть откровенной с собой" и с ним (там же). Ее ответное письмо, очень неполно и неточно процитированное Герценом в его мемуарах, впервые становится теперь известным в подлинном своем виде (п. 12).

Наталья Александровна изъявляет полную готовность быть откровенной с мужем ("Я же так откровенна с тобой, мой Александр") и прямо говорит, что всегда ("с самого начала нашей жизни вместе") не была полностью удовлетворена взаимоотношениями с ним. Она ставила – совершенно, по-видимому, искренне – свое чувство к Гервегу в один ряд с чувством к старшему сыну и к Н.А. Тучковой, спасавшим ее от ощущения пустоты, которая возникала в душе от недостатка любви мужа. Тот факт, что любовь к Гервегу привела ее к измене мужу, как бы не существует для нее в этом письме. "Чиста перед тобой и перед всем светом", "во всем этом для тебя нет тени оскорбительного", – восклицает она. Письмо это – странный психологический феномен, и именно так, по-видимому, расценил его Герцен, пытаясь в ответном письме разъяснить жене грозную опасность именно данной ситуации: "Не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений; диалектикой не уйдешь от водоворота – он все же утянет тебя" (X, 255)

В публикуемом письме от 12 января 1850 г. есть еще один оттенок, чрезвычайно существенный для восстановления истории драмы, переживавшейся Натальей Александровной: оно свидетельствует о некотором разочаровании ее в Гервеге уже на этой стадии и о жестокой небрежности его в это время по отношению не только к Эмме, но и к ней. "Г⟨еорг⟩ собирается каждый день уехать в Берн, ни его намерений, ни действий – я ничего не знаю. Он никогда не говорит ни о чем", – с горечью пишет она мужу. И в письмах из Парижа к самому Гервегу она говорит уже и об Эмме, и о себе: "Сколько зла причинил ты и ей, и мне... Да, и мне также ⟨...⟩ Много я *перенесла из-за тебя*!!!"[1]

Отсюда и финальная фраза письма: "Хорошо бы, я бы желала поселиться вместе с Г⟨ервега⟩ми, но не надеюсь ни на того, ни на другого из них, чтоб они сделали это возможным". Это сознание не удержало Наталью Александровну в дальнейшем от настойчивого стремления все-таки оказаться во что бы то ни стало вместе с Гервегами в Ницце, но симптоматично, что сомнение в целесообразности этого шага возникло в ней еще за год до окончательной катастрофы, разбившей, по словам Герцена, "всё" (X, 253).

Вполне вероятно, что именно неопределенность и уклончивость позиции Гервега по отношению к ней в это время заставили Наталью Александровну почти панически броситься вместе с детьми в Париж к мужу при первом намеке Герцена на возможность разрыва. Чувство ее к Гервегу уже в этот момент пережило "страшное кораблекрушение", а любовь Герцена для нее – "отчизна", где, как она верит, ей все-таки всегда будет хорошо (п. 13).

Именно полный текст обоих публикуемых писем 1850 г. дает возможность убедиться в точности тогдашних наблюдений Герцена. "В длинных разговорах того времени, – пишет он о времени возвращения жены в Париж, – одна вещь удивила меня, и я ее исследовал несколько раз и всякий раз убеждался, что я прав. Вместе с оставшейся горячей симпатией к Г⟨ервегу⟩ Natalie словно свободнее вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства; она боялась его, она чувствовала, что в его душе есть темные силы, ее пугал его бесконечный эгоизм, и она искала во мне оплота и защиту" (X, 255). Мы можем теперь с уверенностью сказать, что это не рет-



Н.А. ГЕРЦЕН

Портрет работы Х.Я. Рейхеля (масло). Новгород, 1842

Музей Герцена, Москва

роспективная оценка ситуации, а точное ощущение пережитого им тогда момента, основанное на действительно внимательном и беспристрастном анализе душевного состояния жены.

26 писем последнего цикла переписки Н.А. Герцен с мужем относятся к лету 1851 г. Они написаны ею во время их новой разлуки более чем на месяц (3 июня – 10 июля), вызванной высылкой Герцена из Ниццы и хлопотами о натурализации в Швейцарии, совпавшими с потребностью Герцена, по его собственным словам, "после всего бывшего отдохнуть" (X, 269). Эти письма Н.А. Герцен – неожиданно полученная возможность услышать ее собственный голос в период, предшествующий их "второму венчанию" в Турине (XXIV, 256). До сих пор была известна только краткая характеристика писем Н.А. Герцен, написанных с 4 июня до 2 июля 1851 г. (т.е. до получения ею письма Герцена с рассказом о встрече с Н.И. Сазоновым). Она дана Герценом в "Былом и думах". В ней всего 9 слов: "Письма Natalie были покойны, на душе будто становилось легче" (X, 269). Публикуемые письма (п. 14–34), в сочетании с письмами самого Герцена, позволяют увидеть то, что стояло за этой фразой, дают возможность теперь внести в утверждение Герцена некоторые коррективы, дополнить и уточнить его.

"Будь спокоен, твое спокойствие – мое спокойствие", – пишет Н.А. Герцен мужу в пер-

вый же день после его отъезда (п. 14). Тема "злополучного увлечения" не называется, но постоянно чувствуется и во всех внутренне напряженных письмах Герцена, и в спокойно сдержанных ответах его жены. Как бы много ни обсуждалось в них житейских вопросов – от того, где лучше с детьми обосноваться на местожительство, до взаимоотношений А.Х. и В.А. Энгельсонов, Н.А. Герцен не пропускает в своих письмах без внимания ни одного упоминания о тревожном состоянии, душевном самочувствии мужа... "В ответ на то, что ты пишешь, скажу тебе, друг мой, что если бы ты мог заглянуть в мое сердце, так был бы доволен и спокоен", – отвечает она 12 июня (п. 18) на его письмо от 7 июня (XXIV, 172–173). В ответ на оброненные Герценом в письме от 9 июня слова о том, что его "постоянно разъедает какая-то злоба и какая-то тоска" (XXIV, 174), Наталья Александровна пишет ему 14 июня: "Чего мне стоит твое Grübelei[2*], друг мой, если бы ты знал это, так не то чтобы не писал об этом мне, а не было бы его у тебя..." (п. 20). Из письма в письмо (а они отправляются почти каждый день) Н.А. Герцен старается снять внутреннее беспокойство мужа, развеять тревожащие его "грозные предчувствия" (XXIV, 180), облегчить "беспредельные страдания" (там же, 186–187), помочь уйти от "страшных воспоминаний" (там же, 189), внушить уверенность в своей любви к нему. "Мрачные предчувствия твои оставь, друг мой, если смерть не придет извне – то мы тихо, тихо перейдем в вечность, то есть передадим детям живое, пережитое и нажитое нами, и все это очищенное любовью" (п. 24).

Несколько писем Н.А. Герцен указывают на не дошедшее до нас одно, а может быть, и два письма Герцена к жене, написанные между 15 и 20 июня. Об их содержании можно судить по ее ответам (п. 26, 27, 29). Как и предыдущие его письма, они по-прежнему тревожны, наполнены упреками, на которые Н.А. Герцен старается обстоятельно и спокойно дать ответ. "Оставим слова, друг мой, не будем подливать во все яду, пойдем с смирением тихо... с убеждением в нашу неразрывность", – отвечает она на несохранившееся письмо мужа (п. 27). "И что же, наконец, охать, кричать... я действительно успокоилась, – отвечает она, очевидно, на его упреки в том, что письма ее чрезмерно спокойны, – погрузившись совершенно в семью, где ты и дети нераздельное для меня. Грустно мне, грустна твоя несправедливость, поверхностность в отношении меня. Но сердиться как мне, заслуженное мною..." (п. 29).

По письмам Н.А. Герцен и самого Герцена ясно прослеживается непростой путь их ко "второму венчанию". "Не защищаясь", как писала Наталья Александровна в одном из писем (п. 26), но настойчиво и твердо убеждает она мужа в необходимости установить взаимопонимание и, главное, вернуться к прежней вере друг в друга. "Если б ты знал лучше историю моей души, которая вся совершалась возле тебя с первой минуты, – ты бы судил меня иначе, но мне невыносимо трудно говорить – уже одно то невыносимо, что *мне* нужно говорить *тебе* – пусть так останется, я *иногда* думаю, что ты меня понимаешь и без слов, а слова до тех пор будут невозможны, пока явится возможность мне убедиться и привыкнуть к тому, что слова между нами необходимы" (п. 32).

Как известно, из писем Герцена к жене за дни, прошедшие после его встречи с Сазоновым от 28 июня 1851 г. до встречи с Н.А. Герцен в Турине в ночь с 9 на 10 июля, уцелело только два: от 28 июня и от 5 июля (XXIV, 192–193 и 195).

Письмо Натальи Александровны от 2 июля доносит до нас первую ее реакцию на письмо Герцена от 28 июня. Так же как Герцена потряс рассказ Сазонова, так Н.А. Герцен потрясло "дурное" письмо мужа, написанное им, по его же словам, "в припадке преступной горячки" (X, 270). Он вспоминает об этом письме в "Былом и думах", глубоко каясь в допущенном в нем "заглазном" оскорблении жены недоверием (там же, 270).

"Александр, наконец, знаешь ли ты меня сколько-нибудь или нет? Если знаешь, то как же рассказ Саз⟨онова⟩ мог заградить так для тебя сказанное мною?? – или ты забыл, что́ я говорила?" (п. 35). В предельно лаконичном рассказе об этом в "Былом и думах" Герцен лишь приводит единственный, очень короткий отрывок из ответного письма жены и дает в двух словах здесь же общую характеристику всех последующих: "кротко печальны" (X, 270). Опубликованный Герценом отрывок является, очевидно, заключительным абзацем письма Н.А. Герцен от 2 июля, только в перефразированном и смягченном виде: "Лучше мне умереть, – цитирует Герцен, – вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в тебе все прошедшее. Что мне делать и как доказывать? Я пла́чу и пла́чу!" (X, 270). В подлинном письме это звучит так: "А потом я хотела бы умереть скорее, *если* ты имеешь так мало веры в меня, так жить нельзя и не нужно, а смерть и тебе будет маленьким доказательством" (п. 35).

[2*] тоска (*нем.*).

Четыре заключительных письма этого цикла: "исполненные грусти, слез, боли, любви" (X, 272), полны одним стремлением: как можно скорее увидеться с мужем и объяснить, наконец, при встрече то, что невозможно было объяснить в письме, на бумаге.

Пять последних писем были адресованы в Турин и получены Герценом за несколько часов до встречи с Натальей Александровной.

Письма 1–11 публикуются по автографам *РГБ* (ф. 69.9.200 и 10.45–46); п. 12–24 и 26–39 – по фотокопиям *РГБ* с автографов *BN;* п. 25 печатается по автографу *РГАЛИ* (ф. 129, оп. 1, ед. хр. 89). Письма 1–24, 26–29, 31–35 публикуются впервые.

Письма 30 и 36–39 опубликованы в *Л* VI, 188, 412–413 и 421–423. Два из них (30 и 39) опубликованы неполно – часть текста в них опущена без оговорок, а три (36–38) – с небольшими неточностями. Кроме того, п. 37 датировано, с нашей точки зрения, неверно: 4 июня вместо 4 июля (см. п. 14 и 37 и прим. к ним).

В настоящей публикации, устраняющей недочеты публикации М.К. Лемке, воспроизведены все письма Н.А. Герцен к мужу, относящиеся к лету 1851 г., в том числе и п. 25, впервые опубликованное в *Звеньях* VIII, 39–40.

Письма 3–7 и 9–11 до сих пор известны были лишь в кратких отрывках, приведенных в статье Е.С. Некрасовой "А.И. Герцен, его хлопоты о заграничном паспорте и последняя поездка в Петербург" (*РМ,* 1904, № 9, с. 158–164 и № 10, с. 37–52). Письмо 8 в этой статье не использовано.

Письма 12–13 и 34 очень неполно и в значительно отредактированных вариантах цитируются в тексте "Былого и дум" (X, 254, 255)[2].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Письмо от 17 февраля ("Лит. наследство", т. 64, с. 274–275. – Публикация Л.Р. Л а н с к о г о).

[2]Наличие писем 1–11 и 25 зафиксировано как в 30-томном Собрании сочинений, так и в *ЛЖГ* I–II. Письма 12–24 и 26–39 обозначены там как неизвестные, и их публикация позволяет внести коррективы и уточнения в оба эти издания.

1

⟨Москва. 14 апреля 1840 г.⟩

Душка моя, ангел мой, я не могла уснуть после тебя, что-то сердце слишком полно, какая-то жизнь, и сила, и счастье в душе... не могу спать! Не брани меня для Светлого Воскресенья. Ты – не знаю где, я дома, но все-таки мы вместе. Вот ударяют в колокол... Христос воскресе, Александр! Пойду похристосуюсь с Сашкой...

Это в первый раз, милая крошка[1], как тихо он ангельски спит, я поцеловала его в грудочку, чтоб не разбудить, и положила красное яйцо в головы, как проснется, будет играть им, и ему будет весело. Весело и нам с тобою, ангел мой, весело!!!

Теперь буду читать этот день в наших письмах[2].

Москва, 1840, апреля 14.

[1]В это время сыну Герцена Саше было десять месяцев.

[2]Герцен и Н.А. любили перечитывать свою двустороннюю переписку за 1835–1838 гг., предшествовавшую их женитьбе.

2

⟨Покровское-Засекино. 11 августа 1843 г.⟩ Пятница, 4-й час

А я сегодня ждала тебя, Александр, рада ужасно письму[1] – мое, не знаю, дойдет ли до тебя. Мы здоровы, с раннего утра отправляемся в лес с целой коляской припасов, там спим, едим, пьем портер и херес, а вечером домой, но и это уж мне наскучило без тебя. Сашка весел и здоров, как нельзя более, спит у К⟨етчера⟩. Я поселилась в кабинете у тебя, ничего не хочется делать, ложусь спать в десятом часу. Добрый Кетчер нянчается с нами, как бабушка-баловница, бросился в другую крайность,

расчищает сучки передо мною в лесу, чтоб я не споткнулась. Душка моя, как бы я обняла тебя и поцеловала! Будто не существовало пяти лет, будто твое письмо я получила тогда, во времена нашей разлуки...

Сашка велел обнять тебя, писать не расположен[2], валяется на траве у купальни. Ну, прощай, приезжай к нам, наш душка Александр, как говорит Сашка.

[1]Ответ на письмо Герцена, написанное накануне, 10 августа (XXII, 150).
[2]В 1843 г. четырехлетний Саша уже делал приписки к письмам родителей (ср., напр., XXII, 157).

3

Москва. 1846. Октября 2-е

Еще вчера мне хотелось писать к тебе, но всё мешали. И так ты далеко теперь от нас, мой ангел, верст двести[1] – ну лишь бы ты был здоров, это заботит меня более всего, береги себя, ради меня береги себя. Мною же ты можешь быть совершенно доволен, здоровье мое не хуже, я спокойна и тверда, беспрестанно с детьми, с ними мне свободно и хорошо.

Вчера многие посещали меня. А все еще новое положение мое для меня так странно, я еще не могу себя привести в порядок, внутренно устроиться, но это скоро пройдет, и мне будет хорошо[2]. Да, Александр, совершеннолетие настало, я это ярко чувствую, романтизм с неопределенною тоскою, со взором, устремленным в туманную даль, с стремленьем туда, туда... с ноющею, страждующею любовью ко всему – отлетел, и навсегда.

Я вижу, сколько последние годы внесли здравого смысла в жизнь, и вижу, что здравый смысл не иссушает души нисколько – это вздор. Но я слишком зафилософствовалась и вижу, как ты торопишься, куда не знаю, но знаю, что торопишься.

Ну, прощай же, Друг, жму твою руку, обнимаю тебя и целую тебя. Не забывай капоты. Кланяйся Панаевой[3] и Петруше[4]. Пиши мне больше о себе, все, все, всякий вздор.

Тебе все кланяются. Твоя N a t a l i e

Лаврентью[5] кланяйся, скажи ему, что я прошу его быть исправным. Доволен ли ты им?

[1]Герцен выехал из Москвы в Петербург 1 октября.
[2]16 мая умер отец Герцена И.А. Яковлев. После возвращения с дачи, в конце сентября, Герцены переселились в так называемый "большой" дом, где Н.А. заняла положение хозяйки.
[3]В Петербурге Герцен остановился у И.И. и А.Я. Панаевых.
[4]П.А. Захарьин, брат Н.А., учившийся в это время в Петербургской Академии художеств.
[5]Слуга в доме Герценов.

4

⟨Москва. 3 октября 1846 г.[1]⟩

Рукой М.Ф. Корш:

Вследствие ваших размышлений, когда вы ехали на извозчике за день до вашего отъезда, я думаю, что вам не покажется смешно, что я пишу к вам. Даже Огарев находит, что это не романтизм. Жаль только, что ему кажется это не романтизмом, потому что мы с вами расстались только три дня. По его мнению, если бы я написала к вам, не видав вас два года, это был бы романтизм. Впрочем, я знаю, что он не так чувствует. Не знаю только, зачем говорить против себя? – Ну, что же сказать вам? – Сегодня слушали мы Грановского, который прекрасно говорил нам о Перикле. – По окончании лекции[2] толковали о том, где вы должны теперь обретаться, когда должны приехать и так далее. – Приезжайте скорее, без вас нехорошо, что-то не живо живется. – Крепко, крепко жму вам руку.

М. К о р ш

Пожалуйста, не забудьте поклониться Засядке. Я воображаю, как он вам обрадуется!

Рукой Огарева:

В последнем и я не сомневаюсь. Сейчас мне М⟨ария⟩ Ф⟨едоровна⟩ гадала в Евангелии, и вышло: "Правду говорю вам, вы ищете меня!..[3]" Но ты знаешь, что найти меня довольно затруднительно. Впрочем, не в том дело, а в том, что мне мало-помалу без тебя становится скучнее и я вижу, что расставанье надолго меня совсем не *меттирует в мою ассьетку*[3*]. Я бы тебе написал много, но на эту минуту (1-е – Саша стол качает), пообедав полтора раза и позавтракав столько же, я не в состоянии писать. Скажу только, что Корш не берется за статью об иностран⟨ной⟩ литературе, и я тоже не берусь[4], хотя, по мнению его, у меня было бы на то довольно Muße[4*], но я так много имею Gang'ов[5*], что Müssiggang[6*] мне мешает делать дело, вовсе мне не сродное. Потом скажу, что я тебе скоро пришлю доверенность о уничтожении известного акта[5]. Потом скажу тебе, что я тебя жду и, пробыв с тобою восемь дней, отправляюсь в дом свой. – Не худо бы тебе познакомиться с полковником Глинкой[6]. – Прощай, на днях напишу резонабельней[7*]. А теперь глуп, хотя и трезв. Quoique ou parce que?[8*]

Кланяйся всем.

Рукой Н.А. Герцен:

3-е, вечер

Да, Александр, и романтизм отлетел, и не дети мы более, а совершеннолетние, и видится потому яснее и глубже – и чувствуется ясней, да, это не натянутая восторженность, не опьяневшая жизнью юность, это не время идолопоклонства, все это далеко там, позади, не вижу ни пьедестала, на котором ты стоял, ни сияния около *главы* твоей, не верю тому, что ты думаешь обо мне, глядя на звездочку в ту же минуту, как я гляжу на нее и думаю о тебе, но вижу ясно и чувствую глубоко то, что я ужасно много люблю тебя, что этой любовью полно все существо мое, что из нее состоит оно, что она жизнь моя – в разлуке это чувствуется ярче – я не скучаю и не страдаю, будь спокоен, – но чувствую, насколько без тебя недостает меня, и мне хорошо это чувствовать, потому что тут яснее полнота существованья моего. Дети – да я люблю их много, но скажу откровенно – это чувство не *питает* так жизни моей, я люблю их для них более, а ты – ну дай же мне твою руку, мой Александр, подумай обо мне, мне очень хорошо теперь – я бы много, много писала тебе, но уж поздно. Утром была лекция. Марья Ф⟨едоровна⟩ и Ог⟨арев⟩ обедали, вечером Сатин просидел долго, хоть и не хочется, пора спать, глаза тяжелы.

С Сатиным все мечтали о нашем путешествии, ах, если б удалось! Он тебе кланяется. – Жду с нетерпением твоего письма. Прощай. Обнимаю, обнимаю тебя.

[1]Дата письма проставлена ниже, в приписке Н.А., вероятно написанной в тот же день.

[2]Речь идет об одной из лекций, прочитанных Т.Н. Грановским в доме Герцена для Н.А. и еще нескольких женщин из ее дружеского окружения: М.Ф. Корш, М.К. Эрн, Т.А. Астраковой и др. (см. "Лит. наследство", т. 63, с. 549–550).

[3]*Евангелие от Иоанна*, 6, 26.

[4]Статьи для журнала "Современник", незадолго до того перешедшего в руки Н.А. Некрасова и И.И. Панаева. Среди сотрудников объявлены были Герцен, Огарев, Т.Н. Грановский, Е.Ф. Корш, К.Д. Кавелин и др.

[3*]Шутливый перевод-переделка на русский лад франц. выражения, означающего буквально: "кладет на свою тарелку" – "ne me met pas dans mon assiette". Здесь оно имеет следующий смысл: "Не приводит меня в душевное равновесие". – *Ред.*

[4*]досуга (*нем.*).

[5*]блюд за обедом (*нем.*).

[6*]праздность (*нем.*). – Каламбур, связанный со сходным звучанием немецких слов "Gang" и "Müssiggang".

[7]рассудительнее (от *франц.* raisonnable).

[8*]Хотя или потому что? (*франц.*)

[5]Герцен выполнял в Петербурге деловое поручение Огарева по урегулированию его денежных отношений с женой (см. "Лит. наследство", т. 61, с. 726–727 и 746–747).

[6]В "Адрес-календаре, или Общем штате Российской империи на 1846 год" числится только один полковник Глинка – Борис Григорьевич, чиновник для особых поручений при военном министре (см. с. 36, 42, 65). Возможно, Огарев считал, что Глинка мог быть полезен Герцену в его хлопотах, связанных с предстоящим получением заграничного паспорта.

5

Москва. 1846 октябрь 5-е

Еще прошло два дни, – от тебя еще нет известия, хотелось бы так узнать, где ты, что делаешь, здоров ли. – У нас все мирно и хорошо, то есть чтó хорошо? Хорошо в душе, там, глубоко, на самом дне, а чем ближе к поверхности, тем мутнее, и, наконец, виднеются щепки да обломки после бури[1]. Хорошо еще мне с детьми, как отдыхаешь, глядя на эти совершенно беспечные личики, как им жизнь легко живется, платок повязан на лбу, а они играют в жмурки и совершенно счастливы; Наташа сделает кружок карандашем и кричит "Паге́, Паге́", т.е. Палагею[2] будто нарисовала, всем показывает и сама радуется и смеется. Саша уже не имеет этого в себе – успокои(ваю)щего, он делается ужасно заботлив и внимателен, преследует меня так же, как ты; заставляет делать, чтó полезно, по его мнению, и останавливает от того, что вредно. Смешно, что я пишу все это тебе, будто мы ужасно давно расстались, ну, уж это моя слабость и *я* ее прощаю себе. – Саша скучает, мне досадно, что я все хвораю, надо бы более пищи и его уму и его живости. И я бы давно могла ему быть полезною, если б была здорова, боюсь, чтоб мое вялое, утомленное беспрестанно состояние не имело на него вредного влияния, я думаю, оно вредит много даже тебе, здоровому и окрепнувшему. Без тебя – он больше, чем кто-нибудь, заменяет тебя мне, как много в нем задатков, как много матерьялов, из которых *бы мог выйти человек*... и что из всего этого сделает жизнь? Страшно...

Вчера у меня все обедали.

Альфонский позволяет мне выезжать, посмотрю, что делается на белом свете. Еще советует мне читать в очках, ну, право, ты откажешься от меня наконец. Все письма Панаева я распечатала и давала читать всем, кому нужно, и просила ему отвечать[3].

6-е. Сегодня поеду к Коршам и так далее.

Ну, Александр, дай твою руку, мой друг. С возвращением физических сил я чувствую более силы в душе, дорого бы я дала, чтобы быть здоровой. Это так портит нашу жизнь, тебя мне жаль более всего... Прощай. Ребятишки все обнимают тебя...

[1]Речь идет о разладе в московском кружке Герцена – Огарева и о резком ухудшении отношений между бывшими друзьями.

[2]Прислуга в доме Герценов.

[3]Упомянутые в письме Н.А. письма И.И. Панаева остаются неизвестными.

6

⟨Москва. 8 октября 1846 г.[1]⟩

Рукой Саши:

Милой Папаша

7-го числа мы получили твое писмо и ради ему, пишим тебе ответ, мама его читала 10 раз.

Я тебе хочю зделать вестья об мама, она выздоровила и вчера ездила в карети. Альфонской пазволил ее ходить па улицы. Я пичятою жолтм сургучем.

Рукой Н.А. Герцен:

Наконец-то получили от тебя письмо! Да, совершеннолетие, а не усталь, не ре-



РИСУНОК А.Л. ВИТБЕРГА, ПОДАРЕННЫЙ ИМ ГЕРЦЕНУ

Карандаш. Вятка, 1837.

Внизу надпись рукой Герцена: "1837. Марта 4"; ниже рукой Н.А. Герцен: "Где ты теперь, милый друг???"

Музей Герцена, Москва

зигнация[9*], я чувствую это на каждом шагу, – с каким восторгом я схватила твое письмо, с каким трепетом сердца и дрожащею рукою распечатала его – не говори этого никому, будут смеяться над этим, мой ангел, мой Александр, но ты не будешь смеяться. Прочла его, и еще, и еще прочла, и жаль было положить его, оно со мною.

В этом письме вижу тебя, так ясно вижу... ну, что же ты делаешь теперь? Пиши нам больше, больше. Теперь уже я не одна читаю письма, а с Сашей. Вчера обедали у нас те же Гр⟨ановский⟩, Сат⟨ин⟩, Ог⟨арев⟩, и все потешались ужасно над практическим[2]. Был ли ты у Ольги Ал⟨ександровны⟩[3] и что она? – Видел ли Петрушу, исполнил ли все поручения Софьи Федоровны[4] и Кетчера – не перезабудь всего. Да не забывай капоты. Скажи Лаврентью, чтоб он был позаботливее, хорошенько бы ходил за тобой. На том свете ему за это самому будет лучше.

Сатин сегодня отправится к Губеру[5].

Гр⟨ановский⟩ продолжает нам читать лекции, Марья Фед⟨оровна⟩ кланяется тебе очень – вообще посещают меня много, и скучать о тебе некогда, даже я желала бы более свободного время и более *возможности* писать тебе. Хорошо было и то время, – беспрерывного трепета сердца, беспрерывного порывания куда-то, желания чего-то, тогда как едва достает силы сладить и с тем, что есть, хорошо пристать и к пристани, с первого взгляда это может показаться равнодушием – ну, вот уж и 10 часов, хочется отослать письмо.

Что Витберг?[6] [10*]

[1]Ответ на письмо Герцена от 3 октября (XXII, 256–257).

[2]В своем письме Герцен рассказывал о соседе до дилижансу, который, предлагая ему водку, каждый раз спрашивал: "Не прикажете ли *практического*?" (там же, 256).

[3]О.А. Жеребцова.

[4]С.Ф. Каппель.

[5]В первом же письме из Петербурга Герцен просил жену послать Н.М. Сатина к Ф.И. Губеру, служившему в канцелярии Московского военного губернатора, чтобы получить какой-нибудь документ "для получения паспорта за границу" (XXII, 257; ср. IX, 213).

[6]А.Л. Витберг.

7

Москва. 1846. Середа 9 октября

Друг мой Александр, сейчас от тебя письмо, и предлинное, благодарю тебя за него, оно ужасно, ужасно много хорошего внесло в душу[1]. Только зачем в нем есть что-то грустное, что-то, чего я не привыкла находить в тебе, когда мы вместе. Этого не нужно, будь тверд и весел, и здоров, как я. А знаешь ли, как при всем совершенно-

---

[9*]покорность судьбе (от *франц.* résignation).

[10*] *На обороте помета Герцена карандашом*: Это письмо я нашел у себя на столе.

летии мы еще дети (я говорю мы, потому что я никак себе не могу представить, чтоб со мною исключительно могла сделаться перемена или что-нибудь разное, – без того, чтоб и с тобою того же не было), сегодня я видела во сне тебя и Ог⟨арева⟩, и так что-то хорошо, что мне все утро еще до твоего письма было хорошо. Я сейчас об этом говорила с Огаревым, он прав, совершеннолетие должно быть помимо детскости, и в самом деле, исключительно с одним или другим невозможно существовать, с одним будешь бояться г⟨енерал⟩-м⟨айора⟩ Ераковa[2], вследствие этого делать на каждом *шагу души* глупости, с другим – будешь чужаком всем и всему на свете, вследствие чего будешь прескучно жить на свете, то и другое необходимо, но они не должны мешать друг другу, не должны смешиваться, а идти рядом, понимаешь ли ты это и находишь ли справедливым?? – Я все еще до сих пор не научилась говорить ясно, прежде говорила мало оттого, что не с кем было, потом оттого, что ты говоришь много. Чувствую, что даже многое в сознанье не выработано до ясности – в этом уже виноваты все сопровождающие обстоятельства и физическое расстройство.

Но все-таки более или менее мне жизнь доступна во все четыре измеренья, и люблю я ее, и хорошо мне, и за все спасибо тебе, тебе – может, и не все взято, что дано, но все, что я могла взять...

Вчера вечером я ездила с Силенькой[3] к Астрак⟨овым⟩, что за чудный человек Сергей Ив⟨анович⟩, все более и более уважаю его, односторонен, но верен, истинен ужасно, даже самые капризы самая юродивость его удивительно человечны, но они нам кажутся нелепыми потому, что мы слишком отдалились от простоты.

Потом уж дома заслушалась Силеньку, вечных рассказов ее о любви к Кешке[4], о ее ночных путешествиях и приключениях, – что это за энергическое существо, исполненное поэзии и чувства. Десять раз у меня навертывались слезы и замирало сердце, дошло и до того время, когда он так был близок к нам, на квартире у к⟨нягини⟩ Гагариной[5], – помнишь? Как он рассказывал о своей любви и уваженье к нам – его участье так живо, живо вспомнилось, и мне стало...

Письмо было прервано посетителем, наш знакомый, добрый А⟨шинов⟩[6] просит тебя сию же минуту по получении этого письма отправиться поговорить о твоем деле – к Николаю Карловичу Войт[7], в доме Камеля, против Александровского ⟨!⟩ театра.

Успех неминуем. Итак, мой ангел, сию же минуту отправляйся и непременно сходи еще, если не застанешь, он сам объяснит тебе все.

Твоя Н.Г.

Тороплюсь отослать, мешкать не нужно.
Саша гуляет, остальной народ спит.

[1]Ответ на письмо Герцена от 4–5 октября (см. XXII, 257–258).

[2]По объяснению М.К. Рейхель, "генерал-майор Ераков" – условный символ, которым обозначались в московском кружке предержащие власти (см. Е.С. Некрасова. А.И. Герцен, его хлопоты о заграничном паспорте и последняя поездка в Петербург. – *РМ*, 1904, № 10, с. 45).

[3]*Силенька* – Серафима Николаевна Кетчер – жена Н.Х. Кетчера.

[4]*Кешка* – Н.Х. Кетчер.

[5]В доме Е.С. Гагариной в Гагаринском переулке Герцены жили с 23 августа до 30 сентября 1839 г. и в ее же доме в Малом Власьевском переулке со второй половины июля 1842 г. по начало сентября 1843 г. (см. *ЛЖГ* I, 204, 259, 268).

[6]*В.Р. Ашинов* – родственник Е.Ф. Корша.

[7]*Н.К. Войт* – врач, одно время служивший в театральном ведомстве, близкий к кругу А.М. Гедеонова и Л.В. Дубельта.

8

Москва 1846. 10 октября

Вчера, отославши тебе письмо, я была так взволнована надеждой[1], что не могла продолжить далее, а легла отдохнуть, потом пришел Сатин и принес вид, который посылаю тебе, потом обедать, Редкин, ах, Карл Иванович Зон⟨ненберг⟩ приехал! Он совсем стал на мощи похож. Потом дети позвали шарманку – она играла очень дол-

го, и Наташа все время неутомимо плясала, – что за живое, милое созданье эта Наташа, еще до своего рождения она была названа Consuela de mi alma[11*] и до сих пор не изменяла себе; когда ее спросят: "Где папа?" – "Далибух"[12*], – отвечает она и машет ручонкой, показывая, что далеко; Лика толстеет и растет, а Коля – здоров, весел, большею частию, но какое иногда у него бывает грустное личико – сердце обливается кровью – что это, зачем у этого милого существа отнято полжизни, почему оно недокончено, и сколько страданий ему от этого, – вздор, чтоб для него это было все равно, это так неестественно – впрочем, сто́ит на его лицо посмотреть иногда[2]. Мне его ужасно жаль, и никогда эта рана не залечится – Альфонский опять уверял, что в Дрездене сделают операцию – не верю. А какой добрый Ар⟨кадий⟩ Ал⟨ексеевич⟩, ты узнаешь после.

Без тебя страшная пустота и тишина в нашем доме, что-то unheimlich[13*]. Когда никого нет, я очень рано ложусь в постель.

Вчера мне ужасно хотелось послушать музыки, с горя хотела уж лечь, но в 9 часов приехал Ог⟨арев⟩. Это было в первый раз, что он приехал *ко мне*, несмотря на то, что бывал раза два в день иногда у нас, но это все по надобности, а вчера он сказал, что ему именно меня хотелось видеть, и просидели мы незаметно до половины первого, чего и чего не переговорили, а всего более о тебе, – тяжело ему будет расстаться с тобою надолго, нехорошая вещь разлука, разлука – родная сестра смерти, письма – утешенье, не более, и – ни у него никого нет, кроме тебя, ни у тебя из друзей, кроме его. Несмотря на это – и остальными отношениями пренебрегать не должно, это была бы гнусная неблагодарность, и все-таки каждая личность заслуживает много уваженья и любви...

Вчера за ужином мы думали с О⟨гаревым⟩, что́ ты теперь делаешь, кричишь, кривляешься, дурачишься, хохочешь, и все-таки скучно тебе ужасно. Скажу тебе комплимент, который мне сделал О⟨гарев⟩ под конец нашей беседы: "Ведь вот мне не скучно теперь, а там бывает ужасно скучно". – Не правда ли, это очень много с его стороны, и с моей тоже, что я не могла ему наскучить в целые два часа, я горжусь этим ужасно. Мне бывает ужасно досадно на О⟨гарева⟩, за что это любишь так этого человека, он не обращает на тебя ни малейшего вниманья, а он кажется необходим для твоего существованья – какая-то необъяснимая, магнетическая сила в нем.

Все тебе кланяются.

Мне что-то кажется, что ты скоро приедешь назад. Пиши, душка, пиши.

Кланяюсь Ав⟨дотье⟩ Як⟨овлевне⟩, да побранитесь с ней как можно больше, для нее это будет очень полезно[3]. Люблю и уважаю ее, славная натура, только все еще очень сыра, ты можешь ей сделать много пользы.

Поклонись Петруше, мне хочется его видеть. Кланяйся Витбергам, что они?

Ну, прощай же.

Твоя Н а т а ш а

Купи мне духов, только светлого цвета.

А детям всем рукавички.

Я не поправляю Сашины письма к тебе, для того, чтоб не отравить ему удовольствия писать к тебе.

[1]Т.е. надеждой на получение заграничного паспорта.

[2]Коля Герцен был, как известно, глухим от рождения. См. в книге 2-й наст. тома статью о нем Л.Р. Ланского.

[3]5 октября Герцен писал об А.Я. Панаевой "Авд⟨отья⟩ Як⟨овлевна⟩ кланяется, я уже вчера с нею успел побраниться два раза – вот как я благодарю за гостеприимство. – Она говорит, что я солгал, что мы не бранились" (XXII, 258).

[11*]Утешение души моей (*исп.*).

[12*]Вероятно, Петербург (*искаж. детск.*).

[13*]неуютно (*нем.*).

9

(Москва. 10 октября 1846 г.)

Рукой М.Ф. Корш:

Во-первых, почитаю необходимым сказать вам, Александр Иванович, чтобы вы никак не думали, что вам нужно отвечать на мои частые письма. Иначе я не буду писать к вам. – Когда я бываю у вас, то у меня такая потребность поговорить с вами, что я не могу воздержаться и не писать – ну, а вы, что же, в этом виноваты? – Да и у вас много дел, лучше переделайте их скорее, это будет для меня выгоднее, потому что с каждым днем более хочется вас видеть. – Я не знаю, что будет, когда и вы и Наталья Александровна и Огарев уедете надолго, а кажется, будет очень и очень грустно. – И право, это не романтизм, не смейтесь, пожалуйста. Да, впрочем, вы и не будете смеяться; вы сами на этот счет не лучше меня...

Теперь я сижу у вас в кабинете одна-одинехонька; Наталья Александровна легла отдохнуть, Огарева нет дома, Марья Кас⟨паровна⟩ играет[1], дети гуляют. Сижу и думаю, что-то и как-то будет через год? Какие-то вы воротитесь? И какая-то я сделаюсь? – Ах, Александр Иванович, Александр Иванович! чувствую, что много пережила я в последнее время и что уж нельзя воротиться назад, а признаюсь в своей слабости, хотелось бы на многое смотреть прежними глазами. Сегодня я что-то в нехорошем или, лучше сказать, разумном настроении духа. Смотрю прямо, как следует, на все, и оттого сердце раздирается. – Лучше не буду писать вам более. Об одном прошу вас, не любите меня менее из учтивости[2], потому что я в этом отношении поступаю с вами как величайшая невежа. – Прощайте же! Дайте вашу руку, да покрепче пожмите! Прощайте!

Ваша М. К о р ш

Скажите, что́ Засядко? видел он вас или нет?

Рукой Н.А. Герцен:

Лекции унас не было, и потому все это время я провела с Марьей Фед⟨оровной⟩ – что это за полное существо, сколько симпатии и пониманья! Не нужно говорить иногда, стоит посмотреть на ее лицо. И как страдает она, бедная; кажется, и с ее глаз начинает упадать завеса очарованья, жаль ее, ей тяжело, но нужды нет, пусть перестрадает все, потом будет хорошо. Я даже перестала жалеть о том, что не могу смотреть на иное прежними глазами – и мне хорошо. Уж и не говорится даже о том, о чем так много было говорено послéднее время, интерес прошел – даже если и не уедем мы – не страшно. Что это за странное дело жизнь, что же она такое, истина, изменяющаяся каждый час, или беспрерывный обман? Сегодня мы счастливы тем, что завтра вырываем с кровью из сердца, и далее – смотрим на себя, как на детей, сломавших и бросивших свою игрушку; беремся за другое, тешимся им и бросаем снова... да где же конец-то игры? Что же заменит *все* игрушки? Где, в чем естественная пища жизни? Я вижу одно – наука и наше отношение с тобою, еще исполнение человеческих обязанностей. Прощай, друг, хочется читать Лермонтова.

11-е. Вчера что-то ужасно мне было грустно, и Лермонтов показался пуст, не знала, куда деть себя. Сегодня жду письма. – Прощай. Дай руку...

Привези и Марье Ф⟨едоровне⟩ "Ess-bouquet"[3].

Рукой Саши:

Милой Папаш, здоров ли ты. Приезжай к нам к Наташи Коле и Лизе. Привези игрушку.

[1]М.К. Эрн. Речь идет о ее игре на фортепьяно.

[2]См. в письме Герцена от 5 октября: "Кланяйся всем ⟨...⟩ кланяйся вдвое больше Марии Федоровне – не потому, чтоб я ее любил вдвое больше, это было бы просто неучтиво, а потому, что мне кажется, что ей мой дружеский привет, по слабости ко мне, будет приятен" (XXII, 258).

[3]Название французских духов.

10

⟨Москва. 11 октября 1846 г.⟩

Здравствуй, друг мой, дай мне твою руку, скучно мне что-то – вот уж другой день не могу *прийти в себя*, то есть со вчерашнего вечера. И Лермонтов мне показался пуст и сух, и заснула я недовольная, и сон был тяжелый. Сегодня твое письмо[1], хорошо, что я его получила, ужасно б было дурно, если б его не было, а все-таки и оно не восстановило меня. – Вчера О⟨гарев⟩ сказал, что будет обедать дома, просил позвать Гр⟨ановского⟩ – и не приехал, вечером мне хотелось его увидеть, он не ночевал, а дома ему нужно быть, сегодня все утро прошло и обед – все его нет, пришел Сатин, это меня ужасно встревожило, я думала, что он занемог, посылала по всем узнавать – никто ничего не знает о нем, Сатин приехал и сказал, что он откуда-то присылал за Кет⟨чером⟩. Меня обняло ужасом[2], жизнь этого человека драгоценна для нас, он необходим *для жизни* и необходим для полноты нашего существованья, Сатин отправился его отыскивать и отыскал здрава и невредима, вечером он явился сам, мил и любезен, но все не изгладилось в душе какое-то страданье. Хочется еще письма от тебя. Поклонись и от меня Ольге Алек⟨сандровне⟩, она, в самом деле, необыкновенная женщина, поблагодари ее за участие.

Я тоже собираюсь в театр, смотреть Санковскую в "Сильфиде"[3].

Я всех уговаривала скорей отвечать Панаеву, но, кажется никто не собирается. Кавелин болен. Представление, вероятно, уже получено, Сатин был у губ⟨ернатора⟩, и он сказал, что оно уже отправлено[4]. Как кончишь все – не мешкай, приезжай, без тебя нехорошо.

Саша теперь в ожидании собаки[5]. Ну, прощай пока, я что-то глупа. И жизни много, и силы много, и всего хорошего много, – но нехорошо существовать одною половиною существа, просто нужно видеть тебя, слышать твой голос, ну, хоть даже знать, наконец, только, что ты дома. Брани как хочешь, а оно так.

12-е утро

Ну, что-то ты нам напишешь...

Будь здоров, мой Александр.

Ребятишки все обнимают тебя, Таташа посылает поцелуй в Далябух. Петруше поклонись.

А воротишься ли к 22-му?[6]

Рукой Саши:

Милой Папа, что ты делоеш. Я собакой рат очень. Маша тебе кланиется бальшой поклон. Пишу тебе ребус из которова выходит булавка и рисую тебе картину вот и ребус.

Твоя собака пачтенная.

Ну что же вышла булавка.

[1] Ответ на письмо от 5–8 октября (XXII, 258–260).

[2] Н.А., очевидно, решила, что Кетчер понадобился Огареву как врач.

[3] "*Сильфида*" – балет Ж. Шнейцхоффера (1832), в котором балерина Е.А. Санковская исполняла главную партию.

[4] Запрос московского военного губернатора А.Г. Щербатова от 4 октября шефу жандармов А.Ф. Орлову по поводу прошения Герцена о заграничном паспорте. О получении запроса Герцен сообщил жене 8 октября (XXII, 260).

[5] Игрушка, которую Герцен выслал сыну. В своем письме он сообщал: "Саше завтра отправляю собаку по почте, – стало она будет почтенная собака – да чтоб он не ломал ее" (XXII, 260).

[6] 22 октября – день рождения Н.А. Герцен. 9 октября Герцен писал: "Я приму все меры, чтоб к 22 окт⟨ября⟩ быть дома, это опять не романтизм, – а я знаю, что и себе и тебе доставлю этим большую радость" (XXII, 261). Он вернулся в Москву 16 или 17 октября.

11

Окт⟨ября⟩ 13-е. Воскресенье. 1846. Москва

Твое письмо от 9-го[1]. Скажу тебе, Александр, что настоящий вопрос – "едем? не едем?" – что-то не так уже волнует меня, видно, оттого, что надежда ясна. Более всего мне хочется видеть тебя. Может, это письмо уже и не застанет тебя... ну, надеюсь, теперь ты не жалуешься на редкие письма.

За игрушки я благодарю тебя, Саша в восторге. – О⟨гарев⟩ в Москве и почти всё дома, мне кажется, что ему смертельная скука, ехать некуда, заниматься не может, и теперь я твердо убедилась в том, что это не лень, а он так расстроен физически, что всякий труд кажется для него невыносим, меня ужасно страшит его здоровье, оно очевидно расстроено. Мы часто проводим время с ним, и он уверяет, что ему не скучно со мною, что касается до меня, так все мои симпатии, привязанности после тебя – все слилось в преданность этому человеку; шире, глубже натуры я не знаю, и к этому какая-то магнетическая сила в нем, любишь его без полной уверенности, что он тебя любит, как-то бескорыстно – иногда для меня много значит посмотреть на его лицо. И что это за дитя, чистое, но страшно избалованное. Он ужасно скучает без тебя. Он говорит, что кроме тебя у него почти ничего нет. Вчера мы были с ним у Кор⟨шей⟩; там все были, и Белинский, который нисколько не поправился от своего путешествия[2], его вид производит ужасно болезненное чувство. Мих⟨аил⟩ Сем⟨енович⟩, говорят, болен, на днях я сама буду у него. – Вчера много, много видела разных лиц, была у Кавелина, благороднейший юноша, тебя он ужасно любит. По приказанию твоему и по собственному побуждению я подличала ⟨?⟩[14*] перед Кр⟨ыловой⟩[3] ужасно, вспомнила о тебе, глядя на нее, хороша она, очень хороша, но красота эта не имеет для меня содержания и привлекательности, на нее хочется только смотреть...

Рукой Саши:

Милой папа. Я твои писмы получил. Я очень рад тиграм и собакай со щенятоми, а Наташа ни знаю радо ли коровай и Коля также рат ли собакой, а Лиза мячиком.

Я очень рад, что ты приедеш. Что ты игрушки привезешь или пашлешь? Напиши ответ. Г. Огарев мне хотел купить стеклянную гармонаю, клавир как на фортепиано. Я Валоде Курута[4] вцепился в волосы.

Папе от Саши Герцен[15*]

[1] Письмо от 8–9 октября (XXII, 260–262).

[2] Белинский возвращался в Петербург через Москву, после поездки на юг вместе с М.С. Щепкиным.

[3] Любовь Федоровна Крылова – жена профессора Московского университета Н.И. Крылова, сестра Е.Ф. и М.Ф. Коршей. После разрыва с мужем жила в семье другой сестры – А.Ф. Кавелиной.

[4] *Володя* – сын И.Э. и Ю.Ф. Курута.

12

⟨Цюрих.⟩ 12 января ⟨1850 г.⟩, 12 часов утра

От тебя письмо – от 9-го[1]. И я тоже сижу и только и думаю: "Зачем это?" И плачу и плачу. Может, я виновата во всем, может, недостойна жить или достойна быть осужденной на казнь – как кому кажется Я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна[2]. Чиста перед тобой и пред всем светом, я не вынесла бы ни одного упрека в душе моей, скорей бы отдала себя на суд, кому лишь хочется судить.

В любви моей к тебе мне жилось, как в божьем мире, – не в ней, так и нигде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира – куда ж? Надо переродиться. Ну, как с

[14*] *В оригинале слово* подличала ⟨?⟩ *зачеркнуто другими чернилами.* – *Ред.*

[15*] В автографе много ошибок, исправленных рукой Н.А. – *Ред.*



ОГАРЕВ

Рисунок Х.Я. Рейхеля (итальянский карандаш). Новгород, 1842

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

природой нераздельна – из нее и опять в нее. Боже мой, хоть бы на одну минуту я чувствовала иначе – мир широкий, богатый, может, слишком богатый, слишком широкий, я не знаю богаче внутреннего мира, расширивший слишком мое существо, его потребности – в этом океане близости, в этой полноте бывали минуты, и они бывали с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там, где-то, на дне, в самой глубине души, как волосок тончайший, – пустота, и сосет, сосет... долго я была поглощена совершенно Сашей, но потом снова начиналось чувствоваться... Я же так откровенна с тобой, мой Александр, но потом думаю: "Тебе-то что ж, отчего именно тебя должно оскорбить это чувство и отчего я виновата в том, что ж мне делать?!".. Эту-то незаметную пустоту время от время наполняла иная симпатия к всеобщему или к человеку, но и то недолго, не надолго, снова сосет... Когда я думала об этом, то я думала, наконец что это *врожденное*. С начала революции все было наполнено, переполнено общим, любовь моя к Natalie[3] – а больше ее любовь (*да отчасти я и люблю ее так страшно за ее страсть ко мне*) тоже переполняла, мне казалось даже, я слишком счастлива. Встречи с Георгом – третье удовлетворенье (остальное я не считаю – более или менее приятные минуты), третья эпоха, так сказать. И странен человек, даже самый хороший, эгоизм ли это, самолюбие ли, но тут-то и удовлетворен наиболее, где чувствуешь или даже хоть видишь себя необходимее. И в этих удовлетворениях, как и во всем, у меня бывал страстный период, т.е. когда ослеплен более или менее, когда не даешь себе отчета – но во всем этом для тебя нет тени оскорбительного, ты обнимал всё... Ну что ж, мне и нечего сказать более – суди меня, осуждай, казни... Делай из меня все, что хочешь, мне не нужно себя, и нико-

му не могу отдать себя настолько, как тебе. – Часто мне казалось, что меня не нужно тебе, ты и берешь, да много остается, и не знала я, куда девать это остальное. Теперь мне кажется, что я тебе нужнее, более, чем это казалось прежде. Не хочешь бросить меня вовсе – так уедем как можно скорее на Юг. В Париж я пишу, если ты через две недели воротишься...

Да откудова, зачем все это?? Г⟨еорг⟩ собирается каждый день уехать в Берн[4], ни его намерений, ни действий – я ничего не знаю. Он никогда не говорит ни о чем, не знаю, есть ли ответ от тебя к нему[5] – что пишет Emma. Может, ты и не отдал мое письмо к Emm'e[6] – оно мне теперь кажется сухо – да, право, она возмутительно любит! Я жалею Г⟨еога⟩ более, чем тебя, в этом случае. Жалею столько же и ее.

Прощай, прощай, мой Александр, обнимаю тебя, дети целуют тебя, Тата говорит, что в Цюрихе il est triste de vivre à Zürich, parce qu'on amène tous les jours des hommes en prisons[16*].

А если – да, впрочем, довольно, этот листок – все мое существо, раскрытое перед тобою, у меня ничего нет больше на душе.

Хорошо бы, я бы желала поселиться вместе с Г⟨ервега⟩ми, но не надеюсь ни на того, ни на другого из них, чтоб они сделали это возможным.

[1] Это письмо Герцена из Парижа неизвестно.

[2] Упоминаемое письмо Н.А. до нас не дошло.

[3] *Natalie* – Н.А. Тучкова. См. в кн. 2-й наст. тома публикацию ее писем к Н.А.

[4] Гервег приехал из Берна в Цюрих 24 или 25 декабря 1849 г. и оставался там до августа 1850 г.

[5] См. XXIII, 230–233.

[6] От этого письма Н.А. к Эмме Гервег сохранился только конверт (см. его фотокопию в *РГБ*, ф. 69.23.27, л. 1).

Часть публикуемого письма процитирована Герценом в "Былом и думах" (X, 254).

13

⟨Цюрих.⟩ 22 ⟨января 1850 г.⟩. Вторник

Точно после страшного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, мой Александр, в мою отчизну... с полной верой, с полной любовью. Если б состояние твоей души похоже было на состояние моей души... я счастливее, чем когда-либо... Люблю я тебя все так же, все так же, все так же, как всегда! Но твою любовь узнала я больше, и все счеты с жизнью сведены, как будто совершилось все, я не жду ничего, не желаю ничего...

Недоразумения – я благодарна им, они объяснили мне многое, а потом пройдут и рассеются, как тучи...

Все сделано и устроено хорошо.

Может, несколько часов прежде меня получишь эту записку...

У мам⟨еньки⟩ болит горло, неприлично было не позволить Г⟨еоргу⟩ проводить, до Базеля[1], Duss⟨ogier⟩[2] хотел; в таком случае – это было бы безобразно...

Из Базеля завтра, 23-го, в среду, в половине четвертого пополудни, мы садимся на жел⟨езную⟩ дор⟨огу⟩.

Итак, до свиданья!!!

Перечитываю твое письмо[3] – как часто я бывала в таком состоянии, в каком ты теперь... Может, моя вина, может, я несправедлива, с какой жадностью хотелось симпатического пожатия руки... Это я не думаю, чтобы было кокетство холодное, как говорит Эмма; другие бы средства употребляла тогда, – покрытая с головы до ног непроницаемым вуалем, я шла в ту сторону, где мне слышался призывный голос... и часто не находила там никого. Если это преступленье – может быть, я не хочу прощенья, не надо мне его – так существованье мое – преступленье.

Тебя смутило мое выражение о симпатии, которая не имеет ни начала, ни конца, – это глупое выражение, всякая симпатия не имеет их[4].

[16*] жить грустно, потому что каждый день людей уводят в тюрьмы *(франц.)*.

[1] 22 января Герцен писал Гервегу: "Если жена моя еще в Цюрихе, прошу вас сопровождать е Мюльгаузена или даже дальше, чтобы у нас могло состояться свидание, как у двух императоров в Т зите (...) Пригласите туда же и Эмму" (XXII, 241). Таким образом, его предложение съехаться в Мюл узене, чтобы обсудить создавшееся положение, пришло в Цюрих слишком поздно (26 января), уже по того, как Н.А. вернулась в Париж.

[2] Вероятно, имеется в виду М. Дюссожье, слуга Герцена, которого он рекомендовал незадолго до го Эмме Гервег, см. письмо от 3 декабря 1849 г. (XXIII, 213–214).

[3] Это письмо Герцена до нас не дошло.

[4] Часть публикуемого письма использована Герценом в "Былом и думах" (X, 255).

14

⟨Ницца.⟩ 4-е июня ⟨1851 г.⟩, 3 часа пополу

Хоть несколько строк... так что-то страшно и пусто без тебя, друг мой, и жаль тебя... ну, добрый же путь, будь здоров, будь *спокоен*, твое спокойствие – м спокойствие. Обнимаю тебя крепко, крепко.

С твоим отъездом[2] у нас началась буря на море и страшный штиль в доме.

Целую крепко, крепко тебя, друг мой неоцененный, крепко прижимаю.

Дети все – кто спит, кто что. Мы принялись было с Ал⟨ександрой⟩ Хр⟨истиан ной⟩ читать журнал, да нет, не идет.

Прощай, боюсь опоздать. Твоя N.

Энг⟨ельсону⟩ дружески кланяюсь, состояние Ал⟨ександры⟩ Хр⟨истиановны⟩ у влетворительно[3].

[1] Публикуемое письмо послано было на имя m-lle Кузен, содержательницы отеля Мирабо в Пари где Герцен первоначально предполагал остановиться. О получении его он сообщил жене ("Получил т записку..." – XXIV, 174). М.К. Лемке ошибочно считал, что записка, о которой идет речь у Герцена, – датированное письмо Н.А. к мужу, публикуемое ниже под № 37 (4 июля) (см. *Л* VI, 188). Вслед за Ле эта ошибка повторена в комментарии к 30-томному собр. соч. (XXIV, 449) и в *ЛЖГ* II, 26.

[2] Герцен выехал вместе с В.А. Энгельсоном в Париж 3 июня. Об обстоятельствах, вызвавших э отъезд, он подробно рассказывает в "Былом и думах" (X, 175–176).

[3] *А.Х. Энгельсон* – жена В.А. Энгельсона.

15

⟨Ницца. 5 июня 1851

Без тебя, душка, я еще никак не могу войти в свою роль. Как-то вы едете по э му страшному ветру, а ночь была такая холодная.

Нет уж, там что ни говори, а, видно, мы сплавились так, что в химии нет сред ва разъединить нас, тяжело без тебя, и пусто смертельно, и страшно все за тебя, б юсь, что ушибешься, подавишься, захлебнешься, потеряешь платок, ключик, да коньяк с колбасой так далеко уложили – чай, как сердишься, доставая их, всего б юсь за тебя, как за ребенка.

Мы с Алек⟨сандрой⟩ Хр⟨истиановной⟩ обуреваемы страшною деятельностью, дело теперь читать журналы тоже и рассказывать мне. Саша учит ее ботанике, с с Сашей хочет учиться арифметике (публичный курс).

Мне кажется, что я славно ее выхолю, а за это надеюсь, что Вл⟨адимир⟩ Ар⟨ тович⟩ похолит тебя.

Я уж Оленьку посадила на твое место за столом[1], а то уж очень грустно.

Пока всеми детьми довольна, – кроме Мам⟨еньки⟩, которая притесняет Луиз она жаловалась мне на нее с горькими слезами.

От старости становлюсь сплетница.

Ведь нового ничего нет сказать, а не терпится, мне кажется, что ты рад будеш получить от нас всякое известие, друг мой; эта мысль меня тешит и заставляет и с годня взять перо.

Хоть я не вижу, как время идет, нет ни одной минуты, которую бы я не знала к да девать, а все-таки присутствие А⟨лександры⟩ Хр⟨истиановны⟩ мне чрезвычай приятно; кроме ее, живой души нет здесь.

Пиши, друг, пожалуйста, всякий вздор пиши, все мелочи, подробно.
Идем обедать к Мам⟨еньке⟩.
Обнимаю тебя крепко, будь здоров и спокоен...

5 часов попол⟨удни⟩

Рукой Таты:
Мой милой папаша, я тебя очень целую, мне бы хотелос, если ты можешь, купить обезьяну, которую я просила в Париже. Я сплю на твоей постельке.

Т а т а

5 июнь 1851. Ница

Рукой Саши:
Любезной папа!

Если б ты знал как скучно за столом без тебя: не слышно твоего шумного голоса между другими, не разобьет стокан сильно полетевшая пробка шампанского.

Когда мы ехали назад по мосту Вара, то французские солдаты смотрели на нас с сонными глазами, а сардинские[17*] кланялись.

Все идет у нас очень хорошо, но в самом деле за обедом слишком тихо для моего уха. Целую тебя много раз; кланяйся Енгелю[3]. Не знаю больше ничего милой папа.

Прощай.

Твой С а ш а

5-го июня. Четверг

[1] Оле в это время было шесть месяцев.
[2] Племянница Л.И. Гааг, Луиза Цабель, жила в это время вместе с ней, отдельно от Герценов.
[3] Имеется в виду В.А. Энгельсон.

16

⟨Ницца.⟩ Суббота, 7-го ⟨июня 1851 г.⟩. Утро, 11 часов

Ну вот и письмо твое из Марселя[1], душка моя, в семье радость. Мне самой кажется, что ты не заживешься в Пар⟨иже⟩ и что мы не скоро оставим берег Средиз⟨емного⟩ моря. Но все же на *всякий случай*, будучи в Англии, приищи нам гнездышко, лишь не в самом Лондоне, хоть возле, только на чистом воздухе, а не в самой копоти от нагара цивилизации.

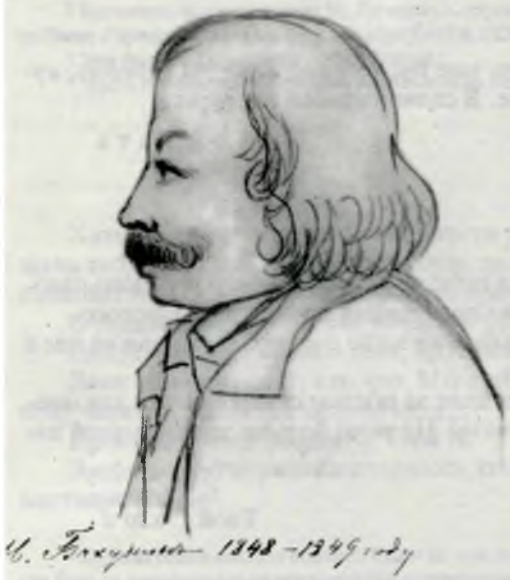
Об ответе министра еще ничего не знаю[2]; Фогт писал в Турин[3], что все это произошло от желания Панина подслужиться – и выйти из немилости[4], он, т.е. Фогт, надеется, что, увидя дело в этом свете, – они устыдятся, что поддались, и захотят поправиться.

Жизнь наша течет так тихо, мирно и мерно... Сердце мое не нарадуется за детей, в 8-м часу в море, из моря в гимнастику, завтрак, потом все по местам, за дело, – за вторым завтраком изгнан сыр и все лишнее. – Как не поправиться Ал⟨ександре⟩ Хр⟨истиановне⟩, а дразненьем, конечно, немного поможешь, она не настолько с нами близка, чтоб сказать *прямо*, что симпатия ее с Эн⟨гельсоном⟩ недостаточна, чтоб сделать их жизнь вместе сносною, не только приятною, а это ясно изо всего, и до этого можно касаться только с участием.

Маменька отправляется сегодня морем в S.-Hospice, а мне никуда еще не хочется, так полно и хорошо дома. Оленька с каждой минутой становится милее.

Вчера Фогт объяснял нам, как чувствуется боль в пальцах отнятой ноги, Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ никак не может усвоить это себе, говорит, что после этого можно поверить в бессмертие, а я это сама испытываю теперь – человека не вижу, а голос слышу, тебя нет – а ты тут, кто не чувствует этого, тот и не понимает.

[17*] Ты понимаешь, что они не сардинки.



М.А. БАКУНИН

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). ⟨Париж⟩, 1848–1849.

Надпись рукой Н.А. Герцен: "М. Бакунин 1848–1849 году"

Музей Герцена, Москва

Для забавы тебе посылаю письмо Головина[5], книги, посланные на его имя в Турин, пришли назад, говорят, не нашли его там.

Записку сард⟨инской⟩ жанд⟨армерии⟩ спрятала[6].

Прощай, неразрывный друг, будь здоров, спокоен, весел. Кланяйся Пальмье.

Всеми людьми я чрезвычайно довольна, кормилица говорит, что без тебя очень скучно.

Рокка кормит еще лучше.

Вл⟨адимиру⟩ Ар⟨истовичу⟩ дружески жму руку.

[1] Письмо от 5 июня (см. XXIV, 170–171).

[2] Речь идет об ответе министра внутренних дел Пьемонта Ф.Д. Гальваньо на посланное в начале июня письмо-протест Герцена в связи с его высылкой из Ниццы.

[3] Это письмо К. Фогта неизвестно (см. X, 176).

[4] Русский министр юстиции В.Н. Панин жил в Ницце. Герцен предполагал, что высылка из Пьемонта им и организована.

[5] Указанное письмо И.Г. Головина неизвестно, но оно было получено. В письме к сыну от 12 июня Герцен сообщал: "Мамаше скажи, что я вчера получил головинс⟨кое⟩ письмо" (XXIV, 178).

[6] Герцен писал жене 5 июня: "Я оставил в спальне №№, списанные с сардинских фондов. Спрячь эту записку" (XXIV, 171).

17

⟨Ницца.⟩ 9-е ⟨июня 1851 г.⟩, понедельник

Кажется нет необходимости посылать все эти письмена, друг мой, но я знаю, что ты это любишь. Прочти письмо Тат⟨ьяны⟩ А⟨лексеевны⟩[1]. Напиши ей хоть строчку и пошли денег сколько можно, через Машеньку, она уж ведь посылала деньги для памятника Пр⟨асковье⟩ Андр⟨еевне⟩[2]; пожалуйста, дружок мой, не замедли.

Не дождешься, видно, письма от тебя, пиши все, все. Ну, если в Англию, так в Англию.

На днях m-r и m-me Шроп посетили меня[3], он говорил потом Фогту, что не ожидал найти во мне такую аристократку, судя, должно быть, по туалету, который состоял из белой блузы...

А бедный Бакунин? – Ты знаешь, ⟨он⟩ уж, верно, перевезен в самую ужасную тюрьму Венгрии[4], в болоте, где мрут от лихорадки, говорит Фогт, лучше бы было, если бы выдали в Россию.

Время[18*] здесь удивительное.

Как ты? Что ты?

Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ очень мила.

Фогт предобродушнейшее существо и преуслужливое, наблюдает строго за Шпильманом. Ставил ему еще пиявок, вряд ли он будет когда *совсем* здоров.

Обнимаю тебя крепко, крепко.

Приписка, адресованная М.К. Рейхель:

Mercі, mercі за скорое доставление письма Т⟨атьяны⟩ Ал⟨ексевны⟩; я возвращаю

[18*] Галлицизм. Здесь: погода (le temps). – *Ред.*

его тебе для того, чтобы ты передала его Александру, и ответ на него[5], который прошу тебя послать ей вместе с деньгами Ал⟨ександра⟩, прошу тебя его *побудить* написать ей слова два и послать, – да немедля. Ты уж возьми это *на себя*, а то Ал⟨ександр⟩ забудет иль замедлит, а голод не свой брат. *Пожалуйста*!

Тут же от Шомшильда и от Голов⟨ина⟩[6]. Напиши мне о Ал⟨ександре⟩ все, все, что только переводимо на слова, даже гримасы, от которых не могу не страдать, когда мы вместе, и на которые бы посмотрела, когда врозь.

Рукожатие.

Как Колька отлично купается, наслаждение видеть их в море.

[1] Письмо Т.А. Астраковой к Н.А. от 22/10 мая, в котором она сообщала о своих денежных затруднениях (см. *РГБ*, ф. 69. 9.14, л. 1об.–2).

[2] Мать М.К. Рейхель – П.А. Эрн умерла в Москве 8 сентября/27 августа 1849 г.

[3] О семье Шроппов см. в "Лит. наследстве", т. 96, с. 119.

[4] В крепость Ольмюц М.А. Бакунин переведен был в марте 1851 г.

[5] См. в кн. 2-й наст. тома письмо Н.А. к Т.А. Астраковой (п. 87).

[6] *Шомбург* – служащий в банке Дж. Ротшильда. Его письмо к Герцену, как и упоминаемое письмо Головина, не известно. Его прозвище *Шомшильд* образовано Герценом из слияния слогов фамилий Шомбурга и Ротшильда.

18

⟨Ницца.⟩ 12-е ⟨июня 1851 г.⟩, четверг

Письма ваши с "Бурдона"[1] и из Лиона[2] получила. Mercі, моя душка, mercі – за частые вести. Теперь уж, верно, вы в Париже, жду с нетерпением письма; может быть, сегодня будет. Советую тебе непременно побывать в Англии, *во всяком случае*, и приискать нам приют, – может, они и не откажут нам поселиться в Париже, а как поселимся, так и прогонят.

А если ты мне напишешь, что можно на Юг – так я сейчас отправлюсь в Канн и Монаку посмотреть, ес⟨ть⟩ ли возможность нанять тут.

Напиши мне все, как нашел Париж, что Машенька? И пр.

Да напиши детям по особенному письму, они бог знает как ждут этого. 20-го напиши Саше поздравление с рожденьем, которое будет 25-го[3]. Таточка о тебе беспрестанно говорит. Алекс⟨андра⟩ Хр⟨истиа⟩новна велела тебе сказать, что теперь вместо 2-х и 8-ми, 3 и 9, а к свиданью с тобою, верно, будет еще больше[4]. Скучно по тебе, но, несмотря на это, время летит так быстро, что недостает его на все, что хотелось бы сделать.

Если б ты вошел в гостиную – ты увидел бы следующ⟨ую⟩ картину – у окна поставлен стол, на столе микроскоп, два микроскопа и всевозможные принадлежности для изучения, цветы, животные, морские и сухопутные, растерзанные и сухие, в которых Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ хочет рассмотреть устройство глаза, на тарелке клочки куриного сердца, кормилицыно молоко на стеклышке, и сама Оленька, спящая на диване, Тата, обмахивающая с нее мух, и Саша, презирающий наше невежество.

Или – Фогт, разрезывающий лягушку, и мы все вокруг, студенты, или Фогт же, разрезывающий Марьяну, и уже в спальне, и уже тут я не присутствую (у нее заболел палец, так что надо было открыть). Но, несмотря на это и страшный ветер, дети все-таки купаются. Не знаю, что было б с тобою здесь, у меня голова кружилась три дня от влияния погоды. По вечерам мы читаем Гёте или смотрим, как месяц купается в море, – я с удовольствием смотрю, как Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ поправляется, не только здорова и спокойна совершенно, но и занимается всем с большим интересом, и менее всего собою...

Если ты непременно решишься послать микроскоп Огар⟨еву⟩[5], так купи нам другой, без микроскопа мы жить не можем, а если хочешь гостинцу привезти или прислать – так увеличительное стекло. – Обнимаю тебя крепко, крепко. В ответ на то, что ты пишешь, скажу тебе, друг мой, что если бы ты мог заглянуть в мое сердце – так был бы доволен и спокоен.

Еще раз – покрепче...

Влад⟨имиру⟩ Ар⟨истовичу⟩ дружески кланяюсь, я нянчаю Ал⟨ександру⟩ Хр⟨истиановну⟩ не даром, выпрашиваю у нее старинные платьицы и перешиваю детям.

Посылаю письмо для приписки в малой малости[6].

Я тоже занимаюсь приготовлением рубашечек и чепчиков для будущей скрыпки Маши[7].

[1] Письмо Герцена и В.А. Энгельсона от 6 июня с борта парохода "Bourdon" (см. XXIV, 171–172).

[2] Письмо Герцена от 7 июня – см. там же, 172–173.

[3] Поздравительное письмо Герцена к Саше см. там же, с. 186.

[4] Вероятно, намек на то, что А.Х. Энгельсон сильно пополнела (ср. X, 350).

[5] Микроскоп был заказан Герценом в Париже по просьбе Огарева (см. "Лит, наследство", т. 61, с. 779 и след; XXIII, 123, 381, 385).

[6] Смысл этого выражения неясен.

[7] М.К. Рейхель ждала в это время ребенка. Шутка насчет скрипки, вероятно, вызвана тем, что муж Марии Каспаровны, А. Рейхель, был профессиональным музыкантом.

19

⟨Ницца.⟩ 6-й час пополудни,
12-е ⟨июня 1851 г.⟩, четверг

Сию минуту, друг, отослала к тебе письмо и сию же минуту после принесли твое[1] – mercі, mercі, мой Александр, много отвечать не успеваю, надо поспеть на почту, хочется сообщить тебе новость от Гол⟨овина⟩, которая сейчас только пришла[2].

[1] Письмо Герцена от 9 июня (см. XXIV, 173–175).

[2] По-видимому, речь идет об интерпелляции, с которой 10 июня выступил в Пьемонтском парламенте депутат оппозиции Л. Валерио, протестовавший против высылки Герцена из Ниццы (см. X, 177).

20

⟨Ницца.⟩ 14-е ⟨июня 1851 г.⟩. Суббота

Чего мне стоит твое Grübelei[19*], друг мой, – если б ты знал это, так не то чтоб не писал об этом мне, а не было бы его у тебя...[1] Что́ слова, вот я вся тут, вся, друг мой! Что, что я могу, чтоб успокоить тебя?

Так все во мне проникнуто любовью к тебе, так сжились мы, что мне больно говорить об этом для того, чтоб уверять. – Обоймемся крепко, крепко – будь же спокоен, будь – и напиши мне это, а то...

Как мне жаль, что об Оленьке составят понятие по не совсем удавшемуся портрету[2], я бы давно сделала другой, да дагерротипист наш уехал сейчас после тебя в Геную.

Когда мне недостает тебя, так я все с Оленькой, и поэтому она почти беспрестанно со мной, теперь ее любимая игрушка твой дагерротип, она его лижет и хлопает ручонками по нему.

Сию минуту был Бонфис[3]; послезавтра он пойдет к интенданту[4] спросить об ответе министра[5] и придет мне сказать. Фогт уж сообщил тебе журнал[6]; в Генуе все единогласно не советуют поселяться, климат пренеприятный, люди тоже.

У Саши славно идет с Фогт⟨ом⟩. Ты бы, душка, купил Саше географические карты хорошие, большие, которые бы можно было на стены повесить.

Вчера к нам приходил один поляк, служивший всю жизнь в рев⟨олюционных⟩ рядах и все потерявший из-за этого, в ужасном положении, сначала он, казалось, не смел дышать, а уходя говорил, что ожил в нашей беседе; мы снабдили его деньгами и твоими брошюрами[7]. Он никак не мог убедиться, что ты не шеф какой-нибудь партии.

Здешние богатые поляки не помогали ему потому, что он писал против папы.

[19*] тоска (*нем.*).

Трудно мне было уверить его, что у нас нет никакой употребительной религии, кроме собственного, внутреннего побуждения. "Et les enfants?"[20*] – "А в детях стараемся развить это доброе побуждение", – и поляк мой ушел от нас, не придя в себя.

Офелия наша (что, друг мой, уж ты и не говори всего Энгель⟨сону⟩) с отъезда вашего – другое существо совсем. Здорова совершенно, потолстела, весела, спокойна и всем занимается с большим интересом. А развлеченья у нас не прибавилось без вас, третьего дня вечером вышли в первый раз погулять; Луиза была нашим кавалером, дошли до Rocca Capella[21*] – воротились и перепугались смертельно одного пьяного, а может, и безумного. Пришли домой – ну тебе было бы за что пощунять – к той поре, как глаза наши стали закрываться и лампа тухнуть, на столе лежала кожа с 10-ти апельсинов, которую я, впрочем, бросила в камин, чтоб Франсуа и подозрения не мог иметь. А вы с Энгельсоном чем *прохлаждаетесь*?

Обнимаю тебя, душка.

[1] Отклик на письмо Герцена 9 июня, в котором он писал: "Не знаю как, но я переменился совершенно в последние полгода. Меня постоянно разъедает какая-то злоба и какая-то тоска ⟨...⟩ В 14 лет это больно, но вместе с тем хорошо к росту, а сердцу сложившемуся трудно" (XXIV, 174).

[2] Дагерротип Н.А. с Ольгой на руках опубликован в "Лит. наследстве", т. 39-40, с. 141. Герцен, уезжая, взял его с собой. В этом же письме он писал об "оленькином дагерротипе": "Я не знаю отчего, но он как-то на меня действует как calmant ⟨успокаивающее⟩" (там же).

[3] *Бонфис* – врач в Ницце, принимавший близкое участие в делах семьи Герцена.

[4] Главный интендант Ниццы – А. Радикато ди Марморито.

[5] Министр внутренних дел Пьемонта Д.Ф. Гальваньо должен был ответить на запрос, можно ли Герцену с семьей проживать, как прежде, в Ницце.

[6] К. Фогт, по-видимому, послал Герцену стенограмму ("дневник") заседания пьемонтского парламента от 10 июня с выступлением Валерио.

[7] Вероятно, "Vom anderen Ufer" и "Du développement des idées révolutionnaires en Russie". Вторая из них была напечатана в Ницце.

21

⟨Ницца.⟩ 14-е ⟨июня 1851 г.⟩.
Суббота, 5 часов попол⟨удни⟩

Твое письмо от 11-го[1] – как медленна переписка, мне грустно от этого стало, да, разлука – страшная вещь. Ах, друг мой, друг мой! "Лишь бы, – говоришь ты, – понять мне, что все это не было *заслужено* тобою". Не умею я говорить на этом языке...[2]

Грустно, грустно...

Существо мое дошло высшего градуса чувствительности, сознательное ясновидение, легче б было, если б притупилось оно.

Так звонко, сильно все отзывается в душе, как будто все душа, и тела нет. Без слов, без движений, не видавши лица, по концу сапога или башмака, мне кажется, я чувствую струю симпатии – и любви еще больше, кажется, я разошлась совсем в любви, нет меня.

Когда ж – но, впрочем, довольно, обнимаю тебя крепко.

Если ты не чувствуешь, как больно мы срослись с тобой, – как объяснить?[3]

[1] См. XXIV, 176–177.

[2] Ср. в письме Герцена: "Разлука наша теперь должна быть время pour se recueillir ⟨чтоб собраться с мыслями⟩, она чрезвычайно на месте. Если б только дойти мне до кроткой грусти и тебе до того, чтоб понять, что все это не было заслужено мной, как ты говоришь, и не имело того характера, – который я понимаю, отчего ты придаешь – тогда с склоненной головой мы наружно забудем прошедшее ⟨...⟩ тогда свяжутся порванные концы и гармония восстановится вполне" (XXIV, 176).

[3] Н.А. отвечает на следующие слова Герцена: "Я думаю, ты права, мы должны были сплавиться, сделаться необходимостью друг для друга, я всегда так думал, страшный опыт показал иное, но, может, он победится" (там же).

[20*] "А дети?" *(франц.)*

[21*] часовни св. Рокка *(итал.)*.

22

⟨Ницца.⟩ 16 ⟨июня 1851 г.⟩, понедельник



Саша - Герцен. 1850 - 51.

САША ГЕРЦЕН

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). ⟨Ницца⟩, 1850–1851.

Надпись рукой Н.А. Герцен: "Саша Герцен. 1850–51"

Музей Герцена, Москва

Я думала сообщить тебе сегодня что-нибудь об ответе, но добрый сын[1] еще не приходил. Если ты так ясно чувствуешь, друг мой, что умеренный климат здоровее для тебя – так приезжай сюда, только затем, чтоб увезти нас, а не на житье[2]. Schaller пишет Фогту, что надеется в продолжение недели выслать тебе бумаги[3], рекомендует величайшую скромность до получения их.

Не теряй же время, приищи нам приют, да не забывай, душка, что надо выбрать город, в котором бы для Саши не было остановки в его занятиях. Письмо твое к нему[4] принесло ему великую радость, да и я его прочла со слезами; "Прессу" прочтем[5].

Да, многим бы я пожертвовала для того, чтоб он понимал и чувствовал, как мы, даже многими *блестящими* сторонами развития.

Есть письмо от Мельг⟨унова⟩, но совершенно пустое, поэтому и не посылаю его тебе, он просит только, чтоб мы, проезжая близ Франкфурта, отослали бы его книги и ноты туда, по адресу[6]. Стало, их теперь уже уложить особо?

Мамень⟨ка⟩ отпустила свою старуху и будет обедать всегда у нас. Ты не забудь ее поздравить с 27-м эт⟨ого⟩ мес⟨яца⟩[7].

Офелия наша, как я тебе писала, до сей минуты была чрезвычайно здорова и мила, но пришло твое письмо к Саше с письмом Энгельсона к ней – и все стало вверх дном; но что же это он делает? Здесь уже не каприз, а, видно, было написано что-нибудь такое, что заставило ее и плакать и опять говорить о смерти, мне *жаль ее* ужасно, да жаль и его, но пусть же он знает, что она страдает через него.

Обнимаю тебя, друг мой, горячий друг, сделай так, чтоб поскорее нам быть вместе.

Я думаю, что ты хорошо бы сделал, узнавши ответ от мин⟨истра⟩, съездить ⟨!⟩ в Фри⟨бург⟩ или Лондон, не теряя времени.

Рукой Саши Герцена:

Ница, 16 июня

Золотой мой Папа!

История Гюго мне очень понравилась, только сына-то жаль: "Пресса" ⟨от⟩ 12-го лежит у нас на столе; только отчего же отца Гюго не посадили в тюрьму, когда он отвечал "Vive la république!"[22*]

Я тоже, папа, буду защищать несчастных от злых, не теперь, а когда вырастет борода, а теперь хоть буду утешать их, помогать им.

Ну, что же тебе сказать обо мне?

22* "Да здравствует республика!" (*франц.*)

С несколько времени я начал больше находить бабочек, нежели прежде. У меня есть много гусениц разных сортов.

Если ты ждешь мой рапорт, то я тебе скажу, что Пачелли мною доволен, у Фогта я недурно приготовил нервы и мускулы куриной[23*] ноги, вместо русского урока я пишу к тебе.

Все твои поклоны будут отданы. Коля кашляет, кроме него, все мы здоровы.

Прощай.

Я забыл спросить тебя, сколько лет сыну Гюго[9].

С а ш а

[1] Буквальный перевод франц. фамилии Бонфис (Bonfils).

[2] Герцен писал 10 июня: "Солнца нет, небо серое, а впрочем, я уже теперь начинаю чувствовать всю разницу с климатом Ниццы, нет той устали, чувствуешь себя свежее" (XXIV, 176).

[3] Речь идет о документах, удостоверявших натурализацию Герцена и его семьи в швейцарском кантоне Фрибург. 6 мая Большой совет этого кантона удовлетворил просьбу Герцена о принятии его в число своих граждан, а 16 июня, после выполнения всех формальностей, официально утвердил акт натурализации (см. X, 175, 178–182). В письме от 27 июня Герцен сообщил жене, что "документы все пришли" (XXIV, 189).

[4] Письмо от 12 июня (XXIV, 177–178).

[5] В парижской газете "Presse" 12 июня был опубликован ответ о судебном процессе над сыном В. Гюго Шарлем-Виктором в связи с его выступлением против смертной казни. В письме от 12 июня Герцен рекомендовал своему сыну прочесть это выступление, чтобы иметь перед собой достойный пример для подражания (XXIV, 177–178).

[6] Упоминаемое письмо Н.А. Мельгунова к Герцену неизвестно (см. XXIV, 177–178).

[7] 27 июня – день именин Луизы Ивановны Гааг.

[8] Одна из попыток Саши каламбурить в подражание отцу. Герцен обычно сразу же пресекал подобные попытки.

[9] Ш.В. Гюго в 1851 г. было двадцать пять лет.

23

⟨Ницца.⟩ 17-е ⟨июня 1851 г.⟩. Вторник

Добрый сын[1] был вчера вечером, ответа еще нет. Интендант сказал ему, что рус⟨ского⟩ духу в этом деле нет, судя по всем рассказам, мне кажется, что это произошло просто от трусости зд⟨ешнего⟩ инт⟨енданта⟩. Добрый сын сидел часа три, он добр и как человек, да и неглуп совсем, много наблюдал. Много рассуждали мы с ним о старой теме – мужчина и женщина. Он понял меня с нескольких слов.

Страшно, как подумаешь, каким бы человек мог быть и какой он есть... Это припадок юности во мне, скорбеть о несовершенстве рода человеческого; что́ делать, смешно, а не могу отделаться от этих вопросов. С одной стороны, невежество, с другой – недостаток любви делают его хуже всякого зверя. Воспитание, воспитание, великое дело!

И когда мне покажется, что оно ускользает из рук, что жизнь все-таки, как река, несет листы, – несет детей быстро, быстро – а ты стоишь на берегу, и не нужно тебя совсем, – редко это кажется мне, но страшны эти минуты, невыносимы.

А сколько еще предстоит горя... каждое, не только недоброе движение сердца, неграциозное движение тела в детях производят ужасную боль, и все еще это надо скрыть, чтоб не казаться смешной и чтоб не профанировать ничего более как естественное самое чувство.

Прощай, друг мой, пока.

Жар и тягость – даже дети все валяются.

На обороте:
Monsieur Herzen

[1] См. прим. 1. к предыдущему письму.

[23*] Ее курить нельзя[8].

24

(Ницца.) 18-е (июня 1851 г.), середа. Утро

Вчера я ждала, ждала письма от тебя – послала, наконец, мое маленькое на почту, а сейчас же и принесли твое от 14-го на имя Таты[1], из-за чего произошло великое неудовольствие между ею и Колей; он очень обиделся тем, что письмо не к нему, а Тата тем, что ее письмо меньше Сашиного[2], когда-нибудь напиши им на большом листе.

Мне кажется, душка, весьма благоразумным, что ты хочешь съездить в Лондон, получивши бумаги из Швейц(арии)[3]. К тем порам и здесь наше положение определится яснее. Но так как тебе вреден этот климат – то и надобно *во всяком случае* думать о переселении. Куда? Надо поставить тысячу вопросительных знаков при этом вопросе.

Бордо, – говорят, дождливое место; верно, это совет Пальмье, потому что он, кажется, оттуда. Ним – ничего о нем не знаю. Словом, друг мой, ищи только соединения хорошего климата с ресурсами для Саши, теперь, мне кажется, это главное. А что же Канн? Не съездить ли мне туда?

Мрачные предчувствия твои оставь, друг мой, если смерть не придет извне – то мы тихо, тихо перейдем в вечность, то есть передадим детям житое, пережитое и нажитое нами, и все это очищенное любовью[4]. Письмо твое к Саше ужасно *оживило* меня, я почувствовала твою руку в той сфере, где мне одиночество так тяжело и горько. Моя любовь к ним – тот же эгоизм, я смотрю на них ведь как на себя в граненое зеркало (иль в зеркало со многими фацетами – не знаю, как сказать по-вашему, по-ученому), я чувствую себя в них, метаморфоза совершается очью, я, право, перестаю вовсе чувствовать себя вне их, мне кажется, что я, как эта мушка ephemeris[24*], остановилась, не хочу и не могу лететь далее, для того, чтобы дать возможность другому, совершеннейшему существу, выйти из меня, я останусь тут потом, на месте, как пустая кожица ephemeris – ничего, я довольна, не ищу ничего более, *мое* бессмертие упрочено, я верю в него, и мне не надо другого. Еще хотела бы я в них видеть тебя, часть тебя, ту часть, которая выдваивается только посредством любви, стало, самая лучшая. Книги хорошо, но это живое воплощенное слово... ах, душка моя, как бы я хотела передать тебе, то есть дать понять, всю неизмеримость, всю святость того, что у меня в душе, воспитание мне кажется священнодействием, и я стараюсь беспрерывно быть достойною и способною хранить и раздувать священный огонь. Как давно мою жизнь я не умела брать и давать с мерою – так и тут, вся моя религиозность, разрушаемая или колеблемая самим божеством своим, – вся нашла полный исток, вся деятельность, вся жизнь моя в них – помогай мне, друг мой, в них да будем мы так же спаяны, так же слиты воедино в них, как во многом, но мне остались почти только они, а все это многое побледнело, ослабело, и поэтому я ищу тебя более всего в них.

Все учителя довольны умом Саши и все жалуются на неспособность трудиться, *не знаю, насколько* нужно об этом беспокоиться, но это беспокоит меня.

Коля начал опять свои уроки с Шпильманом, которому гораздо лучше, чему я душевно рада. Таточка решительно любит тебя. Оленька все так же мила и добра. Всем штатом я чрезвычайно довольна, какая-то святая, невозмутимая тишина царит у нас. Александра Христиановна вдвое помолодела, слезы ее высохли от следующего письма Энгельсона, а 47-й не шутя 47-й[5], впрочем, это не мешает ему с великим усердием объяснять баранью голову мне, Шп(ильману), Луизе и даже Коле, а в водяных прогулках я не участвую. – Газета Туринская[6] затерялась, постараюсь достать и пришлю. Брошюра твоя[7] будет послана Валерио, а в редакции все комиссии будут исполнены[8]. На письмо из Лиона мы уж отвечали.

Рукой Таты Герцен:

Мой милой Папаша, мне все равно, что ты мне пришлешь[9], я буду всему рада.

[24*] однодневка (от *франц.* éphémère).

Жюли боялась купаться, а я не боялась. Как мне жаль, что ты уехал. Что делает твой сосед?[10]

Тата

1851, июня 18. Ница

Рукой Н.А. Герцен:

Что Машенька? Кланяйся ей.

Нас даже Сюо[11] посещает. А Пальмье скажи, что он так научил меня быть здоровой, что морские ванны мне вовсе не нужны. Да и некогда мне хворать, Энгельсон пусть поскучает, мне не жаль этого, пусть научится владеть обладаемым, две недели его отсутствия доказали, что он не умел.

Без тебя, с другими, я нахожусь в страшном одиночестве, часто бывает ужасно тяжело, страдание начинается с 6-го часа, тут все собираются к обеду. Я из всех сил стараюсь быть гуманна, это-то старание и есть отсутствие гуманности.

Обнимаю, обнимаю тебя, друг.

[1] Письмо Герцена, опубликованное под датой 12 июня (см. XXIV, 178). Возможно, что написано оно было 12-го (обоснование датировки см. там же, 450), но отослано лишь 14 июня. Письмо Герцена к жене, посланное одновременно с письмом к Тате, см. там же, 179–181.

[2] Письмо Герцена к Саше от 12 июня (там же, 177–178).

[3] Речь идет о документах, связанных с оформлением "натурализации" Герцена во Фрибургском кантоне Швейцарии.

[4] Отклик на слова Герцена: "Иногда какие-то грозные предчувствия тревожат, неопределенные, но страшные" (XXIV, 180).

[5] Ср. в письме Герцена к Н.А. от 13–14 июня шутливый вопрос: "Ну что, как ведет себя Фок № 47" (XXIV, 181). В указателе имен к т. XXIV "Фок № 47" указан как К. Фогт, без объяснения, почему он № 47.

[6] Очевидно, тот № "Gazzetta Piemontese", в котором был помещен отчет о заседании 10 июня в пьемонтском парламенте, где Валерио выступил со своей интерпелляцией (см. выше).

[7] Первое отдельное французское издание брошюры Герцена "О развитии революционных идей в России", выпущенное в свет в июне 1851 г. в Ницце. Оно считалось изданием парижского книготорговца А. Франка (так было обозначено на титульном листе).

[8] О поручениях Герцена см. в его письме к Н.А. от 13–14 июня (XXIV, 180).

[9] Ср. в письме Герцена к Тате: "Обезьянок здесь нет, а я поищу что-нибудь другое" (XXIV, 178–179).

[10] Сосед – В.А. Энгельсон.

[11] Сюо (Сюйо, Сю) – владелец дома в Ницце, где с августа 1850 по октябрь 1851 г. жил Герцен с семьей.

25

⟨Ницца.⟩ 19 ⟨июня 1851 г.⟩. Четверг

Я хочу повторить тебе мой совет немедля по получении бумаг ехать в Лондон, потом Фогт советует тоже, не очень теряя время, съездить в Фриб⟨ург⟩. Иначе это будет иметь неблагоприятное впечатление; имея право, они будут придираться, разные требования, военн⟨ая⟩ служба, причащение детей и т.д. Хоть на два дня, но ⟨не⟩-пременно съездить. И потом воротиться в Турин, это уже советует тебе Сюйо, который, как все, возмущен против инт⟨енданта⟩ – "bête, animal"[25*]. Будет или нет ответ – все-таки ехать в Турин и требовать объяснения, если не удовлетворения. Сюйо говорит, что интенд⟨ант⟩ сделал это по ходатайству рус⟨ского⟩ конс⟨ула⟩[1], и бранит их на чем свет. Книга Валерио послана, его же *Фок* просил доставить в редакцию и кому следует 4 экземпляра. – Сегодня же Шпильман писал Голов⟨ину⟩, чтоб он непременно сейчас отправил газету, где интерп⟨елляция⟩ Вал⟨ерио⟩[2] в Париж, а здесь ни за что не достанешь, везде дают только прочесть.

Обнимаю тебя, друг мой, дети все целуют тебя. Если бы ты сделал свой дагер⟨ротип⟩ там, где Машен⟨ька⟩.

На обороте:
Александру

[1] Русский консул в Ницце – А.И. Грив.

[2] Это письмо Шпильмана неизвестно.

[25*] "скотина, животное" (*франц.*).

26

⟨Ницца.⟩ 19 ⟨июня 1851 г.⟩. Четверг, 5 часов

Не ждала сегодня письма от тебя, друг мой, а оно и пришло[1]. Друг, друг ты мой крепкий, ты как будто хочешь меня упрекнуть за малое и редкое писание, формат писания смущает тебя и мелкий шрифт, пожалуй, можно растянуть на листе, но не люблю я что-то: теплей, будто в уголок уселся, поговорить на маленьком клочке.

Ах, Александр! Какие уверения еще, друг мой, ты что, какие слова возможны после тех писем, которые я писала тебе, после того, как ты видел, знаешь, как я утянута тобой и детьми, да, тобой, друг мой, иначе бы я не страдала так прежде. Что же мы будем повторять одно и то же, Александр, мне кажется это профанацией. Не то, что мне не нравилось беззаботное, светлое чувство твое – а моя безмерная, безумная любовь, безумная n'était pas absorbée[26*], не знала, куда деваться, давила меня самое, ломала и сломала. Я ведь не защищаюсь, друг мой, есть на то причины или без причины, – я безумна была всегда, всегда... с детства, я создала в себе такой идеал жизни и человека и, чтоб достать этот идеал, я сама росла, росла, я сама так свято, так религиозно развилась...

Это не натянутость, мой друг, я сама не рада, я сама желала бы отделаться от *этого, чего-то*, что во мне так часто оскорблено, что меня заставляет обнять всех и любить, любить и страдать от всех и ото всего, что меня поднимает до небес и забивает меня в угол одну, от чего мне, бывало, хотелось убежать оттого, что это *что-то* не прилаживается к жизни, что я не умею приладить его к жизни, что от него только худо другим и мне.

И ведь, разумеется, где больше любви, где больше боготворения, там больнее всё – не знаю, как сказать, не то, чтоб мне казалось, что не любил ты меня совсем, совсем не понимал, а я так часто чувствовала, ибо со всею этою божественностью, со всей этой любовью – я чувствовала себя одинокой, ненужной; мне казалось, что я ошибкой упала на землю, в эту среду, и каждый звук симпатичный так отраден мне был... но все-таки потом я оставалась недовольною, не осуществлялся мой идеал, мое безумье...

Теперь, друг мой, когда ты как горячо призываешь меня, когда я вижу, что *я нужна* тебе, – *я оживаю*, помимо детей, я чувствую, что могу идти с тобой тихо, тихо, *не требуя от жизни ничего более*, о моей любви, о моей привязанности к тебе я не нахожу слов, выражений, ты мог, можешь видеть более, чем я могу сказать, мой друг.

А потом дети – о Александр, тут, мне кажется, мои сломанные крылья выздоравливают и расправляются, кажется *иногда*, что тут мне есть куда и что могу все несбывшееся, все бродящее – осуществить. Уйдем, уйдем, хоть в глушь куда-нибудь, все же я научу их любить и быть любимыми – это выше, это прежде всего.

Тороплюсь, душка, ужасно, хотелось бы, чтоб еще нонче пошло письмо, а меня задержали Орсини, сейчас был с женой, много кланяется тебе. Все говорят, что непременно тебе надо ехать в Турин, ну, уж с Лондоном как хочешь. – Еще писать к министру погоди, ведь инт⟨ендант⟩ сказал Бонфису, что он не отвечает, – верно, потому что еще рапорта не получал.

Куда ж и как писать?..

Ах, душка, вот бы ты утешил, кабы – да нет, вздор.

Ну, прощай же, болезный ты мой. Будь здоров и спокоен.

Влад⟨имир⟩ Ар⟨истович⟩ шалит просто. Купался бы себе в Гавре преспокойно, а Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ в конце июля приедет к нему, а то видишь, что выдумал, беспутный он эдакой[2].

По мне это просто шалость, уж там ему, как угодно, благо она поправляется без него, так дал бы поправиться.

[26*] не была поглощена (*франц.*).

[1] По-видимому, речь идет о не дошедшем до нас письме Герцена от 16 (?) июня 1851 г. В этот день Н.А. уже написала ему (см. п. 25). Взволнованный тон письма Герцена заставил ее сразу же взяться за ответ, который послан был с письмом от 20 июня.

[2] Вероятно, в том же не дошедшем до нас письме Герцен сообщил о намерении Энгельсона возвратиться в Ниццу раньше, чем он предполагал, а именно в июне.

27

⟨Ницца.⟩ 20-е ⟨июня 1851 г.⟩. Пятница

Как ни торопилась вчера, а не успела отправить письма, все же, по-моему, ты должен получить его 24. Сегодня я повторяю то же, друг мой, что писала вчера, то же. И оставим слова, друг мой, не будем подливать во все яду, пойдем с смирением тихо, тихо по дороге, с убеждением в нашу неразрывность, в возможность быть чем-нибудь для детей, дай мне твою руку...

25-го мы отправимся все в лес Ваар, праздновать рожденье Саши; уж несколько дней я обдумываю, как бы повеселить его, и у меня из головы не идет то время, когда родился он; напрасно ты думаешь, душка, что я не ценю наше прошедшее, мне страшно больно всегда от тебя слышать это, мне всегда казалось, что ты не довольно ценишь его... все сохранилось свято, друг мой, живо, все живет...

Прощай пока, друг мой.

Подожду еще письма от тебя, не принесут ли. Сюйю ⟨!⟩ обещал мне достать для тебя письмо от здешнего какого-то адвоката, приятеля Валерио[1], с которым ты к нему явился, не знаю, нужно ли это, но отказаться нельзя же.

Висконти отослал в Турин 10 экз⟨емпляров⟩ и в Геную 10. Пошлет и в Англию, да и в редакцию Генуи еще, а в Турин теперь довольно, я послала еще 2 экз⟨емпляра⟩ Головину. Сюйю говорил еще, что, должно быть, дело было так, Грив... да уж я писала это[2]. – Сюда возвращаться не надо прямо, а в Турин. Впрочем, южную Францию все-таки не упускай, Канн все хвалят, на той неделе, может, я попрошу всех наших съездить, хорошенько посмотреть.

[1] Адвокат Бюнико, о котором см. в след. письме.

[2] См. п. 25.

28

⟨Ницца. 21 июня 1851 г.⟩

Рукой Сюйо:

Monsieur Hertzen allant à Turin s'adresser à monsieur Valerio, député à Turin, de la part de m-r l'avocat Bunico de Nice lequel l'a déjà recommandé et le recommandera de nouveau par une lettre de ce soir[27*].

21-е Сюйо возымел к нам великую нежность, как видишь из верхней приписки, друг мой; адвокат *Бюнико* – большой друг Валерио; нужна ли тебе рекомендация к Валерио, не знаю, но дело в том, что все ужасно возмущены против действий здешних властей, вот еще вырезка из "Av⟨enir⟩ de Nice"[1], целого нумера, говорят, нельзя послать. Говорят еще , если ты поедешь в Турин и скажешь, что тебе нужно жить в Ницце для воспитания детей и что ты и не думал возмущать жителей и вредить стране – так, несомненно, позволят. Но я не знаю, душка, настолько ли велико твое желание оставаться в Ницце. – Вот от Коли презабавная вещь к Машеньке, посылаю ее тебе, чтоб ты прочел, душка[2]. Ну, опять ты будешь бранить меня за записочку, проспала, не сердись, да и что писать – приезжай скорей назад, друг мой.

Обнимаю тебя. – Ну, как-то ты укладываешься опять в дорогу, бедный ты мой, поверишь ли, как я часто об этом думаю и как это меня беспокоит, милый ты мой,

---

[27*] Господину Герцену, едущему в Турин, обратиться к господину Валерио, туринскому депутату, от имени г-на адвоката Бюнико из Ниццы, который уже рекомендовал его и будет снова рекомендовать в письме, которое напишет сегодня вечером (*франц.*).

желанный! Пиши, пожалуйста, всё, всё. Неужели у тебя голова не болела все время? – Ведь в Фрибурге не нужно долго жить, только ты полюбезнее представься…

Погода здесь дивная, но я не могу выходить, не манит меня никуда, уж особенно без тебя…

Ты от меня поклонись всем, Пальмье, Бернадо[3].

Ну прощай же. Боже Александр, неужели ты объясняешь как-нибудь *больно для меня* даже и немногое писание мое? Душка, не обижай меня. Чем больше живешь, тем больше *писать* невозможно. Обнимаю тебя.

Александра Христиановна кланяется тебе, она преусердно учит физиологию, и мы каждый вечер, оставшись одни, не можем довольно нахохотаться животом Фоки, а часто и серьезно очень беседуем.

[1] Речь идет о заметке, опубликованной в "Avenir de Nice" (№ 132 от 20 июня 1851 г.), по поводу интерпелляции Валерио и ответа на нее министра внутренних дел Сардинии Д.Ф. Гальваньо (*ЛЖГ* II, 33).

[2] Вероятно, имеется в виду письмо Коли к М.К. Рейхель 1851 г., публикуемое в кн. 2-й наст. тома, в разделе "Коля Герцен".

[3] Бернадо – Алоизий-Проспер Бернацкий.

29

⟨Ницца.⟩ 22-е ⟨июня 1851 г.⟩. Воскресенье

Твои упреки, друг мой милый, ужасно несправедливы, горьки и обидны для меня[1]. Если бы я осталась в совершенном одиночестве без тебя, я писала б, конечно, больше, философствовали, рассуждали бы мы с тобой… но я осталась с детьми, и все, что бы я ни делала – есть *продолжение писем к тебе*, Александр; у меня нет никаких развлечений, никаких занятий, которые бы мешали мне писать к тебе, кроме их, а они мешают, это может казаться смешно, а оно так: мысль мелькнет светлой точкой и тянет за собой целый клубок – распутал бы его – ан нет, надо к Оленьке сходить, с Наташей заняться, Саше напомнить об уроке, и так, не делая ничего, я *беспрерывно* занята, мне некогда подумать даже о себе, так немудрено, что я кажусь тебе покойною. И что же, наконец, охать, кричать… я действительно успокоилась, отдавшись снова, погрузившись совершенно в семью, ты и дети нераздельное для меня. Грустно мне, грустна твоя несправедливость, поверхностность в отношении меня. Но сердиться как мне, заслуженное мною…

Может, ты убедишься сам, наконец.

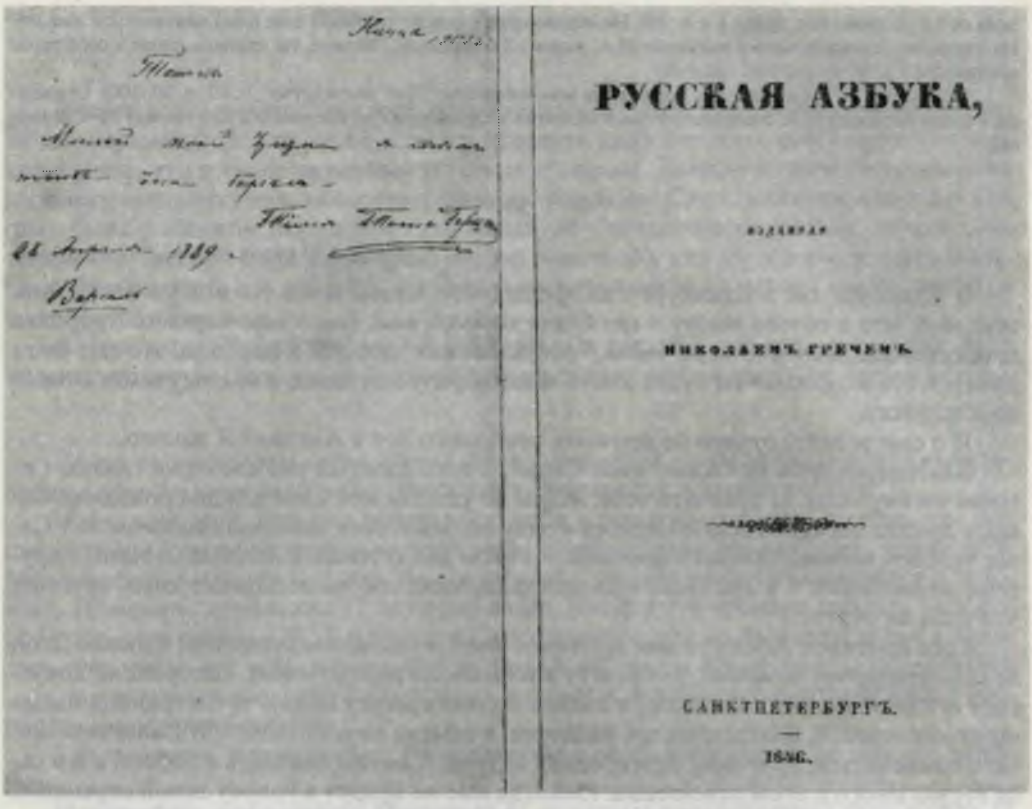
Теперь что касается до полковника, я верю в его страстную любовь к Офелии, как верю вообще в горячность его сердца, но и то правда, что, *желая* все делать *только* для ее удовольствия, – он *только* мучит ее, ненужным даже образом, ни для нее, ни для самого себя. Много причин на это, – праздность, нездоровье – дай возможность кутить, заниматься с интересом, и любовь примет форму здоровее, а по виду будет холоднее. Не упрекать, а помочь хотелось бы мне им, они оба стóят этого. Его единственная цель, как он говорит, и как бы должно было быть, – улучшить здоровье Ал⟨ександры⟩ Хр⟨истиановны⟩, что же, из его писем к ней видно ясно, что он ревнует ее, уже нé к кому (не к животу же, которого зовут Фогтом!), так ему досадно, что ей хорошо здесь, ревнует к ее выздоровлению – по мне это слабость и шалость непростительные.

Если свесить долю ее и его, в любви его к ней, так, верно, его поглотит все; самоотдание сведется на всевзятие. Ну, долечиться ли ей здесь, когда она знает, что он там сердится и из себя вон выходит. Потом все говорил, бывало, что она не занимается ничем, ну вот, теперь занимается, так это ему кажется вовсе неприятно. Жаль, но об письмах его ты ему не говори, а то будет нехорошо…

Истинно я не понимаю, Александр, иногда, чтó ты ищешь, чего желаешь – искать выход в том-сем – желая, имея тот выход, который желаешь.

Да, друг мой, я готова хоть в Сибирь ехать, и угол тихой, тихой, ничего более не нужно мне, лишь бы тебе и детям было хорошо.

Сию минуту получила два слова от Фогта, где он пишет только, что m-me



ЭКЗЕМПЛЯР "РУССКОЙ АЗБУКИ" Н.И. ГРЕЧА (СПБ., 1846), ПОДАРЕННЫЙ ТАТЕ ГЕРЦЕН ЕЕ МАТЕРЬЮ

Титульный лист и форзац с дарственными надписями: рукой Н.А. Герцен (матери) – "Ницца 1851 г. Тате"; рукой Н.А. Герцен (дочери) – "Милой моей Зизи с тем, чтоб она берегла. – Тётя Тата Герцен. 28 Апреля 1889 г. Версаль".

Музей Герцена, Москва

Herw⟨egh⟩ comme une bombe est tombée sur lui au milieu de son sommeil parisien[28*]. После этого я не думаю, чтоб ты желал, да и я тоже не желаю оставаться в Ницце.

Беды нет, мест много; например, говорят, Тулуза – совершенно одинакий климат с Ниццей, университет – увидим, лишь уж приезжай поскорее, друг мой, в Турин, я могу навстречу к тебе, если назначишь время.

Ты пишешь: "Может, ты найдешь силы в себе уврачевать", – о, друг мой! Как бы желала. – Если бы ты видел мое сердце, ты успокоился бы.

Ну, прощай же пока. Да что ж ты не пишешь ничего о том, можно ли тебе в южную Франц⟨ию⟩. Постарайся иметь это право. – Обнимаю тебя крепко, крепко. Что ж не прислал письма Гр⟨ановского⟩[2]. Дети целуют тебя…

Грустные письма твои ко мне и Энг⟨ельсона⟩ к Ал⟨ександре⟩ Хр⟨истиановне⟩ расстроили наше тихое, святое, гармоническое настроение.

Я жду тебя мучительно. Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ мучается и не знает, что делать.

Пожми же Энг⟨ельсону⟩ от меня дружески руку. Мне кажется без тебя и люди все печальнее. Они очень признательны за твою память о них.

[1] Возможно, что Н.А. имеет в виду содержание все того же не дошедшего до нас письма к ней Гер-

---

[28*] г-жа Гервег, словно бомба, свалилась на него во время его парижского сна (*франц.*).

цена от 16 (?) июня (см. прим. 1 к п. 26). Не исключено, однако, что было еще одно неизвестное письмо. По-видимому, слова из него и приводит Н.А. ниже: «Ты пишешь: "Может, ты найдешь силы в себе уврачевать..."»

[2] Письмо Т.Н. Грановского к Герцену от мая–июня (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 99–100). Очевидно, Герцен сообщил Н.А. о его получении в одном из не дошедших до нас писем к ней (между 15 и 20 июня).

30

⟨Ницца.⟩ 23 ⟨июня 1851 г.⟩. Понедельник [1]

В Единбург так в Единбург[2], из предыдущих писем моих ты мог уж увериться, друг мой, что я готова всюду – где будет хорошо вам, там и мне хорошо. Здоровье детей сначала заботило меня очень, теперь они так здоровы и окрепли, что сам Фогт дивится: стало, климат не будет иметь много призу над ними, а мы выучимся с ними по-английски.

И в самом деле, отчего не прожить несколько лет в Англии? Я желаю.

Благодарю тебя за письмо твое Саше[3], у него каждый раз слезы на глазах. Сегодня уж ему некогда отвечать тебе. Жаль, не удастся мой план для дня рожденья Саши, я думала посадить всю молодежь в одну коляску, всех знакомых мальчиков у Саши человек восемь, шляпы с цветами, – потом две коляски с нашими детьми, с другими маленькими – в лес Вара – да дождь, и, кажется, на несколько дней, грустно, что тебя не будет.

Тебе противен Абель[4], а мне противен Фогт, вульгарное существо; я думаю, и он не симпатизирует со мною, точно щит какой стоит передо мною, который не допускает его до меня, он очень добр, и знание его интересует меня – тут и граница нашему отношению. В Шотландии все найдется, и замена ему, поедем. – В Саше тебе нечего сомневаться, друг мой, благородная натура, а потом близость с тобою, я и в себя верую много в этом отношении. Никогда мне не придет в голову такой страшный вопрос: "Но если и дети пойдут в сторону" – с таким вопросом в груди я б жить не могла. Стоит только взглянуть на их лица – и почувствуешь, что вопрос этот великий грех[5].

Сегодня я проследила целый урок Коли – неоцененный человек Шпильман, жаль, попортил себя, все еще плох[6]. Что ты не скажешь мне, как Машенька, счастлива ли она, и за что же уж так об Рейхеле ни слова. Я думаю, она упивается теперь тобою вот как.

Мне вздумалось привить Саше оспу, все вернее; говорят, через 10 лет прививанье не действует.

Грустно и страшно без тебя, и жаль тебя, что ты там один, а тебе, может, и недурно вовсе.

Голов⟨ин⟩ собирается в Лондон, не надо его туда, где мы будем; все, что он делает, думают, что по твоему внушению, оттого, что-*де* ты его содержишь.

Едем, едем, друг мой, всюду, куда ты хочешь! Обнимаю тебя – опять скажешь, что записочка – да что ж сказать еще, и так поздно, твое письмо принесли в 6-м часу – пора на почту.

[1] Ответ на письмо Герцена от 20 июня (см. XXIV, 185).

[2] Герцен сообщал в своем письме: "Полков⟨ник⟩ советует в Единбург, я не прочь, вот будем вдали, – вдали от всех" (там же).

[3] См. XXIV, 186.

[4] Герцен писал в цитируемом письме: "Вчера был у меня Абель, какой он отвратительный дурак, дурак-немец" (XXIV, 185).

[5] Отклик на слова Герцена из того же письма: "Гран⟨овский⟩ ждет еще, что я сделаюсь великим писателем, нет, моя будущность переломлена ⟨...⟩ И вот тут-то и призвание детей, рода – продолжить личный труд, сменить уставшего. Тут действительная аристократия. – Но если и дети пойдут в другую сторону... это будет моя вина, именно оттого-то и будет это больнее".

[6] Очевидно, намек на пристрастие Шпильмана к наркотикам. Ср. в письме Герцена: "Несчастие не опиум, от которого Шпильм⟨ан⟩ не может отделаться" (там же).

31

⟨Ницца.⟩ 24-е ⟨июня 1851 г.⟩. Вторник

Писать вовсе нечего, друг мой, нового и интересного, а так только разве словечка два перемолвить, как-то не хочется провести день без того, особенно с тех пор, как я знаю, что и ты не скучаешь читать мои письма. Давно я не приготовлялась ни к какому празднику так, как к завтрашнему, рожденье Саши, кажется, с тех пор как сама была ребенком, ну точь-в-точь накануне Светлого воскресенья, целый день толкуем с Татой и с Ал⟨ександрой⟩ Хр⟨истиановной⟩, как бы попраздновать получше. Погода, кажется, удается, мы наделаем всем венков на шляпы – и не спится, и не делается ничего…

Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ разворковалась сегодня – тю, тю, тю… милое, грациозное существо, нет, уж не быть ей да и не нужно, четом, пусть останется нéчет.

25-е, утро

Вчера на последнем слове вошел Фогт с Бараньей головой[1] и помешал продолжать, а вечером мне захотелось рассказать Энгельсону о пупоньке[2] его.

Итак, друг мой, еще раз поздравляю тебя с рожденьем Саши, я верю, что под старость мы будем радоваться на него, верю этому столько же, как тому, что он есть. Мне кажется, что с тех пор, как ты его не видал, он еще на степень развился в человека. Помнишь, душка, как 12 лет тому назад, почти в это время, я просила тебя поколотить мне спину… В 12-м часу уж Саша родился, как он был мил, и как я дивилась, что у него все есть, как и у других людей, да, святое время, друг мой! – Матвей – он так искренно разделял с нами тогда и радость, и все… это и его окружает ореолой в моем воспоминании.

Тулузу очень, очень хвалят, ученый город и весьма приятный, но мне все равно куда.

Пожалуйста, поблагодари Машеньку за ее письма-поздравления[3], буду писать ей после.

Обнимаю тебя, друг.

Может, еще припишу.

[1] К. Фогт "объяснял" Н.А. и всем ее домашним "устройство" головы барана (ср. п. 24).
[2] *Пупонька* – шутливое прозвище А.Х. Энгельсон.
[3] Эти письма М.К. Рейхель не сохранились.

32

⟨Ницца.⟩ 26 ⟨июня 1851 г.⟩. Четверг

Жаль, что не было тебя, Александр, вчера с нами: в трех колясках, украшенные все цветами, даже лошади, – мы отправились в Ваар; молодежь была счастлива.

"А мы при старости и себя веселим,
Молодость вспоминаючи,
на детей глядим".

Возвращаясь оттуда, украшенные ветвями, и сетки бабочек в виде знамен – проехали по городу, к великому его увеселению. И у Рокки на его поварском берете приколот был букет, жена его тоже в венке.

Дома я нашла твое письмо[1], друг мой. Я думаю, если бы ты уже прочел последние мои письма, то не говорил бы так. Я так проникнута любовью к тебе и детям, которые тоже ты, продолжение или возрождение тебя, – я совсем не умею делить вас[2] – что она струится из меня сквозь все поры… что она делает вокруг меня атмосферу и должна быть чувствительна каждому чувствующему, даже в некотором расстоянии. Мне кажется теперь, что физическое и всяческое существование мое обратилось все на выработку этого чувства, и сама я вся ушла на эту выработку… я не тот уже мятный лист, самобытный, который рос на грядах в старой Бронной, за ко-

торым ходил Емеля-дурачок и который Костенька[3] клала в кубик – метаморфоза совершилась, листу не нужна более земля, он не тянется к небу, не ищет, не просит... он этот extrait, double, triple[29*]... он-то весь и уходит, испаряется в вас, в вас, друг мой. Ты один не совсем, ты для меня теперь, ты и дети – целое. Я чувствую, что я не умею передать хорошенько мою душу, а как-то слабо, наивно... никогда не умела говорить. – Ах, какая, подумаю, душка!.. Если ты находил несправедливым мою требовательность и мои страдания, тогда, как мне казалось, что ты мало даешь мне себя и слишком много всему остальному, тогда как я не знала, куда девать себя и тяготилась собой... справедливы ли твои упреки теперь? Уходить в детей не значит бежать от тебя. Тогда – я любила, как Энг⟨ельсон⟩, с беспредельным эгоизмом – должно быть, мне хотелось все себе, всё, – теперь я ушла, улетучилась в вас, мне хочется вам все более, вам...

Если б ты знал лучше историю моей души, которая вся совершалась возле тебя с первой минуты, – ты бы судил меня иначе, но мне невыносимо трудно говорить – уж одно то невыносимо, что мне нужно говорить *тебе* – пусть так останется, я *иногда* думаю, что ты меня понимаешь и без слов, а слова до тех пор будут невозможны, пока явится возможность мне убедиться и привыкнуть к тому, что слова между нами необходимы. Ну, тогда тоже говорить не нужно.

Пора артистического говора прошла, пора, где рад себе и не знаешь, за какой инструмент взяться, чтоб передать себя, поделиться собою – все инструменты ломаются наконец, s'usent[30*] и последний из них бросается в ту минуту, когда уж никакого не нужно, – при полной симпатии, или страсти, или от отчаяния.

Браться снова за инструменты – для этого надо снова переродиться и принести *себя* столько же, если не более, в жизнь.

Жаль, что ты не уговорил Энг⟨ельсона⟩ остаться в Гавре и ждать Ал⟨ександру⟩ Хр⟨истиановну⟩, известие о скором приезде повергло ее и в слезы и в бессонницу, она не может вздумать без ужаса предстоящие ночи, даже лицо его страдальческое боится увидеть, опять так скоро: "Хоть бы он дал еще три недельки оправиться мне, собраться с силами". Мне становится жутко, душа моя, когда вижу и слышу ее, и вспоминаю его... Наконец, не иметь самоотвержения на три недели для того, чтоб – это серьезно – она выздоровела, успокоилась – где ж любовь? Я вижу одну страсть. Но всё это не во осуждение буди сказано.

Она любит его ужасно, уважает, как друга, как брата... но в чем же виновата, что не может любить как любовника? Он это знал, когда предлагал ей жениться.

Интендант дал Фогту пасс в Канн – "m-me Herzen c la compagnie"[31*], консул франц⟨узский⟩ сказал, что мне самой надо явиться и подписать что-то, подожду, пока нужно будет. В консульстве сказали Фогту, что консул берет на себя дозволить мне съедить в Канн, но с тем, чтоб воротиться, а жительства моего там на себя взять не может.

Посмотрим, что скажут в Тур⟨ине⟩ – я готова и туда, и в Париж, и в Барцелону, и в Единбург, только Голов⟨ина⟩ не надо, с ним отвсюду прогонят, в этом ты убедился, на этот раз никакого нет сомнения, что мы из-за него должны оставить Пьем⟨онт⟩ да еще из-за его вздору. Это досадно. Нельзя ли откупиться от него? Сейчас Гю⟨й⟩о состряпал новую Оленьку для мам⟨еньки⟩ к завтрашнему дню[4] – если б она вышла похожа, то я послала бы ее потом тебе...

Прощай, друг мой, обнимаю тебя. Так до 20-го?[5] Может, и ранее сможешь, только в Ниццу прямо не езди без разрешения, лучше я в Турин к тебе приеду. Прощай.

[1] Письмо от 22 июня (см. XXIV, 187–189).

[2] Отклик на слова Герцена: "Я хочу невозможного – и хочу любви 1838 года, той, в которую я верил, я готов ревновать к детям, мне что-то мало в этом, мне что-то кажется это удалением от меня, желанием занять себя... и снова ужас истомляет мою душу" (XXVI, 188).

29* экстракт, двойной, тройной (*франц.*).

30* изнашиваются (*франц.*).

31* г-же Герцен с компанией (*франц.*).

[3] *Костенька* (Наталья Константиновна) – няня Герцена, затем Н.А. Захарьиной.

[4] Никаких данных о портрете Оли, сделанном художником Ж. Гийо, обнаружить не удалось. Не исключено, что портрет этот затонул во время кораблекрушения вместе с вещами Л.И. Гааг.

[5] В письме от 22 июня Герцен сообщил, что предполагает к 20 июля быть в Ницце.

33

⟨Ницца.⟩ 28 ⟨июня 1851 г.⟩. Суббота

Итак, ты на возвратном пути, друг мой! Ребятишки в восхищеньи, и у меня отлегло на сердце[1], без тебя мне тяжело, будто половина меня отнесена так далеко... Я все делаю усилие соединиться – это мучительно, даже физическую боль чувствуешь в груди.

Неблагоразумно сделал Эн⟨гельсон⟩, или он *советовался* только с Пальмье, я верю в *лечение*, а особенно в *попечение* Пальмье, сопровождаемое опытностью и сердечным участием, но знаниями, я думаю, многие превзойдут его, с ними-то и надо было *посоветоваться*, Фогт удивлен отправкой в Шамбери – там ровно ничего нет для леченья, молоко и виноград и здесь есть, и здесь не жарче летом, чем там, – бог знает, что за вздор. Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ в отчаянии, ему пользы не будет, а ей вред будет, ее послали доктора в Ниццу для купанья... сумасшедший дом, и доктора-то тоже сумасшедшие, какая тупость, какое непониманье... мне жаль Ал⟨ександру⟩ Хр⟨истиановну⟩ от всей души, и его также. Я с убежденьем говорила тогда, что она поправится, а теперь так же убеждена, что испортится, если скоро так уедет, окрепнувши, может, продержалась бы.



А.Х. ЭНГЕЛЬСОН

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш).
⟨Ницца⟩, 1850.

Надпись рукой Н.А. Герцен:
"M-me Engelson 1850"

Музей Герцена, Москва

"В ней рядом с отчаянием, с желанием умереть,
с привычкой ныть и изнывать была и жажда светских
наслаждений, и затаенное кокетство,
любовь к нарядам и роскоши, отвергаемая
как бы преднамеренно, на зло себе"
("Былое и думы")

Да, бедный Эн⟨гельсон⟩, если бы он не мучил, не дразнил ее, может, несомненно даже, что был бы любим *ближе* к тому, *как* ему нужно быть любимым, он сам разрушает свое благо, как дитя, которое ломает свою игрушку и сердится на нее же за это. Ну вот она склеенная, надолго ли станет? Справедливо ли требование или самый упрек, что она *не может* любить *его* так, ⟨как⟩ он хочет... но, думаю, нельзя делать более, чем она, для него.

Твой приговор слишком строг, может быть, и она способна к той степени любви, на которой его любовь. Я увлекаюсь, говоря о них, оттого, что люблю их.

Третьего дня вдруг отворяется дверь, входит бедуин и жмет мне руку – Хоецкий![2] Он очень приятный человек; много и красноречиво рассказывает нам о Востоке, я нахожу даже в манерах и в выражении лица что-то восточное. Жалеет, что тебя нет. Привез мне мумию маленького крокодила.

О приезжей[3] после первого извещения Фогта – я не слыхала ни одного слова.

Вчера мы тоже попраздновали мам⟨енькино⟩ рож⟨денье⟩, прислали ей такой бу-

кет monstre[32*], что все не нарадовались; ездили кататься, обедали в St.-André[4]. Я без тебя, как потерянная.

Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ сейчас отправляется с Хоец⟨ким⟩ верхом. Я к ней питаю материнскую нежность.

Все журишь, что мало пишу, – я жду тебя, душа моя, жду.

Каппенок[5] прислал "Memeler Dampfboot", где сказано о получении переводов с рус⟨ского⟩ и твоей брошюры с прибавл⟨ением⟩ "diese bedeutend hervorragenden Erscheinungen"[33*] и проч. Для смеха посылаю его приписку на бандероли[6].

[1] Герцен писал 24 июня: "Завтра вечером мы выезжаем, а 27-го я оставляю полковника в Лионе и еду во Фрибург" (XXIV, 189).

[2] К.-Э. Хоецкий возвратился после продолжительного пребывания в Египте.

[3] Имеется в виду Эмма Гервег. См. п. 29.

[4] *Сент-Андре* – живописное местечко невдалеке от Ниццы.

[5] Так Н.А. называет Ф. Каппа.

[6] Эта приписка Каппа на бандероли мемельской (клайпедской) газеты неизвестна.

34

⟨Ницца.⟩ 30-е июня ⟨1851 г.⟩.

Портрет твой очень похож[1], но много выражает скорби, и дурней тебя гораздо; такой портрет можно только дать тому, кто хорошо знает наружность и внутренность, он *напоминает*, но *понятия* о человеке дать не может, я его очень люблю, чем более смотришь, тем более узнаешь, – благодарю тебя за этот подарок, лучше ты не мог сделать.

Эн⟨гельсона⟩ я нашла здоровее, чем он был прежде, славный человек, с тех пор как он приехал, Хоец⟨кий⟩ сходил только переночевать домой, все не наговорятся о Спешневе. Офелия и Офель[2] в хорошем очень настроении, боюсь до смерти, чтоб пружинка не соскочила; он, кажется, в Шамбери и не думал собираться.

Нам захотелось сегодня представить у себя в саду деревню, мы наносили в беседку множество сена и улеглись на нем. Мне страшнее за тебя с тех пор, как ты один, берегись, будь здоров. Тата необыкновенную питает к тебе нежность, а Коля поглощен весь Ал⟨ександрой⟩ Хр⟨истиановной⟩, влюблен в нее страстно.

Достоинство Сашиных писем в том, что он пишет их только по собственному внушению, впрочем, и Тата тоже.

Сегодня будем читать Мольера со всею братиею.

Луиза убита твоим выбором, и меня разрядил же ты на старости лет[3], мне совестно будет. Эту зиму можно и в Турине провести, только прогони оттуда Гол⟨овина⟩, он везде и всегда обратит на тебя внимание недостойным образом.

Пришли Эн⟨гельсону⟩ записочку, которую я ему писала[4].

Обнимаю тебя, друг мой, крепко, крепко, приезжай же поскорее.

Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истиановна⟩ очень довольна твоим подарком. Хоец⟨кий⟩ продолжает ходить в белом бурнусе, красной феске и не иначе кланяется, как руку на сердце и лоб.

[1] По-видимому, дагерротип, присланный Герценом с В.А. Энгельсоном. См. его воспроизведение в "Лит. наследстве", т. 61, с. 29.

[2] А.Х. и В.А. Энгельсоны.

[3] Из письма Герцена от 25 июня: "Я выбрал тебе материю на платье ⟨...⟩ Ну, а как не понравится?" (XXIV, 191).

[4] Эта записка Н.А. к Энгельсону неизвестна.

32* огромный (*франц.*).

33* "Эти знаменитые выдающиеся явления" (*нем.*).

35

⟨Ницца.⟩ 2-е ⟨июля 1851 г.⟩. Среда

Оба твои письма из Женевы[1]. Александр, наконец, знаешь ты меня сколько-нибудь или нет? Если знаешь, то как же рассказ Саз⟨онова⟩ мог заградить так для тебя сказанное мною?? – или ты забыл, что я говорила?

Вспомни, я говорила, что не оставлю тебя живая, что если ты покинешь меня, то я останусь одна – помнишь?[2]

Наконец, ты советовал мне обещать свиданье через год[3]. Увидевши, что ничего не уважено, ничто не принято во внимание, – увидевши наместо любви, готовой погибнуть, умереть, могущей заставить умереть, – увидевши, наместо ее, желание торжества, потом страха обвинения, – я взяла назад и это обещание, заменив его другим – не оправдываться. И заключила, наконец, последнее письмо мое, писанное перед твоим отъездом, тем, что я не имею более ничего сказать[4].

И теперь я повторяю сказанное мною, прибавить мне нечего. Для тебя я вся тут. Рассказывать прошедшее я не могу, это значило бы оправдываться, я сдержу мое слово. Пусть придет, убьет меня, иначе я не оставлю тебя. Писать у меня нет более сил, я хотела бы быть с тобой.

А потом я хотела бы умереть скорее, *если ты* имеешь так мало веры в меня, так жить нельзя и не нужно, а смерть и тебе будет маленьким доказательством.

[1] Ср. письма от 28 июня или 29 июня (см. XXIV, 192–193).
[2] Ср. X, 259 и XXIV, 254–255.
[3] См. "Лит. наследство", т. 64, с. 303–313 и XXIV, 256.
[4]*Это письмо Н.А. Герцен к Гервегу неизвестно.

36

⟨Ницца.⟩ 3-е ⟨июля 1851 г.⟩

Друг мой, друг мой, если б у меня были крылья... как бы полетела я к тебе. Невыносимо. – Я не знаю, что́ со мною после твоего последнего письма, и не умею сказать ничего. Знаю только, друг мой, что люблю тебя всею способностью любви во мне, что одна смерть может оторвать меня от тебя. Последнее время доказало это еще яснее. И еще – я тоже буду откровенна – скажу тебе, что мне страшно за мою любовь к тебе, – она слишком хороша, она робка, мой друг, у ней в памяти еще слишком живо страдание быть непонятою, неоцененною, ненужною, быть любимою не так же... но пусть! Судьба моя во мне решена – жить и умереть для тебя, – дети – они тоже ты. Ты сделаешь из этого, что хочешь.

Обнимаю тебя, Александр.

Будь здоров и спокоен[1].

[1] Ср. *Л* VI, 421–422, где публикуемое письмо ошибочно обозначено как первый отклик Н.А. на письмо Герцена и его женевскую встречу с Сазоновым.

37

⟨Ницца. 4 июля 1851 г.[1]⟩

Если тебе нельзя сюда[2], пиши скорее, не приехать ли мне к тебе. Если б ты только был спокоен.

Раскаянья у меня нет, мой друг, в чем же? Это несчастье мое, что моя способность любить не по силам пришлась ни мне самой, ни другим – я горда, но гордость моя не так безумна, чтобы затмить во мне совесть, – в каждом поступке сужу я себя строго, и не требую, не желаю даже признанья других: тебе говорю теперь, думая успокоить тебя этим сколько-нибудь, – я чувствую себя совершенно чистою, я не могла быть ина-

че, я поступала всегда от всей полноты души, теперь я та же, та же, и каждый мой шаг, слово – я сама. Несчастье мое в том, что и другим я верила, как себе...

Друг мой, успокойся, умоляю тебя, умоляю скажи, что я могу сделать для тебя...

[1] М.К. Лемке ошибочно принял это письмо за записку Н.А. к мужу, отправленную 4 июня в адрес содержательницы парижского отеля Mirabeau г-жи Кузен (см. п. 14). Располагая теперь всем комплексом писем Н.А. этого периода (с 4 июня по 7 июля), нетрудно увидеть, что по содержанию оно выпадает из ее писем начала июня, зато очевидной стала связь этого письма с письмами первых чисел июля, предшествовавшими встрече в Турине. Именно в этом письме Н.А. впервые пришла к мысли о необходимости возможно скорее встретиться с мужем, выехав немедленно ему навстречу, в чем в июне не было никакой необходимости.

[2] Вернуться в Ниццу без официального разрешения пьемонтского Министерства внутренних дел Герцен не мог. Это и сделало необходимой его поездку в Турин.

38

⟨Ницца. 5 июля 1851 г.[1]⟩

Александр, мой Александр, будем страдать вместе, друг мой, как тяжело! Как мне жаль тебя, тебя, мой друг, – и что ж я могу сделать?

Да, я бы обняла тебя крепко, крепко – и так бы умерла с тобою, если ты не хочешь более жить, если не веришь мне, если я не могу ничего для тебя...

Теперь, мне кажется, и воспитанье пустяки, у детей хорошая натура, она спасет их, – тяжело жить, друг мой, невыносимо – когда я знаю, что ты так страдаешь. Вчера я не могла более выносить общества, поехала вечером с Ал⟨ександрой⟩ Хр⟨истиановной⟩ – долго ездили... Страшно взойти в дом без тебя, да я не могу и оставаться более так, я поеду к тебе в Турин. 7-го или ранее, чтоб 8-го быть там, ты справься в hôtel Feder... Грудь, вся кости точно переломаны, мозг что-то не на месте.. с ужасом думаю, что еще два дня ждать 7-го да два дня на дороге. – Если нет меня в Турине 8-го, значит, что-нибудь задержало здесь, не жди и приезжай, пишу тебе, что буду, может быть, для того, чтоб не разъехаться.

Сейчас говорила с Рокка, послала его взять место в поч⟨товой⟩ кар⟨ете⟩ на воскресенье, в половину пятого пополудни, стало, к утру вторника мы, может, въедем вместе в hôtel.

Сердце бьется, бьется, перестает биться, дух захватывает. – О, если б я могла утешить тебя, друг мой! успокоить...

Обнимаю, обнимаю тебя.

[1] М.К. Лемке опубликовал это письмо с датой 4 июля 1851 г. (*Л* VI, 422). По-видимому, оно было написано 5-го числа, после предыдущего письма, датируемого 4 июля, где о поездке Н.А. в Турин говорится только условно, тогда как в публикуемом письме речь идет уже о принятом решении ехать. Очевидно, это письмо Н.А. входит, как и два предыдущих (п. 35 и 36) в цикл тех "коротких писем Natalie", о которых Герцен пишет в "Былом и думах" (X, 272) и которые являлись ответами на его несохранившиеся письма.

39

⟨Ницца.⟩ 7-е ⟨июля 1851 г.⟩. Понедельник

Вчера получила твое письмо, где ты пишешь, что не прежде 10-го будешь в Турине, я отложила тоже ехать до завтра; два дня лишних без детей и ждать тебя – ужасно б было.

Наконец, друг мой, я не знаю вовсе, что сказать на твои упреки после всего того, что уже сказала. Мне кажется, после них и ехать мне незачем... для тебя... Тата неутешна, с тех пор, как знает, что я еду. "Папа большой и один приедет, или возьми меня с собой". – Я говорю: горы высокие, детям опасно ездить там. – "Лучше я умру с тобою, чем останусь без тебя", – и все это так тихо, тайком от других – вот ждут страдания-то в жизни такую натуру. Оно глупо, и сердце разрывается, слушавши ее, но не могу, на этот раз поступлю эгоистически, если не для тебя – для себя поеду, мне нужно тебя видеть и слышать, мой друг, мне так тяжело. Для Наташи, может, много и хорошего будет в жизни – а для меня – солнце на закате и время на утрате...



ТАТА ГЕРЦЕН

Рисунок Н.А. Герцен (карандаш). Париж, 19 апреля 1850 г.

Надпись рукой Н.А. Герцен (матери): "Париж 1850 19 Апреля N(atalie)"

Музей Герцена, Москва

"...несколько слов прибавила она о детях (...) Береги Тату, с ней нужно быть очень осторожну, это натура глубокая и несообщительная" ("Былое и думы")

Я рада, что Хоец(кому) есть препятствия, а то бы он поехал со мной, мне противны все люди, а в Турине от Головина не будет житья – все равно ты ранее меня приедешь – устрой так, чтоб он не поселился у нас, и отправь его в Лондон. Он беспрестанно писал к Шп(ильману?), просил денег, я хотела наконец послать денег сколько ему нужно, но сама еду, а себя жаль, да ему этого и не нужно.

Итак, до свиданья, Александр... зачем я еду? Последнее письмо твое такое холодное[1].

[1] Авторы-составители "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена" предполагают, что речь здесь идет о письме Герцена от 5 июля (*ЛЖГ* II, 40). Но Герцен отправил письмо 5 июля после пяти часов вечера ("Час тому назад приехал я сюда", "в четыре часа перед обедом", – сообщает он в этом письме – XXIV, 195). Но Н.А. говорит о письме, полученном *6 июля* ("вчера получила твое письмо"). Письмо из Женевы в Ниццу так быстро дойти не могло. Очевидно, было еще одно письмо Герцена, не дошедшее до нас и посланное из Фрибурга 2 или 3 июля. В пользу этого предположения говорит содержание письма от 5 июля, где нет открытых упреков жене; его никак нельзя назвать "холодным".

Т.А. АСТРАКОВОЙ

Статья и публикация И.М. Рудой и Ю.П. Благоволиной

Переписка Н.А. Герцен с Татьяной Алексеевной *Астраковой* (1814–1892)[1], продолжавшаяся с года замужества Н.А. Герцен и до ее смерти, значительна не только количественно (в ней насчитывается около 200 писем Натальи Александровны), но и по существу. Адресованные близкой подруге письма и "записочки" Натальи Александровны, всегда искренние, порой предельно откровенные, раскрывают перед нами внутренний облик жены Герцена, интеллектуальный и эмоциональный строй ее личности, "историю ее души"[2].

Жизнь и судьба Н.А. Герцен, одной из замечательных русских женщин своего времени, не может не привлекать внимание историков русской культуры, и не только потому, что она была женой Герцена и героиней его главной книги – "Былое и думы", но и потому, что в ее судьбе сконцентрировано множество вопросов времени, казавшихся неразрешимыми ей самой и решенных в России лишь женщинами следующих поколений.

Основу драматизма судьбы Н.А. Герцен составляло постоянное ощущение избыточности задатков ее натуры сравнительно с возможностью их применения. Отсюда часто мучившее Наталью Александровну сознание "пустоты", "незаполненности" жизни. Но это психологическое состояние было характерно для многих женщин того времени. Именно в 1830–1840-е годы в русском обществе все глубже и трагичнее осознавалась невозможность проявить то душевное богатство, которым была наделена женщина и которое силой социальных обстоятельств было замкнуто для нее узким кругом домашних забот и обязанностей. Неудовлетворенность жизнью, проникавшая все глубже в сознание женщины, составляла своего рода знамение времени и вскоре нашла яркое воплощение в литературе в образе так называемой "тургеневской героини", с ее осмысленным стремлением прожить на земле "недаром", с ее потребностью "трудного подвига" ("Ася") и "деятельного добра" ("Накануне"). Поэтому жизнь Н.А. Герцен теперь, в ретроспективе времени, воспринимается как своего рода постановка проблемы, настоятельно требовавшая решения, но не получившая его.

Значительность своей судьбы как некоего "урока", завещания будущим поколениям осознавала и она сама. Это побуждало ее не раз браться за перо, начинать вести дневники, составлять план автобиографии и т.п. Но ее настойчивое желание оставить потомству свои записки не осуществилось. Значительным восполнением этого пробела служит ее эпистолярное наследие и публикуемая серия писем к Астраковой, в частности.

Психологический портрет Н.А. Герцен, "борьбу и победу" (X, 212) этой незаурядной женщины за свое человеческое достоинство – победу, одержанную вопреки всем невзгодам и сложностям судьбы, – ярко воссоздал Герцен в мемуарах. Публикуемые ныне письма – живой комментарий к мемуарам Герцена, отчасти дополняющий, а отчасти и корректирующий их. Эта корректировка важна вовсе не для того, чтоб "уличить" Герцена-мемуариста в неточностях, а потому, что она зачастую помогает понять законы построения сюжета в сопоставлении с естественным ходом событий "эмпирического" бытия. "Былое и думы" – как и любое художественное произведение, созданное на мемуарной основе, – в сопоставлении с документальными первоисточниками, раскрывающими судьбы и характеры его героев, дает возможность сопоставить типы с прототипами литературного произведения, прямая соотнесенность которых между собой в данном случае бесспорна, но тождества между которыми все-таки нет. В серии этих подлинных документов переписка жены Герцена с Астраковой давно уже ждет своей очереди, чтобы войти в круг внимания исследователей.

О литературном таланте своей будущей жены Герцен писал ей из ссылки, когда их переписка была особенно интенсивна. "Иногда, читая твое письмо в десятый, в двадцатый раз, я взгляну на него с литературной точки зрения, – пишет он ей 25 марта 1838 г., – и, признаюсь, ежели бы ты была *не моя*, я мог бы позавидовать поэтическому таланту. Почти каждое письмо – поэма, и чувство вырывается из души стройно, как из арфы, и главное, ты не чувствуешь, что песнь льется, это так естественно тебе, как твоя любовь ко мне" (XXI, 337–338). Эта характеристика относится не только к переписке Н.А. Герцен с мужем. Печатью таланта отмечено почти каждое ее письмо. В них свой ритм, своя внутренняя музыка, и чувство радости или грусти находит всегда свое музыкальное воплощение. "Что вы, как вы? а я что? спросите вы меня. О! мое блаженство, ей-богу, растет с каждым днем, я умру от любви, от счастья – но нет, надо жить!!!" (п. 7). "Грусто мне, ужас грустно без Александра, мне кажется, я хуже без него стала, ведь он источник всего прекрасного, из которого пьет моя душа. Шушка утешает меня много, чувство матери ⟨...⟩ в нем тоже нет ни дна, ни берегов, оно так же безгранично, как Любовь, так же полно наслаждений" (п. 15).

Яркость и напряженность эмоциональной жизни Натальи Александровны почти всегда предельны, а письма ее чаще всего производят впечатление непосредственных "сколков" ее души.

В судьбе Н.А. Герцен и Астраковой с самого начала было много общего. Обе "незаконные" дочери своих отцов, обе они по прихоти судьбы были взяты воспитанницами в дворянские дома и с ранних лет (Астракова – с трех, Н.А. Герцен – с семи) узнали горечь сиротства и одинокого детства среди чужих людей. Для обеих избавлением послужила любовь и счастливое замужество. Астракова вышла замуж за своего двоюродного брата, друга Герцена – Н.И. Астракова в январе 1838 г. А в апреле того же года она познакомилась с Герценом, который сказал ей при первой же встрече: "Я очень рад ⟨...⟩ счастию Николая, и приехал сюда просить вас помочь мне быть так же счастливым"[3].

Татьяна Алексеевна не раздумывая сделала все, о чем ее просили. А просили ее поехать в дом к совершенно до тех пор неизвестной ей княгине М.А. Хованской, отрекомендоваться там близкой знакомой брата Н.А. Захарьиной по отцу – А.А. Яковлева ("химика") и сказать, что тот якобы поручил ей привезти сестру к нему в Петербург. "В случае же, что княгиня не согласится отпустить Наташу ⟨...⟩ на слово, передать ей письмо Алексея Александровича ⟨...⟩

Они рассчитывали, что княгиня, прочитавши это письмо, смело и даже дерзко написанное, рассердится и выгонит Наташу вон, а этого только и желали"[4].

Столь смело задуманный план похищения невесты Герцена, назначенный на 18 апреля 1838 г., как известно, не удался. Княгиня наотрез отказалась отпустить воспитанницу с незнакомой ей дамой, и Герцен вспоминал ровно через год, как он уехал из Москвы "грустный" и "без положительных надежд" (XXII, 24). Но в памяти Натальи Александровны этот день остался как один из самых значительных в ее жизни. Впоследствии она часто вспоминает о приезде Астраковой в дом княгини. Татьяну Алексеевну она называет "царицей" этого дня (п. 19). Этот эпизод не вошел в "Былое и думы"[5], в нем не все до конца ясно, и каждая деталь, дополняющая рассказ Астраковой об этом дне, существенна и интересна. Именно в этот день родилась взаимная симпатия обеих женщин. Наталья Александровна писала Герцену об Астраковой тотчас после ее визита: «Она – дивная! Как свободно и торжественно сказала она: "Я приехала за Натальей Александровной". Как они струсили – всё, всё чудесно, превосходно, достойно и кисти, и пера художника, и нашего воспоминания»[6]. Самой Татьяне Алексеевне она писала впоследствии об этом дне растроганно и благодарно: "А эта доброта, это участье голубых глаз – как живы они в душе моей" (п. 9). Астракова же вспоминала о Наталье Александровне много лет спустя: "Я загляделась на ее милое личико, на ее глубокие глаза и полюбила ее ⟨...⟩ навсегда"[7]. Эту любовь она пронесла действительно через всю жизнь; воспоминание о "Наташе" осталось для нее одним из самых радостных до конца ее дней.

Публикуемые письма по хронологии распадаются на пять основных групп: письма из Владимира, Петербурга, Новгорода, московские "записочки" и письма из-за границы.

Во владимирский период значительная часть общего числа дошедших до нас писем Н.А. Герцен адресована Астраковым. Они самые постоянные корреспонденты Герценов в это время – и это естественно. Во-первых, молодая чета исполнена чувства благодарности тем, кто содействовал их счастью. Они оба видят в Астраковых близких по духу людей, способных всегда и во всем до конца их понять. Кроме того, Татьяна Алексеевна, опекая младшую по возрасту подругу, выполняет множество ее поручений.

Первое письмо, к Астраковым и Кетчеру одновременно, отправлено на другой же день после свадьбы, 10 мая 1838 г. Оно полно лишь одним чувством: "Благодарность, благодарность вам безмерная, бессловесная, невыразимая..." (XXI, 374–375). Но и в нем уже короткая фраза Герцена: "Шляпку необходимо и платье. Выслать ли денег?". И дальше в письмах к Астраковым сплетаются постоянно две темы: высокого блаженства, безмерной признательности друзьям – и тема устройства быта – "переплетов", о которых писать хоть и "скучно", но необходимо (п. 2).

И в этой насыщенности бытовыми деталями – особая прелесть владимирских писем к Астраковым. Мы узнаем из них, что "переплеты" в это время занимают внимание отнюдь не только Натальи Александровны, но и ее молодого супруга. Обращаясь с просьбой, чтоб фасон ее нарядов был "последней моды", она прибавляет: "Это требование *благоверного*" (XXI, 388). Они оба молоды и житейски неопытны ("Ни в чем толку не знаю", – признается Наталья Александровна – п. 2), но оба с увлечением занимаются устройством своего быта, и их явно "тешат" в этот период даже и бытовые мелочи (см. XXI, 367). "Мантилья вороного крыла", "платья два белые, батисто-декосовое и кисейное" и платье холстинковое из "английской холстины голубой", ленты газовые и "узкие розовые и голубые атласные", "две гребеночки для локонов" (п. 1 и 2) – все эти детали из писем делают внешний облик юной жены Герцена более конкретным и зримым в его привлекательности[8].

Герцен пишет в "Былом и думах" о бытовом неустройстве первых месяцев жизни во Владимире. Но – как свидетельствует, в частности, и публикуемая переписка – несколько сгущает краски. "У нас не было ничего, да ведь решительно ничего: ни одежды, ни белья, ни посуды. Мы сидели под арестом в маленькой квартирке, потому что не в чем было выйти" (VIII, 376). Из писем Н.А. Герцен ясно, что такое положение продолжалось недолго, чуть менее месяца[9].

Первое же из публикуемых писем вносит любопытное уточнение в изложение событий "Былого и дум". Всем памятна фраза Герцена, рассказывавшего в мемуарах о послесвадебном визите к жене владимирского губернатора – Ю.Ф. Куруте: «Так как приданое "молодой" состояло из двух платьев – одного дорожного и другого – венчального, – то она и отправилась в венчальном» (там же, 375–376). Но Наталья Александровна пишет Астраковой: "В платье вашем я представлялась губернаторше, оно мне впору везде, возвращу все с Сазоновым" (п. 1). Венчальное же платье для невесты Герцена было куплено заблаговременно (см. XXI, 362) – венчаться в *чужом* платье, по понятиям того времени, было решительно невозможно. Вероятно, Татьяна Алексеевна снабдила "молодую" при отъезде из Москвы одним из своих выходных платьев. Герцен в 1850-е годы либо забыл эту бытовую подробность, либо сознательно игнорировал ее, вводя в повествование выразительную художественную деталь[10].



Н.А. ГЕРЦЕН С СЫНОМ САШЕЙ

Акварель К.А. Горбунова, 1841.

Справа подпись художника: "Горбунов 1841 года";
внизу дарственная надпись: "(Мат)вею Ливену 1 января 1842 от Герцена"

Исторический музей, Москва

Некоторые коррективы вносят письма Н.А. Герцен и в историю взаимоотношений Герцена с отцом: Есть основания предполагать, что текст знаменитого письма И.А. Яковлева, процитированного Герценом в "Былом и думах", был в действительности несколько иным. Приведем его по мемуарам Герцена: "Письмо твое от 10 мая я третьего дня в пять часов с половиною получил и из него не без огорчения узнал, что бог тебя соединил с Наташей. Я воле божией ни в чем не перечу и слепо покоряюсь искушениям, которые он ниспосылает на меня. Но так как деньги мои, а ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то и объявляю тебе, что я к твоему прежнему окладу, тысяче рублей серебром в год, не прибавлю ни копейки" (VIII, 376). А вот реакция Натальи Александровны на это письмо: "Сейчас письма из Москвы – все чудесно! Папенька принял эту новость наилучшим образом; даже прислал 500 рублей мне на платья – чего мы боялись? Дети, дети!.." (17 мая 1838 г. – XXI, 376). Не говоря уже о том, что 500 р. – это половина годового "оклада" Герцена[11] и что, как следует из этого письма, они были присланы тотчас же, – самая тональность письма отца в тексте "Былого и дум" не такова, чтобы чуткая натура Натальи Александровны могла не уловить глубочайшего неудовлетворения, высказанного в нем, и заключить из него, что Иван Алексеевич принял новость о женитьбе сына "наилучшим образом". Очевидно, и тут Герцен несколько сместил ак-

центы, создав текст письма замечательно яркий и художественно выразительный – но не совпадающий с реальным письмом отца. Рассказывая в мемуарах о первой поездке на свидание с отцом в Покровское, Герцен замечает: "Цель этой поездки состояла в окончательном примирении с ним, он все еще сердился на меня за мой брак" (VIII, 114). Но, сообщая о той же поездке, совсем незадолго до нее, Наталья Александровна писала Астраковым о свекре: "В письмах его и тени нет неудовольствия – ни облачка, ни облачка на нашем небе!" (п. 3).

Таким образом, некоторое несовпадение реального хода событий с изложением их у Герцена бесспорно. Детальный анализ всех этих несовпадений, разумеется, не входит в задачу настоящей статьи, но констатировать их наличие необходимо.

Значение владимирского периода в личной жизни Герцена велико. Именно в это время складывалась их семья, основанная на равенстве и любви. Во Владимире появился на свет их старший сын. Письма этого времени – самые счастливые из писем обоих супругов: "Мы счастливы, счастливы, мы в царстве небесном, 9-е мая длится, длится – да оно и с жизнью не прекратится, оно вечно! вечно!" (п. 3). Письма Герцена в это время по настроению близки письмам жены. То же ощущение безмерности блаженства, высокой поэзии семейного счастья. Но первым, едва ощутимым предвестником будущих диссонансов звучит их совместное письмо к Астраковым от 20 августа 1838 г. Вернувшись после свидания с отцом из Покровского, Герцен пишет Н.И. Астракову: "Ну, вот я опять на месте, т.е. совсем не на месте, а в Владимире ⟨...⟩ Зачем, для чего – а вот то-то и fatum ⟨...⟩ А ведь ежели бы ты знал эту пустую жизнь провинции. Фа!". Наталья Александровна делает приписку к этому письму: "Если бы Александр равнодушнее смотрел на Владимир, я совершенно бы забыла, что мы живем в нем не по своей воле..." (XXI, 387–388). Она погружена еще целиком в блаженство своего внутреннего мира, *он* уже оглянулся вокруг – и ему мало только семейного счастья, которым, однако, он, как и она, бесконечно дорожит. Едва слышимое разноречие этого письма примет впоследствии гораздо более драматические формы, а пока Герцен энергично хлопочет о переводе его по службе в одну из столиц; Наталья Александровна почти равнодушна к результату этих хлопот: "Вот что-то будет от министра, впрочем, если и *нет* – нам не горе, и *нет-то* это будет нам вместе" (п. 8).

Несколько писем Натальи Александровны из Владимира дают возможность уточнить некоторые даты. Так, письмо 5 послужило основанием для датировки переезда Герценов на новую квартиру (см. *ЛЖГ* I, 184). Письма 6 и 14 дают, как нам кажется, основания исправить данные "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена".

Писем из Петербурга дошло до нас всего восемь. Пять из них опубликованы в 30-томном Собрании сочинений (т. XXII), и здесь публикуется только три (п. 18–20). Но и эти три письма содержат сведения, не "перекрываемые" другими источниками: подробности о маленьком Саше (п. 18, 20), о так называемой "английской болезни" (рахите)[12], из-за которой он не мог ходить почти до двух лет (п. 19); трагический рассказ о поездке Герценов на могилу умершего новорожденным младенцем сына Вани (п. 20); свидетельство о тяжелом настроении Герцена перед отъездом в новгородскую ссылку ("он грустен теперь, мой бедный Александр, да и у кого б стало силы выносить с твердостью" – там же); оценка, данная Н.А. Герцен ее портретам, выполненным А.Л. Витбергом (?) и К.А. Горбуновым (?) в Петербурге в 1840 и 1841 гг. (там же); портрет-характеристика Т.А. Астраковой ("Я так живо воображаю твой укромный уголок ⟨...⟩ тебя с твоей кистью и палитрой, твои огненные глаза и твою прекрасную душу" – там же[13]; нота разочарования в прежних друзьях (прежде всего, видимо, в М.Л. Огаревой), которых "отняла светская жизнь или пошлая" (п. 19)[14]; известие о смерти Саши Вырлиной (п. 20 – до сих пор год ее смерти нигде не указывался); свидетельство о том, что Герцен перед отъездом из Петербурга прожил около месяца в гостинице Демута (п. 20) – и проч.

Первое письмо новгородского цикла (п. 22) написано тотчас же по возвращении Герценов в Новгород из отпуска, проведенного в Москве. И оно почти "рифмуется" с аналогичным письмом владимирского периода (п. 13), написанным тоже по возвращении на службу-ссылку из Москвы, где Герцены провели более чем месячный отпуск. Достаточно сопоставить начальные фразы: "Ну, вот мы и опять в нашем тихом укромном уголке" (п. 22) – и "Опять мы далеко от вас, опять мир и тишина, покой, покой..." (п. 13). Этот мотив, воскрешающий в памяти читателя владимирскую идиллию, мы находим в письме *только* Натальи Александровны. В письмах Герцена этого периода умиления покоем и тишиной провинциальной жизни нет уж и следа. Он сам вспоминает в "Былом и думах", что приехал в Новгород "не с самоотвержением и твердостью, а с досадой и озлоблением" (IX, 92). Как видно из этого письма, "досада и озлобление", по-видимому, не коснулись в это время души Натальи Александровны. Но и у нее, при всем сходстве "зачинов" двух писем, тождества настроения уже нет. Если "краска" владимирских писем одна: "Свет, свет, блаженство, рай... что еще? ну, разумеется, более нет ничего..." (XXI, 381), то новгородское письмо дает уже светотень: "Подчас и светло и те-

пло, и хорошо – подчас и холодно и туманно... так что ж, оттого-то картина жизни и хороша так, что б было без тени..." (п. 22).

Это созерцательно-спокойное настроение души Натальи Александровны было резко прервано двумя трагическими событиями: тяжелой болезнью, а затем кончиной Н.И. Астракова и новорожденной дочери Герценов Наташи. Смерти Наташи посвящено третье письмо новгородского цикла (п. 24). "Все, что было со мной, – пишет Н.А. Герцен, – явилось, как сон, прошло, как сон ⟨...⟩ и в сердце осталась новая могила, и удары заступа звучат еще в ушах" (п. 24).

Все остальные новгородские письма посвящены болезни и смерти Н.И. Астракова. Татьяна Алексеевна вспоминала впоследствии: "Александр и Наташа писали мне, просили беречь себя для их дружбы, учили твердости своими несчастиями"[15]. Письма Натальи Александровны этого периода глубоко религиозны. Она утешает подругу, внушая ей твердую веру в неизбежность счастья для нее в ином мире: "Он преобразился, преобразишься и ты, и вновь та же жизнь, – он в тебе и ты в нем" (п. 28); "Я не верю, чтоб страдание было вечно, не для того создан мир, стало, ты будешь с ним" (п. 30). Но и в это время возникают в ее сознании вопросы: "И зачем? и для чего?", прерываемые, правда, тут же репликой: "То-то и есть, Друг мой, что все эти вопросы – лишние" (там же). Однако ей "страшно" представить себя на месте подруги, трагические потери обострили в ней резкое, не по возрасту, ощущение быстротечности и конечности бытия. И "лишние" вопросы в дальнейшем не дают ей покоя: "О боже мой, чем долее живу я – жизнь все непонятнее становится для меня – будет ли ответ хоть на один вопрос?.." (п. 31). В это время, и именно в письме к Астраковой, впервые сформулировано осознанное Натальей Александровной противопоставление ее внутреннего мира тому миру, в который погружен "Александр": "Меня радует то, что я, кажется, не переживу их, лишь бы не умереть, пока нужна няня Саше, Александр найдет в душе своей утешение – такое глубокое, такое безгранное море! И жизнь общая, жизнь человечества никогда не отнимется у него, а нам что остается без них?" (там же). В этом письме – зародыш будущей драмы Герценов. Здесь сформулировано все: и предвидение более ранней смерти Н.А. Герцен, и столь характерная для нее постоянная недооценка *ее* роли в жизни Герцена. Будущее не подтвердило справедливости слов: "Александр найдет в душе своей утешение", – и при чтении этого письма невольно вспоминается упрек Герцена жене, высказанный незадолго до встречи в Турине: "Не могу ⟨...⟩ свыкнуться, как мало, как мало была оценена сторона сердца во мне" (XXIV, 173). Эта химера: ощущение своей ненужности, "необязательности" своего существования для полноты счастья мужа – с годами все разрасталась в сознании Натальи Александровны. По воспоминаниям Герцена, она впервые поделилась с ним этими грустными мыслями именно в Новгороде (см. IX, 95–96). Тяжелое настроение, овладевавшее ею по временам и тяжко отзывавшееся в нем самом, было, безусловно, одним из стимулов, заставлявших его пристально размышлять над проблемой женской судьбы, семейного счастья. Под влиянием этих размышлений родилась, в частности, статья Герцена "По поводу одной драмы" (1842 – II, 49–72), утверждающая мысль о необходимости слияния частного, личного в жизни человека с миром общих интересов. "Люди, основывающие все благо своей жизни на семейной жизни, ставят дом на песке", – говорил Герцен (там же, 65). И утверждал далее, что семейное призвание женщины "никоим образом не мешает ее общественному призванию" (там же, 69). Но эта теоретически бесспорная посылка в условиях тогдашней русской действительности оставалась пока все-таки только теорией. Правда, Герцен видел *общественный* смысл и в самом исполнении семейного долга: "Дело начального воспитания есть дело общественное, дело величайшей важности, а оно принадлежит матери" (там же, 69). Но горечь мысли Н.А. Герцен в том, что сфера деятельности Герцена – много шире семейной и что в этой недоступной для нее "внесемейной" сфере она ему чужда. Четкая контрастность двучленной формулы из ее письма: "Жизнь общая, жизнь человечества никогда не отнимется у него, а нам что остается без них?" – бесспорное свидетельство того, что ее собственная жизнь представляется ей замкнутой в гораздо более тесные рамки. В ее душе слишком много сил оставалось "неупотребленными", а они, по меткому наблюдению Герцена, высказанному в той же статье, "у домашнего очага ⟨...⟩ всегда грозят бедой" (там же, 58). Начало осознания этой беды пришло к Герценам именно в Новгороде. Найти возможность предотвратить ее им не удалось.

Особую группу в эпистолярном наследии Н.А. Герцен представляют московские письма и записки к Астраковой. Они пишутся параллельно с частыми встречами, поэтому, как правило, короче прежних писем, иногда это две-три строки, но в них всегда ощутимо происходящее, запечатлена "горячая минута" в доме Герценов.

1842–1846 годы охарактеризованы Герценом как "возмужалая и деятельная полоса" его жизни (IX, 111). В эти годы он стал известным писателем, и, по существу, только в эти годы он имел свой *дом*. Прежде это были квартиры ссыльного. Позже – за границей – гостиницы

или такие же временные квартиры, нанятые всегда с сознанием, что в любое время ему могут предписать выехать из города или страны и что придется со всей семьей снова и снова искать пристанище (см. п. 84, 86, 90, 91). В Москве Герцены имели свой дом, и поэзия домашнего уюта, "спокойного обладания счастием очага своего" (II, 393) составляет основу их душевного самочувствия того времени. Вот эта жизнь дома в ее повседневности, радости и тревоги, горестные и счастливые минуты – наполняют записки Натальи Александровны, посылаемые обычно с нарочным с одной квартиры на другую. Написанные иногда второпях, они фиксируют чаще всего какие-то бытовые подробности. "Ничего еще не перенесли, не разбирали", – наспех сообщает она в момент переезда в Тучков дом (п. 40); "я сделалась решительно Коробичка да еще с крышечкой, занимаюсь (...) домом, бельем, едой и т.п.", – извещает она подругу в следующем письме того же времени (п. 41); "Я здорова и 4-й день, засуча рукава, в грязи и в пыли роюсь, копаюсь, переношу, укладываю и т.п.", – пишет она при переезде из Тучкова дома в "большой" дом (п. 67). Ни один другой источник не дает нам такого бытового, "заземленного" портрета Натальи Александровны – хозяйки, и ни один из них не передает столь ощутимо суету быта, которая возникала время от времени вокруг Герцена. Беременность, несчастные и счастливые роды, поиски кормилиц, болезни детей и самой Натальи Александровны и т.п. – все это густо заполняет пространство публикуемых здесь писем, и все это составляло часть жизни Герцена и отнимало у него немало душевной энергии, было постоянно действующим фоном его творческой деятельности, "прорастало" порой и в самое творчество, отзываясь радостью или болью, размышлением по поводу, наблюдением или просто беглым упоминанием. Бытовая атмосфера, столь ярко воссозданная в письмах Н.А. Герцен этого времени, не может быть безразлична для понимания Герцена-писателя – одного из самых "личных" писателей в истории литературы.

Упоминания о Герцене кратки, но всегда важны. Мы узнаем, например, что "чудно, весело" прошел день его рождения в 1843 г., когда собрались в доме друзья и только "в 4 часа легли спать" (п. 39); что Наталья Александровна тщательно скрывает от него свое тяжелое настроение и просит подругу не отвечать ей на грустное письмо, а то "попадется Александру" (п. 48); что Герцен осенью 1844 г. "очень дорожит" утрами, потому что "готовится к журналу", который они собирались издавать в Москве вместе с Грановским (п. 53); что он был на именинах Астраковой 12 января 1845 г. (п. 56 – факт, не отмеченный в *ЛЖГ*); что весной 1846 г. ему был нужен зачем-то первый номер "Отечественных записок" за этот год (п. 65) – и проч. Постоянны в письмах упоминания о литературных новинках, читаемых в доме Герцена: о первом посмертном собрании сочинений Пушкина (п. 34), "Маскараде" Лермонтова (п. 35), альманахе "Литературный вечер" (п. 50) и, конечно же, о свежих номерах журналов.

Тон московских записок к Астраковой свободный и доверительный. Живое общение подруг в Москве закрепило уже наметившееся ранее "старшинство" младшей по годам Натальи Александровны. Это определялось, вероятно, ее большей интеллигентностью, тем, что она, по словам самой Астраковой, была "добрее и развитее"[16] – и, кроме того, более благополучна в жизни и независима. Публикуемые письма ясно свидетельствуют о том, что Астракова в московском кружке держится особняком. Наталья Александровна постоянно сообщает ей, что у них "все наши", но среди них, как правило, нет Астраковых. Татьяна Алексеевна дружна прежде всего с "Наташей", и та даже тяготится присутствием третьих лиц при их свиданиях (п. 38, 39). Она бывает и у других членов кружка, бывают и они у нее – но это эпизоды. Тесной близости с Астраковыми нет ни у Грановских, ни у Коршей, ни у Кетчера. Но Наталья Александровна привязана к подруге искренно, сострадает ей всей душой. "Твое несчастье – нить, крепко вплетенная в мое существование", – пишет она ей (п. 42). В эти московские годы Наталья Александровна вообще отдается дружбе со всей страстностью ее натуры. Испытания детства и юности, которые могли бы, казалось, ожесточить ее характер, не сделали ее ни подозрительной, ни равнодушной к окружающим. Наоборот, прошлое отозвалось в ней сильнейшим стремлением к людям. Но часто, как ей казалось, она не встречала понимания друзей, и были, видимо, настроения, которыми она делилась только с Астраковой: "Эти дни я страдаю ужасно. Не говори об том никому, *никто* не понимает меня" (п. 36). Сложности взаимоотношений с мужем, болезни и смерти детей, собственное нездоровье, драматические события в судьбах друзей – все это ложилось на ее душу тяжелым грузом, заставляя часто глубоко страдать. Но и не только личные горести или несчастия близких людей оказывали мрачное действие на ее восприимчивую, ломкую натуру. Весь окружающий мир, то "общее", обостренное чувство которого ей было присуще всегда, формировал трагический по преимуществу склад ее характера и взгляда на мир. Записки к Астраковой фиксируют всю гамму ее настроений: от беззаботного – "Не знаю, душка, на свете все хорошо"[17] или "Я все дома, и хорошо мне дома" (п. 53) – до редкого по силе и энергии даже для нее всплеска отчаяния: "Мне подчас знаешь чего хочется: забрала бы их всех (детей) в охапку и кинулась бы в море, пусто, пу-

сто, не стоит жить на свете, страдать" (п. 63). Именно в одном из писем к Астраковой (начало 1843 г.) прозвучало первое для Натальи Александровны сомнение в истинности представления о существовании потустороннего мира: "Жаль было бы расстаться с этой жизнью, в которой и он (Н.И. Астраков) живет, а ведь там будем ли еще вместе?" (п. 37). Эти сомнения продиктованы, безусловно, движением мысли Герцена, который к этому времени начинает пересматривать многие бесспорные для него до тех пор утверждения религии (см. рассказ о "новгородских спорах с дамой" – IX, 24–27)[18]. Подготовленная к приятию новых истин с самого начала зарождения их в сознании мужа, она, по свидетельству Герцена, не испугалась и позже, когда в 1846 г. Герцен с Огаревым окончательно сформулировали "серьезные и на первый взгляд подавляющие выводы" (IX, 209).

Итак, московские записки, такие краткие и, казалось бы, не очень значительные по содержанию, воссоздают вместе с тем множество реалий, не повторенных нигде в литературе о Герцене. Они важны и как источник сведений о самом Герцене, о московском круге его друзей, именами которых пестрят письма его жены, и как свидетельства ее душевного и интеллектуального роста, шедшего рядом и параллельно с духовным возмужанием Герцена.

Последний и тоже чрезвычайно важный раздел в публикуемом комплексе писем составляют письма Н.А. Герцен к Астраковой из-за границы. Их тридцать. Двенадцать опубликовано в 30-томном Собрании сочинений (XXIII–XXIV); здесь публикуется 18 писем. Краткие, деловые московские записки сменяются длинными содержательными беседами, столь важными для Натальи Александровны, оторванной от московских друзей и стремящейся насколько возможно "отдернуть" "занавесь (из времени и пространства)", "завешивающую" от нее Россию (п. 74).

Мемуарных свидетельств о Н.А. Герцен "заграничного" периода сохранилось очень немного[19]. Важнейшее среди них – воспоминания П.В. Анненкова, встречавшегося с Герценами в Париже в 1847–1848 гг. Он отмечает поразившую его перемену в жене Герцена: "Из тихой, задумчивой, романтической дамы дружеского кружка, стремившейся к идеальному воспитанию своей души и не делавшей никаких запросов и никаких уступок внешнему миру, она вдруг превратилась в блестящую туристку, совершенно достойную занимать почетное место в большом, всесветном городе, куда прибыла, хотя никакой претензии на такое место и не заявляла. Новые формы и условия существования вскоре вытеснили у нее и последнюю память о Москве"[20]. Располагая теперь таким важным документальным источником, как эпистолярное наследие Н.А. Герцен, можно с уверенностью сказать, что эта характеристика передает лишь часть правды о ней.

Тонкий психолог и наблюдательный портретист, Анненков уловил признаки нового этапа в духовном развитии Н.А. Герцен: преодоления романтизма и "идеальности", выхода из юности и осознания полной духовной зрелости. "С некоторого времени я как будто выплыла на всех парусах при благоприятном ветре в океан, – пишет она Астраковой. – Жизнь полна, спокойна, я чувствую в себе твердость, не юношеское донкишотство, не беспокойную силу, тешащуюся, ищущую борьбы – но силу, готовую на борьбу и спокойно ожидающую, что-то светлое, полное доверия обнимает душу ⟨...⟩ С одной стороны, я думаю, лето, с другой – путешествие так благотворно действует на меня" (п. 76).

Ярко эмоциональная натура Натальи Александровны, конечно же, захвачена потоком новых сильных впечатлений: новые города ("Продолжаем осматривать Париж, да, я думаю, полжизни проживешь и все будешь осматривать" – XXIII, 32), новые встречи с людьми ("Я хожу без устали: видаемся часто с знакомыми, все такие хорошие люди, наслажденье" – XXIII, 24), новые впечатления от природы ("А как море-то хорошо, Таня... как бы я желала, чтоб ты взглянула на него, моя милая" – п. 75; см. также п. 79 и др.). Ощущение счастья, полноты жизни, наслаждение житейскими удобствами – все это есть в письмах Натальи Александровны. Ярко звучит в них и осознанное чувство собственного достоинства, сознание значительности своего внутреннего *я*: "От самолюбия я не отрекаюсь, весь мир, вся жизнь потеряли бы для меня интерес, если б я презирала себя или если б считала недостойною всего того, чем я наслаждаюсь" (п. 76). Этот новый этап – самоутверждения, – протекавший в условиях материального комфорта и полного житейского благополучия, не мог не сказаться на стиле внешнего поведения Н.А. Герцен – и эта-то резкая смена стиля поразила Анненкова настолько, что скрыла от его глаз то главное, что продолжало жить в душе "блестящей туристки", составляя по-прежнему существенную сторону ее внутреннего бытия.

Вопреки впечатлению Анненкова, память о московских друзьях жила в душе Натальи Александровны очень остро. Письма к Астраковой – непреложное тому свидетельство. "Вот вы все, милые друзья, все передо мною, вижу ясно черты ваши, слышу ваш голос ⟨...⟩ ты знаешь, как я вас всех люблю и как меня все интересует, до вас касающееся" (п. 74), "Сколько я тебе благодарна за твои письма, этого нельзя выразить, иногда неизвестность о людях, кото-



МОСКВА. ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА

Литография, 1830-е годы

Литературный музей, Москва

В центре – Триумфальная арка (ныне находится на Кутузовском проспекте)

рых любишь, доходит до невыносимо тяжелой степени – а ты облегчаешь это, ведь это просто благодеянье" (п. 78), "Обнимаю тебя, целую твои руки, которые пишут, – ты не можешь себе представить, какую цену, какую важность имеют для нас твои письма" (п. 79) – такими признаниями переполнены письма Натальи Александровны к Астраковой. Переписка с остальными членами московского кружка была крайне нерегулярной, что очень огорчало Герценов, – и письма к Астраковой имеют поэтому ценность основного источника, раскрывающего настроения Натальи Александровны, связанные с воспоминаниями о Москве. Письма 1847–1848 гг. буквально пересыпаны именами друзей: она спрашивает о каждом из них с жадным интересом, отзывается на всякое известие о них радостью, или болью, или тревогой – в зависимости от того, что сообщала Астракова. Будучи за границей, Герцены принимают живейшее участие в обсуждении "крыловской истории" (п. 77–79), встревожены известием о несчастном случае с Т.Н. Грановским (см. XXIII, 46) и о серьезной болезни его жены (п. 76, 78, 79), озабочены судьбой Кетчеров, Кавелиных, огорчены безденежьем семьи Е.Ф. Корша – и проч. "Как дурно все в нашей семье, т.е. в нашем кружке – я вчера читала, читала, и у меня потемнело в глазах, наконец, невыносимо стало душно ⟨...⟩ Перечитывала несколько раз письмо и многого не могла сообразить, промучилась весь день, и только сегодня Александр показал мне, что на последнем листке ты пишешь, что Ел⟨изавета⟩ Б⟨огдановна⟩ вне опасности, а что он?" (п. 79). Эти строки не могли быть написаны равнодушным пером человека, который утратил под влиянием новых впечатлений "последнюю память о Москве"[21]. Но известия из России были грустны не только в том смысле, что в судьбах русских друзей не все складывалось благополучно. Астракова писала много и о неуклонно продолжающемся процессе внутреннего распада кружка, давая, очевидно, нелестные подчас характеристики отдельным его членам. Писем Астраковой периода пребывания Герценов за границей до нас дошло только девять ("Я жгу твои письма" – писала ей Наталья Александровна в декабре 1849 г. – п. 90). Об этом нельзя не пожалеть, т.к. эти письма могли бы стать для историка русской культуры незаменимым источником, раскрывающим жизнь герценовского кружка в Москве после отъез-



ПЕТЕРБУРГ. ЗАСТАВА НА МОСКОВСКОЙ ДОРОГЕ

Гравюра Гобера по рисунку А.М. Горностаева, 1834

Музей Герцена, Москва

да Герценов. Но возможно, что именно эти письма отчасти спровоцировали ту "незлобивую диффамацию прежних друзей" в разговорах Н.А. Герцен с Анненковым, о которой он пишет в своих воспоминаниях[22]. Шокирующее словечко "диффамация" при восприятии этого мемуарного свидетельства обычно заслоняет собой смягчающий эпитет "незлобивая", а он, как нам представляется, очень важен. Горечь по отношению к прежним друзьям накапливалась еще в Москве. За границей она усиливалась, в частности, тем обстоятельством, что друзья почти не писали Герценам. Сведения, поступавшие от Астраковой, были не во всем утешительны. Отсюда, вероятно, и "диффамация", т.е. недовольство друзьями, но без тени враждебности, что очень существенно.

Жадные, нетерпеливые вопросы о москвичах со временем становятся в письмах Н.А. Герцен все реже. Это объясняется не только состоянием души Натальи Александровны, которую захватили целиком трагические потрясения – и общественные: Июньские дни в Париже, торжество реакции в Европе, и личные: чувство к Гервегу, гибель Коли и Луизы Ивановны, – но и тем обстоятельством, что сама Астракова все больше отдалялась от бывших друзей и уже не могла сообщать о них что-нибудь существенно важное. "Ты просишь хотя что-нибудь писать о всех, – говорит она в письме от 25 июня 1851 г. – Да что же я напишу, когда ни одной души и никогда не вижу, а что я знаю про них, то уж пусть останется при мне – зачем тебе все знать"[23].

Спокойно принимая все неблагоприятные характеристики друзей, понимая, что время их идеализации позади, Наталья Александровна всегда сохраняет вместе с тем благодарность к прошлому, давшему некогда ей так много высоких впечатлений, под влиянием которых формировалась ее душа. "Еще перечитала твое письмо, как ясно вижу сквозь него духоту. – Но, несмотря на все, как много я вынесла святого и прекрасного из прошедшей жизни, все это живет во мне, и умрет только со мною, да и не умрет со мною, ведь мой элемент переходит в детей" (п. 83). Это понимание непреходящей ценности пережитого этапа близко герценовскому, нашедшему впоследствии столь живое и яркое воплощение в "Былом и думах".

Но и не только в вопросе об отношении Н.А. Герцен к прежним друзьям Анненков ока-

зался не совсем прав. И в общем стиле ее отношения к жизни перемена, по существу, не была столь разительной, как это казалось стороннему наблюдателю. Идеалистка, стремящаяся "к воспитанию своей души", никогда не умирала в ней и продолжала зорко следить за действиями "туристки", контролируя и выверяя "прежними" идеалами каждое новое состояние ее души. "Я иногда пугаюсь своего счастья, своего спокойствия, не эгоизм ли?.. Может. Но чем сильнее это спокойствие, тем громче в душе отдается каждый грустный звук, тем более страдания другого становятся моими собственными" (п. 76). Первые же письма из Парижа были настолько непохожи на обычные письма заграничной путешественницы, что вызвали даже неудовольствие московских друзей. "Итак, ты недовольна была моим прошлым письмом, – пишет она 11 июля 1847 г., – я не хотела натягивать обыкновенного восхищения Парижем, я ожидала найти здесь больше гуманности... а нашла умирающих с голоду и много тому подобных возмутительных вещей" (п. 74). Герцен вторит ей: "А Василий Петрович[24] не понял, что Наташе могло быть грустно в первом разгроме парижской жизни и во время голода здесь? Так он, пожалуй, и на меня в гневе за мое письмо о буржуазии к Михаилу Сем⟨еновичу⟩ ⟨...⟩. Сильно грустно бывает минутами" (XXIII, 29; ср. там же, 19–25).

Параллелизм настроений и мыслей Герцена и его жены, обозначившийся в их первых же письмах из-за границы, проходит через всю переписку Герценов 1847–1852 гг., составляя замечательную особенность этих писем, безусловно подлежащую в дальнейшем внимательному анализу специалистов. Л.Я. Гинзбург в книге "О психологической прозе" отмечает в качестве характерной для русской действительности 1830–1840-х годов черты факт существования одного и того же круга идей как бы в двух вариантах: "мужском" и "женском"[25]. Этот "женский" вариант она характеризует как своего рода "идеологическую мимикрию", часто представляющую собой лишь "искаженные и плоские отражения сложной духовной жизни подлинных идеологов"[26]. Но, вводя понятие "женского романтического паразитизма", исследовательница тут же выделяет из общего потока этой "паразитирующей среды" Н.А. Герцен, которая, по справедливому ее замечанию, "несомненно была литературно и человечески талантлива"[27].

И все же представляется естественным и бесспорным, что в сфере интеллектуальной Наталья Александровна была в сильнейшей степени зависима от мужа и что ее мысли формировались главным образом под влиянием его идей. Разумеется, не она, а он был всегда ведущим в этой области. Любопытно, что даже ее утверждение в письме к Астраковым от 26 июля 1849 г. о *самостоятельности* пройденного ею пути интеллектуального развития и замечание, что она в молодости "не верила на слово и Александру" (п. 84), есть, конечно, уже бессознательная, но все же реминисценция мыслей и советов Герцена "не отдаваться" в сфере духовной вполне "в волю его", сформулированных им в письме к ней еще в 1834 г. (см. прим. 12 к п. 84). Его идеи вкоренились в ее сознание так глубоко, что она уже не отличала их от своих собственных – и это не могло быть иначе для чуткого и восприимчивого человека, прошедшего всю свою сознательную жизнь рядом с мыслителем такой глубины и силы, как Герцен.

При чтении писем Натальи Александровны "заграничного" периода не покидает ощущение вторичности ее мыслей и рассуждений. И не только вторичности, но и значительно меньшей сложности при всей внешней "похожести" формулировок. Та глобальная переоценка ценностей, которая была предпринята Герценом в его знаменитых книгах "С того берега" (1847–1850) и "Письма из Франции и Италии" (1847–1852), находит множество отзвуков в письмах его жены. Наиболее обобщенную, итоговую формулу этой переоценки в *ее* варианте мы встречаем в письме от 9 октября 1849 г.: "Быть полезну человечеству? Трудиться для него? Да кто оно такое или что оно такое – спасибо, топить на ветер?" (п. 87). Резкость и как бы немотивированность этого суждения определяются прежде всего именно тем, что они являются в письме, разумеется, вне того сложного историко-философского контекста, в котором аналогичные мысли сформулированы Герценом, скажем, в статье "Omnia mea mecum porto" ("С того берега", гл. VII, апрель 1850 г. – VI, 115–132). То обстоятельство, что суждение Н.А. Герцен зафиксировано в письме раньше, чем была написана работа Герцена, не имеет сколько-нибудь существенного значения. Ведь мы не располагаем важнейшим источником, способным прояснить генезис многих идей, – разговорами, которые в кругу Герцена были, конечно же, в значительной мере идеологичны и в которых, несомненно, было впервые сформулировано многое из того, что литературно оформилось лишь позднее. Наталья Александровна стояла у самых истоков возникновения мысли Герцена, и уже поэтому ее письма должны быть пристально изучены, т.к. могут послужить к уточнению хронологии многих важных его суждений.

Но иногда письма дают материал и для установления как бы приоритета некоторых высказываний Натальи Александровны по отношению к аналогичным высказываниям Герцена. Вот что пишет, например, она Астраковой 4 октября 1848 г., характеризуя общественную си-

туацию, сложившуюся в Европе после подавления революции 1848 г.: "Жажда покоя – естественна, это реакция после муки, после родов, но она недолго продолжается, роды были несчастливы, надежды не исполнились, снова начинается брожение, окрепшие силы ищут деятельности, а сколько твердости нужно на то, чтобы примириться с мыслью не видать ребенка, который родится, не знать, когда и как, и какой он родится! Но будем твердыми, оттого что слабыми быть нельзя ⟨...⟩ Да, это сравнение мне самой нравится: в настоящую минуту мы все беременны, а ребенка вряд ли увидим!" (п. 81). Реплика: "Это сравнение мне самой нравится" – свидетельствует, что сравнение пришло в голову только что и принадлежит ей самой. Но в той же статье "Omnia mea..." Герцен, говоря о смерти современных форм гражданственности и о долгом сроке, который отделяет "смерть одного и рождение другого" мира, замечает: "Мы не доживем до того, до чего дожил Симеон Богоприимец. Как ни тяжела эта истина, надобно с ней примириться, сладить, потому что изменить ее невозможно" (VI, 116). Образ, возникший некогда в сознании жены Герцена, использован им в ином ряду идей, так что не о сопоставлении самой сути мысли идет в данном случае речь. Но перекличка мотивов, осложненная рядом общекультурных реминисценций, здесь все-таки налицо, – и, вероятно, это не единственный случай в писательской практике Герцена. Важнее, однако, другое. Несомненно, что яркость и интенсивность эмоциональных реакций чуткой натуры Натальи Александровны на то или иное явление часто служили для Герцена непосредственным импульсом к размышлению, приводя его в дальнейшем к важным теоретическим выводам. Вряд ли можно сомневаться, что в его критике буржуазии как общественного явления заложены в подтексте и острые негативные реакции его жены на те или иные возмутительные в своей антигуманности проявления буржуазного уклада жизни. Но самый "механизм" восприятия действительности у Герцена и его жены различен. Наталья Александровна всякое общественное явление раскрывает прежде всего в связи со своими эмоциями. "Может, требования мои были излишни, – пишет она о своих первых разочарованиях в Париже, – но извинительны, душа так наболела, хотелось отдыха, ты понимаешь, в каком смысле я говорю. Время, привычка сглаживают все, теперь это скорбное недовольство не так остро" (п. 74). Там, где для Натальи Александровны начиналось успокоение, следовательно, некоторое отстранение от проблемы, там для Герцена начиналась работа мысли теоретика, философа, политического борца, т.е. вживание в проблему с целью доработаться до выводов общезначимых, общественно важных. Для Натальи Александровны жизнь частная и жизнь общая существуют как две разные сферы: "Что касается до личного, – я не могу себе представить существования полнее, а как выйдешь из него – ну, уж лучше и не выходить, коли не хочешь быть истерзан на тысячу кусков, коли не хочешь сознавать жизнь только по судорожному ломанью. Та и разница между человеком и человечеством, что человек бывает болен к росту, а потом вырастает и здоров, а человечество беспрерывно больно все к росту. Отвернуться от страданий невозможно, да и страдать беспрерывно вместе с ним невозможно, из этих двух невозможностей состоит наша жизнь, оттого она и тяжела, подчас невыносима, – а подчас, как невольно отвернешься да забудешься – как хорошо, Таня, как хорошо!" (п. 81). Для Герцена такой дуализм в оценке соотношения мира общего и личного неприемлем. Он призывал "*творить* ⟨...⟩ поведение в ответ обстоятельствам" (VI, 131), а потому ни отвернуться от обстоятельств, ни забыться он не считал возможным. Он пристально вглядывался в "судорожное ломанье" жизни, анализируя его и отделяя в своем анализе признаки болезни от задатков нового роста. И он говорил в годы реакции о желании "сойти с рынка" не для того, чтоб забыться, а для того, чтоб "сосредоточиться" (там же, 132) и сопоставить традиционно сложившиеся представления о жизни с реально существующим, объективным ходом вещей. Такое сопоставление могло быть результативно только при полной непредвзятости и свободе суждений, отсюда и выдвинутое Герценом требование свободы личности, протест против подчинения внутренней жизни человека правилам "условной нравственности" (там же, 128) и призыв "*создавать* свою нравственность" (там же, 131).

Это последнее положение Герцена нашло несколько неожиданное преломление в сознании его жены. О своем чувстве к Гервегу она, разумеется, не писала Астраковой. Но "философское обоснование" права на это чувство мы находим именно в письме к ней. И в этом обосновании протест против подчинения стремлений своей "натуры" некоему жесткому моральному регламенту внешне напоминает аналогичные суждения Герцена[28]. "Я со многим рассталась, как с верою в будущую жизнь, но не беднее оттого стала, напротив: я даже с верою в настоящую жизнь рассталась, т.е. в возможность и необходимость делать то (именно) или другое ⟨...⟩ живу проще, отдаюсь большие своей натуре, верю ей больше, нога ступает вернее, сердце довольнее, а осматриваюсь меньше, почти совсем не осматриваюсь. Сколько теснил, убивая жизнь, грех есть скоромное и т.п. – ? Сколько еще теперь грехов в предрассудков в этом роде ⟨...⟩ Я верю, что я прожила столько, лишь глядя в зеркало – так свеж для меня аромат жизни" (п. 90). Это письмо написано в декабре 1849 г., в Женеве, в период расцвета чувст-

ва к Гервегу, которое явственно ощущается в подтексте этой тирады, а затем звучит и почти прямым текстом в восторженной характеристике Гервега ("изящнее, поэтичнее я не знаю натуры" – там же).

Само собой разумеется, что увлечение Натальи Александровны возникло стихийно и непредвиденно, независимо от каких-либо теорий и убеждений. Но линия поведения, которую она избрала в создавшейся ситуации, во многом определялась ее теоретическими раздумьями того времени. Она не сделала попытки побороть в себе новое чувство, так как захватившая ее страсть была осознана ею как некая высшая жизненная реальность, внезапно открывшаяся ей и имеющая огромную внеличную ценность. "Не надобно ни революций, ни республик: мир будет спасен, если он нас поймет", – пишет она, обращаясь к Гервегу в сентябре 1849 г.[29] Она захвачена идеей, что совместное существование двух семей – Герценов и Гервегов – явит миру образец некоей высшей гармонии. "Симпатия" и "гармония" – ключевые слова ее переписки этого периода. Искренняя симпатия – путь к гармонии, гармония – путь к обновлению мира. Но в реальности мечта о гармонии в ситуации, глубоко дисгармоничной по самой природе своей, осуществиться не могла. И Наталья Александровна подсознательно чувствует это с самого начала. Ее постоянно мучает мысль, что Эмма и Александр не смогут "понять" ее любви, а Гервег не сумеет соблюсти всех условий, необходимых для поддержания гармоничного существования "гнезда близнецов".

То обстоятельство, что Гервег оказался человечески мелок и недостоин ее любви, было в известной мере случайностью. Это могло бы быть и не так, но утопия Натальи Александровны оставалась бы утопией и тогда. Вся эта трагическая ситуация – пример того, как глубоко плодотворная и социально направленная, мужественная идея Герцена о свободе личности, о необходимости создания новой нравственности, попав в резко суженное и ограниченное в конечном счете лишь личными привязанностями поле зрения его жены, приняла искаженную форму, уведя ее от действительности в мир утопически неосуществимой мечты. Ее ненужное теоретизирование в ситуации, хоть и глубоко драматичной, но житейски все-таки не такой уже редкой, могло бы вызвать своей наивностью лишь улыбку, если бы искренность высокого порыва ее души была хоть чуть меньше, а цена ошибки не была бы столь велика. Наталья Александровна заплатила за эту ошибку жизнью, но и столь любимые ею люди: муж и дети – расплатились за нее ценой утраты покоя и счастья, которые со смертью жены Герцена ушли из его семьи навсегда.

Многоаспектность содержания писем Н.А. Герцен к Астраковой "заграничного" периода делает сколько-нибудь полный их анализ здесь невозможным. Но необходимо отметить одну из главных тем всей жизни Натальи Александровны, которая и в этом эпистолярном комплексе звучит полным голосом: размышления о воспитании детей (п. 74, 81, 84, 90). Особенно развернуто формулирует она свои мысли об этом в письме от 29 июня 1849 г. (п. 84). Ее основной педагогический принцип: глубоко изучив натуру ребенка, не навязывать ей ничего извне, а лишь помогать росту того лучшего, что заложено в ней, – не устарел и до сих пор и заслуживает и сейчас пристального внимания родителей и педагогов.

В заключение следует сказать несколько слов о стилистике писем Н.А. Герцен. Склонность к самоанализу, предельному самораскрытию, к психологической исповеди в письме делает ее письма чаще всего патетически приподнятыми, возвышенно-романтическими по интонации. И потому столь ярко присущее ей дарование наблюдательной бытописательницы, обладающей тонким юмором, прорывается в них лишь изредка, но всегда с блеском. Изумительные по меткости рисунка бытовые сценки из жизни обитателей дома М.А. Хованской встречаются уже в ранних письмах Н.А. Захарьиной к Герцену; мягким юмором проникнуты ее письма к Кетчеру московского периода, таковы же ее шутливые обращения к С.И. Астракову в публикуемых письмах. А вот замечательная беглая зарисовка отца Герцена: "Иван Алексеевич, бывало, когда принесут газеты, – он их развесит перед печкой, а то насморк и кашель сейчас, видишь, бумага сыра" (п. 89)[30]. Этот маленький портретный шедевр заставляет горько пожалеть, что склонность к постоянной психологической "экстреме" не дала возможности развиться в полную меру одной из ярких граней литературного таланта Н.А. Герцен. Но и такие, как они вылились из-под ее пера, – письма к Астраковой – являют собой значительный памятник культуры, богатый разносторонним содержанием и ярко талантливый по литературному воплощению.

Всего сохранилось 193 письма Н.А. Герцен к Астраковой. Из них 13 хранится в *ГЛМ* (ф. 248, оп. 1, ед. хр. 27), 179 – в Колумбийском университете (Нью-Йорк), а одно известно только в печатном варианте, вошедшем в публикацию мемуаров Т.П. Пассек "Из дальних лет". Фотокопии с автографов Колумбийского университета, полученные "Литературным наследством" от дирекции этого университета, были переданы редакцией в два крупнейших архивохранилища нашей страны: *РГБ*, где они хранятся под шифром ф. 69.17.10 – 13,15 – 17; 22.3–27 и в *РГАЛИ*, ф. 129, оп. 4, ед. хр. 100–103 (копии обоих архивов идентичны).

Основной комплекс писем Герценов к Астраковым был опубликован в 1957 г. Л.Л. Дом-

гером в Нью-Йорке (*НПГ*). В это издание включено 101 письмо Герцена, из которых в 73 есть приписки Н.А. Герцен. Письма же самой Н.А. Герцен туда не вошли.

Из 73 приписок, воспроизведенных в *НПГ*, 32 перепечатаны в 30-томном Собрании сочинений (XXI–XXIV) и нами здесь опускаются.

В данную публикацию входит 91 письмо 1838–1851 гг. Письма, хранящиеся в *ГЛМ* (37, 39, 41–45, 47, 49), вопроизводятся по автографам; письма из собрания Колумбийского университета – по фотокопиям *РГБ*; одно письмо (24-е), за отсутствием автографа, печатается по тексту его первой публикации (*РС*, 1877, № 4, с. 676–677).

Из публикуемых здесь писем 31 было напечатано в *НПГ* (п. 2–3, 13, 17, 19–20, 23, 25–31, 81–83, 87, 89–91), 2 (24 и 48) – в *РС*, а 58 в печати появляются впервые. Письмо 48 (в *РС*, 1877, № 4, с. 682) было отредактировано Т.П. Пассек. Здесь оно впервые воспроизводится в подлинном виде. Наличие писем, ранее не опубликованных, – ни в 30-томном Собрании сочинений, ни в "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена" не зафиксировано. Но письма, напечатанные в *НПГ*, довольно широко использованы в цитатах – и в комментариях к письмам в Собрании сочинений Герцена (XXI–XXIV), и в "Лит. наследстве" (т. 63 и 64), и в *ЛЖГ*. Это цитирование в наших комментариях не оговаривается.

Следует сказать лишь о письме 79. В "Лит. наследстве" (т. 63, с. 376–377) воспроизведена очень значительная его часть, но, как указано во вступительной заметке Н.П. Анциферова, по "крайне неисправной" публикации в парижском журнале "Русские записки" (там же, с. 376). Письмо 79 воспроизводится теперь полностью и выверено по фотокопии *РГБ*.

За рамками этой публикации остались 70 коротких приписок к письмам Герцена и записок Н.А. Герцен, незначительных по содержанию и часто не поддающихся точной датировке. Из них 4 хранятся в *ГЛМ*, а копии остальных – в *РГБ* и *РГАЛИ*. 10 из опущенных здесь приписок к письмам Герцена вошли в состав *НПГ*.

Из ответных писем Астраковой нам известны лишь 15 (1839–1852 – *РГБ*, ф. 69. 9.12–15; *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 207, 226, 589). Бóльшая часть из них использована нами в комментариях к письмам. Сохранившиеся письма Астраковой дают возможность раздвинуть хронологические рамки переписки ее с Н.А. Герцен. Последнее известное нам письмо Натальи Александровны к ней датировано 28 мая/9 июня 1851 г. Но из писем Астраковой ясно, что переписка продолжалась до марта-апреля 1852 г. Последнее письмо Астраковой (ответ на не дошедшее до нас письмо Н.А. Герцен) написано 24 марта/5 апреля 1852 г. (*РГАЛИ*, ф. 2157, оп. 1, ед. хр. 589). В нем она отзывается на просьбу подруги приехать в Ниццу и обсуждает реальные возможности осуществления этого плана. Ответить на это письмо Н.А. Герцен, по-видимому, уже не успела, т.к. Астракова, рассказав впоследствии в письме к Н.А. Тучковой о пожаре в своем доме, особенно жалела о гибели последнего письма, "в котором она звала меня к себе" ("Лит. наследство", т. 63, с. 546).

Письма 1–73 подготовлены И.М. Р у д о й, п. 74–91 – Ю.П. Б л а г о в о л и н о й.

Авторы публикации благодарят за помощь в работе С.В. Житомирскую.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Библиографию работ о Т.А. Астраковой см. в кн. "Русские писатели", 1800–1917. Биографический словарь, т. I, М., 1989, с. 119–120.

[2] Ср. в письме Астраковой к Н.А. Герцен от 22/10 мая 1851 г.: "Историю твоей души, твоего внутреннего я в твоем письме прочла с невыразимым наслаждением, точно что-то новое" (*РГБ*, ф. 69.9,14).

[3] *Пассек* II, 80.

[4] Там же, 81.

[5] О нем рассказано подробно в воспоминаниях Астраковой (там же, 80–83).

[6] *Павленков*, 572.

[7] *Пассек* II, 81–82.

[8] Все эти конкретные данные могут помочь, например, в создании зрительного ряда фильма или спектакля о молодом Герцене, пригодиться художнику-иллюстратору и т.п.

[9] 6 июня Наталья Александровна имела уже все необходимое: "Сегодня получила и шляпу, и платья – все, все прекрасно, благодарю вас за труды" (XXI, 381).

[10] Возможно, что Герцену важно было снова представить Наталью Александровну "в белом". Рассказывая о свидании с женой в Турине в 1851 г., он как бы сводит воедино свои воспоминания о ней: "На ней было белое кисейное платье или блуза (...) и при первом свидании нашем, когда я приезжал из ссылки, она была также вся в белом, и венчальное платье было белое" (X, 272–273).

[11] Не исключено, правда, что в данном случае речь идет о 500 р. не серебром, а ассигнациями.

[12] О той же болезни Н.А. писала Ю.Ф. Куруте 16 мая и 6 июня 1841 г. (*РМ*, 1889, № 6, с. 13).

[13] Ср. этот "романтический" портрет молодой Астраковой с ее же портретом из письма от января 1848 г.: "Воображаю тебя так живо, сморщившись, съежившись, в своей шубке сидишь у печки, бывало войдешь к тебе в комнату, и сейчас следом является варенье, яблоки, наливка" (п. 78).

[14] Подробный рассказ Астраковой о разногласиях с М.Л. Огаревой, начавшихся именно весной 1840 г., во время пребывания Герценов в Москве перед переездом в Петербург, см.: *Пассек* II, 90–95.
[15] Там же, с. 276.
[16] "Лит. наследство", т. 63, с. 552.
[17] *ГЛМ*, ф. 248, оп. 1, ед. хр. 27.
[18] Ср. также письмо Герцена к Е.Б. и Т.Н. Грановским от 15 октября 1843 г. (XXII, 152).
[19] См. *Тучкова-Огарева*, 56–68; *Анненков*, 297–330.
[20] *Анненков*, 298.
[21] Там же.
[22] Там же, 326.
[23] *РГБ*, ф. 69. 9.15, л. 1–2об.
[24] О несогласии В.П. Боткина с оценкой жизни буржуазного Запада, содержащейся в парижских письмах А.И. и Н.А. Герценов, см. XXIII, 348.
[25] Л.Я. Гинзбург. О психологической прозе. Л., 1977, с. 55–59.
[26] Там же, с. 58.
[27] Там же.
[28] Впрочем, источником этих мыслей – и, скорее всего, сознательным – служат и дневниковые записи Герцена от весны–лета 1842 г. См. особенно запись от 29 июля (II, 219).
[29] "Лит. наследство", т. 64, с. 266.
[30] Ср. в "Былом и думах": «Не мешает заметить, что "Московские ведомости" велено было греть, чтоб не простудить рук от сырости листов» (VIII, 93).

1

⟨Владимир.⟩ 14 мая 1838

Татьяна Алексевна!

Не сомневаюсь, сколько вам принесло удовольствия участье в нашем соединении[1], о благодарности говорить лишнее – вы можете измерить ее – вам остается только взглянуть на нас *теперь*.

В платье вашем я представлялась губернаторше[2], оно мне впору везде, возвращу все с Саз⟨оновым⟩[3].

Мне что-то сдается, с ним приедет наш Рыцарь-Папенька – Кетчер – как бы мы желали! Николаю вашему рукожатие. Вы пишете о подозрениях – да что ж до них вам и нам?[4] – Пусть их правые страдают и виноватые блаженствуют. Теперь вам комиссии – а как мне совестно, и то хлопот было бездна – сверх шляпы и платьев[5]: платок, о котором пишете, темный, чтоб годился ко всякому платью, маленьких платочка два – темный и голубой – газовые, перчаток, помады и духов "Violet" в 10 руб. Лент газовых, сколько вздумается, да узких розовых и голубых атласных, две гребеночки для локонов, кисеи простой, белой на платье, и батист-декосу[34*] и английской холстинки голубой, тюлю 3 ар⟨шина⟩, шириною в 2 ар⟨шина⟩, рюшу пошире и поуже да такой шарф, как был на вас, не придумаете ли сами чего еще? Я не могу собрать настолько мыслей и пока не замечу недостатка, не придет в голову, вы знаете, что у меня ничего нет, все, что сделала Emilie – тем можно пробавляться очень недолго[6]. Пошлите к ней за книгами, и нет ли еще бумаг, все, все собрать и прислать, да не затерялась ли тетрадка, перевязанная ленточкой, и, главное, книгу "О себе"[7] – а у Emilie возьмите только книги, подаренные мне Александром, она знает, особенно немецкие[8] и "Гамлета"[9]. – Да, кстати, одеяло теплое, наше слишком эфирно, у Emilie, должно быть, что-нибудь есть мое – все пришлите, снарядите нас сирот и потом уж отдыхайте, не забудьте зонтик маленький и вуаль зеленый да еще какой-нибудь вседневный платок.

[1] О роли Т.А. и Н.И. Астраковых в женитьбе Герцена см. в "Былом и думах" (VIII, 366–368), *Пассек* II, 80–86.
[2] *Губернаторша* – Ю.Ф. Курута.
[3] Н.И. Сазонов и упоминающийся далее Н.Х. Кетчер ("Папенька-рыцарь") собирались приехать к Герцену во Владимир. Поездка эта почему-то не состоялась. Вещи Астраковой были возвращены ей, вероятно, почтой (см. XXI, 382).

[34*] шотландского (от *франц.* d'Ecosse).



ВЛАДИМИР

Литография, 1830-е годы

На заднем плане (слева направо) важнейшие здания города: дом гражданского губернатора, Дмитровский собор, дом присутственных мест, Успенский собор, дом Дворянского собрания, Гостиный двор, Женский монастырь, Золотые ворота

Исторический музей, Москва

[4] Речь идет, очевидно, о "подозрениях" родных Н.А. и Герцена относительно роли Астраковой в их свадьбе.

[5] См. письмо Герцена к Астраковой от 10 (?) мая 1838 г. (XXI, 374).

[6] Герцен отправил Э.М. Аксберг в апреле 1838 г. 500 р. для покупки вещей, необходимых для Н.А. в связи с ее отъездом из Москвы (XXI, 354 и 362).

[7] Герцен привез в Москву вторую часть "О себе" 16 апреля и просил невесту не забыть эту рукопись при отъезде (XXI, 363). Более года Герцен все напоминал друзьям о том, чтобы ему прислали эту повесть. О судьбе рукописи см. I, 502–504.

[8] Вероятнее всего, речь идет о книгах Ф. Шиллера, которые Герцен постоянно советовал Н.А. читать (см. XXI, 141, 209, 270, 304). В одном из писем он писал Н.А.: "Шиллер – вот твой автор..." (там же, 324).

[9] По просьбе Герцена был подарен Н.А. перевод "Шекспирова Гамлета" (см. XXI, 161 и 607). Речь идет об издании "Гамлет, принц Датский. – Драматическое представление. Соч. В. Шекспира. Пер. с англ. Н. Полевого. М., 1837.

2

Владимир, 1838, мая 24-е

Вы правы, правы, Татьяна Алексеевна! прочь благодарность, она умаляет награду за доброе дело, которую находит каждый в своей душе[1] – благословение, благословение вам Бога и его любимых детей.

Полна, изящна наша жизнь. Мы некогда пламенно желали с Александром бежать в Италию от льдов Севера и от сердец северных людей[2] – теперь все тепло, близко, приветно, все братья, и крошечный Владимир – рай!..

Скучно писать о переплетах – да необходимость. Ежели платки, о которых вы писали, слишком легки – то, конечно, лучше купить шалевый или какой там лучше – полагаюсь во всем на ваш вкус, мантилью нужно и именно воронова крыла – материю не знаю какую, на розовой или белой тафте. Шляпку другую еще не надо, я купила здесь таскальную. Хорошо бы сделать платья, два белые, батисто-де-

косовое и кисейное и холстинковое, потому что у меня нет никаких, ни нарядных, ни простых, и при случае все-таки пришлите куска два коленкору и миткаля, нужно очень.

Не знаю, как приняться за белье, толку ни в чем не знаю, где и сколько купить полотна – легко ошибиться – что вы скажете мне? А в белье у меня большой недостаток. Не забудьте мелочи – все это нужно...[3]

Спасибо за кольцо мое – принимаю, потому что оно не имело для меня цены как памятник моего друга, – и подарка, достойнее вас, не могло быть... С восхищением жду Папеньку-рыцаря, вас обнимаю, Николаю жму руку.

Ваша Н. Г е р ц ⟨е н⟩ [4]

[1] Ср. в письме Герцена от того же числа: "А, может, я и в самом деле слишком холодно и черно привык смотреть на людей (в Вятке), и оттого люди меня приводят в восторг и поневоле рвется слово спасибное им. Вперед исправлюсь" (XXI, 377).

[2] В письме Герцена от 27 февраля 1838 г.: "В Италию, в Италию с тобой, мой ангел, отдохнуть от людей, дать волю фантазии, забыть, что существует канцелярия, кабинет, департамент, поскитаться по горам, поноситься по морю" (XXI, 305).

[3] К началу июня Астракова прислала все необходимое. "На обновки свои не нарадуюсь, так все впору и хорошо", – отликнулась Н.А. в письме от 7 июня (XXI, 382).

[4] Далее следует приписка Герцена, адресованная Н.И. Астракову (см. XXI, 377).

3

Владимир, 1838, ⟨около 20⟩ июля[1]

Виновата, виновата, Друзья[2].

Но скорее руки и – мир! – А вы, Татьяна Алексеевна, как жестоко наказываете: "забыли" – кто же и кого же забыли – *мы – вас*!! Пощадите! Нет, тогда нам надо будет забыть, что мы соединены, забыть имена друг друга, забыть *Девятое* мая[3] – и как вам пришла в голову такая невозможная, нелепая мысль? – "Ну так что же, что же??" – спрашиваете вы. – Оправдываться? нет, не стану, просто виновата, а вы, милые друзья, просто простите. Здоровьем похвастать нельзя, последнее время заточенья и *такая* перемена – все это должно было сильно подействовать, к тому же и простужаюсь часто – да все это вздор, впрочем, не стоит и говорить об этом. Мы счастливы, счастливы, мы в царстве небесном, 9-е мая длится, длится – да оно и с жизнию не прекратится, оно вечно! вечно!

Теперь мы собираемся к Папеньке, в деревню Льва Алексеевича, в Покровское, недалеко от Москвы, но надо будет ее объехать[4], может, пробудем там недели три. В письмах его и тени нет неудовольствия – ни облачка, ни облачка на нашем небе! – Теперь сказать вам о своем житье-бытье: ежели не читаем книгу – то скитаемся по полям и горам и читаем природу, и бульвар здесь есть, и на бульваре публика есть – но нам тесно с добрыми людьми, мы уходим туда, где и следа их нет, за заставу, далеко – виды отовсюду прелестные, возвращаемся домой поздно, усталые, в пыли, ни с кем не знакомы решительно, кроме семейства Куруты, да и на что нам знакомые во Владимире? Ну уж будет, прощайте, Татьяна Алексеевна! отомщу я вам, и попрошу не забывать.

Душевно вас любящая *Н.Г.*

Мы сами ничего не знаем о Кетчере – хорош Папенька[5].

[1] Датируется предположительно по упоминанию о предстоящей поездке в Покровское: "Может, пробудем там недели три". Герцены вернулись из Покровского во Владимир 10 августа.

[2] Предыдущее письмо Астраковым датировано 7 июня (см. XXI, 381).

[3] День венчания Герцена и Н.А.

[4] Об этой поездке см. в "Былом и думах" (VIII, 114). Ссыльному Герцену въезд в Москву был запрещен.

[5] Далее следует приписка Герцена (см. XXI, 384).

4

Приписка к письму Герцена[1]:

⟨Владимир.⟩ 27 августа ⟨1838 г.⟩

Как вы аккуратны, как внимательны, Татьяна Алексеевна, и как я бессовестна – но – того и гляжу, что вы тут засыпете упреками – простите, простите! Счет между нами сведен – в душе. – К делу – мантилью воронова крыла, из грогро[2], на розовой подкладке (цвет получше), фасон последний. Также и тюлевую потрудитесь состроить. А воротнички хоть и шитые, но чтоб были тюлевые и простенькие. – Недостаточно будет вам денег – пошлите к Егору Ивановичу[3] взять сколько нужно. Прощайте, моя любезная Татьяна Алексеевна! а вспоминаете ли вы когда ваш визит к ее сиятельству?[4] Обнимаю, обнимаю вас, ваша *Н.*

[1] См. XXI, 338–389.

[2] Название очень плотной ткани (*франц.* gros-gros).

[3] Е.И. Герцен помогал брату в пересылке книг, писем, денег. Служба в Московской дворцовой конторе, видимо, давала возможность Егору Ивановичу пользоваться скорейшей оказией.

[4] Имеется в виду визит к княгине М.А. Хованской. См. *Пассек* II, 81–83 и *Павл.*, 571–572.

5

Владимир, 1838. Сентября 19-е

Как вы добры, Татьяна Алексеевна, как добры – я, ей-богу, не нахожу слов выразить вам мою благодарность – эта заботливость, это внимание к лоскуткам доказывает ваше расположение – но в сторону приличья – вы понимаете без объяснений, что́ вы нам. Деньги от Егора Ивановича вы получите, уж не лишняя ли будет тюлевая пелеринка? Воротнички нужны очень, только не дорогие, если можно, то по целковому. Ежели бархатная пелеринка стоит столько же, сколько тюлевая, – то лучше сделать бархатную, если же бархатная дороже, так тюлевую; еще вам комиссия – если после всех писанных вещей останутся деньги – купите в магазине хорошенькую детскую кацавеечку – мне нужно подарить, пунцовую или голубую – выберите, чтоб шерсть была английская и хорошенький цвет и с черными хвостиками – и чтоб аккуратно была связана. Ежели же не будет на это доставать денег, то не делайте, в таком случае, тюлевую пелеринку – кацавеечка будет, я думаю, стоить около 10 р. – вот каким вздором наполнено письмо – вина ваша, что я сделалась такою бессовестною[1].

Искавши очень долго квартеры, претерпевши разные всевозможные неудобства – мы нашли, наконец, прекрасную квартеру[2] – ах, как бы я желала Татьяна Алексеевна! чтоб вы приехали к нам каким-нибудь счастливым образом – сколько бы мы нашли сообщить друг другу – но, я надеюсь, еще будет время, когда вы вполне увидите, что́ вы сделали, – и прольете слезу благодарности Богу, что он помог вам. Николаю жму руку, вас обнимаю много много, много, будьте здоровы – ваша Наталья Г.[3]

[1] В октябре 1838 г. Н.А. поблагодарила Астракову за присланные вещи (см. XXI, 393).

[2] Очевидно, речь идет о большом барском доме с садом, расположенном за рекой Лыбедь и описанном в "Былом и думах" (см. XIII, 377). На другой день Н.А. писал А.Г. Клиентовой: "Теперь мы нанимаем прелестный дом, сидим у камина, вспоминаем друзей и наслаждаемся настоящим" (*РС*, 1892, № 3, с. 785–786).

[3] Далее следует приписка Герцена (см. XXI, 390).

6

Приписка к письму Герцена Н.И. Астракову[1]:

⟨Владимир. Вторая половина ноября – начало декабря 1838 г.[2]⟩

Татьяна Алексеевна!

Вспомнили ли Вы нас, как минуло *полгода*?[3] Где же это бездонное море горьких страданий, где громовые тучи? Там, там, далеко – и самое горькое воспоминание светлеет от настоящего блаженства. О, как радостно было перекликнуться с теми,

кто понимал мучения, во времена мучения, не менее радостно и теперь передать миллионную долю наслаждения тем, кто постигает его.

Вы писали, что скоро будете праздновать день рожденья – я не знаю, когда и чей[4], – поздравляю вас от всей души, обнимаю от всей души, и от всей души кланяюсь Николаю.

Ваша Н. Герцен

[1] См. XXI, 400–401.

[2] Датируется предположительно по словам: "Вспомнили ли вы нас, как минуло полгода?" и "скоро будут праздновать день рождения". В 30-томном Собрании сочинений письмо Герцена отнесено к середине декабря 1838 г. по связи с письмом к Кетчеру от 4 декабря 1838 г. (XXI, 400 и 580). Но в письмах Герцена к Кетчеру одни и те же вопросы беспрестанно повторяются (см., например, письмо от 4 октября там же, 392). Датировке Собрания сочинений противоречат и начальные фразы писем А.И. и Н.А. Герценов от 31 декабря 1838 г. (XXI, 401 и п. 7 наст. публ.)

[3] 9 ноября минуло полгода со дня венчания Герценов.

[4] Вероятно, день рождения Н.И. Астракова – 5 декабря.

7

Приписка к письму Герцена[1]:

⟨Владимир. 31 декабря 1838 г.⟩

Давно мы не говорили с вами, милая моя Татьяна Алексеевна. Начну с поздравления с Новым годом, с желания – но ради же Бога не принимайте ни то, ни другое за обыкновенное пошлое, о нет! Есть поздравления *особенные*, в которых разом изливается и дружба, и любовь, и благодарение Ему за прошедшее, и молитва о будущем – такое поздравление приношу я Вам. Что вы, как вы? а я что? – спросите вы меня. О! мое блаженство, ей-богу, растет с каждым днем, я умру от любви, от счастья – но нет, *надо* жить!!![2]

Ваша *Н.Г.*

Николаю крепко жму руку.

[1] См. XXI, 401–402.

[2] В письме Герцена: "Ежели моя жизнь (как и каждого человека) – поэма, то 1838 – лучшее место в ней" (там же, 401).

8

Приписка к письму Герцена Н.И. Астракову[1]:

⟨Владимир. 14-го января 1839 г.⟩

Поздравляю вас, любезные милые Друзья, с прошедшим праздником, т.е. с именинами вашими[2], Татьяна Алексеевна. Поздравляю и с наступающими заветными, священными торжествами[3], – да, знакомы, близки они душе моей, в эти дни я много буду думать о вас, и весело, радостно мне будет вообразить ваше веселье – я вместе с вами поблагодарю за него Его...

И мне, Татьяна Алексеевна, смертельно хочется вас видеть, вот что-то будет от министра[4], впрочем, – если и *нет* – нам не горе, и *нет*-то это будет нам вместе!..

Как встретили вы нового гостя[5], пришельца из вечности? Верно, не так хорошо, как мы, потому что в столице *не дадут* так хорошо встретить. Хоть я и больна была, но это не помешало (каково! люди мешают более болезней – бедные, жалкие!), весь дом спал, – а мы были вдвоем, вдвоем! – Но что говорить, глупо. Вы понимаете. И вам было послано благословение – дошло ли?

Обнимаю вас от всей души. Ваша Н. Г е р ⟨ц е н⟩

А что с Папенькой-рыцарем? Пожмите ему от меня руку, да покрепче, за что он нас забыл?

[1] См. XXII, 9–10.

[2] 12 января.

[3] День венчанья Астраковых – 31 января (ср. письмо Астраковой к Н.А. от 31 января 1844 г. – *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589).

[4] Герцены ждали в это время ответа министра внутренних дел Д.И. Блудова на ходатайство владимирского губернатора И.Э. Куруты от 26 декабря об освобождении Герцена от полицейского надзора. 1 февраля 1839 г. шеф жандармов А.Х. Бенкендорф на запрос министра ответил отказом (см. XXII, 22 и 301).

[5] Новый, 1839 год.

9

Приписка к письму Герцена Н.И. Астракову[1]:

(Владимир. 14 февраля 1839 г.)

Как я завидовала Александру, что он увидит вас[2]. Видно, мой черед еще далеко. – Я вспоминала ваши праздники в январе, и так весело, весело было вообразить вас. Скоро и *нашей жизни* год!..

Боже мой, бывало считала часы, минуты светлые, и как немного было их в несколько лет, – а тут месяцы целые, и ни облачка, ни пылинки – мне становится душно, тесно, досадно иногда, что некому рассказать, некому указать на Него – переполнена душа, необходимо излить, и некому. А Москвы я что-то боюсь – вот если б сюда вы приехали – прощайте. – Ах, Татьяна Алексеевна, каково это, скоро год – помните – а у меня как жива в памяти коляска, лихие кони – ваша темная шляпка – голубой платок – а эта доброта, это участье голубых глаз – как живы они в душе моей[3]. Прощайте же, право, писать скучно, вот кабы поговорить. Ваша Н. Г е р ц е н

[1] См. XXII, 11.

[2] 22–25 (?) января Герцен приезжал в Москву на похороны Л.А. Яковлева. Он виделся с Астраковыми в день приезда.

[3] Н.А. вспоминает о своей первой встрече с Астраковой, которая по совету своего мужа и Н.Х. Кетчера приехала к княгине М.А. Хованской "с ливрейным лакеем (...) для шика" (*Пассек* II, 81).

10

Приписка к письму Герцена Н.И. Астракову[1]:

(Владимир. 28 марта 1839 г.)

Христос воскресе, Друзья! Давно, давно от вас нет весточки, но, разумеется, это не происходит от забвения и холода точно так же, как и наше молчание. – Как проводите праздники, любезная Татьяна Алексеевна? у нас они незаметны, с 9 майя у нас и все светлое воскресенье в душе. – В первый раз мы услышали благовест к заутрене *вместе* – дивное мгновенье! Что это бывало, сколько перестрадаешь все это время – там, на Поварской, в том мрачном доме, как гроб, куда ни оглянись – мертвецы[2]. – О! слава Богу, помогшему перенести все это!..

Я уверена, Татьяна Алексеевна, что вы полюбили очень Марью Львовну[3] – прелестное существо; мы в малое время сблизились с ней очень, мне ужас жаль было расставаться с ней, – дивно провели все дни, которые она была у нас. Каждый час был исполнен высоких ощущений, и душа не спускалась ни на миг в суету житейскую. Я вам спишу здесь *его* стихи

Марии, Александру и Наташе[4].

Прощайте, обнимаю вас, Татьяна Алексеевна, Николаю жму руку.

[1] См. XXII, 23–24.

[2] Н.А. вспоминает годы, проведенные в доме М.А. Хованской на Поварской улице. Ср. в главе "Сирота" из "Былого и дум": "Возле, около – посторонние, морщины, пожелтелые щеки, существа потухающие, хилые" (VIII, 320).

[3] Огарев и его жена Марья Львовна прожили во Владимире с 15 по 19 марта. Об этой встрече см. XXII, 17–20 и IX, 12.

[4] Стихотворение Огарева, датированное 17 марта (см. XXII, 17–18).



М.Л. ОГАРЕВА

Рисунок Н.В. Майера (карандаш). Пятигорск, 1838.

В верхней части листа портрет А.И. Одоевского

Музей Герцена, Москва

11

Приписка к письму Герцена Н.И. и Т.А. Астраковым[1]:

(Владимир. 18 апреля 1839 г.)

Ну, вот скоро и час тот придет, когда вы ангелом-спасителем взошли в темницу страдалицы, меня тогда и физические силы оставили – я, кажется, лежала утомленная, с муками в груди, которые немногие испытали, наверно, – да и не дай бог! Помните, как я бросилась к вам на шею, крепко держала за руку, как мне страшно было оставаться после вас там – и этому уж год, и какой этот год!!!

Довольно, довольно слов, чувства так громко и ясно говорят, что вы, верно, слышите их без помощи бумаги, несмотря на расстояние.

А что зубы ваши? пробовали ли вы *креозот*? Я слыхала, что он весьма действителен. Обнимаю вас, Николаю крепко жму руку.

Кетчеру тоже, Татьяна Алексеевна, за меня сожмите руку да возьмите у него стихи на смерть Левашевой[2] и мне пришлите.

[1] См. XXII, 24–25.

[2] Е.Г. Левашовой посвящено стихотворение Огарева "Я с юных лет знал тяжкие гоненья", датированное: 1839, 23 марта. См. "Былое и думы" (VIII, 366–367). Позднее Герцен писал о ней: "Одно из тех чистых, самоотверженных, полных возвышенных стремлений и душевной теплоты существ, которые излучают вокруг себя любовь и дружбу, которые согревают и утешают все, что к ним приближается" (VII, 353).

12

⟨Владимир.⟩ Июля 23. ⟨1839 г.⟩ Утро[1]

Давно, давно я не писала вам[2], моя добрая, милая Татьяна Алексеевна, не сердитесь на меня, ей-богу, я сама не имела давно *для себя* свободной минуты, минуты отдыха. Бог дал нам сына[3] – не стану описывать вам море новых чувств, ощущений; я сделалась во сто раз лучше, добрее, самоотверженнее, право, мне кажется, что уж меня нет, я не чувствую *себя*, я – мои Александры, для них жизнь, для них всё. О! счастлива, счастлива я, душою, а телом не вовсе, потому что с рождения мерзулька (как его зовет Александр, а не мерзильки – что это за гадость![4]) я была долго слаба ужасно, два раза имела лихорадку, нарыв и бог знает что. А тут и он-то блажит – страдание! Но, надеюсь, Бог милостив, все устроится, пойдет своим порядком. И теперь мне что-то неможется. Прощайте, до следующего письма. Ах, как хотелось бы вам показать Александра 2-го.

Николаю жму руку крепко-прекрепко.

[1] Письмо Герцена, датированное 25 июля, но посланное, очевидно, одновременно с этим письмом, см. в XXII, 37–38. На верхнем поле помета Астраковой: *1839*.

[2] Известны краткие приписки Н.А. к письмам Герцена от 8–9 мая и 3 июня (см. XXII, 28 и 30).

[3] Саша Герцен родился 13 июня.

[4] Ср. в письме Н.А. к Ю.Ф. Куруте от 20 сентября: "Грозный мой повелитель Мерзулек держит меня в большом повиновении" (*PM*, 1889, № 5, с. 9).

13

Приписка к письму Герцена Н.А. Астракову[1]:

⟨Владимир. 10 октября 1839 г.⟩

Милая моя милочка, душевная моя душечка Татьяна Алексеевна! Опять мы далеко от вас[2], опять мир и тишина, покой, покой... Только горбатый старик надоедает, часто приходит мешать в печи. Мир, покой – хорошо, а зачем же вас мы не будем видеть? это нехорошо, я полюбила вас, я хочу вас видеть, хочу, хочу идти к вам, а не могу – глупо!..

Оба Сашки ехали дорогой порядочно, блажили мало, спали много, теперь ведут себя добропорядочно[3]. Ну, и затем прощайте!

Ваша Н. Герцен

Катенька[4] вас целует, обнимает, Николаю жму руку. Петруше записочка[5].

[1] См. XXII, 46–47.

[2] Герцен с семьей провел отпуск (23 августа–30 сентября) в Москве.

[3] В письме Герцена: "С ужасной головною болью покинул я Москву и с чрезвычайно здоровой головой приехал сюда" (XXII, 46).

[4] *Катенька* – Екатерина Александровна Захарьина (в замужестве Селина) – сестра Н.А. В 1839–1840 гг. несколько месяцев прожила в семье Герцена.

[5] Петр Александрович Захарьин жил в это время у Астраковых, готовясь к поступлению в Медико-хирургическую академию. Письма к нему Н.А. неизвестны.

14

Владимир. 1839. Декабря 5

Вот вам и Александр, и письменный привет от меня, а много писать не смогу, надо укладывать, кормить и провожать Александра[1].

Грустно проведу я праздники[2]. Малютка станет утешать меня. Что за удалой! Ну – руки, Николай и Татьяна.

Н. Герцен

Рукой Е.А. Захарьиной:

Милая и добрая Татьяна Алексеевна, мысленно обнимаю вас, и целую, и желаю быть здоровыми, о себе скажу, я, слава богу, здорова и весела. Занимаюсь французским языком и понемногу на фортепьянах, играю с Сашей, какой он стал хорошенький, как нам с ним весело.

Любящая вас Е к а ⟨т е р и н а⟩

[1] Записка была послана с Герценом, уезжавшим в Москву и затем в Петербург. В письме к Астраковым от 9 декабря Герцен сообщал: "Наташа обнимает вас, есть записочка" (XXII, 59). Записка уточняет дату отъезда Герцена из Владимира: 5-е, а не 6-е декабря, как указано в *ЛЖГ* I, 212. Подтверждение см. в письме Н.А. к мужу от 6 декабря: "Вчера я скоро после тебя уснула и всю ночь спала крепко" (*БП*, 73).

[2] Герцен предполагал вернуться в начале января 1840 г. (см. *ЛЖГ* I, 213), но приехал раньше – к Новому году.

15

⟨Владимир. Середина декабря⟩ 1839[1]

Вот вам моя рука, душенька моя Татьяна Алексеевна! Таня, моя милая Таня![35*] Ей-богу, между нами с тобою несносно это пошлое *вы, Татьяна Алексеевна-с*, – нет, право, мы так близки, так родны, так много меня привязывает к тебе[2]...

Да, вот вы все думаете, что я грущу, и все во все руки принялись утешать меня[3], а я в концерт, в театр, туда, сюда[4], и новое знакомство[5], и бог знает что! А все это без Александра... "Да, матушка, чему дивить⟨ся⟩, полтора года замужем, да уж проку не бывать, сначала говорили мы это"... да, да, матушка! в самом деле, я что-то развеселилась, взявшись за перо, а, верно, оттого, что сегодня письма нет от Александра.

Часто гляжу я на твоего Шиллера, много напоминает он, и тем, что он Шиллер, и тем, кто его рисовал[6]. Малютка наш ужас как мил, разбойничает, точно Александр, ах, дай Бог, чтоб и во всем он похож был на отца!

Ах, душка моя, ну, почему бы тебе вот не очутиться здесь на минуту, право, так хочется взглянуть, поцеловать тебя... Грустно мне, ужас, грустно без Александра, мне кажется, я хуже без него стала, ведь он источник всего прекрасного, из которого пьет моя душа[7]. Шушка утешает меня много, чувство матери – оно неизвестно тебе, в нем тоже нет ни дна, ни берегов, оно так же безгранично, как Любовь, так же полно наслаждений...

Ну, что я скажу о Петруше?..[8]

Катенька целует тебя.

Жму Николаю руку.

Твоя Н а т а ⟨ш а⟩

Извинение:

оттого дурна бумага, что не хочется за хорошей посылать по морозу. Оттого дурно пишу, что Сашка мешает...

[1] Письмо написано в отсутствие Герцена и является ответом на коллективное письмо московских друзей к Н.А. от 12 декабря.

[2] Астракова отвечала на это 23 декабря: "Как ты умно придумала, моя Наташенька, переменить это

[35*] Признание в любви – уехал муж?

в самом деле нелепое *Вы* на гораздо лучшее – *ты*; в последнем всегда слышишь родной отзыв души..." (*РГБ*, ср. 69.9.12).

[3] В письме от 12 декабря Сатин писал: "Я понимаю, как вам грустно и тяжело расстаться в первый раз так надолго с Александром; хорошо, что у вас есть другой Александр, который, верно, хотя несколько утешит вас, моя милая и добрая сестра". Огарев продолжал: "Вижу тебя теперь, милая сестра, ты сидишь грустна, а Саша смотрит на тебя и смеется, а ты ему рассказываешь об отце, который далеко ⟨...⟩ Я бы хотел обнять вас обоих в эту минуту. Святое семейство, право, святое" (*РМ*, 1888, № 11, с. 12–13). 15 декабря Н.А. писала мужу об этом письме и особенно об Огареве: "Милый, несравненный твой друг, душа теплая, симпатия и поклонение тебе, там пишут и С⟨атин⟩, и К⟨етчер⟩, и Marie. Сильно сердце билось, мне так хотелось пожать им всем руку" (Братская помощь... 85).

[4] 8 декабря Н.А. Была на концерте Ю.Н. Голицына; 10-го – в театре (там же, 74, 80).

[5] 10 декабря Н.А. писала мужу: "Была давеча у Кожиной, она кланяется тебе. Кажется, в этих новых знакомых я не найду ничего, т.е. много слов, пожатий руки, много блеску, и только" (там же, 80).

[6] Возможно, речь идет о портрете Ф. Шиллера работы Астраковой. Ее живописные полотна и рисунки неизвестны.

[7] Ср. в письме Н.А. к Герцену от 17 декабря: "Рвется душа к тебе, рвется беспрестанно, она оскудела без тебя, ведь ты источник, из которого почерпает она все прекрасное..." (*БП*, с. 89).

[8] П.А. Захарьин в ноябре неожиданно для всех покинул дом Астраковых (см. XXII, 60). 23 декабря Татьяна Алексеевна писала Н.А.: "Что и я скажу об нем?.. Он, когда жил у нас, то мало бывал дома, потом съехал от нас, не простясь, и мы его не видали до сих пор. У меня лежит еще та записочка, которую вы прислали к нему, – его и не видала с тех пор. Дай бог, чтоб он исправился" (*РГБ*, ф. 69.9.12). Сохранилось письмо П.А. Захарьина к сестре Екатерине от 27–28 ноября: "На твою записку я не отвечал, надобно было оправдываться, я не хотел ⟨...⟩ Мне сказали, что я лжец и что, собственно, по глупости и прихотям оставил Астраковых ⟨...⟩ Я стремлюсь к Наташе, и грубая ткань светских мелочей мешает ей видеть меня: совесть моя покойна, душа скорбит, тело слабеет" (там же, ф. 69.10.26).

16

Владимир. 1839. Декабря 26-е

Благодарю тебя, Таня, за письмо. Напрасно ты так убеждаешь меня не грустить, и без того я очень понимаю, что уж не принадлежу более себе[1]. Да мне, право, теперь с Сашей и время нет грустить, то убаюкать его, то покормить, умыть, попрыгать с ним, иногда ночью у нас поднимется пляска и пение, вот даже и теперь, как принялась писать к тебе, он заставлял меня раз пять оставлять перо. И ты не поверишь, как все эти мелочные, по-видимому, вздорные занятия исполнены для меня поэзии и важности. Представь себе – ночь, все спят, Сашка лежит у моей груди, глазенки закрыты, полусонный – какая невинность, чистота на лице, что-то тихое, безмятежное, до чего еще не коснулось дыхание *света сего*. Тысяча дум пролетают мимо меня – что́ будет он, что́ будет с ним, чем заменится эта чистота?.. О! и какая пламенная, искренняя молитва вырывается из души тогда...

Ну, наконец, слава богу! Половина разлуки прошла[2], ожидание – ты не испытала его, Таня. Я представляю себе на тысячу манер приезд Александра, и сердце замирает, и плакать хочется, и в груди тесно... Ах, душка! и теперь я так живо вообразила – погожу писать.

Каждую почту, т.е. три раза в неделю, я получаю от него письмо, и письма, как прежде, и рада я им, как прежде.

Он пишет, что в мае мы будем в Петербурге[3], стало, мы скоро увидимся с тобой; стало, скоро расстанемся – расстанемся надолго, долго – это нехорошо, грустно.

Боюсь я Петербурга.

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Стужа, холод и гранит[4].

Хотелось бы солнца, яхонтового неба, тепла – но да будет так.

Любимец твой сейчас чуть не выпрыгнул из колыбели, так резв, кричит: "Дай, дай, дядя, трррр..." Знает солнце, знает портрет своей бабушки[5], знает себя в зеркале, да и, право, не знаю, чего он не знает, я не могу его десяти минут держать на руках, он замучает меня.

Поздравляю тебя и Николая с новым годом...

За этим поздравлением желания, которых я не стану называть, придумай сама. Я вас люблю, люблю искренно и много.

Прощайте.

Н. Герцен

P.S. Ну, если вы еще подумаете недели две писать Александру, так вам придется *вручить* ему письмо[6].

30-е

Александр в Москве[7].
Ни слова более.

Рукой Е.А. Захарьиной:

Милая и добрая моя Татьяна Алексеевна, поздравляю вас с Новым годом и желаю вам всего лучшего на свете, мысленно обнимаю вас и целую, и благодарю вас за вашу обо мне память. Прошу вас сказать мое почтение Николаю Ивановичу, затем прощайте, остаюсь искренно вас любящая Е.З.

[1] 23 декабря Астракова писала: "Тебе надо беречь свое здоровье, не тратить капли из него, – ты мать и кормишь сама своего ребенка, – твое нездоровье может и его сделать больным, и, если это сделается от тебя, ты будешь преступница перед своим долгом, береги себя, береги сына, ты этим усладишь жизнь Александра..." (*РГБ*, ф. 69.9.12).

[2] Герцен отсутствовал три недели.

[3] 19 декабря Герцен писал жене: "Обещают чудные ночи в мае, на берегах Невы – и их-то мы увидим вместе..." (XXII, 67).

[4] Неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина "Город пышный, город бедный" (у Пушкина: "Скука, холод и гранит").

[5] Бабушка – Л.И. Гааг. 17 декабря Н.А. писала Герцену о Саше: "Полюбил ужасно маменькин портрет; как скажешь: баба! он тотчас ищет его и говорит сам: баба!" (*БП*, 89). Известен портрет Гааг работы И.З. Летунова 1820-х годов. Вместе с парным портретом И.А. Яковлева находится у правнука Герцена – Сержа (Швейцария). См. воспроизведение в "Лит. наследстве", т. 63, с. 395–396.

[6] Астракова писала 23 декабря: "Эдакой народец мы бестолковый, по сю пору не написали твоему Александру" (*РГБ*, ф. 69.9.12).

[7] Герцен приехал в Москву 26 декабря. Его письмо от 27-го числа, очевидно, было получено Н.А. 30 декабря (см. XXII, 68).

17

Приписка к письму Герцена[1]:

⟨Владимир. Февраль 1840 г.⟩

Прибавить мне тебе нечего, милая моя Таня, да как-то нелегко и говорится о вещах такого рода[2]. Теперь я что-то не в духе, прощай до следующего письма. Мы еще ученики, право, ученики!

Н. Герцен

Не по силам своим приняла я на себя обязанность, поздно увидела это, что делать? Напиши нам, что ты думаешь и придумаешь...

Шушка наш догоняет своего родителя во всем, – а все-таки мне весело, право, ужас как весело, что-то так душе просторно и вольно, и хорошо носиться по своим владениям. Жму твою и Николаеву руки.

[1] См. XXII, 73–74.

[2] Речь идет о решении Герценов расстаться с Е.А. Захарьиной (см. письмо Герцена).



БЮВАР Н.А. ГЕРЦЕН

В овале – акварель неизвестного художника

Музей Герцена, Москва

18

⟨Петербург. 12 сентября 1840 г.⟩

Милая Танька! Ты все пристаешь, чтоб писать тебе подробно, – и я не могу решиться взять большой лист бумаги, да и ты, может быть, не поверишь, что мне *некогда*, Саша, все Саша и Саша… то кормить его, то мыть, то спать уложить, гулять отпустить, сшить ему, связать, занять и пр., и пр.

А там хоть и весьма плохое, но хозяйство, эта статья тебе знакома, а потом и отдохнуть, погулять, но последнего-то достается всего меньше, я даже не видала въезда невесты наследника[1] и не могу тебе ни о чем до сего касающемся сообщить. Сегодня едем в театр[2], тут я не откажусь, но, вообще, зимою, кажется, мне предстоят только домашние удовольствия[3]. Знакомств у меня до сих пор нет, с которыми бы поделиться душою, а не такие – мало приносят. Я бы охотно съездила в Москву, там много близких сердцу, хочется их видеть. А, впрочем, и здесь хорошо, ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!

Ну, платки есть чудесные, шелковые 150 р. (новых)[4], а вуали не продают, их не носят, нет никаких.

Саша совсем здоров, болтает, начинает вкруг дивана ходить, мил ужасно, вырос. Что еще сказать, обнимаю тебя, моя душка, прощай, помни нас, Николаю жму руку. Александр вам обоим ⟨кланяется⟩[36*]

Н.Г.

С.-Петербург, 1840 сентября 12-е[5]

[1] Невеста наследника – будущего императора Александра II – принцесса Максимилиана-Вильгельмина Дармштадтская, принявшая имя Марии Александровны, прибыла в Петербург 8 сентября ("С.-Петербургские ведомости", 1840, 10 сентября, № 204).

[36*] *В фотокопии засвечено. – Ред.*

[2] Вероятнее всего, Герцены были в Большом театре, где 12 сентября шла опера В. Беллини "Капулетти и Монтекки" (на нем. языке).

[3] У Н.А. должен был родиться ребенок.

[4] С 1 января 1840 г. единицей измерения стал серебряный рубль. Государственные ассигнации были объявлены вспомогательным знаком ценности с курсом – 3 р. 50 к. за один серебряный рубль.

[5] Ответ на это письмо Астраковой от 28 октября: «Давно-предавно я не получала от тебя писанья, и еще, кажется, *давнее* не писала сама, отчего бы это? От чего бы это? да так. Именно так, без всякой дурной или хорошей причины. Впрочем, это немного нехорошо, что вы так лениво пишете, заехали в сырой холодный город да и не уведомляете о своем здравии, а тут вздумаешь, что давно вы не писали, и явится невольно вопрос – "Здоровы ли уж они?". Право, нехорошо, Наташенька, дружочек мой, что ты такая ленивая стала писать, правда, наша пора писать прошла, да ведь тогда было иное дело, только и дум было, чтобы прочесть заветную записку и написать ответ. Теперь надо уделять друзьям по нескольку минут и не беспокоить их своим молчанием. Ну, что твой маленький Саша? Что большой Александр, что, они тебе надоедают, когда начнут возиться, а? Дай бог, чтобы твой сын был похож на вас обоих, чтобы он так же умел и чувствовать и понимать.

Что скажу о себе? все время моего молчания я была здорова, а Николай также, он всегда в беспрерывных трудах, а я *кой-что* делаю. Он все ездит по урокам, а я сижу все по обычаю дома и дожидаюсь его приезда. Это почти бывает теперь всякой день.

Прощай душка, целую тебя и поцелуй за меня своего малютку.

Вся твоя А с т р а к о в а» (*РГБ*, ф. 69.9.13).

19

Петербург. 18 апреля 1841 г.

Я не отвечала тебе на последнее письмо твое, Таня, да и нечего было отвечать на него – у меня навернулись слезы, когда я его читала, я долго носила его в ридикюле и много раз перечитывала. Ты счастлива, Таня, с такой душой нельзя быть несчастной, люблю тебя – и это я повторяю в каждом письме, да не могу удержаться, я рада, что могу это сказать кому-нибудь, на свете так мало – или, лучше сказать, я так мало встречала существ, которые остались такими, какими их создал Бог. Живи, Таня, не умирай, вот недавно Бог взял к себе душу родную моей душе[1], и как тяжела разлука... другие души, прежде близкие, сделались чужды, их отняла или светская[2] жизнь или пошлая, ты не отнимешь себя у меня, я это знаю. Пишу тебе 18-го апреля, ровно три года нашему знакомству, сладко воскресить прошедшее, снова пережить все – хороша наша жизнь, полна! Ты, царица нынешнего дня, слава тебе, слава!..

Знаешь ли, мы, можем быть, скоро увидимся, только, наверно, не знаю, может быть, увидимся и надолго[3].

Я здорова, Шушка целует тебя, он меня огорчает, у него анг⟨лийская⟩ болезнь, не ходит до сих пор, ему скоро два года. Доктор говорит, – летом все пройдет.

Прощай. Твоя Н. Г е р ц е н

Николаю жму руку крепко[4].

[1] Второй сын Герценов – Иван родился 11 и умер 19 февраля.

[2] Возможно, в этих словах содержится намек на светскую жизнь М.Л. Огаревой.

[3] Надежда на разрешение вернуться в Москву была связана с недавним прошением Герцена на имя А.Х. Бенкендорфа от 12 апреля (см. XXII, 106–107). Герцен не получил "дозволения" служить, где пожелает, "не исключая столиц" (там же, 117; *ЛЖГ* I, 239).

[4] Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 107).

20

С.-П⟨етербург.⟩ 21 июня 1841

Милая Таня, я подумала, как давно не имею от тебя вести, как давно сама не писала тебе[1] – и стало мне грустно, так грустно – ужас! Уж будто и нет тебя на свете, будто ты и забыла меня... О нет, нет, не надо! Живи моя Таня, люби меня. Ради Бога, напиши мне тотчас, как получишь мое письмо, к 1-му июлю нас уж не будет здесь[2], пиши в трактир Демута, в 12-й №. Уложившись совсем в дорогу, мы переехали сюда только на несколько дней (квартере вышел срок) и должны прожить месяц[3], приятная жизнь – и деньги бросай, и время бросай, тогда как можно бы все употребить с пользою – да,

видно, сладкое, не перевешивай горького – закон судьбы, – судьба, судьба, и что такое судьба, пустое слово, а жизнь течет и утекает, душа, погруженная в блаженство волей высшей, святой, *чувствует* боль, чувствует нехорошее, я далеко от того, чтоб роптать, но иногда слабеют силы и выжимается из груди невольно грустный звук. Третьего дня были мы на кладбище, Александр только в первый раз повез меня на прах малютки Вани, – о, как хорошо мне было, как я рада была, что *могу* плакать, кажется, тут все окаменевшее в груди вылилось слезами, и так легко мне стало, душа освежилась, отдохнула и смылась пыль, налегшая на нее. Да, земля тут, белый мрамор тут, и *слова* младенец Иоанн – тут, а *его* нет, где ж он, куда отлетел, куда??? О! бросила б я землю и полетела б за ним, за ним, в высоту, или вон туда, туда, вдаль – он мой дитя, мной рожден, и я не знаю, где он, что с ним, и никто мне не скажет, и спросить мне некого!.. Жизнь, жизнь – не будет и меня, и *им* некого будет спросить обо мне… – жаль их! Он грустен теперь, мой бедный Александр, да и у кого б стало силы все выносить с твердостью…[4] Напиши мне, Таня, что ты делаешь, не прислать ли тебе наши портреты[5], чтоб ты их списала для себя, только я гадко написана, странное лицо, другой живописец не может сделать сходного выраженья, черты мои, но не живые, что-то деревянное[6], ты, может, поправишь это, *ты знаешь меня*, ведь я, кажется, писала тебе в мае, что же ты не отвечала мне? – Я так живо воображаю твой укромный уголок, твою мирную, безмятежную жизнь – тебя с твоей кистью и палитрой, твои огненные глаза и твою прекрасную душу – и так хочется перенестись к тебе.

Не знаю, когда мы увидимся, и знаем ли мы, что с нами будет завтра…

Что делает Николай, пожми ему за меня руку, и за Александра. Я жму вам обоим, его нет, и он не знает, что я пишу к тебе, а ждать нельзя, пора на почту. Маленькой Александр целует тебя, он здоров, страшный говорун, а еще не ходит, недавно порадовал нас тем, что стал стоять на ножках, много с ним радости и горя, дай Бог пожить мне, хоть пока *нужна* ему моя жизнь (а здоровье мое слабо), кто в состоянье делать то, что матери легко? Мне все велят беречь себя, не заботиться, не самой делать, а приказывать делать – на что ж тогда моя жизнь, что я буду делать, мало понимает меня тот, кто говорит это…

Много переменилась я последнее время. – Ты знаешь, что моя Саша умерла, знаешь, что́ она мне была – то время, когда мы не ⟨до⟩считываемся ⟨?⟩ в своем круге – перелом жизни[7].

[1] См. пред. письмо.

[2] Герцены переехали в Новгород 30 июня.

[3] Судя по этому письму, Герцены покинули прежнюю квартиру около 1 июня. Составители *ЛЖГ* относят дату переезда приблизительно ко времени самого письма ("июня около 21" – *ЛЖГ* I, 241), но текст письма противоречит этому.

[4] Герцен вспоминает в "Былом и думах", как он воспринял известие о ссылке в Новгород: "Такое полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России ⟨…⟩ разъедающая злоба кипела в моем сердце…" (IX, 55–56).

[5] О каких именно портретах идет речь – неясно. К этому времени А.Л. Витбергом были написаны портреты Герцена 1835 (местонахождение оригинала неизвестно) и 1836 г. (Музей А.И. Герцена), а в июне 1840 г. – портрет Н.А. (неизвестен). В 1841 г. К.А. Горбунов изобразил Н.А. с сыном Сашей (*ГИМ*).

[6] Неудачными Н.А. считает, видимо, работы А.Л. Витберга и К.А. Горбунова.

[7] Точная дата смерти Саши Вырлиной неизвестна. О ее судьбе см. в "Былом и думах" (VIII, 325). В *РГБ* хранится 6 писем Вырлиной к Н.А. (ф. 69.9.34).

21

⟨Москва. 8 сентября 1841 г.⟩

Одно из *первых* желаний видеть тебя, и потому при *первом* случае я у тебя, а Александру нельзя так было скоро у вас быть – *будто ты не знаешь*, да к тому ж нас обокрали по дороге и у него нет сапог, *смертельно* хочу видеть тебя[1]. Твоя Н а т а ш а

Жду вас, жду…

[1] Речь идет о приезде Герценов из Новгорода в Москву (ср. XXII, 113).

22

Приписка к письму Герцена[1]:

⟨Новгород. 11 ноября 1841 г.⟩

Здравствуй, милый Друг Таня!

Ну, вот мы и опять в нашем тихом укромном уголке[2] – и больше ничего! Подчас и светло, и тепло, и хорошо – подчас и холодно и туманно… так что ж, оттого-то картина жизни и хороша так, что б было без тени?..

Вот, видишь ли, все эти дни мне хотелось к тебе писать, да что-то не удавалось, теперь бы и досуг – да что-то не пишется, с тобой бывает, верно, то же. Прощай, прекрасное созданье. Что Николай, жму ему руку, Саша тебя обнимает, я тоже.

Твоя Н. Герцен

Странно, отчего же мне не хотелось писать – ах, если бы ты видела, что за погода – верно, оттого!

[1] См. XXII, 115.

[2] После почти полуторамесячного отпуска, проведенного с семьей в Москве, Герцен вернулся к месту ссылки в Новгород 20 октября. 2 августа Н.А. писала А.В. Витберг о доме в Новгороде: "Квартеру мы наняли далеко, в глуши, с огромным садом, мимо нет проезда, почти и не ходит никто, точно деревня, перед глазами Волхов, грязный, желтый…" (XXII, 113).

23

Новгород. 1841. Декабря 17

Ну, милый Друг Таня, вчера получили мы твое письмо, – нечего и говорить, какое действие произвело оно на нас[1]. Все, что можно, сделано, сегодня же посылается письмо к Голохвастову[2]. Может, Бог поможет во всем. – Зачем так безнадежно твое письмо, у *Него* милости много, если же определено страдать на земле, "здесь ли, Друг, всему конец?"[3]… И не довольно ли нескольких часов истинного, полного счастья на земле? И многим ли здесь даны они?..

Но, Таня, что много говорить, у тебя много любви, должно быть много веры и твердости ради *него*. Летала бы к тебе – да в твоем письме проглядывает какое-то сомненье, недоверчивость к нам – Таня, как это больно, очень больно. Мы все к твоим услугам, – и если бы не существовало высших отношений, – то благодарность, доступная и скотам, заставила бы сделать неимоверные пожертвования.

Пиши нам, прошу тебя, два, три слова, не больше, но пиши, умоляю, не заставляй меня страдать теперь[4], ты, все, что до тебя касается, мне близко, близко, пиши ради Бога, хоть вели кому-нибудь написать. Да скажи, прислать ли деньги, у нас есть лишние.

Твоя Наташа[5]

[1] Н.А. так передавала Н.Х. Кетчеру содержание этого несохранившегося письма: "На днях мы получили письмо от Астраковых, он трудно болен, почти безнадежен ⟨…⟩ при этом – матерьяльные нужды, недостаток средств, самое выздоровление не представляет ничего утешительного…" (XXII, 120).

[2] Письмо Герцена к Д.П. Голохвастову не сохранилось. См. о нем в приписке Герцена и след. письме Н.А.

[3] Из стихотворения И.И. Козлова "К другу В.А. Жуковскому" (1822).

[4] Письмо написано за несколько дней до рождения дочери Натальи. "Я ожидала умножения семейства своего в феврале и ошиблась двумя месяцами, вдруг неожиданно 22-е дек⟨абря⟩ бог дал нам дочку ⟨…⟩ чрез двое суток он взял ее назад", – писала Н.А. к Ю.Ф. Куруте 13 января 1842 г. (XXII, 123).

[5] Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 119–120).

24

⟨Новгород. Начало января (?) 1842 г.⟩

Друг мой! благодарю тебя за последнее письмо, – теплая струя утешения влилась твоим участием. Если бы была возможность близким сердцу искупать несчастия, я бы многим пожертвовала для тебя! В самое тяжелое время ты не выходила у меня



САША ГЕРЦЕН У РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ

Акварель неизвестного художника.

Новгород, 26 декабря 1841 г.

На обороте надпись рукой Н.А. Герцен: "1841. Декабря 26. Новгород"

Музей Герцена, Москва

из памяти – я трепетала, получая твое письмо. В первые минуты 1842 года я думала о вас, молилась о вас, и душа исполнилась верой, что будущее для нас будет светлее. Тяжело получать неполные и неверные известия о милых сердцу. Я напишу тебе весь сон мой, да, все, что было со мной, – явилось как сон, прошло как сон, и в сердце осталась новая могила, и удары заступа звучат еще в ушах.

Мне теперь хочется рассказать тебе все, и ты рада будешь узнать все – я знаю. Пусть на тебя навеет мой рассказ светлую, тихую грусть, которой полна душа моя.

Ты знаешь, как я боялась, чтобы со мною не повторилось несчастие, бывшее в Петербурге[1], а вместе и надежда утешала. Весь декабрь я занималась приготовлением елки для Саши. Для него и для меня это было в первый раз: я более его радовалась ожиданием. Удивляюсь, как детски я заботилась – и все это точно для того, чтобы чувствительнее был удар: 22-го[37*] декабря родилась дочь! радости, восторга нашего не умею высказать. Казалось, ребенок прекрасный, здоровый; назвали Наташей. Радость Александра удваивала мою – нам так хотелось дочь, и Бог ее послал. "Вот тебе и сестрица на елку", – говорила я Саше; кажется, и он радовался с нами и все просил посмотреть на нее. Я была очень слаба, и скоро стала замечать в окружающих беспокойство и сомнение, доктор ездил часто, с ним говорили тихонько от меня. Все это объясняло мне ожидающее меня несчастие. Накануне праздника пронесли мимо меня елку для Саши, а через час принесли ее, мою дочку, чтобы благословить в последний раз[2].

Нет, довольно, прощай, милый друг! Господь с вами. Пожми за меня крепко руку Николаю, напиши скорее о его здоровье.

Твоя Н а т а ш а[3]

[1] Н.А. вспоминает о смерти сына Ивана. См. прим. 1 к п. 19.

[2] Дочь Герценов Наташа умерла 24 декабря 1841 г. Сохранилась акварель в память об этой "первой" елке, где Саша изображен на руках у няни.

[3] Далее следует приписка Герцена, условно датированная началом февраля (XXII, 130). Судя по содержанию наст. письма, в котором Н.А. сообщает о смерти дочери, оно не могло быть послано через месяц с лишним после случившегося, – это противоречило бы характеру отношений, сложившихся между обеими семьями.

[37*] В журнальном тексте опечатка: 25-го. – *Ред.*

25

⟨Новгород. Между 2 и 13 февраля 1842 г.⟩

Мы получили последнее твое письмо, Милая Таня, и порадовались, что Николаю легче[1], Бог милостив! – Удивляемся и мы, почему не получили писем, о которых ты говоришь; впрочем, с нами это не в первый раз, иногда и наших писем не получают знакомые. Ну, душка моя, Александр получил ответ от Голохвастова, он пишет, что не мог ждать выздоровления Николая, а обещает заменить это место также выгодным, когда Н⟨иколай⟩ будет в состоянии вступить в должность, потому что знает таланты его[2]. – Право, вы – недобрые люди. Почему бы давно не написать, что вам нужны деньги, грех быть с *нами* недоверчивым *вам*. Мы как-то писали, что у нас в возможности послать 500[3], а теперь только осталось 300, да и те у Огарева, но Александр писал уже, чтобы он доставил их к вам[4], чем богаты, тем и рады, – жалеем сердечно, что не можем служить большим.

Благодарю тебя, милая Таня, что ты не оставляешь нас долго в неизвестности о здоровье Николая; благодарю, моя душка, тем более, что я думаю, тебе вовсе не до писем. Но ради того святого, что соединяет нас, не отказывай нам в этом пожертвовании, я всегда с большим нетерпеньем жду твоего письма. Александр посылает вам обоим искренний привет и жмет руки, я и Саша обнимаем тебя, Николаю жму руку. Да сохранит и помилует вас Господь.

Всею душою любящая вас

Н. Герцен

[1] Временное улучшение состояния здоровья Н.И. Астракова наступило в конце января. Астракова вспоминала впоследствии: "Он в генваре в конце стал так было поправляться, что ⟨...⟩ я была вполне уверена, что опасность миновала" (письмо к Н.А. от начала апреля 1842 г. – *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589). Герцен впервые писал о денежной помощи Астраковым 7 февраля и обещал "достать сверх 300" в письме от 13 февраля (XXII, 131).

[2] Этот ответ Д.П. Голохвастова на письмо к нему Герцена (см. письмо от 17 декабря 1841 г.) неизвестен.

[3] См. письмо Герцена от 16 декабря 1841 г. (XXII, 119).

[4] Письмо Герцена к Огареву неизвестно. Возможно, это еще одно несохранившееся письмо Герцена. Но нельзя исключить, что об этом письме упоминает Н.А. в п. 27 (XXII, 439 – № 42).

26

Приписка к письму Герцена[1]:

⟨Новгород. 7 февраля 1842 г.⟩

Живо воображаю, чувствую твои страдания, друг мой, и знаю, что присутствие наше утешило бы тебя, тяжело тебе, душка, – и я ничего не нахожу сказать в утешенье, да и зачем говорить, ты сама знаешь, что не всему здесь конец...

О Таня, зачем я не могу приехать к тебе... пиши мне, это облегчит тебя.

Твоя Наташа

[1] См. XXII, 130.

27

⟨Новгород.⟩ 13 февраля ⟨1842 г.⟩

Таня, друг мой, да подкрепит тебя Господь! Мы получили последнее твое письмо[1], многое бы я отдала, чтоб помочь тебе, часть моей жизни... и не могу ничего, Боже, это ужасно, ужасно! Да пошлет Он тебе силы и успокоенье! Я беспрерывно думаю о тебе и страдаю за тебя. Не нахожу ничего сказать тебе более. Ты, верно, уж получила последнее письмо наше[2] и 300 р. от Огарева, если ж нет, то получишь вместе с этим письмом. Александр писал к не⟨му⟩[3]. Напиши, не нужно ли еще. Господь с тобою, да благословит он тебя и твоего больного.

Твоя Наташа

Фев⟨раля⟩ 13[4]

[1] Это письмо Астраковой неизвестно.
[2] Очевидно, речь идет о п. 26; см. XXII, 130 (№ 123).
[3] О получении Астраковой этих денег см. в ее письме от 12 февраля 1842 г. (XXII, 343).
[4] Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 131).

28

Приписка к письму Герцена[1]:

⟨Новгород.⟩ 23 февраля 1842

Таня, молюсь и плачу с тобою[2], молюсь и плачу – зачем ты говоришь "обольстительной мишурой блеснула жизнь"[3] – вы были счастливы в теле, на земле, вполне были счастливы и долго! Он преобразился – преобразишься и ты, и снова та же жизнь – он в тебе и ты в нем, но только жизнь просветленная, очищенная, ждать тяжело, тяжело, друг мой, о том-то мы и плачем, но этому будет конец, а пока вера в бессмертие его да усладит горечь этого ожидания!

Таня, пиши нам, пиши об нем, это будет облегчать твою душу, ты знаешь, мы любим вас, любили ваше счастие, и теперь – каждый звук души твоей найдет ответ в нашей душе, ответ полный, горячий. – Как мне хотелось бы к тебе – наши слезы смешались бы вместе, и нам было бы легче обеим. Прощай.

Твоя Н а т а ш а

[1] См. XXII, 131.
[2] Н.И. Астраков скончался 12 февраля.
[3] Письмо Астраковой о смерти мужа (б.д., частично опубликовано в XXII, 343). В этом письме Астракова писала: "Какой обольстительной, блестящей мишурой блеснула жизнь, начатая с 34-го года, и вдруг страшно почернела. Мой девиз вполне осуществился в обоих случаях *все* или *ничего*" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 226).

29

Новгород. 1842. Марта 23

Благодарим тебя всей душою, друг Таня, что ты не оставляешь нас в неизвестности о себе, – теперь твоя участь еще ближе к сердцу твоих друзей. Но письмо твое так коротко – чего ты боишься говорить, Таня, – пиши, пиши[1], о! Будь уверена, я все пойму, все оценю, ни одна капля твоей грусти не прольется мимо души моей. Ты говоришь: "Ужасна мысль, что не увидим *его* никогда", да, на земле? а там?

Боже мой, Боже мой, как бы я летела к тебе, не утешать тебя, нет, что может принесть утешенье осиротевшей душе, а погрустить с тобою вместе, поплакать – тебе и мне было бы легче.

Добрые люди, говоря с теми, кого постигло какое-нибудь несчастие, стараются не упомянуть и не коснуться до него – но мне кажется, это значит не понимать сердца человеческого, значит, что с ними не было никогда несчастия, я бы не осмелилась взять пера в руки с тем, чтобы *развлекать* тебя, я чувствую, что только воспоминание *о нем* может принесть тебе отраду.

Хочешь ли знать о нас? Мы скоро оставляем Новгород[2], а куда едем – неизвестно, только не в Москву; здесь оставаться ужасно, климат, разрушающий здоровье, я все еще никак не могу поправиться, было время, когда я желала умереть, это тогда еще, как жизнь моя была не нужна никому, ни даже мне самой[3]; а теперь... страшней всего оставить Сашу, пока ему нужна *няня*, кто заменит? После он перейдет уж на руки отца, и я буду вполне спокойна, но должность няни чужда ему, и тысячи мелочей, которые могут иметь влияние на жизнь, – ускользнут незаметно. Нам хотелось бы на Юг, на Юг, мне кажется, я оживу там...

Таня, прошу тебя, не оставляй меня опять долго без письма. Прощай. Господь с тобою.

Твоя Н а т а ш а[4]

[1] В ответном письме от начала апреля Астракова писала: "Ты хочешь, друг мой Наташа, чтобы я писала к тебе больше... да о чем? – По целым часам в моей голове или не бывает никакой мысли, или столпится так много дум, что голова трещит от них. Ты требуешь, чтобы я говорила о нем, но с чего начать? Мысль одна: *его* нет, *его* нет... ходишь из угла в угол, как будто чего-то ищешь, как будто ждешь его *домой* из какого-нибудь заведения, ждешь, проходят часы, дни (...) и опять ждешь его... как тяжко бывает разочарование! Наташа! друг! его нет, и я не увижу его!" Далее Астракова подробно описывает ход болезни мужа со 2 мая 1841 г. по 12 февраля 1842 г. (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589). Частично опубл. XXII, 344–345.

[2] См. след. письмо.

[3] Н.А. вспоминает свою жизнь в доме княгини М.А. Хованской, когда она, еще ребенком, хотела умереть (VIII, 321).

[4] Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 131).

30

(Новгород. 13 апреля 1842 г.[1])

Христос воскрес, Друг Таня! Что сказать тебе, что пожелать для Светлого праздника? Да снидет к тебе дух *его* и утешит тебя! Часто я воображаю себя на твоем месте – да будет Божия воля – но страшно, страшно! И зачем? и для чего? Что за необходимость создать два существа одно для другого – соединить их, слить в одну душу, дать вкусить высочайшее блаженство и потом вдруг разорвать союз, отнять жизнь у живого, а другого – где он? что с ним? – То-то и есть, Друг мой, что все эти вопросы лишние, надо отдаться вполне Провидению, одному я не верю – чтобы страдание было вечно, не для того создан мир – стало, ты будешь с ним!

Александр по болезни подал в отставку, когда она получится, мы поедем в Тверь, там ближе к Москве и климат лучше[2], для меня это необходимо, я все хвораю[38*] [3]. Увижусь с тобой, моя Таня, пойдем вместе с нему[4], – может быть, и ты, и я там скоро будем лежать – ты этого хочешь, а я боюсь (теперь), а как будет, чье желание исполнится – Бог знает!!..

Видаешь ли ты Кетчера?..

Прощай, милая Таня, да будет с тобой Бог и он!

Твоя Н а т а ш а[5]

[1] Ответ на письмо Астраковой от начала апреля 1842 г. (см. прим. 1 к пред. письму).

[2] 10 июля Герцену было разрешено жить в Москве, поэтому в Тверь он не переехал.

[3] Ср. запись в дневнике Герцена менее чем через месяц, 9 мая 1842 г.: "Худшее – это болезненное состояние Наташи (...) И она много способствует сама болезни, принимая все впечатления с чрезвычайной силой и скрывая часто действия их" (II, 211).

[4] То есть на могилу Н.И. Астракова (Дорогомиловское кладбище в Москве). Астракова писала в ответном письме: "Бывают минуты, что я прихожу в какое-то беснующееся состояние – в это время мне хотелось собрать всех друзей (...) хотелось бы рассказать им (...) как невыносимо тяжело представлять себе *его* кончину, как грустно без него, как хочется к нему..." (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 207).

[5] Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 133).

31

Новгород. 1842, мая 6, веч(ер)

Прости меня, Друг, что не писала тебе до сих пор, каждый день *хотела*, но была что-то в таком *пустом* расположении, что не смела говорить с тобою, да не смела, Таня, не дивись этому выраженью, – когда я была ребенком – входя в собор и прикладываясь к мощам святых и к чудотворным иконам, чувствовала чего-то так много невыразимого, все так было и страшно и непонятно – вспомни, может, с тобой было то же – теперь, думая о тебе, – я чувствую что-то похожее, твое несчастие поставило тебя выше нашей среды, придало столько священного, таинственного твоему существованию, что, мне кажется, я не в состоянии понять тебя вполне и дать тебе полного ответа. И у меня взято много, и в моем сердце вырыты две могилы... – два Ангела там

[38*] Александр остановится в Твери, а я проеду в Москву на несколько дней с Сашей, и мне непременно нужно посоветоваться с хорошим доктором. Все это будет, может, в июне...



ГЕРЦЕН

Рисунок Х.Я. Рейхеля (карандаш). (Новгород), 1842. Копия.

Надписи рукой неустановленного лица: "Х. Рейхель 1842".

"Оригинал принадлежит барону Карлу Карловичу Тизенгаузену"

Местонахождение оригинала и копии неизвестно.

Воспроизводится по фотокопии (Институт русской литературы РАН, С.-Петербург)

вьются и манят[1] – но жизнь моя на земле, и так прекрасна и полна земная жизнь... *Они* – я бы хотела вечно жить для них, ну, не буду нужна им – хоть видеть *их*, слышать их, ну хоть слышать *о них*, и эта потребность так велика, что пуст и мертв для меня тот час, в который не было моления о них, такой день был бы несносен, и долгое время, *кажется*, не пережила бы я – но, видно, можно пережить – у тебя не менее любви, пережить – Боже, Боже! Что же это за жизнь должна быть?

Все перенесено туда, все, вся душа – а тело здесь – Друг! Я боялась бы коснуться тебя, не призрак ли – мне страшно кликать, тебя, сзывать на землю, страшно разлучать – а я люблю тебя много, прости меня, может, тебе противно все земное – да, я не пожалею, когда ты умрешь, потому, что я много понимаю тебя, кажется, прощай, не могу тебе более писать теперь.

7-ое, утро. Я такая стала хворая, дрянная, что писавши вчера к тебе, изнемогла от грусти и должна была оставить перо, Александра же не было дома, Саша спал – мертвая тишина кругом... Мне так живо представилось твое положенье, страдание

твое обняло всю душу. Да пусть говорят: твердость, терпение, преданность провиденью, но это слова, одни слова, я пла́чу с тобою, Таня, и не хочу утешать тебя, *утешать* – какое варварство – избави Бог! Грусти, грусти, теперь грусть – продолженье твоей жизни с *ним*, твое счастье.

О Боже мой, чем долее живу я – жизнь все непонятнее становится для меня, и будет ли ответ хоть на один вопрос?? ... Меня радует то, что я, кажется, не переживу *их*, лишь бы не умереть, пока нужна няня Саше. Александр найдет в душе своей утешенье – такое глубокое, такое безгранное море! И жизнь общая, жизнь человечества никогда не отнимется у него, а нам что остается без них?..

В июне я с Сашей будем в Москве, я уж хотела съездить в Пет⟨ербург⟩ посоветоваться с доктором[2], хотела ехать в Москву и ждать, пока Александр приедет в деревню, но мы узнали, что отставка получится не прежде июня[3], и так долго без него жить там ужасно, подожду, через месяц увидимся[4], и мы пойдем *к нему*[5], Таня.

Прощай.

Твоя Н. Герцен

Не знаешь ли чего о Кетчере и о О⟨гареве⟩[6]. Саша целует тебя[7].

[1] Н.А. пишет о двух своих детях – Иване и Наталье, умерших вскоре после рождения.

[2] Герцен переписывался с петербургским врачом Ф.Ф. Деппом, советуясь с ним о здоровье жены. Депп рекомендовал "ехать в Москву для основательного лечения под хорошим руководством" (II, 212).

[3] Герцен получил отставку 30 мая.

[4] Герцен с семьей приехал в Москву 14 июля.

[5] См. прим. 4 к пред. письму.

[6] Герцен, видимо, не имел известий от Огарева с января по 31 мая.

[7] Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 133).

32

⟨Москва. 22 октября 1842 г. (?)[1]⟩

Благодарю тебя, мой друг, что ты вспомнила нынешний день. Кроме нескольких приятных минут и сюрпризов, проведу его глупо и скучно, потому что много будет глупого и скучного. Александр утешил меня очень, сделав свой дагер⟨ротипный⟩ портрет и Кетчера, только оба немножко страшны – а сходство разительное[2]. Я сама хотела себя подарить тем, чтоб быть у тебя вместо обедни, но у нас все больны. Сашка и Ал⟨ександр⟩ и маменька простудой. Александр жмет твою руку и благодарит. Сашка обнимает. Душка моя, Таня.

Твоя Наташа

[1] Письмо написано, вероятно, не позже 1843 г., т.к. из детей упомянут только Саша. Из контекста ясно, что имеется в виду день рождения или именин Н.А. В 1842 г. именины Н.А. (26 августа) уже отмечались (см. II, 235). В 1843 г. на этот день приходился переезд из Покровского в Москву. На 23 октября 1843 г. был назначен прощальный обед для Н.Х. Кетчера, на котором была и Астракова, но в письме об этом не упоминается.

[2] Эти дагерротипы Герцена и Н.Х. Кетчера неизвестны.

33

⟨Москва. 26 октября 1842 г.⟩

За что ты меня забыла, Таня? Я сама бы была у тебя, но все последнее время было грустно – хлопотно, и лошади были заняты, – Вадим В⟨асильевич⟩, страдавши шесть недель, вчера скончался, все наши хлопочут[1], но меня туда не пускают, но все же у тебя быть я не могу[2]. Что ты не приплывешь? Несколько дней ясной погоды.

Ежели тебе не нужны "Мерт⟨вые⟩ души"[3], пришли, у нас просят на короткое время, потом ты опять можешь их взять. Друг Таня, приезжай, когда можно.

Твоя Natalie

[1] О болезни и смерти В.В. Пассека см. II, 235–238 и *Пассек* II, 292–294.
[2] Н.А. Герцен ждала в это время ребенка: до рождения сына Ивана оставалось менее двух месяцев.
[3] Первое издание "Мертвых душ" Гоголя вышло 21 мая. 31 мая эту книгу привез Герцену в Новгород Огарев (см. II, 214).

34

⟨Москва. Ноябрь 1842 г.(?)[1]⟩

Таня, остальные тома Пушкина[2] посылаю, "Мертвые души" также и 1 фунт чаю по 7-50, попробуй и скажи, хочешь взять более или нет, дешевле не будет. Я хочу тебя очень видеть, а пр⟨иедешь⟩[39*], я думаю, по зимнему пути. Приходи пораньше ко мне на целый день, а я жду, жду, жду.

Твоя Н а ⟨т а ш а⟩

[1] Датируется предположительно по связи с предыдущей запиской, где Н.А. Герцен просит вернуть "Мертвые души" на короткое время ("потом ты опять можешь их взять"). Очевидно, книги посылаются повторно. Публикуемая записка относится к глубокой осени.
[2] Первое посмертное Собрание сочинений Пушкина в 11 ч. СПб., 1838–1841.

35

⟨Москва. 1 января 1843 г.⟩

С Новым годом, Таня. Да, поздравляю тебя, время идет, идет, и ты ближе к *нему*...

Когда мы увидимся?

Вчера все наши были у нас, и мы весело[40*] проводили старый и встретили новый год[1].

Пришли драму Лермонт⟨ова⟩[2], посылаю его стихи[3], просмотри тоже поскорее. – Ал⟨ександр⟩ жмет тебе руку. Саша целует.

Твоя N.

[1] Ср. II, 256.
[2] "Маскарад" был напечатан впервые (с купюрами) в части 3-й изд. "Стихотворения М.Ю. Лермонтова". СПб., 1842.
[3] В частях 1–2 названного выше изд. были напечатаны стихотворения Лермонтова. Не исключено, что Н.А. могла послать единственное прижизненное издание "Стихотворений". СПб., 1840 или же журнальные публикации и рукописные копии его ненапечатанных стихов.

36

⟨Москва. Январь–март 1843 г.(?)[1]⟩

Спасибо тебе, друг мой, что ты вспомнила меня, спасибо, что написала, *именно теперь* душа моя расположена отвечать на твое письмо, и представь, не могу этого сделать, *все наши* у нас, и нельзя их оставить надолго.

Да, да, да, Таня, глупа жизнь, ужасная насмешка над всем святым и прекрасным...

О, как бы я полетела к тебе, поплакала с тобою! Эти дни я страдаю ужасно. Не говори об этом никому, *никто* не понимает меня.

Твоя Н.

Александр жмет твою руку.

Пока посылаю старые "От⟨ечественные⟩ з⟨аписки⟩".

Книг нет никаких.

[39*] *Эта часть слова в фотокопии засвечена. – Ред.*
[40*] безмятежно.

[1] Датируется предположительно по упоминанию о тяжелом душевном состоянии Н.А., связанном, по-видимому, с мимолетным увлечением Герцена горничной (см. II, 219–283 и обзор Л.Р. Ланского "Письма Н.А. Тучковой-Огаревой к Е.С. Некрасовой" – (кн. 2-я наст. тома).

37

⟨Москва. Начало 1843 г.(?)[1]⟩

Что твое здоровье, моя Таня? Зачем так ярко прорывается у тебя ропот на жизнь, даже на участие людей в тебе? Я понимаю этот ропот, но зачем он?.. Знаешь, мне иногда кажется, что грусть *о нем* может превратиться в наслаждение, в жизнь[2], и жаль было бы расстаться с этой жизнью, в которой и он живет, а ведь там будем ли еще вместе?

Я тоже хвораю и сижу дома.

Скажи мне несколько слов. Обнимаю тебя.

Твоя Н а т а⟨ш а⟩

[1] Вероятно, прошло не слишком долгое время со смерти Н.И. Астракова, и Татьяна Алексеевна еще остро чувствовала свое горе. Этим мотивируется предполагаемая датировка письма.

[2] Ср. с письмом Н.А. к Астраковой от 15 июня 1842 г.: "С этой грустью можно так сжиться, так полюбить ее, что будешь находить в ней наслаждение..." (XXII, 135).

38

⟨Москва. Весна 1843 (?) г.[1]⟩

Ответ на нынешнюю твою записку я написала тебе еще прежде[2], вольно же было тебе вообразить, что я *со злости* писала ее, это я истину говорю, что не зову тебя, смертельно хочу видеть тебя и не зову, да, почему я знаю, что и тебе хочется меня видеть – ну, да еще это не так сомнительно, а хочется ли тебе видеть у меня совершенно сторонних и чуждых тебе людей, слушать всякий вздор... тогда как и мне-то это бывает в тягость?.. Как ты у меня – всегда сердце мое вполовину сжато, я не могу свободно предаться удовольствию твоего присутствия, все кажется тебе не до того... подожди. Душка, может, через неделю я сама у тебя буду. Прощай. Да озарит мир и свет твою душу!..

Я же, напротив, эти дни провела *безмятежно*. Жду лета, лета с нетерпеньем, здоровье что-то все неудовлетворительно.

Ал⟨ександра⟩ нет дома, Саша целует тебя и зовет приехать, да *он может звать*...

Если б мы жили где-нибудь в деревне, в тишине, недалеко, впрочем, от *его* могилы – я бы завладела тобою.

Твоя Н а т а ш а

[1] Датируется предположительно по связи со след. письмом.

[2] Возможно, имеется в виду недатированная записка: "Здорова ли, друг? Не осчастливишь ли своим приездом? Не прислать ли сани за тобой и когда? Я, впрочем, не зову тебя (я не эгоист), если хочешь, скажи. Твоя N a t a l i e"

39

⟨Москва. 29 марта 1843 г.⟩

Милый друг мой Таня, я прочла твое письмо и горько заплакала[1]... Это полный, красноречивый ответ тебе. Я ждала тебя эти дни, была бы сама, но Альфонский не велел выезжать, в конце этой недели приеду. Александр здоров, Саша опять кашляет.

25-е было рождение Александра, мне хотелось видеть тебя в этот день, но не смела поехать за тобою. День был глуп, а вечером много было *наших*[2], я сидела с Лизой[3], и хорошо было мне, думала о тебе... чудно, весело прошел вечер, в 4 часа легли спать. Много веселого, друг, в жизни, много и грустного, много... хочется лета, пойдем вместе *к нему* на могилу[4], хочется ехать, ехать[5]...

Теперь я полетела бы к тебе, моя Таня, я лучше люблю говорить с тобою у тебя, у нас мешают. Обнимаю тебя, посею и я цветов для *него*...

Новых "Отечественных з⟨аписок⟩" нет. "Наб⟨людатель⟩"[6] держи.

Твоя Н. Г е р ц е н[7]

1843. Март 29

[1] Письмо Т.А. Астраковой неизвестно. Вероятно, эти строки связаны с первой годовщиной смерти Н.И. Астракова.

[2] В этот день Герцен писал в дневнике: "Тридцать один год мне ⟨...⟩ в новый вступили весело в кругу друзей и знакомых" (II, 273).

[3] Е.Б. Грановская.

[4] См. прим. 4 к п. 30.

[5] Ср. с дневниковой записью Герцена от 19 марта: "Теперь одна цель, одно желание – поправить здоровье Natalie и ехать, ехать на юг, в степь, если нельзя в Италию" (II, 272). Именно в это время Герцен хлопотал о разрешении на поездку за границу (см. "*Звенья*" VIII, 86–89).

[6] Вероятно, речь идет о IV книге "Отеч. записок" 1843 г. и "Московском наблюдателе" – журнале, издававшемся в Москве в 1835–1839 гг. (в 1838–1839 гг. его неофициальным редактором был В.Г. Белинский).

[7] Н.А. Герцен писала Е.Б. Грановской 10 марта 1843 г. (*РГБ*, ф. 69.9.209): «Как мы счастливы, Лиза, как полна и хороша наша жизнь. Я смотрю на других женщин, и они мне кажутся полукуклами, полуживыми, большая часть из них красивее нас, наряднее, образованнее, появление их в свете чаще и делает более эффекта, они, *кажется*, более наслаждаются жизнью, но мне их жаль, душа их не развита для истинной жизни, как младенец бессознательно тешится игрушками и плачет, как младенец, у них все есть свое, и счастие и несчастие, и Дружба и Любовь, как у Саши и собачки, и лошадки, и птички, и коровки – утешительно то, что вина не их, а воспитания ⟨...⟩ Забудь ту минуту, когда я сказала: "Не рано ли мы сказали друг другу – ты?" – Это мой недостаток, нет ничего на свете, перед чем бы я не остановилась в раздумье, и минуты такого раздумья тяжелы, в них я глубоко страдаю, но они ложны и потому бесследны, чего не бывает на море – и вой бури, и вопли утопающих, но все проходит, и море, как зеркало, спокойно и светло».

40

⟨Москва. Конец августа – начало сентября 1843 г.(?)[1]⟩

Я и не знала, что ты забыла мантилью, а то бы приехала. Ничего еще не перенесли[2], не разбирали, куплю [когда]. Прощай...

[1] Приблизительная дата устанавливается по содержанию.

[2] Речь идет о переезде Герценов из дома Е.С. Гагариной в Малом Власьевском пер. в так называемый "Тучков дом" И.А. Яковлева на Сивцевом вражке, где теперь Музей Герцена.

41

⟨Москва. Сентябрь 1843 г.(?)[1]⟩

Вовсе не забыла я тебя, часто думала о тебе, и думала – вот! Столько время мы приехали[2], и не может же быть, чтоб не хотелось тебе нас видеть, а лень же, лень, ну жаль, что ты хвораешь. За книги не ругай, сама что-то потеряешь из виду, не читая, ну, что же не написала, что́ тебе нужно? Зачем прислала деньги, никто не просит, и тебе, верно, нужнее, чем мне. Мы все здоровы, я сделалась решительно Коробичка⟨!⟩[41*] да еще с крышечкой, занимаюсь устройством тела, т.е. домом, бельем, едой, и т.п.[3] Ну, обнимаю тебя и целую.

Твоя и твоя Н. Г е р ц е н

Что нашла, то и посылаю.

[1] Датируется по связи с пред. письмом.

[2] См. прим. 2 к пред. письму.

[3] Ср. в письме Н.А. к Ю.Ф. Куруте от 12 сентября: "Мы принуждены были поселиться в том маленьком доме, в котором вы у нас были, и теперь также хлопочем его устроить – суета суетствий!.." (XXII,

[41*] С⟨м.⟩ "Мертвые души".



МОСКВА. ДОМ И.А. ЯКОВЛЕВА В СИВЦЕВОМ ВРАЖКЕ (НЫНЕ ДОМ 27)

Гравюра И.Н. Павлова, 1919

"Творчество", 1920, № 1

Герцен жил в этом доме с сентября 1843 г. до апреля 1946 г.
Ныне здесь находится Музей Герцена

355). И далее в неопубликованной части того же письма: "Я начинаю стариться, начинаю разыгрывать роль хозяйки, и это меня бесит" (*РГАЛИ*, ф. 129, оп. 1, ед. хр. 122).

42

⟨Москва. Не позднее 23 октября 1843 г.[1]⟩

Завтра явится Кетчер, а также и я, может быть. Помню я тебя, Таня, помню, люблю тебя, твое несчастье – нить, крепко вплетенная в мое существование, выдернуть ее – значило бы спутать, испортить его. Хочу тебя видеть.

Сашка выздоравливает.

Твоя Н.Г.

[1] Датируется по упоминанию о Кетчере, который уехал на службу из Москвы в Петербург 23 октября 1843 г. Отнести это письмо к 1844–1845 гг. вряд ли возможно, т.к. в нем идет речь о сравнительно недавней смерти Н.И. Астракова.

43

⟨Москва. 3 ноября 1843 г.⟩

Что ты, Друг, здорова ли, как поживаешь, давно нет слуха о тебе. Сама бы я была, да хворала последнее время. Плохо без Кетчера в смысле душевном и телесном[1]. Обнимаю тебя. Александр жмет руку. Сашка целует.

Твоя Н. Г е р ц е н

$18\ \frac{XI}{3}\ 43$

[1] См. прим. к пред. письму.

44

⟨Москва. Ноябрь 1843 г.(?)[1]⟩

Что ты, что твое здоровье? Когда же я дождусь тебя? Сама бы приехала к тебе, но, говорят, у вас нет проезда. – Я иногда прохаживаюсь, но нигде не бываю, Сашка ужасно кашляет – тороплюсь домой. – Вчера была Лиза, она много тебе кланяется, мы и с ней хотели приехать к тебе, но дорога ужасная.

Твоя Н. Герцен

Саша благодарит за конфекты.

[1] Датируется по содержанию – Саша перенес тяжелый коклюш незадолго до рождения Коли (см. XXII, 161).

45

⟨Москва. Ноябрь 1843 г. (?)[1]⟩

Да, мне грустно стало после твоей последней записки – ты недовольна тем, что я не была у тебя, и, *может, думаешь, что это от равнодушия*, это проклятое *может* помрачило душу. А мне почти невозможно было ехать к тебе, дорога так была дурна, и теперь не знаю, скоро ли буду, Сашка ужасно кашляет, разве на минуту. – Все, что ты пишешь о Пол⟨уденских⟩[2], ужасный вздор, могли ли мы быть у них, не зная даже, что они в Москве; скажи я могла думать, что они не хотят продолжать знакомства, потому что не присылали сказать о приезде, и век бы мы не проведали, если бы ты не сказала; разве это водится, чтоб отыскивали и узнавали о приезжих оставшиеся? Да, впрочем, все это я говорю потому только, что ты говорила подобное. Если б m-me Пол⟨уденская⟩ была не столько церемонна, и я бы поехала давно. А теперь мне в тягость и одеваться, и проч., и проч. Где есть дети, не поеду до тех пор, пока у Саши ⟨не⟩ пройдет кашель; может, он пристает (страшный кашель), ну, а, впрочем, я тоже полюбила Полуд⟨енских⟩, и что от меня зависит, сделаю, чтоб продолжать знакомство. Поклонись им...

Хотелось бы потолковать с тобою о том, о сем, моя Таня, Бог с тобой.

Твоя *Н.Г.*

[1] Датируется на том же основании, что и п. 44.
[2] *Полуденские* – Александр Петрович, Мария Ивановна и Коля.

46

⟨Москва. Осень 1843 (?) г.[1]⟩

Что ты, моя Таня? Хочется писать к тебе, да некогда. Довольна ли "От⟨ечественными⟩ з⟨аписками⟩"? Новых еще нельзя послать. Во мне что-то все *ворочается*. Хочу видеть тебя. Приеду скоро. Вчера Гран⟨овские⟩ оба обедали и весь вечер были, славные люди, хорошо с ними.

Твоя *Н.*

[1] Датируется предположительно. Ср. в письме Н.А. к Е.Б. Грановской от 15 октября: "Вчера, Лиза, поздно вечером, я долго ходила по саду и думала о вас, и мне было хорошо, очень хорошо, потом смотрела долго на цветы, которые посылаем к вам, и тоже о вас думала, и тоже было хорошо мне, потом сидела у кроватки Саши, он спал так тихо, так спокойно, я смотрела, смотрела на него и забыла о вас, пришел Александр, и я забыла все!.. Ну, право, мне всегда сделается страшно, написавши такую вещь – не коснулся бы ее холодный взгляд холодной души! вас я не боюсь..." (*РГБ*, ф. 69.4.21). 1843–1845 гг. – время наибольшей близости Герценов и Грановских.

47

⟨Москва. Не позднее 30 декабря 1843 г.[1]⟩

Что твое здоровье, моя Таня? Собиралась сама к тебе сегодня, да что-то неможется, не пришлось бы тебе прежде меня посетить. Саше лучше. Навести, как только будет можно, а если мне будет *еще* можно, приеду...

Твоя, твоя и твоя.

[1] Датируется на том же основании, что и п. 44 и 45. Написано незадолго до рождения Коли Герцена.

48

⟨Москва. Не позднее 30 декабря 1843 г.[1]⟩

Что с тобою, моя душка? Что твое здоровье, Таня? Мне очень, очень больно, что ты нездорова. Сердце мое наболелось, и каждое прикосновение слишком чувствительно для него. Бывают дни, в которые я спокойна (как-то и ты меня видела), бывают и такие, в которые я не знаю, что с собою делать, грустно, смертельно грустно, безответная нелепость, отнявшая у меня троих детей[2], ужасно пугает меня: я смотрю на Сашу и думаю, почему ей не отнять и его?.. Смотрю на Александра и думаю то же, или мне кажется, у меня чахотка, и думаю, что сама умру скоро... и все это так нелепо, так несвязно и так страшно, страшно!!![3]... Если б мне можно было наплакаться досыта, но этого решительно нельзя... бедный Ал⟨ександр⟩, а при нем у меня навертываются слезы, и я глотаю их, а это как тяжело... но, впрочем, это проходит, нет, не заботься, я часто весела и вполне наслаждаюсь жизнию. Не отвечай мне на это ни слова, попадется Александру. Скажи о своем здоровье. Ал⟨ександр⟩ и Саша поехали с визитом к К⟨оршу⟩, на днях явятся к тебе.

[1] Датируется по упоминанию о трех умерших детях. Написано, вероятно, незадолго до рождения Коли, – может быть, 19 декабря, когда Н.А. сообщала Н.Х. Кетчеру: "Астракова нездорова" (XXII, 164).

[2] Смерть сына Ивана 19 февраля 1841 г., дочери Натальи 24 декабря того же года и второго сына Ивана 5 декабря 1842 г.

[3] Астракова вспоминала впоследствии о тяжелом настроении Н.А. до рождения Коли: «Чем ближе становилась развязка, тем страшнее было за Наташу. Она нет-нет да и заговорит: "Ну, если четвертый... а там еще... лучше умереть", – и начинала рыдать» (*Пассек* II, 282). Ср. в письме Герцена Н.Х. Кетчеру от 2 декабря: "Зависимость от случайности ужасна, повергает человека в какой-то тупой скептицизм, щемит и душит" (XXII, 160).

49

⟨Москва. Конец декабря 1843 г.[1]⟩

Рукой Саши Герцена:
Таня, вот как я пишу. Ш у ш к а. Таня.

Рукой Н.А. Герцен:
За тобой заедут в свое время, будь готова, об остальном при свиданье.

[1] Датируется предположительно. Записка написана, вероятно, перед самым рождением Коли или тотчас же после него. Хранилась в архиве Астраковой вместе с письмом к ней Е.Б. Грановской, извещавшим о здоровье новорожденного и матери: "Все идет отлично, как только можно желать, хотя малютка немного блажил ночью, но это есть естественное последствие новой жизни. Наташа весела, но не довольно спали. А все-таки хорошо, и Альфонский, и бабушка довольны... Что же вы шалите? Неприлично так начинать год. Шушка все допрашивает, куда девался старый год и откуда явился новый, и решил, наконец, что старый провалился. Все кланяются вам и благодарят за привет. Выздоравливайте же скорее и приходите. Мы так надеялись на ваш приход сегодня, да если нездоровы, так лучше побережитесь...

До свиданья же. Крепко целую вас. Е. Грановская (*ГЛМ*, ф. 248, оп. 1, ед. хр. 30).

50

⟨Москва. Около 22 апреля 1844 г.[1]⟩

Не нужно говорить, Таня, какое участие мы берем в вас. Александр приедет к вам скоро. А я не могу, другой день нездоровится что-то. Последняя лекция[2] будет в суб⟨боту⟩[42*]. Лиза целую неделю сидит в темной комнате и еще ⟨с⟩ завязанными глазами, которые ужасно болят. "От⟨ечественные з⟨аписки⟩" посылаю. Дети здоровы.

Еще посылаю "Лит⟨ературный⟩ в⟨ечер⟩"[3], не хочешь ли прочесть?

[1] Датируется по упоминанию о "последней лекции" – из первого цикла публичных лекций Т.Н. Грановского, состоявшейся 22 апреля 1844 г., и о болезни Е.Б. Грановской. Ср. в письме Н.А. к Н.Х. Кетчеру от 27 апреля: "Она, бедняжка, сидит все в темной комнате, и ей обещают еще долго не видать хорошо..." (XXII, 184).

[2] Об этой лекции см. в том же письме Н.А. к Кетчеру: "Была на последней лекции Гр⟨ановского⟩ и видела торжество его, и видела в первый еще раз такой единодушный восторг стольких людей" (XXII, 184).

[3] Альманах "Литературный вечер" был издан в 1844 г. А.Ф. Вельтманом в пользу семьи В.В. Пассека. История со статьей Герцена для этого альманаха известна – она не была принята редакцией (II, 241). Но, возможно, Герцен представил затем какую-то другую статью, запрещенную цензурой (см. письмо его к Вельтману от 5 марта 1843 г. и к Н.А. Герцен от 10 августа того же года – XXII, 140 и 150).

51

⟨Москва. 8 (?) 1844 г.[1]⟩

Тебя я жестоко наказываю, да ты этого не чувствуешь, а коли приедешь к нам сегодня, так тогда узнаешь. Вечером[43*] поедем к Грановским, и у них нынче праздник. Явись непременно хоть к обеду, нужно.

[1] Датируется предположительно. Речь идет о "празднике" 8 мая – помолвке Е.Б. и Т.Н. Грановских и дне "похищения" Герценом невесты. Ср. в письме Н.А. к Астраковой от мая 1847 г.: "Как мы превосходно провели, душка, 8 мая ⟨...⟩ Пили за Гр⟨ановских⟩, их помолвка в этот день, и, бывало, мы всегда проводили вместе его и вырезывали это число на наших браслетах" (XXIII, 26). Браслет Н.А. Герцен с надписью: "Lise. 8 мая 1843. 1844. 1845. 1846" – хранится в музее А.И. Герцена. (В *ЛЖГ* эти дни праздников, общих с Грановскими, не отмечены.)

Записка не могла быть написана в 1843 г. – в этот день Н.А. была больна (см. XXII, 184) и в 1846 г. Герцен хоронил отца. В 1844 г. была больна Грановская (там же, 184), поэтому, возможно, вечером Герцены навестили друзей. Не исключено, что записка относится к 1845 г.

52

⟨Москва. Около 30 мая 1844 г.[1]⟩

Жаль было нам всем, что вас не было на провожанье К⟨етчера⟩, весело и хорошо было. Третьего дня я была у Лиз⟨аветы⟩ Ив⟨ановны⟩[2] – жаль ее очень, а что бы сделать консилиум? Иноз⟨емцев⟩[3] не помог ей.

Когда свидимся? В хорошую погоду я с Сашей, как снег на голову тебе. Сашка целует тебя.

В деревню собираемся мысленно все.

Лиза остается, кажется, здесь[4].

[1] Датируется по упоминанию о проводах Кетчера. 29 мая 1844 г. Герцен приглашал С.И. и Т.А. Астраковых "дозавтракивать Кетчеров отъезд" (XXII, 185).

[2] Е.И. Сазонова. 25 июня Н.А. справлялась у Астраковой о ее здоровье (см. XXII, 192).

[3] Ф.И. Иноземцев.

[4] Е.Б. Грановская выехала 25 июня на дачу в Покровское вместе с Герценами. Т.Н. Грановский уехал по делам в свое орловское имение.

42* Ежели ты хочешь там быть – приезжай к нам.

43* т.е. сейчас после обеда.

53

⟨Москва. Осень 1844 (?) г.⟩

Благодарю, Таня, тебя за Александра: он на сию минуту у Корша, утрами же очень дорожит, потому что занимается, готовится к журналу[1]. Я, как белка, кружусь с Сашей около дома, ездить боюсь. Дети здоровы. Ноты отдам М⟨арии⟩ К⟨асиаровне⟩[2] и у нее возьму завтра, сегодня у нее болит голова. Не посетишь ли ты нас? Я все дома. И хорошо мне дома. Обнимаю тебя.

Твоя Н. Герцен

[1] Лето и осень 1844 г. Герцен работал над "Письмами об изучении природы", предназначавшимися для задуманного им и Грановским журнала. В середине декабря стало известно, что издание его не разрешено. Публикуемая записка относится к осени, после возвращения Герценов из Покровского.

[2] М.К. Эри впоследствии вспоминала, что в юности много занималась музыкой, играла "по целым часам" (*Рейхель*, 30).



Х.Я. РЕЙХЕЛЬ, Е.Ф. КОРШ, ГЕРЦЕН

Рисунок К.А. Горбунова (карандаш). Соколово, лето 1845 г.

Надпись рукой неустановленного лица: "Корш"

Музей Герцена, Москва

54

⟨Москва. Конец декабря 1844 г.[1]⟩

Записку с г. По⟨?⟩ я получила, только (прости!) не могла исполнить, во-1-х потому что масло еще не отпускается по разным причинам, мне неизвестным, а живность думала послать уж вместе, за раз – к сожалению, и теперь не могу послать. Акулины нет дома, а без нее ничего нельзя взять, ключи увезла. Я эти дни немного устала, Наташу отнимала от груди и плохо высыпалась, теперь тоже довольно трудно. Кормилицу взял муж, неожиданно, и я с мелкотой без достаточной услуги...

Впрочем, здоровы все.

Стыдно – и денег нет, посылаю все, что могу, 36 с⟨е⟩р⟨ебром⟩ – 50, как только будут – может, вечером, ужо – пришлю.

Когда приедет Марья Ивановна?[2] Мне нужно знать.

[1] Датируется по упоминанию о Тате (родилась 13 декабря 1844 г.), которую Н.А. в это время "отнимала от груди". Герцен писал Кетчеру 1 января 1845 г., что Н.А. по совету доктора первые дни кормила сама.

[2] Вероятно, М.И. Полуденская.

55

⟨Москва. Конец декабря 1844 г.[1]⟩

Зачем так грустна твоя записка?.. Вчера и нынче я забываю, что я еще не совсем здорова, а то тяжело было ужасно оттого, что я Наташу кормила 10 дней и потом перестала. Выздоравливай, душка, берегись. – Сашка приедет тебя навестить.

Твоя Н. Герцен

[1] Датируется на том же основании, что и п. 54.



И.И. ПАНАЕВ, Н.Х. КЕТЧЕР, Т.Н. ГРАНОВСКИЙ

Рисунок К.А. Горбунова (карандаш). Соколово, лето 1845 г.

Надпись рукой неустановленного лица: "Панаев, Кетчер, Грановский"

Музей Герцена, Москва

56

⟨Москва. 12 января 1845 г.[1]⟩

Давеча я не успела написать с Алек⟨сандром⟩[2], не успела и брошку эту послать, она очень кстати будет твоей браслете, моя душка. С именинами поздравляю, – ежели для тебя возможно лучшее – то да будет оно твоим уделом!..

А я это время в хлопотах. Наташина кормилица занемогла, отыскивали другую, и ото всего от этого у меня жестокая нервная боль в голове[3].

Твоя Н. Г е р ц е н

Масла на пробу посылаю.

[1] Написано в день именин Астраковой – 12 января. Год устанавливается по упоминанию о поисках кормилицы для Наташи (ср. XXII, 224).

[2] Свидетельство о том, что Герцен 12 января 1845 г. был на именинах Астраковой (в *ЛЖГ* не отмечено).

[3] Герцен писал Н.Х. Кетчеру 25 января: "Пока все спокойно ⟨...⟩ у нас царит совет и гармония, а чуть что-нибудь, Наташа не знает никаких пределов, так было с переменой кормилиц, все обошлось легко и удачно, а дорого это стоило ей" (XXII, 225).

57

⟨Москва. Не позднее 17 февраля 1845 г.[1]⟩

Что ты, Таня? Что твое здоровье? Что больной ваш, есть ли получше ему? А я сегодня выезжала[2]. Надеюсь скоро видеться с тобой. Наташа была нездорова, вследствие чего мы виделись с Альфонским, спрашивали его об П⟨олуденском⟩[3], грустно, очень грустно! И смертельно их жаль!..[4]

[1] Датируется по упоминанию о смертельной болезни А.П. Полуденского и студента-квартиранта Астраковой ("что больной ваш?"). О смерти того и другого Н.А. Герцен сообщала Кетчеру 17 февраля 1845 г. (см. XXII, 228).

[2] В том же письме к Кетчеру Н.А. писала: "веду страшно рассеянную жизнь, бываю в театре и почти каждый день выезжаю куда-нибудь. Право, меня уж мучает совесть" (там же).

[3] А.П. Полуденский был безнадежно болен с сентября 1844 г. (см. XXII, 225).

[4] Т.е. семью Полуденских.

58

⟨Москва. Начало 1845 г.[1]⟩

Что же не везут к нам Николеньку? Уверь, ради Бога, Марью Ивановну, что он ни на волос не стеснит нас. Саша встал, ему гораздо лучше. Альфонский сказал, что у него что-то вроде лихорадки. – Увижу ли я тебя сегодня? – что *оне*?[2]

[1] Датируется по содержанию: Н.А. предлагает привезти к ним Николеньку Полуденского, т.к. в это время умирал его отец – А.П. Полуденский.

[2] Очевидно, М.И. Полуденская и ее сестра – Е.И. Сазонова.

59

⟨Москва. Начало 1845 г.[1]⟩

Я теперь не дома, а у П⟨олуденских⟩, да, друг, жизнь, жизнь... Что это такое жизнь? Что-то прекрасное, отвратительное, словом, соединение контрастов, гармония дисгармонии. Ну, философствовать некогда! – Прошу тебя, если когда *тебе можно – когда ты желаешь*, приходи ко мне, О Лугининой слышала – *не постигаю*![2] – *Берегись*, Таня, *берегись*!! Саша ни то, ни се, ночью кашлял. Смотри строго за Сергеем Ивановичем.

Об масле узнаю.

[1] Датируется на том же основании, что и п. 57, 58.

[2] О В.П. Лугининой впоследствии вспоминал А.И. Дельвиг: "Варвара Петровна Полуденская и сестра моя служили украшением танцевальных вечеров ⟨...⟩ 1832–1833 г. ⟨...⟩ Мне очень нравилась В.П. Полуденская ⟨...⟩ но она вскоре была помолвлена за Ф.Н. Лугинина ⟨...⟩ Спустя несколько лет Лугинины разошлись" (А.И. Д е л ь в и г. Полвека русской жизни, т. I. М.–Л., 1930, с. 210). Возможно, речь идет именно о разводе Лугининых.

60

⟨Москва. Конец января – начало февраля 1845 г.[1]⟩

На меня кто взглянет косо, так я – и – батюшки мои! Рада сквозь землю провалиться, несмотря на то, что я женщина с характером (?)[44*] а ты так меня забранила, что уж не знаю, куда бы и провалиться.

Дело в том, душка, что, по словам С⟨ергея⟩ Ив⟨ановича⟩, я думала, что ты здоровехонька, а поехать *так*, не знаю, что-то не пришлось. Сама же я хворала с того дня, как был С⟨ергей⟩ И⟨ванович⟩, болело горло и все тело, теперь выздоравливаю. А с тобой это что? – Из того, как ты у нас гуляла по двору, – я вижу, что ты плохо бережешься, а тебе это грех, если не для себя, так ты знаешь, скольких спокойствие зависит от тебя. – Масло посылаю.

Кормилица хороша. Наташа здорова и все.

[1] Датируется по упоминанию о кормилице Наташи. По-видимому, речь идет о третьей из них, появившейся в середине января 1845 г. (см. XXII, 224 и 227), т.к. Н.А. уже настолько здорова, что выезжает из дома.

61

⟨Соколово. 4 августа 1845 г.[1]⟩

Здорова ли ты? Сергей Иванович? – Когда будешь писать к Полуденским[2], скажи им, что письмо их к Саз⟨онову⟩ отдал Ал⟨ександр⟩ Аненкову, который в октябре едет в чужие краи[3]. Что они? У нас гости, не могу более писать. Что ж ты, когда навестишь нас? Прощай.

Твоя Н. Г е р ц е н

4-е августа

Рукой Лаврентия[4]:

Луиза Ивановна завтра едет, потому не угодно ли что́ приказать ⟨1 *нрзб.*⟩?

Л а в р е н т и й

[1] Год определяется по упоминанию о П.В. Анненкове, гостившем у Герценов в Соколове летом 1845 г.

[2] Речь идет о М.И. Полуденской и Е.И. Сазоновой. Далее упоминается их брат Н.И. Сазонов, уехавший за границу в конце 1830-х годов.

[44*] Знак вопроса поставлен Н.А. Герцен. – *Ред.*

[3] П.В. Анненков уехал за границу только 8 января 1946 г. Белинский писал Герцену 14 января: "Анненков уехал 8 числа и увез с собою мои последние радости" (*Белинский* XII, 257).

[4] *Лаврентий* – слуга Герценов.

62

⟨Соколово. Около 26 августа 1845 г.[1]⟩

Спасибо тебе, друг, за твои строки, за твое вниманье даже к моему хозяйству, и я исполнила твой совет, просила Маменьку наготовить побольше не только вишен, но и всего, чего только они успеют. А за наливку они не берутся; я бы тебя попросила сделать бутыль вишневки, если это только *возможно*, купивши на мой счет, разумеется. Лучше даже пославши за вещами на мой счет, и воронку, растерянную, заменивши новою (не обижайся моим счетом, ты сама любишь спутать свой счет), ведро вина или там сколько тебе заблагорассудится, для наших винопойц это было бы величайшее благодеяние.

Все это время я замучилась за портретами, сначала за своим, который все находят разительно похожим (акварелью)[2], потом всех троих детей[3], представь, с утра раннего мы начинали строить им гнездо на столе, и потом попеременно то того, то другого на сцену, держать кому руки, кому ноги, кому голову... можешь вообразить страданье Горбун⟨ова⟩, который рисовал их, зато все вышли похожи настолько, насколько это можно требовать от живописца. Он их увезет на выставку в Петербург[4]. Так это неужели ты и 26-е опять не будешь у меня? Нехорошо!..

Обнимаю тебя тысячу раз. Дети целуют тебя. Все здоровы. Коля, бедный, все еще не слышит[5]...

Твоя Н.Г.

Александр, разумеется, земно кланяется.
Кет⟨чер⟩, Машенька и Серафима Н⟨иколаевна⟩ кланя⟨ются⟩.

[1] Год определяется по упоминанию о портретах членов семьи Герцена, выполненных К.А. Горбуновым летом 1845 г. Число и месяц – по замечанию Н.А.: "Неужели ты и 26-е опять не будешь у меня?" (26 августа – день ее именин).

[2] Этот портрет работы Горбунова неизвестен (*Рейхель*, 37). Перед отъездом Герценов за границу он был оставлен у Астраковой. 12 февраля 1853 г. Герцен писал М.К. Рейхель: "Когда будете писать к Тат⟨ьяне⟩ Ал⟨ексеевне⟩, напишите, чтоб она *непременно* отправила на ваше имя портрет N⟨atalie⟩ Горбунова, в раме. Скажите, что я усильно прошу об этом" (XXV, 22). Астракова отвечала Герцену: "Всеми силами буду стараться переслать портрет ⟨...⟩ но будь же терпелив и снисходителен – пожалей меня, у меня он единственный ⟨...⟩ потерпи же, пока я срисую его" ("Лит. наследство", т. 62, с. 19–20). Копия, выполненная Астраковой, тоже неизвестна (см. там же, с. 20).

[3] Местонахождение подлинника группового портрета детей Герцена неизвестно. В "пражской коллекции" сохранилась его фотография; воспроизведение см. в "Лит. наследстве", т. 63, с. 549.

[4] Белинский, видевший работы Горбунова на выставке, писал Герцену 14 января 1846 г.: "Портрет Натальи Александровны – прелесть... О портретах твоих детей не сужу – Саша изменяется, других я не видал" (*Белинский* XII, 259). На этой выставке были представлены портреты Герцена, Т.Н. Грановского и М.С. Щепкина работы Горбунова.

[5] Астракова вспоминала, как Грановский заметил глухоту Коли. Он поднес к его уху часы, но Коля "оставался равнодушным к их бою ⟨...⟩ Грановский испугался, позвал Александра ⟨...⟩ Александр растерялся и долго не говорил Наташе" (*Пассек* II, 327). М.К. Рейхель писала, что первой догадалась о глухоте Коли ее мать (*Рейхель*, 30). Из публикуемого письма видно, что Н.А. Герцен сначала надеялась, что эта глухота – явление временное.

63

⟨Москва. Конец 1845 – начало 1846 г. (?)[1]⟩

Понимаю, душа моя, всю горечь, которую наливаешь ты в свои записки, горько и мне подчас бывает, глядя на все, что делается на белом свете.

Впрочем, я думаю, это все от болезни, ведь я все хвораю и так надоела себе, что гадко про себя и говорить; ты еще пеняешь, что не пишу тебе о своем здоровье. Потом, когда дети пищат, у меня сердце ноет, ноет – да, вот так бы и вытек весь слеза-

ми[2], кругом что-то такое безучастное, такой холод, все заняты важными делами, все сломя голову стремятся за чем-то, куда-то, а Бог знает, куда и зачем[3].

Мне подчас знаешь, чего хочется, – забрала бы их всех в охапку и кинулась бы в море, пусто, пусто, не стоит жить на свете, страдать, а все же исчезнет и память потом.

Ну, я завралась, прощай.

Досадно, что ничего не могу послать тебе читать. Маша[4] сама не знает, поедет ли на лекцию. – Постарайся попасть ко мне для себя и для меня.

Твоя Н. Герцен

[1] Датируется условно. В письме идет речь о детях, которые "пищат", – следовательно, о маленьких, т.е. Коле и Тате. Далее контекст подтверждает, что детей более двух ("забрала бы их всех в охапку").

[2] Герцен записал в дневнике 27 марта (возможно, о 3-месячном Коле): "Беспрерывный стон младенца имеет в себе что-то уничтожающее для всякого уха (человеческого). А для матери!" (II, 346).

[3] Герцен писал в дневнике 16 января 1843 г. о привычке Н.А. "сосредоточиваться ⟨...⟩ около мыслей скорбных. Если я в этом отношении могу себя винить, то это в рассеянье, в возможности предаваться предметам занятий ⟨...⟩ Это понято ею как нельзя лучше ⟨...⟩ но она много остается одна" (II, 261).

[4] *Маша* – М.К. Эрн.

64

⟨Москва. Около 12 января 1846 г.[1]⟩

Здорова, душка моя, я и Лиза. Мои силы не совсем еще возвратились, но это еще придет. Жажду тебя видеть. Как было завидно, 12-е все были у тебя, а я нет.

Приготовь наливку, я, может, за ней пришлю, да счет, что́ за нее *и за недостаток* масла в прошлом году; Данила[2] уезжает в деревню, так я не хочу, чтоб на его душе был грех...

Итак, душка, до свиданья

Твоя Н.Г.

[1] Год устанавливается по упоминанию о дочери Лизе (родилась 30 декабря 1845 г.), приблизительное число – по фразе: "12-е все было у тебя". 12 января ст.ст. – Татьянин день. Ср. в воспоминаниях Астраковой: "В 1846 году Наташа не могла быть у меня на именинах – у нее родилась дочь Лиза" ("Лит. наследство", т. 63, с. 549). Далее Астракова вспоминает, что у нее были в этот день Герцен, Грановский, Корш. (В *ЛЖГ* посещение Герцена не отмечено.)

[2] Очевидно, слуга Герценов.

65

⟨Москва. Не ранее 1 марта 1846 г.[1]⟩

Посылаю, душа, 40 р. – и ты пришли к нам того человека, о котором ты говорила, утром – ежедневно – нужен Сатину.

"От⟨ечественных⟩ з⟨аписок⟩" нет дома. "Сбор⟨ника⟩"[2] также, а тебя Ал⟨ександр⟩ просит возвратить 1 нумер "От⟨ечественных⟩ з⟨аписок⟩". Я о тебе скажу Кетчеру, глупо пренебрегать так своим здоровьем.

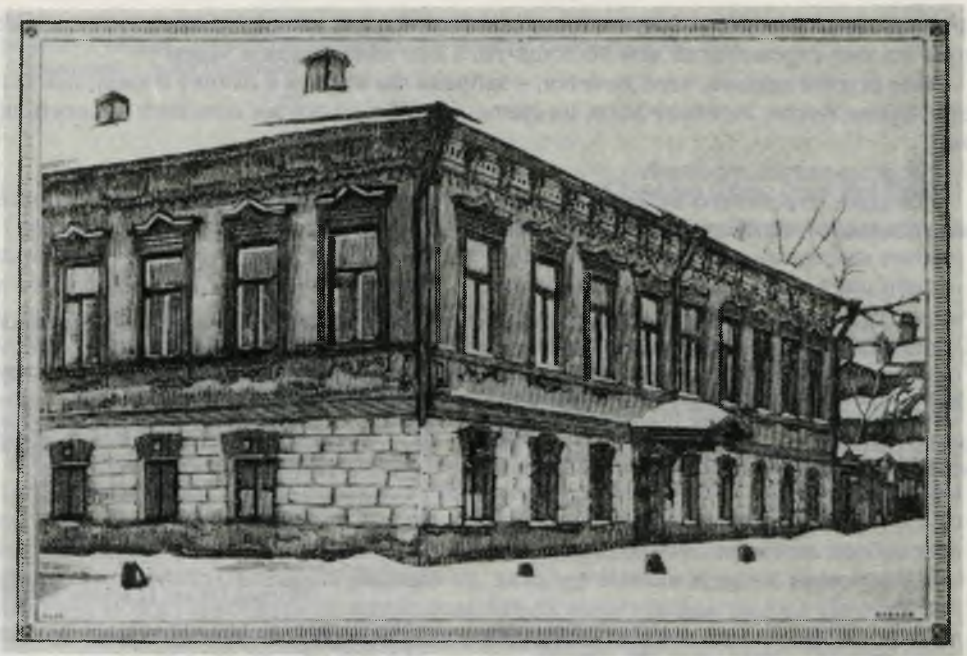
[1] Датируется по упоминанию о Н.М. Сатине, вернувшемся из-за границы в Москву около 1 марта 1846 г.

[2] Возможно, "Петербургский сборник", изданный под редакцией Н.А. Некрасова в начале 1846 г. (ценз. разр. 12 января). В "Сборнике" была напечатана статья Герцена "Капризы и раздумье".

66

⟨Москва. Март–апрель 1846 г.[1]⟩

Кто и как завтра едут на лекцию, не знаю и знать мудрено потому, что у нас все делается экспромтом. Лу⟨иза⟩ Ив⟨ановна⟩, вероятно, поедет, потому что новая шляпа и новый платок; вероятно, Маша поедет, ты знаешь, почему, вероятно, я поеду, потому что мне надо пользоваться первой минутой *желания* и *возможности*. Обеда-



МОСКВА. ДОМ И.А. ЯКОВЛЕВА НА УГЛУ СИВЦЕВА ВРАЖКА
И МАЛОГО ВЛАСЬЕВСКОГО ПЕРЕУЛКА
(НЫНЕ ДОМ № 25/9)
Гравюра И.Н. Павлова, 1919
"Творчество", 1920, № 1
В этом доме Герцен жил в 1830–1834 и 1846–1847 гг.
Отсюда он выехал за границу

ем мы у Коршей завтра, то есть женщины, стало и я (?), доберись как-нибудь до меня, а там увидим, да в крайности, я думаю, ты на моем коне с кем-нибудь можешь ехать?..

Я эти дни все разъезжала с визитами, в театр и т.д., ребятишки все здоровы. Сегодня воротилась домой в 2 часа, из театра проехали к Коршам[2], и было там очень весело, третьего дня обедали у Грановских[3], и было там очень весело.

Ну, что ж еще сказать? Маша не ходила к Грановск⟨им⟩. Индейку посылаю, а что половины ее нет, не моя вина, а Огарева, который съел ее ночью.

[1] Датируется по упоминанию об Огареве, вернувшемся из-за границы около 1 марта, и о лекции Грановского, который кончил читать второй публичный курс в апреле.

[2] Корш жил в это время в доме Университетской типографии на Большой Дмитровке.

[3] Грановский жил в Драчевском переулке, в доме своего тестя Мюльгаузена.

67

⟨Москва. Вторая половина апреля 1846 г.[1]⟩

Я здорова и 4-й день засуча рукава, в грязи и в пыли роюсь, копаюсь, переношу, укладываю и т.п. ... Маленький дом начали отделывать, а мы пока побудем в большом до хотя малейшей возмож⟨ности⟩ уехать[2]... – да и уедешь тогда, а когда Бог знает[3]. У Саши пятый день лихорадки нет, но все еще не оправился. Другие ребятишки и так и сяк, да зедь погода-то ужасная!..

Еще не распечатали.

Зачем это Сергей-то Иванович хворает, а кто же меня будет ругать за аристо-

кратизм, эгоизм и т.п.?? Нет, пусть живет и пусть ругает, я люблю, кто меня или кого-нибудь ругает, мне тогда и весело и легко на душе. Кажется, на свете только бы и надо делать, что ругаться, а хвалить – всякая похвала унизительна, еще бы ты стала хвалить и удивляться в человеке тому, что он пьет, ест, спит и т⟨ак⟩ далее!!

Ну и будет. Дайте ваши руки, т.е. ты и С⟨ергей⟩ Ив⟨анович⟩.

Ваша

[1] Датируется по упоминанию о переезде в так называемый "большой" дом.

[2] *Маленький* (так называемый тучковский) дом, в котором жили Герцены с осени 1843 г. (см. п. 40 и 41). *Большой дом* – рядом принадлежал отцу Герцена И.А. Яковлеву. В "Былом и думах" Герцен вспоминал: "Перед кончиной моего отца мы почти совсем переехали из маленького дома в большой..." (IX, 176). Как видно из письма, вначале переезд считался временным, но после смерти отца Герцен с семьей так и остался в большом доме.

[3] Вероятно, речь идет о предстоящем отъезде на дачу.

68

⟨Москва. Апрель 1846 г.[1]⟩

Все получила. Посылаю 4-й № "От⟨ечественных⟩ з⟨аписок⟩"[2].

Жду тебя ужо. На лекцию можно. Знаешь, почему мне некогда, надела на Наташу коротенькое платьице и панталоны да и не нагляжусь – так мила.

[1] Год устанавливается по упоминанию о дочери Наташе, которая весной 1845 г. была еще грудным ребенком, а весной 1847 г. вместе с семьей Герцена находилась за границей. Месяц определяется по времени выхода четвертого номера "Отеч. записок" (цензурное разрешение 31 марта 1846 г.), который пересылается Астраковой, видимо, в качестве новинки, и по упоминанию о лекции Грановского.

[2] В этом номере были напечатаны V–VII главы романа "Кто виноват?" и последняя статья цикла "Писем об изучении природы".

69

⟨Москва. Первая половина октября(?) 1846 г.[1]⟩

Забыла рассказать тебе анекдоты об О⟨гареве⟩. На днях он приходит ко мне, жалеет обо мне и говорит, что с Сат⟨иным⟩ еще хуже, что ему тоже нужно делать операцию, и сначала рассказывает болезнь, что-то очень похоже на мою, отправляется к Грановским и везде рассказывает с угрюмым состраданием. Сатина спрашивают, жалеют его, – тот ни о чем понятия не имеет, – выходит, что он мою болезнь принял за болезнь Сатина. – На днях я прошу его купить мне пакетов и облаток – он купил пропасть бумаги, железных перьев и все, кроме пакетов и облаток; как во всем он не изменяет себе[2].

[1] Датируется по упоминанию об Огареве и Сатине, вернувшихся в Москву из-за границы около 1 марта 1846 г. Судя по тому, что Н.А. обращается с просьбой о покупках не к Герцену, а к Огареву, и по употреблению местоимения в первом лице ("он приходит ко мне", а не "к нам"), можно предположить, что письмо написано во время отсутствия Герцена в Москве, т.е. в первой половине октября 1846 г.

[2] Н.А. писала в своем дневнике 2 ноября об Огареве: "По фактам, по внешней жизни его я никого не знаю нелепее; зато какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония..." (IX, 273).

70

⟨Москва. 17–20 октября 1846 г.[1]⟩

Что твое здоровье? Когда навестишь нас? Мы все бредем кое-как по пути-дороженьке. Я, не находя много интересного в знакомстве людей[2], – хочу знакомиться с растениями – читаю Де Кандоля[3]... Вот и все тут, кажется... Александр провалялся вчера с больной головой, а сегодня со здоровой кланяется тебе[4].

[1] Датируется предположительно по связи со след. письмом. В Москву Герцен возвратился из Петербурга 16 октября.

[2] Об этом Н.А. записывала в своем дневнике 4 ноября: "Как тяжело бывает с некоторыми из прежних близких, в беседе с ними нет более ни содержания, ни смысла" (IX, 273).

[3] Вероятно, Н.А. читала русское издание книги А. Декандоля "Введение к изучению ботаники, или Начальный курс этой науки, содержащий органографию, физиологию, методологию, географию растений, обозрение растений ископаемых, ботаники врачебной и истории ботаники. Сочинение профессора Женевской академии Альфонса Декандоля. Перевод с французского. Издал с собственными замечаниями. Доктор медицины и философии, профессор ботаники И. Шиховский", т. I–II. М., 1838–1839. (Эту книгу Герцен читал в подлиннике и напечатал свой перевод одной из глав – см. *ЛЖГ* I, 37; Собр. соч. I, 361 и 526.)

[4] Публикуемое письмо дополняют следующие строки из писем Н.А. к М.Ф. Корш (около 26 августа 1846 г.): "Когда мы ехали в Москву, Гр(ановский) много говорил со мною – мне стало легче, гораздо легче, – но желание уехать все-таки сильно" (*РГБ*, ф. 69.9.246, л. 1) – и письма (после 26 августа 1846 г.): "Мне стало легче, и хорошо быть часто одной, но не всегда это хорошо" (*РГБ*, ф. 69.9. 247).

71

⟨Москва. 21 октября 1846 г.[1]⟩

Ну что уж это, ты хвораешь, Таня? Глупо, этак мы бог весть когда свидимся. M-me Рейнгорд присудила меня до санного пути сидеть дома.

Кажется, последняя моя записка[2] была неясно написана, или твое болезненное состояние затмило ее: я не рассердилась на людей, мне они ничего не сделали, а прошло желание узнавать их, т.е. *знакомиться*, сначала неловко, потом пусто и тяжело (может, моя вина!) – ну так ежели и они на меня рассердятся, как ты говоришь, и не захотят себя обеспокоить посещением меня – дай им за это бог здоровья! Но люди, которых посещением я *пользуюсь*, не захотят такого покоя, который препятствовал бы им видеть меня, и наверно с теми мы *не разъедемся*, хотя бы мне до конца жизни запрещено было ездить. – Завтра мое рождение, все наши будут – что ж, а ты хоть словечко напиши с Александром[3].

[1] Датируется по упоминанию о дне рождения Н.А.

[2] Вероятно, п. 70.

[3] Из письма следует, что 21 октября Герцен был у Астраковых.

72

⟨Москва. 1842–1846 гг.⟩

Александр еще прежде говорил, что, право, *глупо*, если Т⟨атьяна⟩ Ал⟨ексеевна⟩ вздумает платить за оперу, ну да уж если непременно хочет, *сердить* ее не надо[1]. У нас денег больше, нежели у тебя, и почему *это больше* – наше? Бог весть! И почему, ежели ты не заплотишь, – это будет значить, что ездила на *чужой счет*? Бог весть?[2]

[1] Сохранилось несколько писем, связанных с совместным посещением оперы: Герцена от 2 ноября 1844 г. (XXII, 203) и б.д. (XXII, 269 – № 278) и Н.А. – от 10 февраля 1845 г. ("Лит. наследство", т. 64, с. 511).

[2] Ср. с записью в "Дневнике" Н.А. от ноября 1846 г.: "Иногда в бедности есть столько жестокости, гордости, столько неумолимого, как будто в отмщение ⟨...⟩ за то, что другие имеют больше средств, она казнит их этими средствами, не желая разделить их с ними" (IX, 274). Герцен позднее писал Астраковым: "Я много толковал в Москве об аристократии бедности, у ней есть сверх того свое жестокосердие, своя скрытность..." (XXIII, 47).

73

⟨Москва. 1842–1846 гг.⟩

Сегодня у нас будут *наши такие* и *наши сякие*! Будешь ли ты *наша эдакая*?..

Желаем!!!

74

⟨Париж.⟩ 11 июня/30 мая ⟨1847 г.⟩

Вот и от тебя пакет, моя Таня, и какой полновесный! Благодарю. Мне уж начинало становиться грустно и досадно на тебя за то, что давно не пишешь[1]. Еще раз благодарю. Ты умеешь любить, Таня. Меня обрадовало очень начало твоего письма, а потом я пригорюнилась от вашего безденежья; ты слушай, если тебе не трудно будет обратиться к Ключареву – ты напишешь ему доставить тебе сколько нужно?[2] – Я вся под влиянием твоего письма, оно отдернуло занавесь (из времени и пространства), завешивающую от меня Россию, – вот вы все, милые друзья, все передо мною, вижу ясно черты ваши, слышу ваш голос... Благодарю и вас, за вашу лепту, Сергей Иванович!

Итак, ты недовольна была моим прошлым письмом[3], я не хотела натягивать обыкновенного восхищенья Парижем, я ожидала найти здесь больше гуманности... а нашла умирающих с голоду и много тому подобных, возмутительных вещей[4]; может, требования мои были излишни... но извинительны, душа так наболела, хотелось отдыха, ты понимаешь, в каком смысле я говорю. Время, привычка сглаживают все, теперь это скорбное недовольство не так остро. Куда ни оглянешься, все не так, как бы хотелось, чтоб это было, но что же делать? – Этот вопрос открывает такое большое пространство, что в нем найдется место всему, отчаянью, успокоенью, и смерти, и жизни. – Что касается до собственной моей жизни частной, – она хороша во все неисчисленные ее измеренья, и надолго ли, не знаю, но становится лучше и лучше: как-то шире горизонт, полнее вздыхает грудь, все приближается к равновесию, неопределенность заменяется реальностью. И несмотря на все, интерес мой все более и более сосредоточивается около детей. Они здоровы, веселы. Саша учится по-французски и делает большие успехи, также и в немец⟨ком⟩ языке, но, что еще важнее (скажи это Серг⟨ею⟩ Ив⟨ановичу⟩), ходит в гимнастическое заведение, это здесь устроено с роскошью, т.е. не наружной красотой, а множеством вещей для физического развития. Для Коленьки не сделано ничего, потому что, говорят, нечего делать до семилетнего возраста[5], итак, надо ждать, ждать – тяжело, Таня! А как он мил, умен... – Наташа сделалась совсем питомкой Марьи Федоровны[6], я занимаюсь больше Сашей. Заботы об нем мне необходимы, как воздух, вот как сильна привычка. – Да и время-то для него такое, что ни шаг, то новый шаг в жизнь, а мне хочется, чтоб он шел больше ногами по этому житейскому пути, да не набрел бы на опасность, необходимо беспрестанное вниманье, которое еще надо стараться скрывать от него, чтоб и этим не навредить! – Страшно, Таня, у меня беспрерывно замирает сердце: великая обязанность, хотя я половину ее беру на себя, т.е. с Ал⟨ександром⟩ вместе, а другую предоставляю самой жизни, но и половина-то эта будет иметь большое влияние на человека. – Недели две тому назад мы все гуляли по окрестностям Парижа, чудесная была погода, и мы ездили всегда вчетвером: я, Ал⟨ександр⟩, Саша и Аннен⟨ков⟩[7], меня мучает всегда то, что М⟨ария⟩ Ф⟨едоровна⟩ не может участвовать в этих прогулках, везде нужны ноги[8]; я воображаю, как недостает ее для многих в Москве, вряд ли и ей что-нибудь заменит их, это существо все сплетено[45*] из привязанностей, я думаю, по временам ей бывает трудно, хотя она этого и не показывает.

Напрасно ты боишься, Таня, что я увлекаюсь Пол⟨уденскими⟩[10] – я сказала и повторяю, что они мне кажутся лучше[11], но это еще далеко от увлеченья, не бойся, не опасно. Не увлечения, а излишнего расчета начинаю бояться, Таня, начинаю бояться того, что *не многого* начинаю бояться... Не подумай, что я сошла с ума, да осторожнее показывай письмо, ты поймешь и то, что недосказано, а кто мало меня знает, многое покажется безобразным...

Близость с Кавелиным должна много приносить тебе отрады[12], я сама люблю этого человека от всей души. – Не могу, радость, написать тебе много, а буду писать

[45*] *Позднейшая помета Астраковой*: Это увлеченье – страшная ошибка![9]



ПАРИЖ. ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Литография, 1840-е годы

Музей Герцена, Москва

"Я открыл старое и тяжелое окно в Hôtel du Rhin и вздрогнул: передо мною на колонне стоял бронзовый человек, "под шляпой, с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом". Так это правда, это действительность – я в Париже – в Париже)" ("Былое и думы")

постоянно, это делается для меня необходимостью. Ты продолжай писать о всех, о всех и все, все... О, еще раз благодарю тебя, моя Таня, за твое письмо! Я счастлива, я горжусь твоей дружбой, мне кажется, наконец, что я не заслужила столько... нелепость, чувствую сама. Жаль мне Кетчера[13], не могу вспомнить его без глубокой грусти... Напиши о Феде[14] подробнее, о всех, о всех... Лучше ли все идет в семействе Кавелина[15]. Забыла было написать тебе, что познакомилась с m-me Георг[46*], m-me Языкова[17], Шеппинг[18], была на свадьбе у Галахова[19]; жена его мне *очень* нравится. Бывала в театрах, теперь сижу дома; нездоровится, но это простая простуда, вздор, пустяки, скоро опять начну бегать из угла в угол. Прощай, Таня, обнимаю тебя крепко, крепко. О Саз⟨онове⟩ не говорю еще, потому что не довольно как-то узнала его, уважаю бесконечно его ум, действительно замечательный, но большой симпатии, стремления обменяться мыслями и чувствами еще нет[20], люблю его слушать. Вероятно, через месяц-полтора Ел⟨изавета⟩ Ив⟨ановна⟩ Саз⟨онова⟩ будет в Москве[21], она, кажется, истинно тебя любит, я бываю у них в месяц раз; их Коля *жалкий* ребенок[22].

Елене мы уже писали к Егору Ивановичу, другой дороги у меня нет[23]. И Машенька тоже к нему писала[24]. Когда же перестанешь ошибаться в людях. Ал⟨ександр⟩ написал ему, что если Астраков пришлет к нему за 200 р., доставить их ему, он не будет знать, в чем дело[25]; *надеюсь, ты* не задумаешься?[26]

[1] Предыдущее письмо от Астраковой было получено Герценами вскоре после 20/8 мая (см. XXIII, 26).

[2] В письме от 5 июня/24 мая Герцен просил Г.И. Ключарева вручить С.И. Астракову 1000 р., а 26/14 августа благодарил за исполнение этой просьбы (XXIII, 27 и 37).

[46*] Сатин знает жену, ибо знает мужа[16].– *Прим. Герцена.*

[3] Письмо от 3 мая/21 апреля (XXIII, 23–25).

[4] Письмо Н.А. от 3 мая вызвало недовольство не только Т.А. Астраковой, но и других членов московского кружка, в частности В.П. Боткина (ср. XXIII, 29 и прим. на с. 348).

[5] Систематический курс обучения речи и письму Коля начал проходить в 1849 г., в Цюрихе.

[6] М.Ф. Корш выехала за границу вместе с Герценами в качестве воспитательницы трехлетней Таты.

[7] П.В. Анненков находился за границей с февраля 1846 до сентября 1848 г.

[8] М.Ф. Корш была хрома.

[9] В позднейших воспоминаниях Астракова писала о М.Ф. Корш как о человеке лицемерном и двуличном, считая, что в Москве именно "по ее сообщениям отвернулся весь кружок дам от Наташи и заговорил с таким злорадством о ее жизни (будто бы дурной) за границей" ("Лит. наследство", т. 63, с. 557–558). Но из публикуемых ниже писем ясно, что отношение членов московского кружка к Н.А. начало меняться задолго до возвращения М.Ф. Корш в Россию (см., напр., п. 78).

[10] Под общей фамилией *Полуденские* Герцены в письмах из-за границы объединяют обычно М.И. Полуденскую, ее сына Колю и сестру Е.И. Сазонову, живших в то время в Париже. Там же, но не вместе с ними, жил в это время один из братьев покойного мужа М.И. Полуденской – Сергей Петрович Полуденский. Ср. в письме Герцена к Астраковым от того же числа: "Полуд(енских) почти не видаю. Но их брат действительно замечательный человек, на него много лгали, я вижу его житье и всякий день видаюсь – он в конце июля увидится с вами" (XXIII, 31). Комментаторы этого письма в Собр. соч. полагают (там же, 349), что речь здесь идет о Михаиле Петровиче Полуденском. Но будущему известному библиографу М.П. Полуденскому было в это время всего лишь 17 лет, и никакими данными о связях его с кругом московских друзей Герцена мы не располагаем. Известно, что весной 1847 г. на лечение за границу выехал С.П. Полуденский, который был близок с Н.Х. Кетчером, Т.Н. Грановским, П.Л. Пикулиным, А.В. Станкевичем (см. его письма к указанным лицам – *РГБ*, ф. 70.94.23, 24, 37; ф. 231/II, 26.19; ф. 334, XIII.36). С.П. Полуденский вернулся в Россию в октябре 1847 г. и постоянно встречался с друзьями Герцена. С 1850 г. он был заведующим библиотекой Московского университета. Подробнее о нем см.: С.М. Соловьев. Записки. Пг., (1915), с. 133; В.В. Сорокин. История библиотеки Московского университета. М., 1980, с. 79–95. Сорокин в своей книге впервые говорит о С.П. Полуденском как о человеке из окружения Герцена. Правда, в книге нет ссылок на документы, подтверждающие правомерность наименования Полуденского "другом" Герцена. Никак не документировано и предположение Сорокина о встречах Герцена с Полуденским во время заграничной поездки последнего в 1856 г. и о том, что данные о непорядках в Московской университетской библиотеке, о которых сообщалось в заметке "Колокола" 1 сентября 1861 г. (л. 106, стлб. 892), получены Герценом от Полуденского, который скончался в 1858 г. Трудно думать, чтобы эти злободневные материалы три года ждали публикации.

[11] Имеются в виду слова Н.А. из письма от 3 мая 1847 г: "Видаемся с Полуденскими, они, мне кажется, стали лучше здесь. Ел(изавета) Ив(ановна) вспоминает о тебе, огорчается, что ты ей не отвечаешь" (XXIII, 25).

[12] Добрые отношения Астраковой с К.Д. Кавелиным продолжались до 1850 г. и прервались после того, как до нее дошли слухи о недоброжелательном будто бы отношении Кавелина к ней (см. письма Астраковой к Н.А. от (осени (?) 1850 г.) – *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 207, л. 9 и к Н.А. Тучковой от 5 июля 1850 г. и б.ч. 1850 – *РП* IV, 115 и *РГБ*, ф. 69.9.21, л. 1–2).

[13] Ср. в письме Н.А. к Е.Б. Грановской от 3 марта (19 февраля) 1847 г.: "Жаль будет бедного Кетчера, если он лишится места, ни внутри нет убежища, ни головы приклонить некуда, мне его ужасно жаль" (XXIII, 11). По-видимому, служебные неприятности Кетчера разрешились благополучно, так как он оставался на службе в Московской медицинской управе бессменно с 1846 по 1877 г.

[14] Федя Корш.

[15] Ср. в цит. выше письме Н.А. к Е.Б. Грановской: "Кавелина мне жаль от всей души, и про Антонину Федоровну ты пишешь, что я не замечала в ней того, о чем говорили все" (XXIII, 11). Возможно, что речь идет о сложностях взаимоотношений родных Кавелина с его женой, которые с самого начала складывались неблагоприятно.

[16] Имеется в виду Эмма Гервег. Сатин познакомился с Гервегом в Париже в ноябре 1845 г.

[17] Судя по этому письму, Герцены познакомились с Е.П. Языковой, сестрой декабриста В.П. Ивашева, именно в Париже. Следовательно, тогда Герцен и слышал ее рассказ о женитьбе Ивашева на Камилле ле Дантю, включенный им впоследствии в "Былое и думы" (см. VIII, 60). Е.П. Языкова вскоре после этой встречи уехала в Россию и в 1848 г. умерла.

[18] М.П. Шеппинг, дочь Е.П. Языковой.

[19] И.П. Галахов женился на англичанке Элизе Боуэн 17 мая 1847 г. Герцен и П.В. Анненков были на этой свадьбе шаферами.

[20] С Н.И. Сазоновым Н.А. была знакома еще в начале 1830-х годов, до ареста и ссылки Герцена (см. XXI, 187, 362 и др.). Но тогда это знакомство было чисто внешним, поверхностным. С конца 1830-х годов Сазонов жил преимущественно за границей, и в 1842–1846 гг. среди московских друзей Герцена его не было. Поэтому в Париже Н.А. знакомилась с ним как бы заново. Душевной близости между ними так и не возникло, отношения остались далекими. В письме от 6 марта 1852 г. Н.А. писала М.К. Рейхель, что Сазонов ей "неблагоприятствовал издавна" ("Лит. наследство", т. 61, с. 319).

[21] Е.И. Сазонова выехала из Парижа в начале июля 1847 г.

[22] Н.А. Полуденский.

[23] Возможно, что речь идет об одной из сестер Н.А. по отцу. Ср. упоминания о некоей Елене Ал. в письмах Герцена (XXIII, 38, 71, 166, 352 и 395).

[24] Письма Рейхель к Е.И. Герцену не сохранились.

[25] Очевидно, Астракова не хотела, чтобы Е.И. Герцен узнал, зачем ей понадобились деньги. Письма Герцена к брату не сохранились.

[26] Ответ Герцена на то же письмо Астраковых см. в XXIII, 28–31.

75

Гавр, 1847, авг⟨уста⟩ 20-е

Не нашла другого листка, а писать хочется, пишу на клочке, – все равно. Да я писала и прежде тебе, моя Таня, да первое письмо не взяли[1], что меня возмутило страшным образом; другое я сама уничтожила. А твои два я получила еще в Париже, откуда мы уехали по совету доктора для того, чтобы купать Сашу в морской воде; вот уж несколько время у него каждый день лихорадка, доктор говорит, к росту и в самом деле, он растет невероятно быстро, тонок и высок ужасно, сил нет вследствие этого, никакие внешние средства не помогают, вот мы и приехали сюда, что-то будет, не знаю, жар возвращается два раза в сутки, иногда беспрерывно целый день, – вот тут и приучай к тому, к сему… все вредит, "здоровому все здорово", – говорит русская пословица, а тут видишь вред от малейшего принуждения; чем знающее доктор, тем осторожнее и тем более советует осторожности. – Марья Ф⟨едоровна⟩ и Наташа в Париже остались. Сама я здорова, беру тоже ванны теплые из морской воды, может, со временем будем и в море купаться. – А как море-то хорошо, Таня… как бы я желала, чтоб ты взглянула на него, моя милая… За твои письма очень благодарю тебя. Пиши, пиши мне, не мсти за мое молчанье. – Жму руку Сергею Ив⟨ановичу⟩ и Владимиру Ив⟨ановичу⟩[2], тебя обнимаю, будь здорова. Коля с Машей и маменькой в Швейцарии[3], осенью воротятся. Пожми от меня руку Кавелину, я его очень люблю и от всей души желаю ему хорошего или лучшего…

Как мне иногда хочется вас всех видеть (но не воротиться), это чувство иногда даже болезненно[4].

[1] Очевидно, взять письмо к Астраковой отказалась Е.И. Сазонова, уехавшая за месяц до того из Парижа в Москву.

[2] С.И. и В.И. Астраковы.

[3] Об этой поездке см. *Рейхель*, 49–52.

[4] Приписку Герцена см. в XXIII, 37.

76

Париж, 1847, октября 13

Вчера получила твое письмо, моя Таня, люблю я твои письма, так сделается тепло и хорошо мне, будто я побывала у тебя в доме, даже все мелочи, побледневшие от время, так снова и выступят все. Зачем упрекаешь ты меня, Таня, так несправедливо, будто я "набросаю несколько *фраз* в ответ на твое письмо". Фраз?? Похоже ли это на меня, мой друг, и ты ли говоришь мне это?.. Я утешаю себя тем, что твое одиночество и исключительная жизнь бывает иногда причиною недоверчивости твоей к самым близким тебе людям; мне больно это, но уверять и доказывать словами я не могу то, что должно пониматься и чувствоваться само собою, а больно за себя, больно и за тебя, потому что тебе это недоверие должно быть тяжело. Правда, мои письма короче (заметь, впрочем, что я чрезвычайно мелко пишу), но, Таня, неужели в *длинноте* дело? Я сообщаю тебе самое разное до нас касающееся, подробности же – их так много, что не знаешь, за что приняться, всего же писать невозможно, да, мне кажется, это и интересовать не может, да просто и некогда, и не хочется иногда. Описывать Париж – смешно, политика – еще смешней. Тебе есть о ком написать мне, ты знаешь, как я вас всех люблю и как меня все интересует, до вас касающееся. Таня, тяжело мне было сказать тебе еще один резон (поэтому-то я так много вздору и наговорила), на иное я не отвечаю, чтоб не растравлять еще более раны, потому что я *чувствую,* как она больна, ни одна слеза твоя не канет мимо моего сердца, но мне хочется – детское желание – чтоб ты забылась, другим занялась – вот по-

чему я не останавливаюсь на горьких местах твоих писем и не возвращаю тебя на них, да и мне просто невозможно, грудь лопнет анализировать их[1], я все, все понимаю, всему сочувствую... за что ж ты упрекаешь меня? Зачем ты принудила меня написать тебе все это? Грустно. В старину бывали и у меня такого рода сомнения, и меня мучили и терзали разные страшные, чудовищные фантомы, ты, я думаю, помнишь, но с некоторого времени я как будто выплыла на всех парусах при благоприятном ветре в океан... жизнь полна, спокойна, я чувствую в себе твердость, не юношеское донкишотство, не беспокойную силу, тешающуюся, ищущую борьбы – но силу, *готовую на борьбу* и спокойно ожидающую; что-то светлое, полное доверия обнимает душу... я так хорошо люблю моих друзей и мне так хорошо от этого, я чувствую себя свободной более чем когда-нибудь во всех моих отношениях ко всем; с одной стороны, я думаю, лето, с другой, – путешествие так благотворно действует на меня. Моя страстная, неумеренная потребность и способность любить, которая мне столько приносила страданий (ты иное знаешь), от лет или чего другого изменила болезненный, судорожный характер свой, и с тою же силой, с тою же энергией, но с большим доверием, стало, с большим спокойствием влечет и привязывает меня к людям. Кажется, все выпито до дна, а все льется через край! О, зачем я не могу поделиться с тобою, – зачем жизнь так неровно делится... наконец, зачем ты не берешь сама!.. Не рассердись на меня за последнее, да, Таня, я от души, невольно сказала это, ведь и от нас зависит многое, жизнь – неисчерпаемый источник, лишь бы приходили черпать. И – может, ты не согласишься со мною, может, я ошибаюсь, но таково мое убежденье. – Я иногда пугаюсь своего счастия, своего спокойствия, не эгоизм ли?.. Может. Но чем сильнее это спокойствие, тем громче в душе отдается каждый грустный звук, тем более страдания другого становятся моими собственными. Никогда, Таня, не была я так счастлива, никогда любовь не достигала такой полноты, все примешивалась ячность.

Пока не забыла о портрете, ты писала М⟨арии⟩ Ф⟨едоровне⟩, что, когда черты Енюши Корша[2] будут определеннее, так ты сделаешь подробный его портрет, я и она поняли это так, что ты опишешь его. Вот и все.

Что за дивная погода у нас, Таня, с 8-го часа утра окна открыты, что за воздух – упоенье! – Мы поглощаем Париж перед отъездом. Слушали "Дон Жуана" два раза, ходили смотреть картины, статуи, добрый, милый Анненков с бесконечным терпением объясняет. Мы до того привыкли к нему, сжились с ним, что странно и будто не достает чего в тот день, как его не видишь; еще я здесь люблю очень нашего учителя[3], воплощенное благородство, доброта и любовь, человек стесненный и сгнетенный жизнью до невозможности и вынесший из нее целым свой характер; не необыкновенное что-нибудь, да я и не ищу ничего необыкновенного, вообще чувствую в себе более способности ценить людей и тогда, когда в них нет ничего блестящего и гремящего. Вот для меня загадка Саз⟨онов⟩: что за умный человек, с ним никогда не скучно, очень любезен, иногда кажется даже, что в нем есть нежность – иногда неловко, слышится запах серы... но еще раз, он загадка для меня, не принимай моих слов за положительную истину.

Несколько часов позже. Сейчас сбегала и купила кое-что послать с Боткиными, которые едут на днях[4], я не пишу с ними тебе, письма неловко так посылать, а Екат⟨ерина⟩ Ник⟨олаевна⟩ Бот⟨кина⟩ вручит тебе браслетку, она будет несколько дней на моей руке, не вырезала я на ней ничего, не потому, чтобы не пришло это в голову, а так, не хочется, мне кажутся лишними все эти вещи. С живописцем до сих пор я не познакомилась ни с каким и красок не купила тебе, да, думаю, совестно бы было и посылать их с Б⟨откиными⟩, они так добры, но ведь это затруднительно в там⟨ожне⟩. – Приласкай Е⟨катерину⟩ Н⟨иколаевну⟩, она очень добрая женщина, может многое рассказать тебе о нас, т.е. о нашем житье-бытье. На днях едем в Ниццу, оттуда к карнавалу в Рим. Пиши на имя Турнейсена. Вероятно, из Ниццы буду писать[5]...

Ах, да! Для чего ты, моя Таня, с такою важностью сообщаешь мне мнение, которое имеет обо мне человек (или люди), по-видимому (может, и заслуживающие общего уважения, как ты говоришь), не знающие меня[6]. Во всем этом грустное и тяжелое для меня то, что на тебя это так действует, что это огорчает тебя, что это за-



П.В. АННЕНКОВ И М.К. ЭРН (В ЗАМУЖЕСТВЕ РЕЙХЕЛЬ)

Рисунки К.А. Горбунова (карандаш). Соколово, лето 1845 г.

Надписи рукой неустановленного лица: "Анненков"; "М-me Рейхель"

Музей Герцена, Москва

ставило *тебя* сделать себе некоторые вопросы обо *мне*, вот что мне больно. Да где же, в самом деле, это отношение, которое не подлежит никакому влиянию, которое, как солнце, – сколько ни носись туч на небе, все выходит ясное, чистое, и светит, и греет, и живит. Чем более я живу, тем более вижу, что только то и существенного, только то и верного, что привязанность, – всякое другое счастие так отвлеченно, так неопределенно, так неуловимо – что непременно надо оторваться хоть несколько от себя, чтоб наслаждаться им, а полно ли такое счастие? – Положим, эти привязанности заключают в себе много эгоизма, да что же существует без эгоизма? – Ну, так-то, моя душка, итак, тебе досадно, что меня называют самолюбивой до неделикатности, до дерзости... в самом деле, это было бы досадно, если бы это была правда; от самолюбия я не отрекаюсь, весь мир, вся жизнь потеряли бы для меня интерес, если б я презирала себя, или если б считала не достойною всего того, чем я наслаждаюсь (да тогда б я и не наслаждалась), а как выражается это самолюбие – ну, уж это действительно подлежит суду людей и близких и далеких, более далеких, потому что, не зная вовсе или недостаточно зная внутреннее достоинство, они обращают внимание более на наружное и часто видят только одно это. В наружном моем поведении необходимо должно быть много нелепого, потому что прямо из дома к⟨нягини⟩ М⟨арии⟩ А⟨лексеевны⟩[7] (т.е. все равно, что из тюрьмы), где я с 7 лет жила жизнью растения, – вдруг попасть в среду людей самых развитых, достойных, словом лучших... я не ставила никаких преград моей симпатии, не придумывала никаких форм, приличнейших для выражения ее, и никто из них не побуждал меня к этому; подумай в самом деле, какая полнейшая свобода была всегда в этом кругу, – может, если б я более бывала с людьми, мне чуждыми, менее бы было резкости, т.е. откровенности в моих словах

и поступках, но я так привыкла к этой свободе, да и страшно б было, если б было иначе, потому что до сих пор мы окружены самыми близкими, самыми симпатичными людьми, понимающими все, – что для меня необыкновенного труда стоит стеснить себя в рамку светского обращения. Все это я толкую тебе так долго, моя Таня, только для того, чтоб еще немножко более дать тебе понять себя. "Так ты думаешь, что я не понимаю тебя, вот еще самолюбие", – да, самолюбие, уж это дело кончено, без самолюбия нет возможности существовать; но понимаешь ты меня, разумеется, не вполне, потому что спрашиваешь: "Не думаешь же ты, что в тебе нет недостатков?" О Таня, да что с тобою, ты ли это, да кто же на свете глуп так, чтоб думать, что в нем нет недостатков?.. Что женщины не любят меня?.. да много ли у меня знакомых женщин, со многими ли я истинно близка, а те[47*], с которыми я близка, скажут ли что-нибудь подобное? – Наконец, в том мнении, которое ты мне сообщаешь и которое так встревожило тебя, так много нелепого, против чего я не в состоянии возражать; главное обвинение в недостатке симпатии – я отвечу на это вопросом: к кому?.. Итак, к стороне, было время, в которое я ужасно любила анатомировать себя и всех, *страсть* эта теперь уменьшилась, я уже писала тебе выше, что я наслаждаюсь жизнью с доверием и полнотою бесконечными, недостаток которых доставлял мне страшные мученья. Скажи в ответ тем, которые тебя беспокоят осуждением меня, что да, действительно, может быть, я не имею к ним симпатии, несмотря на то, что уважаю в них то, что достойно уважения, а там, где нет вот этого, в чем себе не умеешь дать отчета, словом, симпатия, *помимо* всех достоинств и качеств – где нет ее – там многое может и должно казаться чуждым, т.е. жестким и всяческим, как только вздумается назвать отсутствие этой тайной, неизъяснимой, независимой от нас связи. Довольно! Вот тебе мщение за упрек коротких писем, состоящее из двух листков несвязных, писанных второпях, в крике, в шуме, но, надеюсь, сквозь весь хаос ты разглядишь, что́ я хотела сказать. – Еще слово в заключенье, если вера твоя в меня недостаточна – я ничего не могу *сделать* для этого, никакой *поступок* не может увеличить ее, веруется в *целое* человека, если мое целое недостаточно для полноты твоей веры – то если б я дала распять себя для спасения других – оно все будет недостаточно. Обнимаю тебя крепко…

Что за вздор ты говоришь, разумеется, если бы ты поехала в чужие краи, так не на свои деньги, а эта мечта нет-нет, да и блеснет мне там, вдалеке…

Как я рада, что ваши дела идут лучше. Так как ты сердишься на меня за то, что я не на все отвечаю тебе, что ты мне пишешь, а я не хочу, чтоб ты сердилась на меня, – то скажу тебе à propos d'Ел⟨изаветы⟩ Ив⟨ановны⟩ Саз⟨оновой⟩ то, что мне ничего не хочется об них обо всех говорить, есть в них и дурное и хорошее – да… да мне (право, совестно, ведь это тоже самолюбие, особенно, когда люди беспрестанно забегают) ни жарко ни холодно от всего этого.

Кланяйся всем друзьям. Что это бедная Ел⟨изавета⟩ Б⟨огдановна⟩, пиши мне о ее здоровье, что-то страшно за нее[8], а он? – Да, Таня, когда думаю о Корше, – сердце кровью обливается[9]. Марья Фед⟨оровна⟩ крепко жмет тебе руку, также и Сер⟨гею⟩ Ив⟨ановичу⟩, благодарит тебя, что каждый раз утешаешь ее известиями о ее семействе.

15 октября, пятница.

Луиза Ив⟨ановна⟩ еще в Швейцарии, едет, я думаю, уж выехала, тоже в Ниццу, оттуда вместе поедем в Италию. Понимаю, что ты говоришь о Коле, мне грустно и тяжело быть с ним врозь, иногда, но ведь эти иногда будут случаться редко, даже, я думаю, никогда до тех пор, пока его нужно будет поместить в заведение. А как и почему он у маменьки, надо знать все закулисные подробности жизни, чтоб судить об этом[10]…

Именины наши[11] были очень хороши, Ан⟨ненков⟩, наш учитель, Ботки⟨ны⟩ были только, первый тост я выпила за московских друзей, сердце переполнено было воспоминаниями…

47* *В подлиннике*: с теми. – *Ред.*

Когда я перечитываю твое письмо, мне досадно и больно, что оно так полно грусти, чего-то тревожного, неверного, смутного (для меня это состояние души так понятно!) – а у меня на сердце и тепло, и светло, – и "любится, и верится"[12] и хочется так обнять тебя и расцеловать! О, только то и верно, только то и наше – любовь, *привязанность*, остальное или бесконечность, в которой теряешься, или дымок, который исчезает в воздухе. Прощай, прощай, милая Таня. Кланяйся же всем. Что Кав⟨елин⟩? Я его полюбила после всех, с ним я не связана как с другими, но все же люблю.

Твоя Н. Герцен[13]

[1] Возможно, что речь идет о разногласиях в московском кружке, которые обострились после отъезда Герценов за границу, Астракова переживала их крайне болезненно.

[2] Е.Е. Корш.

[3] Фамилию этого учителя установить не удалось. Известно, что через год, в начале сентября 1848 г., Герцены отказали учителю Тардье, пригласив на эту должность Ж.-Б. Боке (XXIII, 102). Но с какого времени Тардье был учителем в доме Герценов – неизвестно.

[4] Н.П. и Е.Н. Боткины выехали из Парижа 15/3 октября 1847 г.

[5] См. письмо, написанное около 20/8 ноября 1847 г. (XXIII, 46).

[6] Вероятно, речь идет о Е.И. Сазоновой (см. ниже в том же письме и XXIII, 40–41).

[7] Кн. М.А. Хованская.

[8] Е.Б. Грановская была крайне болезненна; несколько позднее (в декабре 1847 г.) обнаружилось, что у нее начался турберкулезный процесс.

[9] Очевидно, имеется в виду трудное материальное положение семьи Е.Ф. Корша.

[10] Коля жил не в семье родителей, а с бабушкой – Л.И. Гааг.

[11] 7 сентября / 26 августа – день именин Н.А. и Таты.

[12] Неточная цитата из стихотворения Лермонтова "Молитва" ("В минуту жизни трудную...").

[13] Приписку Герцена см. в XXIII, 42.

77

Рим. 1847, декабря 20-е

Александр тебе писал, Таня, что я была больна[1], приехавши в Рим, но это уж прошедшее, силы начинают возвращаться. Хочу ответить тебе на твое письмо, которое я получила в день отъезда из Ниццы (а на дороге не до писем). Как грустно твое письмо вначале, и как понятна мне эта грусть, и как досадно, что *никаких* нет средств помочь этому, уж коли жизнь так сложилась!.. Иногда желание так сильно и истинно, что должно бы было сделать человека всемогущим, не тут-то было, всего чаще изнеможенье результат его, ужасно, ужасно!..

Сверх всего, ты, кажется, огорчаешься невниманьем друзей – действительно, это существенный недостаток нашего круга, недостаток, который для меня был и есть великая загадка, потому что во мне преобладает тот же недостаток, который в тебе, – ненасытность видеть, слышать, обмениваться мыслями и чувствами, сливать существованья с теми, кого люблю, потому что я *люблю* безмерно, должно быть, это великий недостаток, Таня, потому что он приносит много страданий.

Что-то у вас делается, слух носится, что Грановскому лучше[2], а что́ Елиз⟨авета⟩ Богд⟨ановна⟩? Что́ Кавелины? Я думаю, что теперь Ог⟨арев⟩ в Москве[3], не видала ли ты его, и что и как?.. пиши все, Таня. Вчера были именины всех Николаев[4], мы пили за здоровье их. Что крыловская история[5] – если ты не напишешь, мы ничего не будем знать, а это иногда мучительно тяжело...

А ты, Таня, верь, когда я что пишу, коли я говорю, что мне хорошо, так верно хорошо, зачем ты мучаешь себя, придумывая, что это болезненная экзальтация, и т.д. – ведь после этого все экзальтация, счастие и несчастие, кроме пошлой ежедневности, кроме животной и растительной жизни. Я хочу экзальтации, если она истинна. – С тех пор как мы выехали из Парижа, я что-то не могу установиться, придти в себя, не могу вглядеться порядком во все оттенки души, еще менее переделать их, а так вообще – хорошо более, чем дурно. Только что я встала с постели (представь, что дети и все были больны в одно время)[6], приехали Тучковы[7], прекрасное семей-



РИМ. ЗАМОК СВ. АНГЕЛА И СОБОР СВ. ПЕТРА

Гравюра, 1840-е годы

Литературный музей, Москва

ство (отец и дочери), мы начали с ними осматривать Рим, видимся почти каждый день, я чувствую себя юнее и возбужденнее с этими молодыми девушками, в одной особенно много симпатичного и общего со мною[8], будто мне теплее и светлее с нею, будто я нужнее в жизни; я чрезвычайно довольна этой встречей, в них много детского, но это как-то не мешает нам. Сколько раз я обещала себе быть благоразумной при встречах с людьми, иногда это удается, и я довольна победой над собою, но это довольство сопровождается всегда пустотою и холодом, невыносимым для меня, и, снова махнув рукою на благоразумие, я отдаюсь вполне моему стремленью, и хорошо мне, чем более отдаешься, тем полнее существованье, тем шире и шире раздвигаются берега… и как страшно зато, когда тебе напоминают, что забылся…

Меня поразила одна вещь в твоем письме, это то, что ты пишешь о М⟨арии⟩ Ф⟨едоровне⟩ – неужели?[9] Да что же это значит? Признаюсь тебе, я думаю, что это какое-нибудь недоразумение, я не могу поверить этому, не могу, потому что мне тяжело утратить хоть долю уважения к ней, а если правда, оно утратится непременно, потому что для меня непостижимы, наконец, все эти маневры, я переломила себя и стала, наконец, скрепя сердце переносить их в молчанье и уступать, потому что наконец скучна эта ненужная и пустая борьба из тряпки, из франка, но если ко всему этому да еще брать последнее у К⟨орша⟩ и переносить, вероятно, происходящие от этого несправедливые нарекания – это просто неблагородно и возмутительно! Даже такое заключение оскорбило нас глубоко: видно, у вас денег ⟨2 *нрзб.*⟩ – да хоть бы пришлось под окном их выпрашивать, *так не довели бы* ее до того, чтоб просить у кого б то ни было, к чему ж эта капризная надменность, которая, с одной стороны, не щадит семью, у которой едва есть насущное пропитание, – с другой, чернит людей, готовых на всякую жертву, не только на исполнение долга – да, подчас людям, имеющим средства, надо больше иметь характера, чем тем, у которых ничего нет, и иногда не знаешь, кому позавидовать, порядочный человек все же не потратит на себя более, чем нужно, а дальнейшее удобство от денег – неудобство, поверь мне в этом,

или уж надо быть страшно богатым для того, чтоб не быть ежеминутно истерзанному невозможностью исполнить всего того, что кажется возможным при некоторых средствах. Прошу тебя, Таня, узнай все как можно достовернее и напиши мне, надо же взять свои меры. – А я тебе очень благодарна за сообщение этого, а то ведь благородное и преданное поведение может повредить наконец.

Жму руку Сергею Ив(ановичу). А поклон Никифора[10] тронул меня до слез (он не достиг цели рассмешить меня), да зачем же это он думает, что я принадлежу к числу тех людей, которые действительно рассмеялись бы этому, и зачем есть такие люди? – Это опять натолкнуло меня на ряд мыслей, от которых грустно и тяжело. Скажи ему, что я благодарю его очень за его память обо мне и сожалею, что не заслужила ничем его вниманья. Прощай, Таня! Будь, сколько можно, довольна. Твоя

Н. Герцен

Саша, разумеется, тебе кланяется, да негде писать ему.

Таня, когда будешь у Коршей, – попроси их от меня убедительно позволить снять портрет с Феди[11] живописцу, который придет.

Здешний доктор лечит меня с Сашей, обещает прибавить сил, не велит учить его.

Александр не пишет оттого, что места нет, и я этому причина.

Луиза Ивановна кланяется премного. На дворе розы, а в комнате руки коченеют, писать нельзя.

Н.[12]

[1] См. письмо Герцена от 2 декабря н. ст. 1847 г. (XXIII, 46–47).

[2] В октябре 1847 г. Грановский вывалился из экипажа и повредил себе правую скулу. Но все обошлось благополучно ("Лит. наследство", т. 62, с. 39).

[3] Огарев приехал в Москву 2 декабря / 20 ноября 1847 г. Первое письмо Герценам из Москвы Огарев написал 7 января 1848 н.ст. (там же, т. 61, с. 772–774).

[4] 19/7 декабря – Николин день. В этот день Герцены отмечали одновременно именины Огарева, Кетчера, Сатина и Сазонова.

[5] В начале декабря "крыловская история" приняла уже для друзей Герцена неблагоприятный оборот. Но известия об этом дошли до Герценов лишь месяц спустя.

[6] Герцен писал Астраковым 2 декабря/20 ноября 1847 г.: "Одесную лежит m-me Herzen и Саша, а ошую Тата, Коля и Марья Каспар(овна) в катаральной лихорадке..." (XXIII, 47).

[7] Тучковы приехали в Рим около 15 декабря н. ст. 1847 г.

[8] Имеется в виду Н.А. Тучкова, ставшая вскоре близким другом Н.А. Их переписку см. в *РП* I, *РП* IV и в кн. 2-й наст. тома.

[9] Астракова сообщала Герценам, что М.Ф. Корш обратилась к Е.Ф. Коршу с просьбой выслать ей денег. Это известие взволновало и оскорбило Герценов. См. письмо Герцена к Астраковым от 2 декабря н.ст. 1847 г. (XXIII, 46–47). Но в дальнейшей переписке Герценов эта тема больше не возникает, отношения между М.Ф. Корш и Герценами остались дружескими. Просьбу о деньгах М.Ф. Корш повторяет в письме к брату от середины января 1848 г.: "А ты, Енюша, пришли мне грош, о котором я тебя просила" ("Записки отдела рукописей (*РГБ*)", вып. 32. М., 1971, с. 190).

[10] *Никифор* – слуга в доме Астраковых.

[11] Была ли выполнена эта просьба Н.А., установить не удалось. Самый ранний из известных портретов Ф.Е. Корша (вместе с А.Е. Коршем, масло, неустановленный художник) относится к 1852 г. (хранится в семье внучки А.Е. Корша – Л.С. Семеновой).

[12] Приписку Герцена см. в XXIII, 50.

78

Рим. 1848. Января 9/21

Вчера получила твое письмо, и досадно, так как мы уже не ждали писем через poste restante, то оно и пролежало несколько дней на почте. Сколько я тебе благодарна за твои письма, этого нельзя выразить, иногда неизвестность о людях, которых любишь, доходит до невыносимо тяжелой степени, – а ты облегчаешь это, ведь это просто благодеянье, хотя вести горькие, до того горькие, что теряешься, есть же всему мера – а знаешь ли, Таня, на дне всего у меня есть надежда, что все устроится как-нибудь иначе, воображенье не может даже представить такой нелепости, не говоря уж о гибели лучших людей, – за что же университету-то гибнуть?[1] – Право, иногда,

несмотря на все хорошее, что есть в жизни, нельзя ее не ненавидеть, и это хорошее не имеет никакой цены для меня иногда, потому что все одна случайность, все столько же важно и полно смысла в жизни, как погода, – просияет солнце, туча найдет, гроза – мимоходом убьет кого-нибудь и, не обращая вниманья, снова светит, жарит, сушит или взывает снова к жизни – дождь льет целые дни, ночи – нелепо, все нелепо, и до крайней степени оскорбительно, оскорбительно оттого, что человек слишком привык к мысли, что все для него, что все к его благу, все к лучшему, оттого-то так и трудно поставить себя наравне с бабочкой, с цветком – покрасовался, поблагоухал, покачался на своем стебельке, – а там или скосили его и завял в груде сена не замеченный, или сорвал кто-нибудь, позабавился, хорошо коли еще насладился – измял и бросил, иль морозом побило, иль ногою придавил кто – и нужды нет, нужды нет до этого жизни, какое страшное равнодушие. – Редко позволяю я себе столько болтовни пустой, да ты скуки ради прочтешь и не осудишь меня; воображаю тебя так живо, сморщившись, съежившись, в своей шубке сидишь у печки, бывало войдешь к тебе в комнату, и сейчас следом является варенье, яблоки, наливка – потом Сергей Ив(анович) с трубкой и с коробком спичек, начинает браниться – с каким бы наслажденьем побранилась я с вами, Сергей Иванович! да у меня, говорят, голос тих, не расслушаете. Ты говоришь, Таня, пора воротиться нам – ровно ничего не придумаю тебе сказать на это, хотелось бы, ужасно бы хотелось вас всех посмотреть, послушать, побыть с вами – о возвращении начнем думать тогда, когда путешествие хоть сколько-нибудь принесет пользы для здоровья, до сих пор не заметно ее; всего лучше я чувствовала себя летом, в Париже, с осени не могу наладить, особенно после лихорадки, которая у меня была по приезде сюда. Нечего и сравнивать здешнюю зиму с русской, до сих пор не переставали цвести розы на открытом воздухе, и как солнце светит, так без теплого платья можно гулять, или, лучше, нельзя в теплом гулять, а в комнатах страшная стужа, руки и ноги коченеют, в десяти комнатах только три камина, ни одна дверь не затворяется и в немногих комнатах солнце; с ужасом думаешь, как одеваться и раздеваться, а здесь к этому так привыкли, что дивятся тому, что мы недовольны. Более, чем мое здоровье, меня тревожит здоровье Саши; боюсь повторять одно и то же; я, кажется, уже писала тебе, что доктор сказал, что он лет до 16-ти будет так слаб и подвержен тем болезням, которые у него теперь так часто повторяются, излишнее развитие мозга отнимает силу у всего остального тела, малейшее раздражение, напряжение или что б ни было – сейчас производят жар и боль в голове, ему запрещено всякое занятие и принуждение, не проходило недели без того, чтоб он не полежал дня и двух дней в постели. Коля и Наташа здоровы и веселы, несколько мирнее живут между собой; Коля умен и мил бесконечно, столько грации, доброты и сметливости дано[48*] ему в замену его недостатка, что, наконец, не замечаешь его; столько веселого в нем, недавно ему минуло 4 года, время к расставанью все ближе и ближе, если слух не откроется, надо же будет его учить со временем в заведении, а где лучшее заведение, и как и что будет, – ничего еще не знаю, может быть, сначала можно будет ограничиться уроками на дому, впрочем, я давно уже решилась в этом случае совершенно пожертвовать собою и делать все, что только ему может быть полезно и что для него лучше. Наташа все такой же молодец, больше похожа на мальчика, чем на девочку, на нее я смотрю с бесконечным наслажденьем, с таким же наслажденьем думаю о своей старости, тогда я увижу их большими и буду жить их жизнью; как-то все более и более интерес сосредоточивается на них, остальное не поддается все как-то, ускользает. – Видишь ли, как опасно упрекнуть меня в том, что не пишу о детях, – впрочем, и тут я рассчитываю на твою скуку, и на то, что это оторвет тебя на несколько минут от работы, хотя в которой я вовсе не вижу никаких ужасных предзнаменований, кроме того, что тебе нужно делать то, что ты делаешь. – Таня, будь же и ты благодарна за мое письмо и напиши мне, как я тебе, сейчас по получении и все обо всех как можно подробнее. То, что ты пишешь о Елиз(авете) Б(огдановне), я думаю, несколько преувеличено, тяжело по-

---

[48*] Глупая привычка выражаться так.

верить этому, узнай вернее и все напиши мне, я одна читаю твои письма и не сообщаю Марье Ф⟨едоровне⟩ того, что может ее очень расстроить, а меня ты не щади, я не хочу тешиться обманом[2], пиши все подробно и как можно скорее, – мы не имеем другого средства узнать что-нибудь о московских друзьях, вот что-то и Кавелин давно не писал Александру. Что здоровье Ан⟨тонины⟩ Ф⟨едоровны⟩? – Бедная М⟨ария⟩ Ф⟨едоровна⟩ тоже крепко грустит о том, что ей никто не пишет, она даже не знает, получили ли то, что она послала с Бот⟨киными⟩. – Не повторяй последних слов.

То, что ты пишешь о Сазоновой, т.е. об Ел⟨изавете⟩ Ив⟨ановне⟩, не стоит того, чтоб об этом продолжать речь. – Да, помню, что обещала свой портрет тебе[49*] и еще кой-кому, не сердись, Таня, что не исполнила до сих пор, мало ли что обещаешь – да в Париже не успела, а здесь не настолько здорова, мне бы более хотелось видеть тех, кому я обещала свой портрет, чем исполнить мое обещание. – Пиши о Огареве. Что это с ним, что он так хвор стал?[3]

Здесь почти беспрерывно дожди, пешком почти совсем не ходим, два раза были в театре. – Жду с нетерпеньем лета, в юности я до безумия любила природу, теперь второй раз люблю ее со страстью, нахожу в ней бесконечное успокоение и наслаждение и жестоко страдаю от зимы, да и Рим видеть можно только летом, а то рискуешь простудиться. – Кланяйся всем вообще и поодиночке. А Сергей Иванович только отделывается обещаниями писать – бог ему судья! – Сама не надивлюсь, что написала так много, болтовня тоже признак старости и дурной погоды. – Марья Ф⟨едоровна⟩ много, много тебе кланяется, и у нее что-то в Италии чаще головные боли. Луиза Ив⟨ановна⟩ тоже кланяется. – Прощай, Таня, будь здорова, и это уже много, веселой не смею и пожелать тебе быть. Не хочется перестать болтать с тобою, меня пугает длинная пауза опять. – Теперь я попрошу тебя поклониться от меня Никифору, только скажи ему, что это не ради смеха, а ради нашей старой дружбы. Пиши же сейчас, как получишь мое письмо...

Помнишь ли, как мы пировали у тебя 12-е января?[4] Как проведешь ты нынешний год этот день... Когда-то и как мы будем пировать его вместе? – Скажи Сергею Ив⟨ановичу⟩, что я свидетельствую, что портрет Александра [хорош] похож, борода меняет очень[5]. Записка моя была через Егора Ивановича[6]. Что Грановского голова и щека? Пиши все подробнее.

Скоро 19-е января, чудный день![7] Как все хороши были тогда, как много любви было во всех, я всегда с бесконечною любовью вспоминаю об этом дне.

Рукой Саши:

Милая Таня, что делает твоя зрительная труба? У тебя ли еще Электрическая машина? точит ли еще Владимир[8] на станке кубарики или шарики? – В Риме Колизей лучше всего.

2-й Александр Г е ц е н ⟨!⟩

Кланяйся Сергею[9].

[1] Речь идет о так называемой "крыловской истории". См. прим. 5 к пред. письму.

[2] Астракова сообщала, вероятно, о начавшемся у Е.Б. Грановской туберкулезном процессе. О том же писал Герценам Огарев 7 января 1848/26 декабря 1847 г.: "Лизавета Богдановна простудилась и получила pleuresis[50*], который, сколько кажется, перешел в phtisia[51*]. Об этом ты, пожалуйста, не упоминай в письмах, да не попадутся ему в руки. Да и своим не рассказывай, особенно Мар⟨ии⟩ Фед⟨оровне⟩, которая придет в отчаяние" ("Лит. наследство", т. 61, с. 772).

[3] Огарев так объяснил свое долгое молчание в цитируемом выше письме: "Давно, страшно давно я не писал к вам, друзья мои. Поездки, болезни и, наконец, праздношатания в Москве, вот причины suffisantes[52*], хотя и неизвинительные" ("Лит. наследство", т. 61, с. 772).

[4] 12 января ст.ст. – "Татьянин день", день именин Т.А. Астраковой.

[5] Речь идет о литографии Л. Ноэля (1847), переданной Герценом в нескольких экземплярах московским друзьям с Н.П. Боткиным. Воспроизведено в "Лит. наследстве", т. 63, с. 301.

[49*] Кавелин хотел мой портрет в мужском платье, а мне не хочется дурачиться на старости лет.

[50*] плеврит (*лат.*).

[51*] туберкулез (*лат.*).

[52*] достаточные (*франц.*).

[6] О какой записке идет речь – установить не удалось.

[7] 19 января 1847 г. московские друзья Герцена давали ему прощальный обед на станции Черная Грязь перед отъездом его за границу. См. об этом IX, 222 (с ошибочной датой 21 января); *Рейхель*, 42; "Лит. наследство", т. 63, с. 555–557.

[8] В.И. Астраков.

[9] *Сергей* – С.И. Астраков. Приписка Герцена – XXIII, 55.

79

Рим. 1848. Марта 14

Вчера получила твою тетрадку, моя Таня, моя милая, неоцененная Таня! Обнимаю тебя, целую твои руки, которые пишут... Ты себе не можешь представить, какую цену, какую важность имеют для нас твои письма – и ты сама, как в зеркале, в них – благодарю и тысячу раз благодарю от всей души! Но как дурно все в нашей семье, т.е. в нашем кружке – я вчера читала, читала, и у меня потемнело в глазах, наконец, невыносимо стало душно[1], хотела сейчас же писать – не могла. Перечитывала несколько раз письмо и многого не могла сообразить, промучилась весь день, и только сегодня Ал⟨ександр⟩ показал мне, что на последнем листке ты пишешь, что Ел⟨изавета⟩ Б⟨огдановна⟩ вне опасности, а что он? Пиши мне и о нем как можно подробнее, многих я люблю много, но не со многими так близка, как с ним. – Таня, благодарю тебя еще тысячу раз, ты живая связь со всем, что мило и дорого нам, ты облегчаешь тяжесть разлуки со всеми.

Теперь бы следовало извинения или по крайней мере объяснения, почему я не писала давно, не стану тратить слов ни на то, ни на другое, суди, как знаешь, как умеешь меня, какова я есть – не писалось, друг мой, и всё тут! – раза четыре принималась, положу листок бумаги перед собой, и перо возьму, и год, и число напишу, как следует, иногда несколько строк – да так раздумаешься, так разговоришься с вами – что покажется глупым и ненужным писать, а более всего *недостаточным*, нужно б видеться, говорить – ни в какую форму не укладывается то, что сказалось бы живым языком, – и бросишь перо, и ломает тебя невозможность передать все то, что бы хотелось, это меня утомляет страшно, даже физически. Чтобы писать к вам, нужны ужасные усилия, ужасная твердость, оттого что надо съежиться, – чего и чего не перечувствовалось в последнее время! А вы, други, так далеко и так нехорошо у вас, и болезни, и недостатки, невозможность пособить всему этому порождает иногда во мне желание разбиться вдребезги. Сколько отрадных явлений, сколько минут, полных жизни живой, – и все мимо вас. Ну так буду же описывать тебе нашу прогулку в Неаполь: вот две недели как мы воротились оттуда. Марья Ф⟨едоровна⟩ с Колей и Наташей осталась в Риме, а мы все с семейством Тучковых провели три недели в Неаполе, это лучшее время из всего путешествия по Италии, чудный город! Все наши окна были обращены к Сред⟨иземному⟩ морю, там вдали дымящийся Везувий; целые часы, целые дни я с упоеньем смотрела на эту беспрерывно меняющуюся панораму, даже в дождь, в ненастье так везде хорошо, хорошо кататься, хорошо и дома сидеть у окна, бесконечно хорошо. Начиная с рассвета, и так, миг за мигом я упивалась этой живой картиной, наконец ночь – мрачный, величественный Везувий каждую минуту выбрасывает огненный сноп, и огненный поток лавы, опоясывая его, теряется в море; я полюбила, как друга, эту гору, я так сочувствую ее вулканической жизни – меня физически тянет в ее огонь; а тут месяц, светлый, бледный, тихо, тихо поднимается, серебрит море; глаза невольно обращаются туда, рыбачьи лодочки так беззаботно скользят, будто играют, забываешь труд бедняка, и так же беззаботно ложишься в постель и засыпаешь спокойно. Новый день – новые наслажденья. С утра мы брали обыкновенно две коляски, потому что нас десять человек, отправлялись смотреть древности, Геркуланом, Помпею и т⟨ак⟩ далее, взбирались на Везувий – возвращались домой в 5 часов, прямо за table d'hôte, тут уж новая комедия, все эти лица, иные разговоры – иногда смерть грустно, иногда смертельно смешно. Спальня у каждого была особенная, а сходились мы все в одну гостиную. На меня бесконечно хорошее влияние имела встреча (с молодыми) Тучковыми и близость с ними, осо-



НЕАПОЛЬ

Гравюра братьев А. и Э. Руаргов, 1842

Из книги: C. Malte-Brune. Abrégé de géographie universelle physique, historique, politique, ancienne et moderne. Paris, 1842

бенно Natalie, богатая натура и что за развитие, и их не пощадила жизнь, сколько подавлено, измято, убито, сколько устали от ненужной борьбы, а кто ж знал, что она ненужная?? Так ли уж случилось, или в самом деле глядя на них, у меня много набралось новых сил – на что? на жизнь. Новая связь с жизнью.

Словом, три недели прошли, как три дня, и в первый раз пришлось мне испытать совершенно незнакомое для меня – беззаботность насчет детей, только было больно, что я врозь с ними, иногда тоска давила, хотелось взглянуть на них, услышать их голосок... но это тревожное, не дающее забыться ни на одну минуту чувство – не существовало вовсе, потому что они были с М⟨арией⟩ Ф⟨едоровной⟩. – Это же самое часто отравляло самые прекрасные минуты, мне так было больно, что она не разделяет их с нами; конечно, для нее было вознаграждение в самом этом лишении, потому что быть полезной другим для нее кажется выше всех наслаждений, но все же мне это было больно и совестно бесконечно. – Эти три недели – светлая, яркая полоса, несмотря на то, что целая неделя пропала в розысках украденного портфеля со всеми бумагами и документами[2]. В Риме гадко, погода ужасная, мрачность, сырость, мешает даже жить прошедшею жизнью, куда поедешь в такой ливень? Мы скоро уезжаем отсюда, куда – не знаю, хотели воротиться в Неаполь, показать его М⟨арии⟩ Ф⟨едоровне⟩, потом в Палерму[3]... но все меняется беспрерывно, верно ничего не знаю.

Возвращаюсь к твоему письму... на первой странице я невольно остановилась на этом слове: "И в этот день я была неимоверно счастлива". – Вот и не требуй более от жизни, уж и то слишком много, если можно быть счастливой в иной день – целый день! С радостью и завистью читала я описание празднования твоих и Гр⟨ановского⟩ именин[4]. Потом, моя Таня, скажу тебе откровенно, что я горько улыбнулась, читая твои детские вопросы: "Уж не рассердилась ли ты на меня, уж не забыла ли, не разлюбила ли?" – Да станем же во весь рост, бросим все сердечки, медальончики, обещания, клятвы, уверения в дружбе, – чем истиннее, тем глубже любишь, тем ненужнее все это; я пишу тебе откровенно и не думаю, чтоб ты рассердилась, ведь это уни-

жает[53*], суживает отношения, я как-то так привыкла широко и свободно любить, болезненный период прошел для меня совершенно, я не могу более как прежде устраивать прочно дружбу, обносить ее высокою оградой и крепко-накрепко запирать ворота, чтоб непосвященный не смел перешагнуть порог, – это детство, это неуверенность в том, что охраняешь так, более чем когда-нибудь люблю всех наших друзей, более чем когда-нибудь верю им... и не требую ничего, и не боюсь ничего; чем более живу, тем более убеждаюсь, что единственное существенное благо в жизни – это симпатия, кто ж подвергнет его даром влиянию чего б то ни было? И что, так легко, может иметь влияние на него? Если же оно таково, что легко можно иметь влияние на него – пусть, я отказываюсь от такого непрочного блага, одной *игрушкой* меньше!..

Вчера несколько строк от О⟨гарева⟩ и Гр⟨ановского⟩, которые меня очень успокоили насчет Ел⟨изаветы⟩ Б⟨огдановны⟩: ей лучше, она может ехать[5] – стало, и ему лучше, зная, как он ее любит и как она ему необходима – я ужасно боюсь за него. Жаль бедных Кав⟨елиных⟩, жаль мне ее, я, действительно, сама никогда не замечала в ней ничего дурного; не от предубеждения ли или уж так – не имела никакой симпатии, но и отвращенья не имела, Александру же она нравилась, и он любил ее, еще раз Боткин писал о ней с большими похвалами, но все же этого недостаточно, ни одного друга – это страшно[6]. Силеньку я сама люблю, как прежде, и мне ужасно жаль, что она отошла от меня[7], более жаль за нее даже, чем за себя, – это не гордость, а то, что у меня-то ведь много хорошего в жизни, а у нее мало, и что за причина этому – до сих пор не могу понять, я охотно признаю свои недостатки и ошибки, особенно через год можно смотреть на свои поступки, как на посторонние, – кроме искренней любви и бесконечного желания добра им обоим – не вижу ничего, жаль, что это не понято, а, может, даже принято за что-нибудь другое; я несколь⟨ко⟩ раз писала ей и Кетчеру, мне хотелось от них отзыва, такого же симпатичного, как мой привет, – но ни слуху, ни духу, даже Саше не отвечают, который их так любит, – пусть *это так* или им *так* лучше, а мне больно[8]. И как я ни счастлива бесконечно в этом отношении – везде встречи, глубоко симпатичные, везде есть люди *близкие*, – но одно другим незаменимо, – впрочем, я уверена, что это только *недоразумение* и что оно пройдет. Продолжаю читать твое письмо и опять улыбаюсь: "Неужели ты не выбралась, Наташа, из современной привычки считать каждую женщину за сплетницу, врага и т.д.?" – О Таня, Таня, я не буду отвечать тебе на это, это просто бред, ты бы должна была довольно знать мою историю – сначала я была дика и ни к кому не подходила, потом подходила робко, но с полной доверенностью, уж если подходила, теперь не могу не подходить, и все равно, женщина или мужчина, лишь бы внутренний голос сказал мне, что есть общее, я этому голосу доверяю бесконечно.

Вчера я думала, что отошлю тебе это письмо, но так много оставалось недоговоренного, сегодня тоже не могу окончить, такие перевороты совершаются в общем, так полон или ожидания или изумления...

16-е. Вчера Папа дал конституцию[9], которую народ праздновал вяло. Хотелось бы, чтоб вы знали обо всем, что здесь делается, а писать некогда. Дети все здоровы в настоящее время, и мы с Сашей немножко поправились в Неаполе, начинаю опять понемножку заставлять его читать, писать, а ум оставляю совершенно в покое, при малейшем усилии заметно утомление. Поблагодари, когда увидишь, Альфонского за его память да придумай что-нибудь сказать ему от меня, а я не умею. Друзьям всем поклонись хорошенько, обними того, кого, знаешь, обняла бы я. Пиши мне о Феде, люблю этого ребенка с уваженьем; я уверена, что он будет хороший человек, с другими же мало знакома. Узнай, Таня, сделали ли его портрет[10], я писала об этом к Н.П. Боткину еще до Неаполя, но никто ничего не пишет об этом, мне хотелось подарить М⟨арии⟩ Ф⟨едоровне⟩, которая ужасно грустит, бедная...

Хорошо, Сергей Иванович, хорошо, так вы напишете нам завтра, послезавтра – если б Таня была на моем месте, она подумала бы, что вы ее ненавидите, что вы ей

53* *Между строками, над этим словом вписана дата продолжения письма*: 15 [фев.] мар⟨та⟩. – *Ред.*

враг, считаете ее за преступницу, убийцу и т.д., я, право, мирнее и вижу в этом только лень, которая нас всех обуревает иногда, да и проходит иногда, а вас обуяла, да и не проходит уж – оно просто для тех, которые вас любят, и кому хотелось бы, чтоб вы промолвили словечко, – вижу, насмешливо улыбаетесь и думаете: "Экой вздор понесла, видно, что досуг болтать пустяки", – ну что ж, я и тем довольна, что подразнила вас немножко, а то что, все сидите да курите, курите, курите...

А наш какой досуг, народ бродячий, вот скоро надо будет укладываться с ребятишками да ехать – не знаю куда!.. Не сердитесь, Сергей Иванович, не сердитесь, ведь это не то что лень писать друзьям, – не то, чтоб вкус испорчен был, не то, чтоб подальше от дела, а – если в вас есть хоть искра христианская – так вы поймете, что совсем другое. – Эти дни, Таня, мы почитываем Пушкина – что это за натура, как жил-то он верно, глубоко – то затронет дремавшую или давно заснувшую, почти не заметную струну в душе, то вызовет тебя на симпатию, то ответит так симпатично, иное слово – как теплое пожатие руки друга внесет мир и твердость в душу, примиряешься с собою и со всем, то вызывает вон из тесного кружка в даль, в ширь – а это чаще, все двери, все стены становятся ненавистны... почитай Пушкина и вспомни обо мне; – да как-то он и вас всех напоминает ужасно, как читаешь его – будто вы все сидите вокруг и слушаете – дать волю – так бог знает что напишешь, пора остановиться; ну, а ты побранишь меня, Таня, за то, что писем нет, – да и стóю! брани, сама знаю, что стóю. Только пиши, все так же пиши мне много, моя Таня.

Как-то странно оставить пустое место в письме к тебе. – Картину Саша тебе нарисовал, да уж и без того Александр бранится, что письмо тяжелое. Пиши, пиши.

Редкин женится[11] – ну как-то его бог вынесет из этого, скажи ему, что я желаю ему счастья. Кавелину крепко, крепко жму руку, так ли же он помнит обо мне, как прежде? Мне ужас его жаль[12].

[1] Речь идет о сложностях, возникших в судьбах членов московского кружка друзей Герцена после неблагоприятного исхода "крыловской истории".

[2] Об украденном "портфеле" (бумажнике) см.: V, 114–122 и 289–291; XXIII, 62–66; *Тучкова-Огарева*, 58–61; *Рейхель*, 59–60.

[3] Эти планы не осуществились. 28 апреля Герцены выехали из Рима в Париж через Ливорно–Марсель–Лион.

[4] День именин Астраковой – 12 января, Грановского – 24 января ст.ст.

[5] Письмо Огарева и Грановского неизвестно. Предполагаемая поездка Грановских за границу не осуществилась.

[6] В связи с "крыловской историей" К.Д. Кавелин в это время вынужден был искать места в Петербурге. Возможно, что он жаловался на одиночество в чужом городе. Несколько месяцев спустя (очевидно, осенью 1848 г.) Астракова писала к М.К. Рейхель: "Кавелины теперь обитают оба в Петерб(урге), жаль его, бедного, он там как есть один-одинехонек да и финансы-то плохи" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 768, л. 9).

[7] Об отношениях Н.А. с С.Н. Кетчер ("Силенькой") см. "Лит. наследство", т. 63, с. 386–391.

[8] Заграничные письма Н.А. к Кетчерам не сохранились. Объяснение причин столь долгого молчния С.Н. Кетчер см. в ее письме к Герценам от 28 января/9 февраля 1849 г. (там же, с. 389–390).

[9] Эту конституцию папы Пия IX ("Основной статут римского государства") Герцен назвал "тощей и уродливой" (V, 124).

[10] См. прим. 11 к п. 77.

[11] П.Г. Редкин женился на Е.Э. Гарве 23 апреля (ст.ст.) 1848 г.

[12] Приписка Герцена – XXIII, 69.

80

⟨Париж. 8 августа 1848 г.[1]⟩

Не обращая внимания на подателей, прочесть сначала записку, потом начать рекомендоваться и любезничать. Но только не обращаться с ними, как с приезжими из Парижа, а как с выбежавшими из дремучего леса, не как с ручными, а как с дикими.

Вот записочка, которая доставит тебе два живых письма[2], садись или ложись на пол, проси их так же расположиться, мы всегда так валялись, положи их головки к себе на колени; погладь, побаюкай их; это мои меньшие дети, меньшие оттого, что они явились для меня на свет после тех, не успела я наглядеться, налюбоваться на

них досыта – отняли у меня их, увезли далеко – зачем? Не знаю! Знаю только, что легче бы было оторвать кусок сердца, больно, очень больно. – И кто они, кто дал им право так распоряжаться ими – нелепость!!!

Когда они у тебя будут, не одни, то есть Natalie и Hélène – так ты веди себя как можно пристойнее, понимаешь? – Мать[3] глупа, как трава, имеющая вид обезьяны, будь с ней учтива, гувернантка их (в то же время и гувернантка отца) – солдат в парике, злое и нечистое животное[4], отец умный человек, но придерживается осьмнадцатого века, приличия выше всего, понимает, что в их лета нужна свобода; опускает поводья и потом дергает и мучает их в отмщение за свою слабость. Говорю тебе все это для того, чтоб избавить тебя труда догадываться, будь с ними как можно проще, твое знакомство им может быть отрадой, да и в них ты найдешь ее много, чудные существа, каждая в своем роде. – Разумеется, им ни слова о том, что писано. Да сожги лучше эту записку.

[1] Датируется на основании даты отъезда из Парижа семейства Тучковых – 9 августа 1848 г. Письмо, очевидно, написано накануне.

[2] Н.А. и Е.А. Тучковы. См. о них подробно в кн. 2-й наст. тома.

[3] Наталья Аполлоновна Тучкова.

[4] О Каролине *Мишель* Н.А. Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях и письмах отзывается с большой симпатией, отмечая при этом, что в 1848 г. их отношения с гувернанткой осложнились, т.к. она и сестра "вступили в неприятную фазу освобождения". "Мы нехорошо, угловато освобождались, – пишет она, – и бедной m-lle Michel было нелегко перенести эту неприятную для нее эпоху нашего существования, но она и тогда не переставала нас любить" (там же, с. 228).

81

Париж, 1848, ноября 4

Давно уж я поджидала от тебя письма, моя Таня, и вот, наконец, приносят толстый пакет – мы всегда ужасно рады с Александром и, точно дети, вырываем друг у друга из рук письмо. Спасибо тебе, Таня, за то, что пишешь так много, хотелось бы почаще известий – ну, да не мне за это упрекать. – Я прежде еще получила от Тучковых и радовалась заочно тому, что вы друг другу понравились[1], они хорошие люди, и сверх всех достоинств любят нас, что, разумеется, сверх всего, заставляет любить их. Я их люблю, как моих детей, мне до сих пор странно, что их увезли от меня, зачем? И кто дал право?? Ужасно иногда недостает их; в Natalie было для меня что-то освежающее, оживляющее, в Hélène – лелеющее, успокаивающее, несмотря на ее собственное отчаянье[2]. Помимо всего, Natalie – существо замечательное. Смертельно жаль их становится, как вспомнишь, каково им теперь, только и света в окошке, что Огарев, хорошо еще, если он долго с ними останется[3]. Мне все кажется, что мне их отдадут назад – а то слишком было бы нелепо!..

И Марьи Ф⟨едоровны⟩ недостает мне до сих пор[4]. Ну, да так и быть, лишь бы ей было хорошо, – а Тата – ты спрашиваешь, как привыкла без нее – эгоизм детей утешителен, – она поверила, что Маволинька поехала за Федей, – да и ждет ее преблагоразумно[5]. Славный ребенок, Таня, я уверена, что из нее выйдет хорошая женщина. А Саша не так красив, как на портрете; он нисколько не переменился, только вырос. Коля не уехал в Швейцарию, а остался на зиму в Париже, торопиться еще не к чему, говорить он научится, в этом никакого нет сомненья, а так врозь жить уж слишком тяжело. Пишу я тебе сейчас после получения твоего письма. И это письмо пошлется с Селивановым, который едет в Россию. Какая ты стала совестливая, Таня, просишь о доставке писем, точно о пощаде жизни...

Оттого я долго и не писала, думала, что тебе надолго станет живого письма – М⟨арии⟩ Ф⟨едоровны⟩. – Отгадала ты, что я назову тебя ревнивицей[6], да что тебе за дело, кого и как я люблю; во всяком случае, я тебя люблю, люблю много – ну и будет с тебя, а там люблю и других, да одно другому не мешает. – Да, странное дело, друг, все кажется, уж будет, полно, круг очерчен, – ан нет, при каждой симпатичной встрече я снова юнею, живу в тысячу раз больше и отдаюсь, как есть, от всего моего сердца и от всего помышления, и хорошо, Таня, мне, я и счастлива, и это хорошо

не проходит, а так и остается во мне навсегда. Оттого мое существованье похоже вот на эту фигуру[54*] и так далее..

Ты так жалеешь, что мы одиноки, – да, мне ужасно жаль, что нет с нами тех, которых нет, но мы не одиноки. Много встречается хороших людей, а потом своя семья – да что и говорить, что касается до личного, – я не могу себе представить существованья полнее, а как выйдешь из него – ну уж лучше и не выходить, коли не хочешь быть истерзан на тысячу кусков, коли не хочешь сознавать жизнь только по судорожному ломанью. Та и разница между человеком и человечеством, что человек бывает болен к росту, а потом вырастет и здоров, а человечество беспрерывно больно все к росту. Отвернуться от страданий больного невозможно, да и страдать беспрерывно вместе с ним невозможно; из этих двух невозможностей состоит наша жизнь, оттого она и тяжела подчас, невыносима – а подчас, как невольно отвернешься да забудешься – как хорошо, Таня, как хорошо!!

Не сердись, что портрета не прислала, я ведь не одной тебе обещала – вот как-нибудь соберусь да уж сделаю несколько литографий. Из кокетства медлю, состарелась, жду, не помолодею ли.

Саша тебя не забыл, и очень охотно написал бы, да заранее он писать не любит, а как придет пора, ему недосуг. Все бы хорошо, да одного, видно, я не добьюсь никогда – товарищей ему нет; воспитание французских детей ненавистно для меня, это куклы, машины, разряженные и выученные говорить учтивости, даже комплименты, ничего простого, естественного, вот если б мы жили в деревне, – я не побоялась бы его оставить играть и драться с детьми; одиночество тоже вредно, просто теряешься, при всех средствах ничего не можешь сделать по убежденью[7]. Для того, чтоб воспитать одного человека, для того, чтоб сохранить его только человеком, надо воспитать целое общество. Сердце разрывается на них глядя, коверкаешь, ломаешь их бог знает для чего, и сколько предстоит ломки им, если и людьми-то выйдут, – я было свободнее вздохнула и за них в феврале – да вот тебе и февраль![8] Советую тебе, Таня, достать Письма из Парижа известного автора[9] (через М⟨арию⟩ Ф⟨едоровну⟩), ты увидишь в них, что́ творится на белом свете.

Мы переехали, Саша в гимнастику ходить не будет, далеко, а будет делать дома, да еще хочу обучать его столярному мастерству, он от этого в восторге. Меня радует в нем способность к музыке, не особенная, но я не ожидала никакой, но в доказательство, что во всяком существе лежат зародыши всего, и неспособность есть только неразвитой талант.

Последнее время стоит что-то дурная погода, к тому ж мы переезжали, хоть здесь это все чрезвычайно удобно, но все-таки и утомило меня, пусть М⟨ария⟩ Ф⟨едоровна⟩ расскажет тебе, как здесь отдаются квартеры, и до какой степени хозяева, глупые буржуа, выжимают из каждой нитки, из каждого гвоздика деньги, русской, широкой, раздольной натуре покажутся сказочными мелкие притеснения, изученные с непостижимою внимательностию; и есть люди, и почти большая часть таких, которые всю жизнь положили на это изучение, у них ни другого наслаждения, ни другой цели нет. Что за расстояние между дикой, степной, румяной, широкоплечей, вольной (ты не удивись, да, вольной по натуре) России, России в сарафане, с длинною русою косой, и этой иссохшей, желтой, с париком на голове и с камушками во рту, перетянутой, раздушоной (из необходимости) Франции! – Они сами говорят, что на них больше ваты, чем тела, и что за плоскость, что за бедность, что за ограниченность – может они выродились – довольно[10].

Мы видаемся часть с семейством Гораса[11] (объяснение у М⟨арии⟩ Ф⟨едоровны⟩), хорошие люди, очень хорошие, с ними как-то просторно, широко делается. – Сюда приехала Марья Ль⟨вовна⟩ Ог⟨арева⟩, мы видаемся с ней довольно часто. Я снова с ней знакомилась, для меня она не та, которую я знала прежде, хотя основной характер тот же. В молодости мы слишком были строги, вспыльчивы и нетерпеливы, все и всех хотелось на свой лад, а ей хотелось на свой, от этого и было много такого, че-

---

54* Нарисована спираль. – *Ред.*



ПАРИЖСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Цветные литографии П. Гаварни, 1840-е годы

Музей Герцена, Москва

го бы могло не быть. Разбор этот поведет слишком вдаль; дело в том, что теперешняя, вот эта М⟨арья⟩ Льв⟨овна⟩, с которой я познакомилась, для меня преинтересное существо; огонь, энергия, ум – взболтанные жизнью до того, что у меня иногда мороз по коже подирает[12]. Воробьев тоже хороший и приятный человек.

Ты, я думаю, удивляешься, что я пишу не своей рукою, – бумага попалась тонкая, а перо жесткое, ну да так и быть. Мне, я вижу, плохо приходится: М⟨ария⟩ Ф⟨едоровна⟩ говорит, что не пишет много оттого, что на тебя надеется, а ты на нее надеешься – да хоть и обе-то вы писали ⟨бы⟩, так все недовольно б было. Просто хотелось бы знать, кто что сказал, как кто посмотрел, – т.е. просто хотелось бы иногда перенестись к вам – насытиться вами да и опять в теплые края. Ах Таня! Как бы я полетела в Италию, там больше, чем где-нибудь, можно забываться, а ведь уж мы решили, что забываться хорошо? – Невесело быть рабом чего б то ни было, ну а как сделаешь, чтоб не зависеть от холода, от серого неба – в один миг в Италии я наберу силы более, чем в целый месяц преусердного лечения здесь. Чем более живу, тем более сживаюсь с природой.

Я думала, что не успею тебе написать, а вместо того разболталась нестерпимо, разболталась до того, что мне захотелось поговорить с тобой о прошедшем, о пережитом нами с февраля, но только спать хочется, а в другой раз трудно будет приняться, так я вырвала из моего – как бы сказать – журнала что ли – несколько страничек и пошлю их тебе[13]. Ты увидишь там, как чувствовалось и думалось; писавши, я не думала, что дам читать кому-нибудь, тем лучше, посмотри на меня, как я есть наедине сама с собой. Хотя и после того уже многое переменилось; жажда покоя – естественна, это реакция после муки, после родов, но она недолго продолжается, роды были несчастливы, надежды не исполнились, снова начинается брожение, окрепшие силы ищут деятельности, а сколько нужно твердости на то, чтоб примириться с

мыслью не видать ребенка, который родится, не знать, когда и как, и какой он родится! – Но будем тверды, оттого что слабыми быть нельзя. – Только, Таня, эти листки только тебе посылаю; они вовсе не готовились для света божьего; а тебя на досуге займет посмотреть на меня...

Сергею Ивановичу сожми прекрепко руку, и покачай за меня головою. Он поймет, как много в этом покачивании говорится, не все же языком болтать. – Завтра же доставлю твои письма. Я редко видаюсь с М.И. Полуденской, она лучше своей репутации, но время как-то нет. Она больна все, бедная. Николя умный мальчик, я думаю, при благоприятном климате из него выйдет что-нибудь. Машенька с Луизой Ивановной остались в Champs Elisées[14], это далеко от нас. Дай бог им здоровья за Колю, хоть меня он и меньше будет любить, да лишь бы ему лучше. При всем желании за троими я не могла б усмотреть, как за одним. А потом, я уверена, когда он меня узнает, так будет любить. Прощай, пиши.

Твоя Н.

Напиши, видела ли Анненкова[15] и чтó, чтó он и как, познакомься с ним, это один из балованых моих детей...

В Германии сильно шевелятся, чтó-то из этого будет?[16] – Да, это сравнение мне самой нравится: в настоящую минуту мы все беременны, а ребенка вряд ли увидим! – Много любви надо на то, чтоб носить его и лелеять в себе...

Что-то все нездоровится, Таня, это ужасно глупо. Ну, а всего глупее на свете – это смерть. Пописала тебе ночью, и разболелись глаза до сих пор.

Слушай, ты пиши же. Обнимаю тебя...[17]

[1] См. письмо Н.А. Тучковой к Н.А. Герцен от октября 1848 г. в кн. 2-й наст. тома (публикация Л.Р. Ланского).

[2] Возможно, что тяжелое настроение Е.А. Тучковой в это время было связано с женитьбой И.П. Галахова, который был ее первой любовью. О встречах Тучковых с Галаховым в Ницце см.: *Тучкова-Огарева*, 56.

[3] О дружбе Огарева с Тучковыми см. в его письме к Герценам от 21/9 октября 1848 г. ("Лит. наследство", т. 61, с. 776).

[4] М.Ф. Корш уехала одновременно с Тучковыми.

[5] *Маволинькой* Тата называла М.Ф. Корш, которая часто рассказывала ей о своих маленьких племянниках. См., например, в письме М.Ф. Корш к С.К. Корш от (середины января 1848 г.): "Тата велела *поцалуть* Федю. Я как-то на днях много ей рассказывала о нем и о Саше. Она слушала, слушала и начала требовать, чтоб я везла ее к ним тотчас же, а когда я представила, что это невозможно, она так расплакалась, что я насилу могла ее утешить" (*ОРО*, вып. 32, с. 191).

[6] Очевидно, Астракова ревновала Н.А. к ее новому другу – Н.А. Тучковой.

[7] Сходные суждения о трудности воспитания детей в условиях оторванности от России см. в XXIII, 157.

[8] Имеются в виду надежды, вызванные Февральской революцией во Франции, и затем поражение ее – трагические "июньские дни" того же года.

[9] Цикл писем Герцена "Опять в Париже", пересылавшийся им по частям в Россию с уезжавшими из Франции друзьями.

[10] Эти суждения Н.А. о преимуществе России как страны, богатой плодотворными задатками, перекликаются с мыслями Герцена этого периода (см., например, его статью "La Russie" из книги "С того берега" – VI, 150–223).

[11] Н.А. говорит о семье Г. Гервега. *Горас* – сын Э. и Г. Гервегов. Имя Гервега Герцены в письмах в Россию называть избегали из соображений конспирации.

[12] Эта оценка личности М.Л. Огаревой довольно быстро сменилась для Н.А. новым разочарованием (см. п. 83).

[13] Под названием "Из Записок 1848 года" опубл. в "Лит. наследстве", т. 63, с. 371–374.

[14] В начале ноября 1848 г. Герцены переехали с Champs Elisées на бульвар Madeleine.

[15] П.В. Анненков уехал в Россию около 9 сентября 1848 г.

[16] Н.А. имеет в виду, вероятно, восстания во Франкфурте-на-Майне и в Вене (сентябрь-октябрь 1848 г.), закончившиеся поражением.

[17] Приписка Герцена к С.И. Астракову – XXIII, 110.

82

Приписка к письму Герцена[1]:

⟨Париж. 1 февраля 1849 г.⟩

Я только что окончила предлинное и прегрозное послание к тебе, Таня, грозное за то, что ты так давно не пишешь, и хотела послать его – как получила много писем из России[2] – мне и расхотелось послать его. Довольно с тебя знать, что на сию минуту мы здоровы (если я не в постели, так я считаю уж себя здоровой). В декабре Наташа была ужасно больна[3], и весь дом у нас перехворал, я недавно только что оправилась. – А нехорошо, Таня, что вы не пишете так долго, тебе я этого вовсе не прощаю.

Письма, которые мы получили, так живо перенесли меня посреди вас, что мне тяжело писать. Обнимаю тебя. С⟨ергею⟩ И⟨вановичу⟩ жму руку. Обнимаю М⟨арию⟩ Ф⟨едоровну⟩ и всех друзей.

Твоя N a t a l i e

[1] См. XXIII, 123.

[2] О каких письмах говорит Н.А. – неясно. В той части письма, которая написана Герценом, речь идет лишь о "грамотке" от Н.А. Мельгунова.

[3] 21/9 декабря 1848 г. Н.А. писала к Н.А. Тучковой о Тате: "Ей сделалось очень дурно, у нее была горячка и воспаление и животе ⟨...⟩ она была в очень опасном положении" (*РП* I, 256. См. также главу "Тифозная горячка" в "Былом и думах" – X, 234–235).

83

⟨Париж. 3–9 марта 1849 г.⟩

Не пишу числа, потому что не знаю, когда кончится и пошлется это письмо...

Напрасно я сердилась на тебя за то, что ты не пишешь, – вчера получила твое длинное письмо, я рада ему была, но оно грустно подействовало на меня[1]. Во-первых, грустно, потому что тебе грустно, во-вторых, грустно – но этак я дойду до двухсот, до двух миллионов, до бесконечного числа причин грусти. – Все мне понятно, слишком понятно, что ты пишешь, моя бедная Таня! Сколько хороших натур гибнет от неестественной среды, в которую их бросает случайность, и как посмотришь, их существованье – не жизнь, а беспрерывное колесованье, кой-где мелькнет мгновенье светлое, натуральное, и опять черная туча давит и душит – дай им солнца, дай им дождь и росу в пору – расцвели бы пышно, жили б полно, – но, я думаю, таких счастливцев вовсе нет, у иных есть только побольше таких мгновений, вот и всё. На твою долю досталось их мало, почему? Да, почему? – Напрасно ты боялась послать мне твое письмо, не только то, что в нем написано, но и что не дописано, я ясно вижу, разочаровать меня нельзя более[2], и я об этом не жалею, не считаю это утратой, – это было б страшный грех против жизни. И зуб не достается даром человеку, часто жизни стоит. Чего стоило расстаться со многими верованиями – страшно вздумать! Дело в том, что веровать-то не нужно, – "печешься о мнозе" – "едино же есть на потребу человека"[3]. – Долго детьми мы остаемся, долго нужны нам игрушки и лакомства – ну что ж, и хорошо, пока нужны, пришло время – более реальной, серьезной пищи – не будем отворачиваться от нее, только больным противен запах мяса. Ты мне говоришь – "примирись с действительностью"[4] – зачем примиряться, я принимаю жизнь как она есть, со всеми ее наслажденьями и мученьями, и мучусь и наслаждаюсь. В внутренней жизни, Таня, – не помню, что́ хотела написать, два дни прошло после того, как меня прервали на этом слове. Александр посылает сегодня 6 марта письма в Москву[5], так и мне захотелось поскорее дать тебе весточку, напишу ответ на твое письмо наскоро, а то пойдет в долгий ящик...

Ужасно приятно, когда люди, которых мы любим и которые нас знают, пожалеют о нас, я знаю это по себе, и потому не боюсь сказать тебе, Таня, что мне тебя ужасно жаль, ужасно, как многое бы могло быть иначе... Но дело в том, что ведь уже не переменишь того, что переменить нельзя, ну так что ж, сидеть над лужей и хны-

кать о том, что она не море? Лучше отойти прочь, идти – как бы ни далеко – идти к морю, дойдешь – хорошо, не дойдешь – на дороге, может, встретишь много хорошего, а может, и дойдешь?.. – Еще повторяю – не бойся разочаровать меня, очарование прошло с первой юностью, но жизнь от этого не стала хуже, но людей от этого люблю не меньше. Вот еще прошло два дни, и я не могла продолжать письма, ты не поверишь, Таня, а оно так. – Еще перечитала твое письмо, как ясно вижу сквозь него духоту. – Но, несмотря на все, как много я вынесла святого и прекрасного из прошедшей жизни, все это живет во мне, и умрет только со мною, да и не умрет со мною, ведь мой элемент переходит в детей. Понимаю минуты – о, целые дни, недели, горечи нестерпимой; но, может, жизнь слишком много хорошего дала мне – я беспрестанно нахожу в ней, чтó заставляет ее любить. Я так же сильно радуюсь, как страдаю, счастье другого (еще вчера я испытала это) может меня сделать счастливой до глупости[6]. – Как бы я хотела утешить тебя, моя Таня, но что ж я сделаю...

Не объясняй в дурную сторону молчания Туч⟨ковых⟩, они мне писали, что полюбили тебя, а что не пишут – ты знаешь, как это делается, и верь мне, что никто на них не может иметь такого влияния, как ты думаешь[7], они слишком совершеннолетни, натуры их слишком истинны; опыта мало, но инстинкта человеческого бездна...

Тебя бесконечно оскорбляет то, что люди ошибаются в тебе, – им же хуже! Конечно, это больно, но из чего хлопотать? Меня удовлетворяет собственное сознанье, да еще знание меня одним или двумя лицами. – Да, я говорю это серьезно. Конечно, другие любят более или менее, но это все еще не все. – А ведь те, которые называют меня дитёй, – правы, Таня, а зачем это возмущает тебя? "Тацех бо есть царствие небесное"[8], – я живу все больше и больше и все юнею и юнею больше, не знаю, отчего, зачем, но знаю, что мне хорошо. Где бы мы ни были, – везде я встречала симпатичные личности; может, тут входит и увлечение – да что же жизнь без увлеченья?..

Не помню, что я тебе писала о Марье Львовне[9], только вижу из твоего письма, что ты ее слишком высоко ценишь[10]. Это правда, личность ее ярка, – но ярка безобразно, она вакханка без красоты и прелести, мозг ее расстроен, это не шутка, я говорю серьезно, она помешана, и к тому ж вино – все ее стремленье, вся жизнь состоит в том, чтобы забыться, и она это делает уродливо, грубо, грязно – до невыносимой степени. Сначала она часто бывала у нас (не знаю, почему), потому соскучилась (и естественно), и перестала ходить. Она так несчастна, что я чувствую к ней самое горячее, искреннее участье. – Впрочем, ты не рассказывай этого, я хотела тебе сказать, что не надо желать того, чего не знаешь...

Кланяйся Щепкиным. – Чтó это сделалось с Сер⟨афимой⟩? Мне больно за Кет⟨чера⟩[11]...

Да, Таня, пришли мне письма, которые ты обещаешь. – Ну прощай! Обнимаю тебя. Будь, будь, Таня, веселее, мне этого очень хотелось, мне так больно, что ты грустна.

Сер⟨гею⟩ Ив⟨ановичу⟩ полное рукожатье. Кланяйся всем друзьям[12].

[1] Письмо Астраковой от 9 февраля/28 января ⟨1849 г.⟩ (*РГАЛИ*, ф. 2179, оп. 1, ед. хр. 589, л. 9–10об.).

[2] Астракова писала о "страшной перемене" в отношении к ней московских друзей. "Со мной стали все очень учтивы и – только. Я сначала не верила своим глазам, своим ушам, я думала, что на меня нашел болезненный припадок недоверчивости ⟨...⟩ и с тоской в душе увидела, что мои подозрения правы – что все на меня смотрят как-то косо – это меня взбесило" (там же).

[3] *Евангелие от Луки*. 10, 41–42.

[4] В письме Астраковой от 9 февраля/28 января такой фразы нет. Судя по дальнейшему тексту, данное письмо – ответ сразу на два письма Астраковой: от 23/11 января и 9 февраля/28 января 1849 г. Оба эти письма дошли до нас не полностью, в обоих есть листы, оборванные снизу вместе с текстом. Поэтому не всё в ответном письме Н.А. может быть соотнесено с текстом писем ее корреспондентки.

[5] Эти письма неизвестны.

[6] 6 марта Герцены получили от Огарева и Н.А. Тучковой письмо, датированное 14/2 февраля, с сообщением об их взаимной любви и о решении соединить свои судьбы (см. *РП* IV, 81–83). Именно оно и сделало Н.А. "счастливой до глупости". Она писала в ответном письме: "И как я глупа сделалась в один миг, ваше письмо вдребезги разбило мой великий ум, ничего не понимаю, ничего ⟨...⟩, кроме того, что нам хорошо, а за последнее люблю всех и всё" (там же, I, 263). Письмо ошибочно датировано Н.А. Герцен

6 февраля/22 января. Описка в месяцах совершенно очевидна, т.к. 6 февраля н.ст. соответствует не 22, а 25 января, тогда как 6 марта невисокосного года – именно 22 февраля.

[7] Очевидно, Астракова боялась, что кто-то из членов московского кружка настроил Тучковых против нее.

[8] *Евангелие от Марка*, 10, 14.

[9] См. п. 81.

[10] Слова Астраковой о М.Л. Огаревой содержались, очевидно, в несохранившейся части письма (см. прим. 4).

[11] О С.Н. Кетчер Астракова писала Н.А. в письме от 23/11 января: "Давно хотела тебе написать о Силеньке ⟨...⟩. Помнишь ли, как ты поручила мне при отъезде позаботиться о ней? Долго думала я, что это возможно и что от этого будет хорошо и ей, и Кетчеру. Если б ты была здесь и видела ее и теперешнее отношение ее к Кетчеру, то согласилась бы со всеми нами, что самое лучшее для Кетчера, чтобы его друзья были с ней как можно дальше. Это покажется тебе, может быть, негуманным, но, право, Наташа, мы все в ней ошибались – она не способна идти вперед, и всякая попытка двинуть ее принимается так нелепо, что сбивает ее с толку окончательно. Лучшее тебе доказательство ваши последние отношения с Кетчером – все это объяснилось после, и незачем рассказывать тебе весь этот ряд пошлостей, грязных мелочей и т.д. ⟨...⟩ Ты не думай, Наташа, что приговор мой о ней слишком жесток! В ней есть доброта, но нет ума, который мы..." (лист оборван, и дальнейший текст отсутствует. – *РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589, л. 8–8об.). О взаимоотношениях Герценов с Кетчерами см. в "Былом и думах" главу "Н.Х. Кетчер" (IX, 223–254).

[12] Приписка Герцена – XXIII, 128.

84

29/17 июня 1849 г. Париж

Вчера получила твое письмо, моя Таня. Можешь вообразить мою радость, когда я узнала, что Natalie с ним[1], я писала к Ал⟨ександру⟩, когда принесли пакет, рука дрожала, так что я не могла продолжать и вложила их письмо и послала к нему[2]. Хорошо, что и Hélène вышла замуж, не знаю, счастлива ли она будет, но все-таки лучше, перемена[3]. – Для Огарева ведь мы ничего не можем сделать[4]. M-me вела себя хуже публичной женщины. Ал⟨ександр⟩ написал ей[5], советуя дружески воздержаться, за это она возненавидела его и меня, и всех наших знакомых, не принимала никого, даже Георга[6], перед которым она кокетничала. Вор⟨обьев⟩ милый малый, но без характера, он ужасно любит О⟨гарева⟩, все готов для него сделать и ничего не может. Подходили к ней со всех сторон, и с каждой стороны отпор гнуснее один другого.

Ты мало пишешь подробностей о Т⟨учковых⟩, меня все интересует, что до них касается. Потом напишешь мне, что за сплетня, о которой ты говоришь, меня и это тоже интересует[7]. Да только вздору не пиши, "отвыкнем друг от друга" – и т.д. – Как будто это возможно. Мало ли почему не пишется, вот увидеться б, это другое дело. И теперь пишу тебе наскоро. Собираюсь в Швейцарию. Ал⟨ександр⟩ неделю тому назад собрался в несколько часов и уехал туда. Вчера я проводила к нему Сашу[8]. А мы было расположились здесь так хорошо, сверх дома с большим садом я наняла комнатку за городом в прекрасном местоположении, и уезжали туда с детьми, иногда с Ал⟨ександром⟩ подышать деревенским воздухом и пожить à la Robinson[55* 9].

В Швейцарии будет еще лучше. Мы живем, как птицы на ветке. Адресуй так же. А надолго ли и в Швейцарию – не знаю, как будет угодно – не знаю, как бы выразиться кому[10]. Как адресовать к О⟨гареву⟩?[11] Пиши же скорее и как можно больше обо всем, что меня может интересовать, ты это должна знать. Как бы мне хотелось вам пожать крепко руку, Сергей Иванович, когда я прочла ваше письмо. Пожать руку за всех людей вообще, и за Сашу в особенности. Что касается до воспитания детей, то я стою тут довольно одиноко, и хотя имею большое доверие к своему инстинкту – подчас становится жутко, и жутко до того, что хватаюсь за соломинку, – и потом, разумеется, бросаю соломинку и рада, рада, как на что-нибудь могу опереться. Хотела б много поговорить с вами об этом, да это впереди, теперь не в состоянии и некогда. Отвечу вам наскоро. Вы правы и тысячу раз правы, даже вам покажется

[55*] как Робинзон (*франц.*).



ПАРИЖ. ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ

Гравюра Прово, 1860-е годы

Литературный музей, Москва

смешно, если я вам скажу, что я сама себе говорила почти слово в слово все то, что вы пишете, развивая как эти, так и бесконечное множество других вопросов до бесконечности. Для меня этот предмет такого рода, что где б я его ни коснулась, – задачи, мысли бьют неистощимым ключом. – Мне часто приходит в голову, что тем, что я есть, – конечно⟨?⟩, я обязана много моему воспитанию, т.е. тюремному заключению, кандалам и всякого рода моральному истязанью. Сначала я вырабатывала себе все сама, одна-одинехонька, потом помогал Ал⟨ександр⟩, потом помогала уж жизнь. Впрочем, я не верила на слово и Ал⟨ександру⟩, как ни любила его, как ни думала (т.е. повторяла себе), что он – *единственный* человек[12].

Всякая мысль, всякое убежденье тогда только становилось моими, или лучше сказать мною, когда они переваривались в голове моей, как пища в желудке; одинокая и сильная работа мозга сделала меня наконец хищною, не только жеваного, ни вареного, ни печеного я не могу принять, мне нужно совсем сырое, а там работаю, насколько сил хватает. Результат всего этого тот, что я довольна собою, то есть этою работой, разумеется, не беспрестанно. Такого результата желала бы я и детям, но как устроить то, что произвело этот результат? Искусственное одиночество с 7 лет и безвыходность – невозможны. И неужели только одним этим путем и возможно дойти до желанного результата? Не может быть, тем более, что путь этот неестествен: как будто для того, чтобы растение вышло хорошо, настолько, насколько лежат возможности в его натуре – надо поливать его помоями, поставить в подвал и т. под. ... не думаю (хотя таково было мое воспитание).

Но и удивляться *себе* не хочу в детях, т.е. своему *искусству* – делая (как здесь) из желтых цветов красные и т⟨ак⟩ далее. Ни усиленной теплоты, ни разных приправ в земле употреблять – по мне это преступленье. Узнать, изучить *натуру* растения, дать ему необходимую или *естественную ему* температуру, *узнать* все условия, не-

обходимые к его *наивозможнейшему* развитию – вот чего я стараюсь беспрерывно достигнуть. Права я или нет? Справедливо замечаете вы, что вниманье, предупредительность, может, излишни, но все это я делаю только *про себя*. Иногда с вечера раздумаешься и продумаешь до утра. Глупо – но если не я – так кто ж подумает? Саша всего более занимается естествен⟨ной⟩ историей, немножко языками – вот и все пока. Я, *мне кажется*, не забегаю его вопросов, а отвечаю как можно проще и справедливее. И еще, не могу не замечать ему, когда он ступает криво, идет сгорбившись, кривляется физически и нравственно. Мне кажется, это дело каждого простого садовника. Потом, что самое трудное, – стараюсь избежать для него всех излишних соприкосновений. Но ведь все это я пишу не с тем, чтоб оправдаться, а чтоб показать вам, в чем дело, и то для того, чтоб вы имели бы все возможности помочь мне. Пишите мне все, что только придет вам в голову по этому предмету. Да, пожалуйста, не пишите вздору, как, напр⟨имер⟩: "Я не хотел сделать грубости..." и т.д. Это просто глупо.

Письмо мое нелепо. Тата болтает возле и стол толкает, ни рукою, ни мыслью владеть не могу. – Письма ваши послала Ал⟨ександру⟩[13]. Да не скучайте так, машина паровая идет быстро, подошла под туннель – выйдет на свет, сам механик, знаете. Пишите-ка нам чаще. Жму вашу руку.

Вероятно, недолго дадут нам жить и в Швейцарии[14].

Ну, а болтовня-то везде своего рода. Сергей Иванович, я и здесь знаюсь только с одной женщиной[15], так ведь они несложны все. За то слыву кокеткой, что дружна всё с мужчинами – не отрекаюсь от этого, все, что вам угодно, все пакости, какие только вздумается приписать мне, – на все согласна. Скажете "гордость, барыня" – может быть. Широко мне и вольно и знать ничего не хочу...

Ну, а как здесь душно, если бы вы знали, – не лучше Плющихи[16], хуже иногда, право. И как подчас страдаешь – меня облегчает только то, что мне не помешает ничто делать то, что я могу делать на своем месте, а место это я не променяю на генеральский чин. Лишь помолитесь святым угодникам, чтоб продлили, батюшки, мою жизнь.

[1] Н.А. Тучкова и Огарев в письме от начала июня 1849 г. сообщали Герценам о своем отъезде в Крым (*РП* IV, 90–92).

[2] Герцен в это время был в Женеве. Он получил письмо 30/18 июня (см. XXIII, 153).

[3] Е.А. Тучкова 27 мая/8 июня 1849 г. стала женой Н.М. Сатина. Вернувшись из Крыма, Н.А. Тучкова писала к Н.А. о сестре: "Я знала, что она вышла замуж без любви, второпях; я приехала сюда в страшном беспокойстве; сначала я боялась, но теперь убедилась, что они созданы один для другого; С⟨атин⟩ ее ужасно любит, да и она его, только сначала она старалась это скрыть от меня, – почему, не знаю" (*РП* IV, 103).

[4] Огарев просил Герценов добиться согласия М.Л. Огаревой на развод.

[5] Письмо Герцена к М.Л. Огаревой не сохранилось.

[6] О неудачных попытках Гервега добиться встречи с М.Л. Огаревой см.: XXIII, 130–131.

[7] Очевидно, имеются в виду сплетни, порочащие А.А. Тучкова, Огарева и Н.М. Сатина и явившиеся впоследствии поводом для их ареста. Н.А. Тучкова писала в 1851 г., вспоминая это время: "Клеветы со всех сторон хлынули на нас, но их мы перенесли с гордой твердостью" (*РП* IV, 126).

[8] 20/8 июня Герцен во избежание ареста вынужден был срочно выехать из Парижа с чужим паспортом. Саша вместе с Фогтом приехал к отцу в Женеву 30/18 июня.

[9] В начале июня Герцены сняли дачу в Виль д'Аврэ. Н.А. писала Н.А. Тучковой 9 июня: "Я живу теперь à la Robinson маленький домик, состоящий из одной маленькой комнатки, в нее ведет лесенка, сплетенная из ветвей древесных, кругом цветы, а у входа три тополя, достающие небо, стерегут меня от зноя, солнца и от холода людей. Не шутя, друг, я никогда не жила так свободно и поэтично" (*РП* I, 270).

[10] Эта фраза отражает неуверенность Н.А. в том, что положение Герцена как человека, политически неблагонадежного, может быть прочным где бы то ни было.

[11] Огарев и Н.А. Тучкова были в это время в Крыму, в местечке Учь-Чум, под Ялтой. В письме от середины июля 1849 г. Огарев писал Герценам: "Я еще не знаю, куда денусь на зиму. Пишите нам через Гранку" (*РП* IV, 98). *Гранка* – Т.Н. Грановский.

[12] Ср. XXI, 29–30.

[13] Герцен получил письма Астраковых 30/18 июня. Ответ его на эти письма см. XXIII, 155–158.

[14] Герцен вернулся из Швейцарии в Париж в конце декабря 1849 г. Н.А. Герцен с детьми приехала к нему через месяц.

[15] Эмма Гервег.

[16] Астраковы жили в Москве на Плющихе.

85

⟨Женева. 11 августа н. ст. 1849 г.[1]⟩

Письмо твое от 21 июля, моя Таня. – Ах, все-то вы тоскуете, все горюете![56*] Как бы помочь вам всем сердцем, всей душой! – Теперь тебе пуще скучно без Сер⟨гея⟩ Ив⟨ановича⟩[2]. – Эта записочка не в счет, я сейчас кончила письмо к М⟨арии⟩ Ф⟨едоровне⟩[3]. Из него ты можешь узнать все, что с нами происходит. А потом я соберусь и тебе, моя Таня, напишу большое письмо. – Мы все здоровы, а бедный Александр страшно страдает, ему, выдергивая зуб, повредили десну и челюсть, сделалось воспаление, вообще его здоровье не прежнее.

Как не стыдно тебе думать, что Natalie из приличия подарила тебе свой портрет![4] – Если б я смела, я бы, на коленях стоя, попросила бы тебя прислать мне его, хоть на время. – Об Hélène – врут[5]. Да, впрочем, теперь так многое называют кокетством, что и я не отрекаюсь от него. – Ну, так пока прощай. Не сердись же, что мало пишу, это только для того, чтоб скорей тебе дать весть.

Рукой Саши:
Мне нельзя потормашиться с тобой и это очень жаль.

С а ш а

Рукой Н.А. Герцен:
11 августа.

[1] Год устанавливается по содержанию: Герцену неудачно удалили зуб 2 августа 1849 г. в Монтрё (см. XXIII, 170).

[2] С.И. Астраков в августе ездил куда-то по делам Огарева.

[3] Это письмо неизвестно.

[4] О каком портрете Тучковой идет речь – неясно. В настоящее время известен лишь один ее портрет в молодости (около 1846 г., совместно с Е.А. Тучковой – Музей Герцена в Москве). Все остальные дошедшие до нас портреты относятся уже к периоду пребывания ее за границей. Н.П. Анциферов в обзоре иконографических материалов "пражской коллекции" пишет, что к годам молодости, годам пылкой дружбы с Натальей Александровной относится "медальонный" дагерротипный портрет Н.А. Огаревой, висевший в парижской квартире Таты и описанный Е.С. Некрасовой в "Путевых заметках" ("Лит. наследство", т. 63, с. 771), но полной уверенности в этом нет. «Про этот портрет, – замечает Некрасова, – Ол⟨ьга⟩ Алек⟨сандровна⟩ Моно сказала: "Натали была лучше, чем на этом портрете. У нее были очень интеллигентные глаза. Она бывала очень интересна, когда бывала в хорошем настроении"» (*РГБ* 196.7.19, вторая книжка, л. 18об. – 19). Такая оценка заставляет скорее предположить, что речь идет о портрете, относящемся к тому времени, когда Ольга Александровна была уже знакома с Тучковой-Огаревой. Местонахождение этого портрета пока остается неизвестным. Воспроизведение его в печати не появлялось. О своем "молодом" портрете Наталья Алексеевна писала Е.С. Некрасовой: "В бумагах Герцена остался мой дагерротип, который был снят в день нашего объяснения с Огаревым" (*РГБ*, ф. 196.18.18, л. 9об.).

[5] См. прим. 7 к п. 84. Сплетни, порочащие семью Тучковых, не щадили и Е.А. Сатину.

86

⟨Женева. Начало октября н. ст. 1849 г.[1]⟩

На днях мы ездили отыскивать себе жилище на зиму, потеплее, чем Женева, – хотели было на юг Франции или в Италию, но там, говорят, холера. Есть местечко, называемое Вето, деревушка, где три-четыре домика, на другом конце озера, в этом местечке есть высо-о-о-кая гора, возле горы есть маленький домик, с садиком, с террасой, откуда вид удивительный; там, я думаю, в этом домике, поселимся мы на зиму, а впрочем, не знаю[2], так проекты наши часто меняются, и то не от каприза нашего, а не знаю, от чьего! Я уж начинаю привыкать к мысли снова заводиться хозяйством, до сих пор мы жили в отелях, и ты не можешь себе представить, как заманчиво это свободное жилье; с некоторых пор мне вовсе не хочется пустить где-нибудь корни, устроиться надолго, все что-то где ни поживешь, опротивеет, оттого что людей везде много противных, отовсюду так бы и бежал не знаю куда. В трудное вре-

[56*] *В подлиннике* всѣ, *т.е. следует читать* все, *а не* всё. – *Ред.*



ЖЕНЕВА. ПРАВЫЙ БЕРЕГ РОНЫ

Слева направо: Остров Руссо, отель Де Берг, улица Монблан, набережная Монблан

Литография, 1855

Публичная и университетская библиотека, Женева. Воспроизводится по книге: P. Bertrand, C. Bergholz. Genève hier et aujord'hui. Genève, s.a.

В 1849 г. Герцен с семьей жил в отеле Де Берг

мя живем мы, нечего сказать! От одного берега отстали, к другому не пристали, хорошо еще у кого судно хорошо и прочно, а то большей частью так, "утлый челн" – ах, Таня, Таня, умны мы очень стали, вот беда, ведь птицы и другие животные счастливы? Ну кто же нам велел развиться в человека, а вся беда только в этом.

Ты пишешь о М⟨арии⟩ Ив⟨ановне⟩ Полуд⟨енской⟩. Не знаю, говорила ли я тебе о ней когда, а она надоела нам всем, как горькая редька, вдруг сойди с ума, в самом деле или нарочно – до сих пор никто не может решить, доктора то советовали отправить в maison de santé[57*], то опять велели подождать; ты знаешь ли, что она жила несколько времени у Луизы Ив⟨ановны⟩, там за нею ухаживали и холили ее, как дитю, с добротою сердца, кончили тем, что буквально перестали пускать на двор. Об каждом человеке она думала, что хочет ее отравить, по ночам не спала и никому не давала спать, отворяла окна и кричала на улицу прохожим, что она попала в разбойничий притон, и умоляла о спасении, то явится ночевать, то от нас к Тургеневу – представь себе наше положение – что за вид, что за глаза... Я, бывало, несколько дней не оправлюсь после ее посещения – а там вдруг приедет как ни в чем не бывало, и эти перемены так быстры, и одна за другою. Деньги посыпала по земле, Коля бедный![3] Сердце кровью обливается, глядя на этого ребенка, ничего испорченнее не видывала, а может, выработается, умен. Бросая деньги, она занимала у всех направо и налево, даже вещи. К знакомым и чужим являлась с одной и той же фразой: "Вы одни можете спасти меня" – а там пойдут бесконечные рассказы о всех заговорах против нее; бывало жаль смертельно, страшно видеть ⟨*неск. нрзб.*⟩ ума, а бывало и досадно, потому что она, придя в себя, продолжает сумасшествовать. Я убеждена, что если б она хотела с твердой волей не сходить с ума – она могла бы это, мне кажется; это не что иное у нее, как послабление всех нравственных сил и умственных способностей вследствие неудовлетворенного самолюбия. Что странно нам всегда казалось – что в пущее сумасшествие она писала письма не безумные и чрезвычайно трогательные, с тех пор как мы уехали[4].

Теперь скажу тебе о нашем житье-бытье: 1 октября мы были на Mont Anvers и в

57* в психиатрическую лечебницу (*франц.*).

ледниках Шамуни[5]. Все эти впечатления новы, а все новое – если оно не неприятно – приятно потому же, что ново. Но только ты настрадалась бы, моя Таня, видя меня и Сашу на мулах, едущих на краю пропасти, один неловкий шаг – и вдребезги; но, говорят, никогда не случается этих неловких шагов, так часто путешествуют тут, мулы очень привыкли. Мы ездили туда по проливному дождю. Ал⟨ександр⟩, чтоб сократить сход, – катался иногда кубарем по камням вниз: и теперь еще тело в огромных синих пятнах[58*].

[1] Датируется по содержанию: о намерении снять на зиму дом в местечке Вето Н.А. сообщила Э. Гервег 10 октября н. ст. (XXIII, 197).
[2] Этот проект не осуществился.
[3] Сын М.И. Полуденской.
[4] Письма М.И. Полуденской к Герценам неизвестны.
[5] Описание этой прогулки см. в XXIII, 194 и "Лит. наследстве", т. 64, с. 267.

87

Приписка к письму Герцена[1]

⟨Женева. 9 октября н. ст. 1849 г.⟩

Дай мне твою руку, моя добрая, моя хорошая Таня! Жаль мне тебя, ужасно жаль, – вот все, что я могу сказать тебе в утешение, да это и немалое утешение, большего его я и не знаю другого, быть поняту, сочувствуему – да что ж еще нужнее в жизни? – Нужнее только есть, пить, спать, согреться. – Быть полезну человечеству? Трудиться для него?.. Да кто оно такое иль что оно такое – спасибо, топить на ветер? Нет, я уже не хочу трудиться (ведь не один материальный труд – труд), – да я и не знаю, чего я хочу, хочу только любить то, что́ еще люблю, – вот и всё!

Бедная, бедная моя Таня! Как бы я села возле тебя, пожала бы, подержала твою руку, может, поплакала бы с тобою. – Какая глупая шутка жизнь – фу ты боже мой! И тем она еще отвратительнее, что глупо шутит с умными людьми, а с глупыми так себе, ничего. – Если бы ты знала, что́ мы видим здесь, какие и какие трагические положения – что людей – не хуже тебя, меня – мрут буквально с голода...

Глупо ты делала, что давно не написала просто о деньгах, будь умней вперед, а я была преспокойна на твой счет, потому что Ал⟨ександр⟩ писал Гр⟨ановскому⟩[2] взять для тебя у кого[59*]. Что ты так стала бояться смерти – увидимся – хорошо, очень хорошо, а нет, смерть еще не худшее. А хотелось бы увидеться – ну да что об этом!..

Спасибо тебе за подробности, вот что, пиши мне все, все[60*] всегда. Это необходимо, знать вещи как они есть.

Машенька горюет о смерти матери[3]. Они теперь в Цюрихе, Коля ходит уж в заведение, это, говорят все, – лучшее в Европе; если б я вздумала благодарить их за то, что они делают для Коли, – так не стало бы слов; мы скоро поедем туда посмотреть на их житье-бытье. Наташа, Саша утешают меня каждый своим манером, во всем, что делают дети, в самом бессмысленном, я нахожу больше смысла, чем во всем, что делают люди, потому что то, что дети делают, – натурально, если только люди их не испортили...

Что же ты не говоришь ничего о путешествии Сер⟨гея⟩ Ив⟨ановича⟩ и как он нашел Огарева и пр.[4] Мы получили недавно от них письмо[5], им обоим хорошо, Natalie была больна очень[6], О⟨гарев⟩ беспокоится о медленном ее выздоровлении, пиши мне все, что узнаешь о них и о Сатиных, я люблю Елену, она милое дитя, только слаба, без харак⟨тера⟩, надо уметь взяться за нее.

[1] См. XXIII, 195–196.

[58*] Конец письма не сохранился. – *Ред.*
[59*] *Исправлено Герценом на* откуда взять, если кому нужно. – *Ред.*
[60*] Несколько зачеркнутых и не поддающихся прочтению слов. – *Ред.*

[2] См. письмо Герцена к Грановскому от 2–5 августа н. ст. (XXIII, 170 и 172).
[3] П.А. Эрн умерла в Москве 27 августа/8 сентября.
[4] См. прим. 1 к п. 85.
[5] Письмо от 24/12 сентября ("Лит. наследство", т. 61, с. 793–794).
[6] Н.А. Тучкова вспоминала позднее: "В одну из ⟨...⟩ прогулок я сильно промочила ноги и тяжко захворала воспалением в груди ⟨...⟩ Я была близка к смерти, но молодые силы победили болезнь" (*Тучкова-Огарева*, 82).

88

Приписка к письму Герцена[1]

⟨Женева. 13 ноября н. ст. 1849 г.⟩

Милая, милая моя Таня, много бы сказать тебе – да видишь, такая везде стужа, рука окоченела[61*]. Пока, добрый друг, будет с тебя то, что мы живы, живем где-то, – минутами бывает хорошо, часами худо. Умоляю тебя, пиши о всех страстотерпцах киевских, троицких, соловецких угодниках и чудотворцах, о себе более, все, все[2]. Иван Алексеевич[3], бывало, когда ему принесут газеты, – он их развесит перед печкой, а то насморк и кашель сейчас, видишь, бумага сыра. Вы тоже все деликатного здоровья, так и страшно, что закашляете от письма, посуши его поскорее, ну а мы все покрепче, так пиши старому твоему сослуживцу.

[1] См. XXIII, 209.
[2] Имеются в виду, очевидно, московские друзья Герценов.
[3] И.А. Яковлев.

89

⟨Женева. Начало ноября н.ст. 1849 г.[1]⟩

Большого-то письма написать еще не собралась, моя Таня, а словечко хочется сказать – еще особо, а то я написала несколько словечков ко всем вам[2], да не знаю, прочтешь ли ты их. – Мы живы, и то здоровы, то похвораем, но, главное-то, живы. Вот и все, интереснее ничего не нахожу. Коли живы, так, значит, помним и любим тебя. Natalie и О⟨гарев⟩ писали нам, что они очень полюбили тебя и Серг⟨ея⟩ Ив⟨ановича⟩. – Уезжаем отсюда – куда – не знаю. Пиши на имя Макас⟨ины⟩[3] в Цюрих.

Дети милы, а свет гадок.

Твоя Natalie

Не знаешь ли чего о Дм⟨итрии⟩ Мих⟨айловиче⟩ Щепк⟨ине⟩[4]. Да не нужны ли тебе деньги? – Да пиши же, не мсти мне.

[1] Датируется по содержанию. О симпатии к Астраковым Н.А. Тучкова и Огарев писали в совместном письме от 17/15 июля (см. *РП* IV, 96 и "Лит. наследство", т. 61, с. 789). Так, что данное письмо написано не раньше августа. Однако фраза: "Уезжаем отсюда – куда – не знаю" – заставляет отнести его к осени того же года, когда выявилась необходимость покинуть Женеву, но еще не вполне определилось, где проведут Герцены зиму 1849/50 г.
[2] Это письмо Н.А. неизвестно.
[3] Прозвище М.К. Эрн.
[4] Д.М. Щепкин в 1840-х годах учился и лечился за границей, где и познакомился с Герценами. В Россию вернулся в 1849 г.

90

Женева. 6-е декабря 1849

Сейчас читала и перечитала твое письмо. Письма из России – для нас событие, так редко получаем мы их, и так важны они для нас. Все, что ты пишешь мутного, моя Таня, о московском житье-бытье– ложится тяжелым слоем на сердце[1]. Это жи-

[61*] Боюсь и тебя простудить.

тье, malgré tout[62*], сохранилось в моем воспоминании теплым, святым, полным жизни, это не романтизм, не сентиментальность, а так оно действительно было. Я бы ужасно желала и ужасно б боялась воротиться... Все что ты пишешь о себе, мне нравится, и я бы очень желала посмотреть на тебя в сризовой[63*] ленточке (красная лучше). Разумеется, друг, чем больше будешь заниматься созданием своего собственного мира – тем лучше будет; право, даже материальное лучше тогда переносится. Прочти непременно роман Жорж Занд "François le Champi"[2], я к нему имею большую симпатию. Должно быть, это лета: как, бывало, стремился – стремился обнять всю вселенную, узнать ее, любить и усовершенствовать, и что претерпел за это! – Сколько прошло лет в этом стремлении и страдании – и хорошо, это страдание было наслаждение, я вспоминаю о нем, как о детстве, когда хотелось достать с неба звездочку и заставить говорить куклу. Но, наконец, живши столько жизнию других – принимая само стремление за достижение – мало-помалу начинаешь себя видеть, чувствовать одиноким – я говорю одиноким оттого, что не говорю о тех двоих или троих, которые нам близки, ближе нас самих; но по мере того как внешний, воображаемо-близкий тебе мир удаляется от тебя, исчезает – внутренний, реальный, – интимный растет и богатеет. Теперь я в этом периоде, моя Таня. Я со многим рассталась, как с верою в будущую жизнь, но не беднее оттого стала, напротив; я даже с верою в настоящую жизнь рассталась, т.е. в возможность и необходимость делать то (именно) или другое, живу больше и больше спустя рукава и даже руки; живу проще, отдаюсь больше своей натуре, верю ей больше; нога ступает вернее, сердце довольнее, а осматриваюсь меньше, почти совсем не осматриваюсь. Сколько теснил, убивая жизнь, грех есть скоромное и т.д. –? Сколько еще теперь грехов и предрассудков в этом роде... Когда я всматриваюсь в жизнь [других] лучших, свободнейших людей – мне делается страшно и душно; не думай, милая моя Таня, чтоб я "расшагалась", как ты говоришь, о! если б ты знала, как нежнее, как тоньше становится чувство, как делаешься чище, святее, стыдливее. – Как ценишь все, как признаешь все, как любишь! Не показывай этого письма, оно глупо написано, ты поймешь меня. Я верю, что я прожила столько, лишь глядя в зеркало – так свеж для меня аромат жизни, зато с каким ужасом бегу я дымной, чадной среды... Ровно пять месяцев как мы в Женеве, я не говорила почти ни с одной женщиной, ни с кем не знакома, ни с кем! Все и все мне кажутся хуже того,что́ у меня дома.– Ты, может, посмеешься над этим, а оно так (да ты и не посмеешься!). Ал⟨ександр⟩ – что это за юная, свежая натура, светлый взгляд, светлое слово, живая жизнь – с ним держишься на такой вышине и в такой ширине – что все кажутся какими-то тяжелыми жуками, роющими землю. Потом с нами живет здесь Георг, изящнее, поэтичнее я не знаю натуры; и все мы так сжились, так спелись – я не могу представить себе существованья гармоничнее.

Скоро оставим Женеву, хочется слышать Колю, он начинает говорить, сердце замирает при этой мысли; я так благодарна за него Луизе И⟨вановне⟩ и Маш⟨еньке⟩, что не могу даже благодарить их. Пробывши у них несколько времени, не знаю, куда нас ветер занесет, ветры здесь дуют сильные[3]. Я думаю, ветер прибьет нас куда-нибудь вместе с семейством Георга, у них двое прелестных детей[4], с ней мне хорошо, я люблю ее, необыкновенная женщина, выражение пошло, но тем не менее справедливо. И будем где-нибудь на юге, у моря собирать камушки – смотреть, как солнце тонет в нем и заливает его лазурь своим огнем – дети здоровы, веселы, – чего же больше? Теплое широ́ко[5] (я люблю этот ветер) принесет ваш привет, милые, далекие друзья, хоть и не с вашей он стороны, а все-таки принесет, и мы вам пошлем привет, и вы услышите, почувствуете, я верю этому!..

Как все бежит от себя, как все занимается не тем, что близко его, если б эту деятельность, эту энергию обратили на образование человека – я думаю, это подействительнее бы было либерализма, в моих глазах она износилась, эта форма развития, идея, разумеется, бессмертна, я не отрицаю учение Христа, а не могу вынести того,

---

[62*] несмотря ни на что (*франц.*).

[63*] вишневой (от *франц.* cerise – вишня).

как его унизили, опошлили; куда забрел человек, вооруженный Крестом? Страшно вздумать, если и либерализм будет так блуждать; человек ищет всего в жизни, кроме жизни...

8-е, что ли то, не знаю. Опять перечитала твое письмо. Меня бы удивило, если б ты иначе написала о Д⟨митрии⟩ М⟨ихайловиче⟩ Щеп⟨кине⟩, т.е. если б о нем иначе говорили, он странен и даже неприятен может казаться большей части людей, особенно когда его не знают, как все натуры, которые не тащат тяжесть приличий и отношений опустя голову, как запряженные волы. Я мало его знаю, но эта натура мне не чужда – большое счастие при встрече с человеком! Я, впрочем, не ослеплена и чувствую, что не гладко. – Прошу тебя, напиши мне, что знаешь об Анненкове, если увидишь его, напомни ему нас, мы его любим и вспоминаем, попроси его написать несколько строк только о том, что до него касается. Жаль мне, что ты пишешь об Елене Сатиной, жаль, если и ее жизнь втечет в мелкую, мутную речишку... впрочем, когда увидишь ее, непременно спроси от меня, получила ли она мое письмецо, с надписью "пажу"?[6]...

Ты говоришь о Natalie – я не только люблю, влюблена в это существо, может и вижу ее слишком пристрастными глазами, но что ж мне с этим делать? Она слишком много дала мне счастливых минут своим появленьем, своей любовью ко мне и тем, что заставила меня так любить себя; может, я даже люблю ее более, нежели она меня, – это должно так быть, но я ничего не требую от нее, люблю ее страшно и довольна этим, довольна ее существованьем. Насчет ее откровенности – она, я думаю, скорее будет откровенна до грубости, чем хитра; и на любовь, даже на расположение нерасточительна. – Ты мне никогда не говорила, как ее поняли в нашем кругу?[7] – Я сама иногда дивлюсь и сержусь на себя за то, что так безрассудно, со всем увлеченьем юности люблю эту толстушку, как будто мы ровесницы. Да я и детей так же люблю и часто забываю разницу наших лет, и будто я тоже – то девочка 5-ти лет, то мальчик 10-ти.

9-е ⟨декабря⟩

Ты спрашиваешь о детях – счастлива я ими, Таня! Я и в этом отношении умнее стала, не создаю себе идеала сына и дочери, а по крайнему разуменью стараюсь (не делая ни малейшего насилия) развить то, что лежит в возможности, а главное, отстраняю препятствия к этому развитию[64*]. Опять то же – верю натуре более, нежели чему другому, а что препятствий!.. Соприкосновение с людьми портит более всего ребенка; общество их, как воздух больницы, заразителен; редкое слово, обращенное ребенку, не возмущает меня, все принимают их за игрушек и лишь забавляются ими, иные грубее, иные деликатнее, тогда как ребенок заслуживает не менее уважения, чем взрослый, почему взрослый заслуживает его более?? – Большая часть взрослых, хочу я сказать, я далека от того, чтобы презирать их, но уж, конечно, всякое насекомое уважаю столько же. Дети (вообще) гораздо более интересуют меня, чем большие, для них и из них еще можно что-нибудь сделать, а те – царство им небесное! Не можешь ли ты написать Гр⟨ановскому⟩, чтоб он выбрал и прислал книгу для Саши, мне стоит страшных усилий поддержать рус⟨ский⟩ язык, решительно нечего читать. – Сашей, кроме некоторых, выводящих из терпения (особенно когда сам не в духе) – детских неизбежных шалостей – я довольна. Я часто забываю все, глядя на него. Наташа славная девчонка, ее даже и Ал⟨ександр⟩ любит ужасно. – Однако про⟨щай⟩, Таня, ужасно тороплюсь, чтоб отправить. Пиши опять в Цюрих и скоро и больше. Сер⟨гею⟩ Ив⟨ановичу⟩ жму крепко руку, от души и всем друзьям.

Твоя Н.

Я жгу твои письма[8], поэтому пиши мне все, ради любви моей ко всем. Ты понимаешь меня.

О портрете, Таня, – не думай, чтоб я не желала сделать тебе этого удовольствия, но, прошу тебя, подожди, теперь я не могу.

[64*] Я думаю, в этом и должно состоять *воспитание*.



САША И ТАТА ГЕРЦЕН

Дагерротип. Ницца, 1851

Музей Герцена, Москва

"Palmier (...) писал мне, чтобы для развлечения я прислал дагерротип Таты и Сани" (Герцен – Н.А. Герцен. 24 июня 1851 г.)

Насчет нефранкированных писем как-нибудь обделаю, смешно думать об этом. Пиши, пиши!

Ну об раме что ж и говорить[9]. Пожми за меня Никифору искренно руку[10].

[1]Речь идет, видимо, о распаде московского кружка. Вот что писала Астракова к М.К. Эрн три месяца спустя – 28/16 февраля 1850 г.: "Как-то после вашего отъезда все начало распадаться, все стало хуже и хуже, и, наконец, теперь все превратилось в скверную развалину" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 768, л. 10–10об.).

[2]Роман Жорж Санд "Франсуа-найденыш" вышел в свет в 1848 г.

[3]Намек на резкое ухудшение отношения швейцарских властей к политическим эмигрантам, находившимся на территории Швейцарии.

[4]Горас и Ада Гервеги.

[5]Теплый южный и юго-восточный ветер в бассейне Средиземного моря.

[6]Н.А. называла в шутку Е.А. Тучкову своим "пажом". Письмо, о котором идет речь, неизвестно.

[7]В кругу московских друзей Герцена и Огарева появление Н.А. Тучковой было встречено более чем сдержанно. Она сама тоже недолюбливала друзей Огарева. 14/2 июля она писала Герценам: "Т⟨атьяну⟩ А⟨лексеевну⟩ люблю и Сергея Ив⟨ановича⟩ люблю: вот и все для московских" (*РП* IV, 98).

[8]Т.А. Астракова, очевидно, боялась, что нелестные характеристики, которые она давала в письмах членам московского кружка, могут попасться на глаза кому-то из окружения Герценов. Писем Астраковых к Герценам сохранилось действительно очень немного.

[9]Речь идет, видимо, о проданной по просьбе Герценов, но остававшейся у Астраковых картине Айвазовского. См. об этом XXIII, 127, 129 и др.

[10]Приписку Герцена см. XXIII, 214.

91

1851. Мая 28/июня 9. Понед⟨ельник⟩. Ницца

Сию минуту получила твое письмо, милая, добрая моя Таня[1]. Благодарю, что вспомнила обо мне в своем горе[2]. Да что и говорить, чем больше смотришь на людей и на их жизнь, тем неотступнее вопрос – да зачем же было родиться? – Природе не нужно ответа, да и вопрос-то этот в ней не является, она добивается до самосознания всеми средствами; заблуждения, неудачи, страдания, бесчисленные жертвы – до них ей дела нет. – Может, и права она, – ведь иная минута такова, что для нее стоило родиться, измучиться и умереть; иное слово, взгляд, мимолетный звук – запах цветка – разом успокоит тебя и втянет в жизнь жаждущую одной смерти душу твою. – Спешу, друг мой, скорей послать письмо в Париж, куда поехал Ал⟨ександр⟩, потому что доктора здешние сказали ему, что он не может по своему полнокровию более здесь оставаться, а парижские доктора позволили ему на некоторое время воротиться туда, только, я думаю, и там ему не поздоровится опять, и надо будет искать климат более приличный, может, Англия?[3] – Я с детьми подожду решения здесь; жаль оставить эту страну, особенно море, теперь дети каждое утро купаются, да и сад у нас чудесный, гимнастика в нем – а занятия все так ловко и приятно устроились. Уложивши детей, вечером мы учимся анатомии у одного известного зоолога[4], ужасно интересно. Я уверена, что со временем естественная история будет первым, т.е.

ранним и главным, предметом изучения людей, от скольких болезней физических и нравственных предохранит это изучение! Меньшая дочка моя, кажется, еще милее всех[5]. Прощай, обнимаю тебя, будь здорова. 8-го мая мы вспоминали тебя и Кет⟨чера⟩[6] и пили за ваше здоровье. Если много не можешь, так хоть сколько можешь пиши мне о всех.

К Natalie я писала так, как чувствовала тогда[7], смешно, сколько юности в такой старости! Я безумно люблю Natalie, безумно верю в нее и была безумна, когда писала к ней, но она умно сделала, что не поехала[8], вероятно, я проживу еще долго. Как бы хотелось от нее письма! Пусть ленится[9], видно, хорошо ей на свете, я радуюсь. Два года стоит у нас микроскоп О⟨гарева⟩, узнай от них, куда или кому его послать[10]...

Сер⟨гею⟩ Ив⟨ановичу⟩ дружески жму руку, не надо унывать, авось ли прояснит.

А что Никифор?

Ал⟨ександр⟩ пошлет тебе уж из Пар⟨ижа⟩ сколько можно[11].

[1]Письмо от 22/10 мая (см. *РГБ*, ф. 69.9.14).

[2]Астракова писала о своем бедственном материальном положении и просила о денежной помощи. Ее ответное письмо к Герценам с благодарностью за выручку см. в *РГБ*, ф. 69.9.15.

[3]Речь идет о высылке Герцена из Ниццы, входившей тогда в состав Пьемонтского королевства.

[4]К. Фогт.

[5]Оле в это время было шесть месяцев.

[6]8 мая 1838 г. – день "похищения" Герценом невесты при содействии Н.Х. Кетчера и Астраковой.

[7]Астракова в письме от 22/10 мая писала: "Я понимала тебя, как мне казалось, всегда лучше других, и понимала верно; но теперь меня поставило в тупик твое письмо к Natalie; когда Огарев мне рассказал его содержание, я испугалась, я не поверила тому, что ты это писала для того, чтобы вызвать на свиданье, – ты слишком пряма, ты не употребишь уловок ⟨...⟩ твое последнее письмо ко мне несколько успокоило меня, но все еще оно беспокоит меня" (*РГБ*, ф. 69.9.14).

[8]Тучкова не могла приехать в Ниццу, т.к. после ареста Огарева и ее отца (в феврале 1850 г.) получение визы было почти невозможно. Она намекала на это в письме от сентября 1851 г.: "Теперь вы получили мои письмы, вы поняли мое безгласное положение, мое рабство, прикрытое свободой, вы поняли, как я стремилась к вам и как все было тщетно; нет, вы не могли думать, что мое благоразумие меня остановило; вся моя жизнь противоречит этим предположениям ("Лит. наследство", т. 61, с. 796 с приблизительной датой *1850–1851 гг.*).

[9]Н.А. писала Астраковой 22/10 мая: "Огар⟨ев⟩ и Natalie со мной хороши, но они в деревне и ленивы писать" (*РГБ*, ф. 69.9.14).

[10]Астракова сообщала в ответном письме: "К Natalie и О⟨гареву⟩ писала на другой же день, и о микроскопе, и о твоей горячей безумной любви" (*РГБ*, ф. 69.9.15). Огарев отвечал Герценам в ⟨сентябре (?) 1851 г.⟩: "Микроскоп оставьте у себя. Мне не хочется его ожидать, я хочу, чтоб он меня ждал. Покамест здесь обзаведусь другим и провожусь с ним целую зиму" ("Лит. наследство", т. 61, с. 795).

[11]Герцен писал жене из Парижа: "Тат⟨ьяне⟩ Алекс⟨еевне⟩ тотчас по получении письма отослал 350 фр., да еще через Мар⟨ью⟩ Каспар⟨овну⟩ велел ей взять у Сатина в Москве 100 серебр." (XXIV, 180). Астракова в письме от 1 января 1852/ 20 декабря 1851 г. сообщала: "Давно хотела тебе сказать за известие, что я так и не получила никакого ответа от Николая Михайловича по поводу 100 р. Даже лично его видела, и то ни слова, а мне было просто совестно" (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589, л. 13об.).

Н.А. ТУЧКОВОЙ И ОГАРЕВУ

Публикация Ю.П. Благоволиной

"Ты говоришь о Natalie – я не только люблю, влюблена в это существо ⟨...⟩ – писала Н.А. Герцен к Астраковой 6 декабря 1849 г. – Она слишком много дала мне счастливых минут своим появленьем, своей любовью ко мне и тем, что заставила меня так любить себя"[1].

Герцены познакомились с семейством Тучковых в Риме, в декабре 1847 г.[2] Наталье Александровне в это время было 30 лет, ее младшей подруге – 19. Разница в возрасте не помешала им душевно сблизиться настолько, что Н.А. Герцен в последние годы жизни считала Натали Тучкову своей лучшей подругой[3].

Ощущение душевной близости между подругами еще возросло, когда Наталья Алексеевна стала гражданской женой Огарева – человека, духовно столь близкого Герценам.

Публикуемые письма относятся к тому периоду, когда Тучкова и Огарев были уже вместе,



Н.А. ГЕРЦЕН С ДОЧЕРЬЮ ОЛЬГОЙ

Дагерротип. Ницца, 1851

Исторический музей, Москва

а Н.А. Герцен переживала увлечение Гервегом, потом разрыв с ним, а вслед за тем с трудом восстанавливала чуть было не рухнувшую жизнь семьи, пытаясь успокоить и "уврачевать" душевные раны мужа и найти для себя успокоение и смысл жизни в любви к детям, в жертвенном служении семье. Ее потребность в друге была тогда болезненно острой. Это понятно, потому что *сколь бы ни был великодушен и чуток в это время муж, она не могла быть с ним ни в чем вполне откровенной*, всегда боясь причинить ему лишнюю боль. Но и ее собственная боль должна была излиться перед кем-то сполна, а близкого друга рядом с ней в тот момент не было. И пусть очень неполно, урывками и в подтексте, но наиболее искренне настроения Н.А. Герцен "прорываются" в это время прежде всего именно в ее письмах к Натали Тучковой.

Любопытно, что, говоря о любви к подруге, Наталья Александровна часто проводит параллель между своим чувством к ней и чувством к Гервегу, *объединяя их в своем сознании* в нечто близкое, почти единое. Эта параллель удивляет в ее письме к мужу от 12 января 1850 г.[4], но впервые она звучит за два месяца до того в письме к самой Н.А. Тучковой от 13 ноября 1849 г.: "Моя любовь, или, лучше, мое пристрастие, к тебе и Георгу – моя лебединая песнь (...) с окончанием пристрастия моего к вам – конец моей жизни" (п. 1). Причину же своей "безумной" любви[5] к Н.А. Тучковой она видит прежде всего в ее любви к себе. "Любовь моя к Natalie – а больше ее любовь (*да отчасти я и люблю ее так страшно за ее страсть ко мне*)тоже переполняла", – пишет она мужу[6]. Эта фраза чрезвычайно важна для уяснения той психологической основы, на которой возникло ее увлечение Гервегом.

Потребность в любви, недостаток которой так остро ощущался в годы ее трудного, одинокого, "закупоренного" (п. 6) детства, оставалась и затем, на всю жизнь основной потребностью ее души. В годы юности ей выпало огромное счастье: не просто любовь, но и восторженное поклонение такого замечательного человека, как Герцен. В Москве она была окружена восхищенным почитанием его друзей. И она привыкла к этой атмосфере настолько, что вне ее чувствовала себя не вполне удовлетворенной в жизни. Глубокая привязанность мужа в ее внешнем проявлении, естественно, приобретала с годами все более спокойные и привычные формы, а экзальтированная натура Натальи Александровны была чужда спокойствию по самому строю своему. Ровной и спокойной любви мужа, их взаимной привязанности друг к другу, любви к детям ей было, как она откровенно признается в письме к Тучковой, "мало" (п. 6). Надо признать, что атмосфера восторгов и поклонения, окружавшая ее целый ряд лет, не прошла для нее бесследно, утвердив в ее сознании чрезвычайно высокую самооценку, которую она сама обозначает в письмах этого времени как "самолюбие"[7] или "гордость" (п. 6), но которая точнее всего может быть определена словом "гордыня". И болезненно осознанный ею после отъезда из России "дефицит" восторженной любви к ней был заполнен в ее душе сначала искренней привязанностью молоденькой Наташи Тучковой[8], а затем мастерской инсценировкой возвышенной любви, разыгранной Гервегом, вполне опытным "сердцеедом" и хорошим психологом.

Она часто говорила вместе о Георге и Natalie, потому что оба они дарили ей множество ярких и счастливых настроений, связанных с сознанием их влюбленности в нее и боготворения ее личности. Иногда параллели между ними, возникающие в ее сознании, неожиданны до нелепости. "Георг похож на тебя, – пишет она подруге, – зол, несносен и ревнив, как ты" (п. 1). Совсем еще юная провинциальная девочка такой характеристикой искренне изумлена: "Отчего вы говорите, что Георг на меня похож, и зачем вы думаете, что я ревнива?"[9] Наталья же Александровна вкладывает в эти слова ей одной только внятный смысл: "Георг любит так же безумно, как ты". Ведь все перечисленные ею здесь качества Гервега важны для нее лишь как признаки страсти к ней.

Но жажда быть любимой всегда сочеталась в душе Натальи Александровны со страстным ответным чувством и с экзальтированной идеализацией личности любимых ею людей. К тому же любовь к Гервегу развивалась в ее душе в условиях смещения акцентов в ее настроении от озабоченности вопросами общественными, от признания безусловного примата интересов человечества над проблемами судьбы отдельной человеческой личности – к укоренявшемуся в ее сознании все более и более социально-историческому *пессимизму*[10]. "Совершающаяся история – давно совершившееся для меня, я вижу за столетия вперед, стало, и тут нет интереса" (п. 1). "Что делается в *божьем мире* – о том мне говорить не хочется, как-то примелькались революции, возмущения, опошлились liberté, égalité, fraternité, все это пустяки"[11]. Она все более сосредоточивается на своей внутренней жизни: "Хочу жить, жить своею жизнью, жить насколько во мне есть жизни; искать ее вне – пустяки, хотеть ее отдать ⟨...⟩ – тоже пустяки ⟨...⟩ надо жить сколько живется"[12]. И она ищет опоры, общего смысла жизни в таком устройстве "частного", которое служило бы прообразом, образцом идеального миропорядка в будущем.

Но в ее представление о полноценном человеческом бытии всегда входили необходимым компонентом яркость, богатство и интенсивность внутренней, эмоциональной жизни. И эту на время ослепившую ее яркость переживания она нашла в страсти Гервега, которого она, в силу благородства *своей* натуры, наделяла всеми свойствами высшего и благороднейшего существа, искренне веря, что и его любовь к ней родилась из стремления к идеалу, совершенное воплощение которого он смог найти только в ней.

Крушение этой иллюзии было для нее страшным. Три последних из представляемых в этой публикации писем – единственные в своем роде психологические документы, раскрывающие всю глубину душевного смятения, охватившего Н.А. Герцен после разрыва с Гервегом, и воссоздающие настроения последнего года ее жизни.

Первое из них написано в один из самых "болевых" моментов ее биографии – весной 1851 г., когда в душе еще не вполне были порваны нити, соединяющие ее с Гервегом, хотя поведение его она сама уже с болью должна была признать недостойным.

Это письмо очень кратко. Оно содержит просьбу к Н.А. Тучковой немедленно приехать в Ниццу, с таким объяснением необходимости этого: "Легко может быть (так мне кажется), что я скоро умру. Мне многое нужно устроить. Ты мне поможешь" (п. 4). Письмо наделало переполоху в России. Т.А. Астракова запросила более подробных объяснений происходящего, но получила столь же невнятный ответ: "К Natalie я писала так, как чувствовала тогда ⟨...⟩ Я безумно люблю Natalie, безумно верю в нее и была безумна, когда писала к ней, но она умно сделала, что не приехала, вероятно, я проживу еще долго"[13].

Дело в том, что в подтексте этого письма – не болезнь, как подумала не на шутку встревоженная Астракова, – а мысль о самоубийстве. "Смерть, одна моя смерть казалась мне спасеньем себя и других, – писала Н.А. Герцен к Тучковой об этом времени почти через год (...), – тут я звала тебя к детям" (п. 6).

Наталья Алексеевна не могла исполнить просьбу подруги, т.к. она и ее семья находились в это время под негласным надзором полиции и выезд за пределы России был для нее невозможен. Обмен письмами между ними произошел лишь полгода спустя, в сентябре-октябре того же 1851 г. Это время – короткий и последний сравнительно спокойный период жизни Н.А. Герцен. Прошло немногим более двух месяцев после встречи Герценов в Турине, которая принесла обоим радость сознания неразрывности их душевной близости и уверенность в прочности их семейного союза. И письмо Н.А. Герцен (п. 5) по тону спокойно. Но в подтексте его глубокая тоска. Основная тема его – мечта о дружбе, которая боится вновь оказаться иллюзией: "Пусть верится, пусть хоть одна любимая мечта переживет меня, хоть один цветок на могиле... а то все кипарисы, кедры... о мудрость! (...) не прибавляйте вы мне ума, останьтесь моим милым заблужденьем". "Людей мы видим мало, и это все чужие, да уж полно, есть ли родные-то! Да и были ли когда?.. ведь это юность раскрашивает и греет (...) а с жизнью и увидишь, что оно бледно и холодно. А все-таки бы вас хотелось! Авось ли б не мечта?" Глубокий душевный надлом ощущается в каждой строке этого письма, и даже в строках, посвященных семье: "Семья, это несколько существований, слитые в одно, полное, целое, отделенное от всего остального, *кажется*, и жить, и умереть должны вместе, и все, все вместе. В семье теряешься и не ищешь себя, она удовлетворяет, и чем дальше в жизнь, тем более удовлетворяет, так спокойно, так верно в ее пределах. Но все же свое я нет, нет – и дохнет своею жизнью au delà[65*] этих пределов – вот тут-то и нужен ответ, родная грудь". Эти слова в "послетуринском" письме Натальи Александровны – горестное свидетельство того, что для нее возвращение в семью в это время было залогом только спокойствия, но не счастья. Ее *я* все-таки не вмещалось в пределы семьи, которая рисуется здесь не как необходимое условие *обретения* полноты счастья, а скорее как препятствие, стесняющее и *сковывающее* мечту о нем[14]. И не случайны в письме слова: "Как голова горит, ломит грудь, разлился бы весь, весь жгучими слезами в письме к вам..." Встреча и "второе венчание" в Турине, при всей важности его для обоих супругов, не стерло страдания и не смогло изгладить его из души.

Новая страшная катастрофа окончательно подорвала силы Н.А. Герцен: 16 ноября погибли Коля и Л.И. Гааг. Следующее – и последнее из публикуемых здесь писем – послано два месяца спустя. Оно полно уже ничем не сдерживаемого трагизма. После горьких слов о гибели сына, которая повлекла за собой ее тяжелую болезнь, Наталья Александровна переходит к исповеди – первой и единственной ее исповеди в письме, раскрывающем трагическую историю ее любви, но адресованной не мужу и не Гервегу. В письме она объясняет целесообразность разговора об этом тем, что "злой демон" (Гервег) именно теперь возобновил против Герценов свои "адские козни". Внутренне же потребность исповеди диктовалась, видимо, предчувствием близкой смерти. Она не хотела, чтобы Огаревы поверили "ложным слухам", и считала необходимым все рассказать сама. Тон этого письма по отношению к Гервегу однозначно разоблачительный. "Я была в лапах дьявола" – вот вывод, к которому в итоге всего пережитого приходит она. Этому дьявольскому наваждению противопоставлена любовь Герцена, которая явилась ей "впервые во всей неизмеримости своей". Свое состояние того времени она называет "безумием": "Я была вне себя, потеряна, отрезана... ни одной мысли ясной, все существо потрясено". Имя Гервега в письме не названо, но супруги Огаревы знали его оба, и Наталья Александровна могла думать, что им нетрудно догадаться, о ком речь[15].

Это письмо очень важно, как итоговая интерпретация пережитой драмы, сформулированная ее главной героиней. Такая интерпретация сложилась в ее сознании не сразу. На предшествующих этапах, как известно, были и упреки мужу[16], и всплески нежности по отношению к Гервегу даже после разрыва[17], и сознание своей правоты – в некотором высшем смысле этого слова – во всей этой сложной ситуации[18].

Правда, и в этом письме есть несколько неожиданные слова о том, что она вышла из борьбы "довольнее" собой и что лишь "доля" гордости заменилась в ней смирением. Но в целом это письмо – отчаянный крик запоздалого раскаяния, не оставляющий сомнения в том, что Наталья Александровна ушла из жизни, понимая, сколь глубока была ее ошибка и сколь огромна боль, причиненная ею мужу, душевные раны которого она "*осязала*, как апостол Фома". Вера в его любовь, прошедшая за годы их совместной жизни через столько кризисных моментов, смогла быть окончательно утверждена в ее душе только страшной ценой разбившейся жизни.

[65*] поверх (*франц.*).

Письмо кончается призывом: "Я *хочу* жить. Если ж умру, замени, моя N⟨atalie⟩, меня при детях, сколько можешь. – А ты, О⟨гарев⟩, брось все для А⟨лександра⟩".

Огаревы в силу обстоятельств смогли откликнуться на этот призыв лишь через четыре года. Их приезд в Лондон в 1856 г. открывает в жизни Герцена новую драматическую страницу, начало которой было осуществлением воли его первой жены. Но "заменить" Наталью Александровну при детях Н.А. Тучковой-Огаревой, как известно, не удалось, и ее появление в доме Герценов не принесло благополучия его семье.

В настоящий момент нам известно 26 писем Н.А. Герцен к Н.А. Тучковой. 19 из них, в автографах, хранятся в *РГБ* (ф. 69.9.255–271, 273, 274), одно письмо сохранилось в копии рукой Е.С. Некрасовой (там же, 275) и одно в копии Герцена (там же, 276). Кроме того, в *BN* хранятся письма Н.А. Герцен к Н.А. Тучковой в копиях, сделанных рукой последней. Фотокопии с них находятся в *РГБ* < (ф. 69.22.31). Их 25. Они включают в себя все названные выше письма, за исключением того, которое сохранилось в списке Е.С. Некрасовой. Таким образом, 20 из 25 писем этих копий первоисточниками текста не являются. Но там находится 5 писем, которые ни в автографе, ни в других копиях до нас не дошли.

Все 19 писем, сохранившихся в автографах, и письмо, скопированное Герценом, были опубликованы в 1915 г. М.О. Гершензоном в "Русских пропилях"[19] и в настоящую публикацию не вошли. Здесь публикуются 6 писем: не публиковавшиеся ранее 5 писем из копии Тучковой и письмо, сохранившееся в списке Некрасовой. Таким образом, все 26 дошедших до нас писем Н.А. Герцен к Тучковой теперь известны исследователям.

Следует сказать, что п. 6 настоящей публикации, имеющее в тексте вставку Герцена, сохранилось не только в копии Тучковой, но и в переводе на французский язык, выполненном неустановленным лицом (*РГБ*, ф. 69.22.32). Но этот французский текст явно вторичен по отношению к русскому оригиналу[20] и в данной публикации не воспроизводится. Когда, кем и для какой цели был выполнен перевод – установить не удалось.

Публикуемые письма ни в 30-томном Собрании сочинений, ни в "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена" не зафиксированы[21].

Отметим, что в п. 6 одна строка вписана Герценом.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]См. выше, с. 656.

[2]*Тучкова-Огарева*, 56–57.

[3]Ср. письма Тучковой к Н.А. и Герцену в кн. 2-й наст. тома.

[4]См. выше.

[5]Ср. в письме Н.А. к Астраковой: "Я безумно люблю Натали" (п. 91).

[6]*Н.А.* – Герцену (п. 91).

[7]*Н.А.* – Астраковой (п. 76).

[8]Ср. письмо Тучковой к Н.А. от лета 1849 г.: "Вот скоро год, что мы с вами не видались; помните, как мы расставались, я не знала, как пережить этой разлуки, как вас любить спокойнее" (*РП* IV, 93).

[9]Письмо печатается в кн. 2-й наст. тома.

[10]См. вступительную статью к публикации писем Н.А. к Астраковой.

[11]Письмо к Н.А. Тучковой от 8 ноября 1849 г. (*РП* 1, 252).

[12]Там же.

[13]См. прим. 5.

[14]В письме к жене от 22 июня 1851 г. Герцен оценил пассаж из ее письма о любви к детям и о святости воспитания как "удаление" от него и желание "занять" себя (XXIV, 188).

[15]Натали не была уверена, что речь шла именно о Гервеге: "Ты опечален, что мы не догадались, кто твой враг, – писала она Герцену после смерти его жены. – Я угадывала его по своей антипатии. Видя вас в таких близких отношениях, я почти не выражала чувства, которое он пробуждал во мне, я боялась вас оскорбить. Он мне не нравился, казался трусом, но я от него не ожидала злодейства" (*РП* IV, 131).

[16]См. в наст. кн. письма Н.А. к Герцену (п. 12, 26, 32 и др.).

[17]См. обзор Л.Р. Ланского "Письма Н.А. Герцен к Гервегам" в "Лит. наследстве", т. 64, с. 259–318.

[18]"Чиста перед тобой и перед всем светом", – утверждает она в письме к мужу от декабря 1849 г. (наст. кн. Н.А. к Герцену, п. 12); "Раскаяния у меня нет, друг мой, в чем же?" – пишет она ему же через полтора года (там же, п. 37).

[19]*РП* IV, 241–268, 270–273, 276.

[20]Во французском переводе есть пропуски, а также вставка переводчика, явно позднейшего происхождения.

[21]См. в кн. 2-й наст. тома 8 писем Тучковой к Н.А. и Герцену 1848–1849 гг. (публикация Л.Р. Ланского).

1

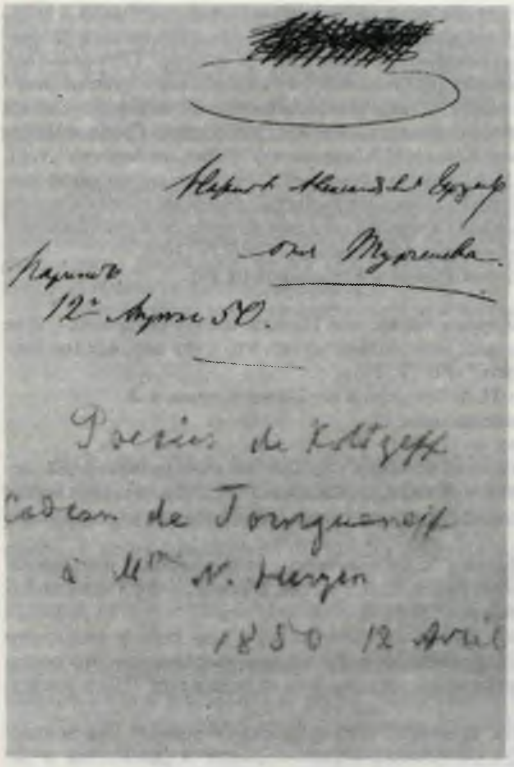
⟨Женева.⟩ 13 ⟨/1⟩ ноября 49 г.

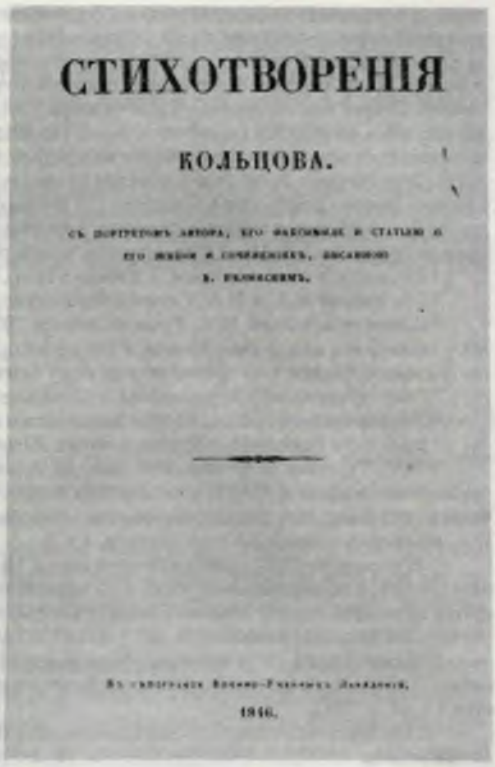
Как давно уж я сердилась, скучала и досадовала, что нет от вас вести, хоть бы стороной узнать. Ну, вот, наконец, сегодня, 13-е ноября – твои строки. О⟨гарев⟩, и твое письмо, Natalie[1]. О моя Natalie, как я глупо люблю тебя – но ведь в жизни только и хорошего, что глупость; умных так много, так много, – а безумных и беспутных, как ты – и... я... мало, да почти только ты одна, оттого я так и люблю тебя, оттого мне и хорошо с тобой. Мужья наши тоже довольно беспутны... но женская натура сильнее, крепче, *они* double extrait* *оне* triple*, они как-то разжижены, того и сего в них, то и се хорошо, но они расплываются, а женщ⟨ины⟩ сосредоточиваются, становятся едче. Право, иногда дивишься, как это не сожгло, не превратило тебя в прах до сих пор то, что внутри?..

У меня нет твоего портрета[2], но я часто, очень часто думаю о тебе, часто мне нужно тебя: дети все под надзором, играют, веселятся, довольны, *они* за стаканами или за бутылками *забыли о нас* (иначе я не свободна в душе), а мы с тобою, скорым шагом куда-нибудь в лес... утро иль вечер, все равно, только лишь бы тепло (le froid me rend malade*). И тут, моя Наташа, я бы свела тебя в подземелье души моей и показала бы все пытки, через которые проходила она; раскрыла бы все заживающие, зажившие и живые раны... на это много не надо, каждая мысль, каждое чувство рана, пытка. Мне кажется, *никто* мне так не сочувствовал бы. А может, и ничего бы не сказала, может, мы перестанем любить друг друга, как будем вместе... страшно, как вспомнишь, как любил и как бежал с ужасом того, что любил... ну, пусть и с тобой разойдемся завтра, меня не касается, я с бешенством, руками и зубами держусь за настоящий миг, и если вырвется то, за что держишься так, оно вырывает и уносит с собой клочки сердца, и надолго так его не станет, ну, так и не беда.

Я не могла понять вашего путешествия из Учь-Ч⟨ума⟩ в Яхонт⟨ово⟩, зачем?.. И, разумеется, вы должны быть там, как рыбы на льду. Да и им, как бы ни любили они вас, неловко должно быть с вами[3]. Пиши мне, Натали, все мелочи, *все* хочу знать о тебе. А об Hélène я говорила всегда, что при малейшей перемене жизнь ее пойдет, как по маслу[4]. Получила ли она мое письмецо через М⟨арию⟩ Ф⟨едоровну⟩?[5] К твоему письму: ты должна мне отчет? ты взяла на себя счастие О⟨гарева⟩? Хорошо ли ты жила вообще?.. Бред, друг мой, пустяки, детский лепет! *ты была*, что ж больше. Довольно ли ты сделала счастливым О⟨гарева⟩? Да если твое *существованье* не делало его счастливым, как же ты сделаешь его счастье?..[6] Впрочем, я думаю, что он нашел в тебе все, что можно искать в жизни. – Ты стала хуже – это хорошо. Твое равнодушие к людям, я думаю, не так велико, как мое, потому что ты столько же любишь лягушку, а я лягушку люблю больше, кроме некоторых, а этих некоторых так мало – и то в любви к ним есть моление: не заставьте разлюбить себя! – Совершающаяся история – давно совершившаяся для меня, я вижу за столетия вперед, стало, и тут нет интереса. Детей я люблю очень, их прошедшее, настоящее и будущее интересуют меня очень. – Когда я прочла Саше, что́ ты пишешь о нем (разумеется, пропустя то, что он лучший ребенок в свете) – у него навернулись слезы, только в ту же минуту стал прыгать и кривляться, вот он весь тут. Коля начинает говорить, это меня бесконечно радует. Наташа, я думаю, будет похожа на тебя. Георг похож на тебя; зол, несносен и ревнив, как ты[7]. Он теперь иначе не зовет людей как лягушками. О⟨гарев⟩ должен ему написать по-русски письмо. Что значит, что ты говоришь: "Не знаю, что будет со мной, неизвестность хуже всего" – не понимаю, объясни. Моя любовь, или, лучше, мое пристрастие, к тебе и Георгу – моя лебединая песнь, я не говорю об Ал⟨ександре⟩. Боже, это я сама, об нем глупо говорить, еще бы уверять, что я люблю себя; с окончанием пристрастия моего к вам – конец моей жизни, т.е. меня можно будет употреблять, как мешок, как стакан иль другую посудину какую – и

66* двойной экстракт (*франц.*).
67* тройной (*франц.*).
68* от холода я становлюсь больной (*франц.*).





ЭКЗЕМПЛЯР "СТИХОТВОРЕНИЙ КОЛЬЦОВА" (СПб., 1846), ПОДАРЕННЫЙ И.С. ТУРГЕНЕВЫМ Н.А. ГЕРЦЕН

Титульный лист и форзац с дарственной надписью: "Наталье Александровне Герцен от Тургенева. Париж, 12-го Апреля (18)50". Ниже рукой Л. Риста: "Poésies de Koltzoff. Cadeau de Tourgueneff à M-me Herzen 1850 12 Avril" ("Стихотворения Кольцова. Подарок Тургенева г-же Герцен 1850 12 Апреля")

Музей Герцена, Москва

только. Ах, кстати, учись быть s⟨age⟩-f⟨emme⟩[69*], ты мне будешь нужна в июне[8], приезжай попробовать свое искусство, а, право, я поверила бы тебе себя скорей, чем кому другому, приезжай же, *я жду*.

Всех интересуют выборы[9], все бегут узнать, та или другая лягушка будет президентом, а для меня (господи, прости мое прегрешение!) – все они – лягушки, одно...

О Тургеневе довольно, он мне надоел, как горькая редька, не унижая нисколько его личности, – я имею большую антипатию к нему, вид его, как вид гроба, мешает мне чувствовать живо, я сейчас вяну с ним[10].

А что́ мой чудесный О⟨гарев⟩, что мало пишут о нем? В нем я люблю все без разбора. А мысль недурна, чтоб вздохнуть и отдохнуть вместе[11].

Получили ли вы наши письма с припиской Георга?[12] отвечайте. А хорошо бы было в домике, который хочет выстроить О⟨гарев⟩[13], как бы мы валялись по полу... да что ни говори, это было бы, будет краеугольный камень, на котором создастся новая жизнь[14].

[1] Письмо Огарева от 23/11 октября 1849 г. (см. "Лит. наследство", т. 61, с. 794–795). Письмо Н.А. Тучковой неизвестно.

[2] О страстном желании Н.А. иметь портрет Тучковой см. выше в ее письме к Астраковой (п. 85).

[3] В конце сентября 1849 г. Огарев и Н.А. Тучкова вернулись из Крыма в Яхонтово. Наталья Алексеевна в "Воспоминаниях", рассказав о своей болезни в Крыму, так объясняет причину возвращения: "Я

[69*] повитухой (*франц.*).

выздоровела, медленно поправляясь и, быть может, от слабости впала в ностальгию, – я только и думала о моей семье, о свидании с нею... Огарев был глубоко потрясен моим душевным состоянием и решился ехать обратно в Яхонтово, тем более что в то время невозможно было ехать за границу" (*Тучкова-Огарева*, 82). Но положение невенчанных супругов создавало для Огаревых ряд сложностей в отношениях с семьей. Огарев писал Герценам 23/11 октября: "А⟨лексей⟩ А⟨лексеевич⟩ очень хорошо поступает, но все же мне здесь unbehaglich ⟨неуютно – *нем.*⟩. Поспеши ты сюда хоть весною ⟨...⟩ А вообще Сатин и Hélène производят на меня впечатление более unbehaglich, чем А⟨лексей⟩ А⟨лексеевич⟩" ("Лит. наследство", т. 61, с. 794–795). Наталья Алексеевна, отвечая на письмо Н.А., тоже сообщала ей: "Вы очень справедливо удивляетесь нашему прибытию в Яхонтово ⟨...⟩ В Крыму было свободнее дышать, здесь всем неловко, но что же делать, надо снести это хладнокровно, мне очень жаль О⟨гарева⟩; он к ним не привык; я причиною его неловкого положения. Папа был, впрочем, очень рад нашему возвращению" (*РП* IV, 103).

[4] См. выше в наст. кн. прим. 3 к письму Н.А., адресованному Астраковой (п. 84).

[5] Это письмо Н.А. к Е.А. Сатиной неизвестно.

[6] В ответном письме Н.А. Тучкова писала: "Вы правы также, моя Натали, насчет О⟨гарева⟩. – Я не могу сделать его всегда счастливым, я это не оспоривала, меня только мучит, что с тех пор, как мы вместе, он много должен был претерпеть за нашу близость" (*РП* IV, 103).

[7] Ответную реплику Тучковой см. в ее письме к Н.А. без даты в кн. 2-й наст. тома, п. 8.

[8] Эта беременность Н.А. Герцен закончилась выкидышем.

[9] Выборы в Народное собрание кантона Женева.

[10] И.С. Тургенев подружился с Натальей Алексеевной во время пребывания ее за границей. Ей посвящена написанная в 1848 г. комедия "Где тонко, там и рвется". Отношения Н.А. с Тургеневым всегда были отчужденно-холодными. См. об этом подробно в комментариях к письмам Тучковой, адресованным Н.А. и Герцену в книге 2-й наст. тома (п. 1 и 3).

[11] В письме от 23/11 октября Огарев писал: "Я более и более чувствую – по положению, и по движению штудий, и по внутреннему горю, и по жаркой любви к тебе, caro, и к тебе, Наташа, – что я могу вздохнуть и отдохнуть хорошо только с вами" ("Лит. наследство", т. 61, с. 794).

[12] Эти письма неизвестны.

[13] Огарев писал 23/11 октября: "Черт знает с чего, однако, бывают минуты уверенности, что когда-нибудь с вами я себе выстрою домик, где будет хорошо и нам и детям нашим из рода в род" ("Лит. наследство", т. 61, с. 795).

[14] Под текстом письма – позднейшая помета Н.А. Тучковой: "Тут приписка Г⟨ерцена⟩". Эта приписка неизвестна.

2

⟨Париж.⟩ 8 февраля ⟨28 января 1850 г.⟩

Слишком много есть сказать вам, Natalie, и ты, О⟨гарев⟩! Поэтому я ничего не скажу. Умоляю, где вы, что вы? Это страшно жестоко, не написать хоть слово, столько времени! Аль вы поверили снова в будущую жизнь? А мне каждый день кажется последним, и потому пишется, пишется, пишется! Один звук, один крик, одну черту вашей рукой!! Аль ты разлюбила меня, Natalie? А если нет, так как же ты не знаешь, как я хочу знать о тебе – это недостойно! – Так и я не напишу же ничего. Знай только, что я люблю тебя и страшно мучаюсь тем, что ничего не знаю о тебе. Обнимаю тебя крепко, так крепко, чтоб было больно. А ты отомсти за меня, О⟨гарев⟩.

Твоя N a t a l i e

Не окончив последнего письма к тебе – я сделалась больна. И мне уже не нужно больше твоего искусства, Natalie[1].

[1] См. прим. 8 к п. 1.

3

Ницца. ⟨Конец июня – начало июля н. ст. 1850 г.[1]⟩

Я рисовать не умею, но, переехавши в эту деревню, я так много думала о тебе, моя Natalie, особенно чертивши на этом листке, что он сделался твоей собственностью и я не могу не послать его. Самое лучшее в нем то, чего не видно, но, может, ты почувствуешь его. Листок этот был гораздо больше, но остальную часть я пришлю, когда узнаю, что получила это[2]. Вспоминаешь ли ты так же часто, как я, наши прогулки, беседы? во мне так все живо – помнишь вечер в Сорренто, катанье по до-

роге в Рим? темная аллея в Париже? Странное существо человек, то вмещает в себе всю пустоту отчетливо, всю ничтожность, всю суетность, и страшно страдает от этого, то, как маленький ребенок, тешится светлой минутой в воспоминании, и на минуту очарованность его так ⟨велика?⟩[70*], что кажется, будто и все светло и полно смысла. Зачем ты пишешь так легко, мимоходом?

[1] Печатается по копии Е.С. Некрасовой. На обороте ее надпись: "Это копия с письма Натальи Александровны Герцен к Н.А. Огаревой, тогда еще Тучковой, написанного на оборотной стороне карандашного наброска с Ниццы, сделанного рукой Н.А. Герцен. Набросок карандашом подарен Н.А. Огаревой для комнаты людей 40-х годов в 1903 г. декабрь". Датируется по упоминанию о прибытии в Ниццу, куда Герцены приехали 23/11 июня 1850 г.

[2] Местонахождение этой части листа неизвестно.

4

⟨Ницца. Март–апрель и. ст. 1851 г.[1]⟩

Дай мне руку, Natalie, и послушай меня: с тех пор как ты не имела от меня вестей – я все так же любила тебя, мне было часто нужно тебя, но писать тебе я не могла. Послушай, я вынесла страшную болезнь, от которой чуть не умерла[2]; оправившись, я вспомнила, что обещала тебе на прощанье увидеться с тобой через три года – и собралась ехать к тебе[3]. Но все мне говорят, и сама я вижу теперь, что мне не доехать до тебя – так приезжай ты ко мне. Ты мне теперь необходима. Несмотря на то, что хочу и что мне нужно жить – легко может быть (так мне кажется), что я скоро умру. Мне многое нужно устроить – ты мне поможешь; и что останется неустроенным, я не могу никому поручить, кроме тебя, моя Natalie! Приезжай. Не сделать этого – было б великий грех против той симпатии, которая связала нас с первой встречи и которая, я верю, – неразрывна до гроба. А может, и после гроба? обратный скептицизм! Если у тебя нет денег – у пажа есть[4] – да найдешь где-нибудь – займи, я заплачу. Других препятствий не должно быть[5].

Пиши сию минуту ответ. Через Т⟨атьяну⟩ А⟨лексеевну⟩.

[1] Датируется предположительно по упоминанию об этом письме в письме Астраковой к Н.А. от 22/10 мая 1851 г. (см. в наст. книге письма Н.А. к Астраковой, прим. 7 к п. 91). Письмо, вероятнее всего, было написано весной этого года, вскоре после разрыва с Гервегом. Ср. письмо Н.А. к Гервегу того времени: "Дай же мне время привести все в порядок, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы меня заменить ⟨...⟩ Я найду, быть может; я увижу Натали, а если она не сможет – у меня есть другие подруги..." ("Лит. наследство", т. 64, с. 310).

[2] О болезни Н.А. в этот период нет никаких сведений. Очевидно, имеется в виду острый душевный кризис, переживаемый ею в это время.

[3] 23 февраля Н.А. писала Гервегу: "Я была одинока – одинока – одинока – я собиралась уехать в Россию, мне нужно было повидаться с Натали, единственным существом, с которым я могла бы поговорить, которое поняло бы – мне кажется, что она поняла бы все в истинном виде, во всей чистоте – мне надобно было рассказать все, ибо я не хочу умереть, не рассказав; я была уже готова, Александр искренне мне помогал в этом, но материальные препятствия остановили меня" ("Лит. наследство", т. 64, с. 305).

[4] Н.А., вероятно, имеет в виду, что Сатин был должен Герценам крупную сумму и мог выдать деньги на поездку Тучковой в счет уплаты части этого долга. ("Пажом" Н.А. в шутку называла Елену, ставшую к этому времени женой Сатина).

[5] О причинах, по которым Тучкова не могла в то время приехать в Ниццу, см. в наст. кн., письмо Н.А. к Астраковой (п. 91 и 8-е прим. к нему).

5

⟨Ницца. Конец сентября – октябрь н. ст. 1851 г.[1]⟩

И вы у нас одни!.. и хоть и мы тоже страшно переменились – между нами ничего не переменилось[2]. Ваш образ наяву и во сне не покидает нас, в бледные дни бледно, смутно носится перед глазами, а чем ярче минута, сладкая иль горькая, тем и он ярче выступает. А разлука-то, как море, пьешь, пьешь – все не убавляется, иногда

[70*] Слово в копии Некрасовой пропущено. – *Ред.*

вовсе отчаиваешься, иногда приободришься и, закрыв глаза, начинаешь снова глотать большими глотками – выбьешься из сил, сядешь на берегу, смотришь, смотришь – безмерно! безответно!..

Неужели все то, что стремится к вам, – потонет в этом море без следа??

Семья – это несколько существований, слитные в одно, полное, целое, отделенное от всего остального; кажется, и жить, и умереть должны вместе, и всё, всё вместе. В семье теряешься и не ищешь себя, она удовлетворяет, и чем далее в жизнь, тем более удовлетворяет, так спокойно, так верно в ее пределах. Но все же свое я нет нет, и дохнет своей жизнью au-delà[71*] этих пределов – вот тут-то и нужен ответ, родная грудь, чтоб не потеряться бессмысленно в бесконечном иль не возвратиться на себя. В молодости ответа ждешь от всего, я его жду, наконец, только от вас. Иль и это слишком юно?? Вопрос этот приходит иногда мне в голову, и свидание с вами сделается так страшно, что я не желаю его. Пусть верится, путь хоть одна любимая мечта переживет меня, хоть один цветок на могиле – а то все кипарисы, кедры... о мудрость, мудрость! Люблю ее, и мысль люблю, и науку люблю, mais je suis trop sage[72*], не прибавляйте вы мне ума, останьтесь моим милым заблужденьем!

Как голова горит, ломит грудь, разлился бы весь, весь жгучими слезами в письме к вам...

Эти строки дойдут до вас, может, холодными, странными...

Может, я и не пошлю их, пока прощайте.

Хоть бы чувствовалось в этой дали горячее рукожатье – ведь изобрели же телеграф, иль одной материи только возможно всё?

Сил нет сразу начать и кончить письмо, и как послать?..

Та страничка писана недели две тому назад, все думалось, как бы побольше уложить себя в письме, да нет, трудно; главное, знаете, живы, не больны, хорошего только и есть здесь для нас, что природа да дети; они приносят отраду и успокоение, не то чтобы думали для них сделать необыкновенное, а довольно иногда посмотреть на их благородные лица. Я тоже, моя N⟨atalie⟩, большую часть времени отдаю им, хоть и не делаешь для них иногда ничего, но так занят ими, что ничего другого не делается[3]. – Людей мы видим мало, и это все чужие, да уж полно, есть ли родные-то? Да и были ли когда? – ведь это все юность раскрашивает и греет так, все встречающееся нам, а с жизнью и увидишь, что оно бледно и холодно. А все-таки бы вас хотелось! Авось ли б не мечта?.. Погулял бы с вами в этом чудном крае, посмотрел бы из окна – показал бы вам семью, она очень хороша. Ведь ты дитя мое, N⟨atalie⟩, люби меня, тебе нехорошо будет, если разлюбишь. Да вот что, пиши все маленькие вздорные подробности о себе, от них так становится тепло, так дома – в небесах...

Микроскоп кланяется[4], я его люблю и уважаю; нынешнее лето, занимаясь физиологией, беседовала с ним весьма много, по целым дням, почтенная особа, да с ним как-то и воспоминание о вас неразлучно. – Живучесть человека велика иногда до возмутительной степени, представь себе, N⟨atalie⟩, после удачного опыта в рисовании, который я тебе посылаю[5], – я взяла несколько уроков – изучай человека! И рядом с этим скорбь о всемирном, о частном.

Ну, прощайте – обнимаю вас – вот так – тебя, и тебя – ну, да будет вам хорошо. Пишите, письмо великое дело, недели живешь им. Семья от мала до велика тоже обнимает вас – ах вы дорогие!

А что паж! Мне приятно бы было написать ему, но не знаю, нужно ли.

Я дала себе слово не написать ни одного письма ни к кому, не попросивши рус⟨ских⟩ книг или не упрекнувши за то, что не посылают, пятый год я прошу, и ни одной книги[6].

Иной раз хотелось бы даже знать, где m-lle Michel[7], это уж просто старость.

15 окт⟨ября⟩

И еще посвежеее и потеплее рукожатье.

71* поверх (*франц.*)

72* но я слишком умна (*франц.*).

[1] Приблизительная дата устанавливается по содержанию.

[2] Ответ на реплику Огарева в письме от августа-сентября 1851 г.: "Между нами ничего не переменилось и не переменится, и если вы из написанных здесь строк поймете, сколько я вас люблю, то посвятите мне горячую и грустную минуту воспоминания. Ведь вы у нас одни, которых мы любим и можем назвать своими" ("Лит. наследство", т. 61, с. 795).

[3] Ответ на приписку Н.А. Тучковой к процитированному выше письму Огарева: "Хотя Еленина Тата ужасно милый ребенок, все же от таких маленьких существ невольно делается скучно; притом Елена с ними нянчается страшным образом (...) Что дети? Право, я их ужасно люблю, готова делить с ними время, только так жертвовать собой, как Елена, я не в состоянии, все же хочется учиться, читать, пожить для себя" (там же, с. 796).

[4] Микроскоп был заказан Герценом по просьбе Огарева.

[5] Что за рисунок послала Н.А. Герцен в этом письме, – неизвестно.

[6] Н.А. Тучкова писала в ответном письме: "Через Т(атьяну) А(лексеевну) послала тебе книгу, назад мне прислали" (*РП* IV, 128). Астракова в письме от 1 января 1851 г. н. ст. так объяснила это: "Мне прислала книгу Natalie для передачи тебе! Какая ты бестолковая; неужели бы я давно не прислала тебе книг, если б это было в моей воле. Ведь я же тебе несколько раз писала, что за это было взялся Т.Н. Грановский, и то с тем, что когда удобно будет, ну, а мне все говорят, что мне этого ни за что сделать нельзя. Ну что ж тут прикажешь делать? Я и сижу да все и спрашиваю всякого – как бы это сделать – и один ответ – никак нельзя-с... ну, поняла? Уж, конечно, я бы тебя давно утешила этим, да вот что хочешь – нельзя да и все. Мне раз как-то сказали, что ты скорее сама можешь это устроить, адресуясь к какому-нибудь тамошнему книгопродавцу – отчего ты этого не попробуешь? (*РГАЛИ*, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589, л. 13).



ИГОЛЬНИК, ПОДАРЕННЫЙ КОЛЕЙ ГЕРЦЕНОМ МАТЕРИ

На одной из прикрепленных к игольнику пластинок выжжено: "Mama Duschka" ("Мама Душка"); на другой – надпись рукой Герцена: "Тате 16 ноября 1857" (сделана в день шестой годовщины гибели Коли)

Музей Герцена, Москва

[7] Н.А. Тучкова писала в ответном письме: "Наша наставница у Трубецких во Флоренции (...) Она, вероятно, воротится к нам или в Москву" (*РП* IV, 128).

6

(Ницца.) 21 фев(раля 1852 г.[1])

Сию минуту твое письмо, моя N(atalie), оно принесло мне невыразимое утешение[2]. Да, друг, я измучена, с ноября я не жила[3]. Нет сил касаться до этого – чувствуешь ли ты, я жмусь к тебе, я прячу мою голову в твоих коленях... с ноября я не могла свести глаз с моря, а вид этой открытой, бесконечной могилы утягивал с каждым мгновением из меня жизнь, охоту жизни, самый инстинкт жизни – несмотря на то, что даже физически я не принадлежала себе уже два месяца; это кончилось болезнью, в которой доктор не отвечал за жизнь. Теперь 8 недель, как я в постели, силы возвращаются по капле, и не знаю, когда встану. – Нужно поговорить с вами, а не могу за раз много.

22 (февраля) Я почти никогда не знаю, получены ли мои письма тобою, и от тебя так редко вести, что останавливало и останавливает меня писать к тебе, особенно писать от *всей* души; а мне это было так необходимо, я задыхалась... Помнишь, в прошлом году я собралась к вам ехать?[4] О, как я рвалась к вам, на вашу грудь, ведь вы у меня после Ал(ександра) первые, может, и последние – не знаю; я рвалась спросить вас, други! скажите мне, что ж я?.. Скажите мне, что́ мне, жить или умереть?

Так я была вне себя, потеряна, отрезана... ни одной мысли ясной, все существо потрясено – одно мне было ясно, об одном не спросила бы я вас, это – любила ли я А⟨лександра⟩, – сквозь все безумие, сознание, иногда безотчетное, одного кровообращения с ним, как с сросшимся близнецом, не покидало меня. Вам не нужно этому верить, вы это знаете, вы знаете меня.

Великое испытание – из жизни ль вытекло оно, сама ль я его вызвала – не знаю. Сердце мое открыто перед вами до дна. Все, что мне дано было в А⟨лександре⟩, в детях, в друзьях, во мне самой, мне – все было мало. Несбыточные требования, фантазия, фанатизм – развитые и укоренившиеся одиноким, стесненным, закупоренным детством и юностью, – мешали мне жить в реальном мире, не давали мне улечься в берегах его; от этого ненужные страдания, блуждания, наконец, безвыходность – смерть, одна моя смерть казалась мне спасеньем себя и других (как я дошла до этого – при свиданье или как узнаю, что эти строки прочтены вами); тут я звала тебя к детям[5], но забота о них, сознание, что уже никто их так любить *не может*, очевидная необходимость моего существования для А⟨лександра⟩, его любовь, которая явилась мне впервые во всей неизмеримости своей, – заставили меня жить. Страшный сон миновал, ужасный сон, в котором при всем увлечении – je me sentais dans les griffes du diable[73*]; очнувшись, успокоившись, я чувствовала одно полное, равное биение сердца с моим близнецом. Когда *он успокоится*, выздоровеет – тогда я буду любить жизнь...

24 (февраля).

Рукой Герцена:

И моя болезнь прошла – я силен и воскрес[74*].

Рукой Н.А. Герцен:

Почему я пишу вам об этом именно теперь – для меня оно было уже давно прошедшим, а несчастие ноября и совсем заставило забыть все это. Но злой демон выждал самую больную минуту для нас, чтоб привесть в действие невообразимые адские козни, задуманные им задолго в отмщение мне[6]; – ложные слухи могли вас огорчить, потому что не только чужие, но многие из своих в заблуждении[7]. – Но из внешней борьбы выйдем целы. Внутренняя дала мне новые силы, я в ней *осязала,* как апост⟨ол⟩ Фома, то, во что вера моя слабела иногда и во что она нужна была мне непоколебимая. Борьба эта спаяла нас неразрывнее с А⟨лександром⟩; я вышла из нее с большим знанием себя, довольнее собою, несмотря на то, что доля гордости заменилась смирением. – Рубцы на груди моей мне залог будущего счастия. Да, друзья, я юнее стала, смотрю в будущее, жду его, верую в него, лишь бы увидеться с вами! – Прощайте. Обнимаю вас. Умоляю отвечать сейчас же, хоть строчку, умоляю[8].

Кто знает, много ль строк еще придется мне от вас читать... Но я *хочу* жить. Если ж умру, замени, моя N⟨atalie⟩, меня при детях, сколько можешь. – А ты, О⟨гарев⟩, брось все для А⟨лександра⟩.

[1] Год устанавливается по содержанию (письмо написано после гибели Коли).

[2] Это письмо неизвестно.

[3] 16 ноября 1851 г. погибли Коля Герцен, Л.И. Гааг и учитель Коли – И. Шпильман.

[4] См. п. 4 и прим. 3 к нему.

[5] См. текст того же письма.

[6] 25/13 января 1852 г. Гервег прислал Герцену вызов на дуэль. О ходе событий за январь-февраль 1852 г. см. *ЛЖГ* II, с. 65–72.

[7] Слухи о семейной драме Герценов в это время, очевидно, уже проникли в Россию. Н.А. Тучкова-Огарева писала Астраковой много лет спустя, вспоминая о своем впечатлении от публикуемого письма Н.А.: "Мы ничему не верили, думая, что все это сплетни, а получив это письмо, призадумались" (*ГЛМ*, ф. 248).

[8] Ответное письмо Огаревых на это письмо Н.А. Герцен неизвестно.

[73*] я чувствовала себя в когтях дьявола (*франц.*).

[74*] Эти слова стоят во французском тексте письма в квадратных скобках, с пометой переводчика: "Ajouté par Alexandre" ("Добавлено Александром" – *франц.*).

САШЕ И ТАТЕ ГЕРЦЕНАМ

Публикация Ю.П. Благоволиной и И.М. Рудой
Статья Ю.П. Благоволиной

"После всех бурь дети – моя пристань, – писала Н.А. Герцен Т.А. Астраковой 20 марта 1851 г. – Для себя я не ищу в жизни более ничего ⟨...⟩ Все страсти, все самолюбивые, несбыточные замыслы унеслись, сознание, что отдаю себя всю, что делаю насколько только есть во мне – успокаивает меня" (XXIV, 166). Эти строки написаны в один из самых драматических моментов биографии Н.А. Герцен: при разрыве с Гервегом, при еще продолжающейся мучительной переписке с ним – и тяжелой борьбе в ее душе между страстным, еще не угасшим чувством к нему и чувством долга жены и матери, которому она неукоснительно отдает предпочтение во всех письмах к Гервегу этого периода. "Я не смогла бы ни покинуть детей, ни отнять их у Александра", – писала она ему[1]. Дети были решающим аргументом, определившим ее окончательный выбор в той трагической ситуации, в которую поставила ее жизнь, – и именно в детях искала она в это время успокоения и возможность продолжать дальше жизнь, не теряя веры в то, что она еще в жизни нужна. "А потом дети – о Александр, тут, мне кажется, мои сломанные крылья выздоравливают и расправляются, – восклицает она в письме к мужу от 18 июня 1851 г. – кажется иногда, что тут мне есть куда и что могу все несбывшееся, все бродящее – осуществить"[2]. "Воспитание мне кажется священнодействием, и я стараюсь беспрерывно быть достойною и способною хранить и раздувать священный огонь ⟨...⟩ вся деятельность, вся жизнь моя в них – помогай мне, друг мой, в них, да будем мы так же спаяны, так же слиты воедино в них, как во многом"[3].

Публикуемые письма Н.А. к детям писаны по дороге из Ниццы в Турин (9 июля 1851 г.) и по приезде в Турин, оттуда – уже параллельно и одновременно с Герценом (10–13 июля того же года).

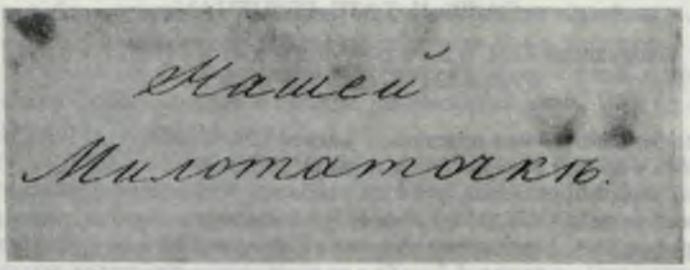
После отъезда мужа из Ниццы в Париж она писала ему 18 июня: "Принесли твое ⟨письмо⟩ от 14-го на имя Таты, из-за чего произошло великое неудовольствие между ею и Колей, он обиделся, что письмо не к нему, а Тата тем, что ее письмо меньше Сашиного, когда-нибудь напиши им на большом листе"[4]. А за четыре дня до того она просит его: "Да напиши детям по особенному письму, они бог знает как ждут этого"[5].

Уехав от детей на неделю, Наталья Александровна пишет ежедневно, отдельно Саше и Тате – каждому по самостоятельному письму. Есть все основания предполагать, что посылались письма и Коле, но они были адресованы, видимо, Л.И. Гааг и до нас, как и бóльшая часть ее архива, не дошли совсем. Сохранилось 10 писем. Одно из них – Тате от 13 июля – опубликовано (см. XXIV, 196) и в настоящую публикацию не входит. Из всего этого комплекса – если не считать не дошедших до нас писем к Коле – нам неизвестно только одно письмо: Тате от 12 июля.

Кроме писем из Турина, писем Н.А. Герцен к детям нет, потому что она никогда больше не разлучалась с ними[6]. И эти письма очень важны. Если *теоретические* суждения и размышления о воспитании встречаются во множестве ее писем, к самым разным адресатам, за все годы, начиная с момента появления на свет ее первенца – Саши, – то ее слов, обращенных непосредственно к детям, до сих пор мы не слышали никогда. А письма к детям – это педагогика в действии, практическая реализация того стиля воспитания, который был так тщательно и глубоко продуман ею – матерью, не только страстно любящей, но наделенной еще и острым чувством ответственности за вверенное ей судьбой огромное и важное дело – воспитание человека в сложнейших условиях окружающей социальной действительности ("Для того, чтобы воспитать одного человека ⟨...⟩ надо воспитать целое общество", – пишет она Астраковой)[7], в условиях оторванности детей от родины, изоляции от сверстников – словом, в обстоятельствах, действительно трудных для формирования полноценной человеческой личности.

Коллективом, который прежде всего формировал личность ее детей, была семья. И она стремится развить в детях чувство любви и привязанности к семье, всех членов семьи друг к другу, чувство ответственности каждого за всех близких. Не только двенадцатилетнему Саше пишет она в первом же письме: "Смотри, чтоб и другим было хорошо, ведь ты теперь вместо меня остался" (п. 1), но и семилетнюю Тату спрашивает, бережет ли она Оленьку "и нашу милую пупоньку"[8] (п. 5).

Педагогика Н.А. Герцен – это педагогика любви и доверия. Любовь свою к детям она не только не скрывает – она делает ее основной, преобладающей, пронизывающей каждое слово тональностью писем, она высказывает ее открыто, не считая нужным хоть сколько-нибудь ее сдерживать и "замораживать" в стиле письма. "Таточка, душечка, милушечка, ласточка, звездочка, цветочек, радость ты моя!" (XXIV, 196). "Здоров ли, весел ли ты, милый мой Са-



КОНВЕРТ ПИСЬМА Н.А. ГЕРЦЕН ДОЧЕРИ ТАТЕ

Автограф. (Турин, 12 июля 1851 г.)

Литературный музей, Москва

ша? пиши ко мне, как я буду ждать твоих писем" (п. 1) – и проч. Любовь – основа взаимоотношений, без нее немыслима семья и самое дело воспитания. И отсюда яркая эмоциональность реакции на письмо сына, в котором изливается его грусть, его привязанность к матери: "Я бросилась к папаше на шею, и мы оба плакали, слезы эти были сладкие, радостные оттого, что у нас *такой* сын" (п. 6). *Такой* – это значит умеющий любить. А Наталья Александровна считает эту способность высшей ценностью, дарованной человеку, и стремится развить ее в детях, сосредоточив на этом главное внимание свое как воспитателя. "Я научу их любить и быть любимыми, – это выше, это прежде всего", – пишет она о детях мужу 19 июня 1851 г.[9] Все остальные свойства для нее – производные от этого, определяющего. Вместе с любовью Наталья Александровна строит свое отношение к детям на основе полного доверия к добрым задаткам в их натуре, ее предписания и указания принципиально лишены авторитарности, она советует что-то, как бы не сомневаясь в том, что ребенок и сам может поступить только так, а не иначе: "В тебе, мой Саша, я так уверена, что и не напоминаю просьбу – быть благоразумным и вместо меня заботиться о Коле, Оле и Тате, ты у нас старший и большой такой!" (п. 4). "То, что мне пишут о тебе, не удивляет меня, а радует", – сообщает она ему в ответ на лестные отзывы о нем в письмах к ней его учителей (п. 9). "Удивить" ее могло бы только плохое в ребенке, все хорошее, доброе в нем – естественно и как бы само собой разумеется.

В письмах к старшему сыну она разговаривает с ним как с равным о серьезных вещах: "Мы познакомились здесь с Валерио, я много говорила с ним о России, он путешествовал (...) и был в южной России до Киева, знает наших поэтов, любит очень Пушкина, поэтому эта встреча для меня вдвойне приятна" (п. 9). Тема России, интереса и любви к русской культуре – одна из центральных для Герценов в общей проблеме воспитания детей, и Наталья Александровна пользуется случаем лишний раз поговорить об этом с сыном. И вместе с тем ее письма – это письма именно к ребенку, она ни на минуту не забывает, что адресует их двенадцатилетнему мальчику, и стремится не утомить его чрезмерной серьезностью: "Прощай, ясный мой сокол, ну беги уж, прыгай, веселись!" – кончает она первое свое письмо к нему (п. 1). "То-то бы ты попрыгал козелком", – восклицает она, рисуя ему спираль, которую образует дорога в горах (п. 2). Почти все письма к Тате сопровождаются рисунками – и вообще стремление прежде всего порадовать детей письмами, сделать их яркими и доступными определяет их стиль – предельную краткость при предельной выразительности и экспрессивной насыщенности их слога.

Разумеется, 10 коротких писем, из которых четыре адресованы совсем еще маленькому ребенку – семилетней дочери, недостаточны для того, чтобы дать сколько-нибудь полное представление о принципах воспитания, которыми руководствовалась Н.А. Герцен, но они все-таки очень существенны в этом смысле, потому что доносят до нас живую интонацию, голос матери, терпеливо, настойчиво ведущей детей в жизнь по пути любви и добра.

Отметим в заключение еще одну деталь в этих письмах: давая Саше совет по воспитанию Таты, Наталья Александровна уже прямо раскрывает секрет своего мастерства: "Не будь строг к Наташе, ведь она такая еще маленькая; делать ей замечания – твой долг, но только их надо делать кротко и *с любовью*, если хочешь, чтобы они были *полезны*" (п. 9).

Именно так – "с любовью" – воспитывала детей она сама, достигая, по всей видимости, самых благоприятных результатов, так как известно, что дети отвечали ей на ее любовь самой нежной и страстной привязанностью.

Публикуемые письма дают возможность документально точно установить теперь время встречи Н.А. и А.И. Герценов в Турине: 2 часа ночи, с 9 на 10 июля. Известно, что в "Былом

и думах" Герцен ошибочно называет другую дату: "Ночью с 7 на 8 июля, часу во втором" (X, 271). В "Летописи жизни и творчества А.И. Герцена" Л.Р. Ланский исправляет эту ошибку[10], отсылая читателя к публикации писем Л.И. Гааг к М.К. Рейхель, выполненной Н.Д. Эфрос[11]. Уточнив справедливо дату встречи Герценов, Н.Д. Эфрос далее замечает: "Не совпадают и часы туринской встречи, обозначенные Герценом и Луизой Ивановной. Герцен пишет, что почтовая карета, в которой приехала его жена, приходила в Турин во втором часу ночи. Луиза Ивановна утверждает, что Наталья Александровна приехала в Турин в 11 часов вечера. Указанные сведения Луиза Ивановна почерпнула из писем сына и невестки (...) Письма не сохранились"[12]. На чем основано утверждение Л.И. Гааг, теперь установить, по-видимому, невозможно. Но нет никаких оснований сомневаться в точности слов самой Н.А. Герцен: "Я приехала сюда в 2 часа ночи; папаша ждал меня" (п. 4).

Таким образом, час приезда жены Герцен обозначает безошибочно.

Письма Н.А. Герцен к Тате (п. 3, 5, 7) публикуются И.М. Р у д о й по копиям, хранящимся в музее Герцена в Москве (*ГЛМ*, ф. 22). Письма к Саше (п. 2, 4, 6, 8, 9) и общее письмо ко всем членам семьи в Ницце (п. 1) публикуются Ю.П. Б л а г о в о л и н о й по фотокопиям *РГБ* с автографов *BN*.

В п. 5 и 8 краткие приписки Герцена, до сих пор не воспроизводившиеся. Его же приписка к п. 4 опубликована (см. XXIV, 195) и в настоящей публикации опускается.

Наличие п. 1–3 и 5–9 в *ЛЖГ* II не зафиксировано.

ПРИМЕЧАНИЯ

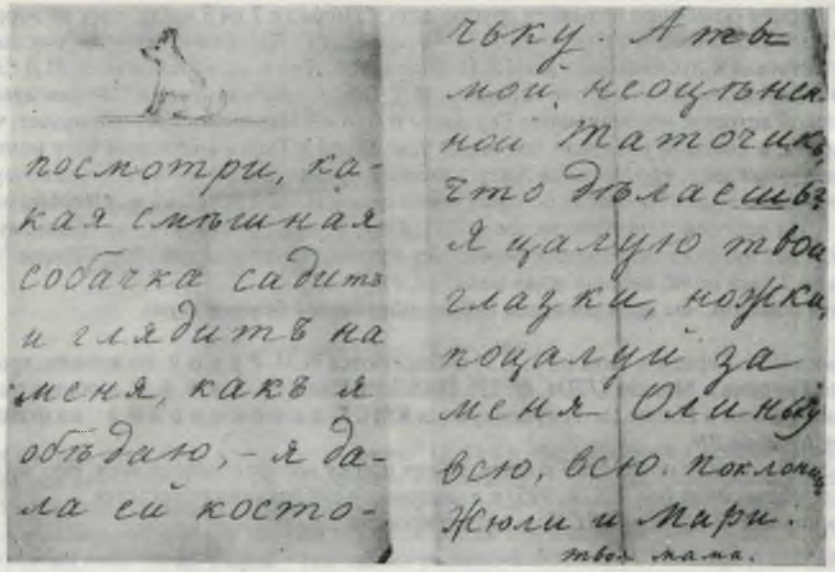
[1] "Лит. наследство", т. 64, с. 308.
[2] См. выше письмо Н.А. к Герцену (п. 27).
[3] Там же, п. 24.
[4] Там же.
[5] Там же, п. 18.
[6] Сохранились еще две записки к Саше, одна без даты, другая от 25 декабря 1849 г. (РГБ, ф. 69.22.27, л. 1, 2). Но обе они относятся не ко времени разлуки. Первая из них написана, очевидно, Натальей Александровной, ушедшей из дому лишь ненадолго ("Саша, дружочек, не ходи купаться без того, чтобы поговорить с папой, он просит тебя об этом. До свидания. М а м а"); вторая – поздравительная записка к Рождеству ("Вот тебе мой подарок, милый дружочек мой Саша – эти несколько слов: люблю тебя как душу, как жизнь мою, будь хорош, будь счастлив! Твоя м а м а"). Нам пока неизвестны только письма Н.А. к сыну от конца июня – начала июля 1849 г., когда Саша был с отцом в Женеве, а Наталья Александровна оставалась в Париже. Но писала ли она тогда письма, адресованные Саше, или делала только приписки к нему в письмах к Герцену – мы не знаем, т.к. ее письма к мужу этого времени до нас тоже не дошли.
[7] Письмо Н.А. к Астраковым (см. п. 81).
[8] Прозвище А.Х. Энгельсон.
[9] Письмо Н.А. Герцену (см. наст. кн., п. 26).
[10] *ЛЖГ* II, 40.
[11] "Лит. наследство", т. 63, с. 408.
[12] Там же.

1
САШЕ и ТАТЕ

Cuneo, 2 часа, 9-е (июля 1851 г.)

Вот как я от вас далеко[1], мои дорогие, малые и старые друзья! но руки у меня выросли такие длинные, что я обнимаю вас отсюда. Вы меня провожали всю дорогу, физиология Фогта стала вверх дном на этот раз, и я смотрела не в себя, а из себя; то Оленька сидит в травке, как цветочек, то Таточка – моя милая Таточка летит возле кареты в виде бабочки, то Колька соловей-разбойник, Саша, вы, моя пупонька[2], – право, иногда даже будто Шпильман идет из лесу, Владимир Аристович[3] серенький... а к вечеру уж мне трудно стало, не до вас, тут кондуктор ухаживал за мною, как мать родная. Как-то вы там все?????????????? здоров ли, весел ли ты, милый мой Саша? пиши ко мне, как я буду ждать твоих писем; смотри, чтоб и другим было хорошо, ведь теперь ты вместо меня остался. Сегодня ночью буду в Турине. Прощай, ясный мой сокол, ну беги уж, прыгай, веселись! Целую тебя, жму тебе руку.

Твоя м а м а


посмотри, какая смешная собачка сидит и глядит на меня, как я обедаю, – я дала ей косточку. А ты, мой неоцененной Таточик, что делаешь? Я цалую твои глазки, ножки, поцалуй за меня Олиньку всю, всю. Поклонись Жюли и Мари.
Твоя мама.

ПИСЬМО Н.А. ГЕРЦЕН ДОЧЕРИ ТАТЕ

Автограф. ⟨Турин, 9 июля 1851 г.⟩

Литературный музей, Москва

[1] Местечко Кунео (Кони) находится в 125 км от Ниццы. Это, по-видимому, первое письмо Н.А. с дороги, т.к. вечером 8 июля она чувствовала себя плохо и не в состоянии была писать.

[2] А.Х. Энгельсон.

[3] В.А. Энгельсон.

2
САШЕ

⟨Кунео. 9 июля 1851 г.[1]⟩

Дружочек мой Саша!

Как я вспоминала о тебе на самом верху *Tenda*[2], то-то бы ты попрыгал козелком, вот как идет дорога[3].

[1] Письмо может быть отнесено только к 9 июля, т.к. написано по пути в Турин.

[2] *Тенда* – горный перевал, самая высокая точка на пути из Ниццы в Турин (1280 м над уровнем моря, около 90 км от Ниццы).

[3] Далее следует изображение извилистой дороги.

3
ТАТЕ

⟨Кунео. 9 июля 1851 г.[1]⟩

*

посмотри, какая смешная собачка сидит и глядит на меня, как я обедаю, – я дала ей косточьку. А ты, мой неоцененной Таточик, что делаешь? Я цалую твои глазки, ножки, поцалуй за меня Олиньку всю, всю. Поклонись Жюли и Мари[2].

Твоя м а м а

[1] Датируется на тех же основаниях, что и п. 2.

[2] *Жюли* и *Мари* – прислуги в доме Герценов.

4
САШЕ

Турин, 10 июля 1851

Дружочек мой, милый Саша, я приехала сюда в 2 часа ночи; папаша ждал меня, и, как только дверь кареты отворилась, я увидела первое – его лицо, ты можешь себе представить, как я обрадовалась[1], папаша помолодел и похорошел, я вам его скоро привезу, он очень соскучился по вас, и мне, мой ангел, несносно не видать и не слыхать вас, мои милые, милые деточки! В тебе, мой Саша, я так уверена, что и не напоминаю мою просьбу – быть благоразумным и вместо меня заботиться о Коле, Оле и Тате, ты у нас старший и большой такой! Ты наша надежда, наша опора. Друг мой, обнимаю тебя крепко.

Город показался мне ночью хорош; как отдохну, пойдем с папашей купить вам здешнего гостинца.

Поклонись от меня Роке и Франсуа[2], попроси последнего прогнать всех зверей из всех кроватей.

Поклонись учителям твоим[3]. Да попроси нашего парижского бедуина не кривляться[4].

Еще раз обнимаю тебя!

Твоя м а м а

Пиши! пиши! пиши![5]

[1] Ср. X, 272.
[2] *Рокка* и *Франсуа* – слуги в доме Герцена.
[3] С Сашей в это время занимались В.А. Энгельсон и К. Фогт.
[4] Имеется в виду К.-Э. Хоецкий, незадолго до того приехавший из Египта.
[5] Приписка Герцена – в XXIV, 106.

5
ТАТЕ

Турин, 10-е июля 1851

Ну вот я и с папашей, моя милая Таточка! мы все говорим о вас, милые детушки. Папаша думал, что я привезу ему его Тату, а я не привезла оттого, что боялась, что моя душаночка очень устанет. Мне так скучно без тебя, умница ты моя, что я уж более никогда не оставлю тебя, а буду все с собой возить или на себе носить. – Поцелуй за меня Оленьку, бережешь ли ты ее и нашу милую пупоньку? Целую твои ножки, шейку и глазки. – Пиши мне.

Твоя м а м а

Рукой Герцена:
Папа также целует свою Тату.

6
САШЕ

Турин. 11 июля 1851

Бесценный сын мой, дружочек, маленький, миленький, дитя мое, мой Саша! Твое письмо!!![1] У меня недостает слов рассказать тебе мою радость, мой восторг от твоего милого письма, когда я прочла первые строки, – слезы полились у меня ручьем, я бросилась к папаше на шею, и мы оба плакали, слезы эти были сладкие, радостные оттого, что у нас *такой* сын, что ты нас так любишь. Твоя любовь ко мне – мое великое счастье, но мне жаль тебя, если ты горюешь обо мне, и молоко-то тебе горько без меня, о мой ангел! нет! да будет тебе все сладко, всегда, и весело, весело, весело. – Папаша посылает сегодня тебе и Коле вместе телеграф[2].

Я напишу Владимиру Аристовичу письмо[3], но ты все-таки пожми за меня ему руку и Алек⟨сандре⟩ Христ⟨иановне⟩, люби их, *верь* им.

Милушка, целую тебя в твою умную головушку, в твои милые глазки, дитя мое милое, милое! И жму твою руку как другу моему. – Прощай, мне легче после того, как я имею о вас известие.

Твоя м а м а

У папы борода не такая уж, как была, а вот какая[4]

[1] См. в кн. 2-й наст. тома раздел "А.А. Герцен".
[2] Об этой игрушке см. в XXIV, 191.
[3] Письма Н.А. Герцен к В.А. Энгельсону неизвестны.
[4] Далее следует изображение "бороды".

7
ТАТЕ

Турин. 11 июля 1851

Душка моя!

Моя Таточка!

как я рада твоему письму[1], как ты хорошо его написала! цалую твои пальчики, которые держали перо. Что Оля? Ты поцалуй у нее все 10 пальчиков и грудочку и спиночку.

Отдай Жюли от меня письмо. Кормилице поклонись. Пупоньку береги, ведь она тоже моя дочка. Мне весело, что ты с Коленькой так хорошо играешь. Я все думаю о тебе и скоро приеду к тебе.

Твоя м а м а

[1] Письма Таты к матери не сохранились.

8
САШЕ

Турин. 12 ⟨июля 1851 г.⟩

Сегодня могу только обнять тебя, мой друг Саша, а тебя прошу обнять за меня Колю, Тату, Олю, пупоньку и Энгельсона.

16-е мы уже обнимем вас не заочно, а в самом деле.

Хоть расстояние и велико между нами – вы беспрестанно со мной, в моем сердце, в моих глазах.

Твоя м а м а

Сию минуту твое письмо и все другие[1]. Будь осторожен, купаясь. Некогда писать более.

Рукой Герцена:

Посылаю тебе письмо от 4 июля[2], его прислали сюда.

[1] Эти письма неизвестны.
[2] О каком письме идет речь – неизвестно.

9
САШЕ

Турин. 13 июля 1851

Дорогой мой, милый мой Саша!

То, что мне пишут о тебе, не удивляет меня, а радует[1]. Не будь строг к Наташе, ведь она такая еще маленькая; делать ей замечания – твой долг, но только их надо делать кротко и с *любовью*, если хочешь, чтоб они были *полезны*.

Может быть, мы сегодня выедем из Турина[2]. Я еще ничего здесь не видела, кроме зверинца. Да и смотреть мне ничего не хочется, я слишком занята тем, что как вы там все, мои милые? Я очень уверена в Александре Христиановне и Владимире Аристовиче, но когда ты, мой дружочек, вырастешь большой и будешь мне друг – тогда я совершенно спокойно буду оставлять на тебя всю семью, и ты отпустишь нас, старичков, погулять и покататься.

Турин порядочный городок, особенно мне нравятся аллеи, которыми он окружен; от всюда видны Альпы, и воздух удивительно свежий...

Мы познакомились здесь с Валерио[3], я много говорила с ним о России, он путешествовал лет десять тому назад и был в южной России до Киева, знает наших поэтов, любит очень Пушкина, поэтому эта встреча для меня вдвойне приятна.

Прощай пока, мой маленький дружочек сердечный. Целую тебя с головы до ног...

Пожми за меня руку Энг⟨ельсону⟩ и Ал⟨ександре⟩ Хр⟨истиановне⟩.

Мы поедем теперь через Геную.

Твоя м а м а[4]

[1] Герцен писал сыну в письме от того же числа: "Я с глубоким удовольствием прочел в письме Энгельсона, что он доволен твоим поведением" (XXIV, 196).

[2] Ср. в письме Герцена к Тате от того же числа: "Ну, вот, мы и едем, и едем... машина постукивает, лошади фыркают, бич хлопает, все едем" (там же).

[3] *Л. Валерио* – пьемонтский политический деятель, добившийся отмены высылки Герцена из Ниццы.

[4] Письмо Герцена к Саше и параллельные письма Н.А. и А.И. Герценов к Тате от того же числа см. в XXIV, 196.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Римская и арабская цифры (в скобках) представляют собой ссылку на тома и страницы 30-томного Собрания сочинений Герцена издания Академии наук СССР, 1953–1966.

АО – "Архив Н.А. и Н.П. Огаревых". Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. М.–Л., 1930.

Белинский I–XIII – В.Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. I–XIII. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959.

Братская помощь... – Сб. "Братская помощь пострадавшим в Турции армянам". М., 1897.

ВЕ – "Вестник Европы" (СПб.).

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (бывш. *ЦГАОР*, Москва).

ГИМ – Государственный Исторический музей (Москва).

ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва).

Звенья – сб. "Звенья". Сборники материалов и документов по истории литературы и общественной мысли XIX в., т. I–IX. М.–Л., 1932–1952.

Известия ОЛЯ – журнал "Известия литературы и языка Академии наук СССР" (Москва).

ИРЛИ – Рукописное отделение Института русской литературы Российской академии наук (СПб.).

Л I–XXII – А.И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем. Под ред. М.К. Лемке, т. I–XXII. Пг., 1915–1925.

ЛЖГ I–V – "Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1812–1870", т. I–V. М., 1974–1990.

Мейзенбуг – М. Мейзенбуг. Воспоминания идеалистки. М.–Л., 1933.

НПГ – сб. "Неизданные письма А.И. Герцена к Н.И. и Т.А. Астраковым". К печати приготовил Л.Л. Домгер. Нью-Йорк, 1957.

Огарев I–II – Н.П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения т. I–II. М., 1952–1956.

Огарев 1956 – Н.П. Огарев. Стихотворения и поэмы. Большая серия Библиотеки поэта. Л., 1956.

ОЗ – "Отечественные записки" (СПб.).

ОРГ – "Описание рукописей А.И. Герцена". Составили А.В. Аскарянц и З.В. Кеменева. Изд. 2-е. М., 1952.

Павленков – "Сочинения А.И. Герцена и переписка с Н.А. Захарьиной". В семи томах, т. VII. СПб., изд. Ф. Павленкова, 1905.

Пассек I–II – Т.П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. I–II. М., 1963.

Проблемы... – Сб. "Проблемы изучения Герцена". М., 1963.

РА – "Русский архив" (Москва).

РАН – Российская академия наук.

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (бывш. ЦГАДА, Москва).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (бывш. *ЦГАЛИ*, Москва).

РГБ – Российская государственная библиотека (бывш. ГБЛ, Москва).

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив (Москва).

РГИА – Российский государственный исторический архив (СПб.).

Рейхель – М.К. Рейхель. Отрывки из воспоминаний и письма М.К. Рейхель к А.И. Герцену. М., 1909.

РМ – "Русская мысль" (Москва).

РНБ – Российская национальная библиотека (бывш. *ГПБ*, СПб.).

РП I–IV – сб. "Русские пропилеи", т. I–IV. М., 1915–1917.

РС – "Русская старина" (СПб.).

ТГОМ – Томский государственный объединенный историко-архивный музей, фонд Г.Н. Потанина.

Тургенев. Письма – И.С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28 томах. – М.–Л., 1961–1968.

Тучкова-Огарева – Н.А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1959.

ЦИАМ – Центральный исторический архив г. Москвы.

AAH – сб. "Autour d'Alexandre Herzen. Documents inédits publiés par M. Vuillumier, M. Aucouturier, S. Stelling-Michaud et M. Cadot". Genéve, 1973.

DN – Bibliothéque Natioale (Paris).

BRUG – Bibliothéque publique et universitaire (Genéve).

CMRS – журнал "Cahiers du monde russe et soviétique" (Paris).

HOBL – сб. "Herzen, Ogarev, Bakounine. Lettres inédites". Introduction et notes par M. Mervaud. P., 1975.

IISG – Internationaal Instituut voor Sociale geschiedens (Amsterdam).

LHO – "Alexandre Herzen Lettres inédites à sa fille Olga". Introduction et notes par A. Zviguilsky. P., 1970.

LOAHf – "Lettres inédites à Alexandre Herzen-fils". Introduction et notes par M. Mervaud. P. – Mont-Saint Aignan, 1978.

PAN (W.) – Polska Akademia Nauk (Warszawa).

Vinant – G. Vinant. Un esprit cosmopolyte au XIX siécle. Malwida de Meysenbug (1816–1903). Sa vie et ses amis. P., 1932.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

ГЕРЦЕН

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРЦЕНА

Статья Л.Я. Гинзбург 7

БЫЛОЕ И ДУМЫ. Автограф рассказа о семейной драме ("Inside")

Статья, публикация и примечания И.Г. Птушкиной 55

ЦЕХ УЧЕНЫХ. Черновой автограф статьи "Дилетанты и цех ученых" (К истории создания цикла "Дилетантизм в науке")

Публикация А.И. Володина и С.В. Житомирской. Статья А.И. Володина 149

ДЕТСКИХ РОЗОГ! ДЕТСКИХ РОЗОГ! Заметка для "Колокола"

Публикация И.А. Желваковой 186

ПИСЬМА ГЕРЦЕНА

ОЛЬГЕ, САШЕ, ТАТЕ И ТЕРЕЗИНЕ ГЕРЦЕНАМ, О.А. ЖЕРЕБЦОВОЙ, Б. ЗАЛЕСКОМУ, МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ, ОГАРЕВУ, М.К. РЕЙХЕЛЬ (ЭРН), Н.И. ТРУБЕЦКОМУ, Н.А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ И В. ЧАРТОРЫСКОМУ

Приложение: Дарственная надпись Н.Ф. Павлову

Публикации А. Звигильского (Париж), Л.Р. Ланского, С.Д. Лищинер, Л.И. Матюшенко, М. Мерво (Руан), А. Новака (Краков), Э.А. Павлюченко, В и Р. Сливовских (Варшава) при участии С.П. Гиждеу 188

О.А. ЖЕРЕБЦОВОЙ

Публикация И. Звигильского 188

М.К. РЕЙХЕЛЬ (ЭРН)

Публикация Э.А. Павлюченко 189

М.К. ЭРН (?)

Публикация М. Мерво 197

САШЕ ГЕРЦЕНУ

Публикация Л.И. Матюшенко 198

ОГАРЕВУ и Н.А. ТУЧКОВОЙ

Публикация Л.И. Матюшенко 200

ТАТЕ ГЕРЦЕН
Публикация Л.Р. Ланского ... 203

МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ
Публикация А. Звигильского при участии С.П. Гиждеу ... 204

Н.И. ТРУБЕЦКОМУ
Публикация А. Звигильского ... 207

ОЛЬГЕ ГЕРЦЕН
Публикация А. Звигильского. Статья С.Д. Лищинер. Комментарии А. Звигильского и С.Д. Лищинер ... 208

В. ЧАРТОРЫСКОМУ
Публикация А. Новака ... 242

Б. ЗАЛЕСКОМУ
Публикация В и Р. Сливовских ... 243

ТЕРЕЗИНЕ ГЕРЦЕН
Публикация А. Звигильского ... 244

Н.Ф. ПАВЛОВУ. ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ НА КНИГЕ "КТО ВИНОВАТ?"
Публикация Л.Р. Ланского ... 246

ОГАРЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ
1. Пашпорт
2. Майкову
Вступительная заметка и публикация М. Мерво (Руан) ... 247

"СТРАННОЕ ПРОЩАНИЕ". – "РОССИЯ С СИБИРЬЮ"
Огарев, Н.А. Шевелев и женевская "молодая эмиграция" (Загадочная история одного персонажа)
Архивно-документальное исследование Л.Р. Ланского ... 251

ПИСЬМА ОГАРЕВА
ГЕРЦЕНУ, ЛИЗЕ, ОЛЬГЕ, САШЕ И ТАТЕ ГЕРЦЕНАМ, П.В. ДОЛГОРУКОВУ, МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ, Г. МОНО И Т.П. ПАССЕК

Публикации И.А. Желваковой, С.В. Капиноса, С.Д. Лищинер, М. Мерво (Руан) и Е.Л. Рудницкой ... 350

А.А. ГЕРЦЕНУ
Статья и публикация С.Д. Лищинер ... 350

ГЕРЦЕНУ И ТАТЕ ГЕРЦЕН
Публикация М. Мерво ... 435

ТАТЕ ГЕРЦЕН
Публикация С.Д. Лищинер, И.А. Желваковой и М. Мерво.
Предисловие С.Д. Лищиер ... 438

МАЛЬВИДЕ МЕЙЗЕНБУГ
Публикация Е.Л. Рудницкой ... 465

ОЛЬГЕ ГЕРЦЕН (МОНО)
Публикация И.А. Желваковой ... 482

П.В. ДОЛГОРУКОВУ
Публикация С.Д. Гурвич ... 488

Т.П. ПАССЕК
Публикация С.В. Капиноса ... 489

Г. МОНО
Публикация М. Мерво ... 492

ОТЕЦ ГЕРЦЕНА ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ

ПЕРЕПИСКА И.А. ЯКОВЛЕВА С А.И. МИХАЙЛОВСКИМ-ДАНИЛЕВСКИМ
Статья и публикация А.П. Тартаковского ... 497

ПИСЬМО И.А. ЯКОВЛЕВА САШЕ ГЕРЦЕНУ
Публикация Л.И. Матюшенко ... 538

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ГЕРЦЕН (ЗАХАРЬИНА)

ПИСЬМА Н.А. ГЕРЦЕН Т.А. АСТРАКОВОЙ, ГЕРЦЕНУ, САШЕ И ТАТЕ ГЕРЦЕНАМ, ОГАРЕВУ И Н.А. ТУЧКОВОЙ

Публикация Ю.П. Благоволиной, В.Г. Зиминой и И.М. Рудой

ГЕРЦЕНУ
Статья и публикация В.Г. Зиминой ... 539

Т.А. АСТРАКОВОЙ
Статья и публикация И.М. Рудой и Ю.П. Благоволиной ... 577

Н.А. ТУЧКОВОЙ и ОГАРЕВУ
Публикация Ю.П. Благоволиной ... 659

САШЕ И ТАТЕ ГЕРЦЕНАМ
Публикация Ю.П. Благоволиной и И.М. Рудой.
Статья Ю.П. Благоволиной ... 671

Литературное наследство

Том 99

ГЕРЦЕН И ОГАРЕВ В КРУГУ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ

Книга первая

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А.М. Горького РАН

Заведующая редакцией
"Наука–культура" *А.И. Кучинская*

Редактор *Е.В. Белова*

Художественный редактор *Н.Н. Михайлова*

Художник *Э.Л. Эрман*

Технические редакторы *И.Н. Жмуркина, З.Б. Павлюк*

Корректоры *З.Д. Алексеева, Н.Л. Голубцова*

Набор и верстка выполнены в издательстве
на компьютерной технике

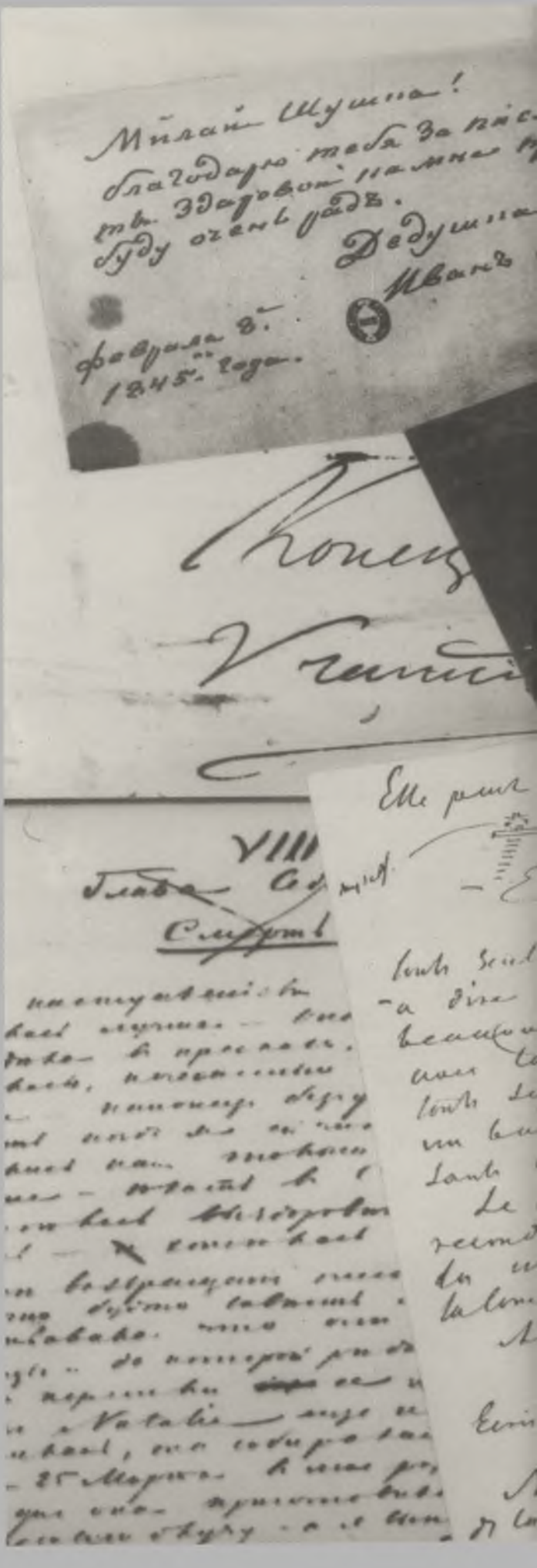
ИБ № 846

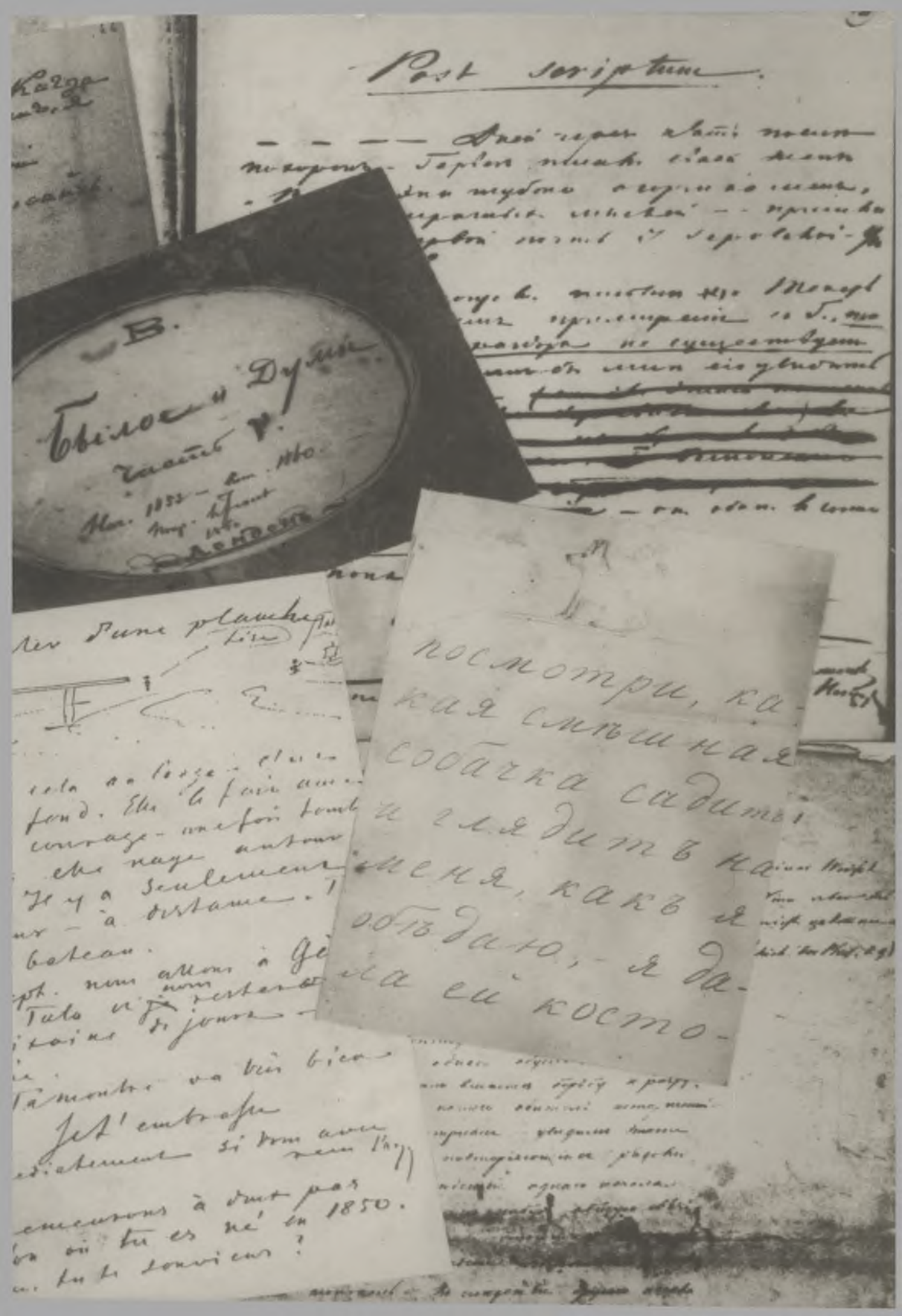
ЛР № 020297 от 23.06.1997

Подписано к печати 07.08.1997
Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл. печ. л. 60,4. Усл. кр.-отт. 62,3. Уч.-изд. л. 69,9
Заказ № 129. Тираж

Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

Сибирское издательско-полиграфическое
и книготорговое предприятие "Наука"
630077, Новосибирск, ул. Станиславского, 25





Post scriptum.

В.

Былое и Думы

часть V.

Нач. 1852 — Кон. 1860

Лондонъ

посмотри, ка-
кая смѣшная
собачка садитъ
и глядитъ на
меня, какъ я
обѣдаю, — я да-
ла ей косто-